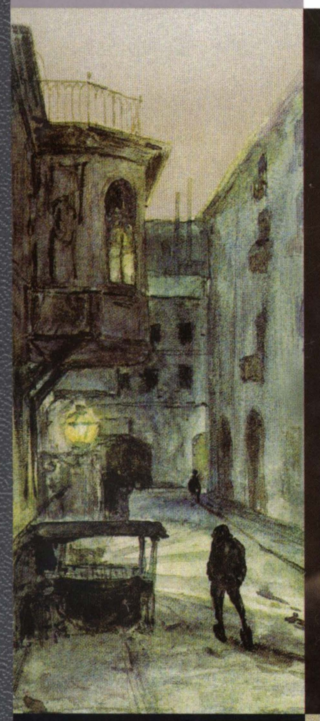
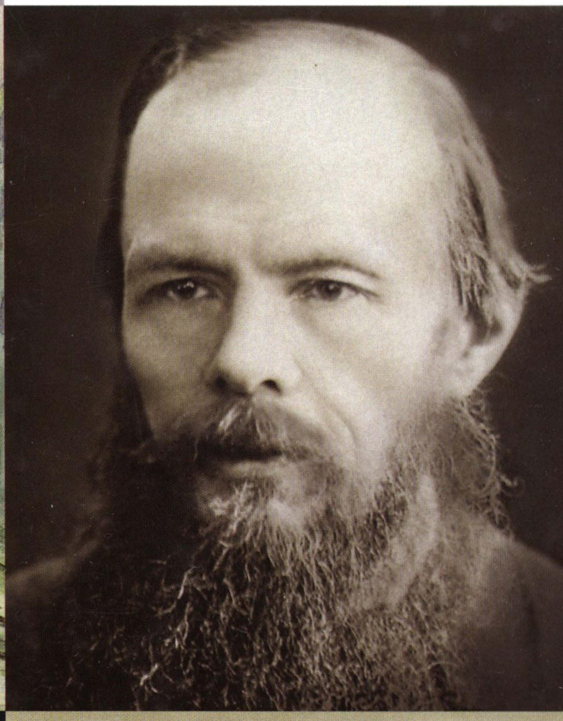
Л. Сараскина

ДОСТОЕВСКИЙ

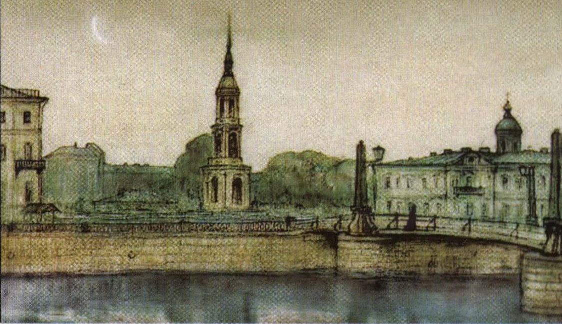
ЖЗЛ

ДОСТОЕВСКИЙ





Людмила Сараскина



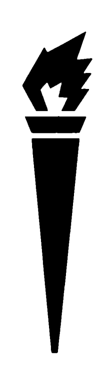
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Федоръ Достоевскiй

Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1607

(1407)

Людмила Сараскина

ДОСТОЕВСКИЙ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2013

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8
С 20



Автор выражает благодарность сотрудникам Санкт-Петербургского, Московского и Старорусского музеев Ф. М. Достоевского за высокопрофессиональную помощь и дружескую поддержку на всех этапах работы над этой книгой.

При оформлении переплета использованы произведения А. Н. БЕНУА и И. С. ГЛАЗУНОВА.

Издание второе

знак информационной продукции **16+**

ISBN 978-5-235-03595-9

Достоевский — всадник в пустыне, с одним колчаном стрел.
И капает кровь, куда попадает его стрела...
Достоевский живет в нас.
Его музыка никогда не умрет.

В. В. Розанов. Опавшие листья

Предисловие

ВСЁ СБЫЛОСЬ ПО ДОСТОЕВСКОМУ...

«Охранная грамота». — «Архискверный» Достоевский. — Под знаком преодоления. — Полезность гения. — Право на биографию. — Ключи к личности

В разгар Гражданской войны на юге России, 5 мая 1919 года, в портовом городе Скадовске появился на свет уникальный документ.

«УДОСТОВЕРЕНИЕ № 626. Предъявитель сего, Екатерина Петровна Достоевская, согласно предъявленных ею документов... является женой Феодора Феодоровича Достоевского — сына знаменитого русского писателя Феодора Михайловича, старого Революционера, арестованного в 1849 году при царе Николае Павловиче за "злоумышленное" выступление против государственно-исторического строя вместе с другими революционерами и был приговорен к смертной казни через расстреляние. Уже на эшафоте, когда подали команду стрелять — приговор был смягчен. Феодор Михайлович Достоевский получил 4 года каторги. А в 1881 году 28 января он умер и унес с собою живого защитника обездоленных, но оставив нам свои неоцененные труды для дальнейшего перевоспитания человечества. Глубоко уважая память товарища Ф. М. Достоевского, просим не стеснять его прямых родственников, внуков, отпрысков борца за свободу человечества»[1].

Хотя «охранная грамота», выданная председателем Скадовского революционного комитета родным Ф. М. Достоевского, скоро утратила свою силу (в августе 1919 года город заняли войска генерала Деникина, задержавшиеся здесь на полгода), она стала примером самой короткой и самой романтической биографии великого русского писателя. Новая власть вскоре отнимет у Достоевского звание защитника обездоленных и воспитателя человечества, приписанное ему ревкомовцем, чутко уловившим, какие именно смысловые нюансы придадут казенной бумаге спасительные функции.

Ревкомовец — его звали Михаил Андриец — не мог знать, что пятью годами раньше, в письме Инессе Арманд вождь пролетарской революции В. И. Ленин высказался о том же предмете совсем в ином ключе. «Прочел сейчас, my dear friend, новый роман Винниченко («Заветы отцов». — *Л. С.*), что ты прислала. Вот ахинея и глупость! Соединить вместе побольше всяких "ужасов", собрать воедино и "порок", и "сифилис", и романтическое злодейство с вымогательством денег за тайну... Все это с истериками, вывертами, с претензиями... Архискверное подражание архискверному Достоевскому... Муть, ерунда, досадно, что тратил время на чтение»[2].

О том, что у Ленина-читателя отношения с Достоевским-писателем категорически не складывались, хорошо знало окружение вождя, оставшегося равнодушным к каторжно-ссыльной истории русского классика. «Беспощадно осуждал Владимир Ильич реакционные тенденции творчества Достоевского»[3], — сдержанно скажет через три десятилетия после смерти Ленина В. Бонч-Бруевич. Подробности «осуждения» станут известны из книги политэмигранта Н. Валентинова (Вольского), которому о вкусах Ильича рассказал видный большевик В. В. Воровский: «Достоевского [Ленин] сознательно игнорировал... "На эту дрянь у меня нет свободного времени"... Прочитав "Записки из Мертвого дома" и "Преступление и наказание", он "Бесы" и "Братьев Карамазовых" читать не пожелал. "Содержание сих обоих пахучих произведений, — заявил он, — мне известно, для меня этого предостаточно... "Братьев Карамазовых" начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило... Что же касается "Бесов" — это явно реакционная гадость, подобная "Панургову стаду" Крестовского, терять на нее время у меня абсолютно никакой охоты нет. Перелистал книгу и швырнул в сторону. Такая литература мне не нужна, — что она мне может дать?"»[4].

Мрачная тень этих оценок многие десятилетия маячила перед теми, кому по казенной надобности либо по долгу службы приходилось писать о Достоевском. Тон задавали, помимо приватных ленинских откровений, и публичные заявления М. Горького, в разгар первой русской революции указавшего на двух главных врагов России: Толстого и Достоевского: «Я не занимаюсь критикой произведений этих великих художников, я только открываю мещан. Я не знаю более злых врагов жизни, чем они. Они хотят примирить мучителя и мученика и хотят оправдать себя за близость к мучителям, за бесстрастие свое к страданиям мира... Это — преступная работа»[5].

Правда, в 1905 году, печатаясь в легальной большевистской газете «Новая жизнь» и имея сильных оппонентов в буржуаз-

ной прессе, Горький вынужден был соблюдать баланс: предвидя неизбежную реакцию политических противников, а может быть, и действительно *именно так* думая, он сделал сильный тактический ход: «Толстой и Достоевский — два величайших гения, силою своих талантов они потрясли весь мир, они обратили на Россию изумленное внимание всей Европы, и оба встали, как равные, в великие ряды людей, чьи имена — Шекспир, Данте, Сервантес, Руссо и Гёте. Но однажды они оказали плохую услугу своей темной, несчастной стране»[6].

Однако чем более крепла краснофлаговая линия, тем больше оговорок по адресу Достоевского появлялось в речах Горького и тем непримиримее они становились. В 1913-м автор «Братьев Карамазовых» аттестовался все еще как гений, но уже как «злой гений наш»[7]. А 17 августа 1934 года в докладе на Первом Всесоюзном съезде советских писателей ожесточенное «но» Горького прозвучало угрожающе: «Достоевскому приписывается роль искателя истины. Если он искал — он нашел ее в зверином, животном начале человека и нашел не для того, чтобы опровергнуть, а чтобы оправдать... Гениальность Достоевского неоспорима, по силе изобразительности его талант равен, может быть, только Шекспиру. Но как личность, как "судью мира и людей" его очень легко представить в роли средневекового инквизитора»[8].

Фантазия Горького немедленно получила развитие — на той же трибуне, спустя три дня, литературовед В. Б. Шкловский с энтузиазмом заявил: «Спор о гуманизме кончается на этой трибуне, и мы остаемся, мы стали — единственными гуманистами мира, пролетарскими гуманистами»[9]. В Колонном зале Дома союзов, где проходил съезд, запахло судебными санкциями: «Мы должны чувствовать, что если бы сюда пришел Федор Михайлович, то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника, как люди, которые сегодня отвечают за будущее мира. Ф. М. Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе как изменника»[10].

Подходы к Достоевскому, ориентированные на беспощадность Ленина, непримиримость Горького и слаженный хор «пролетарских гуманистов», вскоре дали первый результат. В том же 1934 году издательство «Academia» выпустило очередной (третий) том писем Достоевского с предисловием, исполненным негодования и возмущения. «Идеология фашизма, концентрирующая ныне на всю сумму наличных аргументов против коммунизма, бесконечно ограниченнее и беднее того, что несколько десятилетий тому назад сказал уже на эти темы Достоевский»[11].

Игнорировать факт существования Достоевского в литературе было невозможно: «Academia» считала его крупнейшим мировым художником XIX века. Но изучать и знать его, полагала марксистская критика, следовало только под знаком *преодоления* — как сильнейшего («гигант среди лилипутов мысли»[12]) идейного противника. «Никак нельзя нам учиться *у* Достоевского. Нельзя сочувствовать его переживаниям, нельзя подражать его манере... Для нового человека, рожденного революцией и способствующего ее победе, пожалуй, почти неприлично не знать такого великана, как Достоевский, но было бы совсем стыдно и, так сказать, общественно негигиенично подпасть под его влияние»[13], — писал А. В. Луначарский в 1931-м. Нарком просвещения, один из теоретиков пролетарской культуры, рисовал *социальную биографию* Достоевского как симбиоз честолюбивого, жадного до славы больного мещанина (автора) и циника-мещанина (героя), работавшего зубами, когтями и каблуками, чтобы пробиться к сладкому пирогу. «И в самом Достоевском жил мещанин такого типа: конквистадор и садист»[14]. Этот «полураздавленный мещанин-разночинец, стремившийся к моральному истреблению революции», вдохновлялся, по Луначарскому, Смердяковым и обслуживал контрреволюцию, «вещь для пролетариата не только вредную, но и позорную»[15]. Показательно, что десятью годами раньше, в 1921-м, Луначарский, не помышляя еще о политической гигиене, радовался, что «Россия идет вперед мучительным, но славным путем, и позади ее, благословляя ее на этот путь, стоят фигуры ее великих пророков, и среди них, может быть, самая обаятельная и прекрасная фигура Федора Достоевского»[16].

Можно утверждать: от полного запрета в советскую эпоху Достоевского спас его несравненный, бездонно глубокий гений, а также иллюзия деятелей пролетарской культуры, что где-то в глубине души Достоевский, мечтавший о земном рае и мировой гармонии, увлекавшийся социалистическими утопиями, пострадавший от царизма («самодержавие искалечило писателя, но он остался великаном»), — в большей степени союзник, чем противник советского строя. Критикам новой формации было лестно сражаться с мировым гигантом, обвинять его в непонимании исторических процессов, уличать в отсталости, ловить на противоречиях. По логике победившего пролетариата, Достоевский-идеолог потерпел колоссальное поражение, ибо, предвидя революцию и предчувствуя ее неизбежность, клеветал на нее, изображал карикатурными красками, долго и тщетно против нее боролся.

Но на фоне великой победы (тогда она виделась необратимой) можно было *оставить* в резерве культуры Достоевского-

художника — для назидания. «Достоевский по стилю и духу близок популярнейшим писателям начала XX века, и в произведениях Горького, Андреева, Арцыбашева, Сологуба продолжается разработка тех же мотивов, что и в произведениях классика Достоевского. Можно сказать, что вся современная художественная литература идет по стопам Достоевского, как литература классическая шла по стопам Пушкина. Достоевский — все еще современный писатель; современность еще не изжила тех проблем, которые решаются в творчестве этого писателя. Говорить о Достоевском для нас все еще значит говорить о самых больных и глубоких вопросах нашей текущей жизни»[17], — писал В. Ф. Переверзев. Марксистский критик, обвиненный в меньшевистском ревизионизме и отсидевший 18 лет в лагерях, Переверзев задолго до своего первого ареста в 1938 году сумел внедрить в общественное сознание мысль о сугубой полезности Достоевского делу революции: ведь *всё сбылось по Достоевскому*, ведь этот «мещанин» раскусил самую сердцевину красного перца революции, ведь он, как никто другой, предвидел все ее изъяны и постыдные тайны, всю ее жестокость и безнравственность. «Он знал о революции больше, чем радикальнейшие из радикалов, и то, что он знал о ней, было мучительно и жутко, раскалывало надвое и терзало противоречиями его душу»[18].

От Достоевского нельзя было отмахнуться насмешкой, анекдотом, издевкой. Но можно было попытаться *приручить* гения, заставить работать на новую культуру. Имело смысл прислушаться к нему. Предполагалось, что у него есть чему поучиться: трезво, без сентиментального идеализма, смотреть на мощные революционные волны; не бояться головокружения от революционной качки; сохранять ясность мысли и спокойную уверенность при революционной грозе; правильно реагировать на перегибы революции, не пьянея от ее размаха и не впадая в панику от ее неизбежных срывов. «Знакомя нас с самыми интимными уголками психологии мелкобуржуазной революционности, Достоевский воспитывает в нас чувство осторожной недоверчивости к этой лукавой силе и приучает нас быть готовыми к самым резким поворотам в ходе переживаемой революции»[19]. (Здесь уместно вспомнить, как еще в 1880-м трактовал пресловутую *пользу* от чтения Достоевского К. Н. Леонтьев: «Мнения Ф. М. Достоевского очень важны, не только потому, что он писатель даровитый, но еще более потому, что он писатель весьма влиятельный и даже весьма *полезный*. Его искренность, его порывистый пафос, полный доброты, целомудрия и честности, его частые напоминания о христианстве — все это может в высшей степени благотворно действовать

(*и действует*) на читателей, особенно на молодых *русских* читателей. Мы не можем, конечно, счесть, скольких юношей и сколько молодых женщин он отклонил от сухой *политической злобы нигилизма* и настроил их ум и сердце совсем иначе; но верно, что таких очень много!»[20])

Соблазнительная идея *о полезности* гения открывала богатейшие — много шире дозволенных рамок и классовых условностей — возможности для изучения творческого наследия Достоевского. Шанс приспособить опасного классика для социалистической культуры продержался вплоть до 1990-х годов и стал идейным фундаментом Полного академического собрания сочинений в тридцати томах (1972—1990), уникального издания, непревзойденного по качеству филологической подготовки и по сей день. В редакционном предисловии отмечались важнейшие черты наследия Достоевского, которые являются «достоянием передовых, демократических и социалистических сил», несмотря на свойственные ему как человеку и писателю «многочисленные, исторически обусловленные ошибки и заблуждения»[21]. Среди этих черт — гуманизм, острое чувство справедливости, вера в русский народ, который «своим братским примером поможет другим народам в общем движении человечества к свободе и счастью»[22]. «Эти предвидения Достоевского претворила в жизнь Великая Октябрьская социалистическая революция»[23], — утверждали редакторы издания. Даже если эта фраза была сплошь ритуальной, обойтись без нее для такого рискованного предприятия, как полный Достоевский, в ту пору все еще не представлялось возможным. Советская пропаганда всегда рекомендовала обращаться к Достоевскому как к умелому оппоненту капиталистического строя, борцу с *официальной* религией, критику радикального либерализма и утопического мелкобуржуазного социализма. Считалось, что знать Достоевского необходимо, особенно для тех, кто занят борьбой на идеологическом фронте. Достоевскому вменяли обязательства, которых сам он на себя никогда бы не взял.

...А марксистская критика 1930-х, понимая, что одним только творчеством никак не обойтись, предложила даже и ракурс, в котором следовало рассматривать личность писателя, его жизнь и судьбу. «Все его повести и романы — одна огненная река его собственных переживаний. Это — сплошное признание сокровенного своей души. Это — страстное стремление признаться в своей внутренней правде... Достоевский тесно связан со всеми своими героями. Его кровь течет в их жилах. Его сердце бьется во всех создаваемых им образах. Достоевский рождает свои образы в муках, с учащенно бьющим-

ся сердцем и с тяжело прерывающимся дыханием. Он идет на преступление вместе со своими героями. Он живет с ними титанически кипучей жизнью. Он кается вместе с ними. Он с ними, в мыслях своих, потрясает небо и землю. И из-за этой необходимости самому переживать страшно конкретно все новые и новые авантюры он нас потрясает так, как никто»[24].

Так «архискверный» Достоевский получил в Стране Советов право на биографию.

* * *

Первый биограф Достоевского, профессор Санкт-Петербургского университета Орест Федорович Миллер, приступивший к сбору материалов для жизнеописания сразу же после смерти писателя, жаловался на равнодушие и неотзывчивость лиц, близко знавших покойного, хранивших его письма, но не торопившихся их обнародовать. «Смелости не хватает назвать настоящим жизнеописанием то, что́ может образоваться от приведения в порядок имеющегося теперь материала. Слишком много еще ощущается различных пробелов, пополнить которые зависит от доброй воли тех, кто, должно быть, считает письма Достоевского или же свои воспоминания о нем своею частною собственностью... Хотя жизнеописание Достоевского еще невозможно в своем настоящем смысле, — удерживать под спудом накопившийся уже материал было бы, в свою очередь, со стороны собирателей присвоением себе общественной собственности. Пусть только публика смотрит на то, что́ представляется ей на этих страницах, как на свод материалов — не более»[25].

И в самом деле, прижизненная критика — и революционно-демократическая, и умеренно-консервативная, и религиозно-философская — биографией Достоевского не занималась, как не занимался ею вообще почти никто до революции. Интерпретаторы творчества писателя были поглощены острой мировоззренческой борьбой. Вокруг имени классика сталкивались личности, группы, направления, партии. Идеологи самых разных течений русской и европейской мысли готовы были видеть в нем своего предтечу — или своего непримиримого врага. В течение четырех предреволюционных десятилетий ревдемовская критика упрекала Достоевского в злобной и лживой клевете на прогрессивные общественные движения. Радикальные публицисты (П. Н. Ткачев, Н. К. Михайловский, П. Л. Лавров, Г. И. Успенский) настойчиво подчеркивали: Достоевский нарушил правду жизни, выдав *часть* за *целое*. Мы, революционеры, *не такие*, какими изобразил нас Досто-

евский. *Не мы* являемся прототипами бесов, выведенных в его романах. Те, которых имел в виду Достоевский, *не имеют с нами ничего общего*. Для критики этого типа Достоевский, по утверждению Н. А. Бердяева, «был совершенно недоступен, у нее не было ключа к раскрытию тайн его творчества»[26]. Не было у них поползновений и к раскрытию тайн его личности.

Однако и мыслителей иного духовного склада, считавших себя учениками Достоевского, интересовал не столько писатель в его человеческом измерении, сколько то, обрел ли учитель истину или остался *накануне* истины — о Христе и Антихристе, о русском народе и его судьбе. «На чью сторону стал бы Достоевский, на сторону революции или реакции? Неужели и теперь не почувствовал бы дыхания уст Божиих в этой буре свободы? Неужели и теперь не отрекся бы от своей великой лжи для своей великой истины?»[27] — такая мысль занимала в 1906 году Д. С. Мережковского, сильно полевевшего в разгар первой русской революции. Автор монументальной книги «Толстой и Достоевский» отрекался от того, чем дорожил создатель «Карамазовых»: «Если бы он увидел то, что мы сейчас видим, — понял ли бы, что православие, самодержавие, народность, как он их разумел, не три твердыни, а три провала в неизбежных путях России к будущему? Она пошла туда, куда он звал, к тому, что он считал истиной. И вот плоды этой истины. Россия уже не "колеблется", а падает в бездну»[28].

Крупнейшие русские философы — К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, Вл. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, Вяч. И. Иванов, Д. С. Мережковский, Л. И. Шестов, С. Л. Франк и другие представители русского культурного ренессанса из тех, кто считал Достоевского «ушедшим вождем и богатырем духа»[29], — сформулировали центральные темы независимого и неподцензурного спора о Достоевском, но никогда не занимались проблемами биографии писателя, которого в своем кругу интимно называли «Федор Михайлович». Он интересовал их не столько в полноте жизни, сколько в полноте мысли — как пророк нового христианства, как глашатай русской мессианской идеи, как гениально прозорливый современник, во многом угадавший пути и судьбы России. Показательно, что Вл. Соловьев, связанный с Достоевским близким знакомством, писал: «В трех речах о Достоевском я не занимаюсь ни его личной жизнью, ни литературной критикой его произведений. Я имею в виду только один вопрос: чему служил Достоевский, какая идея вдохновляла всю его деятельность?»[30]

Спустя тридцать лет после кончины писателя один из самых зорких его истолкователей В. В. Розанов вспоминал, как еще студентом услышал скорбную весть о смерти кумира.

«“Достоевский умер”, — и значит, *живого* я никогда не могу его увидать? и не услышу, *какой* у него *голос!* А это так важно: *голос* решает о человеке все... Не глаза, эти “лукавые глаза”, даже не губы и сложение рта, где рассказана только биография, но *голос*, то есть врожденное *от отца с матерью*, и, следовательно, из вечности времен, из глубины звезд...»[31] Однако речь в статье все равно шла об *истинности тона:* «Он говорил, как кричит сердцевина моей души»[32].

Личность Достоевского, писал годом раньше русский философ В. Ф. Эрн, высится над всеми его творениями, «остается неисчерпанной, хранящей по-прежнему тайну, которую не могут вместить никакие слова и намекнуть на которую может только слово поэта или художника...»[33]. «Мало знать, — утверждал Эрн, — что написали и что сказали Гоголь, Достоевский или Соловьев, нужно знать, *что́* они пережили и *как* они жили. Порывы чувства, инстинктивные движения воли, выраставшие из несказанной глубины их молчания, нужны не для простого *психологического* истолкования их личности (так сказать, для полноты биографии), а для углубления в *“логический” состав их идей*»[34]. Неразрывность личности и слова Достоевского понималась русской философской мыслью, для которой *персонализм* имел не случайный, а сущностный характер.

* * *

Так случилось, что «Материалы для жизнеописания Достоевского» О. Ф. Миллера, включавшие устные рассказы, записки и воспоминания лиц, близко знавших писателя, стали основой для всех последующих биографий Достоевского и надолго сохраняли значение первоисточников. Предостерегая будущих биографов от ложных шагов, Миллер сделал специальную оговорку: «Романами Достоевского, как источником для его биографии, можно пользоваться только с величайшей осторожностью»[35]. Ложных (порой заведомо ложных, нарочитых и измышленных) шагов будет сделано в многочисленных жизнеописаниях Достоевского за минувшие десятилетия немало — соблазна отыскать в жизни писателя те самые скелеты, что прятались в шкафах его героев, избежали немногие.

Впрочем, выдающийся пражский филолог А. Л. Бем, труды которого составили эпоху в изучении Достоевского, придерживался совсем иного подхода к биографии писателя. Личность этого гения, полагал ученый, можно постичь только через его произведения, в которых течет глубинный ток жизни. «Перед биографом Достоевского становится трудная задача, которая по силам лишь человеку с большой психологической

интуицией, — воссоздать духовный облик Достоевского на основании отражения его индивидуальности в объективных данных его творчества. *Не объяснение творчества через познание жизни, а воссоздание жизни через раскрытие творчества — вот путь к познанию тайны личности Достоевского*»[36].

Бем писал о чувстве неудовлетворенности, которое возникает у всякого, кто изучает источники биографии Достоевского, и заставляет разыскивать то *скрытое* в его жизни, что необходимо найти и расшифровать. То главное, что могло бы дать ключ к личности писателя, остается неуловимым. «Как-то так случилось, что величайший из русских писателей даже ко дню столетия своего рождения остался без биографии. Ведь всё то, что мы знаем о жизни Достоевского, так мало прибавляет к тому, что мы знали о нем тогда, когда ничего, кроме произведений его, не читали... Не расширение знания выносим мы от знакомства с его жизнью, а чувство непостижимой загадки. Точно вокруг Достоевского составился какой-то заговор, который имел целью скрыть от нас именно то, что бросило бы луч света в темное царство внутреннего мира писателя»[37].

Загадка имела для Бема внешние объяснения: чрезмерная замкнутость Достоевского, который не любил много говорить о себе и привлекать к себе внимание; ложная скромность его ближайших друзей, которые, оставляя записки и воспоминания, многое скрыли от глаз читателя; органическое непонимание даже самыми близкими людьми тех «глубин сатанинских», которые были ведомы душе Достоевского. Бем прямо укорял вдову писателя А. Г. Достоевскую в сознательном сокрытии чрезвычайно важных моментов жизни ее великого мужа из боязни замутнить его образ, бросить тень на его личность. «Чувство ложное, потому что не праздное любопытство к интимным сторонам жизни писателя влекло к его изучению, а непреодолимая потребность понять его во всей его сложности и противоречивости. Мы давно знали, что наследие Достоевского хранит много для нас неожиданного, но наследие это тщательно охранялось женою писателя, ныне покойной, Анной Григорьевной. Кое-что начинает проникать в печать; так, воспоминания дочери писателя, Любови Достоевской, вводят ряд очень любопытных фактов, до сих пор вовсе не известных... Но все же и сейчас (Бем писал это в 1923 году. — *Л. С.*) Достоевский "писатель без биографии"»[38].

...Много воды утекло с тех пор: все, что было найдено и обнародовано, открыто и предано гласности, написано и напечатано, дает твердое основание считать, что тезис «Достоевский — писатель без биографии» уже совершенно устарел. Сборники документов, хронологии и летописи, энциклопе-

дии, монографические труды, новейшие штудии о предках и потомках писателя, сведения о людях, окружавших его в местах постоянных и временных пребываний, а также фотографические описания этих мест и даже беллетристические сочинения, использующие интерес к великому имени, стали строительным материалом для грандиозного здания под названием «Жизнь и судьба Достоевского».

Можно, конечно, говорить о белых пятнах, о непроясненных обстоятельствах, об утерянных рукописях и пропавших письмах, которые, будь они найдены, пролили бы новый свет... Но даже самая полная фактическая картина, даже самая подробная хронология, где расписаны каждый день и час, все равно оставили бы место для вопросов и размышлений, издавна волновавших воображение каждого, кто прикасался к Достоевскому.

Так, Мережковского тревожил «смущающий» вопрос — было ли в реальной жизни писателя все то страшное и жестокое, что заполнило его романы? И в чем причина неодолимой потребности Достоевского-художника исследовать самые опасные и преступные бездны человеческого сердца? «Мог ли он все это узнать *только по внешнему опыту*, только из наблюдений за другими людьми? Есть ли это любопытство *только* художника? Конечно, ему самому не надо было убивать старуху, чтобы испытать ощущение Раскольникова. Конечно, тут многое должно поставить на счет ясновидения гения; многое — но *всё ли*?»[39]

«Нет ли *органического* порока в самой жизни Достоевского, который навсегда замыкает путь к его личности через изучение его биографии? — настойчиво вопрошал Бем. — Мы подходим к ответу на “смущающий” вопрос. Да, написанное Достоевским есть отражение его подлинного опыта, но этот опыт далеко не всегда находит себе выражение вовне, в фактах его жизни. Он жил внутри себя и внутри проделывал свой жизненный путь. Здесь были свои вершины моральных достижений, но здесь же были и неизведанные глубины человеческих провалов, “седьмое хрустальное небо” и бездна греха содомского. Конечно, подземные потоки иногда бурно прорывались наружу, но эти прорывы Достоевский тщательно скрывал, и следы их можно отыскать лишь в его произведениях... Жизнь, и святая и преступная, шла внутри и создавала свой странный фантастический мир»[40].

Что заставляло Достоевского искать в окружающем мире самое трудное, бедственное, беспросветное? Являлось ли его творчество той освобождающей, исцеляющей силой, которая спасала художника, давала выход его внутренним напряжени-

ям и духовным надрывам — или, напротив, творческая фантазия будила дремлющие силы судьбы, провоцировала их и со всей яростью обрушивала на художника? Было ли внешнее бытие писателя отделено непроницаемой стеной от романной действительности, той самой, где царил «реализм в высшем смысле»? Или граница между ними была зыбкой, мерцающей, подвижной, неуловимо менявшейся? Где истоки его невероятной искренности, его потрясающей жизненности, переступающей порой «за черту» искусства?

Не раз было отмечено, что Достоевский дробит свое «я», отождествляя разные стороны своей личности и своей психики с разными же персонажами (и даже отдает свое имя и свои излюбленные идеи персонажам заведомо негативным). Возможно ли собрать воедино все части «я» Достоевского? Или эта заманчивая задача невыполнима в принципе, поскольку собранные вместе «я» не составят цельный образ, а создадут нечто карикатурное, измышленное, далекое от всякой реальности? Почему Достоевский наградил *своей* «священной болезнью»* столь различных героев: злого старика-чернокнижника, разбойника и душегубца Мурина; влюбленного мечтателя Ордынова; тринадцатилетнюю сиротку Нелли, не смирившуюся с обидчиками покойной матери; князя-Христа Льва Мышкина; нигилиста Алексея Кириллова; «изверга»-лакея Павла Смердякова? «Как знать, — писал об этом феномене Мережковский, — не касаемся ли мы здесь самого глубокого первоначального и неразгаданного в существе Достоевского, в его телесном и духовном составе? Не сходятся ли в этом узле все нити клубка?»[41]

Достоевский обладал мощнейшим интеллектом, который был всецело направлен на «вечные вопросы» бытия. Центральный среди них — вопрос о существовании Бога. В письме А. Н. Майкову, рассказывая о замысле романа «Житие велико-

* Достоевский так описал болезнь князя Мышкина: «В эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг, и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины...» Эти мгновения, припоминаемые уже в здоровом состоянии, оказывались «в высшей степени гармонией, красотой», давали «неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и встревоженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни».

го грешника», Достоевский писал: «Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие. Герой, в продолжении жизни, то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист». «Меня Бог всю жизнь мучил», — признается в «Бесах» и Кириллов.

Что означает это «мучение» для автора, биографического Достоевского, и что — для нигилиста-самоубийцы? Почему столь различно каждый из них распорядился своим «мучением»? Было ли это мучительное вопрошание творческим стимулом искать ответ снова и снова или «мучению» суждено было оставаться вечным риторическим тупиком?

Даже этих вопросов (перечень их далеко не полон) достаточно, чтобы оправдать попытку заново дотронуться до великой жизни. Приведу несколько соображений, на которые хочу опереться как на принципы.

«Для меня, — писал Мережковский, когда еще не было ни летописей, ни энциклопедий, ни биогра́фических исследований, посвященных Достоевскому, — что́ бы ни узнал я дурного, преступного, даже постыдного — если вообще что-либо подобное было — о жизни, о действиях Достоевского, образ его не омрачится, и окружающий его ореол святости не потускнеет, ибо я чувствую, что горевший в нем огонь все победил и все очистил. И сам он чувствовал силу этого очищающего огня. Им он жил и от него умирал»[42].

С. Н. Булгаков, один из тех русских мыслителей, кому огонь Достоевского помог понять прежде всего себя самого, размышлял о причудливой изломанности души писателя, о печати особенно глубокой тайны, которой запечатлена его индивидуальность. Стремясь разгадать эту тайну, познать стихию души Достоевского (подобно тому как Достоевский пытался разгадать тайну Пушкина), Булгаков говорил о *внутреннем оке каждого*, кто что-то чувствует в Достоевском, думает о нем, верит в него. Понять тайну личности Достоевского — значит духовно познать ее, и это познание есть *интимный внутренний духовный акт*. Для того, кто однажды *заметил* Достоевского, он «становится спутником на всю жизнь, мучением, загадкой, утешением. Середины здесь быть не может. Заметив Достоевского, нельзя уже от него оторваться... И в этом смысле отношение к Достоевскому более, чем многое другое, характеризует собственную индивидуальность человека, определяет его, так сказать, калибр»[43].

Гипотеза Булгакова о *внутреннем оке*, о сугубо личном характере общения с Достоевским зовет каждого, кто однажды *заметил* Достоевского, прикоснуться к этой огненной стихии.

Воспользуюсь этим зовом и я — биография Достоевского попрежнему актуальна и как научная проблема, и как художественное задание, и как историческое исследование.

Отношение к Достоевскому в России всегда было лакмусом — сверхсильным реактивом на политические кислоты и идеологические щелочи. Нынешнее время располагает думать, что рухнувшие оковы духовной несвободы придадут новый импульс постижению великих творений Достоевского, его жизни и судьбы. Однако у всякого времени — свои оковы. Теперь от Достоевского тоже ожидается *польза* — учительство и духовное руководство. Предполагается, что он возьмет за руку своего читателя и поведет его к некоему конечному пункту, ибо этот пункт и есть истинная цель читателя Достоевского. Писатель же, честно отработав маршрут, может вернуться к исходной точке за новой порцией идущих к финишу — ибо дошедшие, поблагодарив проводника, более не испытывают в нем нужды. В Достоевском снова хотят видеть лишь *средство* — мощное, безотказное — для достижения результата, который находится за пределами мысли и слова писателя.

Но Достоевский *не есть средство*. Достоевский *есть цель*. В. В. Розанов приводил главный аргумент «от Достоевского»: на путях достижения даже и высших целей нельзя превращать человека в средство. «Человеческое существо, до сих пор вечное средство, бросается уже не единицами, но массами, целыми народами во имя какой-то общей далекой цели, которая еще не показалась ничему живому, о которой мы можем только гадать. И где конец этому, когда появится человек *как цель*, которому принесено столько жертв, — это остается никому не известным»[44].

Только воспринятый к*ак цель*, Достоевский открывает свою суть тому, кто думает, читает, пишет о нем. Воспринятый в своей собственной величайшей ценности, *самоценности*, а не как новомодная инструкция по применению, Достоевский указывает пути идущим, ибо он, «великий зачинатель и предопределитель нашей культурной сложности»[45], — из тех художников прошлого, кто выполняет работу сегодняшнего и завтрашнего дня истории.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РОДОСЛОВНАЯ ДЕТСТВА

Глава первая

«ИЗ ВЕЧНОСТИ ВРЕМЕН, ИЗ ГЛУБИНЫ ЗВЕЗД...»

Биографы-первопроходцы. — Князь Андрей Курбский. — Земянин Федор Достоевский. — Данила Ртищев и его потомки. — Село Достоево. — Герб Радван. — Историческая память писателя. — Родословные пустоты

Первый Федор Достоевский (по отчеству Иванович), оставивший след в исторических бумагах, был обнаружен вдовой Федора Михайловича Достоевского А. Г. Достоевской. Та часть ее личного архива, которая интересует нас в первую очередь, — записные тетради с выписками и деловыми заметками, — непростыми путями* поступила в 1921 году из Областного отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины в будущий Рукописный отдел Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский Дом)[1], где вскоре с ней познакомился литературовед Л. П. Гроссман. Первопроходцу жанра (он работал над рукописями Достоевского в московском Историческом музее еще весной 1917 года[2]) предстояло убедиться, что Ф. М. обладает «самой замечательной биографией, вероятно, во всей мировой литературе»[3]. В 1928-м Гроссман составил сборник — «первую попытку дать прагматическую биографию Достоевского на основе сводки мемуарных и эпистолярных свидетельств о нем с привлечением различных,

* По свидетельству внука Ф. М. и А. Г. Достоевских А. Ф. Достоевского, этот архив после 1914 года был сдан вдовой писателя на склад ломбарда в Петрограде. О его местонахождении Пушкинскому Дому сообщил в конце 1920 года бывший секретарь Ученой археологической и археографической комиссии известный знаток древностей Н. Г. Пиотровский, служивший в то время хранителем музея С. Д. Шереметева в Петрограде.

часто неизданных официальных документов»[4]. В 1935-м необходимейшие биографические сведения о предках Достоевского вошли в состав фундаментальной «Биографии в датах и документах»[5].

Книга, откуда А. Г. Достоевская сделала выписки, по-видимому, не принадлежала писателю, а была кем-то показана его вдове, ибо содержала два упоминания единственной в своем роде фамилии[6]. Первое: «Допрос княгини Курбской о том, куда девала она документы, похищенные ею у князя Курбского, 1578, января 10 дня. Княгиня Курбская говорит, что бумаги переданы ею прокуратору нашему пану Федору Достоевскому с условием, что он возвратит ей собственноручно и не отдаст, если будут к нему посланы от ее мужа или от нее самой»[7]. Второе: «Дело об убиении слуги князя Курбского, московитянина Ивана Ивановича Келемета. Князь Курбский просит чрез уполномоченного приятеля своего пана Федора Достоевского, земянина его королевской милости повета пинского»[8].

Итак, у князя Андрея Курбского, потомка смоленско-ярославской линии Рюриковичей, в ту пору, когда он, опасаясь царской опалы, уже сбежал в Литву, писал дерзкие письма Ивану Грозному и пытался объяснить превращение доброго царя-батюшки в кровожадного тирана, имелся некий помощник по юридической части, пан Федор Достоевский, земянин (то есть землевладелец) Пинского повета. Это была ниточка, ухватившись за которую, можно было надеяться размотать весь клубок.

Параллельно с Гроссманом над изучением «самой замечательной биографии» работали в 1920-е годы члены Русского евгенического общества генеалог С. В. Любимов, озаботившийся происхождением рода Достоевских и собравший сведения о большинстве его представителей[9], и архивист Н. П. Чулков (младшие современники запомнят его как чудесного старичка, великого знатока государственных и семейных архивов XVIII и XIX веков, лучшего специалиста по истории русского быта, служебных и родственных связей). В статье «Род Достоевского» (неопубликованной и растворившейся в составе примечаний к «Воспоминаниям» А. М. Достоевского, младшего брата писателя, а также в прочих справках и выписках) поставлена исходная дата возникновения фамилии — *6 октября 1506 года*. Спустя пятьсот лет, в октябре 2006-го, эту дату будут вспоминать и славить.

«Родоначальником Достоевских является Данило (Данилей) Иванович Иртищ (Ртищевич, Иртищевич, Артищевич), боярин Пинского князя Федора Ивановича Ярославича... 6 октября 1506 года князь Пинский... пожаловал своему боярину

Даниле Ивановичу Иртищевичу несколько имений, в том числе “Достоев”, расположенный к северо-востоку от Пинска, между реками Пиной и Яцольдой, на границе бывшего Кобринского уезда. Данило Иванович имел двух сыновей Ивана и Семена Даниловичей, земян пинских. Семен встречается еще со старым фамильным прозвищем Артищевич, а Иван — уже с новым, по имению, Достоевский»[10]. Заметим, что Федор Иванович Достоевский, *уполномоченный приятель* князя Курбского, приходился боярину Даниле Ивановичу родным внуком по мужской линии. Из этой ветви рода вышел и сам писатель.

Село Достоево и сегодня существует в Белоруссии, в Брестской области. Его название, скорее всего, связано с древнеславянским словом «достой», то есть «достойный», сохранившимся в чешском и словацком языках. Притяжательная форма названия позволяет предположить, что оно образовано от имени или прозвища основателя села.

В 1933 году в Москве был опубликован капитальный труд «Хроника рода Достоевского. 1506—1933»[11]. Этому собранию материалов о жизни, быте и особенностях характера родичей Достоевского, начиная с живших еще в XVI веке отдаленных предков и кончая внуками и правнуками, суждено было стать классикой жанра. Автор труда М. В. Волоцкой, генетик и антрополог, член Русского евгенического общества, работал над характерологическим анализом личности Достоевского и на первых порах решал лишь генетико-биологические задачи, однако увлекся и расширил рамки своего исследования, так что в его книгу вошли ценнейшие документы, показывающие роль наследственных факторов в формировании человеческой личности.

Двадцатые и тридцатые годы прошлого века стали временем новейших «родословных разведок» и сделали эпоху в изучении биографии Достоевского.

...И все же откуда в Литве взялись великорусские Иртищи-Ртищевы, выходцы из государства Московского? Исторические источники упоминают некоего знатного татарина по имени Аслан Челеби-мурза, в 1389 году выехавшего из Золотой Орды с тридцатью сотоварищами, крещенного в православие великим князем Московским Дмитрием Донским под именем Прокопий, женившегося на дочери княжеского стольника Зотика Житова Марии и получившего «в кормление» город Кременецк. «У сего Прокопия был сын Лев по прозванию Широкий Рот, коего потомки Ртищевы Российскому Престолу служили Стольниками и в иных чинах, и жалованы были от Государей поместьями»[12]. Луна, шестиугольная звезда и два

вооруженных татарина со щитами, изображенные на гербе Ртищевых, недвусмысленно указывают на корни рода; и мы наблюдаем, как потомок татарского мурзы, ставший православным русским боярином и награжденный землями от пинского князя (отец которого, Иван Васильевич, в 1456 году в княжение Василия Темного бежал из Московии в Литву), дает жизнь «литовцам» Достоевским.

На том, что Ф. М. Достоевский имел литовское, вернее, «норманно-литовское» происхождение и был «истинным шляхтичем», горячо настаивала в своей книге об отце его дочь Л. Ф. Достоевская. Написанная по-французски и изданная в немецком переводе в Мюнхене (1920) книга с большими сокращениями была переведена на русский с немецкого в 1922 году[13], вызвав как ценнейший первоисточник огромный интерес специалистов — и законное негодование, ибо Любовь Федоровна настойчиво пыталась убедить читателей, что отец ее был ни в коем случае не русским, но европейцем. «Эта мысль, не имеющая в основе ни тени убедительности, приняла в работе Л. Ф. Достоевской формы и размеры, которые без всякого преувеличения надо назвать маниакальными»[14].

Дочь писателя мало знала о московских и питерских родословных розысках и, по-видимому, ничего не слыхала о татарине Аслане Челеби, о Ртищевых из Московии и их *русских* потомках. Не подозревала она и о грамоте («привилее»), упоминаемой в исторических источниках XVI века, по которой 6 октября 1506 года пинский князь Федор Ярославич (потомок героя Куликовской битвы Владимира Андреевича Храброго) и его супруга Олена пожаловали приближенному к ним боярину Даниле Иртищеву (Иртищу) грамоту на «вечное и непорушное» владение «дворищами» в Достоеве, Полкотичах и других селах, вместе с землями пашными, лесными и луговыми угодьями, реками.

В селе Достоеве, родовом гнезде Достоевских, расположенном на территории нынешней Белоруссии, в 16 километрах от Иванова, районного центра Брестской области, насчитывается сегодня около сотни дворов, имеется школа имени Ф. М. Достоевского, возле которой установлен бронзовый памятник писателю; в школе открыт краеведческий музей. А в XVI веке Достоево относилось к Поречской волости Пинского уезда и входило в Великое княжество Литовское. «Когда-то это была самая дикая часть Литвы, почти сплошь покрытая непроходимыми лесами; вокруг Пинска на необозримом пространстве простирались болота», — писала Л. Ф. о крае, который знала только по книгам. Но и те, кто знал Полесье не понаслышке, говорили о нем как о загадочном, затерянном мире в

самом центре Европы. Усадьба Достоевских не сохранилась, не осталось даже стен, но с помощью старых инвентарных описаний можно представить, каким был этот просторный деревянный фольварк: панский двор окружали ров и забор, в доме было пять жилых комнат, столовая, сенцы и каплица (часовня), рядом кухня и амбары. В усадьбе имелись два плодовых сада и огород, в хозяйственной части — мельница, пивоварня, гумно, скотный двор, строения для прислуги и эконома. Территорию усадьбы окружала деревянная ограда с несколькими въездами, один из них венчала двухэтажная деревянная башня с высокой шатровой крышей. Неподалеку от въездной башни находилась деревянная Ильинская церковь, завершавшая архитектурный ансамбль усадьбы.

Сын первого владельца села Достоева Данилы Ивановича Ртищева, Иван Данилович, взял себе фамилию Иртищ-Достоевский, а уже его сыновья — Федор и Стефан Ивановичи стали писаться просто Достоевскими. Так возник род типичной для Полесья средней служилой шляхты, владевшей фольварками, занимавшей разные государственные должности и имевшей свой герб. «Достоевские были шляхтичами и принадлежали к "Гербу Радвана", что означало, что они были знатными, шли на войну под знаменем своего покровителя Радвана и имели право носить его герб», — писала Любовь Федоровна.

Польская шляхта, связанная между собой соседством или родством, во время войн выступала под одним знаменем или хоругвью. В лексикон шляхтичей вошло понятие «гербовое родство», когда семьи, не состоявшие в кровных связях, объединялись под одним гербовым знаменем. К гербу Радван, помимо Достоевских, принадлежало еще 150 шляхетских фамилий. Геральдические справочники дают детальное описание герба — в красном поле золотая церковная хоругвь с тремя концами, над ней, по середине ее верхнего края, помещается золотой кавалерский крест или конец стрелы, над верхом с короной пять страусиных перьев. Легенда относит возникновение герба к войнам XI века, которые польский король Болеслав II Смелый (1042—1081) вел с «Роксоляне» (Русью). «Начальник воинства, дабы тщательным радением безопаство воинству промыслить», послал на разведку некоего воина по имени Радван, который, чтобы приободрить войско, «побежал в село ближнее, похватил хоруговь из церкви, прибежал на неприятелей, познали ратные люди своего водителя, восприяли сердце, и помышляющу неприятелю, что новое войско с новым знаменем воинским пришло, разбили, да победу двоежды восприяли. Возвратився в обоз Радван со многими пленники с

знамены, с добычью и с победою во свидетельство вечные славы, хоругвь церковную с крестом и половиною стрелы от Болеслава короля в клеймо и герб шляхетства себе и наследником своим сподобился и улучил»[15].

Фамилия Достоевских, как писал Андрей Михайлович, «принадлежит к числу очень древних дворянских фамилий, по крайней мере в родословной книге кн. Долгорукова дворянская фамилия эта отнесена к существовавшим ранее 1600 года литовским фамилиям; однофамильцев же у нас не имелось и не имеется». В Пинском крае шляхтичи Достоевские продержались около двух веков и занимали посты поветовых маршалков (местных дворянских предводителей), послов в сейме, городских судей, земских судовых урядников, членов Главного трибунала Великого княжества Литовского. Одни переходили в латинскую веру, священствовали и монашествовали и даже достигали епископского сана, другие были деятельными униатами и громили православные приходы, третьи же защищали православие и боролись против ополячивания края.

Достоевские торговали и воевали, прикупали земли и продавали из-за долгов наследственные имения, попадали в турецкий плен и возвращались домой, участвовали в избрании польских королей, обладали буйным и непокорным нравом, ссорились и мирились с соседями, не всегда ладили с законом. Во второй половине XVII века род навсегда покидает свои семейные гнезда, перебирается на Украину, находит пристанище в Подолии и на Волыни — и частота упоминаний фамилии в исторических документах резко падает. «Когда мои предки покинули темные леса и топкие болота Литвы, их, должно быть, ослепили свет, цветы, греческая поэзия Украины; душа их, согретая южным солнцем, изливалась стихами», — писала Любовь Федоровна; но наверняка для миграции на юг имелись и другие причины.

Современные исследователи, при всех успехах новейших научных разысканий, всё же констатируют: данные, добытые кропотливыми архивными трудами, поколебав или вовсе отменив старые представления, породили множество новых вопросов. «Каким-то почти мистическим образом, будто компенсируя разгадку некоторых своих тайн и загадок, тема родословия породила уже новые сюжеты»[16]. По-прежнему нет ответов на самые насущные вопросы, а те ответы, что есть, не обходятся без осторожных оговорок, порой превращающих ответ в вопрос; многие пункты родословия по-прежнему остаются сферой предположений, допущений, гаданий, а то и фантазий. «Родословная героя темна, обрывочна, неполна», а *родословные разведки* видятся как блуждания в «генеалогических по-

темках»[17]. Справедливо и другое: «Сколь бы тщательно ни вычерчивать генеалогические таблицы, они не прояснят ни тайну личности, ни тайну творчества»[18].

Сам Достоевский, по-видимому, мало интересовался своей родословной. Мы не встретим в его письмах и сочинениях ни заметок о выходце из Золотой Орды, ни сведений о роде Ртищевых. В «Дневнике писателя на 1877 год» есть упоминание о князе А. М. Курбском, «русском эмигранте 16-го столетия», но вовсе не в связи с его «уполномоченным приятелем», тезкой писателя, а в связи с «Песней» Лермонтова про купца Калашникова. В родительском доме тема рода была под запретом — отец Достоевского, по словам Любови Федоровны, «никогда не говорил о своей семье и не отвечал, когда его спрашивали о его происхождении». И только годам к пятидесяти он вдруг озаботился узнать, что стало с отчим домом и домочадцами, напечатал в газетах объявление, где просил родных дать сведения о себе. «Никто не ответил на это объявление. Вероятно, родители уже умерли — Достоевские не достигают глубокой старости».

А. М. Достоевский сомневался даже в отчестве своего деда: «Из некоторых бумаг покойного отца, случайно перешедших ко мне, видно, что отец моего отца, то есть мой дед Андрей, по батюшке, кажется, Михайлович, был священник. Про мать же свою мой отец, сколько я могу упомнить, отзывался с особенным уважением, представляя ее женщиной не только умною, но и влиятельною в своем крае по своему родству; девической фамилии ее, впрочем, я не знаю». Впечатляющая неосведомленность внука-дворянина, который не знает отчества деда, девичьей фамилии бабушки, приписывает село Достоево к Каменец-Подольской (а не Минской) губернии, могла означать, что родословием в этой семье не «болел» никто. А ведь он начинал свои записки о детстве еще при жизни старшего брата, в 1875-м...

Не осталось никаких следов от переписки Ф. М. Достоевского с Н. Е. Глембоцкой, которая в своем письме писателю в ноябре 1879 года назвалась его двоюродной сестрой, подробно описала состав семьи их общего деда, Андрея Достоевского, и просила о помощи. «Неужели его не привлекла возможность узнать о своем деде и других родственниках больше, чем содержится в скупых строчках письма? — задаются вопросом новейшие авторы. — Обращался ли он к Глембоцкой с подобными вопросами? Получил ли какие-нибудь сведения? Увы, ответ на все эти вопросы скорее всего должен быть отрицательным — ведь узнай писатель хоть что-нибудь, информация о его украинских родственниках непременно просочилась бы к

жене Федора Михайловича и его брату Андрею. Но их мемуары об этом молчат...»[19]

Именно А. Г. Достоевская первой среди родственников писателя, через много лет после его кончины, стала собирать сведения о роде Достоевских, изучать архивы, слать запросы (в 1897-м она отправила письмо приходскому священнику села Достоево А. Кульчитскому с просьбой просмотреть в метрических книгах церкви, кто из Достоевских жил, родился, венчался или умер в Достоеве, и прислать ей выписку). Анне Григорьевне удалось увлечь генеалогией рода и потомков писателя, и его первых биографов.

Личная историческая память Достоевского, если судить по письменным свидетельствам, не простиралась далее отца и матери. Правда, в записных тетрадях его вдовы встречаются поздние сведения, отчасти смягчающие эту картину: вроде бы Федор Михайлович чтил память дальнего предка Стефана Достоевского и готов был назвать младшего сына его именем («перед рождением Леши мы не знали, как назвать его; я хотела назвать Иваном, а Федор Михайлович Степаном, в честь родоначальника рода Достоевских»[20]). А в письме батюшке Кульчитскому А. Г. утверждала, что покойный муж много раз говорил ей, будто его род происходит из Литвы от пинского маршалка Петра Достоевского, выбранного в сейм в 1598 году и проживавшего со своим потомством в Достоеве.

Однако никуда не деться от того факта, что Ф. М. никогда не прибегал к генеалогическим аргументам. Однажды в тетради 1870 года среди заметок о припадках он записал, что во сне ему привиделся покойный отец, предупредивший сына, что тому грозит грудная болезнь. «Потом у отца какой-то семейный праздник, и вошла его старуха-мать, моя бабка, и все предки. Он был рад». Достоевский, а также его родные братья и сестры не знали, однако, даже имени своей бабушки (как выяснилось много позже, Анастасии), не говоря уже о «всех предках». Самой таинственной фигурой из ближайших родных оставался дед по отцовской линии. «Достоевский оказывается *единственным* крупным русским писателем, “отрезанным” не только от своих предков по отцовской линии, но и от “родового гнезда”»[21].

Здесь необходимы исторические объяснения: жестокий XVII век, его смуты и войны, межгосударственные распри и тяжеловесная дипломатия, внутренние мятежи и брожения; драматическая судьба Речи Посполитой, воссоединение Украины с Россией, три раздела Польши; оскудевающая мелкопоместная шляхта, теряющая со временем и свои скромные поместья, и свое шляхетство. В библиотеке Достоевского имелись два то-

ма (пятый и седьмой) «Актов, относящихся к истории Южной и Западной России» и «Дополнения» к этим актам[22]. В этом уникальном собрании документов XIV—XVII веков по истории Украины, Белоруссии и России, извлеченных из фондов Посольского и Малороссийского приказов, имелись жалованные грамоты великих князей литовских и князей удельных, купчие, духовные и меновые грамоты, наказы о сборе государственных доходов и пошлин, льготные грамоты городам, документы о сыске беглых крестьян. Там могла встретиться в том или ином контексте родовая фамилия — ведь Достоевские были частью, пусть и малой, истории трех славянских стран. Но в обоих томах Достоевские не упоминаются ни разу[23].

Уместно, быть может, обратиться и к внеисторическим резонам: апостол Павел, приветствуя Тимофея, просит его увещевать некоторых, чтобы они «не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере» (1 Тим. 1: 4). Следует вспомнить и другое назидание: «Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны» (Тит. 3: 9). Апостол Павел был последователен: Мелхиседек, царь мира, священник Бога Всевышнего, описан им как существо «без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда» (Евр. 7: 3).

Феномен рода Достоевского, насчитывающего 500 лет, — это пример исключительной гениальности *одного человека*, который вытащил на поверхность истории и обессмертил весь свой род и все его ветви, всех своих предков и потомков. Достоевский сделал так много для русской и мировой культуры, что обрел право на бессмертие, а его род — право на историческую память и общественный интерес.

Однако какие бы таланты ни обнаруживались у пращуров писателя и его ближайших предков, как бы ни распределялись гены одаренности и комбинации иных неординарных генов по дальней и ближней родне, какие бы болезни и патологии ни наблюдались у тех или иных представителей рода, объяснить, почему именно Федор — а не, допустим, Михаил, Андрей или Николай — братья, рожденные тем же отцом и той же матерью, — стал гением русской словесности, невозможно: история, генеалогия, медицина тут умолкают. Не может помочь и герб Радван: сотни шляхетских фамилий, использовавших его в течение веков, канули в Лету или остались на уровне средних значений.

«У нас на род смотрят не очень, если при этом нет необходимых связей», — говорится в «Идиоте». Тон глухого молча-

ния на темы родства был взят писателем с первого же сочинения. Родитель Макара Алексеевича Девушкина, героя «Бедных людей», звался, надо полагать, Алексей Девушкин; был он «не из дворянского звания», обременен семьей и крайне беден. И это всё. Родитель Варвары Алексеевны Доброселовой был управителем имения некоего князя П-го, лишился должности, сбережений и умер от горя. Имен своих дедов герои первого романа не помнят. Яков Петрович Голядкин («Двойник») явился ниоткуда, впустив наглого близнеца-двойника в круг своего бытия и воспаленного сознания; вместо родословной у него стол в присутственном месте, вместо отца — начальник департамента.

Не знает родителей и дворянин Василий Михайлович Ордынов, одинокий и чуждый всему миру герой «Хозяйки»: горстка наследственных денег, полученных от опекуна, — его последняя связь с неведомыми дедами и прадедами. Безымянная старая бабушка круглой сироты Настеньки из «Белых ночей» не меняет картину всеобщего родословного неведения. «Отца моего я не помню. Он умер, когда мне было два года», — с этого начинается «Неточка Незванова»: безродный старик-чиновник Незванов, отец девочки, так же как и ее мать, не имеет имени. Родовитые князья Х-е, благодетели Неточки, хотя и названы хранителями преданий, «живой летописью коренного боярства», так же безымянны и не отягощены родословиями, как и безродные сироты-разночинцы; а происхождение и родство княгини Х-ой было, как можно догадаться, «какое-то темное». Князь К., герой «Дядюшкиного сна», «помещик четырех тысяч душ, человек с известным родством», всего лишь номинальный и анекдотичный «обломок аристократии»: вопрос, от какого именно родословного древа он обломился, даже не ставится.

Генеалогический вакуум распространяется и на персонажей больших романов Достоевского: та же неукорененность в роде, то же существование в *беспредельности* (а не в родовых пределах), тот же родословный нигилизм, которым болеют люди всех сословий, состояний, возрастов. «Откуда он взялся — покрыто мраком неизвестности», — сказано про злобного тирана Фому Фомича Опискина, приживальщика генерала Крахоткина; впрочем, *темное прошлое* — отличительная черта множества судеб, описанных Достоевским. Старший князь Валковский вступил в жизнь как «голяк — потомок отрасли старинной», женился на дочери «какого-то купца-откупщика», сделал состояние, а далее «слухи о нем становились несколько темными», «старинная отрасль» осталась невостребованной, фамилия в упадке, и князь то и дело твердит: «Нам

нужно связей и денег». В отчаянные минуты вспоминает о родословных бумагах никогда прежде не хвалившийся своим происхождением старик Ихменев — и он, и его жена, урожденная Шумилова, принадлежат к старинным дворянским родам, грамоты хранятся в кованом сундучке. «Так вот и выходит, что мы-то, Ихменевы-то, еще при Иване Васильевиче Грозном дворянами были», а род Шумиловых «еще при Алексее Михайловиче известен был, и документы есть у нас, и в истории Карамзина упомянуто». Старинный род, однако, ничто перед богатством; жадные души на род не смотрят: «Нынче самый главный князь — Ротшильд».

Но в мире Достоевского, среди насельников Мертвого дома или жильцов петербургских каморок, Ротшильды не водятся. Обитатели углов и чердаков, равно как и владельцы домов, поражены одним и тем же семейным беспамятством. Мало что известно о покойном отце Родиона Романовича Раскольникова, уездном учителе из мещан; старые плоские серебряные часы со стальной цепочкой, которые Родя отдал в заклад старухе-процентщице Алене Ивановне, чтобы *сделать пробу своему предприятию,* — «единственная вещь, что после отца уцелела». Символическому наследию суждено будет сгинуть в полицейском участке. А ведь отец Роди, как проговорится однажды Пульхерия Александровна, стихи писал, в журналы отсылал и целую повесть сочинил, и она молилась, чтобы напечатали, но не напечатали, и тетрадку со стихами мужа свято хранила.

Невысокое происхождение Аркадия Ивановича Свидригайлова и Степана Трофимовича Верховенского тоже не располагает к родословным разведкам. Но вот генерал-лейтенант Ставрогин, отец Николая Всеволодовича, имел «знатность и связи», однако, кроме имени Всеволод, от них ничего не осталось. Варвара Петровна Ставрогина «была единственной дочерью очень богатого откупщика», но от него, помимо завещанного дочери немалого капитала, сохранилось только имя — Петр, без отчества и фамилии; принцу Гарри не дано знать и помнить своих дедушек и бабушек.

Плачевна участь и родовитых героев «Идиота». Последний представитель древнего рода князей Мышкиных («имя историческое, в Карамзина "Истории" найти можно и должно») князь Лев Николаевич остался после смерти обоих родителей малым ребенком и «всю жизнь проживал и рос по деревням». Отец его, Николай Львович Мышкин, армейский подпоручик Васильковского полка, из юнкеров, умер в Елисаветградском госпитале под судом, по обстоятельствам неведомым, а стало быть, открытым для клеветы, которая не замедлила явиться и опорочить покойного подпоручика в глазах сына. У генерала

Ивана Федоровича Епанчина, «человека происхождения темного», выходца из солдатских детей, родословной истории не имеется заведомо. Генеральша Лизавета Прокофьевна, урожденная княжна Мышкина, «рода хотя и не блестящего, но весьма древнего», уважала себя за свое происхождение и была даже «ревнива к нему», но только по той досадной причине, что последний в роде князь «не больше как жалкий идиот».

Он сам немного помнит о своей далекой родне: «Оказалось, что князь знал свою родословную довольно хорошо; но как ни подводили, а между ним и генеральшей не оказалось почти никакого родства. Между дедами и бабками можно бы было еще счесться отдаленным родством. Эта сухая материя особенно понравилась генеральше, которой почти никогда не удавалось говорить о своей родословной, при всем желании». Однако родовые корни не спасают бедного князя от рокового несчастья. Отец Настасьи Филипповны, отставной офицер хорошей дворянской фамилии, Филипп Александрович Барашков, «весь задолжавшийся и заложившийся», не смог вынести «синяков фортуны» и, когда его вотчина сгорела, сошел с ума и умер в горячке.

В «Подростке», самом *семейном* романе Достоевского, звучит вызов самой идее родословия: генеалогическое древо героя выросло чахлым двурогим растением без корней. Род настоящего отца Аркадия Долгорукого, помещика Версилова, которого сын видел за 20 лет один только раз, «на миг», — «совершенная загадка», как и сам родитель: факты его частной жизни «ускользнули» от юноши, «потерялись в материалах»; формулярный список отца под пером сына занимает две строки — и это понятно: дети помещика были всегда *не при нем*, «так он всю жизнь поступал с своими детьми, с законными и незаконными». Неведомо откуда взявшаяся княжеская фамилия (предмет гордости!) юридического отца, бывшего крепостного господ Версиловых, Макара Ивановича Долгорукого, требовавшего не выводить детей жены из низшего сословия, стала причиной бесконечных унижений Долгорукого-младшего, *просто* Долгорукого. «Это *просто* стало сводить меня наконец с ума... Редко кто мог столько вызлиться на свою фамилию, как я, в продолжении всей моей жизни». Тысячелетний род князей Сокольских на грани вырождения: *последний в роде* арестован за участие в подделке фальшивых акций. «Я оставлена отцом моим с детства; мы, Версиловы, древний, высокий русский род, мы — проходимцы, и я ем чужой хлеб из милости», — признается законная дочь Версилова Анна Андреевна. «Мстительной жаждой благообразия» одержим побочный сын Версилова, Аркадий, герой романа, «неготовый человек», член

случайного семейства. «Во всем идея разложения, ибо все *врозь* и никаких не остается связей не только в русском семействе, но даже просто между людьми. Даже дети врозь» — с таким убеждением Достоевский начинал роман «Подросток». Финал романа стал приговором любым родословным амбициям: «Множество таких, несомненно родовых, семейств русских с неудержимою силою переходят массами в семейства *случайные* и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе».

В пространстве хаоса едва есть место для связей между двумя соседствующими поколениями. Разночинцы Достоевского, бедняки и безродные сироты, живут в непроницаемом уединении и полной безвестности; происхождение их темно, существование «за ширмами», в ветхих углах не располагает к генеалогическим построениям. Дальше отца и матери они не знают, дедов и бабушек не ведают и крайне не любят говорить о своих домашних обстоятельствах. Нет предков — и нет потомков: радости материнства и отцовства познать здесь не дано никому. Как честно признается Свидригайлов: «Дети мои остались у тетки; они богаты, а я им лично не надобен. Да и какой я отец!» *Случайные* младенцы, если и выживают *случайно*, предвещают беду и позор матерям, зачавшим их *незаконно*; однако чаще всего они погибают или в утробе матерей, или в первые дни, а то и часы жизни.

В зоне разложения свирепствует — при отсутствии рождений — зловещая убыль населения; сценические и внесценические персонажи, действующие или вскользь упомянутые безымянные лица сокрушены «вихрем сошедшихся обстоятельств» и погибают от пуль, яда, холодного оружия или огня; впадают в отчаяние, безумие, белую горячку; умирают в злой чахотке от горя и бедствий; кончают жизнь в петле, на плахе или в омуте.

«Преступление и наказание» — 21 смерть: зарезаны ростовщица Алена Ивановна, Лизавета и ее вероятный младенец; зарезан восьмилетний мальчик; застрелился Свидригайлов; раздавлен лошадьми Мармеладов; утонул в колодце поручик Потанчиков; покончила с собой (удавилась) глухонемая девочка; удавился дворовый человек Свидригайлова Филипп; утопилась девочка четырнадцати лет; умерли первый муж Катерины Ивановны Мармеладовой, первая жена Мармеладова, девица Зарницына, Катерина Ивановна Мармеладова, Марфа Петровна Свидригайлова (быть может, отравлена), Пульхерия Александровна Раскольникова, отец Роди, его младший брат и бабушка, университетский товарищ и его отец.

«Идиот» — 31 смерть: зарезаны Настасья Филипповна и крестьянин в уездной гостинице; члены семьи и прислуга Жемариных (шестеро); казнен преступник на эшафоте; застре-

лился Капитон Алексеевич Радомский; умерли Николай Андреевич Павлищев, отец, мать и сестра Настасьи Филипповны, отец и мать князя Мышкина, Семен Парфенович Рогожин, Мари и ее мать, Петр Верховский, тетушка князя Мышкина Папушина и трое ее родственников купцов Папушиных, сестра Лебедева Анисья и его жена Елена, начальник Лебедева Нил Алексеевич, молодая дама в чахотке, замерзший мальчик Суриков, генерал Иволгин, Ипполит Терентьев.

«Бесы» — 15 смертей: застрелен и утоплен в пруду Шатов; зарезан церковный сторож; зарезаны и преданы огню Игнат Лебядкин, Марья Лебядкина и их служанка; растерзана толпой Лиза Тушина; убит ударом по голове Федька Каторжный; повесились Матреша и Ставрогин; застрелились Кириллов и приезжий юноша в гостинице; умерли Прохор Малов, Степан Трофимович Верховенский, Марья Шатова и ее новорожденный сын.

«Подросток» — 34 смерти: повесились учительница Оля и отставной солдат; застрелились Крафт и Андреев; отравилась Лидия Ахмакова; утопился отрок, сын купца; убит учитель Петр Степанович. Умерли отец Оли, родители Софьи Андреевны, младший брат Аркадия Долгорукого, управляющий делами Версилова Андроников, Малгасов, генерал Ахмаков, Столбеев, генерал и две его дочери, девочка-подкидыш Арина, грудной ребенок столяра, жена Версилова Фанариотова, тетка Версилова Варвара Степановна, нищий на пароходе, князь Николай Сокольский, князь Сергей Сокольский и его младший брат Саша, купец и четыре его дочери, Макар Иванович Долгорукий, неродившийся ребенок Лизы Долгорукой и князя Сергея Сокольского, новорожденный сын купца Скотобойникова.

«Братья Карамазовы» — 43 смерти: убит ударом по голове Федор Павлович Карамазов; утопилась девушка, бросившаяся с утеса в реку; погиб в плену русский солдат; казнен убийца Ришар; затравлен собаками восьмилетний мальчик; зарезана вдова-помещица; убит купец Олсуфьев; зарезаны чиновник и его служанка; зарезана мать друга и благодетеля; убит топором хозяин меняльной лавки; убиты матерью трое новорожденных младенцев; повесился Смердяков. Умерли мать Мити Карамазова Аделаида Ивановна Миусова, его воспитательница, мать Ивана и Алексея Карамазовых Софья Ивановна, воспитательница Ивана генеральша Ворохова, воспитатель Ивана Поленов, его друг московский педагог, трехлетний сын извозчика и трое его старших братьев, сын слуги Григория — шестипалый младенец, Лизавета Смердящая, ее мать и отец, отец Катерины Ивановны Верховцевой и две его жены, две наследницы ге-

неральши — родственницы Катерины Ивановны, брат Зосимы Маркел и их мать, слуга зарезанной помещицы Петр, «таинственный посетитель» Михаил, купец Самсонов, губернский секретарь Красоткин, прокурор Ипполит Кириллович, старец Зосима, Илюша Снегирев.

В мире, где пали и уничтожились унаследованные ценности, корни уже не питают кроны. «Любовь к родному пепелищу», равно как и «любовь к отеческим гробам» — стихии здесь чуждые; род, даже если о нем кто-то еще помнит, уже не помогает ни *самостоянью* человека, ни его *величию*. Душами людей, оставленных на свои собственные силы, правит родословная дыра...

Глава вторая

ВЫСШЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ В ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

Генеалогический разрыв. — Дед Андрей Григорьевич. — Шаргородская семинария. — Из класса риторики во врачебную науку. — Медико-хирургическая академия. — 1812 год: госпитальная практика. — Бородинский пехотный полк

М. В. Волоцкой, составляя родословную таблицу, обратил внимание на досадный факт. «Начиная с середины XVII века род Достоевских начинает приходить, в социологическом отношении, в упадок. Достоевские все реже и реже упоминаются в различных документах. Вследствие этого, их родословная таблица, восстановленная без перерывов на протяжении полутора столетий, начиная с 1506 г., обрывается на 1655 г. Дальше, до деда писателя, мы имеем генеалогический перерыв, заполненный лишь несколькими отдельными лицами, место которых в общей родословной установить не удалось»[24].

Спустя более чем полвека этот факт был зафиксирован вновь: «Ирония судьбы такова, что, зная имена предков Достоевского, живших в XVI и XVII веках, мы не имеем ни малейшего понятия о его ближайших (по времени) родственниках: век XVIII, как уже говорилось, представляет собой в этом отношении сплошной провал»[25]. Минуло еще полтора десятилетия, но провал все так же зияет: «Протянуть единую родственную нить от самого Федора Михайловича к основателю рода — Даниилу Ртищичу... не представляется возможным... Полная роспись поколений Достоевского до сих пор не составлена»[26]. «Ближайшие предки писателя по отцовской линии остаются до сих пор неизвестными не только читательской аудитории, но даже

узкому кругу специалистов»[27]. Впрочем, по мнению авторитетного знатока «раннего Достоевского», «исследование об истории рода Достоевских с XVI в., о связях этого рода с Польшей и Литвой, с католичеством, ничего не дает для понимания одного из его потомков, родившегося в 1789 году в семье православного священника Подольской губернии»[28].

Так или иначе, разговор о ближайших родственниках писателя по мужской линии, если опираться не на гадательные, а на достоверные данные, можно вести, начиная лишь с Михаила Андреевича Достоевского, отца писателя, представителя шестого поколения рода. Биография деда, Андрея Достоевского, не была известна ни дочери писателя Любови Федоровне («Я не имею ни малейшего представления, кем был мой прадед Андрей»), ни его брату Андрею Михайловичу (не знавшему, как мы видели выше, отчества своего деда), ни самому писателю (Волоцкой утверждал, что, «кроме своего отца, Ф. М. Достоевский не знал ни одного своего родственника с отцовской стороны»[29]). Доподлинно неизвестна она и новейшим исследователям, так что ответ на чувствительный вопрос: «Кто вы, Андрей Достоевский?» — звучит, несмотря на недавние интересные находки, все еще приблизительно.

Андрей Григорьевич Достоевский родился около 1756 года на Волыни, в селе Клечковцы вблизи Луцка в семье мелкопоместного шляхтича Григория Иосифовича Достоевского, который был сыном Иосифа Карловича Достоевского, вступившего в 1744 году во владение вотчиной в Клечковцах[30]. В 1775 году по невыясненным причинам Григорий Иосифович продает свое имение на Волыни и перебирается вместе с сыновьями Иваном, Андреем и Григорием на земли Брацлавского воеводства. В 1781 году Андрей женится на девице Анастасии (больше о бабушке писателя ничего не известно), в браке с которой родились шестеро дочерей: Фотина (1783), Анна (1788), Констанция (1793), Мария (1793), Гликерия (1795), Фекла (1801) и двое сыновей: Михаил, отец писателя (1787?[31]), и Лев (1792). В 1782 году Андрея рукополагают в униатские священники села Войтовцы Винницкого повета Немировского ключа[32]; после второго раздела Польши и включения земель Брацлавского воеводства в состав Российской империи (1793) отец Андрей воссоединился с православием; в 1805 году овдовел, а около 1821 года умер.

Историки-краеведы, посетившие в 2001 году село Войтовцы, «родовое гнездо» Достоевских, сообщают: «Каких-то особенных красот, захватывающих видов в этих краях нет. Село раскинулось утопающими в садах, далеко отстоящими друг от друга домишками над плотиной речки Сибок... Старая дере-

вянная церковь, построенная, судя по документам, в 1750 г. и, следовательно, "помнящая" и деда, и отца, и дядю писателя, была разрушена в начале 30-х гг. XX века... Церковные книги, хранившиеся у одного из жителей села, сгорели в военное лихолетье. Место, где когда-то была церковь, заросло кустарником и представляет собой довольно-таки грустное зрелище: землю выбирали для хозяйственных нужд, образовавшиеся ямы заполнены мусором. Кто был похоронен возле церкви, уже забылось, хотя кости людей находят до сих пор... Дом священника в XX в. стоял напротив церкви. Можно полагать, что на том же месте стоял и дом Андрея Достоевского. В таком случае именно здесь родился человек, ставший отцом одного из титанов мировой культуры»[33].

Именно здесь, в селе Войтовцы близ Винницы, и родились дети Андрея Григорьевича Достоевского, в том числе и его сын Михаил — по общепринятой версии, в 1789 году (формулярный список, опубликованный Волоцким, показывает, что в апреле 1828 года ему было 39 лет[34], а послужной список, опубликованный в 1939 году В. С. Нечаевой, показывает, что в ноябре 1828-го ему уже исполнилось 40[35]). Дата рождения и некоторые другие обстоятельства места, времени и образа действий были поставлены под сомнение, когда стали известны документы, осветившие многие легенды начального этапа судьбы Михаила Андреевича — как юноша, учившийся в подольской семинарии, но не желавший идти по стопам отца, скрылся из родительского дома, не имея при себе документов, и бежал, с благословения матери, в Москву (А. М. Достоевский), или как пятнадцатилетний мальчик вступил в «смертельную вражду со своим отцом и братьями» (на самом деле был только один младший брат), а потом очутился в Москве «с жалкой котомкой», «без денег и без протекции» (Л. Ф. Достоевская). Версии, изложенные сыном и внучкой, легли в основу многих биографических повествований.

Л. П. Гроссман: «Михаил Андреевич Достоевский (15 лет) уходит из родительского дома и отправляется с Украины в Москву»[36].

В. С. Нечаева: «Михаил Андреевич не пожелал продолжать профессию отца и, порвав связь с родной семьей, ушел из дома в Москву»[37].

Ю. И. Селезнев: «Своенравный Михаил Андреевич не пожелал пойти по стопам отца... навсегда покинул отчий кров»[38].

В 1990 году на Международных Достоевских чтениях в Санкт-Петербурге были оглашены документы, разысканные в Центральном государственном историческом архиве, из которых стало понятно, что́ стоит за строками формуляра «вступил

из подольской семинарии в число воспитанников по медицинской части». Ключевой документ — «Ведомость об обучающихся в Подольско-Шаргородской семинарии священно и церковнослужительских детях» за 1808 год[39]. Эта ведомость содержала сведения о 157 учениках — в частности, об ученике класса риторики Михаиле Достоевском, сыне священника Андрея из села Войтовец Брацлавского повета (уезда) Подольской губернии. На момент составления бумаги (январь 1809-го) ему исполнился 21 год. 11 декабря 1802 года Михаил подростком четырнадцати-пятнадцати лет поступил в духовную семинарию при Шаргородском Николаевском монастыре (основанном в 1717 году униатами и «обращенном» в православие в 1795-м). Обучался «на собственном содержании» поэзии и риторике; к наукам был «препонятен» (среди однокашников были к наукам «понятные», «малопонятные» и «непонятные»), греческий язык осваивал с успехом «нехудым».

Таким образом, выяснилось, что переход семинариста в медицинские студенты состоялся в возрасте совершеннолетия. Была опровергнута версия А. М. Достоевского о материнском благословении — к концу 1808 года матушки Анастасии уже несколько лет не было в живых. Оказалось, что за обучение в семинарии обоих сыновей в течение шести лет платил отец. За годы, проведенные в Шаргородской семинарии, куда сын священника из Войтовцов обязан был поступить согласно епархиальным распоряжениям*, он, успев пройти низшие и средние классы, обучался чистописанию, правописанию, катехизису сокращенному и пространному, изъяснению Евангелий воскресных и праздничных, латинскому букварю, всеобщей истории с географией, российской и латинской грамматике и риторике, языкам — греческому, немецкому, французскому, польскому, рисовальным искусствам, а также ряду других предметов, изучаемых в русской школе. Старшие классы, где ученики проходили философию и богословие, были переведены в 1808 году в Каменец-Подольск, а братья Достоевские остались в Шаргородской семинарии, которая получила на-

---

* Во исполнение указа Павла I о получении образования всеми детьми священников 15 марта 1798 года епископ Подольский и Брацлавский, преосвященный Иоанникий внес предложение в Консисторию, согласно которому «священно и церковнослужители, имеющие детей от 10 до 15 лет, которые обучались российской грамоте и писать, также и в познании латинского языка несколько упражнялись, должны представить их в Шаргород непременно, опасаясь за непредоставление на назначенный срок своих детей, неминуемо по указам взыскание» (См.: *Федоренко Б. В.* О неясном в жизнеописании М. А. Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах № 3. С. 21).

звание Подольско-Шаргородской и имела только нижние и средние классы, до класса риторики включительно.

Спустя семь десятилетий Ф. М. Достоевский, учитывая, быть может, пример своего отца, выскажется в «Дневнике писателя за 1876 год» о том, кто такие «лучшие люди». «Явился прилив новых сил снизу общества, по нашей терминологии, демократических уже сил, — и особенно из семинаристов. Прилив этот привнес много живительного и плодотворного в отдел лучших людей, ибо явились люди со способностями и с новыми воззрениями, с образованием, еще неслыханным по тогдашнему времени, хотя и в то же время и чрезвычайно презиравшие свое прежнее происхождение и с жадностью спешившие преобразиться, посредством чинов, поскорее в чистокровных дворян. Надо заметить, что кроме семинаристов, из народа и из купцов например, лишь весьма немногие пробились в разряд "лучших людей", и дворянство продолжало стоять во главе нации».

«Формулярный список о службе» М. А. Достоевского называет точную дату, когда, по окончании класса риторики, он вступил в число казенных воспитанников по медицинской части в московское отделение Императорской медико-хирургической академии — 14 октября 1809 года. К этому моменту академия, созданная в Петербурге по именному указу императора Павла I от 18 декабря 1798 года «О строительстве помещений для учебных театров (аудиторий) врачебного училища и для общежития его учеников» (дата подписания указа стала днем основания академии), успела отметить десятилетие своего существования. Московская медико-хирургическая академия, организованная в 1800 году на базе медико-хирургического училища при Московском госпитале и вскоре закрытая, возобновила свою работу в 1808-м как московское отделение Петербургской академии — ибо стало ясно, что Петербург не в состоянии обеспечить выпуск такого количества врачей, какое нужно было России, воевавшей одновременно с Англией, Персией, Турцией и Швецией.

Курс академии был рассчитан на четыре года, пятый отводился работам в госпитале. Воспитанники первого и второго классов именовались учениками, третьего и четвертого — студентами; им присваивались права студентов Московского университета. В 1808 году академия была возведена императором Александром I (он стал почетным членом академии) в ранг «первых учебных заведений империи», получила права Академии наук, стала именоваться императорской (ИМХА), продолжая и развивая лучшие традиции медицинского образования, которые сложились в Российской империи во второй

половине XVIII века. Выпускники медицинского факультета Московского университета, где регулярные занятия велись с 1764 года, а также медико-хирургических училищ Петербурга, Кронштадта, Москвы и Елисаветграда получали звания лекарей и отправлялись служить в армию и на флот.

В академию принимались учащиеся, приходившие из учебных заведений духовного ведомства, и вольнослушатели всех сословий, однако дворянские отпрыски шли в медицину неохотно. Сюда охотно устремлялись дети лекарей, казаков, придворных певчих, купцов, солдат; особые правила были установлены для лиц «несвободных сословий» — они должны были иметь увольнительные свидетельства от общин, к которым приписаны, но после окончания академии обретали свободу. Все поступающие подвергались испытаниям, среди которых главным был экзамен по латинскому языку. Учащиеся должны были уметь — в объеме семинарского курса — свободно переводить на русский язык сочинения классических латинских авторов (писателей и философов), объясняться на латыни письменно и устно. Предполагалось, что семинаристы обнаружат также начальные познания в философии, геометрии, физике, географии, истории. Требовалось, чтобы учащиеся были не моложе шестнадцати и не старше двадцати четырех лет, здорового сложения, физически выносливы и «самой лучшей нравственности». Экзамены проводились по месту учебы при посредстве местной врачебной управы; семинаристы, успешно выдержавшие испытания, посылались в академию. Поступавших предупреждали, что в случае отвращения к анатомии и неспособности к медицине их могут перевести в фармацевтическую часть или уволить «обратно в духовное ведомство», то есть «возвратить в первобытное состояние»[40].

«Был ли Михаил Андреевич отобран и послан из семинарии в академию, отправился ли самостоятельно, конечно зная, как охотно примут в нее подготовленного семинариста на казенный кошт, — нам неизвестно»[41], — писала в 1979 году В. С. Нечаева. Документы, обнародованные в 1990 году, однозначно ответили на эти вопросы. В августе 1809 года, согласно указу императора Александра I, было затребовано для определения в Медико-хирургическую академию из духовных академий и семинарий 120 воспитанников. Подольская семинария смогла предложить десять человек, о чем «благопочтенно» рапортовал Святейшему синоду архиепископ Подольский и Брацлавский Иоанникий: «Избранные из Подольской семинарии священнических сыновей 6 студентов: здешней епархии богословия Михаил Литинский, философии Макарий Сквалецкий, Иван Якубович, Никифор Сосинский, Федор Левицкий, Иван Сач-

кевич и риторики 4 ученика: Григорий Литкевич, Максим Ливицкий, Михаил Достоевский и Степан Барановский для образования врачебной науке, объявившие к тому собственное желание и по испытании Подольскою врачебною управою вследствие предписания господина министра внутренних дел, признанные способными и по снабдению их предписанными указами Святейшего Синода свидетельствами, сего октября 15 дня в ведомство помянутой Управы отосланы для отправления их в Московское отделение Императорской Медико-хирургической академии»[42].

Итак, Михаил Достоевский, будучи «препонятным» к науке учеником, в ответ на призыв семинарского начальства выразил *добровольное* (но не своевольное!) желание получить медицинское образование, успешно выдержал экзамены, был признан способным к постижению наук, снабжен необходимыми бумагами и официально, целевым назначением, с оплатой дорожных расходов (на лошадях, а не *пешком,* как когда-то его тезка Ломоносов!) отправлен учиться в Москву на казенное содержание. Брат остался в Шаргородской семинарии — об этом сообщала «Ведомость» за 1809 год: согласно спискам, Лев Достоевский все еще числился по классу риторики — и впоследствии стал священником.

Как реагировал на подобный поворот в судьбе старшего сына его отец, несомненно знавший о давлении правительства на епархии, от которых требовалось год от года увеличивать число воспитанников-семинаристов, отправляемых в Медико-хирургическую академию, осталось неизвестным, и это породило немало легенд. Во всяком случае со стороны Михаила Достоевского, переменившего уготовленную ему участь сельского священника где-нибудь в окрестностях Брацлава или Винницы на судьбу московского лекаря, не было злого умысла ни против духовного поприща, ни против родного отца, который непременно должен был знать, куда именно Подольская врачебная управа отправила его сына и где именно тот учится. Быть может, не столько сын «порвал с семьей и самовольно ушел в Москву», сколько семья (матери, напомним, уже не было на свете, вдовый отец должен был заботиться о незамужних дочерях) не смогла или не захотела оказать помощь сыну, одиноко жившему на скудных казенных харчах...

Весь 1809 год обе столицы обсуждали донесения с полей сражений, на которых бились солдаты Российской империи. В марте возобновилась война с Турцией. Победно закончилась шведская война: Финляндия была присоединена к России. В июне—июле Россия формально начала участвовать в войне с Австрией. По Шенбруннскому миру Россия получила Терно-

польскую область в Польше, но бóльшая часть Галиции, вопреки желанию императора Александра, отошла к великому герцогству Варшавскому, и это сильно ухудшило отношения двух «властелинов мира», как называли тогда Александра I и Наполеона. Россия заняла Краков, но, к негодованию Наполеона, воздержалась от серьезных военных действий. Хлипкий мир был чреват большой войной — и уже не за рубежами империи, а на ее суверенной территории. Как писал в «Военных записках» Д. В. Давыдов об атмосфере Тильзита, «1812 год стоял уже посреди нас, русских, с своим штыком в крови по дуло, с своим ножом в крови по локоть».

В октябре 1809 года Михаил Достоевский, вряд ли выезжавший прежде куда-либо за пределы Войтовцов, Шаргорода и Подольска, появился в Москве. Русская литература запомнит это время романом «Война и мир»: в начале лета 1809 года князь Андрей Болконский посещает уездного предводителя дворянства Илью Андреевича Ростова в его имении и нечаянно слышит пение и разговор двух девушек лунной ночью; граф Пьер Безухов готовит торжественное заседание масонской ложи в Петербурге; граф Николай Ростов, командир гусарского эскадрона, приезжает домой в отпуск и самозабвенно отдается псовой охоте; юная Наташа Ростова в канун 1810 года едет на свой первый бал. «Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте, и вне всех возможных преобразований».

Своими интересами жила и Медико-хирургическая академия. В те поры ее московское отделение едва успело расположиться на улице Рождественка. В середине XVIII века между Кузнецким Мостом и Сандуновским переулком находилось владение графа Ивана Ларионовича (Илларионовича) Воронцова, богатейшего вельможи, брата канцлера императрицы Елизаветы М. И. Воронцова. Под владение, занимавшее огромное пространство, граф скупил более сорока дворов. На Рождественку выходили ворота, в глубине находились большие каменные палаты, за которыми расстилался огромный сад, разбитый по примеру версальских, с прудами, беседками и с вольно протекавшей посреди него в естественных берегах рекой Неглинной. В 1778 году архитектор М. Ф. Казаков выстроил для графа Воронцова вместо старых палат новые. В начале XIX века бывшим двором графа владела богатая помещица И. И. Бекетова, но затем часть ее дома, выходившая на Рождественку, была приобретена в казну для размещения здесь

Медико-хирургической академии, и тогда же у Б. В. Пестеля был куплен северный угловой участок, тоже выходивший на Рождественку. Осенью 1809-го Михаил Достоевский оказался не только «новобранцем», но и «новоселом».

Трехэтажное здание имело со стороны Рождественки богатый парадный вход, украшенный колоннами, а перед ним — большой двор, огражденный со стороны улицы металлической решеткой. «Сие обширное 3-х ярусное здание возвеличивается прекрасным входом, к нему принадлежат многие ближние строения», — сообщал старинный путеводитель по Москве. По обеим сторонам главного здания, где были устроены аудитории, кабинеты и библиотека, стояли два двухэтажных каменных флигеля, выходившие на Рождественку: в них разместились больница, аптека, квартиры инспекторов, общежитие для студентов. Рядом — двухэтажный особняк вице-президента академии статского советника Н. С. Всеволожского (президент Я. В. Виллие, выходец из Шотландии, управлял Петербургской ИМХА). Позади главного корпуса, в парке, был образован ботанический сад с участками для разведения лекарственных растений, в углу парка стоял особняком анатомический театр с помещением для служителя.

Однако, при всей выгоде местоположения и красоте фасадов, в здании, наскоро приспособленном под нужды учебного заведения, ощущалась теснота, многие помещения обветшали, потолки сгнили, полы прохудились; не было должного порядка и чистоты, не соблюдались правила гигиены*, отсутствовали помещения для клиник, музеев, теоретических кафедр; небрежно содержались архивы; поиск профессоров и преподавателей сталкивался с серьезными затруднениями. Казеннокоштные воспитанники получали от академии весьма скудное, хотя и полное содержание — питание, одежду, стоимость обучения и общежития.

Целые дни студенты проводили на лекциях и в клиниках. Пять дней в неделю занятия начинались утром в восемь и заканчивались вечером в семь. В субботу и воскресенье учебной нагрузки было меньше, но в расписании всегда стояло утреннее и вечернее посещение больных. Пропуски лекций тщательно фиксировались; инспекторский надзор следил за сту-

---

* Характерно замечание (в романе «Подросток») Аркадия Долгорукого о молодом докторе, лечившем Макара Ивановича: «Я решился наконец ему простить его медицинское высокомерие и, сверх того, научил его мыть себе руки и чистить ногти, если уж он не может носить чистого белья. Я прямо растолковал ему, что это вовсе не для франтовства и не для каких-нибудь там изящных искусств, но что чистоплотность естественно входит в ремесло доктора, и доказал ему это».

дентами как в стенах академии, так и вне ее — в город можно было выходить только группами по пять—десять человек под присмотром сопровождающего. За дурные поступки — нарушение порядка за столом, несоблюдение формы одежды, пьянство и буйство, драки и безрассудные ругательства, дерзости в адрес начальства и «замешательства» (подобия бунта) — воспитанники строго наказывались: несовершеннолетних пороли (руководство академии признавало порку лучшим исправительным средством, неоднократно на опыте доказанным), совершеннолетние удалялись из академии домой, отдавались в фельдшеры или в солдаты. Указ Александра I (1810) требовал: «Тех из воспитанников испорченной нравственности, коих домашние наказания исправить не могут, исключить вовсе из оной, обращая их навсегда в аптекарские или садовые ученики, смотря в каком роде службы они могут быть для общества полезными, а тех, кои выше меры окажутся развратными, отдавать в солдаты»[43].

Судя по тому, что Михаил Достоевский не был отправлен «обратно в духовное ведомство», не был отдан в фельдшеры или солдаты, не был «обращен» в аптекарские или садовые ученики, а также — как совершеннолетний — не подвергался порке, он оказался успешным студентом. Программа занятий была весьма внушительной: 1-й класс — минералогия, зоология, математика, физика, начальные основы анатомии; 2-й класс — химия, анатомия, физиология, ботаника; 3-й класс — патология, терапия, хирургия, фармакология, искусство писать рецепты; 4-й класс — практическая медицина, хирургия, повивальное искусство, судебная медицина, медицинская полиция. Кроме того, во всех классах изучались иностранные языки (немецкий и, по желанию, французский) и обязательная латынь. Профессора клиник вели со студентами занятия у постели больных в Московском военном госпитале.

В начале ноября 1811 года, как о том свидетельствуют формулярный и послужной списки, Михаил Достоевский был удостоен звания студента 3-го класса; 15 июля 1812-го — произведен в студенты 4-го класса. Однако прежде чем изучить курс наук за 4-й класс и быть допущенным к выпускным испытаниям, ему пришлось — по обстоятельствам чрезвычайного значения — получить уникальную медицинскую практику. 4 августа Наполеон со 180-тысячным войском начал штурм Смоленска. 8-го Кутузов был назначен главнокомандующим. Неделю спустя, 15 августа, Михаил Достоевский «по надобности во врачах, во время последней против французов войны командирован г. вице-президентом академии в Московскую Головинскую госпиталь для пользования больных и раненых».

В связи с войной московское отделение академии было эвакуировано во Владимир и Муром, профессора и студенты работали в госпиталях и на полях сражений. Помощь раненым оказывалась поэтапно: на передовых позициях были перевязочные пункты и небольшие отряды военной помощи, лазареты, фуры, подвижные госпитали (в 10—15 верстах от линии фронта). С 9 августа в Москву стали прибывать первые транспорты раненых и больных, пострадавших еще под Витебском и при отступлении к Смоленску. Генерал-губернатор Москвы граф Ф. В. Ростопчин организовал целый корпус врачей и фельдшеров и сам постоянно навещал больных в Головинском дворце, взывал к населению города проявить заботу о болящих и страждущих и делать добровольные пожертвования. Тем временем фельдмаршал Кутузов принял спешные меры к развертыванию временных госпиталей в городах Касимов, Елатьма и Меленки, куда был перемещен основной состав персонала Главного госпиталя. На долю Михаила Достоевского достался самый трудный период войны, центральным событием которого стало Бородинское сражение. План его медицинского обеспечения исходил из предполагаемого количества потерь ранеными 20 тысяч человек и убитыми пять тысяч человек[44].

Однако фактические потери русской армии при Бородине оказались вдвое больше. Каждый день в столицу прибывало около полутора тысяч раненых. «Около Смоленского рынка, близ которого я жил, — вспоминал С. Н. Глинка, ратник московского ополчения, — множество воинов, раненных под Смоленском и под Бородином, лежали на плащах и на соломе. Обыватели спешили обмывать запекшиеся их раны и обвязывали и платками, и полотенцами, и бинтами из разрезанных рубашек... Люди света большого, света блестящего! Скажите, что такое столицы европейские, если порыв вихря завоевательного, обширные вместилища и театров, и клубов, и ученых заведений, и маскерадов, и гульбищ народных в один миг превращает в безмолвную могилу и полумертвых и живых?»[45]

Тридцатого августа Ростопчин отдал приказ: раненых — их было уже около тридцати тысяч — в Москве не размещать, кроме находившихся в тяжелом состоянии, а на тех же подводах увозить в Коломну: в резерве Ростопчина оказалось, кроме того, еще пять тысяч подвод. 31 августа последовало новое распоряжение: всех раненых, кто способен ходить, отправить в Коломну пешком. Оставшиеся в Москве лежачие и особенно тяжелые (в сводках Наполеона указывалось 30 тысяч, граф Ростопчин называл две тысячи) были доверены «человеколюбию» французского командования — большинство из них найдут мучительную смерть от голода и пожара. Только вечером 1 сентяб-

ря, после военного совета в Филях, где было принято решение оставить Москву, вместе с отступающей русской армией ушли из города и госпитальные обозы. Героическую эвакуацию возглавлял устроитель временных военных госпиталей, выдающийся анатом, выпускник Гёттингенского университета Х. И. Лодер. В том нескончаемом потоке был и Михаил Достоевский, сопровождавший транспорты с ранеными в Касимовский военно-временный госпиталь, и там под руководством Лодера и его сподвижников он в течение четырех месяцев врачевал русское воинство, израненное и покалеченное в сражениях.

По итогам своей беспрецедентной учебной практики студент 4-го курса Медико-хирургической академии Михаил Достоевский получил похвальный аттестат. Но оставался еще один опасный фронт. 7 октября французская армия по приказу Наполеона двинулась прочь из Москвы. Когда проходили мимо Бородинского поля, где по-прежнему, никем не тронутые и не убранные, гнили тысячи русских и французских трупов, Наполеон «велел как можно скорее оставить это место: страшное зрелище подавляюще действовало на солдат, особенно теперь, когда они чувствовали, что война проиграна»[46]. Только морозы могли на какое-то время сдержать угрозу заразы, исходившую от разлагавшихся человеческих тел и лошадиных трупов: ими были усеяны поля сражений, улицы городов, окрестности деревень. 13—15 октября началось отступление французских войск из Боровска на Верею, Можайск, Дорогобуж, Смоленск. Брошенные и разоренные деревни, села, усадьбы (уходя из Вереи, французы сожгли город) требовали принятия мер незамедлительных, в том числе и медицинских. За успешные действия в Верейском уезде, который дважды за осень 1812-го оказывался в зоне военных действий и куда студент Достоевский был командирован академией «для прекращения свирепствовавшей там повальной болезни», он получил второй похвальный аттестат: трехмесячное сражение с эпидемией тифа под руководством выдающегося доктора И. Е. Дядьковского было выиграно.

Только теперь Достоевский мог заканчивать 4-й курс. К лекарскому поприщу война с французами подготовила его так, как не могли бы подготовить никакие учебные дежурства у постели больного в мирное время. 5 августа 1813 года Михаил Достоевский, как о том свидетельствуют документы, «был произведен лекарем 1 отделения» и меньше чем через месяц, 1 сентября, согласно назначению, поступил в Бородинский пехотный полк. Несомненно, для обладателя двух похвальных аттестатов это было достойное место службы. По окончании Отечественной войны указом Александра I от 11 марта 1813 го-

да Московский гарнизонный полк, который при нашествии Наполеона принимал деятельное участие в вывозе из Москвы государственных регалий, драгоценностей и казны, а потом разбирал завалы разрушенной и обгоревшей столицы, был разделен на два пехотных полка — Бородинский и Тарутинский. 9 мая Бородинский пехотный полк, названный в память о главном сражении, был уже сформирован и состоял из трех батальонов, имевших по одной гренадерской роте и по три роты мушкетерских. Личный состав включал двух штаб-офицеров, 25 обер-офицеров, 35 унтер-офицеров, 784 рядовых и 21 нестроевых. Для полного штата полк был укомплектован рекрутами[47]. У лекаря Достоевского оказалось более тысячи пациентов.

Командование полком принял полковник И. Я. Шатилов, участник многих военных кампаний, кавалер многих орденов. Отличился он и в походе 1812 года, при Бородине был ранен (не в Касимовском ли госпитале лечился от ран?), за выдающуюся храбрость награжден орденом Святой Анны 2-й степени с алмазами. Спустя столетие историк полка сложит незамысловатые стихи и об отважном герое войны Шатилове, и о послевоенной службе «бородинцев»: «...Труд тяжелый нес весь полк / На государственных работах, / Шоссе, дороги строил он, / В Клину им вырыты каналы, / Но полк трудом не утомлен, / С работы с песней ходит он, — / И хвалят полк все генералы»[48].

Три года прослужил под началом И. Я. Шатилова полковой лекарь Достоевский; 5 августа 1816 года он «за выслугу узаконенных лет, медицинским департаментом Военного министерства, был удостоен звания штаб-лекаря в означенном полку со старшинством». 30 августа Шатилов был произведен в генерал-майоры и назначен командиром 1-й бригады 17-й пехотной дивизии. Командование полком принял полковник С. С. Чебышев, ровесник М. А. Достоевского; в январе 1813-го он в чине поручика был назначен адъютантом к адмиралу Чичагову, участвовал в Заграничных походах, дошел с армией до Парижа, был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом и золотой шпагой с надписью «За храбрость». М. А. Достоевский оставался полковым лекарем при С. С. Чебышеве три года, затем, по предписанию медицинского департамента, «во уважение ревностной службы» 20 октября 1816 года «помещен в оном же полку на оклад 1-го класса, с жалованьем 500 рублей в год».

В апреле 1818 года М. А. Достоевский был переведен туда, где начиналась его карьера военного доктора, — ординатором в Московский военный госпиталь, под начало Х. И. Лодера, и через год, в мае 1819-го, «за усердную службу помещен на ок-

лад старшего лекаря 2-го класса, с жалованьем 600 рублей в год». Ему было уже тридцать, за плечами восемь лет военно-медицинской службы, включая опыт Бородина и борьбу с эпидемией в Верейском уезде, награды и поощрения. До новых изменений в судьбе оставалось совсем немного времени.

У Ф. М. Достоевского были все основания гордиться молодыми годами своего отца. «Где наши лучшие люди? Всплывут во время опасности», — был убежден автор «Дневника писателя». М. А. Достоевский в возрасте Родиона Раскольникова и Ивана Карамазова показал, каким может быть во время настоящей опасности бедняк-студент, без связей и покровителей, без поддержки семьи, одинокий во всем мире. «В сущности, эти "лучшие люди" ясны и видны с первого взгляда: "лучший человек" по представлению народному — это тот, который не преклонился перед материальным соблазном, тот, который ищет неустанно работы на дело Божие, любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнию».

Разве это не об отце?

Глава третья

«СЕМЕЙСТВО РУССКОЕ И БЛАГОЧЕСТИВОЕ»

Женитьба родителей. — Купцы Нечаевы. — «Куманинский след». — Божедомы и Божедомки. — Больница для бедных. — 30 октября 1821 года. — Домашний уклад. — Опыты любви и кротости. — «Воспоминание, сохраненное с детства...»

Вместе с М. А. Достоевским в Московском военном госпитале в Лефортове служил штаб-лекарь Григорий Павлович Маслович, надворный советник и человек уже семейный. «Помню, что он бывал у нас в своем мундире военного врача (тогда еще без эполет и погонов), помню его по старинному, совершенно не русскому выговору. Кажется, он был из сербов», — расскажет о сослуживце отца А. М. Достоевский. Маслович, зная Михаила Андреевича как «доброго и хорошего человека», познакомил его с родственниками своей жены Анастасии Андреевны Маслович, урожденной Тихомировой, которая была двоюродной сестрой Марии Федоровны Нечаевой, будущей жены М. А. Достоевского. Масловичу суждено было стать «поводом и причиною первого знакомства» тридцатилетнего лекаря Достоевского и двадцатилетней девицы Марии Нечаевой, которое случилось скорее всего летом-осенью 1819 года и увенчалось сватовством. Предложение руки и сердца было принято,

очевидно, без промедления, так что 14 января 1820 года в церкви Московского военного госпиталя молодые обвенчались[49].

Мария Федоровна Нечаева (1800—1837), дочь купца 3-й гильдии Федора Тимофеевича Нечаева (1769—1832), происходившего из старых посадских города Боровска Калужской губернии (внуки запомнят его как «дорогого и любимого баловника-дедушку»), родилась в московской разночинной семье, где были купцы, сидельцы в лавках, лекари, универсанты, профессора, художники, духовные особы. Ее дед по матери, Михаил Федорович Котельницкий (1721—1798), родился в семье священника Федора Андреева, окончил Славяно-греко-латинскую академию и заступил после смерти отца на его место, став священником церкви Николая Чудотворца в Котельниках. К моменту замужества дочери Варвары Михайловны в 1795 году он уже имел чин коллежского регистратора и двадцатилетний стаж корректора в Московской Синодальной типографии; это означало, что образованный богослов и латинист, знаток поэзии и философии, Котельницкий, исправно следивший за публикуемыми в типографии летописями и древними рукописями, имел обширные знакомства с людьми литературного труда и высокой книжной культуры (А. М. Достоевский допускал даже возможность знакомства своего прадеда «со знаменитым в то время Новиковым»).

Сын М. Ф. Котельницкого Василий Михайлович Котельницкий (1770—1844), дядя Марии Федоровны и двоюродный дед писателя, был весьма уважаемым родственником. Его ученостью гордились: гимназия при университете, две серебряные медали за успехи в науке, полученные еще в студенческую пору, высшее медицинское образование и степень доктора медицины — в положенное время он стал профессором и деканом медицинского факультета Московского университета. Острослов, служивший в университете полвека и знавший несколько поколений ученых, страстный любитель истории, исследователь истории медицины «с начала России до Петра Великого», знаток древностей, преданий и обычаев «допожарной» Москвы, в течение тридцати лет действительный член Общества истории и древностей российских, он находился в самом сердце российской исторической науки и был знаком со многими ее светилами, начиная с Н. М. Карамзина.

В 1829 году В. М. Котельницкий купил деревянный дом близ Смоленской площади — местность примыкала к Введенскому Богородицкому монастырю, более известному как Новинский, к тому времени уже упраздненному, и славилась народными гуляньями. Дом профессора отличался собранием картин «хороших мастеров», библиотекой редких рукописных

и печатных книг, коллекцией лубков, старинных монет и «курьезов», а сам профессор носил мундир и треугольную шляпу с плюмажем, гордился чином статского советника, был мнителен и склонен к чудачествам («преоригинальный старик», как называли его студенты, не написал за свою жизнь ни одного рецепта из боязни ошибиться). Двоюродный дедушка братьев Достоевских был бездетен и относился к своим внучатым племянникам с нерастраченной нежностью. «Каждую пасху мы, трое старших братьев, — вспоминал А. М. Достоевский, — в заранее назначенный дедушкою день обязаны были являться к нему на обед. Родители без боязни отпускали нас, зная, что дедушка хорошо досмотрит за нами, и вот, после раннего обеда, часу во втором дня, дедушка, забрав нас, отправлялся в балаганы. Праздничные балаганы в то время постоянно устраивались “под Новинским” напротив окон дедушкиного дома. Обойдя все балаганы и показав нам различных паяцов, клоунов, силачей и прочих балагановых Петрушек и комедиантов, дедушка, усталый, возвращался с нами домой; там нас дожидалась уже коляска от родителей, и мы, распростившись с дедушкой, отъезжали домой, полные самых разнообразных впечатлений, и долгое время, подражая комедиантам, представляли по-своему различные комедии». Надо полагать, мальчикам Достоевским гощения у выдающегося деда запомнились не только балаганами и обедами...

Тринадцатилетней девочкой Мария Нечаева потеряла мать (†1813). Варвара Михайловна Нечаева, быть может, все же сумела внести в быт купцов Нечаевых культурную атмосферу своего круга и передать дочерям и сыну (Александра была четырьмя годами старше Марии, Михаил годом моложе) любовь к музыке и литературе, страсть к чтению, умение владеть пером. Нашествие Наполеона обернулось для семьи катастрофой. Отец, имевший процветающую торговлю в суконном ряду, собственный дом в Басманной части и звание «именитого» гражданина, потерял в войну едва ли не все свое состояние. «Помню как сквозь сон, — вспоминал А. М. Достоевский, — рассказы моей матери, как она, бывши девочкой 12 лет, в сопровождении своего отца и всего семейства выбралась из Москвы только за несколько дней до занятия ее французами; как отец ее, собравши, сколько мог, свои деньги, которые, как у коммерческого человека, находились в различных оборотах, вез их при себе; что все эти капиталы были в бумажных деньгах (ассигнациях); что, проезжая вброд через какую-то речку, карета их чуть не утонула со всеми пассажирами и лошадьми, и что они все спаслись каким-то чудом, выпрыгнувши или быв вытащенными из экипажа посторонними людьми».

Через год после смерти жены 45-летний Ф. Т. Нечаев женился вторично, взяв в жены девицу купеческого звания Ольгу Яковлевну Антипову (1794—1870), всего двумя годами старше своей падчерицы Александры, успевшей выйти замуж за несколько дней до кончины матери; таким образом, младшим детям Федора Тимофеевича, Марии и Михаилу, довелось пожить под надзором неласковой мачехи, к которой, кажется, никто из младших Нечаевых, а потом и Достоевских не испытывал ни малейшей симпатии (ее зловещая роль в полной мере проявится позже, когда не станет М. А. Достоевского). «Про бабушку (так дети Достоевские называли мачеху своей матери. — *Л. С.*) я сообщу теперь только то, что мы, дети, не особенно любили ее, потому что она при всяком свидании умела или взглядом или словом сделать какое-нибудь замечание, не любезное к нам, детям. Впоследствии же я слышал, да и сам убедился, что эта женщина была хитра и без сомнения умна, но с умом, направленным не на одно доброе» (А. М. Достоевский).

Сестра Александра, напротив, была добрым ангелом и для Марии, и для ее детей. «В детстве своем я любил бессознательно тетеньку, а впоследствии, когда сделался взрослым, я благоговел перед этою личностью, удивлялся ее истинно великому практическому уму и уважал и любил ее как мать...» (А. М. Достоевский).

Мужем А. Ф. Нечаевой (и, стало быть, «дяденькой» детей Достоевских) стал в 1814 году богатый купец Александр Алексеевич Куманин (1792—1863). Купцы 1-й гильдии Куманины имели почетное звание первостатейных, что давало право носить шпагу, ездить по городу как парой, так и четверней и даже приезжать ко двору — лично, без семейства. Текстильная фабрика, которую назовут «российским Манчестером»; чайная торговля в Москве и заграничные негоции на китайской границе под фирмой «Алексея Куманина сыновья»; огромный дом на Большой Ордынке (прототип рогожинского?), где вплоть до 1828 года братья Куманины — Константин, Александр и Валентин Алексеевичи — проживали вместе со своими семьями; «личная доверенность» государя Николая Павловича; потомственное дворянство, испрошенное для братьев Куманиных А. Х. Бенкендорфом в 1830 году, — таковы ступени восхождения этого московского семейства[50].

Полвека спустя в «Дневнике писателя» Достоевский изобразит типичного «золотого мешка» старого времени: «Прежние купцы-миллионеры разделялись на два разряда — на тех, которые продолжали носить бороду, несмотря на свой миллион, и в огромных собственных домах своих, несмотря на зерка-

ла и паркетные полы, жили немного по-свински, и нравственно и физически... Другой разряд миллионеров-купцов отличался прежде всего фраками и бритыми подбородками, великолепной европейской обстановкой домов их, воспитанием дочерей на французском и английском языках с фортепианами, нередко орденом за большие пожертвования, нестерпимым чванством... Несмотря на наружный лоск, вся семья такого купца вырастала безо всякого образования. Миллион не только не способствовал образованию, но, напротив, бывал в этом случае главною причиною невежества: станет сын такого миллионщика учиться в университете, когда и безо всякого ученья можно все получить... Извращенность миросозерцания была чудовищная, ибо надо всем стояло убеждение, преобразившееся для него в аксиому: "Деньгами всё куплю, всякую почесть, всякую доблесть, всякого подкуплю и от всего откуплюсь". Трудно представить сухость сердца юношей, возраставших в этих богатых домах».

Надо думать, супруги Куманины, Александр и Александра, все же составляли исключение из общей картины «первостатейного» чванства хотя бы в силу той помощи, которую всю жизнь оказывали беднякам Достоевским. «Исключения же, — добавлял писатель, — бывают везде и всегда. Можно указать и у нас на купцов, отличавшихся европейским образованием и доблестными гражданскими подвигами; но из миллионеров их все-таки было крайне немного, даже все наперечет; каста не теряет свой характер от исключений». Но не образование и не гражданские доблести, а безотказное родственное участие в драматической судьбе бедной родни — вот главный «куманинский след» в биографии Достоевского; речь об этом впереди.

...Первый год супружества М. А. и М. Ф. Достоевские жили при Московском военном госпитале, где продолжал служить Михаил Андреевич. В октябре 13-го числа 1820 года здесь родился их первенец, сын Михаил. Спустя два месяца М. А. уволился с военной службы (официальный документ в ответ на прошение об отставке отмечал «отличную и долговременную действительную и полезную для страждущего болезнями человечества службу») и еще через три месяца, в марте 1821-го, «по высочайшему Ее Императорского Величества соизволению определен Императорского Московского воспитательного дома в больницу для бедных на вакансию лекаря, при отделении приходящих больных женского пола». Ему досталось место подавшего в отставку штаб-лекаря, ветерана 1812 года и надворного советника: предшественник был оскорблен отказом в малой прибавке к более чем скромному окладу жалованья. С этого-то оклада (600 рублей в год) и началась карьера

М. А. Достоевского в гражданском ведомстве, хотя перспективы преуспеть были весьма призрачны — позже будет официально признано, что оклады служащих Мариинской больницы «не вознаграждают достаточно трудов их и не соответствуют необходимым надобностям каждого в содержании себя и своего семейства»[51].

Однако сменить поприще было необходимо — намечалась возможность прочно обосноваться в Москве и не зависеть от превратностей военной службы. Женитьба сделала одинокого в Москве лекаря Достоевского свояком богача, родственником, пусть и бедным, «первостатейной» купеческой фамилии. Водворение его врачевателем в больницу на Божедомке, на городскую окраину, было поистине знаком судьбы — и для него самого, и для его тогда еще не родившегося сына Федора: со второй половины XV века здесь был устроен погост, где находили последний приют «безродные и безвестные». Служители здешнего Убогого дома — они звались «божедомами», а улицы, которые вели к зданию, Божедомками — отыскивали и собирали бесхозные тела мертвых и убитых, казненных и опальных, иноверцев и людей, знавшихся с нечистой силой. Если труп оставался неопознанным, его приносили в Убогий дом. На Семик, седьмой четверг после Пасхи, из Петровского монастыря наряжался крестный ход, священник служил панихиду по умершим, благочестивые прихожане, движимые состраданием к убогим, рыли могилы, молились за упокой всех без изъятия, облекали тела в саваны и предавали земле. «Помяни, Господи, души сирых и убогих, нищих и младенцев некрещеных, небрежением отца и матери умерших, и в скудельницах лежащих братий наших...»

В 1771 году, после эпидемии чумы, Убогий дом был закрыт, на его месте возникло городское кладбище Лазарева воскресения, но Божедомка, образ жизненного «дна» и человеческой беды, стала еще и символом милосердия, заботы о падших и заблудших: общество и сама земля не отказывали им в последней милости, их не бросали, как прежде, в яму или в болото, а хоронили по-христиански. Естественно, что именно Божедомка отдала свою землю для лечения и призрения городских бедняков.

Мариинская больница была построена на средства Московского присутствия Опекунского совета учреждений императрицы Марии Федоровны, которой в 1797 году ее супруг Павел I передал управление благотворительными учреждениями. В 1803 году она подала своему сыну Александру I докладную записку о строительстве в российских столицах двух больниц для неимущих. Императрица писала: «Первыми предметами

благотворения Воспитательного дома, после несчастнорожденных младенцев, должны быть... страждущие болезнями и ранами... или овдовевшие с многочисленным семейством и без достаточного при старости своей пропитания...»

Сначала появилась бесплатная городская больница для бедных в Санкт-Петербурге, на Литейном проспекте, с домовой церковью во имя апостола Павла, небесного покровителя убиенного супруга-императора. Через год на откупленных казной пустырях была выстроена больница и в Москве: в 1804 году заложили здание — близнец петербургского проекта Дж. Кваренги, который в Москве воплощали зодчие И. Жилярди и А. Михайлов. Так печальная Божедомка взамен Убогого дома с ямой-ледником для трупов украсилась великолепием русского классицизма. В 1806 году состоялись открытие больницы и освящение домовой церкви: Божедомке суждено будет стать «малой родиной» писателя, пространством его детских впечатлений и прогулок, а церкви во имя апостолов Петра и Павла — его первым приходским храмом. В жизни страждущих храм играл важнейшую роль — священники исповедовали, утешали, укрепляли больных, провожали их в последний путь. Церковь к тому же была домовым храмом для всего персонала больницы и членов их семей, проживавших в казенных квартирах на территории больницы в специально выстроенных флигелях.

Главное правило больницы подтверждало, что «бедность есть первое право» получить здесь помощь в любое время суток, и точно обозначало цель: «Оказывать безвозмездно врачебное пособие всякого состояния, пола и возраста и всякой нации бедным и неимущим больным, судя по роду и степени болезни: или оставляя больных для лечения в больнице, или надзирая над приходящими ежедневно за советом и лекарствами». Всякий, «будучи болен, может явиться или кем приведен быть в оную больницу и в оную принят будет... Бедным и неимущим в сем случае разумеется тот, который не может иметь в болезни за собою надлежащего присмотра, не знает лекаря, который бы ему помог, и заплатить за лекарство не в состоянии».

Патронессой больницы до самой своей смерти в 1828 году оставалась императрица Мария Федоровна; она вникала в смету и текущие расходы, проверяла отчеты, которые слал ей официальный опекун больницы граф А. И. Муханов, следила за назначениями и поощрениями лекарей, за состоянием палат, за посадкой деревьев в саду, за питанием больных (по ее настоянию на больничной территории был устроен огород). На должность главного доктора был приглашен немец из Вюртемберга Х. Ф. Оппель, получивший образование на родине и слу-

живший с 1790 года лекарем в Касимове; ему поручено было составить правила для управления больницей, которые государыня сочтет образцовыми и высочайше одобрит.

Больница пользовалась огромной популярностью. Ежедневно стекался сюда хворый люд, выстаивал очереди, тянувшиеся через весь сад до приемного покоя, испрашивал совет, получал лекарства, обнадеживался лечением и уходом. Очень скоро больница стала практической школой для молодых врачей Медико-хирургической академии. Накануне оккупации Москвы Мария Федоровна повелела сохранять обычный порядок, продолжать пользовать лежачих больных, строго повиноваться главному доктору. Указам этим доктор Оппель следовал свято, но вот французы, войдя в город и обнаружив в больнице безупречный порядок, выпроводили пациентов за ворота и устроили здесь свой военный госпиталь; врачи же, зная правило помощи страждущим «всякого состояния и всякой нации» и не имея выбора, вынуждены были лечить раненых солдат неприятеля. Оппель и его служащие, помня о присяге, ответили на произвол отказом получать от захватчиков жалованье, но при этом сохранили имущество больницы, спасли от пожара и разорения корпуса Екатерининского и Александровского институтов, находившиеся по соседству, а также церковь Иоанна Воина на Божедомке; больница смогла дать приют москвичам, укрывавшимся здесь от огня, грабежей и насилия, бушевавших в городе.

Трудно переоценить, чтó значили уроки любви, кротости и сердоболия, которые практиковались здесь не на словах, а на деле и которые с первых мгновений своей жизни мог усвоить чуткий сердцем ребенок. «Человеколюбие, ласковость, братское сострадание к больному иногда нужнее ему всех лекарств» — это убеждение автор «Мертвого дома» вынес из детства. Опираясь на собственные впечатления, он скажет доброе слово об отцовской профессии: «Много лекарей на Руси пользуются любовью и уважением простого народа, и это, сколько я заметил, совершенная правда. Знаю, что мои слова покажутся парадоксом, особенно взяв в соображение всеобщее недоверие всего русского простого народа к медицине и к заморским лекарствам...»

...В марте 1821 года в отделении приходящих больных женского пола появился новый лекарь, поселившийся вместе с женой и шестимесячным сыном в правом от входа (южном) трехэтажном каменном больничном флигеле, внизу, окнами во двор. Бóльшая часть старшего медицинского персонала, начиная с главного доктора, были немцы, скорбные листы (истории болезни) велись на немецком и на латыни. Такие порядки

были заведены не только потому, что императрица, природная немка, предпочитала видеть в своих учреждениях соотечественников. Был и особый смысл: «Названия же болезни и предписанных лекарств написаны особо по латыне на аспидной доске, висящей также в головах больного. Сие делается для того, дабы он не знал своей опасности».

В «Записках из Мертвого дома» будет сказано, как боится простолюдин всего казенного, формального, как предубежден против госпиталей страхами и нелепыми баснями. «Но, главное, его пугают немецкие порядки госпиталя, чужие люди кругом во всё продолжение болезни, строгости насчет еды, рассказы о настойчивой суровости фельдшеров и лекарей, о взрезывании и потрошении трупов и проч. К тому же, рассуждает народ, господа лечить будут, потому что лекаря все-таки господа. Но при более близком знакомстве с лекарями (хотя и не без исключений, но большею частию) все эти страхи исчезают очень скоро, что, по моему мнению, прямо относится к чести докторов наших, преимущественно молодых. Большая часть их умеют заслужить уважение и даже любовь простонародья. По крайней мере я пишу о том, что сам видел и испытал неоднократно... Простой народ недоверчив и враждебен более к администрации медицинской, а не к лекарям. Узнав, каковы они на деле, он быстро теряет многие из своих предубеждений».

М. А. Достоевскому было всего 32 года, когда началось его служение в Мариинской больнице для бедных. При главвраче-немце Михаил Андреевич был отнюдь не единственный русский лекарь. Здесь служили закаленные недавней войной медики: 45-летний Матвей Козьмич Рожалин, выпускник Медико-хирургической академии — опытный военный доктор, он участвовал в походах против турок, бывал в сражениях при Бухаресте, Браилове, Галаце, Измаиле. Ближайшим соседом и добрым приятелем Достоевского стал позднее эконом больницы Федор Антонович Маркус, родной брат М. А. Маркуса — в 1837-м тот будет назначен лейб-медиком к императрице Александре Федоровне (с особой теплотой вспомнит А. М. Достоевский, как поддерживал сосед-эконом овдовевшего отца). «Все служащие в Московской Мариинской больнице были, конечно, нам знакомы» (А. М. Достоевский). Жены сослуживцев захаживали к молоденькой Марье Федоровне на утреннюю чашку кофе запросто, следуя патриархальным обычаям. «Придут, бывало, часу в 11 утра и просидят до 1 часу. Предметами разговора были базарные цены на говядину, телятину, рафинад... далее про ситцы и другие материи и про покрой платья... Я всегда, бывало, присутствовал при этих разговорах», — вспоминал Андрей Михайлович. Когда его ма-

менька сама ходила на такую же чашку кофе, «прием и беседы были те же самые».

В марте 1821-го, когда супруги Достоевские поселились на Божедомке, они уже знали, что вскоре снова станут родителями: прибавление семейства ожидалось к концу осени. 30 октября роженица благополучно разрешилась от бремени.

«Родился младенец, в доме больницы для бедных, у штаб-лекаря Михаила Андреевича Достоевского, — сын Федор. Молитвовал священник Василий Ильин, при нем был дьячок Герасим Иванов». Этой метрической записью о рождении из «Книги для записи крещеных и отпетых в церкви Петра и Павла, что при больнице для бедных за 1814—1823 годы»[52], будут начинаться отныне все биографии Ф. М. Достоевского.

Четвертого ноября младенца окрестили. «Восприемниками были: штаб-лекарь надворный советник Григорий Павлов Маслович и княгиня Прасковья Трофимовна Козловская; московский купец Федор Тимофеев Нечаев и купеческая жена Александра Федоровна Куманина. Оное крещение совершал священник Ильин с причтом». Состав крестных объясняется легко: бывший сослуживец отца, сват и свояк Маслович, отец (в его честь скорее всего и был назван новорожденный) и сестра роженицы. Личность княгини Козловской стала известна биографам писателя только полтора века спустя: бывшая крепостная девушка, а потом супруга князя древней фамилии, предводителя дворянства Костромской губернии Д. Н. Козловского, мать троих сыновей — поэта Ивана Козловского, историка-краеведа Александра Козловского и уездного предводителя дворянства Павла Козловского — была хорошей знакомой семьи Достоевских[53]. Имя младенца Федора соседствовало в «Книге для записи крещеных и отпетых...» с именами умерших в больнице простолюдинов — солдат, солдатских жен, сиделок, вольноотпущенных дворовых, мелких военных чинов в отставке. Воина-великомученика Феодора Тирона, сожженного на костре за веру около 306 года, память которого ежегодно отмечает православная церковь 17 февраля и в первую субботу Великого поста, почитал Достоевский *своим* святым.

«Я происходил из семейства русского и благочестивого, — писал Ф. М., когда ему было уже за пятьдесят. — С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей...» И это, конечно, лучшее, что мог сказать об отце и матери писатель, с благодарностью вспоминавший нежные годы своего раннего детства и домашний уклад, где строго соблюдались правила приличия и патриархальные обычаи: Достоевский рос в семье, где присутствовал лад и порядок. Феде был всего год, а Мише два, когда родилась их сестра Варенька; троим малышам необ-

ходима была «чистая» (то есть без стирки и уборки — для этих целей имелись горничная Вера и прачка Василиса) няня, и в декабре 1822-го она появилась по найму, на месячное жалованье в пять рублей ассигнациями, — чтобы не просто остаться в многодетной семье на целых 15 лет, а врасти в нее «всею своею жизнью, всеми своими интересами». Нянюшка Алена Фроловна, старая девица необъятной толщины из мещан, гордившаяся, что происходит из вольных, а «не из простых», и важно величавшая себя «гражданкой», станет личностью нарицательной, заслужит яркую, радостную память своих питомцев и «попадет в литературу» (ее имя позаимствует няня Лизы Тушиной в «Бесах»). «Всех она нас, детей, взрастила и выходила. Была она тогда лет сорока пяти, характера ясного, веселого, и всегда нам рассказывала такие славные сказки!» — писал о ней Достоевский. Образ няни, «Христовой невесты» в белоснежных кисейных чепцах с оборками и тюлевых нагрудниках, нюхавшей табак и почитавшей страшным грехом вкушать еду без хлеба, готовой отдать все свои сбережения, чтобы помочь хозяевам-погорельцам*, станет важнейшим аргументом «Дневника писателя» в спорах о культурном типе русского простонародья.

«Отец и мать были люди небогатые и трудящиеся», — напишет Достоевский. Раз и навсегда заведенный домашний порядок подчинялся службе отца. Вставали в шесть утра, в восьмом часу он выходил в больницу, «в палату», как говорилось дома; в девять у ворот больницы его дожидался кучер Давид — вместе с дворником Федором малороссы братья Савельевы были крепостными Михаила Андреевича, а лошади и экипаж приобретались для поездок на частную практику, разрешенную начальством больницы. Едва зайдя домой, чтобы облачиться в черный фрак, белый жилет и белый галстук (костюм, обязательный для визитов к больным), он отправлялся навещать своих многочисленных пациентов.

«Хотя папенька в молодых годах и не прочь был пофрантить, я не помню у него никакого другого костюма, кроме чер-

---

* В рассказе о деревенском детстве Вареньки Доброселовой («Бедные люди») обнаруживается еще один след милой няни: «Прибежишь, запыхавшись, домой; дома шумно, весело; раздадут нам, всем детям, работу: горох или мак шелушить. Сырые дрова трещат в печи; матушка весело смотрит за нашей веселой работой; старая няня Ульяна рассказывает про старое время или страшные сказки про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмемся подружка к подружке, а улыбка у всех на губах. Вот вдруг замолчим разом... чу! шум! как будто кто-то стучит! Ничего не бывало; это гудит самопрялка у старой Фроловны; сколько смеху бывало! А потом ночью не спим от страха; находят такие страшные сны».

ного или мундирного (тоже черного) фрака с белым жилетом и галстуком, причем всегда с орденом» (А. М. Достоевский). Кавалером ордена Святой Анны 3-й степени (на груди на красной ленте с желтой каймой золотой крест, покрытый красною финифтью, 100 рублей ежегодной пенсии) М. А. стал в апреле 1825-го «по предоставлению начальства, за отличную службу»; девиз ордена «Любящим правду, благочестие и верность» как нельзя лучше отвечал личным качествам лекаря Достоевского. Утренняя «практика» длилась до полудня, в первом часу накрывался стол, и семья садилась за обед, всегда сытный и вкусный (заслуга кухарки Анны, стряпавшей не хуже хорошего повара). Трубка, выкуренная после обеда, полтора-два часа отдыха на диване в халате, вечерний чай в четыре, и снова прием в больнице; вечером — работа со скорбными листами и выписка рецептов; «в 9 часов вечера, не раньше — не позже, накрывался обыкновенно ужинный стол и, поужинав, мы, мальчики, становились перед образом; прочитывали молитвы и, простившись с родителями, отходили ко сну. Подобное препровождение времени повторялось ежедневно».

Материальный достаток семьи держался на врачебной репутации Михаила Андреевича — он не только «неоднократно удостоивался Всемилостивейшего денежного награждения» в больнице (скорее всего, суммы награждения были невелики), но, вылечив однажды запущенную болезнь свояка Куманина, стал домовым доктором братьев Куманиных и приобрел большую практику в купеческих домах. Первое десятилетие его семейной жизни стало временем удач: он пустил корни в Москве и укрепился на службе; семейство росло; день его именин считался едва ли не главным семейным праздником — к обеду собиралось множество гостей, он умилялся и горячо целовал детей, когда утром они приветствовали папеньку по-французски и вручали «слова», переписанные на почтовой бумаге, свернутой в трубочку. Даже прогуливаясь с ними летним вечером в Марьиной Роще, он разговаривал о предметах, важных для общего развития (Андрей Михайлович вспоминал «неоднократные наглядные толкования его о геометрических началах, об острых, прямых и тупых углах, кривых и ломаных линиях, что в московских кварталах случались на каждом шагу»). Он мечтал о настоящем, высоком образовании для своих мальчиков, а им врезалось в память, как однажды, после визита отца Иоанна Баршева, священника при больнице, оба сына которого блестяще окончили курс в университете и стали юристами, папенька сказал: «Ежели бы мне, не говорю уже дождаться, но быть только уверенным, что мои сыновья так же хорошо пойдут, как Баршевы, то я бы умер покойно!»

...В сентябре 1823 года — Феде не было еще и двух лет — свояк лекаря, художник Попов, получил заказ написать погрудные пастельные портреты молодых супругов Достоевских: Марии Федоровне 23 года, Михаилу Андреевичу — около 35 лет, у них уже трое детей. Нежное, с чистейшим овалом и крохотным ртом, большеглазое, с высоким лбом над тонкими дугами бровей, лицо жены; ее хрупкая доброта, тонкое очарование и одухотворенность проступают в каждой черте. Ее портрет в золоченой раме, провисевший вместе со своей парой в гостиной семейного дома*, как правило, не вызывал нареканий. Зато досталось отцу: темноволосый мужчина с аккуратно подбритыми бакенбардами по тогдашней моде, в гражданском мундире с высоким, расшитым и плотно застегнутым воротом, полный сил, в своей лучшей мужской поре, любящий и любимый (портреты обращены друг к другу), молодой отец, в лице которого еще много юношеского, даже мальчишеского, но уже пролегли две глубокие вертикальные складки меж густых бровей над темными распахнутыми глазами — этот мужчина будет обвинен в холодности взора, недружелюбной замкнутости и мефистофелевском очертании бровей, и даже его четко очерченные округлые губы получат репутацию тонких и сжатых[54]. Беда, которая случится полтора десятилетия спустя, отбросит зловещую тень на прошедшее — истолкователи портрета, вооруженные поздним знанием, отнимут у оригинала его счастливое время.

...По воскресеньям и в праздники на литургию и ко всенощной родители с детьми ходили в больничную домовую церковь. С ней связано было самое раннее детское впечатление — двухлетний мальчик, которого причащала мать, увидел, как голубок пролетел через церковь из одного окна в другое. Воспоминания выступали светлыми точками из темноты, уголком огромной картины, которая гасла и исчезала. Запомнилось еще, как, по просьбе матери, он, трехлетний, стал на колени перед обрáзами и прочел на сон грядущий: «Все упование, Господи, на Тебя возлагаю. Матерь Божия, сохрани мя под кровом Своим». Гости хвалили малютку, а молитва осталась навсегда — ею Ф. М. напутствовал уже своих детей.

---

* «После смерти родителей портреты эти перешли во владение сестры Варвары Михайловны Карепиной и у нее во время пожара, бывшего в ее квартире в 80-х годах, сгорели. Но, к счастью, я озаботился еще ранее, а именно 21-го июля 1866 года, бывши в Москве, снятием с портретов этих фотографических копий. Так что ныне (1895 г.) копии эти есть единственные портреты моих родителей, и я их очень берегу... Известные в репродукциях портреты родителей Федора Михайловича Достоевского — суть снимки с этих фотографических копий» (А. М. Достоевский).

Ежегодно ездили с маменькой в лавру — путешествия остались в детской памяти как эпохи в жизни. «У Троицы проводили два дня, посещали все церковные службы, и, накупив игрушек... возвращались домой, употребив на все путешествие дней 5—6». «Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня», — благодарно писал Достоевский; спустя десятилетия, возвращаясь из ссылки, он скажет: «Сергиев монастырь вознаградил нас вполне. 23 года я в нем не был. Что за архитектура, какие памятники, византийские залы, церкви! Ризница привела нас в изумление. В ризнице жемчуг (великолепнейший) меряют четвериками, изумруды в треть вершка, алмазы по полумиллиону штука. Одежды нескольких веков, работы собственноручные русских цариц и царевен, домашние одежды Ивана Грозного, монеты, старые книги, всевозможные редкости — не вышел бы оттуда».

След первых духовных впечатлений протянется через всю жизнь и приведет к старцу Зосиме: «Повела меня матушка одного... в храм Господень, в Страстную неделю в понедельник к обедне. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу снова, как возносился из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в купол, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь Божию лучики, восходя к нам волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно и в первый раз отроду принял я тогда в душу семя Слова Божия осмысленно. Вышел на средину храма отрок с большою книгой, такою большою, что, показалось мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на налой, отверз и начал читать, и вдруг я тогда в первый раз нечто понял, в первый раз в жизни понял, чтó во храме Божием читают».

Старец Зосима убежденно повторит то, что не раз Ф. М. говорил про себя: «Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз». «Знайте же, — объяснит мальчикам и Алеша Карамазов в финале романа, — что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание... Прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек».

В черновых набросках к «Карамазовым» старец выскажет пронзительно прекрасную мысль: «Бог дал родных, чтоб

учиться на них *любви*». Федору Достоевскому щедро были даны те, на ком он учился любви. Ему вовремя были посланы и те, на ком он учился состраданию. В больничном саду, с широкими дорожками и липовыми аллеями, прогуливались больные, «в суконных верблюжьего цвета халатах или в тиковых летних, смотря по погоде, но всегда в белых, как снег, колпаках, вместо фуражек, и в башмаках или в туфлях без задников, так что они должны были шмыгать, а не шагать». Приближаться к больным было строго запрещено — так что дети лекаря, играя поблизости в лошадки, довольствовались обществом друг друга. Но бывало, брат Федор нарушал запрет и «очень любил, как-нибудь украдкою, вступать в разговоры с этими больными, в особенности, ежели попадались мальчики...».

Глава четвертая

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА И СОЗРЕВАНИЯ

Нежные годы. — Первые книжки. — Семья читателей. — Воспитательная метода. — В пансионе Чермака. — Учители незабвенные. — Покупка имения. — Лето в Даровом. — Смерть матери

«Давно ли мы были с тобой совсем маленькие? Я очень, очень хорошо помню минуту, когда нас, меня и покойного брата, в пятом часу утра, рядом спавших, разбудил радостный отец и объявил нам, что у нас родился брат Андрюшенька».

Это 1825 год, 25 марта. Федору Достоевскому три с половиной года.

Казенная квартира в нижнем этаже северного (левого от входа) каменного трехэтажного флигеля, куда перебрались Достоевские в 1823-м и где мальчик рос, учился говорить и читать, была весьма скромной и, как деликатно заметит брат Андрей, родившийся уже здесь, «не все члены семейства имели удобное помещение». Большая комната (два окна на улицу и три на чистый двор) называлась залом; комната поменьше в два окна на улицу, от которой дощатой перегородкой отделялось полусветлое помещение для родительской спальни, называлась гостиной. Еще была кухня — через холодные чистые сени, кладовка и просторная передняя, от которой опять-таки дощатой перегородкой, не доходившей до потолка, отделялась территория детской — здесь, на сундуках, стелили постели двум старшим братьям, а свет проникал из окна передней. Крашеные стены, три изразцовые печи, белые коленкоровые што-

ры на окнах, скромная мебель красного дерева; два ломберных стола, служившие старшим братьям для занятий, обеденный стол в окружении пары десятков стульев березового дерева с мягкими подушками из зеленого сафьяна — в зале; диван, несколько кресел, набитых волосом, шифоньер и книжный шкаф, туалетный столик матери, бронзовые канделябры — в гостиной. В спальне — кровати родителей, рукомойник, сундуки с одеждой. На этом пространстве размещалось всё семейство (младенцы спали в люльках при родителях), но и еще няня, кормилица и горничная в темных закутках, кухарка и прачка; впрочем, на кухне имелась громадная русская печь и были устроены полати...

Скромная обстановка квартиры лекаря, при его малых возможностях, обнаруживала стойкое стремление к благообразию. Трудно говорить о едином стиле убранства — здесь виделся и дворянский, и купеческий, и «многодетный» элемент: жилые и подсобные помещения имели двойное и тройное назначение. В зале играли дети, не имевшие своих отдельных комнат; там же семья обедала и чаевничала; в гостиной мать и сестрица Варенька занимались рукоделием, отец писал рецепты (впрочем, сиживал со скорбными листами и в зале), а ночью на диване кто-нибудь спал...

В дом приходили гости, чаще с утренними и обеденными визитами — дедушка и дядя Нечаевы, дядя и тетя Куманины, Масловичи, иная родня и знакомые. На Масленицу каждодневно ели блины; на Пасху катали яйца, на Святки играли «в короли», по большим праздникам бралась ложа в театре и четверо старших детей с родителями посещали дневные спектакли (Федор потом бредил представлением и подражал артистам). И ведь были еще балаганы «под Новинским» с паяцами, клоунами, силачами и комедиантами, куда водил дед Котельницкий; и балаганы с кукольными представлениями в Марьиной Роще, где звучали народные хоры и пение цыган; и домашние концерты для двух гитар — маменька и ее холостой братец Миша, главный приказчик в богатом суконном магазине, на пару исполняли чувствительные романсы и песни.

Раз-два в год навещали своих питомцев бывшие деревенские кормилицы — Дарья, Катерина, Лукерья, и рабочий зал уступал место празднику: дети виснут у гостей на шее, поцелуи, подарки, а потом наступают сумерки. «Усаживаемся, — вспоминал Андрей Михайлович, — все в темноте на стульях, и тут-то начинается рассказывание сказок. Это удовольствие продолжается часа по три, по четыре, рассказы передавались почти шепотом, чтобы не мешать родителям. Тишина такая, что слышен скрип отцовского пера. И каких только сказок мы

не слыхивали, и названий теперь всех не припомню; тут были и про “Жар-птицу”, и про “Алешу Поповича”, и про “Синюю бороду”, и про многое другое. Помню только, что некоторые сказки были для нас очень страшными». Какая-то старушка-гостья рассказывала одну за другой сказки из «Тысячи и одной ночи» — дети не отходили от нее и горячо спорили, чья из кормилиц, Федина или Варенькина, знает самые интересные истории...

Но главное «слушание» происходило, когда читали попеременно отец и мать. Осознать себя страстными книгочеями супруги Достоевские смогли, вероятно, лишь став многодетными родителями. Согласно заведенному порядку семейные вечера проходили в гостиной при двух сальных свечах за чтением вслух. Фаворитом стала «История государства Российского», сокровище из книжного шкафа («библиотеки»), украшавшего комнату*. «Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец», — запомнилось Федору. «Из истории Годунова и Самозванцев нечто осталось и у меня в памяти от этих чтений», — признавал брат Андрей и добавлял, что «История» была для Феди настольной книгой, которую он читал всегда, когда «не было чего-то новенького». А «новенькое», ко всеобщей радости, появлялось регулярно, так что дети «услышали» и биографию Ломоносова, написанную Полевым, и оды Державина, и переводы Жуковского, и «Письма русского путешественника» вкупе с «Бедной Лизой» и «Марфой Посадницей» Карамзина, и прозу Пушкина, и тогдашних «модных» романистов Загоскина, Лажечникова, Бегичева, и сказки Казака Луганского (В. Даля). «Все эти произведения остались у меня в памяти не по одному названию, а потому, что чтения эти часто прерывались рассуждениями родителей», — замечал А. М. «В долгие зимние вечера, — вспоминал и Ф. М., — за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф, от которых я потом бредил во сне в лихорадке». И еще одно признание: «С романов Радклиф, которые я читал еще восьми лет, разные Альфонсы, Катарины и Лючии въелись в мою голову. А дон Педрами и доньями Кларами еще и до сих пор брежу» (готические рома-

* Многотомная «История государства Российского» начала выходить за несколько лет до рождения Ф. М. Достоевского. К 1870 году относится признание писателя, адресованное Н. Н. Страхову: «Я возрос на Карамзине». По свидетельству П. П. Семенова-Тян-Шанского, однокашника Достоевского по Инженерному училищу, будущий писатель знал «Историю» «почти наизусть».

ны Анны Радклиф прочтут, наследуя пристрастие писателя, и его герои — Фома Опискин и Фетюкович, адвокат Мити Карамазова).

Читать детей учила мать. Буквы выговаривали по-старинному: *аз*, *буки*, *веди*, *глагол;* после букв пробовали пятерные склады: *бвгра, вздра*; едва выучившись беглому чтению, требовали книг. В нежные годы это были лубки, дешевые серо-бумажные тетрадки в четверть листа, славянскими или русскими буквами, с картинками к сказкам, легендам, былинам. «Таковые тетрадки и у нас в доме не переводились», — писал А. М., и это значило, что, помимо «Бовы Королевича» и «Еруслана Лазаревича», в дом могли попасть и сказания о Куликовской битве, и повести с продолжением, вроде «Шута Балакирева» и «Ермака, покорившего Сибирь», и «Похождений российского Картуша, именуемого Ванькой Каином». Наверняка знали в семье и «Приключения английского милорда Георга» — о их героях, бывшем турецком визире Марцимирисе и прекрасной маркграфине Луизе, «неизвестно почему» вспоминает герой «Двойника» Яков Петрович Голядкин, читавший «когда-то» знаменитую книжку, не исчезавшую с книжного рынка в течение 150 лет*.

Но главная книга, по которой будущий писатель, а также его братья и сестры учились читать всерьез, была одна и та же: «Сто четыре Священные Истории Ветхого и Нового Завета», на русском языке, с литографиями; только через полвека Достоевскому удастся разыскать тот самый «детский» экземпляр; он будет беречь его как святыню и «одолжит» только любимому старцу — заветная книга согреет также и детство Зосимы: «Была у меня тогда книга, Священная История, с прекрасными картинками... по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю».

Через всю жизнь писателя прошла великая «Книга Иова». Библейская история о муже, «удалявшемся от зла», Сатане-провокаторе («Разве даром богобоязнен Иов?» — подстрекает он Господа) и испытаниях, которые послал Иову Бог через дьявола, волновала душу ребенка и будила фантазию писателя. Бичи Господни, обрушенные на праведника Иова, и ропот несчастного Достоевский чувствовал всем своим существом. «Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный вос-

---

* В статье «Книжность и грамотность» (1861) Ф. М. Достоевский призовет издателей «принять в рассуждение успех у народа книжек вроде “Битвы русских с кабардинцами”, “Милорда Георга”, “Анекдотов о Балакиреве”, “Старичка-Весельчака”, “Новейшего астрономического и астрологического телескопа”, “Мамаева побоища” и т. п.».

торг; бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача... — писал он жене в 1875 году. — Эта книга, Аня, странно это — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем!» Достоевский всегда помнил, что они в семействе своем «знали Евангелие чуть не с первого детства» и что детей рано начинали учить: «Его уже четырехлетним сажали за книжку и твердили: "учись!", а на воздухе было так тепло, хорошо, так и манило в большой и тенистый больничный сад!»[55]

Гений — это не норма, это нарушение нормы. «Брат Федор, — утверждал Андрей Михайлович, — был во всех проявлениях своих настоящий огонь». Так считали и родители. «Слишком горяч», «слишком впечатлителен», «слишком резок» — нарушение нормы проглядывало уже в раннем детстве. «Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой!» — говаривал отец, которого горячность сына пугала еще и потому, что за ней виделась неизбежность беды. «Отец не любил делать нравоучений и наставлений; но... очень часто повторял, что он человек бедный, что дети его, в особенности мальчики, должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертью его они останутся нищими и т. п. Все это рисовало мрачную картину». Так запомнилось Андрею, и страхи отца были не беспочвенны. В них, быть может, таился некий интуитивный расчет: если в семье по какому-то капризу природы окажется гений, нужно постараться его не потушить во младенчестве.

Гений в ней оказался.

Спустя много лет, проявляя поразительную скромность, Ф. М. диктовал биографу: «По старшинству я родился вторым, был прыток, любознателен, настойчив в этой любознательности, прямо-таки надоедлив — и даровит. Года в три, что ли, выдумал слагать сказки, да еще мудреные, пожалуй, замысловатые, либо страшные, либо с оттенком шутливости. Я их запоминал...»[56] Кажется, и домашний уклад строился в этой семье так, чтобы поощрить любознательность, укрепить настойчивость, разбудить воображение. На склоне лет Ф. М. напишет брату Андрею: «Заметь себе и проникнись тем, что идея непременного и высшего стремления *в лучшие люди* (в буквальном, самом *высшем* смысле слова) была основною идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения».

Принято считать, что Достоевский из-за этих самых «уклонений» не любил вспоминать о родителях и пресекал любые расспросы. С. Д. Яновский, приятель Ф. М. 1840-х годов, запомнил, что писатель «благоговейно отзывался о матери, сестрах, брате Михаиле, но об отце решительно не любил гово-

рить и просил о нем не спрашивать»[57]. Однако А. М. помнил и другое: «Это было не так давно, а именно в конце 70-х годов. Я как-то разговорился с ним о нашем давно прошедшем и упомянул об отце. Брат мгновенно воодушевился, схватил меня за руку повыше локтя (обыкновенная его привычка, когда он говорил по душе) и горячо высказал: “Да знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые, и в настоящую минуту они были бы передовыми!.. А уж такими семьянинами, такими отцами... нам с тобою не быть, брат”».

Чтó значило на языке Достоевского понятие «лучшие, передовые люди», отнесенное к родителям? Скорее всего, речь шла о их стремлении вырваться из плена обыденности, заурядности («семья брата Миши очень упала, очень низменна, необразованна», — с горечью скажет Ф. М. за пять лет до смерти). Достоевский не сомневался: стремление родителей стать «лучшими людьми» было исполнено жертвенности и самоотверженности, ибо всецело было направлено на детей.

В апреле 1827 года М. А. Достоевский «за отличную службу» и «за выслугу узаконенных лет» был награжден чином коллежского асессора, который давал право на потомственное дворянство. В июне 1828-го определением Московского депутатского собрания он был записан в третью часть родословной книги московского потомственного дворянства: утраченное предками сословное достоинство вернулось фамилии и передалось детям. В январе 1829-го по «засвидетельствованию начальства об отличной и ревностной службе» ему был пожалован орден Святого Владимира 4-й степени (девиз «Польза, честь и слава», золотой крест, покрытый красной эмалью, на колодке или в петлице, 100 рублей ежегодной пенсии). В августе 1829-го — знак отличия беспорочной службы за 15 лет при «установленной грамоте». В 1832-м — чин надворного советника и вскоре, по представлению начальства больницы, орден Святой Анны 2-й степени («Анна на шее» — золотой крест, покрытый красной финифтью, носимый на шее на широкой ленте и дававший 150 рублей ежегодной пенсии).

Послужной список Достоевского-старшего, его успешное восхождение по лестнице чинов, его в точном смысле слова *заслуженное* дворянство никак не соответствуют той репутации, которую создали ему его поздние биографы. Как могла служба лекаря-ординатора из казенного места, руководимого строгими немцами, совмещаться с «тяжелой формой алкоголизма», приписанной ему 130 лет спустя?[58] Ктó из городских пациентов-купцов, которых он лечил и наблюдал годами, пустил бы к себе доктора с подобным недугом? Ктó бы из начальства рискнул называть его службу беспорочной и представлять к чинам

и наградам? Рисуя Михаила Андреевича человеком неуживчивым, раздражительным, угрюмым и нетерпимо требовательным ко всем окружающим, с ужасными вспышками гнева и при этом крайне скупым[59], биограф не посчитался ни с отзывами об отце сына Федора («лучшие, передовые люди»), ни с мнением внучки Любови Федоровны — что дед Михаил, при всей своей бережливости, когда дело шло о воспитании сыновей, не скупился; ни с воспоминаниями сына Андрея: «Родители наши были отнюдь не скупы, скорее даже тароваты; но вероятно по тогдашним понятиям считалось тоже за неприличное, чтобы молодые люди имели свои хотя бы маленькие карманные деньги».

Дети, исполняя волю отца, росли в отгороженном мире, их кругозор был стеснен рамками семьи. Мальчикам запрещались, как неприличные, шумные, игры в мяч и лапту. Пресекались не только знакомства в больничном саду, но и общение со сверстниками — «из товарищей к братьям не ходил никто». «Отец наш был чрезвычайно внимателен в наблюдении за нравственностью детей, и в особенности относительно старших братьев, когда они сделались уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-то одни; это считалось отцом за неприличное, между тем, как к концу пребывания братьев в родительском доме старшему было уже 17, а брату Федору почти 16».

Быть бы таким детям буками и дикарями, но вместо этого — глубокая дружба и настоящая духовная близость старших братьев. Быть бы им темными, тупыми недорослями, но вместо этого — страстная любовь к книгам и редкая увлеченность чтением, долгое время заменявшая реальные впечатления. Но была ли строгость родителя следствием его деспотизма? Была ли атмосфера отчего дома невыносимой, омрачившей детство писателя? Можно ли горькие слова из «Подростка»: «Есть дети... оскорбленные неблагообразием отцов своих и среды своей» — прямо отнести к автору романа? Ведь Ф. М. в те же годы называл свое семейство благочестивым — в отличие от семей случайных!

Воспитание детей Достоевских — явление непростое. Оно было поставлено таким образом (и тут дело не в холодном расчете, а скорее в интуиции родителей), что острые углы, если они были в детских характерах, не сглаживались, а заострялись; воображение, если оно было у кого-то из детей болезненным, не остужалось, а разжигалось; фантазия, если она уже была разбужена, постепенно начинала доминировать над действительностью. В этом смысле феномен отца, тяжелый нрав которого стал биографическим штампом, тоже неоднозначен.

Конечно, он ограничил свободу сыновей, вынудил их вести жизнь уединенную, заставил учить латынь и сам вел эти уроки. «Братья, занимаясь нередко по часу и более, не смели не только сесть, но даже облокотиться на стол... Братья очень боялись этих уроков, происходивших всегда по вечерам. Отец, при всей своей доброте, был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, очень вспыльчив... При малейшем промахе со стороны братьев отец всегда рассердится, вспылит, обзовет их лентяями, тупицами; в крайних же, более редких случаях даже бросит занятия, не докончив урока, что считалось уже хуже всякого наказания» (А. М. Достоевский).

Но честнейший Андрей Михайлович не забудет упомянуть и об особой удаче своего детства: «В семействе нашем принято было обходиться с детьми очень гуманно, и, несмотря на известную присказку к ижице, нас не только не наказывали телесно, — никогда и никого, — но даже я не помню, чтобы когда-либо старших братьев ставили на колени или в угол. Главнейшим для нас было то, что отец вспылит». Значит, вспыльчивость отца была не капризом деспота или распущенностью домашнего тирана, а одержимостью человека, мечтавшего о высокой судьбе своих сыновей. Жажда житейского благополучия, непременным условием которого он считал хорошее образование, требовала от него как от главы семьи незаурядных поступков. Уважая в детях их личное достоинство и щадя их самолюбие, он не поддался страху бедности и разорения и не отдал сыновей в гимназию, что обошлось бы много дешевле; он определил их в дорогой частный пансион, один из лучших в Москве, ибо «гимназии не пользовались в то время хорошею репутациею, и в них существовало обычное и заурядное, за всякую малейшую провинность, наказание телесное».

Дети Достоевские не знали розог, как знал их, например, младший современник Ф. М. Лев Толстой и его герой, Николенька Иртеньев, дворянский отпрыск, на всю жизнь запомнивший и учительскую линейку, и угол для стояния на коленях лицом к стене, и свой стыд, свое отчаяние, свою ненависть к унижавшим его воспитателям. Писатель Достоевский — редкий, может быть, единственный представитель русской классической литературы, который не был бит в детстве.

...Старшие дети, до поступления в пансион, занимались с учителями. Дьякон И. В. Хинковский из Екатерининского института, учивший Закону Божию, русскому языку, арифметике и географии, являлся на дом и был удивительно хорош, воодушевлен, обладал необыкновенным даром слова. «К его приходу в зале, — писал А. М., — всегда раскладывали ломберный

стол, и мы, четверо детей, помещались за этим столом вместе с преподавателем. Маменька всегда садилась сбоку, в стороне... Многих впоследствии имел я законоучителей, но такого, как отец дьякон, не припомню».

Ежедневно по утрам в своем экипаже братья ездили на полупансион к учителю Александровского и Екатерининского институтов Н. И. Драшусову, бывшему военнопленному наполеоновской армии по фамилии Сушард — тот учил их французскому языку, был принят в семье Достоевских и жил от них в двух кварталах, в одноэтажном домике на Селезневке, близ Тюремного замка. Дорога между тюрьмой и тюремной больницей проходила по Божедомке; братья могли видеть арестантов прямо из окон своей квартиры[60]. Взрослые сыновья Драшусова — Александр (будущий астроном) и Владимир (позже издатель газеты «Московский городской листок») — занимались с подростками математикой и словесными науками. Достоевский поприветствует «прежний пансионишко» в «Подростке»: «Вот это — уроки из французской грамматики, вот это — упражнение под диктант, вот тут спряжение вспомогательных глаголов avoir и être, вот тут по географии, описание главных городов Европы и всех частей света...» Однако Аркадию Долгорукову в пансионе Тушара повезет куда меньше, чем братьям Достоевским у Драшусова.

Пансион Леонтия Ивановича Чермака, куда братья Достоевские были устроены после года занятий у Драшусова, имел репутацию идеального закрытого учебного заведения для мальчиков благородного происхождения. Тем не менее резкий переход от замкнутой домашней жизни к обществу сверстников (братья приезжали домой в субботу к обеду и возвращались в пансион на Новую Басманную к утру понедельника) дался нелегко. К тому моменту, когда Федор вступил в мир «чужих», он был задумчивым белокурым бледным мальчиком: его мало занимали игры и даже во время рекреаций он не разлучался с книгами.

И в отрочестве, и в юности, и во взрослой жизни Достоевский гораздо меньше страдал от одиночества, чем от принудительного общения; «быть одному, — напишет он сразу по выходе из Омского острога, — это потребность нормальная, как пить и есть, иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человеконенавистником. Общество людей сделается ядом и заразой...». Так, может быть, прав был отец, ограждая сыновей от докучливых сверстников? Аркадий Долгорукий запомнит свои 12 лет: «Все мои однолетки, все мои товарищи, все до одного, оказывались ниже меня мыслями; я не помню ни единого исключения». Надо полагать, родители поняли

своего одаренного сына Федора, не пытались исправить его натуру, не ломали характер, не усмиряли нрав, а каким-то образом укрепили его природные черты и дарования.

День в пансионе начинался в шесть утра (зимой часом позже) по звонку. В семь — общая молитва и завтрак в столовой; в восемь — первый урок. В классе садились на местах, какое кому назначено. В полдень — обед, с двух пополудни шли классы до шестичасового чая; с семи вечера — повторение уроков с надзирателями, в девять ужинали и после вечерних молитв шли спать. Курс учения делился на три класса: нижний, средний и высший, учеба длилась 11 месяцев с каникулами в июле и августе, годичная плата составляла 800 рублей для низших и средних классов и тысячу рублей — для высших[61] (годового жалованья отца хватило бы на учебу только одного сына, но помогали Куманины). Леонтий Иванович входил во все нужды детей, тщательно следил за их здоровьем, имел с ними общий стол, тратил на свой образцовый пансион, выпускники которого становились лучшими студентами университета, много больше, чем получал, и умер в бедности, принеся в жертву юношеству все свои сбережения.

В пансионе Чермака служили лучшие московские учителя: астроном и математик Д. М. Перевощиков; филолог А. М. Кубарев, читавший риторику; географ и историк К. М. Романовский. Программа обучения включала еще и физику, логику, русский, греческий, латинский, немецкий, английский, французский языки, чистописание, рисование и даже танцы. Тяга братьев к чтению, благодаря романам Вальтера Скотта, В. Т. Нарежного, А. Ф. Вельтмана, теперь стала настоящей страстью. А. М. Достоевский писал: «Брат Федя более читал сочинения исторические, серьезные... Михаил любил поэзию и сам пописывал стихи, бывши в старшем классе пансиона (чем брат Федор не занимался). Но на Пушкине они мирились, и оба, кажется, и тогда чуть не всего знали наизусть...»*

Здесь у них появился первоклассный учитель словесности Николай Иванович Билевич. Он был не просто талантливым

* За полгода до смерти, по просьбе знакомого, Достоевский, полагаясь на собственный читательский опыт, составил список книг для чтения девочки-подростка, дочери своего корреспондента. Здесь были весь Вальтер Скотт, весь Диккенс, «Дон Кихот» и «Жиль Блаз», весь Пушкин — стихи и проза, весь Гоголь. «Тургенев, Гончаров, если хотите; мои сочинения, не думаю, чтобы все пригодились ей. Хорошо прочесть всю историю Шлоссера и русскую Соловьева. Хорошо не обойти Карамзина... Вообще исторические сочинения имеют огромное воспитательное значение. Лев Толстой должен быть весь прочтен. Шекспир, Шиллер, Гёте — все есть и в русских, очень хороших переводах».

педагогом с блестящей репутацией. Молодой человек, всего девятью годами старше Федора, учился в Нежине в одном лицее с Гоголем, дружил с Кукольником, Гребенкой и Прокоповичем, посещал литературные собрания, а главное, сочинял стихи, переводил Шиллера, писал сатирические статьи. Немудрено, что он стал кумиром братьев Достоевских, их нравственным авторитетом. Как и в случае с вдохновенным отцом дьяконом, жизнь словно бы подыграла Ф. М., подарив в детские годы сильное впечатление в лице образованного и яркого наставника-литератора.

Общаясь с любимым учителем, воспитанники начинали понимать, что литература — это не только книга; это прежде всего автор, человек из плоти и крови, который может к тому же оказаться близким знакомым. Литература, оставаясь предметом страстной увлеченности, обретала человеческий масштаб и приближалась на доступное расстояние. Конечно, Шекспир и Шиллер оставались недостижимыми, но номера «Библиотеки для чтения» приходили на дом, и в них, наряду со стихотворениями Бенедиктова, Кукольника, Катенина, романами Марлинского и переводами из Купера, можно было обнаружить разборы современных литераторов, какими были тогда и Бальзак, и Жорж Санд, и Пушкин, и учитель Билевич.

Может быть, учась у Билевича-педагога и общаясь с Билевичем-литератором, одним из авторов первого русского «толстого» журнала, Достоевский начал думать о литературе как о профессии. Во всяком случае, словесность, благодаря влиянию горячо преданного ей рыцаря («Братья с особенным воодушевлением рассказывали про своего учителя русского языка, он просто сделался их идолом, так как на каждом шагу был ими вспоминаем... Братья отзывались о нем не только как о хорошем учителе, но в некотором отношении как о джентльмене», — писал Андрей Михайлович), к моменту окончания учебы у Чермака воспринималась пансионерами Достоевскими как желанная и единственно возможная для них сфера деятельности.

Оглядываясь в конце жизни на свое читательское прошлое, Достоевский оценивал его как наилучшее из возможных: нужные книги были прочитаны в нужное время. Домашнее воспитание не убило фантазию — природную силу, требующую пищи. «Не давая ей утоления, или умертвишь ее, или обратно — дашь ей развиться именно чрезмерно (что и вредно) своими собственными уже силами. Такая же натуга лишь истощит духовную сторону ребенка преждевременно». Переживаний *прекрасного*, столь нужных именно в детстве, у Достоевского окажется прочный запас: «Пусть я развил в себе фантазию и

впечатлительность, но зато я направил ее в хорошую сторону и не направил на дурную, тем более, что захватил с собой в жизнь из этого чтения столько прекрасных и высоких впечатлений, что, конечно, они составили в душе моей большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными и растлевающими».

Судьба Достоевского позаботилась, однако, и о том, чтобы уже в отрочестве и в юности у него были не только книжные радости, не только светлые домашние впечатления. Она заготовила такие удары, какие десятилетний мальчик, потрясенно смотревший в начале 1830-х «Разбойников» Шиллера в Малом театре, мог бы и не вынести. Ему не было и десяти, когда произошла трагедия, навсегда поселившая в его сердце чувство острого ужаса — столь наглядным было крушение добра, столь страшной оказалась гибель красоты. В больничном дворе он играл с девочкой-сверстницей, дочкой кучера или повара. «Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: “Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!”». И, как рассказывал писатель в конце 1870-х в салоне А. П. Философовой, «какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью... Меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в “Бесах”»[62].

Из романа в роман будет преследовать Достоевского сюжет замученного ребенка — несчастное дитя будет являться ему и в снах Свидригайлова, и в галлюцинациях Ставрогина, и в черновиках к «Подростку»...

В 1832 году от грудной водянки умер Ф. Т. Нечаев; детям сшили черные рубашечки с плерезами, и вместе с матерью они присутствовали на панихиде и похоронах. Еще раньше, в 1829-м, вскоре после рождения, умерла Любочка, близняшка сестрицы Веры. «Помню очень хорошо, как отвезли маленький гробик в коляске, у которой сидел и я, и похоронили на Лазоревском кладбище, в ногах у бабушки нашей Варвары Михайловны Нечаевой», — вспоминал А. М. Достоевский; это было только самое начало тягчайших утрат их детства.

Летом 1831 года, после долгих поисков и утомительных переговоров с посредниками («сводчиками»), М. А. Достоевский решился на покупку имения. Дворянское звание давало ему право на владение землей, но желание иметь усадьбу диктовалось не стремлением сделаться помещиком, собственни-

ком крестьянских душ. Квартира на Божедомке была мала и тесна, семья росла, для летнего отдыха у детей не было ничего, кроме больничного сада; к тому же казенное помещение во флигеле, где жили Достоевские и их шестеро детей (сын Николай родился в конце 1831 года), принадлежало им лишь до тех пор, пока отец семейства служил в больнице. Его отставка либо кончина означала бы для семьи кошмар бездомности. Средства копились годами, из гонораров от «практики», которая то была в изобилии, то ее не было вовсе («дела мои по приезде очень тихи, до сих пор ни одного больного, что делать, скучно на старость лет при недостатке»[63], — писал он жене в 1833-м), и могли осилить лишь самое скромное приобретение. Но именно «именьице» (как назвал его Андрей Михайлович), за которое было заплачено около 30 тысяч рублей ассигнациями из скопленных и взятых взаймы, стало причиной материального краха семьи, ускорило смерть матери, оказалось причиной гибели отца и сделало сиротами семерых детей (в 1835 году родилась дочь Александра).

Хроника несчастья удручающе стремительна — уже первый шаг Михаила Андреевича сопровождался дурной приметой. Забыв взять нужные документы, он вернулся домой от Рогожской Заставы через два часа после отъезда; зрелище мужа, отбывшего на неделю и внезапно воротившегося, повергло Марию Федоровну, беременную Николушкой, в страшный испуг, едва ли не в обморок. Этот эпизод, как писал Андрей Михайлович, «часто вспоминался в нашем доме в том смысле, что это худой признак и что покупаемая деревня счастья нам не принесет». Но глава семьи не отложил намерения, и покупка сельца Дарового Каширского уезда Тульской губернии, в 10 верстах от Зарайска, в 40 верстах от Каширы и в 150 верстах от Москвы у помещика П. П. Хотяинцева была оформлена на имя жены тем же летом. Родители отслужили молебен у Иверской Божьей Матери, но приобретение оказалось отчаянно незавидным, а новый владелец отчаянно непрактичным. Худородные, изрезанные оврагами и ручьями суглинистые поля; «чересполосные» пустоши; хронический неурожай, 11 бедных крестьянских дворов; 76 душ крестьян обоего пола, обитавших в ветхих домишках. Жилище новых господ не было похоже на господское: маленький, плетневый, связанный глиною на манер южных построек, беленый низенький флигелек из трех небольших комнаток, крытых соломой, с глинобитным полом.

Тем же летом у новых хозяев Дарового случились несогласия и распри с прежним хозяином: по неопытности и оплошности Михаил Андреевич, покупая имение, не вник в то обсто-

ятельство, что шесть крестьянских дворов Хотяинцева находятся на единственной улице его деревеньки. Попытки размежевания, судебные иски, длительная тяжба успехом не увенчались. Для вынужденной — прежний хозяин грозил «тисками» — покупки крохотной соседней деревеньки Черемошни (восемь дворов, 67 крестьянских душ) понадобилось сразу же заложить Даровое. В первый же год, весной 1832-го, случился страшный пожар: один из мужиков по неосторожности учинил пожар в своем дворе, сгорел сам, и огонь, при сильном ветре, перекинувшись на соседние избы, спалил всю деревеньку дотла. Когда в апреле Федор вместе с родными, проведя в дороге двое суток, приехал в Даровое, он увидел пустырь, обгоревшие столбы, тронутые огнем липы у сгоревшего скотного двора, жалкое пепелище... К счастью, мазанка с низенькими окошками, окруженная вековыми липами, защитившими ее от огня, уцелела и семья могла остаться на лето.

Еще при первом известии о «сгоревшей вотчине» М. А. велел передать крестьянам-погорельцам: «Последнюю рубашку поделю с ними». Мария Федоровна выдала по 50 рублей каждому двору взаймы, с надеждой на уплату, которой так никогда и не случилось; но стройка закипела, и к концу лета деревня была как новая, рядом с мазанкой поставили деревянный господский флигель, крытый соломой, избу для дворовых людей и скотный двор.

Дети, старшему из которых в первый деревенский год было 12, почти не замечали трудностей и неурядиц. Они обожали тенистую липовую рощу, которая через поле примыкала к густому березняку (он назывался Брыково), мрачноватому, диковатому, изрытому оврагами; фруктовый сад, окруженный глубоким рвом, и кусты крыжовника по насыпям; липы у дома, которые лучше всяких беседок служили столовой, — семья здесь обедала и чаевничала; пруд, который велела вырыть маменька, глубокий, с хорошей водой, там разводили карасей, ловили их на удочку; отличную купальню.

«Лесок Брыково с самого начала очень полюбился брату Феде, так что впоследствии в семействе нашем он назывался Фединой рощею» (в «своей» рощице, поместив ее под Тверью, между усадьбой Скворешники и фабрикой Шпигулиных, автор «Бесов» устроит дуэль Ставрогина и Гаганова). Детские игры в дикие племена, в Робинзона, в лошадки, которые выдумывал фантазер Федя и красочно описал брат Андрей, происходили в тех же местах — в липовой роще, в поле и в Брыкове. Под липами мальчики строили шалаш, расписывали себя красками, надевали шапки и пояса из листьев и крашеных гусиных перьев и, вооружившись самодельными луками и стре-

лами, совершали набеги в березняк, где заранее прятались деревенские дети, которых брали в плен и держали в шалаше до выкупа. А то воображали себя потерпевшими кораблекрушение и «тонули» в пруду.

Постепенно семья знакомилась с соседями. Мария Федоровна, толково и с удовольствием управлявшая птичьим двором, огородом, посевами пшеницы, гречихи, овса, льна, картофеля, была непритязательна, общительна, с ней охотно встречались окрестные помещицы, наперебой зазывая в гости с детьми. По воскресеньям, на пути из большой каменной церкви в Моногарово, в двух верстах от Дарового, они заходили то к Хотяинцевым на кофе с пирогами, то к старушке Небольсиной передохнуть с дороги, то к помещикам Еропкиным посмотреть оранжереи и парники. Дети были счастливо уверены, что и соседи, и крестьяне Дарового их непритворно любят и желают добра.

В самом скором времени они знали уже всех обитателей округи, даже самых диковинных. «В деревне у нас была дурочка, не принадлежавшая ни какой семье; она все время проводила, шляясь по полям, и только в сильные морозы зимой ее насильно приючивали к какой-либо избе. Ей уже было тогда лет 20—25; говорила она очень мало, неохотно, непонятно и несвязно; можно было только понять, что она вспоминает постоянно о ребенке, похороненном на кладбище*. Она, кажется, была дурочкой от рождения и, несмотря на свое таковое состояние, претерпела над собой насилие и сделалась матерью ребенка, который вскоре и умер». Андрей Михайлович, описав деревенскую дурочку Аграфену, впоследствии, читая роман брата, опознал ее в юродивой Лизавете — только сочинитель распорядился детским впечатлением по-своему: Лизавета умирает в родах, а сын ее, Павел Смердяков, становится слугой барина Карамазова, своего природного отца...

И случилось чудо, сотканное из мгновений первого Фединого лета в Даровом, на исходе августа, в местах детских игр, за оврагом, в густом кустарнике. Выламывая ореховый хлыст попрочнее, чтобы стегать им лягушек, вглядываясь в нарядных проворных ящериц, вдыхая запах прелых листьев и предвку-

---

* Можно, видимо, вспомнить фантазию Марьи Лебядкиной, которой чудится, что своего новорожденного ребенка она бросила в пруд: «Вся моя тоска в том, что не помню я, мальчик аль девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист да в кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещеного понесла, и несу это я его через лес, и боюсь я лесу, и страшно мне, и всего больше я плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю».

шая грибную охоту в березняке, мальчик среди глубокой тишины вдруг услышал ясный и отчетливый крик: «Волк бежит!» Вне себя от испуга, крича в голос, он бросился бежать и добежал до пахаря, работавшего в поле невдалеке, схватил его за руку, весь трясясь и дрожа. «Это был наш мужик Марей...» Пахарь успокоил, ободрил и приласкал барчонка, и тот поверил наконец, что волка никакого нет и что крик померещился, как уже не раз мерещились ему бог весть какие звуки. «Это был красивый мужик, выше средних лет, брюнет с солидною черною бородою, в которую пробивалась уже седина», — подтвердит брат Андрей подлинное существование крепостного Марея (Марка Ефремова), знатока рогатого скота, советчика при покупке коров на ярмарке в Зарайске.

Быть бы забытым милому детскому приключению, как забывается в эти лета почти всё. Однако мимолетный эпизод детства поможет каторжнику Достоевскому выжить, когда острог явит ему других мужиков. Через 20 лет писатель вспомнит встречу в Даровом, а через 45 о ней напишет: «Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: "Ишь ведь, испужался, малец!" И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим... Если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлою любовью взглядом, а кто его заставлял?.. Никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не наградил за то... Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе». Оказывается, можно было видеть в хмельных, обритых мужиках, с клеймами на лицах, орущих пьяные песни, своих товарищей по несчастью, таких же самых Мареев...

Сельская идиллия длилась недолго. Старшие мальчики вместе с маменькой бывали в имении с весны до осени, но, став пансионерами, могли приезжать всего месяца на полтора-два, а папенька — лишь дней на десять-двенадцать за лето: в Москве его ждали служба, хлопоты, огорчения, о которых он писал жене уныло и подавленно: «Сижу подгорюнившись да тоскую, и головы негде приклонить, не говорю уже горе разделить; все чужие и все равнодушно смотрят на меня...»

Беспокойство росло вместе с долгами по имению, а доходы падали, хозяйство нищало; к Куманиным, которые обычно выручали, мнительный Михаил Андреевич избегал обращаться слишком часто («я заметил, что они скучают моими посещениями» и «дуются»); в ненастную погоду его мучили приступы головной боли и — увы — приступы жестокой ревности: ему чудилось, будто его беременная на восьмом месяце жена неверна ему. Он писал ей глухо и отрывисто, что расстроен, истерзан душой, как еще никогда в жизни, но Мария Федоровна догадывалась, в чем суть страданий мужа. «Не терзают ли тебя те же гибельные для обоих нас и несправедливые подозрения в неверности моей к тебе, и ежели я не ошибаюсь, то клянусь тебе, друг мой, самим Богом, небом и землею, детьми моими и всем моим щастием и жизнию моею, что никогда не была и не буду преступницею сердечной клятвы моей... Клянусь также, что и теперешняя моя беременность есть седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей, со стороны моей любви чистой, священной, непорочной и страстной, неизменяемой от самого брака нашего...»

Супруг винился, мол, «бывают минуты, что иногда прогневляю Творца моего, ропща за дарованные мне краткие дни в удел мой жизни, но не думай ничего, это пройдет...». Но *это* не проходило; призрак измены маячил и отравлял душу, и росла давняя обида жены («любви моей не видят, не понимают чувств моих, смотрят на меня с низким подозрением»), и томили грустные мысли, что годы идут, морщины и желчь разливаются по лицу, природная веселость обращается в грустную меланхолию, и, если бы не чистая совесть, судьба была бы самой плачевной...

Роковой финал был не за горами. С весны 1835 года Марию Федоровну бил дурной кашель, а после рождения Саши болезнь обострилась. Последнее спокойное лето в Даровом пришлось на 1836-й, а осенью Мария Федоровна совсем занемогла. «В семействе нашем было очень печально... Отец, как доктор, конечно, сознавал ее болезнь, но, видимо, утешал себя надеждой на поддержание сил больной. Силы ее падали очень быстро», — вспоминал А. М. Вскоре она уже не могла расчесывать свои длинные и густые волосы и была обстрижена под гребенку. «С начала нового, 1837 г. состояние маменьки очень ухудшилось, она почти не вставала с постели, а с февраля месяца и совершенно слегла». Каждые утро и вечер, из сочувствия к коллеге, приходили на консилиум доктора, товарищи Михаила Андреевича; одни лекарства сменялись другими, но не помогали ни микстуры, ни советы. Наезжала родня с расспросами о течении болезни, хотя все, в том числе и дети, по-

нимали, что теряют болящую («это было самое горькое время в детский период нашей жизни»).

В конце февраля доктора объявили о тщетности своих усилий, и 27-го, в седьмом часу утра, после смертной агонии, Мария Федоровна Достоевская, не дожив до тридцати семи лет, скончалась. 1 марта ее похоронили на Лазоревском кладбище, где уже нашли вечное упокоение ее мать и новорожденная дочь. «Другу милому, незабвенному, супруге нежной, матери попечительнейшей. Покойся, милый прах, до радостного утра!» — будет высечено на могильном памятнике. Строку из «Эпитафии» Карамзина выбирали Михаил и Федор Достоевские.

О тень, мне милая! А сколько было слез,
Когда я, горестный, с тобою расставался,
Когда я в Божий храм твой гроб отверстый нес
И там в последний раз с тобой, мой друг, прощался!
Когда в могильный ров я бросил горсть земли,
Когда пропели вдруг: «Покойся со святыми!»
И в землю поклонясь, домой все побрели,
Толкуя кой о чем с домашними своими...

Стихи «Видение матери», написанные Михаилом через год после кончины матери, подводили итог общему с братьями и сестрами безмятежному детству. Впереди их всех ждал еще один тягчайший удар, который оправдает самые худшие предчувствия М. А. Достоевского.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ИСПЫТАНИЕ ПЕТЕРБУРГОМ

Глава первая
ОБЛАК ЧЕРНЫЙ, МГЛОЙ ОДЕТЫЙ...

Прошение об отставке. — Гибель Пушкина. — Путешествие на долгих. — Инженерный замок. — Несчастье с алгеброй. — Западни Дарового. — Чтение как мания. — Друзья Шиллера и Шекспира

Вскоре после кончины М. Ф. Достоевской главный врач Мариинской больницы статский советник А. А. Рихтер (в 1830-м он сменил на этом посту Оппеля), а также почетный опекун больницы сенатор Л. А. Яковлев (дядя А. И. Герцена) направили М. А. Достоевскому письменный запрос — не желает ли он занять вакансию старшего врача при мужском отделении приходящих больных. В иных обстоятельствах выгодное место со значительным окладом жалованья было бы спасением для вдового отца семерых детей, однако теперь принять долгожданного повышения он не мог. Смерть жены подействовала на Михаила Андреевича разрушительно, превратив нестарого еще мужчину в инвалида: резко ухудшилось зрение, от застарелых ревматических припадков «воспоследовало трясение правой руки». «Припадки, особенно зрение мое, от постигшего меня удара смертию жены моей, становится со дня на день худшим до того, что и с помощью стекол затрудняюсь в чтении и письме, а следовательно, нахожусь в невозможности продолжать впредь с должным рачением службу»[1], — отвечал Достоевский. Он благодарил за «почетное внимание» к своим трудам и просил «со временем» об отставке: «А как болезненное сие состояние постигло меня на службе, то, подвергая милостивому воззрению начальства беспорочную и ревностную почти 24-летнюю мою службу... прошу о предоставлении мне

по скудному состоянию моему приличного пенсиона... с мундиром»[2].

Мог ли статский советник Рихтер, поступая во вред больнице, проявлять милосердие к младшему ординатору, если бы «трясение правой руки» проистекало не от застарелых приступов ревматизма, а от неких иных причин, скрыть которые обычно никак невозможно? Просил ли бы об отставке Михаил Андреевич, манкируя повышением, будь он запойным пьяницей? Нет, в этом грехе при жизни жены он был не повинен. Вспыльчив, ревнив, мнителен — да; грубовато шутил с толстухой-няней (но та всегда могла покинуть семью, однако осталась) — да; панически боялся разорения и бывал мрачен — да. Но пьянство и разврат, то есть привычки Федора Павловича Карамазова, приписанные некоторыми биографами Достоевскому-старшему по аналогии, есть фрейдистская клевета и навет. После кончины Марии Федоровны он считал своим долгом собрать в кулак все силы и средства, чтобы пристроить старших сыновей к достойному учебному заведению.

Еще осенью 1836-го, при содействии Рихтера, имевшего связи в Петербурге, Михаил Андреевич направил докладную записку статс-секретарю Четвертого отделения Собственной Е. И. В. канцелярии Г. И. Вилламову (в течение двадцати семи лет состоявшему «у исправления дел» при государыне Марии Федоровне и написавшему книгу о ее благотворительных заведениях) с просьбой о принятии двух старших сыновей в Главное инженерное училище в Петербурге на казенное содержание. Ответ Вилламова, полученный еще при жизни жены, был весьма благоприятным, так что решение везти юношей в столицу успела благословить и мать.

Прошение на имя Николая I (январь 1837 года) о принятии двух старших сыновей, Михаила шестнадцати и Федора пятнадцати лет, в Главное инженерное училище на казенное содержание «по многочисленному семейству и бедному состоянию... хотя по положению в оное допускается только один»[3], направленное Михаилом Андреевичем в Петербург, получило положительную резолюцию: все будет зависеть от экзаменов, которые юношам предстоит выдержать в училище, для чего следует доставить их в столицу. Такой ответ внушал надежду, и глава семьи, произведенный в апреле 1837-го в коллежские советники со старшинством, заметно приободрился.

Сыновья, напротив, были совершенно подавлены — через месяц после похорон матери дошла до них весть о гибели Пушкина. «Вероятно, наше собственное горе, — вспоминал Андрей Михайлович, — и сидение всего семейства постоянно дома были причиной этому. Помню, что братья чуть с ума не сходили,

услыхав об этой смерти и о всех подробностях ее. Брат Федор в разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкину». В этом не было чрезмерности — подобные чувства испытали тогда многие в России. Братья раздобыли где-то текст любительского стихотворения и твердили его наизусть по многу раз на дню: «Облак черный, мглой одетый, / Ниспускается к земле / И лучами дня согретый, / Брызжет молнией во мгле. / Так летела из далека / К нам туманная молва — / Ближе, ближе, вдруг жестоко / Разразилася в слова: / Нет Поэта! рок свершился, / Опустел родной Парнас, / Пушкин умер — Пушкин скрылся / И навек покинул нас...»

Искреннее горе автора незамысловатых строк, минского гимназиста А. Керсновского, было созвучно настроению мечтателей с Божедомки (лермонтовского шедевра они тогда еще не знали). Позже Д. В. Григорович, однокашник Федора по Инженерному училищу, заметит: «Кончина Пушкина в 1837 году была чувствительна между нами, я убежден, одному Достоевскому»[4].

«Туманная молва» настигла братьев Достоевских, проникла сквозь стены их замкнутого мира, показав горизонты жизни Петербурга, куда им вскоре предстояло ехать. В те годы Федор еще не знал, что способность к глубоким переживаниям обходится дорого. Пушкинское «над вымыслом слезами обольюсь» могло казаться чувством вполне безобидным и даже сладостным. Но именно Пушкин провозгласил: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». У Федора, потрясенного двойной утратой, перед самым отъездом в Петербург открылась странная горловая болезнь, которая временно лишила его голоса.

В середине мая, получив перед отставкой отпуск и решив ехать в столицу — авось путешествие отвлечет и излечит больного, — Михаил Андреевич с сыновьями отправился в путь. Передвигались медленно, подолгу стояли на станциях, добирались неделю. Спустя сорок лет Достоевский вспомнит то путешествие «к Пушкину»: «Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем "прекрасном и высоком", — тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали всё, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни... Дорогой сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух».

Выбор Инженерного училища Ф. М. позже назовет ошибкой, которая испортила их с братом будущность, и виноват в этом был, конечно, отец. Литературные склонности юношей в глазах родителя не имели серьезного значения. Маниакально боясь нищеты, мог ли он желать своим детям поприща, чреватого бедностью и безвестностью? Образование должно было кормить, и отец наверняка слышал от пациентов или сослуживцев, что труд военных инженеров, строивших крепости на западных границах империи, оплачивается хорошо. Вероятно, он отклонил мысль о медицинской карьере, зная все ее трудности, а дурная политическая репутация Московского университета, этого рассадника вольнодумства, пересилила желание не разлучаться с сыновьями.

И все же следует защитить Михаила Андреевича от упреков. Подвергнуть литературно одаренных юношей испытанию военной муштрой, может быть, и ошибка, но не каприз самодура; родители в те времена вообще не слишком прислушивались к мечтам детей (о случайности своего попадания в училище писал и Григорович — его мать, добрая, уступчивая аристократка-француженка, определила сына в инженеры по совету московской дамы-попутчицы, с которой разговорилась в дилижансе).

Главное инженерное училище, основанное в 1819 году по инициативе великого князя Николая Павловича для образования искусных инженеров и саперных офицеров, считалось едва ли не самым лучшим учебным заведением своего времени. Располагалось оно в бывшей резиденции Павла I — печально известном Михайловском замке, переименованном в 1822-м в Инженерный. История замка волновала воображение Пушкина; вчерашний лицеист был всего двумя-тремя годами старше братьев Достоевских, когда сочинял свое первое петербургское стихотворение, за которое едва не угодил в Сибирь. Вряд ли юноши, отправляясь в Петербург, знали опасные строки о наемных предателях и дерзостных цареубийцах — чтение этих стихов (они ходили в списках) сильно бы не одобрил папенька. Через 20 лет после появления пушкинской «Вольности» братьев ожидала встреча с грозным дворцом. «Признаюсь вам, — напишет Достоевский через четверть века, — Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Еще с детства, почти затерянный, заброшенный в Петербурге, я как-то всё боялся его».

Новая жизнь начиналась болезненно. Пятнадцатилетний сочинитель, по дороге в столицу слагающий роман из венецианской жизни, переполненный поэзией Пушкина и сюжетами из Шекспира, видит через окно постоялого двора, как детина-фельдъегерь бьет ямщика кулаком по затылку «просто так».

«Тут был метод, а не раздражение... Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые». Отвратительная картина запомнится путешественнику как первое личное оскорбление, как зловещий символ: «Я никогда не мог забыть фельдъегеря и многое позорное и жестокое в русском народе... Тут каждый удар по скоту, так сказать, сам собою выскакивал из каждого удара по человеку».

Петербург встретил приезжих дешевой гостиницей на Московском тракте у Обухова моста, однако устройство в училище с первых же дней дало сбой. Михаил Андреевич полагал, что сыновей немедленно проэкзаменуют и, коль скоро оба были отменно подготовлены, зачислят на казенный кошт — это как будто следовало из государева решения. Оказалось, однако, что экзаменовать юношей никто не собирается. Отец вновь пытался достучаться до престола: «По приезде ныне сюда с ними, узнал я, что по правилам оного училища допущение их к экзамену не ранее может последовать как в сентябре месяце...»[5] Он писал, что оставить сыновей на собственном иждивении не имеет средств, и просил милости — допустить их к экзаменам в узаконенное время и, если окажутся сведущими, определить в училище на казенное содержание. В свой первый и последний петербургский отпуск он только и смог, что отдать сыновей в платный пансион капитана К. Ф. Костомарова, известный тем, что его питомцы всегда выдерживали экзамены первыми. В июне Михаил Андреевич простился с сыновьями — как окажется, навсегда.

В отсутствие отца младшими Достоевскими управляла четырнадцатилетняя Варя под надзором няни. Ежедневно навещал детей сосед Маркус, заезжала А. Ф. Куманина и не могла сдержать слез, глядя на совсем еще маленьких Веру, Колю и Сашу. Вернувшись в Москву, Михаил Андреевич возобновил хлопоты об отставке. «Помню я, — вспоминал А. М. Достоевский, которому было тогда 12 лет, — восторженные рассказы папеньки про Петербург и пребывание в нем: про путешествие, про петербургские деревянные (торцовые) мостовые, про поездку в Царское Село по железной дороге, про воздвигающийся храм Исаакия и про многие другие впечатления».

Отставка состоялась 1 июля — и теперь нужно было переезжать в Даровое на постоянное жительство. С казенной квартирой на Божедомке, где Достоевские обитали без малого 15 лет, они прощались навсегда. Андрей был помещен на полный пансион к Чермаку и оставался в Москве безвыездно, а Михаил Андреевич с Варей, Верой, Колей, Сашей и неизменной Але-

ной Фроловной отправлялись в деревню, откуда в августе прибыли подводы для перевозки домашнего скарба.

...В двухэтажном каменном доме с мезонином на набережной Лиговского канала, где помещался пансион Костомарова, Михаил и Федор пробыли с мая 1837-го по январь 1838-го. «Юноша лет семнадцати, среднего роста, плотного сложения, белокурый, с лицом, отличавшимся болезненной бледностью» — таким запомнился «костомаровец» Федор Достоевский Григоровичу. Братья усиленно готовились к осенним испытаниям, рапортовали отцу об успехах и были настроены на лучшее; зубрить математику, но мечтать о поэзии, чертить планы полевых укреплений, но в свободное время бродить по городу и воскрешать в воображении роковые события истории замка, о которых в те времена знал каждый поступающий в училище, — всё это было исполнено высокой романтики.

Разлад между мечтой и действительностью вышел, однако, грубым и на редкость прозаическим. В училище, благородный образ которого рисовал себе Михаил Андреевич, процветали взятки, протекция и кумовство. Разрешение государя принять двух братьев Достоевских на казенный кошт (наивный папенька полагал дело решенным), как оказалось, ничего не стоило без санкции испорченного «подарками» начальства. Сначала у М. А. выудили 300 рублей якобы на уроки фехтования и фортификации, которые для экзаменов были не нужны. Потом братьев по приказу начальника училища генерал-майора В. Л. Шарнгорста (дворянина Брауншвейгского герцогства и хорошего чтеца, часто приглашаемого в августейшую семью) подвергли медицинскому осмотру; училищный врач В. И. Волькенау, тоже немец, обнаружил у Михаила едва ли не чахотку, и тот не был допущен к испытаниям. Наконец, Федору, сдавшему экзамены «с честью», на полные баллы, было объявлено, что нет ни одной казенной вакансии и что, несмотря на волю государя, принять его на казенный счет не могут. «Мы полагали, что он будет в числе первых, — писал отцу Михаил, подозревая, что *первыми* стали те, кто давал взятки. — Эта несправедливость огорчает брата донельзя. Нам нечего дать; да ежели бы мы и имели, то, верно бы, не дали, потому что бессовестно и стыдно покупать первенство деньгами, а не делами. Мы служим государю, а не им».

Но решали судьбу братьев именно «они», а «им» учить неимущих братьев на казенный счет было невыгодно. «Прекрасное и высокое» обернулось на первых же порах откровенно некрасивым и низким: конечно, Шарнгорст в период своего руководства училищем приглашал читать лекции известных профессоров, но и своего интереса, как видно, не упускал.

Только через девять месяцев после приезда в столицу учебно-служебная жизнь Федора кое-как сложилась — ценой слезных писем к Куманиным, которые и оплатили учебу племянника (а он должен был расписаться в уплате 950 рублей немедленно после сдачи экзаменов, иначе терял место); ценой разлуки с братом, большими трудами устроенным в Петербургскую инженерную команду — и почти сразу переведенным в Ревель; ценой тяжелого разочарования в поприще, выбранном для сыновей отцом. 16 января 1838 года Федор, выдержав накануне специальный экзамен, чтобы начать учебу не с нижнего 4-го, а со следующего, 3-го класса, надел мундир с погонами, кивер с помпоном, получил звание «кондуктора» и переселился от Костомарова в Инженерный замок.

Главное инженерное училище выгодно отличалось от прочих военных учебных заведений — здесь щедро преподавались российская словесность и всеобщая история. Профессор В. Т. Плаксин вел курс истории русской литературы по своей книге[6]; профессор И. П. Шульгин — по одному из своих «преогромных» учебников. Выяснилось, однако, что замечательно успевая по «умственным» предметам — словесности, языкам, Закону Божию, истории, географии, геометрии, физике — и всегда имея по ним высшие баллы, Федор плохо воспринимал военные дисциплины: артиллерию, фортификацию, черчение планов полевых укреплений, редутов и бастионов. Выяснилось также, что смотры, парады, церемониальные марши, стояние в караулах и «необходимость вытягиваться перед всяким офицером» для него не просто мучительны, но и непосильны: из двенадцати баллов он мог получить не более трех-четырех. Через полгода он понял, что двухмесячная лагерная жизнь под Петергофом, состоявшая «в съемке и нивелировании местности, в разбитии и дефилировании полевых укреплений и в производстве саперных и линейных работ»[7], и есть прообраз его возможного будущего.

Очень скоро занятия в хваленом училище показали юноше свою изнанку, и он возмущенно писал отцу: «Недавно я узнал, что уже после экзамена генерал постарался о принятии четырех новопоступающих на казенный счет кроме того кандидата, который был у Костомарова и перебил мою ваканцию. Какая подлость! Это меня совершенно поразило. Мы, которые бьемся из последнего рубля, должны платить, когда другие — дети богатых отцов — приняты безденежно». Можно представить, как тягостно было читать это письмо отцу. Он посылал в Петербург деньги («орошенные пóтом трудов и собственных лишений» — так трактовали это благодарные, но постоянно нуждающиеся в средствах братья); просил Костомарова не

оставить юношей и впредь; беспокоился их молчанием, интересовался подробностями их жизни, еды и занятий. Он спрашивал, доволен ли Миша избранным поприщем, не пожертвовал ли собой ради семейного спокойствия: «Друг мой, напиши откровенно, не так, как отцу, а как другу... Ты знаешь душу мою...» Он хотел понять, «доволен ли Фединька своим теперешним состоянием»; волновался, узнав, как тягостна сыну необходимость становиться во фронт перед офицерами, и мягко напоминал о неизменности устава воинской службы. А Федя в письмах отцу называл его нежнейшим из родителей...

Осень 1837 года стала для отца, как выразится Андрей Михайлович, временем большой деятельности, «так что он за работой забывал свое несчастье...». Но когда наступила зима, он, после многолетних трудов среди коллег и пациентов, «увидел себя закупоренным в две-три комнаты деревенского помещения, без всякого общества». Ему не было и пятидесяти; одиночество и тоска по жене мучительно тяготили. «Он поминутно входил в комнату; на него страшно было смотреть. Он был так убит горем, что казался совершенно бесчувственным и бессмысленным. Голова его тряслась от страха. Он сам весь дрожал и всё что-то шептал про себя, о чем-то рассуждал сам с собою... Казалось, что он с ума сойдет от горя» — так в «Бедных людях» будет описано состояние старика Покровского у постели умирающего сына.

По рассказам няни Алены Фроловны, Михаил Андреевич в первое время даже разговаривал вслух, полагая, что говорит с женой, и отвечал себе ее обычными словами; Акулина, бывшая горничная Достоевских, вспоминала, как барин в приступе тоски «стонал, бегал по комнате и даже бился головой об стену»[8]. «От такого состояния, особенно в уединении, недалеко и до сумасшествия... Он понемногу начал злоупотреблять спиртными напитками... приблизил к себе бывшую у нас в услужении еще в Москве девушку Катерину*. При его летах и в его

---

* В 1832 году «дворовая девка Екатерина Александрова, 12 лет» (ее отец, Александр Ильин, умер от чахотки в 1824-м; мать, Матрена Максимова, вышла замуж за даровского крестьянина Егора Макарова) была продана вместе с остальными крестьянами Черемошни ее новому хозяину, М. А. Достоевскому. Как вспоминал А. М. Достоевский, «маменька взяла из деревни трех сирот девочек, которые исполняли обязанности горничных... Катя была огонь-девчонка». В 1838 году у нее родился ребенок от М. А. Достоевского, обозначенный в церковных ведомостях как «незаконнорожденный сын Симеон, 3 мес.», который вскоре умер. В конце 1839 года, после смерти барина, она вышла замуж в свою родную деревню за вдовца с двумя детьми. В 1841-м у нее родился сын Василий, который умер младенцем, в 1843-м — еще один сын, Григорий; в 1845-м по неизвестным причинам умерли и ребенок и его мать, 24-летняя Катерина (см.: *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. С. 57—58).

положении, кто особенно осудит его за это?!» (к чести Андрея и других детей, не они станут судьями своему несчастному отцу, судьи явятся со стороны и много позже). Михаил Андреевич, крайне чувствительный к нормам благонравия, сознавал свое положение — и сам отвез старших дочерей к Куманиным. Те приняли на себя все заботы о девочках как должное: Варя отныне у них жила постоянно, Вера поступила в пансион при лютеранской церкви, где прежде воспитывалась старшая сестра. Летом в Даровом гостил Андрей и ничего дурного в поведении отца не приметил. «Но вот он опять остался один на глубокую осень и долгую зиму. Пристрастие его к спиртным напиткам видимо увеличилось, и он почти постоянно пребывал не в нормальном положении».

Он был не только сломлен, но и сильно нездоров: приступы ревматизма и приливы крови к голове повторялись все чаще, лечиться в деревне было не у кого. «Тебе известно, — писал он Варе в ноябре 1838-го, — что я по летам моим, а более по неприятностям жизни привык отворять кровь, но как в Зарайске нет хорошего фельдшера, то из опасения, чтобы он мне не испортил руки, я сделал большую просрочку, болезнь со дня на день делалась худшею...» И как раз в это время пришло известие от Федора, что он, войдя в конфликт с двумя учителями, оставлен в том же классе, несмотря на полные 10 баллов по семи предметам, 11 из 15 по алгебре, 8 из 10 по артиллерии, 12 из 15 по фортификации. «В 100 раз хуже меня экзаменовавшиеся перешли (*по протекции*)... Судите сами, каково мне было, когда я услышал, что я остался в классе при таких баллах... Я потерял целый год! Не огорчайтесь, папенька! Что же делать! Пожалейте самих себя. Взгляните на бедное семейство наше; на бедных малюток братьев и сестер наших, которые живут только Вашею жизнью, ищут только в Вас подпоры. К чему же огорчать себя и не беречь, предаваясь отчаянью. Вы до того любите нас, что не хотите видеть никакой неудачи в судьбе нашей. Но с кем же их и не было. Теперь Вы убиваете себя неосновательною мыслию, что ежели я останусь в классе, то меня исключат из училища...»

Неприятность с Федей привела Михаила Андреевича в полное изнеможение, левая сторона тела начала неметь, голова закружилась, фельдшер измучил больного четырехкратным кровопусканием, доведя до обмороков. Трехлетняя Саша плакала, испугавшись, что папенька умер. Но он был жив. «Да и удивительно ли, жизнь моя закалена в горниле бедствий... Неустройство состояния нашего, долги, нужда, недостатки, лишения и без того истощают по каплям мое здоровье», — писал он старшей дочери в Москву.

А Федор стыдился не второгодничества. «О ужас! еще год, целый год лишний! Я бы не бесился так, — признавался он брату, — ежели бы не знал, что подлость, одна подлость низложила меня; я бы не жалел, ежели бы слезы бедного отца не жгли души моей. До сих пор я не знал, что значит оскорбленное самолюбие. Я бы краснел, ежели бы это чувство овладело мною... но знаешь? Хотелось бы раздавить весь мир за один раз...»

Неудача все же пошла на пользу. И хотя причину своей беды он видел в мести преподавателя алгебры, который подло «напомнил» кондуктору его дерзости в течение года, важно было доказать самому себе, что военная инженерия требует не ума, а зубрежки. Уже через год, не без превосходства, он сообщит брату: «Полевая фортификация такая глупость, которую можно вызубрить в 3 дня». Этот мотив станет в его письмах постоянным: «противно, но нужно», «репутации потерять не хочется, — вот и зубришь, "*с отвращением*" — а зубришь».

Самолюбие было удовлетворено, спасена и репутация. Странно, однако, выглядело это слово под пером амбициозного юноши. Какую *репутацию* он не хотел терять? Чьим мнением дорожил? «Ф. М. Достоевский, — сообщал мемуарист А. И. Савельев, служивший в должности старшего дежурного офицера училища (в 1838-м ему было всего 22 года) и знавший героя своих воспоминаний от первого года учебы до выпуска, — настолько был непохожим на других его товарищей во всех поступках, наклонностях и привычках и так оригинальным и своеобычным, что сначала все это казалось странным, ненатуральным и загадочным, что возбуждало любопытство и недоумение, но потом, когда это никому не вредило, то начальство и товарищи перестали обращать внимание на эти странности»[9]. Вряд ли, впрочем, Федор догадывался, что производит впечатление чудака. Он вел себя естественно, сообразуясь со своими привычками и желаниями; безукоризненно, как считало начальство, исполнял все, что от него требовалось, и был, по отзывам наставников, скромен и безропотен.

Но, по меркам училища, казался слишком религиозным — после лекций по Закону Божию долго беседовал со священником Полуэктовым, за что получил прозвище «монах Фотий». Проявлял редкое безразличие к удовольствиям и развлечениям — «бенефисам» и «отбоям». Ни разу за пять лет не появился в танцклассе, проводившемся в роте каждый вторник. Не играл с однокашниками в их игры — «загонки», «бары», «городки». Не проявлял никакого интереса к хору певчих. Никогда — поскольку это было развлечение, а не обязанность лагерной жизни — не гулял вместе со всеми в садах Петергофа, не

ходил на купание или на штурм лестниц Сампсониевского фонтана. И, скорее всего, не замечал, что его задумчивый, отрешенный вид вызывает насмешку, которая легко могла перейти в неприязнь.

Смешным и нелепым было прежде всего его вызывающее несоответствие всем стандартам военно-учебного заведения. Дело было, наверное, не только в наличии литературных склонностей: вот ведь и Григорович, его товарищ, тоже имел пристрастие к литературе и живописи, однако вспоминал о лагерной жизни с удовольствием: «Маневры, линейные ученья, вообще фронтовая часть были для меня приятною забавой, сравнительно с предстоящим принуждением сидеть в классах, приготовляться к лекциям и экзаменам». О Достоевском же воспитанник училища К. А. Трутовский, одаренный художник, запомнивший товарища как очень худощавого юношу с бледным, даже серым цветом лица, светлыми и редкими волосами, впалыми глазами, проницательным и глубоким взглядом, писал: «Во всем училище не было воспитанника, который бы так мало подходил к военной выправке, как Ф. М. Достоевский. Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье — все это на нем казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его тяготили»[10].

Казалось бы, всегда сосредоточенный, задумчивый юноша, который в свободное время сидит в угловой спальне своей роты на втором этаже, в глубокой амбразуре окна, глядящего на Фонтанку, не видя и не слыша, что происходит вокруг, комунибудь да признается, чтó у него на уме. Но, жалуясь в письмах родным на бедность и на тяготы учения, он ни разу не обронил ни слова о дикостях, царивших в училище, — об издевательствах над новичками («рябцами»), о переносимых им оскорблениях. «Привыкаю понемногу к здешнему житью; о товарищах ничего не могу сказать хорошего» — вот все, что известно об умонастроении «рябца». И это на фоне забав, о которых много лет спустя с содроганием вспоминал Григорович, — как наливали холодную воду новичку в постель и за воротник; как заставляли слизывать специально разлитые чернила, а особо конфузливых — произносить непристойные слова; как вынуждали ползать на четвереньках под столом и хлестали ползающего кручеными жгутами.

Молчание Достоевского в те годы было удивительным еще и потому, что он прекрасно знал цену своим сверстникам. Он чуждался большинства из них, так как вполне разглядел косность и невежество, нравственную глухоту и эмоциональную тупость большинства однокашников. Тяжелые воспоминания

о казенном воспитании не покидали его и 20 лет спустя: «Я был в отцовском доме до 15 лет и не заглох в корпусе. Но что я видел перед собою, какие примеры! Я видел мальчиков тринадцати лет, уже рассчитавших в себе всю жизнь: где какой чин получить, что выгоднее, как деньги загребать (я был в инженерах) и каким образом можно скорее дотянуть до обеспеченного, независимого командирства! Это я видел и слышал собственными глазами и не одного, не двух!»

Ясное дело: братья Достоевские росли и взрослели под романтическими созвездиями. Весной 1838-го Михаил писал отцу о том же самом: «Неужели быть в чести, в чинах, в крестах, быть богатым значит быть счастливым! Нет!» Герой «Записок из подполья» скажет о себе: «Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож. Но я не мог насмешек переносить; я не мог так дешево уживаться, как они уживались друг с другом. Еще в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился; меня уж и тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров... Все, что было справедливо, но унижено и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум; в шестнадцать лет уже толковали о теплых местечках...»

Чем же держался кондуктор Достоевский? За счет каких душевных ресурсов «не заглох в корпусе», а, напротив, обрел чувство собственного достоинства, обнаружил замечательную твердость характера и заслужил уважение тех, кто смог ощутить его умственное и нравственное превосходство? Привычка к замкнутой, изолированной жизни, приобретенная в отцовском доме, счастливая способность не тяготиться одиночеством, ежеминутная потребность думать впервые принесли реальные плоды: в семнадцать-восемнадцать лет Достоевский, «сохраняющий в сердце своем чувства высокой честности»[11], смог, живя на казарменном положении, создать для себя параллельный мир, исполненный поэзии и мысли.

Зубрежка и лагерная муштра вовсе не мешали прочитывать горы книг. В июне 1838 года он сообщал отцу: «Надобно было работать день и ночь; особенно чертежи доконали нас... Пять смотров великого князя и царя измучили нас. Мы были на разводах, в манежах вместе с гвардиею маршировали церемониальным маршем, делали эволюции и перед всяким смотром нас мучили в роте на ученье, на котором мы приготовлялись заранее. Все эти смотры предшествовали огромному, пышному, блестящему *майскому параду*, где присутствовала вся фамилия царская и находилось 140 000 войска. Этот день нас совершенно измучил». А через два месяца с гордостью докладывал брату в Ревель: «Ты хвалишься, что перечитал много... Я сам

читал в Петергофе по крайней мере не меньше твоего. Весь Гофман русский и немецкий (то есть непереведенный "Кот Мурр"), почти весь Бальзак (Бальзак велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека). "Фауст" Гёте и его мелкие стихотворенья, "История" Полевого, "Уголино", "Ундина" (об "Уголино" напишу тебе кой-что-нибудь после). Также Виктор Гюго, кроме "Кромвеля" и "Гернани"».

В то самое время, когда в училище шли «генеральные сражения» между старшими и «рябцами», которых испытывали на послушание и покорность, Достоевский одолевал унижение попыткой «обобщенной мысли». Он не писал брату о воде, налитой в постель, а лишь с грустью констатировал: «Закон духовной природы нарушен... Мир принял значенье отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира...» Его оскорбленное чувство искало аналогий далеко за горизонтом смотров и учений, а сердце рвалось открыться мировым скорбям. С юношеской страстностью, не стесняясь высокого слога, он обращался к великим примерам, и тогда его собственные несчастья переставали казаться вселенской катастрофой. Шедевры литературы задавали масштаб личным переживаниям и, ошеломленное огромностью чужих терзаний, *свое* стихало в смирении и кротости. «Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет! Когда я вспомню эти бурные, дикие речи, в которых звучит стенанье оцепенелого мира, тогда ни грусть, ни ропот, ни укор не сжимают груди моей... Душа так подавлена горем, что боится понять его, чтоб не растерзать себя...» Гамлет, Фауст или гофмановский Альбан казались ему фигурами куда более реальными, чем большинство из 120 однокашников, — и, конечно, гораздо более близкими. И, будто в благодарность за рыцарственное служение, литература смягчила тяжесть одиночества, найдя бедному рыцарю преданных друзей.

Григорович писал: «Хорошо помню, что изо всех товарищей юности я никого так скоро не полюбил и ни к кому так не привязывался, как к Достоевскому... Ему радостно было встретить во мне знакомого в кругу чужих лиц, не упускавших случая грубо, дерзко придираться к новичку... С неумеренною пылкостью моего темперамента и вместе с тем крайнею мягкостью и податливостью характера я не ограничился привязанностью к Достоевскому, но совершенно подчинился его влиянию. Оно, надо сказать, было для меня в то время в высшей степени благотворно. Достоевский во всех отношениях был выше меня по развитости; его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях писателей, имя которых я ни-

когда не слыхал, было для меня откровением. До него я и большинство остальных наших товарищей читали специальные учебники и лекции, и не только потому, что посторонние книги запрещалось носить в училище, но и вследствие общего равнодушия к литературе... Литературное влияние Достоевского не ограничивалось мной; им увлекались еще три товарища: Бекетов, Витковский и Бережецкий; образовался, таким образом, кружок, который держался особо и сходился, как только выпадала свободная минута».

А вот воспоминания Трутовского: «Яснее всего сохранилось у меня в памяти то, что он говорил о произведениях Гоголя. Он просто открывал мне глаза и объяснял глубину и значение произведений Гоголя. Мы, воспитанники училища, были очень мало подготовлены к пониманию Гоголя, да и не мудрено: преподаватель русской словесности, профессор Плаксин, изображал нам Гоголя как полную бездарность, а его произведения называл бессмысленно-грубыми и грязными... Федор Михайлович советовал мне читать и других русских и иностранных писателей, и Шекспира в особенности. По его совету, я усиленно занялся французским языком; читал и делал переводы. Одним словом, Ф. М. дал сильный толчок моему развитию своими разговорами, руководя моим чтением и моими занятиями».

В том узком кругу, где Достоевский был принят и признан, каждая прочитанная книга считалась привилегией посвященных. Запойное чтение как образ жизни — и переживание прочитанного как смысл жизни служили паролем: книга становилась поводом для знакомства и прологом дружбы. За короткое время и в малой компании Достоевский пережил все романтические бури, запечатленные в литературе эпохи. С помощью лучшего из посредников — поэзии — он познал мятежную силу любви, которая не знает умеренности и середины, ощутил томление души по идеалу. Он прикоснулся к атмосфере таинственного лиризма, испытал состояние утонченной чуткости и высокой предназначенности. В юношеские годы с ним произошло главное чудо его дописательского существования: нужные литературные и человеческие переживания посетили его вовремя.

В сущности, все дружеские общения Достоевского тех лет проходили под знаком Поэзии. «На Пушкине они мирились» — так складывались в отрочестве отношения с братом Михаилом. Поэзия стала основой сильнейшего увлечения Иваном Шидловским, первым столичным знакомцем, дружбу с которым одобрил даже взыскательный отец. Выпускник Харьковского университета по юридическому факультету, Шидловский слу-

жил в Министерстве финансов и был шестью годами старше Федора. Один из поклонников Шидловского, испытавших на себе его уникальное обаяние, писал о нем: «Очень высокий, красивый мужчина, с прекрасным выражением в глазах, внушавший к себе, при его светлом уме и хорошем образовании, общее расположение. Главное, что привлекало к нему всех, было его замечательное красноречие. Он был идеалист, и любимой его темой для разговоров служили большею частью предметы отвлеченные; к тому же он был поэт, писал стихи так же легко и свободно, как говорил»[12]. Дружба и общение с Шидловским для кондуктора Достоевского стали *часами лучшей жизни*. «Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя Бог знает о чем! О какая откровенная чистая душа! У меня льются теперь слезы, как вспомню прошедшее! Он не скрывал от меня ничего, а что я был ему?»

Но разговоры «Бог знает о чем» все же имели несколько тем: Гомер, Шекспир, Шиллер, Гофман, цена жизни и смерти, несчастная любовь Шидловского к некой Мари (из-за нее он страдал, пытался покончить с собой, подорвал здоровье, оставил Петербург и чиновничью карьеру). Судьба Шидловского, полная внутреннего разлада, борений религиозной экзальтации со скептицизмом и неверием, соответствовала пламенному идеализму его бурной натуры — он будет заниматься, как герой «Хозяйки» Ордынов, историей русской церкви, затем поступит послушником в монастырь и уйдет оттуда в паломнические странствия. Нигде не найдя приюта, вернется, по совету некоего старца, в свою деревню и в иноческой одежде, порой нетрезвый и шальной, будет бродить по дорогам, собирать у трактиров пьяных мужиков и проповедовать им Евангелие.

«Это был *большой* для меня человек»[13], — говорил Достоевский в начале 1870-х молодому критику Вс. С. Соловьеву о друге своей юности, в ком мирилась бездна противоречий, а громадный ум и талант так и не нашли выхода в слове. Его именем Достоевский назовет в одной из черновых записей героя романа «Идиот» и увидит дорогой образ в философе Владимире Соловьеве: «Вы до того похожи на него и лицом и характером, что подчас мне кажется, что душа его переселилась в вас».

Под знаком Шиллера протекала исступленная, окутанная тайной и закончившаяся разрывом дружба с Иваном Бережецким, юношей выдающихся душевных качеств, из весьма состоятельной семьи, щеголеватым, но мягким и скромным, любившим уединение; находясь под сильным влиянием Достоевского, он повиновался ему, как преданный ученик учителю. Дежурный офицер видел их постоянно вдвоем — тихо беседующих, будто стеной отгороженных от всего мира. Оба

были сострадательны к слабым и беззащитным — участвовали в складчине для нищих крестьян деревни Старая Кикенка, где по дороге в Петергоф ночевала кондукторская рота. Оба возмущались грубыми проделками над «рябцами» и младшими служителями училища; вместе старались прекратить любое насилие, поставить заслон унизительным издевательствам.

Не как теоретик романтического миросозерцания, не как подражатель модному стилю писал Достоевский брату о захлестнувших его чувствах — они были подлинно драматичны: «Я имел у себя товарища, одно созданье, которое так любил я! Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с *ним* Шиллера, я поверял *над ним* и благородного, пламенного Дон Карлоса, и маркиза Позу, и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя и наслажденья! Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний; они горьки, брат... мне больно, когда услышу хоть имя Шиллера»*.

Достоевский, уже сорокалетний, утверждал, что Шиллер вошел в плоть и кровь русского общества: «Мы воспитались на нем, он нам родной и во многом отразился на нашем развитии. Шекспир тоже». Братья Достоевские готовы были защищать и отстаивать «своих» со всей юношеской горячностью. «Пусть у меня возьмут все, оставят нагим меня, но дадут мне Шиллера, и я позабуду весь мир! Что мне эти внешности, когда мой дух голоден! Тот, кто верит в прекрасное, уже счастлив!.. — писал Михаил отцу в ноябре 1838 года, признаваясь, что и сам пишет стихи, и уже начал драму, и призывал родителя порадоваться вместе. — Поэзия моя содержит всю мою теперешнюю жизнь, все мои ощущения, горе и радости. Это дневник мой!»[14] Подозревая, что отец отругает его за пустое времяпровождение (так

---

* На тайну разрыва Ф. М. Достоевского с И. И. Бережецким, быть может, намекает фрагмент повести «Записки из подполья» — если признать его автобиографическим: «Был у меня раз как-то и друг. Но я уже был деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над его душой; я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде; я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой; я доводил его до слез, до судорог; он был наивная и отдающаяся душа; но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя, — точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. Но всех я не мог победить; мой друг был тоже ни на одного из них не похож и составлял самое редкое исключение» (см.: *Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. С. 80).

и случится), Михаил все же открылся ему как другу. Делясь с братом своими поэтическими опытами, он знал наверняка, что может рассчитывать на понимание и поддержку. «Я прочел твое стихотворение, — писал ему Федор. — Оно выжало несколько слез из души моей и убаюкало на время душу приветным нашептом воспоминаний. Говоришь, что у тебя есть мысль для драмы... Радуюсь... Пиши ее...»

В семнадцать лет, еще не став писателем, Достоевский растил в себе дар художника и мыслителя; ему дано было тонко чувствовать и глубоко проникать в мир возвышенных идей и высоких образов. «В юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глянденингом из романа "Монастырь" Вальтер Скотта... И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душою моей в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище».

В том самом письме брату, где, как провинившийся школьник, он жаловался на «подлецов преподавателей», философия определялась им через поэзию: «Заметь, что поэт в порыве вдохновенья разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначенье философии. Следовательно, поэтический восторг есть восторг философии... Следовательно, философия есть та же поэзия, только высший градус ее!» Как истинный художник создавал он портрет своего обожаемого друга Шидловского: «Прекрасное, возвышенное созданье, правильный очерк человека, который представили нам и Шекспир и Шиллер».

Запойное всепоглощающее чтение концентрировало мысли и чувства до степени поэтических формул; литература, выстраивая сознание, давала тот особый язык, с помощью которого устанавливалось родство избранных душ. Достоевский, без сомнения, уже в юности был тем, кем стал потом, — только пока еще не знал об этом. Мономания, или тоска по литературе, создала особое поле жизни — внутри реального жизненного пространства. На своей территории, в своей нише он не был изгоем — напротив, был сверхполноценен, избыточно одарен. Пребывание в некоем литературно-поэтическом коконе, позволившее сохранить, а не растратить впустую особый дар, давало и другой удивительный эффект: высокий градус читательского вдохновения компенсировал провалы во внешней жизни. Сверхнасыщенное чтение, переживаемое как живая жизнь, сперва позволило ему с тайной гордостью признать себя гражданином литературы — а потом уже догадаться о призвании.

Глава вторая

СМЕРТЬ ОТЦА И ВЫБОР СУДЬБЫ

Денежные нужды. — Средства и запросы. — Катастрофа 1839 года. — Версии и свидетели. — Следствие и доследование. — Источники слухов. — Конец юности. — Миссия свободы

Пятого мая 1839 года Федор написал отцу письмо с горячей благодарностью за присылку 75 рублей для уплаты долга. Он понимал, что у отца тяжелые затруднения и что «нужду родителей должны вполне нести дети». Однако, заверив отца, что не будет «просить многого», колко заметил: «Не пив чаю, не умрешь с голода. Проживу как-нибудь! Но я прошу у Вас хоть что-нибудь мне на сапоги». Через пять дней он внес в неотправленное письмо ряд дополнений — о том, что лагерная жизнь требует иметь хотя бы 40 рублей, куда не входят расходы на чай и сахар (и снова приписал: «Уважая Вашу нужду, не буду пить чаю»), но входит стоимость двух пар сапог, сундука для книг, почтовых принадлежностей, любезностей служителей. Всего получалось, при самой строгой экономии, около 40 рублей; но поскольку от 75 оставалось еще 15, Федор просил хотя бы 25: «Пришлите мне эти деньги к 1-му июню, ежели Вам хочется помочь Вашему сыну в ужасной нужде».

В письме звучало и еще несколько нарочитых фраз: сын писал о «совершенной необходимости» абонироваться на французскую библиотеку, о своем желании «вырваться из училища», о нелюбви к математике — «что за глупость заниматься ею» — и о том, что делаться Паскалем или Остроградским (академик начнет преподавать в училище с 1840 года) ему ни к чему, ибо «математика без приложенья чистый 0, и пользы в ней столько же, как в мыльном пузыре». Всё это могло быть намеком родителю — дескать, вы, папенька, запихнули меня в инженеры, велите заниматься вздором, так хоть содержите меня прилично, чтобы не было стыдно перед товарищами. Впрочем, сын не скрывал причину, по которой вынужден был то и дело просить деньги: «Как горько то одолженье, которым тяготятся мои кровные. У меня есть голова, есть руки. Будь я на воле, на свободе, отдан самому себе, я бы не требовал от Вас копейки; я обжился бы с железною нуждою. Стыдно было бы тогда мне и заикнуться о помощи».

Но Михаил Андреевич на намеки не реагировал; дети, как правило, не дерзили ему, а он старался выполнять их частые денежные просьбы. В декабре 1937-го Федору было послано 70 рублей, в феврале 1838-го — 50. В июне того же года он бла-

годарил отца еще за одну присылку и писал, что купил кивер, потому что собственные кивера были у всех однокашников, а «казенный мог бы броситься в глаза царю». «Теперешние мои обстоятельства денежные немного плохи... Из Ваших присланных денег истратил довольное количество на казенные надобности... Если можно, папенька, пришлите мне хоть что-нибудь», — просил он снова. Осенью — опять: «Вы мне приказали быть с Вами откровенным, любезнейший папенька, насчет нужд моих. Да, я теперь порядочно беден. Я занял к Вам на письмо и отдать нечем. Пришлите мне что-нибудь не медля. Вы меня извлечете из ада. О ужасно быть в крайности!»

Не получая в своей нищей молодости никакой помощи из дома, Михаил Андреевич хорошо знал, что такое крайность, и потому просил сыновей быть экономнее и бережливее. «Ежели у вас осталось еще сколько-нибудь денег, то уведомляй меня всякую неделю...» — писал он Михаилу в ноябре 1837-го, еще в костомаровский период. «Деньги, мой друг, береги... на черный день... Ежели старые вещи ваши, как то платье, белье и другие для вас, особливо для Феденьки, не нужны, то счесть их и сохранить», — напоминал отец в феврале 1838-го. Ни скаредности, ни мелочности в этих увещеваниях не было — а только гнетущая бедность, которая и в самые радостные моменты (поступление Михаила в инженерные юнкера) думает про черные дни.

И сыновья вполне сочувствовали страхам отца, понимали его упрямый характер, плохо уживавшийся с реальностью, но все же откликавшийся на добро. «Напиши, милый друг, к Куманиным, поблагодари их за родственное участие, а особенно за пособие», — просил он Михаила, узнав, что свояк заплатил за Федину учебу в училище; другое дело, что пересилить себя и лично благодарить богатых родственников не хотел. «Мне жаль бедного отца! — писал Федор старшему брату в октябре 1838-го. — Странный характер! Ах, сколько несчастий перенес он! Горько до слез, что нечем его утешить. — А знаешь ли? Папенька совершенно не знает света: прожил в нем 50 лет и остался при своем мненье о людях, какое он имел 30 лет назад. Счастливое неведенье. Но он очень разочарован в нем. Это, кажется, общий удел наш».

Значит, наивный Михаил Андреевич думал о людях лучше, чем они того заслуживали?

Понятно, что он тревожился не только за учебу сыновей. Гораздо важнее было иметь уверенность в их поведении. Поэтому, когда в училище «случилась история» и пятерых кондукторов сослали в солдаты (как объяснит Григорович, за избиение товарища, заподозренного в фискальстве, и за хулиганство против дежурного офицера, которого буяны забросали карто-

фелем), Федор спешил заверить папеньку, что сам «ни в чем не вмешан, но подвергся общему наказанью»: на два месяца всю роту заперли в училище, вскрывали и читали письма.

Но к кому мог обращать Федор просьбы о спасении, даже и понимая, что просить нельзя? И он снова писал отцу (март 1839-го): «Я много истратил денег (на покупку книг, вещей и т. д.) и всё должен был занимать. Я задолжал кругом и очень много. Я должен по крайней мере 50 р. Боже мой! Долго ли я еще буду брать у Вас последнее. Но эта помощь необходима или я пропал. Срок платежа прошел давно. Спасите меня. Пришлите мне 60 р. (50 р. долга, 10 для моих расходов до лагеря). Скоро в лагери, и опять новые нужды. Боже мой! Знаю, что мы бедны. Но, Бог свидетель, я не требую ничего лишнего. Итак, умоляю Вас, помогите мне скорее, как можно». В ответ на эту просьбу и были присланы 75 рублей, большая часть которых улетучилась в момент.

Вопрос, который не может не волновать биографа: действительно ли так сильно нуждался кондуктор Достоевский в лагере на ученье? Когда, усталый и озябший, он мок в полотняной палатке, не имея средств выпить горячего чаю, был ли он такой один на всю роту? Останься он без абонемента во французскую библиотеку, без сундучка для книг и при казенном кивере, потерял бы уважение своих более состоятельных однокашников? Не преувеличивал ли Ф. М. свои жалобы насчет «ада» и «крайностей»?

Отчасти на эти неизбежные вопросы почти столетие назад дал ответ русский географ П. П. Семенов-Тян-Шанский, знакомец Достоевского с середины 1840-х. Чуть раньше он учился в военной школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и находился в летних лагерях в Петергофе недалеко от лагерей Инженерного училища. «Я жил в одном с ним лагере, в такой же полотняной палатке, отстоявшей от палатки, в которой он находился (мы тогда еще не были знакомы), всего только в двадцати саженях расстояния, и обходился без *своего* чая (казенный давали у нас по утрам и вечерам, а в Инженерном училище один раз в день), без собственных сапогов, довольствуясь казенными, и без сундука для книг, хотя я читал их не менее, чем Ф. М. Достоевский. Стало быть, все это было не действительной потребностью, а делалось просто для того, чтобы не отстать от других товарищей, у которых были и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук. В нашем более богатом, аристократическом заведении мои товарищи тратили в среднем рублей триста на лагерь, а были и такие, которых траты доходили до 3000 рублей, мне же присылали, и то неаккуратно, 10 рублей на лагерь, и я не тяготился безденежьем»[15].

Вывод Семенова однозначен: Достоевский-сын не был пролетарием, он боролся не с действительной нуждой, а с несоответствием средств запросам и желаниям. Географ высказался и о Достоевском-отце, увидев в нем не деспота, а грамотного воспитателя, давшего гениальному сыну достойный старт. «В детские годы он имел прекрасную подготовку от своего научно образованного отца, московского военного медика. Ф. М. Достоевский знал французский и немецкий языки достаточно для того, чтобы понимать до точности все прочитанное на этих языках. Отец обучал его даже латинскому языку. Вообще воспитание Ф. М. велось правильно и систематично...» Достоевский, благодаря домашнему воспитанию*, изумительной начитанности и обучению в училище, был, по мнению Семенова, «образованнее многих русских литераторов своего времени, как, например, Некрасова, Панаева, Григоровича, Плещеева и даже самого Гоголя».

...Но если Достоевский-сын пребывал «в аду» из-за несоразмерности средств и запросов, то Достоевский-отец в момент получения майского письма 1839 года, на которое ответил без промедления, испытывал подлинную, катастрофическую нужду; усмотрев же в письме сына неудовольствие, обращенное к себе, горько сетовал: «Как ты несправедлив ко мне в сем отношении!.. Друг мой! Роптать на отца за то, что он тебе прислал, сколько позволяли средства, предосудительно и даже грешно». Михаил Андреевич оправдывался — и это были вовсе не дурные предчувствия, не изломы его «странного» характера, а унылая реальность. В 1837 году урожай хлеба был дурной, в 1838-м озимые не уродились совсем. «Теперь пишу тебе, что за нынешним летом последует решительное и конечное расстройство нашего состояния... Снег лежал до мая месяца, следовательно, кормить скот чем-нибудь надобно было. Крыши все обнажены для корму. Но это ничто в сравнении с настоящим бедствием. С начала весны и до сих пор ни одной капли дождя, ни одной росы. Жара, ветры ужасные все погубили. Озимые поля черны, будто и не были сеяны; много нив пере-

---

* «Папинька! Как мне благодарить Вас за то воспитание, которое Вы мне дали! — писал М. М. Достоевский из Ревеля отцу. — Как сладко, как отрадно задуматься над Шекспиром, Шиллером, Гёте! Чем оценятся эти мгновения!» (Письма Михаила Достоевского к отцу // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1980. Л., 1981. С. 78.) «Дело, разумеется, не сводилось к названным великим именам, — комментировал это письмо Г. А. Федоров, — дело в атмосфере, в “нравственном фонде семьи”. Просветительство, насаждение в юных душах высокого, прекрасного через строго избранные образцы навсегда связано и для Федора Михайловича с образом его отца» (*Федоров Г. А.* «Помещик. Отца убили...» // Новый мир. 1988. № 10. С. 228).

пахано и засеяно овсом, но это, по-видимому, не поможет, обо от сильной засухи, хотя уже конец мая, но всходов еще не видно. Это угрожает не только разорением, но и совершенным голодом! После этого станешь ли ты роптать на отца за то, что тебе посылает мало».

Картина выходила ужасающая (и вряд ли, прочитав это, Федор мог бы снова написать: «Уважая Вашу нужду, не буду пить чаю»), но и это было еще не всё. В отчаянии отец открыл неприглядную правду — как он пообносился, если не опустился: старые вещи пришли в ветхость, а купить новых он не мог, так как никогда не имел «собственно для себя ни одной копейки». «Но я подожду», — добавил в конце письма Михаил Андреевич, и это было самое горькое из всего, что он написал сыну.

А ведь обстоятельства его жизни подчинялись тому же правилу, которое вывел Федор в майском письме, — необходимости следовать уставу своего общества и содержать себя соответственно положению. Дворянское звание, чин, статус барина-землевладельца обязывали. «Человек, получивший хорошее образование, занимавший довольно значительный пост по службе, и при небольшом состоянии имеет нужду в таком же экипаже, с кучером и лакеем, как и тот, у кого 100, 200 и 300 душ; присовокупим к сему, что ему необходимо вести знакомство с соседями и принимать у себя гостей; прилично званию воспитывать детей, содержать дом, гардероб и прочее, что все требует расходов, и заставляет сверх желания наблюдать всевозможную экономию». Это наблюдение современника, А. Путяты, автора книги «Опытный помещик» (СПб., 1835), впрямую относилось к жизни Достоевского-отца, с еще более вопиющим, чем у сына, несоответствием средств и запросов. В 1835-м Михаил Андреевич писал жене: «Бедность моя нимало меня не тревожит, я с нею свыкся, как с воздухом, коим дышу». Но в 1839-м тревожила уже не бедность — страшила неотвратимая нищета, и его жалобы, страхи, просьбы к детям быть аккуратнее в тратах — все это, по словам В. С. Нечаевой, столетие спустя описавшей трагедию в Даровом, «не притворство скупого, а совершенно правдивая исповедь переживающего разорение мелкопоместного дворянина»[16].

...Он все же собрал требуемую сумму и 27 мая отослал ее Федору. «Теперь посылаю тебе тридцать пять рублей асс., что по московскому курсу составляет 43 р. 75 к., расходуй их расчетливо, ибо, повторяю, что я не скоро буду в состоянии тебе послать... Посоветуйся с кем-нибудь, нельзя ли в лагерях устроить твои дела повыгоднее. Прощай, мой милый друг, да благословит тебя Господь Бог, что желает тебе нежно любящий

отец». Это письмо оказалось последним. Через десять дней Михаила Андреевича не стало.

История смерти Достоевского-отца, запутанная и загадочная, всегда интересовала биографов Достоевского-сына. Обстоятельства его смерти, якобы насильственной, под пером истолкователей творчества Ф. М. сенсационно «проливали свет» на его характер, поступки, на сюжеты его романов, на образы главных героев и даже на имена второстепенных персонажей (ведь так увлекательно рифмовать их с именами возможных участников трагедии!). Смерть Михаила Андреевича в воображении иных авторов — едва ли не первопричина становления Достоевского-писателя. «Кто не желает смерти отца?.. — презрительно бросает Иван Карамазов публике, пришедшей в зал суда, где вот-вот приговорят Митю. — Все желают смерти отца... Не будь отцеубийства — все бы они рассердились и разошлись злые...» Появись неотразимые свидетельства естественной смерти, биографы-психоаналитики, полюбившие легенду о Достоевском как потенциальном отцеубийце, одержимом эдиповым комплексом[17], были бы сильно разочарованы, ибо версия об отце писателя как прототипе старика Карамазова развеялась бы как дым.

«Умри М. А. Достоевский естественной смертью — писали бы о нем как о деспоте, запойном пьянице, неблагообразием своим “омрачившем детство и отрочество” сына? Или, быть может, он назван был бы рыцарем долга, ценою разрыва с отцом и семьей ушедшим за тысячи верст учиться медицине? Незаурядным врачом и замечательным отцом, сделавшим много для образования своего сына?»[18] Так рассуждал искусствовед Г. А. Федоров, опубликовавший в 1975 году материалы судебного следствия по делу о смерти М. А.; выводы знатока, поколебавшие версию об убийстве, были, впрочем, оспорены многими учеными. К риторическому рассуждению Федорова нам хочется добавить только одно: М. А. Достоевский заслуживает звания рыцаря долга, незаурядного врача и замечательного отца — несмотря на особенности его характера (угрюмого, нервного, подозрительного, ревнивого) и независимо от того, при каких обстоятельствах его настигла смерть.

...Итак, 6 июня 1839 года по дороге из Дарового в Черемошну, проезжая полем с потрескавшейся землей и высохшей почвой, при сорокаградусной жаре (солнце стояло уже высоко), скоропостижно скончался помещик Достоевский. Только эти сведения — о времени и факте события — могут быть названы бесспорными. Далее начинаются версии, слухи, толки и домыслы.

Утром рокового дня барин ехал на дрожках, и с ним сделался удар. Приступы болезни бывали у него и прежде: немело те-

ло, кружилась голова. Кучер оставил барина в поле и поскакал в Моногарово за священником. Кроме священника к больному привезли из Зарайска доктора И. Х. Шенрока — значит, была надежда спасти умирающего, и тогда версия насилия теряет смысл? Но спасти не удалось, и, не обнаружив следов насилия, доктор констатировал смерть от апоплексического удара. Будучи служащим Рязанской, а не Тульской губернии, он не имел права выдать официальное заключение о смерти пациента и распорядился оставить тело в поле в «исходном» положении до прибытия властей и судебного расследования. Согласно этой версии, прямых свидетелей случившегося, то есть *свидетелей-очевидцев*, было трое: безымянный кучер, священник и доктор.

В. С. Нечаева приводит записанный ею в 1925 году рассказ старика И. В. Мелихова, крестьянина Черемошны, назвавшего себя внуком Семена Широкого (кучера, несколько лет возившего Достоевских из Москвы в имение и обратно). Внук категорически опровергал рассказы других стариков о событиях 76-летней давности и стойко держался «мирной» версии — о том, как приехавшие следователи «полмесяца жили в деревне, всех поодиночке опрашивали, детям конфеты давали, но ничего подозрительного не нашли»[19].

Крестьянская молва назовет имя и другого кучера, Давида Савельева, о котором А. М. Достоевский вспоминал как о преданном крепостном человеке, возившем папеньку «на практику», а маменьку — по городу с визитами, жившем неотлучно при Михаиле Андреевиче до дня его смерти; в 1855 году Андрей Михайлович встретит старика с седой окладистой бородой в кучерском наряде у подъезда московского дома своей сестры Веры и узнает в нем, к обоюдной радости, «старого кучера отца, крепостного, который ездил с отцом лет 20». Ребенком Андрей запомнил, что «кроме своей четверки лошадей Давид ничего не знал и не имел более никаких занятий... Личность эту папенька особенно любил и уважал против прочей кухонной прислуги». В рассказе сына о смерти отца имя Давида вообще не упоминается, значит, его никто и не называл.

Зато именно на кучера (безымянного) «покажет» Л. Ф. Достоевская: деда Михаила «нашли на полпути, задушенным подушкой из экипажа. Кучер исчез вместе с лошадьми, одновременно исчезли еще некоторые крестьяне из деревни. Во время судебного разбирательства другие крепостные моего деда показали, что это был акт мести». В сведениях, дошедших до Л. Ф. (от матери и теток?) и изложенных в столь искаженном виде, правдой было только то, что ее дед когда-то умер на дороге.

Если принять за истину показания внуков тех крестьян, чьи деды были участниками событий, получается, что второй оче-

видец, священник, находился в «убийственном» сговоре. Нечаева приводит улику — по данным церковных ведомостей, все мужское взрослое население Черемошны не говело в 1839 году «за нерачением». Это значило, что крестьяне избегали исповедоваться на Великом посту (в феврале—марте), чтобы таить преступный замысел и не выдать ни себя, ни других. Догадывался ли священник, почему вся деревня дружно не говеет, не исповедуется и не причащается? Неужели вошел в сговор так загодя? Хорош же он был в таком случае... И совсем непонятно, как быть с доктором, который приехал спасать больного, да еще коллегу, а не покрывать убийц? Кто же и зачем его привез, если кучер и поп были в сговоре с убийцами?

«Нищета, до которой было доведено положение черемошинских крестьян, содействовала нарастанию событий в имении Достоевских, — писала Нечаева. — Но повод к ним надо искать, очевидно, в личности помещика и в его взаимоотношениях с крестьянами. *У нас нет проверенных данных, которые свидетельствовали бы о жестокости М. А. Достоевского с крестьянами или об их злостной эксплуатации*»[20]. Анализируя письма Михаила Андреевича жене, Нечаева, сторонник насильственной версии, тем не менее утверждала: «Советы жене свидетельствуют о рядовом поведении “рачительного” хозяина-крепостника этой эпохи и *не позволяют делать выводы о его жестокости*»[21]. Ни слова о жестоком обращении отца с крепостными не написал и сын Андрей (но ведь не забыл же он, как отец однажды дал пощечину своему шурину Нечаеву за то, что тот, в ответ на выговор Марии Федоровны о недопустимости в семейном доме заводить шашни с прислугой, обозвал ее дурой). Никаких жестокостей, надо полагать, не наблюдали и старшие сыновья — как, в противном случае, с их чувством справедливости, они могли бы применить к папеньке категорию «лучших, передовых людей»?

Насильственная версия не имеет ни единого свидетеля-очевидца и ни единого свидетеля, кто лично слышал о подробностях убийства; она основана лишь на показаниях лиц, которые весьма противоречиво пересказывают историю убийства со слов тех, кто тоже не был свидетелем-очевидцем и питался лишь слухами. Воспоминания А. М. Достоевского, приобретшие статус первоисточника, были написаны в 1895 году, когда мемуаристу было уже 70 лет; его рассказ о событиях более чем полувековой давности основан на рассказах неочевидцев. Четырнадцатилетний Андрей, проживая в Москве, узнал о несчастье от няни, прислуги и родственников. Никто из них на месте в момент преступления не был: няня, *почти свидетельница*, видела только труп барина; горничная Арина жила в

Москве у Куманиных и узнала о происшедшем от навещавшей ее родни. Никого из родственников покойного, кроме двух его малолетних детей, Коли и Саши, в деревне в тот момент тоже не было. Версия Андрея не содержит сведений о ключевых свидетелях дела — кучере, священнике и докторе — и рисует сцену, как отец, проезжая мимо работающих в поле мужиков, выразил недовольство их работой, вспылил и закричал. В ответ кто-то дерзкий нагрубил ему и, боясь последствий, крикнул остальным: «Карачун ему!» «С этим возгласом все крестьяне, в числе до 15 человек, кинулись на отца и в одно мгновение, конечно, покончили с ним...»

А далее Андрей Михайлович пишет: «Как стая коршунов, налетело из Каширы так называемое временное отделение. Первым его делом, конечно, было разъяснить, сколько мужики могут дать за сокрытие этого преступления. Не знаю, на какой сумме они порешили, и не знаю также, где крестьяне взяли вдруг, вероятно, немаловажную сумму денег, знаю только, что временное отделение было удовлетворено, труп отца анатомирован, причем найдено, что смерть произошла от апоплексического удара, и тело было предано земле в церковном погосте села Моногарова».

Каждая деталь этого драматического рассказа проблематична. Как установил Федоров, «стая коршунов» — каширский исправник Н. П. Елагин, уездный штаб-лекарь Х. Шенкнехт, а также становой пристав и стряпчий — пробыли в Даровом несколько дней и провели «тщательные изыскания»; причем лекарь официально подтвердил выводы первого доктора, уточнив, что удар произошел «вследствие привычных геморроидальных напряжений, от которых привычного пособия не было принято». На основании чьих признаний «коршуны» дознались об убийстве и лишь рядились с убийцами о сумме взятки, если крестьяне, кучер, поп и зарайский лекарь таких показаний не давали? «Дружно, всей деревней черемошинские мужики выполнили задуманное и потом многие годы дружно таили имена инициаторов и историю всего события»[22], — писала Нечаева в 1939 году.

Так всё-таки: таились или сразу дали «коршунам» «немаловажную взятку»? Молчали, опрашиваемые поодиночке, или устроили складчину для мздоимцев? Заметим: по версии Андрея Михайловича, именно крестьяне, а не родственники покойного, которых не было в деревне, когда там находились «коршуны», выступают взяткодателями, признавая, таким образом, свою вину. И только во вторую очередь возникает вопрос: откуда нищие крестьяне во время засушливого лета, когда съедены все припасы и нечего продать, могли в несколько

дней добыть деньги на взятку «стае» корыстных чиновников? (Разве что попросить в долг у помещиков-соседей, тех же Хотяинцевых, сделав и их соучастниками преступления.) «Сделка эта кажется очень малоправдоподобной и чересчур опасной для обеих сторон»[23], — писала Нечаева, предположив, однако, что искомую взятку дали как раз-таки родственники убитого, ибо раскрытие убийства грозило ссылкой в Сибирь всему мужскому населению Черемошны, а также разорением имения, в котором состояло все наследство семерых детей умершего. Но возникает вопрос: когда родственники успели это сделать, если уже 16 июня на имя тульского гражданского губернатора из каширского суда было отправлено донесение о скоропостижной смерти даровского помещика с припиской: «По произведенному временным отделением сего суда следствию в насильственной смерти его, г. Достоевского, сомнения и подозрения никакого не оказалось, а последовала таковая... от апоплексического удара»?[24]

Версии, изложенные потомками тех крестьян, кто якобы убивал барина в 1839-м или знал об убийстве, столь же проблематичны. Эти «свидетели» «свидетельствовали» по слухам и преданиям седой старины; они, еще не родившиеся, когда произошла эта история, охотно рассказывали московскому писателю Д. М. Стонову в 1924-м и ученым В. С. Нечаевой и М. В. Волоцкому в 1925-м, какой плохой, злой и жестокий был барин, владевший их дедушками и бабушками: «Зверь был человек. Душа у него была темная... Строгий, неладный господин... Крестьян порол ни за что»[25].

Что в этих показаниях — истина, а что — клевета на того, кого уже некому защитить? «Неужели можно допустить, — риторически вопрошала Нечаева в 1979 году, — что восьмидесятилетние старики-крестьяне взваливали на своих отцов и дедов обвинение в несовершенном ими убийстве?»[26]

Но в 1925 году в стране победившей революции, которая привела к полному уничтожению помещиков как класса и одобрила расстрел царя вместе со всей семьей, былое убийство, да еще всей деревней, рядового помещика, злодея по определению, считалось вовсе не грехом, а доблестью и геройством, поступком революционного значения, а значит, рассказчики могли смотреть на прошлое своих дедов через призму новой идеологии, хотя объясняли обретенную смелость соображениями давности: «Теперь все равно никого нет на свете, давно сгнили, — можно сказать»[27].

По версии даровских крестьян, убивали мужики черемошинские, по сговору четверых, не выехавших на работу и сказавшихся больными, чтобы заманить во двор барина, который

наверняка захочет «вылечить» их палкой. Так будто бы и случилось. «Мужики бросились, рот барину заткнули, да за нужное место, чтоб следов никаких не было. Потом вывезли, свалив в поле, на дороге из Черемошни в Даровое. А кучер Давид был подговорен. Оставил барина да в Моногарово за попом, а в Даровое не заезжал. Поп приехал, барин дышал, но уже не в памяти. Поп глухую исповедь принял, знал он, да скрыл. Крестьян не выдал. Следователи потом из Каширы приезжали, спрашивали всех, допытывались, ничего не узнали. Будто от припадка умер, у него припадки бывали»[28]. В этой версии, как уже было сказано, потерян доктор Шенрок, изменено место преступления (потерпевшего нашли не там, где убили), уменьшилось число преступников (не 15, а всего четверо) и, самое главное, отсутствует факт взятки. Из чего следует, что «стая коршунов» написала донесение губернатору о ненасильственной смерти безвозмездно! Как видим, версии «свидетелей по слухам» радикально противоречат одна другой.

...Спустя неделю после смерти М. А. Достоевского в Даровое приехала неродная «бабинька» О. Я. Нечаева с полномочиями от Куманиных, в доме которых она жила, забрать в Москву сирот Колю и Сашу. Это означало, что Куманиным уже все было известно, и скорее всего от соседей. Те же соседи могли написать и Федору — один из Хотяинцевых в марте 1839 года уже справлялся, по поручению М. А., о делах его сына (ревельского адреса Михаила деревенские соседи не знали). Неизвестно, кто первым и что именно сообщил Федору о трагедии. Михаил же узнал о ней из письма Федора, посланного в *середине июня*[29]. 30 июня Михаил писал Куманиным: «Из деревни я не получал еще никакого известия, а брат пишет очень неясно о всем происшедшем; потому я почти ничего не знаю подробно. Слышал только, что Вы взяли детей к себе, и пролил слезы благодарности!.. Дяденька! Тетенька! замените им родителей; не дайте почувствовать им ужасный гнет сиротства...» Смерть отца Михаил называл *ужасной* (и значит, так она ощущалась и Федором), но вовсе не по криминальной причине: «Два дня на поле... быть может, дождь, пыль ругались над бренными останками его; быть может, он звал нас в последние минуты, и мы не подошли к нему, чтобы смежить его очи. Чем он заслужил себе конец такой! Пусть же сыновнии слезы утешат его в той жизни!»

В письме была приписка, адресованная сестре Варе: «Ты потеряла лучшего друга и нежнейшего из отцов!» Очевидно, насильственная версия в тот момент еще не пробила себе дорогу к братьям Достоевским.

Меж тем «бабинька», побывав на погосте и поклонившись могиле, была звана (как известно из воспоминаний Андрея

Михайловича) к владельцу села Моногарово П. П. Хотяинцеву, который *открыл гостье глаза*, назвав истинную причину смерти — убийство. Вряд ли, однако, Хотяинцев указал источник шокирующих сведений. Но если он был ему известен, то от кого? От попа Духосошественской моногаровской церкви, который был в сговоре с крестьянами, не выдал их следствию, но почему-то выдал барину? Скорее всего, сосед-помещик пользовался слухами, которые ползли по деревне (но почему-то не доползли до следствия), или сам стал их сочинителем. Так или иначе, Хотяинцев (по версии, слышанной А. М. от взрослых родственников) не советовал ни гостье, ни другим родным возбуждать дело — детям отца не воротить, истина о смерти только разорит их, ибо угрожает всем мужчинам Черемошны каторгой. «Трудно предположить, чтобы *виновное* временное отделение дало себя изловить» — таков, в изложении мемуариста, был самый щекотливый резон Хотяинцева, считавшего, что следствие корыстно скрывает правду о смерти соседа. Но зачем? Взятка? Но кто дал деньги? Всё те же вопросы, на которые нет ответов.

Как показывает Федоров, именно «бабинька» привезла в дом Куманиных навязанную ей в Моногарове постыдную тайну и пустила ее в круг родных и детей покойного. Оттуда же будет инициирован новый виток следствия. 6 июля местный помещик А. И. Лейбрехт заявит в каширском суде (и даст показания на бумаге), что Хотяинцевы выражали «сомнение в смерти соседа и подозрение на крестьян»: дворовая девка Достоевских слышала якобы крик барина, а его крепостные были так озлоблены против него, что били умершего по пяткам и не хотели вносить тело в церковь. Представитель дома на очной ставке отречется от ранее сказанного, но Лейбрехт неожиданно обнажит интригу: этот Хотяинцев сам просил его, Лейбрехта, передать исправнику Елагину, что моногаровский хозяин ждет Елагина к себе, чтобы возбудить дело. «Так впервые раскрывается для нас источник слуха об убийстве: сосед Достоевского, с которым ведется нескончаемая тяжба... Именно от него идет версия об убийстве — и в Каширский суд, и к московской родне, и к детям»[30].

Версия о естественной смерти М. А. Достоевского и невиновности крестьян вызвала в конце 1970-х новый виток споров. Оппоненты Федорова (среди них первое слово принадлежало Нечаевой) указывали, что данных о злодейских намерениях П. П. Хотяинцева нет и мотивов, по которым он мог распускать заведомо ложные слухи, подсылать в суд доносчика, длить судебное дело (оно затянется на 16 месяцев), у него не было. Напротив, утверждали оппоненты, есть множество свиде-

тельств о дружеском общении соседей, невзирая на тяжбу, а Мария Федоровна так вообще часто бывала в Моногарове («я, друг мой, — писала она мужу в 1835-м, — запировалась у Хотяинцевых в Духов день, от обедни затащили меня с детьми обедать»).

Кажется, это все же слабое возражение. Помимо рациональных мотивов П. П. Хотяинцевым могли владеть иные вихри. Тут кстати вспомнить недоверие Михаила Андреевича, остерегавшего жену: «Радуюсь, что ты пировала два дня сряду у Хотяинцевых, дай Бог вам мир и согласие, но я сомневаюсь, причина та, что сегодня приезжаю и дети подают мне бумагу, говорят, квартальный принес, посмотрел, ан указ тебе из Каширского земского суда...» Как видим, пирушки ничуть не мешали богатому соседу длить судебную тяжбу, и Хотяинцев, при всем его хлебосольстве, не уступал милой молоденькой соседке ни пяди спорной собственности. Да ведь и отношения его с супругами наверняка имели разные оттенки, тем более что в 1839-м Марии Федоровны уже два года как не было в живых, а отставного доктора пировать он к себе не зазывал...

Возобновившись по доносу, следствие «о скоропостижно умершем г. Достоевском» перешло в уголовное русло и протянулось вплоть до октября 1840 года. Но если влиятельные Куманины способствовали закрытию дела, как предполагала Нечаева[31], зачем в феврале 1840 года Тульское губернское правление потребовало немедленно собрать сведения «о подозрениях» и у них самих, и у дочери покойника Варвары, и у няньки Алены Фроловны? Зачем «виновному» следствию нужно было так рисковать? Ведь семнадцатилетняя девица и старая нянька, видевшая труп барина, могли что-то сказать невпопад. Зачем понадобилось в том же феврале вызывать в уездный суд и допрашивать подозреваемых крестьян и даже их детей, устраивать очные ставки (как о том сообщает протокол заседания от 13 февраля 1839 года)? Но, утверждал Федоров, как раз тщательное расследование, а не глухое молчание спасло крестьян от клеветы и каторги.

Необходимо сказать еще об одном аргументе адептов насильственной версии. «Как психологически объяснить то обстоятельство, — писала Нечаева, возражая Федорову, — что клевете одного человека *тотчас* поверило и сохранило эту веру долгие годы множество людей, как родственников и потомков М. А. Достоевского, так и современников и потомков черемошинских крестьян?»[32] На это можно ответить, не прибегая к психологии: таково свойство клеветы, в этом ее страшная пагубная сила — легко клевещется, да нелегко отвечается; клевещи, что-нибудь да останется. В случае с Михаилом Анд-

реевичем *осталось* слишком много: смерть, трактуемая как убийство, подыскала нужные качества характера убитого, создала репутацию и сформировала память о нем. «Жестоким крепостником, опозоренным своей насильственной смертью, долгое время жил М. А. Достоевский в биографии своего великого сына»[33], — писал Федоров, выражая надежду, что этот сын все же узнал и о долгом следствии, и о доносе, и об истинном источнике слухов, и о суде, признавшем невиновность крестьян и снявшем пятно бесчестия с отца.

Не принимая доводов Федорова и оставаясь при своем мнении, Нечаева сделала шаг навстречу «мирной» версии, признав, что, помимо убийства, могло иметь место «покушение на убийство, сопровожденное апоплексическим ударом»[34]: ведь насилие, по рассказам внуков покушавшихся, было таким, что не оставило следов. То есть бескровное рукоприкладство (будто деревенские мужики обучались специальным приемам убийства, не заметного глазу медэксперта) «вызвало у склонного к апоплексическим ударам последний удар»[35]. Так, может, барин и его крестьяне выразили неудовольствие друг другом *в словах*, на сильной жаре, когда солнце стояло уже высоко? После чего огорченный М. А. и поехал в сторону Дарового? Перепалка не оставляет следов на теле, а этюд в багровых тонах меняет свои краски и очертания...

После смерти М. А. Достоевского опекуном его детей и временным распорядителем имения уездная дворянская опека назначила, с согласия Куманиных, исправника Елагина. Михаил подозревал, что он был не слишком щепетилен по отношению к опекаемому имуществу. «Не было ли это частичной компенсацией за сокрытие тайны?.. Формой взятки за утаенное убийство?»[36] — размышляла Нечаева. Но обкрадывать имение покойного главе полицейского уездного ведомства, подчиненного губернатору и связанного с коллегиальным составом земского суда, в условиях, когда тульская палата уголовного суда проводит одну за другой ревизии материалов доследования, — значит прямо указывать на себя как на фальсификатора следствия. Брать мзду за утаенное убийство столь открытым образом, на виду у всей губернии, было бы безрассудно. Так что если исправник, имевший репутацию заядлого картежника, и в самом деле запускал руки в хозяйство умершего, старших сыновей которого уже два года, как не было в имении (Михаил приедет в Даровое только через два года, в октябре 1841-го, чтобы забрать отцовы вещи), он, Елагин, действовал «по обыкновению», и только.

«Я пролил много слез о кончине отца, но теперь состоянье наше еще ужаснее; не про себя говорю я, но про семейство на-

ше... — писал Федор старшему брату в августе 1839-го. — Скажи, пожалуйста, есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер? Меня убивает мысль, что они на чужих руках будут воспитаны». Но заботу о младших Достоевских взяли на себя дядя и тетя Куманины, и уже в апреле 1840-го семнадцатилетняя Варя была выдана замуж, с щедрым приданым, за чиновника П. А. Карепина, сорокалетнего вдовца с маленькой дочерью, о котором А. М. Достоевский отозвался как о добрейшем человеке, достигшем всего своей деятельностью и своим умом. Вскоре он стал опекуном над имением, в соопекунстве с Михаилом.

«Ужасные годы», как писал Федор про те несколько лет, что унесли жизни отца, матери и ее брата (М. Ф. Нечаев умер в декабре 1839-го), уходили в прошлое, раны затягивались. Михаил влюбился в прибалтийскую немку из Ревеля Эмилию Дитмар; как только его произвели в полевые инженеры-прапорщики, он сделал девушке предложение и готовился к свадьбе. Андрей, после нескольких лет учебы в пансионе Чермака, был привезен Михаилом в Петербург и поселен у Федора, чтобы тот готовил брата к экзаменам в Инженерное училище. Обоим пришлось лишний раз убедиться, каковы истинные порядки в Инженерном замке: Андрей обошелся без пансиона Костомарова — и не был принят. Только благодаря содействию опекуна Карепина и его свояка по первой супруге генерала И. Г. Кривопишина он сможет попасть в училище гражданских инженеров.

Катастрофа, происшедшая в Даровом, обозначила рубеж между юностью и взрослой жизнью Достоевского. При всем ужасе отцовской кончины, при всем позоре, которым была омрачена память о родителе, первое, что сделал осиротевший сын, — выбрал судьбу как свободу. Это слово, появившись в его письмах через два месяца после утраты, перестроило сознание. Свобода не будет пустой и бесплодной — она даст цель, определит будущность и освятит действительность высоким смыслом. В письмах старшему брату Достоевский излагал жизненную программу, и в ней явственно проступало творческое томление.

«Брат, грустно жить без надежды... Смотрю вперед, и будущее меня ужасает... Я ношусь в какой-то холодной, полярной атмосфере, куда не заползал луч солнечный... Я давно не испытывал взрывов вдохновенья... зато часто бываю и в таком состоянье, как, помнишь, Шильонский узник после смерти братьев в темнице... Не залетит ко мне райская птичка поэзии, не согреет охладелой души... Ты говоришь, что я скрытен; но вот уже и прежние мечты мои меня оставили, и мои чудные

арабески, которые создавал некогда, сбросили позолоту свою. Те мысли, которые лучами своими зажигали душу и сердце, нынче лишились пламени и теплоты; или сердце мое очерствело или... дальше ужасаюсь говорить... Мне страшно сказать, ежели всё прошлое было один золотой сон, кудрявые грезы...»

Это был все еще 1838 год, и в представлении семнадцатилетнего автора слова давно, некогда, прежде могли означать и пять лет, и год, и месяц. Но что он имел в виду, говоря об арабесках? Те самые мудреные, страшные и смешные сказки, которые он складывал года в три? Или роман из венецианской жизни, сочинявшийся в уме по дороге в Петербург? Он открывал в себе дар, как открывают законы природы. Не торопился начать — лишь бы отметить начало. Видимо, с тех пор, как помнил себя, всем своим существом ощущал присутствие такой духовной температуры, которую на излете романтической эпохи принято было называть небесным пламенем, райским лучом или огнем вдохновения. Ему, получившему богатый читательский опыт, изучившему тонкие творческие состояния и знавшему, как могут владеть поэты человеческим сердцем, оставалось лишь увидеть свое с ними сходство, а может быть, и родство. Оставалось сказать себе: я — один из них. Он долго не позволял себе утвердиться в таком убеждении. И внешняя жизнь, и он сам — своими сомнениями и рефлексиями — ставили преграды на пути решительного самоопределения. С большой осторожностью размышляя о будущем, он будто готовил почву для радикальной перемены судьбы — «с прямого пути на путь шаткий и неопределенный», по которому пойдут только трое кондукторов его выпуска — он сам, Григорович и Трутовский.

В августовском письме 1839 года, спустя три месяца после смерти отца, Федор сообщал брату, что решился на бесповоротный шаг. Теперь ему не нужно было таиться — участь военного инженера отменялась в принципе. Пусть учеба и служба какое-то время будут мешать его надеждам (до отставки инженера-чертежника полевой картографии пройдет целых пять лет), он уже смотрел на свою нынешнюю жизнь «с совершенным бесчувствием». «Одна моя цель быть на свободе. Для нее я всем жертвую. Но часто, часто думаю я, что доставит мне свобода... Что буду я один в толпе незнакомой? Я сумею развязать со всем этим; но, признаюсь, надо сильную веру в будущее, крепкое сознанье в себе, чтобы жить моими настоящими надеждами; но что же? всё равно, сбудутся ли они или не сбудутся; я свое сделаю».

Юноша подводил итоги прошлому — кончилось время «кудрявых снов» и «золотых грез». «Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Всё в ней тихо, как в сердце чело-

века, затаившего глубокую тайну». Он назначал себе путь долгого и смиренного ученичества: отныне следовало постигать, «что значит человек и жизнь» («в этом довольно успеваю я»); учить характеры из писателей («с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно»). Он, наконец, ясно сформулировал цель — будущее писательство фактически отождествлялось со смыслом его человеческого существования.

«Я в себе уверен. Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Нет, наверное, более зацитированных слов из Достоевского, чем это его творческое кредо. Но сформулировано оно было за месяц до восемнадцатилетия и тогда еще ничем конкретным не было подтверждено.

Следующие годы, отмеченные благополучными переводами из класса в класс, пройдут под знаком двух нерасторжимых понятий. И когда наконец слово «призвание» будет произнесено, оно естественно соединится со словом «свобода». Ровно за 40 лет до смерти свой шанс на будущее Достоевский расценивал, исходя из теории вероятности, весьма иронически: «Обстоятельства не благоприятны. Нет надежды ни на настоящее, ни на будущее. Правда, ошибаюсь! Есть одна на 1 000 000, который я выиграю — надежда довольно вероятная! 1 против 1 000 000!» Но рискованный выбор был сделан, и он терпеливо ждал, когда наступит его час.

«О брат! милый брат! Скорее к пристани, скорее на свободу! Свобода и призванье — дело великое. Мне снится и грезится оно опять, как не помню когда-то. Как-то расширяется душа, чтобы понять великость жизни».

Глава третья

ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ СВОБОДЫ

Драматические опыты. — Вольное житье. — Городские забавы. — Выпуск из училища. — Отпуск в Ревеле. — Траты без счета. — Тяготы службы. — Риск отставки. — Объяснения с опекуном. — Литературные предприятия

Если под свободой, о которой мечтал запертый в Инженерном замке Ф. Достоевский, подразумевалась жизнь самостоятельная и неподконтрольная, то наступила она в августе 1841 года, когда после годичного экзамена по четырнадцати предметам он был произведен в полевые инженер-прапорщи-

ки, оставлен в училище для прохождения курса наук в нижнем офицерском классе и принял присягу «на вновь пожалованный чин». Еще в ноябре 1840-го «за хорошее поведение, успехи в науках и знание фронтовой службы» он был произведен в унтер-офицеры, через месяц переименован в «портупей-юнкера», но только первый (младший) офицерский чин дал ему право выйти из камер училища на вольное житье в городе.

Отныне после утренних классов, уединившись на частной квартире, Ф. М. мог предаваться любимым занятиям. А. Е. Ризенкампф, студент Медико-хирургической академии и ревельский друг Михаила, встречался и с Федором: в 1838-м в приемной зале училища начинающий медик увидел кругленького светлого блондина с бледным, землистого цвета лицом, вздернутым носом, коротко остриженными каштановыми волосами, веснушчатого, живого и подвижного — в отличие от степенного старшего брата. Спустя три года молодой доктор, навестив приятеля в его убежище, не мог не заметить перемены — сухой кашель, обострявшийся по утрам, хриплый голос от неумеренного курения, опухшие подчелюстные железы. Дом на Караванной улице близ Манежа, откуда до офицерских классов было рукой подать, хорошо запомнил и Андрей, осенью 1841-го поселившийся у брата. Тот «занимал квартиру в две комнаты с передней, при которой была и кухня; но квартиру эту он занимал не один, а у него был товарищ-сожитель Адольф Иванович Тотлебен. Тотлебен занимал первую комнату от передней, а брат вторую — каждая комната была о двух окнах, но они были очень низенькие и мрачные, к тому же табачный дым от жукова табаку постоянно облаками поднимался к потолку и делал верхние слои комнаты наполненными как бы постоянным туманом».

Задним числом следует оценить скрытность Достоевского, который около года утаивал от всех свои первые литературные опыты. И если бы не свидетели-мемуаристы, никто бы и не узнал, что мечты прапорщика при выходе на свободу имели под собой материальное основание в виде рукописных отрывков из драматических опусов «Мария Стюарт» и «Борис Годунов». Но даже свидетели — Михаил перед отъездом в Нарву (у него на вечеринке в феврале 1841-го Федор впервые прочел кусочки пьес), Ризенкампф, в присутствии которого в 1841-м и 1842-м начинающий автор тоже «то и дело» их читал, наконец, Андрей, видевший своими глазами автограф «Бориса Годунова», — не упоминают никаких подробностей о первых опытах Достоевского-сочинителя. Что это было — стихи или проза, перевод из Шиллера или подражание Пушкину, черновые наброски или готовый текст — неизвестно, как неизвестно ничего о третьем

опусе Достоевского, «оконченной драме» «Жид Янкель», о которой автор обмолвился в письме брату в январе 1844-го.

Случайно или нет, что из этого рукописного обилия не осталось ни одного листка, ни одной строчки? Ведь как хотелось бы, вслед за братьями автора, восторгаться его трагедиями! «Я ему много пророчу в будущем. Это человек с сильным, самостоятельным талантом, с глубокою эрудицией. Прочитав почти всех классиков Европы, я, по крайней мере, могу составить себе мнение об хорошем и дурном. Я читал, с восхищением читал его драмы. Нынешней зимою они явятся на петербургской сцене»[37], — писал Михаил опекуну П. А. Карепину, но оценки старшего брата имели значение скорее служебное и были буквальным исполнением просьбы Федора — замолвить слово перед далеким от поэзии опекуном. Можно предположить, что прапорщик Достоевский по безалаберности и домашнему беспорядку утерял бесценные свидетельства своих первых опытов. Можно вообразить, что Достоевский, как искушенный читатель, вовремя охладил свой пыл, догадавшись, что сочиняемые им трагедии, в общем, уже написаны другими авторами. Можно, наконец, представить: он захотел в полной мере воспользоваться свободой и забросил до поры до времени свои литературные начинания.

Зрелый Достоевский не признавал свои юношеские драмы*. Дело было, по-видимому, не в качестве их, а в том умонастроении, которое появилось у него, когда свобода смогла соединиться с призванием. За то время, пока он еще оставался в училище, числясь «весьма усердным» офицером (в августе 1842-го его произвели в подпоручики и перевели в высший офицерский класс), имея способности ума, нравственность и знания в науках «хорошие», живя «вольно, одиноко, независимо», выяснились три обстоятельства, которым суждено было самым решительным образом повлиять на его писательскую и человеческую судьбу.

---

* «Еще в 1842 г., то есть гораздо ранее “Бедных людей”, брат мой написал драму “Борис Годунов”. Автограф лежал у него на столе, и я — грешный человек — тайком от брата нередко зачитывался с юношеским восторгом этим произведением. Впоследствии, уже в очень недавнее время, кажется в 1875 г., я, в разговорах с братом, покаялся ему, что знал о существовании его “Бориса Годунова” и читал эту драму. На вопрос мой: “Сохранилась ли, брат, эта рукопись?”, он ответил только, махнув рукой: “Ну, полно! Это... мои детские глупости!” Оценять достоинство означенной драмы, конечно, не буду... Талант брата сказывался уже и в ней. Может быть, каким-либо чудом эта рукопись и сохранилась между бумагами, отобранными от брата при аресте его в 1849 г.» (Открытое письмо А. М. Достоевского издателю «Нового времени» А. С. Суворину от 5 февраля 1881 г. // Литературное наследство. Т. 86. С. 366).

Первое было связано с Петербургом, который открывался Достоевскому только теперь. Книгочей и затворник, застенчивый нелюдим, еще недавно избегавший танцкласса и уроков пения, он вдруг сделался страстным театралом, завсегдатаем концертов и балетных спектаклей. Он не жалел денег на Александринку, французский и немецкий театры, с восторгом рассуждал об артистах, восхищался Марией Тальони в триумфальной «Сильфиде» и русским трагиком Каратыгиным. Ризенкампф запомнил, что желание Достоевского разработать сюжет «Марии Стюарт» для русской сцены, «не в виде перевода или подражания Шиллеру, но самостоятельно и согласно с данными истории»[38], возникло под сильнейшим впечатлением игры актрисы немецкого театра Лиллы Леве. Он не пропустил ни одного из пяти концертов гастролировавшего в Петербурге в 1842 году Ференца Листа, отдавая за разовый билет до 25 рублей (треть месячного жалованья); аплодировал заезжим знаменитостям — норвежскому скрипачу-виртуозу Оле Булю, бельгийскому кларнетисту Иосифу Блазу, итальянскому тенору Джованни Рубини; вместе с Ризенкампфом побывал на представлении «Руслана и Людмилы» (опера Глинки в Большом Каменном театре шла четвертый месяц).

Весной 1842-го Федор вместе с Андреем переселился из мрачных прокуренных комнат на Караванной в квартирку из трех комнат, посветлее и повеселее, в Графском переулке, у Владимирской церкви. Сюда приходили друзья — всецело преданный живописи Трутовский и заядлый театрал Григорович, рисовавший на лекциях портреты преподавателей (попечитель училища великий князь Михаил Павлович на докладе о его поведении начертал: лучше быть хорошим художником, чем плохим инженером); здесь устраивались вечеринки с чаем и пуншем для однокашников. «В первое время своего офицерства, — вспоминал Андрей Михайлович, — брат очень увлекался игрою, причем преферанс или вист были только началом игры, а вечер постоянно кончался азартною игрою в банк или штосс». И хотя такие модные петербургские забавы, как загородные прогулки и пикники, балы и маскарады в Дворянском собрании, чаще всего им отвергались (по причине тогдашнего равнодушия к прекрасному полу), Ф. М., как уверял мемуарист, «при своей страстной натуре, при своей жажде все видеть, все узнать кидался без разбора в те и другие развлечения»[39].

Выяснилось, таким образом, что литературные занятия могут быть не единственным пристрастием подпоручика Достоевского — впрочем, его по-прежнему увлекали «различные повести и рассказы, планы которых так и сменяли друг друга в его плодовитом воображении»[40]. И, как всегда, он запойно читал —

теперь это были Гоголь (знал наизусть целые страницы из «Мертвых душ»), Бальзак, Жорж Санд и Виктор Гюго, но еще пристрастился к Ламартину, Сулье, Мариэтту и даже Поль де Коку.

Вторым обстоятельством стали деньги. Теперь чем больше их было, тем быстрее они таяли. Однако у тех, кто хорошо знал младшего офицера, его траты вызывали недоумение. Прав был Семенов-Тян-Шанский: Достоевский в те поры сражался не с нуждой, а с нехваткой средств на запросы, привычки, щедрые жесты. Так, в конце июня 1843 года, после успешно сданных экзаменов, в связи с выпуском из училища, получением крупной суммы от опекуна, которая позволяла расплатиться со всеми долгами, и накануне отпуска, Достоевский заехал к больному Ризенкампфу, силой стащил его с постели, посадил с собой в пролетку и повез в ресторан Лерха на Невском проспекте, славящийся офицерскими пирушками; там потребовал номер с роялем, заказал роскошный обед с винами — они вместе ели, пили, музицировали. Утром же Ризенкампф, уже вполне здоровый, был на пристани и провожал приятеля на пароход в Ревель. Михаил снимал квартиру в доме отца Ризенкампфа, был счастливо женат, растил сына — Федору Михайловичу (младшему) шел восьмой месяц; Ф. М. стал его крестным отцом и проявил по этому случаю обычную щедрость. Месяц в Ревеле пролетел быстро, в августе Достоевский был выпущен на службу в Инженерный корпус для распределения «по усмотрению», вскоре был зачислен в Санкт-Петербургскую инженерную команду «с употреблением при чертежной Инженерного департамента» и начал ходить на службу в Главное инженерное управление, расположенное все в том же замке, где с девяти утра и до двух часов пополудни должен был заниматься полевой картографией.

Когда в сентябре 1843-го Ризенкампф вернулся из Ревеля, он застал Достоевского, с которым еще летом договорился поселиться вместе, в состоянии крайнего безденежья — кроме молока и хлеба в долг из лавочки у того не было никакого пропитания. В «веселенькой» трехкомнатной квартире, где старым диваном, столом и несколькими стульями была меблирована только одна комната и только она и отапливалась (Ф. М. снял квартиру в трехэтажном доме почт-директора К. Я. Пряничникова за 1200 рублей в год только потому, что ему очень понравился хозяин дома — любитель искусств, деликатный и мягкий человек, никогда не беспокоивший насчет уплаты), поселился и Ризенкампф, открывший здесь прием пациентов. Тщетно пытался доктор влиять на друга примером немецкой аккуратности и бережливости: кошельком подпоручика поль-

зовались, как своим собственным, и его денщик, и прачка, подруга денщика, и портной, и сапожник, и цирюльник. Ф. М. «принадлежал к тем личностям, около которых живется всем хорошо, но которые сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но, при своей доверчивости и доброте, он не хотел вникать в дело и обличать прислугу и ее приживалок, пользовавшихся его беспечностью»[41], — писал мемуарист. К тому же обнаружилось, что бедняки-пациенты встречают у Ф. М. живой интерес и радушное гостеприимство — их звали к столу, кормили, а иных так и день за днем. «Принявшись за описание быта бедных людей, я рад случаю ближе познакомиться с пролетариатом столицы», — шутливо оправдывался щедрый хозяин.

Его тогдашний бюджет состоял из жалованья и денег, получаемых от опекуна. Для одинокого молодого человека, живущего экономно, этого было вполне достаточно. Однако деньги не держались: уходили в уплату долгов, отдавались в виде диких процентов — нуждавшийся в срочных суммах Достоевский мог написать ростовщику доверенность на получение жалованья вперед с ручательством казначея Инженерного управления и потерять на этом треть причитающегося. Привычка тратить без счета, не думая о завтрашнем обеде, приобретала опасные формы.

Ризенкампф не раз наблюдал, как быстро расправлялся приятель с «приливами денег» и как скоро «приливы» сменялись «отливами». Безденежье, неизменно наступавшее после дней (а иногда и нескольких часов) безудержного мотовства, имело, кроме беспечного гостеприимства, и еще одну экстравагантную причину. Осенью 1843 года полученная от опекуна тысяча рублей была истрачена всего за день. «Оказалось, что бóльшая часть полученных денег ушла на уплату за различные заборы в долг, остальное же частию проиграно на бильярде, частию украдено каким-то партнером, которого Федор Михайлович доверчиво зазвал к себе и оставил на минуту одного в кабинете, где лежали незапертыми последние 50 рублей»[42]. Утром Достоевский робко просил Ризенкампфа одолжить ему пять рублей. Еще одна тысяча, полученная из Москвы в феврале 1844-го, также растаяла всего за день. Отправившись ужинать к Доминику, в недавно открытый модный кафе-ресторан на Невском, Достоевский «с любопытством стал наблюдать за бильярдной игрой. Тут подобрался к нему какой-то господин, обративший его внимание на одного из участвующих в игре — ловкого шулера, которым была подкуплена вся прислуга в ресторане. “Вот, — продолжал незнакомец, — домино так совершенно невинная, честная игра”. Кончилось тем, что Федор

Михайлович тут же захотел выучиться новой игре, — но за урок пришлось заплатить дорого: на это понадобились целых 25 партий, и последняя сторублевая Достоевского перешла в карман партнера-учителя»[43]. И снова надо было просить в долг у кого попало, под варварские проценты, чтобы купить еду. В марте 1844-го Ризенкампф оставил Петербург, так и не научив Достоевского немецкой умеренности, так и не охладив его любопытство и азарт.

Можно было только поражаться, с какой пугающей легкостью, вечно сидящий без денег, но все же имеющий два регулярных и верных источника дохода, Достоевский в одночасье расправился с обоими, будто стремясь и в самом деле испытать, что значит настоящая нужда.

Во-первых, надо было что-то решать с полевой картографией. Служба злила его и угнетала. По утрам он был всегда не в духе, «раздражался каждой безделицей, ссорился с денщиком, отправлялся расстроенный в Инженерное управление, проклинал свою службу, жаловался на неблаговоливших к нему старших инженерных офицеров и только мечтал о скорейшем выходе в отставку»[44]. «Служба надоела, как картофель», — писал он Михаилу весной 1844-го, едва прослужив полгода. Брат вяло отговаривал, советовал подождать год-другой, чтобы утвердиться на новом месте. Но, похоже, утверждаться в картографии Ф. М. не хотел, к тому же явно не преуспевал в ней — А. И. Савельев упоминал, что «планы и фасады зданий, караульни с их платформами и пр.», составленные Достоевским неправильно, без масштаба, возвращались обратно с выговорами, нередко обидными. Ходили слухи — еще в бытность его в училище — о чертеже некой крепости без единых ворот и ругательном отзыве государя по адресу незадачливого чертежника. Была вероятность (он сообщил о ней опекуну) дальней и длительной командировки, и следовало, в условиях хронического «крайнего безденежья», отсрочить катастрофу. «Я... никогда не хотел служить долго, следовательно, зачем терять хорошие годы? А наконец, главное: меня хотели командировать — ну, скажи, пожалуйста, что бы я стал делать без Петербурга. Куда я бы годился?» — писал он Михаилу. Вступаясь за брата, Михаил объяснял опекуну: «Он не может покинуть Петербурга, не разорвав всех связей, которые ему сулят в будущем широкую дорогу славы и богатства. Он желает вполне предаться литературе»[45].

Это была чистая правда.

Двадцать первого августа 1844 года полевой инженер-поручик Федор Достоевский просил императора Николая Павловича об отставке: «Имея необходимую надобность в устройст-

ве домашних моих обстоятельств, я вынужденным нахожусь, при всем моем усердии продолжать службу Вашего императорского величества, просить об увольнении от оной». Вместе с прошением был подан реверс (обязательство с гарантией) о том, что по увольнении он не будет ничего ждать от казны. Государь прошение принял и просьбу удовлетворил. 19 октября Достоевский, прослужив в чертежном департаменте ровно год, был уволен с повышением в чине, то есть поручиком. В указе, среди уже известных сведений из формулярного списка, значилось следующее: «По выборам дворянства не служил, в походах не бывал; особых поручений по Высочайшим повелениям и от своего начальства не имел; наград, Высочайших благоволений, Всемилостивейших рескриптов и похвальных листов не получал... В штрафах по суду и без суда не бывал. Высочайшим замечаниям и выговорам по Высочайшим приказам не подвергался... К повышению чина и к награждению знаком отличия беспорочной службы всегда аттестовался достойным. Отчеты, какие имел, представлял в срок. Жалобам не подвергался. Слабым в отправлении обязанностей службы и по званию начальника замечен не был и вопреки должной взыскательности к службе, беспорядков и неисправностей между подчиненными не допускал, оглашаем и изобличаем в неприличном поведении не был». Михаил успокаивал опекуна, что такой офицер, если захочет, без службы не останется.

Желанная свобода — и от службы, и от жалованья — ожидалась в момент, когда грозила долговая яма, нечего было есть, нечем платить за квартиру, не было зимнего платья, не было денег даже на почту. Оставалось последнее средство, о котором, в ожидании отставки, Достоевский писал Карепину: «Я сносил всё терпеливо, делал долги, проживался, терпел стыд и горе, терпел болезни, голод и холод, теперь терпение кончилось и остается употребить все средства, данные мне законами и природою, чтобы меня услышали». Он просил, горячо и запальчиво*, чтобы ему выделили из наследственного имения

---

* См. фрагмент письма Ф. М. Достоевского, процитированного его братом Михаилом П. А. Карепину: «Последнее письмо мое в Москву было немножко слишком желчно, даже грубо. Но я был ввергнут во всевозможные бедствия, я страдал в полном смысле слова, я был без малейшей надежды... Дядюшка, вероятно, считает меня неблагодарным извергом, а зять с сестрою — чудовищем. Меня это очень мучает. Но со временем я надеюсь помириться со всеми. Из родных остался мне ты один. Остальные все, даже дети, вооружены против меня. Им, вероятно, говорят, что я мот, забулдыга, лентяй, не берите дурного примера... Эта мысль мне ужасно тяжела. Но Бог видит, что у меня такая овечья доброта, что я, кажется, ни сбоку, ни спереди не похож на изверга и на чудовище неблагодарности. Со временем, брат, подождем...»

его часть, которая приносит тысячу рублей годового дохода, и готов был отказаться от нее за тысячу рублей серебром, из которых половина должна была быть выплачена разом, остальное в рассрочку, по десять рублей ежемесячно. Михаил, поручаясь за брата, просил решить дело семейным порядком, убеждая зятя, что Федор отдает свою часть наследства за бесценок: «Брат так честен, что ему можно и без расписки дать эти деньги... Брату деньги нужны до зарезу... Вы его приведете в отчаяние отказом». Карепин, послав шурину изрядную долю упреков за его намерение мигом спустить с рук «миниатюрное» отцовское добро, которого не хватит и на год («Вы едва почувствовали на плечах эполеты, довольно часто в письмах своих употребляли два слова: наследство и долги; я молчал, относя это к фантазии юношеской... Не вина наша, что мы родились не миллионерами...»), все же согласился выполнить просьбу, употребив на это собственные деньги.

«А что я ни делаю из своей судьбы — какое кому дело? Я даже считаю благородным этот риск, этот неблагоразумный риск перемены состояния, риск целой жизни — на шаткую надежду. Может быть, я ошибаюсь. А если не ошибаюсь?.. Я пойду по трудной дороге!..» — с таким настроением потратил Достоевский полученную долю наследства, уплатив срочные долги. К ноябрю 1844 года он был свободен и от обязательств службы, и от состояния, и по-прежнему деньги ползли, «как раки все в разные стороны».

И здесь р е з о н н о обратиться к т р е т ь е м у обстоятельству, ради которого поручик Достоевский поступился и своим наследством, и своим служебным положением, — к литературе. Для того чтобы в полной мере осознать степень риска молодого человека, который во имя эфемерного поприща сжег все корабли, надо задать один вопрос. Что у него было, кроме веры в призвание, когда в 22 года он решился пожертвовать хоть и скромным, но обеспеченным будущим (месячное жалованье, наградные, продвижение по службе)? Или, иначе: чем, имея в виду столь весомый аргумент, как рукопись, готовая к печати, он располагал? Ответ был предельно прост: солидной рукописи, с которой можно было бы пускаться в свободное плавание, у него не имелось; наброски двух трагедий в счет не шли.

Достоевский уже более трех лет жил вне стен училища, глотал книги, выкуривал трубку за трубкой, то и дело болел, порой чем-то нервным, мучился бессонницей; оставлял записки с просьбой не хоронить его в течение нескольких дней на случай летаргического сна; что-то писал по ночам, беспорядочно (то пусто, то густо, но реже пусто) питался, — словом, был предоставлен самому себе. Но даже и близкие его приятели недо-

умевали, почему так долго не оправдываются всеобщие ожидания, почему талант не дает о себе знать. Наверное, его самолюбие немало страдало: все вокруг не только писали, но и публиковались. «Мне часто приходило в голову, — вспоминал Григорович, — как могло случиться, что я успел уже написать кое-что, это кое-что было напечатано, я считал себя некоторым образом литератором, тогда как Достоевский ничего еще не сделал по этой части?» Это «кое-что» было очерком о быте петербургских шарманщиков. Григорович, случайно встретив осенью 1844-го Достоевского, уже в статском платье, взахлеб рассказал приятелю о своих литературных знакомствах; в тот же день, прочитав ему свой очерк, был потрясен, услышав тонкие, истинно художнические замечания, выдававшие чутье мастера. Вскоре они поселились вместе в той самой квартире на Графском, откуда съехал Ризенкампф, но Ф. М. ни слова не говорил про то, что пишет, и Григорович из деликатности не спрашивал, видя только множество листов, исписанных бисерными, будто нарисованными буквами.

Не мог не заметить угнетенного состояния друга и доктор Ризенкампф. «Время шло, и Федор Михайлович до 23-летнего возраста не заявил о себе еще ни одним печатным сочинением. Друзья его, как-то Григорович в 1844 году поставил уже на сцену две комедии, разыгранные с успехом; Паттон оканчивал перевод "Истории польского восстания Смиттена", Михаил Михайлович оканчивал перевод "Дона Карлоса" Шиллера; я сам помещал разные статейки на немецком языке... а Федор Михайлович, глубоко веривший в свое литературное призвание, изготовил сотни мелких рассказов, но не успел еще составить ни одного вполне оконченного литературного труда. Притом денежные его обстоятельства со дня на день более и более приходили в упадок»[46]. Деньги уплывали и при общежитии с Григоровичем — хватало на первые две недели после получек, и далее молодые люди довольствовались булками и ячменным кофе из соседней лавочки.

Грозила ли Ф. М. перспектива остаться «вечным читателем»? С изрядной долей ехидства намекал на это опекун, еще когда просил шурина не оставлять службы. «Не Вы первый, а много, очень много людей, начинающих свое поприще по известным чистым, светлым и всегда отрадным правилам труда, прилежания и терпения, со способностями ума, коими одарил Вас Господь, с хорошим образованием, которое получили и в заведении отличном, — Вам ли оставаться при софизмах портических, в отвлеченной лени и неге шекспировских мечтаний? На что они, что в них вещественного, кроме распаленного, раздутого, распухлого — преувеличенного, но пузырного

образа?» Напрасно, однако, Достоевский ругал опекуна за «озлобление на Шекспира». «В последнем письме Карепин ни с того ни с сего советовал мне не увлекаться Шекспиром! Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь всё равно... Ну к чему тут Шекспир?»

Шекспир был, и правда, ни к чему. Но не его, а легкомысленного шурина укорял опекун, видя забвение долга, никчемность занятий, связанных с «рабским подражанием чужому видению». Его, шурина, призывал вернуться на «путь чести, труда уважительного, пользы общественной». «Оставьте излишнюю мечтательность и обратитесь к реальному добру, которого Бог весть почему избегаете; примитесь за службу с тем убеждением, которому поверите по опыту, что сколь бы ни велики были наши способности, всё нужно еще при них некоторое покорство общественному мнению», — внушал Карепин. И, словно отвечая на самые сокровенные мысли своего подопечного о «тайне человека», он назидательно рекомендовал познавать ее именно на казенных, служебных дорогах. «Вы там поверите жизнь человеческую с различных ее фазов, тогда как теперь — знакомы только односторонне со школьной лавки — да книжных мечтаний. Офицеру в военном мундире нельзя останавливаться приготовлениями мягких пуховиков и лукулловой кухни. Почтовая кибитка, бурка и кусок битой говядины, приготовленной денщиком, всегда найдется за прогоны и царское жалованье. Зато сколько приятных ощущений при удачном исполнении своего долга; сколько отрады во внимании начальников, в любви и уважении товарищей, а далее награда, заслуженная трудом путем прямым, благородным. Вот, брат! настоящая поэзия жизни...»

Трудно сказать, изведал ли сам зять Достоевского преимущества почтовой кибитки и бурки перед экипажем и фраком, но очевидно: он знал толк и во внимании начальников, и в царском жалованье. Как восторженно писал о нем младший шурин Андрей («Решительно я в этого человека влюблялся, и так привязался к нему, что только им и бредил»), Петр Андреевич, мужчина лет сорока с лишком, «видный, выше среднего роста, стройный, очень красивый и развязный», «служил во многих местах и везде получал солидное содержание». Перечень должностей и в самом деле впечатлял: правитель канцелярии московского военного генерал-губернатора; аудитор при некоем военном учреждении; секретарь в двух попечительских комитетах — о тюрьмах и о просящих милостыню; главноуправляющий всеми имениями князей Голицыных (служба частная и самая доходная). С высоты своего опыта он был прав, советуя любезному брату отбросить заносчивость и взяться за ум — на

месте Карепина подобные советы молодому человеку, презревшему отменное образование и служебную карьеру ради эфемерностей, дал бы любой старший родственник. Да и мог ли Петр Андреевич, при всем своем знании света, разглядеть одномиллионную долю — тот самый шанс, о котором грезил Федор Достоевский и в который верил на всем белом свете только он сам и еще, кажется, брат Михаил, тоже ушибленный литературой?

Свобода, которая манила Достоевского по выходе из училища, на первых порах как будто обманула его; еще до того, как явилось его первое сочинение, он, по причине беспросветного безденежья, стал смотреть на литературу иными глазами. Кажется, он сделал все возможное и невозможное, чтобы вступить в самостоятельную жизнь, именуя себя «литературным пролетарием», то есть литератором-поденщиком, живущим на вольных хлебах, без дохода в виде ренты или жалованья. Так получилось, что его мечты о призвании — перед тем, как он смог наконец осуществить их, — несколько изменились: обстоятельства вынудили мечтать о высоких материях в терминах денег.

«Я опять с 200 руб. серебром долгу. Из долгов как-нибудь нужно выбраться. Под сидяч камень вода не потечет», — сетовал Ф. М. в канун нового, 1844 года, когда были истрачены присланные опекуном 500 рублей. Примерно с этого времени литературное дело стало представляться как некое грандиозное начинание, которое — если подойти к нему с умом и толком — не только вытащит из нищеты и кое-как прокормит, но и сделает богачом. «Ведь дошел же Пушкин до того, что ему за каждую строчку стихов платили по червонцу, ведь платили же Гоголю, — авось и мне заплатят что-нибудь»[47] — так, по свидетельству очевидца, говаривал Ф. М. Очевидец не преувеличил — в 1845-м Достоевский то же самое писал брату: «Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали немного, а оба ждут монументов. И теперь Гоголь берет за печатный лист 1000 руб. серебром, а Пушкин, как ты сам знаешь, продавал 1 стих по червонцу. Зато слава их, особенно Гоголя, была куплена годами нищеты и голода». Ему грезились огромные издательские барыши, снились фантастические гонорары, которые рано или поздно могут исправить его запутанные денежные дела и преобразить сиротское существование.

Литературное поведение еще не начавшего серьезно писать Достоевского удивительным образом было лишено той самой «неги шекспировских мечтаний», которой корил его опекун. Скорее, тут виделись ростки молодого и очень непрактичного авантюризма. «Судьба благословила меня идеею, предприяти-

ем, назови, как хочешь. Так как оно выгодно донельзя, то спешу тебе сделать предложение участвовать в трудах, риске и выгодах», — торопился порадовать он брата. Предприятие выглядело весьма заманчиво: втроем (с братом и бывшим товарищем по училищу О. П. Паттоном) нужно было перевести «Матильду», роман Эжена Сю, только что взволновавшего русского читателя авантюрными «Парижскими тайнами». Учитывая, что Е. Н. Серчевский, начавший два года назад переводить роман, успел опубликовать только малую часть, имело смысл перехватить инициативу. «Мы разделяем перевод на 3 равные части и усидчиво трудимся над ним. Рассчитано, что ежели каждый может переводить по 20 страничек Bruxell-ского маленького издания "Матильды", то к 15 февраля кончит свой участок. Переводить нужно начисто... По мере выхода перевода он будет цензорован. Паттон знаком с Никитенко, главным цензором... Чтобы напечатать на свой счет, нужно 4500 руб. ассигнациями. Цены бумаги, типографии нами узнаны».

Ему нравилось ощущать себя профессионалом — договариваться о печатании тиража, обсуждать стоимость одного экземпляра, просчитывать наиболее выгодные способы реализации издания. Ему казалось, что успех обеспечен — роман разойдется, тираж покроет все издержки печати и на руках останется чистый барыш. Нечего и говорить, что затея (или, как называл ее сам предприниматель, афера) с треском провалилась — из-за «странных обстоятельств» с третьим переводчиком, обещавшим, но не давшим начальный капитал для издания. «К крайнему прискорбию моему, бесценный друг мой, — писал Ф. М. брату, — скажу тебе, что дело, кажется, не пойдет на лад; — и потому прошу тебя повременить до времени и не переводить далее, доколе не получишь, милый мой, от меня более верного уведомления...»

Провал предприятия Достоевского не обескуражил. Рождались новые дерзновенные проекты, и Ф. М. все так же прилежно изучал типографское дело (бумага, шрифты, полоса набора), знакомился с издателями и так азартно агитировал брата поддержать новое «несомненное» начинание, будто до этого им удалось хоть одно из них. Успех — неизбежен, а неудача — случайна, считал он; когда же один за другим сорвались перевод «Дона Карлоса», издание всех переводов Шиллера, перевод романа Жорж Санд «Последняя Альдини» (заканчивая работу, Ф. М. обнаружил, что его опередили), так и сказал: «*Случился* со мной один неприятный *случай*... Суди же о моем ужасе — роман был переведен в 1837 году» (в 1838 году «Библиотека для чтения» поместила его сокращенный пересказ).

Однако среди арифметических подсчетов («бумага плюс обертка плюс печать»), между восклицаниями, все еще полными энтузиазма («за успех ручаюсь головой», «малейший успех — и барыш удивительный»), рядом с сообщениями о разбогатевших конкурентах («Отчего Струговщиков уже славен в нашей литературе? Переводами... нажил состояние») как-то затерялись, а потом вышли наружу две удивительные новости — одна за другой. Собственно, даже и не новости, а так, безделки, о которых Достоевский сообщал брату задним числом, мельком, едва ли не в постскриптуме. Ибо, пока оборачивалась «афера» с Эженом Сю, и еще до «ужаса» с романом Жорж Санд, случилась первая неожиданность. «Нужно тебе знать, что на праздниках я перевел “Евгению Grandet” Бальзака (чудо! чудо!). Перевод бесподобный. Самое крайнее мне дадут за него 350 руб. ассигнациями. Я имею ревностное желание продать его, но у будущего тысячника нет денег переписать; времени тоже», — и Достоевский просил у брата 35 рублей на переписку.

Пока Ф. М. уговаривал Михаила переводить всего Шиллера, ожидал отставки, выяснял отношения с опекуном, произошло (в сентябре 1844-го он писал об этом осторожно и мимоходом) нечто и впрямь из ряда вон выходящее. «У меня есть надежда. Я кончаю *роман* в объеме “Eugénie Grandet”. Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверно уже и ответ получу за него. Отдам в “Отечественные записки”. (Я моей работой доволен.) Получу, может быть, руб. 400, вот и все надежды мои. Я бы тебе более распространился о моем романе, да некогда (драму поставлю непременно. Я этим жить буду)... Я чрезвычайно доволен романом моим. Не нарадуюсь. С него-то я деньги наверно получу, а там...».

Впервые в жизни наряду с мечтами, прожектами и отвлеченной верой в себя появилось реальное сочинение. С ним он и шагнет в большую литературу, определившись не как драматург и даже не как переводчик, а как романист.

В том упорном молчании, каким Достоевский обставил писание первого романа — ни полслова о планах и намерениях, ни строчки о ходе работы, — таилось, скорее всего, суеверное желание спрятать от посторонних глаз (даже от брата!) своих первенцев, Макара Девушкина и Вареньку Доброселову, заслонить их до времени декорациями шиллеровских и жоржсандовских сочинений, которые он хотел взять для перевода. Вряд ли он сам мог бы тогда объяснить, почему на фоне романтических героев и поэтических героинь из тех громких книг, которые волновали воображение, пригрезилась ему эта пара сирых горемык — немолодой чиновник-письмоводитель и

живущая по соседству бесприданница-сирота. Кажется, что-то менялось и в самом чтении. Книги, опыт писателей переставали быть источником романтических восторгов и исподволь становились вполне практическим пособием для собственного творчества. В разгар работы над «Бедными людьми» Достоевский в письме брату сообщил: «Ты, может быть, хочешь знать, чем я занимаюсь, когда не пишу, — читаю. Я страшно читаю, и чтение странно действует на меня. Что-нибудь, давно перечитанное, прочитаю вновь и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во всё, отчетливо понимаю, и сам извлекаю умение создавать».

Извлекаю умение создавать — такова была новая читательская установка теперь уже не только читающего, но и пишущего Достоевского. Работа над «Бедными людьми», романом, который автор сначала «закончил» (ноябрь 1844-го), затем «вздумал весь переделать: переделал и переписал» (декабрь 1844-го), потом «начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать» (февраль 1845-го), — эта работа, перемежавшаяся с напряженным чтением и перечитыванием книг, довершила процесс превращения Достоевского-читателя в Достоевского-писателя. «Брат, в отношении литературы я не тот, что был тому назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года изучения много принесли и много унесли».

Обе новости — и перевод, и роман — стали «вещественными», а не «пузырными» фактами бытия начинающего литератора. Оказалось, что его вращение около литературы («Мы обегали всех книгопродавцев и издателей») было не досугом графомана, а вполне рабочим интересом пишущего человека, самостоятельно пробивающего себе дорогу. Ф. М. обнаружил, что профессия литератора требует не только *умения создавать*, но и сноровки находить издательское прибежище своему созданию. Убеждение, что готовая вещь подразумевает немедленную публикацию, выработалось у него с первых шагов на писательском поприще — так что он пытался договариваться о печатании еще не написанной вещи. «Я пошел к Песоцкому и Межевичу. Канальи жмутся. О помещении в своем журнале всего Шиллера и думать не хотят; они не постигают хорошей идеи, они спекулируют. Отдельно “Разбойников” взять не хотят, боятся цензуры... Подожди, к нам как мухи налетят, когда в руках наших увидят переводы. Не одно будет предложение от книгопродавцев и издателей. Это собаки — я их несколько узнал». Речь шла о журнале, где он хлопотал о переводах брата и где суждено было появиться его первой публикации.

«Репертуар русского и Пантеон всех иностранных театров», ежемесячный театральный журнал, выходивший в Пе-

тербурге, едва ли не каждый год уточнявший свое название («Репертуар русского театра», «Пантеон русского и всех европейских театров», «Репертуар русского и пантеон иностранных театров») и менявший своих редакторов (Ф. А. Кони, Ф. В. Булгарин, В. С. Межевич, И. П. Песоцкий и др.), в летних номерах 1844 года поместил «Евгению Гранде» в переводе Ф. М. Достоевского на условиях анонимности переводчика и с досадными редакционными сокращениями. Неизвестно, получил ли переводчик ожидаемый гонорар, но, кажется, никаких новых предложений ему не последовало и, как мухи, издатели не налетели.

Тем не менее это была удача. Дебют Достоевского в амплуа переводчика стал благодарной данью домашнему воспитанию и полученному образованию — обязательным языковым урокам от француза Сушарда и именинным французским приветствиям; строгой отцовой латыни — гимнастике ума, средству развития интеллекта, ключу к пониманию европейских языков; пансиону Чермака, где, сверх расписания, добродушный надзиратель-гувернер m-r Манго, бывший барабанщик наполеоновский армии, говоривший на правильном французском, много и мастерски читал с воспитанниками; Инженерному училищу, где Ф. М. мог совершенствовать свои языковые способности; увлеченному чтению французских авторов и дружескому общению, например, с Григоровичем, для которого французский был первым (от матери-француженки) родным языком.

Факт удачи с переводом сочинения именно Бальзака тоже относился к разряду высшей справедливости. «Бальзак был любимым нашим писателем; говорю: “нашим” потому, что мы оба одинаково им зачитывались, считая его неизмеримо выше всех французских писателей», — вспоминал Григорович, имея в виду и себя, и Достоевского. «Почти весь Бальзак» был прочитан в Петергофе, в учебном лагере, и произвел на семнадцатилетнего кондуктора роты застрельщиков неизгладимое впечатление, оставшееся неизменным на всю жизнь.

Выбором «Евгении Гранде», романа, изданного во Франции еще в 1833-м и выдержавшего несколько изданий (хвалебная рецензия была напечатана в «Библиотеке для чтения» за 1835 год), Ф. М. попал в точку, избежав конфуза, случившегося с жорж-сандовским сочинением: за десять лет русского перевода бальзаковского романа так никто и не сделал, и Достоевский вошел в историю литературы уже тем, что стал первым переводчиком «Евгении Гранде» на русский язык. Неизвестно, видел ли Ф. М. Бальзака воочию, когда летом 1843-го его кумир побывал в Петербурге, посещал, встречаемый овациями,

концерты и театральные представления в Павловске и Петергофе, о чем восторженно писала русская пресса; но если и не видел, то вряд ли мог не слышать и не читать о петербургском вояже любимого романиста, и это обстоятельство тоже могло подстегнуть переводческий азарт дебютанта. Условно говоря, Бальзак благословил своего преданного читателя рискнуть — и риск был оправдан.

Л. П. Гроссман, изучая русский перевод «Евгении Гранде» и испытывая непреодолимую антипатию к отцу переводчика, соблазнялся мыслью о его сходстве с папашей Гранде и называл М. А. «старым скупцом, дрожавшим над сломанными ложками, видевшим воров во всех окружающих и совмещавшим, подобно герою Бальзака, сентиментальность с жестокостью»[48]. Вряд ли, однако, роман о богатой невесте-провинциалке и ее отце, безжалостном скряге и корыстолюбце, вызывал у переводчика какие-то личные ассоциации: бочар-простолюдин, скупавший за бесценок конфискованные церковные владения (виноградники и фермы), наживший миллионы франков, и образованный медик-отец, учивший сыновей бережливости, боявшийся разорения и таки разорившийся под конец жизни, — какое неоправданное сближение! Впрочем, на отсутствие «каких-либо доказательств» своей мысли (кроме употребления стариком Гранде слова «жизнёночек» из писем отца писателя к его матери) указал и сам Гроссман — ведь очень скоро это редкое словечко войдет в лексикон Макара Девушкина: «Спешу вам сообщить, жизнёночек вы мой, что у меня надежды родились кое-какие...»

Перевод Бальзака стал для начинающего литератора серьезной школой мастерства. «Учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно», — признавался Ф. М. в 1839-м, и, конечно, в первую очередь это относилось к французскому классику. Бальзак полностью отвечал той задаче, которую ставил себе молодой Достоевский — изучать человека и жизнь. Перевод текста — это внимательное, дотошное чтение; но переводчик-дебютант, стараясь избежать буквализма, пытался совместить точность оригинала с новым художественным воплощением (как заметила В. С. Нечаева, сличавшая французский текст и перевод, «почти каждую фразу Достоевский начинает по Бальзаку, но в его переложении она усложняется, обрастает новыми образами, новыми признаками образов, и бальзаковский текст тонет в плоти, которой одевает его Достоевский»[49]). Углубление смыслов, обогащение бытовой палитры бальзаковского романа, усложнение психологии героев, обретавших повышенную эмоциональность речи и драматичность (порой даже мелодра-

матичность) переживаний, — таким путем шел Достоевский-переводчик.

И все же верный кусок хлеба, который со временем вполне мог бы кормить «литературного пролетария», задержись он в переводческом цехе («И с французского переводчик может быть с хлебом в Петербурге, да еще с каким»), был оставлен. Переводческий труд, обязывающий держаться рамок оригинала, сковывал потенциал сочинителя, жаждавшего гораздо больших степеней свободы, чем было дозволено на пространствах чужого романа. Зато работа по перечитыванию, переписыванию, обдумыванию каждого слова и оборота речи, выработка манеры повествования, техники диалогов и монологов, искусство создания художественного текста на родном языке разожгли творческий аппетит, высвободили перо из пут нерешительности и неуверенности.

Очередь была за романом собственного сочинения. После Бальзака, которым Достоевский овладел не только как читатель, но и как переводчик, писать «свое» было уже не так страшно.

Глава четвертая
РОЖДЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ ИЗ ЧИТАТЕЛЯ

Впечатления для романа. — Герои-сочинители. — Искушения Девушкина. — Вероломство славы. — Хроника прорыва. — Великая минута. — «Новый Гоголь!» — Энтузиазм Белинского. — Среди «своих». — Сто тысяч курьеров. — Хвала и хула

Спустя три десятилетия после дебюта, имея за плечами «Преступление и наказание», «Идиота», «Бесов» и готовясь к «Подростку», Достоевский записал на полях черновой тетради формулу, которую вывел из своей писательской практики: «Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или *несколькими* сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. *В этом дело поэта.* Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. *Тут уже дело художника*, хотя художник и поэт помогают друг другу и в этом и в другом — в обоих случаях». Судя по первому роману, формула была безотчетно использована писателем уже тогда.

Рождение писателя из читателя — одна из волнующих загадок, равная чуду и тайне рождения новой жизни. Тот факт, что чаемое превращение может и не случиться, что писатель, потенциально присутствующий в каждом читателе, может так

никогда и не реализоваться, сообщает этой тайне особую притягательность. Соблазн творчества, потребность в самовыражении, которая видится каждому читателю в сочинительстве, трудный путь, чаще всего безотрадный, а то и плачевный, приносящий куда больше потерь, чем обретений, — эта Голгофа литературного честолюбия и была, кажется, сильнейшим впечатлением, заставившим молодого Достоевского взяться за перо. Это впечатление вошло в плоть и кровь его первого романа — который, как ему первоначально казалось, он писал ради заработка («На что мне тут слава, когда я пишу из хлеба?»).

Вспоминая в семидесятые, как он жил, выйдя в отставку из инженеров, «сам не зная зачем, с самыми неясными и неопределенными целями», как «начал вдруг “Бедных людей”, первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши», Ф. М. признáется: «Писал я их с страстью, почти со слезами — “неужто всё это, все эти минуты которые я пережил с пером в руках над этой повестью, — всё это ложь, мираж, неверное чувство?” Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась». В марте 1845-го роман как будто был закончен. Автор отнес рукопись в цензуру, но тут же забрал назад: цензоры, заваленные работой, требовали месяц и больше. Возникла и тут же погасла мысль о журналах. «Пустяки. Отдашь да не рад будешь. Во-первых, и не прочтут, а если прочтут, так через полгода. Там рукописей довольно и без этой. Напечатают, денег не дадут. Это какая-то олигархия... Отдавать вещь в журнал значит идти под ярем не только главного maître d'hôtel'я, но даже всех чумичек и поваренков, гнездящихся в гнездах, откуда распространяется просвещение. Диктаторов не один: их штук двадцать».

Так и не пристроив роман в марте, он сообщал брату: «Я до сей самой поры был чертовски занят. Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что если бы знал, так не начинал бы его совсем. Я вздумал его еще раз переправлять, и ей-богу к лучшему; он чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрогиваться». Его «до дурноты, до тошноты» мучила судьба непристроенной рукописи, а с ней и свое собственное положение («Часто я по целым ночам не сплю от мучительных мыслей»). Он стоял перед выбором — печатать роман отдельным изданием на свой страх и риск или обратиться к журналам и отдать рукопись за бесценок. Но о романе безвестного автора надо ведь как-то объявить, а любой книгопродавец, «алтынная душа», не станет компрометировать себя рискованной рекламой. Оставались, при всей неприязни, журналы, лучше всего «Отечественные записки»: все же

тираж 2500 единиц, читателей раза в четыре больше. «Напечатай я там — моя будущность литературная, жизнь — всё обеспечено. Я вышел в люди... Нужно хлопотать. Есть у меня много новых идей, которые, если 1-й роман пристроится, упрочат мою литературную известность».

Первый роман должен был выполнить несколько задач. Во-первых, выкупить автора из долговой кабалы и решить дело с квартирой — нынешняя была дорога и устраивала лишь тем, что хозяин не беспокоил по полгода. Во-вторых, он должен был составить автору имя. В-третьих, освободить от поденщины: «Как бы то ни было, а я дал клятву, что коль и до зарезу будет доходить, — крепиться и не писать на заказ. Заказ задавит, загубит всё». В-четвертых, помочь брату в печатании переводов: «Устрой я роман, тогда Шиллер найдет себе место».

Автор думал о возможном провале как о катастрофе. «Если мое дело не удастся, я, может быть, повешусь» — это если роман не будет замечен и не даст никакого заработка. «А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву. Что же делать? Я уж думал обо всем. Я не переживу смерти моей idée fixe» — этот исход виделся в случае, если роман никто не напечатает. Однако обеспечить дебют и сделать автору имя мог только сам роман. Достоевский это понимал и писал брату, что романом «серьезно доволен» как вещью «строгой и стройной», несмотря на «ужасные недостатки». Все могло повернуться и так и этак.

В мае 1845-го «Бедные люди» были переписаны набело.

«Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим». Так опишет свои переживания 24-летний «неудавшийся» литератор Иван Петрович из «Униженных и оскорбленных», который «унаследует» литературную молодость Достоевского и которому писатель, через 15 лет после собственного дебюта, рискнет «отдать» своего первенца — роман «Бедные люди». Автор-виртуоз создаст неподражаемый эффект *самоумножения литературы*: герой нового романа сочиняет ранний роман автора, который обсуждают и критикуют читатели-персонажи. Иван Петрович ощутит в себе ту неодолимую потребность творчества, которая владела Достоевским в момент создания первого романа: «Хочу теперь всё записать, и, если б я не изобрел себе этого занятия, мне ка-

жется, я бы умер с тоски». Сочинители в текстах Достоевского вслед за автором ощутят благотворность творческого труда и самого механизма письма, способного обратить воспоминания и мечты в дело, в привычное занятие.

Привержены «механизму письма» и герои «Бедных людей». Здесь царит безбрежная стихия эпистолярного сочинительства — на каждое письмо уходят часы литературного труда. Личная переписка становится для двух горемык не только потребностью любви, но и пробой пера, привычкой выражать любовь слогом, стилем. «А хорошая вещь литература, Варенька, очень хорошая... Глубокая вещь! Сердце людей укрепляющая, поучающая... Литература — это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало; страсти выраженье, критика такая тонкая, поучение к назидательности и документ».

Это признание делает честь немолодому переписчику бумаг: первый роман Достоевского стал и в самом деле картиной и зеркалом, выражением страсти и документом; тяга к творчеству, ставка на призвание, упорный труд новичка зафиксировались в «Бедных людях» документально — в виде целой библиотеки «чужих рукописей».

Макар Девушкин тянется к компании Ратазяева, соседа, который служит «где-то по литературной части», знает о Гомере и Брамбеусе и сочинительские вечера устраивает. «Сегодня собрание; будем литературу читать», — сообщает Девушкин Вареньке и восторженно описывает «литературу» единственного знакомого писателя: «Ух как пишет! Перо такое бойкое и слогу пр́опасть... Я и на вечерах у него бываю. Мы табак курим, а он нам читает, часов по пяти читает, а мы всё слушаем. Объядение, а не литература! Прелесть такая, цветы, просто цветы; со всякой страницы букет вяжи!» Пристально вглядывается Девушкин в привычки и образ жизни соседа, искренне верит в существование фантастических гонораров, в заманчивую соблазнительность поприща. «Вы посмотрите-ка только, сколько берут они, прости им Господь! Вот хоть бы и Ратазяев, — как берет! Что ему лист написать? Да он в иной день и по пяти писывал, а по триста рублей, говорит, за лист берет. Там анекдотец какой-нибудь или из любопытного что-нибудь — пятьсот, дай не дай, хоть тресни, да дай! а нет — так мы и по тысяче другой раз в карман кладем!.. Да что! Там у него стишков тетрадочка есть... семь тысяч просит, подумайте. Да ведь это имение недвижимое, дом капитальный!» С энтузиазмом истинного поклонника переписывает Макар Алексеевич для Вареньки отрывки из сочинений соседа.

Всё, что видит Девушкин на собраниях у Ратазяева, становится темой для размышлений и материалом для писем: обща-

ясь с соседом, он пытается примерить его занятие на себя — сначала почти с ужасом, потом с робкой надеждой. От одной мысли, что он тоже сможет сочинять «литературу», крепнет его перо. «А насчет стишков скажу я вам, маточка, что неприлично мне на старости лет в составлении стихов упражняться. Стихи вздор! За стишки и в школах теперь ребятишек секут...» — так было в его первых письмах. Он долго уговаривает себя: не умею, не учен, не должен. «Сознаюсь, маточка, не мастер описывать, и знаю, без чужого иного указания и пересмеивания, что если захочу что-нибудь написать позатейливее, так вздору нагорожу». Жалобы повторяются, но Девушкин признается: «А вот у меня так нет таланту. Хоть десять страниц намарай, никак ничего не выходит, ничего не опишешь. Я уж пробовал».

Так выходит наружу тайная литературная биография героя «Бедных людей»: «пробовал» — но «слогу нет, ведь я это сам знаю, что нет его, проклятого; вот потому-то я и службой не взял... пишу спроста, без затей и так, как мне мысль на сердце ложится... Однако же, если бы все сочинять стали, так кто же бы стал переписывать?». Но тот, кто испытал искус чистого листа бумаги, обречен быть вечным рабом своего пристрастия. Как осторожно пробивается в письмах Девушкина тайная страсть, как робко пытается он хоть в шутку вообразить себя в желанной роли! «Ведь что я теперь в свободное время делаю? Сплю, дурак дураком. А то бы вместо спанья-то ненужного можно было бы и приятным заняться; этак сесть бы да и пописать. И себе полезно и другим хорошо». Пример *других* вдохновляет — и Макар Алексеевич умоляет Вареньку не бросать начатой работы — записок о детстве и юности.

Кажется, сам воздух Петербурга напоен литературой, и в каждом углу кипят литературные страсти. И как ни гонит Девушкин соблазнительные мысли, все равно он с теми, кто сочиняет. В светлую минуту рождается мечта: «Ну что, если б я написал что-нибудь, ну что тогда будет? Ну вот, например, положим, что вдруг, ни с того ни с сего, вышла бы в свет книжка под титулом — “Стихотворения Макара Девушкина”!.. Как бы вам это представилось и подумалось?.. Я бы решительно тогда на Невский не смел бы показаться. Ведь каково это было бы, когда бы всякий сказал, что вот де идет сочинитель литературы и пиита Девушкин!.. Ну что бы я тогда, например, с моими сапогами стал делать?» Взволнованное воображение рисует модниц-поклонниц — «контессу-дюшессу» («ну что бы она-то, душка, сказала?»), графиню В., литературную даму, а главное, Ратазяева, запросто бывающего у обеих. А там — страшно даже подумать, что́ могут сотворить с человеком медные трубы.

Любую книжную историю Девушкин примеряет не только к своим переживаниям, но и к своему перу. Вступаясь за «литературные пустячки» Ратазяева, он отстаивает право на сочинительство как на пристань — а вдруг? Ведь Ратазяев, какими бы гонорарами ни похвалялся, остается бедняком, *своим*: соседом по чадной и сырой конуре — той, где чижики мрут. «Есть и лучше Ратазяева писатели, есть даже и очень лучшие, но и они хороши, и Ратазяев хорош; они хорошо пишут, и он хорошо пишет. Он себе особо, он так себе пописывает, и очень хорошо делает, что пописывает».

Но к книгам, присланным Варенькой, Девушкин строг — будто это его сердце вывернули наизнанку и подробно описали. «Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных!» История станционного смотрителя дает надежду, а судьба Башмачкина ее отнимает: Макар Алексеевич не понимает, зачем нужно такое писать? Для чего? Как после такого можно жить, тихо и смирно, воды не замутя? Зачем подсматривать за человеком в его норе — как он ест, с кем пьет, что переписывает? «Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать — куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено!»

Девушкин не только порицает Гоголя и его «злонамеренную книжку», но и хочет переделать, переписать ее. «Я бы, например, так сделал...» — таким стал его способ чтения. «А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалованья...»

Жизнь, однако, сыграла с Девушкиным злую шутку. Его мечты о славе были высмеяны, от обиды и отчаяния он запил, едва не угодил в пасквиль — и взбунтовался: «А ну ее, книжку... Что она, книжка? Она небылица в лицах! И роман вздор, и для вздора написан, так, праздным людям читать... И что там, если они вас заговорят Шекспиром каким-нибудь... так и Шекспир вздор, всё это сущий вздор, и всё для одного пасквиля сделано!» Мир литературы, к которому мечтал приобщиться Макар Алексеевич, оказался жестоким и вероломным — здесь

оскорбляли и унижали, травили и предавали, здесь никто никого не щадил, и минутная слава, если она все-таки приходила, не могла защитить от злобы и зависти. Здесь каждый был за себя — и каждый норовил втащить ближнего в пасквиль и анекдот.

Но путь был выбран — раз и навсегда. «Займемся литературой», — призывает Девушкин Вареньку, зная уже, что всё прежнее для него потеряно. В пользу литературы остается единственный аргумент: «Я буду писать, да и вы-то пишите... А то у меня и слог теперь формируется...»

Был ли первый роман Достоевского автобиографическим?

Молодой инженер-поручик из дворян, хорошего образования и блестящей литературной эрудиции, со способностями к сочинительству мало походил на 47-летнего выпивающего чиновника, не поднявшегося за 30 лет службы выше переписывания бумаг. У автора и героя «Бедных людей» разная бедность, разные знакомства, разная судьба. Но если считать, что сочинение — которое есть выдумка, фантазия — способно влиять на жизнь автора, то Достоевский писал крайне рискованную вещь. У него, как и у его героя, впереди была неизвестность, позади — лишь эпистолярные упражнения и заброшенные черновики. Меж тем мечтавший о литературе Девушкин терпел фиаско, и его слог «формировался» впустую. Достоевский сочинил образ пропащего человека, несчастного горемыки, которого постигла житейская катастрофа; рифмовал его судьбу с участью Вырина и Башмачкина. Но не боялся ли чего-то подобного вслед за героем и автор?

Как-то, в очередной раз «обчищая и обглаживая» роман, Достоевский обнаружил в «Русском инвалиде» жуткую статистику: «Лессинг умер в нужде, проклиная германскую нацию. Шиллер никогда не имел 1000 франков, чтобы съездить взглянуть на Париж и на море. Моцарт получал всего 1500 франков жалования, оставив после смерти 3000 франков долгу. Бетховен умер в крайней нужде. Друг Гегеля и Шеллинга Гёльдерлин принужден был быть школьным учителем. Терзаемый любовью и нуждой, сошел с ума 32-х лет и в этом состоянии дожил до 76 лет. Гёльти, чистый поэт любви, давал уроки по 6 франков в месяц, чтобы иметь кусок хлеба. Умер молодым — отравился. Бюргер знал непрерывную борьбу с нуждой. Шуберт провел 16 лет в заключении и кончил сумасшествием. Граббе, автор гениальных “Фауста и Дон Жуана”, в буквальном смысле умер с голода 32 лет. Ленц, друг Гёте, умер в крайней нужде у одного сапожника в Москве. Писатель Зонненберг раздробил себе череп. Клейст застрелился; Лесман повесился; Раймунд — поэт и актер — застрелился. Луиза Бришман кинулась

в Эльбу. Шарлотта Штиглиц заколола себя кинжалом. Ленау увезен в дом умалишенных»[50].

«Только что прочел о немецких поэтах, умерших с голоду, холоду и в сумасшедшем доме. Их было штук 20, и какие имена! Мне до сих пор как-то страшно, — признавался Ф. М. брату. — Нужно быть шарлатаном...»

Нужно быть шарлатаном, видимо, хотел сказать он, прервав себя на полуслове, чтобы при таких примерах питать надежды. Нужно быть авантюристом, чтобы жертвовать служебной карьерой ради химеры таланта, призрака славы. В решимости броситься в литературное море было что-то отчаянное и дерзкое — ведь родные с полным основанием могли считать его бессовестным лентяем, проматывающим скудное отцовское наследство. «Они... чуть со мной не поссорились за то, что я живу праздно, то есть не служу и не стараюсь приискать себе места... Я же просто стыдился сказать им, чем занимаюсь. Ну как, в самом деле, объявить прямо, что не хочу служить, а хочу сочинять романы» — так опишет свой случай Иван Петрович (мнимый автор «Бедных людей»). Он, как и Федор Михайлович (автор истинный), испытывает страдание, умоляя родных подождать, не клеймить его раньше времени титулом лентяя и праздношатайки.

Кажется, какая-то невидимая нить связывала автора и героя. Достоевский, прямо по Девушкину, на собственном опыте испытает, как сбывается мечта о славе и каким горьким бывает разочарование. Девушкин мечтал о книжке стихов со своим именем на титуле и о поклонницах с Невского — чего-то подобного, но еще нетерпеливее, горячее ожидал и Достоевский. Громкая слава должна была прийти внезапно — после нескольких лет самолюбивого уединения и тайной работы — как награда, как высший аргумент. Первое произведение решало всё — быть или не быть, то есть писать или не писать. В конце концов, он вложил в роман не только мечты о литературном поприще, но и личные воспоминания, дорогие сердцу пейзажи. Вареньке Доброселовой (тезке любимой сестры Варвары) «поручил» описать счастливое время детства детей Достоевских, вспомнить няню, маменьку, отца и разговоры с ним об учителях, науках, французском языке. «Я всеми силами старалась учиться и угождать батюшке. Я видела, что он последнее на меня отдавал, а сам бился Бог знает как. С каждым днем он становился все мрачнее, недовольнее, сердитее; характер его совсем испортился: дела не удавались, долгов было пропасть. Матушка, бывало, и плакать боялась, слова сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку; сделалась больная такая; все худела, худела и стала дурно кашлять».

Память писателя-дебютанта была благодарной и справедливой — *мрачным* бедолага-отец *становился*, а не *был*. «Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до крайности: он стал недоверчив, желчен; часто был близок к отчаянию, начал пренебрегать своим здоровьем, простудился и вдруг заболел, страдал недолго и скончался так внезапно, так скоропостижно, что мы все несколько дней были вне себя от удара». Если простудный диагноз взять в скобки — смерть отца Ф. М., как она описана в «Бедных людях», правдива в каждом слове и имеет значение, по Девушкину, *картины, зеркала и документа*.

Однако за пределами этого документа бушует фантазия молодого автора, а не мстительное перо копииста, сводящего счеты со своей родней. Сводня Анна Федоровна, злая мучительница, сосватавшая Вареньку Доброселову помещику Быкову, ничего общего не имеет с тетушкой Куманиной, дом которой был воистину спасением для сирот Достоевских: четверо мальчиков получили на средства Куманиных высшее образование, трое девочек после пансионов были выданы замуж с богатым приданым за порядочных людей. Варя Достоевская и Варя Доброселова, семнадцатилетние невесты, и их солидные женихи не подобны друг другу. «Для Вари Достоевской ее замужество по сватовству с более чем вдвое старшим вдовцом не было жизненной драмой»[51], — утверждала В. С. Нечаева, но это мягко сказано: Варвара Михайловна любила и уважала своего мужа и никак не могла понять, почему брат Федор, никогда не видевший П. А. Карепина, заочно невзлюбил его. В 1847 году она писала другому брату, Андрею: «Ежели бы он видел и знал Петра Андреевича, то не утерпел бы и полюбил бы его всей душой, потому что этого человека не любить нельзя, ты знаешь, любимый брат, его душу и доброту и сам можешь оценить его»[52]. В начале 1846-го (как раз когда выйдет в свет первый роман Ф. М.) она справлялась у Михаила, не хочет ли Фединька «опять вступить в службу»[53] — положительное известие наверняка обрадовало бы обоих супругов Карепиных. В марте 1847-го Карепин, хорошо осведомленный об успехах Ф. М., советовал младшему шурину Андрею (тот жаловался, вероятно, что Федор не пишет): «Он, верно, поэтизирует... Не сетуй, а все-таки люби как брата и с своей стороны не давай повода быть недовольным. Если и увлекся он в область мечтательную, в вихрь ласкательств, авторских и артистических, — наступит, несомненно, время, что права крови заговорят, и он сам удивится: почему чуждается ближних...»[54]

Карепин — опрометчиво видеть в нем прототип Быкова — был прав: «вихрь ласкательств» действительно накрыл автора

«Бедных людей» с головой. Трудно сказать, как бы сложилась литературная судьба Достоевского в случае неуспеха романа или если бы первый успех был умеренно средним. Ведь он, автор незаконченных драматических этюдов, метил в вершины, равнялся на гениев. Он еще только доделывал «Бедных людей», но уже точно определил свое место в ряду художников: «Я хочу, чтобы каждое мое произведение было отчетливо хорошо... Рафаэль писал годы, отделывал, отлизывал, и выходило чудо, боги создавались под его рукой...»

Слава, которая обрушилась на Достоевского в летние и осенние месяцы 1845 года, еще до публикации романа в «Петербургском сборнике», была столь оглушительной, что превзошла самые смелые ожидания дебютанта. Хроника легендарного прорыва «пииты Девушкина» на просторы Петербурга началась мгновенно, в конце мая 1845 года, и уместилась в одни фантастические сутки.

Итак, Достоевский показывает Григоровичу «довольно объемистую тетрадь почтовой бумаги большого формата, с загнутыми полями и мелко исписанную». По версии Григоровича, Достоевский читает ему вслух весь роман, и слушатель «восхищен донельзя». По версии Достоевского, Григорович, не читая рукописи, предлагает показать ее поэту Н. А. Некрасову, с которым дружит: Некрасов, ровесник Достоевского, в свои 24 года успел издать сборник стихотворений, написать несколько водевилей и увидеть их на сцене Александринки, стать постоянным сотрудником нескольких столичных газет и журналов, сблизиться с кружком В. Г. Белинского и подготовить к изданию альманах о «низовом» Петербурге.

Тем же вечером рукопись попадает к Некрасову, жившему неподалеку: по версии Григоровича, рукопись относит он, выпросив ее у автора; по версии Достоевского, рукопись доставляет он сам, автор, конфузясь от мысли, что пришел со своим сочинением: «...видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки... Я... поскорей ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова».

Вечером Достоевский идет в гости «к одному из прежних товарищей», предположительно к Трутовскому, засиживается у него до глубокой ночи, возвращается домой в четыре утра, но спать не ложится, а садится у раскрытого окна, вглядываясь в светлое, как днем, небо. Через несколько минут выяснится: пока они с приятелем говорили о Гоголе и перечитывали «Мертвых душ», два других приятеля, Григорович и Некрасов, по очереди читали, тоже всю ночь, его, Достоевского! А дочитав до конца (семь печатных листов!) и увидав слезы на щеках друг у друга, решили, не откладывая на потом, немедленно

идти к автору: «Что ж такое что спит, мы разбудим его, *это* выше сна!»

Судьба свершалась.

Достоевский: «Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут...»

Григорович: «Дверь отворил Достоевский; увидев подле меня незнакомое лицо, он смутился, побледнел и долго не мог слова ответить на то, что говорил ему Некрасов». (Значит, Достоевский видел Некрасова впервые и рукопись «Бедных людей» отнес ему Григорович?)

Достоевский: «Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Так, по крайней мере, он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о "тогдашнем положении", разумеется, и о Гоголе, цитуя из "Ревизора" и из "Мертвых душ", но, главное, о Белинском».

Некрасов, восторженно тряся Достоевского за плечи обеими руками: «Я ему (Белинскому) сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, — да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!.. Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!» (Уйдет только Некрасов.)

Достоевский: «Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное — чувство было дорого, помню ясно: "У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах хорошо!" Вот что я думал, какой тут сон!»

Григорович: «После его [Некрасова] ухода я ждал, что Достоевский начнет бранить меня за неумеренное усердие и излишнюю горячность; но этого не случилось; он ограничился тем только, что заперся в своей комнате, и долго после того я слышал, лежа на своем диване, его шаги, говорившие мне о взволнованном состоянии его духа».

Утром Некрасов, как и обещал, отнес рукопись Белинскому, перед которым благоговел и который вот уже пять лет как жил в Петербурге, вел в «Отечественных записках» критический отдел, видя в критике и публицистике общественное служение. От литературы «неистовый Виссарион» требовал пол-

ноты изображения жизни без насилия над фантазией — «для правды» нужно только иметь гражданское чувство, быть сыном своего общества и своей эпохи.

Достоевский читал «Отечественные записки» с начала сороковых. После «Библиотеки для чтения», посвященной «словесности, наукам, художествам, промышленности, новостям и модам» (лет с четырнадцати Ф. М. поглощал номера журнала от корки до корки), издание «Нестора русской журналистики» А. А. Краевского, воевавшее на всех литературных фронтах, казалось боевым оружием. Поэтому на территории «Записок» в успех верилось мало. «Этой “партии Отечественных записок”, как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным и — “осмеет он моих ‘Бедных людей’!” — думалось мне иногда».

Но дебютанта ждал сюрприз.

«“Новый Гоголь явился!” — закричал Некрасов, входя к нему (Белинскому. — *Л. С.*) с “Бедными людьми”. — “У вас Гоголи-то как грибы растут”, — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему, вечером, то Белинский встретил его “просто в волнении”: “Приведите, приведите его скорее”». Истекали первые сутки славы — и уже третий взволнованный читатель из литературных собратьев проглатывал «Бедных людей» залпом. Тетрадь будто околдовала Белинского — он не выпускал ее из рук и угощал новостью всех, кто бывал у него в эти дни. «Вот от этой самой рукописи, которую вы видите, я не могу оторваться второй день, — твердил он П. В. Анненкову, зашедшему в гости. — Это роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объем его мысли — еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому»[55]. Вождь социально-критического направления Белинский вынес вердикт: «Это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит»[56].

А далее был визит автора к «ужасному» Белинскому. «Когда к нему привели Достоевского, он встретил его с нежностью, почти отеческой любовью и тотчас же высказался перед ним *весь*, передал ему вполне свой энтузиазм»[57]. Сын лекаря и внук священника, как и сам Достоевский, неистовый критик (старше дебютанта всего на десять лет) произносил с горящим взором пламенные речи — ведь перед ним стоял человек, проникший, сам того не сознавая, в тайну искусства. «Вот служение художника истине! *Вам правда открыта и возвещена как худож-*

нику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..»

Всю жизнь Достоевский помнил те высокие минуты и то свое упоение; помнил, как, выйдя от Белинского, стоял у его дома на углу Невского и набережной Фонтанки, смотрел на небо, на светлый день, на прохожих; помнил свой робкий восторг и свои мысленные клятвы — пребыть верным этим прекрасным людям, единственным во всей России. «У них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о к ним, с ними!» (Позже и по другому поводу Ф. М. едва ли не с обидой расскажет, как в первые дни знакомства Белинский, всем сердцем привязавшись к новичку, поспешно бросился обращать его в свою веру — в страстный социализм — и начал «прямо с атеизма».)

...Пристроив роман, Достоевский на все лето уехал к брату в Ревель, где начал писать «Двойника». Вернувшись к началу сентября в Петербург и вытерпев в дороге, занявшей более суток по морю, пронизывающий холод и жестокую пароходную качку, особенно остро почувствовал после семейного дома брата, как сурова, безотрадна и безлюдна его жизнь в столице. Но скоро настроение стало выправляться. Некрасов заплатил гонорар за «Бедных людей», все еще не напечатанных (и это тоже было пунктом волнений: «Такой невинный роман таскают, таскают, и я не знаю, чем они кончат. Ну как запретят?»). Приключения Голядкина продвигались, хотя «подлец никак не соглашался оканчивать карьеру». Но самое главное — молодой автор стал *своим* у Белинского; теперь о «Бедных людях» говорило пол-Петербурга. Белинский видел в романе «*доказательство перед публикою* и оправдание мнений своих»; понукал дописывать «Двойника», уговорился с Краевским о публикации его в «О. З.» и благосклонно смотрел на затевавшийся Некрасовым комический альманах «Зубоскал», с участием Достоевского и Григоровича, где приятели собирались «острить и смеяться над всем, не щадить никого...» и куда Ф. М. предполагал написать «Записки лакея о своем барине».

Он положительно входил в моду в этом *своем* кружке. Его сопоставляли с Гоголем, но при этом говорили: не второй Гоголь, а новый Гоголь! Белинский в увлечении ставил новый талант даже выше Гоголя: мол, Гоголь действует синтезом, а «новый Гоголь» анализом, идет в глубину и, разбирая по атомам, отыскивает целое и оттого более глубок. Но, кажется, слава не застала молодого писателя врасплох: он был к ней готов и другого не ожидал. Анненков, с которым Белинский делился первыми впечатлениями о дебютанте, заметил ошибку критика, полагавшего, что имеет дело с новичком, которому следует *на-*

бить руку, чтобы достичь легкости; на самом деле перед ним был «совсем уже сформировавшийся автор» со своими приемами письма, который выслушивал наставления критика «благосклонно и равнодушно»[58].

Но было и от чего закружиться голове, было в чем отчитаться перед братом Мишей. Ф. М. будто наверстывал упущенное, торопясь насладиться тем, что скоротечно по определению — собирал комплименты, смаковал знаки внимания и сближался с теми, кто превозносил его до небес. В угаре славы, то ли имитируя, то ли пародируя интонации гоголевского персонажа, так и сыпал: «Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Соллогуб обегал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: Кто этот Достоевский? Где мне *достать Достоевского*? Краевский, который никому в ус не дует и режет всех напропалую, отвечает ему, что “Достоевский не захочет Вам сделать чести осчастливить Вас своим посещением”. Оно и действительно так: аристократишка теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки. Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более. На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал) и с первого раза привязался ко мне такою привязанностию, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня».

Однако незабвенный Хлестаков насчет своей известности («Да меня уж везде знают»), как мы помним, все выдумывал. А сочинитель Достоевский говорил истинную правду — и про Белинского, и про В. А. Соллогуба, и про В. Ф. Одоевского. Ведь Соллогуб, популярный беллетрист и человек «большого света», действительно выпросил у Краевского адрес автора, чтобы выразить ему «в восторженных тонах то глубокое и вместе с тем удивленное впечатление, которое произвела его повесть, так мало походившая на все, что в то время писалось»[59]. Граф приехал прямо на квартиру, без приглашения, увидел бледного и болезненного на вид молодого человека, который сконфузился, смешался, предложил гостю единственное в комнате старенькое кресло, отвечал на вопросы скромно и уклончиво, приглашения же пообедать, почти что испугавшее его, не принял. «Я тотчас увидел, что это натура застенчивая, сдержанная и самолюбивая, но в высшей степени талантливая и

симпатичная»[60]. И князь Одоевский, читавший «Бедных людей» в корректуре, выпрошенной у Краевского, звал к себе, но Ф. М. отказал и князю, сославшись на занятость (извинения Одоевскому были переданы запиской Некрасова).

Собратья из кружка Белинского всячески оберегали новое дарование от назойливых антрепренеров, в пух и прах бранили дебютанта за беспорядочную жизнь, заботились о его общественном лице. А он писал в Ревель: «У меня бездна идей; и нельзя мне рассказать что-нибудь из них хоть Тургеневу, например, чтобы назавтра почти во всех углах Петербурга не знали, что Достоевский пишет то-то и то-то». И это тоже было чистой правдой. Учитывая ту сказочную удачу, которая свалилась на Достоевского в год его дебюта, он держался с близкими вполне скромно — родным в Москву почти ничего не писал, а брату сообщал: «Если бы я стал исчислять тебе все успехи мои, то бумаги не нашлось бы столько».

Упоение собственной славой было тем полнее, чем громче звучали медные трубы. И конечно, он не удержался от искушения — стал бывать «в большом свете», пошел и к Соллогубу, и к Одоевскому, и к другим именитым почитателям. Деньги, которые он теперь получал от издателей, несчетно тратились на «Минушек, Кларушек, Марианн» — в тот год они сильно похорошели, но стоили страшных денег. А в «большом свете» все заметили, что *новый Гоголь* не на шутку влюблен в Авдотью Панаеву, красавицу, светскую львицу, хозяйку литературного салона («Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя»). Из письма в письмо брату он писал: «Слава моя достигла апогея», много раз признавался: «Время провожу весело», «мне очень хорошо жить», а однажды, окончательно уверовав в свою звезду, даже воскликнул: «А у меня будущность преблистательная, брат!»

Анненков, один из свидетелей триумфа молодого Достоевского, отмечал, что слава не испортила писателя, а все расставила по местам. Успех романа, который вышел в середине января 1846 года, «сразу оплодотворил в нем те семена и зародыши высокого уважения к самому себе и высокого понятия о себе, какие жили в его душе... освободил его от сомнений и колебаний, которыми сопровождаются обыкновенно первые шаги авторов»[61]. Как-то сразу, едва за ним признали право называться писателем, Достоевский почувствовал себя профессионалом, с закоренелыми привычками работы и удивительно хладнокровным отношением к критике. Его совсем не пугала литературная брань, даже самая ожесточенная — та, которая вместе с хвалой встретила «Бедных людей». Пусть ругают, лишь бы печатали и читали, пусть спорят, лишь бы покупали

альманах с его романом. «Сунул же я им всем собачью кость! Пусть грызутся — мне славу дурачье строят». «Иллюстрация» Н. В. Кукольника ругала роман за растянутость, обилие утомительных и скучных мелочей, сравнивала с обедом, состоящим из одного сахарного горошка[62]. «Северная пчела», газета Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча, называла роман драмой, построенной из *ничего;* неудача «нового гения» связывалась с влиянием «пустых теорий»[63]. Сам Булгарин высказался еще определеннее: «Г-н Достоевский — человек не без дарования... Пусть он не слушает похвал *натуральной* партии и верит, что его хвалят только для того, чтоб унижать других. Захвалить — то же, что завалить дорогу к дальнейшим успехам»[64].

Однако неистовство газет и остервенение публики — «ругают $^1/_4$ читателей, но $^3/_4$ (да и то нет) хвалит отчаянно... Debats пошли ужаснейшие. Ругают, ругают, ругают, а все-таки читают» — занимали автора лишь в одной связи: «Все мы знаем, как встречали Пушкина... Так было и с Гоголем. Ругали, ругали его, ругали — ругали, а все-таки читали и теперь помирились с ним и стали хвалить». Упиваясь славой, он не переставал работать и теперь уже не прятался и не таился. «Двойник» только сочинялся, его появления еще только ждали, а Ф. М. уже писал нечто очень смешное для «Зубоскала» и за одну ночь настрочил «Роман в девяти письмах» в пол-листа, продал работу за 125 рублей серебром (жалованье за восемь месяцев службы в инженерах), читал ее на вечере у Тургенева среди двадцати гостей и произвел фурор.

О Голядкине в кружке Белинского знали и, пока повесть писалась, ожидали новый шедевр. «Голядкин в 10 раз выше "Бедных людей". Наши говорят, что после "Мертвых душ" на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное и чего-чего не говорят они. С какими надеждами они все смотрят на меня!» Белинский же, едва вышла февральская книжка «Записок» (1846) с «Двойником», опять приветствовал новое имя, находя во второй повести еще больше таланта и глубины мысли — никто из русских писателей так, как Достоевский, не начинал. «Честь и слава молодому поэту, муза которых любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: "Ведь это тоже люди, ваши братья"»[65].

В те месяцы хула была нипочем как раз потому, что были защитники среди *своих*, кто его как будто понимал и ценил. Ф. М. чрезвычайно дорожил этой *своей* литературной компанией. Он жил полной (порой и «беспорядочной») жизнью — зависел только от своего труда, имел право делать долги, ни перед кем не отчитываясь, сменил квартиру (две отлично мебли-

рованные комнаты от жильцов у Владимирской церкви на углу Кузнечного переулка). «В моей жизни каждый день столько нового, столько перемен, столько впечатлений, столько хорошего и для меня выгодного, столько и неприятного и невыгодного, что и самому раздумывать некогда... Идей бездна и пишу беспрерывно». Он впервые осваивал понятия: «наши», «в нашем кругу», «наш кружок пребольшой». Со «своими» он расцветал — дружеское участие рождало в нем ответные чувства. Он был готов любить всех членов кружка: писал для некрасовского «Зубоскала» пресмешные объявления, хлопотал по семейным делам Белинского, хотел ответить на расположение Тургенева самой пылкой любовью. «Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, — я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе».

Про себя Ф. М. прекрасно понимал, в чем неправа критика, поносившая за растянутость его сочинения, где, полагал он, «и слова лишнего нет». «Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей им не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может». Сочинитель, однако, недооценивал другое обстоятельство. «Рожу» свою в письмах Девушкина или в переживаниях Голядкина он, может, и не показывал, но за пределами сочинений, в общениях с собратьями по перу, его личность и характер обнажались столь беззащитно, что очень скоро стали мишенью печатных и изустных «рецензий».

Эффект чудесного явления Достоевского русской литературе середины сороковых годов не был мнимым или «пузырным», как сказал бы П. А. Карепин, но он не мог длиться долго.

Глава пятая

КУМИРЫ И «КУМИРЧИКИ»

Падение триумфатора. — Памфлетный бум. — Ложь о «кайме». — Последний гвоздь. — Итоги дебюта. — Изгнание из ада. — Трудности характера. — Братья Бекетовы. — Вечера у Майковых. — Доктор Яновский. — Роковое знакомство

История триумфального появления раннего Достоевского на литературном олимпе завершилась в духе Достоевского позднего — скандалом и падением триумфатора. Будто аукнулось из «Бедных людей»: «И они ходят, пасквилянты непри-

личные, да смотрят, что, дескать, всей ли ногой на камень ступаешь али носочком одним...» Из-за них, пасквилянтов, обиделся Макар Девушкин на всю литературу, будто напророчил...

«Виновник» возвышения «Бедных людей» Григорович полагал, что восторженные похвалы Белинского вредно отразились на характере Достоевского: «Возможно ли было такому человеку, даже при его уме, сохранить нормальное состояние духа, когда с первого шага на новом поприще такой авторитет, как Белинский, преклонился перед ним, громко провозглашая, что появилось новое светило в русской литературе?» Панаева вспоминала, что автор «Бедных людей», с ноября 1845-го посещавший ее салон, выглядел страшно нервным молодым человеком: «Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались»[66]. Понятно, что Ф. М. не мог рассчитывать на взаимность красавицы, в которую был тогда влюблен «не на шутку» (черты ее внешности унаследует Дуня Раскольникова). Любезная хозяйка старалась лишь, чтобы гость освоился в ее доме.

Он и освоился: застенчивость и конфузливость уступили место нервному задору, духу противоречия и желанию вступать в спор по любому поводу. *Панаева*: «По молодости и нервности, он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и самомнение о своем писательском таланте». Наверное, так оно и было — весной 1846-го Ф. М. сам писал брату о своем «ужасном пороке» — «неограниченном самолюбии и честолюбии», которые вместе с приступами жестокого недовольства собой «создавали ад». Его убивала мысль, что «Двойник», который мог бы быть великой вещью, испорчен торопливостью. «Мне Голядкин опротивел... Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется». «Свои» видели лишь высокомерие захваленного автора, а он был едва жив: от сильнейшего раздражения всей нервной системы «болезнь... произвела прилив крови и воспаление в сердце, которое едва удержано было пиявками и двумя кровопусканиями».

Даже Макар Девушкин на своем более чем скромном опыте познал, что собратья по цеху — народ жестокосердный. Вскоре Достоевский узна́ет: едва только вышел «Петербургский сборник», где вместе с «Бедными людьми» были напечатаны сочинения «своих» — Тургенева, Панаева, Некрасова, Белинского, — трое участников объединились, чтобы составить злое «Послание Белинского Достоевскому» — наспех

сделанные вирши, больно язвившие товарища по альманаху: «Витязь горестной фигуры / Достоевский, милый пыщ, / На носу литературы / Рдеешь ты, как новый прыщ...» Сначала вирши будут ходить в списках и копиях, а в 1855-м, когда Достоевский отбывал солдатчину в Семипалатинске и не мог ответить на удар, отрывки из «коллективного труда» Панаев опубликует в «Современнике».

Некрасов, в передаче Панаевой: «Достоевский просто с ума сошел... Кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах! До бешенства дошел». Восклицание было вполне риторическим — «свои» прекрасно знали, что Григорович, из любви к искусству, передавал всё всем: Достоевскому — то, что говорят о нем и его романе, кружку — как Ф. М. бранится на них, «завистников, бессердечных и ничтожных людей».

Панаева: «С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это мастер был Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался».

Достоевский, полагая, что «свои» просто завидуют успеху — Григорович уверял приятеля, будто в провинции «Петербургский сборник» называется не иначе как «Бедные люди», а остального читатели и знать не хотят, — стал предметом изощренных насмешек, для которых, увы, был более чем уязвим: не умел отвечать шуткой на шутку и постоянно на всех обижался. Заводилами стали Некрасов, Тургенев и Панаев. В ход шло всё — и невзрачная внешность «нового Гоголя», и его дерзкое равнение на великих, и раздражение нервов, и увлечение своей славой («Хоть ты юный литератор, / Но в восторг уж всех поверг: / Тебя знает император, / Уважает Лейхтенберг, / За тобой султан турецкий / Скоро вышлет визирей...»). Припомнили и скандал, случившийся в «свете», где ехидно вспоминали, как в салоне графа М. Ю. Вьельгорского, тестя Соллогуба, Достоевский упал в обморок, едва его подвели к белокурой красавице Сенявиной, пожелавшей познакомиться с автором нашумевшего романа («...Но когда на раут светский, / Перед сонмище князей, / Ставши мифом и вопросом, / Пал чухонскою звездой / И моргнул курносым носом / Перед русой красотой, / Как трагически недвижно / Ты смотрел на сей пред-

мет / И чуть-чуть скоропостижно / Не погиб во цвете лет»*. Но ведь такие же обмороки приключались с ним и раньше — Григорович рассказывал, как на улице при виде похоронной процессии приятелю стало дурно и последовал припадок настолько сильный (быть может, предвестие падучей, которую Достоевский в те поры называл «кондрашкой с ветерком»), что его с трудом привели в чувство, а угнетенное состояние длилось еще несколько дней...

Стараниями «своих» был пущен слух, повторяемый многие годы разными авторами (Анненковым, Григоровичем, Панаевым, Тургеневым) и на разные лады, будто Достоевский, отдавая некое свое сочинение то ли в альманах Некрасова, то ли в сборник Белинского, то ли в журнал Краевского, потребовал не смешивать его вещь с трудами прочих авторов, а поместить в конце или в начале книги и отметить особой каймой. «Послание» заканчивалось строфой, в которой смущенный критик, тоже выставленный не в лучшем виде, склонялся перед величием гения и обещал: «Буду нянчиться с тобою, / Поступлю я как подлец, / Обведу тебя каймою, / Помещу тебя в конец». Ложь продержится столь долго и будет упорствовать столь рьяно[67], что Достоевский вынужден будет выступить с опровержением — истории с каймой «не было и не могло быть» — перед самой своей кончиной, которая помешает дать разъяснение в «Дневнике писателя» по поводу «ничтожной личной нападки».

Очередь была за Белинским: «наши» ждали сигнала от критика, сотворившего себе кумира, которого они решили разжаловать до «кумирчика». Следуя убеждению говорить только правду и зная, что кружок внимает каждому его слову, Виссарион Григорьевич постепенно снижал градус похвал и превращал плюсы в минусы. «Свои» хорошо улавливали разницу: «Двойник» сначала вроде и нравился Белинскому, он «местами» даже восхищался, утверждая, что только Ф. М. мог доискаться до таких изумительных психологических тонкостей, и как будто защищал героя с его метаниями от реального к фан-

---

* С. Д. Яновский в письме 1882 года А. Г. Достоевской, касаясь вопроса об истинных и мнимых литературных салонах прошлого, сообщал: «От Вас не могу скрыть того, что я знаю положительно уже скверное об этих [аристократических] салонах. Федор Михайлович, например, описывая мне один раз посещение салона гр. Вьельгорского, на котором он присутствовал вместе с Белинским, прямо сказал — нас пригласили туда для выставки, напоказ. Случайная сцена с Белинским, который уронил нечаянно рюмку с подноса, была шокирована самым оскорбительным образом. Федор Михайлович мне говорил, что он собственными ушами слышал, как дочь Вьельгорского, графиня Соллогуб произнесла следующие слова: “Они не только неловки и дики, но и не умны!”» (Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2 / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1925. С. 387).

тастическому. Но вот тон... Анненков, например, почувствовал, что критик имеет некую заднюю мысль, которую пока не считает нужным высказывать. В журнальном отзыве марта 1846-го задняя мысль вышла наружу: Голядкин трактовался как обидчивый, помешанный на *амбиции* субъект. «Ему всё кажется, что его обижают и словами, и взглядами, и жестами, что против него всюду составляются интриги, ведутся подкопы... Обидчивость и подозрительность его характера есть черный демон его жизни, которому суждено сделать ад из его существования... Итак, герой романа — сумасшедший!»[68]

В одобрительной рецензии «свои» прочитывали намек: в герое, как в мутном зеркале, узнавался автор. *Белинский,* в передаче Панаевой: «Что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского есть талант, а если он, вместо того чтобы разработать его, вообразит уже себя гением, то ведь не пойдет вперед. Ему непременно надо лечиться, все это происходит от страшного раздражения нервов. Должно быть, потрепала его, бедного, жизнь! Тяжелое настало время, надо иметь воловьи нервы, чтобы они выдержали все условия нынешней жизни. Если не будет просвета, так чего доброго, все поголовно будут психически больны!» Но у Достоевского не было воловьих нервов...

Панаева: «У Достоевского явилась страшная подозрительность... Почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду. Он приходил уже к нам с накипевшей злобой, придирался к словам, чтобы излить на завистников всю желчь, душившую его. Вместо того чтобы снисходительнее смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками».

Белинский (в рассказе Панаевой о поведении Достоевского и Тургенева): «Что это с Достоевским! говорит какую-то бессмыслицу, да еще с таким азартом... Ну, да вы хороши, сцепились с больным человеком, подзадориваете его, точно не видите, что он в раздражении, сам не понимает, что говорит». А Достоевский, утрачивая ощущение минуты, громко возмущался, что даже такой человек, как Белинский, по три часа просиживает за преферансом, будто какой-то тупоумный чиновник (обычными партнерами Белинского по карточной игре были те же Панаев с Некрасовым).

Сигналы от Белинского звучали все громче. «Достоевского переписка двух шулеров, к удивлению моему, мне просто не понравилась — насилу дочел. Это общее впечатление»[69], — писал он в феврале 1847-го Тургеневу о «Романе в девяти письмах», будто забыв, что в ноябре 1845-го авторское чтение «Романа» на вечере у Тургенева вызвало общее восхищение. «Не-

приятное изумление» повестью «Господин Прохарчин» Белинский выразил печатно, на страницах стартовавшего журнала «Современник» — дескать, яркие искры таланта автора сверкают в такой густой темноте, что их свет не виден вообще. В отзыве содержался крайне обидный для самолюбия автора пассаж: «Мы не вправе требовать от произведений г. Достоевского совершенства произведений Гоголя, но тем не менее думаем, что большому таланту весьма полезно пользоваться примером еще большего»[70].

Развенчание кумира шло полным ходом, и «наши», потеряв терпение, перестали с ним церемониться.

Григорович: «На него посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, в зависти к Гоголю, которому он должен бы был в ножки кланяться, потому что в самых хваленых "Бедных людях" чувствовалось на каждой странице влияние Гоголя... При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех их в грязь затопчет». Григорович уверял, что спор вышел о Гоголе и «выходка» произошла по вине Достоевского, ибо характер Тургенева был мягок и уступчив...

Панаева: «Тургенев стал сочинять юмористические стихи на Девушкина, героя "Бедных людей", будто бы тот написал благодарственные стихи Достоевскому за то, что он оповестил всю Россию об его существовании».

Литература и жизнь будто поменялись местами: Тургенев выступал в роли пасквилянта Ратазяева, а Макар Девушкин — в роли незадачливого сочинителя Достоевского, которому собратья по перу дали жестокий урок — сначала провозгласили гением, а после обозвали прыщом на носу литературы. Вскоре при встрече с ними «кумирчик» (как докладывал кружковцам Панаев) перебегал на другую сторону улицы: трудно жить непризнанному гению, но совсем невыносимо — низложенному кумиру, сдувшемуся пузырю. Неужели прав был Булгарин, писавший о политике «натуральной» партии, — хвалят для того, чтобы унижать других, *захвалят*, а потом и *завалят*? Впрочем, сам Булгарин на дух не принимал ни «натуральной партии», ни всех сочинений Достоевского оптом.

Последний гвоздь в гроб «нового Гоголя» по всем правилам партийной этики должен был вбить вождь направления. Он не заставит себя ждать и нанесет сокрушительный удар — печатный и эпистолярный — по вчерашнему любимцу. Поводом окажется «Хозяйка», которую Достоевский писал увлеченно («Пером моим водит родник вдохновения, выбивающийся пря-

мо из души»), закончил в октябре 1847-го и сразу же напечатал у Краевского. «Что это такое, — восклицал Белинский, — злоупотребление или бедность таланта, который хочет подняться не по силам и потому боится идти обыкновенным путем и ищет себе какой-то небывалой дороги?.. Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова или выражения: всё изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво»[71].

В переводе с партийного языка на общепонятный это значило: автор повести изменил направлению, отклонился от линии социального обличения и забрел в дебри причудливых фантазий, навеянных Гофманом и Марлинским. Но это был еще не конец: в письме В. П. Боткину (ноябрь 1847-го) критик назвал повесть «мерзостью»[72], чуть позже в письме Анненкову — «страшной ерундой»[73]. Последний критический гвоздь выглядел так: «Каждое его [Достоевского] новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о “Бедных людях”; я трепещу при мысли перечитывать их. Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением»[74]. Приговор Белинского, присудивший кумира к развенчанию, был приведен в исполнение немедленно; тут не мог помочь даже Гоголь с его сочувственным отзывом о дебютанте: «В авторе “Бедных людей” виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно также, что он еще молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе: все бы оказалось гораздо живей и сильней, если бы было более сжато» (Н. В. Гоголь — А. М. Вьельгорской, Генуя, 14 мая 1846 года)[75].

Роман «нового Гоголя» с «натуральной школой» был прерван. Впору было задуматься об итогах дебюта и скорректировать свое поведение. Конечно, бывший кумир не оправдал ожиданий «наших». Плохо, однако, было то, что он привык смотреть на свои сочинения их глазами. Нужно было эмансипироваться от литературных авторитетов — только в этом случае оставалась надежда остаться собой. Достоевский забросил обещанную «современникам» (то есть Некрасову, с которым в пух рассорился) повесть «Сбритые бакенбарды», считая, что однообразие в его положении — верная гибель. Он извлек урок и сформулировал мудрое правило для начинающего таланта — дружба с «проприетерами изданий» дело убыточное, ибо «необходимым следствием исходит кумовство и потом разные сальности». Еще страшнее была финансовая зависимость, превращавшая писателя в раба: «Когда-то я выйду из долгов. Беда работать поденщиком! Погубишь всё, и талант, и юность, и надежду, омерзеет работа и сделаешься наконец пачкуном, а не писателем».

Правила были прекрасные, но стремление работать в чистоте сердца для святого искусства наталкивалось на ранее выданные обязательства и на собственные прожекты, которые и на этот раз лопались один за другим: не состоялось отдельное издание «Двойника», провалилось издание избранных сочинений, то есть «Бедных людей» вместе с «Двойником» (по расчетам автора, оно могло дать немалую прибыль); не удалось вырваться за границу, в Италию и Францию, чтобы там, на свободе, писать «для себя». После звездного начала положение Ф. М. в литературе вновь оказывалось двусмысленным: как у всякого поденщика, работы было по горло; долги опутывали по рукам и ногам; герои — жалкие чиновники, сумасшедшие типы, нищие шуты — набили оскомину; тревожная, лихорадочная «Хозяйка» была устно и печатно оплевана «своими».

На каких дорогах он мог найти себя? «Вот уже третий год литературного моего поприща я как в чаду. Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходит за невременьем. Хочется установиться. Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад. Тут бедность, срочная работа, — кабы покой!!» Он ощущал, что «современники» решили похоронить его и что он сам затеял тяжбу со всей современной литературой. Пытался успокоиться, находя преимущества в положении низвергнутой знаменитости — «разложение моей славы в журналах доставляет мне более выгоды, чем невыгоды. Тем скорее схватятся за новое мои поклонники, которые, кажется, очень многочисленны и отстоят меня».

Но поклонники помалкивали, а ругательных рецензий в печати появлялось великое множество. Наслушавшись гимнов в 1845-м, спустя год, и два, и три он наталкивался только на брань: бесцветно, однообразно, скучно, растянуто... многословно, тяжело, плохо, слабо... грех против художественной совести... скучный кошмар после жирного ужина... расплывчато, слезливо, сентиментально... мелко, микроскопично, ничтожно. Самым обидным было резюме: «Где талант, который видели мы в первой повести? Или его стало только на одну? Недолго польстил надеждою г. Достоевский; скоро обнаружил себя»[76]; «Искренне сожалеем о молодом человеке, так ложно понимающем искусство и, очевидно, сбитом с толку литературною “котериею”, из видов своих выдающею его за гения»[77]; «Беда таланту, если он свою художественную совесть привяжет к срочным листам журнала и типографские станки будут вытягивать из него повести»[78].

Это были не просто нападки. Автора уничтожали, растирали в пыль. Само его появление в литературе трактовалось как тяжкое заблуждение — «шел в комнату, попал в другую».

У иных писателей одно яркое произведение на инерции успеха способно вытащить два посредственных. А у него всякая следующая вещь выходила — если верить рецензентам — настолько хуже предыдущей, что была способна погубить не только первое, несомненное сочинение, но и литературную репутацию как каковую. С самого начала ему не хотелось быть литератором средней руки — из тех, кого охотно печатают журналы и кто в перечнях авторов упоминается на пятом или восьмом месте. Но разве хотеть быть первым — это мания величия?

Необходимо было задуматься и над своим характером, который все вокруг находили несносным: неужели *все* поголовно были неправы? Он винил себя в том, что летом, находясь в Ревеле у брата, был «угловат и тяжел», и со стыдом вспоминал упрек Михаила: обхождение Федора со старшим братом «исключает взаимное равенство». И это говорил самый близкий человек, бесценный друг! Неужели правда, что он, Федор Достоевский, заносчив и высокомерен? Даже с братом? И тогда правы гонители-кружковцы? Он писал Михаилу: «У меня такой скверный, отталкивающий характер... Иногда, когда сердце мое плавает в любви, не добьешься от меня ласкового слова. Мои нервы не повинуются мне в эти минуты. Я смешон и гадок, и вечно посему страдаю от несправедливого заключения обо мне. Говорят, что я черств и без сердца... Я тогда только могу показать, что я человек с сердцем и любовью, когда самая внешность обстоятельства, случая вырвет меня насильно из обыденной пошлости. До того времени я гадок».

Трудно сказать, как мешали таланту изъяны характера и как помогало ему самолюбие. Но очевидно: оскорбленное самолюбие Достоевского, помноженное на нервность, требовало компенсации, жаждало вернуть общественное признание, а честолюбие искало новых подтверждений своей значимости. Почти всегда подобный поиск опасен, особенно если связан с интригами и кознями. Но звание писателя первого ряда, отнятое критикой 1846—1848 годов, Достоевский попытался вернуть иным образом.

От комической переписки двух шулеров («Роман в девяти письмах») к очерку о нищем чиновнике-скопидоме («Господин Прохарчин»); далее, в корне меняя тематику и творческую манеру, — к фантастической «Хозяйке», а от нее снова к рассказу о добровольном шуте («Ползунков»); от сентиментально-психологической темы в «Слабом сердце» к чисто водевильным приемам в рассказе об обманутом муже («Чужая жена и муж под кроватью»), а от водевиля — к очерку-фельетону («Честный вор») и просто фельетону («Елка и свадьба»); и

опять от стилистики фельетона к камерной лирике «Белых ночей» — таков был общий контур поисков.

Всё попробовать, найти свой путь в литературе и утвердиться на нем — это было не самое плохое применение «неограниченного честолюбия». Во всяком случае, в тот момент, когда Ф. М. приступил к «Неточке Незвановой» (конец 1846-го), и все то время (больше двух лет), что он работал над ней, разница между нервным, заносчивым самолюбием и терпеливым, трудолюбивым честолюбием была ему очень хорошо понятна.

Впервые пагубные крайности своего «ужасного порока» он передавал персонажам, ставя их перед выбором: упорный труд или тупики гордыни. Сомнения артиста в своем даре и драма утраты таланта разыгрывались в «Неточке» при сердечном сочувствии автора, исходя из его собственного печального опыта. И коль скоро вблизи не было никого, кто в тяжелое для автора время сказал бы необходимые, как воздух, слова об участи всякого таланта, эти слова он сочинил и сказал сам.

Скрипач Б., добившийся известности благодаря неустанному труду, наставлял на путь служения подлинному искусству приятеля, талантливого дилетанта, страдающего от своей гордыни: «Что тебя мучит? бедность, нищета. Но бедность и нищета образуют художника. Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь, никто тебя и знать не хочет; так свет идет. Подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие, ему нужно, чтоб его понимали, а ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не ободрят, не утешат тебя, твои будущие товарищи; они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но с злою радостью будут поднимать каждую ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом хладнокровия и презрения к тебе будут как праздник праздновать каждую твою ошибку (будто кто-нибудь был без ошибок!). Ты же заносчив, ты часто некстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда — ты будешь один, а их много; они тебя истерзают булавками. Даже я начинаю это испытывать. Ободрись же теперь!»

Конечно, это была авторская исповедь. Или проповедь, обращенная к себе. В ней билось глубокое чувство горечи — итог трех лет работы. Сознавал ли Достоевский, что монолог, сочиненный для второстепенного персонажа новой повести, сулил

автору опасные повороты судьбы? Таланту нужно сочувствие, а он был с улюлюканьем изгнан из первого своего литературного круга. Ему необходима уверенность в себе, а он стал мишенью для критики, объявившей на него охоту. Он только начал свое поприще, а уже был душевно надорван, болен, измучен. В словах скрипача из новой повести, куда Ф. М. вложил столько личных, дорогих впечатлений, звучала и его нынешняя тревога: «И тогда беда — ты будешь один...»

Он не хотел быть один, без дружеского общения. От литературных генералов и «проприетеров изданий» его потянуло к людям прямым, «с превосходным сердцем, с благородством, с характером». «Я возрождаюсь, не только нравственно, но и физически. Никогда не было во мне столько обилия и ясности, столько ровности в характере, столько здоровья физического. Я много обязан в этом деле моим добрым друзьям Бекетовым... Они меня вылечили своим обществом», — писал он брату в те дни, когда напрочь разругался с Некрасовым, заклеймил «современников» как подлецов и завистников, а Белинского обозвал слабым человеком, у кого семь пятниц на неделе. Ему было так хорошо с братьями Бекетовыми (со старшим, Алексеем, Ф. М. учился в Инженерном училище), что он предложил им поселиться вместе. Друзья сняли квартиру на Большом проспекте Васильевского острова, устроили «ассоциацию» с общим хозяйством и обедами в складчину; каждый вносил в общую кассу свои 100 рублей ассигнациями в месяц. Здесь у Ф. М. была отдельная комната, чтобы «работать по целым дням».

Это было пространство, свободное от кривых взглядов и ядовитых насмешек; из прежнего кружка сюда ходил только Григорович, знавший Алексея Бекетова по училищу. Собирались вечерами, набивалось человек до пятнадцати: трое Бекетовых — помимо Алексея, еще Андрей, впоследствии известный ботаник, дед А. А. Блока, и Николай, будущий химик и академик, — братья Майковы, Аполлон и Валериан Николаевичи, доктор Яновский, студент-восточник А. В. Ханыков, поэт А. Н. Плещеев. «Кто бы ни говорил, о чем бы ни шла речь... во всем чувствовался прилив свежих сил, живой нерв молодости, проявление светлой мысли, внезапно рожденной в увлечении разгоряченного мозга; везде слышался негодующий, благородный порыв против угнетения и несправедливости. Споры бывали жаркие, но никогда не доходило до ссоры благодаря старшему Бекетову, умевшему тотчас же примирить, внести мир и согласие».

Как разительно отличается описание кружка Бекетовых в исполнении Григоровича от тех страниц его мемуаров, где го-

ворится о кружке Белинского времен травли Достоевского! Не дразнили нервного, не унижали больного, не нуждались сочинять пасквили. Меж тем Достоевский был здесь весь как на ладони, с тем же самолюбием и честолюбием, с нервными срывами и обидами. Но в новой компании не мерились славой, не завидовали успеху, не злословили. «Веселость била ключом, счастье было в сердце каждого. Оно высказывалось песнями, остротами, забавными рассказами, неумолкаемым хохотом» — так описывал Григорович ликование друзей во время пешеходной экскурсии в Парголово в сентябре 1846-го; они провели незабываемую ночь на озере. Ф. М. радовался вместе со всеми и отдыхал душой, не боясь подвохов и не страдая от своего характера.

В обществе братьев Бекетовых, как и в кружке братьев Майковых, где Достоевский стал бывать с осени 1846 года и где к нему относились со всей теплотой, он успокаивался и возрождался. Из кружка Белинского он был изгнан как отступник: маститые литераторы не потерпели измены направлению (как ее вообще не терпит партийная литература): увлечение «нового Гоголя» изломами психики и фантастическим колоритом наносило ущерб «натуральной школе» с ее культом социального обличения. А в обществе Бекетовых и Майковых Достоевский и сам был маститый, и молодежь, жаждавшая развития, ценила его вкус и авторитет (Белинскому даже пришлось одернуть молодого критика Валериана Майкова за неподобающее перечисление: «Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский»). Дружба с ними стала опорой и помогла пережить тяжелую травму разрыва с кружком Белинского и прежде всего с самим Белинским, встречи с которым прекратились весной 1847 года.

Но той же весной «ассоциация» неожиданно распалась — Бекетовы перевелись в Казанский университет и покинули Петербург. К счастью, Достоевского всегда ждали у Майковых. По воскресным вечерам в изящно убранной, походившей на картинную галерею квартире академика Н. А. Майкова, проводившего дни за мольбертом (его прекрасное старческое лицо с падающими вдоль щек длинными поседевшими волосами, перевязанными на лбу ниткой, и его картины, напоминавшие колоритом старых венецианских мастеров, с любовью описаны Григоровичем), собирались люди искусства. Благородный ум, образованность и артистизм хозяйки дома, поэтессы и переводчицы Е. П. Майковой, вызывали преклонение — десятилетие спустя ссыльный Достоевский попросит Аполлона Майкова передать родителям, что их знакомство и их ласку вспоминает с наслаждением.

Салон Майковых не принадлежал к числу великосветских, не привлекал к себе больших знаменитостей. Здесь, на углу Большой Морской, находили приют начинающие авторы, талантливые любители, преданные поклонники прекрасного; многие являлись со своими рукописями. Вечера заканчивались ужином и доброй беседой. Доктор Яновский, один из посетителей салона, оставил восторженные воспоминания о щедрой талантами семье, где хозяева, обсуждая с гостями новинки литературы, направляли «мысль человека на трезвый и здоровый путь, очищая вкус и влияя на нравственность»[79]. Здесь можно было встретить С. С. Дудышкина, М. А. Языкова, братьев Дружининых; с осени 1847-го, выйдя в отставку и поселившись в Петербурге, здесь стал бывать вместе с братом и М. М. Достоевский. Сорок лет спустя Плещеев вспомнит о той дивной поре, когда начинающим поэтом он встретил в семье Майковых столько теплого участия и одобрения. «Какое это было блестящее время в литературе! Обычными посетителями и друзьями вашего дома были И. А. Гончаров и Ф. М. Достоевский...»[80]

Гончаров, недавно напечатавший в «Современнике» «Обыкновенную историю», был принят в семье Майковых как старинный друг — некогда он учил русской словесности и латыни двух старших сыновей. Успех романа и похвалы Белинского (считалось, что Гончаров занял в сердце критика место Достоевского) вскружили голову и ему, но Иван Александрович был на девять лет старше Достоевского и, как писал Григорович, «успел обжиться между людьми, научился управлять своими чувствами настолько, чтобы скрывать болезненное самолюбие... В течение многих лет, как мы его знали, никто из нас никогда не слыхал от него похвалы чужому произведению; когда в его присутствии хвалили что-нибудь явившееся в литературе, он обыкновенно отмалчивался».

А Ф. М. не отмалчивался. Столкнувшись однажды у Майковых с кем-то из «господ-современников» столь конфликтно, что «вышла суматоха и с обеих сторон полетели гиперболы», он обратился в бегство, не простившись с хозяйкой, и на следующий день, 14 мая 1848 года, писал ей: «Я боюсь, чтоб Вы не подумали, что я был крут и (соглашаюсь) — груб с каким-нибудь странным намерением. Но я бежал по инстинкту, предчувствуя слабость натуры моей, которая не может не прорваться в крайних случаях... *гиперболически*». Судя по письму, которое Достоевский пошлет брату из Петропавловской крепости через полтора года, Майковы не сердились на его горячность: «Скажи Майковым мой прощальный и последний привет. Скажи, что я их всех благодарю за постоянное участие к

моей судьбе. Скажи несколько слов, как можно более теплых, что тебе самому сердце скажет, за меня, Евгении Петровне. Я ей желаю много счастия и с благодарным уважением всегда буду помнить о ней».

Навсегда запомнил Ф. М. и Валериана Майкова, начавшего свое поприще в «Отечественных записках», когда оттуда ушел Белинский. Валериан, знавший Достоевского по кружку братьев Бекетовых, пригласил его в салон отца и опубликовал свой разбор «Двойника», оставшись в одиночестве со своей высокой оценкой повести: в глазах рецензента Достоевский — поэт «по преимуществу психологический», умеющий так же глубоко постигать человеческую душу, как и тот, кто способен проникать в химический состав материи. Молодой критик, идущий против течения, способный на сочувствие и понимание гонимого писателя, — какой прекрасной могла бы быть их дружба! Но летом 1847-го во время купания в пруду 23-летний Валериан умер от «мозгового удара»; это потрясло родителей и друзей, близкие знакомые опасались за жизнь матери. Ф. М. вспоминал в начале 1860-х: «Валериан Майков принялся за дело горячо, блистательно, с светлым убеждением, с первым жаром юности. Но он не успел высказаться. Он умер в первый же год своей деятельности. Много обещала эта прекрасная личность, и, может быть, многого мы с нею лишились».

...По совету Владимира Майкова, двадцатилетнего студента Петербургского университета, весной 1846 года Достоевский обратился к доктору С. Д. Яновскому, выпускнику Медико-хирургической академии, с жалобами на припадки головной дурноты и нервные недомогания. Они быстро сблизились, часто, чуть не ежедневно встречались — сначала как врач и пациент, затем как добрые приятели, за чаем и задушевными беседами. Ф. М. производил на доктора сильнейшее впечатление — обаянием, глубоким умом, добротой и гуманностью. Яновский, старше четырьмя годами, аттестовал себя страстным читателем, личностью крепких патриотических убеждений и искренней веры. Достоевского он трактовал как «нравственного химика-аналитика», патриота и единоверца, нуждающегося в человеке, «который понимал бы его вечно роющийся в анализе ум и, сочувствуя его неутомимой работе, ценил бы ее по достоинству». Яновский полагал, что сам он как собеседник отвечает запросам «писателя с большим самолюбием», а главное — может помочь ему как врач.

Лечение оказалось продолжительным; бессонница, галлюцинации, дурноты головы повторялись; однако от «золотушно-скорбутного худосочия» (преддверия чахотки) удалось избавиться благодаря точному диагнозу, щадящей диете и

спасительному отвару из корня сарсапариллы. Врач умел успокоить больного, приучал думать о себе как о здоровом человеке, и Ф. М. на глазах преображался, страх «кондрашки» проходил; Степан Дмитриевич же был счастлив беседовать о предметах, к болезни не относящихся, — литературе, искусстве, религии. К тому же автора «Двойника» в тот момент интересовали специальные работы о болезнях мозга, психики и нервной системы (много позже ведущие психиатры Европы и России обратят внимание, с какой точностью Достоевский изображает людей с расстроенной психикой).

Яновский наблюдал жизнь и быт своего пациента с близкого расстояния, был свидетелем забавных сторон и смешных случаев его поведения; видел недержание денег в кошельке приятеля и вечную нужду в них; замечал его мнительность, щепетильность, брезгливость ко лжи; разделял с ним любовь к итальянской опере, танцевальным вечерам у Майковых, товарищеским обедам в *Hôtel de France* и обеденным спичам; бывал тронут гуманным обращением Ф. М. с начинающими литераторами; запомнил его неутолимое восхищение Гоголем — великим учителем нации: ведь в каждом русском есть «и патока Манилова, и дерзость Ноздрева, и аляповатая неловкость Собакевича, и всякие глупости и пороки». А Достоевский всю жизнь был признателен доктору за его заботливое врачевание. «Вы один из “незабвенных”, один из тех, которые резко отозвались в моей жизни... Ведь Вы мой благодетель. Вы любили меня и возились со мною, с больным *душевною болезнию* (ведь я теперь сознаю это), до моей поездки в Сибирь, где я вылечился... На всю жизнь Вам искренне преданный...» — напишет он Яновскому в феврале 1872 года.

Может быть, в своем позднем мемуаре (Достоевского уже несколько лет не было в живых) Яновский слегка приукрасил портрет друга, изобразив его примерным молодым человеком, не гонявшимся за юбками, не любившим вина, не признававшим карт. Но на описание наружности писателя, каким он был в 1846—1848 годах, биограф может вполне положиться; сильный медицинский акцент здесь совсем не помеха. «Роста он был ниже среднего, кости имел широкие и в особенности широк был в плечах и в груди; голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитой с особенно выдававшимися лобными возвышениями, глаза небольшие светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки; волосы у него были более чем светлые, почти беловатые и чрезвычайно тонкие или мягкие, кисти рук и ступни ног примечательно большие. Одет он был чисто и, можно сказать,

изящно; на нем был прекрасно сшитый из превосходного сукна черный сюртук, черный каземировый жилет, безукоризненной белизны голландское белье и циммермановский цилиндр; если что и нарушало гармонию всего туалета, это не совсем красивая обувь и то, что он держал себя как-то мешковато, как держат себя не воспитанники военно-учебных заведений, а окончившие курс семинаристы. Легкие при самом тщательном осмотре и выслушивании оказались совершенно здоровыми, но удары сердца были не совершенно равномерны, а пульс был не ровный и замечательно сжатый, как бывает у женщин и у людей нервного темперамента».

Все же доктор Яновский, преданный памяти друга, самокритично признавался, что их бесед за чаепитиями после врачебных осмотров пациенту не хватало и что по своим интересам и умственной деятельности он испытывал недостаток знакомств за пределами литературной сферы. И в самом деле: жестокая обида на «современников», вымещавших на нем свою ошибку, заставляла искать иного общества. Смерть Белинского в мае 1848 года, которую Достоевский, по свидетельству Яновского, воспринял как «великое горе» (той же ночью с ним случился сильный припадок «головной дурноты»), казалось, навсегда исключила возможность выиграть спор, затеянный со всей тогдашней литературой. Но слава, которую составили автору первого социального романа его бывшие покровители, все-таки успела сыграть свою роковую роль.

...Еще весной 1846 года, когда он был на вершине первого успеха, с ним завел знакомство — буквально на улице, не будучи представленным — странный и эксцентричный человек, хозяин «пятниц» в собственном доме М. В. Буташевич-Петрашевский. «Знакомство наше было случайное. Я был, если не ошибаюсь, вместе с Плещеевым, в кондитерской у Полицейского моста и читал газеты. Я видел, что Плещеев остановился говорить с Петрашевским, но я не разглядел лица Петрашевского. Минут через пять я вышел. Не доходя до Большой Морской, Петрашевский поравнялся со мною и вдруг спросил меня: "Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?" Так как я не разглядел Петрашевского в кондитерской и он там не сказал со мною ни слова, то мне показалось, что Петрашевский совсем посторонний человек, попавшийся мне на улице, а не знакомый Плещеева. Подоспевший Плещеев разъяснил мое недоумение; мы сказали два слова и, дошедши до Малой Морской, расстались. Таким образом, Петрашевский с первого раза завлек мое любопытство».

Но случайным знакомство только казалось. Общению со странным и эксцентричным человеком Достоевский был обре-

чен, хотя не скоро стал постоянным посетителем «пятниц» — уедут братья Бекетовы, уйдет из жизни Валериан Майков, своего кружка уже не будет. «Любовь Федора Михайловича к обществу была до того сильна, — свидетельствовал Яновский, — что он даже во время болезни или спешной какой-нибудь работы не мог оставаться один и приглашал к себе кого-нибудь из близких». Ему давно хотелось заглянуть за горизонты литературы — ведь помимо Пушкина, Гоголя, Бальзака и Шиллера он читал Тьера, Луи Блана, Огюста Конта, Сен-Симона и Фурье. Достоевский придет к Петрашевскому только год спустя, в те самые дни, когда ему станет понятно, как стремительно падает его журнальная слава и как быстро набирает обороты его тяжба «со всей литературой и критикой». Объясняя Яновскому, зачем он ходит на «пятницы», Ф. М. говорил: «Я у Петрашевского встречаю и хороших людей, которые у других знакомых не бывают; а много народу у него собирается потому, что у него тепло и свободно... наконец, у него можно полиберальничать, а ведь кто из нас, смертных, не любит поиграть в эту игру... Но вы туда никогда не попадете — я вас не пущу».

Из объяснения (если Яновский верно его запомнил) следовало: Достоевский все же осознавал опасность «игры в либерализм». Территория «пятниц» была свободна от недругов (никто из кружка Белинского туда не ходил). Ф. М. тянуло к *другим* людям — тем, кто не бывал ни у Бекетовых, ни у Майковых, ни на «четвергах» у Краевского, ни на посиделках в «Современнике», ни в салонах Соллогуба или Одоевского, ни на дружеских обедах в *Hôtel de France.*

Весной 1847 года рядом с Достоевским не оказалось никого, кто бы мог повлиять на него и предостеречь от рокового шага.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
В ТЕНИ БАРРИКАД

Глава первая
«ФРАНЦУЗЫ НАСТОЯЩЕЙ МИНУТЫ»

В центре Парижа. — Революционная эпидемия. — Паломники прогресса. — Эксцентрик Петрашевский. — Разговорное общество. — Поэзия фаланстера. — Таинственный Спешнев. — Поединок самолюбий. — Игра на «левом» поле

В те самые февральские дни 1848 года, когда Белинский возвестил о падении «Достоевского-гения», а в Третье отделение поступил анонимный донос на вредное направление «Отечественных записок» и «Современника», в Европе происходили куда более грозные события. В ночь на 24 февраля полторы тысячи баррикад в центре Парижа возвестили, что мир потрясен до основания. Толпы восставших взяли штурмом Пале-Рояль и окружили королевский дворец Тюильри, требуя, чтобы король Луи Филипп отрекся от престола.

Так и случилось: монархия Орлеанского дома была свергнута, король спасся бегством. Под дулами ружей депутаты провозгласили Францию республикой и образовали временное правительство. Было введено всеобщее избирательное право для мужчин, достигших двадцати одного года, издан декрет о праве на труд, освобождены политзаключенные, отменена смертная казнь за политические преступления. Народ получил столь широкие гражданские свободы, каких не было еще ни в одной стране мира. Париж покрылся сотнями политических клубов, о которых приятель Белинского Анненков, встретивший февральскую революцию в Париже в обществе Тургенева, Бакунина и других русских паломников, писал как о зрелище самой разнузданной фантазии, выпущенной на волю и гуляющей по горам и лесам: «Частые драки не исключены нимало из

заседаний»[1]. Публицисты, теоретики-социалисты, историки-утописты, доселе известные лишь своими сочинениями, вдруг стали реальными политиками, практиками вооруженного восстания и участниками баррикадных боев.

Петербургские кружки, потрясенные европейскими событиями, переживали похмелье — в чужом пиру. Впрочем, парижская лихорадка казалась людям 1840-х годов происшествием хоть и чрезвычайным, но дорогим и желанным. Как вспоминал М. Е. Салтыков-Щедрин, «оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что "золотой век" находится не позади, а впереди нас... В России... мы существовали лишь фактически или, как в то время говорилось, имели "образ жизни"... Но духовно мы жили во Франции»[2].

Вскоре после парижского восстания в Петербурге были приняты «ответные» меры: заведено дело «О наблюдении в России по случаю политических переворотов в Европе» (агенты собирали слухи, мнения, намеки и настроения); учрежден цензурный комитет; в университетах упразднены кафедры философии — рассадники «лжеименной мудрости иноземной»; деятельность комиссии министра государственных имуществ графа П. Д. Киселева приостановлена — под влиянием европейских событий решение крестьянского вопроса было отложено в долгий ящик.

Манифестом 14 марта Николай I объявил: «Мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе со Святой нашею Русью, защищать честь имени русского и неприкосновенность предков наших». Понятие «врагов» при звуках европейской революции получало расширительное значение — враги обретались и по ту, и по эту сторону границы. В Париже звучала Марсельеза; публичные места каждый вечер наполнялись народом, занятым выборами в национальную гвардию и Национальное собрание. В середине марта у ратуши собрались толпы демонстрантов в блузах и сюртуках со знаменами корпораций, а также с лопатами, заступами, кольями и ломами. «После этого вся масса рядами направилась к Бастильной площади... а потом двинулась в аристократические кварталы, распространяя спасительный ужас на заговорщиков и недовольных»[3].

Анненков с иронией писал: «Один Бакунин, по натуре своей любящий всякое беспокойство, хотя бы самое пустое, находится в постоянном и абсолютном наслаждении и выносит неподдельный восторг на лице из всякого собрания, которому удалось оглушить и отуманить его. Он гораздо ближе к французу настоящей минуты, чем все мы. В нем не осталось ни одной искры критицизма!»[4] Баррикады придавали убедитель-

ность умственным исканиям даже самого крайнего толка. Революция повысила авторитет радикализма — аргументом в его пользу стало то, что Прудон, которого в Петербурге знали по сочинениям, был избран депутатом Учредительного собрания; Луи Блан — членом временного правительства; Кабе, автор коммунистической утопии, вошел в Комитет общественного спасения; философ-социалист Пьер Леру включен в состав правительства.

«Французами настоящей минуты» ощущали себя многие вольнодумцы имперской столицы. Брожение умов и беспокойство чувств, которые наполняли восторгом Бакунина, на берегах Невы рождали досаду бессилия. Сравнение петербургских стеснений с парижской вольницей было оскорбительно и почти анекдотично. «По мере того как в Европе решаются вопросы всемирной важности, — записывал в дневнике весной 1848-го цензор А. В. Никитенко, — у нас тоже разыгрывается драма, нелепая и дикая, жалкая для человеческого достоинства, комическая для постороннего зрителя, но невыразимо печальная для лиц, с ней соприкосновенных»[5].

Драма могла коснуться многих людей 1840-х годов, одержимых «духовным запоем». Для Ф. М. *свобода* рифмовалась с правом осуществить призвание, и для писательства ему хватало «домашних» впечатлений. Однако перед ним были иные примеры — в среде литераторов, где все знали всех, они были слишком на виду. Н. В. Станкевич в 1837-м уехал в Карлсбад лечиться, но остался слушать лекции по гегелевской философии в Берлинском университете. Одновременно с ним штудировали философские курсы Т. Н. Грановский и И. С. Тургенев. В 1840—1842 годах студентом Берлинского университета был М. А. Бакунин, увлекавшийся историей философии, логикой, эстетикой, теологией. Все четверо были близки друг другу как люди одного круга и одних интересов. К их кружку примыкал и М. Н. Катков, посещавший Берлинский университет. В 1840-м оставил Россию П. В. Анненков и сразу вошел в круг большой литературы, став в Риме помощником Гоголя. Осенью 1844-го отправились в Берлин супруги Панаевы и встретили там Н. П. Огарева и Н. М. Сатина, которые познакомили их с писательницей Беттиной фон Арним, другом Гёте. В Париже Панаевы общались с В. П. Боткиным, посещавшим лекции Огюста Конта, Бакуниным, Н. И. Сазоновым (уже четыре года жившим в Париже как эмигрант), казанскими помещиками Толстыми — и опять это было общество близких по духу людей, надеявшихся пополнить в Европе свой идейный запас.

Русские путешественники 1840-х годов, влекомые идейными исканиями, оказываясь в Европе, сильно левели, чувствуя

наступление новой эпохи и видя, что институты семьи, религии, государства со всех сторон получают страшные удары. У большинства из них было достаточно времени за границей, чтобы освоиться с чаяниями «современного человечества». Они верили в свое призвание обновить мир словом и делом и узнавали друг друга по одинаковости надежд и настроений. Мало кому из них приходила на ум простая истина, которая мощно прозвучит в поздних романах Достоевского: хочешь переделать мир — начни с себя.

Образ жизни русских, подолгу живущих за границей на доходы с имений и на деньги заложенных в казну крестьян, странно диссонировал с их растущим радикализмом: по моде тех лет они могли желать старому миру окончательного разрушения и в то же время требовать денег от управляющих, чтобы вести праздную жизнь вдалеке от отечества. «В то время, — писала Панаева, — все русские помещики, когда им нужны были деньги, закладывали в Опекунский совет своих мужиков». Герцен, заложив перед отъездом за границу в 1847 году все свое огромное имение, разменял билеты московской сохранной казны в парижском банке Ротшильда и гордился, что для революционных целей вырвал капиталы из «медвежьих лап» русского правительства: «Глупо или притворно было бы в наше время денежного неустройства пренебрегать состоянием. Деньги — независимость, сила, оружие. А оружие никто не бросает во время войны, хотя бы оно и было неприятельское, даже ржавое»[6].

«В нашем кружке, — утверждала Панаева, — все считали крепостное право бесчеловечным с гуманной точки зрения, но относились к помещичьей власти пассивно, так как большинство состояло из помещиков. Впрочем, и в интеллигентном обществе России сороковых годов тоже преобладал элемент помещиков. Гуманные помещики старались не входить в близкие отношения с своими крепостными мужиками и имели дело с ними через посредство своих управляющих и старост. В кружке же писателей все были поглощены литературными интересами и общечеловеческими вопросами». Когда перед отъездом за границу в 1844-м Панаев отпустил на волю свою прислугу, являя собой редкое исключение, Белинский растроганно говорил: «За это вам отпустится много грехов». В то же время когда Тургенев в начале 1850-х в большой компании сотрудников «Современника» пообещал подарить дочери покойного Белинского свою деревню в 250 душ, в честь писателя был провозглашен тост «за великодушный порыв». Никто не ощутил, насколько не соответствует помещичий жест либеральной репутации автора и радикальному направлению журнала.

Гуманные декларации редко подтверждались реальными поступками...

Через четверть века автор «Бесов» расскажет, как либерал 1840-х годов Степан Трофимович Верховенский, «всем сердцем принадлежа прогрессу», бестрепетно проиграл своего мужика в карты (история Федьки Каторжного). Достоевский имел несомненное право на сарказм в отношении прогрессистов своего поколения хотя бы потому, что не владел никакой собственностью, в том числе и крепостной.

Весной 1847 года, когда он появился в кружке Петрашевского, пятничное общество являло в этом смысле весьма пеструю картину.

Потомственный дворянин Михаил Васильевич Петрашевский был сыном штадт-физика, доктора медицины и хирургии, в войну 1812 года служившего главным хирургом при князе Багратионе и главным врачом при графе Милорадовиче. Петрашевский-отец бывал во многих сражениях, вступил с войсками в Париж, после чего вернулся в Петербург и занимался устройством дивизионных госпиталей. Семья была небогата, но вполне состоятельна: имения в Новоладожском уезде и в Вологодской губернии, доходные дома в Петербурге. Доктор Петрашевский, которого в свой последний час удостоил призвать к себе смертельно раненный на Сенатской площади граф Милорадович, глубоко страдал — сын не оправдывал надежд: неоднократно уличенный в предерзких выходках, он был выпущен из Царскосельского лицея 14-м классом, ниже некуда. «Продуло вашего сынка сквознячком с Сенатской площади», — не раз укалывало доктора медицинское начальство.

Годового жалованья в 135 рублей серебром, на которое мог рассчитывать коллежский регистратор Петрашевский-младший, поступивший на службу в Департамент внутренних сношений Министерства иностранных дел третьим переводчиком, едва хватало бы на жизнь, но был еще некоторый доход со сдаваемых внаем квартир, которым его мать, феноменально сварливая и скупая особа, делилась с сыном весьма неохотно. В своей квартире, в каменном доме на углу Покровской площади и Садовой улицы, он проживал один, много читал, вел дневник, собирал афоризмы, готовил диссертацию — в 1841-м он стал кандидатом права и продвинулся по лестнице чинов на два пункта.

Ему приходилось участвовать в процессах по делам иностранцев и составлять описи выморочного имущества. Главный интерес представляли частные библиотеки, лишившиеся владельцев, и Петрашевский на свой страх и риск изымал интересующие его книги, подменяя их другими, купленными на свои

средства в книжных лавках. Так составилась библиотека запрещенной литературы — Фурье, Прудон, Кабе, Сен-Симон, Фейербах. Великие утописты мирили Петрашевского с участью маленького чиновника; их идеи становились его мировоззрением, страстью, смыслом жизни. На первых порах заветные книги служили приманкой пятничных вечеров, куда поздней осенью 1845-го начали собираться знакомые — Валериан Майков (с ним Петрашевский готовил первый выпуск «Карманного словаря иностранных слов»), выпускник Александровского лицея М. Е. Салтыков, студент А. Н. Плещеев, знаток Фурье Н. Я. Данилевский. Собирались в десятом часу вечера, сидели допоздна, громко спорили; в полночь хозяин потчевал вином и закусками. Расходились глубокой ночью, унося с собой книжные трофеи. Петрашевский мог раздобыть любую новинку, доставал иностранные журналы и вынашивал идею создания библиотеки на паях*.

В феврале 1847 года, когда в доме у Покрова появился Достоевский, Михаил Васильевич имел репутацию яркой столичной достопримечательности. Он славился эксцентричными выходками — как-то переоделся в женское платье и пришел в Казанский собор; пускал фейерверки на улицах; вел пропаганду в пользу социализма среди дворников; носил усы и бороду, запрещенные чиновникам, четырехугольный цилиндр или шляпу-сомбреро, широкий испанский плащ-альмавиву синего сукна с плисовыми бортами (они были в большой моде двадцатью годами раньше: Панаева девочкой видела, как Пушкин прогуливался мимо окон театральной школы, закинув полу плаща за плечо). В городе знали, что Петрашевский содержит общественную библиотеку и собирает на дому холостые вечеринки — пятницы были сугубо мужским развлечением, так что гости, не стесненные присутствием дам, чувствовали себя свободно, «говорили нескладно, длинно, неубедительно, горячась без толку, перебивая друг друга, поминутно отвлекаясь предметами, вовсе не идущими к делу, не умея ни возражать, ни выслушивать чужих доводов»[7].

---

* После высылки Петрашевского в каторжные работы все его движимое имущество (мебель, одежда, посуда, документы и книги), оцененное по полицейской описи в 141 рубль серебром, будет, по просьбе матери осужденного, выставлено на аукционный торг. «Бумаги и книги: тюк в несколько пудов разных писаных бумаг, книги на русском языке, в переплетах и обертках — семьдесят девять, на французском языке — триста восемь, на немецком — сто тридцать четыре, по оценке все на сумму 16 рублей 90 копеек... Книги достались какому-то букинисту, тяжелый тюк с бумагами унес лавочник с рынка» (*Федоренко Б. В.* Здесь они встречались по пятницам (Достоевский в доме у Покрова) // Достоевский и мировая культура. Альманах № 16. СПб., 2001. С. 128).

И все же круг постоянных гостей состоял из молодых людей, избравших себе достойные поприща. Н. Я. Данилевский окончил Александровский лицей и естественный факультет университета; И. М. Дебу, дворянин старой французской фамилии, имел степень кандидата юридического факультета и служил в Азиатском департаменте; Е. С. Есаков, выпускник того же лицея, преподавал в *alma mater*; Н. И. Кайданов, его однокашник, получил место переводчика в Департаменте внешней торговли, а М. Е. Салтыков устроился в Военное министерство. Да и литераторы успели завершить образование: С. Ф. Дуров, выпускник Благородного пансиона при Санкт-Петербургском университете, служил переводчиком в Морском министерстве; А. Н. Майков имел степень кандидата прав; А. И. Пальм получил военное образование и был офицером лейб-гвардии егерского полка; Ф. Г. Толль окончил Педагогический институт и преподавал русскую словесность и историю. Только А. В. Ханыков и А. Н. Плещеев, оба двадцати двух лет, имели статус не окончивших курс по восточному факультету.

Ветеран «пятниц» обрусевший грек А. П. Баласогло, бывший гардемарин Черноморского флота, участник турецкой войны 1828 года, член Русского географического общества, архивист Азиатского департамента, даст точную характеристику заседаний: «О чем были суждения, речи, прения? — Решительно обо всем: каждый сообщал свои личные сведения и взгляды на ту науку, которою он непосредственно занимался; перевес брали, без всякого сомнения, науки общественные... кто во что веровал, тот то и доказывал»[8].

Собиравшихся здесь молодых людей (34-летний Баласогло был чуть ли не единственным мужчиной зрелого возраста) при самом строгом подходе никак нельзя было назвать «всяким сбродом». «Почти вся эта компания, — напишет позже Достоевский, — кончила курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, *когда уже всё прошло*, заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями». Но даже и до того, как *всё прошло*, многие из них успели кое-что сделать. Так, Петрашевский написал почти все главные статьи второго выпуска «Карманного словаря иностранных слов» и, сделав их средством политической пропаганды, испытал цензурные гонения. Его однокашник по лицею В. А. Энгельсон пишет: «Петрашевский с жадностью схватился за случай распространить свои идеи при помощи книги, на вид совершенно незначительной... чтобы под разными заголовками изложить основания социалистических учений, перечислить главные статьи конституции, предложенной первым француз-

ским учредительным собранием, сделать ядовитою критику современного состояния России»[9].

Каждый вносил в пятничные собрания посильную лепту: военные обсуждали проблемы армии; чиновники Азиатского департамента сообщали сведения о мире дипломатии; преподаватели близко знали настроения школьной и студенческой молодежи; сочинители, как Достоевский и Дуров, были вхожи в редакции газет и журналов; и даже недоучившийся Плещеев в 1846-м выпустил первый сборник стихов.

Общество не ведало ни дисциплины, ни обязательности. «Попасть на пятницы было делом нехитрым. Наши "заговорщики" охотно посвящали в свои тайны каждого интересующегося: речь шла почти исключительно о пропаганде идей и до́рог был каждый новый прозелит»[10], — утверждал историк. Но так же легко, как сюда попадали, отсюда и выходили; для иных это был вопрос принципа: иметь возможность в любой момент, без уведомления, прекратить посещения и пользование библиотекой.

В фельетоне «Петербургской летописи», датированном 27 апреля 1847 года, едва ли не после первого посещения пятницы, Достоевский писал: «Известно, что весь Петербург есть не что иное, как собрание огромного числа маленьких кружков, у которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой оракул. Это, некоторым образом, произведенье нашего национального характера...» Умственным центром пятниц был фурьеризм. Петрашевский, фанатичный последователь Фурье, считал себя первым из русских, кто понял и принял поэзию фаланстеров.

Теперь трудно понять, как Франсуа Мари Шарль Фурье, сын богатого купца из Безансона, торговец и биржевой маклер, имевший всего лишь школьное образование, мог пленять умы и сердца прозелитов во Франции и далеко за ее пределами. Мечтатель, прожектер, фантазер, он рисовал картины грядущего блаженства, забывая о здравом смысле. Старший современник Петрашевского (Фурье умер в 1837-м) мечтал о гармонически устроенной планете, где благодаря чудодейственным испарениям исчезнут вредные и опасные звери, а на их месте появятся антильвы и антиакулы, которые станут для человека надежными помощниками на суше и воде. Болота высохнут, вулканы потухнут, морская вода уподобится лимонаду, роса начнет благоухать, над полюсом появится Северная Корона — новое светило, которое согреет землю, и климат Петербурга будет таким, как в Ницце.

«А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолв-

ная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками, — и мы говорим это вовсе не в шутку», — со знанием дела разъяснял Достоевский-фельетонист на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей», печатавших его «Петербургскую летопись». Мечтателей пятниц увлекал пафос пророка, который свято верил, что ему одному потомки будут обязаны безграничным счастьем. «Я шел один к цели, — писал Фурье, — без приобретенных средств, без проторенных путей. Я один заклеймил двадцать веков политического слабоумия». Он надеялся, что его система осуществится в самом скором времени. «Уже явился новый Геркулес, — писал он в 1808-м. — Его безмерные труды превозносят его имя от одного полюса до другого, и человечество, приученное им к зрелищу чудесных дел, ожидает от него какого-либо чуда, которое изменит судьбу мира».

Под Геркулесом подразумевался Наполеон — но позже стало ясно, что связанные с ним надежды тщетны. В 1822-м Фурье рассуждал: если ввести «фаланстерию» немедленно, уже в 1823-м она докажет свою пригодность, и тогда в 1824-м гармонический порядок будет устроен во всех цивилизованных странах, в 1825-м к нему примкнут варвары и дикари, а в 1826-м система завоюет весь земной шар. Мечтателей с Покровки, однако, вовсе не смущал тот факт, что ни в 20-е годы, ни позже система «социального Ньютона» (так называли Фурье его адепты) не была введена нигде. Пятничное общество усердно читало «La Phalange, Journal de la Science Sociale» и «Almanachs phalanstériens», мечтало составить и напечатать за границей общепонятное изложение фурьеризма, хотело познакомить с учением провинцию, обсуждало возможность получения от властей средств на устройство первого фаланстера. «Когда я в первый раз прочитал его [Фурье] сочинения, — признáется Петрашевский Следственной комиссии, — я как бы заново родился, благоговел перед величием его гения; будь я не христианин, а язычник, я б разбил всех моих других богов... сделал бы его единым моим божеством»[11].

Вслед за Фурье Петрашевский мечтал об обществе, организованном по принципу *фаланг* — объединений людей на основе общих интересов и работ. Каждая фаланга селится на участке, в центре которого возвышается дом-дворец (фаланстер) с жилыми комнатами, мастерскими, столовыми, зимними садами, читальными, лекционными и концертными залами. Труд приносит наслаждение, поскольку люди сами выбирают себе занятия, меняя их время от времени; так исчезают различия между умственным и физическим трудом, городом и деревней.

Общий доход фаланги делится на двенадцать частей, из которых пять приходятся на долю труда, четыре — на долю капитала и три — на долю таланта и знаний. Страсти и желания человека, подавляемые и искажаемые цивилизацией, если их направить на труд, полный радостного соревнования, преображаются и преображают лик Земли, где счастливо живут «гармонийцы», люди нового общественного строя.

Вера Петрашевского в Фурье была столь сильна, желание увидеть торжество идеи столь велико, что поздней осенью 1847 года он, найдя сухую поляну среди соснового бора и болотных топей своей новоладожской Деморовки, попытался устроить фаланстер для мужиков, ютившихся на выселке в семь дворов. «Во всех дворах было душ сорок и с ребятами; земли было достаточно, с десяток лошадей, но коровы не приживались, да и жилье самих мужиков на болотистом грунте было неказистое, и хозяйство у них велось плохое; допотопные плуги и бороны работали плохо, избы подгнили, лес хоть под боком, но господский»[12].

Когда староста пришел просить бревен на починку изб, барин стал убеждать, насколько удобнее построить новую просторную избу на семь семейств, каждое в отдельной комнате, с общей кухней и залой. Староста кротко отвечал: «Воля ваша, вам лучше знать, мы люди темные, как прикажете, так и сделаем». К Рождеству большая изба уже стояла — семь комнат, кухня, зала, подсобные постройки с утварью, амбар с припасами. Однако вместо новоселья хозяина ожидало зрелище обгорелых балок (и полтора века спустя в усадьбе оставался цел фундамент фаланстера[13]). Делясь неприятностью с однокашником Зотовым, барин сконфуженно повторял: «Ты и представить себе не можешь, какие это дикари, сущие звери... В ночь они сожгли [дом] вместе со всем, что я выстроил и купил для них»[14].

Биограф Петрашевского писал: «Сгорела изба, конюшня, хлев, сгорели плуги и бороны, лопнули в огне горшки... Они [мужики] готовы понести наказание, но только бы не жить в этой хоромине, только бы сохранить свое — вонючее, драное, но свое...»[15] Оставались, однако, вопросы. Можно ли принудительно загонять в фаланстер бесправных крестьян? Только ли по своей дремучести противились они чудно́й господской затее? Почему не видели выгод в общежитии? Нельзя ли было просто дать мужикам лес — на новые избы или хотя бы на латание старых, как они просили?

Но Петрашевскому страстно хотелось доказать скептикам практическую пользу фаланстера — на любимую идею леса было не жалко. Уезжая с пожарища, он утешал себя, что время Фурье в России еще не пришло и что его крепостные, искаженные

предшествующей жизнью, не доросли до идеи. Значит, надо не оставлять усилий — агитировать, объяснять. В конце концов, в стихах Плещеева «Вперед! Без страха и сомненья...» не зря стоят строки: «Провозглашать любви ученье / Мы будем нищим, богачам / И за него снесем гоненье, / Простив безумным палачам!.. / Пусть нам звездою путеводной / Святая истина горит; / И верьте, голос благородный / Недаром в мире прозвучит!»

Почти одновременно с Достоевским пятницы стал посещать товарищ Петрашевского по лицею, 26-летний Николай Александрович Спешнев. Два года спустя он скажет следствию, что возобновил знакомство с однокашником только потому, что не имел в Петербурге, где поселился недавно, другого общества, а это казалось ему «грубоватым и необразованным». Сам Спешнев вызывал всеобщий взволнованный интерес. Петрашевский пытался выяснить, чем именно новый гость может быть полезен пятницам, и даже предложил сделать доклад о философии или религии. Николай вежливо отказался, полагая не совсем приличным ораторствовать среди почти незнакомых людей.

Но и без доклада Спешнев, обладавший непостижимым талантом личного влияния, избравший для себя стиль замкнутого, независимого поведения, оказался сильнейшим магнитом. Он поражал своей наружностью даже самых бесчувственных: эффект первого впечатления был равносилен потрясению и со временем только усиливался. «Спешнев отличался замечательной мужественной красотою, — писал Семенов-Тян-Шанский, обладавший трезвой памятью ученого. — С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя».

Семейный архив Спешнева запечатлел многие обстоятельства его ранней биографии. В начале 1840 года умер его отец, отставной подпоручик и богатый помещик старинного дворянского рода, владевший несколькими имениями в разных губерниях. Обстоятельства его смерти были тяжелы и темны*. Можно предположить, что, сблизившись, Спешнев и Достоевский могли сообщить друг другу о трагических обстоятельствах, при которых оба, с разницей в полгода, потеряли отцов.

---

* Версии смерти А. Н. Спешнева изложены в семейных мемуарах и преданиях (см.: *Сараскина Л. И.* Николай Спешнев. Несбывшаяся судьба. М., 2000. С. 77). «В то время как Николай учился в университете, — писала его правнучка Г. Н. Спешнева-Бодде со ссылкой на мемуары своей тетки, Н. А. Спешневой, — случилась ужасная вещь: его отец поплатился за свои чары. Говорили, что никакая женщина не может ему противостоять. В результате крестьяне — мужья, братья и отцы — жестоко убили его, подняв на вилы». По версии других потомков Н. А. Спешнева, крепостные не закололи своего помещика вилами, а бросили его к охотничьим собакам, которые разорвали хозяина на куски.

После изгнания из Царскосельского лицея «за нарушение правил» Спешнев пытался продолжить образование в университете, изучал восточные языки, мечтал стать ориенталистом-дипломатом, пользовался покровительством востоковеда О. И. Сенковского (Барона Брамбеуса), но по причинам весьма романтического свойства оставил учебу и бежал за границу с предметом своей страсти. Когда после шести лет головокружительных приключений Николай Александрович снова появился в Петербурге, он числился не имеющим чина помещиком.

Бакунин, собиравший сведения о Спешневе, не мог удержаться от восхищения: «Умен, богат, образован, хорош собою, наружности самой благородной, далеко не отталкивающей, хотя и спокойно-холодной, вселяющей доверие как всякая спокойная сила, джентльмен с ног до головы. Мужчины не могут им увлекаться, он слишком бесстрастен и, удовлетворенный собой и в себе, кажется, не требует ничьей любви; но зато женщины, молодые и старые, замужние и незамужние, были и пожалуй, если он захочет, будут от него без ума. Женщинам не противно маленькое шарлатанство, а Спешнев очень эффектен: он особенно хорошо облекается мантиею многодумной спокойной непроницаемости»[16].

Спешнев не без вызова откроет следствию, в чем состоял секрет его влияния и почему его везде считали чем-то вроде почетного гостя. Все знали, что он социалист, а социализм был в моде. Имел запас интересных сведений заграничного происхождения и был не прочь прихвастнуть. Держал себя независимо, ни в ком не нуждался, тогда как другие в нем нуждались и перед ним заискивали. Говорил мало, проводил бóльшую часть времени у себя за книгами и казался таинственным человеком. Бывал резок на слова, умел узнавать задние мысли собеседника и всегда понимал, с кем имеет дело.

К началу 1848 года загадочное поведение Спешнева на пятницах стало вопросом не только стиля, но и принципа. Был слух, что он изучал историю древних религий и тайных обществ — его бы охотно послушали. Но никакой обязательности он не признавал, не желал быть связан ни с кем и, если только был уверен, что остается совершенно свободным, соглашался посещать общество. Никто не знал, в какой стране, с кем и зачем он жил за границей. Он не рассеял подозрений о своем пребывании в крамольной Франции, не опроверг слухов, будто волонтером участвовал в борьбе либеральных кантонов Швейцарии с иезуитами, не мешал подозревать его в связях с заграничными центрами и тайными типографиями. Ходили легенды о его любовной истории, с похищением и роковым финалом, но он поставил себя так, чтобы никто, никог-

да, ни о чем не решался его спросить. Он был закрыт и непроницаем, и даже те из кружковцев, кто изредка бывал в доме на Кирочной, понятия не имели, что с ним вместе живут мать, тетушка и двое малых детей.

«Разговорному обществу» новый гость казался непостижимым — его всегдашнее холодное молчание только подогревало интерес и усиливало тайну. В кружке изучали социализм и готовы были признать Спешнева авторитетным экспертом. Но заниматься пропагандой в духе «La Phalange» и вместе с прозелитами благоговеть перед «гением Фурье» — эта роль была не для него. К тому же знатоками учения считал себя здесь едва ли не каждый, и Спешнев отдавал себе отчет, что по своей скрытности не годится в пропагандисты. Социальные утопии нуждались в красноречивых ораторах, а он лишь слушал, заставлял высказываться других и направлял разговоры в нужное ему русло.

Герцен, лично знавший только Энгельсона, но слышавший о пятничном обществе от Бакунина и Огарева, заочно упрекал кружковцев в непомерном и обидчивом самомнении — дерзком и все же неуверенном в себе. «Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болезненные и поломанные. В их числе не было ни кричащих бездарностей, ни пишущих безграмотностей... но в них было что-то испорчено, повреждено»[17]. Можно было бы упрекнуть Герцена в предвзятости, в намерении принизить кружок, который действовал не в Лондоне, а в Петербурге, в условиях несвободы. Но «видовой болезненный надлом по всем суставам», который наблюдал Герцен со стороны, был виден в кружке и изнутри; сами кружковцы болезненно реагировали на феноменальное самолюбие друг друга и ревнивое соревнование своих лидеров.

К началу 1848 года идейные расхождения Спешнева с хозяином пятниц оформились политически. Принципиальная позиция, явленная таинственным гостем, оправдывала его загадочное поведение и отчасти даже мотивировала его. Ибо у Спешнева оставался только один точный ход, чтобы в компании заядлых говорунов явить молчаливое превосходство: предстать крайним радикалом, оппонентом слева. Ведь именно это поле вокруг Петрашевского оставалось незанятым.

«Огнем неугасимого энтузиазма горел взор многих русских фурьеристов» (П. Сакулин), свято веривших в то, что сочинения Фурье — живительный источник общественного блага; но этот энтузиазм, как и климат кружка вообще, вызывал недоверие к утопическим мечтаниям. Позиция крайнего радикализма, которая как будто предполагала не слова, но дела, давала серьезные преимущества перед пропагаторами и оказывалась

мощным средством самоутверждения. На «левом» поле Спешнев, не терпевший никакой критики, мог чувствовать себя «выше» ее. Его союзником на этом поле очень скоро окажется и Достоевский.

К концу 1847 года пятничное общество успело получить репутацию «опасного места», а кружковцы — звание «опасных людей». В Киеве, по доносу провокатора, было разгромлено Кирилло-Мефодиевское братство, тайная политическая организация, просуществовавшая 13 месяцев. Руководители — профессор истории Н. И. Костомаров, писатель П. А. Кулиш, чиновник Н. И. Гулак, желавшие мирным путем, сообразно с «евангельскими правилами любви, кротости и терпения» добиться конституции, демократических свобод и автономии для Украины в рамках России, противостояли крайнему радикализму Т. Г. Шевченко, бредившего революцией, были сосланы, а Шевченко отдан в солдаты. В этой связи в декабре 1847 года Белинский писал Анненкову: «Здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму хохлацкому... Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его: будь я его судьею, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам. Это — враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где нет ровно ничего, и вызывают меры крутые и гибельные для литературы и просвещения»[18].

Несомненно, «успехом» в конце 1847-го могла называться деятельность комиссии графа П. Д. Киселева, «начальника штаба по крестьянской части»: в ноябре вышел закон, разрешавший крестьянам выкупать себя в случае продажи помещиком имения с торгов. «Государь император вновь и с большею против прежнего энергиею изъявил свою решительную волю касательно этого великого вопроса»[19], — утверждал Белинский в том же письме Анненкову, цитируя слова Николая I из речи перед смоленским дворянством: «Земли принадлежат нам, дворянам, по праву, потому что мы приобрели ее нашею кровью, пролитою за государство; но я не понимаю, каким образом человек сделался вещью, и я не могу себе объяснить этого иначе, как хитростию и обманом, с одной стороны, и невежеством — с другой. Этому должно положить конец. Лучше нам отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у нас отняли. Крепостное право причиною, что у нас нет торговли, промышленности».

В тот момент казалось, что образ мыслей верховной власти лишает всякого смысла усилия «врагов успеха»; вряд ли кто-

нибудь из посетителей пятниц стал бы оппонировать намерению царя положить конец крепостному праву. Сам Белинский, в июле 1847-го отославший Гоголю резкое письмо, убеждал писателя в том же, о чем говорили наверху, — в необходимости отмены крепостного права. Спешнев покажет на следствии, что всегда желал уравнения в правах крепостного сословия с другими, развития образованности в народе, но думал, что и правительство идет по этому пути... Когда в 1848 году он услышал, что вопрос заморожен, понял, что «откладывать этот вопрос значит добровольно подготовить в России единственный возможный предмет народного восстания, в котором погибнет вековой труд Петра Великого и его преемников»[20].

Предсказание Белинского о дерзких глупостях одних и гибельных мерах других не замедлило сбыться. В феврале 1848-го Петрашевский составил записку о предоставлении права купеческому сословию покупать населенные имения, причем крестьяне становились бы временно обязанными, как это и следовало из указа 1842 года. Меры переходного характера, предложенные для обсуждения на собрании петербургских дворян в начале марта, все же выходили из указанных пределов, и инициатива автора, попав в контекст февральских событий, вызвала подозрение: записка, литографированная в двухстах экземплярах, не была допущена к обсуждению и привлекла внимание высшего начальства.

«Собрание сведений о Петрашевском, по высочайшему повелению, началось в марте 1848 года. Министру внутренних дел приказано было снестись с шефом жандармов, для надлежащего разъяснения содержания и смысла литографированной записки. Вследствие чего, по обоюдному их согласию, собрание этих сведений было возложено на меня»[21]. 10 марта действительному статскому советнику И. П. Липранди был поручен надзор за Петрашевским, причем агенты Третьего отделения не должны были участвовать в этом деле совсем (шеф жандармов граф Орлов высказал пожелание, чтобы его люди ничего не знали «во избежание столкновения»).

Так началось бесславное предприятие Липранди, к началу 1840-х сменившего Одессу на Петербург и сумевшего из служебного преследования раскольников сделать выгодную статью дохода. «Это была для него золотая россыпь, из которой он хищнически добывал драгоценный металл. Жадный к деньгам, он не гнушался никаким делом»[22]. Политические увлечения молодых людей должны были стать разменной картой гораздо большего честолюбца, чем все они вместе взятые: именно этот «приятель Пушкина» и *возьмет* их всех через год с малым.

Меж тем брожение в умах усиливалось; пятничные сходки продолжались. «Опасные люди», по-видимому, не чувствовали опасности и не подозревали о начавшейся слежке. С начала 1848 года на пятницах появилось множество новых лиц: поручик Конно-гренадерского полка Н. П. Григорьев; К. М. Дебу (младший брат И. М. Дебу), переводчик Азиатского департамента; штабс-капитан Генерального штаба П. А. Кузмин, студент П. Н. Филиппов (Достоевский познакомился с ним летом в Парголове); сибирский золотопромышленник Р. А. Черносвитов. Петрашевский собирался упорядочить собрания, ввести регламент и повестку дня, Спешнев предложил выбирать председателя, который бы, следя за распорядком, звонил в колокольчик.

Едва европейский гром расслышали в Петербурге и создали комитет «для обуздания литературы на будущее время», общественный климат стал еще суровее. Все происходило по сценарию, о котором накануне писал Белинский. В апреле А. В. Никитенко констатировал: «Панический страх овладел умами. Распространились слухи, что комитет особенно занят отыскиванием вредных идей коммунизма, социализма, всякого либерализма, истолкованием их и измышлением жестоких наказаний лицам, которые излагали их печатно или с ведома которых они проникли в публику... Ужас овладел всеми мыслящими и пишущими. Тайные доносы и шпионство еще более усложняли дело. Стали опасаться за каждый день свой, думая, что он может оказаться последним в кругу родных и друзей...»[23]

Но еще сильнее, чем страх, был безрассудный энтузиазм — посетителями пятниц не соблюдалась даже простая осторожность. Энгельсон писал о впечатлении, которое произвели известия из Франции на его близких друзей: «В кофейнях Излера и Доминика публика вырывала друг у друга газеты; собирались в группы и кто-нибудь громко читал известия, потому что не хватало терпения ждать своей очереди. Тому, кто знает угрюмую чопорность петербуржцев, этот простой факт может показаться невероятным. Молодежь, и особенно друзья Петрашевского, бросилась в лихорадочную деятельность. Нельзя было оставаться в границах обычного благоразумия. Почти на глазах у царя, в четырех местах, были установлены периодические собрания»[24].

В марте, в самый разгар «лихорадки», Петрашевский, придя к Спешневу, выбранил пятничное общество, назвав его мертвечиной, и посетовал, что никто ничего не знает, учиться не хочет, споры ни к чему не ведут, основные понятия до кружковцев не доходят. Встречи проходили теперь и у Спешнева, который однажды, находясь в гостях у Плещеева, предложил

литературной компании попробовать печататься за границей. Всё это больше походило на экзамен — он был уверен, что пишущая публика испугается. Достоевский как раз и был одним из тех, кому предложение «показалось невозможным по многим причинам», и показания Спешнева это подтвердили.

Николай Александрович признался, что очень смутил литераторов: они уклончиво ответили, что если до осени ничего не пришлют, то, значит, не хотят. В тот момент он и сам не знал, как исполнить свое намерение, ибо связей с заграницей давно никаких не имел; и поскольку никто ничего не прислал, вопрос был закрыт. Данилевский вскоре вовсе отошел от общества и к радикальной идеологии стал относиться скептически, подозревая, что русский нигилизм не самобытен, а подражателен, висит в воздухе и есть явление карикатурное. Вслед за Данилевским одумались и некоторые другие.

В мае сезон был закрыт, народ разъехался по деревням и дачам. В начале июня в Петербурге разразилась холера, «ужас повсюду царствовал в течение целого лета... Вести из города ежедневно приходили печальные, особенно с половины июня и до последних чисел июля»[25]. Достоевский спасался от холеры в Парголове, живя на даче вместе с семьей брата Михаила. Здесь же гостил и Коля, навещал братьев и Андрей, только что выпущенный из училища, — сразу по приезде он застал в Парголове первый случай заболевания холерой: «С больным случился припадок на улице, и брат Федор сейчас кинулся к больному, чтобы дать ему лекарства, а потом и растирал, когда с ним сделались корчи».

Но Достоевский, кажется, не думал о холере. Панаева, проводившая в Парголове лето, писала, что не раз видела его вместе с сумрачным бородатым человеком, который всегда ходил в плаще, широкополой шляпе и с толстой палкой. «Частые сборища молодежи у Петрашевского были известны всем дачникам. Его можно было встретить на прогулках, окруженного молодыми людьми». У дачников Панаевых Ф. М. не только не бывал, но даже не кланялся при встречах. Некрасов и Панаев «удивлялись таким выходкам Достоевского».

Добрый доктор Яновский, изображая своего друга в самых возвышенных тонах, найдет великодушное объяснение опасному тяготению молодого писателя к «обществу пятниц»: «Посещая своих друзей и приятелей по влечению своего любящего сердца и бывая у Петрашевского по тем же самым побуждениям, он вносил с собою нравственное развитие человека, в основание чего клал только истины Евангелия, а отнюдь не то, что содержал в себе социал-демократический устав 1848 года».

Но это была далеко не вся правда.

Глава вторая

«ГРУСТНОЕ, РОКОВОЕ ВРЕМЯ...»

Усмирение Франции. — Обман истории. — Русская книгобоязнь. — Дух и механика. — Муравьиная необходимость. — Белинский о Христе. — Богохульство пятниц. — Доклад Спешнева. — «Пленение» Тимковского. — Эмиссар Черносвитов. — Новые ячейки

Весной 1848 года Францию по-прежнему лихорадило: революция переживала заключительную фазу, время социальных иллюзий истекло. На выборах в Учредительное собрание (23—24 апреля) левые радикалы и социалисты потерпели поражение. 4 мая открылись заседания Учредительного собрания; 15 мая рабочая демонстрация, добивавшаяся его роспуска, окончилась провалом и арестом вождей. Волнения низов, недовольных безработицей и низким уровнем жизни, стихийно возникавшие на улицах, пресекались национальной гвардией. Снова Париж был в баррикадах; 23—26 июня начались беспорядки, переросшие в восстание, и в город ввели войска под руководством военного министра Луи Эжена Кавеньяка. Сперва генерал пытался убедить восставших, что у народа и власти есть общий враг — радикалы. «Придите к нам как раскаявшиеся братья, покорные закону, — призывал он, — республика всегда готова принять вас в свои объятия!» Однако беспорядки усиливались, и приказ о их подавлении вступил в действие. При взятии мятежных предместий Ла-Тампль и Сент-Антуан было убито и казнено 11 тысяч человек. Кавеньяка, получившего диктаторские полномочия, называли спасителем цивилизации; Николай I прислал ему поздравительную телеграмму. Реформы, начатые временным правительством, были приостановлены, радикальные газеты и политические клубы закрыты.

«Трех полных месяцев не прошло еще после 24 февраля, башмаков не успели износить, а уж усталая Франция напрашивалась на усмирение, — писал жестоко разочарованный Герцен, свидетель событий*. — В ушах еще *раздаются* выстрелы,

* В «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский писал: «Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только “логического течения идей” и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой...

топот несущейся кавалерии, тяжелый густой звук лафетных колес по мертвым улицам... Сидеть у себя в комнате сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возле льется кровь, режутся, колют, что возле умирают, — от этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарелся; я оправляюсь после Июньских дней, как после тяжкой болезни... После бойни, продолжавшейся четверо суток, — наступила тишина и мир осадного положения... Половина надежд, половина верований была убита, мысли отрицания, отчаяния бродили в голове, укоренялись»[26].

Нельзя сказать, что июньские события петрашевцами переживались так же тяжело и так же лично, как переживал их Герцен. Но даже в кругу Герцена привыкали смотреть на Францию как на лабораторию, где ставится большой социальный эксперимент. Русских социалистов к тому же согревала надежда, что они не будут отвергнуты французскими единомышленниками — известно было о дружественных отношениях Бакунина и Герцена с самим Прудоном, и номера его «Représentante du Peuple», доставляемые в Петербург контрабандой, заучивались наизусть. «Июньские газеты, правда, огорчили петербургскую молодежь, но все же, проклиная Марраста, Кавеньяка и их товарищей, она не падала духом»[27].

Смысл событий июня 1848-го, позже понятых Герценом как коварный обман истории, имел куда большее отношение к судьбам петербургской молодежи, чем к жизни автора «Былого и дум». «Что ж, наконец, все это шутка? Все заветное, что мы любили, к чему стремились, чему жертвовали. Жизнь обманула, история обманула, обманула в свою пользу; ей нужны для закваски сумасшедшие, и дела нет, что с ними будет, когда они придут в себя: она их употребила — пусть доживают свой век в инвалидном доме. Стыд, досада!»[28] Для петрашевцев, спасавшихся от холерной эпидемии в своих имениях и на дачах, расстрел восстания в Париже был горьким, но все же далеким известием; время, «когда они придут в себя», тогда еще не наступило. Они видели только, как непредсказуемо и как быстро реакция в Европе аукается дома: 25 июня русские войска оккупировали Молдавию в назидание местной оппозиции, требовавшей введения конституции и демократических свобод.

Всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был gentilhomme russe et citoyen du monde, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно чрез разрыв с родной землей и с ее идеалами».

Меж тем в августе министр внутренних дел граф Л. А. Перовский получил первое уведомление о Петрашевском — позже обнажится пружина большой правительственной интриги. «Счастливый своим открытием, Перовский докладывает о нем государю, но, может быть, вы думаете, что он шепнул об этом и своему коллеге по тайной полиции, графу Орлову? Боже сохрани! он потерял бы тогда отличный случай доказать царю, что тайная полиция состоит из ничтожеств. Перовский хочет оставить себе одному честь спасения отечества. Поэтому гр. Орлов в течение шести месяцев не знает об этом большом деле»[29].

...Дачный сезон заканчивался; к августу холера в столице пошла на убыль. В начале сентября и Достоевский, и Петрашевский вернулись из Парголова, Спешнев — из своего курского имения, и в октябре пятницы возобновились. Минуло последнее вольное лето их молодости — и если бы по какой-либо счастливой причине членам «разговорного общества» пришлось задержаться где-нибудь до весны, их жизнь пошла бы совершенно другим путем. Доктор Яновский из самых благородных побуждений искренне уверял читателей своих мемуаров, что Достоевский не мог быть ни заговорщиком, ни анархистом. «Каким образом мог Федор Михайлович, будучи от природы чрезвычайно нервным и впечатлительным, удержаться от того, чтобы не проговориться в беседах с нами о его сочувствии социализму... Я видал Федора Михайловича и слушал его почти каждый день, встречал его у Майковых по воскресеньям и у Плещеева... но ни я, ни кто из близких мне никогда не слыхали от Федора Михайловича ничего возбуждающего к анархии... Он везде составлял свой кружок и в этом кружке любил вести беседу своим особенным шепотком; но беседа эта была всегда или чисто литературная, или если он в ней иногда и касался политики и социологии, то всегда на первом плане у него выдавался анализ какого-нибудь факта или положения...»

Но время («грустное, роковое для меня время», — скажет Достоевский) даже самых трезвомыслящих понуждало выходить за рамки литературных дискуссий: «факты и положения» требовали политического осмысления. Пятничный сезон 1848—1849 годов проходил под аккомпанемент событий в Париже, а вскоре говорили уже и о восстаниях в Милане, Венеции и Неаполе, о взрыве свободомыслия в Германии, за которым последовали революции в Берлине и Вене. А. П. Милюков, историк литературы и знакомец Достоевского по кружкам 1848 года, писал в этой связи: «Казалось, готовится какое-то общее перерождение всего европейского мира. Гнилые основы старой реакции падали, и новая жизнь зачиналась во всей Евро-

пе. Но в то же время в России господствовал тяжелый застой... Больше чем когда-нибудь стеснялась научная и литературная деятельность, и цензура заразилась самой острой книгобоязнью... Чуть не каждая заграничная почта приносила известие о новых правах, даруемых, волей или неволей, народам, а между тем в русском обществе ходили только слухи о новых ограничениях и стеснениях. Кто помнит то время, тот знает, как все это отзывалось на умах интеллигентной молодежи»[30].

Встречаясь по пятницам, сочувствующие литературе люди побеждали «книгобоязнь» по-своему. Здесь читали не только рефераты по фурьеризму (Данилевский слыл главным специалистом) или по политической экономии (И. Л. Ястржембский, выпускник Харьковского университета, преподавал эту дисциплину в Технологическом институте). С отрывками из «Бедных людей» и «Неточки Незвановой» выступал Ф. М. и, конечно, высказывался против злоупотреблений крепостным правом. «Многие из нас, — вспоминал Семенов Тян-Шанский, — ставили себе идеалом освобождение крестьян из крепостной зависимости, но эти стремления оставались еще в пределах несбыточных мечтаний и были более серьезно обсуждаемы только в тесном кружке, когда впоследствии до него дошла через одного из его посетителей прочитанная в одном из частных собраний кружка и составлявшая в то время государственную тайну записка сотрудника министра государственных имуществ Киселева, А. П. Заблоцкого-Десятовского, по возбужденному императором Николаем I вопросу об освобождении крестьян».

Достоевский никогда не преуменьшал своего увлечения социалистическими учениями. «Я застал его *страстным* социалистом, — писал он о Белинском. — В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял всё учение его». Страсть, подогреваемая парижскими баррикадами и бурными пятничными собраниями, накалялась и требовала выхода, а критика крепостничества нуждалась в политических выводах. Как бороться с системой — через бунт или путем морального воздействия на общество? Единого ответа не было.

«Иные высказывали мнение, — писал Милюков, участник кружков Плещеева и Дурова, куда ходил и Достоевский, — что ввиду реакции, вызванной у нас революциями в Европе, правительство едва ли приступит к решению этого дела и скорее следует ожидать движения снизу, чем сверху. Другие, напротив, говорили, что народ наш не пойдет по следам европейских революционеров и, не веруя в новую пугачевщину, будет терпеливо ждать решения своей судьбы от верховной власти.

В этом смысле с особенной настойчивостью высказывался Ф. М. Достоевский»[31]. Милюков вспоминал, с каким воодушевлением и акцентом на второй строке читал однажды Ф. М. пушкинские стихи: «Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный / *И рабство падшее по манию царя*, / И над отечеством свободы просвещенной / Взойдет ли наконец прекрасная заря?» «Когда при этом кто-то выразил сомнение в возможности освобождения крестьян легальным путем, Ф. М. Достоевский резко возразил, что ни в какой иной путь он не верит»[32].

Но вот А. И. Пальму запомнился другой случай. Когда однажды спор об освобождении крестьян коснулся вопроса: «Ну а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе как через восстание», — то Достоевский, «с своею обычною впечатлительностью воскликнул: “Так хотя бы чрез восстание!”». И все же в романе «Алексей Слободин» (спустя много лет Пальм признался О. Ф. Миллеру, что в лице Слободина запечатлены черты молодого Достоевского) герой в момент горячего политического спора говорит: «Освобождение крестьян несомненно будет первым шагом в нашей великой будущности», но вопросы власти его не занимают: «Я не верю в полезность игры в старые политические формы»[33].

Социальная страсть Достоевского была иной, чем у большинства петрашевцев, упорных проповедников социализма, которых Ф. М. считал честными фантазерами. Жизнь в икарийской коммуне представлялась ему противнее всякой каторги. Перспектива очутиться в фаланстере, выстроенном Петрашевским (не говоря уже о фалангах Фурье), была для автора «Бедных людей» столь же неприемлема, сколь и для отчаявшихся деморовских мужиков, которые устроили костер из бревен, плугов, ухватов и горшков, лишь бы не стать подопытным материалом для барина-экспериментатора. Линия раздела, как ее уже тогда видел Достоевский, проходила между социальным *духом* и социальной *механикой*, и симпатии Ф. М. всецело были на стороне духа. В этом смысле у Жорж Санд, на которую Белинский обрушивал потоки брани, называя мещанским писателем, Достоевский видел больше социализма, чем в социалистических кружках: «Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою...»

В глазах Достоевского Жорж Санд была «одной из самых полных исповедниц Христовых, сама не зная о том». Петра-

шевский же, сторонник «муравьиной необходимости», на многих производил отталкивающее впечатление, поскольку глумился над верой. Крайний либерал и радикал, атеист, социалист и республиканец, он проповедовал «какую-то смесь антимонархических, даже революционных и социалистических идей не только в кружках тогдашней интеллигентной молодежи, но и между сословными избирателями городской думы», — писал Семенов-Тян-Шанский, подчеркивая, что в кружке не считали Петрашевского сколько-нибудь серьезным и основательным человеком.

Да и Белинский, еще раньше, до пятниц, обращая автора «Бедных людей» в свою веру, начинал «прямо с атеизма»: «Как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма...» Пройдет 20 лет, но с такой же болью будет вспоминаться случай, когда Белинский в ажиотаже спора грязно бранил Христа. «Этот человек ругал мне Христа по-матерну, а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнения...» Не щадил Белинский и «низложенного» Достоевского, особенно в пункте его «наивного» христолюбия. Трудно было забыть жалящие слова критика: «Каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него [Достоевского] всё лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек... поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества... Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними». «О той же самой бешеной выходке Белинского говорил мне Ф. М. года за три до своей смерти — говорил с тем же неугасшим с годами негодованием»[34], — писал Миллер.

О том, что в век разума, науки и железных дорог Спаситель, согласно Белинскому, *примкнет к социалистам и пойдет за ними*, Достоевский, должно быть, не раз вспоминал на пятничных собраниях. Но можно ли было себе представить хоть на мгновение, что и здесь «Христос среди нас»? За время общения с петрашевцами Ф. М. не раз бывал свидетелем лихого богохульства. «Особенно обращал на себя внимание обычай разговляться в Страстную пятницу, и это происходило (как говорили тогда) уже несколько лет посреди Петербурга»[35], — вспоминала Н. А. Огарева-Тучкова. «В пятницу на Страстной неделе, — писал и Семенов-Тян-Шанский, — он [Петрашевский] выставлял на столе, на котором обыкновенно была выставляема закуска, кулич, пасху, красные яйца и т. п.». Религия

вредна, говорили здесь; она подавляет разум и заставляет человека быть добрым из страха наказания. Подвергали сомнению достоверность книг Священного Писания, называли их апокрифическими, написанными не апостолами, слушавшими учение Христа, а позднейшими лидерами касты духовенства, «жаждавшего забрать в свои руки власть»[36].

На пятничных собраниях толковали, что с помощью науки нельзя положительно доказать ни бытия Божия, ни его небытия — и то и другое только гипотеза. Богословие называлось бреднями, вышедшими из монашеских клобуков. Утверждалось, что сам Иисус Христос — не Бог, а простой человек, «такой же, как и мы, но гениальный и посвященный в таинства наук, нововводитель, умевший воспользоваться своим положением»[37]. В одной из найденных у Петрашевского речей Иисус Христос был назван демагогом, неудачно кончившим свою карьеру; ему, впрочем, возражали: почему же неудачно, если учение завоевало весь мир?

Согласно действовавшим законам такие речи не сулили ничего хорошего. Статья 142 Свода военных постановлений (на нее будет опираться приговор военного суда над петрашевцами) гласила: «Кто возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, или на Пресвятую Матерь Божию, Деву Марию, или на честный крест, или поносит службу Божию и церковь православную и ругается Св. Писанию и Св. Таинствам и в том явно изобличен будет, тот подвергается лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу, а сверх того и публичному церковному покаянию». Статья 144 добавляла: «Кто, слыша таковое хуление, благовременно о том не донесет, тот почитается участником в сем преступлении и подлежит наказанию, смотря по вине». Статьи 183 и 184 Уложения о наказаниях разъясняли: учинивший преступление не в церкви, но в публичном месте или при собрании, более или менее многолюдном, приговаривается к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу на заводах на время от шести до восьми лет. Учинивший же преступление хотя и «не публично, но при свидетелях, с намерением поколебать их веру или произвести соблазн», также приговаривался к лишению всех прав состояния и к ссылке на поселение в отдаленнейших местах Сибири[38].

...В октябре по просьбе Петрашевского с обещанным докладом выступил наконец и Спешнев. Свой дебют он запомнил так: «В октябре месяце начал было излагать на собрании религиозный вопрос и прочитал только одну лекцию, которая показалась, кажется, и суха и коротка, так что не решался уже более распространять своих иррелигиозных идей и предпочел

лучше совсем не делать изложений, а писать для себя»[39]. Николай Александрович Момбелли, 25-летний поручик лейб-гвардии Московского полка, утверждал, что Спешнев «в своем чтении о религии ни слова не говорил, а рассуждал исключительно о метафизике и чрезвычайно отвлеченно», но обещал впредь толковать о религиях «в историческом и философическом смыслах»[40]. Ханыков вспомнил выступление Спешнева чуть иначе. «Спешнев объявил, что будет говорить о религиозном вопросе с точки зрения коммунистов; что возбудило во мне, в господах Дебу и Петрашевском большое любопытство, ибо, держась противного учения, мы готовили опровержения. Но по неизвестной мне причине, после довольно неопределенного введения в этот вопрос, сделанного им на двух вечерах, он более не говорил о нем»[41].

Дебют провалился. «Рассуждение в форме речи о религии, в котором опровергается существование Бога», не было циклом лекций и не содержало никакого материала для оппонентов, готовивших «опровержения». Даже военный суд, который через год приговорит Спешнева к смертной казни за богохуление, не смог прокомментировать «Рассуждение». Несколько строк, использованных в докладе суда, напоминали уличную прокламацию, а не ученую речь. Но даже если бы теперь Спешнев уехал в деревню и сидел там вплоть до апрельских арестов, каземат в Петропавловской крепости он себе уже обеспечил.

«С тех пор, как стоит наша бедная Россия, в ней всегда и возможен был только один способ словесного распространения — изустный, для письменного слова всегда была какая-нибудь невозможность. Так как нам осталось одно изустное слово, то я и намерен пользоваться им без всякого стыда и совести, без всякого зазора, для распространения социализма, атеизма, терроризма, всего, всего доброго на свете и вам советую тоже»[42].

Все это походило на памфлет. Агитация «без всякого стыда и совести» (наверное, автор хотел сказать «без страха и сомнения») была нарочито вызывающей; пассаж, в котором терроризм, социализм и атеизм причислялись ко «всему, что есть доброго на свете», выглядел прямой провокацией. Не то ожидали услышать фурьеристы, вступая в спор даже и с коммунистом; не так должен был дебютировать почетный гость всех кружков. И содержание, и тон, и стиль «Рассуждения» (если судить о нем по общему впечатлению и одной цитате) были рассчитаны на эпатаж и рождали подозрение, что лектор дурачит или дразнит аудиторию.

Той осенью Достоевский и Плещеев (на докладе Спешнева их не было) явились к нему с предложением открыть салон.

«Им хотелось бы сходиться с своими знакомыми в другом месте, а не у Петрашевского, где и скучно, и ни о чем не говорят, как о предметах ученых, и люди почти не знакомы, да и страшно сказать слово»; они намерены были «приглашать только тех из своих знакомых, в которых уверены, что они не шпионы и что он, Спешнев, может то же делать». Спешнев искренне недоумевал, почему литераторы (он насмешливо назовет их обществом «от страха перед полицией») явились именно к нему. «Мысль [о полиции] родилась у людей робких, которые желали просто разговаривать, но боялись, что им за каждое слово может достаться»[43].

Интересно, что Ханыков, хотя и недовольный «религиозным введением» Спешнева, вскоре привел к нему братьев Дебу. «Они также говорили, что им общество Петрашевского не нравится, оттого что там тон очень бурный и говорят обо всем, а они не намерены и не обязаны отвечать за других. При этом они объявили, что зимою будет принимать у себя один молодой человек, их знакомый, Кашкин, и предложили Спешневу посещать это общество, сказав, что там будут спорить и говорить о фурьеризме, потому что изложений никто не способен делать и что ничего другого они не хотят, как провести вечер весело и поспорить о фурьеризме»[44].

«Бедные литераторы» и «чистые фурьеристы» просили защиты у Спешнева от Петрашевского, который намеревался ввести беспорядочные разговоры в тематическое русло. Но в это время сам Спешнев был уже захвачен другой идеей. Д. Д. Ахшарумов, чиновник Министерства иностранных дел и приверженец Фурье, также приглашенный к Кашкину, вспоминал: «Свой особенный кружок, сколько мне известно, с особым направлением, составлял Спешнев, как бы соперничая с Петрашевским и некоторое время готовый устраниться от него»[45].

«Особенный кружок» начался с К. И. Тимковского, 34-летнего чиновника особых поручений Министерства внутренних дел. По наблюдению Достоевского, он производил «очень двусмысленное» впечатление; «некоторые смотрели на Тимковского с насмешливым любопытством; некоторые скептически не верили его искренности; некоторые принимали его за истинный, дагерротипный верный снимок с Дон-Кихота и, может быть, не ошибались»[46]. Спешнев едва ли не заманивал к себе Тимковского, изучал его, как изучают странное или аномальное явление. И фурьерист-неофит вскоре уже говорил: Спешнев «*один* способен распространить социализм». Спешневу нравилось *влиять* на Тимковского, а тот ради патрона готов был немедленно взяться за перевод сочинений Фурье на

русский язык, пропагандировать их в Цензурном комитете, ехать к какому-нибудь банкиру, чтобы доказать всю выгоду обращения его капиталов на устройство «фаланги».

Оставался главный пункт несогласия: вера. Когда экзальтированный Тимковский появился в кружке Петрашевского и услышал, что́ здесь говорят о религии, он хотел бежать, но остался «по самонадеянности». Он собирался выступить с речью и доказать «путем чисто научным» божественность Иисуса Христа — но его опередили. «Они приводили в опровержение меня такие доводы, которые тогда, оглушая меня своей дерзостью, затмевали мой рассудок и казались мне неотразимыми. Вера моя поколебалась, и вскоре я дошел до совершенного отрицания веры христианской, сомневался даже в существовании самого Бога. *И теперь еще для меня чудно и непонятно, как в такое короткое время (в сорок дней) я мог пасть так глубоко...* Ужасны, невыносимы муки перехода от веры пламенной к безверию...» Позже Тимковский назовет демонов-искусителей — Петрашевского, Толля, Баласогло, Ястржембского, Спешнева, но откажется показать, *что именно* говорил ему каждый из них. Так или иначе все вместе они доказывали новичку, что Иисус Христос — всего только ловкий человек, что Священное Писание недостоверно, что здание христианской религии искусно нагромождено усилиями властолюбивого духовенства.

Соблазненный в безбожие Тимковский пламенно поверил всем доводам о *гипотезе бытия Бога, равной гипотезе о его небытии*, подкрепленной доводами науки. «Религия моя основывалась не на учености, а на привычке, приобретенной с детства, на чувстве; она была в сердце моем, а не в уме, и я никогда дотоле не рассматривал ее со стороны исторической...» Он стыдился своей пылкой веры и своего невежества; «до такого ужасного результата они доводили меня всеми тонкостями самой хитрой и лукавой диалектики, и мой бедный ум, однажды уже пошатнувшийся, совсем растерялся. Вот таким образом я впал в бездну неверия и злочестия».

Спешнев выпустил Тимковского на публику на исходе сорока дней, когда «бездна неверия» уже разверзлась. Предмет речи не имел значения — «лукавая диалектика», в сочетании с могучей логикой, тонким обхождением и особым расположением к ученику, должна была сработать безотказно. Когда Тимковский явился на вечер с тетрадкой в руках и объявил, что намерен открыть свои взгляды, Петрашевский был против; пользуясь правом хозяина, просил просмотреть записи. Тимковский не согласился, но выступление по настоянию Спешнева все же состоялось.

Показательно, что на следствии Тимковский изложил свою речь совсем не так, как она была прочитана у Петрашевского (Спешнев с иронией заметит, что Тимковский, который прежде ругал революцию и собирался математически доказать, будто «Христос воплотился от девы», произнес речь о необходимости революционной пропаганды). Тимковскому казалось, что он читал речь о системе Фурье и возможности мирного преобразования государства при содействии правительства; но аудитория услышала сумасшедшее предложение разделить мир на две части, отдав одну часть на опыт фурьеристам, а другую — коммунистам, ибо «всем должно действовать». К тому же он сравнил себя с Самсоном. «Впечатление было самое грустное; многие побледнели, раскаяние в приезде на вечер и страх изобразились на лицах».

Пятницы у Петрашевского имели магическое свойство обращать благонамеренные речи в бунтарские призывы.

Тимковский был потрясен, когда следствие предъявило для разъяснения «возмутительные пункты» речи. «Я и сам не помню моей речи от слова до слова, помню только ее сущность», — оправдывался он; но Ханыков показал, что речь «была возбудительна в духе коммунизма», Толль — что речь была о необходимости какого-то переворота; Момбелли — что речь была длинна, составлена из риторических фраз и призывала устроить кружки для изучения фурьеризма и коммунизма (притом что хозяева кружков собирались бы особо). Петрашевскому советовали не пускать к себе такого человека, который не умеет держать язык за зубами. Хозяин был встревожен, подходил ко всем и шепотом просил благодарить докладчика за откровенность и «учтивостью отделаться от него», был неприятно поражен «эмфазой» речи и ее радикальной риторикой. Никто не мог понять, каким образом мирная фурьеристская проповедь уклонилась в русло коммунистической пропаганды.

Тимковский уезжал из Петербурга в убеждении, что отныне есть два настоящих проповедника фурьеризма: Спешнев в Петербурге и он сам в Ревеле. «Возвратясь домой, я был вне себя от радости», — признавался он, искренне считая, что *уполномочен* Спешневым на пропагандистскую работу в Ревеле. Восторженно проповедуя любимое учение, переходя из дома в дом, он пытался найти союзников или сочувствующих. «Я невольно замечтался, мне казалось, что тут успех несомненен, завтра меня будут слушать еще, потом в тех домах соберется целый кружок слушателей, и наука приобретет новых последователей». Но везде над ним только смеялись — и слушали для того, чтобы потом оспорить и высмеять. Он слал письма Спешневу, докладывая о результатах работы, полагая, что *при-*

вязан к патрону и *обязан* отчетом. Молчание Спешнева (он не ответил ни на одно письмо Тимковского «по лености», а также потому, что пылкий неофит наскучил ему) охладило ученика, и он пришел к выводу, что утопия Фурье вредна, ибо прямо ведет к безбожию.

Случай с Тимковским, когда вера и принципы одного подчинились властному обаянию и воле другого, был всего лишь одним из захватывающих сюжетов, в которых Спешнев попробовал свои силы.

С середины ноября необыкновенную активность стал проявлять сибирский золотопромышленник Р. А. Черносвитов, военный инвалид тридцати восьми лет, искавший «социальные знания». Позже он скажет, что не нашел у петрашевцев ничего интересного, никого, равного себе, и оставил их, чтобы не терять попусту время. С появлением Черносвитова на пятницах вспыхнуло новое соперничество: красноречивый гость норовил обострить разговор, перехватить инициативу и лидерство. Спешнев отнесся к Черносвитову ревниво, полагая, что тот дурно влияет на Петрашевского[47]. Черносвитов будто не замечал напряжения: восхвалял богатство Восточной Сибири («ей, верно, когда-нибудь суждено быть отдельной империей»), хвастал своими мужскими подвигами («длинно рассказывал черты из своих любовных похождений и доказывал, что он на все мастер»).

Вполне вероятно, что двусмысленное поведение Черносвитова сблизило Спешнева с Достоевским. К декабрю 1848-го они были знакомы уже полтора года, но однажды вечером произошла сцена, позже описанная Спешневым. «Было поздно, и все ушли. Я помню только, что Достоевский на улице сказал: “Черт знает, этот человек говорит по-русски, точно как Гоголь пишет”, и потом, подойдя ко мне, сказал: “Знаете что, Спешнев, — мне кажется, что Черносвитов просто шпион”. “Я думаю, — отвечал я, — что он человек с задними мыслями”. Он [оставил] во мне впечатление или эмиссара, или главы какого-нибудь тайного общества в Сибири, который приехал набирать людей. Он и звал всех в Сибирь: “А знаете что, господа, поедемте все в Сибирь — славная сторона, славные люди”».

Черносвитов допытывался о существовании в России тайных обществ, выведывал планы восстания в Москве и Петербурге (которых ни у кого не было и быть не могло) и все, что слышал от Спешнева (а тот, как обычно, темнил), передавал Петрашевскому, а потом давал понять, что знает все секретные разговоры. Навязчиво расхваливал Спешнева, сказав как-то, что доверил бы ему выполнить «любое дело». На вопрос, о каком деле идет речь, отвечал «темно». Вызывал на откровен-

ность, но сам вел себя уклончиво. Упрекал собеседников в скрытности, но ему указывали, что и сам он уходит от ответов. Отношения лидеров запутывались, при этом Черносвитов пытался использовать растущую неприязнь Петрашевского к Спешневу — хозяин пятниц отзывался о своем бывшем однокашнике «постоянно нехорошо». Личность Черносвитова почти у всех вызывала сомнения; в нем подозревали и правительственного агента, и лицо, имеющее свои цели, — Петрашевский же передавал Черносвитову все закулисные разговоры. Но как только Спешнев разгадал, что миссия «тайного эмиссара» Сибири, на которую намекал Черносвитов, блеф, попытки Петрашевского уравновесить Спешнева Черносвитовым провалились. «Я с первых пор сомневался и думал, что он хочет только разжечь мою голову или завлечь меня... Вообще я считаю, что он очень ловкий и хитрый человек», — показывал на следствии Спешнев.

Общество все больше увязало в особых отношениях и боковых ответвлениях, которые возникали помимо пятниц, а то и втайне от них. В октябре 1848-го после одного из бурных заседаний у Петрашевского Момбелли поделился с Ф. Н. Львовым (штабс-капитаном лейб-гвардии егерского полка, репетитором по химии в кадетском корпусе) о своем желании составить общество братства, товарищества и взаимопомощи, где не будет «личностей» друг против друга — «так, чтоб никто не имел права обижаться, что его обличат в какой-нибудь глупости»[48]. В декабре то же самое Момбелли предложил Петрашевскому и Спешневу. Возникла новая группа: Момбелли мечтал о взаимной помощи, «для того чтобы поддерживать и возвышать друг друга, говорить хорошо друг про друга и даже помогать один другому деньгами, складываться и пускать капитал в оборот». Момбелли считал, что приманка такого общества чрезвычайно сильна, так как «кроме авторитета и денежной выгоды можно будет доставлять друг другу места». К тройке присоединились Львов и Дебу-старший.

Пятерка собиралась у Спешнева. Братство нуждалось в конфиденциальности, и Николай Александрович, пригласив людей, велел прислуге никого больше не принимать. Момбелли предложил каждому вступающему предъявлять написанные биографии; Петрашевский потребовал, чтобы в них были изложены этапы умственного развития. Тут уже воспротивились Момбелли («мои мнения были неуловимо подвижны, изменяясь ежедневно») и Спешнев: его интересовало политическое общество, способное воспользоваться переворотом, который должен «сам собою» произойти в России через несколько десятков лет, как это случилось в западных государст-

вах. Спешнев требовал от пятерки ясности. Он специально ездил к Петрашевскому объясняться — если хотят бунта, пусть говорят откровенно. В день собрания он «накидал на бумаге сумасбродный план тайного общества» и вечером прочитал его участникам.

План предполагал три взаимосвязанных способа действия — иезуитский, пропагандный и повстанческий; при этом руководство брал на себя Центральный комитет, которому подчинялись три частных — комитет товарищества, комитет для устройства школ пропаганды (фурьеристской, коммунистической, либеральной) и комитет тайного общества на восстание. «Спешнев, видя общее неодобрение, хотя резко никто ему и не противоречил, предложил устроить центральный комитет *из себя*, в который вошли бы представители различных мнений» (показания Момбелли). Спешнев первым произнес слово «восстание», вокруг которого все вертелось, и увидел, что все против. Наутро после собрания он сжег свой план и решил прибегнуть к уже испытанной тактике — сделать спорным вопрос о целях и на разногласиях резко выйти из пятерки. Тут же представился случай: Петрашевский поручил Дебу опросить пятерку о желании возобновить собрания и потребовал от Спешнева открыто высказаться насчет его коммунистических взглядов.

Из показаний Момбелли: «В пятницу Петрашевский отозвал меня к себе в кабинет и дал прочесть письмо Спешнева, составлявшее ответ на предложение Дебу. В письме Спешнев иронически отзывался о нашей затее, называл ее охотой за местами (“chasse aux places”), желал молодым людям (мне и Львову) всякого счастия и отказывался от предложения, говоря, что он связан другими условиями, более положительными. Над последним обстоятельством смеялся Петрашевский, приписывая это ребяческому хвастовству, желанию показаться действующим. Петрашевский часто жаловался на скрытность Спешнева, говоря, что он всегда хочет казаться не то, что есть». Тем не менее Львов до самого ареста имел неясное подозрение, будто Спешнев нарочно расстроил общество, потому что имел уже организацию с определенной целью и «что он нас потому не хочет иметь с собою, чтобы быть у себя первым»[49].

Образ действий Спешнева мало способствовал созданию хоть какого-то подобия организации. Николай Александрович имел огромный талант мгновенно привлекать людей, но нисколько не заботился о том, чтобы удержать их около себя. Он ожидал от партнеров полной откровенности, но сам оставался закрытым. Хотел создать тайное общество с Центральным комитетом и партийной дисциплиной, но не признавал никакой

обязательности для себя лично. Эксплуатировал ореол таинственности и эффект загадочного поведения, но игнорировал то обстоятельство, что в глазах Петрашевского все его тайны и загадки были всего лишь позой. Расстаться с образом «таинственного гостя» Спешнев не мог — игра зашла далеко, маска приросла к лицу; выйти из роли можно было бы только выйдя из общества. Он был обречен на лицедейство («шарлатанство», как назовет эту игру Бакунин); оно становилось тем более увлекательным, что обретало дыхание подлинной жизни, имитировало дело и деятельность, вовлекало в свою орбиту новых сторонников, поклонников, конфидентов.

Лучше всего ему удавался психологический поединок с глазу на глаз, имевший вид сокровенной доверительной беседы. Так Спешнев «допустил» до себя Данилевского, Тимковского, Плещеева, Баласогло — и пленил их. Почерк «обаятельного обольстителя», явленный благодаря письмам и показаниям Тимковского, мог остаться единственным известным образцом «пленения» *à la Speshneff*.

Однако в декабре 1848 года он захотел «допустить» до себя Достоевского.

Глава третья

ХОЛЕРНАЯ ВЕСНА 1849 ГОДА

Методы пропаганды. — Сильный барин. — Мучительный долг. — Свой Мефистофель. — Фауст-порученец. — Аффилиация Майкова. — Незамеченный заговор. — Судьба кредита. — Смертоносный листок. — Письмо Белинского. — Преступные сходки

Если пятничные собрания действительно были «обществом пропаганды», то резонно задуматься: какая роль отводилась здесь Достоевскому? Годился ли он для пропаганды фурьеризма, к которому относился скептически? А ведь цель пятниц не скрывалась: когда на одном из заседаний Тимковский попросил разъяснить, какие цели преследует общество, ему ответили: цель — социальные реформы, средство — пропаганда знаний.

Вопрос, однако, был не в том, *что* пропагандировать, а в том, каковы должны быть *практические методы* агитации. Никчемным миссионером фурьеризма оказался Тимковский, проваливший дело в Ревеле; да и сам Петрашевский вызывал антипатию парадоксальностью взглядов и экзотическим поведением. Куда бóльшую ценность для общего дела имела чисто-

та социального чувства кружковца, личное переживание общественной несправедливости. Общее недовольство — вот та связь, которая объединяла членов всех тогдашних кружков, независимо от разногласий, натянутых отношений и размолвок.

В такой роли Достоевскому, как считали многие, не было равных; его страстная натура производила на слушателей ошеломляющее впечатление и виделась наиболее подходящей для пропаганды недовольства. Петрашевский считал талант Достоевского «не из маленьких в нашей литературе», и поскольку талант — это «собственность общественная, достояние народное», то на литератора можно возложить обязанность «поселять свои идеи в публике»[50]. О. Ф. Миллер передавал рассказ Ипполита Дебу: «Как теперь вижу я перед собою Федора Михайловича на одном из вечеров у Петрашевского, вижу и слышу его рассказывающим о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель финляндского полка, отмстивший ротному командиру за варварское обращение с его товарищами, или же о том, как поступают помещики со своими крепостными. Не менее живо помню его, рассказывающего свою “Неточку Незванову” гораздо полнее, чем была она напечатана; помню, с каким живым человеческим чувством относился он и тогда к тому общественному “проценту”, олицетворением которого явилась у него впоследствии Сонечка Мармеладова (не без влияния, конечно, учения Фурье). Понятно, что Достоевским особенно дорожили и “фурьеристы”, желая его видеть в числе своих. Рассчитывать на то, чтобы его перетянуть к себе, казалось возможным по его особой впечатлительности и неустановленности»[51].

Вскоре после того, как Достоевский, услышав на одной из пятниц дерзкие тирады Черносвитова, заподозрил в нем шпиона-провокатора и сказал об этом Спешневу, тот, должно быть, присмотрелся к Ф. М. повнимательнее, тем более что «особые отношения» с Тимковским и Черносвитовым были исчерпаны. Достоевский, автор «Бедных людей» и «Двойника», «Неточки Незвановой» и «Белых ночей», его, кажется, совсем не интересовал. Ни прежде, ни потом беллетристикой Спешнев не увлекался, сочинений писателей-петрашевцев не читал, видя в них людей робких, которые боятся каждого неосторожного слова.

Но необыкновенная страстность этого молодого человека, его горячность в сочетании с «неустановленностью» пробуждали интерес — тем более что тихий, скромный, способный к нежной чувствительности литератор становился вполне откровенным только один на один. «В минуты таких порывов, —

писал Семенов-Тян-Шанский, — Достоевский был способен выйти на площадь с красным знаменем». Порывы возникали тоже не на пустом месте, а были подготовлены социальной мыслью, понимаемой «в самом розовом и райско-нравственном свете». «Мы, — вспоминал Ф. М., — еще задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю правду этого грядущего “обновленного мира” и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским».

Рассказывая доктору Яновскому о посетителях пятниц, Достоевский тепло отзывался о Дурове («называя его человеком очень умным и с убеждениями»), о Пальме, о Момбелли, о Плещееве, с которым тесно дружил. И только о Спешневе Ф. М. «или ничего не говорил, или отделывался лаконическим: “Я его мало знаю, да, по правде, и не желаю ближе с ним сходиться, так как этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому”». Яновский, зная самолюбие приятеля, не настаивал на подробностях и объяснял его нерасположение к «сильному барину» просто: нашла коса на камень.

Однако внимательно наблюдая за состоянием пациента, доктор видел неладное — если не по существу, то по внешности и поведению. «Федор Михайлович... сделался каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым и готовым придираться к самым ничтожным мелочам и как-то особенно часто жалующимся на дурноты». Видя у Достоевского «скучное расположение духа», Яновский искал органические расстройства, а не находя их, уверял, что дурнота, не имея медицинских причин, бесследно пройдет. Какое-то время Достоевский отмалчивался, но однажды заговорил.

«Я инстинктивно верил, — вспоминал Яновский, — что с Федором Михайловичем совершилось что-то особенное. На беду мою, я знал, что он в последнее время сильно жаловался на безденежье, и когда я говорил ему, что я, кроме копилки, могу ему уделить еще своих рублей пятнадцать—двадцать, то он замечал мне: “Не двадцать или даже пятьдесят рублей мне нужны, а сотни: я должен отдать портному, хозяйке, возвратить долг Mich-Mich (так он звал старшего своего брата), а все это более четырехсот рублей”». Некоторые следы этих трат подтвердятся документально: по возвращении из Парголова Достоевский снял комнату на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта, на третьем этаже доходного дома; в конце сентября заказал портному плащ «из лондонского сукна дымчатого цвета на шелку и на вате (75 руб.)»[52].

На покрытие долгов и взял Достоевский крупную сумму денег. «Получил он их в одно воскресенье, отправившись от ме-

ня около 12-ти часов пополудни к Спешневу, а вечером у Майковых сообщил мне о том, как Спешнев деньги ему дал и взял с него честное слово никогда о них не заговаривать». Когда Яновский пытался успокоить приятеля, что хандра пройдет, Достоевский ответил: «Нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить, так как я взял у Спешнева деньги (при этом он назвал сумму около пятисот рублей серебром) и теперь я *с ним* и *его*. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад, такой уж он человек».

«Вот разговор, который врезался в мою память на всю жизнь», — писал Яновский. Он запомнил, что в течение беседы Достоевский повторял: «Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель». И тогда, в конце 1848-го, и 35 лет спустя Яновский «инстинктивно верил, что с Ф. М. совершилось что-то особенное», и придавал признанию о Мефистофеле «фатальное значение». И в самом деле: невозможно вообразить, чтобы мнительный Достоевский рискнул обратиться к таинственному барину с деликатной просьбой о крупном займе. Несомненно, только сам Спешнев мог предложить деньги — в ходе доверительной беседы, после которой для Достоевского стал возможен разговор о деньгах.

Яновский был уверен, что по складу ума Ф. М. был не склонен подчиняться кому бы то ни было. Он не подчинился директивам Белинского и тем более мнениям «Современника» (в конце 1848 года Тургенев, по свидетельству Панаевой, продолжал называть Достоевского «литературным прыщом», а также «слепорожденным кротом, выползшим из-под земли», «дурные манеры которого шокируют светский салон князя Одоевского»). Но после займа Ф. М. видимым образом поддался властному авторитету, а может, и обаянию кредитора, о котором все говорили как о коммунисте.

Наблюдательный доктор замечал новые и небывалые прежде особенности в общении Достоевского со старшим братом. Прежде они были солидарны и в суждениях, и в выводах. После сближения со Спешневым Ф. М. стал часто возражать брату: «Почитал бы ты ту книгу, которую я тебе вчера принес, заговорил бы другое». «Та» книга толковала про общественные мастерские и принадлежала перу социалиста Луи Блана, успевшего побывать членом временного правительства Второй республики и после подавления Июньского восстания 1848 года эмигрировать в Англию. Спустя четверть века Достоевский объяснит увлечение молодости: «Бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Поли-

тического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социалистов даже отвергали его».

Впрочем, стойкий *Mich-Mich* отвечал брату: «Я, кроме Фурье, никого и ничего не хочу знать, да, правду сказать, и его-то, кажется, скоро брошу; все это не для нас писано». «Ф. М. так сильно любил своего брата, что на последнюю фразу не только не сердился, но даже и не возражал», — свидетельствовал Яновский.

В том, как именно подчинился Достоевский своему Мефистофелю, Яновский видел опасность. Открыто и на глазах близких Ф. М. увлекся революционной агитацией — хотя сам называл Петрашевского «интриганом». В описи бумаг, отобранных у Спешнева при аресте, значилось заемное письмо, в котором Достоевский «прибегает с просьбою о денежном пособии; упоминает о литературных занятиях у Краевского» (по-видимому, указывал на источник дохода, из которого мог быть возвращен долг). Хотя письмо не сохранилось, его видели полицейские чиновники, включившие документ в опись под номером 71 от 20 мая 1849 года[53]. В объяснении Достоевского следствию имя Спешнева почти отсутствует. Достоевский «забывает» о нем, даже отвечая на вопрос «Сколько бывало людей на вечерах этих и кто из них постоянно посещал эти вечера?». И лишь на прямой вопрос Следственной комиссии: «Бывали ли вы на собраниях у Спешнева?» — Достоевский ответил: «Со Спешневым я был знаком лично, езжал к нему, но на собраниях у него не бывал и почти в каждый приезд мой к нему я заставал его одного».

Содержание их бесед наедине никогда не вышло наружу — можно лишь предполагать, что с какого-то момента (в связи с Черносвитовым?) «бедный литератор» перестал дичиться «чересчур сильного барина» и был приглашен приезжать запросто. Но вряд ли Достоевский догадывался, что барин, легко отдав, фактически подарив ему 500 рублей серебром, сам был опутан долгами — имение арестовано, дом заложен и залога не хватало, чтобы расплатиться с кредиторами. «А уж взаймы никому не дам — пошалили, ну и полно. Я покамест сижу на самом конце своих денег, так что и дров не мог еще купить... Тяжела жисть помещичья!»[54] — писал Спешнев матери в сентябре 1847-го. Но слово свое не сдержал; деньги, взятые год спустя из сестриных (что «свободными» лежали в столе) и отданные Достоевскому под «честное слово никогда о них не заговаривать», никак не были широким жестом богача.

Если представить, что деньги с неоговоренными сроками отдачи были бескорыстной помощью филантропа бедствующему товарищу, то он, этот товарищ, должен был бы именовать

филантропа ангелом-хранителем. Но Достоевский назвал Спешнева «своим Мефистофелем», который не примет возврат долга *деньгами*. Слова Достоевского «теперь я *с ним* и *его*», врезавшиеся в память Яновскому, указывали, что истинным векселем, который был выдан Спешневу под сумму в 500 рублей серебром, оказывалась свобода воли должника. Значит, у Достоевского были основания, чтобы чувствовать себя запроданным и понимать условия заимодавца как способ вербовки.

Действительно ли должник обязан был отрабатывать заем?

В 1885 году, когда мало кто из петрашевцев оставался в живых, явилось на свет свидетельское показание исключительной важности. Оно содержалось в неоконченном и неотправленном письме А. Н. Майкова историку литературы П. А. Висковатову и было обнаружено в архиве Я. П. Полонского только в начале 1920-х[55]. В 1885-м Майкову было 64 года; отвечая на биографические вопросы корреспондента, он решил рассказать о тех эпизодах молодости, о которых молчал всю жизнь. Братья Майковы посещали пятницы Петрашевского на начальных стадиях, но после смерти Валериана Аполлон больше сюда не ходил. Учение Фурье он не одобрял, колокольчику председателя дивился, над его испанским плащом и «бандитской шляпой» смеялся, а про фаланстеры говорил как о чем-то некрасивом и неудобном («жить в казарме, в коридоре, в номере — нет, покорно благодарю: не иметь своего дома — да это все равно что жить на улице! Молодому человеку весьма неприятно, чтобы все знали, кто у него бывает!»). Дружеские отношения сохранял со многими петрашевцами, и прежде всего с Достоевским, — отвечая на вопрос следствия о наиболее близких ему людях, он поставит на первое место семейство художника Майкова.

Итак, январским вечером 1849 года Достоевский приходит к своему другу Аполлону Майкову в возбужденном состоянии и со словами, что имеет к нему важное поручение, остается ночевать. «Я жил один на своей квартире — моя кровать у стены, напротив диван, где постлано было Достоевскому. И вот он начинает мне говорить, что ему *поручено сделать мне предложение*: Петрашевский, мол, дурак, актер и болтун; у него не выйдет ничего путного, а что люди подельнее из его посетителей задумали дело, которое Петрашевскому неизвестно, и его туда не примут, а именно: Спешнев, Павел Филиппов (эти умерли, так я их называю, другие, кажется, еще живы, потому об них все-таки умолчу, как молчал до сих пор целые 37 лет обо всем этом эпизоде) и еще пять или шесть, не помню, в том числе Достоевский. И они решили пригласить еще седьмого или вось-

мого, то есть меня. А решили они завести тайную типографию и печатать».

Майков пытался убедить друга в пагубности затеи, упирая на то, что он и Достоевский — поэты, люди непрактичные, и не справятся с политическим делом, требующим особых способностей. «И помню я — Достоевский, сидя как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество, и пр. — так что я наконец стал смеяться и шутить. “Итак, — нет?” — заключил он. “Нет, нет и нет”. Утром после чая, уходя: “Не нужно говорить, что об этом ни слова”. — “Само собою”».

История о том, как Достоевский выполнял поручение Спешнева, известная из письма Майкова, сохранилась и в карандашной записи его устного рассказа, сделанной другом А. Н. графом А. А. Голенищевым-Кутузовым в его черновой тетради.

«—Вы, конечно, понимаете, что Петрашевский болтун, несерьезный человек и что из его затей никакого толка выйти не может. А потому из его кружка несколько серьезных людей решились выделиться (но тайно и ничего другим не сообщая) и образовать особое тайное общество с тайной типографией, для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно. В вас мы сомневались, ибо вы слишком самолюбивы... (Это Федор-то Михайлович меня упрекал в самолюбии!)

— Как так?

— А вы не признаете авторитетов, вы, например, не соглашаетесь со Спешневым.

— Политической экономией особенно не интересуюсь. Но, действительно, мне кажется, что Спешнев говорит вздор; но что же из этого?

— Надо для общего дела уметь себя сдерживать. Вот нас семь человек: Спешнев, Мордвинов, Момбелли, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин и я — мы осьмым выбрали вас; хотите ли вы вступить в общество?

— Но с какой целью?

— Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок; его заказывали по частям в разных местах, по рисункам Мордвинова; всё готово.

— Я не только не желаю вступить в общество, но и вам советую от него отстать. Какие мы политические деятели? Мы поэты, художники, не практики, и без гроша. Разве мы годимся в революционеры?

Достоевский стал горячо и долго проповедовать, размахивая руками в своей красной рубашке с расстегнутым воротом.

Мы спорили долго, наконец устали и легли спать. Поутру Достоевский спрашивал:

— Ну что же?

— Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас проснулся и думал: сам не вступлю. И повторяю: если есть еще возможность — бросьте их и уходите.

— Ну это уж мое дело. А вы знайте. Обо всем вчера сказанном знают только семь человек. Вы восьмой, — девятого не должно быть!

— Что до этого касается, то вам моя рука! Буду молчать»[56].

Майков сдержал слово и молчал 37 лет. Достоевский тоже сдержал слово, которое, быть может, взял с него Спешнев, не метнулся в сторону, ничего не открыл следствию. Известно лишь, как четверть века спустя он оценил книгу «Общество пропаганды», изданную в Лейпциге: «Верна, но не полна... Я не вижу в ней моей роли... Многие обстоятельства совершенно ускользнули; целый заговор пропал»[57]. То же и Майков, написавший Висковатову: «К делу Петрашевского действительно я был прикосновенен, но скажу с достоверностью, что этого дела никто до сих пор путно не знает, что видно из "дела" из показаний, все вздор; главное, что в нем было серьезного, до комиссии и не дошло»[58].

Если предположить, что инициатива помощи нуждающемуся товарищу всецело принадлежала Спешневу, то кто из двоих — должник или кредитор — был инициатором «отработок»? Не преувеличивал ли впечатлительный Достоевский свою подчиненность Спешневу? Утвердительно можно сказать только одно: даже если Ф. М. драматизировал свою зависимость от «сильного барина» и их отношения не отвечали формуле «Фауст продал душу Мефистофелю за 500 рублей серебром» — важно, что должник относился к своему долгу именно так. Поддавшись влиянию Спешнева и будучи связан с ним узами долга, который невозможно отдать деньгами, Достоевский-Фауст, взяв роль порученца-агитатора, пошел вербовать друга фактически от имени Спешнева — барина-Мефистофеля «с лицом Спасителя».

Показания Майкова проливали свет и на рассказ Яновского о «тошной тоске» друга: Достоевский переживал свою несвободу как физическую болезнь — всем своим естеством — и имел предчувствие, что она не пройдет, а долго и долго будет его мучить. Уже после каторги, в марте 1856-го, Достоевский напишет Э. И. Тотлебену, прославленному защитнику Севастополя и брату однокашника по училищу, что перед арестом и судом был два года сряду болен странной, нравственной болезнью: «Я впал в ипохондрию. Было даже время,

что я терял рассудок. Я был слишком раздражителен, с впечатлительностию, развитою болезненно, со способностию искажать самые обыкновенные факты и придавать им другой вид и размеры».

Даже если признать, что «долговая» история была именно таким «обыкновенным фактом», которому Достоевский «придал другой вид и размеры» (ведь он постоянно был должен много и многим), непонятно, почему он годами хранил тайну своих отношений с кредитором. «Тогда я был слеп, — писал он Тотлебену, — верил в теории и утопии. Когда я отправлялся в Сибирь, у меня, по крайней мере, оставалось одно утешение: что я вел себя перед судом честно, не сваливал своей вины на других и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить из беды других. Но я повредил себе: я не сознавался во всем и за это наказан был строже».

«Другим», ради которого Достоевский жертвовал своими интересами, мог быть только один персонаж драмы 1849 года, чья тайна так и не была раскрыта: Спешнев. И если действительно Следственная комиссия проглядела истинный смысл союза Спешнева с Достоевским, под влиянием которого молодой писатель загорелся утопической идеей настолько, что пошел вербовать близкого друга в тайное общество, то случилось это благодаря молчанию участников союза — не только перед судом, но и на протяжении всей остальной жизни. Судьба распорядится так, что их союз не оставил никаких документальных улик: не сохранится заемное письмо-вексель, из полицейского архива исчезнет следственное дело Спешнева, где находилось это письмо вместе с рукописями и показаниями на допросах (когда в 1905 году историк В. И. Семевский одним из первых получил доступ к секретным архивам петрашевцев, следственное дело Спешнева уже считалось утерянным).

Совершенно непонятна и судьба кредита в 500 рублей серебром: по-видимому, истратив спешневские деньги сразу, в декабре—январе, Достоевский в марте—апреле 1849 года снова пребывал в таком непролазном безденежье, что вернуть долг до ареста не мог никак. Никаких следов, что его заботят большие долги, не видно в его письмах из Петропавловской крепости: он станет просить у братьев то десять, то двадцать рублей на свои личные нужды, меж тем Спешнев находился рядом, в той же крепости. Никаких следов денежных расчетов между бывшими каторжниками не обнаружится и при их свидании десять лет спустя, когда Спешнев на один день приедет в Петербург и встретится с Ф. М.: в любом случае, таких денег у Достоевского в тот момент, как и прежде, не было. Ни Майков,

ни Яновский (лица посвященные) ничего никогда о свидании бывших однодельцев не писали, хотя на новоселье у Ф. М. присутствовали. А. Г. Достоевская, которой Спешнев перед своей кончиной диктовал воспоминания о ее покойном муже, не отзовется о Николае Александровиче ни единой строкой. Сама рукопись с текстом воспоминаний Спешнева о Достоевском, переданная вдовой писателя Миллеру и частично использованная им в «Материалах для жизнеописания...», бесследно исчезнет.

Время постарается замести следы этой истории, но не сможет уничтожить факт: «пленение» Достоевского в конце 1848 года было самой значительной акцией Спешнева по привлечению сторонников, готовых к агитации в пользу радикальных действий. Итогом года явилось намерение организовать «особое тайное общество с тайной типографией», куда бы, кроме Спешнева, вошли Мордвинов, Момбелли, Филиппов, Григорьев, Милютин и Достоевский, в свою очередь пытавшийся вовлечь в заговор Майкова. Семерка знала о целях организации и была солидарна с ними. Аффилиация участников проходила индивидуально и осталась неизвестна следствию.

«Впоследствии я узнал, — писал Майков, — что типографский ручной станок был заказан по рисунку Филиппова в разных частях города и за день, за два до ареста был снесен и собран в квартире одного из участников, М[ордвинова]; когда его арестовали и делали у него обыск, на этот станок не обратили внимания, у него стояли в кабинете разные физические и другие инструменты и аппараты, но дверь опечатали. По уходе Комиссии и по уводе — домашние его сумели, не повредив печатей, снять дверь с петель и выкрали станок. Таким образом, улика была уничтожена».

Вещественная улика — типографский станок — действительно была уничтожена. Никто из семерки никогда не проговорился и общую тайну не выдал. Но двадцать лет спустя тайна заговора и тайна станка, никем не узнанные, всплывут в романе «Бесы» и станут *художественной* уликой. Обнаружатся и незримые следы пропаганды, пользующейся вернейшим средством — игрой на возвышенных струнах человеческой души. Речь об этом романе, который Миллер считал «автобиографическим в психологическом смысле и так странно у нас не понятом»[59], — впереди.

«Почему же вы знаете, — в полемическом волнении писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год, — что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, *в случае если б так обернулось дело*? Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло *так обер-*

нуться дело? Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: *Нечаевым*, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *нечаевцем,* не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности».

Товарищи его юности видели в нем классический тип заговорщика: он был молчалив, любил говорить один на один, был скорее скрытен, чем откровенен. Осенью 1848-го и весной 1849-го Достоевский сделал первый шаг по «нечаевской» дороге, но не успел сделать второго: пятничное общество было арестовано прежде, чем спешневцы смогли перейти к активным действиям. Они успели познать волнение закрытых собраний, почувствовать вкус конспирации, поддаться соблазну фраз о «составе учредителей» и «центральном комитете» и даже услышать лозунг «смерть изменнику». Они усвоили только лексику политического социализма, сущность которого, как ее определит Достоевский через четверть века, «состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем "будь что будет"».

...Но существовал еще один документ, летучий смертоносный листок. Он затерялся в письменном столе Спешнева, среди вывезенных из Дрездена черновиков о древних тайных обществах и обществах нового образца. Бомба, которая неслышно тикала в дрезденском, а потом и в петербургском кабинете Николая Александровича, была его собственноручным изделием (лихорадка сердца, омут, помешательство) и кратко называлась «Проектом подписки». Никто не знал о ее существовании, никто не искал ее, и она никогда не взорвалась бы, не дай автор повода к обыску. Вздорный детский опыт, лихой эскиз, росчерк красной краской по серой стене — ему суждено будет стать единственным сочинением Спешнева, которое выдержит сотни изданий. Прав был Герцен — легкость, с которой беглое упражнение на крамольный мотив мгновенно превращало красавца-сердцееда во врага государства и опасную знаменитость, кружила головы; участь революционера казалась ему единственно верным решением судьбы, освобождала от необходимости приобретать профессию, для которой одного безрассудного листка будет мало.

«*Черновой проект обязательной подписи для вступающего в Русское тайное общество с изъявлением готовности участвовать в бунте вооруженною рукою*»[60], как и все сочинение, для которого он предназначался, не был окончен: из четырех пунктов имелось только первых три. Каждый из них описывал обязанность, которую добровольно брал на себя вступающий в Русское тайное общество, с тем чтобы, когда придет время, исполнить ее в точности с написанным.

Пункт первый обязывал члена общества по требованию распорядителей немедленно явиться к месту бунта и принять участие в драке с оружием в руках. «Когда Распорядительный комитет общества... решит, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное и открытое участие в восстании и драке...» Второй пункт предписывал каждому члену общества вовлекать новых. «Я беру на себя обязанность увеличивать силы общества приобретением новых членов. Впрочем, согласно с правилом Русского общества, обязываюсь сам лично больше пятерых не аффильировать». Пункт третий разъяснял методы «аффильяции»: вовлекать не кого попало, а только таких, в которых уверен, что они исполнят первый пункт и не выдадут, если б даже и отступились после. Каждый аффильятор обязывался с каждого им аффилированного взять расписку с личной подписью для доставления в комитет.

Неряшливый синтаксис, языковые погрешности и дурное многословие документа свидетельствовали о его черновом характере: была изложена суть дела, но совершенно не обработана форма. К тому же пункт четвертый, обозначенный цифрой, но не заполненный, должен был, по-видимому, наметить самое главное: систему наказания отступников и предателей. Незавершенность «Проекта...» даже в большей степени, чем само его существование, явится следствию загадкой, ложный свет которой выдвинет Спешнева в первые ряды преступников. Показание, что будто бы рукопись о тайных обществах им давно уничтожена; что все разговоры о них есть пустословие, ибо тайна может быть у одного лица, а не у многих; что тайные общества никогда ни к чему не приводили полезному и даже просто успешному, помочь главному преступнику по делу петрашевцев уже не сможет.

Резонно предположить, что январский провал Достоевского-вербовщика настолько вернул его к реальности, что уже 1 февраля он попытался объяснить Краевскому (в «Отечественных записках» по частям печаталась «Неточка Незванова») причины возникших между ними «недоумений». «Два года назад я имел несчастие задолжать Вам большую сумму денег. Сумма эта, вместо того чтоб уменьшаться, возросла до невозможных пределов. Так как я прежде всего хочу расквитаться и заплатить, то нашел необходимым предложить меры решительные».

Он хотел освободиться от литературного рабства и поденщины, отработать долг, которым попрекал его издатель, избавиться от кабальных авансов, съедающих весь гонорар при расчете. Он надеялся преодолеть свое *падение* (то есть вердикт Белинского о «Хозяйке») и полагался только на свой труд, ко-

торый один может превозмочь нищету, рабство, болезнь, азарт критики, торжественно его хоронившей, предубеждение публики. «Если есть во мне талант действительно, то уж нужно им заняться серьезно, не рисковать с ним, отделывать произведения, а не ожесточать против себя своей совести и мучаться раскаянием, и наконец, щадить свое имя, то есть единственный капитал, который есть у меня».

Но положение не менялось: и в феврале, и в марте, и в апреле он все так же брал авансы у Краевского, отрабатывать их не успевал, и долг только рос. «Послушайте, Андрей Александрович, — писал Достоевский издателю 31 марта. — Неужели Вы никогда не подумали, что я жил, жил и умер. Что будет тогда с моим долгом? У меня долгов столько, что московских денег и не хватило бы уплатить Ваш».

Перед самим арестом, борясь с кредиторами, как «Лаокоон со змеями», он будет просить у Краевского хотя бы только 10, хотя бы только 15 рублей...

В те самые дни конца марта слова «жил, жил и умер», адресованные прижимистому Краевскому, начали обретать зловещую реальность — Достоевский зарабатывал себе смертный приговор.

«Рукописная литература в Москве в большом ходу. Теперь все восхищаются письмом Белинского к Гоголю...»[61] — писал Плещеев Дурову; вскоре Дуров получил присланную Плещеевым на имя Достоевского искомую «Переписку» — письмо Гоголя («Я прочел с прискорбием статью Вашу обо мне во втором № “Современника”... Вы взглянули на мою книгу глазами рассерженного человека...»), ответное письмо Белинского и ответ Гоголя на это письмо («Бог весть, может быть, и в Ваших словах есть часть правды...»). В один из дней Ф. М. дважды прочел гостям Дурова письма вслух и «неосторожным образом» обещал Петрашевскому, случайно оказавшемуся здесь же, читать и у него. 15 апреля, в пятницу, чтение состоялось — оправдываясь, Достоевский скажет следствию, что читал, не высказывая ни к кому пристрастия, ни с кем не обсуждал прочитанное, ничьих мнений не слыхал и кому принадлежали отрывочные восклицания и смех, не видел, ибо был занят чтением.

Вряд ли Достоевский, читая на публике письмо Белинского Гоголю, сохранял нейтралитет. Преклоняясь перед Гоголем-художником, он относился к «Выбранным местам из переписки с друзьями» с ироническим недоумением. Еще в 1846-м он писал брату: «Я тебе ничего не говорю о Гоголе, но вот тебе факт. В “Современнике” в следующем месяце будет напечатана статья Гоголя — его духовное завещание, в которой он отре-

кается от всех своих сочинений и признает их бесполезными и даже более. Говорит, что не возьмется во всю жизнь за перо, ибо дело его молиться. Соглашается со всеми отзывами своих противников. Приказывает напечатать свой портрет в огромнейшем количестве экземпляров и выручку за него определить на вспомоществование путешествующим в Иерусалим и проч. Вот. — Заключай сам». Экзальтация, обилие риторических фраз и поучений, наставительный тон выглядели в глазах Достоевского отчасти трагикомически (отношение к «Выбранным местам...» как к объекту пародии Достоевский сохранит навсегда, а сам Гоголь предстанет под пером Ф. М. человеком, «не вынесшим своего величия»).

У Белинского к «Выбранным местам...», вышедшим в начале 1847 года, был иной счет. Написанное меньше чем за год до смерти письмо критика было исполнено горечи и разочарования — последнего и, вероятно, самого тяжелого из всех его разочарований. «Я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный с своей страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса...»[62]

Общественное мнение, искавшее ответ на вопрос о путях развития России, страдало от идеологического террора, исходившего не только от властей, но и от противоположных направлений или групп. Это мог быть союз «Северной пчелы», «Сына отечества» и «Библиотеки для чтения» (то есть Булгарина, Греча и Сенковского); это мог быть кружок Белинского и Некрасова, которые, разочаровавшись в Достоевском, выдавили его из контролируемой ими литературной отрасли. Такими будут либеральная диктатура Герцена, которого боялись даже в Зимнем дворце, и консервативная диктатура Победоносцева. Однако деспотизм «прогрессивных идей» и «передовых направлений» был порой пострашнее, чем деспотизм режима, и уж во всяком случае действовал более беспощадно и бескомпромиссно.

«Выбранные места из переписки с друзьями» — последнее прибежище Гоголя, *сгораемого желанием лучшей отчизны*. Не той, о которой, не желая слышать друг друга, спорят *квасные патриоты* и *очужеземившиеся русские*, но той, которую Гоголь называет *нашей русской Россией*. Идея служения России, по Гоголю, — это вера в грядущее братство всех людей. Чтобы любить Россию и понять ее, нужно иметь много любви к человеку и сделаться истинным христианином в полном смысле этого слова.

Гоголь, пытавшийся призвать спорящие стороны услышать друг друга, и представить себе не мог, как враждебно ополчат-

ся на его книгу вся критика и большинство публики. В солидарном неприятии гоголевских наставлений на миг объединились все те, кто никогда и ни в чем не соглашался друг с другом. Западники (Герцен, Грановский, Боткин, Анненков), безоговорочно осудившие книгу Гоголя, сошлись в пункте осуждения со славянофилами (Аксаковы) и с церковнослужителями. Те призывали Гоголя «не парадировать набожностью», ибо «она любит внутреннюю клеть», упрекали, что письма его более *душевны*, чем *духовны,* издают из себя и свет, и тьму, отдают самозваным учительством.

Той самой *общей* точкой, на которой смогли сойтись русские мыслители разных направлений, оказались вражда и ругань. Главой ниспровергателей стал Белинский. «Выбранные места...» Гоголя *оскорбили* в нем чувство истины и человеческое достоинство — ведь под покровом веры и религии, утверждал критик, Гоголь проповедует ложь и безнравственность. «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирик татарских нравов» — такими были определения Белинского о Гоголе, в котором прежде он видел вождя России на ее пути к «сознанию, развитию, прогрессу». Однако в борьбе за «светлое будущее» вчерашний кумир становился проклятым идолом, страстная любовь оборачивалась неистовой ненавистью.

Критик был бесспорно прав по крайней мере в одном пункте. «Я не в состоянии, — писал он Гоголю, — дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях дикой радости, которые издали при появлении ее все враги Ваши... От Вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом».

Это была горькая правда. Атеист Белинский категорически не принимал религиозных упований Гоголя, утверждая, что русский народ — это глубоко атеистический народ. Белинский не признавал апелляции к церкви, которая «всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма», «слугой и опорой светской власти» и негодовал, что Гоголь связывает с ней Христово учение. «Что вы нашли общего между Ним и какою-нибудь, а тем более православной церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину Своего учения. И оно только до тех пор и было *спасением* людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем продолжает быть и до сих пор. Но смысл Христова

слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти Его и кость от кости Его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи».

Между двумя русскими литераторами — в борьбе за Россию и ее будущее — разгорелась битва. Ни народ, ни Церковь, ни учение Христа, ни личное спасение человека — ничто не находило согласного понимания. Русская идея становилась полем битвы, ожесточения и разделения. По Белинскому, Россия видит смысл своего существования в успехах цивилизации, просвещения, гуманности, в пробуждении у народа человеческого достоинства. Ей нужны не проповеди и молитвы, а гражданские права и грамотные, ответственные законы. Потому самые живые национальные вопросы России — социальные, а не религиозные: уничтожение крепостного права, отмена телесных наказаний.

Спор Белинского и Гоголя, явивший на суд обществу две системы идей, два манифеста бытия, крайние полюсы мышления по вечному вопросу о способах улучшения жизни страны, обнажил трагедию глубочайшего непонимания всех всеми и факт тотального нежелания видеть в оппоненте брата, а не врага. Белинский, в пылу гнева и озлобления, не захотел разглядеть в Гоголе болезнь совести за все несчастья русской жизни и готов был согласиться с темными петербургскими слухами, будто Гоголь написал книгу с корыстной целью попасть в наставники к сыну наследника престола.

Этому спору суждено будет окончательно развести русское образованное общество по разным лагерям, создать в культурной среде атмосферу ненависти. Этот спор, как окажется позже, будет чреват драматическими последствиями и для страны, и для всех спорящих сторон, которые вовлекались в опасную игру. Уже через два года после скандального обмена посланиями двух русских литературных вождей будет явлено грозное предзнаменование: чтение письма одного литератора другому поставит на карту жизнь и свободу третьего.

...Нет, не мог Достоевский читать такое письмо равнодушно, безучастно, отрешенно. Отношения с Белинским были прерваны, обида на него жгла душу, но пламенное письмо критика вызывало симпатии и ответное волнение. Можно представить, как должен был звенеть грудной голос чтеца, когда он произносил такие прекрасные, но такие неожиданные в устах воинствующего ругателя Белинского слова о Христе и Его учении. О *полном сочувствии*, которое испытал Ф. М., читая письмо, писал Миллер; «симпатичным голосом» чтеца и его мас-

терским чтением был поражен Ястржембский (шпион Антонелли донесет, что письмо произвело общий восторг, Баласогло пришел в исступление, все общество было наэлектризовано).

У Достоевского достанет благородства сказать следствию, что покойный Белинский был «превосходнейший человек», которого ожесточила болезнь, «очерствила его душу и залила желчью его сердце»; «в нем явились вдруг такие недостатки и пороки, которых и следа не было в здоровом состоянии». Свой разрыв с Белинским он изобразит как спор о направлениях в литературе и будет утверждать, что прочел всю переписку не только из уважения к уже умершему замечательному человеку, писавшему статьи с большим знанием дела, но также из щекотливого чувства по поводу своей с ним литературной ссоры. «Я только теперь понял, что сделал ошибку и что не следовало мне читать этой статьи вслух; но тогда я не спохватился; ибо даже не подозревал того, в чем могут обвинить меня, не подозревал за собой греха».

Однако не только спешневец Достоевский, но и другие активисты кружков весной 1849-го чувствовали себя сильно «во грехе». В начале марта устроились собрания у Дурова. Спешнев был приглашен Достоевским, когда кружок и складчина — по три рубля серебром в месяц на ужины и прокат рояля — уже установились. «Было так распределено, чтобы до ужина каждый прочел какую-нибудь литературную статью и выслушал на нее критику; после же ужина заниматься музыкой». Спешнев заметил, что иные гости Дурова озлоблены против Петрашевского и что дуровское общество собрано как бы в пику хозяину пятниц. «Из наших знакомых мы выбрали преимущественно тех, которые не говорили речей у Петрашевского» (Пальм); «Петрашевский, как бык, уперся в философию и политику; он изящных искусств не понимает и будет только портить наши вечера» (Дуров). *Mich-Mich*, пригласив к себе Дурова, решительно просил, чтобы целью собраний было обсуждение только литературных, но не политических вопросов, и Ф. М. поддержал брата.

Сначала дуровцы действительно держались только литературы; свои сочинения читали Пальм, Дуров, Достоевский, Милюков. «Преступное вкралось незаметно, и я имею только сказать себе в оправдание, — сознавался Дуров, — что когда оказалась в большой части из наших посетителей преступная цель, то мы тотчас же, именно в апреле 17 или 18-го числа, разослали записки, что вечера у нас не будет. Политическое же направление было дано преимущественно Филипповым и Момбелли»[63].

В марте эти двое уже входили в группу Спешнева и, предлагая дуровцам писать статьи против правительства и распространять их посредством домашней типографии, действовали его именем.

Для Спешнева дуровский кружок в его начальном виде не представлял ничего интересного: «Сначала там, кроме музыки и пустых разговоров, ничего не было». Потом дуровцы осознали смысл сходок: «Многие из нас специальнее других в некоторых познаниях и науках; у каждого свой ум, свой взгляд, свои наблюдения, и если мы будем делиться друг с другом нашими наблюдениями и познаниями, то для всех будет польза и выгода» (Достоевский). Почти то же самое говорил и Момбелли. Филиппов подчеркивал, что каждый обязан распространять свои мнения, разоблачать несправедливости законов и злоупотребления администрации. Наконец Филиппову «вздумалось предложить литографировать сочинения, которые могли быть сделаны кем-нибудь из нашего кружка мимо цензуры» (Достоевский). «Говорили о типографии, о литографии, о переписывании, но не решились ни на что», — комментировал Спешнев.

Двадцать восьмого марта началась Страстная неделя. Огарева-Тучкова вспоминала, как несколько друзей Огарева хотели навестить Петрашевского в Страстную пятницу, однако она смогла отговорить Огарева; 1 апреля никто на Покровку не поехал, и она «с радостью приняла эту жертву»[64]. «Холера опять усиливается, — записал в дневнике 1 апреля 1849 года Никитенко. — Заболевает человек по пятьдесят в день и умирает до тридцати. Почти весь март стояли холода, но дни были ясные. Вдруг наступила оттепель; улицы запружены грязью и кучками колотого льда. Люди дышат отвратительными испарениями»[65].

Однако несмотря на холеру первоапрельская пятница была многолюдной (ее назовут кульминацией всех собраний). Повестку дня назначили самую горячую — свобода книгопечатания, цензура, судопроизводство, освобождение крестьян. Достоевский привез двадцатилетнего юношу В. А. Головинского, участника дуровского кружка, который, впервые попав на пятничное собрание, вступил в горячий спор с Петрашевским «в самых зловредных выражениях»: отстаивал идею немедленного освобождения крестьян и одобрял народное восстание как путь к этой цели.

...Холерный апрель 1849 года придал встречам нервный, лихорадочный ритм: собирались чуть не ежедневно в разных местах, в разном составе, по двое и по трое, но с одной и той же целью. 2 апреля — обед у Спешнева, где Григорьев читал свое сочинение «Солдатская беседа» (страшные картины полного

бесправия солдат, сцена избиения солдат самим царем). 7 апреля — вечер у Дурова, где Ф. М., порицая статью Григорьева, пытался объяснить, что их встречи примут преступное направление, если они будут читать статьи преступного содержания и рассуждать о преступных способах распространения мыслей; призывал остановиться, не сделать из простого удовольствия видеть друг друга «вещи преступной»[66]. В тот же день на квартире бывшего лицеиста А. И. Европеуса — обед в честь дня рождения Фурье (из Парижа был выписан портрет кумира, участвовало 11 человек, звучали речи с призывами к разрушению государств). 15 апреля — Достоевский читал письмо Белинского Гоголю на пятничном собрании, 22-го — опять собрание у Петрашевского.

Поздний вечер и полночи с 22 на 23 апреля Достоевский провел у Григорьева и, должно быть, рассуждал с ним не о своей «Неточке Незвановой», которую никак не успевал закончить, а о «безумном творении» Григорьева «Солдатская беседа», оставившем впечатление до того слабое и ничтожное, что *Mich-Mich* даже советовал уничтожить рукопись. Иными словами, сообщая 31 марта Краевскому: «Сижу безостановочно над 4-й частию... не даю себе ни крошки отдыху», — Ф. М. сильно подрумянивал обстоятельства; в конце марта уже было ясно, что доставить к 15 апреля четвертую и пятую части романа невозможно — при сложившемся ритме и образе жизни.

«Преступное вкралось незаметно» — и каждый новый день гнилого холерного апреля лишь добавлял к составу преступления новые отягчающие подробности. Часы отсчитывали последние минуты свободы.

Глава четвертая
ОПЫТ ОДИНОЧНОЙ КАМЕРЫ

«Под присмотром». — Шпион Антонелли. — Неуслышанные подсказки. — «Приступить к арестованию!» — Ночная облава. — Белая зала. — Казематы Петропавловки. — Секретные комиссии. — «Сознайтесь и покайтесь!» — На допросах

С того момента, как чиновник по особым поручениям при Министерстве внутренних дел И. П. Липранди (за которым тянулся шлейф доказанных и недоказанных подлостей, в том числе и уголовных), опасаясь следствия о взятках, обратил внимание начальства на «революционное гнездо» у Покрова, пятничные собрания уже не могли обмануть взор заинтересо-

ванного ведомства своей мирной наружностью. Сбор сведений держался в тайне от Третьего отделения, хотя дело прямо принадлежало его компетенции; соперничающее ведомство стремилось доказать Николаю I, что не только тайная, но и общая полиция способна заранее узнавать о политических заговорах и предупреждать их. К тому же Липранди жаждал занять место управляющего Третьим отделением Л. В. Дубельта[67], хотя был связан с ним взаимным расположением, восходящим еще к кампании 1812 года.

К весне 1849-го пятницы Петрашевского уже год находились «под присмотром» — благо о них знал весь город. В декабре 1848-го к неусыпному «присмотру» был привлечен 24-летний недоучившийся студент университета по отделению восточной словесности Петр Антонелли, сын академика живописи. Получив приказ внедрить своего агента в «разговорное общество», Липранди в январе 1849 года устроил его в департамент Министерства иностранных дел, где служил Петрашевский. Пройдя подготовку, Антонелли был признан пригодным к роли шпиона и поставил своим нанимателям всего одно условие: его миссия не должна быть раскрыта*.

«Милостивый государь Иван Петрович, к крайнему моему сожалению и досаде, я не могу вам сообщить ничего нового, потому что известное вам лицо у меня вчера не было, почему — я и сам не знаю. Впрочем, я надеюсь зато, что на будущей неделе у нас прибавится много нового, резерв мой мне начинает надоедать и я хочу подвинуть наши дела на несколько шагов вперед»[68]. Этим донесением Антонелли от 9 января 1849 года начался «поднадзорный» этап пятниц. «Известное лицо», как именовался Петрашевский в доносах, сам приблизил к себе сослуживца по департаменту, сам просвещал его, читая лекции и снабжая литературой, сам излагал принципы пропагандистской работы, сам открыл дверь своего дома на Покровке — ведь настырный молодой человек, давно втиравшийся в доверие, демонстративно восхищался ораторскими способностями хозяина.

---

* Антонелли будет изобличен в день ареста петрашевцев. Алфавитный список, в котором помощник Л. В. Дубельта А. А. Сагтынский (некий «статский господин в большом чине», так его назвал Ф. М. Достоевский) отмечал прибывших, начинался строкой: «Антонелли — агент наряженного дела». Случайная беспечность или намеренная неосторожность важного чиновника Третьего отделения, допустившего огласку, по-видимому, отвечала желанию Дубельта всячески преуменьшить или свести на нет успехи соперников. Антонелли, обретя репутацию разоблаченного шпиона, неоднократно подвергался публичным оскорблениям и вынужден был уехать в провинцию. Опале подвергся и Липранди, которому обойденное ведомство не простило чрезмерного усердия.

«По-видимому, известное лицо все более и более со мною сближается и начинает питать ко мне доверенность... — докладывал Антонелли 23 января. — Теперь оно при мне упоминает фамилии своих знакомых, так что, ведя дело по-прежнему, можно надеяться на успех». В течение января—февраля Антонелли успел взять на заметку братьев Майковых (Аполлона и Владимира), Дурова, Ханыкова, Тимковского, Ястржембского, братьев Достоевских; донес, что «в кабинете известного лица все в большом беспорядке, множество книг и бумаг, но шкафы и ящики все открыты, так что очень трудно заметить, где у него хранится секретное». Петрашевский показывал новому знакомому коллекцию пистолетов и хвастался, что выстрелом гасит свечу. По злой насмешке судьбы, Петрашевский, узнав о светском знакомстве Антонелли с Липранди, советовал молодому человеку запоминать, кто бывает у генерала, и стараться разведать что-нибудь важное.

Имя Достоевского в донесениях агента впервые было названо 1 марта — Петрашевский сообщил Антонелли, что давно знаком и очень дружен с обоими братьями Достоевскими. В донесении от 5 марта сообщалось о споре братьев с Петрашевским — хозяин упрекал их в манере писания, которая не ведет ни к какому развитию идей в публике. 11 марта агент явился к Петрашевскому без приглашения, но ловко выкрутился, был принят и даже обласкан. Толль, выступавший в этот день с речью «о ненадобности религий в социальном смысле», целые сутки потом кутил с Антонелли и вскоре поселился с ним на одной квартире. Теперь все пятницы находились под полным контролем Липранди, чуть не ежедневно получавшего агентурные донесения. Действовали и двое других агентов — мещанин Н. Ф. Наумов и купец В. М. Шапошников, снявшие в начале апреля помещение в доме на Покровке под табачную лавку.

Четырнадцатого марта Антонелли узнал от Петрашевского о некоем обществе, составленном из литераторов, в котором главную роль играют братья Майковы и братья Достоевские. Антонелли был участником бурной пятницы 15 апреля, на которой Ф. М. читал письмо Белинского Гоголю, о чем донес уже 16-го. 18 марта, заметив новое лицо, доложил: «Какой-то Спешнев, бывший лицеист». Присутствие на выступлении Ястржембского станет формальной причиной ареста Спешнева. Речь Ястржембского содержала несколько опасных пунктов — о том, что богословие не наука, а «бредни, вышедшие из монашеских клобуков», что Российское государство имеет целью подчинить себе достоинство всех людей. Выступление, по донесениям Антонелли, «было усеяно солью на здешнее чиномание, на тайных советников, на государя, по его словам —

богдыхана, и вообще на все административное». Не приди Спешнев 18 марта на Покровку, он не попал бы в сводки Антонелли, не был бы взят среди первых и мог бы уничтожить крамольные бумаги.

Шпион не проник на вечера Дурова, Спешнева, Плещеева, Кашкина; не был на обеде в честь Фурье и узнал об этом событии с чужих слов, но к началу арестов им были собраны сведения, достаточные для обвинения большинства участников сходок. 25 марта Антонелли узнал от Толля и тут же сообщил Липранди захватывающую новость: якобы правительству известны собрания и через неделю, в Страстную пятницу, всех посетителей схватят разом. Петрашевский решил, что пустячные слухи распускают Майковы и другие литераторы из зависти к обществу более умному и сильному.

Трудно упрекнуть посетителей пятниц в полной слепоте и беспечности. «Мне вспомнилось тоже, — рассказывал Ахшарумов, — что Петрашевский имел уже некоторые сомнения в личности Антонелли. На предпоследнем собрании, 15 апреля, он отозвал меня в сторону и спросил: “Скажите, вас звал к себе Антонелли?” Я ответил, что звал, но я не пойду, так как его вовсе не знаю. “Я и хотел предупредить вас, — сказал он мне, — чтобы вы к нему не ходили. Этот человек, не обнаруживший себя никаким направлением, совершенно неизвестный по своим мыслям, перезнакомился со всеми и всех зовет к себе. Не странно ли это, я не имею к нему доверия”»[69]. Петрашевец П. А. Кузмин, штабс-капитан Генерального штаба, описал Антонелли как блондина небольшого роста, с большим носом, светлыми глазами, ускользающим взглядом. Участие его в вечерах, как запомнил Кузмин, было «по преимуществу вызывающее других к высказыванию». На вопрос Кузмина, для чего бывает здесь этот господин, Баласогло, имея весьма низкое мнение об итальянце, ответил: «Да вы знаете, что Михаил Васильевич расположен принять и обласкать каждого встречного на улице»[70]. Молодой человек, который лицемерно сочувствовал радикальным идеям, аккуратно посещал сходки и подстрекал других на выступления (а потом окажется, что и записывал их), казался подозрительным и М. М. Достоевскому.

Недоверие, однако, проснулось с большим опозданием и оказалось крайне непоследовательным. Открытый дом Петрашевского, крамольные речи и ужины под конец заседаний сыграли роковую роль в жизни хозяина и его гостей. «Чаю и что следует к чаю было всегда довольно; в особенности насчет ужина он был распорядителен: телячьи котлеты с зеленым горошком, поросенок под сметаной, а иногда блюдо дичи, в заключение пирожное и что следует к ужину в приличном коли-

честве. Лакеев и официантов за ужином не полагалось, еда и питье выставлялись на стол (в центре кипящий самовар), и гости сами себя обслуживали»[71]. Об ужинах с кислым, скверным вином рассказывал Яновскому и Ф. М.

Семнадцатого апреля Антонелли праздновал новоселье. Гостями были завсегдатаи пятниц, и уже 18-го он писал Липранди: «Слыша, что на этой неделе хотят кончить с собраниями *известного лица*, я смею здесь предложить следующие замечания: при арестовании общества должно поступить очень осторожно — потому что бóльшая часть людей, его составляющих, очень энергическая, между ними есть силачи, которые управятся с тремя добрыми мужиками и которые в азарте бог знает чего не готовы наделать». Антонелли предупреждал, что офицеры в течение всего вечера остаются при шпагах и имеют много способов к обороне. «По моему мнению, атаку на квартиру *известного лица* должно делать с двух сторон — через кухню и парадный вход... Явиться должно с двух сторон непременно в одно и то же мгновение и так как *известное лицо* само отворяет парадную дверь, то захватить тотчас же его первого и выпроводить на лестницу, чтобы оно не могло подать какого-нибудь, может условленного, сигнала».

По-видимому, Антонелли не знал, как на самом деле произойдет арест кружковцев. Да и сами они будто не хотели замечать странных знаков — то маска в маскараде советовала Пальму не бывать в доме у Покрова, то прислуга Милютина выболтала Петрашевскому подслушанный секрет, что скоро его возьмут в полицию. Тем самым вечером 20 апреля, когда Антонелли, после приятного обеда, поил чаем Петрашевского и Кузмина у себя на квартире, граф Орлов, пригласив Дубельта и Липранди, сообщил им высочайшую волю — о передаче дела в Третье отделение для немедленного исполнения. Всю ночь Липранди знакомил Дубельта с секретными бумагами. «К пяти часам утра все дело с пояснениями было мной передано»[72].

В Петербурге ходили слухи, будто в ночь на 21 апреля в публичном маскараде в зале Дворянского собрания некие безумцы решили заколоть царя кинжалами и на лотерейных билетах написали призывы к восстанию[73]. У какого-то офицера был найден план Петербурга, где были указаны места для баррикад. Передавали, что Николай I говорил своим приближенным о «безумцах»: «Эти чудовища хотели не только убить меня, но и уничтожить всю мою семью». Терпеть заговорщиков далее, ожидать, чтобы заговор созрел, государь не хотел. 21 апреля граф Орлов представил ему обзор дела, три тетради с именным списком участников, их адресами и досье. «В обзоре Вы изволите усмотреть удобнейшее средство к арестованию виновных.

Предложение это будет исполнено, ежели Ваше Величество не сделает каких-либо изменений. По моему мнению, это вернейшее и лучшее средство»[74]. На рапорте о готовности Третьего отделения к производству арестов Николай начертал резолюцию: «Я все прочел; дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь; точно лучше, ежели только не будет разгласки от такого большого числа лиц на то нужных... С Богом! да будет воля Его!»[75]

Вечером 22 апреля петрашевцы собрались на очередную пятницу — никто не предполагал, что на последнюю. Собрание было вполне заурядным и не слишком людным; Антонелли назовет всего 12 имен и, судя по его донесению от 23 апреля, он не знал о намеченных на ночь арестах ни накануне, ни в момент составления отчета. Неведение и беззаботность Петрашевского были столь велики, что на собрании он принялся упрекать литературу в недостатке содержания, а литераторов в недостатке образования, ставил в пример влияние на публику Эжена Сю и Жорж Санд и предлагал составить журнал. Ему вторил Баласогло: литераторы — «люди тривиальные, без всякого образования, убивающие время в безделье и между тем гордящиеся своими доблестями больше какого-нибудь петуха. Что хоть например Достоевские и Дуров, посещающие собрания Петрашевского уже три года, могли бы, кажется, пользоваться от него и книгами и хоть наслышкой образоваться, не читали ни одной порядочной книги, ни Фурье, ни Прудона, ни даже Гельвециуса»[76] (как раз в середине апреля Достоевский взял у Головинского книгу П. Ж. Прудона «О праздновании Воскресенья», которую изымут у него при аресте, а до этого брал сочинения Луи Блана, Кабе, Штрауса). Момбелли вступился: не надо бранить тех, кто принадлежит к обществу и разделяет общие идеи...

Разошлись по домам в три часа ночи.

Секретное предписание Третьего отделения с визой графа А. Ф. Орлова вступило в силу ровно через час. Аресты производились одновременно; офицерам полиции и жандармам, занятым в операции, были выданы одинаковые ордера, с адресами и фамилиями согласно именным спискам. К тем, кого считали особо важными, были посланы старшие офицеры; к Петрашевскому — самые старшие. «Взаимное недоверие между начальниками двух полиций было так сильно, что каждый послал своего помощника. Со стороны графа Орлова был генерал Дубельт, а со стороны Перовского — Липранди. Они вместе, в одной карете, приехали к дому Петрашевского...»[77]; Липранди остался в карете, так что Дубельт лично пошел аре-

стовывать главу кружка: сонный Петрашевский встретил непрошеного гостя добродушно и даже не думал оказывать вооруженного сопротивления, как о том предупреждал Антонелли, советуя атаковать дом сразу с двух сторон.

«Секретно
III Отделение собственной
Его Императорского Величества
канцелярии 1 экспедиция
Санкт-Петербург
22 апреля 1849 г.
№ 675

Господину майору Санкт-Петербургского жандармского дивизиона Чудинову

По высочайшему повелению, предписываю вашему высокоблагородию завтра, в 4 часа пополуночи, арестовать отставного инженер-поручика и литератора Федора Михайловича Достоевского, живущего на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта, в доме Шиля, в 3-м этаже, в квартире Бремера, опечатать все его бумаги и книги, и оные, вместе с Достоевским, доставить в III Отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии. При сем случае вы должны строго наблюдать, чтобы из бумаг Достоевского ничего не было скрыто. Случится может, что вы найдете у Достоевского большое количество бумаг и книг, так что будет невозможно сей час их доставить в III Отделение; в таком случае вы обязаны и то и другое сложить в одной или в двух комнатах, смотря как укажет необходимость, и комнаты те запечатать, а самого Достоевского немедленно представить в III Отделение. Ежели при опечатании бумаг и книг Достоевского он будет указывать, что некоторые из оных принадлежат другому какому-либо лицу, то не обращать на таковое указание внимания и оные также опечатать. При возлагаемом на вас поручении вы обязаны употребить наистрожайшую бдительность и осторожность под личную вашею ответственностию.

Господин начальник Штаба корпуса жандармов, генерал-лейтенант Дубельт сделает распоряжение, чтобы при вас находились: офицер Санкт-Петербургской полиции и необходимое число жандармов.

Генерал-лейтенант граф Орлов».

Накануне, ранним вечером пятницы 22 апреля, на Загородном проспекте случайно столкнулись братья Достоевские — Федор и Андрей. «Мы поздоровались и простояли вместе минут пять, — вспоминал Андрей Михайлович. — После встречных приветов брат сказал: “Скверно, брат, скверно! Чувствую,

что болезнь подтачивает меня. Нужно бы отдохнуть, полечиться, куда-нибудь поехать на лето... а средств нет!.. Что ты не заходишь? Заходи как-нибудь".

— Да ведь послезавтра воскресенье, увидимся у брата...

— А ты будешь у брата?

— Непременно.

— Ну так до свидания!

Но в воскресенье нам обоим уже не удалось обедать у брата Михаила Михайловича».

Очень скоро братьям предстояло встретиться совсем в другом месте.

Та пятница была жаркой и пасмурной, но около семи вечера пошел такой сильный дождь, что Ф. М. по пути на Покровку забежал к Яновскому обсушиться и передохнуть. В девять дождь все еще лил. Взяв у приятеля мелочь на извозчика, он уехал, но не на Покровку, как думал Яновский (и как полагал *Mich-Mich*, искавший, но не нашедший здесь брата), а к Григорьеву, и вернулся домой только в четвертом часу утра. Было тепло, ясно, поднималось солнце, начинали зеленеть деревья. Проспав около часа, Ф. М. сквозь сон заметил «каких-то необыкновенных людей». Андрею тоже спать долго не пришлось: придя от приятеля около полуночи, он долго читал, поздно заснул, а на рассвете (в щели ставен проникал свет утренней зари) услышал, что его окликают.

Сцены ареста были похожи до мелочей. К Федору пожаловали частный пристав, господин в голубом с подполковничьими эполетами и приятным голосом, солдат с саблей и жандармский унтер-офицер. К Андрею — жандармский полковник, жандармский поручик, частный пристав, жандарм и несколько полицейских. Ордер на арест предъявлял для прочтения старший по чину офицер: «По высочайшему повелению, вы арестуетесь...» В обоих случаях арестуемым любезно разрешили одеться и в это время производили обыск: жандармы осматривали столы, комоды, шкафы и полки, залезали в печи, шаря в старой золе, разворачивали свертки, увязывали книги и бумаги в тюки и узлы. Расстроенный до нервного потрясения, Андрей Михайлович, не зная за собой никакой вины, предположил, что подвергнут аресту за хранение в печке большого запаса закупленных впрок спичек. Арестованных провожали испуганные хозяйки и прислуга. У подъезда стояли четырехместные кареты — вместе с арестантом туда уселись по трое сопровождающих; дверцы захлопнулись, шторы опустились, и экипажи из разных концов Петербурга двинулись на Фонтанку, к Цепному мосту у Летнего сада, к зданию Третьего отделения. Мосты на Неве были разведены, объезд был долгим.

«Там было много ходьбы и народу, — вспоминал Ф. М. 11 лет спустя. — Я встретил много знакомых. Все были заспанные и молчаливые... Беспрерывно входили голубые мундиры с разными жертвами. "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!" — сказал мне кто-то на ухо. 23 апреля был действительно Юрьев день. Нас разместили по разным углам, в ожидании окончательного решения, куда кого девать. В так называемой белой зале нас собралось человек семнадцать. Вошел Леонтий Васильевич...»

Д. Д. Ахшарумов: «В особенности поразила меня большая зала своим многолюдством: арестованные стояли кругом, а между ними часовые; слышен был говор и по временам стучанье прикладом об пол при разговоре (так приказано было)». *П. А. Кузмин*: «Из прочих товарищей моих по аресту некоторые, считавшиеся важнейшими, были рассажены поодиночке; остальные гуртом были в одной или в двух залах». *А. М. Достоевский*: «Оставив свою шинель в передней, я был поведен на верхний этаж и очутился в большой зале, которую впоследствии брат Федор Михайлович назовет "Белою залою". К немалому своему удивлению, я нашел в этой зале человек 20 публики, которые, видимо, тоже были только что привезены сюда, и которые шумно разговаривали, как хорошо знакомые между собою люди... Один я стоял, как в воду опущенный, никем не знаемый и никого не знающий... Вдруг вижу ко мне подбегает брат Федор Михайлович. "Брат, ты зачем здесь?" Но только это и успел он сказать. К нам подошли 2 жандарма, один увел меня, другой брата в разные помещения. Это было мое последнее с ним свидание и последние слова, мною от него слышанные, на долгие и долгие годы».

Утром к доктору Яновскому прибежал растерянный Михаил Михайлович с известием, что Ф. М. арестован и отвезен в Третье отделение. Днем Михаил знал уже об аресте двух своих братьев и сообщил Милюкову: «Брата Андрея арестовали. Он ничего не знает, никогда не бывал с нами, его взяли по ошибке вместо меня». Две недели он будет ждать ареста, и когда его заберут, жена и трое малых детей окажутся в крайне стесненных обстоятельствах. «Только А. А. Краевский помог ему пережить это несчастное время», — вспоминал А. П. Милюков. Несчастье продлится полтора месяца, но следствие установит, что, даже и бывая на собраниях, старший Достоевский не сочувствовал радикальным настроениям. 24 июня его освободят из крепости с денежной компенсацией ввиду бедственного положения семейства.

Утром 23 апреля граф Орлов донес государю об аресте тридцати четырех человек: «Все совершено с большой тишиной, без всякой огласки и с наивеличайшей аккуратностью». Позд-

нее в крепость будут доставлены те, кого не было на месте в ночь арестов: Плещеев из Москвы, Тимковский из Ревеля, Данилевский из Тульской губернии, Черносвитов из Сибири.

Около полудня в крепость приехал Орлов, обошел все залы и в каждой говорил короткую речь — о том, что молодые люди не умели ценить свободу, что своими поступками принудили правительство пойти на экстренные меры, что участь их будет зависеть от тяжести преступлений, которые разберет суд, и от милосердия государя. Дом у Цепного моста продержал своих «гостей» до поздней ночи; здесь их порядочно и с хорошей сервировкой кормили — чай, кофе, завтрак, обед (некий унтер-офицер Ендальцев запишет в ведомости о тратах, что на чай, булки, кофе, сухари, сливки, херес, пиво, папиросы и сигары было израсходовано в тот день 62 рубля 5 копеек[78]).

Ближе к полуночи арестантов начали вызывать по одному в кабинет Дубельта. За большим письменным столом, заваленным бумагами, сидел седой худощавый генерал в голубом сюртуке и белых генеральских эполетах. Пристально оглядев вошедшего, он строго произносил одну и ту же фразу: «Извольте отправляться с господином офицером NN». В сопровождении жандармского чина «гостя» выводили во двор, где его ожидали карета и конвоиры: дверь закрывалась, штора опускалась, и экипаж отправлялся в неизвестность — А. М. Достоевскому подумалось, что его вывезут за город, за заставу, и там на перекладных прямиком препроводят в Сибирь.

Но всех, кто был захвачен в ту ночь, везли пока что в Петропавловскую крепость. Кареты, проехав под сводами нескольких ворот, останавливались у каменного двухэтажного флигеля — слева от дороги, ведущей от собора к Монетному двору. В верхнем этаже здания, в своем кабинете со списками в руках, арестантов принимал комендант крепости генерал И. А. Набоков и, спросив очередную фамилию, поручал плац-майору отвести арестанта в камеру — через открытый двор, темные коридоры, скрипучие двери. Ф. М., числившийся в именном списке как «один из важнейших», был помещен в Алексеевский равелин, в камеру № 9; здесь же были приготовлены камеры еще для двенадцати узников — Петрашевского, Дурова, Баласогло, Толля, Филиппова, Ястржембского, Головинского...

Алексеевский равелин, политическая тюрьма строгого режима на 20 одиночных камер, управляемая смотрителем и охраняемая командой в 50 солдат, которые не имели права покидать территорию, считался секретнейшим местом заключения среди прочих застенков крепости. Каменное треугольное одноэтажное здание с одной дверью и караульной будкой около

нее, с окнами, стекла которых на две трети высоты густо закрашивались грязно-белой масляной краской, к моменту ареста петрашевцев было вполне обжитым местом — здесь в 1825—1826 годах томились декабристы, в том числе Пестель, Рылеев, Каховский; в 1830-х — участники Польского восстания, в конце 1840-х — члены Кирилло-Мефодиевского общества. Позже сюда придут Бакунин, Чернышевский, Каракозов, Нечаев, народовольцы (тюрьму упразднят в 1884-м, здание снесут в 1895-м).

Спешнев, считавшийся, по данным агента, менее опасным, был арестован всего лишь жандармским прапорщиком, не удостоился индивидуальной кареты, а был увезен вместе с Данилевским и Утиным при одном жандарме и помещен в каземат прямо напротив комендантского флигеля. Камеры в длинном каменном двухэтажном здании, именуемом Никольская куртина, были в два окна, с железными решетками, двойными рамами с мелким переплетом, стеклами, замазанными краской до половины, и с форточкой наверху. «Посредине комнаты деревянная кровать, стол и табуретка, в углу деревянный ящик. Толстая дверь, отворяющаяся внутрь нумера, покрыта листовым железом, в средине двери небольшое четырехугольное окошечко со стеклом, завешенным со стороны коридора грязною тряпкою» — так опишет тюремную келью Кузмин; в таких же камерах поселили Григорьева и Момбелли.

Режим для всех заключенных на время следствия был одинаков: сюда помещали и отсюда выпускали без суда, по распоряжению государя; свидания не разрешались; на прогулки во внутреннем дворике водили поодиночке, на малое время и не всех; бани по неясной причине тоже полагались далеко не всем. Свою одежду узники сдавали сторожу в цейхгауз (ее будут выдавать только на время допросов), взамен надевали арестантское платье: длинную рубашку из толстого торбочного или грубого подкладочного холста, широкие холщовые выше колен мешки вместо чулок (подвязок, как и подштанников, не полагалось, мешки нужно было скручивать в узел и затыкать за край); войлочные туфли огромного размера без задников и халат толстого серого солдатского сукна — попадались все больше старые, заношенные, изорванные, со следами давних и свежих пятен. Из своего разрешили оставлять верхнюю одежду — в камерах ощущался пронизывающий холод: печи, топившиеся из коридора, в первую ночь были ледяные (А. М. Достоевский, попав в застенок, добрым словом помянет полковника, который при аресте посоветовал надеть теплую шинель с меховым воротником). Кровать с соломенным матрацем и подушкой, без простыни и наволочки, была по-

крыта одеялом в тон халату. Уходя из камеры, сторож ставил на стол деревянную кружку с водой и ночник, то есть черепок с фонарным маслом и бумажным фитилем, запирал дверь на два замка — внутренний и висячий. Сознавая убогость казематов, Набоков подал рапорт Орлову о необходимости купить для арестантов «скатертей 30, салфеток 45, полотенец 45, рубах холщовых 45, подштанников холщовых 45, колпаков бумажных 26, брюк тиковых 12, халатов байковых 17, башмаков кожаных 13 пар и сверх того исправить починкою тюфяки, подушки и стульчаки»[79].

«Когда я увидел при дневном свете мое новое жилище, — вспоминал Ахшарумов, — глазам моим предстала маленькая грязная комната... стены, оштукатуренные известью, давно потерявшей свой белый цвет. Они были повсюду испачканы пальцем человека, не имевшего бумаги для обыкновенного употребления... В комнате кроме кровати были столик, табуретка и ящик с крышкой; на площадке окна стояла кружка и догоревшая уже плошка».

Форточки, впускавшие свежий воздух, открывались во двор крепости — если исхитриться и подпрыгнуть, можно было увидеть крепостную стену и часового с ружьем. Слышны были благовест церковного колокола и бой башенных часов с музыкальным наигрыванием каждые четверть часа. Ястржембскому условия заточения казались вполне сносными: «Все гигиенические условия были там удовлетворительны: чистый воздух, опрятность, здоровая пища... хотя в то время в Петербурге была сильная холера, из заключенных не заболел ни один»[80].

Рано утром 24 апреля двери казематов отворились, вошли плац-адъютанты и сторожа. «Один метлою помел в комнате, другой принес чайник с чаем, каменную кружку и булку, и, кажется, этот же переменил воду в деревянной кружке, не выполаскивая кружки, выплеснув в ушат воду, а третий, вынув из деревянного ящика, стоявшего в углу, металлическую посудину в форме усеченного конуса, вылил содержимое в ушат, вставил посудину, не ополоснув ее, на прежнее место» (П. А. Кузмин). Плац-адъютанты объявили арестантам, что на отобранные у них деньги можно иметь чай, булки и курево, и просили указать, какое именно. Ни в какие беседы, касающиеся дальнейшей участи узников, они не вступали, велели сдать все металлические и ценные вещи, включая кольца, часы и даже очки.

Около десяти утра всех арестантов обошел генерал Набоков со свитой офицеров и служителей. «Как живете, всё ли благополучно? Всё ли имеете? Я комендант крепости». «Мне очень холодно, прикажите затопить печь... Тогда отдано было, с гне-

вом, приказание затопить немедленно печи везде, “чтобы не жаловались более на холод”» (Д. Д. Ахшарумов). Набоков сдержал слово: вскоре в комнатах стало заметно теплее. Но при вопросах, за что́ арестовали, он хмурился и мрачно отвечал, что об этом они должны знать сами; впрочем, обещал, что все разъяснится на первом допросе.

А. М. Достоевский подробно описал распорядок жизни узников крепости. Двери казематов отпирались ежедневно по пяти раз, всегда в одно и то же время: утром, часов в 7 или 8, когда приносили умываться и убирали комнату, то есть выносили их судна; часов в 10—11, при обходе начальства (комендант посещал казематы почти ежедневно); в 12 часов дня, когда приносили обедать; в 7 часов вечера, когда приносили ужин; когда стемнеет, чтобы поставить плошку. «Обед состоял всегда из двух блюд: щи или суп в виде похлебки с нарезанными кусочками говядины, и каша, гречневая или пшенная, причем хлеба приносили вдоволь. Ужин состоял из одного горячего. Для питья постоянно ставилась оловянная кружка с квасом или водою, по желанию. Как видно, пища была незатейливая, но жаловаться было нельзя, потому что она всегда была сытная и свежая». Смиренно переживавший свое заточение Андрей Михайлович имел и дополнительное мучение: по ночам в его камере бушевали огромные крысы, с которыми он безуспешно воевал, — они исчезали только при дневном свете...

Двадцать третьего апреля Николай I назначил «Секретную следственную комиссию, высочайше учрежденную над злоумышленниками». В нее вошли И. А. Набоков (председатель), член Государственного совета князь П. П. Гагарин, товарищ военного министра генерал-адъютант князь В. А. Долгоруков, начальник штаба Управления военно-учебных заведений Я. И. Ростовцев и Л. В. Дубельт. Военный министр А. И. Чернышев передал комиссии директиву императора о немедленном и самом тщательном производстве следствия.

Но еще *до* следствия, опережая его результаты, граф Орлов в «весьма секретном» письме московскому генерал-губернатору А. А. Закревскому от 25 апреля сформулировал цели и задачи заговорщиков. «Характер собраний у Петрашевского был чисто учено-политический; цель же их была: перемена существующего в России порядка вещей, образовать людей, совершенно сходных в своих идеях и взглядах на предметы, чтобы, в случае какой-либо перемены в правлении или мятежа, тотчас нашлись люди, согласные в своих началах, готовые в первом случае занять правительственные места, а во втором — начальствовать над массами. Действовал Петрашевский и его соучастники; во-первых, на будущее поколение через учителей;

во-вторых — на массы через служащих лиц, которые обязывались представлять все действия администрации в черном виде, подлыми и неправильными, и таким образом, приучая массу ненавидеть лиц, имеющих в руках какую-либо административную власть, и вооружать ее против самой власти...»[81]

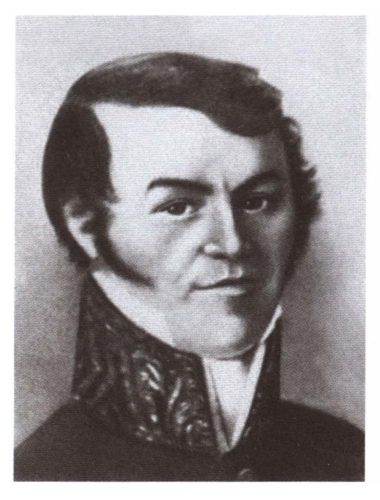
На следующий день, 26 апреля, Следственная комиссия начала свою работу — из окон Никольской куртины был виден тот самый дом, где арестантов принял Набоков и куда их отныне будут водить на допросы. К своим обязанностям приступила и «Особенная комиссия для разбора всех бумаг арестованных лиц»: статс-секретарь по принятию прошений князь А. Ф. Голицын (председатель), чиновник особых поручений Третьего отделения тайный советник А. А. Сагтынский, секретарь шефа жандармов, действительный статский советник А. К. Гедерштерн и И. П. Липранди. Им поручалось просмотреть огромное количество бумаг и книг, взятых при аресте, и передать следствию те из них, которые могли иметь отношение к делу. «Когда я увидел из окон своей комнаты несколько фур с книгами и бумагами, привезенными во двор, — вспоминал Кузмин, — то подумал, что, чего доброго, придется подождать не один день, пока разберут весь этот материал».

С 28 апреля начались предварительные опросы; они происходили по вечерам — от шести до десяти, в часы работы комиссии; иногда заседания заканчивались далеко за полночь. Всем узникам было предложено написать письменные объяснения своего участия в обществе. В остальном тюремная жизнь протекала в монотонном однообразии — только колокольный звон каждые четверть часа, весенний воздух из форточки, кормление голубей остатками хлеба от обеда и ужина: «голуби прилетали к открытой форточке и садились на железную полосу, сквозь которую пропущены были железные брусья решетки; впоследствии голуби приручились до того, что влетали в комнату и даже давались в руки» (П. А. Кузмин). Процедура вождения на комиссию начиналась с команды плац-адъютанта: «Номер такой-то!» Тотчас сторож брал из цейхгауза платье арестанта и нес в каземат, арестант переодевался и шел вместе с конвоем во флигель коменданта; при этом приняты были меры, чтобы арестанты друг с другом никогда не встречались.

Когда на десятый день заключения, поздним холодным вечером 2 мая (тюремный двор покрылся свежевыпавшим снегом) А. М. Достоевский был вызван на допрос, он упал в камере на колени и горячо молился — в надежде, что его заточению будет дано хоть какое-то объяснение. Посередине большой и ярко освещенной комнаты помещался большой продолгова-



Федоръ Достоевскій



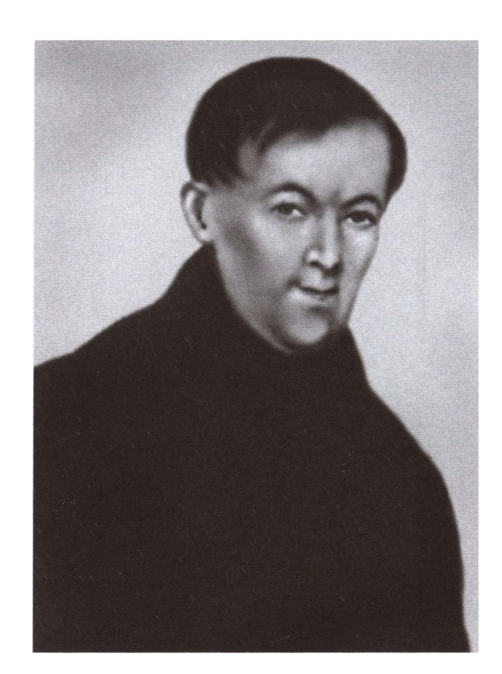
М. А. Достоевский — отец писателя.
С пастели Попова. 1823 г.



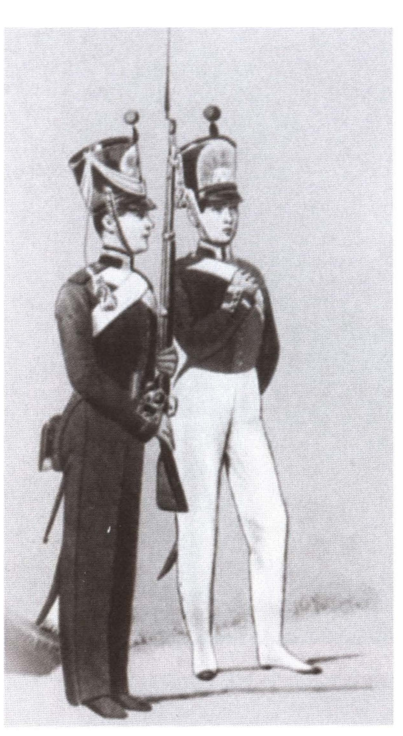
М. Ф. Достоевская — мать писателя.
С пастели Попова. 1823 г.

Дом на улице Новая Божедомка (ныне улица Достоевского), где родился писатель

Купец первой гильдии
Александр Куманин —
дядя Ф. М. Достоевского



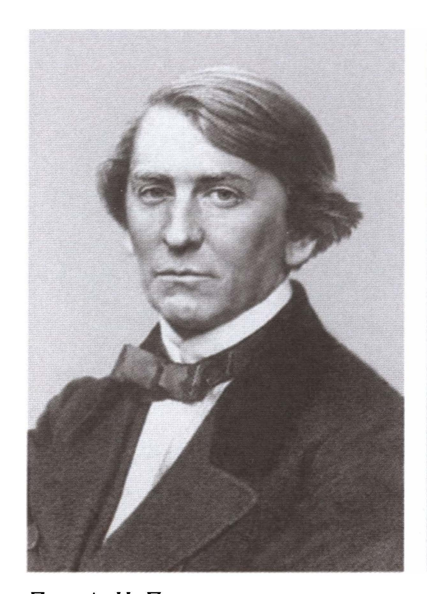
Дом Достоевских
в селе Даровое
Тульской губернии



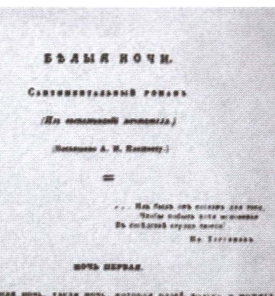
Кондукторы Инженерного училища

Инженерный замок





Поэт А. Н. Плещеев,
которому Достоевский
посвятил повесть «Белые ночи»



БѢЛЫЯ НОЧИ.

Сантиментальный романъ

НОЧЬ ПЕРВАЯ.

Первая страница повести
«Белые ночи» в журнале
«Отечественные записки»
(декабрь 1848 года)

Дом Шиля, где были написаны ранние произведения Достоевского





В. Г. Белинский

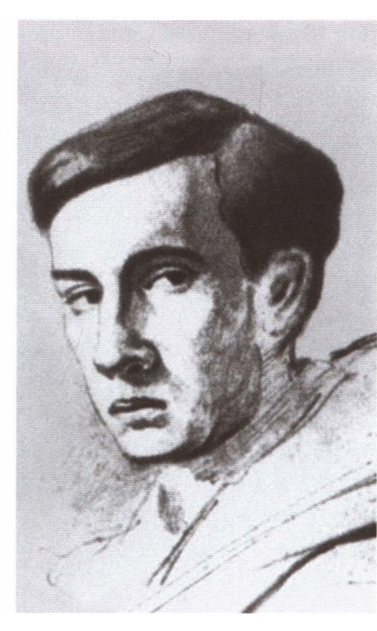
Н. А. Некрасов



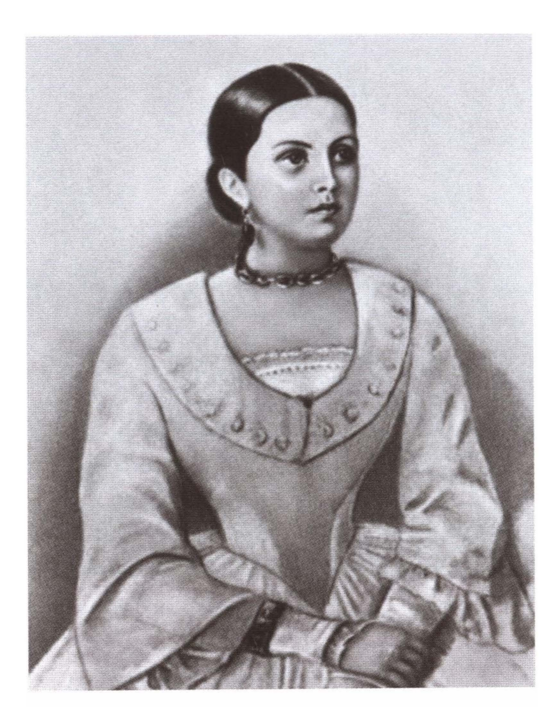
В. Н. Майков

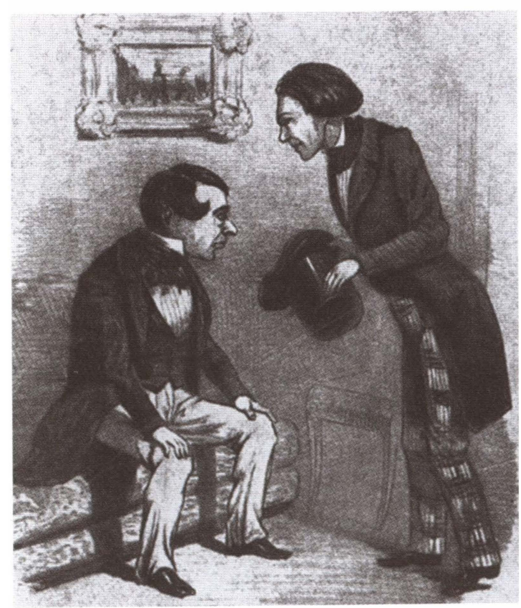


Д. В. Григорович

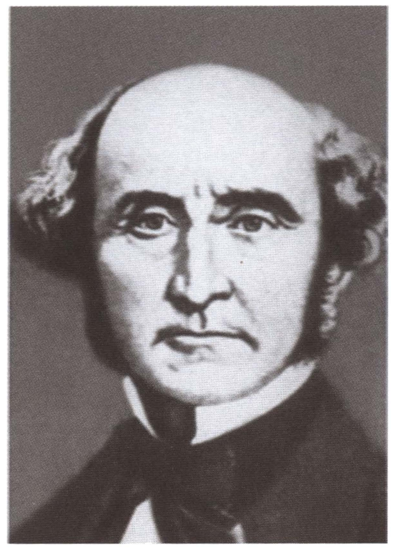


А. Я. Панаева

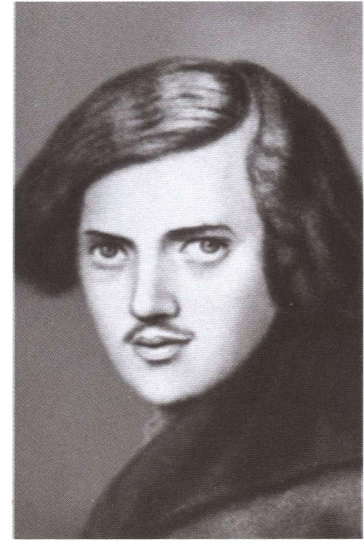




Краевский
и Достоевский.
Карикатура

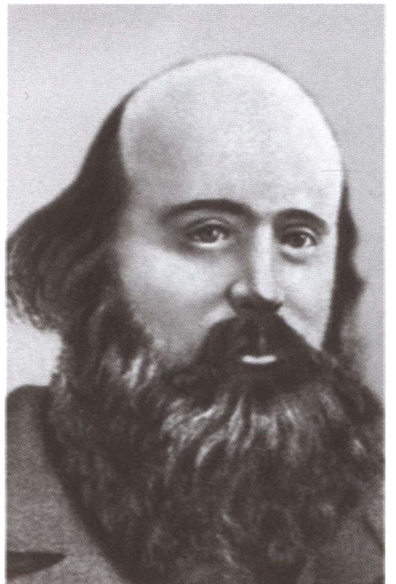


Ш. Фурье

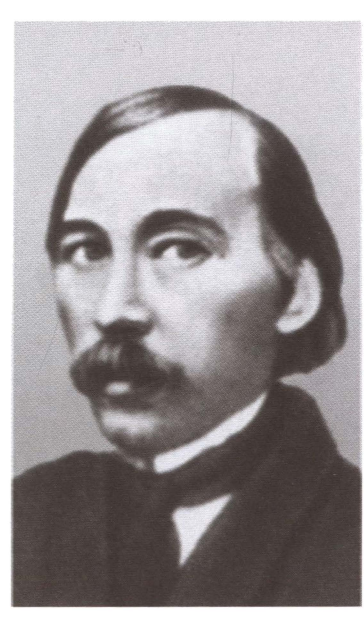


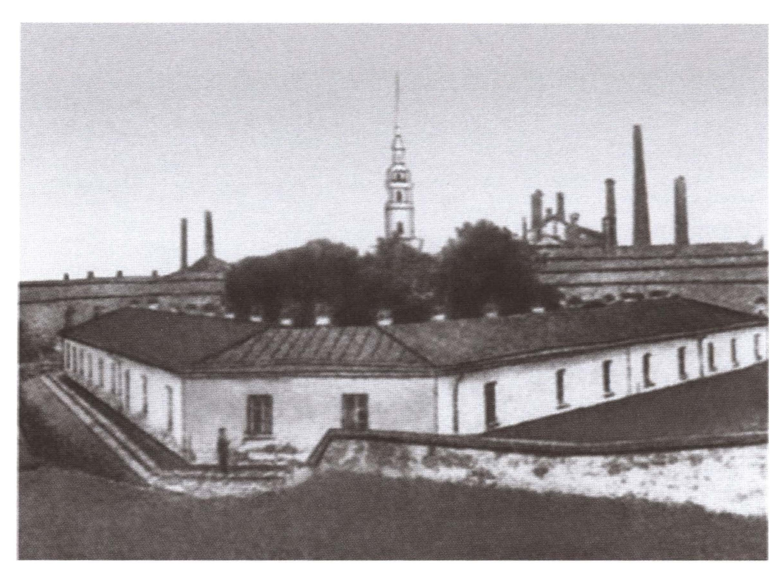
Н. А. Спешнев

М. В. Петрашевский



С. Ф. Дуров





Алексеевский равелин Петропавловской крепости —
место заключения Достоевского

Несостоявшаяся казнь петрашевцев на Семеновском плацу.
22 декабря 1849 г.

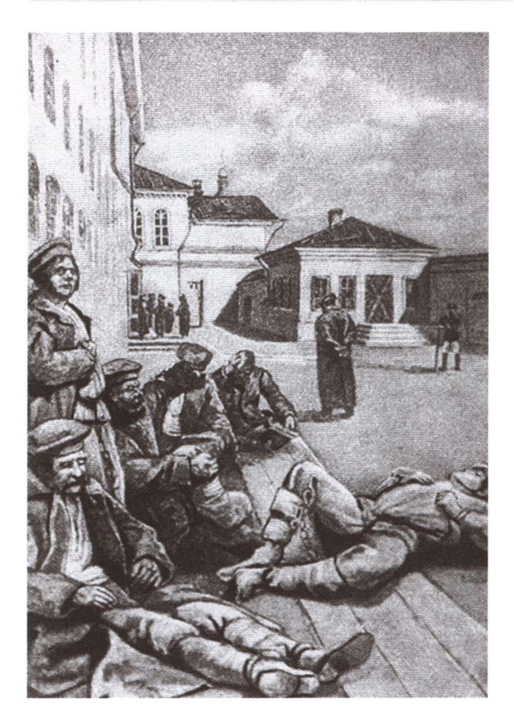


ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ПЕТРАШЕВЦЕВ.

Ф. М. Достоевский.

Имена преступников.	Главные виды преступлений, судом обнаруженные.	Заключение Генерал-аудитората.	Высочайшая конфирмация.
10. Отставного инженер-поручика Федора ДОСТОЕВСКОГО (27 л.)	За участие в преступных замыслах, распространение одного частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение к распространению, посредством домашней литографии, сочинений против правительства.	Подвергнуть смертной казни расстрелянием.	Лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в крепостях на 4 года и потом определить рядовым.

Приговор Достоевскому по делу петрашевцев

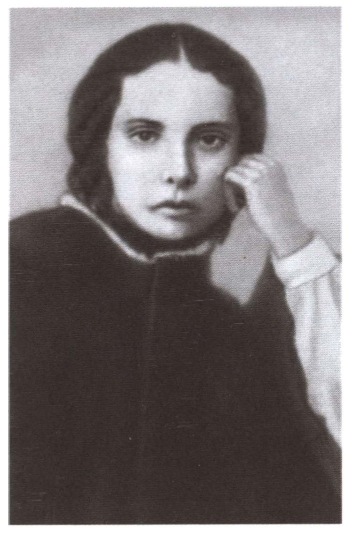


Каторжане на этапе. *Рисунок XIX в.*

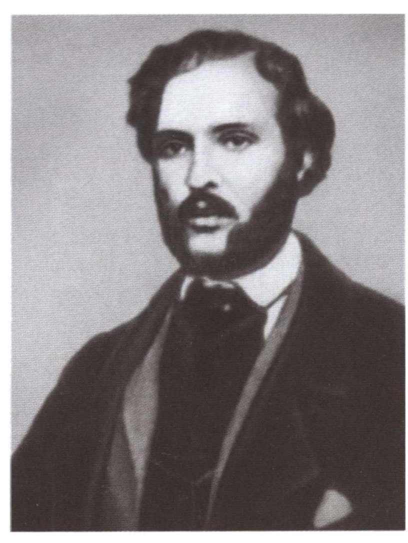
Ограда Омского острога

Евангелие, подаренное Достоевскому женами декабристов

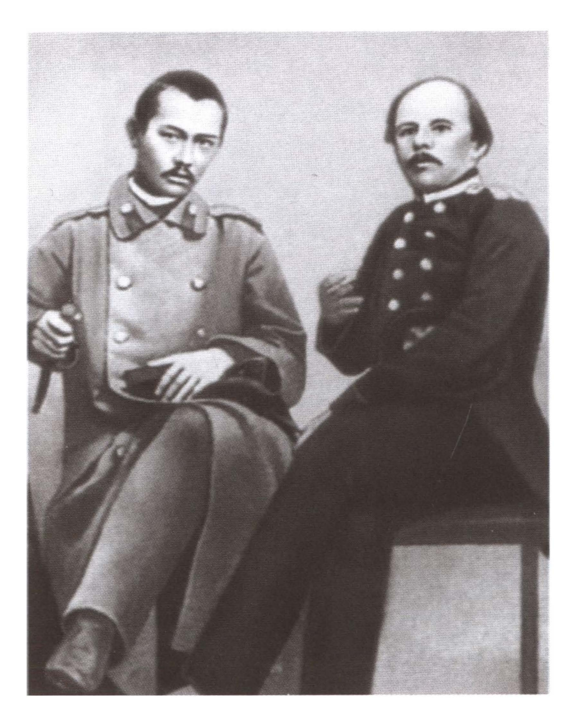




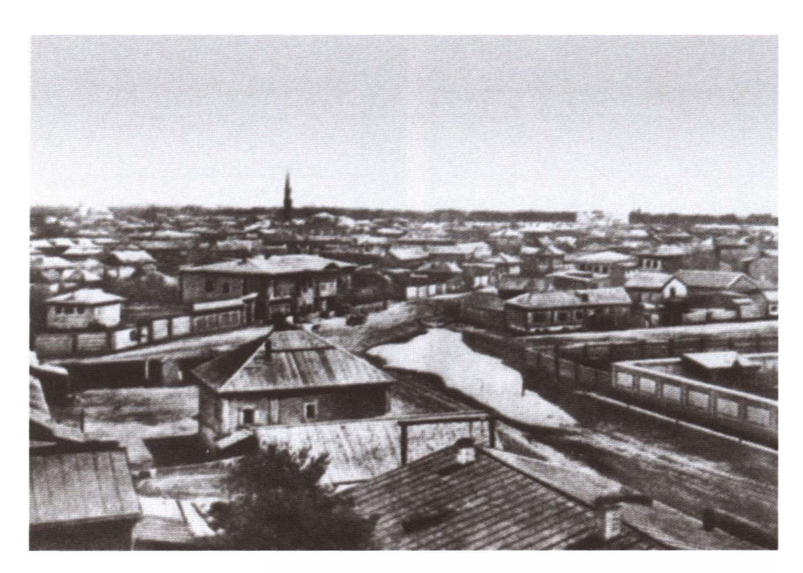
М. Д. Исаева — первая жена Достоевского



А. Е. Врангель



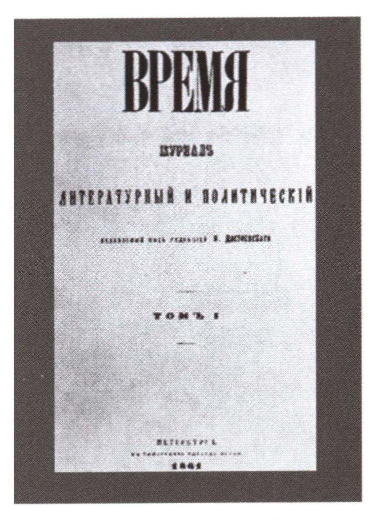
Достоевский и Чокан Валиханов



Семипалатинск.
Фото конца
1850-х гг.



Ф. М. Достоевский.
Фото Н. Лейбина.
Семипалатинск.
1858 г.



ВРЕМЯ

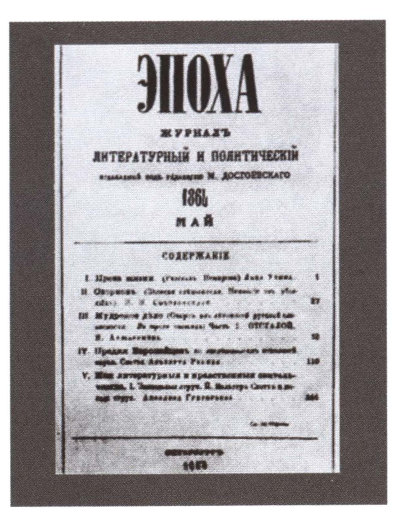
ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ

ТОМЪ I

1861

Первый номер журнала «Время». *1861 г.*



ЭПОХА

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ

издаваемый подъ редакцiею М. ДОСТОЕВСКАГО

1864

МАЙ

СОДЕРЖАНІЕ

[illegible]

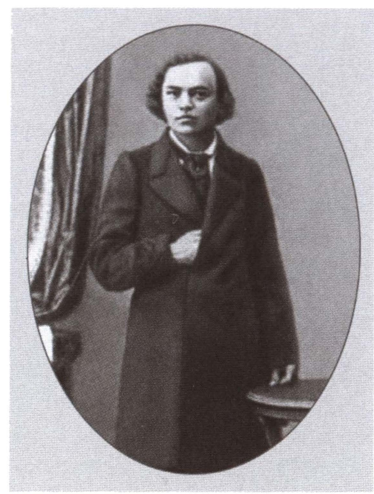
Журнал «Эпоха». *1864 г.*



А. А. Григорьев

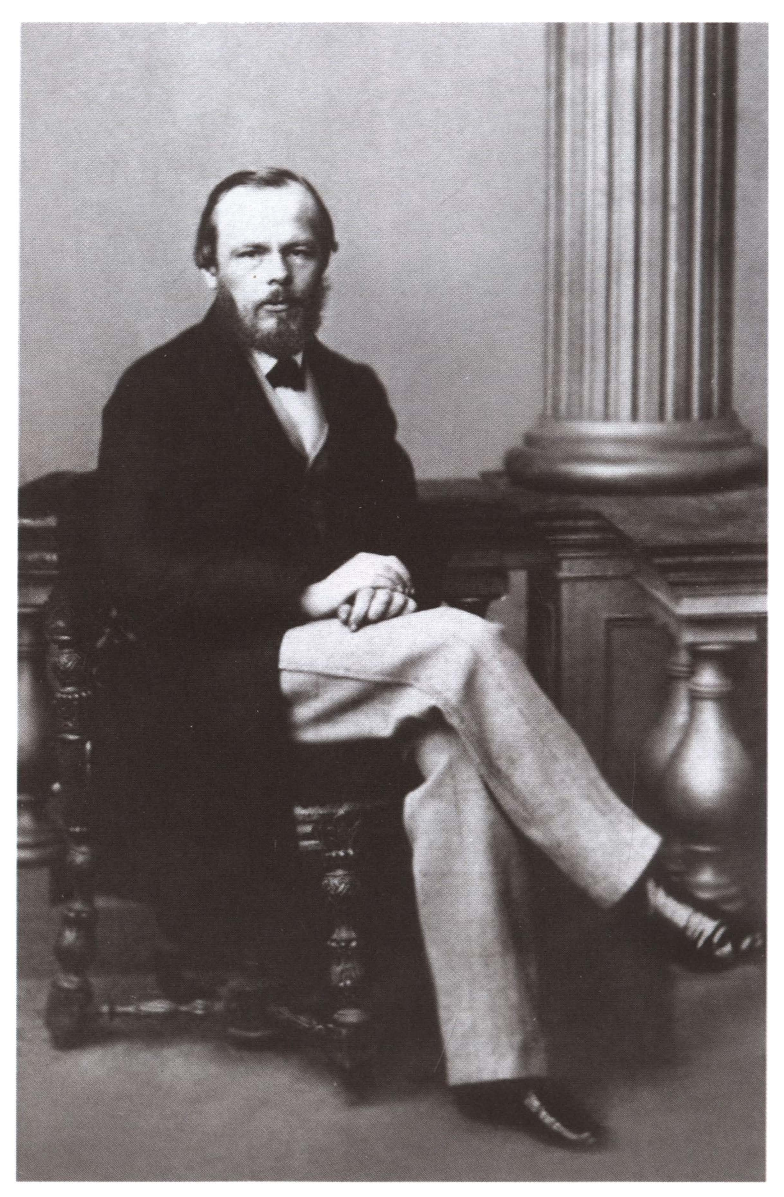


М. М. Достоевский — брат писателя. *1864 г.*



Н. Н. Страхов

Групповой портрет русских писателей. Сидят (слева направо): И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский. Стоят: Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович. *Фото С. Л. Левицкого. 1856 г.*



Ф. М. Достоевский. *1861 г.*

тый стол, покрытый сукном. Из сидящих за столом он знал только Набокова. «Получив воспитание на казенный счет, назначенный со школьной скамьи прямо на государственную службу, с вполне обеспеченным содержанием, я всем обязан правительству», — горячо, с сознанием своей правоты, проговорил А. М., пытаясь доказать, что не мог иметь причин для противозаконных поступков.

Последовали вопросы: не имел ли вредных знакомств? где бывал по пятницам? «В последнюю пятницу, перед моим арестом, то есть 22 апреля, я был у своего товарища архитектора Карпова и в квартире его провел время в сообществе его сестры часов до 11 вечера», — отвечал Андрей Михайлович.

«— А с Буташевичем-Петрашевским знакомы?

— С Петрашевским?.. Нет, я Петрашевского не знаю; а как ваше превосходительство назвали другого?»

Комиссия шепотом посовещалась, спросила, имеет ли подследственный однофамильцев, и немедленно узнала, что кроме двух арестованных братьев Достоевских есть еще два... Недоразумение прояснилось: «не тот» брат был переведен из камеры в чистую комнату с хорошей кроватью и свежим постельным бельем. Следующим вечером князь Гагарин объявил ему: «*Ваш арест произошел от ошибки, часто неизбежной при огромном механизме государственного управления*».

Для освобождения из крепости необходимо было дождаться высочайшего повеления, и государю, находившемуся в Варшаве, послали представление; пока же комендант поместил Андрея Михайловича в своей квартире. «Никогда не допущу, чтобы совершенно невинный находился под арестом и сидел в каземате», — заявил Набоков, пообещав, что уведомит нужные инстанции о невиновности молодого архитектора. Члены комиссии как будто и в самом деле радовались, убеждаясь в правдивости показаний младшего Достоевского: его выпустили из крепости утром 6 мая (а накануне ночью был арестован старший![82]), и в тот же день средний брат был вызван на предварительный допрос.

Причудливое совпадение: в этот самый день, 6 мая, «Северная пчела» поместила объявление о выходе в свет майского номера «Отечественных записок» с третьей частью «Неточки Незвановой», которая готовилась к печати уже после ареста Достоевского (Краевский обращался с запросом в Третье отделение о возможности публиковать сочинение арестанта; цензоры разрешили печатание без подписи сочинителя).

Меж тем Петербург полнился фантастическими слухами о заговоре громадного размера; для его организации из Парижа якобы приезжали последователи Прудона, о котором в столич-

ном обществе мало что знали. Внезапное исчезновение из города нескольких десятков известных молодых людей выглядело пугающе. Впрочем, при ближайшем знакомстве с делом слухи уже не казались преувеличенными. В донесениях Антонелли содержались чудовищные искажения и преувеличения; многое было представлено в самых грязных тонах. «Это сборище людей дышало разбоем и водкою, водкою и разбоем», — писал он о вечере у Кузмина; называл участников собраний «антиподами, выходцами с конца света». Комиссия же искренне недоумевала: кто уполномочил этих молодых людей обсуждать вопросы, которые находятся вне сферы их компетенции? Члены комиссии держались мнения, что иметь образ мыслей, отличный от общепринятого, уже преступление. «Сознайтесь и покайтесь!» — таков был лейтмотив допросов. К тем, кто молчал или запирался, комиссия была непреклонна.

Достоевский молчал или отвечал уклончиво, а главное, отвергал мысль о преступности собраний. «Я не могу поверить, чтобы человек, написавший "Бедных людей", был заодно с этими порочными людьми. Это невозможно. Вы мало замешаны, и я уполномочен от имени государя объявить вам прощение, если вы захотите рассказать всё дело», — уговаривал Ростовцев. «Я, — вспоминал Ф. М., — молчал. Тогда Дубельт с улыбкой заметил: "Я ведь вам говорил". Тогда Ростовцев закричал: "Я не могу больше видеть Достоевского", выбежал в другую комнату и заперся на ключ, а потом оттуда спрашивал: "Вышел ли Достоевский? Скажите мне, когда он выйдет, — я не могу его видеть"»[83].

Эта сцена казалась Достоевскому напускной, ее можно было бы назвать даже фарсом, но для комиссии уклончивое молчание подследственного было непереносимо. А для него «рассказать всё дело» значило бы, наверное, раскрыть заговор. Липранди, стремясь придать делу вселенский размах, говорил в своей записке не про отдельный и мелкий заговор, а про «всеобъемлющий план общего движения, переворота и разрушения». Он трактовал разнородный состав общества как явление более грозное, чем восстание декабристов — дворян и военных, людей одного круга. Петрашевцы же соткали сеть; она «должна была захватить все народонаселение и действовать не в одном месте, а повсюду». Сами петрашевцы, сравнивая себя с декабристами, видели дело в ином свете: «Преступления тех были важнее, так как они проникли в войско и располагали пушками и оружием». «Декабристы дрались на площади, в народе, а мы только говорили в комнате», — говорил Спешнев А. Г. Достоевской[84].

Достоевский полагал, что петрашевцы пошли дальше декабристов. Те хотели ограничить самодержавие, освободить крестьян без земли и стать *лордами*. Но даже в кружке Дурова говорилось об освобождении крестьян с земельными наделами. «Петрашевцы посеяли много семян...» — говорил позже Достоевский, не сомневаясь в существе *дела*: «Тут был целый заговор и все, что и в последующих заговорах, которые были только списками с этого, т. е. тайная типография и литография, хотя не было, конечно, посягательств»[85] (политических убийств). До конца жизни он помнил *дело* не как чтение книг из библиотеки Петрашевского, не как опыт философских споров, а как *замысел* политического заговора и *сам заговор*.

В 1876-м в «Дневнике писателя» Ф. М. вспоминал о старшем брате. «В сорок девятом году он был арестован по делу Петрашевского и посажен в крепость... Брат не участвовал ни в организованном тайном обществе у Петрашевского, ни у Дурова. Тем не менее он бывал на вечерах Петрашевского и пользовался из тайной, общей библиотеки, склад которой находился в доме Петрашевского, книгами. Он был тогда фурьеристом и со страстью изучал Фурье... То, что он был фурьеристом и пользовался библиотекой, — открылось, и, конечно, он мог ожидать если не Сибири, то отдаленной ссылки как подозрительный человек... Брат, попав в крепость, оставил на квартире испуганную жену свою и трех детей, из которых старшему тогда было всего 7 лет, и вдобавок без копейки денег. Брат мой нежно и горячо любил детей своих, и воображаю, что перенес он... Между тем он не дал никаких показаний, которые бы могли компрометировать других, с целью облегчить тем собственную участь, тогда как *мог бы кое-что сказать*, ибо хоть сам ни в чем не участвовал, но *знал о многом*».

Итак, молчали оба брата: Михаил *не участвовал, но знал* (от кого, как не от Федора?). А Федор — *участвовал и потому знал*.

И все же причастность Достоевского к *делу* была отмечена парадоксами и противоречиями. Ни один из литераторов «обличительного направления» к «обществу пропаганды» отношения не имел. По злой насмешке судьбы Достоевский оказался перед судом за взгляды, которые не слишком разделял, за идеи, в которых сомневался, за тайную деятельность, которую не успел и начать, за роковую увлеченность тем, кто казался сильнее и радикальнее. «Если *желать лучшего* есть либерализм, *вольнодумство*, то в этом смысле, может быть, я вольнодумец... — писал он в Следственную комиссию. — Но... пусть уличат меня, что я желал перемен и переворотов насильственно, революционно, возбуждая желчь и ненависть! Но я не боюсь улики...»

Его не уличили. Он мужественно держался на допросах. Не сказал ничего лишнего, что могло бы пойти во вред товарищам, был сдержан, осмотрителен, осторожен. «Умный, независимый, хитрый, упрямый», — говорили о нем в комиссии. От него ждали компромата на хозяина пятниц, а он, вспоминая принятый между ними тон холодной учтивости, писал, что «всегда уважал Петрашевского как человека честного и благородного». Его спрашивали о пятничных собраниях, а он рассуждал о беспримерной драме, которая происходит на Западе («трещит и сокрушается вековой порядок вещей»), об идее республиканского правления, нелепой для России, о необходимости реформ сверху, а не снизу («не думаю, чтоб нашелся в России любитель русского бунта»), о том, как тяжело видеть свое сочинение запрещенным, о своей ссоре с Белинским. У него хотели узнать о программе кружка, а он высказывал мнение, что это был «спор, который начался один раз, чтоб никогда не кончиться», и что фурьеризм — система мирная, кабинетная и отчасти комическая. Достоевский не открыл, что был спешневцем, и объяснял лишь, что любит рассуждать об общих вопросах. В его бумагах не нашли никакой крамолы. Но ему придется держать ответ за спор двух вождей литературы: одного из них он безмерно уважал, но лично не знал; второй сначала превознес его до небес, а потом прогнал прочь.

...При аресте у Ф. М. было при себе всего 60 копеек, из теплых вещей — шинель на вате и шарф. Только через два месяца разрешили написать родным, стали давать книги, разрешили прогулки. Михаил еще сидел в крепости, поэтому первое письмо было Андрею с просьбой о помощи: «Я терпел всё это время крайнюю нужду в деньгах и большие лишения... Не забудь же меня теперь...» Деньги, «полсотни заграничных цигар» и «Отечественные записки» с «Неточкой Незвановой» пришлет ему Михаил, едва выйдет на свободу.

Истекал третий месяц заключения; неожиданно для себя Достоевский не сошел с ума и не пал духом. «Я времени даром не потерял, выдумал три повести, два романа; один из них пишу теперь...» — сообщал он Михаилу вместе с подробностями о здоровье и настроении. Ф. М. заново открывал себя: тайна человека, упрятанного в одиночную камеру, отворялась с неожиданной стороны. Счастье, когда позволяли гулять в саду, где «почти семнадцать деревьев». Праздник, когда разрешали свечу по вечерам. Верх блаженства получить с воли «Отечественные записки», славянскую и французскую Библии. Радость, когда стоят ясные дни и каземат не смотрит так сурово. И вообще: «В человеке бездна текучести и жизненности, и я, право, не думал, чтоб было столько, а теперь узнать по опыту...»

Восемь месяцев заключения, когда приходилось жить только своими средствами, то есть одной головой («вечное думанье, и только одно думанье, безо всяких внешних впечатлений»), дались нелегко. «Я весь как будто под воздушным насосом, из которого воздух вытягивают. Всё из меня ушло в голову, а из головы в мысль, всё, решительно всё...»* Оказалось, однако, что в самые тяжкие минуты жизни он, закоренелый ипохондрик, с надорванными нервами, испорченным желудком, с вечно больным горлом, мог проявлять хладнокровие, редкую душевную стойкость. Из каземата он утешал брата: «Грешно впадать в апатию. Усиленная работа con amore** — вот настоящее счастье. Работай, пиши, — чего лучше!»

Он перестал бояться летаргического сна (как это было с ним в ранней молодости), перестал находить у себя бесчисленные болезни. Спустя много лет Ф. М. расскажет молодому критику Всеволоду Соловьеву: «Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу, и — вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал?.. Я писал "Маленького героя" — прочтите, разве в нем видно озлобление, муки? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны...»

«Маленький герой», сочиненный в Алексеевском равелине, — это был принципиально новый писательский опыт. «Джейн Эйр» в русском переводе («В "Отечественных записках" английский роман чрезвычайно хорош»), прочитанная в камере при свечке, — новый читательский опыт.

...В самом конце сентября по указанию Николая I была учреждена смешанная Военно-судная комиссия под председательством графа В. А. Перовского, брата министра внутренних дел, затеявшего охоту на петрашевцев. Всем узникам Петропавловской крепости была запрещена переписка. Это стало одним из самых тяжелых испытаний восьмимесячного заключения.

Следующее письмо из крепости Достоевский сможет написать брату только после приговора.

---

* Летом 1849 года М. В. Петрашевский подал прошение в комиссию, в котором просил разрешить его товарищам чтение книг и прогулки в саду, «ибо продолжительное уединенное заключение... в людях с сильно развитым воображением и нервной системой может произвести умственное помешательство». Среди тех, на кого заключение может оказать пагубное влияние, был назван Достоевский, страдавший еще и прежде нервными раздражениями, так что ему «едва ли призраки не мерещились». Узник камеры номер 1 предостерегал комиссию: «Что если вместо талантливых людей — оклеветанных, по окончании следствия будет несколько человек помешанных?» (Дело петрашевцев. Т. 1. С. 148, 149). В процессе следствия это случилось с Григорьевым, девятнадцатилетним В. П. Катеневым и временно — с К. М. Дебу.

** С любовью (*ит.*).

Глава пятая

ПУТЬ НА ЭШАФОТ И ОБРАТНО

Ужасная находка. — Показания Петрашевского. — Dépit de la vie. — Маневры Спешнева. — Подведение итогов. — Военно-судная комиссия. — Смертный приговор. — Высочайшая конфирмация. — Жестокий спектакль. — Кандальный звон

В рассказе Достоевского о стойком поведении старшего брата на следствии было немало горечи. «Я спрошу: многие ли так поступили бы на его месте? Я твердо ставлю такой вопрос, потому что знаю — о чем говорю. Я знаю и видел: какими оказываются люди в подобных несчастьях, и не отвлеченно об этом сужу».

Он знал и видел, как слабели дерзкие, падали духом храбрые и сникали непреклонные. 16 мая комиссия получила послание Ахшарумова, которое переломило ход следствия. Накануне к делу были приобщены его записки, где говорилось: «С нашими негодными, недоверчивыми, всего опасающимися царями и многочисленным их семейством, в котором ни один член не обещает ничего доброго, с невежеством министров и всего правительства, решительно нет надежды на нововведение». Сын заслуженного генерала был обвинен в намерении произвести переворот в государстве. Позже он признается: «Я написал, по правде сказать, о себе много лишнего, чего бы вовсе не следовало писать, но был очень упавши духом и испуган смертной казнью». «Много лишнего» Ахшарумов написал, однако, не только о себе. Он признал, что целью Петрашевского был переворот; что Достоевский читал письмо Белинского Гоголю, что все обязались действовать солидарно и помогать друг другу по службе для занятия высших мест...

Ежедневно комиссия по разбору бумаг давала следствию свежую пищу. На заседании 20 мая Голицын доложил об ужасной находке. «Между бумагами Спешнева найдены в высшей степени преступного содержания: 1-е, проект подписки для вступления в Русское тайное общество, с изъявлением готовности участвовать в бунте вооруженною рукою. 2-е, возмутительного содержания сочинение, под заглавием: “Солдатская беседа”. 3-е, речь о религии, в которой опровергается существование Бога». Дубельт в порыве гнева записал в журнал заседаний, который он вел для графа Орлова: «Вышеупомянутая подписка в роде присяги и “Солдатская беседа” такие, за которые, по моему мнению, должно бы Спешнева повесить... К великому утешению сказать должно, что публика вообще чрез-

вычайно восстановлена против арестованных и изъявляет разительное желание, чтобы виновные были строго наказаны»[86]. (А. О. Смирнова-Россет писала Гоголю 13 мая: «О наших коммунистах ничего не слыхать, над ними производится суд. То, что рассказывали в первые дни, если не преувеличено, так гадко, так мерзко, что нельзя довольно благодарить Бога, что их вовремя переловили. Сочувствия они ни в ком не возбудили, а презрение во всех»[87].)

От подсудимого потребовали объяснений. Спешнев ответил, что «Проект», о существовании которого он забыл и никому никогда не показывал, был писан в юношеском возрасте и никогда не применялся; «Беседа» получена в числе разных писем. Потом добавил, что в своих убеждениях не совсем укоренился, был социалистом, но события во Франции его образумили, а отобранные бумаги суть бред молодого воображения.

С этого момента Спешнев стал центральной фигурой следствия, важнее, чем Петрашевский. Комиссия просила разрешения заковать его в кандалы в случае запирательства. Наследник разрешил с оговоркой — если эта мера употреблялась прежде. Навели справки о наложении оков на «политических преступников дворянского сословия» и узнали, что заковывались декабристы Цебриков и Якубович. Крайняя мера, однако, не понадобилась. Дубельт записал: «У него, после проекта присяги, нашли приготовленную речь, в которой, обращаясь к собравшимся, говорит: “Господа! Наш парламент, наша мирская сходка!” Его призвали к допросу и он старается доказать и уверить, что речь эта была приготовлена для чтения у Петрашевского, но читана не была и решительно не имеет никакой связи с проектом присяги, но между прочим проговорился, что 4 года тому назад он мечтал о бунте, а ныне мечтает только о пропаганде, и, наконец, высказал, что теперь видит, как его мнения и речи могли иметь пагубные последствия».

Двадцать восьмого мая «Проект» был показан Петрашевскому. «Относительно г. Спешнева сказать имею, — написал тот, — что на него имела, как кажется, большое влияние за несколько лет случившаяся смерть женщины, которую он любил страстно, почему у него и остался некоторого рода dépit de la vie, и что самый проект, относящийся к составлению Русского тайного общества, есть одна из форм, придуманных им для самоубийства, — что весьма удовлетворяло его самолюбию. О Русском обществе или проекте о нем ничего не знал, и, вероятно, он относится к весьма последнему времени, что подтверждается сверх того его неокончанием. И если сообразить

сей акт с законами, то сие будет единственным выражением помышления об умысле бунта, и наказанию никакому не подлежащим, как никакого вреда не произведшим»[88].

Это было убийственное для Спешнева показание. Предположение о *недавнем* происхождении «Проекта» позволяло считать Спешнева главарем Русского тайного общества. Петрашевский категорически отверг обвинение, будто «Проект» есть результат его влияния на Спешнева. «Поступать так, значит обвинять отца за сына, священника, проповедующего добродетели христианские, за то, что у него в церкви бывал злодей или худой человек». В тот же день и Момбелли дал показания о «таинственном» поведении Спешнева.

Несомненно, Петрашевский никогда не видел «Проекта» и не подозревал о его существовании — так же как и все остальные, не исключая семерки спешневцев, то есть и Достоевского. Через день Петрашевский еще раз подтвердил, что считает «Проект» ***помышлением весьма недавним***, и опять призвал комиссию не судить строго: «за мысли никто не судится и не наказывается». Повторив тезис о страдании больного самолюбия, он добавил: «Позвольте мне, человеку, уважающему Спешнева за его сердце, талантливость и ум, но не за его самолюбие, — как другу человечества, — попросить вас, чтоб вы вполне воспользовались этим случаем и дали ему тоже une bonne mercuriale (хорошее судилище)... Призовите его к себе и скажите: “Вот вам законы — присудите себе сами по ним и по совести то наказание, какое вы за это заслуживаете”. Я знаю, это заденет его самолюбие за живое — и... можете быть уверены, что это ему будет большим нравоучением на всю жизнь. Он оставит дикую замашку степного помещика (он помещик курский) и впредь никогда в его голову не войдет такой вздорный и блажной помысел. Это разумеется останется известным мне и вам — я ему не намекну об этом вовеки»[89].

Наверное, Петрашевскому казалось, что он спасает Спешнева, что комиссия, которой он помогает разобраться в характере «дикого помещика», примет во внимание такие тонкие материи, как страдание больного самолюбия, досаду на жизнь, талант, не нашедший достойного употребления. Но расчет на то, что с помощью нравоучения комиссия поможет Спешневу найти свое место в жизни, был крайне наивен. Комиссия искала (и находила!) следы тайного заговора; причины личной драмы арестованного ее интересовали в десятую очередь. К тому же как раз Спешнев, один из очень немногих, ни слова не говорил о личных обстоятельствах, якобы толкавших к «преступному умыслу», и ссылался только на заблуждения ума и бред молодого воображения.

Меж тем в показаниях арестованных «досада на жизнь» — *dépit de la vie* — занимала центральное место. Многостраничная исповедь Баласогло была полна обид на несправедливости, неудачи и горькую участь. Момбелли писал, что его жизнь состояла из одних страданий, а бедность и болезни не раз приводили к мысли о самоубийстве. Григорьев жаловался на обиды от полкового начальства. Толль признавался, что силы его истощились, свет и люди надоели, вера утрачена и он с нетерпением ожидает, чтобы поскорее порвалась нить, привязывающая его к жизни (отец и мать), а потом пуля в лоб и все кончено.

Показания Петрашевского произвели на комиссию большое впечатление. Чтобы склонить Спешнева к раскаянию, ему был предъявлен 1-й пункт 157-й статьи Уложения о наказаниях, по которому чистосердечное признание влекло смягчение участи[90]. Под влиянием угроз Спешнев как будто раскаивался — «в виду своей несчастной матери и других любимых особ, которым смерть его будет тоже смертью». Он признавал, что найденный у него «Проект» преступен, но своих намерений он никогда не приводил в исполнение, тайного общества не создавал, в мыслях своих давно переменился, и если бы у него было будущее, то делами доказал бы искренность своих слов.

Спешнев не знал, что опровергает версию Петрашевского. Он заявил, что найденный у него давний черновик бросает на дело ложный свет и что на нем лежит обязанность спасти невинных, которых подозревают на основании этой бумаги. Стремясь внушить доверие к своим словам, Спешнев рассказал о роли Черносвитова, и Петрашевский полностью подтвердил это показание.

Четвертого июня следствию стало известно о попытках устройства типографии. Дубельт записал в «Журнале»: «Читали показание Филиппова. Он откровенно показал, что хотел завести у себя типографию для печатания таких вещей, кои не пропускаются цензурой. Даже заказал для сего чугунные доски и деревянный станок, но все это осталось без употребления, ибо не все вещи были изготовлены, потому что намерение его родилось в нем только за две недели до арестования. Он объяснил, что печатать запрещенные письмена желал для того, чтобы увеличивать число недовольных правительством».

Решено было произвести новый обыск у Спешнева — найти типографию, сделанную по заказу Филиппова. Однако «при всех принятых мерах» ее так и не нашли. Следствие вновь обратилось к Петрашевскому. Раздраженный показаниями Спешнева, он продолжил разоблачения «дикого помещика». «Окончательное мнение Спешнева при происходивших у него

совещаниях было произвести бунт, отчего общество и не состоялось», — показал он, но 14 июня заявил: «Показание... сделано было мною по движению ненависти противу г. Спешнева... Почему и прошу покорнейше таковому моему показанию относительно г. Спешнева веры никакой не давать — и считать не сделанным»[91].

Как только Спешнев понял, что стал важнейшим участником дела, он старался выгородить малозамешанных молодых людей и выдвигал вперед Петрашевского и Момбелли — так же сильно скомпрометированных, как и он сам. Тридцать лет спустя Кашкин расскажет О. Ф. Миллеру, что Спешнев «если и говорил, то только про себя, а про других ничего». Самому Кашкину он успел шепнуть: «говорите, что вы меня не знаете», обелял Тимковского, уверяя, что тот добросовестно отклонял всех от всякого политического переворота. Хотя председательствующий сказал однажды, что видит одни фразы и фразы, а не видит дела, Спешнев догадался, что отвлекающий маневр удается: комиссия закрыла вопрос о типографии и не нашла доказательств по «Проекту». Это значило, что никого из тех, кто был связан с типографией, он не выдал.

По мнению Львова, Спешнев хотел показать, что серьезного дела нельзя было и замышлять «с такими ничтожными людьми» и что преступные намерения имел он один (в свою очередь Черносвитов назовет «ничтожными» Спешнева и Петрашевского и будет уверять, что злых намерений не имел, ибо, владея золотыми приисками, потерял бы их при бунте). Комиссия вынуждена была поверить Спешневу, будто он один может дать объяснение «Проекту». «Теперь я исполнил свой долг... Я виноват, и меня следует наказать» — так оканчивал свои показания Спешнев. «Надо, кажется, иметь в виду эту обоюдность его отношений к следствию, чтобы понять настоящий смысл его заключительных слов»[92], — писал Миллер; биограф Достоевского прочитывал признание Спешнева как «*я* виноват, *меня* следует наказать».

Связь Спешнева с важнейшим участником семерки — Ф. М. Достоевским — осталась неизвестна комиссии благодаря усилиям обоих.

Двадцатого июля многие камеры опустели — освободили маловиновных. Как вспоминал Ахшарумов, в эти дни произошла перемена в содержании заключенных: «Постель изменилась совершенно: тюфяки и подушки ветхие, жесткие были приняты и заменены новыми — чистыми и мягкими. Поданы были новые одеяла и халаты байковые, темно-серые, мягкие; грубое белье все заменено было тонким, мягким... В то же время последовало изменение в пище: вместо солдатской порции

нам подавалась офицерская». Кузмин добавлял, что арестованным разрешили чтение — Евангелие, «Историю государства Российского», литературные журналы «без всякого порядка номеров».

В августе допросы прекратились; следствие подводило итоги. 17 сентября «Журнал» Дубельта зафиксировал: «Читали, утвердили и представили всеподданнейший доклад. Аминь». Комиссия не обнаружила в пятничных собраниях ни единства действий, ни взаимного согласия, ни принадлежности к тайным обществам. Причинами, побуждавшими преступников к действиям, явились: «недозрелая, заносчивая ученость, неудовлетворенное самолюбие или честолюбие, неудовлетворенные житейские нужды, желание создать себе значительность, хвастовство либеральными мнениями и притязание на глубокомыслие и на дарование». Вряд ли в этом перечне что-либо было измышлено; все названное узники видели и в себе, и друг в друге.

Их признания были полны сожалений и раскаяния. Петрашевский в умоисступлении показал, что напал на следы революции, которая замышлялась в России, каялся, что «дерзнул» неодобрительно отзываться о государе, и заверял, что веру в его справедливость разделяет со всяким простолюдином. Спешнев уверял, что прежние мысли вызывают у него стыд. Момбелли клялся, что его раскаяние «полно и совершенно, но, к несчастью, поздно», и пламенно желал загладить прошлые грехи, доказав на деле преданность государю. Клялся и Григорьев — в том, что был озлоблен, но на зло не способен, и что «преступную бумагу» написал не он, а безумный больной. «Прости меня, благодетель мой, на коленях умоляю тебя...»

Львов писал: «Как ужасный, зловещий сон представляется мне моя жизнь с прошедшей осени, и страшно мне мое пробуждение: я вижу, как далеко я увяз в моей сатанинской гордости». Он заверял следствие: «Никто из нас не захочет возвратиться к прежнему безумию». «Мы все заблуждающиеся, но честные люди», — об этом сказал едва ли не каждый арестант, а Баласогло даже просил судить его за «душевные заблуждения». «Не только сам не имел никакого злого умысла, но и в других не мог его подозревать и всегда был верноподданным и спокойным гражданином», — доказывал Ястржембский. «Если бы я знал, что знакомство с Петрашевским — страшное преступление, не только ноги моей там бы не было, но и этих бы собраний не существовало», — клялся Пальм. Раскаивался в болезненном увлечении и просил прощения Ахшарумов: «Неужели мне ничем нельзя загладить мою вину, неужели... должен я погибнуть навсегда, как преступник, неужели меня нельзя простить?!»

...Наступала осень, трудное для Достоевского время, когда расстраивались нервы, мучила ипохондрия. И только светлый клочок неба, видный из окна камеры, способен был улучшить состояние души и тела. «Всё же, покамест, я еще жив и здоров. А уж это для меня факт, — писал он брату 14 сентября. — Я ожидал гораздо худшего и теперь вижу, что жизненности во мне столько запасено, что и не вычерпаешь». В ответ верный *Mich-Mich* прислал ему в каземат четыре тома «Полного собрания сочинений русских авторов», три тома сочинений Даля и том «Сказаний русского народа» И. П. Сахарова.

Меж тем судьба Ф. М., как и судьба его товарищей, решалась в необычной инстанции. Ознакомившись с материалом следствия, Николай I не пожелал простить обвиняемых и велел предать их военному суду по полевому уголовному уложению: провинности подсудимых в военных инстанциях весили много тяжелее («сам добрейший комендант крепости был этим поражен и с сильным волнением сообщил об этом подсудимым»[93]).

Военно-судная комиссия (председатель граф В. А. Перовский, члены — генерал-адъютанты А. Г. Строганов, Н. Н. Анненков 2-й, А. П. Толстой, тайные советники князь И. А. Лобанов-Ростовский, А. Р. Веймарн, Ф. А. Дурасов) начала свою работу 30 сентября. Следственное дело занимало более девяти тысяч листов, и комиссия, не намереваясь их читать, затребовала краткие выписки. 18 октября начался опрос подсудимых на предмет «возможных оправданий». На формальный вопрос Достоевский кратко ответил: «Я никогда не действовал с злым и преднамеренным умыслом против правительства. Что я сделал, было сделано мною необдуманно и многое почти нечаянно, так, например, чтение письма Белинского. Если же когда-нибудь я что сказал свободно, то разве в кругу близких людей, которые могли понять меня и знали, в каком смысле я говорю. Но распространения моих сомнений я всегда убегал».

Военно-судная комиссия согласилась с мнением Следственной комиссии, что существование тайного общества не обнаружено. Общий смысл и пафос приговора звучал так: «*Дело не имеет придаваемой ему важности, но важность оно имеет как по букве закона, так и по современной язве века*»[94]. Революционные события в Европе, баррикады в Париже, пробудившие мятежный дух у петербургской молодежи, и были той самой *современной язвой века*. И хотя граф А. Х. Бенкендорф, шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения, почивший за год до первых собраний у Петрашевского, уже давно называл крепостное право «пороховым погребом под государством», в 1849-м рвануло не под государством, а под

судьбами тех, кто, вслед за секретными правительственными комитетами по крестьянскому вопросу, обсуждал возможности отмены крепостного права. Но по законам времени свободный взгляд на «пороховой погреб» именовался злоумышлением и государственным преступлением.

Определив меру наказания на основании полевых военных законов и не делая различия между главными виновниками и соучастниками, генерал-аудиториат назначил всем подсудимым (за одним исключением) смертную казнь расстрелянием, и только порядок в списке указывал на степень важности фигурантов: Петрашевский, Спешнев, Момбелли, Григорьев, Львов, Филиппов, Ахшарумов, Ханыков, Дуров, Достоевский...

Впрочем, степень виновности была отражена и в формулах приговора. Петрашевский был осужден: за преступный умысел к ниспровержению существующего в России государственного устройства; за привлечение на бывшие у него сходбища разного звания молодых людей; за распространение среди них вредных идей против религии; за возбуждение в них ненависти к правительству; за покушение для этой преступной цели составить тайное общество. Спешнева судили: за богохуление, за умысел произвести бунт, за покушение к учреждению тайного общества, за составление планов восстания, за недонесение о злоумышленных предположениях... преступных речах о религии и правительстве... злоумышленном сочинении подсудимого Григорьева. Вина Достоевского на этом фоне выглядела бледнее: за участие в преступных умыслах; за распространение письма литератора Белинского, полного дерзких выражений против православной церкви и верховной власти; за покушение к распространению сочинений против правительства посредством домашней литографии. Но казнь уравнивает всех, независимо от вины...

Исполнив букву закона, суд решил принять во внимание смягчающие обстоятельства: признаки раскаяния многих подсудимых, добровольные признания во время следствия, откровенность, с какой они были сделаны, юность осужденных (средний возраст приговоренных составлял 26 лет) и отсутствие вредных последствий их преступных начинаний. Последний пункт был самый гротескный: смертная казнь присуждалась за намерения и умысел, а не за действия и их последствия.

Девятнадцатого ноября смертная казнь всем без исключения была заменена различными сроками каторжных работ. Последнее слово было за государем; одним он смягчал наказание, другим — увеличивал сроки. Петрашевского высочайшая воля не пощадила. Приговор «лишить всех прав состояния и сослать в каторжные работы в рудниках бессрочно» удостоил-

ся резолюции: «Быть по сему». Двенадцать лет каторги Спешневу государь снизил до десяти лет; восемь лет каторги Достоевскому и Дурову сокращены вдвое: «На четыре года, а потом в рядовые». Это «потом» возвращало гражданские права, которые навсегда терял всякий приговоренный в каторгу. Но они приговаривались *навсегда* к солдатчине. Достоевский полагал, что Николай I пожалел их с Дуровым молодость и талант.

Позднее Миллер размышлял: «Если иметь в виду то, что Плещеев, как и Достоевский с Дуровым особенно налегали на освобождение крестьян и ждали его от правительства, то на смягчение их участи не повлияло ли издавнее намерение императора Николая I освободить крестьян, неосуществившееся вследствие противодействия дворянства?»[95]

Государь, однако, своих решений не комментировал.

Никто из узников до последней минуты не знал о смертном приговоре, не ведал и о его отмене. Никто не предполагал, что смертный приговор может быть прочитан с целью произвести впечатление, вселить ужас. Однако высочайшее повеление, направленное исполнителю казни, командиру гвардейского пехотного корпуса генерал-адъютанту Сумарокову, и состояло в том, что помилование должно быть объявлено за мгновение до нажатия ружейных курков. Ответственность за проведение церемонии была возложена на петербургского коменданта, определен срок — 22 декабря. Регламент предусматривал каждую деталь — маршрут из крепости к месту казни, размеры эшафота, количество столбов на плацу, одежду казнимых, облачение священника, темы барабанного боя, преломление шпаг над головами осужденных, облачение их в белые рубахи, функции палача, заковка в кандалы.

...Тот роковой день вспоминали многие узники. Около шести утра они услышали шум, разговоры служителей, их торопливую ходьбу по коридору. Происходило нечто особенное. Двор крепости запрудили кареты; отряд конницы, эскадроны жандармов следовали один за другим и вставали около карет. Звенели связки ключей, кельи арестованных отворялись, служители вносили одежду заключенных — им велено было переодеться в свое платье. Выдали по паре теплых толстых чулок (забота Набокова о здоровье казнимых?). Рассаживали в двухместные кареты, рядом с солдатом в серой шинели. Стоял двадцатиградусный мороз, и сквозь обледенелые стекла кареты нельзя было разобрать, по какой дороге везут. Солдаты на все вопросы отвечали: «Не приказано сказывать». Пробовали очистить стекло пальцем, но конвой просил: «Не делайте этого, не то нас будут бить». Вереницу экипажей со всех сторон окружали скачущие жандармы с саблями наголо — необыч-

ный поезд видели горожане, идущие с рынка. Ехали с полчаса: пересекли Неву, двигались по Вознесенскому проспекту, повернули на Кирочную, оттуда на Знаменскую, затем на Лиговку и далее по Обводному каналу к казармам лейб-гвардии Семеновского полка.

Площадь была покрыта свежевыпавшим снегом и окружена войском, стоявшим в каре. Поодаль толпился народ, пришедший поглазеть на необычное действо (по сведениям Третьего отделения, сошлось около трех тысяч человек). Было тихое утро ясного зимнего дня; взошедшее солнце блистало на горизонте сквозь туман облаков. Посреди площади возвышался эшафот: квадратные подмостки со входной лестницей, обтянутые чем-то черным. Не видавшие друг друга в течение восьми месяцев товарищи толпились вместе, протягивали друг другу руки, здоровались. «Когда я взглянул на их лица, — вспоминал Ахшарумов, — то был поражен страшною переменой... Лица их были худые, замученные, бледные, вытянутые, у некоторых обросшие бородой и волосами. Особенно поразило меня лицо Спешнева: он отличался от всех замечательной красотой, силой и цветущим здоровьем. Исчезли красота и цветущий вид; лицо его из округленного сделалось продолговатым; оно было болезненно, желто-бледно, щеки похудели, глаза как бы ввалились и под ними большая синева; длинные волосы и выросшая большая борода окружали лицо».

Их построили в ряд: Петрашевский, Момбелли, Григорьев, Спешнев, Львов, Достоевский — всего 21 человек. Теперь можно было шептаться только с ближайшим соседом. Спустя много лет Момбелли рассказывал Миллеру, что Достоевский, взволнованный и возбужденный, в эти минуты успел шепнуть ему о повести, написанной в крепости. Подошел священник с крестом в руке: «Сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела, следуйте за мной». Их повели к эшафоту, вдоль рядов войск: лейб-гвардии Московский полк, лейб-гвардии егерский, конно-гренадерский — сослуживцы Момбелли, Львова и Григорьева. Ноги утопали в глубоком снегу. С одной стороны эшафота были врыты серые столбы. Зачем? На эшафот вместе с арестантами вошли солдаты и аудитор в мундире со списком в руке. Построили двумя рядами, войску скомандовали: «На караул!», заключенным: «Шапки долой!» Содрогаясь от холода, слушали они приговоры: все вердикты заканчивались словами: «...к смертной казни расстрелянием». Во время чтения Ф. М. шепнул Дурову: «Не может быть, чтобы нас казнили». Но Дуров кивнул в сторону телеги, укрытой рогожей: под ней было арестантское платье, но им казалось, что гробы. Сомнений не осталось.

Им подали белые балахоны с капюшонами; стоявшие сзади солдаты помогли снять верхнюю одежду и надеть предсмертное платье. Священник в черной рясе, взойдя на эшафот, волнуясь и дрожа, призывал к исповеди и покаянию («Если раскаетесь, то наследуете жизнь вечную»). Никто не отозвался*. На повторный призыв вышел Тимковский (по другим версиям, Шапошников), пошептался с батюшкой, поцеловал Евангелие и воротился на место. Священник молча обошел всех, и все приложились к кресту. Значит, думали многие, дело не шуточное: не могли же и попа позвать для декорации? Кашкин обратил внимание, что с батюшкой не было Святых Даров: призывал к исповеди, но не собирался причащать? Тем временем исполнившего свою миссию священника попросили покинуть место казни.

И тотчас первая тройка — Петрашевский, Момбелли и Григорьев — были вызваны к столбам; их привязывали веревками, затянули руки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Григорьев увидел перед собой полтора десятка солдат своей роты во главе с знакомым и симпатичным фельдфебелем. Вряд ли расстрельная команда знала, что участвует в непристойном спектакле. Никакого сопротивления казнимые не оказывали. Раздался приказ: «Колпаки надвинуть на глаза» — и на лица привязанных были опущены капюшоны. Петрашевский, уже связанный, шутил: «Момбелли, подымите ноги выше, а то с насморком войдете в царство небесное». Солдаты направили ружья и взяли на прицел приговоренных. Истекали последние секунды...

Следующим по очереди стоял Спешнев, за ним Львов. «Я, — напишет вечером того же дня Достоевский, — стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты...» Он не чувствовал сожаления и весь находился под влиянием мысли о том

* «Мы, петрашевцы, — напишет Достоевский через четверть века, — стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния... Тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений... Неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной натуры, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстреляньем, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти... Дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго».

неизвестном, что наступит уже через несколько мгновений. Львов увидел, как за минуту до выстрелов Ф. М. вплотную приблизился к Спешневу. «Достоевский был несколько восторжен, вспоминал "Последний день осужденного на смерть" Виктора Гюго и, подойдя к Спешневу, сказал: "Nous serons avec le Christ" ("Мы будем вместе со Христом"). "Un peu de poussièr" ("Горстью праха") — отвечал тот с усмешкою»[96]. «Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними», — напишет Достоевский.

Как все из спешневской семерки, он дорожил возможностью *быть вместе* со своим кумиром. Стоять вместе на эшафоте и вместе, вдвоем, в один и тот же миг, предстать пред Господом — это ли не высшая привилегия? Достоевский простился с Плещеевым и с Дуровым, потому что за миг до смерти разлучался с ними; он не прощался со Спешневым, потому что в последнюю минуту им выпадало быть *вместе*.

Первые трое простояли под прицелом с полминуты. «Момент этот был поистине ужасен. Видеть приготовление к расстрелянию... видеть уже наставленные почти в упор ружейные стволы и ожидать — вот прольется кровь... было ужасно, отвратительно, страшно» (Ахшарумов). Не все поняли значение раздавшейся вдруг барабанной дроби; но вслед за ней нацеленные ружья были подняты стволами вверх. Казнь была остановлена; привязанных к столбам отвязали и привели на прежние места у эшафота. Григорьев был бледен смертельной бледностью; умственные способности ему изменили навсегда. К месту казни подъехал экипаж; вышел флигель-адъютант Ростовцев с бумагой. Рескрипт возвещал о помиловании: государь дарил каждому преступнику жизнь и, по виновности его, назначал особое наказание.

Двадцать лет спустя, в Петербурге, в прихожей Епанчиных, своими впечатлениями о т а к о й казни поделится с камердинером генерала князь Лев Николаевич Мышкин: «Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят?.. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: "Ступай, тебя прощают". Вот этакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!»

Все помилованные были потрясены жестокой инсценировкой. «Кто просил?.. Лучше бы уж расстреляли...»

С них сняли саваны и колпаки. Какие-то двое, одетые в старые цветные кафтаны, вроде палачей, став позади осужден-

ных, ломали над их головами шпаги: действие, совершенно безразличное для ссылаемых в Сибирь, продержало их на морозе лишние четверть часа. «Потрите щеку», «потрите подбородок», — говорили они друг другу. Им выдали арестантские шапки с ушами, овчинные тулупы и валенки. На Петрашевского тут же, на эшафоте, надели ножные кандалы, весившие фунтов десять, страшно неудобные при ходьбе и натиравшие ноги (такие потом наденут на всех). С трудом передвигаясь, он подходил по очереди ко всем товарищам, целовал, обнимал, прощался: пожизненная ссылка не сулила никаких надежд на встречу. «Только на эшафоте впервые полюбил я его!» — запоздало признавался Ахшарумов, со слезами расставаясь с этим странным, ни на кого не похожим чудаком-предводителем, которого мало кто понимал, ценил и тем более любил. «Передайте матушке, что я поехал путешествовать в Сибирь на казенный счет», — сказал шутник напоследок. Говорили, будто кто-то из толпы, стоявшей позади войск, снял с себя шубу и бросил ему в сани. Кибитка с арестантом в сопровождении фельдъегеря и жандарма развернулась и медленно двинулась; тройка дюжих лошадей, выбравшись с площади, повернула на Московскую дорогу.

...Шел десятый час утра. Кареты вернулись в крепость; приговоренные заняли свои прежние камеры. Вскоре вместе с Набоковым совершил обход доктор Окель, желая удостовериться, не произвела ли церемония на арестантов слишком потрясающее впечатление, могущее отразиться на здоровье. В рапорте коменданту крепости значилось: «Осмотрев арестантов сего числа, я нашел, что отставной поручик Достоевский имеет золотушные раны во рту, которые с давнего времени мною пользуются»[97]. Энгельсон рассказывал, как родственники осужденных кинулись к Набокову, потом к Орлову, пробовали просить императрицу, но все они боялись передать просьбу государю. Тогда в отчаянии снова обратились к коменданту крепости. «Наконец этот ворчун 1812 года, который за свирепой солдатской внешностью скрывал не вполне извращенное и полное благочестия сердце, решил осмелиться и, осенив себя крестным знамением, рискнул войти в кабинет царя. Он получил милостивое разрешение дать родителям проститься с детьми»[98].

В тот день, однако, просивший о свидании с братом Достоевский получил отказ — ему разрешили только написать прощальное письмо. Он очень торопился — *Mich-Mich* мог услыхать про смертный приговор и не узнать о помиловании. «Из окон кареты, когда везли на Семеновский плац, я видел бездну народа; может быть, весть уже прошла и до тебя, и ты страдал за меня. Теперь тебе будет легче за меня».

Двадцать второго декабря «Русский инвалид» опубликовал приговор. «Пагубные учения, породившие смуты и мятежи во всей Западной Европе и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, и в нашем отечестве... Горсть людей, совершенно ничтожных, большею частию молодых и безнравственных, мечтала о возможности попрать священнейшие права религии, закона и собственности... Богохуления, дерзкие слова против священной особы государя императора, представление действий правительства в искаженном виде и порицание государственных лиц — вот те орудия, которые употреблял Петрашевский для возбуждения своих посетителей... приступил к образованию тайного общества... написан был план для производства общего восстания в государстве».

Тем временем один из «ничтожных и безнравственных» прощался с братом перед долгой разлукой: «Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть *человеком* между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою». Он прощался и просил прощения, ободрял и бодрился сам.

Пережив утром минуты смертного томления, он нашел в себе силы уже вечером написать настоящий гимн жизни: «Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья». Он обещал брату не терять надежды и дожить до встречи. «Живи тихо и предвиденно... Живи положительно...»

Кроме семьи Михаила, сестер и братьев, он мог передать привет лишь Майковым и Яновскому — больше у него никого не было. Он готов был забыть все ссоры и обиды. «Нет желчи и злобы в душе моей, хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних в это мгновение. Это отрада, я испытал ее сегодня, прощаясь с моими милыми перед смертию».

Кого из п р е ж н и х он имел в виду? Белинского не было в живых уже полтора года — и теперь он, Достоевский, держал ответ за «преступное о религии и правительстве» письмо критика; передавали, будто Дубельт, на свой лад сожалея о преждевременной кончине автора письма, восклицал: «Мы бы сгноили его в крепости!» Тургенев, утверждавший, что письмо Белинского (то самое, за которое Достоевский шел на катор-

гу) — это «вся его (Тургенева) религия»[99], с начала 1847 года поселился за границей с семьей певицы Полины Виардо и все российские неприятности переживал вместе с ней в Париже. Некрасов по-прежнему жил в Петербурге, сошелся с Панаевой, в которую безнадежно и безответно был влюблен Достоевский в дни своего былого триумфа.

Пройдет два десятилетия, прежде чем Некрасов обмолвится о политическом процессе конца сороковых: «Помню я Петрашевского дело, / Нас оно поразило, как гром, / Даже старцы ходили несмело, / Говорили негромко о нем. / Молодежь оно сильно пугнуло, Поседели иные с тех пор, / И декабрьским террором пахнуло / На людей, переживших террор». Степень несмелости, однако, была явно преувеличена: сам Некрасов в сентябре 1849-го «свободно» писал в «Современнике», что он не слишком «большой охотник» до «так называемых психологических повестей г. Достоевского», в то время узника Алексеевского равелина. Впрочем, Панаева запомнила, что в редакции «Современника» и в самом деле царили уныние и тревога: «Гости не собирались на обеды и ужины... Все говорили тихим голосом, передавая тревожные известия об участи молодых литераторов, замешанных в историю Петрашевского... По вечерам, для развлечения, Некрасов стал играть в преферанс, по четверть копейки...»

Но не злоба на «прежних», «наших» мучила Достоевского в те два дня, когда после приговора он готовился к отправке в Сибирь. Сводила с ума лишь одна мысль: «Неужели никогда я не возьму пера в руки?.. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках».

В день отъезда, 24 декабря, ему разрешили попрощаться с братом. Одетый по-дорожному, в полушубок и валенки, Ф. М. был приведен в комендантский дом. Он искренне радовался, что брат не пострадал и находится рядом со своим семейством. *Mich-Mich*, а с ним и Милюков (он оставит воспоминания об этом свидании) не услышали ни слова жалобы — напротив, узник тепло отзывался о коменданте крепости, который чем мог облегчал положение арестантов. Ни слова не было сказано о строгости суда или о суровости приговора. У Михаила в глазах стояли слезы, дрожали губы, а младший брат, каторжник, утешал его: «И в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше меня... Выйду из каторги — писать начну. В эти месяцы я много пережил, в себе-то самом много пережил, а там впереди-то что увижу и переживу, — будет о чем писать».

В страданиях приговоренного к смерти он готов был видеть сюжет для биографии персонажа. В каторжном остроге надеялся обрести темы будущих сочинений, ради которых имело смысл перенести все испытания. Конечно, это была страсть, мономания, род недуга. Но когда эта страсть оказывалась сильнее страданий, судьба вдруг являла к нему дивную благосклонность. И только Михаил был способен понять весь ужас положения: в течение четырех лет его брату, призванному писать, отныне разрешалось только читать.

М. М. Достоевский и Милюков, выйдя из крепости, остановились у тех ворот, откуда должны были выехать осужденные. Милюков запомнил время: на крепостной колокольне куранты проиграли девять вечера, когда в воротах показались ямские сани: арестант в кандалах сидел рядом с жандармом. Все происходило согласно предписанию: «Преступников Дурова, Достоевского и Ястржембского, назначенных к отправлению сего числа вечером в Тобольск, закованными, выдать их назначенному для сопровождения поручику фельдъегерского корпуса Прокофьеву и из списков об арестованных по равелину исключить».

«Прощайте!» — кричали провожающие. «До свидания!» — отвечали им из саней. Сутками ранее из арестантского списка были исключены Спешнев, Толль, Григорьев и Львов. Они, как и вся партия каторжников, были закованы в кандалы и посажены в открытые повозки, каждый отдельно и со своим жандармом; их *поезд* из Петербурга двинулся на восток тем же маршрутом.

Рождественской ночью Достоевский прощался с празднично освещенным Петербургом. «У меня было тяжело на сердце и как-то смутно, неопределенно от многих разнообразных ощущений. Сердце жило какой-то суетой и потому ныло и тосковало глухо. Но свежий воздух оживлял меня, и так как обыкновенно перед каждым новым шагом в жизни чувствуешь какую-то живость и бодрость, то я в сущности был очень спокоен».

Он знал, что Эмилия Федоровна, жена Михаила, и их дети отправились на елку к редактору «Отечественных записок». «У Краевского было большое освещение... И вот у этого дома мне стало жестоко грустно».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
НА АРШИНЕ ПРОСТРАНСТВА

Глава первая
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАЗЕННЫЙ СЧЕТ

Отрезанный ломоть. — Поезд на восток. — Тобольский острог. — Ссыльные старого времени. — Подаренное Евангелие. — Каторжные картины. — Стихия добра. — Тюремный лазарет. — Сибирская тетрадь. — «Волк в западне»

Московская родня Достоевского узнавала о несчастье постепенно; сначала от Андрея Михайловича — в сентябре 1849-го он выехал из Петербурга в Елисаветград, к месту службы, с остановкой в Москве у Карепиных; потом из грустного письма Коли — о том, что брат Федор все еще находится в крепости; наконец из газет, которые сообщили о приговоре по делу Петрашевского.

«Ты верно, еще не знаешь общего нашего горя, и я с ужасом помышляю, каково тебе будет узнать эту горестную для нас всех, братьев и сестер, весть»[1], — писала Андрею сестра Варвара в январе 1850-го, имея в виду каторжный приговор. Она с грустью замечала, что беда, случившаяся с Федором, сильно охладила благодетеля дядю Куманина ко всем Достоевским. Сам Карепин, предвидевший, что «область мечтательная и артистическая» не доведет шурина до добра, теперь убеждался в своей правоте. «Мы не знаем подробностей, но скорбим бесконечно о жалкой участи брата Федора... Терять надежды не должно, — наставлял он Андрея. — Брат молод, снисхождение неограниченно: статься может, что и величайший грешник способен к исправлению... Скорбь сестры и родных так велика, что не решаюсь распространяться в этом жалком предмете»[2]. (П. А. Карепина, страдавшего от мучительных припадков, не станет в 1850 году.)

Итак, государственный преступник, избежавший позорной смерти одной лишь милостью государя, в глазах законопослушных граждан стал изгоем. В первых числах января в Елисаветграде был получен номер «Северной пчелы» от 23 декабря. «Сведение о том, — вспоминал А. М. Достоевский, — что я брат приговоренного к каторге, мгновенно разнеслось по городу и, конечно, никто мне не задавал больше вопросов о существовании родства, но во взгляде всех я читал этот вопрос и при том во взглядах только меньшинства встречал сочувствие... Большинство же долгое время чуралось меня...»

«Я теперь от вас как ломоть отрезанный, — и хотел бы прирасти, да не могу...» — это чувство поселится в душе Достоевского на весь срок его каторги и солдатчины.

Жестокое наказание, которому по воле российского монарха подвергся один литератор за публичное чтение письма другого литератора к третьему, имело вид изощренного надругательства. Будто кто-то долго и пристально следил за судьбой «чтеца», выведывал его планы, проникал в честолюбивые замыслы, угадывал литературные мечтания и человеческие надежды, а затем, зло посмеявшись, все отнял в одночасье. «Та голова, которая создавала, жила высшею жизнию искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь! On voit le soleil!»

«Та голова»... Будто кому-то очень нужно было сурово проучить его, чтобы не зарекался ни от сумы, ни от тюрьмы...

Он жаждал свободы в самом широком смысле слова — а был лишен ее в самом узком. Пожертвовал всем во имя писательства — а у него отняли право писать. Отказался от обеспеченного офицерского поприща в столичном департаменте — а взамен получил солдатчину в сибирском захолустье. С шестнадцати лет тяготился военной муштрой и предполагал, что навсегда расстался с «фрунтом», а попал на военную каторгу и в линейный батальон. Успел привыкнуть к одинокой, независимой жизни — а был принужден к ежеминутному, и днем и ночью, в течение четырех лет, пребыванию в казарме, в «насильственном этом коммунизме». Хотел иметь друзей, нуждался в родной душе — а очутился среди разбойников, воров и убийц. Намеревался вернуть себе славу — однако карьера его продолжилась на нарах и каторжных работах.

Много позже Достоевский изменит свой взгляд на вину свою и своих товарищей по несчастью. «Государство только за-

щищало себя, осудив нас», — скажет он. Слыша от собеседников слова о несправедливости их ссылки, раздраженно возразит: «Нет, справедливое. Нас бы осудил народ»[3]. Крепостной люд, ожидавший получить свободу «по манию» царя, не поверил бы в честность намерений бар и господ, кем в его глазах были молодые люди из «общества пропаганды». Путь к такому пониманию пролегал через «путешествие в Сибирь на казенный счет».

...Маршрут проходил через Петербургскую, Новгородскую, Ярославскую, Владимирскую, Нижегородскую, Казанскую, Вятскую, Пермскую и Тобольскую губернии. Первая остановка пришлась на Шлиссельбург. «Мы налегли на чай, как будто целую неделю не ели. После 8-ми месяцев заключения мы так проголодались на 60 верстах зимней езды, что любо вспомнить. Мне было весело». Они «пробовали» фельдъегеря, Кузьму Прокофьевича Прокофьева, от которого на этапе в три тысячи верст зависело слишком много. «Оказалось, что это был славный старик, добрый и человеколюбивый до нас, как только можно представить, человек бывалый, бывший во всей Европе с депешами. Доро́гой он нам сделал много добра... Между прочим, он нас пересадил в закрытые сани, что нам было очень полезно, потому что морозы были ужасные... Мы мерзли ужасно. Одеты мы были тепло, но просидеть, например, часов 10, не выходя из кибитки, и сделать 5, 6 станков было почти невыносимо. Я промерзал до сердца и едва мог отогреться потом в теплых комнатах. Но, чудно: дорога поправила меня совершенно».

Двухнедельная зимняя дорога сквозь снега, метели и трескучие морозы, со скупыми остановками, даже и при славном фельдъегере, взявшем на свой счет чуть ли не половину расходов (несмотря на кандалы путешественников, на станциях с них драли втридорога), оставила смешанное впечатление. Дуров без умолку говорил, Ястржембскому виделись необыкновенные страхи в будущем. Когда переезжали через Урал, лошади и кибитки завязли в сугробах. «Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом снег, метель; граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, назади всё прошедшее — грустно было, и меня прошибли слезы». На середине маршрута наступил новый, 1850 год, чужой праздник. Зато в селениях вдоль дороги шла гульба, и целые деревни выбегали смотреть на кандальных пассажиров...

В Тобольский тюремный замок поезд из трех кибиток прибыл на пятнадцатый день пути, 9 января. Несколькими днями ранее сюда привезли Петрашевского, вслед за ним — Спешне-

ва и его спутников. «Тобольский приказ о ссыльных» выдал фельдъегерю расписку в том, что трое каторжников доставлены по месту назначения. В канцелярии острога их представили смотрителю, «седенькому старичку с черствою, как высушенный гриб, физиономией», обыскали, отобрали деньги, дали по чашке щей, куску хлеба и ломтику говядины, отвели в узкую, темную, холодную, грязную каморку с нарами, на которых валялись три грязных мешка, набитых сеном, и такие же три подушки. За дверью, в холодных сенях, взад и вперед расхаживал часовой; за тонкой стеной слышались шум, ругань, возгласы играющих в карты, стукание рюмок и шкаликов. «Мы присели и скорчились — Дуров на нарах, а я с Достоевским на полу, — вспоминал Ястржембский. — Возможность беседовать с товарищами во время кратких остановок в пути доставляла истинное счастье». Нечаянно и нежданно они получили (от знакомого Ястржембскому офицера охраны) сальную свечу, спички и горячий чай, который показался вкуснее нектара. Ф. М. вспомнил о сигарах, уцелевших при обыске. «Симпатичный, милый голос Достоевского, его нежность и мягкость чувств»* подействовали на бедного Ястржембского, еще в равелине замыслившего самоубийство, успокоительно и утешительно. Он отказался от крайнего решения...

Наутро узников осмотрел врач приюта общественного призрения Г. М. Мейер — Достоевский показался ему маленьким, тщедушным, молоденьким; «был чрезвычайно спокоен, хотя у него были очень тяжелые кандалы на руках и ногах»[4]. Несмотря на такие же кандалы, Львов прыгал и даже танцевал, без всякого признака грусти. У Дурова пальцы на руках и ногах были отморожены и ноги сильно повреждены от кандалов, у Ястржембского отморожен кончик носа. Тяжелое впечатление на доктора произвел Петрашевский. На вопрос, за что их всех

* «Достоевский принадлежал к разряду тех субъектов, о которых Mishelet сказал: que tout en étant le plus fort mâles, ils on beaucoup de la nature féminine (обладая очень сильным мужским началом, они имеют многое и от женской природы). Этим обстоятельством объясняется сторона его сочинений, в которой видят жестокость таланта и охоту мучить... При данной природе Достоевского те тяжелые страдания, которые слепая и глухая судьба послала ему совершенно незаслуженно, отразились и на его характере. Не мудрено, что он сделался нервен и раздражителен в высшей степени. Но, кажется, я не погрешу парадоксом, если скажу, что сами эти страдания послужили на пользу его таланта, развили в нем совершенство его психического анализа» (И. Л. Ястржембский). Комментарий О. Ф. Миллера: «Точно так же смотрел на свою судьбу сам Достоевский. Захотев быть ему мачехой, она на самом деле воспитала его как строгая, но попечительная мать» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 127).

осудили, Михаил Васильевич ответил запиской, где излагал теорию Фурье и описывал фаланстеры: «Записка была крайне беспорядочная и обличала в пишущем некоторое повреждение ума»[5].

Появление в Тобольске группы политических каторжников не прошло незамеченным. «На Новый год в Тобольске был бал, на котором присутствовал и губернатор К. Ф. Энгельке. Несмотря на страшный холод, бал был чрезвычайно оживленный. В час ночи вошел очень толстый полицмейстер Тецкой и шепотом что-то сказал губернатору. Губернатор смутился, побледнел и сейчас же уехал с бала. Мигом в публике распространился слух, что привезли социалистов; настроение сразу изменилось, и все гости тотчас разъехались»[6]. Острог навестил вице-губернатор А. Н. Владимиров; вежливо обратившись к арестантам, спросил, довольны ли они помещением и содержанием. Львов поддержал разговор: дескать, всем очень довольны, помещение прекрасное, комнаты высокие, воздух свежий... Чиновник сконфузился и ретировался.

Тобольск, столица каторжного края, приютил самую большую колонию декабристов. Город впервые увидел сразу столько блестяще образованных людей, с которыми иметь дружеские отношения было почетно для лучших из горожан. Несмотря на удаленность от столиц, все те, кто жил здесь на поселении (М. А. Фонвизин, И. А. Анненков, А. М. Муравьев, П. С. и Н. С. Бобрищевы-Пушкины, П. Н. Свистунов, С. М. Семенов), имели подробные сведения о процессе петрашевцев. «Везде — по пространству всей Сибири, начиная от Тобольска, — в Томске, Красноярске, в Иркутске и далее, за Байкалом, — он найдет наших, которые все, без исключения, будут ему помощниками и словом и делом... Его везде встретят как родного»[7], — писал Е. П. Оболенский брату о их близком родственнике Н. С. Кашкине (получившем, однако, по приговору не сибирскую каторгу, а ссылку рядовым на Кавказ). Жены декабристов сразу взяли осужденных под свою опеку.

Несмотря на строгий надзор, жене Фонвизина Наталье Дмитриевне (супруги жили в Тобольске уже 12 лет и считались «своими») удалось навестить Петрашевского. Убеждения его кружка — социализм, коммунизм, фурьеризм — были ей совершенно чужды, но страдальцы нуждались в помощи, и это было выше идейных различий. Она легко победила предубеждение Петрашевского против декабристов; живое сострадание смягчило холодность и отчужденность. В письме, адресованном к брату мужа и отправленном в мае 1850-го с оказией, она подробно описала свои встречи с узниками[8]. «На меня вдруг напала такая жалость, такая тоска о несчастном, так живо

представилось мне его горькое, безотрадное положение, что я решилась подвергнуться всем возможным опасностям, лишь бы дойти до него». Зашив в ладанку 20 рублей серебром и образок, она отправилась в острог к обедне вместе со своей няней М. П. Нефедовой, добровольно разделившей с ней ссылку. Под предлогом раздачи милостыни Фонвизина пробралась в тюремную больницу, увиделась с больным Петрашевским, передала ему ладанку с деньгами — и, к ужасу своему, узнала, что ее старший сын Дмитрий, студент Петербургского университета, оставленный на попечение родственников трехлетним ребенком, тоже был замешан в деле, но избежал ареста, уехав лечиться на юг России от чахотки (приказ об аресте был уже подписан Дубельтом).

Выйдя от Петрашевского и не помня себя от жгучей и давящей сердце скорби, Наталья Дмитриевна отправилась в другие отделения острога. «Пришли в одну огромную удушливую и темную палату, наполненную народом; от стеснения воздуха и сырости пар валил, как от самовара, — напротив дверь с замком и при ней часовой... “Отвори, пожалуйста, я раздаю подаяние”. Он взглянул на меня, вынул ключ и, к великому моему удивлению, отпер преравнодушно и впустил меня. Четверо молодых людей вскочили с нар. Я назвала себя и спросила об именах их — то были Спешнев, Григорьев, Львов и Толль. Спешнев — прекрасный и преобразованный молодой человек. Григорьев и Львов тоже премилые. Первый грустный и молчаливый, а второй живой, маленький и веселый. Толль — претолстый молодой человек и по наружности кажется весьма ограниченным. Я уселась вместе с ними, и, смотря на эту бедную молодежь, слезы мои, долго сдержанные, прорвались наружу — я так заплакала, что и они смутились и принялись утешать меня... Узнав, что я от Петрашевского, догадались о моей скорби тотчас — и, не принимая нисколько на свой счет, утешали меня в *моем* горе. Это взаимное сочувствие упростило сейчас наши отношения, и мы как давно знакомые разболтались... Мне было так ловко и хорошо с новыми знакомыми, что я забыла о времени».

Уходя, Фонвизина произнесла: *до свиданья*. «После *этого* нам уже невозможно было не принимать живейшего участия во всех этих бедных людях и не считать их *своими*».

Обещанное свидание состоялось на следующий день и было обставлено весьма ловко: на квартиру смотрителя острога, куда будто бы в гости пришли Фонвизина, Муравьева, Анненковы (мать и дочь) и Свистунов, привели арестантов. «Смотритель и офицер согласились на нашу просьбу и сначала привели Петрашевского одного. Он был с нами довольно долго —

мы его угощали, смотритель потчевал чаем. Он так сосредоточен в себе, что даже не замечает, что ест. Этого увели, привели 4-х, с которыми я сидела взаперти, их не приказано было сводить вместе с Петрашевским и с тремя остальными — нам стало жаль, что трое остальных как бы покинуты».

«Трое остальных» были Достоевский, Дуров и Ястржембский. «Становилось поздно, и няня вздумала просить офицера, чтобы и остальных привели, не уводя еще этих. Тот взял на свой страх. Вдруг мы слышим звук цепей, все вскочили и, когда вошли, с криком бросились обнимать друг друга, — описать восторга их при неожиданном свидании друг с другом невозможно. Мы все прослезились, и даже смотритель. Им столько было сообщить друг другу, что мы оставили их на несколько времени и сами забились в уголок... Поговорив и успокоившись, они бросились к нам с благодарностью, целовали нам платье, руки, как обрадованные дети».

Едва выйдя из острога, в 1854-м, Достоевский взволнованно напишет об этом свидании, как о ярчайшем впечатлении: «Спешнев и другие, приехавшие раньше нас, сидели в другом отделении, и мы всё время почти не видались друг с другом». В этом *почти*, которое Ф. М. тогда не мог раскрыть даже брату («здесь не место»), сказались нечаянная радость и восторг — надо полагать, теперь и Спешнев был открыт общему порыву. «В ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалиц, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь, — продолжил Достоевский в 1873-м. — Они бросили всё: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем неповинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли всё, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного».

Была в этой истории и еще одна сказочная подробность: жандармский офицер Смольков, пораженный безоглядной смелостью Фонвизиной, захотел помочь ей и передал всем узникам деньги, вделанные в Евангелия, а также показал каждому, как заклеивать купюры в переплет книги и как их доставать оттуда. «При вступлении в острог, — уточнит Достоевский в 1860-м, — у меня было несколько денег; в руках с собой было

немного, из опасения, чтоб не отобрали, но на всякий случай было спрятано, то есть заклеено, в переплете Евангелия, которое можно было пронести в острог, несколько рублей. Эту книгу, с заклеенными в ней деньгами, подарили мне еще в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десятилетиями и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата. Есть в Сибири, и почти всегда не переводится, несколько лиц, которые, кажется, назначением жизни своей поставляют себе братский уход за "несчастными", сострадание и соболезнование о них, точно о родных детях, совершенно бескорыстное, святое».

Фонвизиной удалось внушить кому следует не только в остроге, но и «во всей Сибири», что Дуров ее родной племянник, и она продолжала посещать казематы, не встречая препятствий. Теперь офицеры «наперерыв давали свидания не только с Дуровым, но и со всеми его товарищами». Быть может, именно она заметила простудную лихорадку у Спешнева и привела к нему Ф. Б. Вольфа, декабриста, известного своим искусным лечением (память о докторе Вольфе долго сохранялась в Сибири; вера в него была столь велика, что даже рецепты, написанные его рукой, спасенные пациенты хранили с благоговением, как святыню). Вольф, обнаружив у Спешнева то, чего не нашли тюремные врачи, — начало чахотки, предложил единственно возможное здесь климатическое лечение; «под влиянием вдыхания смолистых и лиственных деревьев он мало-помалу оправился»[9]. Осмотрев Достоевского, Вольф заметил почти полное исчезновение золотушных язв: целительные свойства сибирского климата успели сыграть свою благую роль.

«Участие, живейшая симпатия почти целым счастьем наградили нас, — взволнованно вспоминал Достоевский. — Ссыльные старого времени (то есть не они, а жены их) заботились об нас, как об родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением. Мы видели их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылали нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас. Я, поехавший налегке, не взявши даже своего платья, раскаялся в этом... Мне даже прислали платья». К этому можно добавить, что Спешневу «ссыльные старого времени» спасли здоровье и жизнь.

Находясь в пересыльной тюрьме, трудно было избежать впечатлений из каторжного мира. В тобольский острог партии ссыльных прибывали отовсюду, их сортировали и отсылали дальше, вглубь Сибири. Здесь было даже секретное, «цепное» отделение — для самых страшных злодеев, которых приковывали цепью к стене. «Я видел уже раз, в Тобольске, одну знаменитость... одного бывшего атамана разбойников. Тот был ди-

кий зверь вполне, и вы, стоя возле него и еще не зная его имени, уже инстинктом предчувствовали, что подле вас находится страшное существо. Но в том ужасало меня духовное отупение. Плоть до того брала верх над всеми его душевными свойствами, что вы с первого взгляда по лицу его видели, что тут осталась только одна дикая жажда телесных наслаждений, сладострастия, плотоугодия. Я уверен, что Коренев — имя того разбойника — даже упал бы духом и трепетал бы от страха перед наказанием, несмотря на то, что способен был резать даже не поморщившись».

Преступники распределялись Тобольским приказом о ссыльных для каждой губернии сообразно их предварительному требованию. Генерал-губернатор Западной Сибири князь П. Д. Горчаков отдал распоряжение о развозе петрашевцев по местам работ на почтовых лошадях — так же, как они прибыли из Петербурга. Первым, 17 января, был отправлен в Иркутск Петрашевский, 18-го — Спешнев и Григорьев, 19-го — Львов и Толль; 20-го, в Омск — Достоевский и Дуров, а также Ястржембский (в Тарский округ). Фонвизина, по своей дружбе с Горчаковым, просила оказать покровительство сосланному в Омск «племяннику» и его товарищу. «Я жандармов просила беречь дорогой господ. Мы в Омск писали и рекомендовали бедных друзей наших... Я по целым часам в бытность их здесь с ними беседовала, — писала Фонвизина все с той же оказией. — Не искала я нисколько перелить в них мои душевные убеждения. Но Господь такую нежную материнскую любовь к ним влил в мое сердце, что и на их сердцах это отразилось».

По уставу ссыльнокаторжные должны были идти по этапу пешком. Дочь тобольского прокурора и близкий друг семьи Фонвизиных М. Д. Францева вспоминала, как после отправки осужденных из Тобольска явился к Горчакову начальник штаба и стал уверять князя, что арестантов следует отправлять пешком, а не по почте и что может выйти неприятность. Князь испугался, послал адъютанта отменить распоряжение. К счастью, было уже поздно. На князя напала страшная трусость, со вздохами и жалобами, но пришла из Петербурга успокоительная бумага, и он вздохнул свободнее.

А на дороге в Омск, за Иртышом, в семи верстах от Тобольска, на тридцатиградусном морозе ссыльных ожидали Фонвизина и Францева. «Мы заранее вышли из экипажа и нарочно с версту ушли вперед по дороге, чтоб не сделать кучера свидетелем нашего с ними прощания»[10]: один из жандармов конвоя обязался передать инспектору кадетского корпуса полковнику И. В. Ждан-Пушкину письмо Фонвизиной. «Из-за опушки леса показалась тройка с жандармом и седоком, за ней другая;

мы вышли на дорогу и, когда они поравнялись с нами, махнули жандармам остановиться, о чем уговорились с ними заранее. Из кошевых (сибирский зимний экипаж) выскочили Достоевский и Дуров. Первый был худенький, небольшого роста, не очень красивый собой молодой человек, а второй лет на десять (на пять. — *Л. С.*) старше товарища, с правильными чертами лица, с большими черными, задумчивыми глазами, черными волосами и бородой, покрытой от мороза снегом. Одеты они были в арестантские полушубки и меховые малахаи, вроде шапок с наушниками; тяжелые кандалы гремели на ногах. Мы наскоро простились с ними... и успели только им сказать, чтоб они не теряли бодрости духа, что о них и там будут заботиться добрые люди»[11].

Переезд в 700 верст занял трое суток. Ехали на тройках с колокольчиками, ямщики и лошади менялись от станции к станции. 23 января Достоевский и Дуров были доставлены в Омский каторжный острог. Жандармы сдержали слово и передали письмо по назначению, и теперь судьба обоих ссыльных всецело зависела от неизвестных им «добрых людей» из среды военных и чиновников, составлявших основное население города. Административный центр Западной Сибири, Омск имел все полагающиеся ему департаменты: канцелярию генерал-губернаторства, главное управление, штаб отдельного Сибирского корпуса и кадетский корпус, первый в Сибири. Но, несмотря на свою «столичную» репутацию, город жил тихо, вяло, патриархально, без модных увеселений, театров, литературных вечеров и ученых собраний.

«Омск гадкий городишка. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видал. Городишка грязный, военный и развратный в высшей степени. Я говорю про черный народ. Если б не нашел здесь людей, я бы погиб совершенно», — напишет Ф. М. спустя четыре года. У него были все основания не любить место своего унижения, своей боли. Но портрет Омска каторжных лет можно дополнить ироническим описанием и местного автора: «Крепость как укрепленное место для защиты от врага никакого значения не имела, хотя и была снабжена достаточным числом помнивших царя Гороха чугунных ржавых орудий, с кучками сложенных в пирамидки ядер, в отверстиях между которыми ютились и обитали тарантулы, фаланги и скорпионы»[12]. Все постройки в городе — дворец генерал-губернатора, комендантское и инженерное управления, дома начальства, казармы, острог — были одноэтажными и всякому заезжему петербуржцу казались жалкими и мизерными. Впрочем, острог, стоявший на краю крепости, не позволял за высоким забором увидеть ничего, кроме краеш-

ка неба и поросшего бурьяном земляного вала, по которому круглые сутки вышагивали часовые...

Надежды на добрых людей, которые не оставят в несчастье, оправдались лишь отчасти. Да разве могло бы что-нибудь, кроме чуда, избавить арестанта от проклятого двора в 200 шагов длины и полтораста ширины? От старого, ветхого, деревянного, насквозь продуваемого здания с маленькими окошками и гнилыми скользкими полами? От зловонной холодной казармы, залитой помоями, кишащей вшами, блохами, тараканами и клопами? От спанья на голых нарах? От вечной брани, крика, шума и гама? От скверной тощей еды, не насыщавшей, а только раздражавшей больной желудок? От дрянной одежи и худой обуви, не защищавшей ни от мороза, ни от слякоти? От выбритых наполовину, от уха до уха, голов, от желтых тузов на спинах и кандалов — круглосуточных и круглогодичных? От клейменых лиц и тошнотворных впечатлений? От ночных обысков и неизбежных потерь?

Всего в Омском остроге содержалось 162 арестанта. Кроме семи политических (Достоевского, Дурова и пятерых ссыльных поляков), остальные отбывали сроки за смертоубийство или намерения к нему, разбой и воровство, причинение увечья, фальшивые монеты, ложные показания, дерзость против начальства. Арестанты делились на два разряда: военного и гражданского ведомства и подразделялись на «срочных» и «всегдашних»[13]. «Это народ грубый, раздраженный и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостию о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали... Нам пришлось вынести всё мщение и преследование, которым они живут и дышат, к дворянскому сословию... 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие...» Все четыре года разыгрывалась одна и та же тема: «Вы дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил. А теперь хуже последнего наш брат стал».

Военная каторга, как и арестантские роты, была не в пример тяжелее гражданской. «Военное начальство строже, порядки теснее, всегда в цепях, всегда под конвоем, всегда под замком: а этого нет в такой силе в первых двух разрядах. Так по крайней мере говорили все наши арестанты, а между ними были знатоки дела». Прожить на девять казенных копеек в сутки было невозможно: «Я пил чай и ел иногда свой кусок говядины, и это меня спасало».

«Статейный список о государственных и политических преступниках, находящихся в Омской крепости в каторжной

работе 2-го разряда на 19 июня 1850 г.» с полицейской точностью зафиксировал, как выглядел и кем являлся в глазах острожного начальства «Федор Достоевский, 28 лет».

«*Наружные приметы и недостатки*. Лицо чистое, белое, глаза серые, нос обыкновенный, волоса светло-русые, на лбу, над левой бровью, небольшой рубец.

Какого телосложения. Крепкого.

Какого поведения. Ведет себя хорошо.

Какое получили при ссылке в работу наказание. Без телесного наказания, с лишением всех прав состояния.

Какое знают мастерство и умеют ли грамоте. Чернорабочий; грамоте знает.

Ранжирная мерка. 2 аршина 6 вершков».

Казенный портрет хорошо дополнялся взглядом со стороны: «Ф. М. Достоевский имел вид крепкого, приземистого, коренастого рабочего... Но сознанье безысходной, тяжкой своей доли как будто окаменяло его. Он был неповоротлив, малоподвижен и молчалив. Его бледное, испитое, землистое лицо, испещренное темно-красными пятнами, никогда не оживлялось улыбкой, а рот открывался только для отрывистых и коротких ответов по делу или по службе. Шапку он нахлобучивал на лоб до самых бровей, взгляд имел угрюмый, сосредоточенный, неприятный, голову склонял наперед и глаза опускал в землю. Каторга его не любила, но признавала нравственный его авторитет; мрачно, не без ненависти к превосходству, смотрела она на него и молча сторонилась» (П. К. Мартьянов).

Находиться в атмосфере ненависти было тяжело и опасно — ее, ненависть, усмиряло только равнодушие, чувство собственного достоинства и «неподклонимость» уголовной воле. Но еще сильнее здесь не любили ссыльных поляков из дворян, не умевших за утонченной, обидной вежливостью скрыть своего отвращения к арестантам, «а те понимали это очень хорошо и платили той же монетой». Достоевский не скрывал, как трудно и ему было обрести расположение хотя бы некоторых каторжников — прошло два года, прежде чем его наконец признали «за хорошего человека». Но еще труднее было узнику, пострадавшему «за политику», в его кандальном положении защищать «русскую стихию» от ненависти соузников-поляков, судивших о России по ее преступному миру и каторжным порядкам. «Уверяю Вас, — напишет он А. Н. Майкову через два года после окончания каторги, — что я, например, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня, — это был русский народ, мои братья по несчастью, и я имел счастье отыскать не раз даже в душе разбойника великодушие, потому собственно, что мог понять его;

ибо был сам русский. Несчастие мое дало мне многое узнать практически, может быть, много влияния имела на меня эта практика, но я узнал практически и то, что я всегда был русским по сердцу».

Запись «*Чернорабочий, грамоте знает*» — при всей ее анекдотичности в случае Достоевского (о Дурове в списке было сказано то же самое) — не содержала ничего оскорбительного. Такова была специфика русской каторги: арестанты с образованием не владели, как правило, никаким ручным ремеслом, а мастера на все руки из простых грамоте не знали (в остроге было много рукастого народу: сапожники, башмачники, портные, столяры, слесари, резчики, золотильщики). Поэтому работы, на которые употреблялись колодники, были обязательны для всех: полный цикл изготовления кирпичей на кирпичном заводе, при норме в 200—250 штук за смену, от вымешивания глины до складирования готовых изделий; толчение и обжиг алебастра; верчение точильного колеса в инженерных мастерских; разгребание снега на дорогах и улицах города, ломка барок летом, малярные и штукатурные работы. Недолго удалось Достоевскому пробыть писцом в канцелярии инженерного управления — «доброхоты» настрочили рапорт о несоответствии занятия правилам содержания политического преступника. Острог быстро давал понять, что *каторжной* называется работа не тяжелая, а *принудительная*.

Участь арестанта всецело зависела от нрава начальства, его настроения и каприза. Еще в Тобольске их с Дуровым предупредили насчет плац-майора В. Г. Кривцова, мелкого варвара, сутяги и пьяницы. «Началось с того, что он нас обоих, меня и Дурова, обругал дураками за наше дело и обещался при первом проступке наказывать нас телесно. Он уже года два был плац-майором и делал ужаснейшие несправедливости. Через 2 года он попал под суд. Меня Бог от него избавил», — писал Ф. М. брату.

И все же свирепость канальи майора искупалась той стихией добра и порядочности, которая не переводилась среди офицеров и гражданских лиц, состоявших при Мертвом доме. О коменданте Омской крепости А. Ф. де Граве, пожилом добродушном полковнике, солдате 1812 года[14], в чьей полной зависимости находился острог, в Сибири ходил слух как о добрейшем человеке — и этот слух счастливо подтвердился. Никаких поблажек для политических ссыльных из дворян делать не полагалось, и комендант обязан был строго за этим следить. Из доносов, которыми кишел город, он наверняка знал о помощи, получаемой арестантами-литераторами, — однако делал вид, что не знает. Комендант и сам пытался им помочь,

посылая запросы о возможности снятия с них ножных оков, и, получая неизменные отказы («монаршего соизволения на сие представление не последовало»), не оставлял усилий. Это он пресек попытку экзекуции и объявил выговор негодяю Кривцову, когда тот, увидев днем Достоевского, лежавшего на нарах после припадка падучей, велел наказать его розгами. Это к нему, коменданту, доложить о готовящейся расправе спешно послал ефрейтора начальник караула (из «морячков», разжалованных воспитанников Морского кадетского корпуса), в надежде, что благородный и справедливый Алексей Федорович предотвратит беду и запретит наказывать больного арестанта.

Выполнил просьбу Фонвизиной и Ждан-Пушкин, переговорив с главным доктором острога И. И. Троицким. Уже в феврале 1850-го Достоевский попал в тюремный госпиталь. «Троицкий... толковал с ним, предлагал ему лучшую пищу, иногда и вино, но он отказывается от всего, и просит только о том, чтобы принимать почаще в лазарет и помещать в сухой комнате»[15]. Троицкий имел право на гуманность ко всем арестантам — и пользовался им на пределе возможностей. «Арестанты не нахвалились своими лекарями, — напишет Достоевский, — считали их за отцов, уважали их. Всякий видел от них на себе ласку, слышал доброе слово... С лекарей бы никто бы не спросил, если б они обращались иначе, то есть грубее и бесчеловечнее: следовательно, они были добры из настоящего человеколюбия». «Госпитализация» обыкновенно происходила так: Троицкий сообщал через караульных «морячков», что Дуров или Достоевский (или оба вместе) могут прийти в лазарет на передышку, «и они отправлялись и вылеживали там по нескольку недель, получая хороший сытный стол, чай, вино и другие предметы, частию с госпитальной, частию с докторской кухни» (П. К. Мартьянов).

Но даже гуманнейшие из лекарей, фельдшеров, ординаторов и простых служителей госпиталя не могли избавить пациентов от тяжелого, отравленного испарениями воздуха больничной палаты на 22 койки, где вперемешку лежали чахоточные, венерические, цинготные, глазные, буйно помешанные, наказанные тысячью палочных ударов «на зеленой улице», умирающие — и те, кто пришел ненадолго сменить голые доски сырой казармы на тюфяк в тепле. Не было спасения и от полчищ жирных клопов, от кислого запаха склизких суконных халатов, которые выдавались больным; от кандалов, не снимаемых с каторжников ни в бане, ни в лазарете; от созерцания смерти, которая была здесь слишком частой гостьей.

При всем том тюремный госпиталь, куда Достоевского принимали так часто, как это только было возможно, чтобы не

вызвать подозрений у проверяющих чинов, явился для него спасительным местом не только потому, что здесь можно было отлежаться после припадков падучей (настоящее название «кондрашки с ветерком» здесь ни у кого уже не вызывало сомнений); не только потому, что здесь их с Дуровым подкармливали и освобождали от казармы. Доктор Троицкий на свой страх и риск вернул арестанту право чувствовать себя писателем и надежду остаться им.

В далекой юности Ф. М. писал брату: «Человек есть тайна». Пройдет почти два десятилетия, и в «Записках из Мертвого дома» он, исходя из горького опыта, чуть-чуть уточнит блистательный афоризм: «Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение». К самому Достоевскому эта формула могла относиться лишь отчасти. Конечно, он ко многому привык и притерпелся в остроге — к кандалам, к убогому быту, к званию «грамотного чернорабочего» и даже к тому, что на улице малый ребенок мог подать ему милостыню: «На, несчастный, возьми Христа ради копеечку!»

Ему предстояло привыкнуть и к самому страшному — к запрету на писательство.

Вряд ли в то время он уже знал поучительную историю, которая произошла с его младшим братом Андреем, ошибочно арестованным по делу «общества пропаганды». Когда 3 мая 1849 года ошибка была обнаружена и брат получил «очистительный аттестат», он был вызван к главноуправляющему путями сообщения графу П. А. Клейнмихелю, и тот, похвалив архитектора из своего департамента за благонамеренность («Очень рад, что в моем ведомстве не оказалось ни одного подлеца»), порекомендовал: «Меня просят, чтобы это не повлияло на твою дальнейшую службу. Отнюдь нет. Будь спокоен. Теперь отдохни, а потом старайся служить хорошо, а главное, не сочиняй и не пиши ничего, кроме смет и строительных проектов». «Вельможа-сатрап», от которого ничего нельзя было ожидать, кроме пакости (так отзовется о Клейнмихеле Андрей Михайлович), коварно обманет: пожелав избавиться от архитектора с опальной фамилией, вышвырнет его из гражданского ведомства в Департамент военных поселений.

В глазах «сатрапов» занятия литературой имели дурную репутацию и, разумеется, никак не могли быть поощряемы для арестанта военной каторги. По закону каторжный срок для политического преступника имел поучительное ограничение — «без права переписки». Нельзя было не только писать, нельзя было, строго говоря, и читать. Привыкнуть к этому Достоевский не мог — и не привык: местный священник А. И. Сулоц-

кий, знакомец Фонвизиных, передавал в острог духовные журналы, «морячки» из караульной команды приносили любимого Диккенса.

Здесь впервые Достоевский опробовал новый для себя жанр: личный дневник, нечто вроде записной книжки. «Моя тетрадка каторжная», самоделка, сшитая уже после каторжного срока разными нитками из двадцати восьми листов (55 страниц текста) простой писчей бумаги, в восьмую долю листа, без обложки, заглавия и даты, тайно хранилась у старшего фельдшера и выдавалась вместе с книгами и газетами, когда арестант появлялся в лазарете и мог немного побыть читателем и писателем. На что он рассчитывал, делая тайком пестрые, как будто случайные, не связанные одна с другой записи? Зачем рисковал, преследуемый доносчиками и приезжавшими по «сигналу» следователями, которые обвиняли Троицкого, будто тот принимает в госпитале политических арестантов, притворяющихся больными, и доставляет им особые удобства, хорошую пищу, книги и письменные принадлежности? Подозревая, что арестанты нарушают правила, ревизоры учиняли допросы, очные ставки и обыски* — существует свидетельство, как Достоевский на сделанный ему следователем вопрос: не писал ли он чего-нибудь в остроге или когда находился в госпитале? — ответил: «Ничего не писал и не пишу, но материалы для будущих писаний собираю». — «Где же материалы эти находятся?» — «У меня в голове». Дуров же сказал: «Зачем писать, когда мы, поэты, можем петь!.. Петь приятней, чем писать» (П. К. Мартьянов).

Но материалы были не только в голове — листки заполнялись словами и выражениями, «записанными на месте» (потом,

---

* Советник Главного управления Западной Сибири от Министерства юстиции барон фон Шиллинг, присланный в Омский острог из Тобольска для расследования доноса ординатора Крыжановского, столкнулся с заговором молчания — свидетели не подтверждали сделанных доносчиком заявлений. Видя свою неудачу, следователь решился провести в остроге внезапный обыск, однако арестанты были вовремя предупреждены и как следует подготовились: все запрещенное было спрятано вне острога, кроме нескольких предметов, оставленных под нарами для потехи. «Трофеями обыска оказались: банка помады, флакон одеколона, рваная женская юбка, чулки и детский нагрудничек. Но самой неожиданной находкой было несколько писаных листков почтовой бумаги. Комендант и следователь одновременно протянули к ним руки, и, когда прочитали их, оба расхохотались. На листках написано было, в виде молитвы, заклинание от сатаны, исшедшего из преисподней на землю в образе изверга — плац-майора Кривцова. Нужно ли говорить: какую обильную пищу дал этот грозный обыск для смеха омскому обществу» (*Мартьянов П. К.* Дела и люди века. Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. Т. 3. СПб., 1896. С. 277).

быть может, переписывались[16]), нумерация иногда сбивалась, появлялись пропуски, повторы, дополнения между строк и на полях. Что он ждал от своей тайной работы, к которой позже не раз будет возвращаться? Ни о каких приятных сюрпризах судьбы речи быть не могло. 1460 дней каторги предстояло прожить от звонка до звонка, без послаблений и смягчений — лишь госпиталь время от времени, случайные книги, прочитанные наспех, да иногда работа полегче. Он стал еще более, чем до ареста, угрюм и насторожен, «смотрел волком в западне... изъявление сочувствия принимал недоверчиво... сторонился вообще людей, предпочитая в шуме и гаме арестантской камеры оставаться одиноким... отвечал на вопросы неохотно, а в интимные разговоры и сердечные излияния почти никогда не пускался» (П. К. Мартьянов).

Его письма, написанные сразу после каторги, были мрачнее и надрывнее, чем более поздние заметки о пережитом. *Брату Михаилу*: «Вечная вражда и ссора кругом тебя... всегда под конвоем, никогда один, и это четыре года без перемены, — право, можно простить, если скажешь, что это было худо. Кроме того, всегда висящая на нас ответственность, кандалы и полное стеснение духа, и вот образ моего житья-бытья». *Н. Д. Фонвизиной*: «Эта долгая, тяжелая физически и нравственно, бесцветная жизнь сломила меня... Скоро пять лет, как я под конвоем или в толпе людей, и ни одного часу не был один... Общество людей сделается ядом и заразой, и вот от этого-то нестерпимого мучения я терпел более всего в эти четыре года. Были и у меня такие минуты, когда я ненавидел всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на них, как на воров, которые крали у меня мою жизнь безнаказанно». *Брату Андрею*: «А те 4 года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу. Что за ужасное было это время, не в силах я рассказать тебе, друг мой. Это было страдание невыразимое, бесконечное, потому что всякий час, всякая минута тяготела как камень у меня на душе. Во все 4 года не было мгновения, в которое бы я не чувствовал, что я в каторге». *А. Н. Майкову*: «Не могу Вам выразить, сколько я мук терпел оттого, что не мог в каторге писать. А, между прочим, внутренняя работа кипела. Кое-что выходило хорошо; я это чувствовал».

На что же все-таки надеялся Достоевский, заполняя свою каторжную тетрадку пронумерованными выражениями — пословицами, поговорками, осколками фраз, репликами, диалогами, притчами, невзначай услышанными историями, богатейшим острожным многоголосием — всего таких записей набралось 523 под 487 номерами? И что это было — подвиг писателя, взявшего в руки запретное перо и доказавшего самому

себе право на профессию? Неукротимый порыв к творчеству в его единственно доступной форме? Обдуманно и расчетливо составляемые заготовки впрок — «словесные запасы»? Попытка, под слоем хаотических заметок, скрыть интимный дневник, шифровавший глубоко личные переживания? Как выяснится, и то, и другое, и третье, и четвертое. Но, быть может, еще и пятое: литературное занятие как спасение, превращавшее каторгу, при всех возможных оговорках, в тему сочинения; острог — в фольклорное эльдорадо; запоминание и записывание — в этнографическое приключение.

«Но вечное сосредоточение в самом себе, куда я убегал от горькой действительности, принесло свои плоды, — утверждал Ф. М. — Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров!.. Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всего черного, горемычного быта! На целые томы достанет... Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его».

Несомненно, сибирская тетрадка была одним из самых эффективных способов убегания от реальности. Вместе с тем это был щит — он давал иное видение и иное качество бытия. Физическое существование тетрадки, о которой знали, кроме владельца, еще только доктор и фельдшер (они-то, устраивая арестанту частые лечебные передышки, выдавали бумагу, перо и чернила, хранили исписанные листки), преображало действительность: острог хоть ненадолго переставал быть зоной мрака и смрада, становясь объектом зоркого художественного наблюдения. В этом шуме и гаме, среди грязи и брани, в кандалах и под конвоем колоднику являлось иное дыхание, — и, может быть, случались мгновения, когда он ощущал себя не арестантом, а исследователем-первопроходцем. Опущенные долу глаза всё видели и замечали; сердце-наблюдатель бережно хранило пережитые впечатления; память, главная союзница писателя-нелегала, трудилась с удвоенным напряжением; внешняя нахмуренность и угрюмость скрывали отвагу разведчика, проникающего в суть вещей, — «волк в западне» ждал своего часа, чтобы мир узнал о «западне» и о том, как не стать здесь волком, а остаться человеком между людьми.

«Люди везде люди, — писал он. — И в каторге между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец людей. Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото. И не один, не два, а несколько. Иных нельзя не уважать, другие решительно прекрасны. Я учил одного молодого черкеса (присланного в каторгу за разбой) русскому языку и грамоте. Какою же благо-

дарностию окружил он меня! Другой каторжный заплакал, расставаясь со мной. Я ему давал денег — да много ли? Но за это благодарность его была беспредельна. А между тем характер мой испортился; я был с ними капризен, нетерпелив. Они уважали состояние моего духа и переносили всё безропотно».

Судьба, сделав еще один круг, послала Достоевскому уникальный материал для работы в том самом жанре физиологического очерка, который столь ценили его первые литературные покровители. Именно «Записки из Мертвого дома» вернут писателю, попавшему «под красную шапку», былую славу, помогут снова войти в большую литературу и занять в ней то место, которое он заслуживал. «Мертвому дому» предстояло выиграть спор, затеянный Достоевским с русской литературой — ибо сначала она оказалась для него слишком тесной, а потом и смертельно опасной.

«5) Не слушался отца и матери, так послушайся теперь барабанной шкуры».

«188) Не ходи в карантин, не пей шпунтов, не играй на белендрясе».

«282) Не хотел шить золотом, теперь бей камни молотом».

Глава вторая

СИЯНИЕ СТЕПНОГО СОЛНЦА

Прощание с казармой. — «Кандалы упали!» — Месяц на воле. — Товарищи по эшафоту. — Письмо к Фонвизиной. — Символ веры. — Этап в Семипалатинск. — Солдатские нары. — Изба на пустыре. — Стихи о войне. — «Европа ли Россия?» — Светлое пробуждение

«Накануне самого последнего дня, в сумерки, я обошел *в последний раз* около паль весь наш острог. Сколько тысяч раз я обошел эти пали во все эти годы! Здесь за казармами скитался я в первый год моей каторги один, сиротливый, убитый. Помню, как я считал тогда, сколько тысяч дней мне остается. Господи, как давно это было!»

Самый последний день каторги пришелся на 22 января 1854 года. «Ведомость о прибыли, убыли и наличном составе арестантов № 55 роты» от 23 января зафиксирует окончание назначенного Достоевскому каторжного срока, выключит его из списочного состояния и укажет место солдатской службы. Наутро, 23 января, Ф. М. обошел все казармы. «Много мозолистых, сильных рук протянулось ко мне приветливо. Иные жали их совсем по-товарищески, но таких было немного. Дру-

гие уже очень хорошо понимали, что я сейчас стану совсем другой человек, чем они. Знали, что у меня в городе есть знакомство, что я тотчас же отправляюсь отсюда к *господам* и рядом сяду с этими господами как ровный. Они это понимали и прощались со мной хоть и приветливо, хоть и ласково, но далеко не как с товарищем, а будто с барином. Иные отвертывались от меня и сурово не отвечали на мое прощание. Некоторые посмотрели даже с какою-то ненавистью».

Вместе с Дуровым прошли в кузницу — расковать кандалы. Умельцы из арестантов старались сделать все как можно ловчее. «Кандалы упали. Я поднял их... Мне хотелось подержать их в руке, взглянуть на них в последний раз...

— Ну, с Богом! с Богом! — говорили арестанты отрывистыми, грубыми, но как будто чем-то довольными голосами.

Да, с Богом! Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых... Экая славная минута!»

Господа, о которых толковали острожники, именовались: однокашник Ф. М. по училищу подпоручик Константин Иванович Иванов и его супруга Ольга Ивановна, урожденная Анненкова, дочь Полины Гёбль, добившейся от Николая I разрешения следовать за декабристом И. А. Анненковым в сибирскую каторгу и ставшей там его женой. Таким знакомством можно было гордиться. Мать и дочь Анненковы вместе с Фонвизиной, начав заботиться о петрашевцах еще в Тобольске, не оставляли усилий; К. И., зять Анненковых, был Достоевскому «как брат родной». «Он сделал для меня всё что мог... Чем заплатить за это радушие, всегдашнюю готовность исполнить всякую просьбу, внимание и заботливость как о родном брате. И не один он! Брат, — писал Достоевский Михаилу Михайловичу, — на свете очень много благородных людей».

При содействии Иванова в 1853 году с Достоевским встречался сын декабриста И. Д. Якушкина этнограф Евгений Якушкин, командированный в Омск: арестанта в ножных железах, «с исхудалым лицом, носившим следы сильной болезни», привел конвойный во двор дома, где остановился Якушкин. Однако поручение разгрести снег было фиктивным, и лопата в то утро арестанту не понадобилась; сердечное участие нового знакомого оживило и успокоило. Они говорили как старые приятели и расстались как друзья; эта дружба продлится на годы. «Вы меня выводите на дорогу и помогаете мне в самом важном для меня деле», — напишет ему Достоевский в 1857-м: Якушкин пытался хлопотать о переиздании сочинений Ф. М.

Мир благородных людей, сосредоточенный в омскую пору у Ивановых, согревал Достоевского не раз. Весной 1853-го на

крестины внучки приезжала Анненкова вместе с Фонвизиной. «Кто испытывал в жизни тяжелую долю и знал ее горечь, особенно в иные мгновения, тот понимает, как сладко в такое время встретить братское участие совершенно неожиданно. Вы были таковы со мною, и я помню встречу с Вами, когда Вы приезжали в Омск и когда я был в каторге», — писал Анненковой Достоевский осенью 1855-го.

На исходе января 1854 года, по выходе из острога он, вместе с Дуровым, был приглашен к Ивановым как гость и провел там около месяца («Что за семейство у него! Какая жена! Это молодая дама, дочь декабриста Анненкова, что за сердце, что за душа, и сколько они вытерпели!»). «Вы поймете, какое впечатление должно было оставить такое знакомство на человека, который уже четыре года, по выражению моих прежних товарищей-каторжных, был как ломоть отрезанный, как в землю закопанный. Ольга Ивановна протянула мне руку, как родная сестра, и впечатление этой прекрасной, чистой души, возвышенной и благородной, останется самым светлым и ясным на всю мою жизнь», — писал Ф. М. ее матери.

Первый месяц на воле стал временем возвращения в мир. Он жадно читал журналы и газеты, налаживал связи с родными, был открыт для знакомств и смелых решений. «Вот уже неделя, — писал Достоевский брату, — как я вышел из каторги. Это письмо посылается тебе в глубочайшем секрете, и об нем никому ни полслова. Впрочем, я пошлю тебе письмо и официальное, через штаб Сибирского корпуса. На официальное отвечай немедленно, а на это, при первом удобном случае... Ради Бога, это письмо держи в тайне и даже сожги: не компрометируй людей».

Он учился быть терпеливым. Старался не заглядывать в завтрашний день. Твердил о годах, которые, быть может, не пройдут бесплодно. «Нельзя ли мне через год, через 2 на Кавказ, — все-таки Россия!.. Ведь позволят же мне печатать лет через шесть, а может, и раньше. Ведь много может перемениться, а я теперь вздору не напишу... Время для меня не потеряно...»

В январе 1854-го ему шел тридцать третий год.

Планы вхождения в новую жизнь были такими же, как и 15 лет назад. «Одна моя цель быть на свободе. Для нее я всем жертвую» — это писал в стенах училища семнадцатилетний юноша, который просил у родных немного денег, чтобы иметь немного книг. Теперь он просил о том же. Он снова начинал с нуля, но для бывшего каторжника все было куда горше и безнадежнее. «Мне нужно денег и книг... Знай, брат, что книги — это жизнь, пища моя, моя будущность!» «Не забудь же меня

книгами, любезный друг», — писал он брату, от которого не имел ни строчки более четырех лет («ты мне доставил этим много и эгоистического горя»).

«Знай только, что самая первая книга, которая мне нужна, — это немецкий лексикон», — напоминал он Михаилу — и кто, как не *Mich-Mich*, должен был догадаться, что брат надеется вернуться в профессию по сценарию их общей молодости, начав с переводов? Правда, теперь он просил прислать не Бальзака и Эжена Сю, а Канта и Гегеля: «С этим вся моя будущность соединена». Из Семипалатинска он повторит просьбу: «Пришли мне европейских историков, экономистов, Святых Отцов, по возможности всех древних (Геродота, Фукидида, Тацита, Плиния, Флавия, Плутарха и Диодора и т. д. Они все переведены по-французски). Наконец, Коран и немецкий лексикон... Пойми, как нужна мне эта духовная пища!)».

Книги были посланы, но пропали, невостребованные, на почте: омскому чиновнику, на чье имя адресовалась посылка, не захотелось входить в сношения с бывшим каторжником. Переводы не состоялись.

Собственно говоря, в этом не было ничего нового — в молодости его планы тоже срывались, намерения менялись, «предприятия» терпели крах. Но сейчас было много хуже. Он страшно зависел от людей — от добрых и злых, от смелых и трусливых; от их благосклонности или произвола. Он боялся попасть к начальнику, который невзлюбит его, как Кривцов, и загубит службой. «А я так слабосилен, что, конечно, не в состоянии нести всю тягость солдатства», — жаловался он брату. Но так хотелось радоваться свободе — не брить половину головы, не носить десятифунтовые кандалы, не ходить с желтым тузом на спине. Участь рядового — со строевым учением, нарядами вне очереди, казарменной дисциплиной, подзатыльниками и зуботычинами, деревянными нарами и солдатской похлебкой — была, по сравнению с долей каторжника, почти счастьем.

Месяц, проведенный у Ивановых, позволил Достоевскому узнать новости о товарищах по эшафоту — и о тех, с кем расстался на плацу, и о тех, с кем простился в Тобольске. Узнал, что Филиппов, перед отъездом в Измаил, в арестантские роты, оставил для него у Набокова 25 рублей серебром. Добрая душа! Боялся, что товарищ начнет срок совсем без денег. «Все наши ссыльные живут помаленьку. Толль кончил каторгу, он в Томске и живет порядочно. Ястржембский в Таре кончает... Момбелли и Львов здоровы». То же касалось Плещеева и Головинского. Григорьев так и не оправился от душевной болезни. Слова из письма брату: «Петрашевский по-прежнему без здра-

вого смысла» — намекали на драму человека, не способного мириться с реальностью*.

«Чтобы убедиться, насколько обхождение с политическими ссыльными было гуманнее и мягче в Восточной Сибири, чем в Западной, — писал декабрист А. Ф. Фролов, — стоит вспомнить о горькой судьбе, доставшейся в удел Достоевскому и Дурову, сосланным в Омск, где они много лет несказанно томились в арестантской роте, когда в то же время Петрашевский с товарищами жили на свободе в Иркутске»[17]. Действительно, с начала 1851 года, как только из Нерчинского округа в Петербург поступили донесения о хорошем поведении осужденных, генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев добился, чтобы «его ссыльные» получали от родных письма, посылки, деньги. Спешнев, с «вернейшей оказией», откроет матери, что положение их группы гораздо легче, чем по приговору, и они только опасаются, чтобы это не разгласилось. В 1853 году в Александровском Заводе уже вовсю действовал пансион, имевший репутацию лучшего учебного заведения в Нерчинском округе для поступления в гимназии и женские институты. Горные начальники стремились отдать своих детей в обучение к каторжным учителям, платили им поурочно, освобождали от работ и принимали у себя как равных. И хотя в отчетах говорилось о режимном содержании преступников, жизнь не совпадала с отчетностью: став учителями, они селились на частных квартирах, имели заработок, чтение, досуг.

О жизни Спешнева, учителя Священной истории, русского и иностранных языков, которая текла не по каторжному, а по школьному расписанию, Ф. М., едва выйдя из острога, с восхищением писал брату: «Спешнев в Иркутской губернии, приобрел всеобщую любовь и уважение. Чудная судьба этого человека! Где и как он ни явится, люди самые непосредственные, самые непроходимые окружают его тотчас же благоговением и уважением...» Тот, кто в Сибири следил за судьбой Спешнева, явно порадовал омского каторжанина: как один из «благоговевших», Достоевский признавал факт покоряющего обаяния

---

* Б. В. Струве, адъютант Н. Н. Муравьева, посетив весной 1851 года Нерчинские заводы, встретился там с осужденными. «Начальник Шилкинского завода делал содержавшимся у него в заключении Буташевичу-Петрашевскому и другим всякого рода облегчение их участи. Бестактность и недостаток деликатности со стороны Буташевича в пользовании этим снисхождением дали повод, что на это было обращено внимание высшего правительства в столице, вследствие чего последовало распоряжение о недопущении подобного послабления, которое имело вид глумления над строгостью закона» (*Струве Б. В.* Воспоминания о Сибири. 1848—1854. СПб., 1889. С. 110).

Николая Александровича, способного быть объектом обожания везде и всегда. Похоже, его «чудная судьба» сбывалась: осужденный на десять лет каторги, он не испытал тягот каторжного труда; не знал грязи, вони и шума острога бок о бок с ворами и убийцами, был избавлен от ножных оков, арестантской куртки (донашивал свой петербургский сюртук, в котором стоял на эшафоте) и желтого туза на спине. Чаша «насильственного коммунизма», как называл острожную жизнь Достоевский, миновала его учителя, атеиста и коммуниста Спешнева.

Казалось бы, тот восторженный порыв, которому поддался Ф. М., стоя у эшафота четыре года назад, должен был давно изгладиться из памяти. После всего пережитого стоило ли помнить, как за минуту до казни он пытался поделиться спасительной мыслью о Христе со своим скептическим товарищем? Однако тот фантастический эпизод, длившийся всего несколько секунд, видимо, не был забыт, и в первые дни свободы Ф. М. нашел выход для «спасительной мысли», обратив ее к Фонвизиной. Их знакомству исполнилось четыре года, и все это время через неведомый тайный канал велась переписка (уцелело всего по одному письму с каждой стороны).

Достоевский писал женщине-легенде, ангелу-хранителю многих узников: «С каким удовольствием я читаю письма Ваши, драгоценнейшая Наталья Дмитриевна! Вы превосходно пишете их, или, лучше сказать, письма Ваши идут прямо из Вашего доброго, человеколюбивого сердца легко и без натяжки». Письмо Фонвизиной от 8 ноября 1853 года (то самое, на которое ответит зимой 1854-го Достоевский) — это страстная исповедь. Фонвизина рассказывала о той поре своей жизни, когда ей довелось испытать полное земное счастье; и о той поре, когда ей выпало беспредельное, неукротимое горе; и о том, как хваталась она за любую неприятность или болезнь, лишь бы они отвлекли ее от убивающей печали. Она горевала, как холодно после ссылки приняла изгнанников Россия (Фонвизины вернулись домой в мае 1853-го). Сердечный тон, естественность и откровенность Фонвизиной вызывают у Достоевского ответное желание — открыть ей свои сокровенные мысли о смысле бытия, о вере и истине, об очищении души страданием, о нравственной силе, способной одолеть жизненные испытания и просветлить душу.

«Я слышал от многих, что Вы очень религиозны, Наталья Дмитриевна», — пишет ей Достоевский. Кто эти «многие» и где он мог слышать о ней? Конечно, в Тобольске: о ней говорили все, с кем он находился в остроге; потом в Омске от Дурова, который до конца жизни оставался в дружбе с «родной тетенькой» (оба умерли в 1869 году). Ф. М. мог слышать волну-

ющую историю ее молодости, когда, под влиянием религиозных исканий, с пылкими мечтами о мученичестве, она носила под платьем вериги, спала на голом полу, голодала, испытывала себя огнем и железом, ночи проводила в молитве, а потом бежала из родительского дома в мужском платье, чтобы постричься в монахини. И как родители, уже после пострига дочери, упросили ее выйти замуж за немолодого двоюродного дядю, страстно привязанного к ней и сумевшего оказать ее семье серьезную услугу. Она покорилась судьбе — надо было отца «из беды выкупать».

Достоевский знает, что, вернувшись в Россию после 25-летней ссылки, она уже не застала в живых двух своих взрослых сыновей — обоих унесла чахотка. За время ссылки умерли ее отец и мать. В Сибири скончался третий ребенок Фонвизиных, годовалый младенец. Достоевский пишет ей после всех этих жестоких потерь — а в это время угасает и через два месяца, в апреле 1854-го, уйдет и ее муж. «Вы с грустию нашли опять родину. Я понимаю это; я несколько раз думал, что если вернусь когда-нибудь на родину, то встречу в моих впечатлениях более страдания, чем отрады», — пишет он, обращаясь к Наталье Дмитриевне как к товарищу по несчастью. «Я не жил Вашею жизнию и не знаю многого в ней, как и всякий человек в жизни другого, но человеческое чувство в нас всеобще, и, кажется, при возврате на родину всякому изгнаннику приходится переживать вновь, в сознании и воспоминании, всё свое прошедшее горе».

Он чувствует будто *за нее,* что́ может испытать изгнанник, вернувшийся на родину, и как тяжелы могут быть первые минуты свободы. «Не потому, что Вы религиозны, но потому, что сам пережил и прочувствовал это, скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как "трава иссохшая", веры, и находишь ее, собственно потому, что в несчастье яснеет истина».

Исстрадавшаяся душа, пораженная до́лгим горем, жаждет веры и обретает ее — ибо *в вере* (а не в сомнении или неверии) и содержится истина. Достоевский, для которого *в несчастье яснеет вера*, вспоминает молитву страждущего, когда тот «унывает и изливает пред Господом печаль свою»: «Сердце мое поражено, и иссохло, как трава... Дни мои — как уклоняющаяся тень; и я иссох, как трава» (Пс. 101. 1, 5, 12).

Не потому, что Фонвизина религиозна, обращается он к ней, а потому, что чувствует в себе способность понять и разделить ее страдание. Не потому он утешает ее, что обязан женщине, подарившей узнику Евангелие, дать отчет о *правильности и твердости* своей веры. А потому, что минуты страдания, общие с нею, дают ему жажду веры и саму веру — так же, как и ей

силу веры дают долгие годы страданий. Письмо ее Достоевскому от 8 ноября 1853 года — это еще и утешение. Не как наставница в катехизисе, которая экзаменует подопечного, обращается она к Достоевскому — он мог оценить, насколько деликатна его знакомая в проявлениях религиозного чувства: никакого парада, никаких деклараций, ничего напускного и показного. Жалость, нежность, а также спасительная кредитка в корешке Евангелия, ладанка с зашитыми в ней деньгами и образком — это были образы любви, как понимала ее пламенно религиозная Фонвизина.

Пятидесятилетней женщине, которая находится в тяжелом несчастье вот уже четверть века, которая оплакивает потерю детей, которая вернулась из изгнания как в пустыню, которая относилась к нему все годы его каторги как гений сострадания, и сообщает он свой Символ веры — никакого другого у него не будет никогда.

«Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной...»

Пятикратно говорит Достоевский о минутах бытия, противостоящих той жизни, где он — дитя неверия и сомнения. В Символе веры предстает панорама отпущенного ему времени: прошедшее (до сих пор), настоящее (время письма) и будущее (даже до гробовой крышки). О временах и сроках своих религиозных мучений Достоевский скажет и в 1870-м, разрабатывая план «Жития великого грешника»: «Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие».

Итак, на одной чаше весов — век, целая жизнь вплоть до самого конца, наполненные сомнениями и неверием, на другой — минуты веры или жажды веры. Но даже и эти минуты даются тяжким трудом души, ибо «доводов противных» стано-

вится больше, а не меньше. Тем драгоценнее минуты, когда «всё ясно и свято», тем отраднее «верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа». Автор письма на своем опыте убеждался, как глубока, разумна, мужественна, совершенна может быть христианская любовь. Слова Символа веры, все до единого, наполнены реальным смыслом и проверены личной практикой. Он, дитя неверия и сомнения, знает это достоверно, потому что испытал минуты совершенного покоя, когда его оставляют мучительные доводы отрицания, когда он любит сам и любим другими.

Христос и никто другой — вот что означал Символ веры 1854 года. Христос — навсегда, Христос — в те самые минуты покоя, любви, ясности и святости, которые посылает ему иногда Бог. Христос, который принят в сердце им, человеком эпохи, полной неверия и сомнения, каким он, Достоевский, обречен оставаться всю жизнь, до гробовой крышки. С Христом — до конца, до смертного часа. С ним, а не против Него — во что бы то ни стало и что бы там ни было. Шесть определений Христа («нет ничего прекраснее, глубже...»), которые характеризуют идеального человека и разительно отличаются от сущностных признаков Бога: всемогущего, всеведущего, всезнающего, всеблагого, всепрощающего, милосердного, доброго, вечного, милостивого, бессмертного, святого; Спасителя, Искупителя, Исправителя, Человеколюбца... Но потому-то Достоевский и принял в свою душу Христа как Бога, поскольку сумел полюбить Его как абсолют человека. Свое ощущение Бога и свое чувство «сияющей личности Христа» Достоевский вынес с каторги. Ведь именно в эти четыре года он читал Евангелие — почти только *одно Евангелие*, единственную книгу, разрешенную в тюрьме.

«Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа», — признáется Ф. М. двадцать лет спустя. «Не говорите же мне, что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, которого узнал в родительском доме еще ребенком и которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в "европейского либерала"». Это признание он сделает еще позже, в 1880-м: проживя после 1854 года еще 26 лет, он никогда не отречется от строк из письма к Фонвизиной.

Символ веры 1854 года — это верное доказательство того, что Ф. М. уже понял Христа, понял и принял Его в свою душу как истину, ту самую, которая яснеет в несчастье. Мысленно продолжая летучий разговор у расстрельных столбов, Достоев-

ский нашел наконец симметричный ответ. «Мы будем вместе со Христом», — сказал он тогда. Но даже если за чертой жизни ему и в самом деле оставалось быть лишь *горстью праха*, как насмешливо ответил Спешнев, Достоевский и в этом случае готов был верить в обратное. Это был не пламенный вызов, а осознанный выбор: учитель, сочинивший трактат об атеизме с некими «неотразимыми аргументами», навсегда терял преданного ученика и пропагандиста. Ф. М. исправлял свою тогдашнюю мечту — «Мы будем...», не поддержанную атеистическим учителем. Он готов был — пусть учитель и окажется прав («...и действительно было бы, что истина вне Христа») — отказаться и от учителя, и от такой истины, в которой не было места Христу.

«Мне лучше хотелось бы оставаться со Христом...»

...Заканчивался месяц счастливой передышки; впереди был пеший этап в Семипалатинск, 700 с лишним верст на юго-юго-восток, где квартировал 7-й Сибирский линейный батальон, и бессрочная солдатская служба. Хлопоты Иванова и доброе участие полковника де Граве снова сделали свое благое дело: рядовому Достоевскому разрешили занять место на одной из двадцати подвод большого интендантского обоза с веревками и канатами, следовавшего на Колымский завод близ Змеиногорска[18]. Дорога «шла прямая на юг вдоль Иртыша, голою необозримою Киргизскою степью. Нигде ни рощ, ни холмов не видно, — полное тоскливое однообразие природы. То там, то сям чернеют юрты киргизов, тянутся вереницы верблюдов, да изредка проскачет всадник»[19].

Семипалатинск оказался захолустьем, затерянным в глухой степи близ китайской границы, и мало походил на город: одноэтажные бревенчатые домики, длинные глухие заборы, немощеные ночные улицы без фонарей, пять-шесть тысяч жителей вместе с гарнизоном. Единственное каменное здание — Знаменский собор. Все остальное было деревянным: семь мечетей; большой меновой двор, куда сходились караваны верблюдов и вьючных лошадей; казармы, казенный госпиталь, уездная школа, аптека, магазин галантерейных и хозяйственных мелочей — но не книг: обыватели читали мало, подписчиков газет на весь город было едва ли больше десяти—пятнадцати, и к ним, раз в неделю, вместе с почтой приходили знакомые, чтобы узнать о событиях в Крыму. Но и войной, далекой от Сибири, интересовались мало; развлечений, кроме карт и сплетен, не было никаких; библиотеки тоже не было, даже фортепиано имелось одно на весь город. Линейный батальон располагался, как и все военные здания, включая гауптвахту и тюрьму, между казацкой и татарской слободами, в русской ча-

сти города, где не росло ни деревца, ни кустика и был один сыпучий песок, поросший колючками.

Свой город местные жители называли «Семипроклятинском»...

По прибытии на место Достоевский был зачислен в 1-ю роту и размещен в деревянной солдатской казарме — нижние чины спали вповалку на нарах. Ближайшим соседом, с которым Ф. М. делил на двоих одну кошму, оказался семнадцатилетний барабанщик, пермяк из кантонистов, впоследствии первый городской портной Н. Ф. Кац. «Как теперь, — много лет спустя рассказывал бывший барабанщик, старожил Семипалатинска, — вижу перед собой Федора Михайловича, среднего роста, с плоской грудью; лицо с бритыми, впалыми щеками казалось болезненным и очень старило его. Глаза серые. Взгляд серьезный, угрюмый. В казарме никто из нас, солдат, никогда не видел на его лице полной улыбки... Голос у него был мягкий, тихий, приятный. Говорил не торопясь, отчетливо. О своем прошлом никому в казарме не рассказывал. Вообще он был мало разговорчив. Из книг у него было только одно Евангелие, которое он берег и, видимо, им очень дорожил. В казарме никогда и ничего не писал; да, впрочем, и свободного времени у солдата тогда было очень мало. Достоевский из казармы редко куда уходил, больше сидел задумавшись и особняком»[20].

Впрочем, по другой версии того же Каца, Достоевский был душевный человек, отзывчивый на все доброе, и к нему, несмотря на мрачный характер, неодолимо тянуло каждого солдата. А главное — он не сидел в казарме сложа руки: службой его «не неволили»; муштровки особенной не было, на караул в гарнизоне посылали редко, и потому он «почти всегда читал и писал, в особенности по ночам»[21]. Хотя служба не слишком тяготила ссыльного солдата, он относился к ней с педантичной аккуратностью, избегал неприятностей (ибо не был застрахован от офицерского произвола), ел, как все, солдатскую похлебку («варево без названия»), которую дополнял лишь чай из самовара, приобретенного барабанщиком на портняжные заработки; самовар ставил и за молоком к чаю Ф. М. нередко ходил и сам.

О первых солдатских впечатлениях Достоевский оптимистически сообщал брату: «Покамест я занимаюсь службой, хожу на ученье и припоминаю старое. Здоровье мое довольно хорошо, и в эти два месяца много поправилось; вот что значит выйти из тесноты, духоты и тяжкой неволи. Климат здесь довольно здоров... Лето длинное и горячее, зима короче, чем в Тобольске и в Омске, но суровая. Растительности решительно никакой, ни деревца — чистая степь. В нескольких верстах от города бор, на многие десятки, а может быть, и сотни верст.

Здесь всё ель, сосна да ветла, других деревьев нету. Дичи тьма. Порядочно торгуют, но европейские предметы так дороги, что приступу нет».

Военным губернатором и первым лицом в городе был полковник П. М. Спиридонов, добряк и хлебосол, — именно к нему в марте—апреле 1854 года обратились инженер Иванов и доктор Троицкий с просьбой облегчить судьбу ссыльного солдата. Просьба была уважена тотчас. В апреле Достоевскому разрешили переехать на частную квартиру близ казарм, и отныне ответ за него держали ротный командир и фельдфебель: оба договорились не слишком беспокоить солдата. После каторги и казармы блаженное уединение комнаты, снятой у солдатской вдовы за пять рублей в месяц вместе со стиркой и едой (Ф. М. брал домой к тому же ежедневную солдатскую порцию щей, каши и черного хлеба), казалось райским счастьем.

Выразительное описание жилья Достоевского на песчаном пустыре оставил А. Е. Врангель. «Изба была бревенчатая, древняя, скривившаяся на один бок, без фундамента, вросшая в землю, и без единого окна наружу, ради опасения от грабителей и воров. Два окна его комнаты выходили на двор, обширный, с колодцем и журавлем. На дворе находился небольшой огородик с парою кустов дикой малины и смороды. Все это было обнесено высоким забором с воротами и низкою калиткою... У Достоевского была одна комната, довольно большая, но чрезвычайно низкая; в ней царствовал всегда полумрак. Бревенчатые стены были смазаны глиной и когда-то выбелены; вдоль двух стен шла широкая скамья. На стенах там и сям лубочные картинки, засаленные и засиженные мухами. У входа налево от дверей большая русская печь. За нею помещалась постель, столик и, вместо комода, простой дощатый ящик. Все это спальное помещение отделялось от прочего ситцевою перегородкою. За перегородкой в главном помещении стоял стол, маленькое в раме зеркальце. На окнах красовались горшки с геранью и были занавески, вероятно когда-то красные... Была еще приятная особенность его жилья: тараканы стаями бегали по столу, стенам и кровати, а летом особенно блохи не давали покоя, как это бывает во всех песчаных местностях»*.

---

* «Больно уж неуютно и неприглядно было у него, — вспоминал А. Е. Врангель. — Его упрощенное хозяйство, стирку, шитье и убранство комнаты вела старшая дочь хозяйки — вдовы-солдатки, девушка лет двадцати. У нее была сестра лет шестнадцати, очень красивая. Старшая ухаживала за Ф. М. и, кажется, с любовью, шила ему и мыла белье, готовила пищу и была неотлучно при нем; я так привык к ней, что ничуть не удивлялся, когда она с сестрой садилась тут же с нами летом пить чай en grand négligé, то есть в одной рубашке, подпоясанная только красным кушаком, на голую ногу и с платочком на шее. Бедность у них была большая,

В этой закоптелой комнате при сальной свечке Достоевский писал ночи напролет: свобода и призвание соединились, как только появились время, место и перо в руке. Теперь можно было работать сколько угодно — в том смысле, что никто не мог обыскать комнату солдата с целью изъятия книг и бумаг. Но из права писать в стол не вытекала возможность вернуться к литературному труду, как его привык понимать Ф. М. На второй месяц пребывания в Семипалатинске, не имея иных шансов напечататься, он решился на вполне безнадежный шаг. Через батальонного командира (подполковник Белихов иногда приглашал Ф. М. к себе для чтения газет вслух) Достоевский передал свое новое сочинение с просьбой вручить столичному начальству и, если будет разрешение, опубликовать в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Скорее всего, автор рассуждал так: нет смысла просить дозволения печататься, не предъявив сочинения. Вряд ли начальство захочет утруждать себя чтением чего-то длинного — значит, вещь должна быть компактной и емкой. Главное, нужно убедить высокие сферы в своих добрых намерениях. Такой цели отвечал, кажется, только один жанр — патриотическое послание. Стихотворение «На европейские события в 1854 году», написанное в связи с началом Крымской войны, в официальном порядке было отправлено в Петербург, начальнику Третьего отделения.

Вряд ли следует внимать насмешкам столичных литераторов (в частности, фельетону Панаева), которые спешили выразить гражданское негодование, прослышав, что отбывающий солдатчину Достоевский написал верноподданнические стихи и прислал их самому Дубельту. (Где были эти литераторы, с их негодованием, в 1849-м, все восемь месяцев следствия, суда и приговора? К судьбе Ф. М. «передовая» литература отнеслась безучастно*.) Вряд ли вообще следует оценивать поэтическую

так как, кроме маленького огорода, они ничего не имели, и мать открыто эксплоатировала молодость и красоту дочерей. Впрочем, тогда в Сибири это никого не удивляло и было в порядке вещей. Я помню ответ старухи Ф. М., который упрекал ее за ее распущенность с младшею шестнадцатилетнею дочерью. “Эх, барин, все равно сошлась бы со временем с батальонным писарем или унтером за два пряника аль фунт орехов, а с вами, господами, и фортель, и честь!.. ведь с чиновниками не всякой выпадет счастье...” На таковую практическую логику трудно нам было отвечать».

* В статье «Забитые люди» (1861) Н. А. Добролюбов писал: «В половине 1849 года литературная деятельность его [Достоевского] прекратилась, и литература не выразила при этом особенных сожалений. Если в течение десятилетнего молчания г. Достоевского иногда и вспоминали о нем, то разве затем, чтобы посмеяться над собственным простодушием, с которым производили его в гении за первую повесть, и о непомерном самолюбии, до которого довело его общее поклонение».

акцию Достоевского как жест его политического поведения: люди, ничем не понуждаемые, часто наперегонки спешат выразить власти свою любовь и преданность.

Здесь было другое: солдат Достоевский, только что отбывший каторгу, никак не мог забыть, что он писатель. В 1849-м он жертвовал своими интересами, выгораживал других и был горд, что вел себя достойно. Он жестоко поплатился за увлечение утопиями, но принял наказание со смирением, так как считал себя виновным в том, в чем его обвиняли. Спустя два года после каторги в ходатайстве на имя влиятельного генерала Э. И. Тотлебена Ф. М. напишет: «Мысли и даже убеждения меняются, меняется и весь человек, и каково же теперь страдать за то, чего уже нет, что изменилось во мне в противоположное, страдать за прежние заблуждения, которых неосновательность я уже сам вижу, чувствовать силы и способности, чтоб сделать хоть что-нибудь для искупления бесполезности прежнего и — томиться в бездействии!»

Ссыльный солдат не просил у властей многого: «Военное звание — не мое поприще. Я готов тянуться из всех сил; но я больной человек... Вся мечта моя: быть уволенным из военного званья и поступить в статскую службу... Но не службу ставлю я главною целью жизни моей. Когда-то я был обнадежен благосклонным приемом публики на литературном пути. Я желал бы иметь позволение печатать. Примеры тому были... Звание писателя я всегда считал благороднейшим, полезнейшим званием. Есть у меня убеждение, что только на этом пути я мог бы истинно быть полезным».

Стихотворение 1854 года подводило черту под прошлым Достоевского; ради возвращения в литературу он навсегда отказывался от роли заговорщика. Выбор в пользу призвания был тем легче, что расставание с прежними «мечтами и теориями» было выстрадано и осмыслено. Стихи не были данью тяжелой обстановке семипалатинской казармы, где, быть может, складывались, а потом, в закоптелой избе, были переписаны набело. Автор не вторил военной пропаганде, не заимствовал темы и образы из арсенала ура-патриотической поэзии, не лгал ради возможных поблажек, выставляя на своем знамени заведомо фальшивый Символ веры («Иль не для вас всходил на крест Господь / И дал на смерть Свою Святую плоть? / Смотрите все — Он распят и поныне, / И вновь течет Его святая кровь!..»).

Поражением России в Крымской войне Достоевский был уязвлен и ушиблен, как и Данилевский, товарищ его молодости, как Лев Толстой и Леонтьев. Спустя 15 лет Ф. М. напишет Майкову: «Я вон как-то зимою прочел в “Голосе” серьезное признание в передовой статье, что “мы, дескать, радовались в

Крымскую кампанию успехам оружия союзников и поражению наших". Нет, мой либерализм не доходил до этого; я был тогда еще в каторге и *не* радовался успеху союзников, а вместе с прочими товарищами моими, несчастненькими и солдатиками, ощутил себя русским, желал успеха оружию русскому и — хоть и оставался еще тогда всё еще с сильной закваской шелудивого русского либерализма... не считал себя нелогичным, ощущая себя русским».

Именно Крымская война, когда Россия стремилась утвердить свои военно-политические интересы, дала толчок тому пониманию, которое созреет у Достоевского в 1860-е и 1870-е годы до цельного мировоззрения. В отличие от либеральной партии, страшившейся русских военных побед (ведь они придадут правительству больше силы и уверенности!) и вздохнувшей с облегчением при падении Севастополя, Достоевский не стеснялся желать победы русскому оружию и не желал поражения своему правительству. «Зная меня очень хорошо, Вы, верно, отдадите мне справедливость, что я всегда следовал тому, что мне казалось лучше и прямее, и не кривил сердцем, и то, чему я предавался, предавался горячо... Идеи меняются, сердце остается одно», — признáется Достоевский Майкову в январе 1856 года.

Это признание имело прямое отношение к тем чувствам, которые испытал Ф. М. в дни Крымской кампании. «Россия, долг, честь? — да! я всегда был истинно русский, говорю вам откровенно. Я... вполне разделяю с Вами патриотическое чувство *нравственного* освобождения славян. Это роль России, благородной, великой России, святой нашей матери».

Трудно усомниться в искренности Достоевского, написавшего стихи о Крымской войне, пусть даже они наивно предполагали возможность монаршей милости. Критики напишут позже, что новое мировоззрение, которому автор «Бесов» навсегда останется верен, сложилось уже в 1854 году, и назовут его «церковно-монархическим империализмом»[22]. Так или иначе, именно в период Крымской войны сложились взгляды Достоевского на уникальную роль России в деле освобождения славян от турецкого владычества; автор «Дневника писателя» будет верен им и двадцать лет спустя после Севастополя. Стихами 1854 года Ф. М. показал, как глубоко трогает его *религиозная составляющая* конфликта. Восточная война началась осенью 1853 года, в марте 1854-го Англия и Франция заключили с Турцией союзный договор, обязуясь поддерживать ее в войне с Россией, затем объявили России войну и вскоре заключили соглашения с Пруссией и Австрией, гарантировавшие неучастие этих стран в войне.

Инспирированный Францией двухлетний спор с Россией о «святых местах» закончился тем, что в январе 1853 года ключи от Вифлеемского храма (церковь Яслей Господних) и Иерусалимского храма (церковь Гроба Господня) были отняты у православной общины, которой они традиционно принадлежали, и под давлением Парижа переданы турецкими властями Палестины католикам. Официальной причиной военного конфликта стало заступничество двух европейских стран за Турцию и их нежелание поддержать Россию в споре с Турцией о «святых местах»[23]. Идеолог восточной войны, кардинал Сибур, архиепископ Парижский, интерпретируя факт возвращения католикам некоторых привилегий в Палестине, отнятых турками у православных («ключ от Гроба Господня»), утверждал: «Война, в которую вступила Франция с Россией, не есть война политическая, но война священная. Это не война государства с государством, народа с народом, но единственно война религиозная. Все другие основания, выставляемые кабинетами, в сущности, не более как предлоги, а истинная причина, угодная Богу, есть необходимость отогнать ересь... укротить, сокрушить её. Такова признанная цель этого нового крестового похода, и такова же была скрытая цель и всех прежних крестовых походов, хотя участвовавшие в них и не признавались в этом».

Стихотворное послание в 140 строк стало символом веры в Россию, как бы ни относиться к имперской составляющей этой веры. По примеру Пушкина («О чем шумите вы, народные витии? / Зачем анафемой грозите вы России?»), Достоевский обращался к западным дипломатам и журналистам и отвечал на обвинения, вызванные восточной политикой России. «С чего взялась всесветная беда? / Кто виноват, кто первый начинает?» — на этот риторический вопрос Достоевский отвечал риторическим же пассажем: тот самый русский богатырь, которого Пушкин увидел с оружием в руках («Иль старый богатырь, покойный на постеле, / Не в силах завинтить свой измаильский штык? / Иль русского царя уже бессильно слово? / Иль нам с Европой спорить ново?»), согласно Достоевскому, по-прежнему столь же силен и отважен. «Смешно французом русского пугать»; «Не вам судьбы России разбирать!»; «Попробуйте на нас теперь взглянуть, / Коль не боитесь голову свихнуть!» — эти строки призваны были выразить гражданскую позицию в войне за православные святыни и возмущение христианина вопиющей ситуацией: «Христианин за турка на Христа! / Христианин — защитник Магомета! Позор на вас, отступники креста, / Гасители Божественного света!» Достоевский надеялся, что таких, как он, миллионы: все они

ждут государева слова и того часа, когда двуглавый орел двинется на Царьград.

Мироощущение, которое сложится у Достоевского под влиянием Крымской войны, — горечь военного поражения, национальное унижение, разочарование эгоистической европейской политикой — с годами только окрепнет. В материалах к «Дневнику писателя» за 1876 год он запишет: «Россия в Крымскую войну не бессилье свое доказала, *а силу*. Тогда можно было так говорить *для реформ* будущих, но теперь дело *иное*, и надо сказать правду. Несмотря на *гнилое* состояние вещей, вся Европа не могла нам ничего сделать, несмотря на затраты и долги ее в тысячи миллионов». Большинству современников не был ясен истинный масштаб Крымской войны. Немногие понимали, что Севастополь пал с такой славой, которой должно гордиться, ибо падение его стоило многих блестящих побед. Ведь Севастопольская оборона продолжалась почти год — а враг, представленный всеми европейскими (и не только) нациями, рассчитывал на скорую и легкую победу.

В Крымской войне Европа объединилась против России, и самой жизнью был поставлен вопрос: «Европа ли Россия?» В течение многих лет Достоевский будет пытаться найти ответ на этот вопрос. Если для русских европейцев Европа — вторая родина, «страна святых чудес», кладбище с дорогими могилами и священными камнями, то чем же тогда является Россия для Европы? Немного окажется у Достоевского единомышленников, способных проникнуться важностью проблемы.

...Генерала Дубельта стихотворное послание не убедило — быть может, он все еще помнил, как упрямо молчал Достоевский, вызванный на комиссию, чтобы «рассказать всё дело» в обмен на государево прощение. В просьбе напечатать патриотическое сочинение ссыльному было отказано. Спустя два года *Mich-Mich* напишет брату с безжалостной откровенностью: «Читал твои стихи и нашел их очень плохими. Стихи не твоя специальность».

Разумеется, подходы к жанру политических посланий у Л. В. Дубельта и у М. М. Достоевского были совершенно разные.

Шел всего только 1854 год, впереди маячила неизвестность, и надо было покорно тянуть солдатскую лямку. В положенное время за рядовым являлся посыльный и звал на учения и смотры. «В июле месяце стоял на смотру наряду с другими и знал свое дело не хуже других. Как я уставал и чего это мне стоило — другой вопрос; но мною довольны, и слава Богу!.. Солдатская жизнь со всеми обязанностями солдата не совсем-то легка для

человека с таким здоровьем и с такой отвычкой или, лучше сказать, с таким полным ничегонезнанием в подобных занятиях. Чтоб приобрести этот навык, надо много трудов. Я не ропщу; это мой крест, и я его заслужил».

Первая семипалатинская весна стала временем запойного чтения. «Помню, что выйдя, в 1854 году, в Сибири из острога, я начал перечитывать всю написанную без меня за пять лет литературу ("Записки охотника", едва при мне начавшиеся, и первые повести Тургенева я прочел тогда разом, залпом, и вынес упоительное впечатление). Правда, тогда надо мной сияло степное солнце, начиналась весна, а с ней совсем новая жизнь».

Свобода писать, читать, мечтать, знакомиться с людьми, заводить друзей и подруг*, бывать в семейных домах командиров, получать письма от сестер и братьев и отвечать им — все это было светлым, радостным пробуждением. «Никто-то не забыл обо мне из всей нашей семьи! Все до одного берут во мне искреннее, братское участие, а мне, отвыкшему от всего ласкового, приветливого и родственного, всё это было целым счастием».

В начале ноября 1854-го, радуясь, как тихо, скромно, но верно и надежно устроил свою жизнь брат Андрей Михайлович, женатый на славной, любящей женщине и имеющий уже двух дочерей, Достоевский писал ему: «Я всегда и прежде считал, что нет ничего выше на свете счастья семейного. Искренно желаю тебе его без конца... Тяжело пробивать дорогу вкривь и вкось, направо и налево, как было со мной во всю жизнь мою».

В самом скором времени он узнает, насколько тяжело пробивать глухие стены и на пути к собственному семейному счастью.

---

* В 1854 году на семипалатинском базаре Достоевский познакомился с красивой веселой семнадцатилетней девушкой Елизаветой Михайловной Невототовой, которая пекла калачи и торговала ими с лотка. Скоро между ними установились близкие, доверительные отношения — и калашница глубоко полюбила Ф. М., ценя его заботу и внимание. Местному литератору Н. В. Феоктистову в 1909 году довелось увидеть саму Е. М. (ей было уже за 70), держать в руках серую стопку исписанной бумаги, перевязанную выцветшей голубой ленточкой. Невототова уверяла, что Федор Михайлович любил ее и, живя с ней в одном городе, часто писал ей нежные письма, искал в ней друга. На верхнем затертом листке стояли слова: «Милая Лизанька. Вчера я хотел увидеть Вас...» — в них угадывался почерк Достоевского. Верная своему чувству, Невототова осталась одинокой и до глубокой старости хранила драгоценные послания как святыню. В годы Гражданской войны письма бесследно исчезли (см.: *Феоктистов Н. В.* Пропавшие письма Федора Михайловича Достоевского // Сибирские огни. 1928. № 2. С. 119—125).

Глава третья

«Я БЫЛ ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВ...»

Барон Врангель. — Семья Исаевых. — Ожидание неизбежного. — Кончина Николая I. — Высочайший манифест. — «Казаков сад». — Неотвратимый Кузнецк. — Стихи для императрицы. — Любовные качели. — Явление соперника. — Производство в офицеры

Барону Александру Егоровичу Врангелю, отпрыску датского дворянского рода по отцу (Е. Е. Врангель, гвардейский офицер, отличился в Русско-турецкой и Польской кампаниях) и праправнуку А. П. Ганнибала по матери (баронессу Д. А. Врангель, урожденную фон Траубенберг, троюродную сестру А. С. Пушкина, объединяли с ее великим кузеном ярко выраженные «абиссинские» черты), было всего 16, когда он, воспитанник Александровского лицея, стал свидетелем казни на Семеновском плацу. Четверо у эшафота были выпускниками лицея, и дядя Врангеля, офицер конно-гренадерского полка, взял племянника с собой на экзекуцию, где должен был присутствовать со своей ротой. Затерянный в толпе, исполненный жалости к осужденным, юноша увидел всё...

Александр окончил лицей в 1853-м; по настоянию отца год прослужил в Министерстве юстиции, но за столичной карьерой не гнался, надеясь принести пользу там, где в нем есть нужда. Должность семипалатинского прокурора («стряпчего казенных и уголовных дел») была выбрана добровольно — он ехал в Сибирь с мечтой узнать край: «Меня особенно тянула в эти дальние, неведомые страны моя страсть к наукам, к естественной истории, к путешествиям и к охоте».

Как только о новом назначении стало известно, М. М. Достоевский встретился с Врангелем, с которым был знаком, и попросил передать брату письмо, немного белья, книги и 50 рублей. 20 ноября 1854 года Врангель прибыл в Семипалатинск и через несколько часов, справившись у губернатора, как разыскать Достоевского, просил его к себе вечером на чай. Посланный человек, застав солдата по месту жительства, передал не без важности, что «господин стряпчий уголовных дел» зовет к себе, — и если не напугал, то сильно озадачил Ф. М. «Достоевский не знал, кто и почему его зовет, и, войдя ко мне, был крайне сдержан. Он был в солдатской серой шинели, с красным стоячим воротником и красными же погонами, угрюм, с болезненно-бледным лицом, покрытым веснушками. Светло-русые волосы были коротко острижены, ростом он был выше среднего. Пристально оглядывая меня своими ум-

ными, серо-синими глазами, казалось, он старался заглянуть мне в душу, — что, мол, я за человек?.. Но когда я извинился, что не сам первый пришел к нему, передал ему письма, посылки и поклоны и сердечно разговорился с ним, он сразу изменился, повеселел и стал доверчив».

Достоевский читал письма Миши, Вари и Верочки здесь же. «Я помню, он прослезился...» В этот момент Врангелю принесли пачку писем из Петербурга от родных и друзей, он жадно набросился на них — и разрыдался сам. «Мы оба стояли друг перед другом, оба забытые судьбой, одинокие... Мне так было тяжко, что я, несмотря на высокое мое звание... както невольно, не долго думая, бросился на шею стоявшему передо мной с устремленным на меня грустным, задумчивым взором Федору Михайловичу. Он сердечно приласкал меня, дружески, горячо, как старому знакомому, пожал мне руку, и мы дали слово как можно чаще видеться».

Уже в первый вечер Ф. М. почувствовал, что обрел в юном (21 год) прокуроре искреннего друга. Врангель поселился недалеко от губернатора, на самом берегу Иртыша, в светлой и просторной квартире, за окнами которой, на другой стороне реки, виднелось киргизское поселение и расстилалась степь с синими горами Семитау. Ф. М. с удовольствием приходил сюда. «Двери мои для него всегда были открыты, днем и ночью. Часто, возвращаясь домой со службы, я заставал у себя Достоевского, пришедшего уже ранее меня или с учения, или из полковой канцелярии, в которой он исполнял разные канцелярские работы. Расстегнув шинель, с чубуком во рту, он шагал по комнате, часто разговаривая сам с собою, так как в голове у него вечно рождалось нечто новое».

Они проводили вечера за долгими чаепитиями; когда Ф. М. был в настроении, читал — нет, даже не читал, декламировал — «Пир Клеопатры»: «Чертог сиял...», и Врангель видел, как светится лицо и горят глаза вдохновенного чтеца. О деле не заговаривал, а Врангель не расспрашивал — слышал только, что Петрашевского Ф. М. не любил, затеям его не сочувствовал, полагая, что политический переворот в России *пока* преждевремен, а конституция, на манер западных, при невежестве народа, немыслима. Ни с кем из прежних товарищей не переписывался, но часто вспоминал Дурова, Плещеева, Григорьева...

Еще до появления Врангеля Достоевского стали приглашать местные офицеры и чиновники, среди которых было немало картежников, отчаянных выпивох, а также «бурбонов» (один из таких, увидев на вечеринке ссыльного солдата, подставил ему, как денщику, спину, и солдат молча снял с него ши-

нель). Подполковник Белихов, добродушный холостяк, после рекомендаций губернатора, смело оставлял Достоевского обедать. Ф. М. был сдержан, не проявлял ни искательства, ни лести. В городе его уважали и принимали без опасений.

С чиновником особых поручений при местной таможне коллежским секретарем А. И. Исаевым, своим ровесником, Достоевский познакомился весной 1854-го у Белихова и вскоре так сдружился, что проводил у него все свободное время. В Семипалатинск Исаев переехал из Петропавловска, а прежде жил в Астрахани, окончил неполный курс гимназии, служил на Кавказе и в Симбирске, откуда переведен был обратно в Астрахань, под начало директора Карантинного дома Д. С. Константа, где и началась карьера молодого чиновника. В 1846 году он женился на старшей дочери своего начальника, Марии Дмитриевне Констант. Через год у четы Исаевых родился сын Павел[24].

Репутация отца семейства, человека развитого, образованного, имевшего, не в пример иным горожанам, приличную домашнюю библиотеку с Байроном, Шекспиром и Шиллером, Карамзиным и Гоголем, к тому моменту, когда с ним познакомился Достоевский, была уже безнадежно испорчена: он смертно пил; якшался с кабацкой публикой и слыл алкоголиком, «с самыми грубыми инстинктами и проявлениями во время своей невменяемости» (Семенов-Тян-Шанский). Врангель старался избегать общество Исаева и его собутыльников, но прекрасно понимал, что́ заставляет Достоевского пропадать в его доме по целым дням: конечно, не выпивка. «Кто пьет до безобразия, тот не уважает человеческого достоинства ни в себе, ни в других»[25], — говаривал Ф. М. и, видя, что сотворил с Исаевым проклятый хмель, принял меры, чтобы преодолеть и свою слабость (глухие сведения о склонности солдата Достоевского к спиртному содержались будто бы в его письмах Лизе Неворотовой[26]).

Скорее всего, увидев новое лицо в доме Белихова, Исаев сам зазвал к себе солдата с каторжным и литературным прошлым. А солдат чувствовал, что готов к новым впечатлениям. Сияло степное солнце, весна вселяла надежды, и он помнил, должно быть, что́ недавно сам написал Фонвизиной: «Кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное. Иначе жизнь моя будет жизнь манкированная. А может быть, это всё больные бредни мои!»

Но это были не бредни. Предчувствие не обмануло — судьба посылала ему *неизбежное, неотвратимое.* Конечно, это было счастье — только оказалось оно не тихим и ясным, а мучительным и душераздирающим. «Надобно знать тебе, мой друг, — писал он брату, — что, выйдя из моей грустной каторги, я со счастьем и надеждой приехал сюда. Я походил на больного, который начинает выздоравливать после долгой болезни и, быв у смерти, еще сильнее чувствует наслаждение жить в первые дни выздоровления. Надежды было у меня много. Я хотел жить. Что сказать тебе? Я не заметил, как прошел первый год моей жизни здесь. Я был очень счастлив».

Грозное счастье ходить в дом к уволенному (не за пьянство ли?) чиновнику, который после первой рюмки засыпает прямо за столом, и под его бормотание беседовать с домочадцами, пребывая на седьмом небе от восторга? Месяцами сидеть у пьяного надрыва и полагать, что это и есть роковая развязка судьбы? Всерьез думать, что без *этого* счастья жизнь была бы «manqué» — упущенная, неудавшаяся?

«Бог послал мне знакомство одного семейства, которое я никогда не забуду. Это семейство Исаевых... — сообщит Ф. М. брату. — Он имел здесь место, очень недурное, но не ужился на нем и по неприятностям вышел в отставку. Когда я познакомился с ними, он уже несколько месяцев как был в отставке и всё хлопотал о другом каком-нибудь месте. Жил он жалованием, состояния не имел, и потому, лишась места, мало-помалу, они впали в ужасную бедность. Когда я познакомился с ними, еще они кое-как себя поддерживали. Он наделал долгов. Жил он очень беспорядочно, да и натура-то его была довольно беспорядочная. Страстная, упрямая, несколько загрубелая. Он очень опустился в общем мнении и имел много неприятностей; но вынес от здешнего общества много и незаслуженных преследований. Он был беспечен, как цыган, самолюбив, горд, но не умел владеть собою и, как я сказал уже, опустился ужасно. А между прочим, это была натура сильно развитая, добрейшая. Он был образован и понимал всё, об чем бы с ним ни заговорить. Он был, несмотря на множество грязи, чрезвычайно благороден».

Кажется, о *благородстве* Исаева говорил в те поры один Достоевский. «Я пять лет жил без людей, один, не имея в полном смысле никого, перед кем бы мог излить свое сердце... Александр Иванович за родным братом не ходил бы так, как за мною»; «Покойный Александр Иванович, о котором я не могу вспоминать до сих пор без особого чувства, принял меня в свой дом как родного брата. Это была прекрасная, благородная душа. Несчастья по службе несколько расстроили его характер и здоровье».

Город же видел в Исаеве только «множество грязи». Астраханская родня презирала пьяницу-зятя, загубившего счастье *Marie*. Ф. М. писал Врангелю: «Может быть, я только один из здешних и умел ценить его. Если были в нем недостатки, наполовину виновата в них его черная судьба. Желал бы я видеть, у кого бы хватило терпения при таких неудачах? Зато сколько доброты, сколько истинного благородства! Вы его мало знали. Боюсь, не виноват ли я перед ним, что подчас, в желчную минуту, передавал Вам, и, может быть, с излишним увлечением, одни только дурные его стороны».

Врангель, конфидент Достоевского в драматической исаевской истории, знал, должно быть, всю подноготную, о которой толковал ему друг «с излишним увлечением». Исаев, скорее всего, даже и не понимал, редко бывая трезвым, почему ссыльный солдат бывает у него день за днем. Однако о странной дружбе пьяницы-хозяина и трезвенника-гостя судачил уже весь город. «Не он привлекал меня к себе, — признался Ф. М. брату, — а жена его, Марья Дмитриевна».

Никого похожего на нее он прежде никогда не встречал. Ни одна женщина (Панаева и столичные салонные красавицы, при виде которых Достоевский мог упасть в обморок, давно не шли в счет) не потрясала так сильно его воображение. Ему хотелось знать о ней все, а ей было что рассказать и, главное, хотелось рассказывать: она тоже была отчаянно одинока.

Дед Марии Дмитриевны по отцу, Франсуа Жером Амадей де Констант, происходил из старинного французского дворянского рода и служил в Париже капитаном королевской дворцовой гвардии при дворе Людовика XVI. После казни монарха капитан вынужден был эмигрировать, в 1794 году в свите герцога Ришелье добрался до России, исхлопотал у Екатерины II российское подданство, под именем Степан перешел в православие и поступил на службу в Екатеринославе. В 1819 году его сын Дмитрий с отличием окончил здесь гимназию, служил в Дворянском собрании, затем был определен переводчиком в штаб генерала И. И. Инзова. В 1821 году Д. С. Констант получил назначение в Таганрог, женился на девушке из богатой дворянской семьи и родил с ней семерых детей[27].

В 1838 году Констант овдовел и переехал в Астрахань, на должность директора Карантинного дома. Четверо сыновей были определены в гвардию, трое сестер, Мария (1824), Софья (1825) и Варвара (1826) Дмитриевны, окончившие Таганрогский пансион с похвальными листами, завершили образование в Астраханском институте благородных девиц настолько успешно, что о них писала местная газета: девицы Констант «на выпуске удивили всех игрой на фортепиано под аккомпа-

нement оркестра и чтением стихов на русском и французском языках»[28]. Их отец был любим в семье, окружен почтенными людьми города; Константу довелось даже принимать у себя знаменитого Дюма-отца, бывшего в 1856-м проездом в Астрахани. Правда, Мария Дмитриевна в это время уже бедствовала в Сибири.

Что заставило изящную, образованную девушку из культурной дворянской семьи со старинными французскими корнями выйти замуж за незначительного чиновника, подверженного постыдной привычке, а потом следовать за ним по сибирским дорогам, от одного захолустья до другого — бог весть. Правда, в 1846-м карьера Исаева шла как будто в гору; быть может, он еще *так* не пил, и молодые люди были искренне увлечены друг другом. Известно, что особая дружба связывала Исаева со свояченицей Варварой Дмитриевной (в 1857-м Достоевский сообщит ей: «Если Вы пишете, что слышали обо мне еще давно, гораздо раньше женитьбы моей на сестре Вашей, от покойного и незабвенного Александра Ивановича, то и я скажу Вам, что я много, очень много раз слышал об Вас от покойного, который говорил о Вас даже с каким-то благоговением»).

Несомненно, Марии Дмитриевне было что вспомнить о своей молодости в родительском доме, о фортепиано с оркестром на выпускном вечере, о любимом отце. «О Дмитрии Степановиче, — рассказывал Достоевский В. Д., — я слышал так много от жены моей, которая его обожает, что невольно научился его любить и уважать». То же самое, уже в качестве зятя, он напишет позже и самому тестю: «Она [М. Д.] так много и так часто говорила мне о Вас, с таким чувством и нередко со слезами, вспоминала свою прежнюю жизнь в Астрахани... Она всегда упоминала о Вас с искреннею любовью, и я не мог не сочувствовать ей».

Спустя десятилетие о жизни в доме отца и о том, как при выпуске из пансиона она танцевала «па де шаль» «при губернаторе и прочих лицах», будет вспоминать несчастная Катерина Ивановна Мармеладова. «Ты не поверишь, ты и вообразить себе не можешь, — говорила она дочери Полине, — до какой степени мы весело и пышно жили в доме у папеньки и как этот пьяница погубил меня и вас всех погубит! Папаша был статский полковник и уже почти губернатор».

Катерина Ивановна ничуть не преувеличивала: Д. С. Констант (возможный прототип ее папеньки), много раз награжденный чинами и орденами, вышел в отставку с чином действительного статского советника, дававшим право на должность директора департамента или губернатора. «Тогда еще из Пе-

тербурга только что приехал камер-юнкер князь Щегольской... протанцевал со мной мазурку и на другой же день хотел приехать с предложением; но я сама отблагодарила в лестных выражениях и сказала, что сердце мое принадлежит давно другому. Этот другой был твой отец, Поля; папенька ужасно сердился...»

Быть может, сердце Марии Дмитриевны в ее первой молодости и в самом деле «давно» принадлежало «другому», а именно Исаеву, и папенька в этом случае тоже «ужасно сердился», ибо упускался некий приезжий жених, «князь Щегольской», тогда как местный был подозрительно ненадежен? Так или иначе, спустя восемь лет жизнь дочери была бесконечно далека от мазурок, камер-юнкеров и «почти губернатора» папеньки. Все труднее было маскировать бедность, почти невозможно скрывать от чужих глаз пьяные выходки мужа — общество Семипалатинска отвернулось от Исаевых. «За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было».

В семье царил бедлам — хрупкая болезненная женщина одна стояла преградой меж буйным, невменяемым мужем и семилетним озорным сыном (через два года Достоевский напишет о Паше Исаеве: «Это мальчик добрый, очень остроумный, с большими способностями, благородный и честный, с способностию крепко привязаться и полюбить, но с зародышем страстей сильных. Он совершенный портрет незабвенного Александра Ивановича и физически и нравственно».)

В силу происхождения и воспитания Мария Дмитриевна должна была стойко держать удар и пытаться сохранить лицо.

Ф. М. Достоевский: «Это дама, еще молодая, 28 лет, хорошенькая, очень образованная, очень умная, добра, мила, грациозна, с превосходным, великодушным сердцем. Участь эту она перенесла гордо, безропотно, сама исправляла должность служанки, ходя за беспечным мужем, которому я, по праву дружбы, много читал наставлений, и за маленьким сыном. Она только сделалась больна, впечатлительна и раздражительна. Характер ее, впрочем, был веселый и резвый. Я почти не выходил из их дома. Что за счастливые вечера проводил я в ее обществе! Я редко встречал такую женщину».

А. Е. Врангель: «Марии Дмитриевне было лет за тридцать; довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная. Уже тогда зловещий румянец играл на ее бледном лице, и несколько лет спустя чахотка унесла ее в могилу. Она была начитана, довольно образована, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна».

П. П. Семенов-Тян-Шанский: «Она оказалась самой образованной и интеллигентной из дам семипалатинского общества. Но независимо от того, как отзывался о ней Ф. М., она была "хороший человек" в самом высоком значении этого слова. Сошлись они очень скоро. В браке своем она была несчастлива».

Чокан Валиханов (воспитанник Омского кадетского корпуса 1853 года выпуска, адъютант генерал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорта, казахский просветитель, историк, путешественник, этнограф, с которым Достоевский познакомился в Омске, у Ивановых) видел в Марии Дмитриевне обаяние, ум и доброту, простоту и любезность.

...Чтобы как-то оправдать свое вечное присутствие в доме Исаевых, Ф. М. стал давать уроки их сыну. Город злобно сплетничал, порицая Марию Дмитриевну за связь с ссыльным. Врангель пишет: «В Федоре Михайловиче она приняла горячее участие, приласкала его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее пожалела несчастного, забитого судьбою человека. Возможно, что даже привязалась к нему, но влюблена в него ничуть не была. Она знала, что у него падучая болезнь, что у него нужда в средствах крайняя, да и человек он "без будущности", говорила она. Федор же Михайлович чувство жалости и сострадания принял за взаимную любовь и влюбился в нее со всем пылом молодости».

История любви Достоевского к Исаевой вместила столько отчаянной страсти, столько исступления и безрассудства, обожания, сияющих надежд, тоски и страданий, что заставила почти на два года забыть о главной цели жизни. «Выйдя из каторги, хотя всё было готово, я не писал. Я не мог писать. Одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и наконец посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив, я не мог работать. Потом грусть и горе посетили меня. Я потерял то, что составляло для меня всё. Сотни верст разделили нас. Я Вам не объясняю дела, может быть, когда-нибудь объясню; теперь не могу», — сообщал Достоевский Майкову, с которым в 1856 году возобновил переписку.

Рассказ Достоевского, при всех недомолвках, приоткрывал завесу над его любовной историей: любовь, которая пришла так поздно; бурный, неистовый характер чувства; уверенность, что оно взаимно; ужас разлуки с любимой. Достоевский уговаривал себя, что любовь его не безответна. «Мне ли оставить ее или другому отдать. Ведь я на нее имею *права*, слышите, *права!*» — втолковывал он Врангелю. «Я не заметил, как прошел первый год моей жизни здесь. Я был очень счастлив... Она ме-

ня любит и доказала это», — пишет он брату в надежде, что и брат почувствует градус этой страсти.

Меж тем положение бессрочного солдата, стоявшее преградой к счастью, взорвалось событием, которое разом меняло судьбы всех государственных преступников империи. 18 февраля 1855 года скоропостижно скончался император Николай Павлович, и на престол вступил Александр II: для русских вольнодумцев по обе стороны границы это был момент истины. Со слезами на глазах читал новость в лондонских газетах Герцен, повторяя сквозь слезы: «Ну, наконец-то он умер!» «Ну, поздравляю, поздравляю! Мы пьяны, мы сошли с ума, мы молоды стали!»[29] — писал он другу. «Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг "новых людей", точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, вширь, захотелось летать»[30], — вспоминал Н. В. Шелгунов. Даже верноподданный Никитенко записал: «Я всегда думал, да и не я один, что император Николай переживет и нас, и детей наших, и чуть не внуков. Но вот его убила эта несчастная война. Начиная ее, он не предвидел, что она превратится в такое бремя, которого не вынесут ни нравственные, ни физические силы его... Длинная и, надо таки сознаться, безотрадная страница в истории русского царства дописана до конца»[31].

В Омск известие доставили в начале марта, 12-го оно докатилось и до Семипалатинска. Достоевский и Врангель вместе стояли на панихиде в соборе. 27 марта был обнародован Высочайший манифест. «Мы признали за благо... ознаменовать начало нашего царствования... прощением и облегчением участи тех из подданных наших, кои хотя и омрачили себя противозаконными деяниями, но могут еще *чрез совокупное действие правосудия и милосердия* быть нравственно исправлены и загладить прошедшее новой жизнию». В конце марта «Русский инвалид» напечатал приказ военного министра о милостях, дарованных по манифесту. Предлагался выбор: принять льготы или просить о пересмотре дела (потребует пересмотра дела один Петрашевский: в прошении, направленном в Сенат, он будет доказывать несообразность учиненного судопроизводства и протестовать против применения военного суда. Никакого движения прошение не получит. Все остальные петрашевцы примут льготы и милости, положенные по манифесту).

Врангель немедленно взялся за дело. «Судьба сблизила меня с редким человеком, как по сердечным, так и умственным качествам; это наш юный несчастный писатель Достоевский, — писал он отцу в Петербург. — Узнайте, добрый папенька, Бога ради, не будет ли амнистии. Сколько несчастных

ожидают и надеются, как утопающие хватаются за соломинку. Неужели сердце нашего нового государя, доброго и милостивого, не поймет, что великодушие лучшее средство победить недоброжелателей». «Попроси отца, умоляю, — обращался он к сестре, — узнать... будет ли при коронации амнистия политическим некоторым преступникам и не можно ли шепнуть слово Дубельту или князю Орлову о Достоевском; неужели же этот замечательный человек погибнет здесь в солдатах. Это было бы ужасно. Горько и больно за него — я полюбил его, как брата, и уважаю, как отца».

Начиналась многомесячная подготовка канцелярий к коронации. Губернии готовили для ведомства Дубельта списки лиц, подлежащих амнистии.

В начале апреля, спасаясь от духоты и раскаленного песка, Врангель арендовал у богатого купца-казака дачу с большим садом и пригласил к себе на лето Достоевского; цветники, огород, водоем с рыбой, свежая сочная трава — все это весьма занимало друзей. «Усадьба наша расположена была на высоком правом берегу Иртыша, к реке шел отлогий зеленый луг. Мы тут устроили шалаш для купанья; вокруг него группировались разнообразные кусты, густые заросли ивы и масса тростника. То там, то сям среди зелени виднелись образовавшиеся от весеннего разлива пруды и небольшие озерки, кишевшие рыбой и водяной дичью. Купаться мы начали в мае. Цветниками нашими мы с Ф. М. занимались ретиво и вскоре привели их в блестящий вид. Ярко запечатлелся у меня образ Ф. М., усердно помогавшего мне поливать молодую рассаду, в поте лица, сняв свою солдатскую шинель, в одном ситцевом жилете розового цвета, полинявшего от стирки; на шее болталась неизменная, домашнего изделия, кем-то ему преподнесенная длинная цепочка из мелкого голубого бисера, на цепочке висели большие лукообразные серебряные часы. Он обыкновенно был весь поглощен этим занятием...»

Степь радовала яркой зеленью и благоуханием цветов; наступало время для прогулок верхом — в дальний бор, к окрестным зимовьям, по степи мимо киргизских юрт. Однако в середине мая степная нега и дачные удовольствия внезапно были прерваны известием, сразившим Достоевского наповал: Исаеву, почти год сидевшему без жалованья, наконец-то выпало место заседателя по управлению трактирами в уездный городишко Кузнецк (П. П. Семенов-Тян-Шанский писал, что А. И. перевели туда «за непригодность к исполнению служебных обязанностей в Семипалатинске»).

«Отчаяние Достоевского было беспредельно; он ходил как помешанный при мысли о разлуке с Марией Дмитриевной;

ему казалось, что все для него в жизни пропало». Пятьсот верст! «И ведь она согласна, не противоречит, вот что возмутительно!» — твердил Ф. М. Супруги Исаевы спешно распродавали домашний скарб, чтобы уплатить долги; не на что было пускаться в путь. Выручил Врангель. «Сцену разлуки я никогда не забуду. Достоевский рыдал навзрыд, как ребенок», — вспоминал Врангель, «свидетель бесконечного счастья и бесконечного горя».

В тот памятный майский вечер друзья провожали Исаевых, ехавших, по бедности, в открытой телеге. Прощались у Врангеля. «Желая доставить Достоевскому возможность на прощание поворковать с Марией Дмитриевной, я еще у себя здорово накатал шампанским ее муженька. Дорогою, по сибирскому обычаю, повторил; тут уж он был в полном моем распоряжении; немедленно я его забрал в свой экипаж, где он скоро и заснул как убитый. Ф. М. пересел к Марии Дмитриевне. Дорога была как укатанная, вокруг густой сосновый бор, мягкий лунный свет, воздух был какой-то сладкий и томный. Ехали, ехали... Но пришла пора и расстаться. Обнялись мои голубки, оба утирали глаза, а я перетаскивал пьяного, сонного Исаева и усаживал его в повозку; он немедленно же захрапел, по-видимому, не сознавая ни времени, ни места. Паша тоже спал».

Достоевский стоял как вкопанный, молча смотрел им вслед, слезы катились по щекам. «Я подошел, взял его руку — он как бы очнулся после долгого сна и, не говоря ни слова, сел со мною в экипаж. Мы вернулись к себе на рассвете. Достоевский не прилег — все шагал и шагал по комнате и что-то говорил сам с собою. Измученный душевной тревогой и бессонной ночью, он отправился в близлежащий лагерь на учение. Вернувшись, лежал весь день, не ел, не пил и только нервно курил одну трубку за другой».

Теперь этот страстный роман — Врангель называл его и «злосчастным» — продолжался эпистолярно: послания, которыми он забрасывал М. Д., — «подчас были целые тетради». Единственное уцелевшее письмо Ф. М. Марии Дмитриевне (все *ее* письма постигнет участь уничтожения) кричало о любви, которая не может быть на письме выражена открыто и прячется за горячей дружбой. «Вы же, удивительная женщина, сердце удивительной, младенческой доброты, Вы были мне моя родная сестра. Одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни... Женское сердце, женское сострадание, женское участие, бесконечная доброта, об которой мы не имеем понятия и которой, по глупости своей, часто не замечаем, незаменимо. Я всё это нашел в Вас...»

Желая сделать ей приятное, передавал лестное мнение Врангеля («такой женщины он с Петербурга еще не встречал и не надеется более встретить») и даже татар-извозчиков: «Все-то вас хвалят, Марья Дмитриевна». Понимая, что письмо прочтет и муж, поместил строки и для него: «Неужели и в Кузнецке он будет так же неразборчив в людях, как в Семипалатинске? Да стоит ли этот народ, чтоб водиться с ним, пить-есть с ними и от них же сносить гадости! Да это значит вредить себе сознательно! И как противны они, главное, как грязно. После иной компании так же грязно на душе, как будто в кабак сходил».

Усиленная переписка с Кузнецком не всегда радовала Достоевского: от Марии Дмитриевны шли бесконечные жалобы на лишения, безотрадное будущее. «Он чуял что-то недоброе... Он еще более похудел, стал мрачен, раздражителен, бродил как тень. Он даже бросил свои "Записки из Мертвого дома", над которыми работал так недавно с таким увлечением»*. Врангель, как мог, отвлекал друга от мрачных мыслей — брал с собой в поездки по окрестным заводам, знакомил с горными инженерами. В июне рискнул даже привезти друга в Змиев, для свидания с Исаевой, но та не приехала, ссылаясь на болезнь мужа и безденежье. Не приедет она, не объяснив причины, и на второе, июльское, свидание в Змиеве, куда Врангеля и Достоевского пригласил генерал Гернгросс (Ф. М. впервые за пять лет наденет штатское платье — сюртук, сшитый камердинером Врангеля Адамом, брюки, жилет, манишку, черный атласный галстук.)

«Любимое времяпрепровождение, — вспоминал Врангель о том лете, — было, когда мы в теплые вечера растягивались на траве и, лежа на спине, глядели на мириады звезд, мерцавших

---

* «Я уже упоминал выше, что в этот период нашей совместной жизни Федор Михайлович работал над своим знаменитым произведением — "Записками из Мертвого дома". Мне первому выпало счастье видеть Ф. М. в эти минуты его творчества, первому довелось слушать наброски этого бесподобного произведения, и еще теперь, спустя долгие годы, я вспоминаю эти минуты с особенным чувством. Сколько интересного, глубокого и поучительного довелось мне черпать в беседах с ним. Замечательно, что, несмотря на все тяжкие испытания судьбы: каторгу, ссылку, ужасную болезнь и непрестанную материальную нужду, в душе Ф. М. неугасимо теплились самые светлые, самые широкие человеческие чувства. И эта удивительная, несмотря ни на что, незлобивость всегда особенно поражала меня в Достоевском... Манера его речи была очень своеобразная. Вообще он говорил негромко, зачастую начинал чуть не шепотом, но чем больше он одушевлялся, тем голос его подымался звучнее и звучнее, а в минуты особого волнения он, говоря, как-то захлебывался и приковывал внимание своего слушателя страстностью речи. Чудные минуты пережил я с ним. Как много дало мне сближение с такой чудной, богато одаренной натурой».

из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его. Созерцание величия Творца, всеведомой, всемогущей Божеской силы наводило на нас какое-то умиление, сознание нашего ничтожества, как-то смиряло наш дух. О религии с Достоевским мы мало беседовали. Он был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом».

Быть может, в один из таких вечеров, когда смирение взяло верх над смятением, сочинились стихи «На 1 июля 1855 года» (день рождения недавно овдовевшей императрицы Александры Федоровны). «Ангелом в слезах», образом кротости и покорности называл он женщину, оплакивавшую мужа, безропотно принявшую свой вдовий крест. Картина мира после кончины Николая I виделась автору глазами той, для кого потеря была невосполнимой и несомненной, без оглядки на политические резоны: «Как сирая семья, Россия зарыдала; / В испуге, в ужасе, хладея, замерла; / Но ты, лишь ты одна, всех больше потеряла!» Теперь «отверженец унылый», склоняясь перед памятью почившего, смел питать безумную мечту — утешить грусть, облегчить страдание вдовы, вымолить у нее прощение, ибо его искупительные слезы показали ему, что он «снова русский» и «снова человек».

Но как дерзко, контрабандой впустил он в патриотическую элегию свои собственные переживания, как лирично описал личную горькую утрату! «О! Тяжело терять, чем жил, что было мило, / На прошлое смотреть как будто на могилу, / От сердца сердце кровью оторвать, / Безвыходной мечтой тоску свою питать, / И дни свои считать бесчувственно и хило, / Как узник бой часов, протяжный и унылый». Никто не должен был разглядеть тоски «отверженца», разлученного с возлюбленной, — ведь стихотворению назначалась служебная роль. И снова стараниями Врангеля, действовавшего через племянника покойного государя, принца П. Г. Ольденбургского, и генерал-губернатора Г. Х. Гасфорта, стихи были переданы вдовствующей императрице, вместе с ходатайством о производстве Достоевского в унтер-офицеры, «дабы сим поощрить его доброе поведение, усердную службу и непритворное раскаяние в грубом заблуждении молодости»[32].

Пройдет меньше месяца, и канцелярии установят, что по манифесту 27 марта «нет препятствий для удовлетворения этого ходатайства»; решение о производстве в унтер-офицеры состоится в конце ноября и — долой тогда постылую серую шинель!

Но — пока что тянулось томительное лето, осложнившееся для Ф. М. стоянием в строю при смотре войск и сорванными

свиданиями с Марией Дмитриевной. Как-то незаметно в ее письмах, наряду с безотрадными вестями о тоске и одиночестве, стали появляться ноты, от которых у Достоевского щемило сердце. «Все чаще, — замечал Врангель, — стало упоминаться имя нового знакомого в Кузнецке, товарища мужа Марии Дмитриевны, симпатичного молодого учителя. С каждым письмом отзывы о нем становились все восторженнее и восторженнее, восхвалялась его доброта, его привязанность и его высокая душа. Достоевский терзался ревностью; жутко было смотреть на его мрачное настроение, отражавшееся на его здоровье».

И вот — новое известие, которое сотрясло Достоевского: 4 августа скончался Исаев, пробыв на новом месте «по корчемной части» около двух месяцев. Марии Дмитриевне не на что было хоронить мужа: его погребли на деньги сердобольных людей. Кто-то прислал подаяние — три рубля серебром, и она приняла! И осталась одна с сыном на руках, «в нищете безнадежной», в «уезде далеком и зверском».

Теперь, когда Исаева была свободна, все только усложнилось. Влюбившись без памяти, Достоевский успел за год пережить все муки любовного ада: терзания адюльтера, пока Мария Дмитриевна была замужем; ужас разлуки, когда она с мужем уехала. Теперь, когда она овдовела, наступало время надежд, самопожертвования и жалости, к которым, как яд, примешивалась ревность. Он готов был занимать деньги направо и налево, лишь бы вызволить ее из нищеты, он считал прямым долгом и целью своей жизни заботиться о ней и ее сыне. При этом, как замечал Врангель, ему было хорошо известно, что Мария Дмитриевна не на шутку увлечена 24-летним учителем из Кузнецка Николаем Борисовичем Вергуновым.

Сибирские письма Достоевского после кончины Исаева — это страстный монолог, неопровержимо доказывающий, что в своем «злосчастном» романе он готов был идти до конца. Как кстати теперь была царская милость — унтер-офицерское звание, получив которое, он немедленно сделал Марии Дмитриевне предложение руки и сердца. «Мне, скоро может быть, понадобятся деньги, относительно меня и моего положения, не маленькие. Всё это соединено будет отчасти с переменою моей участи, если только сбудутся надежды мои», — писал он брату в декабре 1855-го, сразу после производства и сватовства.

Но какими тоскливыми были все эти неуверенно-туманные «если»!

Когда в январе 1856-го Врангель покинет Семипалатинск и вернется в Петербург, Ф. М. передаст с ним письмо для брата,

где откровенно объяснит, чтó ждет он от намерения Врангеля «расшевелить небо и землю». «Не думай, чтоб какие-нибудь социальные выгоды, или что-нибудь подобное, заставляли меня до такой степени упорно стараться о себе... Но есть два обстоятельства, которые заставляют меня как можно скорее выйти из стесненного положения и ввергают в такое лихорадочное участие к самому себе. Об этих обстоятельствах я тебя и должен уведомить. 1-е). Это то, что я хочу писать и печатать. Более чем когда-нибудь я знаю, что я недаром вышел на эту дорогу и что я недаром буду бременить собою землю. Я убежден, что у меня есть талант и что я могу написать что-нибудь хорошее».

Но если право печататься напрямую зависело от новых милостей, то второе обстоятельство (связь с Исаевой), о котором Ф. М. докладывал брату, он выставлял как решенное *безусловно*. «Я давно уже люблю эту женщину и знаю, что и она может любить. Жить без нее я не могу, и потому, если только обстоятельства мои переменятся хотя несколько к лучшему и положительному, я женюсь на ней. Я знаю, что она мне не откажет. Но беда в том, что я не имею ни денег, ни общественного положения, а между тем родные зовут ее к себе, в Астрахань. Если до весны моя судьба не переменится, то она должна будет уехать в Россию. Но это только отдалит дело, а не изменит его. Мое решение принято, и, хоть бы земля развалилась подо мною, я его исполню».

Пока что он держал свое решение в тайне, доверяясь только другу Врангелю и брату Михаилу: «Раньше события я никому в мире не напишу, что я намерен жениться. Тебе я говорю это под страшным секретом... Это дело сердца, которое боится огласки, боится чуждого взгляда и прикосновения... И потому, ради Христа, не говори об этом никому, совершенно никому. Да и про всё письмо мое вообще не говори никому и никому не показывай. Ради Бога, ни слова об этом сестрам; они тотчас испугаются за меня и начнутся советы благоразумия. А мне, без того, что теперь для меня главное в жизни, не надо будет и самой жизни».

Это действительно было «делом сердца», а вовсе не замыслом холодного сознания, которое расчетливо полагало, будто слух о скорой женитьбе укрепит репутацию ссыльного во мнении начальствующих и развеет сомнения в искренности его раскаяния. *Это* к тому же было «делом сердца» неуверенного, надорванного сомнениями, ожидающего тяжелой неудачи. «Может быть, что возможность этой женитьбы и расстроится. Тогда, я знаю себя, я опять убит и несчастен», — пишет он брату, не раскрывая истинных причин возможного несчастья, а

лишь намекая на них: «Не пугайся много о том, что я говорил тебе о моей привязанности. Может быть, будет, может быть, нет. Я честный человек и не захочу употреблять свое влияние, чтоб заставить это благородное существо принести мне жертву. Но когда будет возможность, хоть через 5 лет, я исполню свое намерение».

Он не зря был так осторожен в письме брату, не напрасно через слово повторял эти пугливые «если» и «может быть»; он предвидел, как зыбка и ненадежна любовь издалека. Жгучая ревность схватила за горло, как только «la dame» начала *испытывать* его любовь, душило отчаяние от ее непостоянства и нерешительности. Одному Врангелю можно было описать ужас положения: Мария Дмитриевна потеряла надежду на устройство своей судьбы с ним, Достоевским; окружена в Кузнецке женихами и шпионками-кумушками, которые склоняют к замужеству; в ее письмах кроется что-то подспудное; Ф. М. узнаёт, что она дала слово кому-то в Кузнецке выйти замуж; и вот *громовое* известие: «Она решилась прервать скрытность и робко спрашивает меня: "Что если б нашелся человек, пожилой, с добрыми качествами, служащий, обеспеченный, и если б этот человек делал ей предложение — что ей ответить?" Она спрашивает моего совета... Просит обсудить дело хладнокровно, как следует другу... Я был поражен как громом, я зашатался, упал в обморок и проплакал всю ночь... О, не дай Господи никому этого страшного, грозного чувства. Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить... Сердце сосет тоска смертельная, ночью сны, вскрикиванья, горловые спазмы душат меня, слезы то запрутся упорно, то хлынут ручьем».

Он не мог перестать любить, хотя был низвергнут с пьедестала любви и приглашен в советчики. Он писал Исаевой, пуская в ход угрозы, ласки, униженные просьбы, повторял, что умрет, если лишится ее. Он отыскивал в ее письмах следы прежней любви — и тешил себя, что нашел их по каким-то приметам. Чтобы успокоить себя, он пытался оправдать ее, заброшенную, слабую; увидеть ее колебания глазами друга, а не отчаявшегося влюбленного («ведь не за солдата же выйти ей!»), но возвращался к исходному: «Отказаться мне от нее невозможно никак, ни в каком случае. Любовь в мои лета не блажь, она продолжается два года, слышите, два года, в 10 месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до нелепости. Я погибну, если потеряю своего ангела: или с ума сойду, или в Иртыш!»

В ответ на отчаянные письма Ф. М. она оправдывалась, что еще ничего не решено, что женихи только *расчет* и *предполо-*

жения, умоляла не сомневаться в ее любви, уверяла, что ни один из кузнецких женихов не стоит и пальца его, Достоевского. Он верил и не верил, искал источники слухов, утешал себя мыслью о пустых уездных сплетнях, требовал откровенности и твердил себе и Врангелю, что малейшая перемена к лучшему в его судьбе — и он будет предпочтен всем и каждому, а женихи рассеются как дым.

«Ей ли с ее сердцем, с ее умом прожить всю жизнь в Кузнецке Бог знает с кем. Она в положении моей героини в "Бедных людях", которая выходит за Быкова (напророчил же я себе!)».

При всем отчаянии он, однако, не сидел сложа руки в ожидании перемен, которые так или иначе могли дать законное решение делу. Имея в запасе только перо и почтовые оказии, Ф. М. пытался действовать. Она, бедный ангел, должна почувствовать, что и на расстоянии он умеет не только ревновать и грозить водами Иртыша, но и делать что-то полезное. Она должна видеть, как много он может дать ей даже сейчас, при мизерных возможностях. Она должна понять, как хорошо и надежно будет устроена ее жизнь, если оставить все колебания, не искать по сторонам и довериться их общей судьбе. Ф. М. нашел ход, казалось бы, безошибочный — сын Паша: в заботе о воспитании мальчика разве не выскажется весь человек, претендующий на руку и сердце его матери?

И он рисует счастливый проект помещения восьмилетнего Паши в Павловский кадетский корпус в Петербурге: полковник А. М. Голеновский, инспектор классов в этом заведении, — муж сестры Александры; на воскресенье мальчика берет к себе в семью брат Михаил. Сирота окружен родственным вниманием, и это будет благодарностью ей, матери мальчика, от всей семьи Достоевских. «Когда-то твоего брата, который был в изгнании, в несчастье, заброшенный на край света, оставленный всеми, отец и мать этого ребенка приняли у себя как брата родного, кормили, поили, ласкали и сделали его судьбу счастливее». Достоевский составляет конспект письма Марии Дмитриевне от лица Михаила, в верной тональности и с нужным содержанием: «Брат мой... много раз писал мне, как радушно, с каким родственным участием был он принят Вами и Вашим покойным мужем в Семипалатинске. Нет слов, чтобы изъявить Вам всю благодарность за то, что Вы сделали бедному изгнаннику. Я его брат и потому могу это чувствовать...»

Однако отношения Достоевского и Исаевой запутывались. Узнав от Ф. М., что он иногда бывает у знакомых на блинах и вечерах и даже танцует с дамами (в глазах Марии Дмитриевны это никак не отвечало образу рыцаря, умирающего от любви),

взревновала уже она: дескать, *начал ее забывать и увлекается другими*. И кстати призналась, что мысль о замужестве ею выдумана, в намерении узнать и испытать его сердце. А его сердце билось в таком ритме, что он ревновал ее ко всякому имени, которое неосторожно упоминалось в письме; к тому же ожидался ответ из Астрахани с решением, куда ей ехать; и еще была «всякая кузнецкая гадость», которая ее мучила; и маячил туманный вариант устройства в Барнауле; и еще Исаева на всякий случай спрашивала: если она напишет отцу, что Достоевский делает ей предложение, то не скрыть ли от отца ссыльное положение соискателя?

«Для меня всё это тоска, ад».

Тем временем по инициативе Э. И. Тотлебена, которому в Петербурге Врангель передал письмо Достоевского, было начато дело «О производстве в прапорщики унтер-офицера Федора Достоевского». В ходатайстве шла речь и о праве печататься. Узнав об этом в мае 1856-го из письма Врангеля, Ф. М. решил подкрепить успех ходатайства новым стихотворением, на сей раз по случаю коронации Александра II и окончания Крымской кампании. Пафос нового послания Достоевский комментировал в ответном письме Врангелю: «Дай Бог счастья великодушному монарху! Итак, всё справедливо, что рассказывали постоянно о горячей к нему любви всех! Как это меня радует! Больше веры, больше единства, а если любовь к тому, — то всё сделано. — Каково же кому-нибудь оставаться назади? Не примкнуть к общему движенью, не принесть свою лепту?!»

Но отдаться «общему движению» или литературным занятиям так, чтобы они поглотили целиком, без остатка, не было ни сил, ни душевных ресурсов. «Злосчастный» роман длился, обнаруживая пугающую тенденцию вращаться по одному и тому же адскому кругу. В майских письмах Марии Дмитриевны, где еще мелькали слова нежности к Ф. М., вновь стали проскакивать намеки, что она не составит его счастья, что они оба слишком несчастны и что им лучше быть врозь. Проект помещения сына в Павловский корпус она отвергала и просила хлопотать об устройстве мальчика в сибирские кадеты.

Это была катастрофа. Он уже знал, как раскачиваются эти качели, и не видел другого выхода, как немедленно ехать в Кузнецк: пусть отдадут под суд, но он увидит ее. «Надобно переговорить и всё решить разом!» Подорожная была только до Барнаула, и он ужасно рисковал, поставив на кон и ходатайство Тотлебена, и свои стихи, и ожидаемое производство. Но он поехал и пробыл у Марии Дмитриевны два дня! И пережил страшный удар, когда возлюбленная, на которую он уже имел

права и которая подарила ему надежду, вдруг объявила, что любит другого. Он испытал все мучения любовника, которого дразнят, отдаляя и приближая, пугая невозможностью соединения и опьяняя последней близостью. «Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого. Я там провел два дня. В эти два дня она *вспомнила прошлое*, и ее сердце опять обратилось ко мне. Прав я или нет, не знаю, говоря так! Но она мне сказала: "Не плачь, не грусти, не всё еще решено; ты и я и более никто!" Это слова ее положительно. Я провел не знаю какие два дня, это было блаженство и мученье нестерпимые! К концу второго дня я уехал с полной надеждой».

Но едва они расстались, любовные качели качнулись в обратную сторону. Мария Дмитриевна вновь потеряла голову: казалось, ею тоже владеет роковая страсть: *прошлое* теряло над ней власть, как только рядом появлялось влекущее *настоящее* — Вергунов. «Письмо за письмом, и опять я вижу, что она тоскует, плачет и опять любит его более меня! Я не скажу, Бог с ней! Я не знаю еще, что будет со мной без нее. Я пропал, но и она тоже».

Как никто другой, Достоевский, истерзанный призрачными надеждами и обещаниями, понимал и принимал ее удивительную честность, ее женскую нерасчетливость, ее жажду любви, которой в свои тридцать лет она была так же обделена, как и он в свои тридцать пять. «Что за благородная, что за ангельская душа! — говорит он о возлюбленной, которая сразу после любовного свидания с ним призналась, что любит другого. — Чистый, прекрасный ангел!»

Достоевский, любящий Исаеву «любовью», оказался способен понять, что такие же чувства могут владеть и Марией Дмитриевной, любящей «любовью» не его, а другого. Он разом терял *права*, которые как будто были уже завоеваны, но отныне ничего не весили. Любовь и возлюбленная ускользали из его жизни, и значит, у него оставалось только право на жалость и участие — право *друга и брата*. Он не захотел им пренебречь и явил пример опасного великодушия.

Он не чувствовал унижения и не впадал в самолюбие, когда решил не оставлять Марию Дмитриевну на милость молодого и весьма пригожего, как все утверждали, учителя. Ф. М. пошел до конца в обретенном им праве на участие, доказав «la dame», что ее судьба волнует его даже и «отдельно». «Ей 29 лет; она образованная, умница, видевшая свет, знающая людей, страдавшая, мучившаяся, больная от последних лет ее жизни в Сибири, ищущая счастья, самовольная, сильная, она готова выйти замуж *теперь* за юношу 24 лет, сибиряка, ничего не видавшего, ничего не знающего, чуть-чуть образованного, начи-

нающего первую мысль своей жизни, тогда как она доживает, может быть, свою *последнюю мысль*, без значенья, без дела на свете, без ничего, учителя в уездной школе... Не губит она себя другой раз после этого? Как сойтись в жизни таким разнохарактерностям, с разными взглядами на жизнь, с разными потребностями? И не оставит ли он ее впоследствии, через несколько лет... Что с ней будет в бедности, с кучей детей и приговоренною к Кузнецку? Кто знает, до чего может дойти распря, которую я неминуемо предвижу в будущности; ибо будь он хоть разыдеальный юноша, но он все-таки еще не крепкий человек. А он не только не идеальный, но... Всё может быть впоследствии. Что, если он оскорбит ее подлым упреком, когда поверит, что она рассчитывала на его молодость, что она хотела сладострастно заесть век, и ей, ей! чистому прекрасному ангелу, это, может быть, придется выслушать!»

Уверения Достоевского, что ее счастье ему дороже своего собственного, поразили Марию Дмитриевну, но ни в чем не убедили: она плакала, но считала все же, что Ф. М. «изобретает ужасы». Она потребовала, чтобы он объяснился с Вергуновым, и объяснение состоялось: «С ним я сошелся: он плакал у меня, но он только и умеет плакать!» Уже из Семипалатинска Ф. М. отправил вдове и ее избраннику общее «поучительное» письмо, где изобразил возможные последствия неравного брака; но Мария Дмитриевна встала на защиту учителя, а сам учитель, просивший при встрече с соперником «дружбы и братства», *глупо*, *истинно по-кузнецки* обиделся, оскорбился, настроил и ее в том же духе и написал ругательный ответ. «Дурное сердце у него, я так думаю!» — сердился Достоевский (а Вергунов всего лишь защищал женщину, которую любил и которая ответила ему, и уверял соперника, что молодость — это довод в пользу счастья с любимой, а не против него).

Но каждый боролся за свою любовь, как умел — у Достоевского недостало сил «стушеваться», отойти, оставив влюбленных наедине друг с другом. «Я как помешанный в полном смысле слова всё это время», — писал он Врангелю и умолял хлопотать, во-первых, за устройство Паши в Сибирский кадетский корпус, во-вторых, за единовременное пособие Марии Дмитриевне по смерти мужа и, в-третьих, за трудоустройство своего соперника: «*Она* не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. А для того ему надо место, перетащить его куда-нибудь... Поговорите о нем Гасфорту как о молодом человеке достойном, прекрасном, со способностями; хвалите его на чем свет стоит, что Вы знали его; что ему не худо бы дать место выше... Это всё для *нее, для нее одной*. Хоть бы в бедности-то она не была, вот что!»

Но при всех хлопотах о ее счастье отказаться от любви к ней он не смог. «Если б хоть опять увидеть ее, хоть час один! И хотя ничего бы из этого не вышло, но по крайней мере я бы видел ее!»

...В середине сентября 1856 года Александр II, приняв во внимание ходатайство о чистосердечном раскаянии унтер-офицера Достоевского, «соизволил произвести его в прапорщики, с оставлением на службе в том же батальоне и с продолжением над ним секретного надзора впредь до совершенного удостоверения в его благонадежности». 1 октября приказ о производстве вошел в силу; 5-го на царском балу в Дворянском собрании Иванов и принц Ольденбургский сообщили новость Врангелю, 9-го Врангель поздравил Достоевского с событием, которое в корне меняло положение ссыльного и давало надежду на скорую амнистию.

Ф. М. воспринял долгожданную весть как сигнал для исполнения плана, о котором, помимо Врангеля, знал уже и Семенов, навестивший осенью 1856-го Семипалатинск: ехать к Исаевой в Кузнецк, вступить с ней в брак, привезти жену и пасынка в Барнаул в гости к Семенову, после чего вернуться к месту службы, где ждать амнистии. «Она по-прежнему всё в моей жизни, — писал он Врангелю в ответ на поздравления. — Я бросил всё, я ни об чем не думаю, кроме как об ней. Производство в офицеры если обрадовало меня, так именно потому, что, может быть, удастся поскорее увидеть ее... Люблю ее до безумия, более прежнего. Тоска моя о ней свела бы меня в гроб и буквально довела бы меня до самоубийства, если б я не видел ее... Я знаю, что я действую неблагоразумно во многом в моих отношениях к ней, почти не имея надежды, — но есть ли надежда, нет ли, мне всё равно. Я ни об чем более не думаю. Только бы видеть ее, только бы слышать! Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь. Я это чувствую. Я задолжал от поездки (я пытался в другой раз ехать, но доехал только до Змиева, не удалось). Теперь опять поеду, разорю себя, но что мне до этого!.. О, не желайте мне оставить эту женщину и эту любовь. Она была свет моей жизни. Она явилась мне в самую грустную пору моей судьбы и воскресила мою душу. Она воскресила во мне всё существование, потому что я встретил ее».

«Несчастный сумасшедший» так и не смог остаться для Марии Дмитриевны только другом и братом. Теперь, когда для поездки в Кузнецк имелся столь убедительный аргумент, как офицерские погоны, он, несмотря ни на что, снова мчался к ней, в съемную квартирку из двух миниатюрных комнат с кухонькой и прихожей на Полицейской улице: болезнь любви входила в решающую стадию.

Глава четвертая

СЛЕД «НАСТОЯЩЕЙ ПАДУЧЕЙ»

Поиски виноватых. — Образцы милосердия. — Обретение любви. — Предсвадебные хлопоты. — Венчание в Кузнецке. — Медовая неделя. — Несчастье в Барнауле. — Возвращение в Семипалатинск. — Семейное гнездо. — Дарованные права

Множество пристрастных суждений о «злосчастной» любви Достоевского к М. Д. Исаевой, при всем их разнообразии, имеют одно общее стремление — найти виноватого.

Соблазнительно винить в несчастье двоих кого-то одного, например Марию Дмитриевну: традиция была заложена еще Л. Ф. Достоевской. «Первой же женщине, которая была несколько ловче неуклюжих красавиц Семипалатинска, было очень легко завладеть его сердцем... Но какую ужасную женщину судьба послала моему отцу!» Под пером Любови Федоровны Исаев — восторженный поклонник писателя, «порядочный человек слабого здоровья», и только. Зато Мария Дмитриевна в ее книге — нравственный монстр: ленивая, расчетливая, корыстная, фальшивая, честолюбивая: «Она знала, что скоро овдовеет... Предусмотрительно подыскивала второго мужа... Достоевский представлялся лучшей партией в городе... Разыгрывала поэтическую женщину... Овладела моим простодушным отцом... Его влечение было скорее жалостью, чем любовью... Он радуется, что она нашла себе жениха в Кузнецке...»

Стремление изобразить первый брак отца как досадное недоразумение заставило дочь писателя посягнуть даже на интимную сторону дела: «Мой отец сомневался в те времена, может ли он жениться, и считал себя больным... Здесь он оставался князем Мышкиным из “Идиота”». Кроме того, Любовь Федоровна нарочито преувеличила материальную сторону связи — будто Ф. М. посылал Исаевой «почти все деньги, которые получал от своих родственников» — и даже придумала, будто Исаева угрожала покончить с собой и с сыном, хотя угрозы броситься в Иртыш шли как раз от страстно влюбленного Ф. М., который, по словам дочери, жаждал попасть в Кузнецк только для того, чтобы призвать истерически взбалмошную даму к благоразумию. Ревность к Исаевой, побудившая А. Г. Достоевскую вымарать из писем мужа слова любви к первой жене, даже толкнула дочь писателя приклеить Марии Дмитриевне расовый ярлык — якобы ее отец был наполеоновским мамелюком, попавшим в плен во время отступления из

Москвы, а она сама всю жизнь скрывала свое «африканское происхождение» и была «хитра, как все негритянки».

Л. Ф. Достоевская так настойчиво отрицала, что отец любил Марию Дмитриевну, будто никогда не читала воспоминаний Врангеля и писем Ф. М. Врангелю. Конечно, первая публикация этих писем в 1883 году, выполненная с большими сокращениями, не давала ясного представления об отношениях писателя с его первой женой. Однако Любовь Федоровна могла, во-первых, прочесть письма отца целиком; во-вторых, познакомиться с комментарием Миллера, писавшего о силе сибирской любви Достоевского, которая «разгоралась все более и более» и составляла «источник и нового счастья, и сильнейших страданий»[33]. Этот вывод публикатор сделал «из всей совокупности писем Достоевского к А. Е. Врангелю». «Близкое знакомство с письмами к А. Е. Врангелю в их *полном* виде кидает новый свет на роман, написанный по возвращении из Сибири», — заключал Миллер, имея в виду коллизию «Униженных и оскорбленных»[34].

Линия защиты Достоевского от «ужасной и бесстыдной женщины», предпринятая Л. Ф. Достоевской, имела много последователей. Куда свежее и заманчивее выглядит ответный ход — защита Исаевой *от* Достоевского, с разоблачением его вины, с осуждением его расчетов и планов. Поступки Ф. М., одержимого любовной лихорадкой, трактуются в иных изысканиях как «многоходовая изощренно срежиссированная интрига»[35], а Мария Дмитриевна — как «тот ключик, с помощью коего раскрываются кошельки у Врангеля и родни»[36]. «Значимость Исаевой, уже помимо любви, всё более поднимается по мере того, как родственники и друзья активно пытаются помочь влюбленным и пускают в ход свое влияние и связи, чтобы “ввести в свет” бывшего каторжника... Создается впечатление, что весь свет задействован в устройстве судьбы Достоевского, и только на том основании, что Исаева пока еще в нерешительности: за кого выйти замуж. И для того, чтобы убедить безвестную вдову в неописуемо далеком Кузнецке, необходимо вмешательство графов, баронов и генералов»[37].

Желание развенчать историю любви Достоевского к Исаевой, увидеть грязные пятна и низкие мотивы в поведении всех участников драмы (включая даже «подобострастного, подпавшего под гипноз» Врангеля, для которого «поддержать Достоевского — беспроигрышно», ибо «сулит в будущем моральные дивиденды»[38]) приводит к «революционным» выводам: во-первых, «злосчастный» роман — «это не только любовь-мучительство, но во многом, похоже, — любовь-расчет, причем с

обеих сторон»[39]; во-вторых, Достоевский, одержимый фатальным влечением к любовным треугольникам, стремится «проиграть» сценарий «тройственности» на себе, чтобы набраться жгучих впечатлений, которых хватит на десяток книг[40]; в-третьих, в каждой из этих книг он беспощадно разделывается со своими реальными соперниками, казня их физически или умерщвляя нравственно[41].

Поставив перед собой задачу любой ценой пресечь традицию «скучной благопристойности» и навязчивого «благолепия» биографий Достоевского, сдержанность и деликатность которых квалифицируется как робость и самоцензура, новые изыскатели посылают читателям и исследователям Достоевского «черную метку» — дабы никому не повадно было оставаться в плену «ортодоксальности», соблазне «житийности» и иллюзиях «сусального золочения». Вместо опороченного метода «аллилуйи с елеем» предлагается взять на веру казуистику изнанки (адские предположения, непристойные догадки, оскорбительные домыслы), а также прибегнуть к «кощунствованию» — приему, который дает наиболее сокрушительные результаты: поступки Достоевского, связанные с историей его первого брака, трактуются не иначе как бесчестные, *«каторжные»,* а сама история как *хроника «убиения» Исаевой*[42]. При этом Достоевскому ставится в вину даже то, что, несмотря на тяжкие болезни и вечные жалобы, он не умер на каторге, а прожил почти до шестидесяти лет, в то время как его первая жена умерла молодой[43].

Оказывается, для осуждения или оправдания подсудимого в принципе не имеет значения, владеет ли прокурорский надзор материалом дела во всей его полноте или не владеет им вовсе; установка на убийственное разоблачение, заряженное впрок охотничье ружье, азарт погони завораживающе влияют на отношение к мишени. Но дар во всем одно дурное видеть сродни изжоге; иезуитское умение из каждого вдоха и выдоха жертвы извлекать доказательства преступного умысла слишком банально, чтобы произвести впечатление на мало-мальски справедливый суд.

...Новое царствование являло тем временем образцы милосердия. Коронационным манифестом были помилованы декабристы; после тридцати лет ссылки им возвращали дворянство и титулы. В справке Третьего отделения от 8 октября 1856 года «О даровании прежних прав... лицам, прикосновенным к делу Буташевича-Петрашевского» предлагалось новое понимание дела. «Хотя сам Петрашевский и некоторые его посетители в разговорах обнаруживали намерение произвести переворот в государстве и составить тайное общество, но *дей-*

ствий никаких не было и все оканчивалось одними словами. В свое время, когда в Западной Европе происходили беспорядки, на дело это по справедливости обращено было строгое внимание; но не может произойти вредных последствий, если в милостях сравнять их с уроженцами Западных губерний, кроме Буташевича-Петрашевского, который, как остающийся на поселении, и не может быть выведен из настоящего положения».

А бывшие заговорщики приходили к новому пониманию *пользы*, которое не имело ничего общего с прежними мятежными мыслями. Стремление к деятельности, пусть самой маленькой и скромной, роднило их со «ссыльными старого времени», много сделавшими для блага края, где они обречены были искупать свою вину: их укрепляла деятельность, а не сокрушения о загубленной судьбе. Теперь все они начинали сдвигаться с насиженных мест — «великим переселением народов» назовет Спешнев возвращение ссыльных из Сибири. Сам он начал службу крохотным чиновником в Чите. «Вы не представляете, с каким рвением предаюсь я этой службе после долгого перерыва для меня всякой деятельности, — писал он матери, не стесняясь возвышенного тона. — С какою я просто с жадностью бросаюсь на всякую работу, которая может принести пользу моему народу, и как я боюсь самому себе показаться недовольно добросовестным работником, недовольно рачительным».

Достоевский, только что произведенный в офицеры, писал брату в духе общего гражданского энтузиазма: «Дай Бог долго и счастливо царствовать нашему ангелу-государю! Нет слов, чтобы выразить ему мою благодарность». И опять же: не имея никакой задней мысли, сообщал о делах любовных: «Ту, которую я любил, я обожаю до сих пор. Чем это кончится, не знаю. Я сошел бы с ума или хуже, если б не видал ее. Всё это расстроило мои дела (не думай, что я с ней делюсь, ей отдаю; не такая женщина, она будет жить грошем, а не примет). Это ангел Божий, который встретился мне на пути, и связало нас страдание. Без нее я бы давно упал духом. Что будет, то будет! Ты очень беспокоился о возможности моего брака с нею. Друг милый, кажется, этого никогда не случится, хоть она и любит меня. Это я знаю».

Его постоянно тянуло говорить о ней — со всеми, с кем только возможно, без всякого расчета, без всякой корысти; даже Валиханову, новому своему другу, он пишет об «одной даме, женщине умной, милой, с душой и сердцем». «Может быть, эту превосходную женщину Вы когда-нибудь увидите и будете тоже в числе друзей ее, чего Вам желаю».

В конце ноября 1856 года Ф. М. снова приехал к ней в Кузнецк, теперь официально, и пробыл пять дней. «Никто, кроме этой женщины, не составит моего счастья. Она же любит меня до сих пор, и я выполнял ее желание. Она сама мне сказала: "Да"... Она меня любит. Это я знаю наверно... Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Еще летом по письмам ее я знал это. Мне было всё открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б Вы знали, что такое эта женщина!»

Счастье обретенной любви, которая казалась безнадежно утраченной, побудило Достоевского снова хлопотать о Вергунове — его связь с Марией Дмитриевной как будто сошла на нет. «Теперь он мне дороже брата родного. Слишком долго рассказывать мои отношения к нему», — пишет Ф. М. Врангелю. Позже циничные умы увидят здесь *торг:* якобы Достоевский платил молодому человеку отступное в виде заботы о его карьере (окончивший всего четыре класса гимназии купеческий сын Вергунов вряд ли мог без протекции рассчитывать на служебный рост, имея скромную должность учителя в уездной приходской школе).

Но если допустить, что Достоевский, которого Исаева предпочла Вергунову под влиянием не только страстного и «доказанного» при свидании чувства, но и трезвого, «вдовьего» взгляда на вещи, испытывал благодарность к поверженному сопернику и в радости захотел поддержать его, то все становится на свои места: логика холодного цинизма уступает место логике душевного порыва. «Ему последняя надежда устроить судьбу свою — это держать экзамен в Томске, чтоб получить право на чин и место в 1000 руб. ассигнациями жалованья. Всё дадут, если он выдержит экзамен. Но без протекции ничего не будет... О Вергунове не грешно просить: он того стоит. И потому прошу Вас, если у Вас есть кто-нибудь из родных или знакомых по Министерству просвещенья, имеющих важную должность, то нельзя ли написать... письмо о Вергунове? Видите ли Вы Аполлона Майкова? Он знаком с Вяземским. Что если б это написал Вяземский!»

Предсвадебные письма Достоевского родным — брату Михаилу и сестре Варе — полны взволнованных оправданий: он горячо доказывает обдуманность своего шага и заверяет, что никакие резоны не повлияют на уже принятое решение. «Это такая женщина, которой, по характеру, по уму и сердцу из 1000 не найдешь подобной. Она знает, что я немного могу предложить ей, но знает тоже, что мы очень нуждаться никогда не будем; знает, что я честный человек и составлю ее счастье... О возможности иметь детей — заботиться еще далеко. А если

будут, то и воспитаны будут, будь уверен. Ты скажешь, что, может быть, заботы мелкие изнурят меня. Но что же за подлец я буду, представь себе, что из-за того только, чтоб прожить как в хлопочках, лениво и без забот, — отказаться от счастья иметь своей женой существо, которое мне дороже всего в мире, отказаться от надежды составить ее счастье и пройти мимо ее бедствий, страданий, волнений, беспомощности, забыть ее, бросить ее — для того только, что, может быть, некоторые заботы когда-нибудь потревожат мое драгоценнейшее существование. Но конец оправданиям! Примирись с фактом, друг мой. Он неотразим...»

Ему хотелось быть примерным женихом и радовать невесту женскими пустячками, вроде весенней шляпки, шелковой материи на платье, симпатичной мантильи и теплой косынки, чепчиков и носовых платков тонкого полотна. Все эти вещицы взять было положительно неоткуда, и он просил брата непременно достать и прислать... Сестре Варе историю своей любви Ф. М. преподносил в смягченном и округлом виде: Варя должна была объяснить дядюшке Куманину, что женитьба его «не совсем нелепость». Соображения *пользы* скорее могли подействовать на дядю, чем признания в любовных безумствах. «Пойми, друг мой! Я до сих пор еще, да и вечно, буду под надзором, под недоверчивостью правительства. Я заслужил это моими заблуждениями. Поверь же, что человеку, остепенившемуся, женившемуся, следовательно, изменившему свое направление в жизни, поверят более, чем свободному как ветер. Возьмут в соображение, что женатый человек не захочет жертвовать судьбою семейства и не увлечется пагубными идеями так же скоро, как и молодой человек (каким был я), зависящий только от себя. А я ищу снискать доверие правительства; мне это надобно. В этом вся судьба моя, и я уже конечно скорее достигну цели моей, хотя бы не пришло позволение писать и печатать».

Даже если бы изложенные для дядюшки резоны и в самом деле стояли во главе угла, то и в этом случае в них не было бы ничего зазорного. Цель писателя — писать и печататься, как и цель женатого мужчины — иметь возможность содержать семью на средства от своего труда, упирались в одну и ту же преграду: надзорное состояние. Тот факт, что статус семейного человека в какой-то степени повышал шанс на «снискание доверия», ничуть не умалял обе цели. Ф. М. имел самые веские основания писать сестре: «Знай, что я уже давно решил эту женитьбу, что это думано и передумано $1^1/_2$ года, хотя я не имел положительных надежд до производства, и что теперь я *ни за что не отстану* от моего намерения».

Накануне свадьбы Достоевский писал Михаилу: «В своих силах, если только получу позволение, я уверен. Не сочти, ради Христа, за хвастовство с моей стороны, брат бесценный, но знай, смело, будь уверен, что мое литературное имя — непропадшее имя. Материалу в 7 лет накопилось у меня много, мысли мои прояснели и установились; и теперь, когда каждый несет лепту свою на общую пользу, не откажут и мне быть полезным».

Желание писать и печататься, даже не ради упрочения имени, а ради написанного, было столь сильным, что он готов был печатать свои вещи «*хоть навсегда*» без имени или под псевдонимом. «Если печатать не позволят еще год — я пропал. Тогда лучше не жить! Никогда в жизни моей не было для меня такой критической минуты, как теперь».

Ф. М. не ошибся в призвании, верил в свое литературное имя, был безоглядно влюблен в будущую жену, искренне, а не как циник-торгаш хотел помочь Вергунову, надеялся на долгое семейное счастье и на то, что рано или поздно освободится от долгов и материальной зависимости. Многим из его надежд не суждено будет сбыться, но тем не менее — уже после свадьбы — он напишет Врангелю: «Отношения с Марией Дмитриевной занимали всего меня в последние 2 года. По крайней мере жил, хоть страдал, да жил!»

Наверное, то же самое могла бы сказать о себе и Исаева. Экзальтированная, экспансивная, душевно развитая, державшаяся с достоинством в ситуациях, чреватых сплетнями и пересудами, она тоже была подвержена сильным страстям и несомненно смогла оценить степень привязанности Достоевского, граничащей с одержимостью. Накал его чувств не мог не увлечь, не мог оставить безучастной ее чуткую душу. «Понятно, как скоро они поняли друг друга и сошлись, — писал Семенов-Тян-Шанский, — какое теплое участие она приняла в нем и какую отраду, какую новую жизнь, какой духовный подъем она нашла в ежедневных с ним беседах и каким и она в свою очередь служила для него ресурсом во время его безотрадного пребывания в не представлявшем никаких духовных интересов городе Семипалатинске».

Однако открывая ему свое сердце, принимая его ухаживания и заботы, испытывая его любовь, она, по-видимому, меньше всего думала о будущем муже в терминах его призвания и профессии. На лестнице чинов и состояний он стоял — даже по меркам сибирского захолустья — на самой низкой ступени: недавний каторжник; бессрочный солдат, которого может оскорбить каждый «бурбон»; поднадзорный ссыльный, живущий на подачки родных. Даже и произведенный в прапорщи-

ки (младший офицерский чин, смехотворный для мужчины в 35 лет), без надежды на служебный рост, с мизерным жалованьем, потерявший здоровье, мечтающий об отставке и на переезд в Европейскую Россию (а там на что жить?), Ф. М. не мог казаться Исаевой завидным женихом...

Вряд ли ей была известна история громкой, но недолгой славы сочинителя Достоевского — в те два года, когда имя автора «Бедных людей» гремело в Петербурге, Мария Дмитриевна проживала в Астрахани и была поглощена замужеством и материнством. Даже если он и поведал ей подробности своего краткого триумфа, даже если сумел внушить ей, что связывает свое будущее с писательством, поверить в это было не так легко, учитывая, что предъявить что-либо «художественное» он сейчас не мог. А главное, с кем угодно, только не с ней, своей возлюбленной, невестой (а потом и с женой), Ф. М. мог говорить о том, что было делом его жизни. Кажется, она не очень и расспрашивала, относясь к его занятиям слегка скептически. Она, разумеется, много читала, была интересной собеседницей, знала языки (давала частные уроки французского в Кузнецке, в том числе и Вергунову), была воспитана на Карамзине и любила Тургенева, обожала французские романы, но принимать близко к сердцу угрюмую печаль «Бедных людей» или кошмары «Двойника» вряд ли была расположена. Наверное, куда больше, чем перо Достоевского, ее занимали мужнины столичные связи и родственные отношения.

Тот факт, что согласие на брак Мария Дмитриевна дала офицеру-прапорщику, а не писателю, не сулил в будущем ничего хорошего.

...Сразу после нового, 1857 года Достоевский погрузился в предсвадебные заботы. Необходимую для венчания, переезда, обзаведения сумму в 600 рублей серебром удалось взять взаймы, по первому слову и как будто на долгий срок, у полковника Н. Н. Ковригина, главного смотрителя рудников в Змеиногорске, с которым познакомился у Белихова. «Тысячи хлопот в виду, — писал Ф. М. Врангелю за два дня до отъезда. — Уж одно то, что из 600 руб. у меня почти ничего не останется по возвращении в Семипалатинск: так много и так дорого всё это стоит! А между тем я едва мог купить несколько стульев для мебели — так всё бедно. Обмундировка, долги, плата и необходимые обряды и 1500 верст езды, наконец, всё, что мог стоить *ее* подъем с места, — вот куда ушли все деньги. Ведь нам обоим пришлось начинать чуть не с рубашек — ничего-то не было, всё надо было завести». В это *всё* действительно входили белье, обувь, мебель, посуда, свечи, дрова, езда, житье...

Двадцать седьмого января, взяв отпуск на 15 дней, Достоевский выехал из Семипалатинска. В разрешении на брак, выданном на адрес Градо-Кузнецкой Одигитриевской церкви командиром батальона, значилось: «Покорнейше прошу священно-церковно-служителей, ежели со стороны невесты не будет предстоять законных препятствий, то г. Достоевского свенчать. От роду он имеет 34 года, холост; как он, так и невеста вероисповедания православного, г. Достоевский у исповеди и св. причастия ежегодно бывал, при чем прилагаю подписку невесты и свидетельство о смерти мужа ее, — по свенчании же не оставить меня уведомить». Почему-то Белихов уменьшил возраст жениха — ему шел уже тридцать шестой год (возраст невесты тоже был понижен на три года).

Препятствий по троекратному оглашению в церкви никаких никем объявлено не было. В «брачном обыске», однако, почему-то указывалось, что жених и невеста «родителей живых не имеют», хотя в Кузнецке знали об отце невесты, посылающем ей деньги из Астрахани. Быть может, молодые опасались, что Д. С. Констант не даст разрешения на брак и это станет препятствием, которое затормозит или разрушит дело? Быть может, об этом и писал Ф. М. брату накануне свадьбы: «Брак наш совершится *непременно*. Есть только одно обстоятельство, которое может расстроить или по крайней мере отдалить наш брак на неопределенное время. Но *90* вероятностей на 100, что этого обстоятельства не будет, хотя надо всё предвидеть. (Об этом обстоятельстве я не пишу: долго рассказывать, после всё узнаешь.) Могу только сказать, что почти наверно я женюсь на ней. Если я женюсь, то свадьба будет сделана до $^1/_2$ февраля, то есть до масленицы. Так уж у нас решено, если всё уладится и кончится благополучно». О неком обстоятельстве, которое может отдалить брак на неопределенное время, Ф. М. писал и Врангелю, добавляя, что «по всем видимостям, кажется, оно *не случится*».

Оно и не случилось: город был на стороне брачующихся против казенных формальностей. Страхи и предубеждения насчет кузнецких обывателей — «гадин и дряней» — тоже были напрасны: окружной исправник И. М. Катанаев, богач и хлебосол, в доме которого М. Д. давно была своим человеком, стал «поручителем по невесте», а жена исправника, ценившая в Марии Дмитриевне воспитанность, ум и образованность, все заботы и труды по устройству свадьбы взяла на себя[44]. «Весть о том, что на Исаевой женится какой-то приезжий офицер-писатель и что свадьбу устраивает Катанаева, быстро облетела весь город, так что 6 февраля 1857 г., в один день, назначенный для бракосочетания, Одигитриевская церковь оказалась на-

полненной народом*. В самом деле, благодаря участию Катанаевой, свадьба вышла весьма пышная»[45].

Из воспоминаний очевидцев: «Присутствовало все лучшее кузнецкое общество... Дамы были все разнаряжены... В церкви — полное освещение. Сначала, как водится, приехал жених. Он, помню, был уже немолодой... Одет он был в военную форму, хорошо, и вообще, был мужчина видный. Жениха сопровождали два шафера: учитель Вергунов и чиновник таможенного ведомства Сапожников. Скоро прибыла и невеста, также с двумя шаферами; один из них был сам исправник Иван Миронович Катанаев. Худенькая, стройная и высокая, Марья Дмитриевна одета была очень нарядно и красиво, хоть и вдовушка... Венчал священник о. Евгений Тюменцев в сослужении с дьяконом (по "брачному обыску" — о. Петром Углянским). Были и певчие... После совершения таинства молодые и гости отправились на вечер в дом, кажется, Катанаевых...»[46]

Неделя, проведенная Достоевскими в Кузнецке, стала праздником. Союз, в котором грезилось «бесконечное счастье», стал фактом — очередь была только за счастьем. Общество Кузнецка могло видеть лица молодоженов и, по слухам, было ими очаровано. «В Кузнецке я почти никого не знал, — сообщал Ф. М. брату через месяц после венчания. — Но там она сама меня познакомила с теми, кто получше и которые все ее уважали. Посаженным отцом был у меня тамошний исправник с исправницей, шаферами тоже порядочные довольно люди, простые и добрые, и если включить священника да еще два семейства ее знакомых, то вот и все гости на ее свадьбе».

Священник Е. Тюменцев: «Свадьбу праздновали просто, но оживленно. Ф. М. бывал у нас в доме раз десяток, пивали чай, кофе и русскую, но в самом умеренном виде; беседы его, хоть и непродолжительные, были самые откровенные, задушевные; говорил неумолкаемо, плавно, основательно; о каждом предмете или

* «Накануне своей свадьбы Мария Дмитриевна провела ночь у своего возлюбленного, ничтожного домашнего учителя, красивого мужчины, которого она отыскала после прибытия в Кузнецк и которого втайне любила давно», — в порыве мстительного гнева писала фантазерка Л. Ф. Достоевская, убежденная в достоверности сведений, быть может, и полученных от матери, но преувеличенных и искаженных до крайности. Мемуаристка не знала, однако, что Ф. М., прибывший в город накануне свадьбы, 5 февраля, остановился и ночевал в крохотной квартирке, где с девятилетним сыном проживала его невеста; что хозяин домика, И. Д. Дмитриев, был поручителем по невесте, а предполагаемый возлюбленный — поручителем по жениху; что весь город, превратившийся в глаза и уши, следил за главными лицами этой свадьбы: коварство невесты, слух о котором распространился бы незамедлительно, не сошло бы ей с рук. И, конечно, в голову Любови Федоровне не пришла мысль о том, что вероломство не вяжется с образом порывистой и импульсивной М. Д. Исаевой.

расскажет, или расспросит до мельчайших подробностей; наблюдательность его во всем высказывалась в высшей степени»[47].

Из воспоминаний очевидца, встречавшегося с Ф. М. на вечерах у Катанаевых: «Достоевский присутствовал на них вместе с невестою... всегда бывал в очень веселом расположении духа, шутил, смеялся. Здесь, в Кузнецке, под влиянием близости любимого существа, вдали от служебных обязанностей, от мест, неприятных тяжелыми воспоминаниями, Федор Михайлович чувствовал себя если не вполне счастливым, то удовлетворенным. Этим и можно объяснить его хорошее расположение духа... Когда устраивались карты, Ф. М. не отказывался принимать в них участие; случалось ему, как и другим, выигрывать и проигрывать... Нередко видели Ф. М. в его военном плаще гуляющим по улицам города вместе с Марьей Дмитриевной»[48].

Медовая неделя пролетела как один день: вечера с застольями и танцами в семейных домах, прогулки, домашние чаепития. Перед отъездом супруги пришли на могилу, где прежде стоял лишь деревянный крест, а теперь была положена чугунная плита с надписью. Местные жители полагали, что в составлении эпитафии участвовал и Ф. М.: «Аз есмь воскресение и живот, веруяй в Мя имут живот вечный. Здесь покоится тело Александра Ивановича Исаева. Он умер 4 августа 1855 года».

«Всё кончилось благополучно», — напишет Достоевский брату уже из Семипалатинска. Благополучно, но не безоблачно, мог бы добавить он: «У меня с новым порядком вещей завелось столько хлопот и дел, что и не знаю, как голова не треснет». Деньги, взятые у Ковригина, были истрачены до последнего рубля, сверх того еще сотня взаймы. И все равно экипировка вышла бедной, свадьба — скромной, и только закрытый экипаж для долгого путешествия отвечал условиям морозной зимы, плохой дороги и слабого здоровья жены. На обратном пути они, как и было заранее договорено, остановились в Барнауле, полагая, что всего на сутки.

В Барнауле их ждал Семенов. На пути в Кузнецк Достоевский провел с ним несколько дней, которые запомнились другу на всю жизнь: Ф. М. читал вслух отрывки из только что начатого «Мертвого дома». «Не легко достался ему этот способ развития своих природных дарований, — писал Семенов. — Болезненность осталась у него на всю жизнь. Тяжело было видеть его в припадках падучей болезни».

Припадок, первый после свадьбы, настиг Достоевского в Барнауле, куда он приехал, как вспоминал Семенов, «в самом лучшем расположении духа». «Тут меня посетило несчастье: совсем неожиданно случился со мной припадок эпилепсии, перепугавший до смерти жену, а меня наполнивший грустью и

унынием. Доктор (ученый и дельный) сказал мне, вопреки всем прежним отзывам докторов, что у меня *настоящая падучая* и что я в один из этих припадков должен ожидать, что задохнусь от горловой спазмы и умру не иначе, как от этого. Я сам, — рассказывал Ф. М. брату, — выпросил подробную откровенность у доктора, заклиная его именем честного человека».

Мария Дмитриевна, давно знавшая о его болезни, впервые слышала этот страшный крик, этот стон; впервые видела, как содрогается тело в ужасных корчах, как мертвенно синеет лицо, омрачается сознание, на губах выступает пена. Ф. М., прежде лечившийся от судорог лежанием на нарах или на кровати, должен был крепко задуматься. Надо полагать, барнаульский эскулап крепко напугал его, если спустя месяц после свадьбы пациент сокрушался, что связал себя семьей. «Какие отчаянные мысли бродят у меня в голове. Но что об этом говорить! Еще, может быть, и неверно, что у меня настоящая падучая. Женясь, я совершенно верил докторам, которые уверяли, что это просто нервные припадки, которые могут пройти с переменою образа жизни. Если б я наверно знал, что у меня настоящая падучая, я бы не женился».

На пути к «бесконечному счастью», помимо бесправного положения, материальных невзгод и быстрой смены настроений Марии Дмитриевны, вставало нечто действительно грозное и неумолимое. Больного пугало, что припадок может настичь в самом неподходящем месте и в самое неудобное время. «В карауле, например, затянутый в узкий мундир — я задохнусь непременно, судя по рассказам свидетелей припадка, которые видели, что делается с моей грудью и с моим дыханием». Вероятно, и жена теперь *всегда* боялась, что с ним (с ними!) *это* случится снова, и снова в самый неподходящий момент: ее надежды на обретение гармонии во втором браке непредсказуемо осложнялись.

Четверо суток понадобилось Достоевскому, чтобы оправиться после сильнейшего припадка. В Семипалатинск они приехали разбитые, подавленные, измученные тревогой и тяжелой дорогой, и тут же в город прибыл бригадный командир М. М. Хоментовский — проводить смотр войскам, так что Ф. М. обязан был являться на парады. И нужно было устраиваться на новом месте: обзаведение требовало от молодоженов больших забот. Квартиру из четырех комнат Ф. М. нанял во втором этаже (хозяева и прислуга занимали нижний этаж) только что отстроенного двухэтажного дома местного почтальона Ляпухина на Крепостной улице. «Первая маленькая комната была столовой, рядом спальня, налево из первой комнаты гостиная — большая угловая комната, а из гостиной налево

дверь в кабинет. Меблированы комнаты были очень просто, но очень удобно: в гостиной диван, кресла и стулья были обиты тисненым дорогим ситцем, с красивыми букетами, а возле кабинетной двери налево диванчик в виде французской буквы S и несколько маленьких столиков. У углового окна стояло кресло, на котором любил сидеть Федор Михайлович, и близ окна куст волкомерии в деревянной кадочке. На окнах и дверях висели занавески; в остальных комнатах также было убрано мило, просто и уютно. Прислугой у Достоевских был один денщик, по имени Василий, которого они отдавали учить кулинарному искусству; в продолжение всей военной службы Достоевского он был у них поваром, лакеем и кучером. Достоевские отзывались о нем как о человеке незаменимом. Во время болезни Федора Михайловича, когда с ним случались припадки эпилепсии, Василий ходил за ним, как за ребенком»[49].

Впрочем, Федор Михайлович никогда не жаловался, что жена переложила уход за ним на немолодого денщика. «Брат одержим теперь падучею болезнью и вообще расстроенного здоровья, — сообщал Николай Достоевский брату Андрею. — Она [жена] ходит за ним с непоколебимою ревностью, и вообще, как слышно, они живут душа в душу»[50]. *Слышать* об этом он мог только из первых уст — от Ф. М., который старался заочно сблизить родных. «Жена, — писал он сестре Варе, — просит, чтоб ты ее полюбила. А она тебя любит давным-давно. Всех вас она уже знает от меня с самого 54-го года. Все письма твои я читал ей, и она, женщина с душой и сердцем, была всегда в восхищении от них». С Михаилом Ф. М. был откровеннее. «Это доброе и нежное создание, немного быстрая, скорая, сильно впечатлительная; прошлая жизнь ее оставила на ее душе болезненные следы. Переходы в ее ощущениях быстры до невозможности; но никогда она не перестает быть доброю и благородною. Я ее очень люблю, она меня, и покамест всё идет порядочно».

Поправки к картине первых недель брака трудно было не заметить, и, должно быть, *Mich-Mich* пытался разгадать, что же на самом деле стоит за словами брата о характере жены: «немного быстрая», «переходы быстры до невозможности» — лихорадочная? капризная? раздражительная? суетливая? И что значит это «но» перед словами о добре и благородстве? И это «покамест»? Будто брат терял уверенность, что заветное счастье уже в руках... Вряд ли и Варя пропустила странноватые акценты письма Федора. «Жена просит вас в письме своем полюбить ее. Пожалуйста, прими ее слова — не за слова, а за дело. Она правдива и не любит говорить против сердца своего. Полюбите ее, и я вам за это буду чрезвычайно благодарен, бесконечно. Живем кое-как, больших знакомств не делаем, деньги

бережем (хотя они идут ужасно) и надеемся на будущее, которое, если угодно Богу и монарху, устроится».

Почему через полтора месяца после свадьбы явилось это «кое-как»? эти «если бы» («если б не легкая хворость, еще оставшаяся во мне, то я вполне был бы спокоен и счастлив»)?

Меж тем деньги от дяди Куманина, присланные на свадьбу (600 рублей серебром), обеспечивали жизнь семейства на несколько месяцев вперед. Достоевский был полон желания поставить свою семейную жизнь на прочный фундамент *долга* и *обязанностей*, которыми, как он теперь считал, даже полезно себя *связать*. «Если человек честен, то явится и энергия к исполнению долга. А не терять энергию, не упадать духом — это главная потребность моя». Кажется, весной 1857-го счастье молодоженов ничем еще не было омрачено: несколько строк, адресованных сестре, которые Мария Дмитриевна приписала в письме мужа Д. С. Константу, свидетельствовали, насколько преуспел Ф. М. в заботах о своей семье и насколько ценила эти заботы его жена. «Муж мой посылает вам всем поклон и просит полюбить его так же братски, как когда-то любила ты искренне доброго Александра Ивановича... Скажу тебе, Варя, откровенно — если б не была так счастлива и за себя и за судьбу Паши, то, право, нужно было поссориться с тобою, как с недоброю сестрою, но в счастье мы всё прощаем. Я не только любима и балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем, — даже уважаема и его родными. Письма их так милы и приветливы, что, право, остальное стало для меня трын-травою. Столько я получила подарков, и все один другого лучше, что теперь будь покойна, придется мало тебя беспокоить своими поручениями».

...Постепенно жизнь семейства входила в спокойную колею. Достоевские бывали с визитами в дружественных семейных домах, иногда принимали у себя — для Марии Дмитриевны, два года назад покинувшей местное чванливое общество, которое пренебрегало ею из-за пьяницы Исаева, это был реванш. Им были рады и в компаниях «гуляк» — у холостяка Белихова, у полковника Хоментовского, который, предвкушая шумное веселье и находясь «под парами», принимал гостей в самом нестеснительном виде; у командира линейного казачьего полка полковника Мессароша, в доме которого шла большая карточная игра («строгий по службе, Мессарош, однако, проявлял себя дома как очень любезный и гостеприимный хозяин. Не менее любезна была и супруга его. Квартира Мессароша была для Достоевского также одной из приятных»[51]). С радушием встречали Достоевских и в доме Ковригиных, и у судьи П. М. Пешехонова, на вечерах которого господствовали

танцы и карты, и у А. И. Бахирева, одного из самых образованных офицеров Семипалатинска. «Он отличался широким кругозором, большой любознательностью и был очень способный человек... Выписывал толстые передовые журналы, живо интересовался русской литературой и ее течениями и очень много читал. Достоевский не мог не отличить его в офицерской среде и с удовольствием беседовал с ним»[52] (а Бахирев аттестовал Достоевского как исправного солдата, который отличался «молодцеватым видом и ловкостью приемов при вызовах караула в ружье»[53]).

Среди коротких знакомых оказалась семья ротного командира Артемия Ивановича Гейбовича и его жены Прасковьи Михайловны. «Знакомство их, — вспоминала дочь Гейбовичей, З. А. Сытина, в памяти которой Ф. М. остался как «добрейший высоконравственный человек, хороший семьянин и добрый, верный друг», — продолжалось три года, и они расстались друзьями. Федор Михайлович очень уважал и любил все наше семейство; особенным же вниманием и расположением его пользовались я и моя сестра, Лиза. Достоевские часто нас приглашали к себе, и мы бывали у них с отцом или матерью; иногда случалось, что заедут к нам Федор Михайлович или Марья Дмитриевна и увезут нас к себе. Мы очень любили бывать у Достоевских потому, что они были всегда очень добры и ласковы к нам, кормили нас всевозможными сластями и дарили нам разные вещицы. В то время у нас, в Семипалатинске, были в большой моде папиросы фабрики М. М. Достоевского, брата покойного писателя, продававшиеся в ящиках*. Ящик для папирос был длинный и не широкий, вроде сигарного; не знаю, сколько там было сотен папирос, но ящик был разделен пополам перегородкой — в одной половине были папиросы, в другой какой-нибудь сюрприз: фарфоровая вещица, ложка или тому подобное. Эти папиросы продавались в Семипалатинске, кажется, по четыре рубля за ящик. Ф. М. часто покупал эти папиросы, и тогда для нас был праздник: все прилагаемые к ним подарки Ф. М. дарил нам. У меня и до настоя-

---

* О своем табачном предприятии М. М. Достоевский подробно написал брату в апреле 1856-го: «Я начал фабрику, как ты сам знаешь, без всякого капитала. У меня пошло хорошо. Но самое расширение производства вместо того, чтобы увеличить мои средства, только стеснило их. Я должен был сделать кредит, ждать деньги с купцов по нескольку месяцев и потому сам покупать все на векселя. Деньги часто в срок не приходят, а векселя не ждут. Это не прежние наши кредиторы... мясники и прочие, которых, бывало, умаслишь словами, они и ждут, чтобы появиться опять месяца через два. В купеческом деле нельзя просить отсрочки. Пришел срок и платить должно, иначе лишаешься чести и делаешься банкрутом. Я не понимаю, как у меня еще до сих пор не поседели волосы от забот».

щего времени хранится из этих подарков маленькая корзинка из перламутра, оправленная в бронзу с красным камнем на ручке. Но больше всего нам нравилось то, что Ф. М. позволял нам сидеть в своем кабинете, давал нам книги, и мы, погруженные в чтение, забывали все на свете»[54].

«Деньги бережем, хоть они и идут ужасно», — обмолвился Достоевский в письме Варе. Свидетелям первых месяцев его женатой жизни были очевидны причины «расточительности»: деньги зачастую шли на бедных. «Я очень хорошо знаю, — вспоминала Сытина, — что Достоевский долго содержал в Семипалатинске слепого старика татарина с семейством, и я сама несколько раз ездила с Марьей Дмитриевной, когда она отвозила месячную провизию и деньги этому бедному слепому старику. Достоевский делал много таких благодеяний, о которых, конечно, я не знала. Бывая у Достоевских, я часто находила там одного солдата. Это был поляк по фамилии Нововейский. Не знаю, был ли он разжалован в солдаты, или просто служил по набору, но Федор Михайлович очень любил его. Когда он приходил, Достоевский всегда приглашал его садиться, разговаривал с ним долго, угощал чаем или оставлял обедать. Нововейский был тихий, скромный, болезненный человек. Вскоре он женился, и я встречала его несколько раз у Достоевских вместе с женой... Я слыхала от моей покойной матери, что Федор Михайлович много помогал им в материальном отношении»[55].

Сам Ф. М. никогда не упоминал, что, живя в стесненных обстоятельствах и находясь в полной зависимости от родственников, в свою очередь, помогал тем, кому было еще хуже. «Самый бедный человек, не имеющий никакого общественного положения, приходил к Достоевскому как к другу, высказывал ему свою нужду, свою печаль и уходил от него обласканный. Вообще, для нас, сибиряков, Достоевский личность в высшей степени честная, светлая; таким я его помню, так я о нем слышала от моих отца и матери, и, наверно, таким же его помнят все, знавшие его в Сибири»[56], — писала мемуаристка, обладавшая благородной памятью: ей и в голову не приходило, что эти воспоминания когда-нибудь сочтут «лакировочными» и упрекнут в «аллилуйщине».

...В конце марта 1857 года шеф жандармов послал запрос военному министру генералу Н. О. Сухозанету о смягчении участи Достоевского ввиду возвращения петрашевцев из Сибири. 17 апреля был объявлен высочайший указ: «Желая явить новое милосердие подданным нашим, омрачившим себя политическими преступлениями и после того безукоризненным поведением доказавшим свое раскаяние, равно тем, которые еще в прежнее время, до дня нашего коронования, возвраще-

ны из мест ссылки или иным образом помилованы... мы повелеваем: 1) Из уроженцев великороссийских губерний, которые лишены были прав состояния решением генерал-аудиториата 19-го декабря 1849 года, состоящим в военной службе и вновь дослужившимся до офицерских чинов: прапорщикам Дмитрию Ахшарумову, Федору Достоевскому, Константину Дебу 1-му и Ипполиту Дебу 2-му, уволенным от службы, прапорщику Алексею Плещееву и унтер-офицеру Василию Головинскому; возвращенным из Сибири во внутренние губернии: канцелярскому служителю Сергею Дурову, Феликсу Толлю и Ивану Ястржембскому, даровать прежние права по происхождению, то есть: пользовавшимся до приговоров потомственным дворянством — все права дворянства потомственного, а принадлежавших к другим состояниям — права их прежних состояний, но всем без права на прежние имущества».

Вряд ли Достоевского мог огорчить последний пункт указа — о невозвращении прав на «прежние имущества»: *их* у Достоевского, если не считать отнятых при аресте книг и бумаг, не было вовсе. Но возвращение прав по происхождению включало на тот момент всё, чего он жаждал и добивался: право на литературное имя, которого он был лишен в течение восьми лет.

Уезжая в конце мая в двухмесячный отпуск «для излечения застарелой падучей болезни», о несчастных последствиях которой сообщил барнаульский доктор (на поездке мужа в форпост Озерный, в 16 верстах от Семипалатинска, горячо настаивала и Мария Дмитриевна), прапорщик Достоевский чувствовал себя полноправным писателем, для которого открыта дорога к издателям и читающей публике. Оставалось только энергичнее взяться за перо, чтобы осуществить на бумаге теснившиеся в голове замыслы.

То есть начать всё сначала.

Глава пятая
ГРАДУС СИБИРСКИХ СОЧИНЕНИЙ

Отставка. — Письма к издателям. — Свидетельство медиков. — Переписка канцелярий. — Из прапорщиков в подпоручики. — Интриги журналов. — «Мордасовская летопись». — «Огорченный» Опискин. — Дорога в Тверь. — У Гальяни, близ почтамта

К 1857 году восьмилетний перерыв в литературной деятельности Достоевского превысил его «доарестный» писательский стаж ровно вдвое. Надеясь с умом распорядиться багажом из

планов и набросков, Ф. М. выбрал самый непредсказуемый путь возвращения в профессию: путь литературного пролетария. При всем счастье, испытанном в момент, когда было получено государево прощение, он мечтал снова ощутить то состояние свободы, которое посетило его при выходе в отставку после первого года службы.

Прежде всего отставки нужно было добиться. «Для спокойствия моего и для того, чтоб посоветоваться с *настоящими* докторами и *принять* меры, мне *необходимо* выйти как можно скорее в отставку и переехать в Россию, но как это сделать? Одна надежда! Позволят печатать, получу денег и тогда перееду». Монаршее милосердие меж тем имело обыкновение не торопиться; поэтому следовало запастись терпением и начать работу, оставаясь в Сибири, — которая, как писал Ф. М. сестре Варе, его «давит». «Болезнь моя нисколько не проходит. Напротив, припадки случаются чаще. Уже три раза с апреля месяца были они со мной, когда я стоял в карауле, и, кроме того, раза три или четыре во сне. После них всегда остается тягость, бессилие. Тяжело мне переносить это, Варенька. Надеюсь, что государь император позволит мне переехать в Москву, чтоб лечиться. А здесь, у наших докторов, лечиться нечего».

Первые переговоры с издателями через доверенных лиц, в роли которых выступили *Mich-Mich*, Плещеев, этнограф Якушкин, показали: отставка — это полдела и нужно добиваться переезда в Европейскую Россию. «Надеюсь на высочайшую милость превосходного монарха нашего, уже даровавшего мне столько. Он призрит меня, несчастного больного, и, может быть, позволит возвратиться мне в Москву, для пользования советами докторов и для излечения болезни. Кроме того, где я достану себе пропитание, как не в Москве, где теперь столько журналов и где, верно, меня примут в сотрудники. Ты понять не можешь, брат, что значит переговариваться хотя об литературных делах заочно, писать — и не иметь даже необходимейших книг и журналов под рукой. Хотел было я, под рубрикой "писем из провинции", начать ряд сочинений о современной литературе. У меня много созревшего на этот счет, много записанного, и знаю, что я обратил бы на себя внимание. И что же: за недостатком материалов, то есть журналов за последнее десятилетие, — остановился. И вот так-то погибает у меня все, и литературные идеи и карьера моя литературная».

Неотступно стоял вопрос: на что жить? Где взять средства на дальний переезд? Ведь отставка лишала прапорщика даже мизерного жалованья, и, как напишет он в прошении на имя государя, «за мною, родителями моими и женою имения родового и благоприобретенного не состоит». Истаивал последний

рубль из денег, присланных дядей Куманиным. Ковригин, выдавший ссуду «хоть на год, хоть на два», уже через три месяца после свадьбы настойчиво, хотя и деликатно, напоминал о долге и даже как будто вознамерился опротестовать заемное письмо, срок которого истекал 1 января 1858 года. «Занять теперь не у кого! Тех людей нет, у которых я решился бы занять. Продать нечего. Жалование вперед я взять не могу (у нас новый командир, да и сумма вперед всегда выдается хлопотливо)», — писал Ф. М. брату, имея в виду историю с батальонным командиром Белиховым, который растратил казенные деньги, не смог вовремя покрыть недостачу и осенью 1857-го застрелился.

Возобновляя литературную деятельность, Достоевский больше всего боялся кабалы — писания на заказ, работы к сроку, превращения писательства в жалкое ремесло поденщика, выдумывающего повести для денег. Едва ли не во всех семипалатинских письмах тревожно, почти панически звучали клятвенные обещания никогда ничего не писать на заказ («От этой работы я с ума сойду»), сочинять для гонорара: «Да хоть бы я имел даже сильный талант, и тот пропадет в этой тоске». «Тоскливое, болезненное нерасположение духа», которое он испытывал в надоевшем городе («провинциальная жизнь, в которую поневоле втягиваешься, расходится со всеми моими потребностями», — писал он редактору «Русского вестника» М. Н. Каткову), отвращало даже от только что написанного; необходимо было явиться в публику «с чем-нибудь очень хорошим», сделать «хоть одно произведение безукоризненное».

Хотелось работать не торопясь, смаковать каждую деталь, «вдохновляясь ею по *несколько раз*». Хотелось уподобиться Гоголю, писавшему «Мертвые души» восемь лет, или Пушкину, чьи стихи походили на живую импровизацию, а в черновиках таился густой лес помарок (Достоевский прочел присланные Якушкиным «Материалы для биографии А. С. Пушкина» Анненкова). «Поверь, что везде нужен труд, и огромный, — убеждал он брата. — ...Всё, что написано сразу — всё было незрелое. У Шекспира, говорят, не было помарок в рукописях. Оттого-то у него так много чудовищностей и безвкусия, а работал бы — так было бы лучше».

Он брался писать и вскоре бросал начатое: не хватало справок и личных впечатлений, не хотелось писать приблизительно и наобум. Всего лишь за полтора года с момента объявления царской милости, пока он занимал деньги, ждал отставки, хлопотал о переезде, вел переписку с издателями, бился в нужде и тосковал, счастье возвращения в литературу как-то померкло. «Даже самые занятия литературою сделались для меня не от-

дыхом, не облегчением, а мукой», — признавался он. Нужны были, как оказалось, не только отставка, не только столица, не только спокойствие и оседлость, не только личное общение с журналами, нужна была единственно возможная система отношений с издателями, которая учитывала бы все нюансы творческого поведения писателя Достоевского, вновь обретающего профессию. Такая система была знакома ему не понаслышке.

Имея хотя бы небольшое литературное имя, можно было предложить издателю идею или замысел сочинения. Если он проявлял интерес, можно было просить аванс. Издатель, конечно, ставил условия и называл сроки, на которые непременно следовало соглашаться, но заведомо знать, что они нереальны. Поскольку первый аванс тратился не на текущие расходы и обеспечение жизни, а на уплату старых долгов, нужно было или вытребовать еще один аванс или, что хуже и рискованнее, вести параллельные переговоры с другим издателем, по поводу другого сочинения и пытаться получить деньги под другой замысел. Скомбинировав два заказа и два аванса, можно было браться за работу, рассчитывая сделать ее достаточно быстро: при конечном расчете за вычетом аванса — от гонорара с листа должно было остаться хоть что-нибудь.

Конечно, это была опасная зависимость: издатель мог расторгнуть договор в случае нарушения срока и потребовать аванс обратно; он мог также забраковать рукопись — в этом случае аванс тоже пришлось бы возвращать. Важно было склонить издателя к самой идее аванса — в этом, как убеждался Ф. М., и состоял успех всего предприятия. Автору, получившему аванс, деваться было некуда: безвыходное положение подгоняло и вынуждало завершать начатое. И хотя в молодые годы Достоевский вдоволь нахлебался этой методы («система всегдашнего долга, которую так распространяет Краевский, есть система моего рабства и зависимости литературной», — утверждал он в 1846 году), приходилось вновь обращаться к испытанному средству.

Первое письмо Каткову (январь 1858 года), которым начались более чем двадцатилетние отношения Достоевского с «Русским вестником», было написано по известному рецепту. Длинное, изобилующее подробностями письмо (автор детально рассказывал о структуре будущего романа, ни слова не говоря о его содержании, названии или теме) и творческими декларациями («Работа для денег и работа для искусства — для меня две вещи несовместные») исподволь подводило издателя к главному пункту. «Если угодно Вам будет иметь, для напечатания в этом году, мой роман, то не можете ли Вы мне

выслать теперь же, вперед за роман, недостающие мне и крайне необходимые 500 руб., серебром. Я знаю, что предложение мое довольно эксцентричное; но всё дело в том, как Вы его примете».

Михаил Никифорович предложение принял и искомую сумму без промедления выслал. Сочинение для «Русского вестника» еще не имело, по-видимому, вид рукописи: Достоевский сильно преувеличил степень готовности работы. Не имея для продажи готового текста, он, разумеется, предлагал не вдохновение, а всего лишь намерение работать в кредит (может быть, поэтому многие комментарии, содержавшиеся в письмах издателям и редакторам, больше говорили о тонкостях дипломатии автора, чем о тонкостях замысла).

Расчет удался. При всех невыгодах положения у Достоевского были и преимущества. От нового царствования веяло либеральным ветром; бывшего, но прощенного государственного преступника, отбывшего наказание, можно было использовать как свежее имя, как литературную сенсацию (собственно, на это во многом и рассчитывал Достоевский: «Я восемь лет ничего не печатал и потому, может быть, я буду занимателен для публики как новинка!»).

«Пишу к Вам не с тем, чтобы напоминать о Вашем обещании и торопить Вас, а единственно из желания сказать, что участие Ваше в предпринимаемом мною периодическом издании весьма приятно мне, — сообщал Достоевскому в июле 1858 года редактор только что основанного журнала «Русское слово», граф Г. А. Кушелев-Безбородко. — Надеюсь, что при содействии наших достойнейших писателей, к числу которых принадлежите Вы, я успею сделать что-нибудь на пользу развития родной и всеми нами любимой словесности».

К чести графа Кушелева, он не только похвалил опального литератора, но и обеспечил его материально, дважды выслав крупные суммы под честное слово и в счет будущих романов.

Творческая пауза (то есть время, когда Ф. М. формально мог писать, но по разным причинам ничего законченного не сделал) подходила к концу; из разрозненных замыслов, отрывков, набросков, заметок, эпизодов, о которых он все эти годы сообщал брату, должно было наконец оформиться нечто конкретное. Складывалась парадоксальная ситуация: больше всего автор боялся работать на заказ, на срок и из-за денег, в «системе всегдашнего долга»; однако, находясь вне этой системы, без заказчиков и журнальных кредиторов, сделать ничего не мог. Мечтая о свободе, он сам, своей волей, отрезал все пути к ней и загонял себя в кабалу, которая оказывалась прочной творческой уздой.

Обещанные сразу двум журналам сочинения заставили Достоевского сложить «в ящик» замыслы, о которых он периодически сообщал брату (но которые все-таки не имели вид текста, а существовали либо в планах, либо в воображении): «роман в трех книгах», «петербургский роман», «комический роман», «роман-исповедь», серию статей в жанре «писем из провинции». Из всего этого материала, которого, как он твердил, хватит «на целые томы», постепенно выделились два произведения — большое для «Русского вестника» и маленькое для «Русского слова». Много раз нарушая назначенные сроки, он закончил наконец и выслал (только в январе 1859-го!) Кушелеву «Дядюшкин сон». Уже ненавидя эту свою многострадальную повесть как неудачу, он не переводя дыхания дописал «Село Степанчиково», которое отослал Каткову по частям, в апреле и июне 1859 года.

...Подходило к концу десятилетие, начавшееся арестом, судом и Сибирью. Еще в январе 1858-го Ф. М. подал прошение на имя Г. Х. Гасфорта об отставке «по расстроенному совершенно на службе здоровью», приложив к нему реверс: проситель ручался, что если разрешится ему увольнение от службы, то более о казенном пропитании он просить нигде не будет. В марте 1859-го Гасфорт подал рапорт на высочайшее имя вместе с прошением и впечатляющим медицинским свидетельством. «В 1850 году в первый раз подвергся припадку падучей болезни (Epilepsia), которая обнаруживалась: вскрикиванием, потерею сознания, судорогами конечностей и лица, пеною перед ртом, хрипучим дыханием, с малым, скорым сокращенным пульсом. Припадок продолжался 15 минут. Затем следовала общая слабость и возврат сознания. В 1853 году этот припадок повторился и с тех пор является в конце каждого месяца. В настоящее время г-н Достоевский чувствует общую слабость сил в организме при истощенном телосложении и частовременно страдает нервною болью лица вследствие органического страдания головного мозга. Хотя г-н Достоевский пользовался от падучей болезни почти постоянно в течение четырех лет, но облегчения не получил, а потому службы Его Величества продолжать не может».

Канцелярская улита двигалась медленно: между запросами одного департамента и ответами другого проходили месяцы; только в мае 1858-го инстанции решили, что Достоевский «может быть уволен в отставку, но не иначе, как с запрещением въезда в С.-Петербург и Москву с учреждением над ним секретного надзора» (а Ф. М. надеялся выехать в Москву уже ближайшим летом). В июне канцелярии все еще выясняли порядок прохождения дела об увольнении (меж тем в августе Ф. М.

был сражен подряд четырьмя припадками эпилепсии, так что работать совсем не мог). В декабре инстанции вынесли промежуточное решение о необходимости для него всякий раз испрашивать высочайшее разрешение на временное посещение столиц, во время службы или по выходе в отставку. Три месяца продолжалось выяснение, где, кроме Москвы, может иметь жительство прапорщик Достоевский по увольнении, и как только была согласована Тверь, в проект «Высочайшего приказа об увольнениях» внесли статью о Достоевском: «Увольняется от службы, за болезнью, сибирского линейного № 7 батальона прапорщик Достоевский подпоручиком».

Отныне и до конца жизни статус писателя в казенных бумагах останется таким, как в увольнительном приказе: отставной подпоручик.

А он чувствовал, что выкарабкается, не пропадет от тоски и безденежья в глуши — сибирской или российской; строил планы, подумывал об издании избранного, начиная с «Бедных людей». Ему предстоял нелегкий выбор: у кого печататься, кому доверять. Осенью 1858-го из писем брата и Плещеева Ф. М. узнал, что бывшие его гонители, Некрасов и Панаев, ищут сотрудничества и готовы прислать денег в счет будущих работ. «На их предложение я не в состоянии решиться, — отвечал он брату. — Разве буду в последней крайности. Клянусь тебе, я не помню на них никакого зла, хотя эти люди поступили со мной зло и неблагородно. Теперь они меня жалеют; я их благодарю за это от всей души. Но мне не хочется, чтоб и они подумали обо мне худо теперь: только посулили денег, так уж я и бросился. Может быть, это дурная гордость — но она есть. И потому я лучше подожду и только в крайнем — в крайнем случае войду с ними в денежные условия. Разумеется, ты этих мыслей моих им не передай как-нибудь. Не хорошо — ведь тоже за их добрые чувства платить хоть не злыми, то всё же несколько для них обидными. Это я говорю только тебе».

Нельзя было обольщаться и посулами издателей: каждый соблюдал прежде всего свои интересы. Катков, выслав аванс, просил Ф. М. себя не насиловать и не тяготиться долгом — но эти «преблагородные» слова, как окажется, мало что значили. Теплилась надежда на «Русское слово» — в марте 1859-го там должен быть появиться «Дядюшкин сон». «Ты не поверишь, как я дрожу от мысли, что эта надежда оборвется. Мне тогда решительно не с чем будет подняться отсюда. И 1000-то рублей едва-едва станет на переезд... Хлопочи об этом займе. Скажи, что я им всегдашний буду работник, а надеяться они на меня могут... Без этих денег я пропал». Кушелев обещал выслать деньги без слов — и Достоевский получил их в конце марта.

Именно эта тысяча, которая мгновенно стала таять, как воск, да еще тысяча в долг от Плещеева, получившего наследство и предложившего дружескую помощь, дадут возможность раздать долги, купить тарантас и отправиться в путь; при этом Ф. М. рассчитал, что оставшихся денег хватит только до Казани, и снова просил брата не оставить его на полпути.

Удача с публикацией «Дядюшкиного сна» приободрила Достоевского. Его воображаемые диалоги с издателями «из смиренных сделались уж слишком заносчивы». При личном свидании с Кушелевым он собирался обсудить условия писания большого романа: полтора года срока, 300 рублей с листа и аванс три тысячи рублей серебром, чтоб жить во время работы. «Я очень хорошо знаю, — сердился он, — что я пишу хуже Тургенева, но ведь не слишком же хуже, и наконец, я надеюсь написать совсем не хуже. За что же я-то, с моими нуждами, беру только 100 руб., а Тургенев, у которого 2000 душ, по 400? От бедности я *принужден* торопиться, а писать для денег, следовательно, *непременно портить*». Его терзала обида: аристократу, помещику и богачу Тургеневу за «Дворянское гнездо» Катков предлагал гонорар, в несколько раз превышавший те скромные 50 рублей за лист, которые «Русский вестник» готов был заплатить за «Село Степанчиково», — и он, автор, на свой страх и риск, осмелившись просить Каткова довести плату с листа до 100 рублей, не мог и думать, что его просьба будет отклонена, роман отвергнут, а аванс в 500 рублей затребован обратно и что, смиряя самолюбие, ему придется искать место для «Степанчикова» в других журналах.

Достоевский возвращался в литературу, обремененный заботами о хлебе насущном, денежными долгами и бесчисленными бытовыми хлопотами. Здоровье было расстроено, семейное счастье обходило стороной. «Живем мы кое-как, ни худо, ни хорошо», — писал он брату в ноябре 1857-го. «Жизнь моя тяжела и горька. Не пишу теперь об ней ни слова», — глухо сообщал он Михаилу год спустя; его эпистолярные упоминания о Марии Дмитриевне сводились к формальным «жена кланяется», и только. Впереди их ждали не столица, а маленькая провинциальная Тверь с улицами, поросшими травой, и месяцы ожидания монаршего позволения вернуться в Петербург. И все же самое сильное переживание, которое Ф. М. испытал в летние месяцы 1859 года, когда писал предотъездные письма из Семипалатинска, а затем уже из Твери, имело характер честолюбивый и было связано с надеждой упрочить свое литературное имя.

Все свои упования он связывал с только что законченным «Селом Степанчиковом». При всей спешке срочной работы,

обещанной в «Русский вестник» и оплаченной вперед, он писал этот роман два года (с перерывом в середине для завершения «Дядюшкина сна»). Он был уверен, «как в аксиоме», что это его лучшее пока произведение, в которое он вложил душу, плоть и кровь. «Если публика примет мой роман холодно, — признавался он брату, — я, может быть, впаду в отчаяние». Роман мог появиться в печати уже к осени и почти совпасть с приездом в Тверь. В случае успеха можно было немедленно составить и издать два тома сочинений, поместив в первый том все написанное до ареста, а во второй — обе сибирские вещи. «Издание в 2000 экземпляров будет стоить 1500 руб., не более. Продавать можно по три руб. И потому, если я $1^1/_2$ года буду писать большой роман, то постепенная продажа экземпляров может меня обеспечить, и я буду с деньгами».

Сейчас, однако, дело было не только в материальной стороне. После десяти лет молчания Достоевскому важно было явиться в публику не просто с новой вещью, не хуже «Бедных людей». Как ни дорого было воспоминание на тему «новый Гоголь явился», Ф. М. вряд ли собирался заявлять о своей приверженности гоголевской школе. Его захлестывало обилие планов и замыслов, «главных» идей и «капитальных» мыслей, он терялся в «эпизодах, набросках и сценах», но за пять лет относительной свободы понял одно: вернуться в литературу должен новый Достоевский, а не «новый Гоголь».

Сказать новое слово в литературе — это был тот минимум, без которого вообще не имело смысла возобновлять писательскую деятельность. Все свои художественные удачи, а еще больше неудачи он расценивал с этой точки зрения: много лет спустя он сам реабилитирует «Двойника», обруганного кружком Белинского: «Серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил». Только в восьмидесятые годы критики оценят «Село Степанчиково» как сочинение зрелого, то есть «нового» Достоевского, увидят в сибирской повести бессмертные типы, универсальные характеры. И только это признание сможет пролить свет на «дерзость» Достоевского, просившего у Каткова вдвое увеличить гонорар. А сам он уже тогда, отослав рукопись, вдруг понял, что создал нечто значительное, необыкновенное. «В нем есть два огромных типических характера, *создаваемых* и *записываемых* пять лет, обделанных безукоризненно, — характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой», — говорил он о повести, которую считал несравненно выше «мордасовской летописи».

«“Дядюшкин сон” я отвалял на почтовых», — признавался Ф. М. тогда же, а спустя 20 лет подытожил: «Я написал ее тог-

да в Сибири, в первый раз после каторги единственно с целью опять начать литературное поприще, и ужасно опасаясь цензуры (как к бывшему ссыльному). А потому невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности. Еще водевильчик из нее бы можно сделать, но для комедии — мало содержания, даже в фигуре князя, — единственной серьезной фигуре во всей повести».

«Мордасовская летопись», начатая в 1855-м и вобравшая в себя многие черты провинциального Семипалатинска (царство сплетен, слухов, интриг, дамских войн за первенство в обществе), создавалась как комедия, с комической обстановкой и комическими лицами — «шутя». «Так понравился мне мой герой, что я бросил форму комедии... собственно для удовольствия как можно дольше следить за приключениями моего нового героя и самому хохотать над ним. Этот герой мне несколько сродни», — писал Ф. М. в январе 1856-го Майкову, имея в виду момент, когда его, автора, посетили «грусть и горе» и он потерял то, что «составляло для него всё».

Шутя выходить из личных невзгод (имелась в виду разлука с Исаевой, уехавшей с мужем в Кузнецк), следить удовольствия ради за гротескными приключениями богатого старика князя, «полуразвалины», состояние которого в четыре тысячи душ заставляет трепетать девиц на выданье, их расчетливых мамаш и хищных наследников, и считать, что такой герой «несколько сродни» ему, 34-летнему ссыльному бедняку, — для этого нужна была недюжинная фантазия. «Вполовину умерший и поддельный» князь, «мумия, закостюмированная в юношу», «мертвец на пружинах», опозоренный обывателями Мордасова, вызывал жалость к доверчивому слабоумию старости, но был слишком далек от реалий действительной жизни сочинителя. И если промелькнул где-то на обочине повествования учитель уездного училища, «почти еще мальчик», умеющий толковать о «проклятом Шекспире», кропать стишонки и вовремя умереть от чахотки, — как далеко все это было от того «треугольника», одной из сторон которого довелось быть автору! Да и образ красавицы Зины, ставшей в конце концов супругой генерал-губернатора некоего отдаленного края, никак не рифмовался с молодой вдовой из Кузнецка, мечущейся меж двух бедняков...

Причудливая фантазия автора «невинной» повести слишком далеко ушла от повседневности его собственного бытия, не обладала эффектом зеркала и не преследовала каких бы то ни было мстительных целей.

Сидя в Семипалатинске и сочиняя роман для «Русского вестника», Ф. М. не мог и предположить, что «Село Степанчико-

во» будет напечатано не у Каткова, а у Краевского, в «Отечественных записках». И уж совсем нечаянно — простодушный и далекий от литературы герой повести полковник Ростанев, один из «огромных типических характеров», станет восторженно рассуждать: «"Отечественные записки", и превосходное название... не правда ли? так сказать, всё отечество сидит да записывает... Благороднейшая цель! преполезный журнал! и какой толстый! Поди-ка, издай такой дилижанс! какой толстый! А науки такие, что глаза изо лба чуть не выскочат...»

Судьба публикации была угадана нечаянно, но точно.

Считая «Село Степанчиково» (а не «Дядюшкин сон», напечатанный полугодом раньше) началом своего возвращения в литературу, Достоевский, как и в «Бедных людях», наделил героев фанатической страстью к литературным занятиям. Писательское поприще по демократичности и доступности опять представилось крайне заманчивым: то, чего трудно добиться, служа в департаменте, — известности, славы, богатства, — могла сделать литература. Тип «огорченного литератора», ужаленного «змеей литературного самолюбия», шута, графомана, ханжи, самодура и приживальщика, оказался главным открытием ссыльного Достоевского.

«Когда-то он занимался в Москве литературою, — говорилось о Фоме Фомиче. — Мудреного нет; грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось... а литература способна загубить и не одного Фому Фомича — разумеется, непризнанная... Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники».

Создавая образ «огорченного» литератора, бездаря и графомана, Достоевский сочинил ему особый тип литературного поведения (Фома Фомич страстно ненавидит профессиональных писателей и глубоко презирает дилетантов), а также «творческую биографию». О каких аналогах могла идти речь в связи с невеждой-графоманом, чья «добровольная восьмилетняя литературная каторга» (то есть стаж пребывания в профессии) ознаменовалась «необыкновенной дрянью»? «Нашли, например, начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии; потом чудовищную поэму: "Анахорет на кладбище", писанную белыми стихами; потом бессмысленное рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том,

как надо с ним обращаться, и, наконец, повесть “Графиня Влонская”, из великосветской жизни, тоже неоконченную». О каких реальных впечатлениях Достоевского можно было говорить в связи с «огорченным» Фомой Фомичом?

Достоевский помнил свою молодость, когда, порвав с «современниками», задолжав Краевскому, он — после блестящего дебюта и громкой, но недолгой славы — почувствовал себя в литературе, как в аду, и намеревался завести «процесс» со всеми журналами. Что и говорить — даже и десять лет спустя этого процесса он выиграть не мог. Его самолюбию и честолюбию был нанесен мощный удар — трудно даже представить, что перечувствовал он за годы упорной, но тщетной работы, когда свобода обернулась творческим бессилием. Страстное желание реабилитировать себя как писателя, пусть и «хуже Тургенева, но ведь не слишком же хуже», вряд ли могло быть связано с «Дядюшкиным сном», комическими приключениями молодящегося старика.

Необъятный жизненный материал, который был накоплен 37-летним писателем; впечатления о литературном круговороте сороковых годов, в самом центре которого он оказался; общественно-литературные факты нового десятилетия, которые он мог издалека наблюдать и которые жадно впитывал, вошли в «Село Степанчиково» на правах жесткой карикатуры, безжалостной пародии. Полемический пыл, не имевший выхода, невозможность быстро и эффективно сквитаться с литературными обидчиками Достоевский преобразил в феноменальное художественное явление, в некий универсальный тип, чье человеческое ничтожество и чья деспотическая сила были предельно понятны и все же загадочно непостижимы.

Достоевский испытал на себе, что́ ощущает человек с умом и талантом, когда его сперва возносят до небес, а затем повергают в прах. Но что происходит с несчастным, забитым, униженным существом, если вдруг оно случайно возвысится и получит власть над своими обидчиками и угнетателями? Что может сделаться из Фомы, «втайне сластолюбивого и самолюбивого», из Фомы — огорченного литератора, шута и деспота, из Фомы — хвастуна, а при удаче нахала? Результаты эксперимента превзошли все ожидания. Казалось бы, ответ был до банальности прост: бывший раб, превратившись в господина, становился палачом и тираном. Собственно говоря, именно это и произошло с Фомой Фомичом: взяв в доме власть и став деспотом, он переворачивал жизнь в Степанчикове вверх дном. Однако на этом превращения не заканчивались — в сюжете романа чудилась и какая-то другая игра.

С «ужасным пороком» самолюбия и честолюбия Достоевский был знаком слишком хорошо; так же хорошо он знал, как выглядят обидчивость и мнительность. Но каков может быть этот порок в чистом виде, не смягченный человечностью и талантом? Что вообще будет с человеком, если его наградить «ужасным пороком», лишив малейших способностей? «Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что всё это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнительностью», — повествовал автор.

Литературные современники Достоевского, писавшие едкие эпиграммы и обвинявшие его в зависти к Гоголю, «которому он должен в ножки кланяться», не заметили виртуозной изобретательности и изощренной психологической игры «Села Степанчикова» — в Фоме Фомиче видели лишь пародию на Гоголя «в грустную эпоху его жизни» (впечатление А. А. Краевского). Но Достоевский не только пародировал Гоголя, но и поднимал на смех свои собственные страхи и пороки. Он показал, что бывает, когда безграничное самолюбие овладеет ничтожной личностью, и как тот же самый порок способен корежить человека даже и выдающихся способностей.

Завершив «Село Степанчиково», Ф. М. мог быть доволен. В романе содержались сцены высокого комизма, «под которыми сейчас же подписался бы Гоголь», но главное заключалось в другом: новое сочинение парадоксально продолжало центральную тему «Бедных людей» — тщетные попытки главного героя прорваться в большую литературу. Творчество как единственный шанс выжить, как спасительное средство от гибели, безумия, провинциального отупения, как прибежище в трагическом хаосе жизни — таков был тайный мотив его «комического романа». Все, что сидело занозой в сердце: уязвленное самолюбие, неудовлетворенное честолюбие, мнительность и подозрительность, зависть к удачливым и обеспеченным литераторам, возмущение бесчестными и циничными торгашами-издателями («жульем», как он их называл), — все это было преображено романным вымыслом, пущенным в самостоятельную жизнь.

Предстояло, однако, пережить еще одно потрясение на тему самолюбия. Уже дважды за последний год бывшие обидчики — «современники» и лично Некрасов — заочно выражали

сочувствие и предлагали сотрудничество. Весной 1859-го в разговоре с Плещеевым Некрасов признал, что если во время ссылки Достоевского в «Современнике» действительно было дурно о нем говорено, то это очень гадко[57]. Достоевский дважды из-за «дурной гордости» не решался принять их предложение. Однако после отказа «Русского вестника» он станет упрашивать брата снестись с Некрасовым и как можно скорее устроить «Село Степанчиково» в «Современник». И тогда последует оскорбительный ответ: ему предложат мизерные гонорарные условия (намного хуже катковских) и пообещают напечатать роман только через год. Это было равносильно отказу. «Некрасов — чуткое животное, — негодовал Достоевский. — Узнав историю с "Вестником" и зная, что я, приехав из Сибири, истратился, нуждаюсь, — как не предложить такому пролетарию сбавку цены? Непременно согласится! — думают они... зная наверно, что я в ожидании и уверенности денег загрязну в нужде еще более и соглашусь наверно на всё, что мне ни дадут, — были бы хоть какие-нибудь деньги!.. Торгаши... Подлецы».

Прошлое возвращалось. Казалось бы: кому как не «Современнику», журналу демократического толка (таким стал он к исходу 1859 года), следовало поддержать бывшего каторжника, едва не поплатившегося жизнью за участие в тайном обществе? Кому как не «Современнику» полагалось бы распахнуть двери перед бедствующим писателем, пострадавшим за чтение письма Белинского Гоголю? Ведь именно такой жест ожидался от Некрасова — но вышло иначе. Поэт и беллетрист П. М. Ковалевский писал: «Ошибся он [Некрасов] один раз, зато сильно, нехорошо и нерасчетливо ошибся, с повестью Достоевского "Село Степанчиково", которая была точно слаба, но которую тот привез с собой из ссылки и которую редактор "Современника" уже по одному по этому обязан был взять»[58]. Мемуарист утверждал: «В судьбе Достоевского, разбитого каторгой, больного падучей болезнью, озлобленного, щекотливого и обидчивого, отсюда произошел поворот, надевший на весь остаток его жизни кандалы нужды и срочного труда»[59].

У Ф. М., однако, было иное представление об интриге журнала вокруг его сочинения. «Им не в первый раз становиться в тупик и браковать хорошие вещи... Современники нарочно не поддержат меня, именно чтоб я и вперед брал не много». Нужно было во что бы то ни стало избежать новых унизительных отказов — притихнуть, никому не показывать своей досады, заглушить в себе горечь поражения.

Победного возвращения в литературу не получалось. Не получалось даже сколько-нибудь громко заявить о себе. Не-

удачу с Катковым и Некрасовым надлежало, по возможности, скрыть, чтобы не вызвать злорадства в других журналах, и поэтому отказать Некрасову следовало непременно, но «самым мягким, самым сладким и нежным образом». Подозревая одну только торгашескую интригу, Достоевский еще не знал приговора, вынесенного ему «современниками» и ставшего достоянием литературного Петербурга. Он просил брата быть крайне внимательным: «В сношениях с Некрасовым замечай все подробности и все его слова, и, ради Бога, прошу, опиши всё это подробнее. Для меня ведь это очень *интересно*».

Однако «все слова» Некрасова были безоговорочны и беспощадны: «Достоевский вышел весь. Ему не написать ничего больше»[60].

Приговор пришелся на Тверь, куда Ф. М. обязан был явиться на жительство после сибирской ссылки. Глядя из Семипалатинска, с которым он прощался 1 июля 1859-го (и таки «порядочно почокался» с тамошними приятелями, а своему ротному командиру Гейбовичу подарил книги, посуду, часть мебели, военный мундир, саблю и эполеты), жизненные и литературные перспективы выглядели иначе: полное прощение, обретенные права, два пристроенных сочинения, бездна замыслов и набросков; у хозяйки дома Ляпухиной от жильца Достоевского осталось много разной писаной бумаги, которой потом она и кринки с молоком обертывала, и стены комнат под обоями оклеивала[61].

Летнее путешествие, впервые за десять лет с востока на запад, не могло не радовать: сборы и приготовления потеснили уныние и напряжение. В Омске пробыли несколько дней — Ф. М. встретился со старыми знакомыми, но только выехав из «каторжного» города, который и сейчас «ужасно не понравился и навел на грустные мысли», он настоящим образом простился с Сибирью. Паша Исаев был взят из корпуса, включился в путешествие*, и дальше ехали втроем. Погода стояла благодатная, тарантас ни разу не сломался, в лошадях задержки не было, дорожные неудобства и дороговизну на станциях

---

* Еще в мае 1858-го Достоевский обратился с официальным письмом к директору Сибирского кадетского корпуса А. М. Павловскому: «Получив теперь отставку и вместе с нею разрешение ехать в Россию, я нахожу совершенно невозможным оставить в Сибири маленького Исаева. Кроме того, что тяжело и невыгодно воспитывать детей вдали от их семейств, мне не хотелось бы оставить его здесь как круглого сироту, брошенного его вотчимом. Наконец — он единственное дитя у матери, которая не может расстаться с ним навсегда: такая разлука была бы почти вечная». Просьба об увольнении П. Исаева из Сибирского кадетского корпуса мотивировалась необходимостью «дальнейшего его образования в России, вблизи его семейства».

вознаграждали чудесная природа и разнообразные впечатления: торговая Тюмень, богатырские пермские и вятские леса, Екатеринбург, где они набросились на местные изделия из горных пород и изрядно потратились на подарки.

И наконец — граница Европы и Азии, в отрогах Урала, посреди леса, обозначенная столбом с надписями, и при столбе в избе инвалид. «Мы вышли из тарантаса, и я перекрестился, что привел наконец Господь увидать обетованную землю». Выпили из фляжки горькой померанцевой, гуляли по лесу, собирали землянику. «Набрали порядочно» и двигались уже по России. В Казани сняли номер в гостинице и пока десять дней ждали заветные 200 рублей от Михаила Михайловича, Ф. М. успел абонироваться в местной библиотеке и ходил читать. Брат, как всегда, оказался верен слову и выручил; едва пришли деньги, путешественники тронулись в путь и попали в Нижний Новгород, как раз в разгар ярмарки. «Впечатление сильное! Скитался я часа два-три и видел разве только краюшек... Даже уж слишком эффектно. Недаром идет слава».

Потом были остановка во Владимире и памятная, с вином, встреча с «превосходнейшим, благороднейшим» Хоментовским, который рассказывал о своих заграничных приключениях, — а далее лучше всего было бы отправиться в Москву, к сестрам, и провести там неделю-другую, но столица была запретна для въезда, и Ф. М. не рискнул нарушить формальность. Зато сполна вознаградила незапланированная Троице-Сергиева лавра, где Ф. М. не был 23 года.

Полуторамесячное путешествие благополучно завершилось в Твери — в пушкинское время в двухэтажном доме с каменным низом и деревянным верхом итальянец Гальяни содержал лучшую гостиницу с рестораном, заменявшую клуб, с залом для танцев и увеселений, в 1826-м увековеченную поэтом: «У Гальяни иль Кольони / Закажи себе в Твери / С пармезаном макарони, / Да яишницу свари». «Цены непомерные... Квартир много, но с мебелью ни одной, а мебель мне покупать на несколько месяцев неудобно. Наконец после нескольких дней искания отыскал квартиру не квартиру, номер не номер, три комнатки с мебелью за 11 рублей серебром в месяц, — рассказывал Ф. М. в письме Гейбовичу, где и описал все свои приключения. — Начал поджидать брата. Брат до этого был болен, при смерти. Наконец оправился и приехал».

Двадцать восьмого августа братья встретились. «То-то была радость... Много переговорили; да что! не расскажешь таких минут». Верный *Mich-Mich* тоже был счастлив. «Мы опять теперь, после долгих лет разлуки, соединились с братом. Это превосходнейший человек во всех отношениях. Талант его вы знаете, зна-

ете отчасти его мягкую душу из его сочинений, но не знаете вполне всей доброты, всего ума, всей обворожительности разговора этого человека... Приезд его и свидание с ним, повторяю, есть величайшее событие в моей жизни, и я до сих пор еще не пережил его», — писал М. М. знакомому спустя полгода.

Всю осень Ф. М. сидел в Твери, по уши в долгах, имея по приезде всего 20 рублей. Тарантас, купленный в Семипалатинске за 115 рублей, здесь не удавалось продать и за 40 — местные обыватели ездили по железной дороге. Меблированная квартирка на первом этаже «дома Гальянова, близ почтамта», была настолько скромной, что Мария Дмитриевна принимать в ней кого-либо отказывалась, а поэтому не могла бывать в тех домах, куда они были званы вместе с мужем (впрочем, Яновский, приезжавший в конце октября в Тверь навестить друга, вспоминал о «трех хороших комнатах в доме, где жил и Пушкин»: «Я видел всю обстановку, пил у него [Достоевского] чай...»[62]).

«Знакомство веду я один, Марья Дмитриевна не хочет, потому что принимать у нас негде. Да и знакомых-то три-четыре дома. Знаком со многими, а хожу к немногим, к тем, к кому приятно ходить. Тверь как город до невероятности скучный. Удобств мало. Дороговизна ужасная. Обустроен очень хорошо, но скучно. Театр ничтожный». Ф. М., как мог, пытался развлечь жену — едва устроившись на новом месте, просил брата купить или заказать, привезти или прислать шляпку для жены, осеннего фасона, недорогую, и «ленты к ней с продольными мелкими полосками серенькими и беленькими». «Хоть жена, видя наше безденежье, и не хочет никакой шляпки, но посуди сам: неужели ей целый месяц сидеть взаперти, в комнате? Не пользоваться воздухом, желтеть и худеть?»

Тверь не нравилась им обоим. «Ненавистнейший город на всем свете» казался «в тысячу раз гаже» Семипалатинска: «сумрачно, холодно, каменные дома, никакого движения, никаких интересов, — даже библиотеки нет порядочной. Настоящая тюрьма». Мария Дмитриевна часто плакала, вспоминая Семипалатинск, и была так раздражена, что не сумела скрыть неприязни к деверю, когда тот приехал в гости: чувствовала, быть может, что он не был сторонником их с Ф. М. союза. «Марья Дмитриевна убивается за судьбу сына. Ей всё кажется, что если я умру, то она останется с подрастающим сыном опять в таком же горе, как и после первого вдовства. Она напугана, и хоть сама не говорит мне всего, но я вижу ее беспокойство», — с грустной откровенностью писал Ф. М. Врангелю в Петербург. «Если спросите обо мне, то что Вам сказать: взял на себя заботы семейные и тяну их. Но я верю, что еще не кончилась моя жизнь и не хочу умирать...»

За четыре тверских месяца Достоевский написал и отправил по разным адресам около пятидесяти писем с жалобами на неопределенность положения, запущенность литературных дел, невозможность личных встреч с издателями, от которых зависит писательская судьба. Он вошел в сношения с высокими лицами государства — Э. И. Тотлебеном, тверским губернатором графом П. Т. Барановым, его двоюродным братом министром двора графом В. А. Адлербергом, начальником Третьего отделения князем В. А. Долгоруковым. Он послал душераздирающее письмо-прошение на имя государя («Я несчастен, а Вы, государь наш, милосердны беспредельно. Простите меня за письмо мое и не казните Вашим гневом несчастного, нуждающегося в милосердии»), в котором содержались строки о тяжелом недуге, открывшемся на каторге и требующем помощи столичных врачей. «Болезнь моя усиливается более и более. От каждого припадка я видимо теряю память, воображение, душевные и телесные силы. Исход моей болезни — расслабление, смерть или сумасшествие. У меня жена и пасынок, о которых я должен пещись. Состояния я не имею никакого и снискиваю средства к жизни единственно литературным трудом, тяжким и изнурительным в болезненном моем положении. А между тем врачи обнадеживают меня излечением, основываясь на том, что болезнь моя приобретенная, а не наследственная...»

В самом конце октября, ко дню своего 38-летия, он получил часть гонорара за «Село Степанчиково» (из расчета 120 рублей за лист) — оно уже набиралось и вот-вот должно было появиться в «Отечественных записках»; цензура (в лице И. А. Гончарова) не вымарала ни единого слова. Все-таки внутреннее ощущение, что, несмотря на отказ двух журналов, роман «вовсе не забракованный», а он сам, сочинитель, «вышел» далеко не весь, значительно облегчило ему томительное ожидание царских милостей. За четыре месяца сидения на чемоданах и лихорадочного писания писем Достоевский до деталей продумал вещь, которая вскоре заставит умолкнуть столичных скептиков. Задуманный проект уже в начале октября имел реальные очертания и ничуть не походил на те летучие замыслы, которые вспыхивали в сознании, сталкивались друг с другом, но оставались невоплощенными; впрочем, и таких замыслов за четыре месяца набралось несколько: роман со «страстным элементом», «роман-исповедь» в трех частях, задуманный на нарах, «в тяжелую минуту грусти и саморазложения», а также роман о человеке, «которого высекли».

В ноябре он тайком съездил в Москву и повидался с сестрами, а потом целый вечер рассказывал жене о своих приключе-

ниях, обещая, что скоро они поедут туда вместе. Однако *скоро* ему предстояло узнать, как решилась просьба о переезде. «Государь император всемилостивейше изволил разрешить проживающему в г. Твери под секретным надзором отставному подпоручику Федору Достоевскому иметь жительство в С.-Петербурге, с тем, чтобы учрежденный за Достоевским надзор был продолжен и здесь».

Сумрачная Тверь, с бытовыми неудобствами, дороговизной, скукой и нескончаемым свистом поездов на железной дороге, оставалась позади. Казалось, что навсегда.

Но пройдет десять лет, и в самом конце 1869 года, в Дрездене, он начнет сочинять роман, действие которого происходит в губернском городе. При попустительстве властей — губернатора и его взбалмошной супруги — здесь произойдут безобразные, фантасмагорические события. Фамилию губернатора автор переведет с русского на немецкий и получится «фон Лембке». Настоящий же тверской губернатор граф Баранов и его супруга Анна Алексеевна, урожденная Васильчикова, двоюродная сестра графа Соллогуба (того самого, который приглашал молодого Достоевского на свои приемы «в большой свет»), наперебой зазывали к себе и просили бывать запросто. Они деятельно хлопотали за своего гостя и поддержали его «всеподданнейшую» просьбу проживать в Санкт-Петербурге. Граф Павел Трофимович Баранов уведомил начальника Третьего отделения Долгорукова, что «в течение всего времени пребывания своего в г. Твери г-н Достоевский вел себя отлично хорошо».

Жизнь причудливо переплетется с вымыслом. Губернский город, прототипом которого станет Тверь, будет окружен городскими окраинами и загородными пейзажами, подразумевавшими: усадьбу Московской сельскохозяйственной академии, с большим парком, тремя прудами и темным гротом, Невскую бумагопрядильную фабрику в Петербурге и небольшой лесок за рощей в Даровом, подмосковном имении родителей Достоевского. Барышня, которой автор «Бедных людей» был когда-то представлен ее кузеном и которая позже вышла замуж за тверского губернатора, преобразится в Юлию Михайловну Лембке, честолюбивую покровительницу погрязших в вольнодумстве молодых людей. «Надо дорожить нашей молодежью; я действую лаской и удерживаю их на краю», — говаривала Юлия Михайловна. Благородная миссия графини Барановой, убедившей мужа позаботиться о Достоевском, удалась ей куда лучше, чем несчастной Юлии Михайловне ее амбициозные планы и проекты.

...К середине декабря *Mich-Mich* позаботился приготовить брату с семейством квартиру в Третьей роте Измайловского

полка; нанял кухарку, заготовил дрова, расставил мебель, купил посуду; Эмилия Федоровна в ожидании родственников каждый день приезжала наводить порядок. В ночь на 20-е Ф. М. с женой и пасынком выехали из Твери и на следующий день были в Петербурге — десять лет спустя после «кандального» прощания.

Всего через пять лет герой нового романа расскажет, какие чувства владеют приговоренным к смерти. «Если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, — а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить — только жить!.. Экая правда! Господи, какая правда!»

«Сердце человеческое живет и требует жизни». Так думал о себе накануне возвращения в Петербург и сам Достоевский. Вечность «на аршине пространства» утратила свое мрачное обаяние и более не угрожала ему.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ТОСКА ПО ТЕКУЩЕМУ

Глава первая
ВРЕМЯ РОСТА И ВОСПИТАНИЯ

Новоселье. — Феномен «кружка». — Литературная жизнь. — Журнал «Время». — Редакционные вечера. — «Униженные и оскорбленные». — Человек «записывающий». — Иллюзии любви. — Хлопоты о путешествии

В начале 1860-х ссыльные петрашевцы один за другим возвращались к «мирной» жизни и уже более не были «отрицателями». Даже Ф. Н. Львов, дольше многих державшийся радикальных мыслей, напишет в 1862 году: «Ум, охлажденный опытом и зрелостью возраста, есть шаг вперед от горячего и страстного энтузиазма молодости». Исправление зла, добавит он, должно происходить на путях «медленного прогресса при помощи служебной или открытой общественной деятельности»[1]. Путь открытого служебного и общественного поприща гораздо раньше товарищей по иркутской ссылке был принят и Спешневым. Ему, как и Достоевскому, сибирская ссылка дала импульс возвращения на круги своя — к умственным занятиям и полезной деятельности, которые теперь должны были стать основой жизни.

Впрочем, среди иркутских приверженцев Петрашевского бытовала иная точка зрения. «Он не польстился на возможность с помощью муравьевской протекции и высочайших помилований реставрировать себя в чинах и званиях, а подал в Сенат просьбу о пересмотре всего его дела, этой бесчеловечной проделки Николая и его клевретов, испуганных 1848 годом. Не лучше ли умереть в глуши, — рассуждал мемуарист, — почти без куска хлеба, но с непреклонно-гордым челом, чем с гибкою спиною, из почетного сословия политических ссыль-

ных перейти в постыдные ряды русской бюрократии?.. В этом смысле разница между Петрашевским и многими его товарищами по истории 1848 года огромна... Львов, Спешнев, Достоевский... что выиграли они морально от своей реставрации?»[2] Но даже Бакунин скептически смотрел на «неизлечимого законника» Петрашевского: «В России, земле бесправия, он помешался на праве... Горячиться из права там, где законы подчинены самодержавному и даже министерскому произволу, смешно и нелепо»[3].

Вопрос о моральном выигрыше волновал и Салтыкова-Щедрина. Находясь в Ницце, он хотел написать рассказ «Паршивый» — о Чернышевском или Петрашевском. «Сидит в мурье, среди снегов, и мимо него примиренные декабристы и петрашевцы проезжают на родину и насвистывают: "Боже, царя храни"... И все ему говорят: стыдно, сударь! У нас царь такой добрый — а вы что! Вопрос: проклял ли жизнь этот человек или остался равнодушен ко всем надругательствам, и все в нем старая работа, еще давно, до ссылки начатая, продолжается? Я склоняюсь к последнему мнению. Ужасно только, что вся эта работа в заколдованной клетке заперта»[4].

Ответить на вопрос иркутского мемуариста или петербургского сатирика — значит одному мировоззрению противопоставить другое: полезную деятельность, служебную или общественную, в рамках режима — борьбе с самим режимом; гражданское поприще — участи революционера; идеалы постепенного прогресса — иллюзиям бунта и мятежа; христианскую терпимость — политическому неистовству. Один из фигурантов «списка», а именно Достоевский, выиграл от своей «реставрации» понимание колоссальной разницы между одним и другим.

«Я вас спрашиваю, что вам милее: медленный ли путь, состоящий в сочинении социальных романов и в канцелярском предрешении судеб человеческих на тысячи лет вперед на бумаге, тогда как деспотизм тем временем будет глотать жареные куски, которые вам сами в рот летят, и которые вы мимо рта пропускаете, или вы держитесь решения скорого, в чем бы оно ни состояло, но которое наконец развяжет руки и даст человечеству на просторе самому социально устроиться и уже на деле, а не на бумаге?» Так прозвучит в романе Достоевского «Бесы» вопрос о будущем России, ответ на который определит фундаментальный выбор новейшей истории.

«Что вам веселее: черепаший ли ход в болоте, или на всех парах через болото?» «Веселее» окажется, увы, второе: на всех парах...

...В конце декабря 1859 года на квартире у Достоевского в Петербурге праздновалось его возвращение. Спустя четверть

века Яновский напишет об этом событии вдове писателя: «Мы все были на новоселье... Аполлон Николаевич [Майков], Александр Петрович [Милюков], брат Михаил Михайлович со всем семейством, много других, а также и Спешнев, в тот только день приехавший в Петербург». За давностью лет Яновский ошибся: быть у Достоевского Спешнев никак не мог, ибо находился в тот момент в селе Посольске, на байкальской пристани, с Н. Н. Муравьевым как правитель его путевой канцелярии. Губернаторские экипажи прибыли в Петербург только 15 февраля 1860-го: навестить Достоевского Спешнев (приезда которого в Петербурге многие ждали) мог не ранее этого дня.

Третье отделение было недовольно появлением Спешнева в столице: князь В. А. Долгоруков счел это самоуправством Муравьева-Амурского. «Представления о возвращении Спешнева из Сибири ни от кого не было, притом начальство Спешнева могло бы ходатайствовать только о дозволении служить во внутренних губерниях; на приезд же в столицы он права иметь не может, и никому из преступников, освобожденных от каторжной работы по Манифесту 1856 года, приезд в столицы разрешаем до сих пор не был»[5]. Решительное заступничество Муравьева спасло Спешнева от гнева всесильного князя — ему даже вернули права потомственного дворянства; к тому же прощенному преступнику запрещалось проживать в столице, но не возбранялось пребывать в ней по казенной надобности.

Никаких следов встреча Достоевского и Спешнева (если таковая действительно была) не оставила потому, быть может, что оба находились под секретным полицейским надзором.

...Если бы литературное поведение Достоевского определялось только самолюбием и честолюбием, то первые несколько лет его петербургской жизни вполне могли бы быть названы годами реванша. Его самолюбие очень скоро было вознаграждено: писатель с ореолом мученика возвращался в профессию и сразу был принят в тот круг, к которому хотел принадлежать смолоду.

Писательство, при всем его изнурительном режиме, при его болезненных неудачах, простоях и провалах, всегда имело приятную и даже праздничную сторону, которая называлась литературной жизнью. И не только потому, что в начале 1860-х годов литературная жизнь была особенно бурной в России, но и потому, что Достоевский без малейшего стеснения и ложной скромности окунулся в этот водоворот с энтузиазмом истосковавшегося в глуши и безлюдье человека.

Было в России тех лет магическое слово «кружок». Знакомые между собой лица, как частные, так и публично извест-

ные, объединялись в более или менее регулярном общении у кого-нибудь на дому для обсуждения вечных и текущих вопросов. Возможность высказаться перед людьми близкими по духу, выразить свое мнение и убедить в нем собеседников казалась литераторам начала 1860-х не только приятным времяпровождением, но и необходимым профессиональным занятием. «Одно слово, сказанное с убеждением, с полною искренностию и без колебаний, глаз на глаз, лицом к лицу, гораздо более значит, нежели десятки листов исписанной бумаги», — писал из Семипалатинска А. Н. Майкову лишенный полноценного литературного общения Достоевский.

Как и многие из его современников, Ф. М. был ревностным посетителем литературных объединений и смолоду, напомню, разглядел в Петербурге «собрание огромного числа маленьких кружков, у которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой оракул». Но, как никто из писателей его поколения, он имел поистине драматический опыт жизни в «кружке»: из одного его с позором прогнали, из второго он угодил на каторгу. «В кружке можно самым безмятежным и сладостным образом дотянуть свою полезную жизнь, между зевком и сплетнею, до той самой эпохи, когда грипп или гнилая горячка посетит ваш домашний очаг и вы проститесь с ним стоически, равнодушно и в счастливом неведении того, как это всё было с вами доселе и для чего так всё было», — посмеивался он между двумя тяжкими опытами: тогда ему было все еще невдомек, что безмятежность, сладостное прозябание или счастливое неведение обойдут его стороной.

Так или иначе, лучшего способа войти в литературную жизнь, чем отдаться стихии кружкового общения, не было — благо по приезде из Твери достойное во всех отношениях объединение литераторов гостеприимно открыло перед ним двери. Хозяином кружка был Милюков, давний знакомый братьев Достоевских, начавший издавать журнал «Светоч». Сюда не заглядывали литературные генералы, но все же каждый вторник приходили писатели, а главное — друзья. Для умонастроения Достоевского это была идеальная компания — не просто добрых приятелей, а людей пишуших; к тому же они — Майков, Яновский, Страхов, Крестовский — безоговорочно признавали его писательский авторитет.

«Первое место в кружке занимал, конечно, Ф. М.: он был у всех на счету крупного писателя и первенствовал не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которою их высказывал»[6], — вспоминал Страхов; новичку, только что принятому в обществе «настоящих литераторов», боль-

ше других были понятны чувства изгнанника. Для Достоевского в тот момент обретение «своих» было лучшим лекарством — оно смягчало нападки извне, давало силы собраться с мыслями. Достоевский-кружковец запомнился Страхову, писавшему воспоминания уже после смерти писателя, своим воодушевлением, веселостью. «Наружность его я живо помню; он носил тогда одни усы и, несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, то есть простонародные черты лица. Помню также, как я в первый раз увидел, почти мельком, его первую жену, Марию Дмитриевну; она произвела на меня очень приятное впечатление бледностию и нежными чертами своего лица, хотя эти черты были неправильны и мелки; видно было и расположение к болезни, которая свела ее в могилу»[7].

Литература, как и все общество, пребывала в радостном возбуждении от предчувствия либеральных реформ; время поощряло к сложным социальным переживаниям; «смысл деятельности неравнодушного человека» (о чем Достоевский писал еще в 1840-е годы) заключался сейчас в том, чтобы как можно скорее сблизиться с новой Россией, вписаться в бурную литературную жизнь Петербурга.

С величайшей готовностью принимал он приглашения на литературные вечера, публичные чтения, куда — наравне с рядовыми сочинителями, а очень скоро и с маститыми литераторами — стали звать и его. В январе 1860-го в столичном «Пассаже» состоялся первый вечер, организованный Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым, или Литературным фондом, а уже в октябре того же года вместе с Майковым, Писемским, Полонским и Некрасовым с чтением своих вещей там уже выступал и Достоевский — через два года его изберут секретарем комитета фонда, и он с превеликим тщанием будет приводить в порядок бумаги общества, составлять отчеты ревизионной комиссии, направлять за своей подписью распоряжения казначею для выдачи пособий*.

---

* Достоевский был принят в члены общества сразу по приезде в Петербург из Твери и оставался им до конца жизни. Главной целью общества была помощь литераторам и ученым, попавшим в трудные обстоятельства: нуждающимся назначали пенсии, выдавали денежные пособия, больных устраивали в лечебницы, престарелых — в богадельни и обеспечивали их содержание; платили за учебу сирот умерших писателей и ученых. Средства для благотворительной помощи собирались из добровольных пожертвований частных лиц и доходов от концертов, литературных чтений, спектаклей, организуемых обществом. Как вспоминала А. Г. Достоевская, Ф. М. старался помочь не только близким ему лицам, но и всем тем, о несчастье которых ему приходилось слышать. «Его не надо было просить, он сам шел со своей помощью...»

Но еще раньше, в апреле 1860-го, Ф. М. получил приглашение — которое, вероятно, счел радостной удачей — принять участие в любительском спектакле в пользу Литературного фонда. Это была счастливая возможность встретиться сразу со всеми «главарями литературы», которым предстояло репетировать и играть в гоголевском «Ревизоре». Устроитель спектакля, поэт и переводчик П. И. Вейнберг, вспоминал: «Все литераторы из "больших" — а их-то участие в спектакле и было наиболее желательно — самым сочувственным образом отнеслись к моему предприятию, но принять участие активное, выступить в мало-мальски ответственной роли нашлось мало охотников. Ни одному из них не приходилось до того времени выступать на сцене, и сделать первый шаг *теперь* никто не решался... Единственным писателем из этого кружка, выказавшим полнейшую, даже горячую готовность играть... оказался... Ф. М. Достоевский... "Дело хорошее, очень хорошее, дело даже — прямо скажу — очень важное!" — говорил он с какой-то суетливой радостью и раза два-три, пока шли приготовления, забегал ко мне узнавать, ладится ли все как следует»[8].

Достоевскому предоставили на выбор несколько неразобранных ролей: Добчинского, Почтмейстера, Смотрителя училищ — но он без колебания остановился на Шпекине, пообещав играть «с большим старанием и большой любовью». «Это — одна из самых высококомических ролей не только в гоголевском, но и во всем русском репертуаре, и притом исполненная глубокого общественного значения». Он волновался, ощущал себя дебютантом, но это был его маленький звездный час. По отзыву Вейнберга, Ф. М. отлично играл Шпекина, обнаруживая несомненное сценическое дарование, а Тургенев, Григорович, Майков, Краевский, безмолвными купцами появляясь перед Хлестаковым (Вейнбергом) и Городничим (Писемским), могли видеть превосходную игру Почтмейстера. «Никто из знавших Ф. М. в последние годы его жизни не может себе представить его — комиком, притом комиком тонким, умеющим вызывать чисто гоголевский смех»[9], — писал Вейнберг. Врангель вспоминал, что зал в доме г-жи Руадзе был переполнен, игра Ф. М. вызвала гром аплодисментов, несмотря на тихий голос и немалое смущение чтеца, а явление купцов на сцене — смех и рукоплескания столь долгие, что Хлестаков «присел отдохнуть»[10].

Вряд ли кто-нибудь из тех, кто был занят в «Ревизоре», стал бы слишком строго судить Достоевского, если бы его увлеченность «концертной» стороной писательства затянулась надолго: каждый понял бы, как изголодался изгнанник по литературной карусели. Он сам жаждал окунуться в гущу событий и

быть причастным злобе дня. Его возвращение в литературу, как оказалось, предполагало не только писание и печатание новых вещей, не только общественные и «концертные» хлопоты. Литературная деятельность давала возможность влиять на ход развития словесности.

«Хочется нам что-нибудь сделать порядочное в литературе, какое-нибудь предприятие. Сильно мы заняты этим. Может быть, и удастся. По крайней мере, все эти задачи — деятельность, хотя только 1-й шаг. А я понимаю, что значит первый шаг, и люблю его», — признавался Ф. М. в письме актрисе А. И. Шуберт, жене Яновского. В мае 1860 года, когда писалось это письмо, «какое-нибудь предприятие» уже утратило черты неопределенности — той весной окончательно сформировалось решение братьев Достоевских издавать журнал и иметь при нем редакционный кружок.

Ничто другое не могло дать Достоевскому такого положения, как свой журнал: редактор мог входить в деловые отношения с первыми лицами литературы, ища их внимания не для себя лично, а для пользы дела. Как пишущий автор он переставал зависеть от тех, кто им пренебрегал, и без ущерба для самолюбия мог приглашать их к сотрудничеству. И вообще — после того, как он настрадался, пристраивая «Село Степанчиково», статус редактора давал драгоценное ощущение полноты литературного бытия.

Он был опьянен свободой, воодушевлен литературными баталиями, свято верил в «великость» дела и прямо-таки рвался в журналистику, добиваясь трибуны и прямого общения с читателем. Превыше всего ценивший «новое слово», Ф. М. страстно желал наконец произнести его. В тот момент он почти не чувствовал различий между журналистикой и художественной работой и не мог смотреть на статью для журнала как на второсортную, черную работу.

Несомненно, Достоевский испытывал настоящую тоску по текущей литературе и полемическим страстям. Страхов утверждал: «Федор Михайлович любил журналистику и охотно служил ей... Он с молодости был воспитан на журналистике и остался ей верен до конца. Он вполне и без разделения примыкал к той литературе, которая кипела вокруг него, не становился никогда в стороне от нее. Обыкновенное его чтение были русские журналы и газеты. Его внимание было постоянно устремлено на собратий по части изящной словесности, на всякие критические отзывы и об нем самом и об других. Он очень дорожил всяким успехом, всякою похвалою, и очень огорчался нападками и бранью. Тут были его главные умственные интересы, да тут же были и его вещественные интересы. Он жил

исключительно литературным трудом, никогда и не предполагая для себя какого-нибудь другого занятия, не задаваясь и мыслью о каком-нибудь месте, казенном или частном... Литература была вполне родною сферою Федора Михайловича; он избрал ее своею профессиею и иногда даже высказывал гордость этим своим положением. Он усердно трудился и работал, и достиг своего: он сделал одну из блистательных литературных карьер...»[11]

Многосторонняя литературно-общественная деятельность, к которой стремился Достоевский, вторично вступая на писательское поприще, удачно совпала с выходом в Москве первого в его жизни двухтомника: в начале февраля 1860 года И. С. Тургенев привез автору от издателя Н. А. Основского причитавшуюся за двухтомник часть гонорара — 600 рублей серебром. «Вместо предполагаемых мною пятидесяти листов Ваших сочинений вышло с лишком 60... Книги выходят вальяжные и красивые»[12], — писал ему чуть позже издатель. Уже к началу лета успех был стремительно закреплен: посланные в Цензурный комитет программа журнала и специальное прошение были восприняты положительно; и, как только разрешение было получено, все столичные газеты напечатали сообщение об издании «Времени»:

«С января 1861 года будет издаваться “ВРЕМЯ”, журнал литературный и политический, ежемесячно, книгами от 25 до 30 листов большого формата».

Объявление было написано младшим Достоевским и представляло, как позже утверждал Страхов, «изложение самых важных пунктов его тогдашнего образа мыслей»[13]; идеи примирения и согласия, обозначенные в «Объявлении», получат название «почвенничества» и доживут до «Пушкинской речи»:

«Теперь уже не тысячи, а многие миллионы русских войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои свежие непочатые силы и скажут свое новое слово... Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал... Мы предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях... Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых... Мы говорим о примирении

цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны наконец понять друг друга...»

Сознавая всю ответственность «первого шага», редакция заявляла: «Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов... Наш журнал не будет иметь никаких нелитературных антипатий и пристрастий... Мы не уклонимся и от полемики... Журнал наш поставляет себе неизменным правилом говорить прямо свое мнение о всяком литературном и честном труде...»

Со страстью и азартом включились братья Достоевские в творческую, организационную и хозяйственную деятельность, связанную с журналом. Их литературные мечтания начали счастливо воплощаться в милую издательскому сердцу поэзию журнальной подписки и гонорарных ведомостей, литературной полемики и читательской почты. И даже если мнение сторонних наблюдателей о журнале, который якобы был нужен Достоевскому только для того, чтобы печатать свои сочинения, почему-либо отвергнутые другими изданиями, было неверным изначально (возможность остаться без печатной трибуны не грозила Достоевскому), то по факту существования «Времени» (а позднее и «Эпохи») это мнение как бы и оправдалось: за четыре года здесь было опубликовано ровно столько, сколько написано, включая «Униженных и оскорбленных» и «Записки из Мертвого дома», вернувших автору звание первого писателя России и в целом ставших литературным манифестом славной эпохи 1860-х годов.

Журнал не только не погасил писательский кураж Достоевского, но, напротив, подгонял перо. Каждый номер нуждался в беллетристике, в повестях и романах. Хорошо знавший литературную кухню «Времени» Аполлон Григорьев полагал: «Следовало не загонять как почтовую лошадь высокое дарование Ф. Достоевского, а холить, беречь его и удерживать от фельетонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно и физически»[14].

Отклоняя упрек, адресованный брату («этот благороднейший человек не мог употреблять меня в своем журнале как почтовую лошадь»), Достоевский признавал, что некоторая «фельетонность» его сочинений проистекает из несчастной необходимости печатать их по частям прямо «с колес». «Так я писал и всю мою жизнь, так написал всё, что издано мною, кроме повести "Бедные люди" и некоторых глав из "Мертвого дома". Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало главы романа или повести было уже в типографии и в наборе, а окончание сидело еще в моей голове, но *непременно* должно было написаться к завтраму. Привыкнув так работать,

я поступил точно так же и с "Униженными и оскорбленными", но никем на этот раз не принуждаемый, а по собственной воле моей. Начинавшемуся журналу, успех которого мне был дороже всего, нужен был роман, и я предложил роман в четырех частях. Я *сам* уверил брата, что весь план у меня давно сделан (чего не было), что писать мне будет легко, что первая часть уже написана и т. д. Здесь я действовал не из-за денег... Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь... Конечно, я сам виноват в том, что всю жизнь так работал, и соглашаюсь, что это очень нехорошо, но... Но, повторяю, в фельетонстве моем я сам был виноват и никогда, никогда благородный и великодушный брат мой не мучил меня работой...»

Тем не менее «фельетонство» Достоевского, под которым следовало понимать и описанный им «конвейерный» способ работы, и те авантюрные отношения с издателем, когда никто из «сторон» толком не знал, насколько обеспечены авторские обещания, — все это сказывалось на содержании сочинения самым непредвиденным образом. В «фельетонных» произведениях Достоевского «эпохи журналов» стали появляться герои, чья жизнь, как и жизнь автора, была неразрывно связана с судьбой созданного ими текста. Персонажи-писатели первыми принимали на себя удары судьбы.

Журнальный вариант романа «Униженные и оскорбленные» посвящался брату Михаилу и имел подзаголовок «Из записок неудавшегося литератора». Осенью 1860 года, когда Достоевский приступил к работе над первой частью романа, предназначая его для дебюта «Времени», он никак не мог считать себя неудавшимся литератором: «Русский мир» печатал главы «Мертвого дома»; его автор чуть не ежемесячно выступал в лучших городских залах как чтец; вечера, проходившие попеременно на квартирах братьев Достоевских, по воскресеньям собирали журнальных сотрудников — здесь вели рабочие разговоры, музицировали, пели, отмечали праздники[15].

Однако Иван Петрович, 24-летний литератор, герой «Униженных и оскорбленных», получил только часть биографии Достоевского — его писательский дебют. Восполняя потерю «своей» критики и «своего» читателя за десять лет молчания, Достоевский создавал феноменальный сюжет: герои «Униженных и оскорбленных» читали и обсуждали роман «Бедные люди», написанный якобы Иваном Петровичем; сочинителю, чья муза «испокон веку сидела на чердаке голодная», измученному поденной работой ради куска хлеба, отдавал Достоевский незабываемые переживания первого шумного успеха, звезд-

ные мгновения славы, честолюбивые мечтания о блестящем литературном поприще.

Казалось, тот феерический успех, который выпал на долю дебютанта Достоевского, и все его роковые последствия ушли в прошлое и стали легендой: нынешний Достоевский, быстро наверстывая упущенное, располагал бо́льшим выбором свежих впечатлений. Но почему-то именно «Бедные люди», а с ними быт, нравы и весь колорит писательской профессии 1840-х годов создали атмосферу «Униженных и оскорбленных», очертили время и пространство романа. «Бедных людей», первое произведение Ивана Петровича, читали и обсуждали в семействе Ихменевых; потихоньку и скрываясь, его читала Нелли; покупал книгу Маслобоев; делился впечатлениями с автором князь Валковский («У вас там теперь всё нищета, потерянные шинели, ревизоры, задорные офицеры, чиновники, старые годы и раскольничий быт, знаю, знаю»). Старик Ихменев называл Ивана Петровича «русским литератором»; о нем и его первом романе говорили в литературных и великосветских салонах, писали в журналах; отрывки из романа, «слова и словечки» то и дело звучали в сценах и диалогах.

Достоевский населял роман «Униженные и оскорбленные» читателями «Бедных людей», как они виделись автору. В этом мире даже родной человек, услышав историю о бедном чиновнике, «у которого и пуговицы на мундире обсыпались», не пропускал посоветовать сочинителю: «Это хоть не служба, зато все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А что, если б и ты? А? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее! Не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то!.. Или вот, например, табакерку дадут... Поощрить захотят. А кто знает, может и ко двору попадешь... за границу могут послать, в Италию...»

В тот момент, когда сочинялся и печатался роман, где была прочерчена карьера, лучшая из возможных для литературного пролетария (в простоте душевной старик Ихменев желал Ивану Петровичу сочинить вещь, которая бы принесла успех-славу-деньги-почести-заграницу-должность), карьера самого Достоевского была еще очень далека от этого простодушного идеала. Живописуя историю сочинителя и примеряя на нем судьбу «Бедных людей» (Достоевский подарил Ивану Петровичу даже свое памятное знакомство с «критиком Б.»), автор «Униженных и оскорбленных» будто ставил эксперимент на болезненно близкую тему: что ждет литератора, познавшего первый громкий успех, но надорвавшегося на поденной работе. Иван Петрович, умиравший от чахотки на больничной кой-

ке, исполнял роль разведчика и должен был, испытав все тяготы изнурительного труда и изменчивой славы, подойти к печальному финишу таким же бедным, как и в начале пути.

Так же как Достоевский, Иван Петрович «сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил», что ему «удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь». Как и Достоевский, он работал в системе всегдашнего долга, а значит, всегда был на мели — монологи героя цитировали автора, повторяя знакомый мотив: «Голова моя кружится; я едва стою на ногах, но радость, беспредельная радость наполняет мое сердце. Повесть моя совершенно кончена, и антрепренер, хотя я ему и много теперь должен, все-таки даст мне хоть сколько-нибудь, увидя в своих руках добычу, — хоть пятьдесят рублей, а я давным-давно не видал у себя в руках таких денег. Свобода и деньги!..» Как Достоевский, Иван Петрович мог написать повесть «в две ночи», а потом «в два дня и две ночи» написать еще три с половиной листа по особому журнальному заказу. Как Достоевского, критики упрекали Ивана Петровича, что его сочинения «пахнут по́том», а доктора — в том, что «никакое здоровье не выдержит подобных напряжений». И оба они, Достоевский и его герой, одинаково радовались, замечая, что в моменты напряженного труда вырабатывается какое-то особенное раздражение нервов, когда яснее, живее и глубже чувствуется, и даже слог повинуется беспрекословно.

Литературный путь героя-сочинителя, художественно исследованный Достоевским, упирался в роковой для всякого писателя вопрос, вставший и перед Иваном Петровичем: «Дело все-таки кончилось тем, что я — вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки?» Иван Петрович, получивший вместе с «Бедными людьми» особый дар — видеть свою и чужую жизнь как сюжет, первым держал ответ: «Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый, последний год моей жизни. Хочу теперь все записать, и, если б я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски».

Но автор записок, засевший в больнице, умирал не с тоски, а от дурного кашля, полученного в сырой и холодной комнате, и его литературная карьера шла под откос. Иван Петрович тем не менее продолжал: «Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут характер более успокоительный, более стройный; менее будут походить на бред, на кошмар. Так мне кажется. Один механизм письма чего стоит: он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятие...»

Эпилог «Униженных и оскорбленных» имел говорящий подзаголовок «Последние воспоминания». Иван Петрович, уже с сильной болью в груди, признавался, что не может сравнивать себя с литератором С., пишущим по одной повести в два года, и с литератором N., который за десять лет один роман написал: «Они обеспечены и пишут не на срок; а я — почтовая кляча!»

Теперь литература как профессия вообще освобождалась от желаний, посторонних «механизму письма». Оказывалось, что сочинительство — занятие самодостаточное и является целью, а не средством. Даже в том случае, когда оно не сулит ни славы, ни денег, ни почестей, для человека призванного это счастливый и спасительный удел. В случае же Ивана Петровича «припоминание и записывание» наполнялись еще и предсмертным бескорыстием, смиренной поэзией конца. Вопрос: «Коли скоро умру, к чему записки?» — имел ответ: «Я хорошо выдумал. К тому ж и наследство фельдшеру; хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы вставлять».

...И все же это был эксперимент, смертельно опасный не только для героя, но и для автора романа. Вывести на страницах своего журнала литературного двойника и дать ему самостоятельное имя, подарив при этом и свою первую славу, и свой первый роман, и свои писательские привычки, и свою манеру работать (Иван Петрович даже по комнате ходил взад и вперед, как Достоевский, когда придумывал новые повести), а затем повернуть сюжет так, чтобы герой-сочинитель, надорвавший здоровье поденным трудом, писал записки как предсмертный текст, мог только литератор беспредельного риска.

Апрельский номер «Времени» с первыми двумя главами четвертой части романа (всего 18 страниц) сопровождался редакционным уведомлением: «Болезнь автора заставила нас остановиться на этих двух главах. Так как они составляют почти отдельный эпизод в романе, то мы решились напечатать их теперь же, не дожидаясь окончания четвертой части, которое мы надеемся поместить в следующем номере»[16]. Пометка в записной книжке Достоевского 1861 года обнаруживала характер болезни: «Припадки. 1-го апреля — (сильный)». Страхов вспоминал: «Он печатал с первой книжки свой роман “Униженные и оскорбленные” и вел критический отдел... Кроме того, он принимал участие в других трудах по журналу, в составлении книжек, в выборе и заказе статей, а в первом номере взял на себя и фельетон... Такого труда, наконец, не выдержал Федор Михайлович и на третий месяц заболел... Болезнь эта была страшный припадок падучей, от которого он дня три пролежал почти без памяти... Дорого обходился ему литературный

труд. Впоследствии мне случалось слышать от него, что для излечения от падучей доктора одним из главных условий ставили — прекратить вовсе писание. Сделать этого, разумеется, не было возможности, даже если бы он сам мог решиться на такую жизнь, на жизнь без исполнения того, что он считал своим призванием. Мало того — не было возможности даже и отдохнуть хорошенько, год или два...»[17]

Вместив в образ Ивана Петровича громадный пласт своей реальной биографии, наделив его собственной писательской судьбой (Страхов вообще считал, что в «Униженных и оскорбленных» автор «вывел на сцену самого себя»[18]), Достоевский весьма скоро смог обнаружить странный факт. Его персонаж не только «отбирал» у него прошлое — литературную молодость и первый читательский успех. Он имел влияние на нынешнюю, текущую жизнь — так что автор вынужден был подчиняться обстоятельствам, придуманным для героя. Это касалось не только профессиональной сферы — психологии и техники творчества (Иван Петрович говаривал: «Мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лености»). Это касалось деликатной и непредвиденной стороны жизни автора: автобиографический герой намекал, что такую любовь, когда ради счастья любимой женщины ее уступают сопернику и состоят при ней почтальоном, конфидентом, другом и братом, автору предстоит пережить еще раз.

Любовный треугольник «Униженных и оскорбленных», художественно преобразивший драматический узел, завязанный перед первым браком Ф. М. (пылкой страстью Марии Дмитриевны к молодому учителю и готовностью жениха пожертвовать своим чувством ради счастья любимой), содержал такой мощный потенциал переживаний, что им суждено было, ничуть не повторяясь сюжетно, вновь захватить и обжечь Достоевского. Через три месяца после того, как во «Времени» закончилось печатание записок Ивана Петровича, 1 ноября 1861 года, вышел очередной номер журнала, где под «сенью крыл» — четырех глав «Записок из Мертвого дома» — значилась повесть никому не известной дебютантки «А. С-вой». Привилегией хозяина журнала, который, никого не спрашивая, мог поместить рядом с сочинениями литературных корифеев слабую вещь протежируемой дамы, Достоевский пользовался впервые в жизни. До рокового эпизода, когда писателю вновь пришлось играть неблагодарную роль «друга и брата» неверной возлюбленной, оставалось два года.

Литераторство как профессия, как особый взгляд на мир и способ познания людей имело то преимущество, что в момент

самого искреннего страдания и невыносимой боли где-то на обочине сознания теплилось нечто живое и очень, очень внимательное. «Оно» слушало и смотрело, запоминало и откладывало про запас те минутные впечатления, которые могли казаться глубоким, невыразимым горем или, напротив, беспредельной, неописуемой радостью. Но проходило время — год или 20 лет — и невыразимое жаждало быть выраженным, неописуемое — требовало описания; в этом мерцающем мире всё без исключения могло стать материалом для будущего рассказа. В каком-то смысле писательство оказывалось занятием беспощадным и почти святотатственным — когда сознательно или безотчетно литератор привыкал смотреть на живых людей как на литературное сырье, а на их живую жизнь как на источник сюжетов. Каждое новое сочинение, полное страстей и страданий, невольно провоцировало автора проверить опыты своих героев в реальном мире; каждое новое переживание автора обречено было, дождавшись своего часа, обратиться в текст.

Вряд ли, однако, Достоевского можно было бы упрекнуть в жестокосердии при отборе и художественном использовании сырой реальности — притом что он действительно работал «без ограничений», писательская беспощадность распространялась прежде всего на сокровенные мгновения его собственной жизни, каждое из которых рано или поздно могло быть представлено и как трагедия, и как фарс, и как портрет, и как карикатура. И если, допустим, в марте 1862 года он участвовал в литературно-музыкальном вечере в «пользу учащихся» (читал отрывки из «Мертвого дома») вместе с Н. Г. Чернышевским («Знакомство с Добролюбовым»), В. С. Курочкиным (стихи) и профессором истории П. В. Павловым, выступившим с речью «Тысячелетие России», это не значило, что событие «канонизируется»: ровно через десять лет роман «Бесы» «вспомнит» и этот «литературный праздник» с его взрывной атмосферой, и выступления знаменитых писателей, и неистовство публики, и маньяка, махавшего кулаком («Аплодировала уже чуть не половина залы; увлекались невиннейше: бесчестилась Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от восторга?»).

И страстное увлечение кружковой суетой, и погруженность в злобу дня, и первое упоение редакторской работой в своем журнале, и, наконец, даже «тоску по текущему» — все, чем жил Ф. М. в 1860-е как «участник литературы» с ее праздниками и модными мероприятиями, он без колебания отдаст на благо романа — просто для фона, настроения, декорации. Что толку было сетовать Тургеневу, «пострадавшему» вместе с «Призра-

ками» (напечатанными по настоятельной просьбе редактора «Эпохи», а потом им окарикатуренными), если автор романа не пощадит себя и свой былой журналистский пафос — и вдохновеннейшей сатирой начала 1870-х подведет итоги славному десятилетию с его журналистской круговертью, полемическим азартом и всесокрушающей публичностью, обнаруживая редкое чувство юмора и самоиронии?

...В те самые весенние месяцы 1861 года, когда писались и печатались «Униженные и оскорбленные», Достоевский высказал в своем журнале мысль, которая, очевидно, родилась в процессе создания романа с автобиографическим героем: «Если есть у нас не совсем дилетантская деятельность, то это литературная деятельность... Мы так разрозненны, мы жаждем нравственного убеждения, направленья... Вот почему я думаю, что настоящее время даже наиболее литературное: одним словом, время роста и воспитания, самосознания, время нравственного развития, которого нам еще слишком недостает... Я всегда верил в силу гуманного, эстетически выраженного впечатления. Впечатления мало-помалу накопляются, пробивают с развитием сердечную кору, проникают в самое сердце, в самую суть и формируют человека. Слово, — слово великое дело!»

На одной и той же журнальной территории автор полемической заметки и романа устами автобиографического героя публично объяснялся в любви к своей профессии. Литературное занятие, представленное как творческое служение, виделось исполинской силой, способной удержать человека, взявшегося за перо, на краю пропасти; «человек записывающий», по определению, не мог быть человеком конченым — у него оставался в резерве могучий шанс. Герои перенимали и усваивали поистине фанатическую приверженность автора к писательскому труду, пытались приспособиться и даже пристраститься к нему, не боясь принести на алтарь литературы и свои рукописи, и самих себя. Самый факт авторства заставлял предполагать даже в заурядном человеке некую тайную пружину, некую сокровенную глубину — ту «точку безумия», которая толкает простого смертного раскрыться городу и миру в исповеди и покаянии.

Поэтому рядом и сразу же после записок «неудавшегося литератора», начиная с апрельского и кончая декабрьским (1861 года) номером «Времени», шли записки вымышленного автора «Мертвого дома», каторжника Александра Петровича Горянчикова: «этнографическое» описание каторги «прерывалось какою-то другою повестью, какими-то странными, ужасными воспоминаниями, набросанными неровно, судорожно,

как будто по какому-то принуждению». Заставляя себя вспоминать страшные эпизоды прошлого, принуждая себя к исповеди и работая над судорожными строками «второй повести», убийца Горянчиков хотел искупить смертный грех и обрести душевный покой. И Достоевский давал герою этот единственный шанс: литературное занятие должно было поддержать человека в минуты душевного отчаяния, вытащить из обывательской трясины, помочь в болезни и одиночестве.

Будто повинуясь фантазии размечтавшегося старика Ихменева, помогло литературное занятие и самому Достоевскому. Еще летом 1861 года, работая как «почтовая кляча», он и думать не мог об отдыхе. «Сколько раз мечтал я, с самого детства, побывать в Италии, — писал он летом 1861 года Я. П. Полонскому, лечившемуся на курорте в Австрии. — ...А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом. Неужели ж теперь не удастся поездить по Европе, когда еще осталось и сил, и жару, и поэзии. Неужели придется ехать лет через десять согревать старые кости от ревматизма и жарить свою лысую и плешивую голову на полуденном солнце. Неужели так и умереть, не видав ничего!»

Год спустя «Мертвый дом» больше не держал автора на цепи. Ф. М. определенно входил в моду — пользовался сочувствием и возбуждал участие. «И кто не желал выслушать рассказа о темном и страшном быте каторги из уст даровитого литератора, который сам провел четыре года в ссылке среди всякого рода преступников и несчастных? Самая фигура Достоевского с кротким и мрачным выражением на страдальческом лице и его несколько глухой, но трогающий голос сильно действовали на публику. Невольно приходило на ум сравнение его с Дантом: он казался выходцем из того сибирского ада, который знали только по неясным слухам. Обыкновенно на чтениях его встречали и провожали сочувственными рукоплесканиями», — писал Милюков.

«Мертвый дом» еще печатался во «Времени», производя на читателей потрясающее впечатление («...в авторе их видели как бы нового Данта, который спускался в ад тем более ужасный, чем он существовал не в воображении поэта, а в действительности»[19]), а автор уже заносил в записную книжку предполагаемый маршрут первого заграничного путешествия: «Дрезден. Франкфурт am Mein, Гейдельберг. Мангейм. От Мангейма по Рейну до Кельна. Из Кельна в Брюссель. Париж». Впервые в жизни он хлопотал о заграничном паспорте; поездка за границу «для пользования гастейнскими водами и морскими купаниями в Биаррице» по запросу Министерства внутренних дел должны была быть «высочайше разрешена».

И, как бы оправдываясь за свой вояж, он писал брату Андрею: «Я человек больной, постоянно больной, а дела в последнее время навалил на себя столько, что едва расхлебал. Не с моими силами брать на себя столько. Но, слава Богу: дело у нас удалось, зато здоровье мое до того расстроилось, что теперь (именно завтра) уезжаю за границу до сентября лечиться. У меня падучая, а сверх того много других мелких недугов, развившихся в Петербурге».

Достоевский ехал один, без жены. «Жена моя остается в Петербурге. Денег нет, чтоб ехать вместе, да и нельзя ей своего сына (моего пасынка) оставить, который готовится к экзамену в гимназию». Пасынку было уже пятнадцать, рос он милым отроком, но вырос мало прилежным подростком, учился неважно, воспитатели его не жаловали, Ф. М. нанимал мальчику педагогов, но те, как правило, затруднялись сделать для него что-либо путное, и «вотчим» сердился на недобросовестных наставников.

Вряд ли, однако, решение Достоевского путешествовать в одиночестве было связано только с нехваткой денег и нерадивостью Паши Исаева. Охлаждение и отчуждение между Ф. М. и его женой наступило давно, еще в Сибири; их брак оказался бездетным, гармония чувств и чувственности — недостижимой, надежды на прочный семейный очаг — иллюзорными, а теперь супруги и вовсе пребывали больше врозь, чем вместе. Писатель жил своей отдельной жизнью и о Марии Дмитриевне думал не столько в смысле страстной любви, сколько в плане заботы и ухода: она «все хворала», плохо переносила промозглые, гнилые петербургские зимы, проводя холодные месяцы в Москве или Владимире, куда иногда приезжал Ф. М. навестить больную. Он без жены бывал в театрах и на литературных вечерах, «холостяком» посещал с друзьями Павловск.

Шуточные стихи автора «Времени» П. А. Кускова зафиксировали поездку в Парголово знойным июльским днем 1861 года, в которой приняла нерадостное участие и жена Ф. М.: «А в коляске Мих. Мих. / Меж наследниц своих / И с самой Марьей Дмитревной рядом. / И тиха как мечта / Она сжала уста, / Удушаема пылью как ядом»[20]. Коля Достоевский, милый, деликатный, отчаянно пьющий, в письме брату Андрею (ноябрь 1862-го) рассказывал о житье-бытье Федора: «Теплая, ангельская душа, характер... Одним словом, если ты еще не читал последних двух его сочинений — “Униженных и оскорбленных” и “Записок из Мертвого дома”, прочти, и ты увидишь, что вся его душа, вся его жизнь видна, как на ладони. Этот человек готов всегда жертвовать собою для блага ближнего. Жена его очень добрая особа, но жаль, что очень больная женщи-

на. У ней чахотка, и только тридцатилетний возраст не дает скоро развиться этой болезни»[21].

Уезжая в начале июня 1862 года за границу, Достоевский оставил Марии Дмитриевне доверенность на гонорар за отдельное издание «Мертвого дома», которое удалось выгодно продать книжному купцу Базунову. Он доверял жене, в случае своей болезни или смерти за границей, также и право на окончательный расчет по контракту.

Достоевский не скрывал от старшего брата своих настроений, и *Mich-Mich* понимал, как одинок Федор в своем семействе. «Я верю, что еще не кончилась моя жизнь и не хочу умирать» — это восклицание трехлетней давности можно было понять и как надежду на новую привязанность. «Сердце человеческое живет и требует жизни», — откровенно признался он Врангелю накануне возвращения в столицу. «Не старейтесь никогда сердцем... Да здравствует вечная молодость!» — записал он осенью 1860-го в альбом знакомой даме. Ф. М. стал близким другом артистки А. И. Шуберт, с которой познакомился сразу по приезде из Твери в доме брата Михаила, где собиралось много народу. «Ф. М. Достоевский очень ко мне привязался. Он все жалел, что я играю только вздор, уговаривал взяться за серьезные роли»[22], — вспоминала Александра Ивановна. Ф. М. с увлечением и явным удовольствием писал ей в Москву, куда она переехала, получив приглашение Малого театра. «Мои желания самые искренние. Очень бы желал тоже заслужить Вашу дружбу. Вы очень добры, Вы умны, душа у Вас симпатичная; дружба с Вами хорошее дело. Да и характер Ваш обаятелен...»

Доктор Яновский, пребывавший с супругой в разладе, к ее вызывающе доверительным отношениям с Достоевским относился подозрительно, как и к тому влиянию, которое писатель на нее оказывал. «Он [Яновский], — писал Ф. М. актрисе, — кажется, совершенно уверен, что мы беспрерывно переписываемся, что Вы живете моими советами... Мне кажется, он тоже и ревнует немного, он, может быть, думает, что я в Вас влюблен... Я так рад, что уверен в себе, что не влюблен в Вас! Это мне дает возможность быть еще преданнее Вам, не опасаясь за свое сердце. Я буду знать, что я предан бескорыстно».

Но жажда любви и «страстного элемента» у сорокалетнего Достоевского была тем сильнее, чем бескорыстнее была его преданность. Добравшись до Европы, Ф. М. писал Страхову и звал его приехать: «Ах, кабы нам вместе: увидим Неаполь, пройдемся по Риму, чего доброго приласкаем молодую венецианку в гондоле (А? Николай Николаевич?) Но... “ничего, ничего, молчанье!”, как говорит, в этом же самом случае, Поприщин».

Через пять дней после отъезда из Петербурга Достоевский впервые в жизни переступил порог курзала в Висбадене и впервые в жизни играл на рулетке. Завязывались новые узлы его будущих романов.

Глава вторая

ДЕВУШКА С ОБСТРИЖЕННЫМИ ВОЛОСАМИ

Сестры Сусловы. — Эпоха шестидесятых. — Портрет и карикатура. — Чацкий в юбке. — Впервые в Европе. — Родная канитель. — Судьба «Времени». — Злой гений. — Нелегкие «отношения». — Эгоизм и самолюбие. — Четырехмесячное ожидание

«Как странно создан человек! Говорят — существо свободное... какой вздор! Я не знаю существа более зависящего: развитие его ума, характера, его взгляд на вещи — все зависит от внешних причин. Разум, эта высшая способность человека, кажется, дан ему для того, чтобы глубже чувствовать собственное бессилие и унижение перед случайностью».

Так начиналась повесть «Покуда», опубликованная в журнале братьев Достоевских «Время» (1861, ноябрь) за подписью «А. С-ва». Все, кто когда-либо писал о сочинении дебютантки, даже не зная, кто она такая, с каким-то странным удовлетворением отмечали, что повесть — далеко не шедевр: банальный сюжет, рыхлая композиция, шаблонные психологические ходы, стиль, лишенный индивидуальности, слабая и беспомощная обрисовка характеров, в лоб поданная тенденция.

Почему же издатели «Времени» поместили посредственную повесть неизвестного автора между восьмой главой «Записок из Мертвого дома» Достоевского и романом в стихах «Свежее предание» Полонского? Что стояло за привилегиями, которые, по непонятным причинам, получил автор, появившись в одном разделе с такими мастерами, как Островский (его «Женитьба Бальзаминова» открывала номер), Майков (стихотворение «В горах»), Некрасов («Крестьянские дети»), Григорович («Уголок Андалузии»)?

За историей «случайной» публикации читателям, хоть сколько-нибудь сведущим в литературно-журнальной кухне, мерещился, должно быть, романтический подтекст: начинающая писательница приглянулась редактору, и в видах симпатии он решил протежировать ей. А может, некие отношения уже возникли, и публикация стала их вещественным результатом...

Вряд ли, однако, «А. С-ва» могла слишком радоваться появлению в журнале своей повести, если понимала, что обязана не таланту, а протекции. Очень скоро к тому же появилась и другая «С-ва» — свой рассказ «Сашка» она отнесла в «Современник», подписав инициалами «Н. С.»; прочитанное Чернышевским и Некрасовым сочинение было немедленно опубликовано.

Трудно сказать, были бы известны подробности первоначальной биографии дебютантки журнала «Время», если бы ее сестра, Надежда Прокофьевна Суслова, стартовавшая у «современников», не защитила в Цюрихе диссертацию на степень доктора медицины. Звание первой русской женщины-врача обеспечило ей право на повышенный общественный интерес, но родители, детство, юные годы у нее и у старшей сестры Аполлинарии Прокофьевны Сусловой (1840—1918) были одни на двоих.

В семье Прокофия Григорьевича Суслова, уроженца села Панино Горбатовского уезда Нижегородской губернии и бывшего крепостного крестьянина графа Д. Н. Шереметева, подрастало трое детей — сын Василий и две дочери. Дети росли на вольном деревенском воздухе, но с момента, когда их энергичный отец стал управляющим московскими имениями графа, семья переселилась в Москву и девочки были отданы на воспитание в пансион благородных девиц княгини Белосельской. Заканчивали образование они уже в Петербурге — в 1859-м Суслов стал главноуправляющим всеми имениями Шереметева с жительством в Северной столице.

Здесь Сусловы зажили на широкую ногу — в просторных апартаментах, с большим штатом прислуги, гувернанток и гувернеров. Юность сестер совпала с началом 1860-х — эпохой, о которой Достоевский, объявляя о подписке на «Время», писал как о времени «огромного переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно» и который по значению своему равносилен «всем важнейшим событиям нашей истории и даже самой реформе Петра».

Взросление сестер Сусловых проходило на фоне грандиозных событий. Они, как и Достоевский, должны были горячо приветствовать Манифест об освобождении крестьян, подписанный Александром II 19 февраля 1861 года, и его слова, сказанные на заседании Государственного совета: «Самодержавная власть утвердила крепостное право, она же должна и прекратить его». В день обнародования манифеста, 5 марта, Никитенко отметил в дневнике: «С невыразимо отрадным чувством прочел я этот драгоценный акт, важнее которого вряд ли что есть в тысячелетней истории русского народа»[23].

Общественное нетерпение; крестьянские волнения; студенческие демонстрации и временное закрытие университетов; статьи в герценовском «Колоколе» с критикой реформ; прокламации и агитационные воззвания; первые нелегальные издания и революционные организации, опустошительные пожары в Петербурге и политические процессы; распространение нигилизма и женской эмансипации — все это было грозной и волнующей музыкой их молодости.

На правах вольных слушательниц яркие, одаренные девушки посещали лекции профессоров Петербургского университета, были заметны в студенческой среде, вовлечены в ее интересы и культурные запросы. Общественное внимание, которым пользовался Достоевский, поплатившийся каторгой за свои политические убеждения, не оставило, надо полагать, равнодушными и сестер Сусловых.

Ни Ф. М., ни Аполлинария ни разу не обмолвились об обстоятельствах их первой встречи — не оставили воспоминаний, устных рассказов, заметок в дневнике. Достоверная дата, которая может служить опорной точкой, определяющей границу знакомства, — помета цензора Ф. Веселаго на обороте титула журнала «Время» с рассказом Сусловой: «Печатать позволяется с тем, чтобы по отпечатанию представлено было в Цензурный Комитет узаконенное число экземпляров. С.-Петербург, 1 сентября 1861 года».

До или после напечатания «Покуда» произошла встреча? Как именно они познакомились — подошла ли девушка в конце литературного вечера задать писателю вопрос, написала ли ему письмо, принесла ли свою рукопись и попросила совета — все это остается сферой предположений.

Меж тем толкование этой истории 60 лет спустя попыталась дать дочь писателя, которая никогда сестер Сусловых не видела и слышать что-либо от своего отца об одной из них не могла — девочке было 11 лет, когда отца не стало. Значит, что-то она слышала от матери, мучительно ревновавшей Ф. М. не только к первой жене, но и к Аполлинарии, и, по обыкновению, возвела напраслину на обеих «бывших» женщин своего отца. Воображение болезненной, одинокой, немолодой женщины (в 1922-м, когда вышла книга об отце, Любови Федоровне было уже за 50) рисовало «Полину N.» бесстыжей бунтаркой, одержимой политическим бешенством. «Регулярно каждую осень она записывалась студенткой в университет, но никогда не занималась и не сдавала экзамены. Однако она ходила на лекции, флиртовала со студентами, ходила к ним домой, мешая им работать, подстрекала их к выступлениям, заставляла подписывать протесты, принимала участие во всех

политических манифестациях, шагала во главе студентов, неся красное знамя, пела Марсельезу, ругала казаков и вела себя вызывающе, била лошадей полицейских, полицейские, в свою очередь, избивали ее, проводила ночь в арестантской, а когда возвращалась в университет, студенты с триумфом несли ее на руках как жертву "ненавистного царизма"».

Видимо, Любовь Федоровна не чувствовала, насколько этот карикатурный портрет порочит ее отца, — ибо как мог писатель, с его тогдашним неприятием радикализма*, находившийся к тому же под полицейским надзором, увлечься подобным чудовищем? Но она торопилась сказать самое главное о ненавистной особе. «Полина присутствовала на всех балах, всех литературных вечерах студенчества, танцевала с ними, аплодировала, разделяла все новые идеи, волновавшие молодежь. Тогда в моду вошла свободная любовь. Молодая и красивая Полина усердно следовала веянию времени, служа Венере, переходила от одного студента к другому и полагала, что служит европейской цивилизации. Услышав об успехе Достоевского, она поспешила разделить новую страсть студентов. Она вертелась вокруг Достоевского и всячески угождала ему. Достоевский не замечал этого. Тогда она написала ему письмо с объяснением в любви. Это письмо было найдено в бумагах отца, оно было простым, наивным и поэтичным».

Л. Ф. Достоевская не нагружала свое повествование документальными доказательствами и не разъяснила, о каком письме, «найденном в бумагах отца», идет речь, кем и когда оно было найдено и где находится. Она не пояснила также, почему об этом письме ни словом не обмолвилась ее мать в «Дневнике 1867 года», если нашла его в первые месяцы брака; почему ничего не сказала о послании соперницы в «Воспоминаниях», которые писала после смерти мужа. Дочь писателя ничем не

---

* В середине мая 1862 года Достоевский обнаружил у дверей своей квартиры, на ручке замка, экземпляр прокламации «Молодая Россия», призывавшей к «кровавой и неумолимой» революции: «Мы издадим крик: "В топоры!" и тогда... тогда бейте императорскую партию не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что кто будет не с нами, тот будет против; кто против, тот наш враг, а врагов следует уничтожать всеми способами...» Тем же вечером Достоевский был у Чернышевского и убеждал его «остановить» авторов прокламаций и «прекратить эту мерзость». «Ничего нельзя было представить нелепее и глупее, — скажет десятилетие спустя Достоевский в «Дневнике писателя». — Подавлял один факт: уровень образования, развития и хоть какого-нибудь понимания действительности... Эта прокламация в то утро как бы ошеломила меня, явилась для меня совсем как бы новым неожиданным откровением: никогда до этого дня не предполагал я такого ничтожества! Пугала именно степень этого ничтожества».

рисковала: ни матери, ни отца, ни его бывших возлюбленных уже не было в живых, так что защитить свое доброе имя и свою былую любовь никто из них уже не мог.

«Можно было предположить, — продолжала Любовь Федоровна, — что писала письмо робкая молодая девушка, ослепленная гением великого писателя. Достоевский, растроганный, читал письмо Полины. Это объяснение в любви он получил в тот момент, когда больше всего в нем нуждался. Сердце его было разбито предательством жены, он презирал себя, как обманутого и осмеянного мужа. И вдруг свежая и красивая молодая девушка предлагает ему свою любовь! Значит, его жена все же заблуждалась! Его можно было полюбить, его, побывавшего на каторге в обществе воров и убийц. Достоевский с жадностью ухватился за то утешение, которое ему было послано судьбой. О легких нравах Полины он не имел ни малейшего представления... Он знал, что врачи отказались от Марии Дмитриевны и через несколько месяцев он сможет жениться на Полине. У него не было сил ждать и отказываться от этой молодой любви, отдававшей ему себя свободно и без оглядки на общество и условности. Достоевскому было сорок лет, и его еще никогда не любили...»

Если бы рассказ о «легких нравах Полины» хотя бы отчасти походил на правду, она, эта правда, непременно отразилась бы в повести дебютантки: образ мыслей и образ жизни легкомысленной девицы, ее «служение Венере», ночи в полицейском участке и многое другое, в чем обвиняла ее Л. Ф., оставили бы след в сочинении автора, впервые взявшегося за перо. Однако повесть «Покуда» ничего общего с опытами «Полины N.» не имела. Героиня повести, натура глубокая и развитая, изнывая под гнетом капризной и вздорной матери, выходит замуж без любви за недостойного человека и не находит счастья в новой семье. Пошлость жизни толкает ее на разрыв с мужем; она едет в провинцию, зарабатывает грошовыми уроками и вскоре умирает от чахотки «где-то на чердаке».

Двадцатилетняя писательница, которую жгуче волновали вопросы женской эмансипации, пыталась понять, что может случиться с женщиной, которая решит остаться верной себе, несмотря на оскорбления и притеснения. Она заранее знает, что́ ее ждет: разрыв с семьей, уход в никуда. Поразительно точными применительно к биографии самой Аполлинарии окажутся обстоятельства этого «никуда» — «жила в гувернантках в каком-то уездном городе», «переходила из дома в дом и нигде не могла ужиться». Она предвидит даже формулу разрыва: «не женщина, а упрямый черт; с ней нельзя не ссориться; но трудно с ней расстаться тому, кто ее любит».

Пройдет много лет, и муж Сусловой, В. В. Розанов, почти в тех же словах опишет их семейную драму. И Достоевский после разрыва с Аполлинарией скажет Надежде Сусловой: «Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не *хотел бы* любить ее. Она не *стоит* такой любви».

Нет, не угадала Любовь Федоровна характер подруги своего отца, сочинив о ней злую нелепицу. Видимо, столько же правды содержалось и в фантазиях о «негритянских» повадках и порочных страстях М. Д. Исаевой.

Не выдуманная мемуаристкой «Полина N.», а реальная Аполлинария запишет в своем интимном дневнике слова Достоевского, обращенные к ней летом 1863-го: «Ты по ошибке полюбила меня, потому что у тебя сердце широкое, ты ждала до 23 лет, ты единственная женщина, которая не требует никаких обязанностей... Это должно было случиться, что ты полюбишь другого...»[24] «Ты как-то говорил, — скажет она ему, — что я не скоро могу отдать свое сердце... Ты меня не знал, да и я сама себя не знала...»

Совсем другой язык, совсем другой стиль отношений...

«Дневник» Елены Андреевны Штакеншнейдер рисует Суслову в тот самый момент, когда разгоралась их с Достоевским любовь. Весна 1862-го; Аполлинария и ее сестра приняты в доме Якова Полонского. Е. А., записавшая вчерашние впечатления, хорошо разглядела старшую из сестер: «Девушка с обстриженными волосами, в костюме, издали похожем на мужской, девушка, везде являющаяся одна, посещающая (прежде) университет, пишущая...» Однако за броской внешностью девушки «без предрассудков» скрывалась неуверенность. «Суслова, еще недавно познакомившаяся с анализом, еще не пришедшая в себя, еще удивленная, открывшая целый хаос в себе, слишком занята этим хаосом, она наблюдает за ним, за собой; за другими наблюдать она не может, не умеет. Она — Чацкий, не имеющий соображения»[25].

«Чацкий в юбке», бьющий полицейских лошадей?

...Летом 1862 года, когда Достоевский уезжал в свою первую заграничную поездку, знакомство с Сусловой, похоже, еще не удерживало его в Петербурге. Он путешествовал два с половиной месяца, о лечении не думал — курзал в Висбадене был щедр на другие удовольствия. «Вырвался я наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже все осмотреть, непременно все, несмотря на срок. К тому же хладнокровно выбирать места я был решительно не в состоянии. Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия!.. Вся "страна святых чудес"

представится мне разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе».

Однако холодное европейское лето не обрадовало и «нового, чудного, сильного» впечатления не дало: «кислый» Берлин, «противные лица» жительниц Дрездена, «галантерейный» Кёльнский собор, «окаменелый в затишье и порядке» профессорский Гейдельберг, «прескучнейший» Париж («если б не было в нем очень много действительно слишком замечательных вещей, то, право, можно бы умереть со скуки»), сами французы, «народ, от которого тошнит». Впечатления выходили тяжелые; мучили хандра и тоска. «Вы не поверите, — писал он Страхову из Парижа, — как здесь охватывает душу одиночество. Тоскливое, тяжелое ощущение! Положим, Вы одинокий человек и Вам особенно жалеть будет некого. Но опять-таки: чувствуешь, что как-то отвязался от почвы и отстал от насущной, родной канители, от текущих собственных семейных вопросов». Его волновали пожары в Петербурге и самочувствие Марии Дмитриевны — но *Mich-Mich*, живя в одном доме с семейством брата, слал успокоительные письма.

Отчасти к «родной канители» вернул Достоевского Лондон, где проходила Всемирная промышленная выставка и где он пробыл восемь дней ради свиданий с Герценом. Обсуждали «домашние дела»: пожары (многие в России считали поджигателем именно Герцена), прокламации, цензуру, вольную русскую печать, меры правительства. В «Зимних заметках» Ф. М. сознается, что вел себя «как-то неприлично для путешественника» — будучи в Лондоне, поспешил в королевскую тюрьму Пентонвиль и не осмотрел собора Святого Павла; следившие за домом русского эмигранта агенты Третьего отделения в это самое время доносили, что Достоевский в Лондоне «свел дружбу с Герценом и Бакуниным».

Достоевский привез Герцену «Записки из Мертвого дома». «Страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонаротти»[26] — так напишет Герцен о книге. Но об авторе, которого встретил вполне радушно и которому надписью на фотографии засвидетельствовал «глубочайшую симпатию», в письме Огареву отозвался чуть свысока: «Вчера был Достоевский. Он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ»[27].

Достоевский все же был не столь наивен, чтобы не понять, насколько собеседник не разделяет его энтузиазма. Но только спустя десятилетие сможет точно обозначить координаты:

«Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России... Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический».

...После Лондона снова был Париж, потом «мрачная и скучная» Женева, где к Достоевскому присоединился Страхов и где они были неразлучны, «свои» посреди чужой толпы. «Федор Михайлович не был большим мастером путешествовать, — вспоминал впоследствии Страхов, — его не занимали особенно ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства, за исключением разве самых великих; все его внимание было устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характеры, да разве общее впечатление уличной жизни. Он горячо стал объяснять мне, что презирает обыкновенную, казенную манеру осматривать по путеводителю разные знаменитые места. И мы, действительно, ничего не осматривали, а только гуляли, где полюднее, и разговаривали»[28]. Гуляя и разговаривая, они добрались до Люцерна, а потом до Флоренции и Турина, не делая ничего такого, что обычно делают туристы, разве что взахлеб читали только что вышедший роман В. Гюго «Les miserables» — Ф. М. покупал том за томом, но не мог обходиться и без новостей из дома: ходил во флорентийскую читальню («Cabinetto scientifico-litterario di G. P. Vieusseux»), где имелись русские газеты. Он заскучал в галерее Уффици и чувствовал себя на месте только в прогулках по городу и в вечерних разговорах на сон грядущий, за стаканом местного красного вина, не более крепкого, чем пиво (Страхов отметит его умеренность в питье и еде: «Я не помню во все двадцать лет случая, когда бы в нем заметен был малейший след действия выпитого вина»[29]).

Во Флоренции приятели расстались — Страхов отправился в Париж, а маршрут Достоевского Милан—Венеция—Вена—Дрезден—Берлин (на каждый город приходилось чуть больше суток) привел его в Петербург. Надо было срочно продлить аренду жилья на Малой Мещанской, в том же доме, где жил *Mich-Mich* и где помещалась редакция «Времени»; нужно было обдумать программу журнала на следующий год (она будет опубликована в сентябрьской книжке). За летними пожарами-поджогами, уничтожившими целые кварталы Петербурга, «кровавыми» прокламациями, тайными обществами (с 1861-го уже вовсю действовала «Земля и воля», грезившая о крестьянской революции) последовали приостановка на восемь меся-

цев «Русского слова» и «Современника», усиление надзора за типографиями, воскресными школами, народными читальнями. В начале июля были арестованы Чернышевский (в документах Третьего отделения он будет назван «врагом империи номер один»), Писарев и Н. А. Серно-Соловьевич. «Бедная Россия! Каким хаосом тебе угрожают!.. Бедное мое отечество! Видно, придется тебе сильно пострадать. Темные силы становятся в тебе всё отважнее, а честные люди всё трусливее», — записывал в дневнике Никитенко[30].

«Нам труднее издавать наш журнал, чем кому-нибудь, — значилось в «Объявлении о подписке на журнал "Время" на 1863 год». — Обличителям легче нашего. Им стоит только обличать, нападать и свистать, чтобы быть всеми понятыми... Боже нас сохрани, чтоб мы теперь свысока говорили об обличителях. Честное, великодушное, смелое обличение мы всегда уважаем... Мы сами обличители... Мы рвемся к обновлению уж, конечно, не меньше их. Но мы не хотим вместе с грязью и выбросить золота; а жизнь и опыт убедили нас, что оно есть в земле нашей, свое, самородное, что залегает оно в естественных, родовых основаниях русского характера и обычая, что спасенье в почве и народе».

Надо полагать, фраза из «Объявления» о «пустых, безмозглых свистунах», которые позорят все, до чего ни дотронутся, и марают чистую, честную идею (кивок Достоевского в сторону «рутинного либерализма»), вызвала немало ядовитых откликов. Тон журнальной полемики все более ожесточался, «Время» переживало не лучшие свои дни.

Об *а*бличительной литературе будут говорить герои «Скверного анекдота», рассказа, который Ф. М. написал осенью 1862-го как бы в рифму к «Объявлению»: некто генерал Пралинский, прослывший в эпоху перемен отчаянным либералом, ратующим за гуманность, которая, как он был убежден, станет краеугольным камнем реформ и нравственного обновления, «всё спасет и всё вывезет», пытается на практике осуществить свою идею — и терпит постыдное фиаско: *не выдерживает* принятой роли, подтвердив предсказание тайного советника и ретрограда Никифорова. Контраст между либеральными иллюзиями и реализмом действительной жизни был заложен в самой природе деятелей, которых Достоевский называл доктринерами и крикунами.

Судьба «Времени» могла решиться еще летом: как и «Современнику», журналу грозило закрытие на восемь месяцев за откровенные статьи о пожарах в Петербурге, запрещенные цензурой. Не обнаружив, однако, в журнале «вредного направления», власти решили не наказывать его, а ограничиться

«надлежащими наблюдениями». В ноябре Достоевский вынужден был объясняться с Некрасовым — тот отозвал обещание напечатать во «Времени» свои стихи: редактору «Современника» было неудобно появляться в «чужом» журнале в тот момент, когда собственный был закрыт. «Почему участие в нашем журнале могло бы Вас компрометировать и утвердить такие, например, слухи, что Вы предали Чернышевского? Разве наш журнал ретроградный? Уж, кажется, нет даже и для врагов наших. Можно всё говорить, но только не об ретроградстве».

События зимы—весны 1863 года парадоксально подтвердили несчастную правоту Ф. М. В ночь на 11 января началось Польское восстание, оценка которого, неловко высказанная журналом и превратно понятая, привела к его полному краху. В конце мая 1863 года редакция получила уведомление цензурного комитета: «Государь император, по всеподданнейшему докладу г. министра внутренних дел о помещении в № IV журнала "Время" статьи, под заглавием "Роковой вопрос" в высшей степени неприличного и даже возмутительного содержания, по предмету польских дел, идущей прямо наперекор всем действиям правительства и всем патриотическим чувствам и заявлениям, вызванным внешними обстоятельствами, и оскорбляющей народное чувство, а также о вредном направлении этого журнала, высочайше повелеть соизволил в 24 день мая прекратить издание журнала "Время"».

В те дни Никитенко записал в дневнике: «В апрельской книжке журнала "Время" напечатана статья под названием "Роковой вопрос" и подписанная "Русский", самого непозволительного свойства. В ней поляки восхвалены, названы народом цивилизованным, а русские разруганы и названы варварами. Статья эта не только противна национальному нашему чувству, но и состоит из лжей. Публика изумлена появлением ее в печати»[31]. Ни для кого из ближнего литературного круга красноречивый псевдоним не составлял тайны: псевдонимом «Русский» подписывался Страхов. Узнав шокирующую новость, высказалась в своем дневнике и Штакеншнейдер: «С "Временем" случилось большое несчастье, его запретили за статью Страхова о Польше... Полонский в отчаянии, да и кто не в отчаянии. Страхов больше всех: Достоевские жили журналом... Только со Страховым, только со "Временем" могло случиться подобное обстоятельство...»[32]

Спустя десятилетия Страхов оправдывался: «Ни у братьев Достоевских, ни у меня не было и тени полонофильства, или желания сказать что-нибудь неприятное правительству. Мысль статьи была та, что нам следует бороться с поляками не одним вещественным, но и духовными орудиями, и что окон-

чательное разрешение дела наступит лишь тогда, когда мы одержим над поляками духовную победу. Польский вопрос, больше чем всякий другой, требует участия и всех наших внутренних сил, напоминает нам наше различие от Европы, требует уяснения и развития наших самобытных начал»[33].

Однако мысль эта, как признавал и сам Страхов, была выражена столь сухо, отвлеченно и с такими недомолвками, что была воспринята как антирусская и пропольская. Попытки оправдаться (журнал отвергал обвинения в сочувствии к полякам, утверждая, что скорее его можно упрекнуть в «ультра-русском народном направлении») ни к чему не привели, цензура нигде не пропускала ни строчки, «Время» было закрыто без всяких условий, навсегда. Ошибку неверного прочтения и путаницы исправить было невозможно; «чем грубее была ошибка, тем неудобнее было, после строгой меры, раскрывать, что мера была принята по недоразумению»[34].

Полвека спустя, опровергая страховскую клевету на покойного мужа*, А. Г. Достоевская, может быть, сама того не желая, точно назвала первопричину бедствий, свалившихся на Ф. М. после успешно начатого журнального предприятия. «Не могу понять, как у Страхова поднялась рука написать, что Федор Михайлович был "зол" и "нежно любил одного себя"? Ведь Страхов сам был свидетелем того ужасного положения, в которое оба брата Достоевские были поставлены запрещением "Времени", происшедшим благодаря неумело написанной статье ("Роковой вопрос") самого же Страхова. Ведь не напиши Страхов такой неясной статьи, журнал продолжал бы существовать и приносить выгоды и после смерти М. М. Достоевского, на плечи моего мужа не упали бы все долги по журналу

* Уже после смерти Достоевского, в 1883 году, Страхов в письме Л. Н. Толстому попытался «оправдаться» за написанные им добрые воспоминания о Ф. М. «Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти от него выход. Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым... Лица, наиболее на него похожие, — это герой "Записок из подполья", Свидригайлов в "Преступлении и наказании" и Ставрогин в "Бесах". Одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, а Достоевский здесь ее читал многим. При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости».

и не пришлось бы ему всю свою остальную жизнь так мучиться из-за уплаты взятых на себя по журналу обязательств. Поистине можно сказать, что Страхов был злым гением моего мужа не только при его жизни, но, как оказалось теперь, и после его смерти».

Если к предположению Анны Григорьевны («не напиши Страхов...») отнестись с тем вниманием, какого оно заслуживает, цепочка последствий «роковой» статьи может представиться еще более длинной.

Не опубликуй Страхов статьи, вызвавшей запрещение журнала, Достоевский смог бы выехать за границу не в начала августа, а гораздо раньше: в середине апреля он получил медицинское заключение, предписывающее морские купания, а в конце мая перевез Марию Дмитриевну из Петербурга во Владимир на лето. Винясь перед Тургеневым, что не ответил на два его письма, Ф. М. так объяснял причину своего молчания: «Тут было столько возни, тоски и прочего, очень дурного, что решительно целый месяц не подымалась рука взять перо. Верите ли Вы этому? А что касается до предыдущих писем, то болезнь жены (чахотка), расставание мое с нею (потому что она, пережив весну (то есть не умерев в Петербурге), оставила Петербург на лето, а может быть и долее, причем я сам ее сопровождал из Петербурга, в котором она не могла переносить более климата); наконец, моя серьезная и довольно долгая болезнь по возвращении из Москвы, — всё это опять-таки помешало мне писать к Вам».

Если бы не хлопоты по журналу (письмо Тургенева застало его в «самое хлопотливое и тугое время»), он бы, вероятно, гораздо раньше конца июня сумел получить разрешение на выезд и оформить заграничный паспорт; но, даже и получив искомое разрешение, ему пришлось изыскивать «экстренных» денег, так как своих, то есть журнальных, уже не было. Касса «Времени» оказалась пуста. «Во-1-х, журнала нет, а во-вторых (признаться искренно), он (М. М. Достоевский. — *Л. С.*) совершенно разорен запрещением журнала, и семейство его должно почти пойти по миру. И потому не будьте в претензии на нас», — извинялся за брата перед Тургеневым Достоевский; просить денег на поездку, за неимением иных кредиторов, пришлось у Литературного фонда.

Очевидно, что Ф. М. — несмотря на осложнения и препятствия — рвался уехать. «Собираясь отправиться на три месяца за границу для поправления моего здоровья и для совета с европейскими врачами-специалистами о падучей моей болезни, я прибегаю к помощи Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым и прошу из капитала Общества себе

займы, до 1-го февраля будущего 1864-го года, тысячу пятьсот рублей серебром, без которых я, по обстоятельствам моим, никаким образом не могу двинуться с места». За 1500 рублей, которые ему давали в долг, он готов был расплатиться по самой высокой ставке, передавая обществу, в случае болезни или смерти, вечное право на владение и издание своих сочинений. В конторе маклера Ф. М. подписал обязательство вернуть долг к 1 февраля 1864 года — в противном случае (или в случае смерти) права на все им написанное переходили к Литературному фонду.

Мария Дмитриевна всю минувшую зиму проболела, почти не выходя из комнаты. Уезжая, Ф. М. просил свояченицу и племянницу опекать больную («Варваре Дмитриевне посылать всё Маше... Соню попросить убедительно в Москве заехать к Марье Дмитриевне», — пометил он в Записной книжке). Шестнадцатилетний Паша оставался в Петербурге и был определен на жительство к учителю русского языка и словесности, которому Ф. М. поручил готовить пасынка к гимназическому экзамену. Оставалось посетить французское консульство и прусское посольство, чтобы получить разрешение на въезд. В Париже Достоевского уже давно ждала Аполлинария.

...За пятнадцать месяцев, прошедших с момента появления «Покуда», и до публикации в мартовском номере «Времени» (1863) нового рассказа Сусловой («До свадьбы») ее знакомство с Достоевским успело перерасти в любовь, а затем, по выражению А. П., и в «отношения». Но какая бездна пролегла между тем, что было «любовью», и тем, что назвалось «отношениями»! Гнетущие впечатления и мрачные переживания слишком быстро отравили счастье первого любовного опыта.

Она пыталась объясниться: «Ты [сердишься] просишь не писать, что я краснею за свою любовь к тебе. Мало того, что не буду писать, могу [даже] уверить тебя, что никогда не писала и не думала писать, [ибо] за любовь свою никогда не краснела: она была красива, даже грандиозна. Я могла тебе писать, что краснела за наши прежние отношения. Но в этом не должно быть для тебя нового, ибо я этого никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до моего отъезда за границу».

У нее был легкий, стремительный почерк. Не вполне полагаясь на экспромт, она составила черновик, который обнаруживает тягостный поиск нужного слова, превративший листок почтовой бумаги в шифровку из сплошь зачеркнутых слов. Неизвестно, был ли переписан этот черновик письма без даты, был ли отправлен адресату, был ли им прочитан. В любом случае — настроение подруги, краснеющей за «отношения», Ф. М. знал: она этого от него «никогда не скрывала». Но зна-

чит, уже в этот первый год она «столько раз» была обижена и унижена «отношениями», «столько раз» была на грани разрыва, что ей хотелось бежать из Петербурга...

Тяжелым, до ненависти и отвращения, оказался груз свободной любви для презирающей условности Аполлинарии. «Позор» любовной связи был болезненным — девушка с обстриженными волосами была начисто лишена дамских хитростей и уловок, то есть «форм и обрядов». Не дорожа репутацией, она дорожила лишь честностью и искренностью — своими единственными прибежищами, гарантами самоуважения. И, вероятно, ей было из-за чего чувствовать себя уязвленной, даже если она сильно преувеличивала огромность перенесенных обид.

Впрочем, причину своих обид она поведала Достоевскому сама — в том самом черновике. «Что ты никогда не мог понять, мне теперь ясно: они [отношения] для тебя были приличны... Ты вел себя, как человек серьезный, занятой, [который] по-своему понимал свои обязанности и не забывает и наслаждаться, напротив, даже, может быть, необходимым считал наслаждаться, [ибо] на том основании, что какой-то великий доктор или философ утверждал, что нужно пьяным напиться раз в месяц».

Она просила его не сердиться за эти слова и за то, что выражается «легко». Однако «легкой» Аполлинария была только в словах... «Легкой» любви у нее с Достоевским не получилось.

«Были жгучие наслаждения, — предполагал биограф А. П. Сусловой и публикатор писем Достоевского А. С. Долинин, — было, по всей вероятности, отнюдь не радостное, распаленное сладострастие и вместе с тем какая-то жестокая методичность человека серьезного и занятого. Тогда каждый приход его, быть может, вместе с захватывающими переживаниями сладостно-грешными приносил с собой и глубокое незабываемое оскорбление. И раскалывался надвое образ "сияющего", эрос превратился в патос, и переживалось это превращение тем более мучительно, что это ведь был он, автор "Униженных и оскорбленных", столько слез умиления проливавший над идеалом чистой самоотверженной любви... Не раз будем мы встречаться в ее дневнике со вспышками как будто беспричинной ненависти к Достоевскому; и линии обычно ведут, — как бы само собою вырывается — все к этому первоначальному моменту их отношений, когда любовь, казалось бы, еще никем и ничем не была омрачена»[35].

Существовала, правда, одна заминка. Если любовь, до начала тягостных для нее «отношений», была хоть какое-то время возвышенна и чиста, красива и грандиозна, почему в эпи-

столярном черновике, да и в сочинении для журнала, писательница (как и ее героиня) всегда была занята одной собой? Почему все ее переживания были обращены только вглубь себя и никогда не направлены на другого, будто до этого «другого» ей нет никакого дела? В черновике письма она писала о Ф. М. как о серьезном и занятом человеке, и это, по-видимому, сильно ее раздражало. Но она не могла не знать о пережитой им каторге, о несчастливой семейной истории с неотменимыми заботами о пасынке и жене, приговоренной врачами, о помощи брату Коле, тихому пьянице, о хроническом безденежье, о долгах и писаниях к сроку. Она не могла не знать, наконец, о его падучей болезни — о ней знали все вокруг.

Она не замечала его вечной усталости? Не видела, как он мечется, разрываясь между работой на износ, журналом, больной женой и — ею, молодой, здоровой, сильной, беззаботной и обеспеченной возлюбленной (П. Г. Суслов давал обеим дочерям достаточно средств на тот образ жизни, который они себе избрали и который включал длительные заграничные путешествия вместе с учебой в европейских столицах)? Она осуждала Ф. М. за регулярность («методичность») их свиданий, за избыточность его любовного пыла, за проявле́ния любви, которые были не столь возвышенны, как ей, должно быть, хотелось, — и ничего ему не прощала? И это при еще длящейся «красивой, даже грандиозной», то есть возвышенной и чистой *ее* любви?

Два года спустя, когда любовь Достоевского к Аполлинарии все еще была жива, но «отношения» их прекратились навсегда, Ф. М., раздосадованный несправедливыми упреками, попытается оправдаться перед Н. П. Сусловой, обвинившей его, со слов сестры, в циничной привычке «лакомиться чужими страданиями и слезами». «Вы, кажется, не первый год меня знаете, что я в каждую тяжелую минуту к Вам приезжал отдохнуть душой, а в последнее время исключительно только к Вам одной и приходил, когда уж очень, бывало, наболит в сердце. Вы видели меня в самые искренние мои мгновения, а потому сами можете судить: люблю ли я питаться чужими страданиями, груб ли я (внутренно), жесток ли я?» — спрашивал он, зная ответ заранее.

И продолжал: «Аполлинария — больная эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей *всего*, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она колет меня до сих пор тем, что я не достоин был любви ее, жалуется и упрекает меня беспрерывно... Мне жаль ее, потому что, предвижу, она

вечно будет несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастья. Кто требует от другого всего, а сам избавляет себя от всех обязанностей, тот никогда не найдет счастья... Я осмелился говорить ей наперекор, осмелился выказать, как мне больно. Она меня третировала всегда свысока. Она обиделась тем, что и я захотел, наконец, заговорить, пожаловаться, противоречить ей. Она не допускает равенства в отношениях наших. В отношениях со мной в ней вовсе нет человечности. Ведь она знает, что я люблю ее до сих пор. Зачем же она меня мучает? Не люби, но и не мучай...»

Справедливости ради надо сказать, что за полгода до этого письма и независимо от него Аполлинария доверила дневнику и свою боль: «Когда я вспоминаю, что я была два года назад, я начинаю ненавидеть Д[остоевского], он первый убил во мне веру». И еще: «Мне говорят о Ф[едоре] М[ихайловиче]. Я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания. Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания». (Спустя десятилетия Розанов, женившейся «по психологии» на «той, кого любил Достоевский», и уже оставленный ею, выскажется, со страданием и болью, о бывшей жене как о «стареющей, бесплодной, чувственной и истеричной нигилистке, мстящей Достоевскому, как Грушенька мстила своему покровителю», а о своем браке с ней как о «нигилистических иглах вместо лона», «озлобленном безбожии шестидесятницы с колючей и принципиально бездетной постелью»[36].)

Очевидно, в драматической истории Сусловой и Достоевского главную роль играли все же не только или даже не столько *проявления* любви, сколько «колючая» человеческая составляющая их характеров и «отношений»...

Для ее самолюбия было важно то, что Ф. М. не скрывал от литературных знакомых их связь. Полонский, в 1859-м поместивший в «Русском слове» (№ 3), где был редактором, «Дядюшкин сон» и сам печатавшийся во «Времени», снабдил Суслову рекомендательными письмами к Тургеневу и к родственникам своей покойной жены, так что вскоре по приезде в Париж в марте того же года Аполлинария уже писала ему нечто вроде отчета о своих первых впечатлениях и ближайших планах.

Даже если она действительно хотела сбежать от «отношений» с Достоевским, то скорее всего желание это было временное, ибо даже Полонскому она сообщала, что в самом скором времени ждет приезда Ф. М. «Я почти нигде не была, ничего не видала и думаю оставить осматривать Париж до приезда Федо-

ра Михайловича... До сих пор я не встречала здесь ни одного человека, сколько-нибудь близкого по мнениям, и думаю, что пропаду со скуки, если не приедет Федор Михайлович»[37].

Но Ф. М. не приехал ни в мае, ни в июне, ни в июле. С ней ничего особенного не происходило: упражнялась во французском; всматривалась во французов «и находила в них много человеческого»; не торопилась заводить новые знакомства; по своему обыкновению, «начинала скучать»; собиралась со знакомым семейством осенью ехать в Англию, чтобы там жить и учиться английскому языку, а пока что поселилась в мужском пансионе, где «есть люди всех наций». В середине июля, когда она писала очередное письмо Полонскому, в ее голове поселились «какая-то путаница и тяжесть», бесило поведение соотечественников, которых здесь называли «варварами, позорящими имя цивилизации», чувствовала «полнейшее отвращение к англичанам за их аристократизм»[38] и — все еще ждала Достоевского.

До их встречи в Париже оставалось чуть больше месяца.

Глава третья

В РОЛИ «ДРУГА И БРАТА»

«Дневник» Аполлинарии. — «Опоздал приехать». — «Не Лермонтов». — Отъезд из Парижа. — Итальянский маршрут. — Проваленная роль. — Между Москвой и Петербургом. — Смерть жены. — «Записки из подполья». — Потеря брата. — «Ни одного сердца...»

В 1918 году, после кончины в Севастополе 79-летней А. П. Розановой-Сусловой, ее двоюродный племянник, собиратель бытового острословия и старинного скоморошьего эпоса Е. П. Иванов передал в академические архивы сундучок тетушки с оставшимися после нее бумагами. Вскоре они оказались в центре внимания исследователей.

«Вестник литературы» (1919, № 5) сообщал: «Библиотекарь рукописного отдела Академии Наук А. Л. Бем, ознакомившись с поступившим туда дневником А. Сусловой, автора повестей, печатавшихся в шестидесятые годы, наткнулся на любопытный эпизод из жизни нашего знаменитого романиста. Оказывается, что Достоевский в течение двух лет был в очень близких отношениях с писательницей Сусловой и питал самые нежные чувства к этой интересной во многих отношениях женщине. Он даже предпринял специальную поездку в Па-

риж для свидания с предметом своей любви, но, пока он находился в пути, Суслова сошлась с каким-то испанцем, который, однако, скоро ее бросил. Лишившись опасного соперника, Достоевский отправился со своей возлюбленной в путешествие по Италии. Дневник Сусловой передает очень много интересных подробностей о романе писателя и писательницы и объясняет нам многое в романе Достоевского "Игрок", где воспроизведены некоторые любопытные эпизоды, характеризующие влюбленных. Дневник Сусловой послужил А. Л. Бему темой для интересного доклада в Историко-Литературном Пушкинском о-ве, образовавшемся при Пушкинской семинарии С. А. Венгерова, и приготовляется тоже для отдельного издания».

А вот что писал сам Бем: «Анализ "Игрока" и изучение биографических фактов 1863 г. должны были рано или поздно поставить вопрос о невыясненной тайне в жизни Достоевского того времени. Счастливый случай привел меня уже в 1918 г. к неожиданному раскрытию этой тайны. Мне посчастливилось среди рукописей Академии Наук найти дневник Аполлинарии П. Сусловой, который проливает совершенно новый свет на этот период жизни Достоевского»[39].

...Уже четыре месяца (апрель—июль 1863 года) она жила в Париже — и, ведя весьма приятный образ жизни, нимало не нуждалась в таком интимном общении, как дневник. В июле она еще была уверена, что дожидается Достоевского, — Ф. М. тоже полагал, что вскоре они вместе поедут в Италию. Но когда 4 августа (старого стиля) он выехал из Петербурга, его возлюбленная уже принадлежала другому. 7 августа (старого стиля), или 19 августа (нового стиля), когда она сделала первую запись в дневнике, ее непредвиденному роману было чуть больше недели.

Аполлинария начала вести дневник, по-видимому, внезапно, как только почувствовала неладное. Простая тонкая тетрадь в черном коленкоровом переплете, с неплотной разлинованной бумагой, предназначалась, вероятно, для занятий (в одной из таких тетрадей появится позже ее новая повесть). Она писала не слишком разборчиво и не слишком аккуратно, делала много помарок и ставила кляксы. То и дело кончались чернила, и записи продолжались в карандаше. Позже она возьмет эту тетрадку в путешествие по Италии и будет записывать туда все, что ей придет на ум; попробует, помимо дневника, делать путевые заметки и начнет писать в этой же тетради с обратной стороны; испишет все страницы из конца в конец, так что строки дневника наползут на путевые заметки. Два года спустя, уже в Петербурге, она запишет: «Сегодня [2 ноября

1865 года] был Ф. М. и мы все спорили и противоречили друг другу. Он уже давно предлагает мне руку и сердце и только сéрдит этим. Говоря о моем характере, он сказал: если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа».

Меньше всего Аполлинария могла предположить, что ее тетради станут важнейшим источником биографии Достоевского 1860-х годов.

Дневник начинался решительно и резко: «Была у Сальвадора». Так звали испанского студента-медика, очередное свидание с которым в номере отеля «Г.», где он проживал, закончилось нехорошо. Аполлинария едва сдерживала слезы: испанец намекал на свой возможный отъезд, но «не имел мысли» о ней, то есть показал, что не связывает с ней ни свое настоящее, ни тем более будущее, и что-то неискреннее сквозило в его ласках и поцелуях. Кусая губы, чтобы не разрыдаться, она торопилась заверить, что готова ехать с ним куда угодно, хоть в Америку, лишь бы позвал: «Отец позволит и даст средства».

Из совокупности записей, разбросанных в дневнике, возникает образ очень молодого, неотразимо красивого мужчины европейского лоска и католического воспитания, гордого и самолюбивого, который, добившись близости от женщины, вскоре охладел к ней и, чтобы отвязаться, пустил в ход обидную ложь и мелкие увертки. «Мне показалось в этот раз, что он меня не любит, и у меня явилось сильное желание заставить его полюбить себя. Это возможно, только нужно действовать хладнокровнее. Я знаю его слабые черты: он очень тщеславен», — запишет она спустя три дня. Однако хладнокровной быть она так никогда и не сможет («или ты не знаешь, как я тебя люблю; люблю до безумия... если бы ты знал это, то не заставил меня испытывать такие страдания») и любви испанца не вернет...

Эта короткая связь разожжет пожар в ее душе и на всю жизнь опалит ее сердце: уже брошенная, она будет бредить Сальвадором, истерически кричать, запершись в комнате, что убьет его; обдумывать планы самоубийства и составлять программы мести («мне бы хотелось его очень долго мучить...»); писать ему, ища предлог встретиться, глупые и грубые письма, на которые он и не подумает отвечать. «Его тщеславие, кажется, не позволит ему остаться в моих глазах лжецом... Человек этот не настолько развит, чтобы молчать из достоинства, — запишет она, так и не дождавшись ни ответа, ни визита, — и не настолько бесстыден, чтоб — от наглости, он струсил». Уже разгадав несложную натуру испанца, будет признаваться дневнику, что любит его одного и готова полжизни отдать, чтобы

вызвать в нем угрызения совести. Но он всего лишь пришлет к ней своего брата («какой прекрасный тип плантатора, этот молодой человек; красивый, приличный, хорошо одетый, серьезный»), который даст понять, что ждать ей нечего.

И все равно месяц за месяцем она будет искать Сальвадора в толпе парижских бульваров и улиц, выслеживать у входа в Hôtel du Médecin, дрожа от стыда и горя; добывать его новые адреса, когда, устав от преследований, он переедет на другую улицу; сгорать от внезапной надежды и рыдать от невыносимости своих мучений. «Неужели я его не забуду?.. И я приходила в отчаяние. Но отчего приходить в отчаяние, лучше ли бы было, если б я его забыла, лучше что ли мне было зиму, когда я его не видала? Лучше ли даже было мне в наше время? Я помню ночи, когда я вдруг просыпалась, в ужасе припоминая происшедшее днем, бегала по комнате, плакала. Лучше ли?»

Она начнет учить испанский язык, сладко обмирая при любом намеке на свое «испанское прошлое»; само слово «Испания» станет для нее символом «той» боли и «той» страсти, эхо которой будет чудиться ей во всяком новом опыте. Но мимолетные «пробы» (она подробно зафиксирует в дневнике все мужские взгляды, обращенные в ее сторону, все рукопожатия и прикосновения, все случайные объятия и поцелуи) будут одна хуже другой. «Несмотря на присутствие новых лиц, новых занятий, меня преследует одна мысль, один образ... И что я в нем нашла?»

Боль и отчаяние не уходили. «С некоторого времени, — писала она через полгода после разрыва, — я опять начинаю думать о Сальвадоре. Я была довольно спокойна, хорошо занималась, но вдруг иногда я припоминала оскорбление, и чувство негодования подымалось во мне. Теперь как-то особенно часто я об нем вспоминаю, и убеждение, что я осталась в долгу, не выходит у меня из головы. Я не знаю, чем и как заплачу я этот долг, только знаю, что заплачу наверное или погибну с тоски. Знаю, что пока существует этот дом, где я была оскорблена, эта улица, пока этот человек пользуется уважением, любовью, счастьем — я не могу быть покойна; внутреннее чувство говорит мне, что нельзя оставить это безнаказанно. Я была много раз оскорблена теми, кого любила, или теми, кто меня любил, и терпела... но чувство оскорбленного достоинства не умирало никогда, и вот теперь оно просится высказаться. Все, что я вижу, слышу каждый день, оскорбляет меня, и, мстя ему, я отомщу им всем... Я не хочу его убить, потому что это слишком мало. Я отравлю его медленным ядом. Я отниму у него радости, я его унижу».

Ничего этого она, конечно, никогда не сделает, но в списке «их всех», кому она будет мстить, первым окажется (и к тому моменту уже оказался) Достоевский.

«Он, кажется, похорошел, — запишет Аполлинария еще через год, когда «случайно» встретит Сальвадора у École de Médecine, смутится, растеряется, лицо зальется горячим румянцем. — Верхняя губа его покрылась желтым пухом, и это придает мужественный отпечаток его оригинальному энергичному лицу. Как хорошо это лицо! Есть в нем какая-то юношеская мощь, сама себя не сознающая». С превеликим трудом решится она навсегда уехать из Парижа, отравившего ее любовным ядом, неутоленная, неотмщенная. «Я бросила Париж, вырвала себя из него с корнем и думаю, что поступила с собой честно и решительно». Она станет утешать себя, что не случись этой яркой, слепой страсти, была бы пустота или «другая ошибка, может быть, более бесцветная». «Хорошо было бы, если б до сих пор мы вместе оставались, даже если б я была женой его? Это такой прозаический барин. И чего хочу я теперь от него? Чтоб он сознался, раскаялся, т. е. чтоб был Ф. М.».

Но Сальвадор ничуть не походил на Федора Михайловича...

Достоевский и *прозаический* испанский *monsieur* ненароком столкнулись в первой же дневниковой записи Аполлинарии: в тот день, 7 (19) августа, она получила письмо от Ф. М.: «Он приедет через несколько дней. Я хотела видеть его, чтоб сказать все, но теперь решила писать». Она, и правда, немедленно написала ему письмо. «Ты едешь немножко поздно... Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку: — все изменилось в несколько дней... Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать свое сердце. — Я его отдала в неделю по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят».

И спустя годы не забудет Достоевский этих слов — «немножко поздно». «Она колет меня до сих пор тем, что я не достоин был любви ее, жалуется и упрекает меня беспрерывно, сама же встречает меня в 63-м году в Париже фразой: “Ты немножко опоздал приехать”, то есть что она полюбила другого, тогда как две недели тому назад еще горячо писала, что любит меня. Не за любовь к другому я корю ее, а за эти четыре строки, которые она прислала мне в гостиницу с грубой фразой: “Ты немножко опоздал приехать”».

А она, написав то письмо, загрустила. Ей вдруг стало жалко терять Ф. М.: в свете новых жгучих «отношений» ее давние упреки вдруг потеряли остроту и силу. «Какой он великодушный, благородный! какой ум! какое сердце!» В те поры, когда они с Сальвадором были еще «только друзья», она призналась ему,

что собирается ехать в Италию. Теперь он спокойно спрашивал, когда она едет, давая понять, как легко ее отпускает. «Я ему сказала, что не знаю когда. Может вовсе не поеду, потому что я хотела поехать с человеком, которого любила».

Речь шла о Достоевском: отныне о своей любви к нему она писала в прошедшем времени. Однако прощание было преждевременным.

Письмо, заранее приготовленное и отосланное по городской почте со словами: «Ты едешь немножко поздно» — он получить не успел. И пришел к ней, не подозревая о сюрпризе. «Какие разнообразные мысли и чувства будут волновать его, когда пройдет первое впечатление горя! Боюсь только, как бы он, соскучившись меня дожидаться (письмо мое придет не скоро), не пришел ко мне сегодня, прежде получения моего письма. Я не выдержу равнодушно этого свидания...»

Так и случилось. Она увидела его в окно, но не вышла навстречу, а дождалась, пока доложат и вызовут, и еще долго не выходила. «Здравствуй, — сказала я ему дрожащим голосом. Он спрашивал, что со мной, и еще более усиливал мое волнение, вместе с которым развивалось его беспокойство. — Я думала, что ты не приедешь, — сказала я, — потому что написала тебе письмо.

— Какое письмо?

— Чтоб ты не приезжал.

— Отчего?

— Оттого, что поздно.

Он опустил голову. “Я должен все знать, пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру”».

Они поехали к нему в отель, всю дорогу молчали и старались не смотреть друг на друга. «*Он только по временам* кричал кучеру отчаянным и нетерпеливым голосом “Vite, vite”... всю дорогу держал мою руку и по временам *сжимал* ее и делал какие-то судорожные движения... Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и сжимая, обняв, с рыданием мои колени, громко зарыдал: “Я потерял тебя, я это знал!” Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек. “Может быть, он красавец, молод, говорун. Но *никогда ты не найдешь другого сердца, как мое*”».

Она не сразу сказала, чтó это за человек, призналась только, что очень его любит, но несчастлива, ибо нелюбима. «Но ты не любишь его, как раба, скажи мне, это мне нужно знать! Не правда ли, ты пойдешь с ним на край света?.. О Поля, зачем же ты так несчастлива!» Узнав, ктó тот, кого она любит, Ф. М. испытал «гадкое» чувство облегчения: «это несерьезный человек, не Лермонтов».

История повторялась: опять перед ним маячил молодой и красивый соперник; опять возлюбленная рассказывала о своей любви к другому; опять нужно было уходить в тень, уступать подругу «несерьезному» человеку — ведь и Вергунов тоже был «не Лермонтов». «Он мне сказал, что счастлив тем, что узнал на свете такое существо, как я. Он просил меня оставаться в дружбе с ним и писать, когда я особенно счастлива или несчастлива. Потом предлагал ехать в Италию, оставаясь как мой брат».

Опять ему доставалась унизительная роль «друга и брата» при бывшей возлюбленной. Аполлинария, испытав немалое облегчение, оттого что Ф. М. «понимает» ее, поспешила к себе — снова писать Сальвадору и требовать объяснений, почему он не был в своем отеле в назначенное время, почему не известил ее — ведь она час ждала свидания в его комнате, вздрагивая при каждом шорохе и не сводя глаз с часовой стрелки: «Я начинаю думать, что у тебя какое-нибудь большое несчастье, и эта мысль мутит мне ум...»

Но оскорбительный удар, который в те дни нанес испанец, едва не стоил ей жизни, и не известно, как бы вынесла гордая девушка свой позор, если бы не Ф. М. Вскоре она рассказывала «другу и брату», как приятель Сальвадора сообщил ей в письме, что тот болен тифом и находится на краю могилы; как она отчаивалась и не находила себе места; как на другой день случайно встретила «смертельно больного» на улице, как он лгал и изворачивался; как вдруг дошла до нее постыдная правда, как била ее истерика, как жгла она свои бумаги, готовясь умереть.

Все же она не умерла той бессонной ночью, а на рассвете поехала к Ф. М., разбудила его и позвала к себе. «Мне хотелось рассказать ему все и просить быть моим судьей. Я у него не хотела оставаться потому, что ждала Сальвадора». Она действительно рассказала «другу и брату» «всю историю своей любви», не утаивая ничего. Он не был строгим судьей, только и сказал, что она «загрязнилась, но это случайность», что ею воспользовались как хорошенькой женщиной, «удовлетворяющей всем вкусам», что испанец не стоит ее жизни и не достоин ее мести: «это гадость, которую нужно вывести порошком», и губить себя из-за него глупо.

После нескольких неуклюжих попыток вернуть Сальвадора или чем-то уязвить его (а он был поистине неуязвим) Аполлинария дала согласие ехать с Достоевским в Италию. Она покидала Париж, желая рассеяться, но лелеяла мысль о мщении. Она продолжала вести дневник, о наличии которого Ф. М. скорее всего не догадывался (как никогда не узнает о тайне дневника и Розанов). А она скрупулезно отмечала, где и когда

Достоевский сказал ей, что «имеет надежду»; как и при каких обстоятельствах пытался выйти за границы взятой на себя роли только друга, только брата, только утешителя; как дразнила его, то приближая, то отдаляя; как постепенно входила во вкус рискованных положений; как поняла, что стала для него вдвойне соблазнительной; как открывала в себе способность утонченно мучить, удерживая «друга и брата» у последних пределов ею же пробужденной страсти; как добивалась, чтобы он «не мог иметь ни надежды, ни безнадежности».

Пропутешествовав дней десять, она записала: «*17 сентября, Турин. 1863.* На меня опять [нахлынула] нежность к Ф. М. Я как-то упрекала его, а потом почувствовала, что неправа, мне хотелось загладить эту вину, я стала нежна с ним. Он отозвался с такой радостью, что это меня тронуло, и стала вдвое нежнее. Когда я сидела подле него и смотрела на него с лаской, он сказал: "Вот это знакомый взгляд, давно я его не видал". Я склонилась к нему на грудь и заплакала». Прежней, петербургской Поле, с ее «грандиозной любовью», а не мучительнице, которая вымещает на нем свою любовную неудачу, доверил он обжигающий замысел, из которого суждено будет вырасти «Преступлению и наказанию». Они обедали; он увидел девочку, которая брала уроки. «Ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: "истребить весь город". Всегда так было на свете».

Но еще была Генуя, потом пароход в Ливорно и Рим, до которого им обоим, кажется, не было никакого дела и где измученный Достоевский с треском проваливал постылую роль «брата». «*Рим. 29 сентября.* Вчера Ф. М. опять ко мне приставал... сделался необыкновенно развязен, весел и навязчив. Точно он хотел этим победить внутреннюю о б и д н у ю грусть и насолить мне... Уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять (это было в 1 час ночи. Я раздетая лежала в постели). "Ибо россияне никогда не отступали"».

После Рима, обессилев от изнурительных и безысходных «отношений», они оба несколько присмирели. По дороге в Неаполь, на корабле, встретили Герцена со всем семейством (о чем Аполлинария написала поразительно скупо: «Ф. М. меня представил, как родственницу, весьма неопределенно. Он вел себя со мной при них как брат, даже ближе, что должно было несколько озадачить Герцена. Ф. М. много говорил ему обо мне и Герцен был внимателен»). Тем не менее после встречи с Герценом они уже не ссорились, она была с ним «почти как прежде» и расставаться с ним ей «было жаль».

Какой буквальный смысл вкладывала она в слова «почти как прежде», в дневнике не разъяснялось. Они провели вместе

два с половиной месяца, но чувствовали и страдали врозь. С тайным наслаждением описывала она в дневнике, как, дразня Достоевского, «мстит им всем»; а он, помимо пыток неутоленной страсти, мучительно думал о том, где взять деньги на следующий отрезок пути и на посылку домой. У каждого из них были свое затаенное существование, раздельная территория переживаний, разные печали и заботы, разные причины грусти.

Предмет самой большой и страстной любви Достоевского, прототип наиболее пленительных женских персонажей его романов, мучительница, «инфернальница», жестокая муза... Такой она и войдет в историю литературы, а вовсе не как писательница, переводчица, педагог (будет у нее и это краткое поприще). Девушка, которая «всю себя» отдала первой любви, но сама же ее и разрушила... Подруга Достоевского, которая краснела за свою связь с ним и которая не пожелала стать его женой, когда, овдовев, он сделал ей (и будет делать не раз) предложение руки и сердца... Адресат нескольких десятков его писем — из них уцелеет всего три, с тем самым знаменитым обращением: «Друг вечный, Поля...» Женщина, которая одарила писателя мучительным опытом любви-ненависти, ибо и сама, любя, ненавидела*. Ее будет жгуче бояться А. Г. Достоевская, убедившись в свадебном путешествии, что муж еще полон прежней любовью; вдова Достоевского искренне пожелает «сопернице» смерти, когда отчаявшийся Розанов попросит у нее помощи и совета по «обезвреживанию» «фуриозной Суслихи». А ей, шестидесятнице и эмансипантке, всецело сосредоточенной на себе, жаждущей внутренней свободы и самостоятельного поприща, роль «роковой женщины», предмета мужского вожделения, будет не только чужда, но и глубоко противна.

---

* В. В. Розанов, обиженный и уязвленный уходом от него Сусловой после шести лет их несчастливого брака (они обвенчались в ноябре 1880-го, еще при жизни Достоевского), приводит в одном из своих писем диалог с ней, в котором Аполлинария объясняет причины, по которым якобы она рассталась с Ф. М. «С Достоевским она “жила”. — Почему же вы разошлись?.. — Потому что он не хотел развестись с своей женой, чахоточной, “так как она умирает”... — Так ведь она умирала? — Да. Умирала. Через полгода умерла. Но я уже его разлюбила. — Почему разлюбила? — Потому что он не хотел развестись... Я же ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула...» (Москва. 1992. № 1. С. 114). Розанов ручался за буквальность приведенных слов Сусловой, утверждая, что «это ее стиль». Однако дневник Сусловой, которого Розанов никогда не читал и о существовании которого не подозревал, открывает совсем иные причины расставания ее с Достоевским.

Достоевский окажется трижды прав — она не только не будет ни с кем счастлива, но, добиваясь с каким-то фатальным упорством суверенного существования, потерпит все мыслимые катастрофы в сфере общественной деятельности и будет обречена остаться в истории лишь в тесной, но кратковременной биографической привязке к тому, кого опрометчиво (впрочем, опрометчиво ли?) поспешила отвергнуть.

По следам итальянского путешествия Суслова напишет историю своих «отношений» с Ф. М. (повесть «Чужая и свой» будет опубликована впервые вместе с ее дневником), где под именами «Анна Павловна» и «Лосницкий» выведет себя, Достоевского и свой роман с молодым красавцем — только здесь он будет итальянцем, учителем пения, который окажется еще коварнее, чем его испанский прототип. Она воспроизведет все главные дневниковые диалоги с Достоевским, не упустив и пресловутое «опоздал приехать», и его рыдания у ее ног, и его пристрастные расспросы про «того человека» («Хорошо умеет говорить? Горд и дерзок?»). Лосницкий-Достоевский скажет Анне-Аполлинарии: «Я любил тебя свято и бесконечно; ты знаешь, что помимо страсти моей к тебе ты мне дорога как друг единственный, как дочь, и счастье твое для меня — прежде всего... Я не молодой человек, в мои годы привязанностями не шутят... Я был слишком ослеплен, слишком счастлив... У меня был год счастья и какого счастья!»

Будет списан с реальности и весь дальнейший сюжет, связанный с Ф. М.: совместное путешествие, где Лосницкий старался быть только «другом и братом», и холодность к нему Анны, и ее унылое раскаяние в этой холодности, и признание, что упреки ее несправедливы и что в Петербурге она была с ним счастлива, и его восторженное обожание, и то двусмысленное положение, в котором очутились они оба, поселившись в маленьком домике во французской глуши. Никакого иного выхода, кроме самоубийства, у автора для героини не нашлось: как-то вечером Анна не вернется с прогулки, а утром ее тело будет найдено в воде, у мостика через быструю речку. Интересно, что в повести, которую в те самые поры сочинит и Н. П. Суслова, списанная с Аполлинарии героиня Елена, не сумев оживить опустошенную неудачами душу, тоже бросится в воду и погибнет.

Но вот парадокс — слабые, малодушные героини утонули, а Аполлинария продолжала жить. Спустя десятилетия Розанов скажет о бывшей жене знаменательные слова: «В характере этом была какая-то гениальность (именно темперамента), что и заставляло меня, например, несмотря на все мучения, слепо и робко ее любить. Но я был до того несчастен, что часто желал

умереть, “только бы она жила и не хворала”. А она была постоянно здорова, сильна и неутомима»[40].

...Простившись с Достоевским, Суслова вернулась в Париж, к своим химерам, несбыточным надеждам и мстительным замыслам. «Сердце страдало и требовало своей доли, убеждая, льстя. О, как оно ныло, как вертелось! Я пошла гулять и очутилась на St. Dénis и около St. André des Artes. Бедное сердце, к чему лукавить?» При «случайных встречах» испанец ее упорно не узнавал. Через несколько дней она получила письмо от Ф. М., который по дороге в Петербург заглянул в Гомбург, провел там почти неделю, проигрался и просил прислать денег. Заложив часы и цепочку, она выслала 350 франков, оплатив тем самым свою часть расходов по совместной поездке.

О том, что обстоятельства европейского путешествия 1863 года не только вынудили Достоевского исполнять сомнительную роль «друга и брата», но и сделали крайне невезучим игроком, втянутым в многолетний азартный вихрь, речь впереди.

...В Петербурге его обступили известия по большей части печальные. Тяжело болел брат Коля — на почве алкоголизма отказывали глаза и ноги. Умер дядюшка Куманин, несколько лет как парализованный. Умер отец Марии Дмитриевны, о чем ей решено было не сообщать. Всю итальянскую поездку Достоевского мучило состояние жены, оставленной на докторов во Владимире («Беспокоюсь я ужасно и сердечно о ее здоровье. Дай ей Бог лучшего!» — писал он из Парижа свояченице). Мысли о больной щемили душу сознанием вины. Он не скрывал своих чувств от Михаила, доподлинно знавшего, с кем путешествует брат: «Разных приключений много, но скучно ужасно, несмотря на А<поллинарию> П<рокофьевну>. Тут и счастье принимаешь тяжело, потому что отделился от всех, кого до сих пор любил и по ком много раз страдал. Искать счастье, бросив всё, даже то, чему мог быть полезным, — эгоизм, и эта мысль отравляет теперь мое счастье (если только есть оно в самом деле)».

Но счастья не было, хотя он и бросил ради этой иллюзии всех, «по ком когда-то страдал». Из Баден-Бадена, Турина, Рима писал родным — братьям, жене, пасынку, свояченице, пытаясь вникать в их жизнь, внести в нее подобие строя и лада. Трепетал, что оставленных Марии Дмитриевне денег не хватит и она не сможет расплатиться с доктором; или по своей щедрости решит отдать последнее. Денежные счеты осложнялись внутрисемейным недружелюбием. «Вы знаете сами, — писал он свояченице об отношениях жены к *Mich-Mich*, — что брата она смерть не любит. Рассердится, пожалуй, оттого, что деньгами ее воспользовались, потому что у брата не было мне вы-

слать. Наизусть знаю, что она обвинит брата. А следовательно, пожалуй, и Вам что-нибудь напишет. Добрый, милый друг мой, не рассердитесь, не отвечайте ей жестко, если она Вам что жесткое напишет. Напишите ей так: что во всяком случае я бы был без денег и погиб бы. А следовательно, надо было помочь. Время очевидно не терпело. Писать ей было некогда. Вот и распорядились ее деньгами» (речь шла о посланной ей крупной сумме, часть которой Ф. М. просил вернуть обратно).

В начале ноября, пробыв в Петербурге несколько дней, Достоевский должен был срочно выехать во Владимир: болезнь Марии Дмитриевны опасно осложнилась. Он застал жену в обстоятельствах крайних, которые вынуждали их обоих срочно покинуть *безлюдный* для нее Владимир и переселиться в Москву, где были родные, знакомые, доктора. «Переезд совершается на днях, то есть как можно скорее. Кой-что постараемся продать, другое повезем с собой. В Москве остановимся в гостинице до приискания квартиры. Мебель придется покупать вновь. Мне кажется, я, таким образом, сделаюсь больше московским, чем петербургским жителем. Для журнала же буду ездить часто в Петербург, ну и т<ак> далее. Вполне будущности моей теперь не знаю и определить не могу. Здоровье Марьи Дмитриевны *очень* нехорошо. Вот уже два месяца она ужасно больна. Ее залечил прежний доктор; теперь новый. Наиболее изнурила ее двухмесячная изнурительная лихорадка. Конечно, в таком состоянии переезжать всем домом в Москву не совсем удобно. Но что ж делать? Другие причины так настоятельны, что оставаться во Владимире никак нельзя».

Теперь его жизнь была разорвана между Москвой, где он поселился с женой, где ждали хлопоты по разделу наследства (по завещанию дяди ему причиталось три тысячи рублей серебром) и где, урывая свободные часы, он пытался работать, — и Петербургом, где «в подлой праздности» находился падкий до развлечений Паша Исаев, которого нужно было содержать, учить, наставлять, и где *Mich-Mich* усиленно хлопотал по поводу нового журнала взамен закрытого «Времени». Достоевский познакомил Марию Дмитриевну с семьей сестры Веры; ее муж, Александр Павлович Иванов, опытный врач, добрый, веселый человек, стал бывать у больной чуть не ежедневно.

Однако ни домашний режим, ни правильное лекарство, ни кумыс по расписанию положения уже не спасали — печальный исход болезни становился очевиднее день ото дня. Если в ноябре, когда они только приехали в Москву, еще была надежда на улучшение, то к январю 1864-го состояние Марии Дмитриевны резко ухудшилось. Проведать больную мать вызвался Паша, удручающе небрежный в отношениях с родными, но

свидание ее с сыном оказалось крайне безрадостным. «Он не произвел здесь того эффекта, на который, видимо, надеялся. Случилось то, что я предвидел и ему предсказывал, — сообщал Достоевский свояченице, — а именно: он был довольно несносен Марье Дмитриевне. Легкомыслен он чрезвычайно, и, разумеется, неуменье вести себя с очень больною Марьей Дмитриевной (*при всех его стараниях*) тому причиною. Впрочем, Марья Дмитриевна от болезни стала раздражительна до последней степени. Ей *несравненно* хуже, чем как было в ноябре, так что я *серьезно* опасаюсь за весну. Жалко ее мне ужасно, и вообще, жизнь моя здесь не красна. Но, кажется, я необходим для нее и потому остаюсь... У Марьи Дмитриевны поминутно смерть на уме: грустит и приходит в отчаянье. Такие минуты очень тяжелы для нее. Нервы у ней раздражены в высшей степени. Грудь плоха, и иссохла она как спичка. Ужас! Больно и тяжело смотреть».

Но ему пришлось и смотреть, и ходить за Марией Дмитриевной, и снова быть ей «другом и братом» — на этот раз в самом обыденном, почти что медицинском смысле, подразумевавшем и обязанности сиделки. Гостивший в Москве А. Н. Майков побывал в конце января у Достоевских, на их квартире в Басманной части. «Марья Дмитриевна, — сообщал он жене, — ужасно как еще сделалась с виду-то хуже: желта, кости да кожа, просто смерть на лице. Очень, очень мне обрадовалась, о тебе расспрашивала, но кашель обуздывал ее болтливость. Федор Михайлович все ее тешит разными вздориками, портмонейчиками, шкатулочками и т. п., и она, по-видимому, ими очень довольна. Картину вообще они представляют грустную: она в чахотке, а с ним припадки падучей»[41].

В феврале и марте Мария Дмитриевна находилась в том же грустном положении. Все ясно понимали, что ее кончина — дело нескольких недель, от силы месяцев; впрочем, едва после туманной и слякотной оттепели слегка примораживало и показывалось обманное зимнее солнце, ей становилось легче. В конце февраля Ф. М. сообщал пасынку: «Мамаша очень раздражительна. Нервы ее расстроены до крайности. Нет никакой возможности поговорить о твоем приезде в Москву. Впрочем, здоровье ее еще не на последней степени расстройства. И, кто знает, может быть, переживет весну, а если переживет весну, то переживет и лето и даже поправится. Из этого, впрочем, не суди, что ей много лучше. Она очень слаба».

Письма Достоевского конца зимы—начала весны 1864 года из Москвы в Петербург, помимо деловых и литературных сюжетов, — это еще и бюллетени о том, как тяжело и мучительно умирала его жена. Болел и он сам, медленно оправляясь от сво-

их недомоганий — не мог стоять и сидеть, не мог работать, приговоренный к постельному режиму. В середине марта к ним приехала Варвара Дмитриевна, ухаживать за сестрой — но теперь доктор Иванов не мог обещать, что Мария Дмитриевна доживет и до Пасхи, то есть до 19 апреля. «Хотя бы эта мысль, что ты, может, скоро осиротеешь, удержала тебя хоть сколько от ветрености и заставила тебя серьезно смотреть на жизнь», — писал Ф. М. Паше, которого из-за его разгильдяйства, фанфаронства, «скверного и ехидного сердца» категорически не хотела видеть около себя умирающая мать. «Чахоточную и обвинять нельзя в ее расположении духа. Она сказала, что позовет его, когда почувствует, что умирает, чтоб благословить. Но она может умереть нынче вечером, а между тем сегодня же утром рассчитывала, как будет летом жить на даче и как через три года переедет в Таганрог или в Астрахань. Напомнить же ей о Паше невозможно. Она ужасно мнительна, сейчас испугается и скажет: "Значит, я очень слаба и умираю". Чего же мучить ее в последние, может быть, часы ее жизни?»

Но нельзя было не думать о приближении скорбных дней. Смерть жены была при дверях, и нужно было приготовиться к ней без траурного лицемерия — иметь экстренные деньги, вызвать на похороны Пашу, заранее озаботиться о пристойном для него костюме. «Когда будешь отправлять Пашу, — просил Ф. М. брата, — то в толчки гони его ехать, а то он, пожалуй, выдумает какую-нибудь отговорку и отложит до завтра. Приставь к нему в тот день для наблюдений кого-нибудь. Ради Бога».

В начале апреля события сгустились до последней крайности. При всем том ужасе, царившем в квартире Достоевских, Ф. М. пытался еще и писать для «Эпохи», которая, после долгой канители с утверждением названия («Правда»? «Почва»? «Летопись»?), цензурных мытарств и трудной подписки, стартовала в конце марта 1864-го сдвоенным номером, с трехмесячным опозданием. *Mich-Mich*, только что переживший жестокое несчастье — смерть от скарлатины десятилетней дочери Вари («горе не уменьшается, а становится все больше и определеннее»), писал, какой вред журналу наносит отсутствие брата в Петербурге: ни сговориться, ни посоветоваться. А Ф. М. отвечал ему, как невероятно трудно ему сейчас писать, пытаться успеть к сроку. «Мучения мои *всяческие* теперь так тяжелы, что я и упоминать не хочу о них. Жена умирает, *буквально*. Каждый день бывает момент, что ждем ее смерти. Страдания ее ужасны и отзываются на мне, потому что... Писать же работа не механическая, и, однако ж, я пишу и пишу, по утрам, но дело только начинается. Повесть растягивается».

Речь шла о «Записках из подполья», повести для «Эпохи», первая часть которой была опубликована в январско-февральском номере. Журнал, такими трудами и жертвами возобновленный, требовал яркой прозы, заметных статей, содержательных обзоров, а сил и времени для работы не было. «Марья Дмитриевна до того слаба, что Александр Павлович не отвечает уже ни за один день. Долее 2-х недель она *ни за что* не проживет. Постараюсь кончить повесть поскорее, но сам посуди — удачное ли время для писанья?» — жаловался Ф. М. брату в конце марта, а через несколько дней вынужден был предупредить о срыве срока. «Вообще писать времени мало, хотя кажется время-то всё у меня мое, но все-таки мало, потому что пора для меня *нерабочая* и иногда не то в голове. Вот что еще: боюсь, что смерть жены будет скоро, а тут *необходимо* будет перерыв в работе. Если б не было этого перерыва, то, кажется, кончил бы. Окончательно ничего не могу сказать. Представляю только факты, в каком положении дело. Сам можешь судить».

А положение («никогда не бывал я в таком») буквально кричало, что *перерыв в работе* может произойти в любой момент, но что надо продолжать писать, усиленно и настойчиво, до последнего часа, хотя и эти все часы и дни были тоже последние. «Жизнь угрюмая, здоровье еще слабое, жена умирает совсем, по ночам, от всего дня, у меня раздражены нервы... Да что описывать. Слишком тяжело. А главное, слабость и нервы расстроены... Марья Дмитриевна почти при последнем дыхании».

В ночь на 14 апреля началась агония. М. Д. потребовала священника. Муж и сестра просидели около больной всю ночь. В четыре часа утра ее причастили и соборовали. 15 апреля Ф. М. послал брату депешу, чтобы Паша срочно выезжал — накануне с М. Д. сделался страшный припадок. «Хлынула горлом кровь и начала заливать грудь и душить. Мы все ждали кончины. Все мы были около нее. Она со всеми простилась, со всеми примирилась, всем распорядилась. Передает всему твоему семейству поклон с желанием долго жить. Эмилии Федоровне особенно. С тобой изъявила желание примириться. (Ты знаешь, друг мой, она всю жизнь была убеждена, что ты ее тайный враг.) Ночь провела дурно. Сегодня же, сейчас Александр Павлович сказал решительно, что нынче умрет. И это несомненно».

Доктор Иванов оказался прав. Мария Дмитриевна умирала на Страстной неделе, тихо, в полной памяти, благословив сына заочно, не дожив до Светлого воскресенья три дня. К вечеру 15-го ее не стало. «Сейчас, в 7 часов вечера, скончалась Марья Дмитриевна и всем вам приказала долго и счастливо жить

(ее слова). Помяните ее добрым словом. Она столько выстрадала теперь, что я не знаю, кто бы мог не примириться с ней», — писал он брату в эти самые часы, сам давно примирившись с бедной страдалицей. 17-го утром из Петербурга в Москву выехал Паша и, по расчетам дяди, должен был успеть на похороны матери, если они были не 17-го, а 18 апреля, в Страстную субботу («Нынче, — писал *Mich-Mich* поздним вечером 18-го, — вероятно, были похороны и Паша приехал вовремя»[42]).

«Нынче получил я письмо твое с печальной вестью. Милый добрый друг мой, я все это время, с самой нашей разлуки, так долго и так часто думал о тебе, о твоих бесконечных мучениях, которые ты ежечасно переносишь, смотря на агонию Марьи Дмитриевны, что сам болел твоею болью. Дай Бог ей Царство небесное. Врагом ее ни я и никто из моих не был — ты это хорошо знаешь, да и покойница, я полагаю, это тоже знала»[43]. Соболезнование Михаила, написанное в самый канун Пасхи, несло брату свет и тепло. «Зазвонили к заутрене, зажгли плошки, и по городу пошел гул от колоколов и экипажей — Христос воскрес! Обнимаю тебя крепко. Не горюй, голубчик!»[44]

Год спустя, весной 1865-го, Достоевский напишет Врангелю о тех скорбных днях: «Она скончалась, в полной памяти, и, прощаясь, вспоминая всех, кому хотела в последний раз от себя поклониться, вспомнила и об Вас. Передаю Вам ее поклон... Помяните ее хорошим, добрым воспоминанием. О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо... Несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру), — мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла — я хоть мучился, видя (весь год) как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, чтó я хороню с нею, — но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею. И вот уж год, а чувство всё то же, не уменьшается...»

Достоевский расскажет о своей первой жене и корректору журнала «Гражданин» В. В. Тимофеевой, молодой девушке, поразившей писателя сходством с Марией Дмитриевной. «Была это женщина души самой возвышенной и восторженной. Сгорала, можно сказать, в огне этой восторженности, в стремлении к идеалу. Идеалистка была в полном смысле слова — да! — и чиста, и наивна притом была совсем как ребенок...»[45]

Лучше, чище, благороднее, чем Достоевский, о Марии Дмитриевне и драме их первого брака не скажет никто*.

...На следующий день после кончины жены Достоевский поместил в «Записной книжке» пронзительные размышления, связанные со смертью М. Д. «*16 апреля*. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Возлюбить человека, *как самого себя*, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. *Я* препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек».

Без ложного пафоса, без тени ханжества Ф. М. признавал, что в поединке эгоизма и самопожертвования в личности земной доминирует и побеждает *Эго*, свое *Я*. Самое сердечное, самое глубокое сострадание к существу родному и близкому не может заглушить инстинкта жизни, а заповедь *быть всякому братом* — есть *идеал*, на земле недостижимый. Полное самоотречение и самозабвение, вплоть до отказа от своей личности, не совместимо с земной природой; человек, как существо незавершенное, переходное, не умеет жить по принципу «возлюбить всё, как себя», и в этом смысле его натура прямо противоположна натуре Бога.

Ему не раз ставили в упрек «абстрактное» направление мыслей в минуты, когда «Маша лежит на столе». Но всегда поражала не столько «отвлеченность» мыслей о смерти и бессмертии, сколько беспримерная искренность и честность Достоевского с самим собой. «Нигде, ни единым словом не пытается он преувеличить свое страдание, обнаружить "надрыв", его действительно нет. Но громадность проблем, которые он стремится сейчас уяснить: личное бессмертие, причины развития человеческого общества, возможность будущей мировой гармонии, — сами говорят о масштабах переживаемого события»[46].

---

* «Я пробовала расспрашивать его об умершей жене, — вспоминала А. Г. Достоевская о том времени, когда была еще невестой, — но он не любил о ней вспоминать. Любопытно, что и в дальнейшей нашей супружеской жизни Федор Михайлович никогда не говорил о Марии Дмитриевне...» В «Воспоминаниях» Анна Григорьевна приводит лишь один эпизод, когда, под влиянием смерти трехмесячной дочери Сони, Ф. М. нарушил свое молчание и горько роптал на судьбу, всю жизнь его преследовавшую: «Говорил о своих мечтах найти в браке своем с Марьей Дмитриевной столь желанное семейное счастье, которое, увы, не осуществилось: детей от Марии Дмитриевны он не имел, а ее "странный, мнительный и болезненно-фантастический характер" был причиною того, что он был с нею очень несчастлив». Однако в ее «Дневнике 1867 года» и в черновиках «Воспоминаний», не включенных в окончательный текст, содержится много резких деталей о первом браке Ф. М. (ссоры, ревность, обиды, признаки душевного расстройства Марии Дмитриевны перед кончиной), которыми он делился с Анной Григорьевной.

«Громадность проблем», однако, не заслонила в нем сознания личной вины перед женой и недостатка жертвенной любви, которое ныне он понимал как грех. «Человек стремится на земле к идеалу, *противуположному* его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил *любовью* в жертву своего *я* людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна».

Он отдавал себе отчет в том, что его любовь к Марии Дмитриевне не была в последние годы их брака самозабвенной и беззаветной, что в жертву этой любви он не принес ни свое «я», ни свою работу, ни свои страстные увлечения. Но он никогда не считал это добром и справедливостью, никогда не утверждал свое право быть по отношению к ней холодным эгоистом, никогда не чувствовал того, что чувствовал его герой, злой и желчный Подпольный: «Я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить... Я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй».

Способность глубоко заглянуть в свою душу, с невероятной отвагой открыть в своем сердце закон всеобщего земного эгоизма — эта способность дала Достоевскому в те самые месяцы, когда умирала жена, душевный и творческий ресурс увидеть чудовищный *трагизм подполья*, показать его уродливую сторону, его страдание, его самоказнь, его необратимость и неисправимость.

Грустной пометой «eheu» (латинское «увы») около даты 16 апреля в «Записной книжке 1863—1864 гг.» завершался горестный сюжет, связанный с Марией Дмитриевной и начатый еще в 1855-м: первое интимное «eheu», появившееся в «каторжной тетрадке» и выражавшее отчаянную тоску Достоевского после отъезда Исаевых в Кузнецк, через десять лет сомкнулось с последним «eheu», трагическим эпилогом их печальной любви[47].

...А драматический сюжет Достоевского с Сусловой длился еще несколько лет. Долинин в числе новонайденных в 1918 году рукописей называл и маленькую записную книжку Сусловой, в которой имелись даты ее переписки с Достоевским — в первое время после итальянского путешествия она была еще весьма оживленной. Аполлинария продолжала писать в Петербург, адресуя письма на имя Михаила Михайловича, тот пересылал их брату в Москву. Их переписка, однако, не оставила

никакого следа в ее дневнике, который она продолжала вести, начав после Италии новую тетрадь — дорогую, в твердом красно-бордовом сафьяновом переплете, с плотной бумагой в 114 листов, купленную в Париже. Она будто подчеркивала — у каждого из них своя жизнь.

«Своей дорогой» — именно так назовет она рассказ, последний из напечатанных братьями Достоевскими, теперь уже в «Эпохе», и последний из напечатанных ею вообще. «Повесть не хуже ее прежних и может идти... Обрати внимание. Печатать очень можно», — писал Ф. М. брату. Все было очень узнаваемо, с той же подписью «А. С-ва», только с благополучным финалом. Героиня рассказа, 26-летняя гувернантка, страдает и мучается из-за каких-то ошибок, тяжелых личных неудач, получает какие-то волнующие ее письма... «На днях я получила от него письмо, наполненное таким сожалением, таким раскаянием о прошедшем... Мне было очень грустно читать это письмо. Мне не жаль прошлого, моих чувств, страданий, надежд... Мне жаль было моей веры в этого человека, наконец, мне жаль его самого»[48].

Через три месяца после выхода рассказа Аполлинария занесла в дневник те самые убийственные слова об утрате веры в любимого человека: «Когда я вспоминаю, что была я два года назад, я начинаю ненавидеть Достоевского. Он первый убил во мне веру». Меж тем 17 апреля, через день после смерти жены, Достоевский экстренно писал Аполлинарии в Париж. Чтó было в письме (оно не сохранилось), отправленном в такой день? Что он хочет ее видеть? Что теперь свободен? Звал ее в Россию или обещал приехать к ней? Она же, получив от Ф. М. траурное известие, ничем утешительным ответить не могла.

«Что ты за скандальную повесть пишешь? — спрашивала она из Версаля в начале лета 1864-го, имея в виду «Записки из подполья». — Мы будем ее читать... Мне не нравится, когда ты пишешь цинические вещи. Это к тебе как-то не идет; нейдет к тебе такому, каким я тебя воображала прежде. Удивляюсь, откуда тебе характер мой перестал нравиться (ты пишешь это в последнем письме). Помнится, ты даже панегирики делал моему характеру, такие панегирики, которые заставляли меня краснеть, а иногда сердиться: я была права. Но это было так давно, что тогда ты не знал моего характера, видел одни хорошие стороны и не подозревал возможности перемены к худшему».

Теперь панегириков больше не было; они всё больше отдалялись, чужели. Она была не против посмотреть, каков он теперь, «после этого года», и «как вы там все думаете». Она попрежнему жила на средства отца, который позволял ей оставаться за границей и жить там в свое удовольствие сколько

угодно. Отцовых денег вполне хватало, чтобы снимать комнату в частном пансионе с завтраками, обедами и ужинами, покупать книги и одежду, ходить в театры и на концерты, выезжать на курорты, платить за лечение. «Я чувствую, что мельчаю, погружаюсь в какую-то "тину нечистую" и не чувствую энтузиазма, который из нее вырывал, спасительного негодования», — запишет она в самом скором времени. Мысль о возвращении в Россию ее пугала — ей казалось, что жить в Петербурге она теперь не может «по разным причинам». Причина, очевидно, была в Ф. М., в конце апреля покинувшем Москву, поселившемся в Петербурге и убеждавшем ее приехать — ведь теперь в России «много хорошего, такой прекрасный поворот в умах». «Я вижу совсем другие результаты, или вкусы наши различны. Разумеется, что мое возвращение в Россию не зависимо от того, хорошо там думают или нет».

Несмотря на ее резкие, раздраженные письма и тягучие разборы отношений, Достоевский хотел встречи. Поняв, что она не приедет, собрался ехать сам, взяв (при сильном противодействии членов комитета Литфонда) ссуду в 1600 рублей серебром на поездку за границу «для крайне необходимого лечения», за 10 процентов, под поручительство брата, и в середине июня уже получил заграничный паспорт. На этот раз у него не было ни моральных, ни денежных препятствий и он был чист перед «Эпохой» — в июне вышел апрельский номер с окончанием «Записок из подполья».

Но поездке в Италию и Константинополь, с заездом на обратном пути через Одессу в Екатеринослав к брату Андрею, как планировал Ф. М., состояться было не суждено. В середине июня заболел *Mich-Mich*: воспаление печени, давний диагноз. Живя на даче в Павловске, он продолжал хлопотать по журналу, волновался, тревожился. «Я за границу не поехал, ездил в Павловск каждый день, а он поминутно порывался в город и ждал выздоровления. Наконец стал слабеть», — напишет вскоре Ф. М. Андрею. Никто не предполагал дурного исхода. Правда, малейшее волнение могло усугубить болезнь, и такое волнение не замедлило явиться — цензурный запрет, и вновь на статью Страхова. Наступило резкое ухудшение. Доктор объявил, что надежды нет: произошло излияние желчи в кровь, она отравлена; больной ощущает сонливость, к вечеру заснет и не проснется. Так и случилось: 10 июля Михаила Михайловича Достоевского не стало.

Причины его смерти были всем настолько очевидны, что даже Страхов, «злой гений», вынужден был признаться: «Умер Михайло Михайлович прямо от редакторства. Был он слаб и до издания журнала, но журнал его совсем доконал. Он все бод-

рился и помалчивал; но запрещение журнала, брань, которая на него сыпалась, наконец неудача новых книжек, придирки цензуры — все это на него сильно действовало. В половине июня у него случилась желтуха, разлитие желчи. Он не очень берегся и не опасался. 7 июля он получил неприятное известие — задержали мою статью — он не спал всю ночь; на другой день заснул и уже не выходил из беспамятства»[49]. Не будь запрещено «Время», не пришли бы дела Михаила в крайнее расстройство — не свалилась бы на него болезнь, которая в три недели свела его в могилу.

«Это был не столько замечательный литератор, сколько честный и добрый человек, — записал в дневнике Никитенко; тем летом он снимал дачу в Павловске и был 13 июля на похоронах. — Я проводил бедного покойника на кладбище... Вся церемония продолжалась с обедней часов больше двух. Жар был сильнейший, собиралась гроза, великолепные тучи наплывали с запада. Однако грозы не было»[50]. Не было и надгробных речей.

«Сколько я потерял с ним — не буду говорить тебе, — горевал Ф. М., сообщая брату Андрею печальное известие. — Этот человек любил меня больше всего на свете, даже больше жены и детей, которых он обожал. Вероятно, тебе уже от кого-нибудь известно, что в апреле этого же года я схоронил мою жену, в Москве, где она умерла в чахотке. В один год моя жизнь как бы надломилась. Эти два существа долгое время составляли всё в моей жизни. Где теперь найти людей таких? Да и не хочется их и искать. Да и невозможно их найти. Впереди холодная, одинокая старость и падучая болезнь моя. Все дела семейства брата в большом расстройстве. Дела по редакции (огромные и сложные дела) — всё это я принимаю на себя. Долгов много. У семейства — ни гроша и все несовершеннолетние. Все плачут и тоскуют, особенно Эмилия Федоровна, которая, кроме того, еще боится будущности. Разумеется, я теперь им слуга. Для такого брата, каким он был, я и голову и здоровье отдам... Я остаюсь в сущности редактором журнала».

Июньский номер «Эпохи», появившийся 20 августа, открывался некрологической статьей «Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском». «Он, — писал Ф. М., — принадлежал к разряду людей деловых, разряду весьма между нами немногочисленному, к разряду людей, не только умеющих замыслить и начать дело, но и умеющих довести его до конца, несмотря на препятствия. К несчастию, характер покойного был в высшей степени восприимчивый и впечатлительный. При этой восприимчивости впечатлений он мало доверял их другим, хранил их в глубине себя, мало высказывался, особенно в несчастьях и неудачах. Когда он страдал, то страдал один и не

обременял других своею экспансивностью. Только удачу, радость любил он делить добродушно с своими домашними и близкими; в такие минуты он не мог и не хотел быть один. Это определение его характера почти слово в слово совпадает с тем, что накануне его смерти было высказано консилиумом докторов о свойствах характера Михаила Михайловича... Жалею, что не могу сказать об его личном характере всего, что мне хотелось бы высказать: я понимаю, что я был слишком близок к покойному, чтоб говорить про него теперь всё то хорошее, что я мог бы сказать...»

Вместе с некрологом, статьей Страхова о Фейербахе, очерком Н. Д. Ахшарумова, статьями Д. В. Аверкиева и А. А. Григорьева был помещен и рассказ Аполлинарии «Своей дорогой». Письмо ей (оно тоже не сохранилось) Ф. М. написал на следующий день после смерти брата. Вряд ли надо гадать, о чем в такой день писал ей — ей одной — осиротевший Достоевский, не возлагавший больших надежд на ее горячее сочувствие. Год спустя он писал Врангелю: «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было всё, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, всё чуждое, всё новое и ни одного сердца, которое бы могло мне заменить тех обоих. Буквально — мне не для чего оставалось жить. Новые связи делать, новую жизнь выдумывать! Мне противна была даже и мысль об этом. Я тут *в первый раз* почувствовал, что *их* некем заменить, что я *их* только и любил на свете и что новой любви не только не наживешь, да и не надо наживать. Стало всё вокруг меня холодно и пустынно».

Ни одного сердца...

Глава четвертая
СТРАТЕГИЯ ИГРЫ И РАБОТЫ

Агония «Эпохи». — Долговая повинность. — Кабальный договор. — Сестры Корвин-Круковские. — Висбаденская западня. — На подступах к «Игроку». — Комбинация с «Русским вестником». — В Копенгагене у Врангеля. — В петербургском чаду

Парижский знакомый А. П. Сусловой (революционер-землеволец, «правая рука Чернышевского» на поприще студенческих волнений начала 1860-х, лидер «молодой эмиграции») Н. И. Утин в начале февраля 1865 года как-то спросил ее, пишет ли она Достоевскому и почему не идет за него замуж: *нуж-*

но, чтобы она «*прибрала к рукам его и “Эпоху”*». Поддразнивая девушку, которой он весьма, но, кажется, без взаимности, симпатизировал, Утин иронически заметил, что, быть может, Достоевский *сам на ней не женится*. «Прибрать к рукам “Эпоху”! Но что я за Ифигения!» — записала Аполлинария в дневнике, вполне отдавая себе отчет в том, что не собирается, подобно героине греческих трагедий, жертвовать собой ради общего дела.

Жертвовать собой ради «Эпохи» досталось одному Достоевскому. Смерть брата стала для него не только тяжелым горем, но и предвестником пожизненной работы по выплате огромного долга, с той только разницей, что прежде в гибельных обстоятельствах его всегда выручал *Mich-Mich*, а теперь нужно было полагаться только на себя. «После брата осталось всего триста рублей, — писал Ф. М. Врангелю спустя девять месяцев, — и на эти деньги его и похоронили. Кроме того, до двадцати пяти тысяч долгу, из которых десять тысяч долгу отдаленного, который не мог обеспокоить его семейство, но пятнадцать тысяч по векселям, требовавшим уплаты... У него был чрезвычайный и огромный кредит; сверх того, он вполне мог занять, и заем уже был в ходу. Но он умер, и весь кредит журнала рушился. Ни копейки денег, чтоб издавать его, а додать надо было шесть книг, что стоило 18 000 руб. minimum, да сверх того удовлетворить кредиторов, на что надо было 15 000, — итого надо было 33 000, чтоб кончить год и добиться до новой подписки журнала. Семейство его осталось буквально без всяких средств, — хоть ступай по миру. Я у них остался единой надеждой, и они все — и вдова, и дети сбились в кучу около меня, ожидая от меня спасения. Брата моего я любил бесконечно; мог ли я их оставить?»

Их — тех, кто ждал спасения, — было пятеро: 42-летняя вдова брата Эмилия Федоровна и четверо детей (младшей Кате было всего десять). Достоевский видел две возможности не оставить семью брата. *Первая* — прекратить издание журнала, предоставив кредиторам редакционное имущество вместе с мебелью, взять семейство к себе и работать на них всю жизнь. *Вторая* — достав денег, продолжить издание «Эпохи», улучшить ее и постепенно выплатить долг. «Как жаль, что я не решился на первое!.. Семейство, отказавшись от наследства, по закону не обязано было бы ничего и платить... Но я предпочел второе, то есть продолжать издание журнала...»

В августе 1864-го Достоевский отправился к А. Ф. Куманиной. «Я... выпросил у старой и богатой моей тетки 10 000, которые она назначала на мою долю в своем завещании, и, воротившись в Петербург, стал додавать журнал. Но дело было уже сильно испорчено: требовалось выпросить разрешение цен-

зурное издавать журнал». Необходимо было найти официального редактора — Достоевский, бывший политический преступник, состоящий под секретным надзором, не мог поставить свое имя на журнале ни как редактор, ни как издатель. На роль редактора он пригласил А. У. Порецкого, постоянного сотрудника «Времени»; в роли издателя выступила вдова брата.

«Для того чтобы издание по-прежнему служило поддержкою ныне осиротевшему семейству, чтобы затраты, на него сделанные, не пропали даром, а обязательства были выполнены, я, как опекунша детей моих, а вместе с тем и сонаследница прав и обязательств моего мужа имею честь просить С.-Петербургский Цензурный Комитет исходатайствовать утверждение за моим семейством и за мною права продолжать издание журнала “Эпоха”, с тем, что редакцию журнала примет на себя статский советник Александр Устинович Порецкий, если Комитет не найдет препятствий утвердить его в звании редактора»[51].

Прошение Э. Ф. Достоевской (написанное ее деверем), а также прошение А. У. Порецкого, обратившегося в Цензурный комитет «по соглашению с наследниками покойного редактора журнала “Эпоха”», были приняты благосклонно; к дозволению вдове отставного поручика М. М. Достоевского продолжить издание журнала со стороны Третьего отделения «препятствий не встретилось».

Однако и редактор, и издатель выступали фигурами номинальными: всю работу — и хозяйственную, и финансовую, и редакционную — тянул на себе Достоевский. «Я стал печатать разом в трех типографиях, не жалел денег, не жалел здоровья и сил. Редактором был один я, читал корректуры, возился с авторами, с цензурой, поправлял статьи, доставал деньги, просиживал до шести часов утра и спал по 5 часов в сутки и хоть ввел в журнале порядок, но уже было поздно. Верите ли: 28 ноября вышла сентябрьская книга, а 13 февраля генварская книга 1865-го года, значит, по 16 дней на книгу и каждая книга в 35 листов. Чего же это мне стоило! Но главное, при всей этой каторжной черной работе я сам не мог написать и напечатать в журнале ни строчки своего. Моего имени публика не встречала, и даже в Петербурге, не только в провинции, не знали, что я редактирую журнал».

О черной работе Ф. М. по спасению «Эпохи», а с ней и осиротевшей семьи Михаила писал Николай Достоевский сестре Вере: «Брат предался весь семейству, работает по ночам, никогда не ложится ранее 5 часов ночи; и днем постоянно сидит и распоряжается в редакции журнала. Надо пожить и долго пожить, чтобы узнать, что за честнейшая и благороднейшая душа

в этом человеке; а вместе с тем я не желал бы быть на его месте, он, по-моему, несчастнейший из смертных. Вся жизнь его так сложилась. Он никогда не пожалуется и не выскажет всего, что у него, может быть, накипело на сердце»[52].

Однако усилия Ф. М. оказались тщетными и жертвы напрасными. Журнал опаздывал; подписчики, «которым ни до чего нет дела», негодовали; баланс за 1864 год вел к полному и окончательному разорению: приход 22 тысячи рублей, расход — 29 тысяч наличными и 9500 векселями. Катастрофически упала подписка — Достоевский объяснял это всеобщим журнальным кризисом: «Во всех журналах разом подписка не состоялась. “Современник”, имевший постоянно 5000 подписчиков, очутился с 2300. Все остальные журналы упали. У нас осталось только 1300 подписчиков... Никогда еще не бывало с самого начала нашего журнализма, с тридцатых годов, чтоб число подписчиков убавилось в один год более чем на 25 процентов. И вдруг почти у всех убавилось наполовину, а у нас на 75 процентов».

В марте 1865-го наступил момент, когда никаких надежд на продолжение журнала не осталось: подписка прекратилась, касса была пуста, кредиторы требовали уплаты по векселям. Агония журнала длилась недолго. «При начале подписки долги, преимущественно еще покойного брата, потребовали уплаты. Мы платили из подписных денег, рассчитывая, что за уплатою все-таки останется чем издавать журнал, но подписка пресеклась, и, выдав два номера журнала, мы остались без ничего... Я ездил в Москву доставать денег, искал компаньона в журнал на самых выгодных условиях, но кроме журнального кризиса у нас в России денежный кризис. Теперь мы не можем, за неимением денег, издавать журнал далее и должны объявить временное банкротство».

«Эпоха» погибала. После февральской книжки в редакции не осталось ни гроша, нечем было платить сотрудникам, авторам, за бумагу, в типографию. Последние номера страдали, как позже заметит Страхов, «отсутствием выдающегося содержания»: Ф. М. писать не мог, добыть «замечательных вещей» было неоткуда. В сентябре 1864 года умер Аполлон Григорьев*, статьи которого придавали журналу вес и цвет.

---

* «Без сомнения, — писал Достоевский об А. А. Григорьеве, — каждый литературный критик должен быть в то же время и сам поэт; это, кажется, одно из необходимейших условий настоящего критика. Григорьев был бесспорный и страстный поэт; но он был и капризен и порывист как страстный поэт... Григорьев был хоть и настоящий Гамлет, но он, начиная с Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими, современными Гамлетами и гамлетиками, был один из тех Гамлетов, которые менее прочих

Февральский номер «Эпохи» с рассказом Достоевского «Крокодил» (несправедливо истолкованный как аллегория, где осмеяна трагическая судьба Чернышевского, так что и спустя годы Ф. М. будет отвергать обвинение, будто он, бывший ссыльный и каторжный, написал на другого «несчастного» зловредный пасквиль) оказался последним. «Многие неблагоприятные обстоятельства... заставляют нас прекратить в настоящее время выпуск нашего журнала, а вместе с тем и продолжающуюся на него подписку. Мы вошли в соглашение с издателем "Библиотеки для чтения", и он принял на себя высылать всем согласным на то подписчикам нашим, вместо нашего журнала, свой журнал, со всеми его приложениями, вплоть до конца нынешнего года», — значилось в объявлении от издателей «Эпохи» (спустя десятилетия П. Д. Боборыкин вспомнит вечер, когда в тесной квартире Достоевского они обсуждали соглашение, и Ф. М. «говорил очень толково, на деловую тему, своим тихим, нутряным и немножко как бы надорванным голосом»[53]). Но и «Библиотека для чтения» не смогла выполнить соглашение: она прекратилась в то самое время, когда объявление «Эпохи» появилось в печати.

После долгих, но безрезультатных попыток продлить жизнь «Эпохи», после раздачи кредиторам векселей на огромные суммы, после необходимых выплат, на которые ушли все подписные деньги, Достоевский сдался: в ситуации журнального кризиса, когда подписка едва ли не везде убавилась наполовину, оказалось невозможным даже на самых выгодных условиях найти компаньона. «Я слышала, — писала Е. В. Салиас де Турнемир своей близкой приятельнице А. П. Сусловой 16 мая 1865 года, — что "Эпоха" Достоевского приказала долго жить, что "Современное слово", "Отечественные записки", "Библиотека" при последнем издыхании... Говорят, что Достоевский собрал своих сотрудников и, как прилично честному человеку, заплатил все долги, возвышавшиеся до 40 т. сер. и закрыл журнал. Все это весьма печально»[54].

Но и это была еще не вся печаль. «На мне... до 10 000 вексельного долгу и 5000 на честное слово» — так обстояли дела

раздваивались, менее других и рефлектировали. Человек он был непосредственно и во многом даже себе неведомо — почвенный, кряжевой. Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек как натура... "Я критик, а не публицист", — говорил он мне сам несколько раз и даже незадолго до смерти своей, отвечая на некоторые мои замечания. Но всякий критик должен быть публицистом в том смысле, что обязанность всякого критика — не только иметь твердые убеждения, но *уметь* и проводить свои убеждения. А эта-то умелость проводить свои убеждения и есть главнейшая суть всякого публициста».

весной 1865 года, и Ф. М. писал Врангелю, что охотно бы пошел опять в каторгу на столько же лет, чтобы уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Права на собрание его сочинений были давно заложены — на выкуп требовалось две тысячи рублей, так что, когда он вновь обратился к Литературному фонду с просьбой о 600 рублях, предложить в обеспечение займа, кроме честного слова, было нечего.

«Известному романисту Достоевскому выдано 600 руб. для уплаты срочных долгов, которые он принял на себя после смерти издателя и редактора журналов "Время" и "Эпоха" и за которые он должен был подвергнуться тюремному заключению, что лишило бы его возможности, при его болезненном состоянии, продолжить литературные занятия и рассчитаться с долгами»[55] — этой записью в отчете Литературного фонда от 7 июня 1865 года был подведен печальный итог недолгому благополучию Достоевского при его вторичном вступлении на литературное поприще. «Теперь опять начну писать роман из-под палки, то есть из нужды, наскоро. Он выйдет эффектен, но того ли мне надобно! Работа из нужды, из денег задавила и съела меня» — этими словами из письма Врангелю начинал Достоевский свой путь к «Преступлению и наказанию».

Положение, однако, было много хуже и унизительнее, чем Ф. М. предполагал. Работу из-под палки, которую он заранее ненавидел, необходимо было еще получить: печатаясь в своих журналах почти пять лет, он отвык предлагаться другим редакциям и зависеть от них. Теперь нужно было в третий раз все начинать заново — кроме писательского имени, у него не было никакого тыла, а гигантские долги и шлейф прогоревшего предпринимателя вынуждали к срочным поискам работодателей, тем более что никто не торопился беспокоить его заказом на роман или повесть.

Сразу после получения денег в Литературном фонде Достоевский встретился с редактором «Отечественных записок» и после краткого разговора письменно изложил просьбу — именно так он назвал свое предложение написать для журнала роман.

«1) Я прошу 3000 руб. теперь же, вперед за роман, который обязуюсь *формально* доставить в редакцию "Отечественных записок" не позже первых чисел начала октября нынешнего года.

2) На случай моей смерти или на случай не доставления в срок рукописи романа в редакцию "Отечественных записок" представляю в заклад полное и всегдашнее право на издание *всех* моих сочинений, равномерно право их продать, заложить, одним словом, поступить с ними как с полною собственностью».

Он запродавал себя на самых невыгодных условиях — просил 150 рублей за лист (после того как за «Мертвый дом» получал в чужом «Русском мире» и в своем «Времени» по 250 рублей); в случае отказа печатать роман редакция имела право удерживать заклад до тех пор, пока он не вернет три тысячи рублей с процентами, и могла отбирать у него все гонорары за работы, напечатанные в другом месте. Он уговаривал Краевского пойти на выгодную для редакции сделку весьма неубедительно: «За право издания всех сочинений моих *на один только раз*, два книгопродавца (Стелловский и Воганов) давали мне уже 2000 сейчас, наличными (*зная, что я в нужде*). Следственно, мне кажется, сочинения представляют достаточное обеспечение». Через три дня Краевский, прекрасно знавший и о банкротстве «Эпохи», и, по-видимому, о письме Достоевского в Литературный фонд («...на меня одного обратились все труды издательские и редакторские, и, сверх того, за этими трудами я сам не успел написать почти ни строчки»), ответил вежливым, но категорическим отказом: «Редакция... не так богата денежными средствами, чтоб могла делать значительные выдачи вперед за статьи, тем более что за нынешний год она совершенно обеспечена беллетристическими статьями, за которые вперед уже выданы деньги»[56].

В те же дни Достоевский просился со своим пока не существующим романом в «Санкт-Петербургские ведомости», и В. Ф. Корш, вначале ответивший осторожным согласием («если только роман будет отвечать газетным требованиям, которые не всегда совпадают с требованиями толстых месячных журналов») и обещанием платить по 150 рублей за лист, чуть позже испугался «лишнего расхода» и засомневался: «Мои обстоятельства таковы, что я просто *не могу*, несмотря на сильное желание хоть сколько-нибудь поддержать Вас».

Достоевский просил аванс под будущие сочинения или хотя бы под «письма из-за границы» у редакции «Библиотеки для чтения», но за неимением денег ему было отказано и там.

Все попытки обойтись без услуг Стелловского, который принуждал к кабальному контракту силой, напуская кредиторов и грозясь засадить в тюрьму («так что уж и помощник квартального приходил ко мне для исполнения»), провалились: 1 июля 1865 года крайне невыгодный контракт был подписан и 2 июля заверен у частного маклера. За три тысячи рублей, которые Краевский отказался выплатить за «Пьяненьких» (роман о пьянстве «и всех его разветвлениях» не был даже начат), Достоевский продавал право на издание Полного собрания своих сочинений в трех томах, куда должно было войти и совсем новое произведение объемом не менее десяти листов,

предоставленное не позднее 1 ноября 1866 года. В случае невыполнения договора Стелловский получал право перепечатывать все будущие сочинения Достоевского без вознаграждения.

...Падение «Эпохи», при всем драматизме происшедшего, Страхов назовет позже счастливым событием для литературы: Ф. М., поставленный перед необходимостью писать, а не заниматься журналом, смог достичь, огромным напряжением сил, своих главных вершин. «Если бы “Эпоха” существовала, эти силы пошли бы на нее»[57].

Но еще за год до закрытия журнал сумел воскресить в Достоевском новые надежды на личное счастье. Выдающийся математик С. В. Ковалевская (урожденная Корвин-Круковская) расскажет в своих воспоминаниях, как в 1865 году, подростком, была влюблена в Достоевского, как он читал и хвалил ее детские вирши, как восторженно поклонялась она «гениальному человеку, которого встретила на своем пути»[58], как он почти не замечал ее, пятнадцатилетнюю девочку, будучи увлечен старшей сестрой Анной, почти год состоявшей в тайной от своих родителей переписке с писателем.

Рассказы двадцатилетней А. В. Корвин-Круковской, присланные ею в «Эпоху» из родительского имения Палибино в Витебской губернии и напечатанные в 1864 году, покорили Достоевского обаянием искренности и теплоты чувства. «Вам не только можно, но и *должно* смотреть на свои способности *серьезно*. Вы — поэт, — писал Ф. М. девушке, отец которой, генерал старой закалки В. В. Корвин-Круковский, считал женщин-писательниц «олицетворением всякой мерзости». — Это уже одно много стоит, а если при этом *талант* и *взгляд*, то нельзя пренебрегать собою». Глава семейства, наставляя супругу и дочерей, которым разрешил встретиться с писателем, предупреждал: «Достоевский — человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только — что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация! Нечего сказать! Надо быть с ним очень осторожным!»[59]

Весной 1865 года Анна, оказавшись с матерью и сестрой в Петербурге, в доме своего деда Ф. Ф. Шуберта на Васильевском острове, пригласила писателя в гости. Не с первой встречи, но очень скоро сестры оценили пламенную откровенность Ф. М. и его вдохновенный дар рассказчика, а он — он был до того очарован поэтической красотой высокой, стройной, зеленоглазой Анюты, мечтавшей о средневековых рыцарях и сценических триумфах, что признался девушке в своих чувствах и просил стать его женой. Анна Васильевна, при всем почтении к писателю, в этой роли себя не видела. «Ему нужна совсем не такая жена, как я, — в тот же вечер объясняла она младшей

сестре. — Его жена должна совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем думать. А я этого не могу, я сама хочу жить!»[60]

Итак, гибель «Эпохи» сопровождалась не только сварой с кредиторами, но и романтическим сватовством, которое хоть и не закончилось свадьбой, но явило урок: сердце 44-летнего писателя, задавленного тяжелыми утратами и нуждой, ничуть не омертвело и по-прежнему жаждало любви. «Всё мне кажется, что я только что собираюсь жить! Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть», — писал он Врангелю в разгар своего незадачливого жениховства.

Впрочем, А. Г. Достоевская, уверенно называя Анну Корвин-Круковскую невестой Ф. М., всегда помнила его восторженное впечатление о замечательной девушке. «На мой вопрос, почему разошлась их свадьба, Федор Михайлович отвечал: “Анна Васильевна — одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она — чрезвычайно умна, развита, литературно образованна, и у нее прекрасное, доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств; но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог быть счастливым. Я вернул ей данное слово и от всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива!” Федор Михайлович всю остальную жизнь сохранял самые добрые отношения с Анной Васильевной и считал ее своим верным другом. Когда, лет шесть спустя после свадьбы, я познакомилась с Анной Васильевной, то мы подружились и искренно полюбили друг друга. Слова Федора Михайловича о ее выдающемся уме, добром сердце и высоких нравственных качествах оказались вполне справедливыми; но не менее справедливо было и его убеждение в том, что навряд ли они могли бы быть счастливыми вместе. В Анне Васильевне не было той уступчивости, которая необходима в каждом добром супружестве, особенно в браке с таким больным и раздражительным человеком, каким часто, вследствие своей болезни, бывал Федор Михайлович».

...Получив деньги от Стелловского, Достоевский выехал за границу, «чтобы хоть каплю здоровьем поправиться и что-нибудь написать». Однако Висбаден, куда он добрался 29 июля (10 августа), его интересовал, как и прежде, совсем не целебными водами. Пять дней спустя, попав в игорную западню, он писал Тургеневу в Берлин о том, как туго ему пришлось недавно в Петербурге, как продавал свои сочинения «за что дадут», потому что хотели посадить в тюрьму за долги по журналу, которые он имел глупость перевести на себя; как из трех тысяч

оставил себе всего 175 рублей, а остальное раздал. «Хотя я теперь и не думал поправлять игрой свои обстоятельства, но франков 1000 действительно хотелось выиграть, чтоб хоть эти три месяца прожить. Пять дней как я уже в Висбадене и всё проиграл, всё дотла, и часы, и даже в отеле должен».

Достоевский оправдывался перед Тургеневым за проигрыш, ссылаясь на обстоятельства двухлетней давности, когда за один час в Висбадене он выиграл около 12 тысяч франков: это и был исходный момент его игорной страсти.

Драматические обстоятельства молодости Достоевского и законы Российской империи, где игорные заведения были запрещены, не дали случиться тому слишком вероятному несчастью, чтобы игра завладела им еще на старте писательского пути. И здесь уместно поставить вопрос: почему после общедоступного бильярда (заветные столы были не только у Доминика и Излера, но и во многих других петербургских ресторациях, где Достоевский «пробовал бильярд»); после столь же демократического домино; после карт (стихии, по слову П. А. Вяземского, «непреложной и неизбежной»), которые со времен царя Алексея Михайловича владели всей империей и процветали, например, в доме семипалатинского судьи Пешехонова, в гостиных провинциального Кузнецка, в доме сестры, Веры Михайловны Ивановой*, — почему после всех этих азартных проб Достоевский все же выбрал рулетку?

После первых опытов игры в казино ответ был получен. Бильярд немыслим без хорошего глазомера, четких движений и крепких рук, гибкого тела и здоровых суставов, а также ясных представлений о кинематике. Домино, как и карты, невозможно без комбинаторной памяти, без умения блефовать, без учета партнера — его психологии, азарта и игровых качеств. Биль-

* «Однажды Федор Михайлович... видел небывалую игру. Эта игра произвела на него сильное впечатление: он, рассказывая про нее, быстро ходил по комнате и с волнением закончил: “Ух, как играли... жарко! Скверно, что денег нет... Такая чертовская игра — это омут... Вижу и сознаю всю гнусность этой чудовищной страсти... а ведь тянет, так и всасывает!”» (*Скандин А. В.* Достоевский в Семипалатинске // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 104—105). «Когда устраивались карты, Федор Михайлович не отказывался принимать участие; случалось ему, как другим, выигрывать и проигрывать. Сам Окороков (знакомый Достоевского по Кузнецку, очевидец свадьбы писателя. — *Л. С.*) не раз играл с ним» (*Булгаков В. Ф.* Ф. М. Достоевский в Кузнецке // Там же. С. 160). См. также: «Вечером отправились к Ивановым. Пятница была их журфиксом, и мы застали много гостей. Общество разделилось: старшие сели за карты в гостиной и кабинете; молодежь, я в том числе, осталась в зале. Стали играть в модную тогда стуколку... Федор Михайлович, игравший в преферанс в кабинете, часто выходил посмотреть на нас» (А. Г. Достоевская).

ярд и преферанс, домино и штосс требуют мастерства и зависят от квалификации игрока, то есть можно говорить о тактике, стратегии, шансах на успех.

Иное дело рулетка, где вероятность, что выпадет вожделенное *zero*, иллюзорна и где никакая стратегия игры не может быть выигрышной. Слепое, непредсказуемое счастье, которое во мгновение ока может обернуться непереносимым горем. Рулетка не требует от игрока опыта и специальных знаний, и он, игрок, может быть неизлечимо глуп, нетрезв или подкатить к столу в инвалидном кресле. Единственный способ не проиграть в казино — это *не играть*, ибо цифры рулетки — это такая «математика», на которую не действуют математические методы и новоизобретенные системы.

Но вновь и вновь маньяки рулетки, потерявшие контроль над своей жизнью, приходят к «колесу удачи», одержимые злым духом азарта, мечтая легко, красиво и без труда разбогатеть. Один оборот колеса, одно неуловимое движение шарика, и всё чудесным образом изменится — настолько, что вчерашние моралисты сами прибегут поздравлять сегодняшнего счастливца. Рулетка — это мистика везения, эзотерика удачи, торжество случая и вызов судьбе в самом чистом виде, риск отчаянных и одержимых, дерзнувших дать своей жизни щелчок по лбу или показать ей язык.

«Ради Бога не играй больше. Где уж с нашим счастьем играть? Что головой не возьмем, того счастье нам не даст»[61], — писал Достоевскому брат Михаил в июне 1862-го из Петербурга. В это свое первое заграничное путешествие Достоевский провел день за игрой в курзале «Висбаденские воды», а спустя два месяца, возвращаясь из Вены, заехал на день в Гомбург и пробыл в казино целый день. Он жадно тянулся к игре, и брат Михаил с упреком замечал: «После твоего пассажа в Висбадене письма твои приняли какой-то деловой тон. О путешествии, о впечатлениях ни полслова»[62].

С Висбадена и началось игорное его десятилетие. В следующем году, на пути из Петербурга в Париж, где его ждала Суслова, Достоевский отклонился от маршрута и направился к рулетке, в знакомый по прошлому году курзал. В тот самый день 7/19 августа, когда он выехал из Берлина через Дрезден и Франкфурт в игорный город, Аполлинария писала ему злополучные строки: «Ты едешь немножко поздно...»

На его беду четверо суток в Висбадене обернулись удачей. «Да Вы что думаете? — писал он из Парижа свояченице. — Ведь выиграл, а не проиграл; хоть не столько выиграл, сколько хотел, не 100 000, а все-таки некоторую маленькую капельку выиграл».

Он ни минуты не сомневался в том, что игра — проклятый омут. Он просил Варвару Дмитриевну ни в коем случае не рассказывать об «удаче» пасынку: ведь «он еще глуп и, пожалуй, заберет в голову, что можно составить игрой карьеру, ну и будет на это надеяться... Ну, и не следует ему знать, что его папаша посещает рулетки. И потому ни слова». Он говорил об опасности игорной карьеры так, будто застрахован от подобных «глупых» мыслей...

Но возбуждение и азарт были сильнее здравых рассуждений. «Я, Варвара Дмитриевна, в эти четыре дня присмотрелся к игрокам. Их там понтирует несколько сот человек, и, честное слово, кроме двух, не нашел умеющих играть. Все проигрываются дотла, потому что не умеют играть. Играла там одна француженка и один английский лорд; вот эти так умели играть и не проигрались, а напротив, чуть банк не затрещал. Пожалуйста, не думайте, что я форсю, с радости, что не проиграл, говоря, что знаю секрет, как не проиграть, а выиграть. Секрет-то я действительно знаю; он ужасно глуп и прост и состоит в том, чтоб удерживаться поминутно, несмотря ни на какие фазисы игры, и не горячиться. Вот и всё, и проиграть при этом просто невозможно, а выиграете наверно».

И чудо произошло. Банк слегка «затрещал», рулетка коварно подарила выигрыш в 11 тысяч франков. Это вчетверо превышало сумму, которую ссудил ему под процент Литературный фонд. В письме к В. Д. Констант монолог Достоевского о выигрыше звучал будто «на два голоса». Первый голос был трезв и осторожен, знал об опасности, которая подстерегает ловцов удачи. «Постигнув секрет, умеет ли и в состоянии ли человек им воспользоваться? Будь семи пядей во лбу, с самым железным характером и все-таки прорветесь. Философ Страхов и тот бы прорвался. А потому блаженны те, которые не играют и на рулетку смотрят с омерзением и как на величайшую глупость». Второй голос, возбужденный и взволнованный, пытался замять «маленькое» осложнение. «Я, голубчик Варвара Дмитриевна, выиграл 5000 франков, то есть выиграл сначала 10 тысяч 400 франков, и уж домой принес и в сак запер и ехать из Висбадена на другой день положил, не заходя на рулетку; но прорвался и спустил половину выигрыша. Таким образом, и остался только при 5000 франков».

Все же ему достало благоразумия послать часть денег из выигрыша брату на сохранение и свояченице для передачи сестре.

Но спустя неделю, приехав с Сусловой в беспощадный Баден-Баден, он за четыре дня потерял всё. «Здесь, в Бадене, я проигрался на рулетке весь, совершенно, дотла. Я проиграл до

3-х тысяч с лишком франков. У меня в кармане теперь только 250 франков», — писал он свояченице; тотальный проигрыш настиг его через дразнящий выигрыш. «Приехал в Баден, подошел к столу и *в четверть часа* выиграл 600 франков. Это раздразнило. Вдруг пошел терять, и уж не мог удержаться и проиграл всё дотла».

Теперь Ф. М. вынужден униженно просить родных вернуть ему обратно часть отосланных денег. Но даже после этих неловких, несчастных писем он не смог удержаться: «взял *последние* деньги и пошел играть; с 4-х наполеонов выиграл 35 наполеонов в полчаса. Необыкновенное счастье увлекло меня, рискнул эти 35 и все *35* проиграл».

Сидеть в Баден-Бадене более было незачем и не с чем; на остаток денег Достоевский и Суслова выехали в Турин, ждать денежных переводов из Петербурга. Суслова равнодушно смотрела на незадачливого игрока. «Федор Михайлович проигрался и несколько озабочен, что мало денег на нашу поездку. Мне его жаль, жаль, отчасти, что я ничем не могу заплатить за эти заботы, но что же делать — не могу. Неужели ж на мне есть обязанность — нет, это вздор».

На пути в Турин они остановились в Женеве: Достоевскому пришлось заложить часы, его подруга сдала кольцо, без надежды когда-либо выкупить заклады. («Благородный» ростовщик «даже процентов не взял, чтоб одолжить иностранца, но дал пустяки»). Десять дней, проведенные в Турине, были донельзя тоскливы и мучительны: «Каждую минуту мы дрожали, что подадут счет из отеля, а у нас ни копейки, — скандал, полиция... гадость!»

Игорный опыт лета 1863 года не вызвал у Достоевского ощущение края бездны — милое развлечение удостоилось легкого комментария: «Приключения бывают разные; если б их не было, то и жить было бы скучно». Сезон 1863 года, хотя и завершился материальными потерями, дал важные стратегические приобретения.

Во-первых, Ф. М. убедил себя, будто создал беспроигрышную систему игры, которая оправдает все издержки. *Mich-Mich* деликатно намекал: «Не понимаю, как можно играть, путешествуя с женщиной, которую любишь»[63]. Достоевский парировал: «Ты пишешь: как можно играть дотла, путешествуя с тем, кого любишь. Друг Миша: я в Висбадене создал систему игры, употребил ее в дело и выиграл тотчас же 10 000 франков. Наутро изменил этой системе, разгорячившись, и тотчас же проиграл. Вечером возвратился к этой системе опять, со всею строгостью, и без труда и скоро выиграл опять 3000 франков. Скажи: после этого как было не увлечься, как было не по-

верить — что следуй я строго моей системе, и счастье у меня в руках».

Во-вторых, он нашел моральное оправдание: рулетка — не развлечение праздного путешественника, а благородная миссия. «Да я ехал с тем, чтоб всех вас спасти и себя из беды выгородить. А тут, вдобавок, вера в систему... А мне надо деньги, для меня, для тебя, для жены, для написания романа».

В-третьих: новые впечатления (курзал в Висбадене и казино в Баден-Бадене) нужны как сюжеты и уже пущены в дело — если учесть план рассказа о заграничном русском, который третий год играет по игорным домам. Игра на рулетке — это сбор материала для будущего сочинения; походы писателя в казино — это часть его работы.

До сих пор приключения писателя-игрока не выходили из разряда литературных (путешествие женатого человека с тайной подругой по европейским курортам, скитания по дешевым отелям, проигрыши в казино и безденежье). Но сюжет развивался — и замысел сочинения об игроке вступал в автономную фазу. Продолжая итальянское путешествие и переезжая из города в город, Достоевский надеялся, что уже в следующем населенном пункте он получит деньги, присланные по почте от кого-нибудь из России, для продолжения поездки или возвращения домой. Список возможных кредиторов к середине путешествия был фактически исчерпан. Так возник план займа денег под ненаписанное сочинение, под замысел. Ничего необычного в этом не было: Достоевский всегда отстаивал право на аванс. «Я литератор-пролетарий, и если кто захочет моей работы, то должен меня вперед обеспечить. Порядок этот я сам проклинаю. Но так завелось и, кажется, никогда не выведется», — писал он Страхову из Рима.

Он честно признавался, что ничего готового у него нет. Но была идея: «Составился довольно счастливый (как сам сужу) план одного рассказа. Большею частию он записан на клочках. Я было даже начал писать, — но невозможно здесь... Приехал в такое место как Рим *на неделю*; разве в эту неделю, *при Риме*, можно писать?»

Ф. М. излагал Страхову сюжет, пока еще летучий экспромт. «Я беру натуру непосредственную, человека, однако же, многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и *не смеющего не верить*, восстающего на авторитеты и боящегося их. Он успокоивает себя тем, что ему *нечего делать* в России, и потому жестокая критика на людей, зовущих из России наших заграничных русских. Но всего не расскажешь. Это лицо живое (весь как будто стоит передо мной) — и его надо прочесть, когда он напишется. Главная же штука в том, что все его жиз-

ненные соки, силы, буйство, смелость пошли *на рулетку*. Он — игрок, и не простой игрок, так же как скупой рыцарь Пушкина не простой скупец. Это вовсе не сравнение меня с Пушкиным. Говорю лишь для ясности. Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность *риска* и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ — рассказ о том, как он третий год играет по игорным городам на рулетке».

Достоевский просит Страхова раздобыть аванс в «Библиотеке для чтения», у Боборыкина, который, после запрещения «Времени», звал его в сотрудники. Никак не позже 10 ноября 1863 года, то есть через полтора месяца, рассказ об игроке в полтора печатных листа (за плату 150—200 рублей с листа) будет, обещает Достоевский, предоставлен в «Библиотеку для чтения».

Завлекая издателя иллюзией точного плана, писатель обещает дать «наглядное и подробнейшее изображение рулеточной игры». Полагая, что сочинение к сроку непременно напишется, он рискует своим честным словом, которое дает не задумываясь. «Я имею уверенность, что в честном моем слове еще никто не имеет основания сомневаться».

Чтобы усилить эффект предложения, он не жалеет красок для рекламы. «Вещь может быть весьма недурная. Ведь был же любопытен “Мертвый дом”. А это описание своего рода ада, своего рода каторжной “бани”. Хочу и постараюсь сделать картину». Он дает Страхову два-три дня и просит, в случае, если Боборыкин откажется, пойти, не мешкая, и в другие журналы. «Я пропал, пропал буквально, если не найду в Турине денег». Сагитированный Страховым Боборыкин искренне благодарит Достоевского за обещанный рассказ, предлагает автору тесное сотрудничество и без промедления высылает 300 рублей аванса, которые Достоевский получает в Турине, куда приезжает один, расставшись с Сусловой в Ливорно[64]. Однако вместо того чтобы немедленно возвращаться в Петербург и засесть за работу, он едет в Гомбург, где, как известно всем знатокам рулетки, самая настоящая игра и есть.

Гомбург, роковой Рулетенбург... Здесь он играет неделю, проигрывается дотла, и теперь это уже не то легкое приключение, без которого русскому путешественнику скучно жить. Кредит исчерпан, и, кроме как к Сусловой, которая уже дней пять пребывает в Париже, обратиться не к кому. На 350 франков, присланных Аполлинарией, можно было, однако, доехать только до Дрездена, а в Дрездене просить взаймы еще и еще (выручили граф А. К. Толстой и его друзья).

Так в историю создания романа «Игрок» включилась мистика денег: аванс, полученный под замысел сочинения об иг-

роке, автор бросает на игорный стол в заведении экстра-класса и проигрывается «весь».

Но за работу он так и не берется. Три тысячи рублей серебром, доставшиеся ему по завещанию дяди Куманина, дают возможность расплатиться с кредиторами и освобождают от необходимости срочно отрабатывать аванс. 300 рублей были возвращены Боборыкину, замысел сочинения об игроке отложен, но наркотическая уверенность, что расчисленная в Висбадене система ставок беспроигрышна, осталась. Она станет ахиллесовой пятой дальнейшего игорного поведения Достоевского.

Меж тем *Mich-Mich* не зря предупреждал: «Так, брат [как ты играешь], всегда будешь в проигрыше: нужна известная система в игре. Выиграл 10 т. и баста на время. Из них 7 т. на другой же день ты должен был послать ко мне, для того чтоб я положил их для тебя в банк, а на остальные продолжай играть, и поверь — ты будешь играть на них совсем легче. Чем ты играл, когда у тебя в кармане лежали 10 т. Если уже тебя нельзя уговорить не играть, то играй по крайней мере с таким расчетом. А как бы пригодились эти 7 т.»[65].

Но даже и в системе, которую предлагал брат, был видимый изъян: Михаил исходил из возможности крупного выигрыша, но не крупного проигрыша. В одном только *Mich-Mich* был прав: ни о какой системе игры не могло быть и речи; в рулетке таковой не существует в принципе. Искать стратегию, нацеленную на победу, бессмысленно. Расчет на хладнокровие, которое удержит от проигрыша, может сработать, если крупье не подыгрывают «своим» игрокам, с кем позже делят добычу. Но крупье-профессионалы умеют катать шарик, блюдут казенный интерес и недаром убеждены, что у игорного заведения невозможно выиграть.

И вот центральный эпизод предыстории романа «Игрок». В июле 1865 года, после проигрыша в Висбадене, Достоевский обращается к Тургеневу с просьбой о 100 талерах. «Потом я жду из России из одного журнала (“Библиотеки для чтения”), откуда обещались мне, при отъезде, выслать капельку денег, и еще от одного господина, который должен мне помочь. Само собою, что раньше *трех недель*, может быть, Вам и не отдам. Впрочем, может быть, отдам и раньше». Ф. М. отчетливо сознавал, что для заграничной поездки ему нужна сумма, втрое большая той, с которой он пустился в путешествие. Так что теперь он относит в казино уже не выигрыш, а гонорар — и отныне полагается на казино как на свой единственный источник дохода.

Можно видеть роковую зависимость проигрышей Достоевского, сделанных до написания романа «Игрок», от происхож-

дения денег, на которые он играл. Если в 1863-м в Гомбурге был проигран *аванс* за рассказ (так и не написанный), то в 1865-м, в Висбадене, в считаные дни рулетке жертвовался уже *остаток гонорара* от Стелловского, который включал и *весь заработок* за не написанный пока роман.

Этот проигрыш не останется без последствий и станет причиной нескольких неприятностей. Самая болезненная заключалась в том, что Ф. М. начисто забыл о займе у Тургенева, а Тургенев начисто забыл, что дал Достоевскому всего 50 талеров, а не 100, как тот просил («Благодарю Вас, добрейший Иван Сергеевич, — писал Достоевский своему кредитору через пять дней после получения денег, — за Вашу присылку 50 талеров. Хоть и не помогли они мне радикально, но все-таки очень помогли. Надеюсь скоро возвратить Вам»). Забывчивость Достоевского, затянувшаяся на целое десятилетие (он вернет долг Тургеневу только в 1876 году), даст кредитору повод для едких упреков в связи с пародийным Кармазиновым. «Все это прекрасно, — скажет Тургенев в адрес автора «Бесов», — но мне кажется, ему бы следовало сперва отдать мне деньги, которые он у меня занял, — а потом уже, освободившись от бремени обязательств, и лупить меня. Но видно, бремя это ему легко»[66].

Пятьдесят тургеневских талеров помогли лишь отчасти, и Достоевский с промежутками в несколько дней написал о своем несчастье Герцену в Женеву, Сусловой в Париж, Милюкову в Петербург и Врангелю в Копенгаген. Герцен с недельным опозданием сообщил, что если бы Ф. М. просил у него сумму меньшую, чем 400 флоринов, то он бы непременно помог. «Денег не прислал», — жаловался Достоевский Сусловой после короткого свидания с ней в Висбадене, куда она приехала по его зову. «Только что ты уехала, на другой же день, рано утром, мне объявили в отеле, что мне не приказано давать ни обеда, ни чаю, ни кофею. Я пошел объясниться, и толстый немец-хозяин объявил мне, что я не “заслужил” обеда и что он будет мне присылать только чай. И так со вчерашнего дня я не обедаю и питаюсь только чаем. Да и чай подают прескверный... платье и сапоги не чистят, на мой зов нейдут, и все слуги обходятся со мной с невыразимым, самым немецким презрением. Нет выше преступления у немца, как быть без денег и в срок не заплатить».

«По-немецки» поступил и Герцен; Достоевский, ожидая «другой полосы несчастий и пакостей», затравленно писал Сусловой: «Странно, однако же: почему же он все-таки не прислал 150 гульд.? если сам говорит, что мог бы их прислать. Прислал бы 150 и сказал бы, что не может больше. Вот как дело делается. А тут очевидно: или у него у самого туго, то есть нет, или

жалко денег. А между тем он не мог сомневаться, что я не отдам: письмо-то мое у него. Не потерянный же я человек».

Суслова на его жалобы («Продолжаю не обедать и живу утренним и вечерним чаем... Меня притесняют и иногда отказывают в свечке по вечерам, в случае, если остался от вчерашнего дня хоть крошечный огарочек... Каждый день в три часа ухожу из отеля и прихожу в шесть часов, чтоб не подать виду, что совсем не обедаю») ничего не ответила; в ее дневнике о висбаденском свидании с Достоевским не появилось ни слова, а письмо Ф. М. прямо кричало: «Поля, друг мой, выручи меня, спаси меня! Достань где-нибудь 150 гульденов, только мне и надо». Милюков, которого Достоевский просил «запродать повесть хоть куда ни было, но только с условием выслать немедленно 300 рублей», побывал в трех редакциях («Современника», «Отечественных записок» и «Библиотеки для чтения»), где ему бесповоротно отказали. Врангель, с запозданием получивший первое из двух писем Достоевского, прислал деньги при повторной просьбе («Здесь уже грозят полицией») вместе с характерным комментарием: «Беда, настигшая Вас, — не редкость в Висбадене, и я, живший там год, так устрашен был этими примерами, что бегу всегда рулетки, как черт от ладана»[67].

В промежутке между вторым письмом Врангелю и его ответом, на который в тот момент уже трудно было надеяться, Ф. М. решился, по совету родственницы Каткова Н. П. Шаликовой (он познакомился с княжной в доме И. Л. Янышева, священника русской церкви в Висбадене), обратиться в «Русский вестник». Спустя неделю, когда деньги от Врангеля все-таки пришли, Достоевский сообщил другу свои опасения насчет комбинации с «Русским вестником». «6 лет тому назад Катков мне выслал в Сибирь (перед отъездом из Сибири) 500 р. вперед за повесть, которую еще я ему не послал... А вдруг потом мы письменно повздорили в условиях и разошлись. Деньги Каткову были возвращены и повесть, которую тем временем я успел уже выслать, взята назад. С тех пор в продолжение издания “Времени” были между обоими журналами потасовки. А Катков до того самолюбивый, тщеславный и мстительный человек, что я очень боюсь теперь, чтоб он, припомнив прошлое, не отказался высокомерно теперь от предлагаемой мною повести и не оставил меня с носом. Тем более, что я не мог, предлагая ему повесть, сделать это предложение иначе как в независимом тоне и безо всякого унижения».

Письмо Каткову действительно начиналось прямо с предложения: речь шла о повести, которую автор якобы уже заканчивал и обещал доставить в редакцию через месяц. Что бы ни

думал на этот счет редактор, у автора была ясно выраженная идея («психологический отчет одного преступления») и был сюжет, подробно изложенный здесь же. История об исключенном из университета и живущем в крайней бедности молодом человеке, решившемся на убийство старухи, дающей деньги под проценты, а потом принужденном на себя донести из-за душевных мук*, не должна была в чем-то противоречить направлению журнала. Ведь герою хоть и удалось «совершенно случайным образом» совершить преступление «и скоро и удачно», но он был совсем не рад своей удаче — и сочинитель развивал сюжет в духе неизбежного раскаяния убийцы. «Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы. Никаких на них подозрений нет и не может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он — кончает тем, что *принужден* сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое... Преступник сам решает принять муки, чтоб искупить свое дело».

Автор смиренно просил редактора не помнить прежних недоразумений, винил себя за капризы и заносчивость, в части же вознаграждения всецело отдавался на усмотрение редакции, выражая лишь надежду «получить не меньше minimum'a платы», который ему предлагали до сих пор, то есть 125 рублей

---

* В письме сюжет излагался детально: «Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению, и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях поддавшись некоторым странным "недоконченным" идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна, берет жидовские проценты, зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. "Она никуда не годна", "для чего она живет?", "Полезна ли она хоть кому-нибудь?" и т. д. Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, обобрать; с тем, чтоб сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства — притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении "гуманного долга к человечеству", чем, уже конечно, "загладится преступление", если только может назваться преступлением этот поступок над старухой глухой, глупой, злой и больной, которая сама не знает, для чего живет на свете...»

с листа. Неприятной темы стесненных обстоятельств он коснулся лишь слегка, подчеркнув, что его просьба о 300 рублях аванса может иметь место, только если «Русский вестник» примет его работу. Разумеется, Ф. М. не писал о рулетке, о безобразном проигрыше, о том, что сидит без обеда и без вечерней свечки. Видимо, это и означало «сделать предложение в независимом тоне и безо всякого унижения».

«Русский вестник» был пятым по счету изданием, которому летом 1865 года Достоевский предлагал напечатать свое сочинение. Катков был десятым по счету литератором, к которому Достоевский обратился персонально. Деньги из Москвы пришли в Висбаден через две недели и уже не застали Достоевского на месте (хотя Катков раздумывал не более трех дней): опасаясь высокомерного отказа, Ф. М. не мог и предположить, что редактор «Русского вестника» надолго станет для него единственной финансовой опорой и издаст «в кредит» четыре его великих романа. Но он не предполагал также, что опасные черты характера его издателя, никак не угрожая регулярности авансовых выплат, дадут себя знать иным образом: «самолюбивый, тщеславный и мстительный» Катков, как окажется позднее, припомнит то прошлое, о котором в письме Врангелю вскользь сказал Достоевский как о «журнальных потасовках».

Вырвавшись благодаря Врангелю и Янышеву (висбаденский батюшка благородно поручился за должника в гостинице), Достоевский поехал в Копенгаген, по приглашению старого друга. «Приехал он ко мне 1-го октября, прожил у меня неделю, очень понравился моей жене и много возился с двумя моими детьми. Я нашел его похудевшим и постаревшим. Очень радостна была наша встреча; всплыли, конечно, воспоминания о Сибири, о “Казаковом саде”, о наших сердечных увлечениях... Много говорили и о покойнице Марии Дмитриевне... Невольно в откровенной дружеской беседе коснулись и его семейной жизни и странных, мне непонятных и по сию пору взаимных отношений супругов». Врангель не уточнял природу этих странностей, намекнул лишь, что с самого начала не предвидел счастья в этом браке, и всеми силами старался отрезвить Ф. М., видевшего Марию Дмитриевну лишь «в каком-то лучезарном ореоле», от его «любовного психоза».

Точка зрения Достоевского на былую любовь неожиданно для Врангеля определилась иначе: «Будем всегда глубоко благодарны за те дни и часы счастья и ласки, которые дала нам любимая нами женщина. Не следует требовать от нее вечно жить и только думать о вас, это недостойный эгоизм, который надо уметь побороть». К тому же его в ту пору (осенью 1865-го) сжигал совсем не эгоизм, а простудный озноб и жар; донимали

сильнейшие припадки падучей (четыре за полтора месяца сразу по приезде в Петербург). Семья брата пребывала «в полном расстройстве»; каждый шаг писателя стерегли ростовщики с вексельными претензиями. «Воля Ваша, — писал в ноябре 1865-го один из них, — если Вам не угодно будет заплатить сколько-нибудь... то Вы заставите меня вопреки желания моего действовать, как предоставляют законы...»

В эти ноябрьские дни Ф. М. часто бывал у Аполлинарии. Она вынуждена была оставить Европу (в последнее время жила в Монпелье и в Цюрихе). Отец, попавший в опалу и уволенный с должности, почти разорился. Нужно было устраиваться в России, хоть сельской учительницей. Достоевский, «давно» предлагавший «Суслихе» руку и сердце, только «сердил», и она раздраженно писала об этом в дневнике.

В этом чаду он и работал — «не разгибая шеи». Наступала пора «Преступления и наказания».

Глава пятая

«ВЕЩЬ НЕБЫВАЛАЯ, ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ»

Журнальная потасовка. — «Египетские ночи». — Бдительность Каткова. — Лето в Люблине. — Время «Игрока». — Курсы Ольхина. — Семейство Сниткиных. — Стенографическое приключение. — Начало любви. — Роман-авантюра. — Уроки сверхудачи

В середине декабря 1865 года Достоевский выслал в редакцию «Русского вестника» первую порцию «Преступления и наказания». «По расчету выходит, — объяснял он Врангелю, — что каждый месяц мне надо доставить в “Русский вестник” до 6-ти печатных листов. Это ужасно; но я бы доставил, если б была свобода духа. Роман есть дело поэтическое, требует для исполнения спокойствия духа и воображения. А меня мучат кредиторы, то есть грозят посадить в тюрьму. До сих пор не уладил с ними, и еще не знаю наверно — улажу ли? — хотя многие из них благоразумны и принимают предложение мое рассрочить им уплату на 5 лет; но с некоторыми не мог еще до сих пор сладить. Поймите, каково мое беспокойство. Это надрывает дух и сердце, расстроивает на несколько дней, а тут садись и пиши. Иногда это невозможно».

Но он садился и писал, так как, получив в октябре от Каткова аванс, считал дело о напечатании романа решенным. В прошедшие два месяца Ф. М. не раз обращался в редакцию «Русского вестника» с просьбой о материальной поддержке, но

не получал ответа. Он не знал, когда будет напечатан роман и будет ли вообще напечатан в «Русском вестнике», и считал свое положение невыносимым. «Занятый моей работой, я уже не искал никакой другой, а так как я совсем не имею денег и никого теперь, у кого бы я мог занять, для поддержанья меня во время работы, то и впал теперь в совершенную нищету... Не имея ни малейших средств содержать себя, истощая добродушие моих знакомых беспрерывными займами, бегая по три дня за каким-нибудь рублем, я в то же время должен работать усиленно и страдаю нравственно: я люблю мою теперешнюю работу, я слишком много возложил надежд... на этот роман мой... а между прочим, беспрерывно отрываюсь от работы, теряю золотое время... Клянусь Вам, что я не преувеличиваю. Клянусь Вам, что ровно *половину* моего времени, а может и больше, я теряю в хлопотах в приискании денег...»

Кажется, Ф. М. не слишком преувеличивал степень своей «совершенной нищеты», потому что не только зачастил к ростовщикам, закладывая посуду, запонки, одежду, продавая книги, но и нарушал принцип — ни в коем случае не просить вперед у Каткова: «Неполитично... невозможно... нелепо... совсем не те отношения». «Есть такие отношения, многоуважаемый Иван Леонтьевич, — объяснял должник Достоевский о. Янышеву, извиняясь за *пустое*, то есть безденежное письмо, — которые почти невозможно нарушить, и потому я осудил *себя* на время ждать и терпеть».

Но теперь, после отсылки первой части романа, он имел право больше не ждать и не терпеть. «Прошу Вас выдать мне 1000 рублей вперед. 300 руб. я уже от Вас получил, таким образом, теперь я прошу прислать в дополнение к 1000 только 700. Из этих 700 450 прошу Вас прислать мне, а 250 доставить А. Ф. Базунову, которому я их задолжал».

И все же письмо Каткову, мстительности которого так опасался Достоевский, содержало несколько неосторожных мест. Ф. М. обращался к издателю «Русского вестника» как «литератор к литератору», уповая на понимание: «Вы сами занимались изящной литературой, Вы поймете». Катков-литератор, не так давно переводивший Шекспира, должен был чувствовать, насколько художественная работа зависит от спокойствия духа.

Достоевский, памятуя о «совсем не тех отношениях», пытался сохранить лицо, не усугубляя положения: «Сделайте одолжение, не думайте, чтоб я в чем-нибудь обвинял Вас, и не обидьтесь чем-нибудь из письма моего. Мне только тяжело было не получать ответа и оставаться в неведении». Несомненно, его опасения восходили к публичному конфликту («пота-

совке») между журналами, когда он, редактор «Времени», чувствовал себя на равных с редактором «Русского вестника». Теперь ситуация была явно не в пользу романиста, потерявшего свой журнал.

А «потасовка» имела место в 1861 году и касалась такой отвлеченности, как «Египетские ночи». Поводом послужило чтение на благотворительном вечере в Перми пушкинской импровизации, исполненное статской советницей Е. А. Толмачевой столь темпераментно, что в газете «Век», узнавшей о вечере из «Санкт-Петербургских ведомостей», она была названа Клеопатрой. В числе литераторов, пытавшихся защитить честь дамы, оказался и Достоевский, за что был немедленно пристыжен «Русским вестником» и представлен бульварным волокитой, «эманципатором с грязными руками»[68], мечущим бисер перед доступной женщиной. Тут-то и началась «потасовка»: в статье «Ответ “Русскому вестнику”» Достоевский высказался по сути и по форме полемики.

«Время» утверждало: клевета, глумление, грубые насмешки как средство борьбы слишком хорошо известны, а способ оплевания и осмеяния удобен и выгоден. «Тотчас же можно собрать толпу, которая, окружив преступника, будет высовывать ему язык, плясать перед ним на одной ножке, показывать ему шиши и кричать: “У-у! эманципатор! эманципатор! смотрите, эманципатор идет! хочет понравиться дамскому полу; ишь, пачулей надушился, обольститель, ловлас, эманципатор!” Вот к этому-то самому торному и удобному способу прибегнул относительно нас и “Русский вестник”».

Неужели, спрашивал Достоевский, читать романы Дюма и смотреть французские водевили, где так много «сального, цинически-обнаженного, грубо извращенного», менее опасно, чем читать или слушать со сцены пушкинскую импровизацию? Неужели Пушкина следует опасаться потому, что «Египетские ночи» «только намек, мотив, фрагмент»? Меж тем «Русский вестник» настаивал: «Этот демонский культ, требующий драгоценнейших человеческих жертв, эта царица, поникшая головою над чашей, под обаянием охватившей ее силы, Клеопатра, призывающая подземных богов в свидетели своей клятвы, — всё это, *облеченное в плоть и кровь чарующих подробностей, могло бы быть* откровением далекого и мрачного мира, и тогда идея целого управляла бы и смягчила бы всё, что теперь выступает слишком рельефно. *Если б из этих мотивов вышла трагедия*, она могла бы быть созданием гениальным...»[69]

Как ни убеждал Достоевский оппонента, что на неразвитое сердце даже статуя Венеры произведет только «клубничное» впечатление и что нужно быть «высоко очищенным нравст-

венно, чтобы смотреть на божественную красоту не смущаясь», тот был непреклонен. «Но разве Венера Медицейская или Венера Милосская, — писал Катков, — представляют собою те выражения страстности, которые звучат в словах Клеопатры?.. Не являются ли эти образы сами олицетворением тонкой стыдливости, чарующей тайны? Разве резец не только Фидия и Праксителя, но даже ваятелей эпох упадка, доходил когда-нибудь до *последних выражений* страстности?»[70]

«Уж не приравниваете ли вы "Египетские ночи" к сочинениям маркиза де Сада?» — иронизировал Достоевский, доказывая, что *последнее выражение страстности*, которого как чумы боится оппонент, может быть соблазнительно только для «знатоков и ходоков по клубничной части», при чистом же взгляде оно производит «вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление».

«Потасовка» между двумя журналами и двумя сорокалетними мужчинами (Катков был старше Достоевского тремя годами) неожиданно сосредоточилась на таком узком и спорном участке литературы, как целомудрие в изображении страсти и ее «последних мгновений». Статьи Ф. М. в защиту «Египетских ночей» убеждали Каткова, что редактор «Времени» такого целомудрия лишен и готов следовать опасным путем пушкинского фрагмента, нарушающего нормы приличий. Достоевский утверждал, что, пройдя сквозь огонь вдохновения, любая страстная сцена суть искусство, свет преображенной действительности: это *тайна искусства, и о ней знает всякий художник*.

Но Катков, как нехудожник, знать об этом не мог, так что намек Достоевского его больно задел. И если спустя годы редактор «Русского вестника», печатающий романы Достоевского, забракует в них «нецеломудренные фрагменты», то только потому, что в «потасовке» не смог ничего противопоставить «тайне искусства». Катков вряд ли забыл, что интерпретация «Египетских ночей», вырвавшаяся из-под пера Достоевского, сама явилась фрагментом художественного воображения, способным произвести «не клубничное, а потрясающее впечатление». Защищая Пушкина, Достоевский вслед за поэтом импровизировал сам: его вдохновенный монолог о Клеопатре парадоксально отвечал злобе дня.

Он писал об обществе, под которым давно пошатнулись основания: «Уже утрачена всякая вера; надежда кажется одним бесполезным обманом; мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего;

надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Всё уходит в тело, всё бросается в телесный разврат, и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает».

Трудно сказать, увидел ли Катков в 1865-м (а потом еще через пять лет) сходство «фрагмента», рисующего как будто мир Клеопатры, с русским миром, который предстанет в «Преступлении и наказании», а затем в «Бесах». Редактор увидит, вероятно, и другое сближение — царицы Клеопатры с персонажем, «попробовавшим большой разврат». Катков вспомнит слова Ф. М. 1861 года: «Ей теперь скучно; но эта скука посещает ее часто. Что-нибудь чудовищное, ненормальное, злорадное еще могло бы разбудить ее душу. Ей нужно теперь сильное впечатление. Она уже изведала все тайны любви и наслаждений, и перед ней маркиз де Сад, может быть, показался бы ребенком. Разврат ожесточает душу... Но это душа сильная, сломить ее еще можно не скоро; в ней много сильной и злобной иронии. И вот эта ирония зашевелилась в ней теперь».

Достаточно было заменить «она» на «он», и все вставало на свои места: «обворожительному демону» оказывалась близка та бешеная страстность, которой была охвачена душа царицы. «Ей хотелось насладиться своим презрением к ним, когда она бросит им этот вызов в глаза и увидит их трепет и почувствует в себе стук этих дрогнувших страстью сердец. Но ее мысль уже овладела и ее душою вполне. Страсть уже пробежала ядовитой струей и по ее нервам. О, теперь и ей хотелось бы, чтобы приняли ее чудовищный вызов!»

Самолюбивый и мстительный Катков прочитает о герое, одаренном звериным сладострастием, и будет охвачен негодованием — автор, целомудрию которого поверили на слово, будто потешался над всей редакцией. «Сколько неслыханного сладострастия и неизведанного еще ею наслаждения! сколько демонского счастья целовать свою жертву, любить ее, на несколько часов стать рабой этой жертвы, утолить все желания ее всеми тайнами лобзаний, неги, бешеной страсти и в то же время сознавать каждую минуту, что эта жертва, этот минутный властитель ее заплатит ей жизнью за эту любовь и за гордую дерзость своего мгновенного господства над нею. Гиена уже лизнула крови...»

Вот, оказывается, о каких грехах русского барича шла речь. Вот какой сюрприз приберег сочинитель, отдавший свой ро-

ман в самый благонамеренный из журналов. Вот какие тайны хранила нелепая интрижка, где была всего одна амурная сцена и все происходило за закрытыми дверями. Вот какие смыслы крылись за скромными листками исповеди якобы кающегося грешника. «Гиена уже лизнула крови; ей грезится теплый пар ее; он будет ей грезиться и в последнем моменте наслаждения. Бешеная жестокость уже давно исказила эту божественную душу и уже часто низводила ее до звериного подобия. Даже и не до звериного; в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада: это душа паука, самка которого съедает, говорят, своего самца в минуту своей с ним сходки. Всё это похоже на отвратительный сон. Но всё это упоительно, безмерно развратно и... страшно!.. И вот демонский восторг наполняет душу царицы, и она гордо бросает свой вызов».

Чувства Каткова можно было понять: своими стараниями он привлек на страницы пуританского «Русского вестника» роман с *такими* переживаниями. Автор же, будто в насмешку, отвечал (в 1861-м): «Мы пуритане по крови; мы мало любим жизнь, и потому искусство кажется нам соблазном».

Можно было понять и Достоевского — и когда в 1865 году, при начале «Преступления и наказания», он опасался злопамятства Каткова, и когда в пылу «потасовки» неосторожно напророчил: «С невольным ужасом спрашивал я себя: что же будет с нами, что мы, несчастные, будем делать, если он, если сам “Русский вестник” станет учить нас так дурно в таких важных вопросах?.. Дурной пример дает “Русский вестник” русской литературе!»

Четыре года после «потасовки» были достаточным сроком, чтобы обмен «любезностями» по поводу пушкинской импровизации вспоминался не слишком болезненно. «Я верил всегда, что Вы человек благородный, хотя и не имею удовольствия знать Вас лично...» — писал Каткову Достоевский; говоря теперь о причастности издателя к изящной словесности, Ф. М. пытался загладить прежние иронические уколы и избегать намеков на скромность литературного дарования редактора.

Достоевскому было не до иронии — он уповал на великодушие издателя, который протянет руку писателю, обивающему пороги редакций в поисках авансов под ненаписанные сочинения. «Находясь в таком невыносимом положении, покорнейше прошу Вас обратить внимание Ваше на нижеследующие и убедительнейшие просьбы мои: Я искренне желаю сотрудничать в “Русском Вестнике”». Нужно было привыкать к странным правилам журнала — прислав аванс, редактор не соблаговолил приписать несколько слов, которых автор вправе был ожидать. Следовало смириться с фактом высылки денег

без сопроводительного письма — будто это милостыня, и гадать о дальнейших намерениях редакции.

И все же в словах Достоевского сквозила обида. «Если роман мой Вам не нравится или Вы раздумали печатать его — то пришлите мне его обратно. Вы непременно человек, Михаил Никифорович, и с человеческим чувством. Из уважения к самому себе Вы, вероятно, не захотите заставить страдать мое человеческое достоинство и меня не оставите без ответа. Вы поймете, что мне, потерявшему столько времени непроизводительно, столько здоровья, силы, надо поскорее вознаградить его хоть чем-нибудь... Убедительно прошу от Вас ответа на это письмо скорого и ясного, чтоб я мог знать свое положение и что-нибудь предпринять».

Через месяц «Русский вестник» прислал уведомление за подписью секретаря. «Редакция... извиняется перед Вами в том, что до сих пор оставляла Вас в недоумении относительно Вашей повести. Печатание ее не только дело решенное, но она уже вошла в состав 1-й книжки "Русского вестника", которая выйдет на днях». Как только в январском номере за 1866 год появились семь листов «Преступления и наказания», Достоевский понял, что дело выиграно: Катков обязан будет считаться с автором, обеспечившим журнал беллетристикой на целый подписной год. Имело смысл вести себя осторожно, не наделать ошибок, слишком унижаясь просьбами о новых выплатах.

Ощущая себя бывалым борцом, Достоевский полагал, что война с журналом будет связана с гонораром. К тому же он узнал, как обрадовались в редакции, получив его предложение. «У них из беллетристики на этот год ничего не было, — рассказывал Ф. М. Врангелю, — Тургенев не пишет ничего, а с Львом Толстым они поссорились. Я явился на выручку... Но они страшно со мной осторожничали и политиковали. Дело в том, что они страшные скряги. Роман им казался велик. Платить за 25 листов (а может быть, и за 30) по 125 р. их пугало. Одним словом, вся их политика в том (уж ко мне засылали), чтоб сбавить плату с листа, а у меня в том, чтоб набавить. И теперь у нас идет глухая борьба. Им, очевидно, хочется, чтоб я приехал в Москву. Я же выжидаю, и вот в чем моя цель: если Бог поможет, то роман этот может быть великолепнейшею вещью...Эффект в публике будет произведен, и тогда я поеду в Москву и посмотрю, как они тогда мне сбавят? Напротив, может быть, прибавят».

В марте, когда Достоевский приехал в Москву знакомиться с Катковым, восторженных читательских отзывов о первой части романа оказалось достаточно, чтобы получить вперед еще тысячу рублей. Можно было не бояться: проблемы гонорара

решились положительно. Но, приписав в декабрьском письме три не связанные с деньгами строчки, уже летом автор убедился, как точно они «работают», и понял, чего надо бояться, имея дело с Катковым. Как бы в ответ на эти строчки («Если Вы намерены печатать роман мой, то покорнейше прошу редакцию "Русского Вестника" не делать в нем *никаких* поправок. Я *ни в каком случае* не могу на это согласиться») Катков хотел присвоить себе право собственноручно «выпускать» или поправлять сомнительные места.

Вместо ожидаемой «глухой борьбы» из-за полистовой оплаты возник острый конфликт насчет «нравственности сочинения». В эпизоде чтения Евангелия падшей женщиной редакция усмотрела «следы нигилизма» — и в том, как настойчиво, несмотря на Евангелие, герой защищает свою теорию, и в том, что «женщина, доведшая самопожертвование до жертвы своим телом», выступает толковательницей Христова учения. Катков, уверяя, что «ни одна существенная черта в художественном изображении не пострадала», сообщал автору, что позволил себе изменить лишь некоторые места. Позднее бдительная редакция выразила удовлетворение, что не разрешила осуществить «утрированную идеализацию» падшей женщины[71].

Отношения с «Русским вестником», прошедшие пробу на этапе «Преступления и наказания», требовали, казалось, полного пересмотра. Но душил контракт со Стелловским — к июлю из обещанного ему нового романа не было написано ни строчки, единственным источником дохода оставались авансы Каткова, да и те не могли покрыть и десятой доли вексельных и денежных долгов.

...Лето и осень 1866 года, несмотря ни на что, были для Достоевского временем больших удач. Предчувствие счастья завладело им еще весной, когда он писал Корвин-Круковской: «Мне всё мерещится, что хандра моя ужасный вздор. Кажется иногда, что столько сил внутри и что мне много-много еще пережить надо». «Было много и отрадных минут... Для меня еще не иссякла жизнь и надежда», — в те же весенние дни сообщал Ф. М. и Янышеву, когда смог, наконец, вернуть ему долг. Он избежал долговой тюрьмы; «Русский вестник» платил исправно; первые отзывы на новый роман, который «удался чрезвычайно», подняли его репутацию как писателя.

Его тянуло в Москву. В доме сестры Веры, ее мужа и их десятерых детей он чувствовал себя не так одиноко, как в Петербурге, где, казалось, жили одни кредиторы, нахальные и злые, и где даже в семье покойного брата ему не были рады («только вдова знается со мной, а дети даже мне теперь и не кланяются», — жаловался он Янышеву). А в Москве была жизнь. Летом

большая семья Ивановых удваивалась: Александр Павлович, служивший в Константиновском межевом институте, приглашал на дачу студентов, дети звали в гости своих товарищей и подруг.

«Старшая племянница моя, Соня, доставила мне несколько прекрасных минут. Какая славная, умная, глубокая и сердечная душа и как я рад был, что, может быть, ее полюблю очень, как друга», — писал Достоевский Анне Корвин-Круковской; в марте 1866-го, приехав в Москву для переговоров с Катковым, Ф. М. несколько дней гостил у сестры и был очарован царящей в доме стихией молодости. Гости видели «пожилого господина, чуть выше среднего роста, с белокурыми прямыми волосами и бородой, с весьма выразительным и бледно-матовым, почти болезненным лицом»[72], однако замечали, как прекрасно он уживается с молодежью, как легко увлекается людьми. «Ему, — вспоминала младшая Сонина сестра Маша, в те поры восемнадцатилетняя музыкантша, — нравилась подруга Софьи Александровны Ивановой, Мария Сергеевна Иванчина-Писарева, живая, бойкая девушка. Однажды, будучи в Москве у Ивановых под Пасху, Достоевский не пошел со всеми к заутрене, а остался дома. Дома же у Ивановых оставалась Мария Сергеевна. Когда Софья Александровна вернулась из церкви, подруга ей, смеясь, рассказала, что Достоевский ей сделал предложение. Ей, двадцатилетней девушке, было смешно слышать его от такого пожилого человека, каким был в ее глазах Достоевский. Она отказала ему и ответила шутливо стихами Пушкина: “Окаменелое годами, / Пылает сердце старика”»[73].

Бойкая смешливая девушка, воспринявшая сватовство Ф. М. как шутку, угадала главное: сердце дядюшки ее подруги жаждало любви и привязанности. «Дни и вечера Достоевский проводил с молодежью. Хотя ему было сорок пять лет, он чрезвычайно просто держался с молодой компанией, был первым затейником всяких развлечений и проказ. И по внешности он выглядел моложе своих лет. Всегда изящно одетый, в крахмальной сорочке, в серых брюках и синем свободном пиджаке, Достоевский следил за своей наружностью и очень огорчался, например, тем, что его бородка была очень жидка. Этой слабостью пользовались его молоденькие племянницы и часто поддразнивали дядюшку его “бороденкой”. Несмотря на большую близость с детьми Ивановых, Достоевский все же всех их звал на “вы” и никакие выпитые “брудершафты” не помогали ему отказаться от этой привычки»[74].

Лето Ивановы проводили на просторной даче, которую нанимали у московских купцов, владевших подмосковным се-

лом Люблино. Дома были окружены старым парком, примыкавшим с северной стороны к большому проточному озеру, а с южной стороны парк переходил в большой смешанный лес. На берегу озера действовали купальни, стояли лодки, процветала рыбалка. Достоевский нанял поблизости от сестриной дачи пустовавший двухэтажный каменный дом «за половинную цену» в «одном из прелестнейших местоположений в мире и в приятнейшей компании». В большой комнате верхнего этажа, которая служила спальней и рабочим кабинетом, он наслаждался тишиной: здесь был составлен план «Игрока», здесь писались главы «Преступления и наказания».

«Обыкновенно, — вспоминал один из гостей, — Ф. М. Достоевский вставал около девяти часов утра и, напившись чая и кофе, тотчас же садился за работу, которой не прерывал до самого обеда, то есть до трех часов пополудни. Обедал он у Ивановых, где уже и оставался до самого вечера. Таким образом, Ф. М. писал по вечерам крайне редко, хотя говорил, что лучшие и наиболее выразительные места его произведений всегда выходили у него, когда он писал поздно вечером. Однако вечерние занятия ему были воспрещены, как слишком возбуждавшие и без того расстроенную его нервную систему»[75].

Обитатели дачи могли видеть, как весело общается с молодой компанией пожилой дядюшка, первый затейник развлечений и проказ, шутник и балагур, неистощимый сочинитель стихотворных экспромтов и пародий, постановщик шуточных спектаклей. Верочка смотрела на вдового брата как на жениха и надеялась устроить его счастье с 43-летней Еленой Павловной Ивановой, женой больного брата Александра Павловича. Считалось, что Ф. М. косвенно сделал ей предложение, спросив однажды, пошла ли бы она за него, если бы была свободна. Елена Павловна ответила неопределенно — так что хотя Ф. М. и был ею слегка увлечен, хотя и склонялся на уговоры сестры, хотя потом и тяготился мыслью, что, может быть, «внушил ей надежды», связанным себя не считал. (Накануне своей свадьбы он напишет невесте: «Елена Павловна... всё время была очень несчастна. Ее муж ужасен; ему лучше. Он не отпускает ее ни на шаг от себя. Сердится и мучает ее день и ночь, ревнует. Из всех рассказов я вывел заключение: что ей некогда было думать о любви... Я ужасно рад, и это дело можно считать поконченным». Известие о свадьбе Достоевского Иванова примет «сносно», лишь скажет: «Я очень рада, что летом не поддалась и не сказала Вам ничего решительного, иначе я бы погибла».)

Счастью Достоевского суждено было устроиться иначе.

...Когда директор первых русских курсов стенографии профессор П. М. Ольхин, изучавший быстрое письмо за грани-

цей, предложил своей ученице поработать у писателя Достоевского, который занят новым романом, за 50 рублей (ожидалось семь печатных листов в два столбца большого формата или десять обычных листов), девушка поспешила согласиться. «Имя Достоевского было знакомо мне с детства: он был любимым писателем моего отца. Я сама восхищалась его произведениями и плакала над "Записками из Мертвого дома". Мысль не только познакомиться с талантливым писателем, но и помогать ему в его труде чрезвычайно меня взволновала и обрадовала. Ольхин передал мне небольшую, вчетверо сложенную бумажку, на которой было написано: "Столярный переулок, угол М. Мещанской, дом Алонкина, кв. № 13, спросить Достоевского"...».

Анне только что исполнилось 20 лет; еще свежи были впечатления детства и отрочества, о которых она всегда будет вспоминать с отрадным чувством: ей посчастливилось расти в дружной семье, близ любящих родителей, «без ссор, драм и катастроф». Отец, Григорий Иванович Сниткин (его предок с малороссийской фамилией *Снитко,* владевший имением в Полтавской губернии, переселился в Петербург и обрусел), получил образование в столичной школе иезуитов, но, как писала позднее его дочь, иезуитом не сделался, а всю жизнь прослужил чиновником «одного из департаментов», весело и приятно провел молодые годы, женился, когда ему было уже за сорок, и всегда оставался добродушным, жизнерадостным человеком. «Он был настоящим славянином: слабым, робким, добропорядочным, сентиментальным и романтичным. В молодости он пережил большую страстную любовь к знаменитой Асенковой — единственной исполнительнице ролей в классических трагедиях в России... проводил все вечера в театре и знал наизусть ее монологи... Юношеская робкая и почтительная влюбленность моего деда, — писала Л. Ф. Достоевская, — очень нравилась Асенковой и она выказывала ему свое благоволение... Он никогда не забывал великую актрису и часто молился на ее могиле»*.

---

* Речь идет об актрисе В. Н. Асенковой, умершей от чахотки весной 1841 года, а не о ее матери, актрисе на амплуа субреток А. Е. Асенковой, оставившей сцену в 1834 году и на 17 лет пережившей свою дочь. Дебют восемнадцатилетней Варвары Асенковой на сцене Александринского театра состоялся в 1835 году, когда Г. И. Сниткину было уже 36 лет, так что сведения Л. Ф. Достоевской о «юношеской влюбленности» деда в талантливую актрису, которой он будто бы посвятил молодость, крайне неточны: он мог стать поклонником Асенковой-младшей, прослужившей на сцене Александринки всего шесть лет, уже будучи зрелым человеком, и мог молиться на ее могиле начиная с 1841 года, то есть уже после женитьбы на Марии Анне Мильтопеус и рождения их старшей дочери Марии.

Супругой Григория Ивановича стала Мария Анна Мильтопеус, девица из финлядского шведского лютеранского рода, давшего епископов, врачей и ученых. Мария Анна обладала замечательной, истинно норманнской красотой (высокая, тонкая, стройная, с большими голубыми глазами, пышными золотистыми волосами, классически правильными чертами лица), властным характером и настолько красивым оперным сопрано, что одно время, к вящему ужасу семейства, подумывала об артистической карьере — при этом рано осталась без родителей, воспитывалась у теток, «не сделавших ее молодость счастливой».

За «старого, доброго, симпатичного» Григория Ивановича распевавшая оперные партии красавица-шведка, которой было уже 27 лет, пошла с разбитым сердцем, потеряв в юные годы горячо любимого жениха, молодого шведского офицера, товарища братьев, убитого на войне. Накануне венчания, по желанию будущего мужа, выраженному, впрочем, весьма деликатно, лютеранка Мария Анна, плохо говорившая по-русски, перешла в православие и стала Анной Николаевной; впоследствии она не только ревностно исполняла обряды православной церкви, но и разумно, аккуратно, твердою рукой управляла хозяйством (достаток приносили два небольших деревянных доходных дома, построенных на окраине Петербурга), чему муж ее подчинился добровольно и даже с охотой. «Брак этих двух мечтателей оказался довольно удачным. Дед мой никогда не забывал знаменитую Асенкову, бабушка постоянно думала о любимом женихе, бедном офицере-блондине, павшем на поле битвы», — писала внучка. Чопорный и церемонный шведско-финский дух, который насаждала в своем доме хозяйка, урожденная Мильтопеус, ее дочь Анна (в отличие от старшей сестры Марии, унаследовавшей красоту и нрав матери) недолюбливала, предпочитая «малой Финляндии» сердечное общение с сентиментальным, восторженным папенькой — тот водил свою любимицу по монастырям и храмам, брал в паломничество на Валаам. Трогательную память об отце Анна Сниткина сохранит на всю жизнь.

К моменту знакомства с Достоевским Неточка, как порой звали ее дома в рифму с Неточкой Незвановой, успела закончить немецкое училище Святой Анны для девочек и первую в России женскую Мариинскую гимназию, получив при выпуске большую серебряную медаль. «Настойчивая, живая, пылкого темперамента, отличалась большой начитанностью, училась охотно, имела дар красивого слога, привлекала сердца правдивостью»[76] — такой запомнила Анну ее гимназическая подруга М. Н. Стоюнина. Около года девушка проучилась на

Педагогических курсах Н. А. Вышнеградского с уклоном в естественные науки, но со своими однокурсницами, очкастыми стрижеными нигилистками, не сошлась. Оставив курсы, чтобы ухаживать за больным отцом, начала, по его настоянию, осваивать стенографию.

«Мой добрый отец точно провидел, что благодаря стенографии я найду свое счастье», — вспоминала Анна Григорьевна. Когда в конце апреля 1866 года отца не стало, стенография стала для дочери спасительным отвлечением: она усиленно тренировалась, оттачивая правильность и скорость стенографического письма. Анна оказалась единственной ученицей, которой профессор Ольхин смог доверить ответственный литературный заказ: отсев на курсах был огромный. А она, вычитав в газете объявление о вечерних курсах стенографии, обещавшее успешным учащимся работу в судах и на заседаниях научных обществ, радостно чувствовала, что выходит на новую дорогу и сможет содержать себя своим трудом. «Идея независимости для меня, девушки шестидесятых годов, была самой дорогой идеей».

До сих пор тренировки проходили домашним образом. Ольхин, сочувствуя осиротевшей ученице, советовал стенографировать страницы книг и сам исправлял ошибки; Ваня, студент Петровской сельскохозяйственной академии в Москве, приезжая на каникулы, диктовал сестре по часу в день. Ныне же дело приняло серьезный оборот. Нужно было приспособиться к характеру незнакомого человека, подчиниться его расписанию, требованиям, привычкам.

Анна считала Достоевского едва ли не сверстником своего 67-летнего отца. Писатель рисовался ей то толстым и лысым, то высоким и худым, но непременно старым, суровым и хмурым. «Всего более волновалась я о том, как буду с ним говорить. Достоевский казался мне таким ученым, таким умным, что я заранее трепетала за каждое сказанное слово. Смущала также мысль, что я не твердо помню имена и отчества героев его романов, а я была уверена, что он непременно будет о них говорить. Никогда не встречаясь в своем кругу с выдающимися литераторами, я представляла их какими-то особенными существами...»

Настораживало строгое «*не раньше, не позже* половины двенадцатого» — именно в такой форме передал Ольхин приглашение Достоевского. 4 октября Анна загодя вышла из дому, прогулялась по Гостиному Двору, приобрела набор карандашей и маленький портфель, медленно двинулась в сторону Большой Мещанской и вскоре была у дома Алонкина; дворник указал, как найти нужную квартиру. Когда она очутилась в

скромной столовой, куда ее проводила пожилая служанка в накинутом на плечи зеленом клетчатом платке («тот самый, драдедамовый платок Мармеладовых?» — подумала девушка, прочитавшая первую часть «Преступления и наказания»), стенные часы, висевшие над диваном, показали ровно половину двенадцатого.

Через пару минут появился хозяин и пригласил гостью в кабинет. В тот день большая комната в два окна была залита солнцем и казалось очень светлой, но обстановка выглядела вполне заурядно: диван, круглый стол с лампой, стулья и кресла, над диваном портрет очень худой дамы в черном платье и темном чепце, поперек комнаты письменный стол — за ним Анне придется сидеть все то время, что Ф. М. будет ей диктовать «Игрока».

Она хорошо запомнила первое впечатление — и в целом оно не было обманчивым. «Достоевский показался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более тридцати пяти — семи лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза; они были разные: один — карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужины незаметно (позже она узнает, что, поранив глаз во время приступа эпилепсии, Ф. М. лечил его каплями атропина. — *Л. С.*). Двойственность глаз придавала взгляду какое-то загадочное выражение. Лицо, бледное и болезненное, показалось чрезвычайно знакомым, вероятно потому, что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье (воротничке и манжетах)».

Спустя десятилетия Анна Григорьевна подробно опишет их первые встречи и отрывочные разговоры, его расспросы и свои ответы — серьезные, без тени улыбки, без малейшей фамильярности; вспомнит, как Ф. М., то закуривая, то гася папиросу, предлагал курить и ей, а она отказывалась, объясняя, что не любит, когда дамы курят. Она замечала, что писатель полон сомнений насчет диктовок, ведет себя неопределенно, поминутно раздражается, быстро переходя от рассеянности к резкости, которую смягчает добродушным юмором («Я был рад, когда Ольхин предложил мне девицу-стенографа, а не мужчину, и знаете почему?.. Да потому, что мужчина, уж наверно бы, запил, а вы, я надеюсь, не запьете?»). Чуть ли не с первой фразы он сообщил о своей эпилепсии и о пережитой смертной казни. То и дело переспрашивал имя собеседницы и тут же его забывал. Так и не начав работу днем, просил снова прийти вечером.

«Рассказ Федора Михайловича произвел на меня жуткое впечатление: у меня прошел мороз по коже. Но меня чрезвычайно поразило и то, что он так откровенен со мной, почти девочкой, которую он увидел сегодня в первый раз в жизни. Этот по виду скрытный и суровый человек рассказывал мне прошлую жизнь свою с такими подробностями, так искренно и задушевно, что я невольно удивилась. Только впоследствии, познакомившись с его семейною обстановкою, я поняла причину этой доверчивости и откровенности: в то время Федор Михайлович был совершенно одинок и окружен враждебно настроенными против него лицами. Он слишком чувствовал потребность поделиться своими мыслями с людьми, в которых ему чудилось доброе и внимательное отношение. Откровенность эта в тот первый день моего с ним знакомства чрезвычайно мне понравилась и оставила чудесное впечатление».

Вернувшись домой около полуночи, Анна даже от матери скрыла свой испуг. Но пугала не угрюмость и не мрачность Достоевского. «В первый раз в жизни я видела человека умного, доброго, но несчастного, как бы всеми заброшенного, и чувство глубокого сострадания и жалости зародилось в моем сердце...»

На следующий день она уже знала подробности кабального договора со Стелловским — Ф. М. рассказал ей о хитрости издателя-хищника, который умел подстерегать людей в тяжелые минуты их жизни: в его капкан угодили и А. Ф. Писемский, и В. В. Крестовский, и М. И. Глинка («денег у него столько, что он купит всю русскую литературу, если захочет. У того ли человека не быть денег, который всего Глинку купил за 25 целковых», — скажет Достоевский о Стелловском спустя пять лет). Именно он скупил за бесценок векселя Ф. М., натравил на него подставных лиц, чтобы те душили должника, и принудил писателя к сделке.

Он открыл стенографке и предысторию западни. Получив весной 1866-го разрешение на поездку за границу «для пользования от падучей болезни» (на самом деле ему хотелось отправиться в Дрезден, «засесть там на 3 месяца и кончить роман, *чтоб никто не мешал*»), Достоевский, по причине острого безденежья, вынужден был остаться в Петербурге. «Грустный, гадкий и зловонный Петербург, летом, идет к моему настроению и мог бы даже мне дать несколько ложного вдохновения для романа», — сообщал он Корвин-Круковской, отвечая на приглашение погостить в Палибине. Чуткой Анне Васильевне Ф. М. подробно описал, в какие силки угодил, заключив злополучный договор.

«Статья контракта совершенно походила на те статьи петербургских контрактов при найме квартир, где хозяин дома всегда требует, что если у жильца в его доме произойдет пожар, то должен этот жилец вознаградить все пожарные убытки и, если надо, выстроить дом заново. Все такие контракты подписывают, хоть и смеются, так и я подписал. 1-е ноября через 4 месяца; я думал откупиться от Стелловского деньгами, заплатив неустойку, но он не хочет. Прошу у него на три месяца отсрочки — не хочет и *прямо* говорит мне: что так как он убежден, что уже теперь мне *некогда* написать роман в 12 листов, тем более что я еще в "Русский вестник" написал только что разве половину, то ему выгоднее не соглашаться на отсрочку и неустойку, потому что тогда всё, что я ни напишу впоследствии, будет его».

Теперь, когда он был загнан в угол крайним сроком, и наступило время «Игрока»: «Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь: написать в 4 месяца 30 печатных листов, в двух разных романах, из которых один буду писать утром, а другой вечером и кончить к сроку».

В июле, за *три месяца* до срока, Достоевский озаботился планом. («Составил план — весьма удовлетворительного романчика, так что будут даже признаки характеров. Стелловский беспокоит меня до мучения, даже вижу во сне».) *За месяц*, по совету Милюкова (предлагавшего писать роман при участии нескольких авторов*), согласился прибегнуть к помощи стенографа. За *28 дней* в квартире Достоевского появилась стенографка-дебютантка Анна Сниткина.

Итогом четырехнедельной срочной работы и стала та *эксцентрическая вещь*, которую задумал Ф. М., ища выход из западни. «Знаете ли, добрая моя Анна Васильевна, — писал он в июне 1866-го Корвин-Круковской, — что до сих пор мне вот этакие эксцентрические и чрезвычайные вещи даже нравятся. Не гожусь я в разряд солидно живущих людей. Простите, похвастался! Но что ж мне и осталось более, как не похвастаться; остальное-то ведь уж очень не завлекательно. Но какова же литература-то? Я убежден, что ни единый из литераторов наших,

---

* «Друзья Федора Михайловича — А. Н. Майков, А. П. Милюков, И. Г. Долгомостьев и другие, желая выручить его из беды, предлагали ему составить план романа. Каждый из них взял бы на себя часть романа, и втроем-вчетвером они успели бы кончить работу к сроку; Федору же Михайловичу оставалось бы только проредактировать роман и сгладить неизбежные при такой работе шероховатости. Федор Михайлович отказался от этого предложения: он решил лучше уплатить неустойку или потерять литературные права, чем поставить свое имя под чужим произведением» (А. Г. Достоевская).

бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу, Тургенев умер бы от одной мысли».

Диктовки начались. В почти безнадежной ситуации писатель внезапно обретает верного и добросовестного сотрудника. Качество и эффективность необычной профессиональной помощи заставляют его быстро втянуться в дело. Вскоре он уже не сочиняет «изустно», а работает ночью; утром диктует по рукописи. Помощница проникается сочувствием и готовностью к солидарным действиям, ибо она — соучастник творческого процесса. Чувство взаимной симпатии возникает в ходе совместного труда. Писатель (тем летом он был как-то особенно влюбчив) смог завоевать сердце юной помощницы, показав, на какие блестящие импровизации способно его воображение. Вдохновенные фантазии сочинителя о страстной любви к одной женщине разворачиваются перед глазами другой, которая обязана превращать диктовки в текст; и вот уже среди персонажей романа у нее появляются любимцы и недруги. «Мои симпатии заслужила бабушка, проигравшая состояние, и мистер Астлей, а презрение — Полина и сам герой романа, которому я не могла простить его малодушия и страсти к игре. Федор Михайлович был вполне на стороне “игрока” и говорил, что многое из его чувств и впечатлений испытал сам на себе. Уверял, что можно обладать сильным характером, доказать это своею жизнью и тем не менее не иметь сил побороть в себе страсть к игре на рулетке».

Анна приходила ежедневно около полудня, и они работали два-три часа: сначала Ф. М. прочитывал то, что надиктовал накануне, а она переписала набело, потом диктовал дальше. С каждым днем стопка листков росла, и с каждым днем писатель относился к своей помощнице сердечнее и добрее: запомнил, наконец, и уже не переспрашивал ее имя, называл «голубчиком» и «милочкой». Освоилась и помощница: перестала бояться «знаменитости», общалась с ним непринужденно, а он охотно посвящал ее в подробности своего прошлого и мечтал вслух о счастливой жизни — с доброй женой, которая будет его жалеть и любить.

Заканчивая работу, оба — и писатель, и стенографистка — чувствовали, что привязались друг к другу. За недели совместной работы прежние интересы Анны отошли на второй план. Она сравнивала Ф. М. со знакомыми молодыми людьми — их разговоры и они сами казались ей теперь ничтожными. «С грустью видела я, что работа близится к концу и наше знакомство должно прекратиться. Как же я была удивлена и обрадована, когда Федор Михайлович высказал ту же беспокоившую меня мысль. “Знаете, Анна Григорьевна, о чем я думаю? Вот мы с ва-

ми так сошлись, так дружелюбно каждый день встречаемся, так привыкли оживленно разговаривать; неужели же теперь с написанием романа все это кончится? Право, это жаль! Мне вас очень будет недоставать. Где же я вас увижу?"».

Инициатива была за ним — и теперь календарь их встреч был заполнен до отказа. 29 октября состоялась последняя диктовка, 30-го Анна принесла ему переписанный текст; к радости обоих, листков оказалось больше, чем они ожидали. В тот день Достоевскому исполнилось 45 — она это знала и принарядилась, сменив всегдашнее черное суконное платье на шелковое лиловое; именинник был польщен ее вниманием, похвалил наряд, вручил заработок, пожал руку и поблагодарил за сотрудничество. 31-го внес в роман последнюю правку и 1 ноября, согласно контракту, смог отвезти «Игрока» Стелловскому (пришлось, за отсутствием издателя, сдать рукопись под расписку приставу той части, где проживал хитрец). 3 ноября, фактически напросившись, Ф. М. впервые был в гостях у Анны и ее матери, в их доме на Песках, и предложил продолжить совместную работу — теперь уже над последней частью «Преступления и наказания». 6 ноября внезапно приехал снова, без приглашения, без видимой для воскресного визита причины, имел вид робкий и сконфуженный: дескать, скучал, раздумывал, ехать ли, решил ни за что не ехать и все же приехал. Просил Анну непременно быть во вторник.

Скорее всего в тот момент Ф. М. все уже решил. «Стенографка моя, Анна Григорьевна Сниткина, — напишет он спустя полгода «Полине», — была молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрезвычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно... При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она всё больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я и предложил ей за меня выйти... Сердце у ней есть, и любить она умеет».

8 ноября, в знаменательный для обоих день, Анна пришла к нему стенографкой, а ушла — невестой. Признание в любви, предложение руки и сердца взволнованный Достоевский, с восторженно-радостным выражением лица, сделал все же обиняками, рассказав вещий сон о найденном среди бумаг крошечном, но ярком и сверкающем бриллиантике, и на ходу сочинив роман о немолодом художнике и юной девушке. Это была, как вспоминала позже Анна Григорьевна, блестящая импровизация. «Никогда, ни прежде, ни после, не слыхала я от Федора Михайловича такого вдохновенного рассказа, как в

этот раз. Чем дальше он шел, тем яснее казалось мне, что Федор Михайлович рассказывает свою собственную жизнь, лишь изменяя лица и обстоятельства. Тут было все то, что он передавал мне раньше, мельком, отрывками. Теперь подробный последовательный рассказ многое мне объяснил в его отношениях к покойной жене и к родным. В новом романе было тоже суровое детство, ранняя потеря любимого отца, какие-то роковые обстоятельства (тяжкая болезнь), которые оторвали художника на десяток лет от жизни и любимого искусства. Тут было и возвращение к жизни (выздоровление художника), встреча с женщиною, которую он полюбил: муки, доставленные ему этою любовью, смерть жены и близких людей (любимой сестры), бедность, долги...»

Героя романа мучила мысль — имеет ли право пожилой, больной, обремененный долгами человек мечтать о молодой жизнерадостной девушке? Что он может ей дать? Не будет ли любовь к художнику страшной жертвой со стороны юной особы и не раскается ли она, связав с ним свою судьбу? Кульминация объяснения оставляла возможность отступления: разговор в любой момент можно было свести к обсуждению некоего сюжета и не перейти на личности — так пожилому мужчине легче было бы перенести отказ.

Но они оба давно уже вышли за рамки литературы.

«Поставьте себя на минуту на ее место, — сказал он дрожащим голосом. — Представьте, что этот художник — я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?

Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала: “Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь!”».

Это и был сверхвыигрыш, грандиозная писательская и мужская победа. Если правда (как об этом писала позже Анна Григорьевна), что у него был выбор из трех путей — ехать паломником на Восток, в Константинополь и Иерусалим, ехать за границу, чтобы погрузиться всей душой в рулетку, или жениться второй раз и искать счастья в семье, — успех совместной работы определил выбор. Выполнив контракт к сроку, он не должен был платить неустойку, сохранил за собой авторские права на все свои сочинения и одержал победу над акулой-издателем. «Стенография чуть ли не вдвое сокращает работу. Единственно только этим способом мог я кончить, в один ме-

сяц, 10 печатных листов Стелловскому; иначе не написал бы и пяти», — сообщал Достоевский в «Русский вестник», едва рассчитался со Стелловским.

Это была и победа стенографки — она «была поражена, почти подавлена громадностью своего счастья и долго не могла в него поверить». «Припоминаю, что, когда почти час спустя Федор Михайлович стал сообщать планы нашего будущего и просил моего мнения, я ему ответила: “Да разве я могу теперь что-либо обсуждать! Ведь я так ужасно счастлива!..” Неужели это правда? Разве это не сон? Неужели он будет моим мужем?!»

Как скоро подтвердились слова чуткого Г. И. Сниткина о стенографии, которая приведет к счастью! Любящий отец знал, что, кроме стенографии, его дочь умеет сострадать и жалеть, способна на жертвенную, то есть действенную любовь, и готова служить любимому человеку и в горе, и в радости. Она сумела внушить загнанному в угол писателю надежду — Ф. М. хорошо разглядел ее сияющее лицо, когда они вместе пересчитывали исписанные листочки, и думал про себя: «Какое доброе сердечко у этой девушки! Ведь она не на словах только, а и на самом деле жалеет меня и хочет вывести из беды».

С этого и началась его признательная любовь, и теперь ему умиленно хотелось любить и ее лицо, и красивые серые глаза, и добрую, ясную улыбку. «Теперь же для меня лучше твоего лица на свете нет! Ты для меня красавица!» — твердил невесте Достоевский, припоминая историю своей влюбленности — как приятно был удивлен тактом, с которым она себя держала, как радовался, что в русском обществе появился привлекательный тип серьезной и деловитой девушки, как увлекся искренней сердечностью, с которой она вошла в его интересы, как эта незнакомка (на первых порах, едва за ней закрывалась дверь, он уже не мог вспомнить, как она выглядит) разом вошла в его положение и без лишних слов стала помогать делом. Успех письма и самоотверженность помощницы вдохновили его; он увидел, что работа идет в два раза быстрее, так что за четыре недели декабря 1866 года они, уже жених и невеста, сделали вместе семь листов последней части «Преступления и наказания». Этим успехом был закреплен кредит у Каткова, необходимый для свадьбы. «Наша судьба решилась», — писал невесте Достоевский, имея в виду, что свадьба будет сыграна на аванс от Каткова в счет будущих сочинений.

Достоевский ничуть не стеснялся того, что «Игрок» получился опасным романом-авантюрой. Писатель-игрок не только сочувствует герою-игроку, но и играет вместе с ним. Оба одержимы пагубной страстью, оба познали коварный соблазн игры. Автор-игрок дает игроку-герою дурманящий опыт

сверхудачи, когда можно, наконец, безраздельно властвовать над чертовым колесом рулетки. Волшебный миг выигрыша видится как воскресение из мертвых. «Игрок» получился сочинением, в котором солидарность автора и падшего героя достигает запредельной степени. Это было творчество на краю бездны, когда рушатся барьеры между вымыслом и действительностью, когда тайные силы хаоса получают свободу и магическим образом претворяют фантазии в реальность. Рассказ «от Я» игрока, когда оно, это «Я», выступает настолько слитно с «Я» авторским, что кажется, будто автор дерзко потакает герою; атмосфера маниакальности и фаталистический финал, где игорный омут побеждает игрока, создавали прецедент феноменально рискованного писательского опыта. Будто волшебным фонарем Достоевский осветил свой воображаемый, но как будто отмененный второй путь — ехать за границу и погрузиться всей душой в игру.

Отношения Анны Григорьевны с ее будущим мужем начинались по красивому литературному сценарию, которому благодаря его счастливому продолжению суждено будет стать классическим и даже легендарным. Переплетение вымысла и яви подразумевало продолжение сюжета; сочинение с инфернальными героями имело реальную подоплеку и подразумевало наличие опасного и поэтому заранее презираемого прототипа. Роман, который Анна Сниткина прослушала малыми порциями в устном исполнении автора, записала значками, аккуратно переписала от руки, перечитала и принесла обратно (наборный экземпляр для Стелловского был выполнен ее четким почерком), открывал девушке, незнакомой с темными страстями и любовным мучительством, сложные, бурные чувства, за которыми стояли оскорбленное самолюбие и любовь-ненависть, — о существовании чего целомудренная, воспитанная в строгих правилах Анна даже и не подозревала. Она напишет впоследствии, как ласково Достоевский отнял у нее, своей невесты, некий фривольный французский роман, как не пускал на спектакли оперетты-буфф, оберегая чистую девушку от впечатлений, грязнящих воображение. Он видел в жене «цельного, ясного, тихого, кроткого, прекрасного, невинного и в него верующего ангела» и боялся, что не сто́ит ее.

«Мне Бог тебя вручил, — признается Ф. М. жене спустя три месяца после свадьбы, — чтоб ничего из зачатков и богатств твоей души и твоего сердца не пропало, а напротив, чтоб богато и роскошно взросло и расцвело; дал мне тебя, чтоб я свои грехи огромные тобою искупил, представив тебя Богу развитой, направленной, сохраненной, спасенной от всего, что низко и дух мертвит».

Впрочем, это письмо он напишет из адского Гомбурга, вспоминая, как заплакала жена, провожая его в рулеточное пекло. За собой, человеком закаленным, он оставлял право знать все и многое испытать самому.

Слишком велики оказались ставки в приключении, именуемом роман «Игрок». Очень скоро станет очевидно, что абсолютного выигрыша не бывает, и наступит жестокая расплата за баснословную удачу. Пугающе скоро, фактически немедленно, сработает эффект «наведения на себя»: автор не только не освободится от порочных страстей героя, использовав свой прежний личный опыт, но выпустит на волю гибельную стихию, готовую поглотить его самого.

Очевидным станет и другое: Анна не забудет, как безумно и самозабвенно любил инфернальницу Полину Алексей Иванович — игрок, чьи чувства и впечатления Достоевский «испытал сам на себе». Очень скоро его жене придется окунуться в бездну доселе неведомых переживаний. Роман «Игрок» (вещь «небывалая, эксцентрическая») и его внелитературные последствия надолго станут злым мороком супругов Достоевских.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
СОЗВЕЗДИЕ ЕВРОПЫ

Глава первая

СТРУНА, ЗВЕНЯЩАЯ В ТУМАНЕ

Факты и пророчества. — Женитьба романиста. — Успех сочинения. — Оттенки критики. — Вопрос о раскаянии. — «Теория» и молитва. — Власть над муравейником. — Парадоксы логики. — Пожизненное клеймо. — Настоящие подпольные. — Чтó спасает?

Декабрьской книжкой 1866 года «Русский вестник» закончил печатание «Преступления и наказания». У издателей уже не было сомнений, что роман поднял репутацию Достоевского как писателя — число подписчиков журнала увеличилось на 500 единиц. Общее впечатление, как позднее вспоминал Страхов, «было необычайное»: «Только об нем и говорили охотники до чтения, говорили, обыкновенно жалуясь на подавляющую силу романа, на тяжелое впечатление, от которого люди с здоровыми нервами почти заболевали, а люди с слабыми нервами принуждены были оставлять чтение»[1].

Но читателей поразил не только бесподобный текст — изумляло невероятное совпадение романного вымысла с реальностью. Через месяц после того, как Достоевский отослал в Москву первую часть романа с описанием преступления Раскольникова (середина декабря 1865-го), и за две недели до того, как журнал ее напечатал (январский номер «Русского вестника» вышел 30 января 1866-го), а именно 12 января 1866 года в Москве произошло убийство, о котором через девять дней написали «Московские полицейские ведомости» и через несколько дней другие центральные газеты. Романное и реальное злодейства никак не могли влиять друг на друга и тем не менее казались событиями-близнецами. Студент Московского университета А. М. Данилов, который никак не мог знать о

литературном сюжете с убийством ростовщицы и ее сестры (текст романа еще только печатался в журнале), в самом центре Москвы убил ростовщика-закладчика К. Ф. Попова и его служанку М. Нордман.

«Странное дело, — писал рецензент «Русского инвалида» в начале 1867 года, — незадолго до появления "Преступления и наказания" в Москве совершено убийство почти такое же, какое описывает г-н Достоевский, и также молодым образованным человеком... Раскольников убивает старуху, потом Лизавету, которая нечаянно входит в незапертую дверь. Данилов убил Попова, потом Нордман, которая вернулась из аптеки, войдя тоже в незапертую дверь. Если вы сравните роман с этим действительным происшествием, болезненность Раскольникова бросится в глаза еще ярче. Убийца Попова и Нордман вел себя не так, как вел себя Раскольников, и тотчас после преступления, и во время следствия. Честная, добрая природа Раскольникова постоянно проявлялась сквозь болезненную рефлексию и давила ее почти против воли, внутренний голос заставил Раскольникова принести повинную, хотя он всячески старался уверить себя, что он совершил вовсе не преступление, а чуть ли не доброе дело; убийца Попова и Нордман сплетает невероятные происшествия, отличается хладнокровием и лжет в самые торжественные минуты. Тут не было никакой давящей рефлексии, никакой idée fixe, а просто такое же черное дело, как и все дела подобного рода»[2].

Газеты настойчиво подчеркивали отличия Данилова от Раскольникова: между двумя молодыми людьми действительно пролегала пропасть. Первый, всамделишный убийца, красивый, салонный франт, не имел ничего общего со своими университетскими товарищами, вращался среди доступных женщин, модных ювелиров и богатых ростовщиков, действовал весьма основательно, как человек практический, созревший до «дела». А вымышленный убийца опустил топор на голову старухи-ростовщицы, поскольку дворника не было дома, а топор лежал под лавкой; распорядиться захваченными вещами не сумел, действуя самым глупым образом, будто в бреду. Данилов, полагали газеты, столько же похож на Раскольникова, сколько живая действительность может походить на произведение болезненно расстроенного воображения.

Страхов утверждал, что Ф. М. «очень заметил» необычайное совпадение событий, «часто говорил об этом и гордился таким подвигом художественной проницательности»[3]. Способность предвосхищать реальные явления, понимать суть будущих итогов настоящих событий и тем самым предвидеть события станет главным качеством писательского почерка

Достоевского, «реализмом в высшем смысле». Спустя два года после выхода в свет «Преступления и наказания» он напишет А. Н. Майкову: «Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм — реальнее ихнего. Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, — да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает... Ихним реализмом — сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось».

Но «случившимися фактами» история о совпадениях не ограничилась. Декабрьский (№ 12) номер «Русского вестника» с окончанием третьей части романа и эпилогом появился 14 февраля 1867 года — журнал, по обыкновению, выходил с запозданием на месяц-другой — и ровно в тот же день состоялось заседание Московского окружного суда, который вынес окончательное решение по делу Данилова: убийца ростовщика и служанки был приговорен к девяти годам каторжных работ с последующим поселением в Сибири навсегда. Читатели опять могли сравнивать: восемь лет Раскольникову при явке с повинной и девять — Данилову, который «лжет в самые торжественные минуты».

И только на следующий день, 15 февраля 1867 года, будто писатель хотел окончательно развязаться с обоими убийцами, состоялась, наконец, его свадьба, позже описанная А. Г. Достоевской с волнующими подробностями: о том, как легко сумел очаровать Ф. М. в период жениховства мать и сестру невесты, Марию Григорьевну Сватковскую (обе сочли, что он «удивительно милый и задушевный человек»); и о том, что подвенечное платье из белого муара с длинным шлейфом и высокая прическа были ей, невесте, весьма к лицу; и о том, какие сердечные проводы устроили ей домочадцы и соседи; и, конечно, о том, как в Измайловском соборе нетерпеливый жених быстро подошел к невесте, крепко схватил ее за руку и сказал: «Наконец-то я тебя дождался! Теперь уж ты от меня не уйдешь!» «Все, присутствовавшие на венчании и меня не знавшие, — вспоминала Анна Григорьевна, — очень удивились, когда вместо бледной и серьезной девушки, которую только что видели в церкви, пред ними явилась румяная, жизнерадостная и сияющая счастьем "молодая". Федор Михайлович тоже весь сиял. Он подводил ко мне своих друзей, знакомил и говорил: "Посмотрите, какая она у меня прелестная! Она у меня — чудесный человек! У нее золотое сердечко!" — и прочие похвалы,

которые меня страшно конфузили. Затем представил меня дамам и очень был доволен, что я каждой сумела сказать что-нибудь любезное и им, видимо, понравилась».

Через две недели после свадьбы анонимный петербургский фельетонист тиснул в «Сыне отечества» (1867, № 34) статейку под названием «Женитьба романиста», где история знакомства автора «Игрока» и его молодой жены была изложена слегка карикатурно. По версии фельетона, немолодой романист, «немного рассеянный и не отличающийся большой аккуратностью в исполнении обязательств», вспомнил, за неделю до срока, что должен написать роман в двести страниц, иначе заплатит неустойку. Пришлось пригласить стенографа — и это оказалась девица, пропитанная современными идеями, но не нигилистка. Первые дни работа шла как нельзя лучше, но по мере приближения к развязке стали возникать затруднения. У романиста никак не ладился финал сочинения — он не знал, как поступить с героем, немолодым вдовцом, влюбленным в молоденькую и хорошенькую женщину, чтобы обошлось «без самоубийства и пошлых сцен». И тогда стенографша (так писал фельетонист) посоветовала романисту «довести свою героиню до сознания, что она разделяет внушенную ею любовь». Предложенная развязка была принята, роман кончен к сроку, но любовная интрига, придуманная для героев, неожиданно сработала и в судьбе автора.

«Мы с мужем очень посмеялись над этой статейкой...»

Вскоре, однако, они увидят, как интриги, придуманные для героев, вторгаются в их теперь уже общую судьбу.

...В суете первых послесвадебных недель, визитов, родственных обедов, вечеров и приемов (Анна Григорьевна не без раздражения писала о днях «сплошного» гостеприимства, когда ее новая родня заявлялась в их с Ф. М. квартиру на Вознесенском проспекте, нанятую за месяц до свадьбы, и она, молодая хозяйка, вынуждена была с утра до вечера угощать и занимать родственников мужа, которые из лучших побуждений приезжали навещать новобрачных) имел место один неприметный эпизод. Гуляя как-то с женой по Вознесенскому проспекту, Достоевский завел ее во двор некоего дома и показал камень, под которым Родион Раскольников прятал деньги и вещи убитой старухи-процентщицы.

Казалось, будто все происходит наяву. «Выходя с В-го проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Справа, тотчас же по входе в ворота, далеко во двор тянулась глухая небеленая стена соседнего четырехэтажного дома. Слева, параллельно глухой стене и тоже сейчас от ворот, шел деревянный забор,

шагов на двадцать в глубь двора, и потом уже делал перелом влево. Это было глухое отгороженное место, где лежали какие-то материалы. Далее, в углублении двора, выглядывал из-за забора угол низкого, закопченного, каменного сарая, очевидно часть какой-нибудь мастерской. Тут, верно, было какое-то заведение, каретное или слесарное, или что-нибудь в этом роде; везде, почти от самых ворот, чернелось много угольной пыли. "Вот бы куда подбросить и уйти!" — вздумалось ему вдруг».

Факт посещения писателем романного тайника означал, что он заранее облюбовал пустынный двор, где «становитца воз прещено», внимательно разглядел неотесанный камень, под который можно было упрятать старухины камушки, а может быть, проделал и прочие манипуляции, чтобы выяснить, будет ли что-нибудь заметно. Вряд ли, конечно, Ф. М. показывал жене, как сдвигается камень, зная, что под ним ничего нет, — но сцена запомнилась.

Медовый месяц, а за ним и еще один проходили под аккомпанемент откликов на «Преступление и наказание». Первые рецензии появились еще в январе 1866-го, едва вышла из печати первая часть романа, — среди них были и голоса одобрения, и голоса возмущения («успех был чрезвычайный, но не без сопротивления»[4], — отмечал Страхов). Разумеется, всех волновал вопрос о типичности героя и его злодеяния — критика легковесная торопилась откреститься от образованного убийцы, видя в нем лицо фантастическое, ничего общего не имеющее с реальностью, которая, как правило, поставляет убийц, движимых духом стяжания, без умственных теорий. Просвещение не учит злодейству: надо быть натурой больной, чтобы из книг извлечь материал для оправдания уголовных преступлений. Поэтому, полагали рецензенты, Раскольников подлежит скорее психиатрии, чем литературной критике. И еще резче: герой романа — нравственный урод; конечно, уроды могут быть весьма интересны, но они — не предмет художественной словесности.

Эстетическая критика отмечала выдающееся мастерство писателя — рассказ о преступлении изложен с такой потрясающей истинностью, с такими тонкими подробностями, что невозможно остаться в стороне, не проникнуться перипетиями этой драматической истории. Борьба, которая происходит в душе преступника перед совершением убийства, анализ преступления и его мотивов вызывают ощущение оглушительной правды — будто автор и в самом деле долго и близко наблюдал за действиями реального убийцы. Беспощадное перо романиста до донышка обнажает внутренний мир человека, его духов-

ную природу — мозг и сердце, ум и чувства; огромная мощь психологического проникновения в душу героев не имеет прецедентов.

Критика с «направлением» («Современник», «Искра») увидела в романе атаку на молодежь, травлю передового студенчества (однокашник Вани Сниткина с жаром доказывал его сестре, когда та навестила брата в Москве, что писатель Достоевский оклеветал молодое поколение). Автору ставили в вину намерение опозорить современных молодых людей и девиц с помощью грязных инсинуаций, суля им участь убийц и блудниц, — те же, кто пытался защитить автора от подобных упреков, трактовали героя-убийцу как свихнувшуюся натуру с признаками белой горячки, а его преступление — как результат психической болезни, то есть частный клинический случай. Круг замыкался.

Итог спору пытался подвести Д. И. Писарев в специальной статье «Борьба за жизнь», опубликованной в журнале «Дело» (1868, № 8). Критик доказывал, что Раскольников не сумасшедший; его преступление имеет не медицинские, а социальные корни; общественное неравенство, повседневная борьба за существование, бедность и, как следствие, изнурительная апатия — вот истинные мотивы преступления: большинство воров и грабителей переживают те самые фазы, через которые проходит герой Достоевского. В «теории» Раскольникова о праве сильной личности переступить черту критик увидел попытку преступника замаскировать жажду быстрой и легкой наживы.

В противовес социальной («реальной») критике Страхов предложил концепцию духовной драмы *нигилиста несчастного*, трагедию искаженной и жестоко страдающей души: живая натура и свойственные ей инстинкты человеческой души восстают против отвлеченной теории, несовместимой с жизнью. «Это не смех над молодым поколением, не укоры и обвинения, это плач над ним», — утверждал Страхов, подчеркивая, что автор, по своему всегдашнему обычаю, «представил нам *человека* в самом убийце, как сумел отыскать *людей* и во всех блудницах, пьяницах и других жалких лицах, которыми обставил своего героя»[5]. Сам Страхов считал свой разбор очень сдержанным и сухим по тону. «Эта статья памятна мне, — писал он, — в двух отношениях. Ф. М., прочитавши ее, сказал мне очень лестное слово: “вы одни меня поняли”. Но редакция [«Отечественных записок»] была недовольна и прямо меня упрекнула, что я расхвалил роман *по-приятельски*. Я же, напротив, был виноват именно в том, что холодно и вяло говорил о таком поразительном литературном явлении»[6].

Тогда же, в 1867-м, прозвучал голос, который наверняка был услышан Достоевским и не мог его не порадовать. Романист Н. Д. Ахшарумов, брат петрашевца, питавший интерес к «тайникам» душевной жизни человека, исключительным ситуациям и противоречивым характерам, в статье о романе первым высказал мысль до того глубокую и проницательную, что впоследствии с большой охотой ее будут присваивать критики самых разных направлений и в самых разных целях, — мысль о нераздельности в романе «преступления» и «наказания», наказания не внешнего, не юридического, а внутреннего, нравственного. «Наказание начинается раньше, чем дело совершено. Оно родилось вместе с ним, срослось с ним в зародыше, неразлучно идет с ним рядом, с первой идеи о нем, с первого представления. Муки, переносимые Раскольниковым под конец, когда дело уже сделано, до того превосходят слабую силу его, что мы удивляемся, как он их вынес. В сравнении с этими муками всякая казнь бледнеет. Это сто раз хуже казни — это пытка и злейшая из всех, — пытка нравственная»[7].

Был еще один волнующий вопрос — насколько заразительными виделись сверстникам Раскольникова и его теория «крови по совести», и его зловещая «практика»; насколько поверили читатели в душевные муки героя-убийцы. Страхов вспоминал, что М. П. Покровский, один из вожаков студенческого движения 1860-х, бывший узник Петропавловской крепости, посетитель салона Е. А. Штакеншнейдер и горячий поклонник Достоевского, рассказывал, как сильно действовал роман на молодых людей, бывших в ссылке в одном из городов Европейской России. «Нашелся даже юноша, который стал на сторону Раскольникова и некоторое время носился с мыслью совершить нечто подобное его преступлению, и лишь потом одумался. Так верно была схвачена автором эта логика людей, оторвавшихся от основ и дерзко идущих против собственной совести»[8].

Достоевский, однако, написал роман о юноше, который тоже носился с преступной мыслью, но так и *не одумался:* пошел против совести, «черту переступил» и довел дело до кровавого конца.

Предлагая в 1865-м Каткову (в черновике письма) напечатать в «Русском вестнике» повесть в пять-шесть печатных листов, Достоевский обещал развернуть психологический процесс преступления, совершенного человеком развитым, хороших наклонностей. Доказывая, что сюжет будущей повести вовсе не эксцентричен, а взят из жизни, писатель упоминал две истории — о студенте, который после исключения из университета решился разбить почту и убить почтальона; и о

семинаристе, который в сарае убил девушку по уговору с ней и которого через час арестовали за завтраком. «Есть еще много следов в наших газетах о необыкновенной шатости понятий, подвигающих на ужасные дела». И в самом деле: центральные российские газеты в середине 1860-х писали о возросшем числе предумышленных убийств с целью ограбления; в Петербурге число преступников по уголовным делам достигало сорока тысяч человек ежегодно, что составляло восьмую часть населения столицы. Сколько из них было убийц-теоретиков, кто из них испытывал муки совести и донес на себя, статистика, разумеется, не ведала.

Но автора повести, обещанной Каткову, волновал именно такой убийца, перед которым, едва он совершил преступление, вставали неразрешимые вопросы, которого терзали неожиданные, непредвиденные чувства. Напомним: «Божия правда, земной закон берет свое, и он — кончает тем, что *принужден* сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое...»

Изменилось ли что-нибудь в характере героя-убийцы на пути от замысла к воплощению, когда повесть стала романом и пятикратно выросла в объеме? Ведь проницательность Достоевского, предвидевшего событие-близнец (убийство ростовщика и его служанки студентом Даниловым), не коснулась характера и поведения Данилова — *этим* убийцей владел дух стяжательства, а не дух раскаяния, и он не страдал от своей разъединенности с человечеством, а только лгал и изворачивался. Была ли гипотеза автора о душевных муках убийцы-теоретика прекраснодушной фантазией, или ему, автору, удалось-таки убедить читателя, что горе-убийца раскаивается в содеянном, а потому имеет шанс на спасение и воссоединение с человечеством? Что имел в виду Достоевский, описывая Каткову свой замысел — о герое, который живет в крайней бедности и по легкомыслию, по шатости в понятиях, поддавшись некоторым странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решился *разом* выйти из скверного своего положения?

В 1881 году, уже после смерти Ф. М., в «Отечественных записках» будет опубликована статья Н. К. Михайловского «Записки современника» с попыткой ответить как раз на эти вопросы. Авторитетный критик, уже не раз писавший о романах Достоевского, коснется приемов наказания персонажей в тех случаях, когда автор считает их *дерзостными врагами обще-*

ства. «Наметив подходящую жертву, Достоевский отнимает у нее Бога и делает это так просто и механически, что точно крышку с миски снимает. Отымет Бога и смотрит: как себя ведет в этом положении жертва? Само собою разумеется, что испытуемый немедленно начинает совершать ряд более или менее гнусных преступлений. Но это не беда: для преступлений есть искупляющее страдание и, затем, всепрощающая любовь. Не для всех, однако, и в этом все дело. Если испытуемый, оставшись без Бога, начинает корчиться в судорогах ущемленной совести, то Достоевский поступает с ним сравнительно милостиво: проволочив жертву по целому ряду гнусностей, он ее отправляет на каторгу или к “монаху-советодателю” и там ее, самоуничиженную и смиренную, осеняет крылом всепрощающей любви... Если жертва упорствует и до конца чинит бунт против Бога, порядка вещей и обязательности страдания... то Достоевский заставляет ее повеситься, застрелиться, утопиться, опять-таки прогнав предварительно сквозь строй подлости и преступлений... Наконец, если испытуемый, оставшись без Бога, даже и не упорствует, а чувствует себя совершенно спокойно, то Достоевский дарует ему и жизнь и свободу, но казнит его при этом самою в своем роде лютою казнью: он его делает медным лбом и мерзавцем ниже самого низкого»[9].

При всей остроте критического взгляда и едкости пера Михайловский почему-то упустит из виду ту нечаянную подробность, что Бога у своего героя автор не отнимал. «Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость Творца и искупителя нашего? Боюсь я, в сердце своем, не посетило ли тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!» — пишет сыну мать накануне его «пробы». Но Пульхерия Александровна напрасно волнуется: сын, хотя креста не носит, не забыл Бога. «Господи! — молил он. — Покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!» Эта мольба звучит в его душе всего за сутки до «предприятия».

Молитва и «проклятая мечта» парадоксальным образом уживаются; в подготовительных материалах кроткая молитва даже «предписана» герою: «Молитва его по приходе от Мармеладовых: кротко — “Господи! Если это покушение над старухой слепой, тупой, никому не нужной, грех после того что я хотел посвятить себя, то обличи меня. Я строго судил себя, не тщеславье, и если б тщеславье, то это законно. Зачем ты мне дал силы? Без этих денег не мог и жить”».

То есть теорию «крови по совести» сочиняет и «пробу» теории делает человек, от Бога не отрекшийся и еще до убийства осознавший, что не вынесет крови; его тошнит от одной мысли об этом: «Да что же это я!.. ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, низко... ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило...» После убийства он «на всякий случай» просит Поленьку молиться «за раба Родиона»; позже просит об этом мать; излагает Порфирию содержание своей статьи и на вопрос: «Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим?» — твердо отвечает: «Верую». То есть верует и в Бога, и в воскресение Лазаря, и верует буквально.

Противоположные мысли стоят рядом: и про то, что «дети — Христов образ», и про желание власти «над всею дрожащею тварью и над всем муравейником», так что после чтения главы о Лазаре он «напутствует» Соню: «Вот цель! Помни это!» Раскольников далек от мысли, будто если Бога нет — всё позволено; он «позволяет» себе это «всё» безотносительно к идее Бога, Которого не отрицает: в его «теории» и в его «практике» Бог, Которым он дразнит Соню, не помеха.

В романе очевиден еще один парадокс — о предательской совместимости «проклятой мечты» и молитвы. Перед читателем возникали две логики.

Первая: Раскольников — христианин, его путь — в «Иерусалим», к новому смыслу жизни; но он убил — отвратительно, с тошнотворными подробностями, убил «для себя», и значит, прежде всего он преступник; его верования, сам его статус «недалеко от веры» не только не смягчают вины, но, напротив, утяжеляют ее, ибо, убив, он преступил заповеди, в которые верил, убил главный принцип жизнеустройства, на котором должен стоять мир.

И есть логика «навыворот»: да, Раскольников умышленный убийца, но он христианин, он ищет путь к себе, через преступление и наказание, через возвращение к людям, через любовь, и потому будет спасен. В этом случае картина выглядела бы так, будто автор ничего другого и не мог предложить герою, кроме двойного убийства; только этот смертный грех может через самое полное раскаяние привести его к полной и несомненной вере, ибо другого способа поверить в Бога и бессмертие у колеблющегося человека нет. Роман превращался в фарс по Михайловскому: писатель заставил, а герой убил.

Однако против такой логики «наизнанку» роман буквально кричал. Размышление Раскольникова — «без этого преступления он бы не обрел в себе *таких* вопросов, желаний,

чувств, потребностей, стремлений и развития» — осталось в черновых записях и не попало в текст романа: слишком высокой оказывалась цена *развития,* слишком близко стояла она к пресловутому «цель оправдывает средства», слишком кощунственным было это *убийство заповеди Божьей ради Бога, грех ради веры.*

Достоевский обещал Каткову, что преступник *сам* решит принять муки, чтобы искупить свое злодейство. «Впрочем, — добавлял писатель, — трудно мне разъяснить вполне мою мысль».

Эту мысль оказалось не только трудно разъяснить, но и трудно исполнить: с *преступником, который сам решит,* в романе возникли большие трудности. Накануне признания, все еще не осознавая в полной мере своего преступления, Раскольников говорит Дуне: «Почему лупить в людей бомбами, правильною осадой, более почтенная форма?.. Никогда, никогда яснее не сознавал я этого, как теперь, и более чем когда-нибудь не понимаю моего преступления! Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь!.. Если бы мне удалось, то меня бы увенчали, а теперь в капкан!»

Как зловеще повторится это «никогда» в эпилоге — только коснется оно уже не одного человека, а всех людей, одержимых безумием. «Никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе».

Вещий сон Раскольникова был — о самом себе...

Достоевский решительно изменил первоначальный замысел, не оставив для героя-преступника легких и быстрых путей искупления, лишив права на исповедь, не доверив ему повествование от первого лица, отняв эффектный, но искусственный финал с преображением, избежав религиозной нарочитости. Раскольников не стреляется, не спасает после убийства детей на пожаре, не испытывает никакого восторга, идя на каторгу, остается без «видения Христа», которое, очевидно, должно было войти в запланированную главу «Христос» — она должна была начаться пожаром, где и совершает Раскольников свой подвиг. В романе от такой главы не осталось и следа.

Пробыв на каторге год, герой-убийца все еще полон гордыни и стыдится только того, что погиб «так слепо, безнадежно, глухо и глупо»; его ожесточенная совесть, его злое сердце не находят никакой особенно ужасной вины в происшедшем, кроме разве простого промаха. «И хотя бы судьба послала ему раскаяние — жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут! О, он бы обрадовался ему! Муки и слезы — ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении».

И вот еще более выразительное признание: «Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? — говорил он себе. — Тем, что он — злодеяние? Что значит слово "злодеяние"? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову... и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому *они правы*, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг. Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною».

То есть: Раскольников не раскаивался даже «для протокола», он признавал вину только в том, что не вынес своего шага, хотя ведь и заранее знал, что не вынесет. Он страдал от мысли: зачем после всего не убил себя? «Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти?»

И вот, кстати, что о будущем Родиона Романовича думает Свидригайлов: «Шельма, однако ж, этот Раскольников! Много на себе перетащил. Большою шельмой может быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь *слишком* уж жить ему хочется! Насчет этого пункта этот народ — подлецы». Жить, хоть бы и «стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность... Только бы жить, жить и жить» — так говорит и сам Раскольников, хотя в этой жизни ему, по его вине, «ни об чем, никогда и ни с кем, нельзя теперь *говорить*».

Собирался ли Достоевский *спасать* Раскольникова в пределах романного времени? В последней фразе эпилога содержался на этот счет категоричный ответ: «Тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы со-

ставить тему нового рассказа, — но теперешний рассказ наш окончен». Эпилог определял обязательные условия для перерождения и обновления: «В сознании должно было выработаться что-то совершенно другое... Новая жизнь не даром же ему достается, ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим, будущим подвигом...»

Иными словами, рассказ про убийцу-ипохондрика, бывшего студента, который, забросив учебу, наплевав на уроки, дававшие скудное пропитание, пользуется крошечным вдовьим пенсионом матери (120 рублей в год, или 10 рублей в месяц!), получаемым за покойника-мужа, уездного учителя, и не стесняется брать деньги из жалованья (200 рублей в год) сестры-гувернантки, — рассказ этот окончен.

Тем не менее намерение Достоевского дать Раскольникову шанс возродиться вело писателя от самого начала замысла; он искренне надеялся, что «закон правды и человеческая природа возьмут свое». Однако в пространстве романа «Божия правда и земной закон» сознанием Раскольникова не овладели и «свое не взяли» — в этом решении и было истинное художественное величие писателя, который не стал выкручивать руки герою в угоду тенденции, а выпустил его на волю, в стихию живой жизни, где закон правды торжествует не всегда, и уж во всяком случае не по заказу или заявке.

Но самое главное: обещанная история про великий подвиг Раскольникова так никогда и не будет написана, как не будут написаны и многие другие «новые истории» про героев воскресших и обновленных. Раскольников романа — убийца, совершивший смертный грех, и это его пожизненное, несмываемое клеймо, пусть и случилась «протокольная» явка с повинной (ведь читатель знает, что упрямец-преступник пошел сознаваться буквально из-под палки, загнанный в угол следователем и толкаемый в спину Соней). На пути же к признанию герой бывал отвратительным — грубым, высокомерным, заносчивым; насмешничал, поучал и уже входил во вкус «в иных пунктах», хотя даже отвратный Лужин, если бы знал правду, мог бы сказать ему: а судьи кто? — и миссия Раскольникова адвокатировать Соне провалилась бы с треском. А ведь он, при всем ужасе содеянного, готовился к боям с Порфирием, хитрил с Разумихиным, «всем дышлом въезжал в добродетель» перед Свидригайловым, мучил мать, сестру и Соню (а они боялись его!).

Читатель Достоевского никогда не увидит в его романах преображенных убийц, великих грешников, которые возродились бы через великий подвиг и всё себе простили. Бог, по бесконечному милосердию, может, и простит убийцу, но человек

Достоевского, если он не «медный лоб», такого себе простить не может и жить с таким грехом не умеет. В черновиках к «Подростку» Достоевский напишет о некоем *жучке* как об эмблеме ловушки, клетки, из которой нет выхода, и о невозможности жить после жучка, рядом со способностью к сознательному злу.

Расколотые топором два женских черепа — это и был *жучок*, смертельный капкан для убийцы. «Разве идучи на страдание, не смываешь уже вполовину свое преступление?!» — восклицает Дуня. Но что делать с другой половиной, которая весит куда тяжелее?

Раскольникову, с его бешеным тщеславием, исключительным самолюбием и непомерной гордыней, совершенно чуждо ощущение греха, хотя не чуждо чувство справедливости, великодушия, чести. Как говорит всё угадавший про него Порфирий Петрович, «убил, да за честного человека себя почитает, людей презирает, бледным ангелом ходит». Или проницательный Свидригайлов: «Если же убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку! Бегите, молодой человек!»

Но герои Достоевского в Америку не бегут и там воскресать не умеют.

Читателей романа жгуче волновало, как могла бы развернуться (да и развернулась ли бы?) история перерождения и обновления Раскольникова, в которую так хотелось верить. Ведь при способности Достоевского менять свои планы на противоположные могло случиться всякое. Писателю важно было увидеть, ощутить пределы колебаний героев в сторону добра и зла, исследовать беспричинную прихотливость этих колебаний. Нет ничего пронзительнее, чем последние страницы эпилога: Раскольникову остается семь лет каторги, *только* семь лет, и они с Соней готовы смотреть на эти семь лет, как на семь дней. То же чувство счастья, которое почти пугало Соню, похоже, испытывал и автор — семь дней творения нового человека из великого грешника были его страстной мечтой, сердечным упованием. Однако преступник, убивший двух женщин, а Лизавета могла быть еще и беременной, чуть не погубивший ни в чем не повинного Миколку, сын, ставший причиной сумасшествия и смерти матери (нравственное чувство писателя подсказало, что для матери *такое* преступление сына несовместимо с жизнью), оставался непреображенным.

К тому же процесс обновления мог дать неожиданный крен. Путь Раскольниковых в XX веке — в этом предвидении и заключалась вся сила художественной проницательности

Достоевского — пойдет не в сторону личного воскресения, а в сторону массового террора; до него от террора индивидуального оставался один шаг. Ведь у Раскольникова было разрешение («лицензия», выданная себе им самим) всего лишь на одно убийство, которое в один миг удвоилось, а сорви Кох, случившийся у дверей старухиной квартиры, дверной запор, так и утроилось бы. А с Миколкой — была бы и четвертая жертва. А если бы подвернулся еще кто-нибудь? Например, Соня? Убийство — занятие заразное, оно затягивает, как наркотик.

Порфирий Петрович вообще сильно сомневается в «обновлении» Роди: «Вам Бог жизнь приготовил (а кто знает, может, и у вас так только дымом пройдет, ничего не будет)».

«Станьте солнцем, вас все и увидят, — рекомендует герою-убийце ехидный следователь. — Солнцу прежде всего надо быть солнцем». В то, что Раскольников станет солнцем, верится с трудом. В Евангелии сказано: «Праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13: 43). Заметим: праведники, а не убийцы и беззаконники. Творчество Достоевского не явило таких историй, где бы убийца, проливший кровь «по совести», стал солнцем. Петр Верховенский станет «медным лбом». Убийство, даже и при раскаянии, и при наказании, необратимо — убитых не вернуть назад. Тем более оно необратимо, когда преступником владеет не раскаяние, а всего лишь «цинизм гибели».

Раскольников, горячечно объясняя Соне «сценарий» своего прошедшего «предприятия», произносил фразу такого отчаянного цинического эгоизма, что она, эта фраза, поначалу даже сбивает с толку, настолько она «о двух концах». «Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я...»

Но старушонку, которую он считает неизмеримо ниже себя, убил *он*, именно *он*, а не кто-то другой, и именно *убил*. И Лизавету (о которой вовсе не помнит) убил тоже *он*. Но не в его привычках думать об убитых им людях, он *сам себе* важнее, чем убитые — и это главная улика его преступления, это почерк убийства, это судьба убийцы; тот именно пункт, который препятствует искреннему покаянию, исправлению и возрождению. Раскольников прав только в одном — что ухлопал себя ***навеки***, и в какой-то миг ему дано осознать свою *вечную* погибель.

Достоевский, честнейший из художников, свидетельствовал: обращение шаткого в понятиях человека к Богу и к вере — обращение в неведомом будущем не может быть индульгенцией для настоящего. Писатель посмотрел на дело об убийстве не

только глазами своего героя (гаденькая регистраторша, с жиденькой косичкой на затылке, почему и не убить), как смотрели наивные читатели, но еще и глазами жертв: Алена Ивановна и ее сестра — православные, верующие люди, первая написала завещание в пользу монастыря, вторая, юродивая, «Бога узрит», и обе убиты православным душегубцем, шатким в понятиях несчастным мономаном, который убил заодно и свою душу, опозорил родных и свел в могилу мать.

Достоевского, как и иных его героев, тоже всю жизнь «Бог мучил»: «существованием Божьим» он «сознательно и бессознательно» мучился всю свою жизнь. Так же, как и персонажи его романов, он был «дитя неверия и сомнения», в силу своей страстности «везде и во всем» доходил до последних пределов и «всю жизнь за черту переходил». Как и они, писатель искал свой путь в «Новый Иерусалим», к Новой Земле и к Новому Небу. Но Достоевскому для самопознания и богопознания не требовалось убивать. На собственном примере он показал, что неверие и сомнение — совсем не обязательные атрибуты личного злодейства. Он, как и Раскольников, прошел сибирскую каторгу, но не за убийство, а за чтение письма Белинского Гоголю.

Не пройдет и года после «Преступления и наказания», как Ф. М. напишет: «Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла». Спасает только *работа*, как спасала она Достоевского, как спасла она, например, и бедного студента Разумихина. Это — радикальная и сокровенная разница в деле спасения и воскресения. Иначе история Раскольникова на его пути к Богу, который есть Добро и Любовь, а совсем не языческий алтарь, виделась бы как история кровавого жертвоприношения.

В черновых записях к «Преступлению и наказанию» несчастный пьяненький чиновник (будущий Мармеладов) восклицает: «Кто бы ни был *живущий*, хотя бы в замазке по горло, но если только он *и в самом деле живущий*, то он страдает, а стало быть, ему Христос нужен, а стало быть, будет Христос!» Заметим: страдающий герой говорит о *замазке* по горло, но не о *крови* по локоть: т а к и е слова в соседстве с мыслями о Христе у Достоевского не выговаривались.

Достоевский-христианин знал о кающихся убийцах, кажется, всё. Поэтому как художник он так никогда и не сможет переступить через кровь, пролитую Раскольниковым, и сочинить вдохновенную историю о спасенном и воскресшем для земной жизни преступнике. «Художник так и не решился вручить Раскольникову крест вместо топора»[10]. Этот неоспоримый факт — лучшее опровержение тех критиков, которые

вменяли писателю *специальный умысел*, о чем писал не только Михайловский, но и, например, А. Волынский: «Вам с диким упрямством навязывается категорическое условие — познать добро через зло, падение и грех»[11].

Раскольников оправдывает свое злодейство до конца, цепко держится за свою идею («теорию», «проклятую мечту»), осознавая ее как благо. То есть Достоевский в *психологическом отчете об одном преступлении* не сделал ни одного неточного шага, не допустил ни одного компромисса между добром и злом, не пошел ни на одну сделку с художественной правдой, логикой характера, духом времени — в угоду тенденции. И потому разглядел роковые метаморфозы Раскольниковых будущего.

«Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека» — так должна была звучать последняя строчка романа согласно черновикам. Но закончился роман совсем другими строками, и вопрос о путях остался открытым.

Десять лет спустя, работая над романом «Подросток», Ф. М. призна́ется себе, что разглядел самое нутро подполья. «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит исправляться!» Раскольников, имея для своей теории исторические прецеденты, как раз и держится за факт, что высшие представители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами, — *все таковы,* то есть все до единого были преступники и, «уж конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь... могла им помочь. Замечательно даже, что бо́льшая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы».

«Что может поддержать исправляющихся? — размышлял писатель. — Награда, вера? Награды — не от кого, веры — не в кого! Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство). Тайна».

Трагическая невозможность исправления преступника-убийцы осознавалась писателем как тайный знак; и, сравнивая *своих подпольных* с персонажами «Войны и мира», которые терзались только гордыней и высокомерием, высказал горькую истину: «Болконский исправился при виде того, как отрезали ногу у Анатоля, и мы все плакали над этим исправлением, но настоящий подпольный не исправился бы». И добавил: «Подполье, подполье, *поэт подполья* — фельетонисты повторяли это как нечто унизительное для меня. Дурачки. Это моя слава, ибо тут правда».

Во имя правды в «Преступлении и наказании» на пути от замысла к воплощению произошла еще одна знаковая метаморфоза с *настоящим подпольным*. Грязный циник и насильник, скучающий развратник, любящий «пикантные штучки», холодно-страстный зверь и тигр, который знает за собой некие таинственные ужасы, отравитель, одержимый судорожной, звериной потребностью терзать и убивать, и при всех этих бестиальных наклонностях верующий в воскресение Лазаря — таким монстром предстает Аркадий Иванович Свидригайлов в подготовительных материалах к роману.

Читатель, не знавший, как обстояло дело в замыслах и черновиках, мог только удивляться, почему Раскольников, бегающий от следствия (и вызывающий горячее сочувствие), обо всех имеющий *нравственное* суждение, высказывается об Аркадии Ивановиче как о «грубом злодее и подлеце». Ничего достоверно подлого на пространстве романа Свидригайлов как будто не сделал — разве что кутил и играл в карты, женился на деньгах, не любил жены, дважды за семь лет брака ее стукнул — второй раз, когда узнал, что она присватала Дуне Лужина, безответно полюбил Дуню, в мечтах своих о ней давал себе полный простор и дразнил Раскольникова картинками любовных похождений. О его безобразиях ходят ужасные слухи, но Достоевский нарочито (в отличие от черновых вариантов) не дает в романе ни одной картины, где бы злодейства были явлены несомненно; напротив, все слухи последовательно опровергаются, а разносчики слухов дискредитируются. И все сумасбродства Свидригайлова не то что смягчаются — они меркнут перед «пробой» Раскольникова.

Аркадий Иванович отпустил Дуню из запертой комнаты, куда ее сам же хитростью и завлек, где стоял под дулом ее револьвера и вынес два ее выстрела, при этом Дуня только *случайно* его не убила: револьвер, похищенный ею у Свидригайлова и незаконно хранимый, был заранее спрятан в сумочке, целилась она прямо в голову, задела по коже черепа, так что кровь «тоненькою струйкой стекала по его правому виску», и стреляла снова. Осечка.

Поступая с девушкой дурно, когда она служила гувернанткой в его доме, он «одумался и раскаялся и, вероятно пожалев Дуню, представил Марфе Петровне полные и очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности», и вот уже Дуня оправдана в глазах общества. Свидригайлов снова говорит о своем раскаянии, когда приходит к Раскольникову, и Дуня в присутствии Лужина пытается снять часть обвинений с барина. Пример, чтобы клеветник сам отрекся от клеветы в пользу оклеветанного, просто невиданный.

Свидригайлов реально спасает трех сирот Мармеладовых — от голодной смерти и улицы. «Ее Бог защитит», — говорит Соня про Полечку, которой, как полагает Раскольников, тоже уготован желтый билет. Но защищает ее не Бог, а язычник Свидригайлов, или Бог, но через язычника. «Этих двух птенцов и эту Полечку я помещу в какие-нибудь сиротские заведения получше и положу на каждого, до совершеннолетия, по тысяче пятисот рублей капиталу, чтоб уж совсем Софья Семеновна была покойна. Да и ее из омута вытащу, потому хорошая девушка, так ли?» — «С какими же целями вы так разблаготворились?» — недоверчиво спрашивает Раскольников. «А просто, по человечеству, не допускаете, что ли?» — отвечает Свидригайлов. И ведь сдержал слово: с детьми Катерины Ивановны распорядился удачно; нашел людей, и всё устроилось. И Соне дает деньги, чтобы в Сибирь ехала за Раскольниковым и была с ним рядом все каторжные годы. И невесту свою обеспечил, подарив 15 тысяч...

Достоевский не только не прячет, а прямо подчеркивает великодушие Свидригайлова. И получается, что «зверь» Свидригайлов — один на стороне жертв, которые вычеркнуты из сознания убийцы. У Раскольникова нет сожаления об убитой процентщице («старушонка — вздор!»), к ней нет сострадания. Он не видит в ней человека, а только принцип — и люто ненавидит ее. «Кажется, бы другой раз убил, если б очнулась!» И во сне снова убивает ее, ударяя по темени раз и другой, а потом бешено колотит, изо всей силы. И почти не думает о Лизавете, «точно и не убивал». И физически не выносит мать и сестру. И мечтает убить Порфирия или Свидригайлова, чувствуя, что в состоянии это сделать.

«Можно жалеть преступника, но нельзя же зло называть добром», — напишет Достоевский десять лет спустя после истории Раскольникова. Но в романе четко работает и обратный принцип: можно не любить цинического Свидригайлова, но нельзя в его добрых, великодушных поступках видеть зло или корысть. Трагичен мир, в котором дело спасения трех сирот Мармеладовых в руках самоубийцы, которым тоже владеет цинизм гибели. Трагичен роман, где не сыскалось иного благодетеля, кроме Свидригайлова, чтобы спасти Дуню от Лужина и вытащить Соню с панели. Но даже и это трагическое обстоятельство никак не оправдывает Раскольникова, не снимает с него ответственности за его кровавый «первый шаг».

Роман, полный парадоксов, тайн и загадок, неразрешимых вопросов и непредвиденных ответов, навсегда разделит читателей на тех, кто будет горько сожалеть о несчастном погибшем юноше, запутавшемся в бредовых мыслях, и тех, кто всем

сердцем будет болеть за Родю, желая, чтобы тот избежал гибельного капкана Порфирия Петровича.

Однако в схватке с уже разоблаченным убийцей Порфирий Петрович скажет: «Статейку вашу я прочел как знакомую. В бессонные ночи и в исступлении она замышлялась, с подыманием и стуканьем сердца, с энтузиазмом подавленным... Я... ужасно люблю... эту первую, юную, горячую пробу пера. Дым, туман, струна звенит в тумане. Статья ваша нелепа и фантастична, но в ней мелькает такая искренность, в ней гордость юная и неподкупная, в ней смелость отчаяния; она мрачная статья-с, да это хорошо-с».

Даже он, мучитель и гонитель, «при полном реализме» ничего не мог поделать с неотразимым обаянием Родиона Романовича.

Глава вторая

МРАЧНЫЕ ТЕНИ РУЛЕТЕНБУРГА

Семейные будни. — Отъезд за границу. — Феномен дневника. — Дрезденские картины. — Призрак «Полины». — Дело о нигилизме. — Выстрел Каракозова. — Тайные письма. — Зловещая игромания. — Гомбург и Баден-Баден. — Семинедельный плен

В конце марта 1867 года военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга Ф. Ф. Трепов известил шефа жандармов генерал-майора Н. В. Мезенцева о намерении отставного подпоручика Достоевского отправиться на время за границу «по случаю одержащей его падучей болезни, удостоверенной врачами». Он также сообщал, что проситель, находясь с 1859 года под секретным полицейским надзором, последние пять лет ежегодно получал заграничные паспорты по болезненному своему состоянию и оказывался поведения одобрительного.

«Кто он такой?» — спрашивал петербургского градоначальника его адресат в Третьем отделении. «Автор “Мертвого дома” и других литературных произведений», — последовал ответ. Если это была еще не слава, то уже многообещающая известность.

В первых числах апреля «увольнение» Достоевского за границу было разрешено. Но супруги Достоевские имели печальный случай убедиться, что падучая болезнь, удостоверенная врачами, — не только убедительный предлог для получения заграничного паспорта, но и суровая реальность жизни: через 12 дней после свадьбы, в доме у свояченицы Маши, после ве-

селого ужина с шампанским (гости уже разъехались, свидетелями были только она и ее муж, П. Г. Сватковский) с Достоевским случился сильнейший припадок: нечеловеческий крик, глубокий обморок, полное бесчувствие и судороги; через час припадок повторился и был такой силы, что Ф. М., уже придя в сознание, больше двух часов в голос кричал от боли.

«Какую ужасную ночь я провела тогда! — вспоминала А. Г. Достоевская. — Тут я впервые увидела, какою страшною болезнью страдает Федор Михайлович. Слыша его не прекращающиеся часами крики и стоны, видя искаженное от страдания, совершенно непохожее на него лицо, безумно остановившиеся глаза, совсем не понимая его несвязной речи, я почти была убеждена, что мой дорогой, любимый муж сходит с ума, и какой ужас наводила на меня эта мысль!.. То удрученное и подавленное настроение, которое всегда наступало после припадка, продолжалось более недели. “Как будто я потерял самое дорогое для меня существо в мире, точно я схоронил кого, — таково мое настроение” — так всегда определял Ф. М. свое послеприпадочное состояние. Этот двойной припадок навсегда остался тяжелым для меня воспоминанием».

Болезнь, ужасно напугавшая покойную Марию Дмитриевну в 1857-м и навсегда омрачившая первый брак, настигла Достоевского, едва он женился вновь, со всей жестокой неприглядностью, на глазах жены и ее ближайших родных. Худшее начало семейной жизни трудно было и вообразить. Но на этот раз судьба его как будто миловала — молодая жена оказалась крепче, устойчивее и выдержала испытание.

Что же до любви... Анна Григорьевна честно расскажет о свойствах своего первого чувства. «Я безгранично любила Федора Михайловича, но это была не физическая любовь, не страсть, которая могла бы существовать у лиц, равных по возрасту. Моя любовь была чисто головная, идейная. Это было скорее обожание, преклонение пред человеком, столь талантливым и обладающим такими высокими душевными качествами. Это была хватавшая за душу жалость к человеку, так много пострадавшему, никогда не видевшему радости и счастья и так заброшенному теми близкими, которые обязаны были бы отплачивать ему любовью и заботами о нем за все, что [он] для них делал всю жизнь. Мечта сделаться спутницей его жизни, разделять его труды, облегчить его жизнь, дать ему счастье — овладела моим воображением, и Федор Михайлович стал моим богом, моим кумиром, и я, кажется, готова была всю жизнь стоять пред ним на коленях. Но все это были высокие чувства, мечты, которые могла разбить наступившая суровая действительность».

То, на что не была способна страсть (Суслова, «больная эгоистка», ужаленная «отношениями», не выдержала искушений любви), как раз и сделала мечта альтруистки: женщина с «головной» любовью просто из принципа не могла бросить в беде обожаемого кумира, как не бросила она стенографировать для него после их первой личной встречи («он мне не понравился и оставил тяжелое впечатление»). Все тяготы супружеской жизни с немолодым вдовцом — при его жестоком недуге, при его пожизненных обязательствах перед родней, при его нелегком и, как окажется, весьма ревнивом характере, при его каторжном прошлом, наконец, — идейная шестидесятница готова была считать барьером, который необходимо преодолеть.

Но даже для нее, отважной и жаждавшей независимости девушки, совместная будничная жизнь с Достоевским оказалась мучительно гнетущей; время сомнений наступило пугающе быстро, и Анна Григорьевна ощутила реальную угрозу своему семейному счастью. Одной из причин, помимо общей безалаберной атмосферы дома, где воцарилось «сплошное» гостеприимство, был проживавший в одной квартире с отчимом и на его средства Паша Исаев, юноша девятнадцати лет (он был всего на год моложе своей «мачехи»), не занятый ни учебой, ни службой. Паша был ярым противником новой женитьбы «старика-отца», имевшего обязанности перед «сыном», и ни во что не ставил «мачеху»: вежливый в присутствии «папы», он чинил его жене немыслимые дерзости, едва за Ф. М. закрывалась дверь — она обвинялась в трате «общих» денег, дурном ведении хозяйства, капризах, которые разрушают и без того хрупкое здоровье «папы».

Враждебность молодых Ивановых, в штыки принявших новую «тетку», когда с мужем, их любимым дядей, она приехала в Москву, тоже доставила трепещущей гостье немало огорчений. Но ни с чем нельзя было сравнить то ее горестное изумление, когда после вечеринки у Ивановых в номере гостиницы Дюссо Ф. М. в полный голос кричал на жену, называя ее бездушной кокеткой и мучительницей — ее веселость и общительность могли, оказывается, не только радовать мужа, но и причинять ему жестокое страдание... И все же в Москве, много времени проведя наедине, в разговорах, длительных прогулках по городу («Ф. М., москвич по рождению, был отличным чичероне и рассказывал много интересного про особенности Первопрестольной»), они обрели себя «прежних»; Достоевский даже говорил, что для него наступил новый медовый месяц, а его почти отчаявшаяся жена только здесь осознала, как счастливо могла бы устроиться их жизнь, если бы между ними не стояла его взыскательная родня. На обратном пути в Петер-

бург, на станции Клин, где целый час стоял их поезд, в общей зале вокзала служили всенощную по случаю вербной субботы, и они горячо благодарили Господа за дарованное счастье.

Но едва они вернулись домой, как счастье, которое должно было окрепнуть за границей, куда они рассчитывали уехать месяца на три, столкнулось с препонами непреодолимыми. Родня Ф. М., раздраженная его решением («Это всё ваши фокусы», — сказал «мачехе» разгневанный Паша, сердясь уже на то, что «допустил» их поездку в Москву), выставила такие финансовые требования на свое содержание, что от тысячерублевого аванса, полученного в Москве из «Русского вестника» в счет будущих сочинений, не оставалось ровным счетом ничего и ехать было решительно не на что. «Судьба против нас, Анечка», — грустно сказал жене Достоевский; он уже готов был подчиниться возросшим аппетитам родственников.

Против них, однако, была не судьба, а всего только деньги, тысяча рублей серебром, которой недоставало для поездки. И тогда А. Г. доказала, что дорожит браком куда больше, чем приданым: средства, вырученные из заклада ее шубок, золотых украшений, выигрышных билетов, столового серебра и мебели, и должны были составить сумму, которая позволила бы им с Ф. М., вопреки крайнему недовольству родни, даже не ехать — бежать за границу. Аня, рыдая, умолила мужа спасти их любовь...

Поручив матери заниматься залогами и выплатами, взяв только самые необходимые вещи и книги, они спешно покинули Петербург. Начиная с 14 апреля 1867 года, «веселого ясного дня» отъезда, Анна Григорьевна в течение целого года будет ежедневно стенографически записывать впечатления в специально купленную для этой цели тетрадку (на смену первой придут другие). Она сможет довериться дневнику так, как не доверялась никому и никогда, и создать не доступную ничьим глазам, даже глазам мужа, свободную территорию высказываний — обо всем, что ее волновало и занимало, а главное о нем, своем супруге. «Мой муж представлял для меня столь интересного, столь загадочного человека, и мне казалось, что мне легче будет его узнать и разгадать, если я буду записывать его мысли и замечания», — вспоминала она. «Дорого бы я дал, чтобы узнать, Анечка, что ты такое пишешь своими крючками: уж, наверно, ты меня бранишь?» — говаривал Ф. М.

Однако градус искренности, естественный для двадцатилетней жены Достоевского, три-четыре десятилетия спустя покажется неприемлемо высоким его пожилой вдове, и, взявшись за расшифровку дневниковых тетрадей, она начнет тщательно редактировать записи — вымарывать одно, вставлять

другое, менять акценты, устранять нежелательную информацию, отменять смысл прежних живых заметок и конструировать новый смысл, а порой даже новое содержание — в соответствии с тем пониманием образа Достоевского, который у нее сложился к концу столетия и который она хотела представить на всеобщее обозрение: идеальная личность, верноподданный гражданин империи, истовый христианин, заботливый и нежный супруг, любящий отец, безупречный и непогрешимый человек, лишенный даже таких слабостей, как вспыльчивость, несправедливость, мелочность, неделикатность.

Все, что, по мнению Анны Григорьевны, портило образ Достоевского, все, что снижало идею о безоблачном счастье их союза, она решительно и последовательно устранит — замажет чернилами подробности ссор, пригасит вспышки гнева мужа и даже в иных случаях возьмет на себя вину за те недоразумения, которые отравляли их жизнь в первый год супружества. Однако новая редакция дневника со сглаженными углами, «округлым» содержанием, «исправленным» Достоевским и «дополненным» образом счастливого бытия, лишь подчеркнет все изъяны живой жизни, — когда дневнику, усилиями исследователей, будет возвращен первозданный вид: найдутся ключи к стенографической системе «шифровальщицы», обнаружится ее твердая поступь в деле канонизации мужа, вскроются серьезные разночтения между событиями реальной жизни и их идеальной версией[12]. Предчувствуя, видимо, неудачу усилий по переписыванию прошлого, она в конце концов откажется от полной расшифровки дневника, который, как ей казалось, наносит ущерб облику Достоевского; в завещании она оставит распоряжение об уничтожении стенографического оригинала, которое, к счастью для биографов писателя, никогда не будет выполнено...

Уже в Берлине, куда супруги приехали на третий день путешествия (Петербург — Вильно, Вильно — Берлин через Ковно и Вержболово), обнаружилось, что «скучные немцы» ухитряются расстраивать нервы Ф. М. «до злости», так что он поминутно бранил их на чем свет стоит («даже мне наскучило», — замечала Анна Григорьевна). Впрочем, он бранил не только немцев, но и предупреждающие надписи «Остерегайтесь воров» на берлинском вокзале, и «Hotel Union», где они взяли номер на сутки, и погоду, и дурной кофе, и скверный чай, и толстые жаркие перины, и «гаденькую речонку Шпрее», и худые перчатки жены — последнее замечание откроет длинную череду их крупных ссор и мелких размолвок.

Четырьмя месяцами позже он опишет Майкову то свое апрельское настроение — оно будет сильно отличаться от горя-

чего энтузиазма жены. «Уезжал я тогда с смертью в душе: в заграницу я не верил, то есть я верил, что нравственное влияние заграницы будет очень дурное: один, без материалу, с юным созданием, которое с наивною радостию стремилось разделить со мною странническую жизнь; но ведь я видел, что в этой наивной радости много неопытного и первой горячки, и это меня смущало и мучило очень. Я боялся, что Анна Григорьевна соскучится вдвоем со мною. А ведь мы действительно до сих пор только *одни* вдвоем. На себя же я не надеялся: характер мой больной, и я предвидел, что она со мной измучается».

Однако жена с ее «решительным антикварством», любознательностью и азартом истинной туристки так добросовестно и пунктуально осматривала все красоты и достопримечательности, все сколько-нибудь заметные коллекции (в том числе, например, ботанические, геологические, минералогические), что не скучала, могла себя занять, находя большое удовольствие в ежедневных посещениях Дрезденской картинной галереи, и заслужила похвалы в письме Ф. М.: «Анна Григорьевна оказалась сильнее и глубже, чем я ее знал и рассчитывал, и во многих случаях была просто ангелом-хранителем моим; но в то же время много детского и двадцатилетнего, что прекрасно и естественно необходимо, но чему я вряд ли имею силы и способности ответить». А его в Дрездене, где они поселились после Берлина и где он тоже не пропускал случая любоваться Рафаэлем, Тицианом, Лорреном, Рембрандтом, не покидало ощущение «отрезанного ломтя»: домой вернуться нельзя (кредиторы подают векселя ко взысканию), работа не движется, деньги тают как снег весной, лакеи в ресторанах обсчитывают и хамят, и только в чтении русских газет и книг из русской библиотеки можно отвести душу.

Уже через неделю дрезденской жизни наедине друг с другом выяснилось, что Анна Григорьевна, с ее якобы *головной* любовью, подвержена таким же страстям, которые мучат обычных женщин, — а именно жгучей ревности. Оказалось, что Ф. М. не забыл ту единственную, кем был навеян роман «Игрок» и кого А. Г. имела все основания сильно не любить. В Дрездене ей открылся не только факт переписки бывших возлюбленных, но и физическое существование писем, этих зримых доказательств неостывшей страсти.

Собственно говоря, эпистолярное общение Сусловой с Достоевским, уже давно не столь оживленное, как прежде, не прерывалось. С осени 1865-го Аполлинария жила в России; после Парижа ей трудно было привыкнуть к грязным улицам Петербурга, к пьяным в подворотнях, к разбитым дорогам — ко всем изъянам отечества она отнеслась с тем же раздражени-

ем, что и к предложениям руки и сердца, которые делал ей Достоевский и которые она считала нелепостью. Она записала в дневник то, что сказал Ф. М. о ее характере: «Если ты выйдешь замуж, то на третий день возненавидишь и бросишь мужа». И добавил: «Ты не можешь мне простить, что раз отдалась, и мстишь за это; это женская черта». Они продолжали спорить и противоречить друг другу; Аполлинария дразнила его — грозилась сделаться святой, пройтись босиком по Кремлевскому саду в Москве и рассказывать, о чем с ней беседуют ангелы... О своем постоянном раздражении, досаде и злости на *умных* людей, окружавших ее в Петербурге, она писала графине Салиас де Турнемир, но та, женщина тонкая и проницательная, реагировала на письма подруги по-своему: «Дай вам Бог полюбить хорошего, честного человека, выйти замуж и воспитать честных детей. Это лучшее для женщины. Жизнь девушкой слишком одинока и, скажу, безрадостна, что бы там ни говорили... Я еще не видала девушки пожилой счастливой»[13].

О том, что незадолго до знакомства с ней, Аней Сниткиной, Ф. М. предлагал руку и сердце «Полине», Анна Григорьевна знала: в памятный день окончания «Игрока» Достоевский показывал ей портрет Сусловой шестилетней давности, и Полина-Аполлинария показалась стенографистке «удивительной красавицей»; Ф. М. признавался, что ни за что не хочет расстаться с портретом. Знала об этом — быть может, от матери — и Л. Ф. Достоевская, но излагала причины расставания отца с «Полиной» по-своему: «Отец тогда начинал печатать “Раскольникова”. Как всегда, уже с первых глав критики обрушились на эту вещь и взапуски ругали его. Один объявил публике, что Достоевский в лице Раскольникова оскорбляет студентов. Эта глупость, как впрочем все глупости, пользовалась громадным успехом в Петербурге. Студенты, только что восхищавшиеся Достоевским, как один, отвернулись от него. Когда Полина увидела, что отец мой вышел из моды, она перестала им интересоваться. Она заявила Достоевскому, что не может ему простить преступления против русских студентов, этой святыни в ее глазах, и порвала с ним. Отец не пытался ее удерживать; у него давно уже не осталось иллюзий в отношении этого легкомысленного создания».

Однако несмотря на разрыв, происшедший на самом деле задолго до публикации «Преступления и наказания» и безотносительно к критике романа, несмотря на неоднократные отказы Сусловой стать женой писателя, они продолжали переписываться. В начале декабря 1865 года Аполлинария уехала к матери, в село Иваново под Владимиром, откуда писала Достоевскому и получала ответные письма. Ее мечты о полезной

деятельности, как и надежды на осмысленную жизнь в России, хотя бы в роли сельской учительницы, очень скоро были поставлены под угрозу: если заграница всего лишь опостылела Аполлинарии, то Россия оказалась для нее опасна.

С первых дней возвращения на родину она, как нигилистка, имеющая «сношения с лицами, враждебными правительству» (то есть с заграничным кругом Герцена) и получавшая письма с «ругательствами на Россию», попала, вместе с братом Василием, под полицейский надзор. Она никак не могла предвидеть, что ее переезды от матери из Владимирской губернии к брату в тамбовскую Лебедянь драматически совпадут с грозными событиями государственного масштаба.

Четвертого апреля 1866 года, в четвертом часу пополудни, Александр II после обычной прогулки в Летнем саду в сопровождении племянника, герцога Николая Лейхтенбергского, и племянницы, принцессы Марии Баденской, садился в коляску, когда неизвестный молодой человек выстрелил в него из пистолета. В эту секунду стоявший в толпе крестьянин Осип Комиссаров ударил убийцу по руке и пуля пролетела над головой царя. Передавали, что, когда жандармы схватили злодея и подвели к экипажу государя, тот спросил: «Ты поляк?» — «Русский», — отвечал террорист. «Почему же ты стрелял в меня?» — «Ты обманул народ, обещал ему землю, да не дал». «Провидение бодрствовало над драгоценной жизнью...» — писали газеты.

Преступник был доставлен в Третье отделение. Следствие установило, что стрелявший, 25-летний дворянин Дмитрий Каракозов, бывший студент Казанского и Московского университетов, исключенный из учебных заведений за участие в беспорядках, принадлежал к руководимой его двоюродным братом Ишутиным московской тайной организации, имевшей целью распространить в народе социалистическое учение и подготовить государственный переворот. Было доказано, что члены московского кружка имели связи с петербургскими единомышленниками, со ссыльными поляками и русскими выходцами за границей; при этом Каракозов, сторонник индивидуального террора, полагал, что убийство царя даст толчок для социальной революции.

Известие о покушении на государя быстро распространилось по столице. Случившееся было настоящим потрясением — впервые в российской истории кто-то осмелился публично покушаться на жизнь царя. Сильнейшее переживание испытал и Достоевский. П. И. Вейнберг, посетивший в день покушения Майкова, вспоминал: «Мы мирно беседовали о чисто литературных, художественных вопросах, когда в комнату опрометью вбежал Федор Михайлович Достоевский. Он был

страшно бледен, на нем лица не было и он весь трясся, как в лихорадке.

— В царя стреляли! — вскричал он, не здороваясь с нами, прерывающимся от сильного волнения голосом. Мы вскочили с мест.

— Убили? — закричал Майков каким-то — это я хорошо помню — нечеловеческим голосом.

— Нет... спасли... благополучно... Но стреляли... стреляли... стреляли...

И повторяя это слово, Достоевский повалился на диван в почти истерическом припадке...

Мы дали ему немного успокоиться, — хотя и Майков был близок чуть не к обмороку — и втроем выбежали на улицу»[14]. Взбудораженная улица, возбужденная толпа вскоре поглотили Достоевского и Майкова...

Ф. М. был, несомненно, одним из тех, кто уже тогда, во время первого покушения, представлял подлинные масштабы происходящего, хотя газеты вовсю трубили, что 4 апреля математически доказало могучее, чрезвычайное, святое единение царя с народом. Вопрос, который и много лет спустя будет мучить писателя, — донесет ли он, если случайно узнает о готовящемся покушении на царя — имел трагический ответ: ни он, ни любой другой русский образованный человек *не донесет,* хотя даже по закону *обязан* это сделать. Через десять лет он запишет горькие наблюдения: «Факты. Проходят мимо. Не замечают. *Нет граждан*, и никто не хочет понатужиться и заставить себя думать и замечать... Нет *оснований* нашему обществу, не выжито правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение, — и всё прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а внутренно, нравственно».

Нравственная задача *думать и замечать* осознавалась им как задача творческая: «Преступление и наказание» дописывалось параллельно следственным действиям по делу Каракозова, судебному процессу над ним и его казни, состоявшейся при большом стечении народа 3 сентября 1866 года на Смоленском поле в Петербурге. В апреле 1866-го Ф. М. писал Каткову, как бы даже сочувствуя сбитой с толку молодежи: «У наших же у русских, бедненьких, беззащитных мальчиков и девочек, есть еще свой, вечно пребывающий *основной* пункт, на котором еще долго будет зиждиться социализм, а именно, энтузиазм к добру и чистота их сердец. Мошенников и пакостников между ними бездна. Но все эти гимназистики, студентики, которых я так много видал, так чисто, так беззаветно обратились в нигилизм во имя чести, правды и истинной пользы! Ведь они безза-

щитны против этих нелепостей и принимают их как совершенство... Бедняжки убеждены, что нигилизм — дает им самое полное проявление их гражданской и общественной деятельности и свободы».

Выстрел Каракозова повлек серьезные меры со стороны правительства: были закрыты «Современник» и «Русское слово», произведены аресты в Петербурге, Москве и других городах; полицейским санкциям подверглись слушательницы медицинских курсов, работницы швейных мастерских, домашние учительницы. Достоевский не был сторонником таких мер, сознавая их малую пользу, а порой и прямой вред. «Как бороться с нигилизмом без свободы слова? — рассуждал он в письме Каткову. — Если б дать даже им, нигилистам, свободу слова, то даже и тогда могло быть выгоднее: они бы насмешили тогда всю Россию положительными разъяснениями своего учения. А теперь придают им вид сфинксов, загадок, мудрости, таинственности, а это прельщает неопытных».

Однако предложение о свободе слова нигилистам в момент суда над ними услышано, конечно, не было*. В течение апреля—августа велось дознание, но еще в начале лета отголоски выстрела докатились и до тамбовской глуши: 2 июня по телеграфному приказу графа М. Н. Муравьева, возглавлявшего следствие по делу Каракозова, велено было обыскать брата и сестру Сусловых и отобранные бумаги переслать в Петербург. В тот же день к ним на квартиру нагрянула полиция с предписанием из Петербурга и произвела обыск. Так было открыто «Производство Высочайше утвержденной следственной комиссии о судебном следователе Лебедянского уезда Василии Прокофьеве Суслове и сестре его, дочери Вознесенского купца — Аполлинарии Прокофьевне Сусловой» (начато 2 июня

---

* В Дрездене Достоевский узнает о новом покушении на Александра II во время его пребывания с сыновьями на Всемирной выставке в Париже 25 мая (6 июня) 1867 года. В тот день в честь русского государя был устроен смотр войск, после которого Александр II и Наполеон III со своими свитами неспешно направились к городу через Булонский лес. Оба императора сидели в открытых колясках, как вдруг раздался выстрел. Пуля угодила в лошадь французского шталмейстера. Террориста схватили. Им оказался двадцатилетний польский эмигрант, заводской рабочий Антон Березовский, уроженец Волынской губернии, юношей участвовавший в Польском восстании 1863 года. Суд присяжных, состоявшийся 3 (15) июля, проходил под знаком сочувствия преступнику, который просил рассматривать покушение как акт личной мести за угнетение Польши и был осужден на пожизненные каторжные работы. Парижские адвокаты устроили демонстрацию в поддержку Березовского. «Происшествие в Париже меня потрясло ужасно. Хороши тоже адвокаты парижские, кричавшие: “Vive la Pologne”. Фу, что за мерзость, а главное — глупость и казенщина!» — писал Майкову Достоевский в августе 1867-го.

1866 года, кончено 17 апреля 1869 года). В основу дела были положены показания неких свидетелей, будто у Сусловых хранились пачки прокламаций, в том числе и прокламация «Великоросс» (1861 год).

Обыск, однако, ничего не дал. «На днях к брату моему, — писала Суслова графине Салиас, — явилась полиция с приказом высшей Петербургской полиции обыскать его и отобрать все бумаги. У него нашли только одну ничтожную записку и в досаде на это... захватили и мои бумаги, все до последнего лоскутка, не исключая тетради с адресами моих знакомых, счета из лавочки и прочих важностей... Страдали и умирали от преследований люди получше нас; правда, они страдали за что-нибудь, оставили память хорошую и сделались примером, а ведь мы гуртом захвачены. Это убиение младенцев»[15].

Впрочем, она тут же обратилась к лебедянскому исправнику с просьбой вернуть бумаги. Самым обидным, наверное, была для нее не потеря рукописей, «приготовленных для печати», а дорогих ей писем. Если бы она была уверена, что пострадала за убеждения, все было бы проще. Но прежних убеждений не было — ее шестидесятнический нигилизм, значительно смягчившийся за границей, в России обернулся полной противоположностью. В сентябре 1866-го Каракозов был повешен, а в декабре она писала графине Салиас: «Эти господа, оставшиеся на свободе нигилисты, лгут и сочиняют факты довольно бесцеремонно, и все сходит с рук»[16]. Входящих в моду утилитаристов она называла жалкими, ничтожными, обиженными Богом людьми, но и они, и «прогрессисты» видели в экс-нигилистке Сусловой всего лишь старомодную идеалистку. И она даже не подозревала, что во многих своих суждениях стала гораздо ближе к тому, кому еще недавно так азартно противоречила.

Пожалуй, только в одном пункте она сохранила взгляды своей молодости. «Вы говорите, графиня, выйти замуж... — писала она Е. В. Салиас. — За кого? (Если б даже не мое здоровье, и не характер мой скучающий и наводящий скуку, ничем не удовлетворяющийся.) Вы говорите, не нужно искать непременно человека с умом. Это уж слишком демократично, я так далеко пойду. Притом выйти замуж значит связать себя с этим низким, рабским обществом, которое я не выношу. Я своих требований урезывать не могу; что есть — прекрасно, нет — не надо, уступок делать я не могу»[17].

Она и не делала уступок. В самом конце 1866 года (Достоевский уже закончил «Игрока» и посватался к Анне Сниткиной) Суслова уехала в Москву, чтобы сдать экзамен на преподавателя истории. Москва, то есть люди, которых она здесь встрети-

ла, ее страшно разочаровали. Она чувствовала, что теряет способность к простому общению: «Все, кого я встречаю, — необыкновенно мелочны и пусты... Всякий раз я возвращаюсь из общества в отчаянии... Лучше бы я никого и ничего не видала...»[18] Нужно было, однако, много читать, писать экзаменационные сочинения на исторические темы, консультироваться у профессоров (особенно нравился ей профессор всеобщей истории В. И. Герье), и она все более укреплялась в намерении после сдачи экзамена открыть в Иванове школу для девочек.

В апреле 1867 года после долгого перерыва Аполлинария непонятно почему написала Достоевскому — не зная, что два месяца назад он женился (Ф. М. получит это письмо перед самым отъездом за границу, в книжном магазине Базунова). Жалуясь на свое грустное и подавленное настроение, Суслова не могла и вообразить, какую бурю негодования, страха, подозрений и ревности вызовет ее письмо у жены Достоевского. Через две недели, найдя привезенное из Петербурга письмо в кармане мужа («дело, конечно, дурное, но что же делать, я не могла поступить иначе»), она тайком прочтет его и надолго потеряет покой. «Прочитав письмо, я так была взволнована, что просто не знала, что делать. Мне было холодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, чтобы старая привязанность не возобновилась и чтобы его любовь ко мне не прошла... Господи, только не это, это слишком будет для меня тяжело, потерять его любовь».

Она притворилась больной и действительно чувствовала себя ужасно; Ф. М. допытывался, в чем дело, она упрямо молчала, плакала, они ссорились и злились друг на друга; она признавалась, что очень несчастна, но не объясняла причины; он подозревал, что она знает про письмо, и спрашивал, не ревнует ли она, но она отвечала вздором; он сердился и кричал, повторяя, что жена есть естественный враг своего мужа.

Но дело было не в жене, а в том письме, которое Ф. М. получил накануне отъезда и на которое смог ответить только 23 апреля: в тот день «Федя писал письмо» и был «страшно сердит», непонятно на кого и на что.

Что-то такое было в письме Сусловой, что заставило трепетать и дрожать Анну Григорьевну. Что-то очень личное, забытое, нежное померещилось и Достоевскому в послании бывшей подруги. «Твое письмо оставило во мне грустное впечатление. Ты пишешь, что тебе очень грустно. Я не знаю твоей жизни за последний год и что было в твоем сердце, но, судя по всему, что о тебе знаю, тебе трудно быть счастливой». Отвечая ей, он старался как можно деликатнее рассказать о кабальном контракте, о профессоре Ольхине и его лучшей ученице. Сюжет женитьбы выглядел на этом фоне как нечто случайное, вынуж-

денное — и очень обидное для «пригожей девушки», которая стала его женой: он ни слова не сказал, что любит ее или что счастлив с ней. Так, женился по необходимости, потому что «со смерти брата было ужасно скучно и тяжело жить».

Была и еще одна фраза в письме Достоевского, которая, стань она известна жене, сразила бы наповал: то счастье, которая она ему давала, все их страстные признания и нежности он называл всего лишь чем-то *необходимым*, то есть обыденным, банальным. Суслову же, свою *вечную* подругу («друг вечный», — обращался он к ней), Ф. М. ставил на самый высокий пьедестал. «О, милая, я не к дешевому *необходимому* счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя (и всегда уважал) за твою требовательность, но ведь я знаю, что сердце твое не может не требовать жизни, а сама ты людей считаешь или бесконечно сияющими или тотчас же подлецами и пошляками. Я сужу по фактам. Вывод составь сама». Он не прощался с Полей, не намекал, что ввиду женитьбы все между ними кончено, а приглашал отвечать ему *тотчас*, в Дрезден до востребования, и подписался: «Твой Ф. Достоевский». На глазах жены отправил письмо с почтамта на улице *Johannisstrasse*, где они жили, и с этого момента в душе А. Г. поселилась мука.

Осторожный, оправдывающийся тон Достоевского ничуть не обманул Суслову — дрезденское письмо больно уязвило ее. «У меня было два личных, сердечных огорчения, одно похоже на оскорбление, но я была тронута ими только на минуту, а потом уже не хотела думать и не думаю», — написала она графине Салиас из Иванова, куда вернулась в мае, провалив экзамен по катехизису и только что получив письмо Ф. М. Снова наступило одиночество, одолела сельская скука — только через полтора года она найдет в себе силы сдать, наконец, экзамен и открыть школу.

Знай Анна Григорьевна, что соперница мается в российской глуши, ей было бы много легче; однако она вообразила, что Суслова здесь, в Дрездене, и тайно встречается с ее мужем. «Во мне, как во всякой ревнивой женщине, пробудилась страшная ревность. Я сейчас рассудила, что он, вероятно, пойдет к моей сопернице. Я тотчас же села на окно, рискуя выпасть из окна, и навела бинокль в ту сторону, из которой он пошел и должен был воротиться. Уже сердце мое испытывало все муки несчастной покинутой женщины, глаза мои поневоле стали наполняться слезами от слишком пристального взгляда, но Федя не показывался. Вдруг я нечаянно взглянула в другую сторону и вижу, что мой Федя смиренно идет домой...»

«Головная» любовь идейной шестидесятницы оказалась фикцией.

Отчаяние ее в первые месяцы супружества будет только расти — она перехватит, пользуясь отсутствием мужа в городе, еще одно письмо Сусловой (ответ на апрельское письмо Достоевского) прямо на почте, распечатает и прочтет. «Это было очень глупое и грубое письмо, не выказывающее особенного ума в этой особе... Я подошла к зеркалу и увидела, что у меня все лицо в пятнах...» Обратный адрес на конверте — дрезденский — введет ее в еще большее заблуждение и только подтвердит подозрение, что разлучница здесь.

Анна Григорьевна аккуратно заклеит письмо (отосланное, по-видимому, с оказией) и, не говоря ни слова, через несколько дней отдаст мужу. «Я все время следила за выражением его лица, когда он читал это знаменитое письмо... Мне показалось, что руки у него дрожали. Я нарочно притворилась, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка. Он ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улыбался. Такой улыбки я еще никогда у него не видала. Это была улыбка презрения или жалости, право, не знаю. Но какая-то странная. Потом он сделался рассеян, едва понимал, о чем я говорю». На следующий день Ф. М. снова был как потерянный, «ходил по комнате, все чего-то искал, точно он что потерял, рассматривал письмо. Вообще видно было, что письмо это очень его заняло» (расшифровывая дневник, Анна Григорьевна переправит слово «заняло» на «затронуло и оскорбило»).

Ф. М. упорно не желал говорить жене о письмах Сусловой, хотя понятно было, что он их продолжает получать. «Как это гадко, что он меня так обманывает, ведь этим он и меня приучает поступать не так, как следует, этим он дает мне право также от него скрывать, что мне хочется. Это уж очень нехорошо, особенно для него, которого я считала за образец всего...» «Какое тебе дело, к кому я пишу», — грубо отвечал жене Ф. М. в ответ на ее расспросы. Она отвечала ему в тон — ей все равно, к кому он пишет, хотя бы к черту писал, не только в Петербург. «Меня эта неоткровенность очень обидела. Я ее не заслужила. Это очень нехорошо». В такие минуты она жалела, что не осталась жить с матерью, тихо и мирно, и лила слезы, при виде которых Ф. М. еще больше раздражался; они ссорились и ругались. «Весь этот день после обеда он был мне так гадок, что я просто насилу удержалась, чтоб не ударить его зонтиком».

Тема тайных писем так глубоко тревожила обоих, что провоцировала новые ссоры. Как-то в июне Анна Григорьевна собралась идти на почту и с вызовом сказала мужу, чтобы он не беспокоился — *его* писем она брать не будет. «Он ничего не отвечал, но когда я отошла, вдруг подошел ко мне и с дрожавшим подбородком начал мне говорить, что теперь понял мои слова,

что это какие-то намеки, что он сохраняет за собой право переписываться с кем угодно, что у него есть сношения, что я не смею ему мешать. Я ему отвечала, что мне до его сношений дела нет, но что если б мы были друг с другом откровеннее, то я, может быть, могла бы избавиться от одной очень скучной переписки, которую должна завести».

Отвечать, что́ это за переписка и что́ это за дама, которая якобы ей пишет, Анна Григорьевна наотрез отказалась — потому что никакой докучливой дамы не было, а была слабая надежда вызвать Ф. М. на откровенность. Наивный блеф, однако, не сработал. И когда осенью, уже в Женеве, он вытащит из кармана бумажку с какой-то карандашной записью, она, в попытке контроля, выхватит записку. «Вдруг Федя зарычал, стиснул зубы и ужасно больно схватил меня за руки; мне не хотелось выпустить записки, и мы ее так дергали, что разорвали на половины, и я свою половину бросила на землю. Федя со своей половиной сделал то же; это нас и поссорило, он начал бранить, зачем я вырвала записку, меня это еще больше рассердило, и я назвала его дураком, потом повернулась и пошла домой».

Злосчастная записка (адрес закладчика, как выяснится) превратится в сюжет о жестокой женской ревности, маниакальных подозрениях и нелепой слежке. Анна Григорьевна вернется на место, где была брошена записка, подберет клочки, сложит их — и обнаружит адрес. «Мне представилось, — запишет она, — что эта особа приехала сюда в Женеву, что Федя видел ее, что она не желает со мной видеться, а видятся они тайно, ничего мне не говоря, а разве я могу быть уверена, что Федя мне не изменяет? Чем я в этом могу увериться? Ведь изменил же он этой женщине, так отчего же ему не изменить и мне?»

Этой мысли она никак не могла допустить, как не могла допустить, что ее муж и эта «особа», сойдясь, смеются над ней, полагая, что она ничего не знает. А она хотела знать всё — и потому решила во что бы то ни стало выследить их. Почерк на записке показался ей знакомым, именно так и писала «особа». «Мне представилось, что он вместо того, чтобы ходить в кофейню читать газеты, ходит к ней, что вот она дала ему свой адрес, а он, по своему обыкновению, по неосторожности, вынул и таким образом чуть-чуть не выдал свою тайну мне».

Она плакала, кусала руки и боялась сойти с ума, но твердо решила разыскать квартиру и, если окажется, что «особа» живет там, прямо и сразу сказать об этом мужу и — уехать от него. «Одна мысль об этой подлой особе, которая меня, вероятно, не любит, что она способна нарочно ему отдаться, чтобы

только насолить мне, зная, что это будет для меня горько, и вот теперь, должно быть, это действительно и случилось, и вот они оба считают, что могут обманывать меня, как прежде обманывали Марию Дмитриевну».

Возразить на такой аргумент Достоевскому было бы невозможно, но какое облегчение, а может быть, и сочувствие к «особе» испытала бы Анна Григорьевна, если бы узнала, что, провалив экзамен, Суслова прозябает в сельской глухомани, зубрит учебники истории и географии, радуется только письмам графини Салиас и, едва открыв школу, лишится не только работы, но и права преподавать: старое «дело о нигилизме» застанет ее врасплох и лишит надежды на учительское поприще.

Однако знать это жена Достоевского никак не могла и потому несколько дней кряду тайно от мужа бегала на *rue de Rive* в поисках «особы», пока консьержка дома не сказала, что в указанную крохотную квартиру, где проживала портниха, несколько месяцев назад приезжала старая хозяйкина тетка, для которой едва нашлось место, а больше никого не было. Подозрения рушились; оставалось еще немного пошпионить за мужем, и Анна Григорьевна, к своему счастью, всякий раз обнаруживала, что он смирнехонько сидит в кофейне за чтением газет.

Тень «Полины» отступила и растворилась в густой зелени садов и парков, где ежедневно прогуливались молодожены Достоевские...

Но был еще один, куда более грозный призрак, сошедший со страниц «Игрока». Не далее как через пять месяцев после выхода романа в третьем томе собрания Стелловского, через три месяца после свадьбы и на третьей неделе заграничной поездки Достоевский стал неистово рваться в Гомбург — попытать счастье за рулеткой. Теперь он не был одинок и не находился в крайности, как в 1865-м. Ему не надо было спасать родных, как в 1863-м. Но, как и герой «Игрока» Алексей Иванович, писатель всей душой верил в шансы, в разные методы игры, в варианты ставок, во всю эту злосчастную арифметику. Вслед за героем Ф. М. проникся мыслью о необходимости длительного пребывания и даже проживания в игорном городе.

«Прошло недели три нашей дрезденской жизни, как однажды муж заговорил о рулетке (мы часто с ним вспоминали, как вместе писали роман “Игрок”) и высказал мысль, что если бы в Дрездене он был теперь один, то непременно бы съездил поиграть на рулетке. К этой мысли муж возвращался еще раза два...» «Ехать туда — его желание, его мысль», — записывала Анна Григорьевна: она видела, что муж скучает, томится, «начинает прокисать», что мысль о рулетке вертится у него в голо-

ве и не дает покоя. Он внушал жене, что если ему случится выиграть, то он приедет за ней и они там будут жить; но она, хотя и переписала своей рукой роман об игроке, не представляла себе, что значит попытать счастья в Гомбурге, где «самая игра и есть».

Уже на следующий день Ф. М. писал жене из Гомбурга, что пробудет здесь два-три дня, «иначе невозможно, даже если б *успех*», и что успех, на который есть «крошечный шанс», нужен ему для уплаты долга кредиторам, от которых, как он видел, не спасает и заграница... Но *успеха* не было, а если и случалось выиграть сотню гульденов, то он их тут же ставил и спускал. «Вот мое наблюдение, Аня, окончательное, — писал он жене на второй день игры, — если быть благоразумным, то есть быть как из мрамора, холодным и *нечеловечески* осторожным, то непременно, безо всякого сомнения, можно выиграть *сколько угодно*. Но играть надо много времени, много дней, довольствуясь малым, если не везет, и не бросаясь насильно на шанс... Постараюсь употребить нечеловеческое усилие, чтоб быть благоразумнее, но с другой стороны я никак не в силах оставаться здесь несколько дней».

Он пока еще стеснялся жены, которая впервые наблюдала, пусть даже издалека, его нравственный провал; просил скрывать от всех «мерзость положения», в которую затащила его рулетка, но пытался исподволь внушить простодушной Ане, что *играть надо много времени и даже много дней*. Он хотел объяснить ей, что наживание денег *даром* в случае выигрыша — дается вовсе не *даром*, а мукой, раздражающей и одуряющей. «Но воображаю же муку мою, если я проиграю и ничего не сделаю: столько пакости принять даром и уехать еще более нищим, нежели приехал».

Собственно, так всё и случилось: на третий день он играл десять часов и проигрался «слишком значительно», вполне отдавая себе отчет, что его нервы не выдерживают напряжений игры, что нечеловеческие усилия — палка о двух концах: они удаются, пока есть хладнокровие; но как только случается выигрыш, риск берет верх. И, ругая рулетку, продолжал втолковывать жене, что натура его требует возбуждения и тревоги, которые дает игра.

В следующие семь дней Ф. М. опять проигрывал, выигрывал, снова проигрывал; закладывал, выкупал и снова закладывал часы, просил срочно прислать деньги, немедленно проигрывал всё присланное, обещая «взять трудом», то есть сесть за работу, но оставался и продолжал играть. Идея жить в игорном городе все более овладевала его сознанием. «Я не для забавы своей играю. Ведь это единственный был выход — и вот, всё

потеряно от скверного расчета. Я тебя не укоряю, а себя проклинаю: зачем я тебя не взял с собой? Играя помаленьку, каждый день, ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ не выиграть, это верно, верно, двадцать опытов было со мною, и вот, зная это наверно, я выезжаю из Гомбурга с проигрышем; и знаю тоже, что если б я себе хоть четыре только дня мог дать еще сроку, то в эти четыре дня я бы наверно всё отыграл. Но уж конечно я играть не буду!»

Но оставался, играл снова, проигрывал и писал: «Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом! Я сделал преступление, я всё проиграл, что ты мне прислала, всё, всё до последнего крейцера, вчера же получил и вчера проиграл. Аня, как я буду теперь глядеть на тебя, что скажешь ты про меня теперь! Одно и только одно ужасает меня: что ты скажешь, что подумаешь обо мне? Один твой суд мне и страшен! Можешь ли, будешь ли ты теперь меня уважать! А что и любовь без уважения! Ведь этим весь брак наш поколебался. О, друг мой, не вини меня окончательно! Мне игра ненавистна, не только теперь, но и вчера, третьего дня, я проклинал ее...»

Истратив на поездку и на игру в общей сложности тысячу франков (или 350 рублей серебром), не имея денег выкупить часы, так и пропавшие у часовщика, Ф. М. просил прислать денег на выезд, то есть на оплату гостиницы и дорогу. На одиннадцатый день он вернулся в Дрезден, но «глупая идея о выигрыше» из его головы не выскочила, а только на время затаилась. Нужно было срочно писать Каткову и просить нового аванса, сверх тех трех тысяч, которые уже были взяты в «Русском вестнике» (давши уже столько, не смогут отказать, полагал Достоевский).

«Русский вестник» не отказал. Но едва пришли деньги, Достоевские попрощались с Дрезденом и выехали в Баден-Баден. «Теперь работа и труд, работа и труд, и я докажу еще, что я могу сделать!» — месяц назад писал Ф. М. из Гомбурга, проигравшись в прах. Однако первое, что случилось в Баден-Бадене, был «воксал», казино, рулетка и проигрыш. Отныне писатель идет за героем «Игрока» след в след; дикая мысль соединяется со страстным желанием, комбинация предчувствий принимается за фатальное предначертание, страсть превращается в манию. Демоны азарта овладевают им всецело.

Положение усугубляется тем, что жена, единственный свидетель творческого эксперимента *писателя* Достоевского, полностью подчиняется фантазиям *игрока* Достоевского и даже иногда бывает с ним в игорных залах. «Если бы у меня были деньги, — записывала она, восторгаясь некой роскошной русской дамой в бриллиантовых серьгах, — то я бы тоже непременно стала бы ставить на те zero, на которые она ставит и, ве-

роятно, также бы стала выигрывать» (много лет спустя Анна Григорьевна сильно приукрасит картину, подчеркнув в воспоминаниях, что ее с собой муж никогда не брал, находя, что порядочной женщине не место в игорной зале). Достоевскому, отравленному «своенравием случая», удается внушить жене мысль о неотвратимости дальнейших игорных опытов и несомненном, неизбежном выигрыше при условии *нечеловечески осторожного поведения*.

Но талеры ставились весьма *неосторожно*, и невезучий игрок понуро плелся домой. Дома, спустя час или два, он выпрашивал последние монеты, отложенные на еду и квартиру, объясняя, что иначе будет ужасно как терзаться и что лучше покончить всё сегодня. Если же удавалось немного выиграть, оба ликовали — Ф. М. покупал жене цветы и ягоды, целовал ей руки и говорил, что счастливее его нет на свете. «Он очень, очень милый человек, мой муж, такой милый и простой», — писала она после того, как он угостил ее апельсинами и сам приготовил лимонад. А наутро на коленях выпрашивал выигрыш обратно и возвращался уже без денег...

Переезд в Баден-Баден был совершен ради маниакальной идеи: *не наезжать в игорный город время от времени, а проживать в нем постоянно и подолгу.* Игра, ежедневная и многочасовая, продлится 50 дней, до одури и обмороков; здесь будут проиграны авансы от Каткова, денежные переводы от тещи, займы от писателя Гончарова, игравшего в тех же залах. Часы, обручальные кольца, броши и серьги (свадебные подарки жены), ее мантилья, шуба, два нарядных платья, сиреневое и зеленое, его теплое пальто и фрак будут едва ли не ежедневно кочевать из съемной квартиры в конторы закладчиков. Когда не оставалось ничего, Ф. М. винился, не скрывая слез: «Я у тебя последнее украл, унес и проиграл».

«Это было что-то кошмарное, вполне захватившее в свою власть моего мужа и не выпускавшее его из своих тяжелых цепей», — вспоминала Анна Григорьевна. Здесь, в Баден-Бадене, натура мужа-игрока раскрылась во всей своей подлинности; и всё оказалось во сто крат хуже, чем в романе. Ничто не могло образумить его в безудержном стремлении играть, ежечасно и ежеминутно — ни ее тяжелая беременность с приступами жестокой головной боли и постоянной рвоты; ни ее отчаянные слезы, когда она ожидала его возвращения с рулетки; ни убогая квартира из двух комнаток над кузницей со сварливой хозяйкой, где они остановились из-за дешевизны и где стук кузнечного молота будил их на рассвете; ни ее черное суконное платьице, прохудившееся, жаркое, тесное, которое она носила изо дня в день, появляясь среди разряженных барынь...

В то жестокое баденское лето жена Достоевского чувствовала, что попала в западню: заграница отнимала у нее покой и радость, а мысль о возвращении в Россию, где опять ее будет донимать Паша Исаев, представлялась еще худшим адом. Ее муж мечтал выиграть 30 тысяч франков, чтобы вернуться в Россию, а она с ужасом думала, что там, дома, снова начнутся ссоры, дрязги, опять явится раздражение, опять муж будет холодно и насмешливо обращаться с ней в присутствии своих родных и она, не выдержав оскорблений и не видя защиты со стороны Ф. М., уйдет вместе с ребенком к матери. «Мне представляется, — писала жена Достоевского, которой в те поры не было еще и двадцати одного года, — что этот человек никогда никого не любил, что это ему только так казалось, а любви истинной вовсе не было. Потому что думаю, что он даже и не способен на любовь: он слишком занят другими мыслями и идеями, чтобы сильно привязаться к чему-нибудь земному».

Чем дольше тянулся баденский кошмар, тем сильнее мечтала она, почти как о несбыточном счастье, о спокойной жизни с матерью, этим тихим ангелом. Но стоило Ф. М. выиграть и явиться домой с сияющим, победным видом, она чувствовала, как сильно его любит. Сидя в одиночестве, Анна Григорьевна перечитывала «Преступление и наказание» и гордилась, что это восхитительное сочинение написал ее муж. В хорошие минуты они мечтали о дитяти, которое должно родиться, Сонечке или Мише, и Ф. М. очень смешно дразнил жену, будто скоро начнет «их» сечь, мол, давно до них добирается.

В сущности, она была не против игры. «Как было бы хорошо, — говорила она иногда, — если бы нам возможно было бы выигрывать по 2 талера в день, — тогда мы могли бы понемногу выкупить наши вещи и преспокойно дожидаться катковских денег». Но термин «понемногу» был, увы, не про них: «У Феди решительно нет характера, чтобы остановиться, когда он выиграет 2 талера; у него сейчас же является мысль, что вот следует выиграть не 2, а, по крайней мере, 50, сейчас же начинается мечта о тысячах, и чрез это решительно все теряется; между тем, я вполне уверена, будь он скромнее со своими желаниями, то непременно бы начал выигрывать понемногу, и, таким образом, мы бы могли жить не в такой бедности, как теперь».

На исходе седьмой баденской недели она — впервые за все время — заметила ему, что проигрывать нехорошо, что он не имеет над собой ни малейшей воли и не держит своего честного слова, когда оно касается рулетки. Теперь в его невезении была виновата она, и только она, поскольку упрекала и удерживала. «Федя до того доходил, что бил себя в голову, бил ку-

лаком об стену...» Она видела, что он не в себе — капризен, скучен, досадлив и страшно несправедлив: сердится, что она быстро устает и просит присесть во время гулянья на каждой встречной скамейке, что идет с ним не в ногу, что пугается или плачет. Припадки и проигрыши, проигрыши и припадки...

Наконец она перестала ждать удачи. «Меня не столько раздосадовал его проигрыш, как то обстоятельство, что из его ума не может никоим образом исчезнуть (вырваться) идея, что он непременно разбогатеет через рулетку. Вот на эту-то идею я и сержусь ужасно, потому что она так много нам вредит». Она говорила мужу, как смешна и нелепа эта идея — выиграть миллион на рулетке, и в сердцах называла его «благодетелем человечества», «дурачком», «глупцом». Он тяжело обижался, но Анна Григорьевна чувствовала, что больше не может сдерживаться и деликатничать — ведь муж сам ей рассказывал, что Мария Дмитриевна ругала его каторжником, подлецом, колодником и «ей все сходило с рук».

Дело, однако, свелось к тому, что ей самой неудержимо захотелось попробовать счастья. «Сегодня я встала с мыслью непременно пойти на рулетку. Эта мысль во мне была уже очень давно, но все мне как-то не случалось ее выполнить, — все Федя мешал, но сегодня я твердо решилась идти». Она пошла, поставила свой талер, потом еще один, поднималась, опускалась (то есть выигрывала и проигрывала), снова поднималась, у нее уже было 19 монет, но когда они вдруг исчезли под лопаткой крупье, была потрясена, что не смогла уйти, когда выигрыш был на пике. Ф. М. застал свою Аню в казино уже без денег, смеялся над ней, повторяя, что боится не проигрышей «жены-игрока», а ее неожиданного испуга в случае «историй», которые то и дело случаются на рулетке...

Проклятый Баден-Баден готов был, кажется, накрыть их обоих...

По прошествии семи недель стало очевидно, что хваленая игорная стратегия Достоевского терпит крах. Анна Григорьевна поняла, что им никогда не удастся выиграть и что они столкнулись со злой темной стихией, от которой спастись можно только *бегством.* И если бы рулетка была в каждом городе их европейского маршрута, они — он во всяком случае — погибли бы несомненно и безвозвратно. Два года назад, проигравшись в Висбадене, Ф. М. писал Сусловой о ситуации «nec plus ultra» (дальше некуда). «Далее идти нельзя. Далее уж должна следовать другая полоса несчастий и пакостей, об которых я еще не имею понятия».

В августе 1867-го эта полоса наступила, так что они бежали из Баден-Бадена, заложив, на этот раз безвозвратно, брошь и

серьги с бриллиантами и рубинами, свадебный подарок Достоевского жене.

Хроника игры после семи баденских недель будет впечатляюще драматична: три дня в сентябре этого же года в Саксон-ле-Бене и полный проигрыш; три дня в ноябре в том же городе и с тем же исходом: рулетка будто мстила писателю-игроку, не давая выиграть и малости. Он чувствовал, что наступает игорная агония. «Ах, голубчик, — писал Ф. М. жене в те ноябрьские дни, — не надо меня и пускать к рулетке. Как только прикоснулся — сердце замирает, руки-ноги дрожат и холодеют».

Потом будут три дня в марте 1868-го, неделя в апреле 1870-го и неделя в апреле 1871-го. Достоевский научится отвечать на упреки жены письмами «подлыми и жестокими», наловчится выманивать у нее последние «хлебные» деньги, убеждая, что он не подлец, а только страстный игрок. Он с легкостью, не задумываясь, будет обещать, что играет в последний раз. Когда не будет денег совсем, он научится часами простаивать у стола и ставить мысленно. Мысленно он будет всегда выигрывать. Он дойдет до самого конца.

«Трудно было быть более в гибели...» — напишет он жене в ноябре 1867-го из Саксон-ле-Бена; после этого «трудного» признания «гибель» продлится еще пять лет.

Глава третья
НА ПОДСТУПАХ К КНЯЗЮ ХРИСТУ

Ссора с Тургеневым. — Базельский шедевр. — Темная сила. — Диаволов водевиль. — Saxon les Bains. — Идея для романа. — Отложенный замысел. — Рождение Сони. — Позднее отцовство. — Безутешное горе. — Переезд в Vevey

По договору с «Русским вестником», которому в середине августа 1867 года Достоевский задолжал уже четыре тысячи рублей серебром, печатание нового романа должно было начаться с января следующего года. В разгар баден-баденской горячки писателю иногда приходила на ум ужасная мысль: «Вдруг мы прочтем в газетах, что вот такого-то числа умер Михаил Никифорович Катков. Ну, что мы тогда будем делать?» Некоторое время они с Анной Григорьевной, считая журнал своим ангелом-хранителем, со страхом открывали «Московские ведомости», опасаясь обнаружить страшную новость. К счастью, Катков был жив и здоров, вел себя порядочно, так что у Достоевского были все основания писать Майкову из Женевы, где

они с женой поселились через два дня после отъезда из Баден-Бадена: «Что за превосходный это человек! Это с сердцем человек!»

Теперь ход был за Достоевским — оставалось четыре месяца до отсылки в Москву первой порции текста, которого не было не то что готового — не было ни плана, ни программы, то есть ни *идеи*, ни *поэмы*. Правда, в том же письме Майкову Достоевский утверждал другое: «Теперь я приехал в Женеву с идеями в голове. Роман есть, и, если Бог поможет, выйдет вещь большая и, может быть, недурная. Люблю я ее ужасно и писать буду с наслаждением и тревогой».

Что Ф. М. имел в виду под «романом»? Первые записи к «Идиоту» появятся только в середине сентября и будут иметь мало общего с историей князя Мышкина. Выезжая за границу, Достоевский рассчитывал взяться за работу немедленно. «Что ж оказалось?» — самокритично спрашивал он себя и честно отвечал: «Ничего или почти ничего до сих пор не сделал и только теперь принимаюсь за работу серьезно и окончательно. Правда, насчет того, что *ничего* не сделал, я еще в сомнении: зато прочувствовалось и много *кой-чего выдумалось*; но написанного, но *черного на белом* еще немного, а ведь *черное на белом* и есть окончательное; за него только и платят».

В Дрездене и Баден-Бадене ему *положительно не работалось*. «Что же я делал? Прозябал. Читал, кой-что писал, мучился от тоски, потом от жары. Дни проходили однообразно». Игорный загул он покаянно опишет как «подлости и позоры» и скажет о них с предельной откровенностью: «Хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная: везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил».

Последний предел выражался не только в том, что, уплатив хозяйкам меблированных комнат за месяц вперед, уже на четвертый день они оказались с восемнадцатью франками. Ф. М. страшно рисковал и с работой для Каткова: ничего написанного, ничего заготовленного; туман, который необходимо рассеять неимоверным усилием воли, взнуздывая воображение и фантазию.

И все же лето 1867 года, несмотря на «подлости и позоры», отнявшие силы, энергию и время, не было творчески бесплодным — благодаря сильным впечатлениям, не связанным с рулеткой. «Читал русские газеты и отводил душу. Почувствовал в себе наконец, что материалу накопилось на целую статью об отношениях России к Европе и об русском верхнем слое. Но что говорить об этом! Немцы мне расстроивали нервы, а наша русская жизнь нашего верхнего слоя и их вера в Европу и *цивилизацию* тоже».

По газетам выходило, что судебная реформа сулит великое обновление; расширяется сеть железных дорог; народ приучается к деловитости и самостоятельности. Но вот онемечившиеся соотечественники не хотели и слышать об обновлении. Один из случайных знакомых Достоевского, «молодой прогрессист», постоянно живущий за границей и посещающий Россию только для получения дохода с имений, на вопрос, для чего он «экспатрировался», с «раздраженной наглостью» ответил: «Здесь цивилизация, а у нас варварство... Цивилизация должна сравнять всё, и мы тогда только будем счастливы, когда забудем, что мы русские, и всякий будет походить на всех».

«В каких-то шпицов, ворчливых и брезгливых, они за границей обращаются», — замечал Достоевский.

Но каков был эффект, когда почти в тех же словах, только резче и язвительнее, подобную мысль выразил и Тургенев — в Баден-Бадене Достоевский нанес ему визит, фактически вынужденный, как его должник с 1865 года, обязанный пятьюдесятью талерами (спустя четыре года Тургенев напишет об этой встрече Полонскому: «Он пришел ко мне... в Бадене — не с тем, чтобы выплатить мне деньги, которые у меня занял — а чтобы обругать меня на чем свет стоит за “Дым”, который, по его мнению, подлежал сожжению от руки палача»[19]).

В тот же день, 10 июля, Ф. М. рассказал об этом визите жене. Согласно ее записи получалось, что Федя был даже более резок, чем собеседник, ибо, во-первых, саркастически предложил Ивану Сергеевичу купить телескоп и наблюдать за Россией, чтобы понять, что там происходит; во-вторых, обругал немцев за тупость и лживость, чем ужасно обидел Тургенева лично и кровно, так как тот «перестал быть русским, а сделался немцем». Ф. М. выразил ему по этому случаю ироническое сожаление — мол, не знал.

Месяц спустя, описывая эту встречу в письме Майкову, Достоевский сильно сгустил краски. «Откровенно Вам скажу: я и прежде не любил этого человека лично... Не люблю тоже его аристократически-фарсерское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет Вам свою щеку. Генеральство ужасное...» Но не в манерах Тургенева было дело. Автор «Дыма» признался Достоевскому, что основное его убеждение о России выражено в романе: «Если б провалилась Россия, то *не было бы* никакого ни убытка, ни волнения в человечестве». Достоевского поразило, с каким ожесточением, «безобразно, ужасно», Тургенев ругал Россию и русских; повторяя, что русские должны ползать перед немцами, ибо есть одна общая и неминуемая всем дорога — цивилизация, а все эти попытки *русизма* — свинство и глупость (на что Ф. М. и высказал обид-

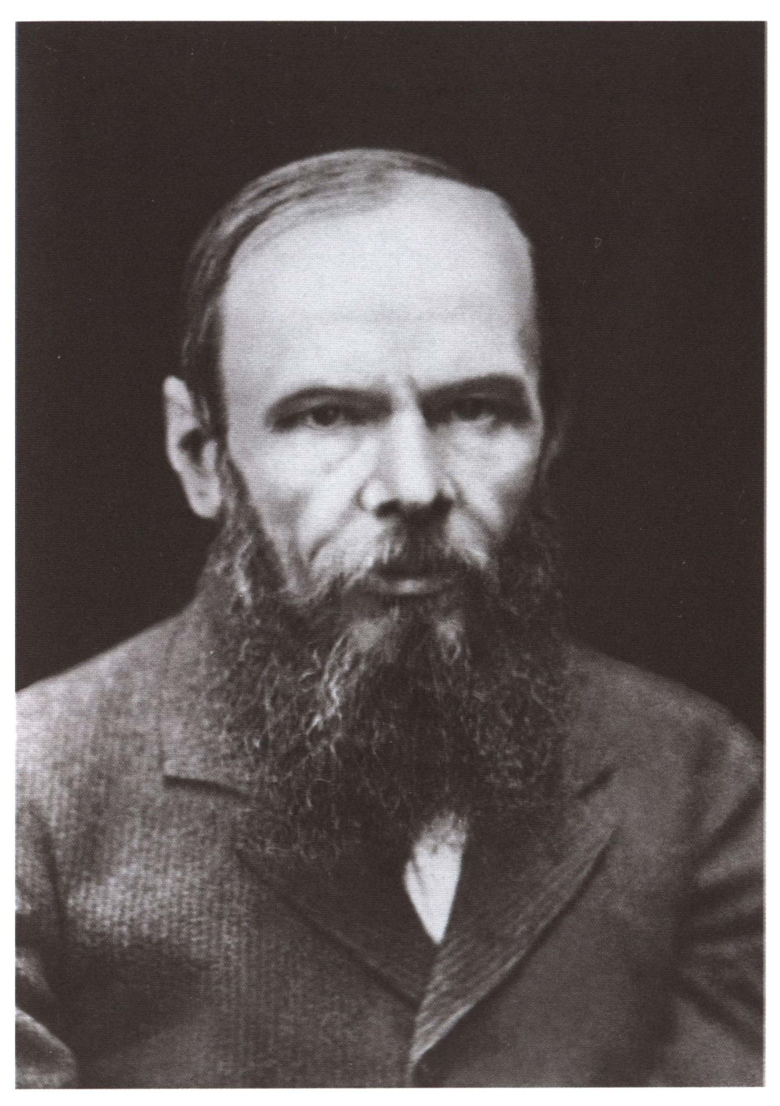
ное замечание: «Знаете ли, какие здесь плуты и мошенники встречаются. Право, черный народ здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего, а что глупее, то в этом сомнения нет. Ну вот Вы говорите про цивилизацию; ну что сделала им цивилизация и чем они так очень-то могут перед нами похвастаться!»).

С тем же чувством, которое сильно задело Достоевского, Тургенев заявил, что он окончательный атеист. Чем тут можно гордиться, Ф. М. положительно не понимал. «Боже мой: деизм нам дал Христа, то есть до того высокое представление человека, что его понять нельзя без благоговения и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный! А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские, нам представили? Вместо высочайшей красоты Божией, на которую они плюют, все они до того пакостно самолюбивы, до того бесстыдно раздражительны, легкомысленно горды, что просто непонятно: на что они надеются и кто за ними пойдет?»

В следующий раз, когда они увидели друг друга на вокзале в Баден-Бадене, им, по версии Ф. М., не захотелось даже и здороваться: Достоевский видел в Тургеневе изменника, «раздражение и остервенение которого до пены у рта на Россию происходит единственно от неуспеха "Дыма" и что Россия осмелилась не признать его гением». В ответном письме Майков развил мысль: «На счет Тургенева так и должно быть. Воображает из прекрасного далека, что Россия на коленях примет все, что он плюнет — а оказалось, что она смеет думать сама, и тебя судить. "Да как же она смеет? Да чтоб ей провалиться!" Вот весь процесс в чем. И ожидаю, что еще хлестнет он теперь с бешенством — Россия-то посмеется и по доброте своей пожалеет»[20].

Несомненно, эта встреча, даже если отдельные ее моменты были преувеличены Достоевским, дала если не план нового сочинения, то во всяком случае важную отправную точку мыслям о русском верхнем слое. Когда-то в юности Ф. М. писал брату: «Учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно». Три десятилетия назад речь шла только о книгах; теперь «учить характеры» приходилось в живом общении с авторами книг, не всегда радостном, не всегда свободном.

Впрочем, баден-баденское лето преподнесло еще одну неожиданную встречу — с Гончаровым. Автор «Обломова» являл собой загадку: писатель «с душою чиновника, без идей и с глазами вареной рыбы, которого Бог будто на смех одарил блестящим талантом» (так Достоевский писал о Гончарове в 1856-м). Спустя десятилетие они встретились на рулетке, и Гончаров вновь походил на конфузливого петербургского чиновника.



Ф. М. Достоевский. *1880 г.*

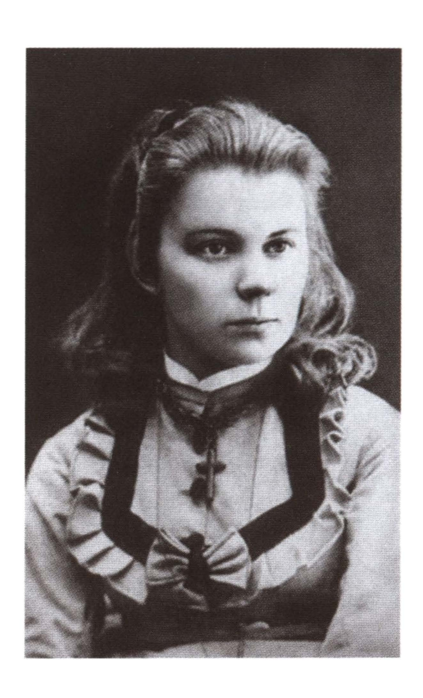


А. П. Суслова — возлюбленная писателя

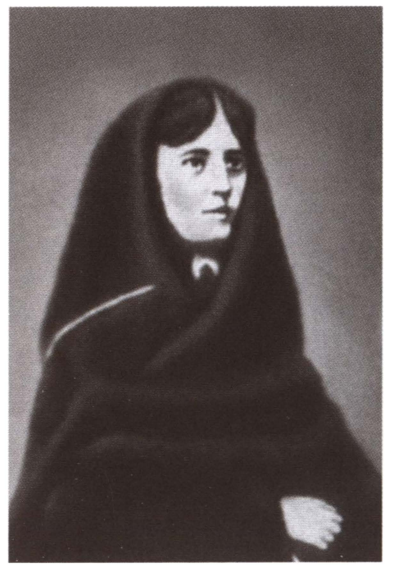


Доходный дом Алонкина на Малой Мещанской, где написаны романы «Игрок» и «Преступление и наказание»

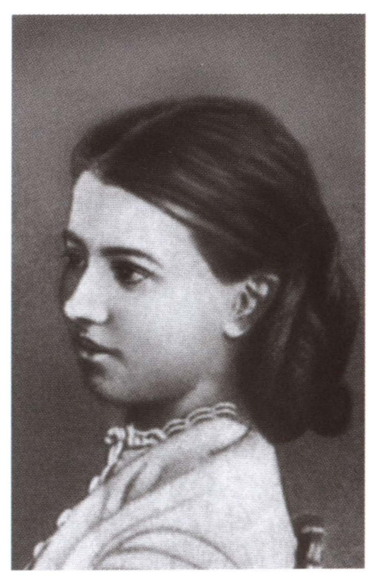
С. А. Иванова —
племянница Достоевского,
которой посвящен
роман «Идиот»

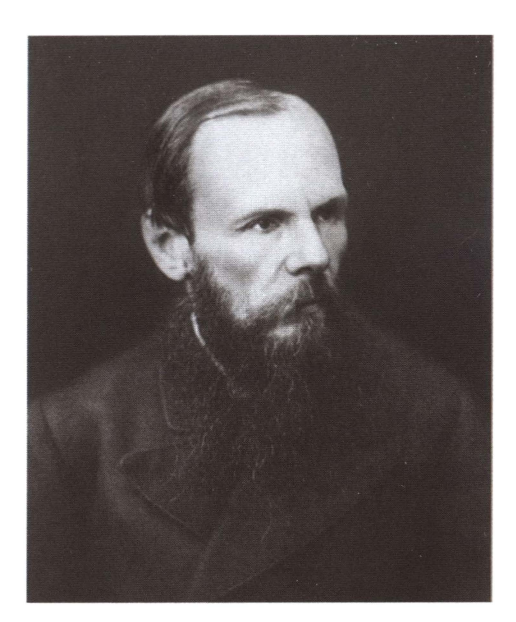


Анна Корвин-Круковская
(Жаклар)



Софья Корвин-Круковская
(Ковалевская)





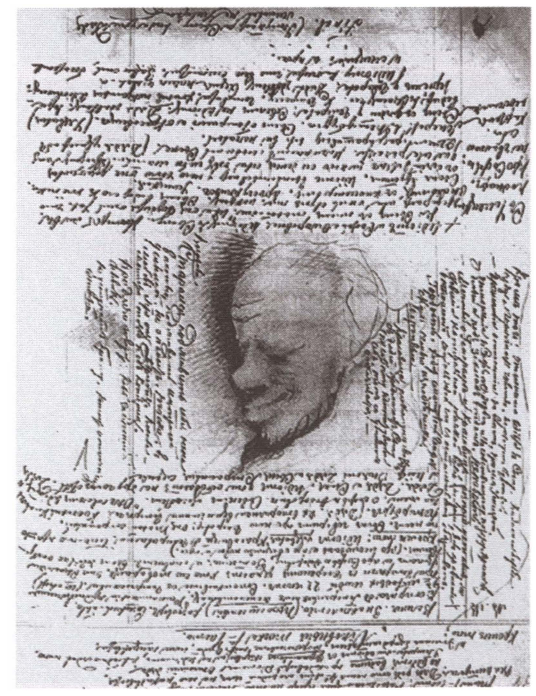
Ф. М. Достоевский.
Фото Н. Лоренковича. 1878 г.



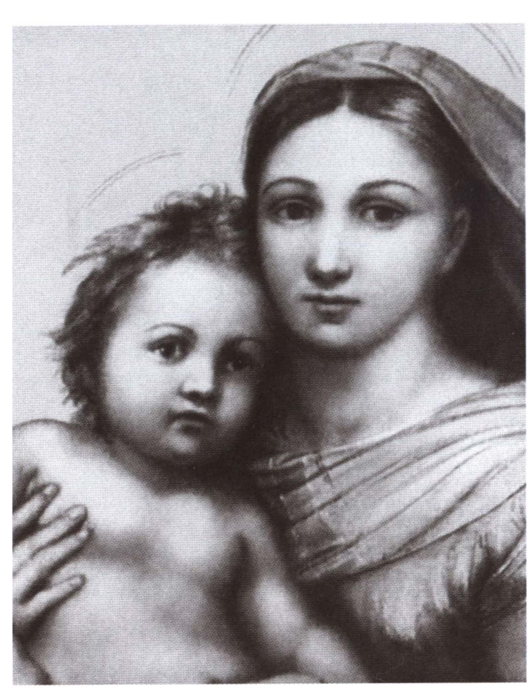
А. Г. Сниткина,
вторая жена писателя.
Фото 1863 г.



Рабочий стол
Достоевского



Черновик
романа «Идиот»

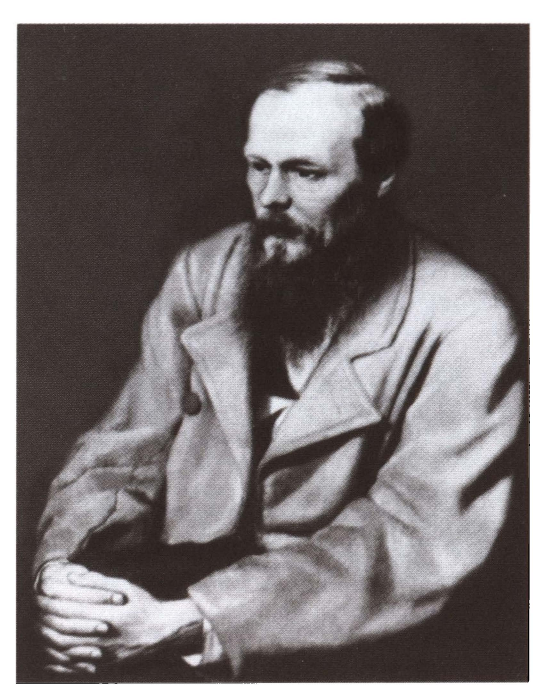


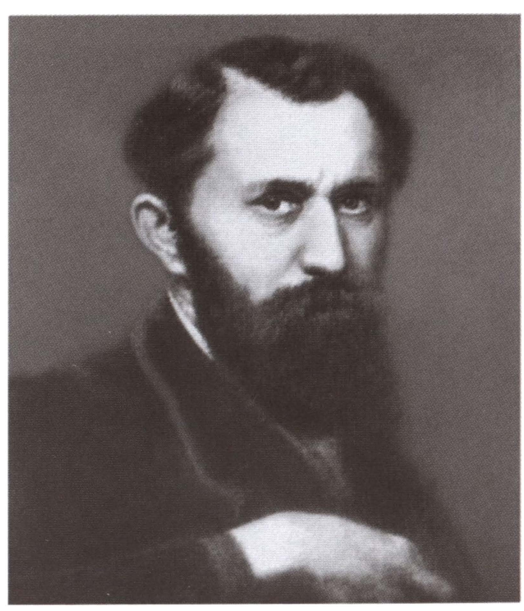
«Сикстинская мадонна» Рафаэля. *Фрагмент*

Любимая картина Достоевского — «Морской пейзаж» Клода Лоррена. *Писатель называл ее «Золотой век»*

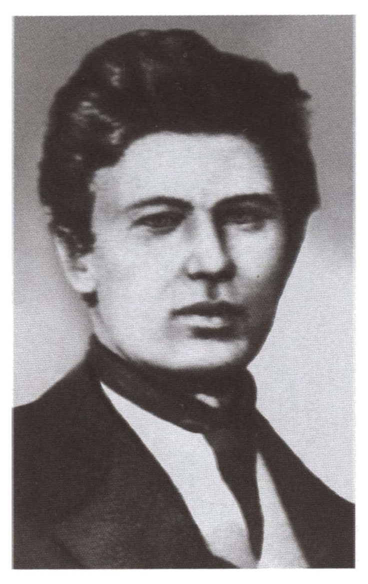


Ф. М. Достоевский.
Портрет
В. Г. Перова.
1872 г.

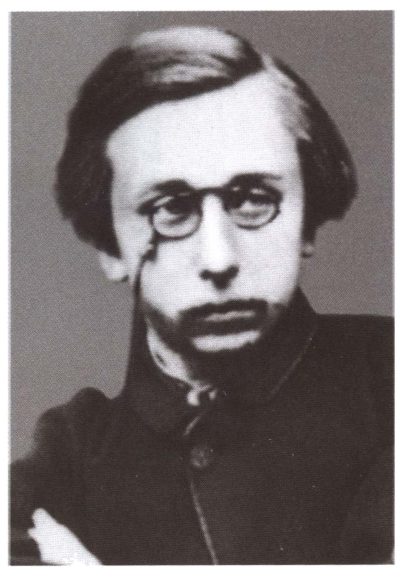




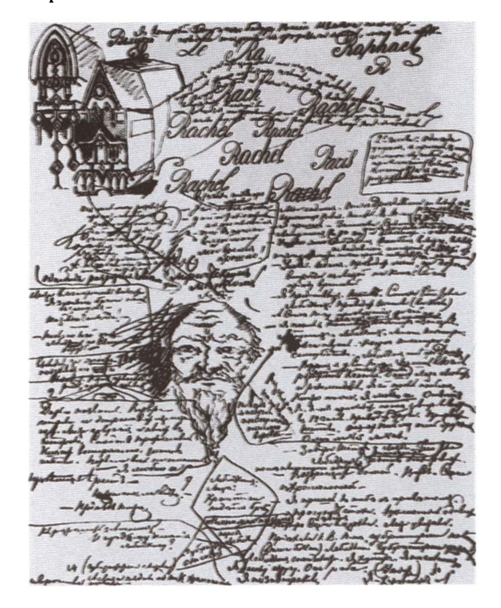
В. Г. Перов.
Автопортрет.
1870 г.



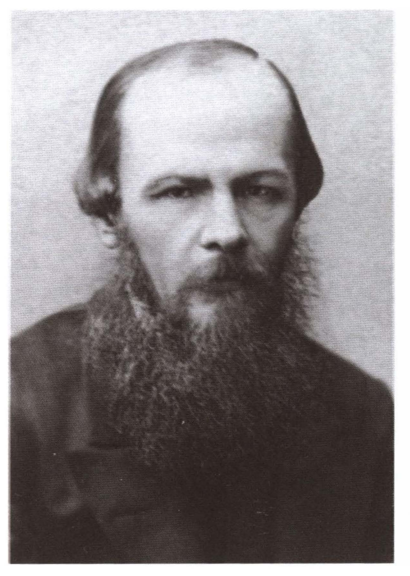
С. Г. Нечаев — создатель революционного кружка «Народная расправа», прототип П. Верховенского в романе «Бесы»



В. А. Зайцев — литературный критик, один из прототипов Шигалева в романе «Бесы»

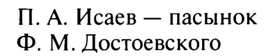


Заметки Достоевского к роману «Бесы»



Ф. М. Достоевский. *1872 г.*

А. Г. Достоевская. *1868 г.*



П. А. Исаев — пасынок
Ф. М. Достоевского

Алеша Достоевский —
сын писателя



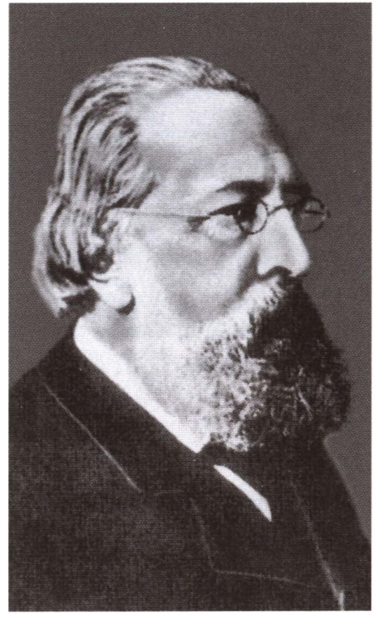




Федор и Любовь Достоевские — дети писателя

Дом Достоевского в Старой Руссе

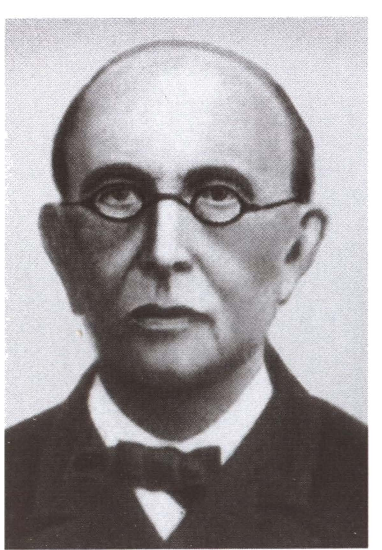




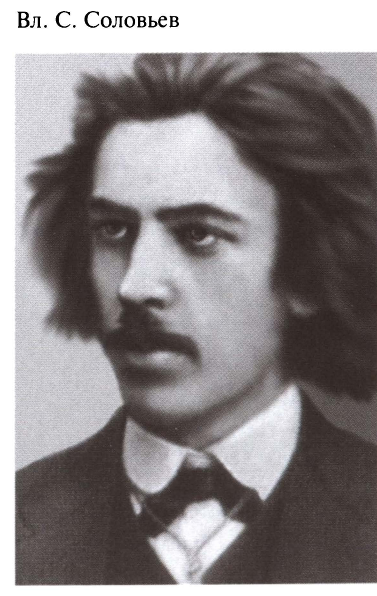
И. С. Аксаков

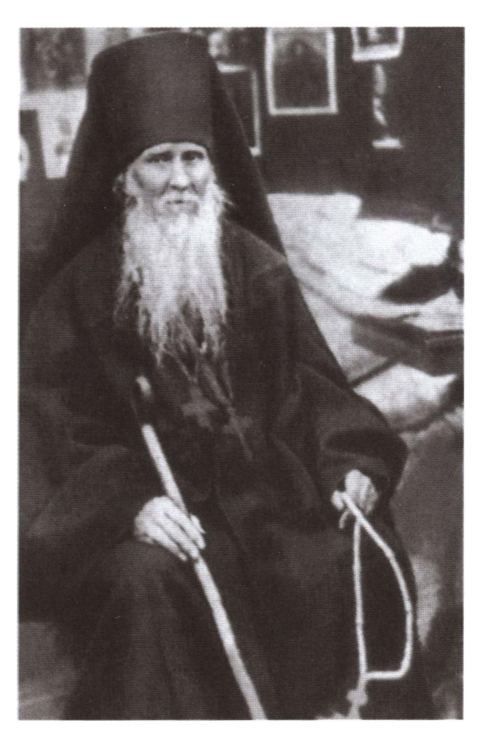
М. Н. Катков

К. П. Победоносцев



Вл. С. Соловьев

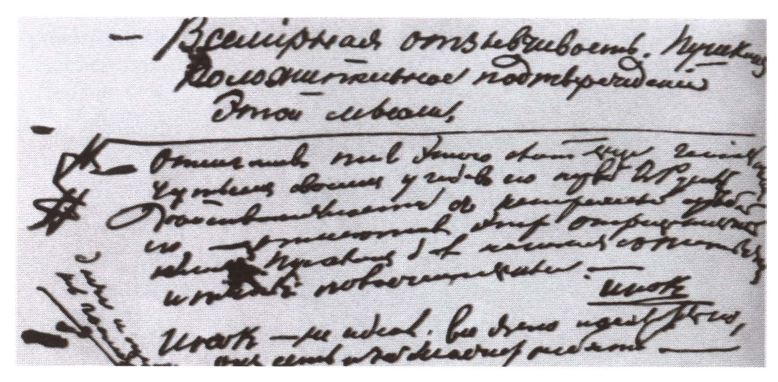




Старец Амвросий Оптинский — прототип старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы»

Дом в Оптиной пустыни, где останавливался Достоевский





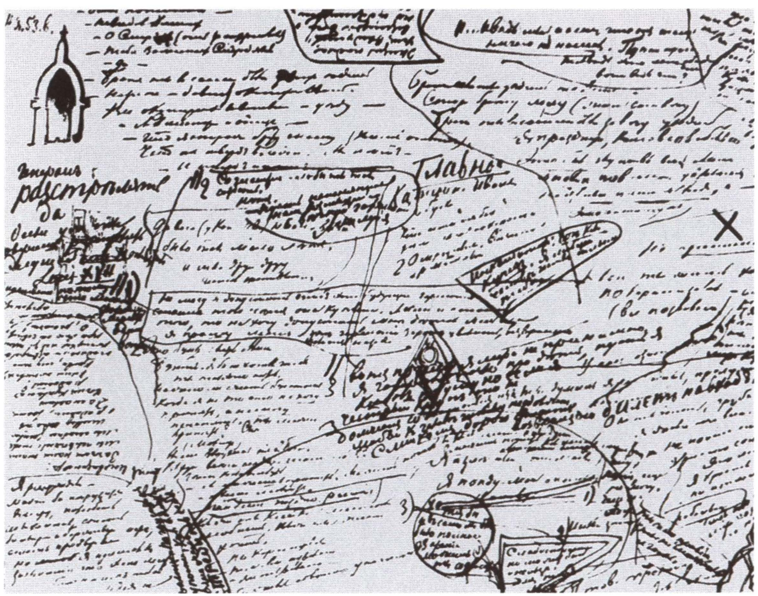
— Всемирная отзывчивость. Пушкин
Положительное подтверждение
этой мысли.

Набросок Пушкинской речи Ф. М. Достоевского

Открытие памятника Пушкину в Москве. *Рисунок М. Н. Чехова. 1880 г.*

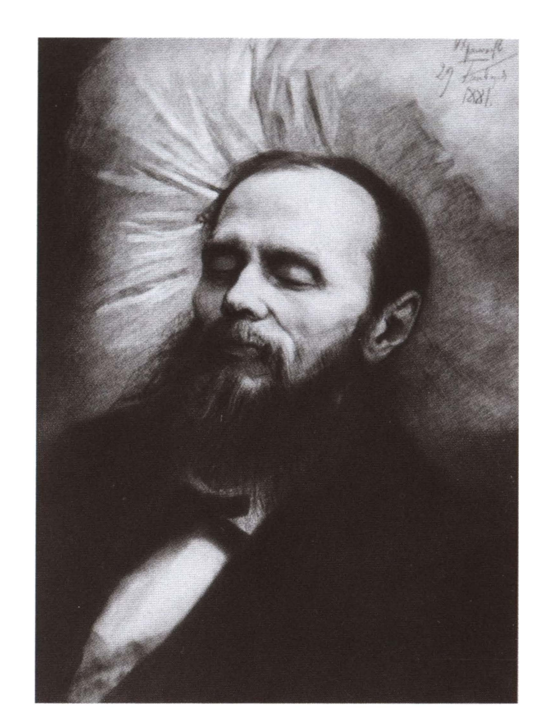


А. Г. Достоевская. *1881 г.*



Черновик романа «Братья Карамазовы»

Достоевский
на смертном одре.
*Рисунок
И. Н. Крамского.
29 января 1881 г.*



Похороны
Ф. М. Достоевского





Надгробный памятник Достоевскому в Александро-Невской лавре

Но как обманулся Ф. М. с внешностью Ивана Александровича, действительного статского советника и заядлого игрока. «Так как оказалось, что скрыться нельзя, а к тому же я сам играю с слишком грубою откровенностию, то он и перестал от меня скрываться. Играл он с лихорадочным жаром (в маленькую, на серебро), играл все 2 недели, которые прожил в Бадене, и, кажется, значительно проигрался. Но дай Бог ему здоровья, милому человеку: когда я проигрался дотла (а он видел в моих руках много золота), он дал мне, по просьбе моей, 60 франков взаймы. Осуждал он, должно быть, меня ужасно: “Зачем я всё проиграл, а не половину, как он?”».

Это тоже был хороший урок, особенно если помнить о лукавом письме Герцена...

По дороге в Женеву Достоевские на сутки остановились в Базеле — осмотреть древний город, ратушу, знаменитый Мюнстер, где похоронен Эразм Роттердамский, а главное — Художественный музей с шедевром великого немца, портретиста эпохи Возрождения, Ганса Гольбейна-младшего. О «Мертвом Христе в гробу» Ф. М. мог прочесть у Карамзина, в «Письмах русского путешественника», побывавшего в Базеле: «С большим примечанием и удовольствием смотрел там на картины славного Гольбеина, Базельского уроженца и друга Эразмова. Какое прекрасное лицо у Спасителя на вечери! Иуду, как он здесь представлен, узнал бы я всегда и везде. В Христе, снятом со креста, не видно ничего божественного; но как умерший человек изображен он весьма естественно. По преданию рассказывают, что Гольбеин писал его с одного утопшего Жида»[21].

Они стояли в пустой зале музея, вглядываясь в это странное, вытянутое в узкую, длинную полосу полотно. Ф. М. был взволнован, подавлен. Он даже встал на стул, рискуя уплатить штраф, чтобы получше рассмотреть изображение. Тем же вечером Анна Григорьевна записала: «Обыкновенно Иисуса Христа рисуют после его смерти с лицом, искривленным страданиями, но с телом, вовсе не измученным и истерзанным, как в действительности было. Здесь же представлен он с телом похудевшим, кости и ребра видны, руки и ноги с пронзенными ранами, распухшие и сильно посинелые, как у мертвеца, который уже начал предаваться гниению. Лицо тоже страшно измученное, с глазами полуоткрытыми, но уже ничего не видящими и ничего не выражающими. Нос, рот и подбородок посинели; вообще это до такой степени похоже на настоящего мертвеца, что, право, мне казалось, что я не решилась бы остаться с ним в одной комнате. Положим, что это поразительно верно, но, право, это вовсе не эстетично, и во мне возбудило одно только отвращение и какой-то ужас...»

В фигуре Спасителя, бессильно лежащего на спине, не было ни покоя, ни величия красоты, ни света жизни. Его плоть, как и плоть любого смертного, к которой беспощадна природа, постигли все признаки разрушения; поруганное тело хранило зримые следы истязаний: удары стражников, кровоподтеки, ссадины и ушибы от падения под тяжестью креста. В полуоткрытых глазах мертвая остекленелость закатившихся зрачков, губы застыли в судороге последнего стона; вокруг ран синие пятна, всклокоченные волосы, чернеющие конечности, остро торчащие ребра, провалившийся живот — страшная нагота, одиночество смерти в ее самом неприглядном виде.

Анна Григорьевна быстро ушла в другие залы. Когда вернулась, нашла, что муж стоит на прежнем месте как прикованный. «В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии. Я потихоньку взяла мужа под руку, увела в другую залу и усадила на скамью, с минуты на минуту ожидая наступления припадка. К счастию, этого не случилось: Федор Михайлович понемногу успокоился и, уходя из музея, настоял на том, чтобы еще раз зайти посмотреть столь поразившую его картину».

Остановка в Базеле более чем оправдала себя. Очень скоро копия картины «с трупом человека» окажется на стене мрачной залы угрюмого купеческого дома, и странный купец отважится показать ее взволнованному князю.

«— Я эту картину за границей видел и забыть не могу...

— На эту картину я люблю смотреть, — пробормотал, помолчав, Рогожин.

— На эту картину! — вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли, — на эту картину! Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!

— Пропадает и то, — неожиданно подтвердил вдруг Рогожин».

Позднее Анна Григорьевна засвидетельствует, что Достоевский разделял впечатление купца и князя. «Мертвый Христос» заставит его говорить о сущности веры и неверия.

Если крестьянин, которому приглянулись серебряные часы приятеля, взял нож, возвел глаза к небу, перекрестился и с молитвой: «Господи, прости ради Христа!» — зарезал приятеля и забрал у него часы, — то это вера или неверие? «Вот это я люблю! Нет, вот это лучше всего! — один совсем в Бога не верует, а другой уж до того верует, что и людей режет по молитве...» — хохотал купец, выслушав рассказ князя.

Если пьяный солдат продает барину оловянный нательный крест, выдавая его за серебряный, радуется, что обманул глупого покупателя, и пропивает деньги, — это вера или безверие?

Не брались об этом судить ни купец, ни князь: «Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить».

Разгадывать тайну «Мертвого Христа» возьмется и умирающий от чахотки юноша восемнадцати лет, которому в оставшиеся недели необходимо было во что бы то ни стало понять загадку картины («это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки еще до креста»), виденной в доме купца и вызвавшей бурю вопросов. «Если такой точно труп, — спрашивал юноша, — видели все ученики Его, Его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за Ним и стоявшие у креста, все веровавшие в Него и обожавшие Его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть, и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже Тот, Который побеждал и природу при жизни своей...»

У юноши ответов не было. Его тревожный ум шел дальше, пытаясь отгадать еще одну роковую загадку, от решения которой зависели последние минуты уходящей жизни. «Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя... в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо — такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа! Картиной этою как будто именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой всё подчинено, и передается вам невольно. Эти люди, окружавшие умершего, которых тут нет ни одного на картине, должны были ощутить страшную тоску и смятение в тот вечер, раздробивший разом все их надежды и почти что верования. Они должны были разойтись в ужаснейшем страхе, хотя и уносили каждый в себе громадную мысль, которая уже никогда не могла быть из них исторгнута. И если б этот самый учитель мог увидать свой образ накануне казни, то так ли бы сам он взошел на крест, и так ли бы умер как теперь?»

Нельзя жить, если жизнь принимает столь уродливые, обидные для человека формы, решал юноша, и выстрелом пытался сократить отпущенный ему срок...

К такому же решению придет и другой самоубийца, ужаленный идеей о безжалостной природе, безразличной к Христу распинаемому, Алексей Кириллов. «Этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека — одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после *Ему* такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и *Этого*, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить...»

Получалось, что не для чего.

Но как было не верить, что Христос — идеал человечества вековечный? Этой вере (Символу веры!) «Мертвый Христос» как будто не мешал...

Достоевский, приехав в Женеву с сильнейшим впечатлением, располагал жить и сразу включился в заботы о текущем: нужно было срочно писать статью «Знакомство мое с Белинским» для литературного сборника «Чаша» (что оказалось труднейшей, а главное, бесполезной работой, ибо сборник не состоялся); хотелось побывать на Конгрессе Лиги мира и свободы, где ждали выступлений Гарибальди, Бакунина и деятелей Первого интернационала («мирный конгресс», как и ожидал Ф. М., отличился драчливостью, ссорами и руганью); следовало приступить, наконец, к роману.

Казалось, он всячески оттягивает начало работы. Участились припадки, росло раздражение, выходили некрасивые ссоры с женой; он придирался к ней по всякому поводу, грубо ругался и кричал, говорил несправедливые и обидные вещи — и что одевается она как кухарка (до слез больно было слышать такие упреки — ведь это ее вещи он проигрывал на рулетке), и что кожа лица у нее нехороша из-за шоколада (потребовал носить вуаль), и что она слишком долго молится перед сном, и что теща присылает нефранкованные письма («это низко, право, такая подлая скупость», — записала Анна Григорьевна; в тот день он отнес в заклад их обручальные кольца, так как не на что было обедать).

Но как раз в тот день пришли деньги от Майкова, кольца временно уцелели и настроение переменилось: «У него есть решительно намерение отправиться туда, ведь вот странный человек; кажется, судьба так сильно наказывает, так много раз показала ему, что ему не разбогатеть на рулетке, нет, этот человек неисправим, он все-таки убежден, и я уверена, что всегда убежден, что непременно разбогатеет, непременно выиграет».

«Позоры и подлости» — будто не себя он винил и каялся — снова овладели игроком; теперь его манил Саксон-ле-Бен, швейцарский курорт со знаменитым казино в пяти-шести часах езды от Женевы.

Он был абсолютно уверен, что на этот раз...

Как только решение было принято и деньги Майкова были ассигнованы на рулетку, он стал милым, ласковым, заботливым и даже сказал своей Ане, что никого еще так сильно не любил, как ее и будущую Соню. «Вот такого-то я всегда и дожидалась, вот этих-то слов, потому что мне всегда хотелось, чтобы он сам сознался, что я доставляю ему счастье, что он никогда не был так счастлив, как со мною, и чтобы это убеждение, что он любит меня больше, чем всех, вошло ему в кровь и плоть, чтобы он был сам совершенно в этом уверен. Вот тогда я буду довольна и счастлива».

Счастье, однако, продлилось недолго: Ф. М. уехал на три дня и вернулся без денег, без кольца и без пальто. Играл с мечтой о десяти тысячах и не расстался с ней, даже когда вернулся пустой; и как только жена немного успокоилась, объявил ей, что непременно поедет в Саксон еще раз. Снова надо было унижаться перед Катковым, умолять Анну Николаевну хотя бы о 25 рублях, писать Яновскому, а пока закладывать вещи, сносить презрение закладчиков, слать в Саксон последние франки на выкуп пальто и кольца. «Как мне все это надоело», — писала Анна Григорьевна; они снова ссорились, упрекали друг друга и оба плакали от обиды (спустя десятилетия вдова Достоевского, спасая репутацию писателя, напишет, что это она подала ему мысль съездить в Саксон-ле-Бен попытать счастья на рулетке, чтобы отвлечься от печальных мыслей).

Через два дня жена обошла несколько купцов, чтобы заложить или продать кружевную мантилью, а перед сном почувствовала острые толчки в живот — забился их ребенок, и они снова были беспредельно счастливы, нежно ворковали в темноте ночи и хохотали, как школьники. Но проходил еще день, и он говорил ей, что с тех пор как женился, ему ничего не удается: ни денег нет, ни роман не ладится...

А роман действительно не ладился: менялись планы, намерения были неустойчивы, герои полярно изменчивы, в летучих набросках чувствовались фальшь и натужность («про работу мою Вам не пишу, да еще и нечего», — сообщал Ф. М. Майкову в октябре). Писатель тосковал и отчаивался, но игрок, едва пришли выпрошенные в долг сто рублей от Яновского, снова кинулся в Саксон. Чтобы Анна Григорьевна не противилась, предложил план: «жена-игрок» едет с ним, играет по маленькой и выигрывает, чтобы хоть оправдать дорогу. «Решительно

тем, что он хочет меня взять с собой, он хочет меня задобрить, чтобы я согласилась и не говорила, что дурно, что он едет», — сообщала жена дневнику: она не верила больше ни одному слову игрока-мужа и только покорялась неизбежному. Видя ее смирение, он благодарно признавался, что счастлив с ней, что большего счастья ему не нужно и что он любит ее без памяти.

Деньги Яновского ухнули на рулетке в Саксоне («жалкой деревнюшке») молниеносно. «Ведь я это так и знала, что это будет, как это все подло!» Он не отрицал. «Аня, милая, я хуже чем скот!» — писал он после проигрыша в октябре; «Аня, милая, бесценная моя, я всё проиграл, всё, всё! О, ангел мой, не печалься и не беспокойся! Будь уверена, что теперь настанет наконец время, когда я буду достоин тебя и не буду более тебя обкрадывать, как скверный, гнусный вор!» — писал он после проигрыша в ноябре.

Только теперь и наступило время писать. «Роман, один роман спасет нас, и если б ты знала, как я надеюсь на это! С любовью и с надеждой примусь за работу».

С начала декабря началось «мучительное выдумывание»; ежедневно выходило до шести «окончательных планов». «Голова моя обратилась в мельницу. Как я не помешался — не понимаю». 18 декабря началось составление связного текста (вечером он диктовал, утром жена переписывала), за 23 дня он написал первую часть, шесть с половиной листов, и выслал в Москву. «В сущности, я совершенно не знаю сам, что я такое послал. Но сколько могу иметь мнения — вещь не очень-то казистая и отнюдь не эффектная».

И все же вряд ли Ф. М. не чувствовал, сколь завораживающим получилось стремительное начало: «В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассвело...» Как в воронку, втягивался читатель в круговорот лиц и судеб, вслушивался в немыслимые диалоги, трепетал перед гибельными страстями. И вот что странно: если бы после игорного запоя 1867 года Достоевский сел снова писать про «подлости и позоры», это было бы понятно: писатель через творчество освобождается от пагубных страстей. Но «Игрок» был закончен и стал «теорией», что же до Гомбурга, Баден-Бадена и Саксона, они на практике подтвердили неотвратимую реальность Рулетенбурга. Но как было вместить в сознание то, что он задумал теперь, после искренних покаяний и после того, как «последние пределы» он раз за разом отодвигал и черту раз за разом переступал?

Как могло случиться, что «последние пределы» собственной жизни подвигли Ф. М. на невероятно рискованный твор-

ческий шаг, привели к едва ли выполнимому решению? «Давно уже мучила меня одна мысль, — писал он Майкову, — но я боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная и я к ней не приготовлен, хотя мысль вполне соблазнительная и я люблю ее. Идея эта — *изобразить вполне прекрасного человека*. Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, в наше время особенно. Вы, конечно, вполне с этим согласитесь. Идея эта и прежде мелькала в некотором художественном образе, но ведь только в *некотором*, а надобен полный. Только отчаянное положение мое принудило меня взять эту невыношенную мысль. Рискнул как на рулетке: "Может быть, под пером разовьется!" Это непростительно».

Взяться за *такого* героя было все равно что поставить свой драгоценный замысел на *zero*. Но проклятое зеришко пожирало всего только деньги, а тут было дело всей жизни, так что риск — в случае проигрыша — был бы смертелен для писательской репутации. Другое дело, что тут все же была не рулетка, не тупое и бездушное колесо. Тут было *перо*: вдохновение, фантазия, азарт художника, а не игрока; волшебство преображения обыденного в феноменальное. Здесь выигрыш весил много больше.

Меж тем *под пером* возникало так много вариантов, далеких от замысла, что однажды автор в растерянности остановился перед выбором: «*Загадка*. Кто он? Страшный злодей или таинственный идеал?»

Герой нового романа, Идиот, будущий князь Мышкин, двоился, движимый противоположными устремлениями, и пробовался вначале на роль злодея, в равной степени доступного и высотам добра, и крайностям зла. Как и автор, «везде и во всем» доходивший до «последнего предела» и «всю жизнь» переступавший черту, его герой, еще не сформировавшись в «положительно прекрасного человека», говорил о себе: «Или властвовать тирански, или умереть за всех на кресте — вот что только и можно, по-моему, по моей натуре, а так, просто я износиться не хочу».

Сквозь мерцающие черты замысленного героя проступал облик сильной, властной натуры — «страшно гордого и трагического лица». Болезненная гордость до такой степени возвышала его в собственных глазах, что он «не может не считать себя богом»; безмерное тщеславие и самолюбие рождали в нем исступленную жажду правды и подвига.

Достоевский, вынашивая «главную мысль об Идиоте», поначалу примеривал на него судьбу совсем другого героя. «Страсти у *Идиота* сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная, из гордости хочет совладать с собой и победить

себя. В унижениях находит наслаждение. Кто не знает его — смеется над ним, кто знает — начинает бояться». Герой, ощущая в себе переизбыток внутренних сил, страдал неверием; автор проводил его через все возможные *pro* и *contra* и замечал: «Он совсем не несчастен, совсем не обижен, но ему всё не по мерке, всё теснит». Порой виделся и трагический финал: жизнь такого героя должна была завершиться или великим подвигом или великим преступлением.

Когда инфернальная линия Идиота («страсть стальная, холодная бритва, безумная из безумных») была внезапно оборвана, а судьба человека, ищущего спасение на путях христианской любви и глубочайшего сострадания, отведена от бездн и «последних пределов», у Достоевского должно было возникнуть ощущение отложенного замысла.

«Первая часть, — писал он Майкову, — есть, в сущности, одно только введение. Одно надо: чтоб она возбудила хоть некоторое любопытство к дальнейшему. Но об этом я положительно не могу судить. У меня единственный читатель — Анна Григорьевна: ей даже очень нравится; но ведь она *в моем деле* не судья».

Кроме того, что жена была «не судья», она была еще и на сносях; тяжелая беременность подходила к концу, она чувствовала себя неплохо, наблюдалась у акушерки, усердно стенографировала и переписывала (ежедневная работа по «Идиоту» вытеснила дневник, и более он уже не возобновлялся), успела приготовить детское приданое. Они смогли переехать на квартиру из двух комнат, где и встретили новый, 1868 год, одни-одинешеньки, с четвертинкой шампанского, которое выпили, чокаясь за всех милых и дорогих. Для Анны Григорьевны это были ее мать, сестра и брат, для Ф. М. — семьи сестры Веры и брата Миши, а также Паша Исаев, который все так же оставался на обеспечении отчима и не торопился взять место (даже два), которое приискала ему сердобольная А. Н. Сниткина.

По уговору с Катковым «Русский вестник» начал ежемесячно высылать Достоевскому по 100 рублей в счет гонорара, но Ф. М. понимал, что троим этих денег будет не хватать; чтобы просить у журнала больше, надо было работать без устали, так что на каникулы он отвел себе всего два дня. «Для меня в этой работе почти всё теперь заключается, — всё обеспечение, хлеб насущный и вся моя будущность... И потому на романе совокупились все мои надежды; работать предстоит теперь месяца 4, почти не сходя со стула».

Но кто мог знать, что работа растянется на много месяцев...

Новый год начался с утрат. В январе не стало мужа сестры Веры — Александр Павлович умер, получив гнойное зараже-

ние крови во время операции. «Бедная Верочка была вне себя от ужаса, — вспоминал А. М. Достоевский, за десять дней до того видевший зятя бодрым и здоровым. — Остаться в молодых летах (39 лет) беспомощной вдовой с десятью сиротами, из коих старшая была уже совершеннолетняя, и младшие совершенные еще дети».

Горестным известием Ф. М. был поражен как громом. «Это так кажется невозможным, так безобразным, ужасным, что верить не хочется, представить нельзя, а между тем как припомнишь этого человека, как припомнишь, как лежало к нему сердце, то станет так больно и жалко, что уж не рассудком, а сердцем одним мучаешься и рад мучиться, несмотря на боль, как будто сам чувствуешь себя тоже виноватым». Достоевский отзывался о зяте как о святом человеке — имея десятерых детей, он едва ли не усыновлял и воспитанников. «У этого человека долг и убеждение — были во всем прежде всего». В дни общей печали, несмотря на «совершенно пролетарское и неизлечимо больное положение», Достоевский объявлял своей святой обязанностью выплату овдовевшей сестре долга брата Миши.

Радостное и желанное событие — рождение дочери — произошло под утро 22 февраля. Приглашенные акушерка и сиделка, глядя, как горячо молился муж роженицы, как, услышав первый крик младенца, вскочил с колен, подбежал к запертой на крючок двери и с силой толкнул ее, как бросился на колени у постели жены и стал целовать ей руки, как они оба были счастливы, услышав «Fillette, une adorable fillette!» («Девочка, очаровательная девочка!»), все повторяли: «Oh, ces russes, ces russes!» (О, эти русские, эти русские!). На восторженном и умиленном лице Ф. М. его жена увидела такую полноту счастья, какой доселе ей видеть не приходилось. То же примерно сказала и акушерка — за всю свою многолетнюю практику она не видела отца младенца в таком волнении и расстройстве.

Не пройдет и трех лет, как такие же слова произнесет Виргинская, повивальная бабка, принимавшая роды у Марии Шатовой. «И вот наконец раздался крик, новый крик, от которого Шатов вздрогнул и вскочил с колен, крик младенца, слабый, надтреснутый. Он перекрестился и бросился в комнату. В руках у Арины Прохоровны кричало и копошилось крошечными ручками и ножками маленькое, красное, сморщенное существо, беспомощное до ужаса и зависящее как пылинка от первого дуновения ветра, но кричавшее и заявлявшее о себе, как будто тоже имело какое-то самое полное право на жизнь...

— Веселитесь, Арина Прохоровна... Это великая радость... — с идиотски-блаженным видом пролепетал Ша-

тов... — Тайна появления нового существа, великая тайна и необъяснимая...

Шатов бормотал бессвязно, чадно и восторженно. Как будто что-то шаталось в его голове и само собою без воли его выливалось из души.

— Было двое, и вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих; новая мысль и новая любовь, даже страшно... И нет ничего выше на свете!»

Впрочем, *m-me Barraud*, акушерка, принявшая роды у Анны Григорьевны, по-русски не понимала...

В те дни Ф. М. написал несколько писем — Верочке, о том, что Аня подарила ему дочь, до смешного на него похожую; Эмилии Федоровне, с просьбой полюбить племянницу Соню, названную в честь Сонечки Ивановой («если б мальчик был, то был бы Миша, в честь милого и незабвенного нашего покойника»); Майкову — о том, что дочь — здоровый, крупный, красивый, милый, великолепный ребенок и что он, отец, без конца целует ее и по полдня не может от нее отойти; Паше Исаеву — с уведомлением о рождении сестры, которую просил любить.

«К моему большому счастию, — вспоминала Анна Григорьевна, — Федор Михайлович оказался нежнейшим отцом; он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завертывал ее в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только заслышит ее голосок. Первым вопросом при его пробуждении или по возвращении домой было: “Что Соня? Здорова? Хорошо ли спала, кушала?” Федор Михайлович целыми часами просиживал у ее постельки, то напевая ей песенки, то разговаривая с нею, причем, когда ей пошел третий месяц, он был уверен, что Сонечка узнаёт его».

Жена писателя не преувеличивала. Ф. М., познавший отцовство на 47-м году жизни, действительно оказался донельзя восторженным отцом. Крестной матерью Сонечки стала бабушка А. Н. Сниткина (ее приезд ожидался), крестным (заочно) — Майков, и счастливый отец писал будущему *куму*: «Ваша крестница... сообщаю Вам — прехорошенькая, — несмотря на то, что до невозможного, до смешного даже похожа на меня. Даже до странности. Я бы этому не поверил, если б не видел. Ребенку только что месяц, а совершенно даже мое выражение лица, полная моя физиономия, до морщин на лбу, — лежит — точно роман сочиняет! Я уж не говорю об чертах. Лоб до странности даже похож на мой. Из этого, конечно, следовало бы, что она собой не так-то хороша (потому что я красавец только в глазах Анны Григорьевны — и серьезно, я Вам ска-

жу!). Но Вы, сами художник, отлично хорошо знаете, что можно совершенно походить и не на красивое лицо, а между тем быть самой очень милой».

Взволнованное переживание позднего отцовства, заботы о хлебе насущном, ближайшие и отдаленные долги, усилившиеся припадки (климат Женевы усугублял падучую), послеродовое нездоровье Анны Григорьевны — все это плохо вязалось с усердной работой над романом, печатание которого уже началось и требовало ритмичного продолжения. И опять — желая *разом* выпутаться из положения, когда кредит истощен, вещи заложены, акушерка, сиделка, квартирная хозяйка и купцы-закладчики ждут срочных выплат, когда не на что вызвать доктора и купить лекарство для жены, — Ф. М., повинуясь проклятой мечте, снова устремился в Саксон-ле-Бен: маленькой Соне не исполнилось и месяца, когда, оставив жену с младенцем друг на друга, он отправился на рулетку.

Демоны игры, однако, не дремали и издевательски посмеялись над фанатиком *zero*. Сразу по приезде он за полчаса проиграл более 200 франков — все, что было с собой. «Прости, Аня, я тебе жизнь отравил! И еще имея Соню!.. Ангел мой, я тебя бесконечно люблю, но мне суждено судьбой всех тех, кого я люблю, мучить!.. Пришли мне как можно больше денег». Он снова заложил кольцо, не было денег на отель и обратную дорогу. «Прости, Аня, прости, милая! Ведь я как ни гадок, как ни подл, а ведь я люблю вас обеих, тебя и Соню (вторую тебя) больше всего на свете. Я без вас обеих жить не могу... Ноги твои целую, прости своего беспутного».

На следующий день он проиграл деньги, вырученные за кольцо.

Чтобы загладить вину за «скверное и низкое происшествие» и успокоить жену, он попытался объяснить, что Бог, по своему бесконечному милосердию, послал ему, беспутному, низкому и мелкому игрочишке, благую мысль, которая послужит к их окончательному спасению: во-первых, они все вместе переедут из Женевы в Веве, маленький городок на правом берегу Женевского озера с хорошим климатом, где не дуют холодные сухие ветры (*bise*) и где он сможет быстро закончить роман; во-вторых, еще до Веве он напишет Каткову с просьбой о новом авансе, в счет второго издания «Идиота» — в случае, если роман выйдет удачным. «О, прочь теперь игру, проклятый мираж, ничего не будет подобного никогда более!» — обещал Достоевский.

Как окажется, обещал опрометчиво.

К несчастью, они опоздают перебраться в безветренный Веве. В первых числах мая (по новому стилю) в Женеву при-

едет бабушка маленькой Сони — все думали, что для крестин. «Стояла дивная погода, и мы, по настоятельному совету доктора, каждый день вывозили нашу дорогую крошку в Jardin des Anglais, где она и спала в своей колясочке два-три часа. В один несчастный день во время такой прогулки погода внезапно изменилась, началась биза (bise), и, очевидно, девочка простудилась, потому что в ту же ночь у нее повысилась температура и появился кашель. Мы тотчас же обратились к лучшему детскому врачу, и он посещал нас каждый день, уверяя, что девочка наша поправится. Даже за три часа до ее смерти говорил, что больной значительно лучше. Несмотря на его уверения, Федор Михайлович не мог ничем заниматься и почти не отходил от ее колыбели. Оба мы были в страшной тревоге, и наши мрачные предчувствия оправдались: днем 12 мая (нашего стиля) наша дорогая Соня скончалась».

Это было страшное, невыразимое горе, не сравнимое ни с проигрышами, ни с безденежьем, ни с угрозой долговой тюрьмы. «Я не в силах изобразить того отчаяния, — вспоминала Анна Григорьевна, — которое овладело нами, когда мы увидели мертвою нашу милую дочь. Глубоко потрясенная и опечаленная ее кончиною, я страшно боялась за моего несчастного мужа: отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал, как женщина, стоя пред остывавшим телом своей любимицы, и покрывал ее бледное личико и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видала. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя. Два дня мы вместе, не разлучаясь ни на минуту, ходили по разным учреждениям, чтобы получить дозволение похоронить нашу крошку, вместе заказывали все необходимое для ее погребения, вместе наряжали в белое атласное платьице, вместе укладывали в белый, обитый атласом гробик и плакали, безудержно плакали. На Федора Михайловича было страшно смотреть, до того он осунулся и похудел за неделю болезни Сони. На третий день мы свезли наше сокровище для отпевания в русскую церковь, а оттуда на кладбище в Plain Palais, где и схоронили в отделе, отведенном для погребения младенцев. Через несколько дней могила ее была обсажена кипарисами, а среди них был поставлен белый мраморный крест. Каждый день ходили мы с мужем на ее могилку, носили цветы и плакали. Слишком уж тяжело было нам расстаться с нашею бесценною малюткою, так искренно и глубоко успели мы ее полюбить и так много мечтаний и надежд соединялось у нас с ее существованием!»

Достоевский воспринимал смерть дочери как тягчайший удар, величайшее испытание, посланное ему безжалостной судьбой. «Это маленькое, трехмесячное создание, — писал он

Майкову, крестному покойной Сонечки, — такое бедное, такое крошечное — для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил. И вот теперь мне говорят в утешение, что у меня еще будут дети. А Соня где? Где эта маленькая личность, за которую я, смело говорю, крестную муку приму, только чтоб она была жива?»

Мог ли забыть бедный Иов своих десятерых погибших детей, когда Господь благословил последние дни его больше, чем первые, и дал ему вдвое больше, чем отнял? Мог ли он смириться с гибелью прежних трех дочерей, притом что новые три дочери были прекраснее всех женщин на земле? Потеряв имение и детей, пораженный проказой, Иов разорвал верхнюю одежду свою, остриг голову и проклял день, в который родился. «Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастие» (Иов. 3:26).

Едва похоронив дочь, Достоевский должен был вернуться к работе над «Идиотом», наверстывать те две недели, когда не мог ни писать, ни думать. Безутешные отец и мать прощались со своей девочкой, сидели у подножия ее памятника и плакали, чувствуя свое сиротство и одиночество посреди тяжкого горя. Швейцария повернулась к ним черствой и бессердечной стороной: они не могли забыть, как соседи, зная об их тяжкой утрате, прислали просить, чтобы Анна Григорьевна не плакала так громко, ибо это действует им на нервы.

Грузовой пароход плыл по Женевскому озеру, пассажиров было немного. В первый раз жена услышала горькие жалобы Достоевского на судьбу, всю жизнь его преследовавшую. «Вспоминая, он мне рассказал про свою печальную одинокую юность после смерти нежно им любимой матери, вспоминал насмешки товарищей по литературному поприщу, сначала признавших его талант, а затем жестоко его обидевших. Вспоминал про каторгу и о том, сколько он выстрадал за четыре года пребывания в ней. Говорил о своих мечтах найти в браке своем с Марьей Дмитриевной столь желанное семейное счастье, которое, увы, не осуществилось... И вот теперь, когда это "великое и единственное человеческое счастье — иметь родное дитя" посетило его и он имел возможность сознать и оценить это счастье, злая судьба не пощадила его и отняла от него столь дорогое ему существо! Никогда, ни прежде, ни потом, не пересказывал он с такими мелкими, а иногда трогательными подробностями те горькие обиды, которые ему пришлось вынести в своей жизни от близких и дорогих ему людей».

Их сердца были исполнены скорби. Все разговоры были посвящены Соне. Каждый встретившийся ребенок напоминал о потере. «Никогда я не был более несчастен, как во всё это последнее время, — писал Достоевский Майкову. — Чем дальше идет время, тем язвительнее воспоминание и тем ярче представляется мне образ покойной Сони. Есть минуты, которых выносить нельзя. Она уже меня знала; она, когда я, в день смерти ее, уходил из дома читать газеты, не имея понятия о том, что через два часа умрет, она так следила и провожала меня своими глазками, так поглядела на меня, что до сих пор представляется и всё ярче и ярче. Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться! Если даже и будет другой ребенок, то не понимаю, как я буду любить его; где любви найду; мне нужно Соню. Я понять не могу, что ее нет и что я ее никогда не увижу».

Ему мнительно казалось, что никому в целом мире нет дела до бедной Сони. «Не передавайте известия о том, что моя Соня умерла, никому из моих *родных*, если встретите их, — просил он Майкова. — По крайней мере, я бы очень желал, чтоб они не знали этого до времени, разумеется, в том числе и Паша. Мне кажется, что не только никто из них *не* пожалеет об моем дитяти, но даже, может быть, будет напротив, и одна мысль об этом озлобляет меня. Чем виновато это бедное создание перед ними? Пусть они ненавидят меня, пусть смеются надо мной и над моей любовью — мне всё равно». Но скоро сам писал Паше о несчастье: «Бог поразил меня. Моя Соня умерла, и мы уже ее схоронили. Спасибо тебе, голубчик, за горячие твои пожелания и поздравления со счастием, но вот каково мое счастье. Ох, Паша, мне до того тяжело и горько, что лучше бы умереть. Если любишь меня хоть немного — пожалей! Это горе было большою причиною остановки моей в работе. Анна Григорьевна страдает ужасно (можешь себе представить). Всё за грехи мои. До сих пор ни капли не могу привыкнуть к этому несчастью и отвыкнуть от Сони».

Веве обманул ожидания Достоевских. «Городишка дрянной, 4000 жителей, и по несчастию нашему опять в дрянь попали». Здесь было ничуть не лучше, чем в Женеве, воздух расстраивал нервы, припадки участились, Ф. М. отчаивался, что не может работать так быстро, как прежде. «Ползу как рак, а начнешь считать — листа $3^1/_2$ аль 4 каких-нибудь, чуть не в целый месяц. Это ужасно, и что со мной будет, не знаю». Кроме панорамы Женевского озера («в самом роскошном балете такой декорации нету, как этот берег женевского озера...») в Веве не было ничего утешительного, ни русских газет, ни галерей, ни музеев. Нелюбовь Ф. М. к швейцарцам крепла день ото дня: «На иностранца смотрят здесь как на доходную статью; все их

помышления о том, как бы обманывать и ограбить». При малейшей возможности Веве следовало покинуть и забыть — держал здесь только «Идиот».

Романом он был недоволен «до отвращения». Впрочем, так или почти так писал он про каждое свое сочинение, которое давалось тяжким трудом и создавалось под гнетом житейских обстоятельств. Но тот капкан, в который Достоевский попал с князем Мышкиным, набрав у Каткова свыше пяти тысяч рублей серебром, отослав первую часть и имея ее опубликованной; обязанный, несмотря ни на что, довести дело до конца, стал для писателя спасительным. Никакой возможности рвать на себе одежды, обривать голову и проклинать «свой день» у него не было. Душа была нездорова, но неумолимо звала работа — только она способна была вытащить из западни и исцелить душу.

Князь Мышкин — в этом, быть может, и заключалась его человеческая миссия — протягивал писателю руку помощи: герой, гений сострадания, давал автору уникальный шанс выбраться из пучины горя.

Глава четвертая
ИДЕЯ СТАРИННАЯ И ЛЮБИМАЯ

Положительный идеал. — Первые отклики. — Фантасмагория или реальность? — Верность характеров. — «Красота — загадка». — Христоликий герой. — «Жизнь Иисуса». — Неизгладимый след. — «Атеизм». — «Хищный» тип. — Наслаждения и утоления

Роман «Идиот», первая часть которого вышла в «Русском вестнике» в январе 1868 года, открывался посвящением Софье Александровне Ивановой, любимой племяннице Достоевского.

Сонечка была «милым, бесценным, всегдашним другом», с которым он ощущал «сильную и особую» потребность говорить. «Таких как Вы я немного в жизни встретил, — писал ей Ф. М. — Вы спросите: чем, из каких причин я к Вам так привязался?.. Но, милая моя, на эти вопросы отвечать ужасно трудно; я запоминаю Вас чуть не девочкой, но начал вглядываться в Вас и узнавать в Вас редкое, особенное существо и редкое, прекрасное сердце — всего только года четыре назад, а главное, узнал я Вас в ту зиму, как умерла покойница Марья Дмитриевна... К Вам я привязан особенно... Мне Ваша сдержанность нравится, Ваше врожденное и высокое чувство соб-

ственного достоинства и сознание этого чувства нравится (о, не изменяйте ему никогда и ни в чем; идите прямым путем, без компромиссов в жизни...). Я в Вас особенно люблю эту твердую постановку чести, взгляда и убеждений... Я Ваш ум тоже люблю, спокойный и ясно, отчетливо различающий, верно видящий».

В многостраничных посланиях двадцатилетней «золотой Сонечке», которую писатель называл «дитя моего сердца», сквозило искреннее восхищение; он мечтал, что девушка вскоре поселится вместе с ними в Петербурге («Вы будете жить у нас; Вы нас ничем не стесните. Мы с Анной Григорьевной с восторгом говорим теперь об этом, и только об этом, чуть об Вас заговорим, что случается каждый день») и станет учиться стенографии, искусству высокому, требующему образования и знаний. Он ставил племянницу столь высоко, что, увлекаясь, подписывал письма слишком горячо: «Ваш весь, весь, друг, отец, брат, ученик — всё-всё!»; «Ваше имя мне слишком дорого, Вы и сестра моя и дочь моя».

Он пламенно желал, чтобы его «Идиот» был достоин посвящения, и считал своим долгом объяснить девушке суть замысла. «Идея романа — моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее, а если взялся теперь, то решительно потому, что был в положении чуть не отчаянном. Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение *положительно* прекрасного, — всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо. (Всё Евангелие Иоанна в этом смысле; он всё чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного.)».

Литературные аналоги — Дон Кихот, Пиквик, Жан Вальжан — при всей к ним симпатии Достоевского («из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот») имели с его героем мало общего. «Положительно прекрасный герой» с обидным прозвищем и подверженный припадкам; странный, будто бесполый молодой человек, налегке спустившийся с швейцарских гор в мир темных страстей и грязных денег неведомого ему родного отечества; бедняк, имеющий из всех талантов один только почерк; последний в своем роде сирота-князь, чей титул звучит будто в насмеш-

ку, — кого мог убедить такой идеал? Откуда явился он писателю? Кому могли быть интересны его приключения?

«Может быть, в сердце у меня и не слабо сидит, но ужасно труден», — писал Достоевский о Мышкине. Аполлон Майков, адресат письма, с ним соглашался: «Трудная задача взята Вами — [изобразить] хороших людей. С нетерпением жду, хочется узнать хотя бы главное — какого они сословия? чем выше, тем труднее задача, но роман с хорошими людьми — героями может рассчитывать на успех. Много вопросов они возбуждают: ошибаются они или нет? разочаровываются, исправляются, счастливы или несчастны... все это раздражает мое любопытство. Дай-то Бог им хорошую дорогу!»[22]

Выпуская свое сочинение в мир, автор хотел, чтобы оно возбудило хотя бы некоторое любопытство, чтобы читатели запомнили героя и ждали разрешения его судьбы. «Я обязан поставить образ» — это была еще одна задача, от решения которой зависел успех романа. Мнение Майкова он желал знать с «алчным нетерпением»: каждый день бегал на почту, мучился, сомневался, сокрушался. «Заключение вывожу ясное: что роман слаб и так как Вам говорить мне такую правду в глаза, по деликатности, и совестно и жалко, то Вы и медлите. А я именно в такой правде нуждаюсь! Жажду какого-нибудь отзыва. Без этого просто мучение».

Первые отклики успокаивали. «Биржевые ведомости» с сочувствием отмечали, что начало «Идиота» оставляет позади все, что появилось в текущем году по части беллетристики. «Русский инвалид» усмотрел, что мысль, на которую «напал» Достоевский, «очень счастливая», что герой — взрослый ребенок, который с первых же строк вызывает симпатии. «Интрига завязана необыкновенно искусно, изложение прекрасное, не страдающее даже длиннотами, столь обыкновенными в произведениях Достоевского». Даже «Санкт-Петербургские ведомости», привычно добавлявшие ложку дегтя и назвавшие центральных персонажей романа «аномалией среди обыкновенных людей», а сам роман «фантасмагорией», были не так уж неправы.

Наконец пришло долгожданное письмо Майкова, успевшего прочитать первую часть. «Имею сообщить Вам известие весьма приятное: успех, возбужденное любопытство, интерес многих лично пережитых удачных моментов, оригинальная задача в герое (которого, кажется, я угадываю, ибо он мне знаком — верите ли по ком?.. по себе! Но об этом не говорю, потому могу ошибиться, не зная, что у Вас в голове создалось и что будет дальше), генеральша, обещание чего-то сильного в Настасье Филипповне и многое, многое — остановило внима-

ние всех, с кем говорил я... Словом, можете быть за эту часть спокойны и работать с духом...»[23]

Среди тех, кого «опросил» Майков, были члены его семьи, литераторы, общие знакомые. «Сейчас пришел Соловьев и просит передать вам свой *искренний восторг* от "Идиота". Он свидетельствует, что видел на многих сильное впечатление: образы, говорит, в мозг врезываются»[24].

Обрадованный Достоевский ни словом не обмолвился, имеет ли догадка какое-либо основание. Важен был сам факт *узнаваемости* Мышкина, то есть его жизнеподобия. Если Майков угадывал в Мышкине себя, значит, Князь — не аллегория и не фантасмагория, а реальный в своем естестве и праве на существование герой. По-видимому, это и называлось: «поставить образ». Образ, подобие которого читатель обнаруживал в своей душе, несомненно, был «поставлен». «Умоляю Вас, голубчик, — отвечал Достоевский другу, — когда прочтете финал 2-й части (то есть в февральской книжке), напишите мне сейчас же. Поверьте, что Ваши слова для меня ключ живой воды. Этот финал я писал в вдохновении, и он мне стоил двух припадков сряду. Но я мог преувеличить и потерять меру и потому жду беспристрастной критики. О, голубчик, не осуждайте меня за это беспокойство как за тоску самолюбия. Самолюбие конечно есть, разве можно быть без него? Но тут главные мотивы мои, ей-богу, другие!»

Речь шла о фрагменте романа, который был отправлен в Москву в середине февраля и напечатан в февральской книжке журнала, — сцене у камина в гостиной Настасьи Филипповны. Критическое око Майкова этой сцены и коснулось: «Впечатление вот какое: ужасно много силы, гениальные молнии... но во всем действии *более возможности и правдоподобия, нежели истины*. Самое если хотите реальное лицо — Идиот (это вам покажется странным?), прочие же все как бы живут в фантастическом мире, на всех хоть и сильный, но фантастический, какой-то исключительный блеск. Читается запоем, и в то же время — не верится... Но сколько силы! сколько мест чудесных! Как хорош Идиот! Да и все лица очень ярки, пестры — только освещены-то электрическим огнем, при котором самое обыкновенное знакомое лицо, обыкновенные цвета получают сверхъестественный блеск, и их хочется как бы заново рассмотреть... В романе освещение как в последнем дне Помпеи; и хорошо, и любопытно (любопытно до крайности, завлекательно) — и чуждо!»[25]

Достоевский был благодарен другу за чуткость сердца и тонкость вкуса, но намекнул ему, что многие детали («вещицы») взяты с натуры, а «некоторые характеры — просто порт-

реты». Изнутри мир «Идиота» виделся писателю вовсе не фантастическим, а знакомым и обжитым. Дом генерала Епанчина, куда пришел князь Мышкин прямо с поезда, имел реальный аналог: семью генерала В. В. Корвин-Круковского. Добрейшая Елизавета Федоровна с характером избалованного ребенка (так описывала маменьку ее дочь Софья Ковалевская) была неотличимо похожа на Лизавету Прокофьевну, урожденную Мышкину, которая подружилась со своим однофамильцем-князем подобно тому, как сама Корвин-Круковская подружилась с Достоевским, когда тот рассказывал о минутах ожидания смертной казни, а она и две ее дочери сидели как загипнотизированные под властным обаянием рассказчика. Да и Анна Васильевна, руки которой в 1865 году просил Достоевский, слишком напоминала Аглаю Епанчину — в недолгом жениховстве писателю выпала та же роль незадачливого влюбленного, которого и стесняются, и третируют, и жалеют...

Доказывая в письме Майкову достоверность главной героини («в совершенную верность характера Настасьи Филипповны я и до сих пор верю»), Достоевский знал, о чем говорит. Ему была хороша знакома всепоглощающая женская гордыня в сочетании с больным эгоизмом. О драме уязвленной и надорванной женской души, рвущейся воевать со всем миром и сводить с ним изнурительные счеты, он тоже знал не понаслышке. Ему не нужно было изобретать «инфернальницу», чья жизнь — сумасшедшая игра страстей; он открывал ее, как открывают химические элементы. Открытое им вещество «НФБ» содержалось едва ли не в каждой героине романа; сама же Настасья Филипповна Барашкова состояла, кажется, из сгустка вещества в такой его высокой концентрации, что оно было несовместимо с жизнью.

Достоевскому довелось быть *отчасти Мышкиным* («слугой, другом и братом») и в паре с Анной Корвин-Круковской, и в паре с Аполлинарией Сусловой. И хотя он никогда не был тем Мышкиным, который не имеет занятий и мечется между двумя женщинами, вообразить подобную ситуацию было увлекательной задачей. Двадцатилетняя Аглая свежа и чиста; за ней нет никакого опыта — ни любви, ни страсти, ни утрат, ни страданий. Мышкин к ней привязался как к ребенку, в котором нет ни грязи, ни нажитого ужаса — того, что надо взваливать на плечи и тащить на себе. Но она увлеклась Мышкиным из каприза — ведь он ни на кого не похож, он лучше всех — и думает, что любит его. Она играет в любовь к Мышкину, как в куклы. Роман с Князем становится для нее захватывающим приключением, но до его судьбы ей нет никакого дела. Аглая готова отвернуться от Князя всякий раз, когда он «проваливается». Да-

же Лизавета Прокофьевна укоряет ее за отступничество: «От тебя-то я таких слов не ждала! Я думала, другое от тебя будет». Аглаю задевает, что такой красавице, как она, могут предпочесть другую женщину, старше, «опытнее», с дурной славой. Она раздосадована и оскорблена. Она в ярости...

«Красоту трудно судить, красота — загадка», — скажет Мышкин об Аглае. Это именно загадка, а не разгадка, ибо под красотой может скрываться то, что обнаружится в Аглае: взбалмошность, эгоистичность, требование всех совершенств — но только у других. Она привыкла, что ей всегда достается все самое лучшее, поэтому князь Мышкин, пока он фаворит в ее кругу, должен принадлежать ей, и никому другому. Капризная барышня, ревнивица, не привыкшая к неудачам, Аглая пойдет к Настасье Филипповне не бороться за свою любовь, а играть в эту борьбу, выяснять, кто из них лучше. Она придет мстить и грубо оскорбит соперницу («захотела быть честною, так в прачки бы шла»). Барышня, которая называет соперницу белоручкой и книжной женщиной, ужаснет князя Мышкина; он не сможет вынести ее несправедливого наскока на «несчастную»...

Если бы Достоевский вступил в спор по поводу сверхъестественного, как в «Последнем дне Помпеи», освещения лиц романа, он мог бы напомнить другу о «фантастическом реализме», который совсем не имел в виду небывальщину. Он мог бы объяснить, что, например, тип Парфена Рогожина, как и облик его дома, увиден не среди античных развалин, а в Москве, в особняке Куманиных, где были и опекуны-соблазнители, и соблазненные ими девушки-сиротки, и купцы-гарпагоны, и их сынки-транжиры, и ничтожные приживалы. Странные люди и факты, невероятные события, мудреные случаи, криминальные эксцессы, убийства и самоубийства — все это в изобилии поставляла и газетная уголовная хроника — бездонный кладезь самого фантастического содержания, без которой, живя вне России, Достоевский задыхался, точно рыба на берегу.

Интеллектуальные и религиозные споры, полемика с литературными оппонентами, пародии на «*а*бличительную» журналистику, обсуждение идей, которые витают в воздухе, и идей, вытащенных на улицу, пушкинская поэтическая стихия и стихия евангельского предания — всем этим арсеналом средств снабдил Достоевский роман, насыщенный, как кислородом, современностью. И в эту дымящуюся действительность он рискнул поместить героя, который должен был напоминать о положительно прекрасном человеке, обозначенном в набросках к роману как «Князь Христос».

Только на первый взгляд выбор героя мог показаться экстравагантным. Но Ф. М. не преувеличивал, когда называл идею романа «старинной и любимой». Он не забыл, как Белинский доводил его до слез, ругая Христа «по матерну». Он помнил ярость критика, когда тот кричал: «Ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества». Белинский нарочно дразнил его: дескать, Христос, явись он ныне, примкнул бы к движению социалистов и возглавил его. Так же и на петрашевских пятницах о Христе говорили как о карьеристе, и Достоевский помнил, как больно задевали его такие отзывы.

Живое чувство Христа никогда не покидало писателя — поэтому за минуту до казни, на эшафоте, он произнес сокровенное: «Мы будем вместе со Христом», а едва выйдя из каторги, сложил свой христоцентричный Символ веры. В Базеле, окаменев от потрясения, он не мог оторвать глаз от «Мертвого Христа» и с жарким, ревнивым интересом перечитывал «Жизнь Иисуса» Э. Ренана, французского писателя и ученого, утратившего веру под влиянием немецкой философии и признавшего невозможность для себя церковной карьеры после изучения библейской критики. Но даже и Ренан, несмотря на ученый скепсис, писал (и Достоевский знал это!), что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем. Ренан признавал, что в Христе Распятом сосредоточилось всё, что есть прекрасного и возвышенного. «Иисус не будут превзойден, его культ будет вечно обновляться, его легенды вызывать слезы без конца, его страдания трогать лучшие сердца, и все века будут гласить, что среди сынов человечества не рождалось более великого, чем Иисус»[26].

«NB. Ни один атеист, оспоривавший божественное происхождение Христа, не отрицал того, что ОН — идеал человечества. Последнее слово — Ренан. Это очень замечательно» — такую запись сделал Достоевский за четыре года до «Идиота». Но ведь и Белинский не отрицал этого. Отвергая божественность Христа, Белинский не признавал апелляции Гоголя к церкви и негодовал, что с ней Гоголь связывает Христово учение: «Но Христа, Христа-то зачем Вы примешали тут?! Что вы нашли общего между Ним и какою-нибудь, а тем более православной церковью?..»

«Вы молодец, — писал автору Страхов, прочитав первую часть «Идиота». — Так работать, как Вы работаете, победить все обстоятельства и завоевать публику, — ведь это просто богатырские дела. Ваш Идиот интересует меня лично чуть не

больше всего, что Вы написали. Какая прекрасная мысль! Мудрость, открытая младенческой душе и недоступная для мудрых и разумных, — так я понял Ваш задачу»[27].

Это было первое впечатление, искреннее, непосредственное — именно оно и не обманывало. Позже, сравнивая «Идиота» с «Войной и миром» (романы печатались одновременно), Страхов попытается убедить Достоевского, что история о Мышкине — художественная неудача, и будет советовать писателю «ослабить творчество», «понизить тонкость анализа». «На всем Вашем лежит особенный и резкий колорит... Вы загромождаете Ваши произведения, слишком их усложняете. Если бы ткань Ваших рассказов была проще, они действовали сильнее... Все, что Вы вложили в “Идиота”, пропало даром. Этот недостаток, разумеется, находится в связи с Вашими достоинствами. Ловкий француз или немец, имей он десятую долю Вашего содержания, прославился бы на оба полушария и вошел бы первостепенным светилом в Историю Всемирной Литературы... Вы до сих пор не управляете Вашим талантом, не приспособляете его к наибольшему действию на публику. Чувствую, что касаюсь великой тайны, что предлагаю Вам нелепейший совет — перестать быть самим собой...»[28]

Всё же Страхов судил об «Идиоте» с близкого расстояния и на близкую перспективу — и ошибся, полагая, что вложенное в роман содержание пропало даром. Достоевский от старинной идеи не отказался, продолжал любить свою «неудавшуюся» мысль, тонкости анализа не понизил, творчество не ослабил, содержания своих сочинений не упростил, и при этом сумел прославиться на оба полушария так, как не удалось ни одному *ловкому* европейцу XIX столетия.

Его полемическое высказывание о сущности исключительного и обыденного было связано с окончанием «Идиота» и адресовалось именно Страхову. «У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного... Неужели фантастичный мой “Идиот” не есть действительность, да еще самая обыденная! Да именно теперь-то и должны быть такие характеры в наших оторванных от земли слоях общества, — слоях, которые в действительности становятся фантастичными... Я не за роман, а за идею мою стою».

Но простой читатель стоял и *за роман*. В апреле 1868-го Яновский рассказал Достоевскому, как читают «Идиота». «Масса вся, безусловно вся в восторге! В клубе, в маленьких салонах, в вагонах на железной дороге... везде и от всех только и удается слышать: читали ль вы последний роман Достоевско-

го? ведь это прелесть, просто не оторвешься до последней страницы. В истине этих слов клянусь вам честью!.. Многие, многие, выражая мне свой восторг, говорили прямо, что они ничего подобного еще не читали, они влюблены в роман, а от истории Marie до сих пор плачут. Действительно, рассказ до того правдив и искренен, что я, грешный, не раз и не два прекращал чтение от того, что дух захватывало от легочного спазма и он проходил только от вспрыснувших слез!»[29]

Но самое главное было ниже: «К личности Идиота привязываешься до того, что спишь, обедаешь вместе с ним и в это время любишь его так, как любишь только самого себя»[30].

«Возлюбить человека, как *самого себя*, по заповеди Христовой, невозможно, — размышлял Достоевский у гроба жены четырьмя годами ранее. — Закон личности на земле связывает. *Я* препятствует». А тут читатель, не знакомый с этой дневниковой записью, простодушно полюбил книжного героя как самого себя, и *закон личности* ему не помешал. Значит, «Идиот» достиг такого градуса читательской признательности, на какой невозможно было и рассчитывать, пускаясь в авантюру и «рискуя как на рулетке». Несомненно, это была победа. Для романа о положительно прекрасном человеке и нужен был читатель, который мог бы полюбить Мышкина до легочных спазмов и сердечной боли; оказывается, роман учил именно такой любви.

Спустя столетие С. И. Фудель, вдохновенный истолкователь Достоевского, после долгого перерыва заново погружаясь в сочинения любимого писателя, скажет: «"Идиота" я перечитываю с великой благодарностью автору. Был он несомненно учитель христианства, и его только тот не понимает и не любит, кому непонятна христианская нищета ("блаженны нищие духом", "будь безумным, чтобы быть мудрым", "мы сор для мира"). Читаю, ухожу на работу на весь день и среди дня часто ловлю себя на том, что стараюсь быть лучше, чище, терпеливей, любовней, великодушней, проще, стараюсь подражать бедному Идиоту! Вот она, проповедь христианства, и я вновь услышал ее»[31].

Человек тяжелейшей судьбы (три десятилетия тюрем, лагерей и ссылок), Фудель почувствовал потенциал Мышкина по собственному инстинкту добра и не стеснялся признаваться, что часто молится за князя Льва Николаевича. Преподобный Иустин Попович, сербский богослов, писал о Мышкине как об удавшемся художественном опыте добра: Лик Христов — главная творческая сила в его душе. Мышкин в глазах Иустина — *христоликий* герой, который свидетельствует о Христе *психофизически*, опытом активной любви: смиряет бунтарский

дух, умиротворяет мятущиеся души, укрощает мятежные стремления[32].

Однако читатель «Идиота» должен был решать для себя множество вопросов. Зачем герой романа прибыл из Швейцарии в Россию? Только ли для получения наследства? Что было бы с ним, если бы, например, духовное завещание оказалось недействительным и «последний в роде» князь остался таким же нищим, каким приехал в Петербург? Почему вообще автор сделал его князем? Может ли положительно прекрасным человеком быть безродный бедняк? Почему князь, будучи честнее, благороднее, лучше, добрее всех, не смог помочь гордой и поруганной душе, что в него поверила? Почему автор, замыслив образ «положительно прекрасного человека», наделил его не силой и не волей, а только простодушием, целомудрием, кротостью, детской добротой? Почему *идеального* героя и *вполне прекрасного человека* Достоевский увидел в больном, с судорогами и припадками, молодом человеке, без семьи, дома, образования и талантов (если не считать каллиграфии)?

Но и это не всё. Как понимать дерзкий замысел Достоевского в свете его собственных слов: «На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос...»? Почему своего героя-идиота писатель настойчиво и многократно именует в черновых записях «Князь Христос»? Ведь если Мышкин, христоподобный герой, попав в мир темных эгоистических страстей, был призван восстановить хоть одну погибающую душу и возродить поруганную красоту, но сделать этого не сумел, значит, под удар поставлена сама идея христианской любви. Ибо чего стоит любовь-жалость, которой он любит Настасью Филипповну, если такая любовь губит и его, и ее?

Всем сердцем чувствовал этот трагический круг и сам Мышкин. Все люди вокруг него с первой минуты знакомства ощущали: он реально, в высшем смысле, *прикоснулся* к их жизни — и везде оставил *неизгладимый след*. В каждом, с кем он сталкивался, пробуждались — хоть на мгновение — лучшие качества, высокие чувства, благородные порывы, и люди, погрязшие в злобе и вражде, чудесным образом очеловечивались. В это драгоценное мгновение очеловечившийся человек успевал опомниться — и ощутить Князя Христа в своем сердце. Недаром совершилась чудесная перемена в лице генерала Епанчина: князь, прямо с вокзала пришедший к нему в дом с тощим узелком, ласковой незлобивостью смог покорить и его непробиваемое сердце. Недаром обжигающие, угольные глаза Настасьи Филипповны светлели, когда при первой же встрече у Иволгиных она дважды упомянула, что уже видела где-то лицо князя. Недаром волшебно преображалось искаженное гри-

масой лицо Парфена Рогожина: он неотступно следил за своим смертельным соперником, и в его огненных глазах лютая ненависть то и дело уступала место братской любви и надежде на счастье. Недаром так трепетно ощущала князя Лизавета Прокофьевна Епанчина, безошибочно опознавая в Льве Николаевиче *своего*. Недаром так вдохновенно заявлял о себе Лебедев вблизи князя: даже и такого насмешливого философа-плута не могли не покорить смирение, искренность и сердечная деликатность Мышкина.

Но беспомощный, вызывающий бесконечное сочувствие, неизлечимо больной князь был слишком далек от сияющего божественного идеала, и была бессильна его доброта. Писатель будто чувствовал роковую слабость героя, который так и не смог стать сильнее страданий: положительно прекрасный Мышкин — это мощнейший магнит, к которому примагничивается чужая боль, и он заражается ею, как смертельной болезнью. «Князь Христос» надеялся, что сможет рассеять мрак этого мира, обуздать хаос, прогнать демонов зла и небытия. Он мечтал, чтобы родные люди ясно читали в сердцах друг друга, чтобы не было сомнений в любви и отречений в дружбе, чтобы каинова печать не коснулась его крестового брата — Парфена Рогожина. Он хотел, чтобы между людьми, *от своего к своему,* протянулась цепь, по которой будут переданы заветы любви и братства, и тогда не умрет великая мысль. Но беспощадный мир капризных, себялюбивых людей, знающих только всеразрушающую ревность, сломал и вытолкнул на обочину ужаса самого прекрасного, самого хрупкого своего гостя, смешного гостя *из миров иных*... Христианская миссия князя была показана во всей ее трагичности, ибо трагично добро в мире, лежащем во зле.

Было великое множество читателей, которые искренне верили, что князь Лев Николаевич, безнадежный швейцарский пациент, несмотря на самые грустные прогнозы профессора Шнейдера, придет в себя, вернется к жизни и снова посетит свое несчастное, больное отечество... И было великое множество других читателей, для которых христианская миссия Мышкина представлялась сумеречным бредом писателя. В середине мая 1868 года поэт-сатирик Д. Д. Минаев написал для «Искры» (№ 18) фельетон, посвященный «Идиоту»: «Это такая сказка, в которой чем больше неправдоподобностей, тем лучше. Люди сталкиваются, знакомятся, влюбляются, дают друг другу пощечины — и все это по первому капризу автора, без всякой художественной правды. Миллионы наследства летают в романе, как мячики». Фельетон был украшен язвительной эпиграммой: «У тебя, бедняк, в кармане / Грош в почете —

и в большом, / А в затейливом романе / Миллионы нипочем. / Холод терпим мы, славяне, / В доме месяц не один, / А в причудливом романе / Топят деньгами камин. / От Невы и до Кубани / Идиотов жалок век. / “Идиот” же в том романе / Самый умный человек».

Демократическая критика, раздраженная «презрением к смуте» и резким неприятием нигилизма в романе, провозгласила его плодом больной фантазии, областью патологии, психиатрическим этюдом. Но даже и в самых радикальных откликах повисал вопрос: какую ценность в современном мире имеют честная простота и бесхитростность, откровенная, непоколебимая правдивость, чуткость к чужому горю, глубокая гуманность и братская любовь к людям? Пригодны ли эти качества для достижения общественных и личных целей или они губительны для человека современного общества? И сострадание вовсе не единственный закон бытия человечества, как это утверждает автор?

«Как безотрадно нужно глядеть на жизнь, чтобы лучшими представителями ее избрать идиота и камелию!» — недоумевала критика умеренного толка, вспоминая, что и в предыдущем романе этого писателя героями выступали убийца и блудница. Какие обстоятельства заставили его искать нравственную красоту человека в невыносимо тяжких, болезненных формах? Почему кошмар и уродство называются «искрой Божьей» и ставятся на пьедестал? Почему умственное и физическое здоровье, а также душевная норма не рифмуются у Достоевского с добром и красотой? Эти очевидные вопросы никогда не имели безоговорочных ответов.

...В сентябре 1868 года Достоевские оставили раздражавший нервы Веве, где они жили затворниками, и по горной дороге перебрались в Милан, который манил собором («знаменитый Миланский собор, громадный, мраморный, готический, весь вырезан a jour и фантастичен, как сон»), откуда, из-за дороговизны и неудобств, через два месяца переехали во Флоренцию, где и обосновались. Вернулось время музеев, дворцов, картинных галерей, а главное, библиотек, куда Ф. М. ежедневно приходил изучать русские газеты — был отлучен от русской прессы целых полгода, — а также всю зиму «с пользой и удовольствием» читал сочинения Вольтера и Дидро на французском языке, которым свободно владел.

«Идиот» подходил к концу, в январе 1869-го в «Русский вестник» были отосланы последние две главы романа, но будущее оставалось неясным: двухлетнему пребыванию за границей не было видно конца, работа измучила и истощила, шансов на второе издание, которое бы дало средства уплатить долги, не

было. «В Россию воротиться — трудно и помыслить. Никаких средств. Это значит как приехать, так и попасть в долговое отделение. Но ведь я уж там не рабочий. Тюрьмы я с моей падучей не вынесу, а стало быть, и работать в тюрьме не буду. Чем же я стану уплачивать долги и чем жить буду? Если б мне дали кредиторы один спокойный год (а они мне три года ни одного спокойного месяца не давали), то я бы взялся через год уплатить им работой».

Но свободы и покоя не было. Он вынужденно оставался за границей, чувствуя, как много теряет. «Здесь я тупею и ограничиваюсь, от России отстаю. Русского воздуха нет и людей нет. Я не понимаю, наконец, совсем русских эмигрантов. Это — сумасшедшие!» «Не в моем положении жить сложа руки: надо работать и долги отдавать», — писал Ф. М. Майкову и в доказательство своей творческой предприимчивости сообщил о новом замысле. «У меня на уме теперь огромный роман, название ему “Атеизм” (ради Бога, между нами), но прежде чем приняться за который, мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных. Он поспеет, даже при полном обеспечении в работе, не раньше как через два года. Лицо есть: русский человек нашего общества, и *в летах*, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, — *вдруг*, уже в летах, теряет веру в Бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличился. (Разгадка психологическая; глубокое чувство, человек и русский человек.) Потеря веры в Бога действует на него колоссально. (Собственно действие в романе, обстановка — очень большие.) Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадается на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины — и под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русского Бога».

«Для меня так: написать этот последний роман, да хоть бы и умереть — весь выскажусь». «Этот последний роман» автор обещал на продажу не отдавать.

Что означало намерение писателя после романа о «Князе Христе» взяться за сочинение, где русский человек средних лет вдруг теряет веру в Христа и после многих искушений обретает ее вновь? Быть может, обострилось ощущение хрупкости веры, не закаленной в горниле сомнений, но полученной изначально — она способна пропасть и от созерцания «Мертвого Христа», и от жестокой, без жалости и сострадания, страсти, как у Рогожина, и от жгучей, сумасшедшей ревности, и от изу-

чения немецкой философии, и от погружения в критическую библеистику. Будоражила мысль о *внезапности* утраты — вера могла пропасть *вдруг*, стоило человеку выпасть из привычной колеи. Ф. М. остро ощущал жажду человека, оставшегося без религиозного стержня, обрести замену, которая станет мотором жизни. И нужно было понять — что это за вера такая, если православный крестьянин с молитвой режет горло товарищу, чтобы забрать у него часы?

Очевидно: *отложенный замысел* требовал воплощения. Первоначальный образ Идиота, когда он мыслился существом инфернальным, рвался наружу.

Образ сильной, демонической личности, который вначале ассоциировался с персонажем «Идиота», не впервые волновал Достоевского. Ему давно представлялось загадочное трагическое лицо, мерещилась мрачная фигура; воображение рисовало ее обобщенный художественный портрет; готовый набросок хотелось немедленно пустить в дело. Но как только он пытался приспособить его для сочиняемого произведения, ничего не получалось: масштаб «сильного» героя оказывался несоизмерим с персонажами «текущего романа» и поэтому чуждым ему. Наброски о сильном типе откладывались и накапливались. От работы 1866 года остался фрагмент, адресованный, видимо, Свидригайлову, но так и не пошедший в текст «Преступления и наказания».

«NB. Сильные и бурные порывы. *Никакой холодности и разочарованности, ничего пущенного в ход Байроном.* Непомерная и ненасытимая жажда наслаждений. Жажда жизни неутолимая. Многообразие наслаждений и *утолений*. Совершенное сознание и *анализ* каждого наслаждения, без боязни, что оно оттого ослабеет, потому что основано на потребности самой натуры, телосложения. Наслаждения артистические до утонченности и рядом с ними грубые, но именно потому, что чрезмерная грубость соприкасается с утонченностию (отрубленная голова). Наслаждения психологические. Наслаждения уголовные нарушением всех законов. Наслаждения мистические (страхом ночью). Наслаждения покаянием, монастырем (страшным постом и молитвой). Наслаждения нищенские (прошением милостыни). Наслаждения Мадонной Рафаэля. Наслаждения кражей, разбоем, наслаждения самоубийством... Наслаждения образованием (учится для этого). Наслаждения добрыми делами».

«Демон, сильные страсти», — записал Достоевский в черновиках, подводя итог программе. Вслед за Аполлоном Григорьевым он называл такую личность «хищным типом». Коллекционируя наслаждения и унижения, чередуя грубые и

утонченные «утоления», «хищный тип» ценил «совершенное сознание и анализ каждого наслаждения». Значит, прежде чем заразить героя неистовством страстей и безудержем наслаждений, следовало обучить его искусству самоанализа. Сильно ограничив героя-аналитика в части «утолений», Достоевский сначала попробовал именно анализ. Задуманные еще за год до «Преступления и наказания» «Записки из подполья» должны были поставить кардинальный вопрос: чем обернется анализ, то есть аналитические рассуждения или исповедальный рассказ в том случае, если это будет рассказ «Из Подполья», а рассказчик — лицом не столько демоническим, сколько искаженным и изуродованным от страдания и самоказни?

Подпольный парадоксалист, трагический герой с разорванным сознанием, говорил о себе: «Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить... Я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй...» «Записки» фиксировали состояние души парадоксалиста в тот момент, когда в своих «подлостях и мерзостях» ему захотелось исповедаться — написать «сочинение». Сорок лет жизни Подпольного, бездарно истраченных, внезапно начали осознаваться им особенно болезненно и напряженно. Он чувствовал в себе странные перемены: возвращалась память; запрет на воспоминания «прежних приключений» отменялся, и тогда уже сами воспоминания побуждали к делу.

Переход от «только воспоминаний» к «еще и записыванию» с целью испытания себя «всей правдой» стал пробным шагом для будущего «хищного типа». Шагом тем более грандиозным, что аналогов, где бы испытатель достиг цели, как будто и не было. «Гейне утверждает, — говорил парадоксалист, — что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам об себе наверно налжет. По его мнению, Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди, и даже умышленно налгал, из тщеславия. Я уверен, что Гейне прав; я очень хорошо понимаю, как иногда можно единственно из одного тщеславия наклепать на себя целые преступления, и даже очень хорошо постигаю, какого рода может быть это тщеславие».

Предстояло — вместе с Подпольным — решиться на важный выбор. Если кому-то невтерпеж сказать о себе «всю правду», зачем непременно это надо делать на публике? Какое дело публике до чьей-то правды? Ведь «люди боязливы лишь перед тем, что прямо угрожает личным их интересам», — скажет позднее исповедующемуся опытный исповедник. Не рассчитывая на читателей и публику, не испытав искушений публич-

ностью и откровенно стесняясь ее, Подпольный задавал себе главный вопрос: «Для чего, зачем собственно я хочу писать? Если не для публики, так ведь можно бы и так, мысленно всё припомнить, не переводя на бумагу?»

От варианта «мысленно припоминать, не переводя на бумагу» откажутся все последующие «хищные» и «подпольные»: соблазн писаной бумаги, как и соблазн типографского станка, печатающего исповеди и криминальные записки, станет в будущем одним из сильнейших «утолений». «Хищный тип», прошедший лабораторию подпольных «Записок», захочет познать одно из сильнейших наслаждений — наслаждение публичностью.

Что же дали подпольному сочинителю его литературные занятия? Как повлиял на него сам процесс сочинительства? Получил ли он желанное облегчение? Он сравнивал два свои обращения к литературе: первое, когда он, задумав отомстить обидчику-офицеру, сочинил про него повесть-карикатуру, обличил, оклеветал, отослал рукопись в «Отечественные записки», там не напечатали, и сочинителя душила злоба. Первая проба пера, рожденная местью и ненавистью, оказалась творчески бессильной. Попытка сказать «всю правду» через десятилетия подполья имела другие последствия — литература обрела роль «исправительного наказания». Как ни тяжело оно было, как ни бунтовал Подпольный против придуманного им истязания, литературный эксперимент не пресекся на первом опыте: «Он не выдержал и продолжал далее...»

Главное сочинение «из подполья» было впереди...

Тема «хищного типа» всплыла вскоре после окончания «Идиота». Между двумя персонажами «Вечного мужа» (рассказа, который Достоевский отдал в журнал Страхова «Заря» в конце 1869 года) происходил любопытный разговор.

Вельчанинов: «Фу, черт! да вы решительно “хищный тип” какой-то! Я думал, что вы только “вечный муж”, и больше ничего!»

Трусоцкий: «Это как же так “вечный муж”, что такое?.. Хищно-то что ж? Какой такой “хищный тип-с”? Расскажите, пожалуйста, Алексей Иванович, ради Бога-с, или ради Христа-с... Очень меня заинтересовало то, что вы... упомянули про хищный тип-с!.. Я ведь об “хищном” этом типе и об “смирном-с” сам в журнале читал, в отделении критики-с... Я вот именно желал разъяснить: Степан Михайлович Багаутов, покойник-с, — что он, “хищный” был или “смирный-с”? Как причислить-с?»

Скорее всего, персонаж «Вечного мужа» имел в виду одно интересное место из журнальной статьи Страхова, напечатан-

ной в «Заре», где позже публиковался и рассказ Достоевского (почему бы персонажам одного автора не посудачить о других авторах и их сочинениях, тем более если они приписаны к одному журналу?).

Меж тем Страхов вспоминал литературную классификацию Аполлона Григорьева: «Григорьев показал, что к чужим типам, господствовавшим в нашей литературе, принадлежит почти все то, что носит на себе печать героического, — типы блестящие или мрачные, во всяком случае сильные, страстные, или, как выражается наш критик, хищные. Русская же натура, наш душевный тип явился в искусстве прежде всего в типах простых и смирных, по-видимому, чуждых всего героического, как Иван Петрович Белкин, Максим Максимович у Лермонтова и пр. Наша художественная литература представляет непрерывную борьбу между этими типами, стремление найти между ними правильные отношения, — то развенчивание, то превознесение одного из двух типов, хищного или смирного»[33].

Схема Страхова, так интересовавшая персонажей «Вечного мужа», у Достоевского должна была вызвать по меньшей мере недоверие. Во-первых, даже самый мизерный человек, явившийся в типе «простом и смирном», жаждал самоопределения и хотел точно знать, куда и как себя «причислить». Во-вторых, каждый «хищный» имел две ипостаси, и зло в нем сосуществовало с порывами смиренного и великодушного добра. (В поздней программе «хищного типа» Достоевский предпишет ему даже две деятельности — в одной из них он поведет себя как великий праведник, в другой — как «страшный преступник, лгун и развратник».) В-третьих, «хищный» и «смирный» всегда могли поменяться местами и даже перепутать роли: каждый «смирный» был втайне одержим своим собственным «хищным» — злым гением или демоном.

Каждому «смирному», вероятно, посылалось видение своего демона. «Смирный» примерял его одежды, маски, втайне пробовал его жесты: каждый «смирный» мечтал о себе как о «хищном», «ибо соблазняем был». Даже князь Мышкин — уже в образе положительно прекрасного героя — претерпевал «возмущающие нашептывания» демона, вселившегося в его сердце: «Странный и ужасный демон привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его более». Мышкин страстно отрекался от настырного демона, и тогда радость наполняла его душу; но затем больные страхи возвращались, он опять верил неотступному голосу, бледнел, слабел, страдал — «смутная, потерянная улыбка бродила на посинелых губах его...». Демон как будто побеждал, «низкое предчувствие» обращалось

в нестерпимый прилив стыда и отчаяния, но всё кончалось страшным воплем падучей: стыд был напрасен, нож Рогожина метил ему в горло, но Мышкин и не подумал отвести предательскую руку...

Убийцу остановил крик: «Парфен, не верю!..»

Демон Мышкина, как и нож Рогожина уничтожились в ту же минуту, будто их никогда и не было. Осталась только лужица крови около головы упавшего навзничь князя.

Ту минуту Мышкин смог оставить за собой. Но она станет последней его победой.

Глава пятая

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ О ЗАГОВОРЩИКАХ

Возвращение прошлого. — «Приказано следить». — Подлая книжонка. — Рождение Любы. — Вечный Паша. — Московское убийство. — Предыстория трагедии. — «Народная расправа». — Катехизис революционера. — Нечаев и нечаевцы. — Богатая идея

«Мы на людском пиру не гости, / Кровь наша стынет, мерзнут кости, / И гробовая тишина / Судьбою нам обречена. / Не ночь одну в тоске глубокой, / Без сна, глядя на двор широкой, / На мертвый снег, на лунный свет, — / Я думал, что надежды нет! / Но чтоб разрушить власть могилы, / Сбирал все внутренние силы / И в старой Библии гадал, / И снова жаждал и мечтал, / Чтоб вышли мне по воле рока / И жизнь, и скорбь, и смерть пророка».

Мемуаристка В. В. Тимофеева-Починковская рассказывала, что эти строки Николая Огарева из поэмы «Тюрьма» (1857—1858) Достоевский читал ей с «мистическим восторгом на лице» и как бы предаваясь тому своему настроению, когда, заключенный в Петропавловскую крепость, он получил в камеру Библию.

Однако личное знакомство с Огаревым, не оставшееся без последствий, имело место не в неволе, а за границей. «Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких, — вспоминала Анна Григорьевна. — Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств. Из прежних же он встретил в Женеве одного Н. П. Огарева, известного поэта, друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились. Огарев часто заходил к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал нас иногда десятью франками, которые мы при первых же деньгах возвращали ему. Федор Михайлович ценил многие стихотво-

рения этого задушевного поэта, и мы оба были всегда рады его посещению...» Огарев был товарищем по несчастью — страдал тяжелой падучей; однажды в припадке упал на дороге, сломал ногу, пролежал в придорожной канаве до утра, жестоко простудился и был увезен друзьями на лечение в Италию.

Летом 1868 года, сразу после отъезда Достоевских из Женевы, напоминавшей им о смерти Сони, выступили наружу и стали болезненно беспокоить обстоятельства давно прошедших лет. Странным, причудливым образом к писателю возвращалось прошлое. Казалось, он сам, сетуя на судьбу, не пощадившую его первенца, бередил старые раны. Но прошлое решило напомнить о себе и независимо от услуг памяти.

Стало известно, что священник русской церкви в Женеве, который крестил Соню, а затем, спустя неделю, отпевал девочку, служил не только в храме, но и — по совместительству — в тайной полиции. Некий агент еще осенью 1867-го доносил в Третье отделение, что в числе «экзальтированных русских», пребывающих в Женеве, центре политической эмиграции, находится Достоевский, «который очень дружен с Огаревым»[34]. Достоевский был убежден, что осведомителем «трудится» женевский батюшка А. В. Петров. (Сокрушенно вспомнит он об этом в 1877 году: «Ну кто всего ближе стоит к народу? Духовенство? Но духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже. Кроме иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паствы, — кроме этих и, увы, весьма, кажется, немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы, — ответят на вопросы, пожалуй, еще доносом на них».)

К Достоевским перестали доходить письма. «Особенно, — вспоминала Анна Григорьевна, — было жаль пропадавших писем Майкова, всегда полных животрепещущего интереса. Подозрение о пропаже писем еще более укрепилось в нас, когда мы получили анонимное письмо, где сообщалось, что Федора Михайловича подозревают, приказано вскрывать его письма и строжайше обыскать его на границе при возвращении на Родину».

Писатель, избегая чужих глаз, отправил через свояченицу возмущенное послание Майкову: «Я слышал, что за мной приказано следить. Петербургская полиция вскрывает и читает все мои письма, а так как женевский священник, по всем данным (заметьте, не по догадкам, а по фактам), служит в тайной полиции, то и в здешнем почтамте (женевском), с которым он имеет тайные сношения, как я знаю заведомо, некоторые из писем, мною получаемых, задерживались. Наконец, я получил

анонимное письмо о том, что меня подозревают (черт знает в чем), велено вскрывать мои письма и ждать меня на границе, когда я буду въезжать, чтобы строжайше и нечаянно обыскать».

Прошлое, в котором он числился прощенным, но все же политическим преступником, не было, оказывается, предано забвению. Государство, чьи законы он нарушил 20 лет назад, подавало сигналы, означавшие, что простить — не значит снять секретный надзор.

«Каково же вынесть человеку, — негодовал Достоевский в письме, посланном Майкову с оказией, — чистому, патриоту, предавшемуся им до измены своим прежним убеждениям, обожающему государя, — каково вынести подозрение в каких-нибудь сношениях с какими-нибудь полячишками или с Колоколом! Дураки, дураки! Руки отваливаются невольно служить им. Кого они не просмотрели у нас, из виновных, а Достоевского подозревают!»

Впервые он произносил слово «измена»: жизнь, особенно заграничная, где Ф. М. насмотрелся на женевскую эмиграцию, вынуждала вглядеться в прошлое с особым пристрастием. В апреле 1869 года исполнялось 20 лет со дня ареста и заточения в крепость; до сих пор, однако, ему так и не пришлось подвести итог двум прошедшим десятилетиям.

Женевские неприятности требовали нестандартного решения. «Не обратиться ли мне, — советовался он с Майковым, — к какому-нибудь лицу, не попросить ли о том, чтоб меня не подозревали в измене Отечеству и в сношениях с полячишками и не перехватывали моих писем? Это отвратительно! Но ведь они должны же знать, что нигилисты, либералы Современники еще с третьего года в меня грязью кидают за то, что я разорвал с ними, ненавижу полячишек и люблю Отечество. О подлецы!»

«Они» — то есть начальство, от которого зависела степень усердия в полицейской слежке за Достоевским, — так подробно его политическими взглядами не интересовались. А сам он не заметил, что письмо Майкову о разрыве с нигилистами (к ним, видимо, и относилось восклицание «О подлецы!») содержало зародыш Сюжета.

Разумеется, не заметил этого и Майков; в утешение Достоевскому он сообщил, что при общей бестолковости влияющих голов бывают и не такие курьезы. «Не знаю, при Вас или без Вас — было тайное распоряжение Валуева и Шувалова читать все письма к Каткову и Аксакову и в числе подозрительных личностей, с ними переписывавшихся, были пойманы — кто бы Вы думали? — наследник Александр Александрович. Что

же нам-то с Вами обижаться, если и он отнесен к категории подозрительных»[35].

Примирительные интонации Майкова, может быть, и утешили Достоевского, но не избавили от новых напастей.

В конце лета 1868-го ему попалась только что вышедшая в Вюрцбурге французская книга некоего Поля Гримма с интригующим названием «Тайны царского двора времен Николая I»*. Действие романа происходило в Петербурге в 1855 году, в последний год царствования Николая Павловича. Главным героем выступал незаконный сын государя от его пассии, актрисы Асенковой, которая, в свою очередь, оказывалась дочерью казненного декабриста Рылеева и цыганки-гадалки Марфуши. Савельев — так звали героя — получил свою фамилию после смерти матери при поступлении в сиротский приют. Судьба Савельева была связана с петрашевцами; за участие в обществе он поплатился десятью годами каторги, из которых отсидел половину, ибо смог бежать из Сибири, пробиться на Кавказ в действующую армию рядовым, проявить себя в деле и заслужить военный крест.

Глава пятая первой части романа называлась «Заговорщики». В подвале заброшенного дома на Выборгской стороне проходило собрание; первым, кого увидел побочный сын императора, был Достоевский. «На матрасе сидел председательствующий собрания, этот несчастный поэт, чья лира умолкла в казематах крепости и местах мучения», — живописал автор; выходило, что Достоевский после всех испытаний вернулся к революционной борьбе.

Заговорщики изображались смелыми и благородными людьми; их целью, как утверждалось в романе, была борьба за освобождение крестьян от помещичьего произвола. «Братья, — говорил на тайной сходке Достоевский, — поклянемся никогда не прибегать ни к шпаге, ни к кинжалу, потому что святое семя свободы никогда не прорастало на земле, обагренной кровью. Кровь не приносит свободы, кровь приносит тиранию. Поклянемся, что мы никогда не будем возбуждать народ к кровопролитию ради священного дела свободы». Все

---

* Paul Grimm. Les Mystères du Palais des Czars (sour l'empereur Nicolas I). Propriété de l'Editeur. Wurzbourg, F. A. Julien libraire-éditeur, 1868. Французская версия романа выдержала несколько изданий. Достоевский, видимо, не знал, что двумя годами ранее, в 1866 году, в том же Вюрцбурге книга Поля Гримма вышла по-немецки; она-то и явилась оригиналом, с которого был сделан французский перевод. Вполне вероятно, что автор сам перевел свой роман, так как имя переводчика на титульном листе издания не значилось. Цитаты из романа П. Гримма приводятся по французскому изданию в переводе С. Д. Серебряного.

заговорщики клялись, а один из них, князь Оболенский, сын декабриста, даже воскликнул: «До каких пор мы будем расточать обращенную в золото кровь наших крепостных за зелеными столами Гомбурга и Бадена!»

Достоевскому (в романе Гримма) чудилась измена: «Я заметил, что за мной следят. Какие-то мрачные фигуры наблюдают за моим домом и следят за каждым моим шагом. Меня не берут, чтобы выследить моих друзей. Поэтому я сторонюсь вас. Но даже если меня будут пытать в секретном застенке Орлова, если они будут рвать меня на части, я вас не предам. Они ничего от меня не узнают». «Благородный поэт», как именовался в романе Достоевский, внушал Савельеву, что жена ничего не должна знать о заговоре: «Она прекрасная женщина, но она слишком меня любит».

Он жил в ожидании ареста; понимал, что обречен. «Куда бы мы могли бежать, ты и я? — говорил он Савельеву. — У нас едва хватит на кусок хлеба, а для побега нужны деньги... К тому же граница далеко — более ста тысяч солдат преградят нам путь. Как дойти до границы, чтобы нас десять раз не схватили? Единственный способ — пробраться в Финляндию или до английского флота в лодке по Неве. Но это значило бы предать родину. Нет, это не выход».

Арестованного Достоевского допрашивал в казематах Петропавловской крепости начальник Третьего отделения граф Орлов.

«— Господин Достоевский? Писатель?

Поэт молча поклонился.

— Вы член тайного общества? Глупые юнцы! Какова же цель вашего общества?

— Я не знаю, о чем вы говорите.

— Вы прекрасно знаете. Вы писатель, идеолог. Зачем же всё отрицать? Подумайте, реальны ли ваши мечты? Несмотря на ваши тридцать лет — не правда ли, вам тридцать лет? — я, поскольку я в два раза старше вас, советую для вашего же блага: признавайтесь, расскажите о цели вашего общества и назовите его членов».

Ни на один вопрос графа Орлова Достоевский не отвечал; тогда его ввели в комнату экзекуций с отверстием в полу: арестант провалился по грудь, и кто-то невидимый высек его, как секут ребенка.

«Граф, — обратился Достоевский к Орлову, находившемуся во время экзекуции здесь же, — Екатерина II отменила пытки. Что же, в славное царствование императора Николая их возобновили?» Орлов промолчал и только пожал плечами. «Если бы я что-то знал, — заявил Достоевский, — после этой пытки вы

могли бы вырвать у меня признание». — «Я бы мог сам назвать имена. Все они у меня в папке. Я должен отправить вас в крепость», — возразил Орлов.

Тем временем на Дворцовой площади Николай Павлович прощался с солдатами, уходившими на войну. «Если вы — император, а не тиран России, скажите мне, где мой муж?!» — закричала дама из толпы. Это была жена Достоевского (в романе Гримма она не имела имени); на ее руке император увидел знакомый перстень с опалом и приказал, чтобы женщину привели во дворец. «Отдай мне кольцо, и я освобожу твоего мужа», — потребовал Николай Павлович: знакомый ему перстень с ядом был подарен жене Достоевского цыганкой Марфушей, которая, вручая подарок, предсказала: «Этот перстень мужа не спасет, но за него отомстит».

Предсказание Марфуши сбывалось: роман заканчивался поучительно, но печально. Жена Достоевского вместе с царским адъютантом, приплыв на лодке через Неву в Петропавловскую крепость, потребовала от графа Орлова выдачи своего мужа, арестанта № 7569. Но того уже не было ни в камере, ни в городе; его вообще не было в живых. За неделю до прощения арестант Достоевский был отправлен в Сибирь и умер по дороге.

В эпилоге романа Николай I травился ядом из перстня с опалом; сам же перстень, уже пустой, вместе с пятью тысячами рублей, был отдан вдове Достоевского как вклад в Новодевичий монастырь, где она приняла постриг. Перстень висел перед иконой Казанской Божьей Матери; дни монахини были сочтены, ибо «истощены были силы ее жизни».

Романист обнаруживал близкое знакомство с топографией Петербурга и вставлял в повествование множество русских слов; к Достоевскому, его жене и другим историческим личностям относился с почтительным сочувствием и уважением. Однако, по версии беллетриста, в 1868 году, когда появилось французское издание, Достоевский был покойником уже 13 лет.

Когда Ф. М. прочел запрещенную в России «книжонку», его больше всего возмутила претензия сочинителя, скрывшегося, вероятно, под псевдонимом, на документальность и достоверность. Намереваясь в знак протеста обратиться к редактору какого-нибудь журнала, он негодовал: «И хоть бы написано было: роман, сказка; нет, все объявляется действительно бывшим, воистину происшедшим с наглостью почти непостижимою. Выставляются лица, существующие действительно, упоминается о происшествиях не фантастических, но всё до такой степени искажено и исковеркано, что читаешь и

не веришь такому бесстыдству. Я, например, назван моим полным именем Théodore Dostoiewsky, писатель, женат, председатель тайного общества».

Вскоре об этой книге написал Достоевскому и Майков. «Попался мне один самомерзейший роман немецко-французского изделия... Когда я читал, мне было больно за Вас, меня оскорбляла наглость мерзавца автора брать имена живых людей, навязывать на них небывальщину... Ведь это только китайские понятия европейцев о России могут производить безнаказанно подобные литературные блины. Когда я читал, я думал, что Вам не худо было бы в каком-нибудь журнале, хоть в Nord, отлупить на обе корки автора... Вот что терпят типографские станки в Европе. Ну смел бы кто-нибудь у нас писать о Наполеоне и французских деятелях с таким невообразимым искажением всякого правдоподобия, не то что истины»[36].

Тем летом, в разгар работы о «положительно прекрасном человеке», Достоевский, наверное, и помыслить не мог, что не далее чем через год сам примется за сочинение о заговорщиках с громкими именами, за которыми будут стоять реальные лица; что его героями станут те, кто пришел на смену поколению петрашевцев. Тем более не мог он предвидеть, что отзвук 1849 года, бессовестно искаженный в немецко-французском опусе, вскоре заставит его отодвинуть все прочие планы и надолго уйти в роман о своей революционной молодости. И что этот роман будет определен им как «почти исторический этюд», экземпляр отдельного издания преподнесен наследнику цесаревичу Александру Александровичу — внуку Николая Павловича, якобы отравившегося после того, как прощенный им государственный преступник Достоевский умер по дороге в Сибирь.

Реальность и небывальщина, истина и бесстыдная ложь, судьбы автора и героя — все причудливо переплеталось вокруг будущего Сюжета: по иронии судьбы и под пером бульварного романиста Достоевский предвосхищал «подвиги» Нечаева и еще раз примерял на себе кандалы узника Петропавловки.

Никогда и нигде Достоевский не писал и, кажется, не говорил, что его роман о нигилистах задуман как опровержение «самомерзейшего» сочинения Гримма. Скорее всего, он, как и советовал Майков («сперва я думал, что Вам следует отлупить автора, а потом пришел к тому: да стоит ли... Свиньи, мол, и всё тут...»[37]), забыл о подлой книжонке; черновое письмо в иностранный журнал осталось недописанным; намерение посоветоваться в русском консульстве во Флоренции и «спросить наставления, как поступить», — неосуществленным.

Нет никаких сведений и о том, что когда-либо позже Достоевский вспомнил об этой дикой истории. Что касается злополучной книжонки, то вряд ли она была ему нужна в личной библиотеке — тем более что ввезти ее в Россию по цензурным причинам было невозможно.

Ничто, однако, не проходит бесследно; грубая выдумка иностранца, сфабрикованная, как писал Достоевский, «для вреда России и для собственной выгоды», дала повод русскому романисту обдумать и под давлением чрезвычайных обстоятельств сформулировать принципиальные требования к художественным, а также документальным сочинениям, касающимся России и ее истории. «Люди, называющие себя образованными и цивилизованными, готовы часто с необычайным легкомыслием судить о русской жизни, не зная не только условий нашей цивилизации, но даже, например, географии... Самые дикие и необычайные известия из современной жизни России находят в публике полную и самую наивную веру», — заметил он в этой связи. Литературное чутье подсказывало, что от всякой клеветы, как бы она ни была нелепа и безобразна, «все-таки что-нибудь остается».

Может быть, поэтому, рассуждая о вреде всякой умышленной клеветы и нарочитых промахов против истины в том самом неоконченном письме редактору иностранного журнала, Достоевский неосторожно объявил: «И, однако, признаюсь, я никогда не взял бы на себя труда обнаруживать в этом случае ложь и восстановлять истину: труд слишком был бы уж унизителен».

Слово «никогда» вырвалось опрометчиво: «унизительный» труд по восстановлению истины вопреки заведомой лжи был в тот момент уже, как говорится, при дверях. От фразы же — пусть и с отрицательным значением («...я никогда не взял бы на себя труда...») — веяло сквозным ветерком, предвещавшим резкую перемену погоды.

«Но вот на днях, случайно, попалась мне на глаза книжонка... В этой книжке описывается собственная моя история, и я занимаю место одного из главнейших действующих лиц».

Наступала пора самому приниматься за описание своей истории.

В контексте занятий и интересов Достоевского лета и осени 1868 года труд по опровержению бульварного писаки выглядел бы и впрямь нелепо. Ему пришлось бы публично заявить, что в 1855 году он находился не в Петербурге, а в Семипалатинске, никакого заговора не возглавлял, а служил рядовым линейного батальона; не умер по дороге в Сибирь, а возвратился в Россию и ныне как частное лицо путешествует по Европе вместе с

женой, которая вовсе не постриглась в монахини, а, напротив, родила дочь. Ему пришлось бы добавить, что уже давно революционных убеждений не разделяет и с нигилизмом порвал, что государя-освободителя любит до обожания, а также считает себя патриотом и благонамеренным подданным империи. Можно было бы еще упомянуть, что он лелеет мысль о возвращении в Россию, где только и можно написать роман-притчу «Атеизм», перед которым прежняя литературная карьера «была бы только дрянь и введение» и которому он хочет посвятить всю свою будущую жизнь.

Пока же события повернулись так, что в начале августа 1869-го они с женой после остановок в Болонье, чарующей Венеции (четыре дня не сходили с площади Сан-Марко) и в Вене, после неудачных попыток обосноваться в Праге прибились к хорошо знакомому Дрездену, где сняли три комнаты: Анне Григорьевне предстояло родить, ее мать была с ними. 14 (26) сентября в доме на Victoriastraβe, 5, и произошло счастливое событие — родилась дочь Люба. «Все обошлось превосходно, — писал радостный отец Майкову, приглашая его в крестные, — и ребенок большой, здоровый и красавица. Мы с Аней счастливы. Мы в великой радости».

Радость, однако, омрачилась злостным безденежьем. Десятидневный переезд из Флоренции в Дрезден с отелями и прогулками съел почти всю наличность; не было денег заплатить повивальной бабке и доктору; несколько сторублевых вещей пришлось заложить по приезде всего за два червонца; на очереди были белье, пальто и сюртук Ф. М.; а ведь нужны были теплые вещи для младенца — и даже крестить Любочку было не на что (крестины состоятся только в конце декабря). Не было денег на отправку рукописи — а уже был готов «Вечный муж» для «Зари». При этом из Петербурга приходили неясные слухи о смерти тетки Куманиной и ее наследстве, но слухи были недостоверны, и надеяться на тетушкины капиталы не имело смысла. Эмилия Федоровна слала письма чуть не ругательные. «Понять не могу, по какой причине они считают меня обязанным им помогать. Я рад это делать и делаю, в ущерб (с лишком даже себе и своей семье), но когда меня считают оброчным рабом или раскаявшимся вором (ведь говорили же, что я расстроил и промотал ихнее наследство после брата Михайлы) — то это меня возмущает», — оправдывался Достоевский.

Но сердце все равно ныло, когда долго не удавалось послать хоть малую толику семейству Михаила, а также пасынку, от которого писатель вовсе не отрекся и жалел его. «Положение его, действительно, должно быть ужасное. Это мне так тяжело, что

во сне даже снится... Я ведь чувствую, что он в последней крайности», — писал Ф. М. летом 1868-го Майкову, узнав из письма Паши о его сиротском быте и полуголодном существовании. О подростке, теперь уже юноше, заботу о котором завещала ему Мария Дмитриевна и «которого некому было любить», болела душа. К тому же Паша вовсе не был таким чудовищем, каким порой казался Анне Григорьевне и ее матери. Он умел быть нежным и сердечным и обращался к отчиму не иначе как «милый, дорогой, голубчик Папа». «Поздравляю Вас, папа, и Анну Григорьевну с рождением милой для вас дочери!.. Еще не видавши, ужасно полюбил эту девочку... Поздравляю, голубчик папа, Вас с счастьем, которым Вы теперь наслаждаетесь. Я рад, от души рад, что у вас есть собственное дитя!»[38] — так писал он, когда родилась Соня. (А в это время Майков сообщал Достоевскому о петербургских толках: «Хорошо, что у вас родилась дочь, а не сын, потому что в случае вашей смерти сочинения ваши наследует семейство брата, а не жена и дочь, если Ф. М. не сделает завещания»[39].)

Надо полагать, к этим толкам Паша отношения не имел. Он взрослел, был привязан к отчиму и его семье и все меньше огорчал «голубчика папу». «Любашечку дорогую целую крепко-крепко; скажите ей, милой крошке, что я ее очень люблю. Она, то есть это большое-то существо служит часто темой наших разговоров... Как бы мне хотелось с Вами поговорить о многом, а также и с Анной Григорьевной; благодарю ее душевно, что она меня, несмотря на мои проказы, помнит все-таки». Ф. М. отвечал ему тем же: «Люблю тебя по-прежнему и более всего рад тому, что ты сумел поставить себя на порядочную ногу. Ты да Люба, которой уже почти три месяца, — мои дети, и всегда так будет». (Паша определился, наконец, на службу, хлопотал о продаже второго издания «Идиота», доверенность на которую написал ему Ф. М. в Дрездене.)

Во всяком случае, высокий, темноволосый, кареглазый молодой человек, с красивым, самоуверенно вздернутым лицом, названный в «Вечном муже» Александром Лобовым, служащий в конторе некоего нотариуса на 25 рублях в месяц и будто списанный с Паши Исаева, не вызывал ощущения дурного — детское легкомыслие, петушиный задор, смешная, но безвредная заносчивость и самонадеянная уверенность, что «вскорости» он будет управлять имениями богатого графа. Паша и в самом деле уверял Майкова, что если захочет, то сейчас же станет управляющим в богатом поместье. «Тем не менее... он мил, добр, услужлив при истинном благородстве; немного заносчив и нетерпелив, но совершенно честен», — писал Достоевский о пасынке. «Я сознаюсь, — отвечал Паша отчиму, — что,

по прежней своей глупой манере относиться к каждому делу как-то легко и небрежно, я сделал Вам много огорчений и заставил Вас, может быть, против Вашей же воли, злиться на меня, в чем, конечно, чистосердечно винюсь. Надеюсь, что больше этого повторяться не будет. Я очень хорошо понимаю, как дело ни будь пусто, к нему следует относиться толково, не небрежно, в этом только можно видеть всю порядочность человека. Говорю, понимаю *теперь*, потому что прежде в жизни ничего не смыслил, ко всему относился легко; теперь, по крайней мере, понял жизнь, понял отношения людей. Но не дешево мне это стоило, нахлебался всякой гадости достаточно. Благодарю Бога, что нравственно-то вышел чист»[40].

...В начале декабря 1869-го рукопись «Вечного мужа», разросшаяся до десяти-одиннадцати печатных листов, написанных за три месяца, была, наконец, отослана в «Зарю». Наступала передышка для обдумывания новых планов и замыслов. К этому моменту жизнь Достоевских в Дрездене вошла в привычную колею: в центре семейных забот была Люба, младенец здоровый и веселый; мать кормила ребенка сама, бабушка с удовольствием нянчила внучку. «Развитая не по летам (то есть не по месяцам), всё поет со мной, когда я ей запою, и всё смеется; довольно тихий, некапризный ребенок. На меня похожа до смешного, до малейших черт», — писал Достоевский племяннице Сонечке.

День Достоевского подчинялся расписанию ночной работы: вставал в час дня, от трех до пяти работал, прогуливался к почте через Королевский сад, обедал дома, по той же дороге снова прогуливался, пил чай с домашними и в половине одиннадцатого вечера садился за работу, которая продолжалась до пяти утра. Во время вечерней прогулки заходил в местную читальню, где можно было получить «Санкт-Петербургские ведомости», «Голос» и «Московские ведомости». Это была большая удача, особенно ввиду событий, которые поздней осенью 1869-го случились в Москве.

В середине октября в Дрезден навестить мать и сестру приехал Ваня Сниткин. «Федор Михайлович, читавший разные иностранные газеты (в них печаталось многое, что не появлялось в русских), пришел к заключению, — вспоминала Анна Григорьевна, — что в Петровской земледельческой академии в самом непродолжительном времени возникнут политические волнения. Опасаясь, что мой брат, по молодости и бесхарактерности, может принять в них деятельное участие, муж уговорил мою мать вызвать сына погостить у нас в Дрездене...»

Трудно сказать, предвидел ли Достоевский, что волнения начнутся именно в Петровской академии, однако через полто-

ра месяца после приезда Вани, далекого от политики и задержавшегося в Германии по причинам сердечного свойства, роковые события случились именно в Москве, именно в Петровской академии: они надолго прикуют внимание писателя и радикально повлияют на его долгосрочные и сиюминутные планы.

«Чудовищное преступление», «отвратительное московское убийство» — так назовет Достоевский происшествие, случившееся 21 ноября 1869 года. «Нам сообщают, — писали «Московские ведомости» несколько дней спустя, — что вчера, 25-го ноября, два крестьянина, проходя в отдаленном месте сада Петровской академии, около входа в грот заметили валяющиеся шапку, башлык и дубину; от грота кровавые следы вели прямо к пруду, где подо льдом виднелось тело убитого, опоясанное черным ремнем и в башлыке... Тут же найдены два связанные веревками кирпича и еще конец веревки».

Два дня спустя появились новые подробности преступления: «Убитый оказался слушатель Петровской академии, по имени Иван Иванович Иванов... Деньги и часы, бывшие при покойном, найдены в целости; валявшиеся же шапка и башлык оказались чужими. Ноги покойного связаны башлыком, как говорят, взятым им у одного из слушателей Академии... шея обмотана шарфом, в край которого завернут кирпич; лоб прошибли, как должно думать, острым орудием». А. Г. Достоевская вспоминала: «О студенте Иванове мой брат говорил как об умном и выдающемся по своему твердому характеру человеке и коренным образом изменившем свои прежние убеждения. И как глубоко был потрясен мой брат, узнав потом из газет об убийстве студента Иванова, к которому он чувствовал искреннюю привязанность!»

В рапорте исполняющего должность директора Петровской академии профессора П. А. Ильенкова (первом официальном документе, положившем начало многотомному делу, именуемому «Нечаевский процесс») содержались подробности, не сразу попавшие в печать: «Честь имею донести для сведения, что 25 числа сего месяца старостой и некоторыми крестьянами деревни Петровские Выселки усмотрено подо льдом в верхней части академического пруда близ грота, прилегающего к академической роще, мертвое тело. Близ входа в грот находилась окровавленная меховая шапка, окровавленный кирпич с привязанной к нему бечевкой и кровавый след от грота к тому месту, где находился труп... Сегодня в присутствии пристава 4-го стана Московского уезда сделан осмотр вышеозначенной местности и признаков убийства и труп поднят изпод льда. При этом оказалось, что погибший есть студент ака-

демии Иван Иванов, жительствовавший на ферме и который, отлучившись в Москву в пятницу 21-го ноября, с тех пор на занимаемую квартиру не возвращался».

Среди документов, которые были направлены руководством академии судебному следователю, имелись «Свидетельство о бедности», выданное Ивану Иванову в 1865 году, а также уведомление о том, что в течение трех лет Иванов, мещанин по происхождению, пользовался одной из стипендий Лесного ведомства (250 рублей в год). На момент убийства он ее уже не получал, но и так было понятно, что убили его не с целью ограбления.

«Вы вот высчитываете по пальцам, — скажет Николай Ставрогин Петру Верховенскому, замышляющему убийство Шатова, — из каких сил кружки составляются?.. Подговорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать».

Трагедия в Петровской академии имела предысторию. За три месяца до событий, в начале сентября 1869 года, из Женевы в Москву приехал фаворит Бакунина Сергей Геннадьевич Нечаев, 22-летний молодой человек темного происхождения (будто бы внебрачный сын помещика), невнятного воспитания и образования, но наделенный мандатом, где было сказано: «Податель сего есть один из доверенных представителей русского отделения Всемирного революционного альянса». Бумага, подписанная Бакуниным, была скреплена печатью: «Европейский революционный союз, Главный комитет».

Миф о русском революционном подполье, распространяемый Нечаевым, и ложь о побеге из Петропавловской крепости, который будто бы он только что совершил, сомкнулись с блефом Бакунина насчет европейской радикальной организации. Всё вместе было поддержано листовками, прокламациями, воззваниями, а также немалыми средствами из Бахметьевского фонда — то есть деньгами, которые Герцену и Огареву передал на нужды пропаганды молодой русский помещик П. А. Бахметьев, отплывший на Маркизские острова строить земледельческую коммуну.

За полгода, проведенных в Швейцарии (Нечаев бежал туда весной 1869 года, после того как принял участие в студенческих беспорядках в столице), ему удалось создать себе репутацию вожака российского студенчества и политического мученика, гонимого самодержавием. Россия — пороховой погреб, созрела для восстания и нужна только спичка — в этом Неча-

ев смог легко убедить Бакунина, который видел в «Бое» юного фанатика, не знающего сомнений и не ведающего страха: «Они прелестны, эти юные фанатики, верующие без Бога и герои без фраз». Увлечение Нечаевым полностью разделил с Бакуниным Огарев — вопреки скептической настороженности Герцена.

Выбор Нечаева пал в Москве на студентов Петровской академии: широко афишируя свои связи с вождями русской эмиграции, он в короткое время сколотил пятерки-ячейки и назвал организацию «Народной расправой». В Женеве в течение трех лет выходил редактируемый им журнал с таким же названием; в первом номере за 1869 год печаталась программа ближайшего будущего: «Мы хотим народной мужицкой революции... Мы беремся сломать гнилое общественное здание... Дело Каракозова надо рассматривать как пролог... До начала всеобщего народного восстания нам придется истребить целую орду грабителей казны, подлых царских льстецов, народных тиранов... избавиться от лжеучителей, доносчиков, предателей, грязнящих знамя истины...»

Впоследствии сподвижники Нечаева сочувственно вспоминали, что у него не было ни семьи, ни привязанностей, ни своего угла, ни имущества, ни даже подлинного имени: Сергей Геннадьевич просил называть себя Иваном Петровичем. Маленький, худой, нервный, вечно кусающий изъеденные до крови ногти молодой человек с горящими глазами и резкими жестами был жесток и неумолим, когда речь шла о беспрекословном подчинении партийной дисциплине и способах ее внедрения.

Позднейшие биографы Нечаева излагали версию о «справедливом возмездии» непослушному кружковцу примерно так: когда студент Иванов, постоянно возражая вожаку и отказываясь выполнять его поручения, стал подрывать работу кружка, Нечаев собрал наиболее надежных товарищей (Успенского, Кузнецова, Прыжова и Николаева) и предложил им убить Иванова, заманив его в темный грот парка при Петровской академии, под предлогом отыскания зарытого там типографского шрифта.

Читая показания одного из участников дела, Николаева, можно ясно видеть практику «нечаевщины» — обусловленное «революционной пользой» разбойное нападение пятерых на одного. «Кузнецов схватил Иванова, повалил его у входа в грот. Тогда Нечаев, я и Успенский бросились на Иванова. Нечаев сел на грудь Иванова и стал его душить. Кузнецов сидел на ногах, а я и Успенский стояли около и ничего не делали. В это время Иванов несколько раз крикнул и сказал: “За что вы ме-

ня бьете, что я сделал?..” Немного погодя он уже не кричал, но еще шевелился. Тогда Нечаев взял у меня револьвер и прострелил им голову Иванова...»

Такова была практика. Но не обошелся Нечаев и без теории. Программа, принципы и структура «Народной расправы» были изложены в «Катехизисе революционера» — документе, отпечатанном летом 1869 года в Женеве: 26 параграфов об отношении революционера к самому себе, к товарищам по революции, к обществу и народу.

«Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией...

...Революционер презирает общественное мнение... Нравственно для него все то, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что помешает ему...

...У каждого товарища должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов... На них он должен смотреть, как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую пользу. На себя он смотрит, как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела...

...Революционер вступает в государственный, сословный и так называемый образованный мир и живет в нем только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире... Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные отношения; он не революционер, если они могут остановить его руку...

...Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России... Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение...»

«Катехизис» явочным порядком давал санкцию тактике «все средства хороши» — «товарищам» предлагалось проникать во все сословия, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократии и офицерства, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний дворец. И, видимо, руководствуясь соображениями пользы, а также видя в себе основной капитал революции, после расправы над Ивановым Нечаев сбежал за границу, оставив подельников самим расхлебывать чашу следствия, суда и приговора. Так что если бы швейцарские власти спустя три года не выдали Нечаева российскому правительст-

ву как уголовника-убийцу, он никогда бы не разделил общей участи с прежними товарищами.

Через несколько месяцев после того, как Нечаев был привезен в Петербург, судим и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости (приговор от 8 января 1873 года на две недели опередил выход в свет отдельного издания «Бесов»), Достоевский в статье «Одна из современных фальшей», своеобразном автокомментарии к роману, так определил его цель: «Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа дать на него ответ: каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны — не Нечаев, а *Нечаевы*, и каким образом может случиться, что эти *Нечаевы* набирают себе под конец нечаевцев?»

Поразительно, что и в самый момент убийства (опередивший начало работы Достоевского над «Бесами» на два месяца), и по завершении процесса, которое почти совпало с выходом отдельного издания романа, фигура вожака (Нечаева — Петра Верховенского) не была для писателя главной целью. Он хорошо представлял, откуда берутся Нечаевы, «существа весьма мрачные, весьма безотрадные и исковерканные, с многосложнейшей по происхождению жаждой интриги, власти, с страстной и болезненно-ранней потребностью выказать личность».

Но откуда берутся солдаты «Народной расправы»? Отвечая на этот вопрос, Ф. М. формулировал итоговую задачу: «В моем романе “Бесы” я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем!.. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, — вот в чем наша современная беда!»

Автор «Бесов» взялся за «современную беду» как за главное дело жизни, уже понимая, куда приводит дьявольский соблазн переделать мир. «Анатомируя и распластывая душу революционного подполья, Достоевский добрался до таких интимных тайников ее, в какие не хотели заглядывать, робко обходя их, сами деятели революционного подполья... Он знал о революции больше, чем радикальнейшие из радикалов, и то, что он знал о ней, было мучительно и жутко, раскалывало надвое и терзало противоречиями его душу»[41]. Так напишет о Достоевском марксистский критик в 1921-м, через четыре года после того, как самая кровавая за всю историю России революция одержала победу.

...Весь январь 1870 года русская печать чуть не ежедневно публиковала подробности об убийстве Иванова, о лицах, причастных к злодейству, об университетских беспорядках; всех волновали Бакунин и его причастность к «нигилистической революции». В прокламации «К молодым братьям в России» (о ней писали «Московские ведомости») главный анархист провозглашал: «Ступайте в народ! Там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука... Не хлопочите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Это наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель. Наука же новая и живая, несомненно, народится потом, после народной победы...» Согласно Бакунину, в народ молодежь должна идти ради участия в народных бунтах, не гнушаясь разбоя. «Разбойник — это герой, защитник, мститель народный, непримиримый враг государства и всего общественного строя...»

В то самое время, когда женевская эмиграция, окончательно решив вопрос о Боге и бессмертии, взращивала идеи террора, замысел романа «Атеизм» трансформировался у Достоевского в план эпопеи «Житие великого грешника», который обрел значение заветной идеи и дошел до детальной разработки. «Обещаю вещь хорошую и хочу сделать хорошо. Эта вещь в “Зарю” уже два года как зреет в моей голове... Это будет мой последний роман... Общее название романа есть: “Житие великого грешника” ...Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие. Герой, в продолжение жизни, то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист...» — писал он Майкову весной 1870 года.

Меж тем писатель втягивался в работу и для «Русского вестника», хотя и объем ее, и темп, и срок окончания пока сильно недооценивал. «То, что пишу, — вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее. (Вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что ретроград!) Да черт с ними, а я до последнего слова выскажусь... То, что я пишу теперь в “Русский вестник”, я кончу месяца через три наверно. Тогда, погуляв месяц, сел бы за работу в “Зарю”... Меня томит писать... Над тем, что пишу в “Русский вестник”, я не очень устану...»

Это было очень опрометчивое заявление, тем более что в намерении Достоевского — когда наконец оно оформилось — написать роман, связанный с заговорщиками нового поколения, был мотив исключительно личного свойства. Когда в феврале и марте 1870-го Ф. М. сообщал своим корреспондентам, что «сел за богатую идею» («вроде “Преступления и наказания”, но еще ближе, еще насущнее к действительности и

прямо касается самого важного современного вопроса»); что его увлекает «накопившееся в уме и в сердце»; что он сильно надеется на новый роман «не с художественной, а с тенденциозной стороны» («пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь»), он заботился не только о том, как бы порезче и поазартнее ударить по революционной партии.

«Нигилисты и западники требуют окончательной плети», — с жаром писал он Страхову. «Про нигилизм говорить нечего. Подождите, пока совсем перегниет этот верхний слой, оторвавшийся от почвы России... Мне приходит в голову, что многие из этих же самых подлецов-юношей, гниющих юношей, кончат тем, что станут настоящими, твердыми почвенниками, чисто русскими. Ну, а остальные пусть сгниют. Кончится тем, что и они замолчат, в параличе. А мерзавцы, однако же!» — негодовал он письме Майкову.

Страстное желание «высказаться погорячее» побуждалось, надо думать, не только мыслью о нечаевцах, но прежде всего своей собственной историей в ее человеческом измерении. К какой из групп, учитывая прежние увлечения, он себя относил? «Я сам старый “нечаевец”, я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни... и стоял в компании людей образованных, — признáется он уже после «Бесов». — Позвольте мне про себя одного сказать: *Нечаевым*, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *нечаевцем*, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности». И далее, будто извиняясь перед читателями, добавил: «Я заговорил теперь про себя, чтоб иметь право говорить о других. Тем не менее буду продолжать только об одном себе, о других же если и упомяну, то вообще, безлично и в смысле совершенно отвлеченном».

«Теперь» — означало: после романа и вне романа. А в романе как раз действовал зеркальный принцип — чтобы иметь право говорить о себе, надо говорить о других. О себе же упоминать «вообще» и «отвлеченно». После «Бесов» Достоевский заговорит о своей давно прошедшей истории с той откровенностью, с какой только и можно было высказаться после «Бесов»: следовало наконец сказать правду о былых увлечениях и пристрастиях.

«“Монстров” и “мошенников” между нами, петрашевцами, не было ни одного (из стоявших ли на эшафоте, или из тех, которые остались нетронутыми, — это всё равно)... Мы еще задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю *правду* этого грядущего “обновленного мира” и во всю *святость* будущего коммунистического общества еще Белинским... Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а во-

обще из всех тогда *зараженных*, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, — те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться. Итак, почему же вы думаете, что даже убийство à la Нечаев остановило бы если не всех, конечно, то по крайней мере некоторых из нас в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий, за которыми мы, совершенно забыв отечество, следили с лихорадочным напряжением?»

В «Бесах» — в той степени, в какой автор был занят героями, — он был занят и собой: своими искушениями и своими соблазнами; поиск героя так или иначе оборачивался поиском себя.

Кем был Достоевский в той давно прошедшей истории — учитывая, что позднее осознал ее как историю болезни?

В чем видел свою собственную вину и за что осуждал других?

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
РУССКАЯ ТРАГЕДИЯ

Глава первая
«Я ИЗ СЕРДЦА ВЗЯЛ ЕГО...»

Финансовое ненастье. — Соперничество замыслов. — Тетрадка с готикой. — Капитальный недостаток. — Великолепная мысль. — Безмерная высота. — Двойной капкан. — Авторский ключ. — Общая судьба. — Демон и з о б р а ж е н н ы й

Чем дольше Достоевский оставался за границей, скрываясь от кредиторов, тем глубже залезал в долги. Иногда он даже думал, что если бы не уехал, а остался в Петербурге, давно бы расплатился с заимодавцами. А так, из-за нетерпения и настырности, они и сами ничего не получили, и ему заработать не дали. Меж тем ехать в Россию без шести-семи тысяч, на худой конец, без пяти тысяч наличных денег было бессмысленно, заработать же столько здесь, за границей, даже ничего не тратя на самые неотложные нужды, не представлялось возможным. Мучили долги Майкову, Врангелю, Яновскому, сестре Вере; душили проценты за имущество жены, заложенное перед отъездом, и проценты за новые, уже дрезденские заклады.

Финансовому ненастью, начавшемуся в 1864-м, не было видно конца. Спасение зависело теперь только от работы почтарей и почтовых контор как в Петербурге, так и в Дрездене. Ф. М. досконально изучил способы экстренной отправки денег из российской столицы через банковские конторы и доподлинно знал: если петербургский банкир, получив в понедельник из редакции «Зари» 100 рублей авторского гонорара, сейчас же оформит вексель на дрезденского банкира, то уже в четверг или в пятницу автор, придя в дрезденскую контору с векселем, отправленным по почте три дня назад, получит всю сумму в пересчете с рублей на талеры.

Никто, однако, не торопился, и деньги, ожидаемые с таким отчаянным нетерпением, имели обыкновение застревать — по небрежности одних, по неаккуратности других, по нерасторопности третьих. В исступлении разглядывал Достоевский письмо из «Зари», пришедшее не на четвертый, как он рассчитывал, а на двенадцатый день, и негодовал, видя в задержке не просто небрежность, а оскорбление. «Неужели он думает, что я писал ему о моей нужде только для красоты слога! Как могу я писать, когда я голоден, когда я, чтоб достать два талера на телеграмму, штаны заложил! Да черт со мной и с моим голодом! Но ведь она кормит ребенка, что ж если она последнюю свою теплую, шерстяную юбку идет *сама* закладывать! А ведь у нас второй день снег идет (не вру, справьтесь в газетах!), ведь она простудиться может! Неужели он не может понять, что мне *стыдно* всё это объяснять ему?»

Он исписывал десятки страниц деловых писем, перечисляя неотложные просьбы, объясняя правила работы почтамтов при пересылке денег из страны в страну, называя наиболее надежных банкиров — Гинцбурга, Гирша, Ротшильда, жалуясь на бестолкового (или бессовестного?) банкира Хессена, выславшего из Петербурга неверно оформленный денежный документ. Каждый день он прибегал в дрезденскую контору Гирша справляться об *avis*, без которого его вексель был никчемной бумажкой, выданной будто на смех, для отвода глаз. *Avis* все не было, дрезденские клерки посмеивались над незадачливым клиентом и, разумеется, денег не выдавали.

Но вот приходили, наконец, спасительные уведомления, а с ними и долгожданная сторублевка. Достоевский получал временную передышку, забывал об оскорбительной небрежности сотрудника «Зари», радуясь, задним числом, что деликатный Майков не дал тому прочесть горячее, гневное письмо, а лишь пересказал смысл — теперь Достоевский уверял друга, что настоящей злобы в нем и быть не могло. Можно было приниматься за литературные проекты, или, как он их называл, комбинации, хотя таких, которые сулили бы твердый заработок, Ф. М. что-то не видел. Один за другим лопнули проекты продажи «Идиота» Базунову и Стелловскому, так что расчет получить деньги для возвращения в Россию не оправдался.

Всем своим работодателям, а также посредникам Достоевский внушал, что может работать только в режиме предварительной оплаты (в системе всегдашнего долга), и ни в каком другом. «Так как я всегда нуждаюсь в деньгах чрезвычайно и живу одной только работой, — писал он Страхову, — то всегда почти принужден был всю жизнь, везде, где ни работал, брать деньги вперед. Правда, и везде мне давали». «Я, по положению

моему, нуждаюсь всегда в деньгах *вперед*», — объяснял он племяннице. «Да и кому не дается вперед? Мы вели журнал — *всем* давали вперед, да и какие суммы!» — уверял он Майкова. «Этот разговор о деньгах вперед не каприз, не заносчивость и не ломанье самонадеянное с моей стороны, — вновь объяснял Ф. М. Страхову в феврале 1870-го. — Я всю жизнь работал из-за денег и всю жизнь нуждался ежеминутно; теперь же более, чем когда-нибудь».

И не для того чтобы как-то смягчить свою настойчивость, а только для полной ясности Достоевский добавил: «Скажу Вам прямо, что я никогда не выдумывал сюжета из-за денег, из-за принятой на себя обязанности к сроку написать. Я всегда обязывался и запродавался, когда уже имел в голове тему, которую действительно хотел писать и считал нужным написать».

Вопрос упирался в тысячу рублей — «кредит доверия», который Ф. М. просил вперед, в обеспечение работы. Продолжая вести переговоры с «Зарей» через Страхова, он снова повторял: «Я всегда всю жизнь работал тем, кто давали мне вперед деньги. Так оно всегда случалось и иначе никогда не было. Это худо для меня с экономической точки зрения, но что же делать! Зато я, получая деньги вперед, всегда продавал уже нечто имеющееся, то есть продавался только тогда, когда поэтическая идея уже родилась и по возможности созрела. Я не брал денег вперед на *пустое место*, то есть надеясь к данному сроку *выдумать и сочинить* роман. Я думаю, тут есть разница».

Система литературного труда в режиме всегдашнего долга, как оказалось, имела некоторые парадоксальные последствия: то, что поначалу виделось как отработка, постепенно перемещалось в центр жизни, а потом захватывало целиком — писание из-за денег становилось сочинительством по страсти и вдохновению, и тогда Достоевский менее всего ощущал себя литературным поденщиком. Только те из его издателей, кто учитывал все издержки, а также и все преимущества подобного режима, рано или поздно пробуждавшие у автора огонь творчества, могли рассчитывать, что добьются от него результата. Лишь те идеи, которые были не только назначены журналу, но и жестко подчинены режиму отработок, имели шанс на воплощение.

Для того чтобы величественный замысел «Жития», записанный в сжатом конспекте, был реализован в виде пяти книг по пятнадцати листов каждая, как планировал Достоевский, для того чтобы сюжет о грешнике стал венцом литературной карьеры автора, как того хотел он сам, ему, автору, нужно было вместе с этим замыслом, сюжетом и героем попасть в капкан безысходности, в сети жесткой финансовой зависимости. Если бы запрашиваемый у «Зари» «кредит доверия» был бы без про-

медления выдан, планы Достоевского могли бы существенно продвинуться — в сторону от «Русского вестника». Но «Заря» с такими кредитами не торопилась. Когда же в апреле 1870-го крупный аванс от «Зари» был получен, писатель уже приковался к письменному столу, сочиняя злободневный, остраполитический роман.

В соперничестве двух замыслов — для «Зари» и для «Русского вестника» — победил в конце концов «Русский вестник». Роману «Бесы» суждено было появиться на свет не только потому, что долг Каткову, который усадил автора за письменный стол, исчислялся тысячами рублей, но еще и по той причине, что Михаил Никифорович точно знал, какие чрезвычайные обстоятельства, какие безысходные ситуации требуются Достоевскому, чтобы впрячься в литературную работу — ту, что зажжет в нем творческий огонь.

Ни Страхову, ни тем более официальному редактору «Зари» В. В. Кашпиреву понять это было не дано.

Сам же автор, преследуемый видением долговой ямы, понуждаемый писать «постыдные просительные письма» к работодателям и издателям, усматривал в системе отработок вовсе не благое провидение, а злой рок, беспощадность судьбы, горький сиротский удел. Он не мог не сравнивать свои жалкие обстоятельства с теми условиями, в которых работали другие литераторы его уровня. «И после того у меня требуют художественности, чистоты поэзии без напряжения, без угару, и указывают на Тургенева, Гончарова! Пусть посмотрят, в каком положении я работаю!» — восклицал он, жалуясь Майкову на небрежность сотрудников «Зари».

Ф. М. прекрасно знал, что и Толстой, и Тургенев, и Гончаров — люди обеспеченные, что они не ждут издательских заказов, не зависят от журнальных гонораров, сами определяют сроки публикации своих вещей и не берут деньги вперед. Его задевало, что работодатели, от которых зависел он, Достоевский, не стеснялись торопить его, и заявлял, например, «Заре»: «Я бы просил не стеснять меня в работе, которую я хочу сделать начисто, со всем старанием, — так, как делают те господа (то есть великие)».

Он ревниво следил за литераторами, кто, находясь в России, имел возможность прямого и потому более успешного общения с издателями. «По газетам я видел, — замечал Достоевский, — что Лескову, например, он (Кашпирев. — *Л. С.*) выдавал и по 1500 р. вперед... А для меня нет, даже тогда, когда я прошу не вперед, а своего...»

Существовал и еще один, особенно мучительный пункт в системе его отношений с журналами, которым он был много

должен, — то, чего счастливо могли избежать обеспеченные литераторы. Романы Тургенева — Достоевский хорошо знал это — печатались в журналах уже после того, как авторская работа была завершена: автор мог прочесть все подряд, внести необходимую правку, как следует почистить текст, а уже потом отдать его для печатания в нескольких журнальных книжках, не беспокоясь за вещь в целом. Об этом, а не о системе кабального долга мечтал Достоевский, понимая, насколько недостижима мечта; никогда не удавалось собрать такую сумму, с которой можно было прожить, не беря в долг; не торопясь, написать роман и продавать его готовым, как это делают другие литераторы. Он был вынужден отдавать вещь частями, порой, когда было готово только начало, — первая порция печаталась с колес, вторая правилась, последующие существовали вчерне, в планах и набросках, концовка — в общем виде или только в идее.

Так выходило и на этот раз — злободневный роман должен был выйти в свет осенью. Но случилось непредвиденное: автор увяз в черновых записях, которые не отпускали связный текст на волю.

...Это была обычная ученическая тетрадь размером в четверть листа («in 4°») — одна из трех, которыми Достоевский попеременно пользовался летом 1870 года. Спустя годы Анна Григорьевна пронумерует заполненные страницы и сделает переплет из коричневой ткани. Спустя десятилетие на первой странице появится надпись: «Это записная книга Ф. М. Достоевского подарена мною моим внукам, Федору и Андрею Достоевским 28 января 1909 г.». На вклеенном листе ее же рукой будет проставлен заголовок: «“Бесы”. На стр. 57—62 описание припадков падучей болезни в 1869—1870 гг.».

Заметки располагались гнездами и вносились в тетрадь вразбивку, обнаруживая стремление владельца концентрировать однородные по содержанию записи в отведенных им местах. Тематический принцип, однако, то и дело нарушался: разработка темы не умещалась на своих страницах и вторгалась на уже занятые территории. Повсюду встречались каллиграфические упражнения и пробы пера; чаще других попадались «Julius Cesar», «St. Petersbourg», «Достоевский». Текст и каллиграфию теснили рисунки: арки, своды, стрельчатые окна готических соборов с богатым узором и тонкой прорисовкой пером, островерхие готические башни и композиции. Один раз между каллиграфическими «Moscou», «Capioti», «Гроза» промелькнула голова старика: высокий с залысинами лоб, курносый нос, выпяченная нижняя губа, острый, выдающийся вперед подбородок. Другой раз на левом поле был изображен водопад и под ним куб, отбрасывающий тень.

Порой записи перемежались, сталкивая личное, романное, общее. «Сегодня 17 июля (воскресение)... Бьюсь с 1-й частью романа и отчаиваюсь. Объявлена война. Аня очень истощена. Люба нервная и беспокойная... Что-то война? Не помешала бы очень? Избави Боже!»; «Теперь уже 3 августа... Денег нет. Люба здорова, Аня могла бы быть и здоровее. На Рейн с обеих сторон сошлось тысяч по триста, каждый час готовые броситься один на другого. Курсы падают. Всё дорожает. Ни те, ни другие не выдержат долгой войны. А между тем собираются долго драться...»; «Любочку отлучают от груди... Роман идет медленно... С деньгами плохо... Сегодня 14 сентября, и может быть войска подошли к Парижу».

В промежутке между двумя последними записями — о нездоровье жены и неясном исходе Франко-прусской войны — в августовские дни 1870 года в творческих планах Достоевского, сочинявшего роман для «Русского вестника», произошел перелом. Решительно браковались пятнадцать листов готового текста — итог многомесячной работы. Роман подлежал радикальной переделке: на авансцену выдвигалось *новое лицо*.

Шестнадцатого августа на странице с двумя готическими окнами по левому полю Достоевский записал: «*Князь* — мрачный, страстный, демонический и беспорядочный характер, безо всякой меры, с высшим вопросом, дошедшим до "быть или не быть?". Прожить или истребить себя? Остаться на прежнем по совести и суду его невозможно, но он делает всё прежнее и насильничает. *Красавица*, отдавшаяся ему (за границей), делает теперь вид, что его презирает. Несмотря на все его страдания и вопросы, он, не любя ее, все-таки находит тайное и *чрезвычайное* наслаждение выжидать, пока она утомится и придет к нему сама, чтоб тогда иметь удовольствие отказать ей».

В те же августовские недели Достоевский написал несколько писем своим постоянным корреспондентам. Он извинился перед Кашпиревым, что не поспевает с обещанным романом, ибо другой роман, в «Русский вестник», неожиданно дал трещину и нуждается в радикальной переделке. О своем несчастье Ф. М. рассказывал и Сонечке: «Работа шла вяло, я чувствовал, что есть капитальный недостаток в целом, но какой именно — не мог угадать... Две недели назад, принявшись опять за работу, я вдруг разом увидал, в чем у меня хромало и в чем у меня ошибка, при этом сам собою, по вдохновению, представился в полной стройности новый план романа. Всё надо было изменить радикально; не думая нимало, я перечеркнул всё написанное (листов до 15 вообще говоря) и принялся вновь с 1-й страницы».

Каков был этот «капитальный недостаток» и что именно автор «увидал разом», Ф. М. не сообщил ни Сонечке, ни редак-

тору «Зари». Однако еще в середине августа, разместив на левом поле рабочей тетради несколько готических окон, он прояснил суть дела самому себе.

«NB. Всё заключается в характере Ставрогина. Ставрогин *всё*».

К первым числам октября «капитальный недостаток» был в основном устранен; роман сдвинулся с мертвой точки и уже имел н а ч а л о. Признание о новом главном герое Достоевский отправил Каткову, объясняя прежде всего, почему — если крупнейшим происшествием романа взято «московское убийство» — вовсе не «Нечаев» ставится в центр повествования. «В пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. Без сомнения, небесполезно выставить такого человека; но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не сто́ят литературы. К собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня лицом комическим. И потому... оно, тем не менее, — только аксессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы назваться главным лицом романа. Это другое лицо (Николай Ставрогин) — тоже мрачное лицо, тоже злодей...»

Признание было по меньшей мере странным. Забраковать готовых 15 листов текста, жестоко опаздывая к сроку в один журнал и рискуя потерять уже полученный (и прожитый!) аванс из журнала другого, — ради чего и ради кого? Ради холодного фата, который испытывает чрезвычайное наслаждение выжидать, пока увлеченная им женщина не выдержит и первая придет к нему, чтобы иметь изысканное удовольствие ей отказать? Ради утонченно соблазнительного повесы, попробовавшего большой разврат? Месяцами мучиться над черновиками, чтобы такого героя поставить в центр романа? И это после Мышкина?

«Я... слишком давно уже хочу изобразить его... Я из сердца взял его...» В письме Каткову эти слова звучали как оправдание.

Что же в таком случае значило — *взять из сердца*? Извлечь из тайников памяти свои сокровенные переживания? Создать героя по своему образу и подобию, передав ему тайное знание о самом себе? Чем пленяла писателя его новая фантазия (именно слово «пленил» стояло в письме Страхову, которому Ф. М. тоже сообщил о ходе работы)?

Уже три года Достоевский вынужденно жил за границей, считая себя едва ли не в ссылке; сменил 18 европейских городов, останавливался в самых дешевых гостиницах, поселялся в скромнейших меблированных комнатах. Чтобы писать и отра-

батывать долги, нужно было иметь хотя бы временное подобие дома и рабочего кабинета, хотя бы небольшой круг общения и тот «калейдоскоп жизни», без которого он задыхался.

Никаких красавиц, которые бы тайно вожделели к нему, но делали вид, что его презирают, здесь, в Дрездене (да и нигде в другом месте), не было и в помине. Князю, его новому герою, предстояло решать гамлетовский вопрос: прожить или истребить себя, а сочинителю, придумавшему фантастический сюжет о Князе и Красавице, нужно было постараться выжить, превозмогая хроническое безденежье и опасное нездоровье. Тетрадка с готикой, помимо планов и рисунков, содержала страницы, на которых не было ни стрельчатых окон, ни водопадов, ни каллиграфических забав и где записывались *припадки*.

«Этот, отмеченный теперь ряд припадков с 3-го августа, — представляет собою еще небывалое до сих пор, с самого начала болезни, учащение припадков; как будто болезнь вступает в новый злокачественный фазис... Следствие припадков, то есть нервность, короткость памяти, усиленное и туманное, как бы созерцательное состояние — продолжаются теперь дольше, чем в прежние годы. Прежде проходило в три дня, а теперь разве в шесть дней. Особенно по вечерам, при свечах, беспредметная ипохондрическая грусть и как бы красный, кровавый оттенок (не цвет) на всем. Заниматься в эти дни почти невозможно».

Совершенно нельзя было предвидеть заранее, когда и где произойдет припадок. Хорошо, если это случалось в постели и во сне; тогда, проснувшись, он догадывался, что судороги были: давило в груди, болела и долго оставалась несвежей голова, тоской сжимало сердце. Но приступ мог сделаться и наяву — и он падал в том месте, где его заставала болезнь, разбивая лоб или затылок, рискуя когда-нибудь стукнуться насмерть виском об угол. В мае 1870-го в Гомбурге Ф. М. упал в комнате отеля; очнувшись, «долгое время был не в полном уме», ходил по гостинице и пытался что-то путано объяснять всем встречным. Лицо синело, он подолгу ничего не помнил, нервно смеялся и только спустя неделю смог записать в тетрадь, что был как бы не в своем уме. Когда после припадка совсем очистилась голова, на чистой странице все той же тетради записал:

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МЫСЛЬ. ИМЕТЬ В ВИДУ.

Идея романа. 16/28 февраля 70.

Романист (писатель). В старости, а главное от припадков, впал в отупение способностей и затем в нищету. Сознавая свои недостатки, предпочитает перестать писать и принимает на бедность. Жена и дочь. Всю жизнь писал на заказ. Теперь уже

он не считает себя равным своему прежнему обществу, а в обязанностях перед ними...»

Если бы «великолепная мысль» о романисте, отупевшем от падучей, воплотилась в роман, это было бы, без всяких оговорок, автобиографическое сочинение. Налицо была эпилепсия, имелись жена и дочь, донимали бедность и работа на заказ. Фантазиям о Князе и Красавице здесь не было места совсем: Достоевский обдумывал возможность писать о себе и своей жизни, о том, как он и его автобиографический герой подвергались насмешкам, как подлецы-критики считали его за ничто, как господа Тургенев, Гончаров, Аксаков подавали милостыню больному и опустившемуся литератору. В глубине души герой-романист знал себе цену, помнил, как много идей он выдумал, «и литературных, и всяких». Финал романа готовил сюрприз: романист, таясь от всех, «вдруг написал превосходное произведение. Слава и деньги. И проч., и проч.».

«NB. Тема богатая», — добавлял Достоевский; и правда, он сочинял сюжет о себе самом — писателе, который, несмотря на тяжелейшие жизненные обстоятельства и смертельный риск не очнуться после очередного припадка, обвел судьбу вокруг пальца, написав произведение, вернувшее ему славу и признание. Неизвестно, предназначался ли для богатой темы знакомый демонический лейтмотив. Достоверно судить можно лишь об одном: записи середины августа 1870 года, зафиксировавшие в рабочей тетради с готикой резкий перелом первоначального замысла «Бесов», а также новый план и программу романа, уместились в счастливый трехнедельный промежуток между припадком 7 августа и припадком 2 сентября.

Откуда же возникали в черновиках Достоевского демонически порочные аристократы, сумасбродные красавицы и их гибельные страсти? В окружении Ф. М., особенно теперь, не было никого, кто бы хоть отдаленно соответствовал таким амплуа. В его письмах начала 1870-х, адресованных издателям «Зари» и «Русского вестника», друзьям — Страхову и Майкову, родственникам — пасынку и племяннице, не было ничего, кроме деловых и семейных подробностей.

Между изнурительными припадками, погруженному в супружество и отцовство («Аня... сама кормит и с ребенком ночей не спит»), издерганному бытом («Нянька здешняя требует себе особую комнату, белье, чертово жалованье, три обеда, столько-то пива»), замученному безденежьем и долгами Достоевскому являлись нездешние фантазии, а значит, и силы, чтобы вырваться из «тягости и ужаса» повседневности. И, видимо, действительно чем-то необыкновенно дорог был Достоевскому его новый герой, если писатель готов был поде-

литься с ним не рутиной бытового существования, а давними мечтами.

«Хочется мне ужасно, до последнего влечения, пред возвращением в Россию съездить на Восток, то есть в Константинополь, Афины, Архипелаг, Сирию, Иерусалим и Афон, — признавался Ф. М. все той же Сонечке в июле 1870 года. — Я бы написал книгу о поездке в Иерусалим...», а уже в августе, в те самые поворотные для нового романа дни, свою мечту отдал черновой тетради (на той же странице — немного готики и рисунок домика с окнами): «Наш принц пропутешествовал 4 года...», повторив запись трижды. «Нам же известно было... что он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим; потом примазался где-то к какой-то ученой экспедиции в Исландию и действительно побывал в Исландии», — расскажет Хроникер, Антон Лаврентьевич, в первой части романа. «Я был на Востоке, на Афоне выстаивал восьмичасовые всенощные, был в Египте, жил в Швейцарии, был даже в Исландии...» — сообщит в исповеди и сам герой.

Сочиняя для него маршрут экзотического восточного путешествия, Достоевский будто вспоминал о несбыточном. Выбрав из трех путей — или поехать на Восток, в Константинополь и Иерусалим, или отправиться на рулетку и погрузиться в нее навсегда, или жениться — третий, он будто отрезал для себя первые два, хотя Анна Григорьевна, найдя впоследствии в бумагах мужа рекомендательные письма в русскую миссию в Константинополе, не сомневалась в серьезности его намерений поехать на Восток.

Было бы неверно думать, что, берясь за образ Князя, Достоевский имел готовое решение. Напротив, демонический герой все время менялся, ускользал, путал карты, раскалывал интригу. Князь А. Б. — с такими инициалами он впервые появился в черновиках — из молодого человека умеренного поведения вдруг стал преображаться в бретера и дуэлянта, коварного соблазнителя и дерзкого прожигателя жизни. Загадочность и неуловимость его облика осложнялись еще и тем, что до самых последних мгновений влюбленные в него женщины не могли обнаружить у Князя хотя бы каплю ответного чувства. «Колебание, и в этом сладость романа», — записал Достоевский, понимая, что вероломство героя в делах любви идет только на пользу сюжету. Таинственный герой, высокомерный аристократ, внимательно присматривавшийся к нигилистам, выставлялся теперь как их тайный и заклятый враг.

Какую участь готовил писатель своему герою? Сомнений не было: он поднимал Князя на «*безмерную высоту*», а затем безжалостно обрушивал вниз. На одной и той же странице рабо-

чих записей герой витийствовал, воспламенял своих адептов «огромностью идей» — и кончал с собой; смерть его была мрачна и ужасна: «Гражданин кантона Ури висел на веревке, спрятавшись между шкафом и комодом». А дальше для Князя снова сочинялись пламенные речи, вдохновенные монологи, ему отдавались самые дорогие идеи, заветные мысли будущего «Дневника писателя».

Заботила писателя и любовная репутация Князя — усиленно демонизируя героя, Ф. М. полагал, что герой «должен быть обольстителен». Сознавая, что репутация демона не может строиться лишь на любовных победах, автор искал новые краски и качества. Обаяние героя должно было быть много сильнее, чем это ожидалось от заурядного волокиты: требовались специальные жертвы обольщений, особые стихии бытия. «Видно, что он господин разговора... Угрюм и важен... Иногда молчаливо любопытен и язвителен, как Мефистофель. Спрашивает как власть имеющий, и везде как власть имеющий... ВООБЩЕ ИМЕТЬ В ВИДУ, что Князь обворожителен, как демон, и ужасные страсти борются с... подвигом. При этом неверие и мука — от веры. Подвиг осиливает, вера берет верх, но и бесы веруют и трепещут. “Поздно”, — говорит Князь и бежит в Ури, а потом повесился».

Но вот что странно: демонический герой с повадками Мефистофеля, получавший от автора его излюбленные мысли — о назначении России и Божественном промысле, основаниях нравственности и русском Апокалипсисе, лишь смущал и морочил податливые души учеников. Подняв их к горним вершинам богословских откровений, подчинив их волю метафизической риторикой, демон высокомерно бросал своих адептов на произвол судьбы. Пафос высших философских построений, тайну мистического знания о России, глубину православных интуиций «обворожительный демон» использовал как приманку для адских ловушек. «Записные тетради», заполнявшиеся летом 1870 года, неопровержимо доказывали, что великие сокровища ума и горнии вершины духа автор отдавал Князю, когда тот уже устоялся и укрепился в своем демоническом статусе. Обольщенные Князем жертвы, потерявшие возможность суда над ним, слали ему проклятия и сходили с ума. Но автор упрямо записывал: «*Князю больше роли, значительнее*».

Когда наступила памятная середина августа 1870 года и в рабочей тетради появилась итоговая заметка, Достоевский почувствовал, что от планов может перейти к тексту. Ради Князя, превращенного в демона и поставленного в центр романа, стоило рисковать — из-за него уничтожался первый вариант и вся работа начиналась заново. Письма, последовавшие одно за

другим, свидетельствовали: Достоевский *не думал*, что поиск героя так осложнит его планы и так нарушит обязательства; *не предполагал*, что увязнет в черновиках, пока не выйдет на *своего демона*.

«Отказаться же от новой идеи и остаться при прежней редакции романа я не в силах совершенно. Я не мог предвидеть всего этого», — писал он в «Зарю». «Идея так хороша, так многозначительна, что я сам перед нею преклоняюсь...» — сообщал он племяннице. Так в роман, задуманный как памфлет против нигилистов и западников, вторгся и занял свое место герой-звезда, герой-солнце — «безмерной высоты».

Достоверно известно, что сразу после августовских черновых программ (у Князя были усилены печоринские качества и подробно расписаны сцены, где проявлялась его бешеная, но мгновенно остывающая страстность) Достоевский в течение месяца с небольшим написал начало. 7 (19) октября 1870 года он выслал в «Русский вестник» 62 полулиста бумаги малого формата, которые содержали первую и вторую главы первой части. Пути назад не было. Вдогонку Ф. М. выслал Каткову письмо, в котором сделал волнующее признание о герое, «взятом из сердца».

Двадцать третьего января 1871 года обещанный номер «Русского вестника» вышел в свет. Достоевский попал в сеть, которую, как всегда, расставил сам: некуда было деваться от финансового обязательства отработать долг и появлялось художественное обязательство пройти до конца романа с тем Ставрогиным, который был заявлен в первой части. Герой, которому назначались демонские свойства и экстраординарные поступки, не мог слишком меняться от главы к главе — особенно если учесть, что и жить ему оставалось всего месяц: ровно столько должно было продлиться действие романа, в финале которого герой кончал с собой.

Система всегдашнего долга, загонявшая Достоевского в режим отработок, обеспечила зависимость работы над «Бесами», длившейся три года, от его августовского решения о «характере Князя». С того момента, когда в Москву ушел пакет с рукописью, и особенно с того момента, когда начало первой части «Бесов» вышло в свет, герой-демон стал неотменимым обстоятельством жизни писателя.

Имел ли Николай Всеволодович Ставрогин, уже выпущенный из черновых тетрадей на волю, какое-нибудь отношение к замыслу «Жития великого грешника»? Был ли он неким вариантом раскаявшегося атеиста? Вряд ли. Греховность героя, пустившая глубокие корни, обнаруживала такую крепость и устойчивость, такую сопротивляемость к попыткам его «спасти

и сохранить», что все иллюзии насчет исцеления таяли как дым. Ведь с самых первых записей обнаруживался категорический императив: целеустремленное намерение автора довести героя до пули или петли: очень скоро ранняя вопросительная заметка: «А. Б. может застрелиться (?)» сменилась непреклонным решением: «Убить Князя». Финал был незыблем. «У меня с этим романом, — признавался Ф. М., — происходило то, чего никогда еще не было: я по неделям останавливал работу с начала и писал с конца».

Как на этом фоне выглядят гипотезы о возможных прототипах Ставрогина? Если даже согласиться с самыми интересными из них, вспомнив захватывающие споры 1920-х годов (Ставрогин — Бакунин)[1], как отнестись к метаниям Достоевского на подготовительных этапах работы? Ведь Достоевский или не сразу осознал, какой из прототипов ему нужен, или менял прототипа от записи к записи.

Меж тем черновые разработки дают понять, что писатель примеривал на героя противоречивые и даже взаимоисключающие качества. Князь был «взят из сердца», но при этом приговаривался к самоубийству. Автор поднимал героя на «безмерную высоту», но при этом понуждал к новым преступлениям. Называл его мрачным злодеем, но при этом — русским и типическим лицом. В течение многих месяцев характеристики Князя кардинально менялись, но романист тем не менее утверждал: «Слишком давно уже хочу изобразить его...»

Кого он хотел изобразить «слишком давно»?

Право биографа искать ключ к пониманию натуры литературного героя неоспоримо. Как правило, этот ключ видится в сходстве автора и героя — портретного, духовного, бытового, событийного. Если сходство есть, его быстро обнаруживают. Давно установлено, что герой из плана «Жития великого грешника» многими чертами характера напоминал молодого Достоевского, каким он выглядел по письмам брату Михаилу. Но герой «Жития» и должен был походить на автора «Жития», раз главный вопрос задуманного сочинения звучал как *существование Божие*: тот самый, которым как раз автор мучился всю свою жизнь.

Какой же ключ мог бы подойти к образу Ставрогина? Ведь в случае с «обворожительным демоном» биографические сближения таили скандальный оттенок и служили внелитературным целям. К примеру, печально известные страховские разоблачения в письме Л. Н. Толстому имели заднюю мысль: ценой осквернения памяти одного писателя заслужить после его смерти дружбу и доверие другого. Меж тем Страхов был первым, у кого в руках оказалась тайна замысла Достоевско-

го, — именно ему в октябре 1870-го Ф. М. признался: «Новый герой до того пленил меня...» И если бы Страхова-критика действительно занимали творческие загадки, он скорее других мог бы догадаться, почему новый герой пленяет автора, как только достигает нужного демонического градуса.

«Близость наша была так велика, что я имел полную возможность знать его мысли и чувства...»[2] — утверждал Страхов в воспоминаниях о Достоевском. Собственно, только он и мог понять, какой же именно ключ вручил ему Достоевский. Но не понял — ни тогда, когда получал от автора «Бесов» по письму ежемесячно, имея богатую возможность задавать любые вопросы о новом сочинении (ведь спрашивал же Майков насчет Яновского — не он ли прототип «вечного мужа», и Достоевский честно отвечал). Не захотел Страхов узнать больше и тогда, когда писал «Воспоминания» — работе над «Бесами» была посвящена всего одна строка[3], и тогда, когда в письме Толстому отрекался от своих мемуаров: «Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство... Но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как это мы делаем везде и во всем!»[4]

Что же могла значить лично для Достоевского мрачная стихия души демонски порочного Князя А. Б., каким он представал в записных тетрадях 1870 года?

Когда Достоевский писал Каткову, что своего нового героя «слишком давно уже хотел изобразить», он был честен и точен. Он и в самом деле давно уже знал своего «хищного», был связан с ним — не только «возмущающими нашептываниями», но и общей судьбой. Писать же о своей судьбе, своей истории, обойдя молчанием того, кто давно вселился в сердце, было недостойно и бессмысленно. Имея в виду как раз роковую способность демонской личности овладевать сердцем «смирного», Достоевский и употребил в высшей степени точное, но понятное только ему выражение: «Я из сердца взял его».

Но дерзость всего замысла с риском потерять зря время, с пожертвованиями уже написанного варианта романа проявилась в намерении, лаконично обозначенном простым глаголом: ИЗОБРАЗИТЬ.

Изобразить своего демона — вслед за великими мастерами, дерзнувшими запечатлеть те силы и стихии, которыми они были одержимы, — это была достойная цель. «Тогда какой-то злобный гений / Стал тайно навещать меня. / Печальны были наши встречи: / Его улыбка, чудный взгляд, / Его язвительные речи / Вливали в душу хладный яд...» Об этом, вероятно, и следовало бы написать Каткову, если бы в деловом письме

был уместен возвышенный поэтический слог. Но не решаясь на бо́льшую откровенность, Достоевский все же намекнул: «Это и русское, и типическое лицо...»

Суть дела, однако, состояла в том, что ассоциации с демонскими предшественниками были как раз крайне нежелательны — нельзя было никому подражать и никого повторять. Следовало воздержаться от романтических штампов и байронических отвлеченностей. Человеческая судьба и романная история героя должны были быть слиты с судьбой и историей автора — в этом и заключался глубинный смысл изображения демона.

Понимая, задача какой сложности встала перед ним, Достоевский не скрывал, как грустно ему будет, если лицо не удастся или выйдет ходульным. «Что-то говорит мне, что я с этим характером справлюсь. Не объясняю его теперь в подробности; боюсь сказать не то, что надо. Замечу одно: весь этот характер записан у меня сценами, действием, а не рассуждениями; стало быть, есть надежда, что выйдет лицо».

Все сошлось в дерзновенном решении справиться с демоном, изобразив его. Чтобы освободиться от демона — если только это входило в намерения Достоевского — следовало творчески овладеть им.

Автору и герою предстояло помериться силами. Тот факт, что формально герой находился как бы в полной авторской власти, не делал поединок легче.

Глава вторая
ЧТО СЧИТАТЬ ЗА ПРАВДУ?

Работа наудачу. — Исцеление. — Краски для демона. — «Донос» Страхова. — Двойники и антиподы. — Существа в беспредельности. — Маска Мефистофеля. — Спешнев и Ставрогин. — Преображение прототипа. — Высший произвол

Спустя месяц после выхода в свет начальных глав романа появились первые отклики. Критики были осторожны и на всякий случай ограничивались общими местами. Анонимный рецензент «Биржевых ведомостей», воздав дань таланту писателя, дежурно напомнил об угасании его дара и одноцветности недавних сочинений. В обзоре «Голоса» критиковалась повествовательная манера, достоинства которой могли обернуться недостатками: тонкий анализ душевных движений граничил с излишеством, утомительной многословностью рассказа.

В сущности говорилось то же самое, что в связи с «Идиотом» писал Страхов: якобы невладение талантом, неэкономное расходование художественных средств. «Вы ужасно метко указали главный недостаток, — дипломатично отвечал критику Достоевский. — Да, я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею, до сих пор (не научился), совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии. Всё это изумительно верно сказано Вами, и как я страдал от этого сам уже многие годы, ибо сам сознал это. Но есть и того хуже: я, не спросясь со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам... И тем я гублю себя».

Однако в письме Страхова Достоевского больше всего беспокоило молчание о главном. Критик писал, как прелестен Степан Трофимович Верховенский, как глубок и ярок Кириллов, как хороши сцены с Хромоножкой и Кармазиновым. О Ставрогине, как ни надеялся Ф. М. услышать хоть что-то, не было ни слова.

«Пишу *наудачу*. Вот теперешний мой девиз», — признавался он Страхову, когда уже была напечатана треть романа. Писать наудачу — значило писать без всякого внешнего одобрения. Ведь не только Страхов, но и никто другой ничего не сказал о его новом герое — ни анонимные рецензенты, ни Майков, восхищавшийся Степаном Трофимовичем, этим «тургеневским героем в старости», хваливший Шатова и Хромоножку. Впрочем, некий намек можно было усмотреть в рецензии «Санкт-Петербургских ведомостей» (1871, 6 марта): «Вместе с живыми лицами выходят куклы и надуманные фигуры; рассказ тонет в массе ненужных причитаний, исполненных нервической злости...»

Работа наудачу (Ф. М. боялся, что он испортит роман «до грязи, до позора») шла туго, вяло, усиливала тревогу и мрачное настроение. В апреле 1871 года исполнялось четыре года, как он жил вне России, и надежда на возвращение казалась все более призрачной. Ф. М. чувствовал, что на чужбине гибнет его талант и что для «Бесов» ему во что бы то ни стало нужна Россия. Анна Григорьевна снова ждала ребенка, и если они не вернутся домой до родов, то застрянут здесь еще на год. Мучительные, гнетущие мысли... От Дрездена до Висбадена было сравнительно недалеко...

Недельная поездка на рулетку в апреле 1871 года, предпринятая в момент тяжелого творческого кризиса, была инициирована, как уверяла позднее Анна Григорьевна, именно ею, выдавшей мужу сотню «свободных талеров» и предвидевшей

проигрыш (но почему же через три дня Ф. М. умолял ее не отчаиваться, уверяя, что есть несчастья, которые сами в себе носят и наказание?). Впервые за десять лет он боялся играть. Накануне видел во сне покойного отца («но в таком ужасном виде, в каком он два раза только являлся мне в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновидение сбылось»), а также свою 25-летнюю Аню, но совершенно седой. Сон потряс его до глубины души. И все же он поехал, пришел в *воксал*, стал у стола и начал ставить мысленно, угадал десять раз кряду, угадал даже шанс *zero*. Он был так поражен чудом мысленной удачи, что включился в игру и в пять минут выиграл 18 талеров. Он мечтал привезти домой хоть что-то, хоть 30 талеров, но вскоре проиграл всё и на взволнованное, тревожное письмо жены ответил «подло и жестоко», требуя прислать денег...

Тем же вечером с ним приключилась странная история. Выбежав из казино, Ф. М., как очумелый, бросился к священнику Янышеву, который однажды, в подобных же обстоятельствах, уже выручал его. «Я думал дорогою, бежа к нему, в темноте, по неизвестным улицам: ведь он пастырь Божий, буду с ним говорить не как с частным лицом, а как на исповеди». Но заблудился и, когда дошел до церкви, которую принял за русскую, узнал (ему сказали в лавочке), что это — еврейская синагога. «Меня как холодной водой облило». Бросился обратно в отель и всю ночь писал Ане, плакал, каялся, просил прощения — так же, как и прежде, десятки раз.

Достоевский был уверен, что этот раз — последний. «Теперь эта фантазия кончена навсегда... Я никогда не ощущал в себе того чувства, с которым теперь пишу. О, теперь я развязался с этим сном и благословил бы Бога, что так это устроилось... Не думай, что я сумасшедший, Аня, ангел-хранитель мой! Надо мной великое дело совершилось, исчезла гнусная фантазия, *мучившая* меня почти 10 лет. Десять лет (или, лучше, с смерти брата, когда я вдруг был подавлен долгами) я всё мечтал выиграть. Мечтал серьезно, страстно. Теперь же всё кончено! Это был ВПОЛНЕ последний раз! Веришь ли ты тому, Аня, что у меня теперь руки развязаны; я был связан игрой, я теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как бывало это. А стало быть, *дело* лучше и спорее пойдет, и Бог благословит!.. Я перерожусь в эти три дня, я жизнь новую начинаю... А до сих пор *наполовину* этой проклятой фантазии принадлежал».

Он не старался убедить жену, будто сам, своими силами может удержаться от «гнусной фантазии». Его заслуги в деле перерождения вроде и не было — *не он совершил* великое дело, но *оно совершилось над ним*. «Теперь буду работать для тебя и для

Любочки, здоровья не щадя, увидишь, увидишь, увидишь, всю жизнь, И ДОСТИГНУ ЦЕЛИ! Обеспечу вас». С благодарностью отдавал он свое новое сочинение на волю высших сил, которые — теперь он был уверен в этом — действительно помогали ему. Похоже, новый роман вытаскивал его из игорного вихря.

Действительно, опыт 1871 года положил предел многолетнему кошмару. В пламенных висбаденских письмах Достоевского звучало страстное обещание — не ходить к здешнему батюшке Янышеву за деньгами, которые могут быть снова брошены на игорный стол. «Не беспокойся, *не* был, *не* был и не пойду!.. К священнику же не пойду, не пойду, клянусь, что не пойду!»; «К священнику *не пойду*, ни за что, ни в каком случае. Он один из свидетелей старого, прошедшего, прежнего, исчезнувшего! Мне больно будет и встретиться с ним!»

Сразу по приезде в Дрезден, принявшись за продолжение «Бесов», Достоевский записал вчерне несколько сцен на тему «Князь и Тихон». Вместо сочинителя, надорванного гибельным омутом рулетки, на исповедь и покаяние к старцу отправлялся его новый герой, Князь-солнце, в ком ужасные страсти трагически боролись с подвигом.

Скромные достоинства игрока Алексея Ивановича меркли перед жестоким обаянием нового героя; сомнительное очарование *zero* не шло ни в какое сравнение с масштабами грандиозного и в высшей степени опасного замысла. Рискованная художественная игра в магию подлинности рождала новую творческую легенду, чреватую неизбежными жертвами. «Тут действительно есть что-то, чтó переступает “за черту” искусства: это *слишком живо*»[5], — напишет позже Дмитрий Мережковский, первым прочтя неопубликованную главу «У Тихона».

Этой опаснейшей художественной работе и суждено было вытащить Достоевского из омута русской игры, чтобы явить то единственное в своем роде исключение, о котором говорил благородный английский сахаровар мистер Астлей, персонаж «Игрока»: «На мой взгляд, все русские таковы или склонны быть таковыми. Если не рулетка, так другое, подобное ей. Исключения слишком редки. Не первый вы не понимаете, что такое труд (я не о народе вашем говорю). Рулетка — это игра по преимуществу русская».

«Трудно было быть более в гибели, — писал Достоевский жене из Саксон-ле-Бена о лихорадке 1865 года, — но работа меня вынесла». Он свято верил, что вытащить его из игорного омута и спасти сможет только работа — роман. Так случилось, что спасительным сочинением стало не «Преступление и наказание» (на что была надежда в 1865-м), и не «Идиот» (на что

была надежда в 1867-м), а только «Бесы». Обещание, данное в момент работы над «Бесами», оказалось — впервые — посильным для исполнения.

«Конечно, я не могла сразу поверить такому громадному счастью, как охлаждение Федора Михайловича к игре на рулетке, — вспоминала Анна Григорьевна. — Ведь он много раз обещал мне не играть и не в силах был исполнить своего слова. Однако счастье это осуществилось, и это был действительно *последний* раз, когда он играл на рулетке. Впоследствии в свои поездки за границу (1874, 1875, 1876, 1879 гг.) Федор Михайлович ни разу не подумал поехать в игорный город. Правда, в Германии вскоре были закрыты рулетки, но существовали в Спа, в Саксоне и в Монте-Карло. Расстояние не помешало бы мужу съездить туда, если б он пожелал. Но его уже более не тянуло к игре. Казалось, эта "фантазия" Федора Михайловича выиграть на рулетке была каким-то наваждением или болезнью, от которой он внезапно и навсегда исцелился».

...В начале мая 1871 года вышла апрельская книжка «Русского вестника» с окончанием первой части романа: на сцену являлся «хищный тип», замысел которого автор откладывал много лет. Краски художника смешивались дерзко и вызывающе; автор усердно работал, создавая герою репутацию буяна и светского льва. Длинный шлейф опасных безумств, глухие слухи о загадочном прошлом, а также поразительная красота и изящество облика создавали изысканно-утонченный контраст, поражавший воображение. Всем в мире романа, кто впервые видел Ставрогина, он казался зловеще прекрасным: хотелось — как на слепящем солнце — закрыть глаза или спрятаться в тень. Оставив в прошлом безумные кутежи и дикую разнузданность, герой являлся в облике неотразимо обольстительном и как бы вечно новом; чары мужского обаяния соединялись с безупречностью жеста и блеском светского шарма. Магическое очарование героя гипнотизировало, заставляло видеть происходящее в каком-то призрачном свете. И если «безмерная высота» Николая Всеволодовича заключалась в его нечеловеческой власти над людьми, то он был еще и завораживающе ласковым, приветливым демоном.

Разрабатывая любовные линии «Бесов», которые должны были, перекрещиваясь и переплетаясь, создавать напряженную атмосферу романной интриги, автор, обладавший неукротимой фантазией, насыщал их причудливым и усложненным эротизмом. Но при всем обилии вариантов, при всей огромности любовного потенциала, которым автор награждал героя, стилистика его эротических начинаний имела вполне опознаваемый акцент: Ставрогин уподоблялся не столичному лове-

ласу, не губернскому Казанове, а Эроту, божеству любви — смелому, крылатому стрелку, чьи стрелы пронзают сердце и зажигают его непобедимым влечением. «Помещик с крылышками» оказывался красавцем, божественно одаренным всевластной мировой силой, вечной и неутолимой жаждой обладания, — то есть не только сияющим и искусным, но также коварным и беспощадным.

Донжуанский список Ставрогина (Князь трижды был назван Дон Жуаном в черновых тетрадях) свидетельствовал об исключительной разносторонности его любовных предпочтений, ничего общего не имевших с общепринятыми стандартами. Дон Жуан оказывался «кроток, скромен, тих, безмерно горд и зверски жесток»; зверский огонь вспыхивал и разгорался в нарушение всех общественных правил и приличий. Неистовая одержимость жертв возбуждала сладострастие Князя и его потребность томить, «выдерживать» околдованных им женщин, то есть действовать «по-печорински» — холодно, властно, с ястребиной целеустремленностью. Намеченную жертву надлежало измучить таким страстным томлением, заморочить таким густым туманом неясности, что она приходила сама, без приглашения и даже без видимого повода — приходила и бросалась к ногам. Вот тут-то, насладившись унижением дамы, и следовало отказать ей с обидным пренебрежением.

Впрочем, иногда он «оставлял мгновение за собой», чтобы отказать уже наутро, и, откровенно презирая красавиц за их всегдашнюю готовность броситься ему в объятия, неизменно ускользал... Достоевский видел характер сумасшедший, со вспышками мгновенной страстности и глубокой сердечной нежности; внушая очередной жертве коварную мысль о своей неспособности полюбить, он буквально приковывал ее к себе цепями азартного и самонадеянного сострадания.

Пройдет немногим больше десяти лет, Достоевского уже не будет в живых, и Страхов решится «заявить» на своего покойного друга: «Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими... Лица, наиболее на него похожие, — это герой *Записок из подполья*, Свидригайлов в *Прест. и Нак.* и Ставрогин в *Бесах*»[6]. Когда в 1914 году А. Г. Достоевская впервые прочитала эти строки, она возмутилась до глубины души: «Человек, десятки лет бывавший в нашей семье, испытавший со стороны моего мужа такое сердечное отношение, оказался лжецом, позволившим себе взвести на него такие гнусные клеветы! Было обидно за себя, за свою доверчивость, за то, что оба мы с мужем так обманулись в этом недостойном человеке».

Дело было не только в том, что Страхов «донес» на Достоевского, когда писателя уже не было в живых и он не мог себя

защитить, и даже не в том, что «донос» содержался в письме Толстому, то есть был обречен на публичность. Быть может, литературная зависть Страхова, его человеческая заурядность, которую он годами пытался скрывать, тесно общаясь с двумя гениями, были истинным несчастьем, и он не удержался на точке чести и благородства.

Но страховский «донос», обнаживший злое лицемерие, самолюбивую зависть доносчика к чужой славе и любовь к «пирогам жизни» (в рабочих тетрадях Достоевский оставил едкую характеристику критика), был чреват и саморазоблачением. Называя среди лиц, «наиболее похожих» на Достоевского, Ставрогина, Страхов рисковал выглядеть или действительно был элементарно некомпетентным: зная автора «Бесов» так долго и так близко, он не почувствовал, что писатель вывел на сцену не своего *двойника*, а своего *антипода*.

«Пожилой, некрасивый мужчина...» — так, по словам Анны Григорьевны, рекомендовал ей себя Достоевский. Наружность Достоевского, описанная самыми разными людьми, смотрелась естественно рядом с типажами из «Бесов». «Взгляните на лицо Достоевского, — писал в 1888 году Фридриху Ницше датский критик Георг Брандес, знавший лицо Достоевского лишь по фотографиям и портретам, — наполовину лицо русского крестьянина, наполовину — физиономия преступника, плоский нос, пронзительный взгляд маленьких глаз под нервно подрагивающими веками, этот высокий, рельефно очерченный лоб, выразительный рот, который говорит о безмерных муках, неизбывной скорби, о болезненных страстях и ярой зависти. Гений-эпилептик, одна уже внешность которого говорит о приливах кротости, заполнявших его душу, о приступах граничащей с безумием проницательности, озарявших его голову; наконец, о честолюбии, о величии стремлений и о недоброжелательстве, порождающем мелочность души...»[7]

Если признать этот словесный портрет хотя бы отчасти похожим на оригинал, если согласиться с заявлением Страхова, что Достоевский создавал героев по своему образу и подобию, то всё как будто сходится: писатель и многие его герои кажутся людьми, вылепленными из одного теста, — бледный, злой Подпольный с всклокоченными лохмами; опухший, отечный, с крошечными красноватыми глазками Мармеладов; косматый низкорослый неуклюжий Шатов...

И только одно лицо явилось в эту портретную галерею будто из другого мира, вылепленное из иного, неведомого материала. Достоевский творил Ставрогина как эстетический вызов и самому себе, и своей привычной среде. Долго и тщательно подбирая тона и краски для героя, писатель создавал существо

другой породы и другого порядка. Во всех подробностях своего бытия не похожее на автора, оно вызывало не зависть и раздражение, а восторг и восхищение.

Достоевский бился в нищете и зарабатывал на жизнь тяжким литературным трудом, беря деньги в долг и вперед, — его герой был обеспечен и независим. Достоевский был тяжело нездоров — его герой отличался чрезвычайной физической и телесной силой. В ранней юности Достоевский остался сиротой и родней имел московских купцов — его герой вращался в высшем петербургском обществе, куда автора «Бедных людей» пустили как свежую знаменитость лишь раз-другой.

Писатель сочинил для своего красавца, богача и аристократа Ставрогина завидную биографию. В том самом возрасте, когда Достоевский носил ножные кандалы и куртку каторжника, расплачиваясь за увлечения молодости, его герой путешествовал: вся Европа, Иерусалим, Исландия. В остроге Достоевскому запрещали читать и писать — его герой получал образование в немецких университетах. Герой, бесстрашный барин, мог позволить себе роскошные причуды и изысканные шалости — просто так, для развлечения. Литературный пролетарий Достоевский даже на рулетку ездил от безысходности — в надежде на спасительный выигрыш.

Герой, с его победительным мужским обаянием, имел феноменальный успех у дам — у всех дам; его триумфы были тем бесспорнее, чем бóльшим «хищником» и «кровопийцем» хотел он себя показать. Автор в своей интимной жизни играл роль не «хищную», а «смирную», и был чаще всего не адресатом любовных посланий, а почтальоном и конфидентом — в мире инфернальных романов ему никогда бы не досталась роль инфернального героя. Ставрогин, согласно замыслу автора, обольщал, околдовывал и порабощал всех, кто имел роковую неосторожность подойти к нему слишком близко; мужчины «Бесов» претерпели в этом смысле ничуть не меньше, чем женщины.

«Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков?.. Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете?» — пламенно кричал бесталанный Шатов. «Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин!» — восклицал маниакальный Кириллов. «Вы значили столько в судьбе моей!.. Я же имею теперь великие страхи, и от вас одного только и жду и совета и света», — открывался Ставрогину капитан Лебядкин. «Ставрогин, вы красавец!.. Я люблю красоту... Я люблю идола! Вы мой идол!.. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...» — неистовствовал Петруша Верховенский.

«Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире». Эти пронзительные слова Шатова с гораздо большим основанием могли бы быть сказаны самим Достоевским: он и герой «безмерной высоты» сходились в беспредельности романического вымысла в первый и последний раз. В этом призрачном диалоге Достоевскому выпадала роль Шатова. «Я не могу вас вырвать из моего сердца!» — твердил Шатов своему кумиру. «Я из сердца взял его», — будто повторял вслед за Шатовым Достоевский.

Так же как и Шатов, познал Достоевский гибельный холод одиночества и тот ужас безнадежности, который охватывает человека, когда ответом на сердечное признание оказывается гримаса высокомерного безразличия. «Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов», — холодно говорил Шатову Николай Всеволодович, не церемонясь с учеником («Шатова он околдовал и с презрением бросает», — стояло в черновиках). «Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся... К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу», — восторгался Ставрогиным Петр Степанович.

Никогда не имел Достоевский аристократического блеска и великолепия манер, никогда не мог усвоить безмятежное спокойствие и невозмутимость тона. Он писал длинные просительные письма, которых стыдился; он вынужден был излагать свои частные обстоятельства с унизительными мелкими подробностями, был мнителен и недоверчив, мучился невыдержкой тона не только на бумаге, но и на людях. Он появлялся в гостиных, сгорбившись, мрачно поглядывая вокруг и сухо раскланиваясь. По словам литературных знакомцев, он не был создан для «света». Он не знал тонкостей салонного обращения — этой холодной вежливости и любезной привычки смотреть через плечо, которые новичка могли довести до обморока. Формальный вопрос о здоровье, заданный Достоевскому в «свете», мог так оскорбить его, что он замыкался в глухом молчании на весь вечер. Многие запомнили его болезненным, раздражительным, нервным и крайне обидчивым. Его растрепанные нервы, его странности были притчей во языцех.

Но с каким любовным тщанием, с каким вдохновением придумывал он светский почерк Ставрогина, когда тот играл роль завсегдатая гостиных! Писатель сочинял легкие, как дым, диалоги в «светском» ключе — в них его *Nicolas* был верхом совершенства, впрочем, как и во всем другом по части изящества и самого утонченного благообразия: он и одевался так, что губернские франты смотрели на него с завистью и «совершенно пред ним стушевывались». «Безмерная высота», на которой

обретался герой, была создана на пределе авторского представления об аристократической роскоши, комфорте, утонченном вкусе.

Мемуаристы обычно вспоминали скромную обстановку комнат, которые снимал Достоевский: простые письменные столы, какие стоят в казенных присутствиях, старые кресла без мягких сидений, рыночные диваны, жесткие стулья; посетители заставали писателя дома в неизменном потертом пальто из черного сукна — оно служило ему домашней одеждой много лет подряд. «Пошлого в нем нет, но он мещанин. Да, мещанин. Не дворянин, не семинарист, не купец, не человек случайный, вроде художника или ученого, а именно мещанин. И вот этот мещанин — глубочайший мыслитель и гениальный писатель»[8], — замечала в 1880 году Штакеншнейдер.

Сойдясь со своим героем в метафизическом пространстве, на границе романического вымысла и собственной жизни, Достоевский будто бросал ему вызов: кто ты и кто я? Я — бедный, изнуренный работой, тщедушный, некрасивый пожилой «мещанишко», с грубым и простым лицом, измученный нездоровьем и дурным бытом. Ты? Тебя я вижу бесконечно сияющим, обольстительным красавцем; я придумал тебя, дав все лучшее, достойное беспредельного восхищения. Сотворив тебя таким, я дал тебе шанс, какого никогда не было у меня. Что ты сделаешь с ним и с собой?

Приглашение к дуэли было тем более парадоксальным, что вызываемый к барьеру персонаж сам был мучим виде́ниями и призраками. Достоевский смотрел в зеркало сочиняемого романа и видел своего демона грозным светоносным красавцем. А грозный красавец имел обыкновение устремлять неподвижный взор в одну точку в углу комода. Оттуда ему являлся его демон — «маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся».

...Напомню об открытии Миллера, когда он прочитал воспоминания, записки и рассказы людей, близко знавших писателя. Орест Федорович увидел, что роман «Бесы», во-первых, странно не понят; во-вторых, является сочинением автобиографическим «в психологическом смысле». Это значило, что искать точные аналогии с реальной жизнью Достоевского в романе бесполезно, но в нем с автобиографической определенностью присутствует история его духовных увлечений. Ни один из воспоминателей и товарищей писателя эту догадку никогда не отрицал. Осознав, что «Бесы» — в значительной степени история революционной молодости Достоевского, а не только исторический этюд о нечаевских событиях 1869 года, интерпретаторы обнаруживали в романе, наряду с хроникой

былого и политической злобой дня, даже личные мемуары — о временах «петрашевских».

Однако оттого что автор насыщал роман «петрашевскими» красками, он еще не становился автобиографическим. Пронзительно личные, обжигающе интимные интонации замысел начал обретать тогда, когда его центральный герой, пройдя невероятную череду превращений, приблизился наконец к той черте, за которой взрывался памфлет и вырастала трагическая мистерия. «Князь молчит и хоть ничего не говорит, но видно, что он господин разговора... Иногда молчаливо любопытен и язвителен, как Мефистофель. Спрашивает как власть имеющий, и везде как власть имеющий».

Повинуясь какому-то импульсу, какому-то неясному намеку, Достоевский заставил пока еще аморфного героя встретить страстные речи Шатова многозначительным мефистофельским молчанием.

Маска Мефистофеля, мелькнувшая вдруг в облике Князя, магически воскресила память. Нечто глубоко в ней спрятанное вспыхнуло и загорелось — и этот огонь придал мучительным и до того времени бесплодным поискам чудодейственную энергию и целеустремленность.

«Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель, — твердил Ф. М. доктору Яновскому два с лишним десятилетия назад, когда обнаружилось, что он опасно покорился авторитету «чересчур сильного барина» и стал его порученцем. — Теперь я с *ним* и *его*». Речь шла совсем не о деньгах, которые Спешнев дал в долг Достоевскому, а о тяготившей писателя подчиненности чужой воле, когда его пыл агитатора сменялся длительными дурнотами. Достоевский переживал свою несвободу как физическую болезнь — всем своим естеством — и имел предчувствие, что она, болезнь, не пройдет, а д о л г о и д о л г о б у д е т е г о м у ч и т ь.

Когда доктор Яновский опубликовал свои мемуары, где был фрагмент о Спешневе-Мефистофеле, он никак не мог знать, что в черновиках к «Бесам», хранимых вдовой писателя, содержатся строки, поразительно созвучные той фатальной фразе, которую воспоминатель хранил всю свою жизнь. То же и Достоевский: когда после многих проб и вариантов ему явились строки о Князе-демоне, язвительном, как Мефистофель, он никак не мог предполагать, что через много лет эти строки причудливо отзовутся в мемуарах старого друга.

Фантазия писателя, запечатленная на страницах рукописей, и свидетельство мемуариста соединились в беспредельности творческого пространства, чтобы явить собою *художественную улику*. В тот момент, когда в черновых записях к «Бесам»

внезапно появилась мефистофельская тема, Достоевский, видимо, понял, на кого должен быть похож его герой, одаренный талантом личного влияния. Учителем юности Достоевского называл Спешнева Вяч. Полонский; идеальным воплощением аристократа, пошедшего в демократию, признавал Спешнева и Л. П. Гроссман; оба спорили о прототипах Ставрогина.

За 20 лет, разделивших Спешнева и Ставрогина, в жизни Достоевского произошло слишком много событий, преобразивших и его самого, и мефистофельскую тему, и тех, кто на его глазах любил «корчить из себя Мефистофелей». Поэтому, как только Князь, блуждая в поисках своего Я, вышел на «мефистофельскую тропу», на помощь автору явился Спешнев как образец для героя. Соблазн продолжить и завершить прерванный арестом 1849 года роковой дуэт, в котором первая партия исполнялась Мефистофелем, заставил Достоевского отказаться от уже готового варианта памфлетных «Бесов» и начать работу заново: это был уникальный шанс встретиться со своим демоном не на его, а на своей территории.

Чем же все-таки Ставрогин походил на образец? Оказалось, ему пришлись впору обстоятельства «первоначальной биографии» Спешнева — Достоевский действительно хорошо знал своего Мефистофеля с точки зрения документа и факта. Однако под пером романиста многие неурядицы в жизни прототипа усугублялись и приобретали скандальный, даже криминальный финал: герой явно превосходил прототипа по части безобразий и буйства.

Намерение автора «испортить» репутацию героя, по сравнению с реальной биографией прототипа, было особенно заметно, когда рассказ касался любовной сферы, в которой и Спешнев, и Ставрогин имели необыкновенный успех. Любовная драма Спешнева, в которой он был представлен мемуаристами как человек могучих и благородных страстей, под пером Достоевского приобретала совсем другое звучание. Любовные страдания Спешнева, адресованные Ставрогину, крайне ужесточались; на романтическую тайну Спешнева, которой очаровывались и Семенов-Тян-Шанский, и Огарева-Тучкова, и Бакунин, была брошена сомнительная тень; за героем романа тянулся длинный шлейф в багровых тонах.

Слухи вокруг Спешнева рисовали его возвышенным и одухотворенным паладином — слухи вокруг Ставрогина полнились темными безобразиями. В заграничном прошлом Спешнева были изысканные салонные дамы и поляки-аристократы из свиты князей Чарторыйских, здесь — петербургское отребье, безумные хромоножки и неумытые девчушки за ширмами. Обаяние тайны опускалось до значений низких и постыдных;

Ставрогину приходилось признаваться не только в зверином сладострастии, которым он был одарен и которое всегда вызывал у других, но и в упоении позором и подлостью. Лицо героя писалось как будто поверх другого изображения; оставляя без изменения контуры и линии, неистовый художник «портил» живопись — перемешивал краски, менял оттенки, сгущал тени.

«Н. А. Спешнев отличался замечательной мужественной красотой, — писал, как мы помним, человек беспристрастный, обладавший точной и обширной памятью ученого, Семенов-Тян-Шанский. — С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя». Если только это сравнение имело хождение в том кружке, к которому принадлежали все трое, Достоевскому оно было крайне мучительно: человека с обликом Спасителя он называл про себя своим Мефистофелем.

С каким-то странным, суровым упорством герою, списанному с безупречного красавца Спешнева, поднятому на ту высоту, где обитают небожители, вменялись демоническая двойственность, коварная и злокачественная двусмысленность: за фигурой Спасителя тенью вставал Мефистофель, а перед глазами Ставрогина маячил золотушный бесенок с насморком.

«Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется!.. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь!» — писал Достоевский брату из Петропавловской крепости, пережив гражданскую казнь. Когда спустя 20 лет один из самых блистательных образов стал обретать плоть, художественный прогноз Достоевского полностью подтвердился: память о Спешневе была отравлена, потрясенная душа изъязвлена и изранена. «Отравой в крови» разлились воспоминания о роковом, загадочном барине, прекрасном, как Спаситель, и обворожительном, как Мефистофель. «Я с *ним* и *его*», — сказал когда-то Достоевский о своем демоне; теперь эту связь предстояло творчески обнаружить и разорвать: пришло время заплатить старинный долг.

Поразительнее всего, что к прототипу, реальному Спешневу, Достоевский не мог предъявить никаких моральных претензий. Они оба были арестованы в одну ночь; красавец, богач Спешнев разделил общую судьбу арестованных. Так же как Достоевский, он сидел в одиночной камере Петропавловской крепости, так же был лишен всех прав состояния и осужден на смертную казнь. За восемь месяцев крепостной тюрьмы исчез-

ли его красота и цветущий вид, в Сибирь он попал с начинающейся чахоткой. Так же как Достоевского, Спешнева, закованного в кандалы, везли в открытых санях в Тобольск, откуда по этапу направили в Иркутск и далее в Александровский Завод Нерчинского округа. «Спешнев в Иркутской губернии приобрел всеобщую любовь и уважение», — писал Достоевский вскоре по выходе из острога, восхищаясь «чудной судьбой» учителя, его всепокоряющим обаянием.

Почему-то та часть реальной биографии Спешнева, где он как аристократ, пошедший в демократию, был осужден и понес наказание, Достоевскому совершенно не понадобилась. Герою (Ставрогину) его причастность к обществу заговорщиков должна была аукнуться не каторгой, как прототипу (Спешневу) и автору (Достоевскому), а испытаниями совсем другого порядка. От них не могли спасти ни царские манифесты, ни ходатайства добродушных генерал-губернаторов, ни снисходительность гражданских властей, сострадающих обаятельным злоумышленникам.

Высший произвол, по которому действовал художник, диктовал ему брать у живого лица лишь те черты и те реалии, которые требовал замысел. Остальное отбрасывалось; судьба и личность оригинала свободно преображались, повинуясь законам творческого процесса. Фундаментальное различие между прототипом и героем стало средством овладения демонически хищным типом и — освобождения от него.

«Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен!» — провозглашал Петр Верховенский. За двадцать лет до романных событий «Бесов» этого мнения держался и Достоевский — видя перед собою Спешнева. Это и было капитальным заблуждением. Оставляя за Ставрогиным все обаяние аристократизма, чувственной энергии и демонского очарования, Достоевский подверг тотальной ревизии его статус революционера-заговорщика: от коммуниста Спешнева его художественному двойнику не досталось почти ничего — ни интереса к политической литературе (вместо Луи Блана Князь держит в кабинете роскошный альбом «Женщины Бальзака»), ни революционной активности (он «отчасти» участвует в «переорганизации общества по новому плану», помогая ему «случайно», «как праздный человек»).

Однако сопоставление образа действий Спешнева и Ставрогина выявляло, что Достоевский был значительно более осведомленным петрашевцем — вернее, спешневцем, чем он это показал на следствии. «Бесы» достоверно обнаруживали, что спешневский «Проект» был хорошо известен Достоевскому: будто издеваясь над сутью понятия «аффилиация», вербовщи-

ки в романе действовали публично, на глазах людей случайных и почти незнакомых. Личность Спешнева под пером Достоевского преображалась таким образом, чтобы крайний радикализм аристократа-коммуниста был или психологически невозможен, или попросту смешон, так что Ставрогин, по праздной прихоти втянувшись в общество «наших», открыто презирает их, демонстрирует неповиновение «вождю» и оказывается едва ли не главным обличителем их теории и их практики.

Авторская фантазия вторгалась в события прошлых лет и перекраивала их, приписывая участникам такие поступки, на которые они в свое время были совершенно неспособны. И вот Шатов, ученик и приспешник Ставрогина (на эту пару явно были спроецированы реальные взаимоотношения Достоевского и Спешнева), в сильнейшем потрясении, почти в умопомрачении выкрикивает в лицо своему кумиру немыслимые слова: «Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества! Это ли подвиг Николая Ставрогина!»

Надо думать, в те времена, когда Достоевский был *вместе* со своим Мефистофелем и был *его*, он не осмеливался на подобные дерзости. Но он смог выговорить эти слова, находясь в другом измерении, в другой точке времени и пространства — там, где сходились вместе Спешнев и Ставрогин, Шатов и он, Достоевский, бывший участник малого спешневского кружка, в который, по поручению Спешнева, он вербовал Майкова, чтобы «произвести переворот в России».

Миллер писал об удивительном благодушии, с которым Достоевский, заключенный в крепость, отнесся к своему положению. «По собственным словам Ф. М-ча, он сошел бы с ума, если бы не катастрофа, которая переломила его жизнь. Явилась идея, перед которой здоровье и забота о себе оказались пустяками»[9]. Если под спасительной идеей подразумевалось покаянное отрешение от ошибок молодости, Достоевскому нужно было не сожалеть о прошлом, а лишь детально запомнить его, чтобы позже художественно преобразить и стать хозяином положения и господином разговора.

Останется великой художественной загадкой, почему свой Символ веры, запечатленный в частном письме, спустя много лет Достоевский «отдал» персонажу, в чьих устах религиозное откровение теряло смысл. «Не вы ли говорили мне, — спрашивал бедный, обманутый Шатов атеиста Ставрогина, — что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?» Достоевский примерял свое кредо, добытое тяжкой духовной работой и годами испы-

таний, на испорченного барина — безбожника и неисправимого грешника; и выходило так, что даже и религиозная исповедь могла быть частью вероломной игры.

Религиозная мечта Достоевского — о том, что бесы выйдут из русского человека и войдут в стадо свиней, что Россия выблюет из себя нечаевскую пакость, а исцелившийся человек сядет у «ног Иисусовых» — в пространстве романа не сбывалась: Ставрогин упрямо отказывался подчиниться императиву. Ни одна роль, ни одна маска не подходили ему: пойти в мужики, монахи или раскольники, испытать суровую аскезу, заняться полезной практической деятельностью, избрать путь покаяния и исправления.

Каждый новый план спасения Ставрогина наталкивался на непреодолимое препятствие, идущее изнутри личности героя-демона, радикально изменить которую не удавалось. Автор мог сочинить для героя обольстительную внешность, изысканный костюм, биографию, полную влекущих тайн; мог наделить его неотразимым обаянием и поднять на какую угодно недостижимую высоту. Он мог бросить под ноги победительному красавцу любовь женщин, роковую привязанность мужчин и даже свой собственный Символ веры, рожденный в муках религиозного сомнения. Но тайной героя-демона, тайной романа о нем и прежде всего тайной автора остается вопрос: *не смог или не захотел* он, автор, направить героя на путь христианского спасения? Да и кто на самом деле распоряжался судьбой Ставрогина — автор или он сам, образ-фантом, пленивший писателя, а затем заявивший свои права и свою волю?

И был же еще искусительный пример прототипа. Спешневу, испытавшему те же лишения, те же мытарства, что и Достоевский, заслужившему всеобщее уважение на каторге и в ссылке, нашедшему себя в полезной деятельности на свободе, безверие не грозило самоистреблением. В 1860 году он поселился в имении своей матери в Псковской губернии, стал мировым посредником первого призыва и показал достойный пример: крепостные крестьяне его уезда получили самый большой земельный надел во всей России, а своим крестьянам Спешнев отвел две трети обширного родового имения. В глазах Достоевского такой поворот судьбы Спешнева-Мефистофеля никак не рифмовался с судьбой Ставрогина-демона — и автор судил своего героя значительно строже, чем жизнь обходилась с прототипом.

Откровеннейшие, глубочайшие мысли Достоевского о вере и неверии, его религиозный опыт и его «осанна» проверялись на совместимость с натурой человека, которому было отказано в великом даре веры и который был оставлен «на одни свои

силы». От трагической дилеммы, ультимативно и с каким-то суровым отчаянием поставленной Достоевским, зависела не только судьба героя, но и судьба России: «Если православие невозможно для просвещенного... то стало быть всё это фокус-покус, и вся сила России временная. Ибо чтоб была вечная, нужна полная вера во всё. Но возможно ли веровать?.. В этом *всё*, весь узел жизни для русского народа и всё его назначение и бытие впереди».

Испытав на себе жестокий опыт атеистических и «мефистофельских» искушений, пройдя в своей жажде верить через мучения и сомнения, он заставил и своих героев проделать тот же путь: каждый из них вынужден был самоопределяться через отношение к Христу.

«Я — взамен Христа» — это был случай Петра Верховенского, самозванца, обезьяны Бога; Достоевский помнил, как Петрашевский, «предтеча», торопился на пятницах «сеять семена» и глумился над Христом, «известным демагогом», «карьеристом».

«Я — без Христа» — это был случай Ставрогина, который мог уверовать лишь в своего хилого бесенка.

«Если не Христос, то я» — это был случай Кириллова, заявившего своеволие: «Для *меня* нет выше *идеи*, что Бога нет. Это так высоко, что перероди человечество».

«Если Христос, то и я» — это был случай Шатова, который пока только лишь жаждал веры и надеялся, что когда-нибудь уверует. Кровь Шатова, использованная самозванцами как политический клейстер в тот самый момент, когда формула «если Христос, то и я» утрачивала условность, была ритуальна и мистически символична: Достоевский, не «пожалев» Шатова в канун его возрождения, выставлял истинную цену своим заблуждениям и ошибкам, религиозным исканиям и духовным учителям.

Так что был еще и случай Достоевского. Тот духовный опыт, который пролег между формулой «нет и не может быть ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа» и идеологемами «без Христа», показывал подлинную дистанцию между автором «Бесов» и персонажами автобиографического романа. Достоевский готов был жертвовать истиной, если Христу в ней не было места.

Но его трагический герой, неисправимый грешник и атеист, тоже не мог отрешиться от своего кредо: «Я знаю, что если и уверую через 15 лет в Бога, то со мной всё равно произойдет ложь, потому Его нет. Я ведь знаю, что Его нет. Нет, лучше пусть я остаюсь несчастен, но с истиной, чем счастливый с ложью». Символ веры автора был вывернут наизнанку, зато каж-

дый оставался при своей правде, как он ее понимал. «Я не могу заставить себя веровать, — твердил герой. — Я не верую в Бога, но надеюсь быть честным человеком».

Автор романа выступал гарантом свободы совести трагического вольнодумца, но не мыслил для него иного исхода, нежели самоубийство. Ничто не могло спасти Ставрогина от крепкого, жирно намыленного, шелкового шнурка.

«Жертвовать собою и всем для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман».

Эта формула предназначалась автором для предисловия к роману.

Распространялась ли она на гражданина кантона Ури, повесившегося в крохотной чердачной светелке своего загородного дома в Скворешниках 11 октября 1869 года?

В этом тоже состоял «весь вопрос».

Глава третья

ЛИСТКИ, НАЗНАЧЕННЫЕ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ

Конец скитаний. — Костер из рукописей. — Процесс над нечаевцами. — Рождение сына. — Пропущенный юбилей. — Игра ва-банк. — Путь узкий, рискованный. — «От Ставрогина». — Читатель Тихон. — «Усекновенная» глава. — Цензурная драма

Лето 1871 года положило конец европейским скитаниям Достоевского, но четырехлетний итог не радовал. «Я думал, отправляясь прожить за границей года два, написать роман, продать, нажить денег, заплатить долги... и воротиться уже человеком свободным, да еще поправив здоровье. И что ж? Долги только увеличились, здоровье (то есть падучая) несколько поутихли против прежнего, но радикально не вылечился, а между тем народились дети, и чем дальше, тем тяжеле было подняться с места, чтобы ехать в Россию. Вошел опять в страшные долги, но наконец кончил тем, что воротился...»

Германия, Италия, Швейцария, снова Германия — Достоевский увидел Западную Европу не только как турист, со стороны ее красот и чудес, которыми дорожил и восхищался, но и как изгнанник, то есть с изнанки: в этом качестве заграница «наскучила наконец ужасно». К тоске по России присоединился «ужас отставания» — три русские газеты, которые он ежедневно читал в Дрездене, не давали ясного понимания домаш-

них событий (но воротившись, Ф. М. скажет, что особой загадки не нашел и понял всё в два-три месяца).

События европейские воспринимались жестко и несколько вчуже: на Франко-прусскую войну Ф. М. смотрел как «личный наблюдатель немецких нравов», и она вызывала мысли, далекие от пацифизма. «Без войны человек деревенеет в комфорте и богатстве и совершенно теряет способность к великодушным мыслям и чувствам и неприметно ожесточается и впадает в варварство. Я говорю про народы в целом. Без страдания и не поймешь счастья. Идеал через страдание переходит, как золото через огонь. Царство небесное усилием достается. Франция слишком очерствела и измельчала. Временная боль ничего не значит: она ее перенесет и воскреснет к новой жизни и к новой мысли... Те же немцы нам откроют наконец, каковы они есть в самом деле. Вообще перемена для Европы будет великая всюду. Каков толчок!»

Горькие чувства вызвал крах Парижской коммуны: Достоевский не был ее приверженцем и не разделял сожалений, что вот опять не удалось переделать мир. «Во весь XIX век это движение или мечтает о рае на земле (начиная с фаланстеры), или, чуть до дела (48 год, 49 — теперь) — выказывает унизительное бессилие сказать хоть что-нибудь положительное. В сущности всё тот же Руссо и мечта пересоздать вновь мир разумом и опытом (позитивизм). Ведь уж, кажется, достаточно фактов, что их бессилие сказать новое слово — явление не случайное. Они рубят головы — почему? Единственно потому, что это всего легче. Сказать что-нибудь несравненно труднее... Пожар Парижа есть чудовищность: “Не удалось, так погибай мир, ибо коммуна выше счастья мира и Франции”. Но ведь им (да и многим) не кажется чудовищностью это бешенство, а, напротив, *красотою*. Итак, эстетическая идея в новом человечестве помутилась...»

Поразительно, как точно рифмовались события во Франции с тем, что Достоевский писал в этот момент о России...

В конце июня были наконец получены деньги от Каткова — не аванс, а гонорар за вышедшие главы «Бесов». Это было не семь и не пять тысяч, необходимых, чтобы смело подняться с места и пуститься в дорогу, навстречу лютым кредиторам, — это была всего тысяча рублей, из которых львиная доля пошла на выкуп заложенных в Дрездене вещей и уплату местных долгов. За два дня до отъезда Ф. М., вручив жене несколько толстых пачек исписанной бумаги большого формата, попросил «разжечь костер» — огню были преданы рукописи «Идиота», «Вечного мужа» и первый вариант «Бесов». Достоевский, как вспоминала А. Г., хотел избежать пристрастного таможенного

досмотра на русской границе и конфискации бумаг. Они вместе растопили камин и сожгли рукописи.

Действительно, угроза существовала. Секретная инструкция в «Деле об осмотре при возвращении из-за границы отставного поручика Федора Достоевского», заведенном на него в ноябре 1867 года, предписывала большие строгости. Согласно циркуляру, «всем таможенным местам» надлежало произвести у Ф. М., при пересечении им границы, самый тщательный осмотр, и если что окажется предосудительным, то таковое немедленно представить в Третье отделение, препроводив в таком случае и самого Достоевского арестованным в это отделение[10].

Однако при всей свирепости секретных циркуляров речь в них все-таки шла не о любом грузе, а о грузе предосудительном, по поводу которого инструкция выражалась совершенно определенно: запрещенные книги, газеты, подозрительные, то есть полученные от подозреваемых в чем-либо лиц, письма. Могли ли к категории *подозрительных* относиться рукописи сочинений, два из которых были уже опубликованы в России, а третье печаталось в солидном и благонамеренном «Русском вестнике»? Разумеется, не могли: достаточно было предъявить на таможне любой из номеров журнала со своим сочинением.

Но допустим, Достоевский, стремясь избежать неприятностей и опасаясь чиновничьего произвола, все же решил провезти через границу лишь минимум книг и бумаг. Допустим, писатель, уже однажды пострадавший при аресте 1849 года, когда пропали все его бумаги, не хотел рисковать и решил уберечь рукописи от конфискации и уничтожения. Но уберечь, а не сжечь! Ведь таможня могла и пропустить невинные бумаги. Да и что это был за выбор для писателя: лучше пусть рукописи сгорят в огне, чем сгинут при таможенном досмотре! Если посмотреть на вещи здраво, им, рукописям, вовсе не обязательно было превращаться в пепел и каминную золу, чтобы избежать таможенных мерзостей.

В течение трех лет Ф. М. регулярно отправлял по почте рукописи малыми порциями: это были тексты, переписанные набело в одном экземпляре, и ни разу не случилось, чтобы пакеты с драгоценным грузом затерялись — редакции благополучно получали тексты и тут же пускали их в дело. И если писатель отправлял чистовые рукописи глав «Бесов» в Москву, почему нельзя было переслать оригинал первого варианта романа (памфлет), адресовав его кому-нибудь из знакомых или, еще проще, на свое имя до востребования? Допустим, за предотъездными хлопотами не было времени пойти на почту — но ведь можно было оставить рукописи теще, чтобы она их пере-

слала — ведь были же переданы ей (и спасены!) записные тетради к «Идиоту» и «Бесам». Можно было попросить о такой же услуге шурина, И. Г. Сниткина, который все еще находился в Дрездене и готовился к свадьбе. Были, вероятно, и другие возможности, если бы стояла задача сохранить рукописи.

Поразительно, что у Анны Григорьевны не нашлось простых доводов в пользу легких и доступных способов сохранения черновиков. Несколько раз вспоминая о «костре», А. Г. повторила, как она хотела спасти бумаги, как ей было их жаль: «мне так стало жаль рукописей», «как ни жалко было мне расставаться с рукописями...», «особенно жаль было мне лишиться...», «мне удалось отстоять...». Но она ни разу не упомянула, что и ему, автору, было жаль своих черновиков. Напротив, просить и умолять ей приходилось его, спасать — от него: он же оставался непреклонным, и жене «пришлось покориться» настойчивым доводам мужа.

Почему Достоевский так настойчиво хотел избавиться от бумаг — когда так просто было их сохранить? Особенно желание избавиться, а не сохранить касалось первого варианта «Бесов»: к моменту отъезда из Дрездена была опубликована лишь половина романа, предстояла еще большая работа, так что забракованные фрагменты могли еще очень пригодиться (он сам писал Каткову, что 12 из 15 листов войдут в новую редакцию романа). Если в забракованном варианте было нечто, что могло понадобиться, то случиться это должно было уже очень скоро: в России автору предстояло работать как раз над нечаевскими («тенденциозными») частями. Не потому ли он хотел радикально избавиться от «памфлета»?

В течение целого года Достоевский произносил и записывал опасные слова: «решил уничтожить», «уничтожена», «уничтожить совсем». Первый вариант «Бесов», рукопись которого сгорела в камине дрезденской квартиры летом 1871 года, был обречен на уничтожение еще летом 1870-го. Достоевский мог, но не захотел сохранить рукопись «памфлета», как не мог продолжать писать роман, находясь вне России.

Очень скоро стало понятно, что жертва — если это была сознательная жертва — была оправданна. В те самые дни начала июля 1871 года, когда, готовясь к отъезду, они с женой жгли рукописи в камине, в Петербурге, в Судебной палате, начиналось слушание первого гласного политического процесса по делу Нечаева — в отсутствие беглеца. К тому моменту, когда Достоевский с семьей прибыл в Петербург (8 июля), процесс длился уже неделю. И так случилось, что на второй день по приезде, едва только Достоевские переселились из гостиницы в меблированные комнаты и зажили оседлой жизнью, вышел в

свет «Правительственный вестник», где был опубликован нечаевский «Катехизис революционера».

Это был знак: горячий памфлет, написанный, надо полагать, «с плетью в руке», был потеснен «первоисточником». Достоевский убеждался в своей правоте: чтобы написать «Бесов» — роман о «самом важном современном вопросе» — нужно неотлучно находиться в России.

Дело «об обнаруженном в различных местах империи заговоре, направленном к ниспровержению установленного в государстве правительства», дало замыслу Достоевского дополнительный свет: может быть, эти «жалкие уродства» и не стоили литературы, но они стоили судебного процесса и официального документа. В те дни, когда стенографические отчеты процесса, проходившего при открытых дверях, ежедневно публиковались в центральных газетах, когда детали процесса повсеместно обсуждались и перетолковывались, Достоевскому трудно было представить, что его место по-прежнему в дрезденских кофейнях. Он чувствовал, что приехал в Россию вовремя: в июльские дни 1871 года у него была физическая возможность увидеть в судебном заседании многих прототипов своих романных персонажей, пристальнее присмотреться к «жалким уродствам».

Но, по всей вероятности, на процесс он не попал. Жизнь была расписана по минутам. «В Петербурге бросились искать квартиры, нашли сквернейшие chambres-garnies. Очень дорого, хлопотливо... Потом толпой посетили нас родные и знакомые — выспаться было некогда, и вдруг с 15-го на 16 июля Анна Григорьевна почувствовала муки. 16-го в пятницу в 6 часов утра Бог даровал мне сына Федора (которого в эту минуту пеленают; а он орет здоровым сильным криком). Таким образом, работать не мог... Сажусь теперь за работу, тогда как в голове туман, и несомненно жду припадка. Измучился... У нас хаос, прислуга скверная, я на побегушках».

Пятнадцатого июля 1871 года Судебная палата вынесла приговор по делу нечаевцев — соисполнители убийства были осуждены на каторжные работы. Через три дня Ф. М. приступил к работе, имея под руками пресловутый «Катехизис»: документ помог увидеть политический ресурс влияния Ставрогина на «ближний круг». Кульминацией поединка героя-беса Нечаева (Петра Верховенского) и героя-демона Князя (Ставрогина) должна была стать восьмая глава второй части «Бесов» «Иван-Царевич».

Всю осень Достоевский работал над продолжением романа. Присутствие писателя в отечестве было вознаграждено: роман, пополнившись энергией возвращения, получил могучий импульс в виде текущей минуты и злобы дня. Самое замечатель-

ное, что мог сделать автор «Бесов» для своего центрального героя, он сделал в России. Под впечатлением судебного процесса над нечаевцами и благодаря его документальным свидетельствам Достоевский «натравил» политического маньяка Петрушу на демонического барина Ставрогина, обеспечив им смертельную схватку, а роману — кульминацию колоссальной взрывной силы.

Тридцатого октября 1871 года Достоевскому исполнилось пятьдесят лет. Архивы не сохранили ни писем, ни телеграмм с поздравлениями, ни пригласительных записок в гости, ни свидетельств мемуаристов, побывавших у писателя на его юбилее (если такое празднование вообще имело место). Неизвестно даже, помнил ли о своем юбилее виновник торжества, а также его жена (ее воспоминания странно молчат об этом). Никаких следов того, что русская печать заметила круглую дату и отозвалась на нее, тоже не осталось.

Накануне дня рождения Достоевский был всецело погружен в семейные и литературные дела. Петербургская жизнь налаживалась. Взрослые дети брата Михаила уже могли обеспечивать себя и свои семьи, так что непомерных претензий к Ф. М. не предъявляли. Недавно женившийся пасынок остепенился и привыкал к самостоятельной взрослой жизни — Анна Григорьевна категорически отказалась поселиться вместе с ним и его миловидной женой. Еще до осени Достоевские смогли перебраться в просторную квартиру, где у Ф. М. был свой кабинет. Кстати обнаружилось, что почти всё прежнее имущество — мебель, книги, посуда — пошло прахом: оставленное на попечение родственников, оно за четыре года было или распродано (эта участь постигла библиотеку, доверенную пасынку), или рассеяно, или испорчено. Они начинали свою жизнь как бы заново, и борьбу с кредиторами, которые по-прежнему угрожали писателю долговой ямой, Анна Григорьевна вела самостоятельно и горечи хлебнула немало.

Вряд ли за хлопотами Достоевский вспомнил, что 1871 год — юбилейный и в творческом отношении: 25 лет назад в составе «Петербургского сборника» были опубликованы «Бедные люди». Спустя четверть века можно было подвести некоторые итоги: он жил в столице России, был отцом семейства и по-прежнему занимался литературным трудом. В сущности, о таком поприще он и мечтал всегда, с самой юности.

За два дня до юбилейной даты, но, несомненно, без всякой видимой связи с ней, «Голос» опубликовал отклик на «продолжающиеся» «Бесы», заметив с осторожностью, что роман «является одним из капитальных явлений русской литературы за нынешний год». Вернувшись в Россию на гонорар за первую

часть «Бесов», Достоевский чувствовал, что этот роман, написанный пока только наполовину, начинает помогать в практическом, житейском смысле. С «Бесами» было связано исполнение самого несбыточного желания: иметь для работы два-три года, а не несколько месяцев.

Конечно, когда Ф. М. писал: «Будь у меня обеспечено два-три года...» — он имел в виду денежное обеспечение, не зависимое от гонораров, то есть наследство, доходы от имения, средства жены. Однако доходный дом в Петербурге, назначенный Анне Григорьевне в приданое, так и не достался ей, а пошел с торгов за неуплату казенных недоимок мошенником управляющим. Ни доходов с имения, ни самого имения Достоевский не имел. Что же касается наследства тетки Куманиной, недостоверные слухи о котором дошли в Дрезден в 1869 году, то, даже не зная еще подробностей, Достоевский писал: «Кто же бы я был и за кого бы сам считал себя, по совести, чтоб идти против воли и распоряжения тетки собственными своими деньгами, какова бы в сущности ни была эта воля и это распоряжение?»

Настоящего, прочного обеспечения ждать ниоткуда не приходилось; приступая к «Бесам», Достоевский как нуждающийся автор не мог и мечтать о 400 рублях за лист — гонораре, который «Русский вестник» платил Тургеневу. «Необеспеченный Достоевский должен был сам предлагать свой труд журналам, а так как предлагающий всегда теряет, то в тех же журналах он получал значительно меньше», — с превеликой обидой вспоминала его вдова.

Однако вступив на тропу «тенденциозного» романа, который под пером преобразился в роман-трагедию, писатель привел в действие некий таинственный механизм: безнадежные обстоятельства и запущенные дела стали оживать и выправляться — будто схваченное сильной рукой звено поддалось, вошло в сцепление с остальными и вытащило всю цепь.

«Я знаю, что я Вам должен очень много, — писал Достоевский издателю в день отправки первых глав. — Но на этом романе я сквитаюсь с редакцией». «На этом романе», который вызволил писателя из капкана рулетки, жизнь его подчинилась железной необходимости работать по жесткому и неотменимому графику; начало сочинения требовало такого продолжения, которое написать вне России было невозможно, и оно же принесло деньги для отъезда в Россию. А Россия преподнесла сюрприз в виде судебного процесса, давшего первоклассный материал для ключевых глав. Только в России Достоевский увидел, что его роман состоялся.

До конца дней помнил Ф. М. те ощущения азартного игрока, который, взявшись за «Бесов», сильно рисковал, проигры-

вал, но смог отыграться и победил. За год до смерти, рассуждая о своих литературных врагах, он скажет издателю «Нового времени» А. С. Суворину: «Они думали, что я погиб, написав "Бесов", что репутация моя навек похоронена, что я создал нечто ретроградное. Z (он назвал известного писателя), встретив меня за границей, чуть не отвернулся. А на деле вышло не то. "Бесами"-то я и нашел наиболее друзей среди публики и молодежи. Молодежь поняла меня лучше этих критиков, и у меня есть масса писем, и я знаю массу признаний»[11].

За четверть века литературной работы дважды его призвание подвергалось страшной и, как считал Достоевский, смертельной опасности. В первом случае, когда был лишен свободы, дома, права на профессию и ему грозило творческое небытие, он страшным напряжением воли сумел вернуться в литературу — как возвращаются к жизни. Во втором случае он сам вынужден был отлучить себя от России, спасаясь бегством; и чем дольше он пребывал за пределами отечества, вне его силового поля, тем более плачевными виделись ему перспективы его литературного будущего. «Бесам» суждено было стать третьей попыткой ворваться в литературу на коне и со щитом и сказать нечто в высшей степени важное о существе литературной профессии — и о той немыслимой цене, которую платил за свое дело литератор Достоевский.

«Бесы» как роман, на котором Достоевский смог выиграть в третий раз, стал творческим откровением; с точки зрения игрока-профессионала, это была игра ва-банк: автор рискнул поставить на кон всё, что имел.

В разгар работы над «Бесами», в апреле 1871 года, еще в Дрездене, Достоевский получил письмо от своего давнего знакомца, Н. И. Соловьева, сотрудничавшего в «Беседе». Среди прочего критик писал: «Отдыхаешь как-то сердцем, когда видишься или входишь в душевное общение с человеком, который выступил и не сворачивает с узкого и рискованного пути, называемого литературной карьерой. В Москве же теперь так мало людей, любящих, подобно Вам, литературу»[12].

Автор письма, скорее всего, даже не подозревал, насколько он был прав и как точно его представления о литературном пути были в тот момент применимы к Достоевскому. «Бесы» стали кульминацией литературной карьеры писателя, если понимать ее как путь у з к и й и р и с к о в а н н ы й.

В тот момент, правда, главные риски были еще впереди.

...Роман-хроника, совместивший политическую злобу дня конца 1860-х и начала 1870-х с автобиографической историей духовных исканий и трагических потрясений конца 1840-х, был переполнен сочинительскими вожделениями персонажей —

едва ли не все из них оказывались литераторами или «следящими за литературой». Плотным кольцом окружали Ставрогина графоманы и стихоплеты, крупные литературные знаменитости и мелкие окололитературные сошки, полные бездари и личности не вполне бесталанные; всё это сочиняло и поговаривало о публикациях, мечтало о собственном издательском деле или литературном салоне; изготавливало листовки и прокламации, владело типографским ремеслом, грезило об издании независимой газеты и писало заметки в столичную печать.

В мире, перенасыщенном литературой, Ставрогин составлял странное исключение. Европейское образование русского барина таило смущающий изъян. «Я не литератор», — с вызовом заявлял он и даже бравировал тем, что пишет нескладно и с орфографическими ошибками. Наделяя героя самого «литературного» романа неисчислимыми достоинствами, автор оставлял его без малейших литературных способностей.

Достоевский знал по себе, на каких путях заблудившегося человека ждет шанс: увидеть свою жизнь и самого себя глазами художника, ощутить в своем страдании зародыш сюжета и в своем несчастье мотив сочинения; испытать душевный трепет от скольжения пера по бумаге... Рецепт был известен, лекарство действовало безотказно. Однако целебный механизм был как будто бесполезен Ставрогину, лишенному утешительной привычки к литературным занятиям (прототип, Н. А. Спешнев, овладевший профессией редактора, очеркиста, публициста, и в этом был отличен от романного образа).

Тем не менее Ставрогин, заявляя своеволие, выходил из повиновения и тоже пускался в литературу. «Я хотел вам написать, но я писать не умею», — уверял он Дарью Шатову, но все же писал, преодолевая вмененное ему литературное бессилие. Судорожное косноязычие, вывихнутый синтаксис, со специальной целью изобретенные автором для героя, были чрезвычайно выразительны и свидетельствовали о тайной, но жгучей потребности говорить о себе вслух и во всеуслышание.

Если бы некто задался целью поведать миру о своих страданиях или тайных пороках, он бы мог сделать это с помощью рассказа «от Я». Если бы некто, тяготясь тайной своего злодеяния, захотел на себя донести, он бы совершил явку с повинной и дал бы письменные показания по всей форме. Если бы некто, желая снять с души тяжкий грех, обратил покаянный взор к церкви, то пришел бы на исповедь к священнику, полагаясь на высшее милосердие и тайну исповеди. В случае Ставрогина эти три намерения парадоксальным образом соединились в одном тексте: примерно за месяц до романных событий Николай Всеволодович создал за границей сочинение, назван-

ное им «От Ставрогина»: «Я, Николай Ставрогин, отставной офицер, в 186- году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия...»

Текст, оформленный как заявление в полицию, начинался с ответов на воображаемую анкету и вполне соответствовал канцелярскому шаблону. Для полиции был предназначен и краткий перечень «старых воспоминаний». Однако документ «От Ставрогина» содержал сведения, казенным ведомствам совершенно излишние: о веснушках девочки, которой соблазнитель целовал ноги; о его снах и интимных привычках; о красоте виденных музейных полотен.

Кроме того, неясны были перспективы прохождения документа по инстанциям. Если текст предназначался для полиции, нужен был всего один рукописный экземпляр, подписанный заявителем. Если документ тайно тяготел к беллетристике, его, не тиражируя заранее, можно было предложить журналу или газете. Но литературное поведение Николая Всеволодовича попирало все правила. Он сам отпечатал за границей 300 экземпляров текста, чтобы отослать в полицию, к местной власти, в редакции всех газет и множеству знакомых лиц в Петербурге и в России. Он знал, что судом, за отсутствием юридических улик, «обеспокоен не будет» — стало быть, ничем не рисковал. Он сам, в обход цензуры и печатной волокиты, решал судьбу криминальной новеллы, отпечатанной в виде прокламации и замаскированной под следственный документ, чем обеспечивал ей оглушительную рекламу. Предприимчивый сочинитель заблаговременно озаботился переводом текста на европейские языки и изданием за границей — зачем бы это было нужно ему, если бы речь шла о церковном покаянии или явке с повинной? Автор документа как будто рассчитывал на широчайший читательский круг и намеревался на волне грандиозного общественного скандала ворваться в мир печатного слова.

«Облегчит ли это меня — не знаю. Прибегаю как к последнему средству».

Ставрогин, наверное, был бы безмерно удивлен, если бы ему сказали, что он избрал самый экстравагантный и одновременно самый эффектный путь в литературу. Что «последнее средство» — это первая проба; что «пробовал» он, втайне от самого себя, сочинять; что мучился он — словом, которое, коряясь и спотыкаясь, замечательно выразило его душевный разлад. Что сквозь рутину канцелярских клочьев проглядывали поразительная экспрессия описаний, исключительная чуткость к деталям и истинно художническое вдохновение, которое нельзя было спутать ни с чем. Что его судорожное письмо,

с изломанными, угловатыми фразами, невероятными нарушениями ритма и вызывающей деформацией повествовательного канона, обещало литературе немалые потрясения.

«Листки, назначенные к распространению» — так назвал Ставрогин свое сочинение, когда отдал его на суд старцу Тихону, и потребовал, чтобы тот читал их сейчас же, молча и без комментариев. Он и думать не мог, что духовное лицо, его первый читатель, увидит в «назначенных листках» прежде всего пробу пера, а не самодонос, станет придираться к слогу и заговорит с автором текста как литературный стилист. Опытный пастырь отказывался видеть в документе исповедь; прозревая жажду скандала и литературный эпатаж, он найдет безошибочный редакторский прием, чтобы «отклонить» листки. «Отложите листки и намерение ваше — и тогда уже всё поборете. Всю гордость свою и беса вашего посрамите! Победителем кончите, свободы достигнете...»

Победа, однако, оставалась за горами. Николай Всеволодович терпел фиаско — «последнее средство» не действовало. Всё увязывалось в один узел: его истинные намерения и его криминальные листки были поставлены под сомнение проницательным старцем, увидевшим в документе вызов судьбе, чреватый позорищем и посмешищем.

...Когда Достоевский сочинил для Ставрогина его «документ», а также сюжет, где затея с листками терпит крах, он и представить не мог, что готовит ловушку для самого себя. Ибо его собственное право на распространение листков в составе печатающегося в «Русском вестнике» романа было вскоре категорически оспорено. В канун нового, 1872 года Ф. М. узнал, что редакция журнала в лице Каткова отказывается печатать главу «У Тихона», и спешно выехал в Москву для встречи с ним.

Как всегда, дело осложнялось еще и тем, что позарез нужны были деньги: снова замаячил призрак долговой тюрьмы (трудно представить, как бы решилась участь должника, если бы не помощь наследника престола*). Отношения с «Русским

---

* В конце января 1872 года Достоевский написал наследнику престола А. А. Романову письмо, в котором благодарил за материальную поддержку, оказанную его высочеством по ходатайству В. П. Мещерского, знавшего о тяжелом положении писателя, преследуемого бывшими кредиторами. «Осмеливаюсь еще раз писать к Вашему высочеству, а вместе с тем почти боюсь выразить мои чувства: одолжающему, с сердцем великодушным, почти всегда несколько тяжела слишком прямо высказываемая благодарность им одолженного, хотя бы и самая искренняя. Чувства мои смутны: мне и стыдно за бывшую смелость мою, и в то же время я исполнен теперь восхищения от драгоценного внимания Вашего высочества, оказанного просьбе моей. Оно дороже мне всего, дороже самой помощи, мне оказанной Вами и спасшей меня от большого бедствия...»

вестником», браковавшим кульминационные главы, были на грани разрыва: Катков категорически отказывался печатать «Исповедь Ставрогина» со сценой растления Матреши, находя ее «чересчур реальной». Впрочем, Майков и Страхов, а также те ученые мужи, с которыми Ф. М. встречался у родственника своего М. И. Владиславлева или в доме князя В. П. Мещерского, — все они были солидарны скорее с редактором, чем с автором, советуя ему смягчить слишком реальное впечатление от текста, назначенного к печати в декабрьском номере «Русского вестника».

Судьба девятой главы второй части «Бесов» странным образом решалась по аналогии с листками Ставрогина, забракованными при первой же попытке обнародования. Претензии Каткова к автору удивительно напоминали (если не повторяли) советы старца Тихона Николаю Всеволодовичу. Понимал ли Катков, запрещая главу из-за сцены с Матрешей, что он цитирует старца из романа? Что замечания цензурного свойства, сделанные автору «глаз на глаз», выглядят как литературный плагиат, а редакторские советы — как ритуальный жест? Что эстетический подход церковного иерарха к стилю «документа» он, редактор литературного журнала, применяет к роману, где этот «документ» работает художественно? И что вольно или невольно на место великого грешника и смиренного праведника из отвергнутой главы ставит, соответственно, Достоевского и себя?

В отличие от Ставрогина Достоевский согласился «внести в документ иные исправления» и взялся за работу, пытаясь отстоять сущность дела таким образом, чтобы удовлетворить целомудрие редакции. Однако «некрасивость» преступления, которую «приписал» своему герою автор, чтобы «казнить» его, убивала не только идею покаяния великого грешника, но — по инерции — ставила под угрозу судьбу романа. Какое бы иное преступление ни изобрел для «бедного, погибшего юноши» автор романа, оно было обречено и на «некрасивость», и на «нецеломудренность», — а иначе в чем бы грешнику было каяться?

И теперь Достоевский должен был сам защищать Ставрогина! Он вынужден был объяснять редакции, что герой, нравственный максималист, развратен из тоски и употребляет судорожные усилия, чтобы обновиться и вновь уверовать. Автор, который уже казнил Ставрогина, сделав его растлителем малолетней Матреши, теперь выступал как его общественный защитник. Он не оправдывал поступков героя, чья великая сила ушла «нарочито в мерзость», но как бы сопереживал ему и жалел его. Он указывал на разницу между брутальными нигилистами и героем листков — в пользу героя. Куда-то исчезал демон и оставался человек — страдающий и гибнущий. Злоключения

с отвергнутой главой дали творческой истории романа неожиданный поворот: если два года назад автор, во имя великой художественной идеи, демонизировал героя, то сейчас, ради спасения всей своей работы, должен был очеловечить его.

Разворачивалась многомесячная драма цензурных смягчений. Но превратить грешника в великомученика значило не просто уступить цензуре, а капитально изменить смысл романа. Ф. М. пытался дезавуировать документальность исповеди и подлинность преступления; перемещал акцент со Ставрогина-злодея на Ставрогина-сочинителя (получалось так, будто герой оболгал себя ради литературного скандала); сокращал список негодяйств Николая Всеволодовича, лишал его «старых воспоминаний», ужесточал реакцию Тихона, заставляя старца раздражаться и негодовать, и даже на несколько лет «состарил» Матрешу.

Не помогло ничего: в ноябре 1872 года редакция приняла окончательное решение об исключении главы «У Тихона» из текста «Бесов». Ставрогин, приехав в губернский город с пачкой крамольных листков, уходил из жизни, оставляя после себя не исповедь, назначенную к распространению, а клочок бумаги с самым жалким и лаконичным из своих текстов: «Никого не винить, я сам». Листки будто растворились в воздухе, или — после визита Ставрогина к Тихону — были перепрятаны в надежное место и осели там, впредь до лучших времен. Указание на «место» внимательный читатель мог обнаружить в финале письма Ставрогина к Дарье Шатовой: «Я с тех пор как выехал, живу на шестой станции у смотрителя. С ним я сошелся во время кутежа пять лет назад в Петербурге. Что там я живу, никто не знает. Напишите на его имя. Прилагаю адрес».

Магия двойного авторства сообщала листкам удивительную энергию: даже и не обнародованные, они обладали даром воздействия и на тех, кто их рискнул написать, и на тех, кому их довелось прочесть. Монах Тихон просил Ставрогина: «Если огласите ваши листки, то испортите вашу участь... в смысле карьеры... и... в смысле всего остального... К чему же бы портить?» Невероятным образом отеческое предупреждение старца, содержавшее не угрозу, а предвидение, коснулось лично Достоевского: преступление перед девочкой, в котором каялся герой листков, было инкриминировано их фактическому автору.

По словам Анны Григорьевны, Достоевский п р и п и с а л Ставрогину позорящее его преступление. А Страхов, по своей злобе и зависти, замыслил п р и п и с а т ь позорящее преступление самому автору! Большому художнику, замечала вдова писателя, благодаря его таланту не нужно самому проделывать злодейства, совершенные его героями. Однако, объединяясь с

героем в акте двойного авторства, приписывая ему не только сам факт преступления, но и письменный отчет о нем, Достоевский рисковал быть отождествленным с героем-соавтором, который как будто мстил писателю за навязанный ему криминальный сюжет. Исполненная риска художественная игра, предчувствие опасности, гипнотическая сила фантазии создавали тот тонкий мир, в котором герой воплощал преследовавший автора многолетний кошмар, а автор, сочинивший за героя его исповедь, сам готов был разделить с ним «некрасивость» и позор преступления. Та настойчивость, с которой Достоевский возвращался к теме насилия над девочкой, то бесстрашие, с которым он пытался освободиться от плена цензуры, те исправления, которые он готов был внести в корректуру главы ради ее спасения, и тот риск «испортить карьеру», который он осознал еще прежде своих редакторов и критиков, обнаруживали азарт художника и страстность мастера, а не грязь извращенца, маскирующего «случай из жизни» декорациями пикантной беллетристики.

Судьба листков, как и судьба автора, удивительным образом просвечивалась в тексте запрещенной главы. «Если прочтет хоть один человек, то знайте, что я их уже не скрою, а прочтут и все. Так решено», — убеждал Тихона Николай Всеволодович. Почему-то Катков, сыгравший роль цензора в подражание Тихону, этим словам не придал значения. Почувствуй он всю серьезность условия: «Если прочтет хоть один человек...», он должен был отнестись к нему с почтительным фатализмом. Раз в главе утверждалось, что листки «прочтут все», противиться решению не имело смысла: рогатки и барьеры, преграждавшие доступ к «усекновенной» главе, творили легенду и обеспечивали легендарному сочинению неиссякаемый интерес. Потрясение, которое пережили первые публикаторы главы, было подготовлено атмосферой темных слухов, окружавших демонического сладострастника Ставрогина в течение тридцати лет подпольного существования его исповеди*.

---

* 12 ноября 1921 года, в дни столетнего юбилея Ф. М. Достоевского, был вскрыт переданный из Гохрана за № 5038 ящик из белый жести с бумагами писателя. В ящике оказалось 23 предмета — записные тетради, деловые документы, свертки с письмами. В списке бумаг значилась и тетрадь с вклеенными в нее пятнадцатью корректурными оттисками к роману «Бесы». На первой странице тетради рукой А. Г. Достоевской было написано: «В этой тетради (в корректурных оттисках) находятся несколько глав к роману "Бесы", которые не были включены Ф. М. Достоевским в роман во время печатания его в "Русском вестнике"». Вклеенные в тетрадь корректурные листы сплошь — и на полях, и в тексте — были испещрены огромным множеством авторских помет и вставок (см.: Документы по истории литературы и общественности. Вып. 1. Ф. М. Достоевский. М., 1922. С. VII).

Только «обнародование» криминальных «листков», а также всей их многослойной истории могло положить конец другой легенде — о Достоевском—«маркизе де Саде», которого, «при животном сладострастии», «тянуло к пакостям». Слагатель легенды Страхов, на основании беспримерной клеветы, предложил Л. Н. Толстому, для которого и был создан миф о «злом, завистливом и развратном» Достоевском, свою собственную концепцию творчества автора «Бесов»: «Все его романы составляют *самооправдание*»[13]. Это значило, по Страхову, что Достоевский мерзко грешил, а каяться в грехах поручал своим героям и в освобождающем акте творческого преображения избавлялся от угрызений совести. Это также значило, по Страхову, что процесс творчества был для Достоевского удобным прикрытием похоти, а также универсальным гигиеническим средством: каждый новый роман и каждый вымышленный грешник брали на себя грязные похождения автора, раскрепощая его для свежих впечатлений. «Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливцем, героем и нежно любил себя одного»[14] — так аттестовал Страхов своего покойного друга.

История, в которой Достоевский наказывал героя-антипода духовным, нравственным и творческим бесплодием за барственное отношение «ко всему родному», опровергала страховскую аттестацию по всем пунктам. Достоевский казнил демонического грешника ужасами, которыми «наполнен весь мир», но, выполняя «за него» его исповедальную акцию, работал с профессиональным риском, далеко выходящим за известные в литературной профессии границы.

Ф. М. вообще рисковал как никто другой. На «Бесах» этот риск принес самый поразительный результат. Писатель приступал к роману о грешнике, полагая, что всякий грех случаен и из любого грехопадения, как и из бездны, есть путь к Богу. Но он создал героя, греховность которого была трагически не искупима; человеческих усилий было недостаточно для ее просветления и преображения. В эксперименте с исповедью заигравшегося грешника автор увидел, что первоначальные цели невыполнимы: грешник сочинял покаянный документ, намеревался вынести его на суд мирской и суд церковный, не страшась всеобщего осмеяния и поношения, но все равно оканчивал свой путь в петле.

«Подполье, *поэт подполья* — фельетонисты повторяли это как нечто унизительное для меня. Дурачки. Это моя слава, ибо тут правда». Так писал Достоевский, художественно овладевший тайной подполья, а затем осознавший масштаб своих владений: постичь тайны подполья значило постичь и одолеть его

демонов. Только после «Бесов» писатель почувствовал, что на этом поле он господин разговора. Только после «Бесов» он со всей ясностью зафиксировал свое потрясающее открытие о хищном типе, которым не мог не гордиться: «Страстная и огромная *широкость*. Самая подлая грубость с самым утонченным великодушием. И между тем, тем и *сила* этот характер, что эту бесконечную широкость преудобно выносит, так что ищет, наконец, груза и не находит. И обаятелен, и отвратителен (красный жучок, Ставрогин)». Для такого характера иного исхода, чем ставрогинский, не было.

Обворожительный демон более не составлял для него тайны: он был разгадан и изображен — и отныне виделся не роковой личностью, а характером, доступным творческому освоению.

Летом 1872 года Достоевский и сам был запечатлен — увековечен — лучшим из русских художников: знаменитый В. Г. Перов специально приезжал из Москвы, чтобы написать портрет писателя для Московской картинной галереи П. М. Третьякова. Автор «Бесов» сидел на стуле, повернувшись в три четверти, положив ногу на ногу, сжав колено переплетенными пальцами; его взгляд был обращен внутрь и всецело погружен в себя. «Минута творчества» Достоевского была, кажется, художественно разгадана портретистом и вдохновила на создание картины великой духовной напряженности.

Глава четвертая

«ЗАКРУЖИЛИСЬ БЕСЫ РАЗНЫ...»

Отдельное издание. — «Свора прогресса». — Письмо А. А. Романову. — Город тайн. — События-оборотни. — Самозваная власть. — Идеология смуты. — Уроки бдительности. — Страна для эксперимента. — Князь Мещерский. — «Гражданин» и «Бобок»

Пятнадцатого декабря 1872 года в Главное управление по делам печати было отправлено прошение, подписанное тремя лицами: статским советником князем В. П. Мещерским, надворным советником Г. К. Градовским и отставным подпоручиком Ф. М. Достоевским. Речь шла об утверждении последнего в звании ответственного редактора еженедельного журнала «Гражданин»: все права по этому изданию передавались Достоевскому с согласия князя Мещерского предыдущим редактором Градовским, который оставлял свой пост «по об-

стоятельствам». К прошению прилагался еще один документ за подписью предполагаемого нового редактора: «Даю сию подписку в том, что в случае утверждения меня редактором журнала “Гражданин”, я, Федор Михайлович Достоевский, принимаю на себя все обязательства по сему изданию в качестве ответственного редактора».

В тот же день вышел двенадцатый номер «Русского вестника» с окончанием «Бесов»; теперь можно было вплотную заняться подготовкой отдельного издания романа — и попробовать, как он мечтал еще в юности, самому издавать и продавать свои книги. «Роман раскупается. *Никитенко* предсказывает успех. Притом любопытство возбуждено. 300 экземпляров окупают все издержки печати. Пусти весь роман в 8 томах по целковому, у нас барыша 7000. Книгопродавцы уверяют, что книга раскупится в 6 месяцев», — писал он Михаилу об одном своем «предприятии» (переводе романа Э. Сю «Матильда») в 1843 году.

Теперь, тридцать лет спустя, мечта как будто сбывалась.

При расчете с «Русским вестником» Достоевский получил остаток гонорара за последние полтора листа — 245 рублей 88 копеек. Впервые, закончив большую работу, он был свободен от долгов издателю и мог не просить новых авансов под предстоящее сочинение: система всегдашнего долга как будто больше не держала его в железных тисках. Ежемесячное редакторское жалованье в «Гражданине» и гонорары за статьи давали около пяти тысяч рублей в год; чтобы получить такую сумму у Каткова, нужно было немедленно садиться за новый роман размером с «Бесов», закончить его и опубликовать в течение ближайшего года. Но Ф. М., вспоминала его жена, «так был измучен работой над “Бесами”, что приниматься тотчас же за новый роман ему казалось невозможным... Федор Михайлович, согласившись на уговоры симпатичных ему лиц принять на себя редактирование “Гражданина”, не скрывал от них, что берет на себя эти обязанности временно...».

За пять недель, которые прошли с момента выхода декабрьской книжки «Русского вестника» до получения из типографии тиража отдельного издания романа, нужно было внести в текст минимум самых необходимых исправлений и успеть вычитать корректуру. О каких бы то ни было серьезных переделках не могло быть и речи — помимо новых цензурных осложнений (в случае опубликования другой версии «Бесов»), был еще фактор времени: книге имело смысл поступить в продажу в момент чтения заключительных глав романа — то есть в разгар читательского спроса и критического бума. Знаменательный день, когда в «Голосе» появилось частное объявление о

выходе в свет нового романа, наступил 22 января 1873 года — первые 115 книг из тиража в 3500 экземпляров Анна Григорьевна собственноручно продала из своей квартиры в первое же утро. «А с четырех часов пошли опять звонки: являлись новые покупатели, являлись и утренние за новым запасом. Издание, видимо, имело большой успех, и я торжествовала, как редко когда случалось».

Многострадальный роман, с которым было связано столько мучительных переживаний, которому было отдано столько труда и страсти, оказался благодарнейшим литературным «предприятием». Достоевский был безмерно счастлив, когда приказчики книжных магазинов передавали, что «публика давно уже спрашивает роман», а Анна Григорьевна, ведя строгий учет проданным экземплярам, имела право написать впоследствии: «Наша издательская деятельность началась блистательно, и три тысячи экземпляров были распроданы до окончания года. Продажа остальных пятисот экземпляров затянулась на дальнейшие два-три года. В результате, за вычетом книгопродавческой уступки и за уплатою всех расходов, очистилось в нашу пользу более четырех тысяч, что и дало нам возможность уплатить некоторые тревожившие нас долги».

Книга, которая придумывалась так трудно, писалась так рискованно и называлась так опасно (оптовые покупатели, приходя на квартиру Достоевских, просили отпустить им «вражью силу», «дюжину чертей» или «десяточек дьяволов»), дала ее автору желанную передышку и ощутимый материальный просвет. Когда в августе 1873 года, приехав из Старой Руссы, где уже второе лето отдыхала семья, по делам «Гражданина» в Петербург, Достоевский узнал, что на книгу по-прежнему есть покупательский спрос, он дал ей трогательно-ласковое прозвище — «бесочки»: они шли и шли, без малейшей рекламы...

В те первые месяцы «бесочки» и в самом деле не нуждались в оплаченной рекламе. Доброжелательная критика, называвшая «Бесы» лучшим романом года, талантливейшим явлением литературы последних лет и признававшая за автором право занимать независимую общественно-политическую позицию, так как это право выстрадано годами каторги, соперничала с отзывами крайне резкими и истерически-оскорбительными. Уже в январе, накануне выхода отдельного издания, у Майкова были все основания утверждать, что на автора романа «залаяла вся свора прогресса». «Господи, как ругаются! Но ругательства бы еще ничего: как клевещут!»[15] (Страхов, которому было адресовано письмо, считал, что Достоевский придает «своре прогресса» все еще слишком много важности[16].)

«Свора (или «стая») прогресса» называла «Бесы» «литературным уродом», «случаем мрачного помешательства», «скотным двором Авгия», «скабрезно-рокамбольной беллетристикой», «мистическим бредом». Объявив автора слепым, завистливым безумцем, который «созерцает собственные внутренности», свора уличала его в том, что «новые люди» изображены в виде «страшных чудовищ». «Помимо желания автора, — писал критик «Нового времени» (1873, 16 января), — мы все-таки склонны гораздо более симпатизировать безнравственному, положим, но умному, энергичному и упорно стремящемуся к своей цели Верховенскому-младшему, чем дряблому, бесхарактерному приживальщику отцу...» В романе «сквозит какое-то отчаянное сознание своего бессилия и вместе с тем слепая, неумолимая зависть ко всему молодому, живому, свежему, сильному!.. После “Бесов” нам остается только поставить крест на этом писателе и считать его деятельность законченной».

Друзья уговаривали Достоевского не читать неприличную и грубую брань, не пачкаться ею. Но каждый день он покупал газеты, где его ругали и оскорбляли, читал, перечитывал, нервничал и злился, не позволяя себе ни малейшего слова в ответ. И только 31 января, по просьбе О. А. Козловой, жены поэта-переводчика П. А. Козлова, сделал запись в ее альбоме, где выразил иной взгляд на перспективы своей деятельности: «Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо; люблю жизнь для жизни, и, серьезно, всё чаще собираюсь *начать* мою жизнь. Мне скоро пятьдесят лет, а я всё еще никак не могу распознать; оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера; может быть, и деятельности».

На самом деле ему шел уже пятьдесят второй — вряд ли он намеренно уменьшил свои годы, оставляя автограф в альбоме дамы. Но, пролистав ее роскошную памятную книжку, увидев имена тех, кто сделал свои надписи до него, он захотел сказать и о странном свойстве своей памяти. «Я сохраняю несколько фотографий людей, которых наиболее любил в жизни, — и что же? я никогда не смотрю на эти изображенья: для меня, почему-то, — воспоминание равносильно страданию, и даже чем счастливее воспоминаемое мгновение, тем более от него и мучения».

Только теперь, закончив роман, заставивший испытать подлинное потрясение памяти, он сознал всю глубину этих горьких слов: воспоминание равносильно страданию. Теперь, после «Бесов», груз воспоминаний и опыт страдания стали, как ни странно, легче; и, вопреки рекомендаци-

ям «своры», автор не собирался ставить на себе крест. Что же касается людской злобы, заушения и заплевания, которые обрушились на него из-за «Бесов», Ф. М., как оказалось, был и «приготовлен», и «закален»; к тому же чудный старец из запрещенной главы вдохновенно предрекал: «Всегда кончалось тем, что наипозорнейший крест становился великою славой и великою силой, если искренно было смирение подвига. Даже, может, при вашей жизни уже будете утешены!..»

Десятого февраля 1873 года Достоевский отправил экземпляр романа вместе с сопроводительным письмом А. А. Романову, наследнику престола, будущему императору Александру III. Много позднее этот эпизод комментировала А. Г. Достоевская: «Его высочество, всегда интересовавшийся произведениями Федора Михайловича, в разговоре с К. П. Победоносцевым выразил желание знать, как автор "Бесов" смотрит на свое произведение. В начале 1873 года вышло отдельное издание этого романа, и тогда, через К. П. Победоносцева, Федор Михайлович поднес эту книгу его высочеству, сопроводив подношение... письмом».

«Взгляд мой состоит в том, что эти явления не случайность, не единичны...» — отвечал Достоевский наследнику престола и приглашал его обратить хотя бы малое внимание на одну из самых опасных язв нынешней цивилизации, «странной, неестественной и несамобытной».

...Люди и жизнь в «Бесах» тяжело больны. Как липкая паутина, опутывают жителей губернского города «роковые тайны», «пугающие слухи», «нечто неясное и неизбежное». Когда же тайны выходят наружу, люди с ужасом шарахаются друг от друга, горестно восклицая: «Это не то, нет, нет, это совсем не то!» Из тайных превращаясь в явные, события обнаруживают свое истинное лицо; «с хохотом и визгом» изнаночный бесовский мир выдает свои секреты. И тогда помолвка оборачивается трескучим скандалом, именины — сборищем заговорщиков, «праздник гувернанток» — разбоем и пожаром, «роковая страсть» — разлукой и гибелью, «последняя надежда» — гримасой отвращения и петлей. Не только люди, но и события оказываются ряжеными, они только притворяются благопристойными и приличными, однако под видом одного происходит совсем другое, под личиной дозволенного таится запретное, под маской легального совершается подпольное.

Мир, мутный и отравленный, с плотной и густой атмосферой тайн, с событиями-оборотнями и людьми-ряжеными, рождает тайных эмиссаров заграничной власти — ревизоров, соглядатаев, шпионов. Соблазн злоупотребления самозваной властью в «городе тайн» чрезвычайно велик и легко доступен —

достаточно ловко пущенной в ход сплетни. Обаяние секретных поручений, особых полномочий, приватных связей в Петербурге и Европе действует неотразимо; иллюзия «высоких сфер», «заграничных комитетов», «бесчисленных разветвлений» и «центральных бюро» смущает всех поголовно. Микроб самозваной власти кружит головы; «самозванческая мелкота» — «мелкие бесы» любой ценой стремятся узаконить свой статус, укрепиться в новом качестве, удостовериться в надежности полномочий вышестоящего. Идея, что Петр Верховенский — эмиссар, приехавший из-за границы с высоким мандатом, не только сразу укоренилась, но весьма льстила «мелкоте».

Болезнь русской личности, слабость и неопределенность пределов, ею занимаемых, легкость, с какой душа человека вытесняется из круга своего бытия, — эти основные черты российского общества проявились в «Бесах» с неистощимым разнообразием вариантов. Рамки бытия персонажей романа не просто слабы и неопределенны, они фиктивны. Статус человека зыбок и крайне неустойчив; с большим трудом и лишь очень условно можно говорить о персонажах романа, *кто они*. Видимость некоего положения, вывеска, под которой они живут, профессии, которыми они владеют, присутственные места, которые они посещают, — все оказывается фикцией; люди пребывают вне круга казенных обязанностей во все время своего романного существования. Не имея определенных занятий, герои «Бесов» сосредоточены на неких сокровенных планах, захвачены новыми мыслями, одержимы подпольными идеями и легко втягиваются в любые интриги и обманы. Подпольная деятельность обретает профессиональный характер, полулегальное существование порождает манию «чужого статуса» и жажду власти.

Власть официальная, в лице губернатора фон Лембке, по видимости — законная, но по сути своей случайная и выморочная, в духе общих тенденций, тоже начинает притворяться законной и призванной. Самозванец, севший на трон губернии, придумывает образ правления, нацеленный исключительно на воспроизводство самовластия. Имитация деятельности становится ключом к тому спектаклю, который разыгрывает власть-оборотень; механизмы власти, пусть случайной, но намертво вцепившейся в шальное кресло, неустрашимо циничны: предельная концентрация власти, произвол и деспотизм. Господствует принцип: придумывайте сверху все что хотите, но дайте нам полную власть на местах, и мы вас поддержим во всех ваших начинаниях. Стиль губернской власти — при полном видимом подчинении верхам полное же и

бездействие — устраивают верхи; торжествующий цинизм в отношении целей власти, господствующий в «начальственном государстве», не допускает никакого гражданского общества, никакой социальной жизни. Все институты власти имеют откровенно бутафорский характер, когда всякое преобразование фиктивно, всякий закон двусмыслен, всякое право иллюзорно. Имитация институтов власти, двойственность их бытия — ударный пункт губернатора фон Лембке: «Всё судя по взгляду правительства. Выйдет такой стих, что вдруг учреждения окажутся необходимыми, и они тотчас же у меня явятся налицо. Пройдет необходимость, и их никто у меня не отыщет».

Привычное стремление к имитации и маскараду власти, к бутафории и фикции в институтах управления имеет в своей основе серьезную причину: всеобщее сомнение в законности законной власти, не имеющей никакой другой идеи кроме себя самой. Власть, запятнанная самозванством и своеволием, неминуемо плодит новых самозванцев-претендентов. Хозяева губернии и мир заговорщиков корыстно нуждаются друг в друге как в выигрышном средстве для достижения политических целей. Авантюристами оказываются изначально обе партии — и партия правителей, и партия заговорщиков; при этом вина «верхов» за «всеобщий сбивчивый цинизм» неизмеримо серьезнее, ибо атмосферу общественного скандала они первые пытаются выгодно использовать в своих интересах. Бесы смутного времени, таким образом, не изобретают, а лишь заимствуют у законной власти методы и способы правления, усваивая и корысть, и манипуляторство, и игру в либерализм.

Концепция российской власти, трактуемой в мире прокламаций как нечто праздное и вздорное, имеет весьма широкое хождение. Тезис: «У нас не за что ухватиться и не на что опереться» — будоражит умы. «Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды, — объясняет онемечившийся русский писатель Кармазинов, — что Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где всё что угодно может произойти без малейшего отпору... Святая Русь — страна деревянная, нищая и... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках. Она обрадуется всякому выходу, стоит только растолковать. Одно правительство еще хочет сопротивляться, но машет дубиной в темноте и бьет по своим. Тут всё обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности».

Власть «в законе», равно как и самозванцы, рвущиеся к власти, создает идеологические мифы, которые должны обосно-

вать, обеспечить и обставить все властные притязания туманом неопровержимой законности. Социальная утопия с репутацией догмы — таким представлен в «Бесах» идейный первоисточник, провоцирующий смуту. Идеологическое своеволие объявляет себя единственным носителем истины; политическая программа переделки мира «по новому штату» без всяких гарантий своей состоятельности, аморальность деятелей, присвоивших себе право решать за других, в чем их счастье, образуют изначальный дефект того теоретического фундамента, который положен в основу социального проектирования. Главный идеолог смуты, бес-мономан Шигалев, свое право на монополию в деле переустройства мира утверждает с фанатичным упорством, полагая, что его доктрине нет и не может быть никакой альтернативы: «Я предлагаю... земной рай, и другого на земле быть не может». Шигалев рассчитывает утвердить доктрину о неизбежности безграничного деспотизма при построении мировой гармонии: «странное животное, которое называется человеком», не приспособлено ни к чему другому.

«Бесы» провидчески называли цену, которую требовала смута для построения нового общества, — 100 миллионов голов, и тут же на сцену выходили политики, перехватывая инициативу у идеологов. Сомнительная репутация Петра Верховенского, шлейф предательства, подозрения в связях с охранкой не мешали адептам признавать его «двигателем»: слишком лестно было иметь шефом уполномоченного из заграничного Центрального комитета. Чтобы внутри организации не возникало инакомыслия, все ее члены должны были следить друг за другом и писать отчеты наверх. Являясь уставной обязанностью члена организации, донос и слежка становились способом выживания.

Борьба за цель, не боящаяся никаких средств, отрицание нравственных соображений, если они не увязываются с интересами организации или тем более противоречат ей, провозглашались как новое революционное слово. Старый тезис Раскольникова «кровь по совести» в практике смуты выходил из подполья и внедрялся в жизнь. Фарс политического спектакля «У наших» стал первой пробой пятерки, когда вождь публично выявлял *врага организации и предателя*; члены пятерки восприняли «уроки бдительности» с энтузиазмом. Совместная преступная акция, общий грех разделенного злодейства, как точно угадал Ставрогин, стали залогом партийно-группового единства. Никто из группы не смог и не захотел реально помешать убийству, не сделал попытки предотвратить гибель вчерашнего товарища. Политический клейстер был сварен; отны-

не «наши», загнанные в угол, обязывались выполнять «свободный долг» по первому требованию.

Убийство, совершенное пятеркой во главе с ее лидером, высветило генетический код будущего — если оно пойдет вслед за предначертаниями Петра Верховенского. «Мне нет дела, что потом выйдет: главное, чтоб существующее было потрясено, расшатано и лопнуло» — именно этот нечаевский принцип пытается осуществить Петр Верховенский. Образ смуты представляется ему в подробностях поистине апокалипсических. Русский Бог, который спасовал перед «женевскими идеями»; Россия, на которую обращен некий таинственный *index*, как на страну, наиболее способную к исполнению «великой задачи»; народ русский, которому предстоит хлебнуть «свеженькой кровушки», — не устоят. И когда начнется смута, «раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...».

Страна, которую маньяк и мистификатор Петруша избрал опытным полем для эксперимента, обрекалась им на режим, где народ, объединенный вокруг ложной идеологии, превращался в толпу, где правители, насаждая идолопоклонство и культ человекобога, манипулируют сознанием миллионов, где всё и вся подчиняется «одной великолепной, кумирной, деспотической воле». Логика смуты вела к диктатуре, власти идеологического бреда, к кошмару привычного насилия.

Бесовская одержимость силами зла и разрушения, гордыня идеологического своеволия, претензии на господство, «свехчеловеческое» мирочувствование — эти глубинные, неискоренимые духовные пороки политического честолюбца и руководителя смуты обнажали некие сущностные законы противостояния добра и зла. Россия, раздираемая бесами, стояла перед выбором своей судьбы; угроза ее духовному существованию, опасность превращения страны в арену для «диаволова водевиля», а ее народа — в человеческое стадо, понукаемое и ведомое к «земному раю» с «земными богами», были явственно различимы в демоническом хоре персонажей смуты. Нравственный и политический диагноз болезни, коренившейся в русской революции, художественный анализ симптомов и неизбежных осложнений — были равны ясновидению и пророчеству.

Много раз в черновиках к роману Достоевский пробовал найти тех, кто сможет обличить заговорщиков-отрицателей, противостоять им словом или делом. Искал и не находил никого — кроме Ставрогина. Ставрогин, испорченный барчук, говорил в предсмертном письме о той молодежи, которая радуется царству посредственности, завистливому равенству,

глупой безличности, отрицанию всякого долга, всякой чести, всякой обязанности. «Говорят, они хотят работать — не станут они работать. Говорят, они хотят составить новое общество? Нет у них связей для нового общества, но они об этом не думают. Не думают!» Ставрогин, оторванный от почвы аристократ, оказывался в романе единственным, кто мог смеяться над Петрушей и открыто презирать его. «Князя выставить в романе как врагом нигилизма и либерализма и высокомерным аристократом, — намечал автор. — Он в романе судья нигилизма».

В романе «герой-солнце», «князь и ясный сокол» отказывается от трона и венца, которые предлагает ему вождь заговорщиков. Великий грешник Ставрогин, разобравшись в целях и методах «деятелей движения», порывает с ними. Сознав реальную опасность мести Шатову, предупреждает о готовящемся убийстве. Несмотря на опутавшую его сеть шантажа, игнорирует шантажистов. Разглядев амбиции беса-политика Петруши, демонстрирует отвращение от «пьяного» и «помешанного». Подводя итог своей жизни, дает нравственную оценку верховенцам. «Я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего. А для смеху, со злобы, тоже не мог, и не потому чтобы боялся смешного, — я смешного не могу испугаться, — а потому, что всё-таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило. Но если б имел к ним злобы и зависти больше, то, может, и пошел бы с ними. Судите, до какой степени мне было легко и сколько я метался!»

Ставрогин не совершил подвига исповеди и покаяния. Он не избежал греха попустительства и бросил город на произвол грабителей и погромщиков. Он был против убийства, но знал, что люди будут убиты, и не остановил убийц. Не устоял в искушениях страсти и погубил Лизу. Совершил смертный грех самоубийства.

Но Ставрогин не участвовал в крови по совести и в разрушении по принципу. В свете того реального опыта, который не обошел Россию, где была широкомасштабно опробована программа Верховенского, пример ее осуждения, противоборства и отказа от самозваной власти явил собой нечто в высшей степени поучительное. Во всяком случае, Достоевский не нашел никого другого, кто бы в лицо маньяку и негодяю Петруше мог сказать то, что сказал ему Ставрогин с риском для жизни.

Опыт смуты — в виде лабораторного эксперимента — был произведен в масштабах только одного города, в течение только одного месяца, силами только одной пятерки заговорщиков, действовавших подпольно и пока не имевших власти. Че-

рез три месяца после завершения этой пробы город оправился, отдохнул и отдышался, — но не одумался: похоронив мертвецов и арестовав пятерку, он легкомысленно выпустил и позволил ускользнуть за границу ее руководителю. Успокоившись, люди вновь начали творить мифы, считая Петра Степановича «чуть не за гения». Все могло начаться снова и с новым размахом.

...В самый разгар «военных действий» либеральной критики, публично выражавшей сомнение в психической полноценности автора «Бесов», открыто называвшей его сумасшедшим, героев романа — психопатами и манекенами, а сам роман — госпиталем для умалишенных, стал выходить журнал «Гражданин» под редакцией Достоевского. Писатель давно тосковал по слову «от первого лица», по горячей публицистике на злобу дня. Фигура основателя журнала, князя Мещерского, ставшая синонимом понятия «консерватизм», вызывала такую же яростную критику «своры», которая травила и автора «Бесов». Понятно, что не слепой случай свел Достоевского с издателем «Гражданина» сразу после завершения «Бесов».

Публицист и писатель Владимир Петрович Мещерский имел богатую родословную: внук Н. М. Карамзина (сын его старшей дочери Е. Н. Карамзиной), внук писательницы С. С. Мещерской (матери его отца, П. И. Мещерского), внучатый племянник князя П. А. Вяземского, двоюродный брат мемуариста и общественного деятеля А. В. Мещерского. Выпускник Училища правоведения князь Мещерский был камергером Александра II и другом наследника престола, будущего Александра III. Репутация консерватора была обеспечена князю в связи с его жесткой позицией как защитника самодержавия.

Автор «Бесов» должен был задаться вопросом: а что в этом дурного и почему, вслед за нигилистами-нечаевцами, следует желать крушения самодержавного строя? Мещерский с патриотических позиций критиковал государственную бюрократию; осуждал власть за то, что она в «духе времени» потакает радикальным настроениям разночинной молодежи; обвинял интеллигенцию в «нигилизировании» общества, идущем от незнания России. Он считал, что реформы нужно вести не путем штурма и натиска, а «тихо и стройно», в органическом общении правительства и народа. Он полагал, что обществу в эпоху непрерывного реформирования нужны паузы и передышки, и видел, как дурно влияет космополитический Петербург на остальную Россию. За всё это Мещерский, вместо признания его здравомыслия, получил клеймо «Князя Точки» и вождя контрреформ.

История отношений Достоевского с князем Мещерским и «Гражданином» была окружена непреодолимым предубеждением. Либеральная печать, с присущей ей категоричностью (Ф. М. называл это «либеральным террором»), утверждала, что Мещерский марает политическую и даже человеческую репутацию Достоевского, связавшего свой «Дневник писателя» с «одиозным публицистом» и «княжеским органом». Но как могла замарать репутацию писателя, высоко почитавшего Царя-освободителя, совместная работа с человеком, который дружит с наследником престола и является его советником? Кроме того, приятельствует с Ф. И. Тютчевым и консультируется по литературным вопросам с князем П. А. Вяземским, своим двоюродным дедом?

Достоевский симпатизировал политическому чутью Мещерского, «русское чувство» которого проявлялось в мгновенных реакциях — таких, например, как отклик на выстрел Каракозова. Когда еще не было известно, кто именно стрелял, императрица (немка по крови и при этом патриотка России) импульсивно воскликнула по-французски: «Лишь бы только это не был русский!» Министр внутренних дел граф П. А. Валуев (коренной русский, но ярый западник), верный своему космополитизму, столь же импульсивно воскликнул: «Лишь бы только это не был поляк!»[17] Об этом своем родственнике и прямом начальнике Мещерский написал: «Валуев не мог давать государственным вопросам того, чего у него не было; а у него не было ни русского духа, ни русского чувства, или было того и другого так мало, что весь он отдавался в распоряжение каких угодно — европейских, немецких, английских — веяний культуры и политики с полнейшим подобострастием, но русского духа, русского разума стыдился и стыдился потому, что не знал их и не имел их».

Мещерский говорил о нетерпеливом и лихорадочном стремлении высших представителей власти ко всему новому. Высшие чиновники, цвет русского дворянства, опора трона, наперегонки и публично торопились выказать свои антимонархические, антидворянские взгляды, афишировали свои знакомства с вождями «ярко-красного» направления. В «Бесах» именно губернаторская чета — люди, лишенные идеи служения, под напором «новых направлений» усыновляют всю «нетерпеливую сволочь», всплывшую на волне перемен.

Болезнь воли, дефицит энергии, долга и достоинства — таков был диагноз российской власти, который ставили ей и автор «Бесов», и русская консервативная мысль. Мещерский говорил о необходимости обозначить пределы терпимости в обществе и стать хозяином положения. Анархическая пропа-

ганда крамолы имеет в России только одного союзника — неумелость правительства энергично противодействовать ей и умно с ней бороться. Год от года эта неумелость превращается в роковую беду: страна не только не освобождается от угроз крамолы, но все сильнее подпадает под гнет ее торжествующих злодеяний.

Либеральная печать — наиболее зловещий фактор политической жизни России, полагал Мещерский. За первое десятилетие царствования Александра II печать «на 1/4 говорила о благодарности и на 9/10 говорила во имя отрицания, обличения и осуждения. Подпольная и заграничная русская публицистика была полна доносами, обвинениями и злобою... Нервная похоть к новому и к реформе была главным двигателем всех; и что бы ни делал государь, все дела встречала критика одних и нетерпеливые требования другого от других».

В давлении некой одной, «правильной» точки зрения на общественное мнение Достоевский видел основной механизм действия либерального террора, рождающего гражданскую трусость и бессилие мысли. Искусным технологом, подлинным виртуозом игры на больных нервах общества как раз и был Петр Верховенский, хвастливо указавший Ставрогину тайные пружины своей политики. «Самая главная сила — цемент, всё связующий, — это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот "миленький" трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове! За стыд почитают... Я вам говорю, он у меня в огонь пойдет, стоит только прикрикнуть на него, что недостаточно либерален».

Мещерский понимал, как он рискует, создавая журнал «Гражданин» в Петербурге, где всякая консервативная мысль вызывала судороги отвращения и где модные газеты «Голос» и «Санкт-Петербургские ведомости» проводили нигилистическую и антиправительственную политику. Вяземский говорил своему внуку: «Ты начнешь карьеру публициста прогулкою сквозь строй»; Тютчев предупреждал: «Я приветствую ваше намерение, но я вперед соболезную вашим испытаниям». Значит, понимал Мещерский, удел «Гражданина» — быть в немилости у общественного мнения; оценка журнала не будет объективной, «Гражданина» станут ругать, не глядя и не читая; партия прогресса признáет постыдным само упоминание «ретроградного» издания и будет порочить всякого, кто окажется причастным к кругу его авторов и читателей.

В ситуации полного общественного одиночества Мещерский пытался найти сотоварища и единомышленника. «Никогда не забуду, с каким добродушным и в то же время вдохновенным лицом Ф. М. Достоевский обратился ко мне и говорит:

хотите, я пойду в редакторы? В первый миг мы подумали, что он шутит, но затем явилась минута серьезной радости, ибо оказалось, что Достоевский решился на это из сочувствия к цели издания... Но этого мало. Решимость Достоевского имела свою духовную красоту. Достоевский был, невзирая на то, что он был Достоевский, — беден; он знал, что мои личные и издательские средства ограничены, и потому сказал мне, что желает для себя только самого нужного гонорара как средств к жизни. Горизонт "Гражданина", потускневший к концу года, прояснился с этим отрадным фактом...»

Однако Достоевский, на имя и популярность которого рассчитывал Мещерский, советовал не предаваться иллюзиям. «"Мое имя вам ничего не принесет: ненависть к 'Гражданину' сильнее моей популярности; да и какая у меня популярность? У меня ее нет, меня раскусили, нашли, что я иду против течения". И он оказался прав».

Злое и холодное отношение к Достоевскому в роли редактора «Гражданина» было таким, будто «его признали виновным в совершении гнусного дела и не заслуживающим никакого снисхождения». Нападки на «Гражданина» после того, как его возглавил Достоевский, стали еще злее и еще яростнее; Мещерский полагал, что ненависть к консервативному изданию была искусственно привита «тому громадному стаду, которое носило название образованного общества», а оно уже было приучено трактовать понятия «верноподданный» и «законопослушный» как постыдные и позорные.

«Достоевский был одним из самых интересных и оригинальных людей, виденных в моей жизни, — вспоминал Мещерский. — Я не видел на своем веку более полного консерватора, не видел более убежденного и преданного своему знамени монархиста, не видел более фанатичного приверженца самодержавия, чем Достоевский, и этот Достоевский попал в Сибирь и на каторгу за свои политические преступления!.. Мы все были маленькими перед его грандиозною фигурою консерватора... Апостол правды во всем, в крупном и в мелочах, Достоевский был, как аскет, строг и, как неофит, фанатичен в своем консерватизме... Ненавистью дышала его душа ко всякому виду неправды и лжи... В ненависти к революционерам Достоевского было два двигателя: ненависть к ним за вред, который они приносят русскому народу, и ненависть за ложь в их проповедничестве...»

В «Гражданине» Достоевский смог испробовать новый жанр — «Дневник писателя», через который он хотел разговаривать с русским читателем прямо и непосредственно. Это был давний замысел — создать нечто вроде «Записной книги», ко-

торая собирала бы рисующие эпоху факты, связанные единой авторской мыслью. Задумываться над явлениями русской жизни, изучать, а затем обсуждать их на страницах «Дневника писателя» — так понимал свою задачу новый редактор «Гражданина». И как нужен был ему «Дневник» после «Бесов», как много можно было вспомнить, о многом сказать свое слово и многим ответить!..

Пятого февраля 1873 года в «Гражданине» вышел рассказ «Бобок». Автора «Бесов» записывали в душевнобольные? Ставили на нем крест? Приглашали любопытствующих посетить Академию живописи, где выставлен его портрет кисти живописца Перова, запечатлевший «всем известный тяжкий недуг»? («Голос» в этой связи призывал даже почувствовать к г-ну Достоевскому «жалостливость».)

«Бобок» отвечал всем «доброжелателям» сразу:

«На этот раз помещаю “Записки одного лица”. Это не я; это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия».

С этого вызывающе краткого вступления начинался рассказ. Иван Иваныч, то самое «одно лицо», представал перед публикой словно по заказу улюлюкающей критики — спившимся до галлюцинаций литератором-неудачником, с заметными психическими отклонениями, измененной речью и неуклюжим слогом. Ему неоткуда и не от кого было ждать снисхождения; ни его текущая деятельность, ни его литературная биография не оставляли никаких надежд на будущее, а список сочинений, который паче чаяния он бы мог предъявить, являл собой жалкое зрелище. «Написал повесть — не напечатали. Написал фельетон — отказали... Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам: “Редкость! Красненький, дескать, чай, с собственных плантаций...” За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. “Искусство нравиться дамам” по заказу книгопродавца составил. Вот этаких книжек я штук шесть в моей жизни пустил. Вольтеровы бонмо хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер. Последние зубы друг другу повыбили! Ну вот и вся моя литературная деятельность».

И вот этот-то ничтожный Иван Иваныч вдруг объявлялся в «Гражданине» со своими «Записками». «Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: “Все-таки ты, говорит, литератор”. Я дался, он и выставил. Читаю: “Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо”. Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в

печати? В печати надо всё благородное; идеалов надо, а тут... Скажи по крайней мере косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают и ругательства заместо остроты принимаются. Я не обижаюсь: не Бог знает какой литератор, чтобы с ума сойти».

Это была дерзость, которой не ожидали от Достоевского даже самые яростные из «своры». Его назвали сумасшедшим и ждали, что, оболганный и оклеветанный, он втравится в публичную склоку? Что, защищаясь, станет малодушно перечислять прошлые литературные заслуги? Да нет же! Он знал свое место и был преисполнен смирения: почему бы и не прикинуться графоманом Иван Иванычем? Хотели сумасшедшего — пусть теперь изучают Иван Иваныча, гадая, какой такой кладбищенский «бобок» ему в горячке примерещился.

А пьяненький Иван Иваныч тем временем ходил между могилок и «наблюдал жизнь» в самых ее «непредвиденных» формах, почти автоматически повинуясь спасительной привычке запоминать и записывать. Даже и в столь плачевном состоянии надеялся он накопать факты о случайно открывшейся ему тайне «последних упований», которые, оказывается, чудесным образом посылаются «дряблым и гниющим трупам». Потрясенный увиденным, трезвел Иван Иваныч и в негодовании силился осмыслить тот растленный ужас, который вселялся в погибшие души. «Разврат в таком месте... и — даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и... А главное, главное, в таком месте! Нет, этого я не могу допустить...»

И был только один способ для маленького литератора исполнить дело совести: п и с а т ь — несмотря на болезнь, скверный характер, «рубленый слог», которым попрекали в редакциях. «Бобок» заканчивался еще одной неподражаемой дерзостью: «Снесу в “Гражданин”; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает».

Анонимные рецензенты снова и снова «горько сожалели» об авторе, «провалившемся» с «Бесами», а теперь еще и с одиозным «Гражданином», где был-таки помещен ни на что не похожий «Бобок»; назидательно объясняли, к каким плачевным результатам приводит измена передовым идеям, как необратимо в нынешних «мистически-забористых сочинениях» падение писателя, как тягостно и болезненно в этом писателе падение человека.

А со страниц «Гражданина» фельетонист Иван Иваныч обещал новые кладбищенские анекдотцы о грязных тайнах могильной тишины, будто показывал всем своим хулителям длинный язык.

Глава пятая

ТЕНЬ «НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ»

Ключевые вопросы. — Новые искушения. — «Местная» болезнь. — Диалектика цели. — Выстрел Засулич. — Право на теракт. — «Последнее» убийство. — Письмо Нечаева. — Историческая реабилитация. — Неусвоенные уроки. — «Тиски» направления

Известный ядовито колкими сатирами журнал «Искра» на исходе своего существования опубликовал (1 апреля 1873 года) анонимный фельетон «Дневник прохожего», что-то вроде пародии на «Дневник писателя». Некто Девушкин, надворный советник, пытается прочесть роман «Бесы» и жалуется, что понять ничего не может. «Ведь простой роман, кажется, из одних разговоров больше состоит; слова все понимаю в отдельности, а к чему вот все сочинение клонится, хоть гром меня разрази — не постигаю».

Это был литературный ход в духе Достоевского — герой одного романа читает другой роман и пытается вникнуть в суть дела. Надо думать, настоящий Макар Девушкин наверняка понял бы и объяснил, пусть самыми обычными словами, к чему клонится «простой роман» (как он понял, например, «Шинель»). Но под пером фельетониста «Искры» автор «Бесов» сам запутался в содержании; что же касается искровского Девушкина, то после чтения «Бесов» он сделался, увы, нигилистом.

Фельетон, разумеется, возник не на пустом месте. Читающая публика, за малым исключением, была оскорблена романом; «Бесы» казались «уродливой карикатурой» и «злобной клеветой» на молодежь, которая жаждет перемен и включается в борьбу. Насколько верно изобразил писатель современных ему «ярко-красных», насколько Нечаев с его «Катехизисом» типичны как революционеры — это были ключевые вопросы дня.

Все хорошо помнили нечаевский процесс 1871 года и речь адвоката В. Д. Спасовича о беглом подсудимом. «Этот страшный, роковой человек всюду, где он ни останавливался, приносил заразу, смерть, аресты, уничтожение. Есть легенда, изображающая поветрие в виде женщины с кровавым платком. Где она появится, там люди мрут тысячами. Мне кажется, Нечаев совершенно походит на это сказочное олицетворение моровой язвы»[18]. Демократическая молодежь спешила отмежеваться от «мистического кошмара». Теория и практика Нечаева, иезуитская система его организации, слепое подчинение членов кружка мифическому центру, ничем себя не проявившему, — вызывали отвращение и отторжение.

Но вот парадокс: процесс над нечаевцами вовсе не отвратил молодежь от новых партийных искушений — негативное отношение к нечаевщине вызвало стремление строить организацию на иных началах: на близком знакомстве, симпатии, полном доверии и равенстве всех членов, на высоком уровне их нравственного развития. Кружковцы 1870-х годов, осуждая принципы и методы Нечаева, ратовали за образование, пропаганду книг, честный и чистый стиль поведения. Народник Н. А. Чарушин писал о своем кружке: «Организованный по типу совершенно противоположному нечаевской организации, без всяких уставов и статусов и иных формальностей, он покоился исключительно лишь на сродстве настроений и взглядов по основным вопросам, высоте и твердости моральных принципов и искренней преданности делу народа, из чего, как естественное следствие, вытекали взаимное доверие, уважение и искренняя привязанность друг к другу»[19].

Об антинечаевских настроениях вспоминал и П. А. Кропоткин: «Нечаев... для достижения своей цели прибег к приему старинных заговорщиков и не останавливался даже перед обманом, чтобы заставить членов общества следовать за собою. *Такие приемы не могут иметь успеха в России...* Наш кружок оставался тесной семьей друзей. Никогда впоследствии я не встречал такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первом заседании кружка Чайковского. До сих пор горжусь тем, что был принят в такую семью»[20].

Демократическая печать пыталась внушить читателям, что роман «Бесы» потому злостно бессмыслен, что Нечаев и нечаевщина — эпизодическая местная болезнь и автор не имел права подозревать, что ею больно все общество, как не имел права толковать евангельскую притчу о бесах в пользу своей идеи. «Достоевский утопил бесов-нигилистов в “Русском вестнике”, обратив его на время в Генисаретское озеро», — иронизировали критики-анонимы. «Спрашивается, в чем состоят миазмы, нечистота, бесы и бесенята, в течение веков копившиеся в нашем больном? Кто это “мы и ты, и Петруша et les autres avec lui”, о которых говорит Степан Трофимович Верховенский? Кто эти свиньи, в которых вселяются бесы, изгоняемые из больной России? В чем, наконец, состоит их бесовский элемент? В самом романе трудно найти ответы на эти вопросы»[21], — утверждал Н. К. Михайловский.

Неприязнь к Нечаеву и нечаевщине заставила авторитетного критика возмутиться «Бесами». Он укорял автора не за карикатуру на нечаевцев, а за неоправданно широкие обобщения, за несоблюдение правил художественной перспективы.

«Если бы г. Достоевский принял в соображение громадную массу русских молодых людей... он убедился бы даже, что Нечаевское дело есть до такой степени во всех отношениях монстр, что не может служить темой для романа с более или менее широким захватом. Оно могло бы доставить материал для романа уголовного, узкого, мелкого... Но и помимо Нечаевского дела, где слышал г. Достоевский, чтобы современные русские молодые люди встречали и провожали друг друга вопросами: вы атеист? вы лампадку зажигали? вы уверовали? Тем паче, где слышит он из уст молодежи такие идеи, как, например: "Народ есть тело божье", "Русский народ богоносец" и т. п.? Я не спорю, может быть, он все это и слышал, но уже, конечно, не имеет права выставлять эти черты в качестве характерных, типических на первое место»[22].

Согласно Михайловскому, Достоевский «просмотрел общую и здоровую основу», ухватился «за печальное, ошибочное и преступное исключение»[23]. Молодежь клялась, что никогда не пойдет по этому следу, ни в коем случае не будет строить организацию по типу нечаевской, и отворачивалась от романа Достоевского. Вопрос стоял так: мы, кто так открыто заявляет о неприятии нечаевщины, не хотим видеть себя персонажами «Бесов», мы — другие. Уродливые марионетки ничего общего не имеют с истинными борцами, и никогда деятели движения не признают мир «Бесов» реалистической картиной. Возмущение романом вселяло надежду, что болезненная прививка оградит русских «красных» от рецидива болезни. Казалось, с «местным» недугом покончено раз и навсегда. Левой интеллигенции хотелось верить, что «Бесы» запомнятся лишь как плод болезненного воображения писателя-ренегата.

Однако осуждение нечаевщины в российском обществе никогда не было безоговорочным. «Все наши с большим интересом следили за делом и старались попасть на заседания суда»[24], — вспоминала А. И. Корнилова-Мороз, член кружка чайковцев. В ходе процесса, длившегося два с половиной месяца, проявилась даже романтизация Нечаева: подельники — Кузнецов, Николаев, Прыжов, Рипман — говорили об энтузиазме своего руководителя, о его искренней любви к народу. Особенно восторгался Успенский: «Нечаев обладал страшной энергией и производил большое влияние на лиц, знавших его. Он был верен своей цели, очень предан своему делу и личной вражды ни к кому не имел... Что же касается нравственных его качеств, то он производил впечатление человека полнейшей преданности делу и той идее, которой служил. Сведениями он обладал громадными и умел чрезвычайно ловко пользоваться

своими знаниями. Поэтому мы относились к нему с полнейшим доверием».

Весьма изменчивы были и оценки Бакунина, сыгравшего роковую роль в судьбе Нечаева.

Лето 1870 года: Нечаев скрывается в Европе после убийства Иванова. «Он обманул доверие всех нас, он похитил наши письма, он нас страшно скомпрометировал, одним словом, он вел себя как негодяй. Единственным извинением может служить его фанатизм. Он страшный честолюбец... так как в конце концов вполне отождествил революционное дело с своею собственной особой... Это фанатик, а фанатизм увлекает его до превращения в совершенного иезуита... Он весьма опасен, т. к. ежедневно совершает акты нарушения доверия, предательства, от которых тем труднее уберечься, что трудно заподозрить их возможность»[25].

Лето 1871 года: после прочтения судебных отчетов по делу нечаевцев. «Какой мерзавец!»[26]

Осень 1872 года: после ареста Нечаева швейцарской полицией. «Неслыханное совершилось. Несчастного Нечаева республика выдала... Мне страшно жаль его. Никто не сделал мне, и сделал намеренно, столько зла, а все-таки мне его жаль. Он был человек редкой энергии... в нем горело яркое пламя любви к нашему забитому народу, в нем была настоящая боль по нашей исторической беде. Он тогда (при первом знакомстве. — *Л. С.*) был еще неопрятен снаружи, но внутри не был грязен... Генеральствование, самодурство, встретившиеся в нем самым несчастным образом и благодаря его невежеству с методою так называемого макиавеллизма и иезуитизма, повергли его окончательно в грязь»[27].

Дело было не в том, что Бакунин жалел арестованного, и даже не в том, что был уверен в исправлении несчастного, который, и погибая, будет вести себя как герой «и на этот раз ничему и никому не изменит»[28]. Дело было в наборе оправдательных аргументов и в логике реабилитации, которая сквозила в письмах и дневниках Бакунина: да, Нечаев лгал и сделал много зла, но в нем горело яркое пламя любви к народу; да, он использовал недостойные методы борьбы, но в нем была настоящая боль по нашей исторической беде.

Согласно той же логике рассуждали и отечественные народолюбцы, готовые закрыть глаза даже на факт убийства. «Несмотря на некоторые отрицательные черты, — вспоминала А. И. Корнилова-Мороз, — подсудимые этого громкого процесса тем не менее являлись борцами за освобождение от гнета правительства; критикуя основы их организации, молодежь поддавалась обаянию мысли о борьбе за идеи

во имя правды и справедливости и стремилась найти лучшие пути для проведения их в жизнь»[29]. Простая истина, что цель, достигаемая преступными средствами, не есть цель благая, оказалась недоступна пониманию даже и тех, кого пугали «некоторые отрицательные черты» нечаевцев: пусть Нечаев и его соратники поступали бесчестно и подло, но они стремились к великой и прекрасной цели.

Исподволь в революционном сообществе разворачивался процесс нравственной адаптации к нечаевщине. Уже в 1874 году бывший нечаевец П. Н. Ткачев издал за границей брошюру «Задачи революционной пропаганды в России», в которой объяснял, кто есть настоящий революционер. «Тем-то он и отличается от философа-филистера, что, не ожидая, пока *течение исторических событий само укажет минуту*, он выбирает ее сам, так как признает народ *всегда* готовым к революции»[30].

Внимательный читатель «Бесов» и беспощадный их критик, опубликовавший два разбора романа, Ткачев, сам, видимо, того не замечая, повторял пассажи Петра Верховенского, агитирующего «за скорый ход на всех парах через болото». Напомню еще раз этот ультиматум: «Я вас спрашиваю, что вам милее: медленный ли путь, состоящий в сочинении социальных романов и в канцелярском предрешении судеб человеческих на тысячи лет вперед на бумаге, тогда как деспотизм тем временем будет глотать жареные куски, которые вам сами в рот летят и которые вы мимо рта пропускаете, или вы держитесь решения скорого, в чем бы оно ни состояло, но которое наконец развяжет руки и даст человечеству на просторе самому социально устроиться и уже на деле, а не на бумаге?»

Ткачев в пылу полемики повторял за Верховенским его требование буква в букву: «Страдания народа с каждым днем все возрастают и возрастают; с каждым днем цепи деспотизма и произвола все глубже и глубже впиваются в его измученное и наболевшее тело, с каждым днем петля самодержавия все туже и туже затягивается на нашей шее, — а вы говорите: подождите, потерпите, не бросайтесь в борьбу, сначала поучитесь, перевоспитайте себя. О, Боже, неужели это говорит *живой* человек *живым* людям. Ждать! Учиться, перевоспитываться! Да имеем ли мы право ждать? Имеем ли мы право тратить время на перевоспитание! Ведь каждый час, каждая минута, отдаляющая нас от революции, стоит народу тысячи жертв... Мы утверждаем, что революция в России настоятельно необходима, и необходима именно *в настоящее время;* мы не допускаем никаких отсрочек, никакого промедления. *Теперь* или очень нескоро, быть может, *никогда!*»[31]

Подталкивать историю в спину, используя для этого любые средства, становилось постепенно делом все более привычным. Пропаганда, так же как и хождение в народ не давали мгновенного результата; народ оказывался совсем не таким, каким он должен был быть, — социалистических идей не понимал, от пропаганды не возгорался. Съезд народников, состоявшийся летом 1875 года, обсуждал организационные принципы движения: так как система кружков выявила свою несостоятельность, ставилась задача их объединения в одну социалистическую партию. При этом предлагалось построение, совершенно отличное от того, на котором строился кружок чайковцев: «принцип личной симпатии» заменялся «принципом группировки для дела и на почве дела».

Если чайковцы, крепко запомнившие уроки нечаевщины, отказались «от всяких уставов и иных формальностей», то новая организация уже к концу 1876 года выработала устав, который действовал до 1878 года, пока не встал вопрос об усилении принципа централизма. «Земля и воля» заменила не связанные между собой кружки единой организацией, целью которой (как было записано в §1 Устава 1878 года) являлось «осуществление народного восстания в возможно ближайшем будущем». Строгая централизация, подчинение меньшинства большинству, конспирация, концентрация средств и сведений на самом верху, комиссии и подкомиссии, широкие полномочия узких (из трех—пяти человек) рабочих групп — всё это фактически копировало «Народную расправу».

Однако даже и такая организация, созданная для агитации крестьян и развития у них революционных чувств, могущих выразиться как в легальном протесте против местных властей, так и в вооруженном восстании — бунте, добилась крайне немногого. Перехода к активным действиям не случилось, создать боевые крестьянские кружки не удалось. Как писала В. Н. Фигнер, революционеры, надеявшиеся нарушить «тишину саратовских сел и тамбовских деревень», были разочарованы и угнетены[32].

В статье «Одна из современных фальшей» из «Дневника писателя» за 1873 год, напечатанной в «Гражданине», Достоевский объяснял читателям и критикам, что в «Бесах» поставлен вопрос, как возможны Нечаевы и как они набирают себе нечаевцев. Уже через пять лет вопрос и ответ наполнились новой реальностью; прилипчивая болезнь, о которой оптимисты думали, что она «местная», грозила перерасти в эпидемию: новые Нечаевы привыкали видеть в терроре метод борьбы, полезный для будущего великого дела. На страницах «Гражданина» автор «Бесов» провидчески предсказал появление в самом ближай-

шем будущем революционеров совсем иного, чем Нечаев, склада, «чистейших сердцем и простодушнейших», но делавших «явную и бесспорную мерзость» — людей «большого террора».

Достоевский застанет исторический момент 24 января 1878 года, который наконец взорвет «тишину саратовских сел и тамбовских деревень». Выстрел Веры Засулич в петербургского градоначальника Трепова станет сигналом нового этапа движения, знаком нового качества революционного поведения, методов и способов борьбы. Уже в марте 1878 года на прокламациях, выпускавшихся в память о терактах, появится печать с изображением пистолета, кинжала и топора. Под листовками будет стоять подпись: «Исполнительный комитет Социально-революционной партии» (название террористической фракции «Земли и воли»).

Мрачная тень «Народной расправы» нависала над Россией; дух ее вождя, заточенного в Петропавловской крепости, будоражил землевольцев. Незаметно для себя пункт программы о систематическом истреблении лиц, на которых держится ненавистный порядок, они поставили в центр деятельности. Мирные социалистические кружки неумолимо втягивались в террор. Тактикой политического убийства овладевали «чистейшие сердцем и простодушнейшие», ибо цель вновь начала оправдывать средства.

«Теперь *несомненно*, — напишет Достоевский в апреле 1878 года студентам Московского университета, — молодежь попала в руки какой-то совершенно внешней политической руководящей партии, которой до молодежи уж ровно никакого нет дела и которая употребляет ее, как материал и Панургово стадо, для своих внешних и особенных целей». Между тем у молодежи есть и свое лицо, и своя общественная задача: «Никогда еще не было у нас, в нашей русской жизни, такой эпохи, когда бы молодежь (как бы предчувствуя, что вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной) в большинстве своем огромном была более, как теперь, искреннею, более чистою сердцем, более жаждущею истины и правды, более готовою пожертвовать всем, даже жизнью, за правду и за слово правды. Подлинно великая надежда России!»

Даже выстрел Засулич не отнял у него надежду на «чистых сердцем». Проникновенные слова террористки на суде: «Страшно поднять руку на человека» — Достоевский прокомментирует в «Дневнике писателя» в ее пользу: «Это колебание было нравственнее, чем само пролитие крови».

Однако чем дальше, тем чаще «чистые сердцем» действовали уже без колебаний. Право на теракт, то есть на кровь по совести (даже если при «акте» проливалась кровь и случайных

жертв), нашло общественное признание и было санкционировано нравственно. Еще при жизни Достоевского террор вырос, стал многоголовым и дерзновенным: 1 февраля 1878 года — убийство группой В. А. Осинского шпиона Акима Никонова в Ростове-на-Дону; 23 февраля 1878 года — покушение на товарища прокурора Киевского окружного суда М. М. Котляревского, организованное Осинским; 24 мая 1878 года — убийство кинжалом адъютанта Киевского жандармского управления полковника барона Г. Э. Гейкинга террористом Г. А. Попко (при бегстве с места преступления он ранил выстрелами из револьвера еще несколько человек); 4 августа 1878 года — убийство кинжалом на улице во время прогулки шефа жандармов генерал-адъютанта Н. В. Мезенцева С. М. Кравчинским при участии А. И. Баранникова, А. Д. Михайлова и др.; 9 февраля 1879 года — убийство харьковского губернатора князя Д. Н. Кропоткина киевским террористом Г. Д. Гольденбергом; 26 февраля 1879 года — убийство в Москве шпиона Н. В. Рейнштейна террористом М. Р. Поповым; 13 марта 1879 года — покушение в Петербурге на шефа жандармов генерал-адъютанта А. Р. Дрентельна террористом Л. Ф. Мирским; 2 апреля 1879 года — покушение революционера-народника А. К. Соловьева на Александра II в Петербурге, во время прогулки государя в окрестностях Зимнего дворца без охраны и без спутников.

«Тяжело, страшно, но бывает необходимо: а потому ты невиновна!» Эта судебная формула, примененная к Засулич, узаконивала кровопролитие и насилие — методы грубой силы против грубой силы. Каждый получал право самостоятельно решать, кто должен быть убит, а кто нет и когда именно «бывает необходимо» лишить человека жизни. Убийство по политическим мотивам переставало считаться преступлением. В этом «бывает необходимо» таилась страшная разрушительная сила: двойной стандарт в морали и правосудии делал любого человека беззащитным перед лицом террора. Раскольников разрешил себе убить старуху из соображений «неполитических» — тем проще стало с лицензиями на ликвидацию особ, чей статус как бы предполагал законность расправы.

В истории развития *общественного* сознания 24 января и 31 марта 1878 года (выстрел Засулич и суд над ней) станут «прологом той великой исторической драмы, которая называется судом народа над правительством, — писал видный землеволец О. В. Аптекман. — В истории же развития нашего революционного движения делу Засулич суждено было стать *решительным поворотом* этого движения»[33].

Но поворотом куда? В какую сторону? «Смерть за смерть» — так называлась брошюра С. Кравчинского, написанная и из-

данная в 1878 году, где автор, отомстивший шефу жандармов Мезенцеву за казнь террориста Ковальского и сбежавший в Швейцарию, уверял, что политические убийства вовсе не метод революционной борьбы, а отдельный эпизод: «Мы никогда не выйдем *из пределов самозащиты*, своих же заветных целей мы добиваемся совершенно иным путем»[34]. Но было в этой брошюре одно страшное признание: «Убийство — вещь ужасная! Только в минуту сильнейшего аффекта, доходящего до потери самосознания, человек, не будучи извергом и выродком человечества, может лишить жизни себе подобного. Русское же правительство нас, социалистов, посвятивших себя делу освобождения страждущих, нас, обрекших себя на всякие страдания, чтобы избавить от них других, — русское правительство довело до того, что мы решаемся на целый ряд убийств, возводим их в систему»[35].

В сущности о том же писал и Аптекман: «Общий смысл этой борьбы таков: нам объявили войну — и мы обороняемся; наша личная свобода и человеческое достоинство попираются — и мы обязаны кровью защитить их; не мы первые подняли меч; пусть же поднявший меч от меча и погибнет!»[36]

К концу 1870-х годов Достоевский сможет воочию увидеть, в чем смысл того переломного момента, когда Россия остановилась, «колеблясь над бездной». Начинали понимать это и многие «чистые сердцем». Аптекман признавал: «Революционер становится все более и более агрессивным... У него за поясом кинжал, а в кармане — револьвер: он не только будет защищаться, но и нападать; он даром не отдаст своей свободы... Мы на словах открещиваемся, как от “нечистого”, от политической борьбы; мы негодуем, когда либеральная литература ехидно упрекает нас в том, что мы свернули с намеченного нами пути, но *фактически* — увы! — мы, помимо своей воли, ведем политическую борьбу... Неумолимая логика событий втянула революционеров в свой водоворот, и они, чтобы не захлебнуться, ухватились за террор, как утопающий за соломинку»[37].

Российскому обществу уже в ближайшие после «Бесов» годы дано было убедиться, что нечаевщина — не только не единичное и не случайное явление; нечаевщина (политическая бесовщина) — это универсальный механизм, толкающий «чистого сердцем» борца в террор как в бездну.

В программе «Земли и воли», как будто осуждавшей политические убийства, было зерно, из которого мог вырасти и вырос-таки колосс-монстр. Землевольцы успокаивали себя: «Террористы — это *не более* как *охранительный отряд*, назначение которого — оберегать... работников от предательских ударов

врагов... "Земля и воля"... считает нужным прибегать к террору, как к *специальной* форме борьбы для специальных случаев, *и только для таких случаев*»[38].

Определение «специальных» случаев оставалось делом произвольным, непредсказуемым. Фабрика казней работала на полную мощность. «Наше положение, — вспоминал Аптекман, — уже к концу 1878 года стало внушать серьезные опасения... Круто нараставшее террористическое *настроение* и резко обрисовавшийся поворот в деятельности землевольцев... предвещали нам всем, а особенно "деревенщине", тяжелые испытания»[39].

Тайное общество «Свобода или смерть», возникшее внутри другого тайного общества — Исполнительного комитета «Земли и воли» в мае 1879 года, подвело окончательную черту: раскол «Земли и воли» стал реальностью. Аптекман пишет: «Теперь, когда я вновь переживаю перипетии этих драматических событий, для меня все более и более становится понятной роковая неизбежность этого раскола»[40]. «Земля и воля», в печатном органе которой могла появиться статья, где черным по белому было написано: политическое убийство — это осуществление революции в настоящем, — была обречена стать террористической организацией.

«Проклятая нечаевщина...» — так, по преданию, бормотали землевольцы, противники террора.

«Не надо так уж трястись при слове "нечаевщина"» — так, по преданию, возражали оппонентам сторонники террора.

И для доказательства того, что общество застраховано от перерождения, что оно не превратится в корпорацию убийц, в фабрику тайных казней по нечаевскому образцу, была изобретена теория одного, самого главного, последнего убийства, убивающего все прочие убийства. Соблазнительная теория окончательного убийства стала краеугольным камнем «Народной воли», центральным пунктом ее программы. 26 августа 1879 года Исполнительный комитет «Народной воли» примет решение об убийстве Александра II. 19 ноября 1879 года произойдет попытка взрыва императорского поезда под Москвой. 5 февраля 1880-го С. Н. Халтурин произведет взрыв в подвале Зимнего дворца. До последнего акта трагической охоты на Царя-освободителя оставалось совсем немного...

Как логическое следствие пройденного пути восприняли народовольцы письмо исчезнувшего в казематах Петропавловской крепости Нечаева — его, уголовного преступника, выданного России швейцарским правительством, судил (8 января 1873 года) Московский окружной суд с участием присяжных и приговорил к каторжным работам в рудниках на 20 лет.

Во избежание неожиданностей Нечаева оставили в Алексеевском равелине, но именно там ему удалось сделать невозможное — распропагандировать караульных солдат и установить связь с народовольцами. Письмо, адресованное Исполкому «Народной воли», в котором знаменитый узник предлагал принять меры к его освобождению, говорило о многом: Нечаев видел в них революционеров первого разряда, товарищей по обретению власти над колесом российской фортуны и знал, что для них он — свой, что в случае побега окажется среди своих, готовящих руками, черными от динамита, последнее убийство.

Спустя годы Фигнер вспоминала о впечатлении, которое произвело на нее письмо Нечаева: «Исчезло все, темным пятном лежавшее на личности Нечаева, вся та ложь, которая окутывала революционный образ Нечаева. Оставался разум, не померкший в долголетнем одиночестве застенка, оставалась воля, не согнутая всей тяжестью обрушившейся кары; энергия, не разбитая всеми неудачами жизни»[41].

Нечаев переживет Достоевского на один год и девять месяцев. Репутация пленника Алексеевского равелина претерпит качественные изменения — время позаботится о его полной исторической реабилитации. Образ политического монстра, лжеца и убийцы уступит место образу страдальца-революционера, положившего жизнь на святую борьбу против «поганого строя». Еще через полвека революционеры нового поколения постараются очистить его имя от «мемуарной накипи» и объявят питомца Бакунина редчайшим примером классового борца, пионером русского большевизма, предтечей и провозвестником Октября.

То есть не отклонением от нормы, а нормой.

Микроб нечаевщины оставался реальной угрозой. Развитие болезни, о которой предупреждал Достоевский, его современники упорно не замечали, даже когда ее смертельные симптомы стали более чем очевидны. Политический террор конца 1870-х становился бытом и обыденностью, а роман «Бесы» по-прежнему клеймился как «реакционный». Новые «красные» эту оценку надолго узаконят: «Попытка умышленного извращения исторического Нечаева и нечаевского движения, данного Достоевским в его романе “Бесы”, является самым позорным местом из всего литературного наследия “писателя земли русской” с его выпадами против зарождавшегося в то время в России революционного движения»[42].

Уроки «Бесов», к несчастью для России, не пошли ей впрок.

...Были, впрочем, среди критиков романа и приятные исключения. «Оценка Вашего таланта еще впереди, — писал До-

стоевскому в декабре 1872 года 22-летний Всеволод Соловьев, сын известного историка, будущий писатель. — Вы еще не поняты как следует современным обществом, оно еще не доросло до этого понимания и слушает слова Ваши, широко раскрыв глаза, в недоумении и смущении. Отчего же им трудно понимать Вас?.. Вы зовете его на серьезные мысли, на зрелища, потрясающие нервы, в атмосферу тяжкого страдания, среди которых сияют любовь и прощение, так давно понятые Вами, и *все это* начинает дрожать за свое блаженство, и боится Вас, и открещивается, и говорит, что Ваши слова непонятны. Ведь тяжело сознаться, что всё, о чем Вы пишете, существует, потому что тогда нужно очнуться и действовать; ведь приятно себя успокоить тем, что его не существует, что оно только фантазия писателя...»[43]

Письмо восторженного молодого человека было получено в канун нового, 1873 года, и Достоевский отнесся к нему как к дорогому подарку. Впервые обращенное к нему читательское послание было столь пламенным, впервые ему были адресованы столь волнующие строки. «Вы имеете на мою жизнь огромное влияние... Я вижу в творениях Ваших яркий пламень гения, и преклоняюсь перед Вами. И люблю Вас... Если для Вас могут что-нибудь значить восторг мой и любовь, то позвольте мне прийти к Вам»[44].

В увлечении своем молодой литератор вряд ли осознавал, что почти дословно цитирует пламенный монолог из только что напечатанного романа любимого писателя, где преданный ученик (Шатов) умоляет учителя (Ставрогина) выслушать его. Но и Достоевский, если даже взволнованный голос и напомнил ему что-то знакомое, радикально изменил ответную реплику. Десять лет спустя, в посмертных воспоминаниях о Достоевском, Вс. Соловьев, ставший к тому времени успешным историческим романистом, вспоминал, как первый раз ехал к учителю, как нашел дом, как позвонил в дверь, как в бедной угловой комнатке со старой дешевой мебелью увидел своего кумира. «Достоевский ласково, добродушно улыбаясь, крепко сжал мою руку и тихим, несколько глухим голосом сказал: “Ну, поговорим...”».

Писатель откликался на любовь и поклонение с такой благодарностью, открывал сердце с такой готовностью, стремился приветить молодого друга с таким бескорыстием — и так сильно мог привязаться сам... «Он говорил с таким горячим убеждением, так вдохновенно... После двух часов подобной беседы я часто выходил от него с потрясающими нервами и в лихорадке... Это было что-то мучительное, сладкое опьянение, прием своего рода гашиша».

Вскоре еще одна молодая душа с восторгом и благоговением внимала писателю. Корректор типографии, в которой печатался «Гражданин», 23-летняя Варвара Васильевна Тимофеева, 30 лет спустя вспоминала о своих встречах с редактором журнала как о «редком счастье», выпавшем ей на долю, — в течение целого года видеть и слышать Достоевского, работать вместе с ним за одним столом, при свете одной лампы.

С «Гражданином» молодую журналистку связывала только возможность подработать, ее постоянное место было в «Искре», где она вела бытовую хронику. И выходило так: Варвара вносила правку в «Дневник писателя», а ее родной журнал упражнялся в оскорбительной неприязни и к «Гражданину», и к его редактору. В той «своре прогресса», о которой Майков писал Достоевскому, «Искра» и ее сотрудники бежали впереди всех. Это они называли автора «Бесов» «столпником всероссийского застоя», это в их фельетонах сюжет романа («Оборотни») карикатурно изображался как примитивное и вульгарное чтиво («духовидцы» и «красные» мазурики, фурьеризм и синильная кислота, револьверы и доносы, мохнатые люди и девственницы, развращенные духом).

«Дневник» поначалу был чужд и Тимофеевой. В либеральных кругах Достоевского называли «свихнувшимся», «ненормальным», «мистиком» (по мнению «кругов», это было одно и то же). Близкая девушке молодежная среда увлекалась речами защитников, выступавших на процессе нечаевцев, — на этом фоне роман Достоевского казался «кошмаром мистических экстазов и психопатии». Тот факт, что автор «Бесов» принял редакторство одиозного «Гражданина», окончательно восстановил против него многих прежних почитателей.

Знакомство искровки с Достоевским ничего хорошего ей как будто не сулило. Когда Тимофеева впервые увидела в типографской конторе невысокого господина в меховом пальто и калошах, услышала его тихий, глухой голос, встретила «неподвижный, тяжелый, точно неприязненный взгляд», она потупилась и старалась больше не смотреть на угрюмого человека с землистым изнуренным лицом и бескровными губами... К тому же хозяин типографии, обрусевший немец А. И. Траншель, с брезгливой гримасой бросил вслед Достоевскому: «Этакая гниль!» Что-либо возразить на эту беспардонную грубость Тимофеева не посмела...

В присутствии писателя она поначалу чувствовала гнетущую робость, смущение, не смела шевельнуться и свободно вздохнуть. Частые встречи на почве корректурных правок неминуемо должны были обернуться спорами и взаимным раздражением. Ф. М. требовал, чтобы она как корректор угадыва-

ла его индивидуальную орфографию, Тимофеева возражала и обижалась, а то и пугалась, когда он напоминал ей о «непреложности авторских и редакторских корректур». Порой она бунтовала против его мыслей, его «прорицаний», над которыми зло иронизировали искровцы, против его повелительного тона. «И так было всегда и во всем. Ничего вполовину. Или предайся во всем его Богу, веруй с ним одинаково, йота в йоту, или — враги и чужие! И тогда сейчас уже злобные огоньки в глазах, и ядовитая горечь улыбки, и раздражительный голос, и насмешливые, ледяные слова...» Она страдала от его мрачности и холодного молчания, объясняя себе, что это он ей «знаменитость свою доказывает», но потом бросала взгляд на его худые, бледные руки с узловатыми пальцами, с желобком вокруг кисти, напоминавшим цепи и каторгу, и смягчалась...

Он предъявлял множество претензий — к ее увлечению «либеральной жвачкой» («Возьмитесь-ка лучше за математику, да и прите годика три! Думать по-своему станете»); к намерению стать «психологической писательницей» («Писательниц во всем мире только одна, достойная этого имени... Жорж Санд! Можете ли вы сделаться чем-нибудь вроде Жорж Санд?»); к венской лаковой шляпке и нарядному шелковому зонтику («Откуда вы деньги берете?.. Щеголяете, точно у вас ренты какие!»). Он корил ее за опоздание на работу — в тот раз, когда она с искровцами ходила смотреть встречу персидского шаха («Ну, и как вам не стыдно?.. Разве можно интересоваться такими пошлостями?»). Ей порой казалось, что она общается не с проницательным художником, а со строгим гувернером или духовником-инквизитором...

Но странно: несмотря на «гнет», она все больше дорожила теми вечерами, иногда длившимися до рассвета, когда корректуры номера приходили к концу дня и к утру должны были быть готовы — и тогда Достоевский ставил стол и лампу так, чтобы сидеть друг против друга, посылал в трактир за чаем, и они чаевничали как товарищи. Тимофеевой все труднее было уживаться с искровцами — она не хотела скрывать свое сочувственное увлечение «Дневником писателя» и его автором. Ее настроения в «Искре» были восприняты как измена не только журналу, но и целому направлению: подозрительной оказывалась даже и самая малая причастность к изданию другого лагеря. Когда она, говоря о Достоевском, произносила слово «талант», ее передразнивали и отвечали: «Прямо в белой горячке из сумасшедшего дома».

«Только тут я впервые почувствовала “тиски” направления...»

А Достоевский толковал с ней о Христе и христианстве — так, как давно уже не принято было в либеральных кругах, ибо

напоминало *реакцию* и «Переписку» Гоголя. Знакомые литераторы Варвары Васильевны, восхищаясь «Тайной вечерей» Н. Н. Ге, торжествовали, что все апостолы на картине похожи на современных социалистов, Христос — просто «хороший, добрый человек с экстатическим темпераментом», а Иуда — *agent-provocateur*, получающий по таксе за каждый донос. Когда она пересказывала писателю этот «либеральный вздор», слишком хорошо знакомый ему с молодости, он страстно возражал: «Где же тут восемнадцать веков христианства? Где идея, вдохновлявшая столько народов, столько умов и сердец? Где же мессия, обетованный миру Спаситель, — где же Христос?»

Тимофеева вспоминала: «Голова моя кипела в огне его мыслей. И мысли эти казались мне так понятны, они так проникали меня насквозь, что казалось, они — мои собственные. Было в них что-то и еще мне особенно близкое: эти слова о Христе и Евангелии напомнили мне мою мать — женщину пламенной веры, когда-то так страдавшую за мое “неверие”... и я точно возвращалась теперь из Петербурга *домой*, и этот *дом* мой были *христианские* мысли Ф. М. Достоевского».

Она была убеждена, что ей посчастливилось увидеть его настоящее лицо — лицо гения. «Как бы озаренное властной думой, оживленно-бледное и совсем молодое, с проникновенным взглядом глубоких потемневших глаз, с выразительно-замкнутым очертанием тонких губ, — оно дышало торжеством своей умственной силы, горделивым сознанием своей власти... Это было не доброе и не злое лицо. Оно как-то в одно время и привлекало к себе и отталкивало, запугивало и пленяло... Это было лицо *великого человека*, историческое лицо».

Молодой особе, которая с восторгом и благодарностью приняла его веру и его убеждения, считала себя ученицей, получившей из рук великого учителя духовную свободу, Достоевский говорил ранней весной 1874 года, что больше не хочет писать о «подпольных». «Слишком уж мрачно. Es ist schon ein überwundener Standpunkt (это уже преодоленная точка зрения. — *Л. С.*). Я могу написать теперь более светлое, примиряющее. Я пишу теперь одну вещь...»

Речь шла о романе «Подросток».

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
ПРАВДА КАК ДАР

Глава первая
СТАРАЯ РУССА И БАД-ЭМС

Уход из «Гражданина». — «Не те» бесы. — Визит Некрасова. — Договор и аванс. — Провинциальный курорт. — Дачные сезоны. — Общество на водах. — Тоскливые мысли. — Перелом в лечении. — Избыток плана. — Счастливая зима. — Начало «Подростка»

Двадцать второго апреля 1874 года журнал «Гражданин» (№ 16) вышел с объявлением «От редакции»: «С настоящего нумера Ф. М. Достоевский, по расстроенному здоровью, принужден, не оставляя возможности своего постоянного участия в "Гражданине", сложить с себя обязанности редактора, которые принимает на себя (временно) В. Ф. Пуцыкович».

Причина ухода с поста редактора, указанная в объявлении, была подлинной, но не единственной. Ф. М. стал тяготиться новой должностью, едва приступил к ней. Редактирование еженедельника сковывало по рукам и ногам. «Решительно думается мне иногда, что я сделал большое сумасбродство, взявшись за "Гражданин", — писал он в конце февраля 1873 года. — Например: без жены и без детей я жить не могу. Летом им надо в деревню для здоровья и от Петербурга по возможности подальше. Между тем я должен остаться при "Гражданине". Значит, расстаться с семейством. Совсем невыносимо».

Еще невыносимее оказалась журнальная текучка: письменные объяснения, порой резкие и тягостные, с авторами статей; отбор присланных материалов («перечитывать статьи берет огромное время и расстраивает мое здоровье, ибо чувствую, что отнято время от настоящего занятия»); серьезная редакторская правка, а иногда и переписывание небрежно составленных статей; обязанность читать «рухлядь газет» и поспевать в каж-

дый номер со своим материалом. У него была «бездна тем» — но, взявшись за что-нибудь в понедельник, он видел в четверг, что не может так быстро закончить начатое, хватался за новое и за ночь (в пятницу прекращался прием материалов, в субботу и воскресенье шла основная работа по выпуску) писал в текущий выпуск, ибо обещал Мещерскому. А ведь хотелось сказать то, ради чего он и «примкнул к журналу», но уже видел, как трудно высказаться. «Вот цель и мысль моя: социализм сознательно, и в самом нелепо-бессознательном виде, и мундирно, в виде подлости, — проел почти всё поколение. Факты явные и грозные... Надо бороться, ибо всё заражено. Моя идея в том, что социализм и христианство — антитезы. Это бы и хотелось мне провести в целом ряде статей, а между тем и не принимался».

И самое главное: из-за нехватки времени страдало *свое*. «Роятся в голове и слагаются в сердце образы повестей и романов. Задумываю их, записываю, каждый день прибавляю новые черты к записанному плану и тут же вижу, что всё время мое занято журналом, что писать я уже не могу больше — и прихожу в раскаяние и в отчаяние».

Практика редакторского бытия имела и человеческое измерение. Непросто складывались отношения с сотрудниками типографии — они называли нового редактора *сердитым*; метранпаж М. А. Александров замечал, как тяжело давались Достоевскому срочные графики, изнуряя его нравственно и физически. «Знаменитый романист не мог, конечно, не сознавать, что если будет работать так постоянно, то никогда не будет в состоянии создать крупного произведения, так как на эту мелочь, то есть на эту заказную работу, он разменивал свой колоссальный талант...»[1]

Раздражение и усталость накапливались: *сердитый,* но добросовестный редактор вынужден был сменить квартиру, чтобы быть ближе к типографии и вовремя вычитывать все корректуры. Через три-четыре месяца он понял, что редакторские хлопоты и вечная суета давят на него и что ему долго придется отдыхать после «проклятой должности». «Эту работу ставят ни во что. А что она стоит, сколько берет времени, доводит до одурения и отупения. Решительно, я становлюсь совсем злым». Работа в «Гражданине» становилась кабальной и каторжной, мучила кошмарами, лихорадкой, крайним раздражением нервов...

Осложнились — и, видимо, не могли не осложниться — отношения с В. П. Мещерским. Письма и телеграммы князя с требованием срочно поместить его *нечаянные* статьи, когда номер журнала был уже сверстан, казались Достоевскому, даже и при дружеском тоне издателя, бесцеремонными, обидно на-

ставительными. Эти внезапные присылки отнимали все силы. «Прошлую неделю начал писать статью и должен был бросить из уважения к Мещерскому, чтоб поместить внезапно присланную им статью о смерти Тютчева, — безграмотную до того, что понять нельзя, и с такими промахами, что его на 10 лет осмеяли бы в фельетонах. Сутки, не разгибая шеи, сидел и переправлял, живого места не оставил. Напишу ему прямо, что он ставит меня в невозможное положение».

Тяжелее были идейные разногласия. При всем консерватизме обоих Достоевский знал меру, имел вкус: когда князь в охранительном порыве перешел грань допустимого, Ф. М. проявил твердость. Сетуя на разобщенный, замкнутый образ жизни студенчества, подверженного дурному влиянию, Мещерский предложил устроить специальные дома с дешевыми квартирами для студентов — общежития, дескать, облегчат правительству «труд надзора». Достоевский возмутился и резко возразил: «Семь строк о надзоре, или, как Вы выражаетесь, о *труде* надзора правительства, я выкинул радикально. У меня есть репутация литератора и сверх того — дети. *Губить себя* я не намерен».

Поднадзорный Достоевский не мог подписать в печать статью, предлагавшую ввести профилактический *надзор* над всей студенческой молодежью. Неприемлем был даже сам термин — и Мещерский правку принял, статья вышла без упоминания о надзоре. Для князя (ему тоже не было резона себя *губить*) это была наука: восемнадцатью годами моложе «цельного и полного консерватора» Достоевского, Мещерский счел за лучшее прислушаться к словам писателя. «Новый редактор, человек пожилой и больной, к которому — потому что он Достоевский — я не могу относиться иначе как с величайшей деликатностью»[2], — писал Мещерский М. П. Погодину в январе 1873 года.

«Ваш ответ “С.-Петербургским ведомостям”, — советовал князю Достоевский в другом случае, — очень мило и дельно написан, но резок, заносчив (хочет ссоры) и — может быть, тон не тот. Вместо насмешливого тона не лучше ли спокойный, ясный? Я именно так думаю: больше будет достоинства. А потому и посылаю Вам мой ответ». Мещерский исправлял написанное и получал одобрение: «На Вашу *обделку* ответа я вполне согласен, это очень ловко; всё то же сказано, но несравненно *неотразимее*, чем в виде прямого обвинения (которому никто из читателей и не поверил бы, так что во всяком случае, с нашей стороны, был бы холостой заряд)».

С оговоркой, что не хочет «беспрерывно грызться и противоречить», Достоевский вмешивался и тогда, когда нужно было защитить Мещерского от внешних нападок, когда оппонен-

ты нарочито искажали мысль издателя — то ли по грубости, то ли по тупости: «Согласитесь, любезнейший князь, каково мне помещать такую пасквиль на нас и на журнал наш в *нашем* же журнале».

Принимая должность, Ф. М. полагал, что будет гораздо самостоятельнее, — но часто потом ощущал, что руки связаны, а в иных случаях от него вообще мало что зависит. В октябре 1873-го за передовую статью «О голоде» «Гражданин» получил цензурное предупреждение и был запрещен к розничной продаже; в ноябре его как редактора вызвали в Цензурный комитет и внушали, что о голоде в российских губерниях писать можно, но без тенденциозности и паники.

Редакторское поприще оказалось — буквально! — чревато сумой и тюрьмой. «Редактор газеты "Гражданин" отставной подпоручик Федор Михайлович Достоевский, находящийся на свободе, обвиняемый в том, что 1873 г. января 29-го, в № 5 газеты "Гражданин" поместил статью под заглавием "Киргизские депутаты в С.-Петербурге", в которой напечатаны слова, обращенные государем императором к депутатам, и начало речи одного из них без разрешения министра императорского двора, что составляет преступление, предусмотренное 1024 статьей Уложения о наказаниях»[3].

Автором статьи был издатель, но к суду, состоявшемуся 11 июня 1873 года без участия присяжных, привлекли редактора. Не признав себя виновным, Ф. М. был приговорен к двум суткам ареста с содержанием на гауптвахте и к 25 рублям штрафа. При содействии А. Ф. Кони, прокурора Петербургского окружного суда, арест был произведен в удобное для осужденного время, 21 и 22 марта 1874 года. Мещерский (камергер его величества, который как раз и должен был знать все юридические крючки) написал редактору извинительное письмо и распорядился, чтобы штраф выплатили из кассы «Гражданина». Но гауптвахта дожидалась не князя, а отставного подпоручика. «Я, — вспоминала А. Г. Достоевская, — тотчас отвезла туда небольшой чемодан и постельные принадлежности. Времена были простые, и меня тотчас к мужу пропустили. Федора Михайловича я нашла в добродушном настроении: он стал расспрашивать, не скучают ли по нем детки, просил дать им гостинцев и сказать, что он поехал в Москву за игрушками».

Добродушие Достоевского можно было понять: анекдотической отсидкой заканчивалась, наконец, его редакторская страда. Там, на Сенной, у него было прекрасное чтение — лондонское издание «Les Misérables», без пропусков; книга, которую накануне дала ему почитать Тимофеева. Спустя несколько дней, зайдя в типографию, он рассказывал девушке, что благо-

даря «мизераблям» ему в тюрьме было «превесело»: «Не шутя говорю, — очень было мне там хорошо. Офицер дежурный — преумнеющий. О романе моем “Преступление и наказание” говорил и вообще разговаривал со мной по душе. Навещать меня туда приходили, и кормили даже отлично. А кроме того, еще этот роман. Я читал его с наслаждением».

В дни избавления от кабалы Достоевский признавался Тимофеевой: «Точно камень с души свалился. Свободы хочу. *Свое* писать начал...» Большой роман с героем в образе ростовщика, «который мстит этим обществу», писатель примерял к «Отечественным запискам», а «Дневник писателя» планировал продолжать в виде самостоятельного периодического издания.

Уже лет шесть, как журнал Краевского перешел в руки Некрасова — и вряд ли Ф. М. забыл его давний приговор: «Достоевский вышел весь. Ему не написать ничего больше». Теперь отделом беллетристики «Записок» заведовал М. Е. Салтыков-Щедрин; среди ключевых сотрудников был критик Михайловский, статьи которого о «Бесах» печатались как раз тогда, когда в «Гражданине» шли очерки Достоевского против «старых людей» — Белинского и Герцена... Казалось, между Достоевским и «современниками» пролегла непроходимая пропасть. «Федор Михайлович за время своего редакторства вынес много нравственных страданий, так как лица, не сочувствовавшие направлению “Гражданина” или не любившие самого князя Мещерского, переносили свое недружелюбие, а иногда и ненависть на Достоевского. У него появилась в литературе масса врагов, именно как против редактора такого консервативного органа, как “Гражданин”» (А. Г. Достоевская).

Но времена менялись, и слух о том, что Достоевский слагает с себя звание редактора «Гражданина», взволновал противоположный лагерь. В конце концов и Салтыков, и Михайловский не отказывали Достоевскому в огромности таланта, признавая за ним и громадный запас идей, и прекрасные образы. И Достоевский ведь тоже не упустил написать в «Гражданине» о Михайловском: «Я всею душою убежден, что это один из самых искренних публицистов, какие только могут быть в Петербурге... Смею уверить г-на Н. М., что “лик мира сего” мне самому даже очень не нравится».

А ведь этот «самый искренний публицист» тремя месяцами раньше обратился к Достоевскому со страниц «Отечественных записок» с пламенным упреком: «Россия, этот бесноватый больной, вами изображаемый, перепоясывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками, — и в вашем романе нет ни одной черты из этого мира! Вы сосредоточиваете свое внимание на ничтожной горсти безумцев и негодяев! В ва-

шем романе нет беса национального богатства, беса, самого распространенного и менее всякого другого знающего границы добра и зла. Свиньи, одолеваемые этим бесом, не бросятся, конечно, со скалы в море, нет, они будут похитрее ваших любимых героев. Если бы вы их заметили, они составили бы украшение вашего романа. Вы не за тех бесов ухватились... Рисуйте действительно нераскаянных грешников, рисуйте фанатиков собственной персоны, фанатиков мысли для мысли, свободы для свободы, богатства для богатства»[4].

Достоевский не сомневался, что «ухватился» за *тех самых* бесов, за каких следовало ухватиться. Просто *его* бесы не исключали наличие многих других... Случайно ли он рассказал Тимофеевой, что пишет большой роман про мстителя-ростовщика, и просил ее «как-нибудь узнать» у сотрудников «Отечественных записок», найдется ли для него место в их журнале? Тимофеева вспоминала, как она задала этот вопрос соредактору журнала Г. З. Елисееву (он вел «Внутреннее обозрение») и как тот, узнав, что Ф. М. пишет новый роман, доброжелательно ответил: «Пусть, пусть присылает. Место для него у нас всегда найдется».

Вопрос о *месте* был не праздный. По-прежнему процветал «Русский вестник» с его безотказными авансами и коварной цензурой. Достоевскому, оставшемуся без редакторского жалованья, предстояло (и это после истории с «усекновенной» главой!) снова запродаваться Каткову и просить, как всегда, крупный аванс на год жизни. Ф. М. вынужденно возвращался к «системе всегдашнего долга», которая теперь, после опыта «кабальной должности», манила желанной свободой. Случилось, однако, непредвиденное, внезапное: журнал, редактор и аванс пришли к писателю сами.

«В одно апрельское утро, — вспоминала А. Г. Достоевская, — часов в двенадцать, девушка подала мне визитную карточку, на которой было напечатано: “Николай Алексеевич Некрасов”. Зная, что Федор Михайлович уже оделся и скоро выйдет, я велела просить посетителя в гостиную, а карточку передала мужу. Минут через пять Федор Михайлович, извинившись за промедление, пригласил гостя в свой кабинет». Анна Григорьевна, посвященная в историю отношений мужа с другом юности, ставшим литературным врагом, понимала, что визит «врага» не праздный, и решила проявить непохвальное любопытство — стала за дверью, которая вела из кабинета в столовую, и подслушала разговор. «К большой моей радости, я услышала, что Некрасов приглашает мужа в сотрудники, просит дать для “Отечественных записок” роман на следующий год и предлагает цену по двести пятьдесят рублей с листа, тогда как Федор Михайлович до сих пор получал по ста пятидесяти».

Казалось, лучшего нельзя было и ждать. Достоевский просил две недели, чтобы снестись с «Русским вестником», а также предупредил Некрасова, что под свою работу всегда берет аванс в две-три тысячи. Некрасов охотно и без промедления согласился.

Через несколько дней Ф. М. уже был в Москве — переговоры с Катковым имело смысл провести с глазу на глаз, хотя исход их, кажется, был вполне предвиденным. «Катков был очень любезен и просил отложить ответ до воскресения. Ясно, что хочет посоветоваться с Леонтьевым. Но не думаю, чтоб согласился, хотя я его, по-видимому, и не удивил: сам мне сказал, что Мельников тоже 250 руб. просит. Боюсь, что на 250 согласятся, а на выдачу вперед не решатся. (Может денег не быть.)».

Так и случилось: Катков, подумав, согласился поднять гонорар до 250 рублей за лист (столько же просил сверхпопулярный тогда Мельников-Печерский за очерки «В лесах»), но отказался выдать аванс — страницы журнала были забронированы другим романом на год вперед.

Пройдет несколько месяцев, и Достоевский с горечью напишет жене: «Не очень-то нас ценят, Аня. Вчера прочел в “Гражданине”... что Лев Толстой продал свой роман в “Русский вестник”, в 40 листов, и он пойдет с января, — по *пятисот* рублей с листа, то есть за *20 000.* Мне 250 р. не могли сразу решиться дать, а Л. Толстому 500 заплатили с готовностью! Нет, уж слишком меня низко ценят, а оттого, что работой живу. Теперь Некрасов вполне может меня стеснить, если будет что-нибудь против их направления: он знает, что в “Русском вестнике” теперь (то есть на будущий год) меня не возьмут, так как “Русский вестник” завален романами. Но хоть бы нам этот год пришлось милостыню просить, я не уступлю в направлении ни строчки!»

Ему было обидно, как и всегда прежде: с теми, кто независим и обеспечен, считаются куда больше, чем с такими пролетариями, как он; изменить подлую издательскую логику было выше человеческих сил.

В конце апреля Ф. М. дал окончательное согласие Некрасову и получил обещанный аванс. И тут же пришло письмо из Москвы: «Русский вестник» одумался и соглашался на выдвинутые условия. «Вы могли бы теперь уже получить часть денег. Романом же торопить Вас мы не стали, чтобы приступить к печати не раньше, как значительная часть его была бы написана»[5].

Это было некоторое утешение: Катков не хотел терять постоянного автора, а Достоевский мог с чистой совестью ему отказать — дескать, аванс получен в другом месте, так что вы, Михаил Никифорович, опоздали и свет клином на вас не сошелся.

Только теперь можно было подумать о здоровье. Необходимость выезжать из дома во всякую погоду, многими часами сидеть в натопленном и душном корректорском закутке сделала свое дело: Ф. М. часто простужался, обострился кашель, усилилась одышка. Лечение сжатым воздухом по совету профессора Д. И. Кошлакова в лечебнице доктора Симонова, где нужно было сидеть под аппаратом по два часа три раза в неделю, принесло неплохие результаты, но продолжить курс лечения ему все же советовали на водах в Германии.

Семья уже третье лето проводила в Старой Руссе. С 1830-х годов курортный городок Новгородской губернии был известен минеральными источниками; говорили, что солоник исцеляет краснуху, ломку костей, подагру, застарелые ревматизмы, а соляные пары лечат разные кожные хворобы. «Выбор этого курорта, как нашего летнего местопребывания, был сделан по совету профессора М. И. Владиславлева, мужа родной племянницы Федора Михайловича, Марии Михайловны. И муж, и жена уверяли, что в Руссе жизнь тихая и дешевая и что их дети за прошлое лето, благодаря соленым ваннам, очень поправились».

«Ужасно надо переменить воздух, хоть на три месяца, особенно для детей», — писал Достоевский в мае 1872-го Владиславлеву.

Выбирая между маленьким домиком с соломенной крышей, садом и лугом в Моногарово (его готов был сдать на лето новый хозяин имения Костюрин, сосед сестры Веры), и дачей в Старой Руссе, писатель предпочел дачу в курортном городке. «Владиславлевы хвалят место, хвалят воды, дешевизну и комфорт, — писал Ф. М. сестре. — Правда, место озерное и сыренькое, это известно, но что делать. Воды действуют против золотухи и полезны будут Любе... Очень много удобств — дешевизна, скорость и простота переезда и, наконец, дом с мебелью, с кухонной даже посудой, воксал с газетами и журналами и проч. и проч.».

Скорость и простота переезда были все же весьма относительны: из Петербурга по железной дороге четыре часа до станции Соснинка, оттуда пароходом до Новгорода по Волхову, затем пароходом до Старой Руссы по Ильменю и реке Полисти — почти сутки в дороге. Обратная дорога тоже на перекладных: извозчиком до Ильменя, оттуда пароходом до Новгорода, затем по узкоколейке до станции Чудово, где была пересадка на поезд до Петербурга.

Первое лето сложилось неважно, несмотря на душевную приветливость хозяев дачи, отца Иоанна Румянцева и его супруги, навсегда ставших добрыми друзьями. Анне Григорьевне

почти сразу пришлось возвращаться с больной Любочкой в Петербург, Ф. М. оставался на даче с маленьким Федей и его няней. Было холодно и ненастно. «Жизни детишки требуют, солнца, расти хотят, а тут и солнца-то нет: Лиля (домашнее имя Любы Достоевской. — *Л. С.*) в душной скорлупе города, а мы здесь в куче грязи. Вот уже четвертый день отвратительная погода. Вчера же и сегодня такой дождь, такой дождь — что я и в Петербурге никогда не видывал. И не перестает до сих пор. Всё размокло и разбухло, всё раскисло. На дворе грязь, какую и вообразить нельзя, и, наверно, завтра еще будет так продолжаться... Я и вчера и сегодня топлю... Нет ничего несноснее зелени и деревянных домов во время дождя и при таком ужасном небе».

Первое старорусское лето ушибло беспорядком и неуютом — когда так хотелось хоть месяца спокойствия, «чтоб не заботиться сердцем и всецело быть у работы». «Что за цыганская жизнь, мучительная, самая угрюмая, без малейшей радости, и только мучайся, только мучайся!» Как-то не радовал и курорт, который так хвалили Владиславлевы. «Был в воксале, был в конторе вод и вывел заключение, что ничего нет здесь труднее, как получить какое-нибудь сведение. Всё сам отыскивай. Гуляющей публики в саду не так чтобы очень много. Но есть порядочно приезжих офицеров. Много золотушных детей. Впрочем, продолжают приезжать, ходят по городу и ищут квартир... Публика здесь очевидно ужасно церемонная, тонная, всё старающаяся смахивать на гран-монд, с сквернейшим французским языком. Дамы все стараются блистать костюмами, хотя всё, должно быть, дрянь страшная. Сегодня в саду открытие театра, идет комедия Островского, цены высоки, но хотел было пойти для знакомства. Кофейных, кондитерских мало ужасно. Ужасный мизер эти воды, и парк мне решительно не нравится. Да и вся эта Старая Русса ужасная дрянь».

Однако следующим летом Анна Григорьевна, по совету докторов, снова отправилась с детьми на старорусский курорт, чтобы закрепить лечение солеными ваннами, столь полезными для детей. Поселились на этот раз не у отца Румянцева, дом которого был уже сдан, а на окраине города, на берегу реки Перерытицы (в одном из писем жене Ф. М. напишет в адресе: «на реке Переростице»), в верхнем этаже двухэтажного деревянного дома, принадлежавшего отставному полковнику А. К. Гриббе: хорошие комнаты, удобный угловой кабинет в отдалении от детской, просторная веранда, большой двор, сад, огород, банька... Всего четыре раза смог тогда приехать к семье Ф. М., занятый работой в журнале; из Петербурга Старая Русса казалась островом тишины и покоя.

Лето 1874-го тоже вышло хлопотное: в мае пришлось курсировать между Петербургом и Старой Руссой — добывать заграничный паспорт, чтобы ехать в Германию. Для лечения эмфиземы легких, обнаруженной у Ф. М., старорусский курорт не годился; диагноз требовал европейских здравниц с теплым мягким климатом, кристально чистым воздухом и специальной водой для питья и ванн. Эмс, или Бад-Эмс, куда советовал ехать профессор Кошлаков и куда направил берлинский доктор Фрёрих, когда к нему на консультацию приехал Ф. М., был дорогим курортом с термальными и минеральными водами, где поправляли здоровье коронованные особы, европейская знать, люди искусства. Курортной Меккой Европы называли Эмс путеводители середины XIX века. Каждое лето проводил здесь германский император Вильгельм I — на втором году его правления (1872), к счастью для Ф. М., специальным указом были закрыты в Эмсе все казино.

Живая вода три раза в день перед едой — таков был простой рецепт прославленного курорта: целебные свойства прозрачной, мягкой на вкус воды действовали на больные органы волшебным образом; прогулки с кружкой в руках и неспешная беседа со спутником или спутницей считались непременной частью лечения. Курортный справочник тактично советовал не слишком состоятельным пациентам осмотрительно выбирать время приезда: «Лечебный сезон продолжается от 1 мая до 1 октября нового стиля. Желающим избегать светского шума и соблюдать экономию надо прибыть в Эмс не позже середины июня или же с половины августа, так как в середине лечебного сезона жизнь отличается иногда необыкновенною дороговизною и может встретиться недостаток в квартирах»[6].

Достоевский прибыл в Эмс ровно к середине сезона, столкнувшись и с дороговизной, и с нечестными счетами за квартиру, и даже с императором Вильгельмом однажды вечером на гулянье (немцы и немки встречали кайзера стоя и кланялись), и с несносными соседями по отелю, и с тем, как нервно реагировали больные легкие на знаменитую воду кессельбрунен и не менее знаменитую кренхен: первые две недели в груди хрипело, давило, булькало; участились припадки, накатывала лихорадка, ночью прошибал пот, так что малейший ветерок, внезапно подувший из-за угла, мог обернуться злой простудой.

Ему было неспокойно и тоскливо, и всё вокруг представало в дурном свете. Берлинское светило профессор Фрёрих проживал чуть ли не во дворце, а больных держал минуты по две, много по три — с Ф. М. вообще не стал говорить, едва прикоснулся стетоскопом, произнес слово «Эмс» и на бумажке написал адрес врача. Вино, включенное в диету эмсским доктором

Ортом, оказалось мерзкой кислятиной. Курортные магазины пришибали непомерными ценами. Везде была страшная давка — «публика со всего мира, костюмы и блеск»; «весь сброд» пьющих воду с пузырьками возмутительно толкался локтями у источника; кисло-соленая жидкость отдавала тухлым яйцом.

И все же нельзя было остаться совсем равнодушным к здешней красоте. «Всё, что представить можно обольстительного, нежного, фантастического в пейзаже, самом очаровательном в мире; холмы, горы, замки, города, как Марбург, Лимбург с прелестными башнями в изумительном сочетании гор и долин — ничего еще я не видал в этом роде, и так мы ехали до самого Эмса в жаркое, сияющее от солнца утро... Эмс — это городок в глубоком ущелье высоких холмов — этак сажень по двести и более высоты, поросших лесом. К скалам (самым живописным в мире) прислонен городок, состоящий по-настоящему из двух только набережных реки (неширокой), а шире негде и строиться, ибо давят горы. Есть променады и сады — и всё прелестно. Местоположением я очарован...»

Впрочем, Ф. М. так быстро привык к тесному ущелью между двумя цепями гор, к пространству, которое узнается все до последнего кустика в одну прогулку, что уже ничему не радовался. Почти все встреченные русские искали знакомства, но наводили такую тоску, что он решил избегать всякого общества — однако спрятаться было некуда, и вот уже его настигла некая директриса института из Новочеркасска, «дура, каких свет не производил; космополитка и атеистка, обожает царя, но презирает отечество».

Соотечественники вызывали жгучую неприязнь, почти гнев: «Сюда приезжает по понедельникам висбаденский поп Тачалов, заносчивая скотина, но я его осадил, и он тотчас пропал. Интриган и мерзавец. Сейчас и Христа, и всё продаст. Ерник дрезденский поп кричит всем, что он пражскую церковь построил, а Тачалов хочет выказаться, что это он обращает старокатоликов. И ведь удастся каналье, уверит, тогда как глуп как бревно и срамит нашу церковь своим невежеством перед иностранцами. Но в невежестве все они один другому не уступят». Вообще русские, «толкающиеся за границей», производили на Ф. М., при его раздражении, впечатление отвратное. «Бессодержательность, пустота, праздность и самодовольство во всех возможных отношениях. Не глядел бы на них, но здесь и гулять негде: или толкись на пространстве, весьма тесном для такой публики, или уходи в горы, но дальше, потому что ближайшие тропинки все полны».

Правда, оказался здесь поэт К. К. Случевский — с ним Ф. М. охотно возобновил знакомство; и еще «прекрасный и

препростодушный» А. А. Штакеншнейдер (брат Елены Андреевны) с юной женой, и еще компания милейшей княжны Шаликовой, болезненного вида старой девицы, впрочем, наивной, веселой, «хорошего тона в высшем смысле слова» — и, кажется, в письмах жене Ф. М. сильно старил милых спутниц княжны, которые «когда-то» были весьма хороши собой... А ревнивой своей Анечке писал предлинные письма, с подробными отчетами о лечении; признавался, как сильно скучает по ней и детям, как любит их и как желанна ему она. «Ты говорила, что я, пожалуй, пущусь за другими женщинами здесь за границей. Друг мой, я на опыте теперь изведал, что и вообразить не могу другой, кроме тебя... Слишком привык к тебе и слишком стал семьянином. Старое всё прошло».

От тоски по семье и вынужденного сидения «у кренхена» Ф. М. злился по всякому поводу. Курортная публика, «рожи с вывертом», нахлынувшие после отъезда кайзера, стали еще противнее, и он с каким-то мстительным удовольствием писал об Эмсе: «Свинское, подлое место, подлее которого нет на свете!.. Я возненавидел здесь каждый дом, каждый куст. Вид публики для меня несносен. Я до того стал раздражителен, что (особенно рано утром) на каждого в этой беспорядочной толпе, которая теснится у кренхена, смотрю как на личного врага моего и, может быть, рад был бы ссоре. Говорят, это тоже действие вод...»

Угнетала необходимость ради двух стаканов кессельбрунена или трех стаканов кренхена с молоком вставать в шесть утра и ложиться в десять вечера. «Когда же писать роман — днем, при этаком блеске и солнце, когда манит гулять и шумят улицы? Дай Бог только начать роман и наметать хоть что-нибудь. Начать — это уже половина дела». С писанием романа здесь, на водах, ничего не получалось; к тому же со всех сторон ему говорили, что малейшее умственное напряжение приносит вред больному организму и только раздражает нервы.

Однако следовать совету курортных завсегдатаев — жить растительной жизнью — тоже не получалось: Ф. М. настойчиво пытался работать, мучился над планом, который никак не давался («Обилие плана — вот главный недостаток. Когда рассмотрел его в целом, то вижу, что в нем соединились 4 романа»). Во время припадков работу оставлял на несколько дней — противно было даже читать, не то что писать. Его посещала грустная мысль — не отбила ли падучая воображение до полной неспособности писать? «А что, если я слабее стал для работы, то есть слабее материально, так что и работал бы, да голова долго уж выносить не может, как прежде бывало?» Он боялся, что загнал себя, израсходовал жизненные ресурсы, пе-

ренапряг память, исчерпал писательскую фантазию. «Знаешь ли, о чем думаю, — писал он жене, — хватит ли сил и здоровья для таких каторжных занятий, какие я задавал себе до сих пор? А что вышло: романы оканчивал, а здоровье все-таки, *в целом*, расстроил. Если здоровье будет такое же, как в первую половину прошлой зимы, то будет не совсем хорошо для работы».

Перелом в лечении произошел спустя месяц — кашель уменьшился, не ныло по ночам в груди, стало легче дышать, не ударяла кровь в голову; сама по себе, без лекарств, исчезла лихорадка, ослабла одышка, прибавилось сил; для закрепления успеха доктор продлил курс еще на две недели. Однако скрип в груди не проходил, и Ф. М. понимал, что не вылечился, а только слегка поправился. Собственно, справочник так и писал: «В случаях, если одышка обусловлена расширением легочных пузырьков (эмфизема), эмские воды доставляют только временное облегчение постоянно существующих при этом катаральных явлений»[7].

Помимо кашля и хрипов не давала покоя ежедневная мучительная мысль: на какие средства они будут жить осенью, когда начнется тяжелое время? Аванс ушел на уплату срочных долгов и на злосчастный Эмс; просить у Некрасова вперед, не написав ни строчки, — «не-воз-можно; да и наверно *не даст*. Это не Катков...». Хотелось написать для «Отечественных записок» «что-нибудь из ряду вон», но одна идея, что журнал Некрасова и Салтыкова не решится напечатать иных его мнений, сковывала воображение, «отнимала руки», и он чувствовал, что опять начинается жизнь на авось и как Бог пошлет. «И что всего хуже — всё еще есть долги, ничего и скопить нельзя. Хоть бы на три годика хватило моего здоровья, авось бы как и поправились».

Но несмотря на свои тяжкие переживания, вернувшись в первых числах августа из Эмса в Старую Руссу, Достоевский привез два плана романа, с которыми можно было начинать работу. Обилие идей, образов, богатство замысла, всегдашняя избыточность фантазии радикально расходились с мнительной и панически навязчивой мыслью об истощении таланта.

Осень, вопреки тягостным ожиданиям, оказалась спокойной, а главное, обеспеченной: пришли деньги за проданные экземпляры «Идиота» и «Бесов», а также скромная сумма, причитавшаяся Ф. М. от проданного тульского имения покойной тетушки Куманиной. 30 августа Достоевский записал в расходной тетради: «725 у А. Г., 100 у меня». С таким капиталом можно было браться за работу, не думая о куске хлеба, благо Анне Григорьевне пришла счастливая мысль остаться зимовать в Старой Руссе, переехав с летней дачи в просторную теплую

квартиру. Размеренная жизнь в кругу семьи, работа и отдых по расписанию, эффект эмсского лечения и возобновившиеся диктовки сделали свое дело. 20 октября Ф. М. писал Некрасову, что постарается успеть для январской книжки: «*Во всяком случае* уведомлю Вас заранее, еще в ноябре, в конце, о ходе дела. Работу же пришлю (или привезу) ни в каком случае не позже 10-го декабря». С ноября началось писание связного текста, и к обещанному сроку фрагмент романа был отослан в Петербург.

Двадцать второго января 1875 года «Отечественные записки» (№ 1) вышли с первыми пятью главами «Подростка». Редакция не тронула в авторском тексте ни слова, но в том же номере напечатала статью Михайловского — нечто вроде редакционной оговорки: «Я уже говорил однажды, именно по поводу “Бесов”, о странной и прискорбной мании г. Достоевского делать из преступных деяний молодых людей, немедленно после их раскрытия, исследования и наказания, тему для своих романов. Повторять все это тяжело и не нужно. Скажу только, что редакция “Отечественных записок” в общем разделяет мой взгляд на манию г. Достоевского. И тем не менее “Подросток” печатается в “Отечественных записках”. Почему? Во-первых, потому, что г. Достоевский есть один из наших талантливейших беллетристов, во-вторых, потому, что сцена у Дергачева со всеми ее подробностями имеет чисто эпизодический характер. Будь роман на этом именно мотиве построен, “Отечественные записки” принуждены были бы отказаться от чести видеть на своих страницах произведение г. Достоевского, даже если б он был гениальный писатель»[8].

Автору публикуемого романа надлежало осознать обидную разницу между званием «гениального писателя» и чином «талантливейшего беллетриста».

Глава вторая

«ХОТЕТЬ БЫТЬ РОТШИЛЬДОМ»

Формула романа. — Идея разложения. — Отец и сын. — Царь иудейский. — «Я — не литератор». — Вся правда. — Освобождение от химер. — Ожесточение критики. — На разных языках. — Эмс-1875. — Рождение Алеши. — Лик мира сего

«Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего *одним* или *несколькими* сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. *В этом дело поэта*. Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. *Тут дело уже*

художника, хотя художник и поэт помогают друг другу и в этом и в другом — в обоих случаях».

Достоевский, напомню, почувствовал эту разницу — между *делом поэта* и *делом художника* — в самом начале своего писательского поприща. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что импульсом к каждому его сочинению всегда служило сильное впечатление, способное пробить сердце. В черновиках к «Подростку» (1874, май—июнь) проверенное собственным опытом художественное наблюдение Достоевского обрело значение формулы.

Что двигало его воображением? Какое сильное впечатление заставило пуститься в приключение с незаконнорожденным героем-подростком, носящим двусмысленную — некняжескую и недворянскую — фамилию Долгорукий; с дворянином древнего рода Версиловым, отцом подростка; с его матерью, бывшей крепостной барина Версилова и законной женой крестьянина-странника Макара Долгорукого?

Достоевский объяснит это сам, в первом выпуске «Дневника писателя» (1876), который появится сразу после выхода романа.

«Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для “Отечественных записок”, я чуть было не начал тогда моих “Отцов и детей”, но удержался, и слава Богу: я был не готов. А пока я написал лишь “Подростка” — эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни. Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и “случайность” свою и тою широкостью, с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем, любуется им еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих, — всё это оставленное единственно на свои силы и на свое разумение, да еще, правда, на Бога. Всё это выкидыши общества, “случайные” члены “случайных” семей».

Достоевский писал роман об осколочном мире, утратившем целостность и гармонию. «Во всем идея разложения, ибо все *врозь* и никаких не остается связей не только в русском семействе, но даже просто между людьми. Даже дети врозь... Столпотворение вавилонское... Ну вот мы, русская семья. Мы говорим на разных языках и совсем не понимаем друг друга. Общество химически разлагается... Народ тоже... *Разложение* — главная видимая мысль романа».

Черновая запись, появившаяся на начальных стадиях работы, определяла программу, то есть была *делом поэта*.

Это была печальная констатация. После более чем десяти лет реформ, проводимых Царем-освободителем, в обществе не чувствовалось ни подъема, ни энтузиазма, ни даже надежд. «Век без идеалов»; «потеря цели и руководящей нити», «все переворотилось и только укладывается» — так ощущали 1870-е годы многие современники Достоевского независимо от их идеологической принадлежности. С первых шагов работы над «Подростком» Ф. М. записывал: «Нет у нас в России ни одной руководящей идеи. Пример: роль дворянства, принцип потерян, отвлеченная идея на воздусях. На кончике иголки, не удержится».

Мысль об утрате и отсутствии какой бы то ни было общей идеи и руководящей нити стала центральной. «Вся идея романа — это провести, что теперь беспорядок всеобщий, беспорядок везде и всюду, в обществе, в делах его, в руководящих идеях (которых по тому самому нет), в убеждениях (которых потому же нет), в разложении семейного начала. Если есть убеждения страстные — то только разрушительные (социализм). Нравственных идей не имеется, вдруг ни одной не осталось».

Уже на продвинутых стадиях работы, в конце августа 1874 года, название романа определялось как «Беспорядок», а главный его герой — как подросток, «нажравшийся, натрескавшийся нигилятины».

Разложение общества и торжество нигилизма, два симптома одной болезни, давали крайне опасные осложнения — рост убийств и самоубийств. «Гражданин» в 1873 году писал об эпидемии преступлений (в том числе — детоубийств и отцеубийств), происходивших в народной среде, — больна уже была сама «почва». Журнал устами князя Мещерского призывал к спасению юношества от самоубийств: «Надо, чтобы с юношеством заговорили отцы, матери, учителя, наставники духовные, надо, чтоб заговорила литература... но она только повествует о самоубийствах, а о духовной стороне этого ужасного явления она молчит, упорно молчит». 26-летний персонаж «Подростка», обрусевший немец Крафт, застреливается, придя к прискорбному выводу о русских как о породе людей второстепенных, никчемных, подсобных; этаком навозе, удобряющем человечество, материале для более благородных племен; русские не могут иметь своей самостоятельной роли в судьбах других народов. «Всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализована, так сказать, у всех должны опуститься руки...»

Аркадий Долгорукий — юноша из случайного семейства, выросший вдали от родителей, не имеющий на кого опереться

и на что положиться. «Ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе, этого жаждет он, ищет чутьем, и в этом цель романа», — записывал Достоевский в августе 1874 года; девятнадцатилетний молодой человек, еще не созревший нравственно и не знающий, за какую соломинку ухватиться, получает звание *подростка*.

Замысел Достоевского получил окончательное оформление, когда в отцы герою-подростку был назначен «настоящий хищный тип» — ставрогинец, с его могучим обаянием, страстностью, греховностью, широкостью, прихотливыми колебаниями в сторону добра и зла, живучестью и неисправимостью. Однако в центр повествования ставился не он, герой-солнце (порядком постаревший, потускневший, проживший три состояния, изгнанный из «света»), а его сын: именно подростку предоставлялось право говорить от своего «Я».

Чем мог заинтересовать полудикий подросток, воспитанный «у теток», такого отца, как 45-летний разорившийся аристократ Андрей Петрович Версилов, с его праздностью, утонченностью, трагическими скитаниями по Европе, способностью «всемирного боления», оторвавшийся не только от родной почвы, но и от сына, которого в жизни видел один миг?

То был замечательно придуманный дуэт: духовный наследник Чаадаева, Герцена, Печерина, блестящий интеллектуал Версилов — и его побочный сын, мальчик, одержимый тайной мечтой, зачарованный бросившим его отцом. На первых страницах своей исповеди подросток признавался: «Этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою всё мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенною загадкой».

И вот высокомерный, небрежный ко всем своим детям Версилов вдруг вызывает к себе сына, отставного гимназиста, которого, родив и бросив в люди, не знал вовсе, — и сын, все детство промечтавший об отце («он наполнял собою все мое будущее, все расчеты мои на жизнь»), решается ехать, ибо, во-первых, одержим подпольной идеей, способной вознести даже червя на вершины мира; и, во-вторых, обладает таинственным документом — символом власти над недосягаемым для сыновней любви отцом. Так причудливо завязывается «роман воспитания», каким его видел Достоевский.

«Моя идея — это стать Ротшильдом, стать так же богатым, как Ротшильд; не просто богатым, а именно как Ротшильд... Достижение моей цели обеспечено математически. Дело очень простое, вся тайна в двух словах: *упорство* и *непрерывность*».

С такой «поэтической» мечтой приезжает Аркадий к отцу, надеясь методичным и кропотливым накоплением достичь свободы и могущества. Его утешает кажущаяся бесхитростность затеи — не нужно ни гения, ни ума, ни образования, а «в результате все-таки — первый человек, царь всем и каждому и может *отмстить* всем обидчикам». Для исполнения мечты нужна только система — «копление, сила воли, характер, уединение и тайна».

В мире Достоевского, где так много страдания и смерти, деньги играют роль громадную — в том смысле, что их катастрофически не хватает для жизни таким беднякам, как Макар Девушкин, семейство Ихменевых, Мармеладовых, Раскольниковых. Бедные люди Достоевского мечтают о наследстве, о выигрыше (как целое десятилетие мечтал выиграть и сам писатель, безумствуя и сгорая у рулеточных столов Европы), о богатых невестах или женихах. Но страдают и гибнут они вовсе не за металл. Раскольников на произвол судьбы бросает выкраденные у ростовщицы закладные камушки, которыми прежде надеялся осчастливить человечество. Богач Свидригайлов стреляется по причинам, не имеющим к деньгам никакого отношения, как не из-за денег стреляется и бедняк Кириллов, как не из-за них вешается и «аристократ, пошедший в демократию» Ставрогин. Не из-за денег Верховенский и компания убивают Шатова, а Рогожин — Настасью Филипповну. Что до репутация Гани Иволгина, который «доползет на Васильевский за три целковых», она поистине отвратительна.

В мире романа «Идиот» Ганя, вознамерившись за хороший куш взять в жены бывшую содержанку Тоцкого, зовется подлецом, бубновым валетом; Аглая презрительно пишет ему: «Я в торги не вступаю». Но даже он видит в накоплении не цифру, но Большую Идею. «Я, князь, — говорит он Мышкину, — не по расчету в этот мрак иду... по расчету я бы ошибся наверно, потому и головой, и характером еще не крепок. Я по страсти, по влечению иду, потому что у меня цель капитальная есть. Вы вот думаете, что я семьдесят пять тысяч получу и сейчас же карету куплю. Нет-с, я тогда третьегодний старый сюртук донашивать стану и все мои клубные знакомства брошу. У нас мало выдерживающих людей, хоть и всё ростовщики, а я хочу выдержать. Тут, главное, довести до конца — вся задача!.. Я... прямо с капитала начну; чрез пятнадцать лет скажут: “вот Иволгин, король Иудейский”... Я денег хочу. Нажив деньги, знайте, — я буду человек в высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают. И будут давать до скончания мира». Быть может, такой персонаж, как Фердыщенко, и готов голыми руками тащить

чужие деньги из огня, но человек идеи (даже идеи денег!) этого никогда не сделает, как не сделал этого и Ганя Иволгин: скрестив руки на груди, он с безумной улыбкой смотрел на огонь, не в силах отвести взгляда от тлеющей пачки, и не сдвинулся с места. А когда упал в обморок, все увидели, что самолюбия в нем больше, чем жажды денег...

Воображать себя чуть не с самого детства на первом месте во всех оборотах жизни, жаждать тайного могущества — стало предметом самой «яростной» мечтательности героя-подростка. Он представлял, как весело жить с сознанием, что ты первейший богач; он рисовал себе заманчивые картины про то, как сами полезут к миллионщику и аристократы, и красавицы («они набегут как вода, предлагая всё, что может предложить женщина»), и умники, которых привлечет любопытство к гордому, закрытому и ко всему равнодушному существу. «В том-то и "идея" моя, в том-то и сила ее, что деньги — это единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество. Я, может быть, и не ничтожество, но я, например, знаю, по зеркалу, что моя наружность мне вредит, потому что лицо мое ординарно. Но будь я богат, как Ротшильд, — кто будет справляться с лицом моим и не тысячи ли женщин, только свистни, налетят ко мне с своими красотами? Я даже уверен, что они сами, совершенно искренно, станут считать меня под конец красавцем. Я, может быть, и умен. Но будь я семи пядей во лбу, непременно тут же найдется в обществе человек в восемь пядей во лбу — и я погиб. Между тем, будь я Ротшильдом, разве этот умник в восемь пядей будет что-нибудь подле меня значить? Да ему и говорить не дадут подле меня! Я, может быть, остроумен; но вот подле меня Талейран, Пирон — и я затемнен, а чуть я Ротшильд — где Пирон, да может быть, где и Талейран? Деньги, конечно, есть деспотическое могущество, но в то же время и высочайшее равенство, и в этом вся главная их сила. Деньги сравнивают все неравенства».

Имея 100 миллионов, ходить пешком по мокрым холодным улицам в старом пальто и с дырявым зонтиком, есть черствый хлеб и постылый суп с говядиной, никогда ни одного дивана не обить бархатом, — в этом и был азарт тайного могущества, *уединенного и спокойного сознания своей силы*. Такое сознание обаятельно и прекрасно, ибо дает полную, абсолютную свободу. «Скажут, глупо так жить: зачем не иметь отеля, открытого дома, не собирать общества, не иметь влияния, не жениться? Но чем же станет тогда Ротшильд? Он станет как все. Вся прелесть "идеи" исчезнет, вся нравственная сила ее. Я еще в детстве выучил наизусть монолог Скупого рыцаря у Пушкина; выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил!»

Однако идея *хотеть быть богатым* носилась в воздухе и вообще-то была стара как мир: только по невежеству и неопытности Аркадию могло показаться, что он оригинален. Идеей века были одержимы люди высокого полета, не чета подростку Долгорукому. Достоевский, повторим, хорошо знал финансовую историю Герцена, который «с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность», после того как барон Джеймс Ротшильд, всесильный «царь иудейский», оплатил билеты московской сохранной казны, а потом, взяв 4 процента комиссионных, выиграл процесс у русского правительства, «по причинам политическим и секретным» наложившего запрет на счета эмигранта. «С тех пор мы были с Ротшильдом в наилучших отношениях; он любил во мне поле сражения, на котором он побил Николая, я был для него нечто вроде Маренго или Аустерлица», — писал Герцен в «Былом и думах»[9].

Как же заманчиво было подростку мечтать стать Ротшильдом и как сладко было ему думать, будто богатство и могущество уже достигнуты! Картины неслыханно дерзких распоряжений обретенной властью захватывали дух: «Знайте, что мне именно нужна моя порочная воля вся, — единственно чтоб доказать *самому себе*, что я в силах от нее отказаться».

Впрочем, о своей «порочной воле» и будущей готовности отдать весь воображаемый капитал рассуждал всего лишь нищий мальчик, не испытавший искусительной силы больших и очень больших денег.

Записки, которые пишет Аркадий, рассказывая, как головокружительный вихрь событий, связанных с Версиловым, матерью, сестрой и всем остальным миром, сначала оттеснил, а потом и раздавил подпольную мечту, был прямо связан с взрослением, мужанием рассказчика, с его освобождением от химеры богатства и власти. Он начинает писать спустя год после событий, длившихся четыре месяца. Время писания не имеет точных границ, но имеет отчетливую протяженность — и можно видеть, что духовный рост Аркадия происходит не в те четыре месяца, когда он, как угорелый, метался по Петербургу из одного дома в другой, а в то «постсюжетное» время, когда он в своих записках пытался осмыслить происшедшее.

Записывание, как он сам признается, стало следствием внутренней потребности — осознать случившееся, дать себе полный отчет. Он приступает к делу, рассчитывая на строгую протокольность записей, чуждую сочинительству. «Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное — от литературных красот... Я — не литератор, литератором быть не хочу и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок

почел бы неприличием и подлостью». Поначалу к литературному труду он испытывает чуть ли не гадливость, репутация писательского дела кажется почти непристойной — «до того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя».

Однако по мере работы и как-то незаметно для себя Аркадий избавляется от стойкого отвращения к процессу писания. Обращаясь к воображаемому читателю, он делится с ним своими трудностями, сомнениями, опасениями. «Может, я очень худо сделал, что сел писать: внутри безмерно больше остается, чем то, что выходит в словах. Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при вас, — всегда глубже, а на словах — смешнее и бесчестнее. Версилов мне сказал, что совсем обратное тому бывает только у скверных людей. Те только лгут, им легко; а я стараюсь писать всю правду: это ужасно трудно!»

В самый разгар работы Аркадий вдруг начинает понимать, что, как ни соблазнительно выводить на чистую воду «других», «вся правда» — увидеть в чистой воде себя. Школа «припоминания и записывания» не проходит даром: основные законы творческого труда усваиваются молодым автором в рабочем порядке. «Я описываю и хочу описать других, а не себя, а если всё сам подвертываюсь, то это — только грустная ошибка, потому что никак нельзя миновать, как бы я ни желал того».

Логика «записок» неминуемо вела к исповеди, желание «всей правды» делало эту исповедь честной и искренней, очистительная сила откровенного слова была во благо исповедующемуся, и Аркадий считает своей обязанностью «поминутно втискивать в самую середину записок» уведомление о том, что он «переменился теперь радикально» и «стал совсем другим человеком».

Эти перемены становятся еще более ощутимыми к концу «записок». Окрепло его перо, заботы о форме изложения, о стиле и слоге (то есть о так называемых литературных красотах) уже не кажутся ему прихотью или блажью — особенности своей писательской манеры он обсуждает вслух, давая читателю все необходимые разъяснения, законченную рукопись воспринимает глазами художника, сознавая, что «внутренность души» его может быть интересна и другим людям.

Поэтому мысль о «литературном рынке» — то есть о читающей публике — перестает казаться ему неприличием и подлостью, напротив: желание, чтобы его литературный труд увидел свет, становится естественным и закономерным. И Аркадий сам продвигает «записки» к читателю. «Не то чтобы я так нуждался в чьем-нибудь совете; но мне просто и неудержимо захотелось услышать мнение этого совершенно постороннего

и даже несколько холодного эгоиста, но бесспорно умного человека. Я послал ему всю мою рукопись, прося секрета, потому что я не показывал еще ее никому...» — признается он и отсылает рукопись своему московскому воспитателю Николаю Семеновичу, предоставляя ему право быть первым читателем и первым критиком.

Хлопоты Аркадия как начинающего и не уверенного в себе литератора простираются еще глубже — его заботит дальнейшее «прохождение рукописи»; и, вопреки своему давнему категорическому заявлению «литератором быть не хочу», он, по распространенному обычаю, помещает в качестве послесловия к «запискам» отзыв-рекомендацию критика-рецензента.

Оказывается, литературное дело, начатое под влиянием пережитого сердцем автора сильного впечатления, имеющее честные намерения и требование «всей правды», не развращает, а собирает человека, выстраивает его, организует память и восприятие, обостряет ум, возвышает совесть — это убеждение далось Аркадию Долгорукому большой ценой. «Я писал, слишком воображая себя таким именно, каким был в каждую из тех минут, которые описывал. Кончив же записки и дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал себя самого, именно процессом припоминания и записывания».

Только закончив «Подростка», Достоевский осознал, что написал роман не столько воспитания, сколько самовоспитания и перевоспитания. Аркадий Долгорукий за время, проведенное с пером в руке, настолько освободился от прежних маниакальных идей, пагубных желаний и опасных страстей, что в полном смысле слова выпрямился и выровнялся. «Вы дали себе, так сказать, сознательный отчет о первых, бурных и рискованных, шагах ваших на жизненном поприще. Твердо верю, что сим изложением вы действительно могли во многом “перевоспитать себя”, как выразились сами», — писал Аркадию рецензент, упомянув и о том, что лопнувшая его идея стать богатым, как Ротшильд, тем только и была хороша, что хотя бы на время уберегла от идей господ социалистов, с их затаенным желанием бури и всеобщего беспорядка.

Освобождение от прежних химер имеет отношение не только к автору «Записок», Аркадию, но и к автору романа о нем. «Подросток» — сочинение, которое создавалось писателем, который уже три года находился в состоянии «вне игры», то есть вне рулетки. Игорная страсть, эта заразная и опасная болезнь, в романе самовоспитания была преодолена радикально; демоны азарта, владеющие героем-игроком, интересны автору лишь в служебных целях, как острые жизненные впечатления,

необходимые для сюжета. Манией рулетки болен герой; запретной игрой, как дурной болезнью, заражен Петербург, в темных закоулках которого многими десятками расплодились подпольные игорные клоаки, но автор романа свободен от гибельного азарта и не играет вместе с героем, как это было, когда создавался «Игрок».

Изменились и сами игорные переживания — в них стало куда больше психологии и самоанализа, чем необузданной страсти, и играющий герой не отдается ей безраздельно. Аркадий ездит в частные дома Петербурга, где, в нарушение закона, идет большая игра и где он встречает светских знакомых, отношения с которыми волнуют его много больше, чем рулетка. К тому же юноше, который хочет стать богатым, как Ротшильд, но пока не стал им, очень нужны деньги. «Я, конечно, испытывал наслаждение чрезвычайное, но наслаждение это проходило чрез мучение; всё это, то есть эти люди, игра и, главное, я сам вместе с ними, казалось мне страшно грязным. “Только что выиграю и тотчас на всё плюну!” — каждый раз говорил я себе, засыпая на рассвете у себя на квартире после ночной игры. И опять-таки этот выигрыш: взять уж то, что я вовсе не любил деньги. То есть я не стану повторять гнусной казенщины, обыкновенной в этих объяснениях, что я играл, дескать, для игры, для ощущений, для наслаждений риска, азарта и проч., а вовсе не для барыша. Мне деньги были нужны ужасно, и хоть это был и не мой путь, не моя идея, но так или этак, а я тогда все-таки решил попробовать, в виде опыта, и этим путем».

Выигрыш все еще может будоражить воображение, и Достоевский щедро делится со своим молодым героем теми ощущениями, какие сам испытывал много лет подряд, но воспоминания о былом не только утратили горечь, но и вообще существуют как бы отдельно от автора.

«Всю ту ночь снилась мне рулетка, игра, золото, расчеты. Я всё что-то рассчитывал, будто бы за игорным столом, какую-то ставку, какой-то шанс, и это давило меня как кошмар всю ночь. Скажу правду, что и весь предыдущий день, несмотря на все чрезвычайные впечатления мои, я поминутно вспоминал о выигрыше у Зерщикова. Я подавлял мысль, но впечатление не мог подавить и вздрагивал при одном воспоминании. Этот выигрыш укусил мое сердце. Неужели я рожден игроком? По крайней мере — наверное, что с качествами игрока. Даже и теперь, когда всё это пишу, я минутами люблю думать об игре! Мне случается целые часы проводить иногда, сидя молча, в игорных расчетах в уме и в мечтах о том, как это всё идет, как я ставлю и беру. Да, во мне много разных “качеств”, и душа у меня неспокойная».

Волшебство игорного заведения, которое познал Достоевский, в опыте его героя сильно пообтрепалось и поблекло: рулеточные залы игорных городов Европы, развернутые в злачных переулках российской столицы, лишились поэзии и мистики. Подпольное рулеточное заведение отвратительно, а выигрыш — не что иное, как способ расквитаться с врагами, бросить им в лицо проклятые тысячи.

«Я полетел на рулетку, как будто в ней сосредоточилось всё мое спасение, весь выход, а между тем, как сказал уже, до приезда князя я об ней и не думал. Да и играть ехал я не для себя, а на деньги князя для князя же; осмыслить не могу, что влекло меня, но влекло непреоборимо. О, никогда эти люди, эти лица, эти крупёры, эти игорные крики, вся эта подлая зала у Зерщикова, никогда не казалось мне всё это так омерзительно, так мрачно, так грубо и грустно, как в этот раз!»

Но в рулетке нет спасения. Аркадию Долгорукому пришлось испытать — вместе с лихорадкой азарта — чувство глубочайшего падения, ужас и обиду от незаслуженного оскорбления и обвинения. Романтика рулетки заканчивается связанными руками, вывернутыми карманами и невыносимым позором.

«Меня вывели, но я как-то успел стать в дверях и с бессмысленной яростию прокричать на всю залу:

— Рулетка запрещена полицией. Сегодня же донесу на всех вас!

Меня свели вниз, одели и... отворили передо мною дверь на улицу».

Мания колеса и мираж шальных денег оказались в конце концов идеей, вытащенной и вышвырнутой на улицу.

...Следует отдать должное Некрасову — роман для «Отечественных записок» он оценил не как капиталист и не как идеолог левого радикального направления, а как истинный поэт. «Вчера первым делом заехал к Некрасову, он ждал меня ужасно, потому что дело не ждет; не описываю всего, но он принял меня чрезвычайно дружески и радушно. Романом он ужасно доволен...» — писал Достоевский жене в феврале 1875 года и через несколько дней добавил: «Вчера только что написал и запечатал к тебе письмо, отворилась дверь и вошел Некрасов. Он пришел, “чтоб выразить *свой восторг* по прочтении конца первой части...”» Некрасов сообщил, что всю ночь читал, увлекся и был поражен свежестью письма: «Такой свежести в наши лета уже не бывает и нет ни у одного писателя. У Льва Толстого в последнем романе лишь повторение того, что я и прежде у него же читал, только в прежнем лучше».

Речь шла, разумеется, о романе «Анна Каренина», который печатался в «Русском вестнике», заняв всю журнальную терри-

торию, отведенную под прозу текущего года, и уже по одному этому соперничал с «Подростком». «Роман Толстого довольно скучный и уж слишком не Бог знает что. Чем они восхищаются, понять не могу», — ревниво сообщал Достоевский жене (позднее он переменит отношение к «Анне Карениной»). Однако братья-писатели, критики-оппоненты, друзья-единомышленники со всех сторон внушали ему, что его сочинение настолько хуже толстовского, что не выдерживает с ним никакого сравнения. Конечно, решающее слово было за Некрасовым, а он, полагал Достоевский, был «доволен ужасно», но все другие...

Летом 1875-го Салтыков-Щедрин сердито укорял Некрасова: «Роман Достоевского просто сумасшедший»[10], а вскоре (в ноябре) Салтыкову жаловался Тургенев: «Заглянул было в этот хаос: Боже, что за кислятина, и больничная вонь, и никому не нужное бормотание, и психологическое ковыряние!!»[11] Критики обвиняли журнал, поместивший на своих страницах чуждого по духу Достоевского, в беспринципности, в отсутствии идейных границ, в размытости направления, в потакании публике, которая жаждет читать об уголовных процессах. «Автор снова вводит читателя в душное и мрачное подполье, где копошатся недоучившиеся маньяки, жалкие выскребки интеллигенции, безвольная и бездольная жалочь, люди, "съеденные идеей", спившиеся фразеры и тому подобная тля, возможная только при условиях подпольного трущобного существования», — ругался рецензент «Русского мира» (1875, 29 января) В. Г. Авсеенко. Автор «Подростка» был уличаем в безнравственности, поскольку своими произведениями приучал читателя к смрадной атмосфере подполья.

Критика меньшей свирепости находила в романе всего только грубое искажение действительности и насилие над читателями, которых автор заставляет участвовать в галлюцинациях, дурных снах и «головном хламе» героев. «Представьте себе, что на сцене герои драмы убивали бы друг друга в самом деле... Вы бежали бы из театра... Как хотите, а это не искусство», — заключал критик «Биржевых ведомостей» (1875, 6 февраля) А. М. Скабичевский.

...Достоевский крайне субъективен, не знает подлинной жизни и имеет неискоренимую привычку вклеивать в романы уголовщину; его персонажи, которых страшатся читатели, не имеют ничего общего с обыкновенными людьми — ходят вверх ногами, едят носом и пьют ушами; его герои — выродки, психические нелепости, человеческие аномалии, исчадия, смахивающие на пациентов сумасшедшего дома; писатель не может создать целостного, гармонически развитого художественного

характера и, стало быть, не может претендовать на любовь и сочувствие читающей публики; «Подросток», как самая слабая и вялая вещь из всего написанного романистом, показывает, насколько не силен в нем художник; в невообразимом сумбуре романа нельзя доискаться и тени смысла; «мусорная» идея героя совершенно не типична для современности: идейным людям мысль о наживе глубоко чужда...

Такими откликами были полны газеты и журналы 1875 года — и было ясно, что писатель и большинство его литературных современников думают и говорят на разных языках. В Обществе любителей российской словесности громко заявляли, что им, любителям, не нужны мрачные романы-кошмары, как у Достоевского, хотя бы и с талантом, а нужно легкое, игривое чтение, как у графа Толстого. Впрочем, от иных критиков доставалось и графу. «Стоит ли говорить о великом художестве, если оно потрачено в изобилии на совершенно вздорное и даже, если хотите, растленное содержание», — писал в «Деле» (1875, № 5) П. Н. Ткачев об «Анне Карениной».

...Летом 1875-го Достоевский снова был в Эмсе — доктора подтверждали несомненную пользу прошлогоднего лечения и, надеясь закрепить успех, настоятельно советовали повторить курс. На этот раз к ежедневным стаканам кренхена добавилось полоскание раздраженного и охрипшего горла кессельбруненом. Но опять было холодно, тоскливо, одиноко; снова густая, пестрая, многоязычная толпа сновала на малом пространстве курорта и толкалась локтями, торопясь передать пустые и получить полные кружки с целебной водой. Ф. М. вымокал до нитки, поминутно простужался и не мог понять, как при таких ливнях и пронизывающих ветрах может наступить хоть какое-то улучшение. Здешние светила, принимая в день по полсотни человек, хотя и были крайне небрежны с пациентами, все же успевали лишний раз напомнить о том крайнем вреде, который наносит курортнику любое умственное усилие. Ф. М. ужасался: приказ доктора Орта «ни-ка-ких занятий» никак не способствовал работе над романом, который и без того здесь не двигался и не писался.

«Пуще всего мучает меня неуспех работы: до сих пор сижу, мучаюсь и сомневаюсь и нет сил начать. Нет, не так надо писать художественные произведения, не на заказ из-под палки, а имея время и волю... В этой тоске могу испортить самую идею», — писал он жене из Эмса. Газеты и журналы, которые он читал здесь, не вызывали энтузиазма. «От меня, однако, решительно все отвернулись в литературе; я за ними не пойду... Вижу, что роман пропал: его погребут со всеми почестями под всеобщим презрением».

Его не оставляла тревога о жене — Анне Григорьевне в конце лета предстояло родить; она нервничала, паниковала, и Ф. М., успокаивая ее, писал: «Случаи несчастных родов не только реже случаев заболевания горячкой или какой бы то ни было болезни, но даже реже случаев раздавления на улице лошадьми! Это положительный факт, спроси кого хочешь. Не пугайся же, друг мой, вспомни, что ты родишь в четвертый раз, а с теми, которые уже привычны рождать, еще реже несчастные случаи, чем с непривычными...»

Но всё в конце концов благополучно устроилось: лечение на водах дало ощутимый результат, в Старой Руссе, где Ф. М. провел вторую половину лета, роман сдвинулся с мертвой точки и покатился к финалу. 10 августа Анна Григорьевна благополучно разрешилась сыном Алешей, и через месяц Достоевские со старшими детьми, грудным младенцем, няней и кухаркой отправились в Петербург. «Мы весело ехали под звон бубенчиков, и Федор Михайлович то и дело останавливал лошадей, чтобы узнать, все ли у меня благополучно, и похвалиться тем, как ему с детьми весело», — вспоминала жена писателя, описывая дорожные приключения и то счастье, которым светилось лицо Ф. М., когда он шалил с детьми и бегал с ними наперегонки.

В ноябре ему удалось подписать договор на первое отдельное издание «Подростка». «Самый петербургский роман» Достоевского, как позднее назовут его читатели-поэты, был закончен в квартире купца Струбинского, на Греческом проспекте, куда семья переехала в сентябре. Мемуарист, побывавший здесь в декабре 1875-го, вспоминал, как он, двадцатилетний гвардейский офицерик, искавший по указанному адресу контору «Дневника писателя», с волнением поднимался по лестнице и долго не решался взяться за ручку звонка, воображая встречу с грозным обличителем-судией, каким представлялся ему знаменитый романист. Но воображение подвело: навстречу вышел «сам», и был он не в ореоле «чего-то сверхчеловеческого», а в домашней поношенной серой пиджачной паре, «с добрейшей-предобрейшей улыбкой на усталом лице». С трогательным радушием провел он молодого человека в свой кабинет. «Я был, как в чаду, и решительно не помню, в какой обстановке происходило свидание. Общее впечатление было... крайней простоты, почти бедности...» Гвардеец заметил небольшой письменный стол с потрепанным зеленым сукном, раскрытую линованную тетрадку, стопку бумаги, табачницу, из которой Ф. М. свернул толстенную папиросу-пушку, и был совершенно очарован его голосом, улыбкой, простотой и добродушием[12].

Как не вязалась ласковая приветливость писателя-петербуржца с тоном его «петербургского романа», герой которого, мечтающий о миллионе, испытывает одиночество, потерянность и страх! Он хотел покорить растленный город с его «игорными обществами», «гремящей молодежью высшего света», чадными трактирами, злачными притонами, зловещими самоубийствами и прочей скорбной статистикой. Сил и живучести Аркадию Долгорукому едва хватило, чтобы уцелеть и смыть с себя нравственную грязь. Но скольких юношей обречен был погубить «умышленный» город с его сухими, язвительными ветрами, взвевающими пыль и песок, с его гнилыми туманами и ядовитыми испарениями, угрюмыми лицами простолюдинов, алчной надменностью дворцов и разлитой вокруг стихией хаоса и беспорядка.

«Лик мира сего» был описан — вычислен! — Достоевским-художником с точностью математика и экономиста; центр будущего российского хаоса был определен с точностью сейсмографа: Петербург.

Это и был реализм в высшем смысле.

«Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?”» («Подросток»).

Глава третья
НЕСКОЛЬКО ГОРЯЧИХ СЛОВ

Отчет о насущном. — Версия Соловьева. — Душевный анатом. — Цель «Дневника». — Предубеждения критики. — Обязанности по изданию. — Неожиданный успех. — Дети как народ. — Будущие ужасы. — Голоса читателей. — Прогноз эскулапа

На следующий день после выхода двенадцатого номера «Отечественных записок» за 1875 год с окончанием романа «Подросток» в Главное управление по делам печати за подписью отставного подпоручика Достоевского было отправлено прошение. «Возымев намерение с будущего 1876-го года издавать сочинение мое “Дневник писателя” ежемесячными выпусками, величиною от одного до полутора печатных листа в два столбца, в котором желаю помещать отчет *о всех действитель-*

но выжитых впечатлениях моих как русского писателя, отчет о всем виденном, слышанном и прочитанном; желая в то же время объявить на издание мое годовую подписку (по 2 руб. без пересылки за все 12 годовых выпусков) и в то же время пустить его и в отдельную продажу по 20 копеек за экземпляр, я, ввиду замеченной С.-Петербургским цензурным комитетом в издании "Дневника писателя" периодичности, имею честь просить Главное управление по делам печати разрешить мне издание "Дневника писателя", с будущего 1876 года, на всех вышеизложенных условиях. 22 декабря 1875 года».

Вскоре разрешение выпускать «Дневник» при условии предварительной цензуры было Достоевским получено.

«Не думаете ли вы свой журнал издавать, Федор Михайлович? — спрашивал Достоевского в апреле 1874-го М. А. Александров. — Вам бы можно и следовало бы даже». «Журнал не журнал, а что-нибудь в этом роде...» — отвечал метранпажу Достоевский, «возымевший намерение» относительно «Дневника» уже давно. Теперь, когда «Подросток» был завершен, пора было приниматься за дело.

Собственно говоря, оно уже двигалось: первые записи к «Дневнику» появились еще в начале ноября. Ссылки на статьи «Московских ведомостей», «Голоса», «Русского мира», «Биржевых ведомостей», «Гражданина» с извлечением фактов на злобу дня перемежались с дневниковыми заметками («В среду был у князя Мещерского»), мыслями на лету («Наша консервативная часть общества не менее говенна, чем всякая другая», «Подымается поколение детей, которые возненавидят своих отцов»), словами и словечками («миговое дело», «лгушка», «люди из бумажки»).

«Газетофилом» Достоевский сделался давно, еще в годы журнала «Время». В 1869-м, за границей, он было задумал «литературное предприятие» — собирать газетную информацию «по известному плану и по известной мысли», так, чтобы совокупность заметок составила книгу о русской жизни за год (в «Бесах» подобную идею изложит Лиза Тушина и позовет Шатова в сотрудники). Теперь, в 1876-м, «русская жизнь за весь год» заботила Ф. М. не менее прежнего, но стало понятно, что газетными вырезками не обойтись. Свободно беседовать с читателем по самым острым проблемам, обсуждать факты общественной жизни, комментировать сообщения прессы и судебную хронику, делиться сокровенными мыслями и событиями своей жизни — все это могло составить основу «Дневника», тематическое разнообразие которого должны были объединять голос и перо автора.

«Это будет не газета, — уведомлял он в «Объявлении о подписке», — из всех двенадцати выпусков... составится целое,

книга, написанная одним пером. Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном и прочитанном. Сюда, конечно, могут войти рассказы и повести, но преимущественно о событиях действительных».

Что вкладывал Достоевский в понятие «отчет»? Первый, январский, выпуск «Дневника» посвящался детям — детям вообще, детям с отцами и без отцов, детям на елках и без елок, детям-преступникам. Объясняя Вс. Соловьеву принцип «отчетности» издания, Достоевский пытался поточнее обозначить его жанр: «Разумеется, это не какие-нибудь строгие этюды или отчеты, а лишь несколько горячих слов и указаний... Затем о *слышанном и прочитанном*, — всё или кое-что, поразившее меня лично за месяц... Тут отчет о событии, не столько как о новости, сколько о том, что из него (из события) останется нам более постоянного, более связанного с общей, с цельной идеей. Наконец, я вовсе не хочу связывать себя даванием отчета... Я не летописец; это, напротив, совершенный *дневник* в полном смысле слова, то есть отчет о том, что наиболее меня заинтересовало лично, — тут даже каприз».

Понятно, что дело было не в фактах, не в событиях и не в отчетах — писателем двигало желание вступить в прямое общение с аудиторией. Соловьев был одним из немногих критиков, кто пророчил изданию успех. «С его жаром, с его искренностью, обращаясь прямо к обществу, в форме простой беседы — разве мог он не заинтересовать? Ведь он сам — интереснейшее лицо среди самых интересных лиц его лучших романов — и, конечно, он будет весь, целиком в этом “Дневнике писателя”!»

Пытаться увидеть в Достоевском самого интересного героя самого лучшего его романа — было занятием увлекательным, но бесперспективным. Страхов рискнет «опознать» автора «Бесов» в Ставрогине и Свидригайлове, но нарочито проигнорирует факт огромной художественной работы, которой не занимались герои-резонеры, несмотря на их «исповеди» и «записки». Самые интересные герои Достоевского живут, чтобы «мысль разрешить», но больше ничего не делают и гибнут от самострела или петли, «съеденные идеей». Достоевский, как и его герои, тоже был одержим идеями, мучим бытием Божьим, озадачен поиском правды и утверждением истины. Однако в отличие от иных своих героев, убийц и самоубийц, спасался творческой работой, не впадая в праздность и пагубное уныние. Мир «неподвижных» идей, одержимость мыслью о Боге *плюс спасительное и воскрешающее писательское занятие* — это и был Достоевский, главный герой всех своих романов. Не зря

он рассказал Соловьеву об Иване Шидловском, имевшем громадный ум и талант, но не написавшем никогда ни слова и ушедшем в кутежи, пьянство, а потом постригшемся в монахи. «Умирая, он сделал Бог знает что: он был тоже в Сибири, на каторге; когда его выпустили, то из железа своих кандал он сделал себе кольцо, носил его постоянно и, умирая, — проглотил это кольцо...»

Соловьев, при всем своем дружелюбии, спешивший к писателю «в каждую свободную минуту», запомнил его в ореоле непобедимой мрачности: квартиры, которые Ф. М. то и дело менял, были одна мрачнее другой, «и всегда у него была неудобная комната, в которой негде было повернуться»; мрачным чаще всего бывало и настроение: сдвинутые брови, сжатые губы, бледное как воск лицо, лихорадочный блеск глаз, крепчайший чай или кофе, толстые папиросы, которые он курил, зажигая одну об другую.

Минуты задушевной ласковости, когда Ф. М. делался неотразимо привлекательным, угощал, будучи и сам большим лакомкой, королевским черносливом, свежей пастилой, изюмом, виноградом из маленького шкафчика в своем кабинете, могли перерасти в часы вдохновенного говорения. «Его живая, горячая мысль переносилась от одного предмета к другому, всё освещая своеобразным ярким светом. Он начинал мечтать вслух, страстно, восторженно, о будущих судьбах человечества, о судьбах России. Эти мечты бывали иногда несбыточны, его выводы казались парадоксальными. Но он говорил с таким горячим убеждением, так вдохновенно и в то же время таким пророческим тоном, что очень часто я начинал и сам ощущать восторженный трепет, жадно следил за его мечтами и образами и своими вопросами, вставками подливал жару в его фантазию».

То ли фантазии Достоевского действовали опьяняюще на молодого критика («прием своего рода гашиша»), то ли он, молодой критик, не умел запоминать смысл парадоксальных выводов Достоевского, — но многие мечты и образы писателя выпали из воспоминаний мемуариста. Однажды Ф. М. объяснял Соловьеву не понятого им Макара Долгорукого и говорил два часа. «Я мог только сожалеть о том, что не было стенографа, который бы записывал в точности слова его. Если бы то, что он говорил мне тогда, появилось перед судом читателей, то они увидели бы один из высочайших и поэтических образов, когда-либо созданных художником. “Так вот что такое Макар! — сказал Достоевский, заканчивая свою горячую речь и мгновенно ослабевая. — И неужели вы теперь не согласитесь, что вы написали совсем не то, что вы меня обидели и я имел

полное право на вас сердиться?!” Мне тяжело было говорить ему, что сегодняшний Макар не тот, о котором я говорил, судя по напечатанному тексту...» Но каким был «не тот Макар» в устном исполнении Достоевского, Соловьев так и не рассказал...

Под пером мемуариста Достоевский времен «Дневника» представал болезненным, страдающим, раздражительным, нервным, крайне обидчивым и совершенно непрактичным человеком; часто находясь во власти порыва, увлечения, он не годился ни в редакторы, ни в администраторы. Восторг и вдохновение моментально могли перейти в кроткую печаль, пламенная речь — в холодное и напряженное молчание. «Он бывал иногда совершенно невозможен после припадка; его нервы оказывались до того потрясенными, что он делался совсем невменяемым в своей раздражительности и странностях. Придет он, бывало, ко мне, войдет как черная туча, иногда даже забудет поздороваться и изыскивает всякие предлоги, чтобы побраниться, чтобы обидеть; и во всем видит и себе обиду, желание дразнить и раздражать его... Все-то у меня ему кажется не на месте и совсем не так, как нужно, — то слишком светло в комнате, то так темно, что никого разглядеть невозможно... Подадут ему крепкий чай, какой он всегда любил, — ему подают пиво вместо чая! Нальют слабый — это горячая вода!.. Пробуем мы шутить, рассмешить его — еще того хуже: ему кажется, что над ним смеются... Впрочем, мне почти всегда скоро удавалось его успокоить. Нужно было исподволь навести его на какую-нибудь из любимых его тем. Он мало-помалу начинал говорить, оживлялся, и оставалось только ему не противоречить. Через час он уже бывал в самом милом настроении духа. Только страшно бледное лицо, сверкающие глаза и тяжелое дыхание указывали на болезненное его состояние»*.

Возможность свободно высказываться в «Дневнике» была для автора, по-видимому, еще и целительна. Здесь он был в своей стихии: ничто не подавляло творческого воодушевления, никто не омрачал приподнятого настроения; здесь его го-

---

* В. В. Тимофеева полагала, видимо, что Вс. С. Соловьев «из видов» сильно преувеличил градус своей дружбы с Достоевским: «Помню также Всеволода Соловьева, “милого и замечательного юношу”, как называл его заочно Федор Михайлович, пророча ему “блестящую будущность”. На меня, впрочем, этот юноша произвел впечатление не “милого”, но скорее очень занятого собой и своей “блестящею будущностью”. Он держал себя чопорно, сидел не снимая перчаток, говорил звонким, высокопарным голосом и смотрел все время куда-то вверх, улыбаясь восторженно-счастливой улыбкой, как будто думал при этом о всех присутствующих в типографии: “Какие они счастливые! — видят меня, и так близко!..”».

рячее искреннее слово могло звучать в полный голос (представление, будто можно ежемесячно издавать *настоящий* дневник, быстро развеялось, да и говорить ему хотелось не с самим собой, а с читателем). Правда, был риск: наберется ли достаточно подписчиков? не ждет ли его еще одна неудача? «Что он может сказать нового?.. Опять воспоминания?.. Кому они нужны?..» Сомнения слышны были со всех сторон.

Педагог и общественная деятельница Х. Д. Алчевская, специально приезжавшая из Харькова в Петербург в мае 1876 года, чтобы встретиться с Достоевским и лично выразить ему благодарность «за все», сообщала в письме: «Приходилось мне слышать и такое мнение относительно вашего издания "Дневник писателя": "*Что*, если Достоевский, вместо того, чтобы создать вновь что-нибудь цельное, грациозное, разменяется на мелочи, на обзор текущих событий, маленькие рассказцы — и только!" Мне лично такое мнение кажется до крайности странным: *как* жизнь со всеми ее странными явлениями отнести в разряд мелочей и *как* художественность и силу рассказа мерить величиной?! — Нет, я присоединяюсь к той части публики, которая с энтузиазмом встретила вашу мысль об издании "Дневника". Мы желаем знать о вас как о дорогом и любимом нашем писателе от вас самих, а не от каких-нибудь спекулянтов в литературе...»[13]

В ответном письме Достоевский изложил свой взгляд на писательство. «Вы сообщаете мне мысль о том, что я в "Дневнике" разменяюсь на мелочи. Я это уже слышал и здесь. Но вот что я, *между прочим*, Вам скажу: я вывел неотразимое заключение, что писатель — художественный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую действительность. У нас, по-моему, один только блистает этим — граф Лев Толстой... Вот почему, готовясь написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специально в изучение — не действительности, собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего. Одна из самых важных задач в этом текущем, для меня, например, молодое поколение, а вместе с тем — современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, как всего еще двадцать лет назад. Но есть и еще многое кроме того».

«Дневник писателя» должен был послужить Достоевскому не только кафедрой публициста и общественной трибуной, но и средством погружения в подробности текущего, надежным инструментом изучения читающей публики, творческой лабораторией, где будет готовится новый *очень большой роман*.

Признание Алчевской, что давно почитаемый и любимый романист «*вдруг* сделался как-то особенно близок и дорог»

именно через «Дневник», имело неожиданный второй смысл. «Кроме даровитого автора художественных произведений, передо мною вырос человек с чутким сердцем, с отзывчивой душой, — человек, горячо откликавшийся на все злобы дня»[14], — писала она *до* личного знакомства.

Но вот они встретились, лицом к лицу. «Передо мною стоял человек небольшого роста, худой, небрежно одетый. Я не назвала бы его стариком: ни лысины, ни седины, обычных примет старости, не замечалось; трудно было бы даже определить, сколько именно ему лет; зато, глядя на это страдальческое лицо, на впалые, небольшие, потухшие глаза, на резкие, точно имеющие каждая свою биографию, морщины, с уверенностью можно было сказать, что этот человек много думал, много страдал, много перенес. Казалось даже, что жизнь почти потухла в этом слабом теле. Когда мы уселись близко, vis-a-vis, и он начал говорить своим тихим, слабым голосом, я не спускала с него глаз, точно он был не человек, а статуя, на которую принято смотреть вволю. Мне думалось: "Где же именно помещается в этом человеке тот талант, тот огонь, тот психологический анализ, который поражает и охватывает душу при чтении его произведений? По каким признакам можно было бы узнать, что это именно он — Достоевский, мой кумир, творец "Преступления и наказания", "Подростка" и проч.?"».

Обнаружить признаки гения в этом «потухшем» человеке 35-летней Алчевской было не так легко. Незадолго до встречи Ф. М. писал ей, что она «одна из тех, которые имеют дар "одно *хорошее* видеть"», но при первой встрече с писателем этот дар проявился неоднозначно. Она увидела в Достоевском не человека, осязаемого, реального, а дух — «непонятный, невидимый, вызывающий желание поклоняться ему и молиться...». Она боролась с непреодолимым желанием стать перед ним на колени, целовать его руки и плакать. Наверное, она бы привела в исполнение свое импульсивное желание, если бы не почувствовала вдруг на себе взгляд его ***почти потухших*** глаз. Все время разговора «душевный анатом» (так Христина Даниловна нарекла Достоевского) пристально, точно какой-нибудь неодушевленный предмет, рассматривал ее. «Но вот какая была разница в моем и в его пристальном взгляде: в моем — было благоговение и поклонение, он же, вероятно, привык на каждого человека смотреть как на материал, пригодный для изучения».

С каждой минутой пристальный, «анатомический» взгляд Достоевского волновал ее все сильнее и казался почти обидным; ей чудилось, будто писатель разглядывает ее как доктор пациента. Ей было досадно осознавать неравенство; все то

приятное, что он говорил о ее внешности, моложавости, душевной свежести, воспринималось не как комплимент, а как продолжение «анатомии», которая уже даже сердила и «*парализовала желание молиться*».

Кажется, это желание больше у нее и не возникало — она почувствовала, как тяжело ей спорить с Достоевским и как невозможно принять иные его взгляды. «Коснулись “Анны Карениной”. “Знаете ли, — сказала я, — человек, бранящий ‘Анну Каренину’, кажется мне как будто моим личным врагом”. — “В таком случае я замолкаю!” — отвечал Достоевский и, как я ни упрашивала, ни за что не захотел высказать своего взгляда. Мне было ужасно досадно на себя».

И все же через несколько дней в разговоре с Христиной Даниловной писатель вновь высказался, рискуя стать «личным врагом» новой знакомой. «Все лица до того глупы, пошлы и мелочны, что положительно не понимаешь, как смеет граф Толстой останавливать на них наше внимание. У нас столько живых насущных вопросов, грозно вопиющих, что от них зависит, быть или не быть, и вдруг мы будем отнимать время на то, как офицер Вронский влюбился в модную даму и что из этого вышло. И так приходится задыхаться от этого салонного воздуха, и так натыкаешься беспрестанно на пошлость и бездарность, а тут берешь роман лучшего русского романиста и наталкиваешься на то же!»

Она слабо сопротивлялась, чувствуя его искренность, смягчавшую нетерпимость, однако Ф. М. был беспощаден: если жизнь представляет только Вронских и Карениных, то и жить не стоит. «Левин? По-моему, он и Кити глупее всех в романе. Это какой-то самодур, ровно ничего не сделавший в жизни, а та просто дура. Хорош парень! За пять минут до свадьбы едет отказываться от невесты, не имея к тому ровно никаких поводов. Воля ваша, а это даже ненатурально: сомнения возможны, но чтобы человек попер к невесте с этими сомнениями, — невозможно! Одну сцену я признаю вполне художественною и правдивою — это смерть Анны. Я говорю “смерть”, так как считаю, что она уже умерла, и не понимаю, к чему это *продолжение* романа. Этой сцены я и коснусь только в своем “Дневнике писателя”, и расхвалю ее, а браниться нельзя, хоть и хотелось бы, — сам романист — некрасиво!»

Браниться нельзя, а хотелось бы — это и была разница между дневником *настоящим* и дневником *для публики*, осознанная в опыте реального общения с читательницей-поклонницей. Ф. М. еще больше укреплялся в мысли, что «настоящий дневник почти невозможен, а только показной, для публики»; но проверить границы возможного и идти до последних преде-

лов допустимого в публичном дневнике было необходимо, иначе все «предприятие» лишалось смысла. Главное, не допустить фальши, не писать в полчувства, в полголоса. «Я... хотел было написать статью... Тут мысль, всего более меня занимающая: "в чем наша *общность*, где те пункты, в которых мы могли бы все, разных направлений, сойтись?" Но, обдумав уже статью, я вдруг увидал, что ее, *со всею искренностью*, ни за что написать нельзя; ну, а если без искренности — то стоит ли писать? Да и горячего чувства не будет».

«Дневник», создаваемый без горячего чувства, не *со всею искренностью*, когда и так нужно было сдерживать себя в иных деликатных пунктах, был обречен на провал.

Только через год исполнит Достоевский обещание написать об «Анне Карениной», не бранясь, но и не кривя душой: сознается в «добровольном воздержании» — дескать, избегал говорить о текущей беллетристике, боясь показаться пристрастным; не скроет, что историю барского семейства читал у Толстого и раньше и «что там даже свежее было»; заметит, каким скучным виделся ему Вронский. «Казалось, например, что любовь этого "жеребца в мундире", как назвал его один мой приятель, могла быть изложена разве лишь в ироническом тоне».

Напишет он — со всею искренностью и честностью — и о «смерти» Анны. «Вдруг все предубеждения мои были разбиты. Явилась сцена смерти героини (потом она опять выздоровела) — и я понял всю существенную часть целей автора. В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековечная жизненная правда и разом всё озарила. Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми, достойными имени человеческого, — единственно силою природного закона, закона смерти человеческой. Вся скорлупа их исчезла, и явилась одна их истина. Последние выросли в первых, а первые (Вронский) вдруг стали последними, потеряли весь ореол и унизились; но, унизившись, стали безмерно лучше, достойнее и истиннее, чем когда были первыми и высокими. Ненависть и ложь заговорили словами прощения и любви. Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немыслимы, и эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей! Виноватых не оказалось: все обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали. Читатель почувствовал, что есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, в которую и надо верить, и что вся наша жизнь и все наши волнения, как самые мелкие и позорные, так равно и те, которые мы считаем часто за самые высшие, — всё это чаще всего

лишь самая мелкая фантастическая суета, которая падает и исчезает перед моментом жизненной правды, даже и не защищаясь...»

Истинный поэт, романист граф Толстой, доказал, что жизненная правда существует в самом деле, а не только в идеале. Об этой правде пора было напомнить; «этим напоминанием автор сделал хороший поступок, не говоря уже о том, что выполнил его как необыкновенной высоты художник».

Истинный художник, автор «Дневника», увидел необычайную глубину в великом толстовском романе, который в полемической запальчивости хотелось прежде только бранить; истинный художник смог обуздать чувство соперничества к лучшему русскому романисту и разглядеть в «самодуре Левине» честную душу, человека «нового корня русских людей, которым нужна правда, одна правда без условной лжи». Ответственное, компетентное слово автора «Дневника» обнаружило в романе Толстого, помимо «салонного воздуха», столько «наизлобнейшей злобы дня», что от бранчливого настроения Достоевского-критика не осталось и следа; именно с Левиным связывались надежды Достоевского-писателя на людей «чистых сердцем» и его мечты об «обществе новой правды» — быть может, опрометчивой, но такой светлой...

«Дневник» учил читателей правде, автор «Дневника» учился тайне первого шага — мудрого шага навстречу. «Сказанное по поводу "негодяя Стивы" и "чистого сердцем Левина" так хорошо, — чисто, благородно, умно и прозорливо, что я не могу удержаться от потребности сказать Вам горячее спасибо и душевный привет, — писал Достоевскому Н. С. Лесков, его нечастый корреспондент. — Дух Ваш прекрасен, — иначе он не разобрал бы этого *так*. Это анализ *умной души*, а не головы»[15].

...Обязанности Достоевского, организатора и автора «Дневника», были не слишком обременительны. Объем журнала не превышал двух листов, номера выходили в последний день месяца, все статьи писались одним пером — Ф. М. заботился о логике номера, держал корректуры и следил за цензурной стороной дела. «Хозяйственную часть издания, — вспоминал метранпаж Александров, — то есть все расчеты с типографиею, с бумажною фабрикою, с переплетчиками, книгопродавцами и газетчиками, а также упаковку и рассылку издания по почте с самого начала "Дневника писателя" приняла на себя супруга Федора Михайловича... Анна Григорьевна вела принятое на себя дело все время с уменьем и аккуратностью, достойными опытного в этих делах человека, и вдобавок с неутомимым трудолюбием».

Вряд ли критики ждали от «Дневника» чего-то особо оригинального. Считалось, что этот жанр автор избрал вынужденно, поскольку «исписался»; печататься по-прежнему хочет, но ничего, кроме дневниковых заметок, не имеет. Его бранили за гордыню и дерзкое самомнение — неужели романист, который «кончился весь», надеется выдать дневниковый мусор за литературное произведение?

Читателям, однако, предстояло убедиться, насколько не похож «Дневник писателя» на дневники в привычном понимании термина: новинка произвела фурор. «Увидели, что это не хроника событий, а глубоко продуманное, авторитетное, руководящее слово веского общественного деятеля по поводу таких явлений текущей жизни, значение которых понятно только высшим умам, и тогда принялись читать его с возрастающим все более и более интересом» (М. А. Александров).

Первый номер раскупался нарасхват. «Дети странный народ, они снятся и мерещатся» — одна эта фраза в начале второй главы царапала сердца; далее шел рассказ о семилетнем мальчике-попрошайке («мальчике с ручкой»), диком существе, которое не понимает ни где живет, ни какой оно нации, не знает, «есть ли Бог, есть ли Государь», — существо, которому судьбой уготованы грязный закоулок, пьяная шантрапа, воровство, тюрьма, смерть под забором.

И еще одна кроха из сырого холодного подвала примерещилась писателю: оставив случайный промозглый угол и окоченевшую мать, маленький голодный мальчик вышел наверх, в большой сверкающий город, надеясь отыскать кусочек или корочку; натерпелся страху, обид, заснул в чужом дворе, присев за дровами, и попал на «Христову елку»...

«И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне всё кажется и мерещится, что всё это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа — уж и не знаю, как Вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать».

Но уже совсем не выдуманным был рассказ о колонии малолетних преступников, оскорбленных жизнью «падших ангелов» (Достоевский вместе с А. Ф. Кони посетил колонию в конце декабря 1875 года). «Эти детские души видели мрачные картины и привыкли к сильным впечатлениям, которые и останутся при них, конечно, навеки и будут сниться им всю жизнь в страшных снах. Итак, с этими ужасными впечатлениями надобно войти в борьбу исправителям и воспитателям

этих детей, искоренить эти впечатления и насадить новые». Огромная задача переделки опороченной души в ясную и честную решалась здесь трудовым воспитанием, здоровым образом жизни, гуманным обращением, начатками школьного обучения. Но, всматриваясь в детские лица, писатель видел мальчиков, ничем не конфузящихся, что-то про себя скрывающих, развязных перед начальством. «Должно быть, ужасно многим из них хотелось бы сейчас улизнуть из колонии. Многие из них, очевидно, желают не проговариваться, это по лицам видно».

Богатые дети на елке в клубе художников, «все в прелестных костюмах», соседствовали в «Дневнике» с нищими грязными оборвышами; обжорливая младость, «облегченно» воспитанная, — с голодными дикими попрошайками; высокоразвитые гимназисты и лицеисты — с детьми-бродягами, не знающими грамоты. Покрытые мраком души — кто они? «Конечно, эти мальчики не народ, а, так сказать, Бог знает кто, такая особь человеческих существ, что и определить трудно: к какому разряду и типу они принадлежат?» Что могут они усвоить, к примеру, из литературы? Что принять к чтению таким детям и при таких обстоятельствах? Вглядываясь в отечественную словесность из стен детской колонии, писатель приходил к нерадостному выводу: «В нашей литературе совершенно нет никаких книг, понятных народу. Ни Пушкин, ни севастопольские рассказы, ни "Вечера на хуторе", ни сказка про Калашникова, ни Кольцов (Кольцов даже особенно) непонятны совсем народу... Что же до писателей-обличителей и сатириков, то такие ли впечатления духовные нужны этим бедным детям, видевшим и без того столько грязи? Может быть, этим маленьким людям вовсе не хочется над людьми смеяться...»

Но почему бы не рассказывать детям простые рассказы из Священной истории без казенной морали? Ведь это могут делать даже школьные учителя; «ряд чистых, святых, прекрасных картин сильно подействовал бы на их жаждущие прекрасных впечатлений души...».

Сценки из «Дневника» врезывались в сознание читателя авторской тревогой, благородством чувств, гуманностью помыслов. Как говорить, как писать об извечной русской беде, пресловутом «веселии Руси» — пьянстве? «Ведь иссякает народная сила, глохнет источник будущих богатств, беднеет ум и развитие, — и что вынесут в уме и сердце своем современные дети народа, взросшие в скверне отцов своих?»

«Дневник» давал всего лишь крохотную картинку: «Загорелось село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстаивать церковь, а отстоят кабак, то

выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабак отстояли. Примеры эти еще пока ничтожные, ввиду неисчисленных будущих ужасов». *Неисчисленные будущие ужасы* не были здесь ни пророчеством, ни ясновидением, а лишь неизбежным следствием.

Впечатления Достоевского о текущем и насущном, отчет о виденном, слышанном и прочитанном, тревога и боль за «лик мира сего» сложились в первом выпуске «Дневника» в *гражданский символ веры*, освещающий смысл всей его литературной деятельности.

«Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы. Я знаю и верую твердо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может. Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, еще скорее, может быть, чем где бы то ни было, ибо у нас и теперь никто не захочет стать за идею о необходимости озверения одной части людей для благосостояния другой части, изображающей собою цивилизацию, как это везде во всей Европе».

Это была социальная, политическая, культурная, образовательная программа действий, а не только убеждений. Достоевский действительно оказывался «всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желал успокаиваться». Золотой век, конечно, был в кармане у каждого; всякий чванливый и надутый, всякий завистливый и самолюбивый мог стать искренним и простодушным, честным и сердечным, чистым и великодушным — стоило только захотеть. Но почему-то никто не хотел, и золотой век по-прежнему оставался картинкой на фарфоровых чашках...

Заканчивался первый выпуск «Дневника» турецкой пословицей: «Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели». «По возможности, — комментировал цитату Достоевский, — буду следовать в “Дневнике” моем этой премудрой пословице, хотя, впрочем, и не желал бы связывать себя заранее обещаниями».

Хотя швырять камнями и было в кого, автора «Дневника» не могло не радовать почти всеобщее сочувствие его попытке освободиться из-под нравственного и финансового гнета журнальных редакторов, дававшей возможность беседовать с пуб-

ликой без посредников. «Честному писателю, — замечал фельетонист «Голоса» (1876, 8 февраля) Г. К. Градовский, — часто нет исхода: или молчи или прикроивайся к тому изданию, у которого нет конкурента, в котором менее других находишь разногласия, обращайся в своего рода крепостного этого издания. Ф. М. Достоевский один из оригинальнейших русских писателей. Что ж удивительного, если, при нынешней ограниченности числа периодических изданий, ему приходилось тяжелее многих литераторов». В литературной среде хорошо знали и помнили, как «Русский вестник» исправлял «Бесов» и с какими оговорками печатался «Подросток» в «Отечественных записках».

Впрочем, ядовитая пресса не могла удержаться, чтобы по привычке не обозвать автора «Дневника» нервно брюзжащим, плетущим всякую околесицу расслабленным и психически больным стариком, ум которого болен и доходит до абсурда; со всех сторон раздавались голоса негодования по поводу турецкой пословицы, «бестактной» и «трусливой». Двойственное отношение к «Дневнику» со стороны леворадикальной критики звучало почти одобрением; П. Н. Ткачев, сдерживая полемический пыл, писал в «Деле» (1877, № 6): «Г-н Достоевский вовсе не подозревает, что в его мечтаниях решительно нет никакого фактического содержания, и мыслит он не реально, а Бог знает как — хоть святых вон выноси. И в то же время сколько искренности, сколько любви и фанатизма в его привязанности к народу, к России».

«Вот ваш “Дневник”... Чего в нем нет? / И гениальность, и юродство, / И старческий недужный бред, / И чуткий ум, и сумасбродство, / И день, и ночь, и мрак, и свет. / О, Достоевский плодовитый! / Читатель, вами с толку сбитый, / По “Дневнику” решит, что вы — / Не то художник даровитый, / Не то блаженный из Москвы», — ерничал в «Петербургской газете» (1876, 3 февраля) насмешник Д. Д. Минаев.

В чем безусловно ошибся сатирический поэт, так это в читателе: он совсем не был сбит с толку. «Контингент читателей “Дневника” составлялся главным образом из интеллигентной части общества, а затем из любителей серьезного чтения всех слоев русского общества. К концу первого года издания между Ф. М. и его читателями возникло, а во втором году достигло больших размеров общение, беспримерное у нас на Руси: его засыпали письмами и визитами с изъявлениями благодарности за доставление прекрасной моральной пищи... Некоторые говорили Ф. М., что они читают “Дневник” с благоговением, как Священное писание; на него смотрели одни как на духовного наставника, другие как на оракула и просили его разре-

шать их сомнения насчет некоторых жгучих вопросов времени. И Ф. М. любовно принимал этих своих клиентов и беседовал с ними, читал их письма и отвечал на них...» (М. А. Александров).

С душевным волнением читатели знакомились с «Мужиком Мареем»; возмущались, читая про дело Кроненберга, истязателя своей семилетней дочери; умилялись «бессюжетному» рассказцу про то, как тихо и славно отошла в лучший мир почтенная старушка ста четырех лет; размышляли вместе с автором о грядущей неизбежной войне и цене пролитой крови; сокрушались, узнавая подробности истории актрисы Каировой, пытавшейся зарезать соперницу и оправданной судом присяжных; старались вникнуть в сложные политические резоны Восточного вопроса; следили за переездом писателя из Петербурга в Берлин, а потом в Эмс, куда он отправился на лечение, и за его впечатлениями о немецких порядках и нравах; привыкали к горячему слову автора о славянстве и русской идее, о Европе и Константинополе, о суде над крестьянкой Корниловой, в состоянии аффекта выбросившей падчерицу в окно.

«Благодарю вас за "Дневник писателя". Прочла, — сообщала Алчевская А. Г. Достоевской, откликаясь на майский номер журнала. — Плакала над Каировой, плакала над Писаревой, плакала над Воспитательным домом — удивительно, как может *один* человек вмещать в себе столько теплоты и чувства, что стало бы, кажется, на тысячу»[16].

Что важнее писателю — прочесть какие угодно похвалы себе в печати или услышать доброе слово от сочувствующего читателя? Достоевский не колебался: всегда милее и важнее услышать ободряющее слово читателя. «Право, не знаю, чем это объяснить: тут, прямо от читателя, — как бы более правды, как бы более *в самом деле*».

Еще через год, в 1877-м, в майском номере журнала Достоевский признавался: «За всё время издания моего "Дневника" я получил и продолжаю получать много писем, подписанных и анонимных, столь для меня лестных и столь одобрявших и поддерживавших меня в труде моем, что, прямо скажу, я никогда не рассчитывал на такое всеобщее сочувствие и никогда не считал себя достойным того. Эти письма я сберегу как драгоценность...»

...Посетив по прибытии в Эмс доктора Орта, Достоевский настойчиво расспрашивал, как быстро будет прогрессировать болезнь в легких. Доктор отвечал, что смерть пока далеко, что можно прожить долго, но слишком дурен петербургский климат, нужны предосторожности. Через две недели всё повтори-

лось. «На вопрос же мой (положительный) — так ли развилась моя болезнь, что мне уже недолго жить? — он даже засмеялся и сказал мне, что я не только 8 лет проживу, но даже 15, — но прибавил: "разумеется, если климат, если не будете простужаться, если не будете всячески злоупотреблять своими силами, и вообще, если не будете нарушать осторожную диету"».

В прогнозе эмсского эскулапа было слишком много «если». В сентябре 1876-го Ф. М. написал брату Андрею: «Наше время пролетело, как мечта. Я знаю, что моя жизнь уже недолговечна, а между тем не только не хочу умирать, но ощущаю себя, напротив, так, как будто бы лишь начинаю жить. Не устал я нисколько, а между тем уже 55 лет, ух! Тебе же желаю, особенно теперь, как можно больше здоровья и долголетия, чтобы любоваться на детей и ласкать внуков. Ничего не может быть лучше в жизни».

Глава четвертая
«Я САМ ЕВРОПЕЕЦ...»

Обретение дома. — Восточный вопрос. — «Страна святых чудес». — Книга Данилевского. — Понятие пользы. — Выгоды России. — Мечты о Константинополе. — Нравственное право. — Две родины. — Гамлеты и Карамазовы

Двухэтажный дом в Старой Руссе, с обширным двором, большим садом и огородом, сараями, погребом, русской баней, коровником, конюшней, каретником и прочими угодьями, который уже несколько сезонов снимали на лето Достоевские, после кончины в январе 1876 года А. К. Гриббе был выставлен на продажу его наследницей, покидавшей город и просившей за усадьбу со всей обстановкой, посудой и запасом дров 1100 рублей. По старорусским меркам это было дорого; по меркам столицы — совсем нет («Это мне кажется удивительно дешево в таком городе, как Старая Русса, куда летом съезжается более восьмисот семейств на лечение»[17], — писал Андрею Михайловичу и Домнике Ивановне Достоевским их сын Александр), но своих денег на такую покупку в семье в тот момент все равно не было.

Достоевские тревожились — в чьи руки попадет дом, захочет ли новый хозяин иметь их своими летними постояльцами. «Этот вопрос был для нас важен, — вспоминала А. Г. Достоевская, — за пять лет житья мы очень полюбили Старую Руссу и оценили ту пользу, которую минеральные воды и грязи при-

несли нашим деткам. Хотелось бы и впредь пользоваться ими... Мы полюбили и дачу Гриббе, и нам казалось, что трудно будет найти что-нибудь подходящее к ее достоинствам...»

Дом стоял у реки на окраине города; Ф. М. ценил уединенность, тенистый сад, мощеный двор, где можно было прогуливаться в дождливые дни, когда уездный городок утопал в грязи. Комнаты со старинной тяжелой мебелью красного дерева давали покой, тепло и уют; мысль, что здесь родился Алеша, позволяла отцу и матери мальчика считать это место родным кровом.

Предприимчивая и практичная Анна Григорьевна, как всегда, нашла выход из безденежья. «Мне так хотелось не упустить этой дачи, что я просила моего брата, Ивана Григорьевича, купить дом на свое имя, с тем, чтобы перепродать его нам, когда у нас будут деньги. Брат исполнил просьбу и купил дом, а я уже после смерти мужа купила у брата дом на свое имя. Благодаря этой покупке, у нас, по словам мужа, "образовалось свое гнездо", куда мы с радостью ехали раннею весною, и откуда так не хотелось нам уезжать позднею осенью. Федор Михайлович считал нашу старорусскую дачу местом своего физического и нравственного покоя и, помню, чтение любимых и интересных книг всегда откладывал до приезда в Руссу, где желаемое им уединение сравнительно редко нарушалось праздными посетителями».

Так на пятьдесят шестом году жизни Достоевский впервые обзавелся собственным жильем на лето, хотя статус этой собственности был, строго говоря, условен. Зимней квартиры в Петербурге или где бы то ни было в другом месте у него не будет никогда.

Но главное, свое гнездышко появилось у детей — семилетней Лили, пятилетнего Феди и годовалого Леши. Они росли, окруженные нежной любовью родителей, находивших у своих дорогих чад бесчисленные достоинства; и отец, и мать отчаянно тосковали, уезжая даже на короткое время. «Мне так хотелось бы видеть Федю, — писал Ф. М. жене из Эмса. — Не пренебрегай Лилей и, если можно, начни ее хоть помаленьку учить читать. У Лили, по-моему, твой характер: будет и добрая, и умная, и честная, и в то же время *широкая*; а у Феди мой, мое простодушие. Я ведь этим только, может быть, и могу похвалиться, хотя знаю, что ты про себя, может быть, не раз над моим простодушием смеялась. Так ли, Аня?»

В каждом письме из Эмса Достоевский настойчиво просил рассказывать о детях, запоминать их смешные словечки, забавные выражения; радовался, как хорошо его Аня умеет подметить и описать повседневную жизнь малышей. «Говори им

обо мне», — просил Ф. М. жену, беспокоясь, что за месяц разлуки маленький Леша, за которого как-то особенно болела душа, забудет отца, а старшие дети отвыкнут; мечтал повезти их всех за границу, покатать на осликах, посмотреть на собачек, которые возят тележки. «Когда гуляю, всё останавливаюсь у детей и любуюсь ими или заговариваю. Останавливаюсь и у маленьких годовых ребят — всё воображаю в каждом Лешу». Анну Григорьевну неизменно поражала способность мужа успокоить ребенка, восхищало его умение войти в интересы детей, приобрести доверие даже чужого, случайно встретившегося малыша и так его заинтересовать, что он мигом становился послушен и весел.

Немолодой отец маленьких детей, Достоевский будто наверстывал упущенное, преодолевая боль раннего сиротства, горечь неудачных любовных опытов, развал первого брака, глухую стену долгого холодного одиночества. В свои пятьдесят пять он заново переживал бурную влюбленность, относясь к девятилетнему супружеству совсем не как к «дешевому необходимому счастью», а как к подарку судьбы, как к воздуху, которым только и можно дышать. Он писал жене («Анька, царица моя и госпожа души моей») жаркие, вызывающе нескромные письма, где страсть не пряталась за декорацией благопристойных фраз, где в каждой строке неистовствовали мужской пыл и ненасытная жажда близости с «царицей и госпожой». Он ощущал полную душевную и телесную слитность с женой и упивался чувством, которое испытывал, пожалуй, впервые в жизни. Он ощущал, что не может долго — две, три, четыре недели — обходиться без нее, ибо по ней тосковала душа и ныло сердце.

Анна Григорьевна, как правило, отвечала сдержанно и, не позволяя себе никаких словесных восторгов, уверяла, что она обыкновенная женщина, золотая середина, с мелкими капризами и требованиями, имеющая лишь одно достоинство — беззаветную любовь к мужу и детям. Ф. М. горячо возражал: «Ангельчик мой, красавица моя, свет мой и *надежда* моя. Ты лучше и выше всех женщин; ни одна-то не стоит тебя. Мы сошлись по душе. Дай Бог еще нам подольше прожить вместе. А что я буду чем дальше, тем больше тебя любить — это факт!» Если же она *письменно* намекала на «особые чувства», его накрывало сладостной волной. «Анька, ангел ты мой, всё мое, альфа и омега! А, так и ты видишь меня во сне и, “просыпаясь, тоскуешь, что меня нет”. Это ужасно как хорошо, и люблю я это. Тоскуй, ангел мой, тоскуй во всех отношениях обо мне — значит, любишь. Это мне слаще меду. Приеду, зацелую тебя. А ты мне снишься не только во сне, но и днем. Но обожаю и не

за одно это. Ты в высшей степени мне друг — вот это хорошо. Не изменяй мне в этом, напротив, умножь дружбу собственной откровенностью (которой у тебя *иногда* нет), тогда у нас пойдет еще в 10 раз лучше. Счастье будет, Анька, слышишь».

Как не похож был *этот* Достоевский на образ «потухшего вулкана», нарисованный экзальтированной поклонницей Алчевской!

В письмах Ф. М. из Эмса все темы переплетались без стыков и швов — отчеты о лечении и впечатления о курортном народе, любовные признания и расспросы о детях, бытовые заботы и хлопоты по «Дневнику», являя полотно семейной и творческой жизни, которое ткали супруги Достоевские в дружном и слаженном единстве.

Органично переплетались в «Дневнике» и разнообразные темы его выпусков за 1876 и 1877 годы, являя полотно русской общественной жизни, какой она виделась писателю. «Время было горячее, тревожное, — вспоминал Вс. С. Соловьев, — Восточный вопрос снова стоял на очереди, сербская война, Черняев, добровольцы... чувствовалась неизбежность, необходимость великой борьбы... Достоевский говорил смело, оригинально, по-своему; выставлял неожиданные вопросы и неожиданно освещал их, вдохновенно пророчествовал. Заветные мысли и чувства истинно русского и искреннего человека были многим не по душе, а этот человек вдобавок имел уже большое влияние — и снова поднялись насмешки».

Критики «Дневника» сожалели, что писатель обращается к чуждой ему сфере политики. Достоевского — в связи с его выступлениями на военные темы — язвительно и глумливо называли «турецким публицистом», «дилетантом славянобесия», изображали чудаком, едва ли не политическим шутом и, конечно, «фантастом» и «мистиком». «Биржевые ведомости» (1876, 4 июля) писали: «Г-н Достоевский — отвлеченный мечтатель, крайне плохой, наивный политик, который чем более старается ободрить и утешить, тем более зловещею иронией звучат его слова в применении к реальным данным». Либеральные газеты вообще не хотели обсуждать «прорицания и откровения» автора по Восточному вопросу. Для публицистики Достоевского у русских западников всегда наготове были клише: «славянофильское кликушество», «трескучие фразы», «исступленные завывания».

Меж тем Восточный вопрос, который задолго до Достоевского поднимался как проблема положения Турции в Европе, обдумывался писателем в период Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, когда резко обозначились подводные течения европейской политики. Да и вопрос о Константинополе

впервые был поставлен отнюдь не Достоевским — достаточно вспомнить время правления Екатерины II, турецкие войны, первый раздел Польши и тот факт, что наиболее последовательным защитником турецких интересов всегда был французский посланник в Константинополе. Россия же испытывала дипломатические сложности даже в период своих наибольших достижений (таких как Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года и право свободного плавания по Черному морю и через проливы Босфор и Дарданеллы).

Здесь необходима краткая справка. 13 июля 1770 года, в разгар турецкой войны, Вольтер писал Екатерине II: «Если Ваше Величество не может взять Константинополя в нынешнем году, что мне весьма досадно, то заберите хотя бы всю Грецию, и пусть у Вас окажется прямое сообщение от Коринфа до Москвы. Это будет весьма красиво выглядеть на географических картах и немного утешит меня в том, что я не могу припасть к Вашим стопам на черноморском канале»[18]. Именно в это время созревал первый проект раздела Османской империи. План создания Греческой империи с центром в Константинополе (императором которой должен был стать второй внук Екатерины II, получивший греческое имя Константин, до тех пор не встречавшееся в романовских святцах), однако, не осуществился в ходе Турецкой кампании 1792 года.

Восточный вопрос получил статус *отложенного* вопроса; к тому же на его решение огромное влияние оказала французская революция. Наполеоновские завоевания вывели Восточный вопрос на новый уровень: для Наполеона Восток стал важнейшей фигурой политической игры. Присоединение России к антинаполеоновской коалиции в 1805—1807 годах вызвало новую турецкую войну, а Тильзитский мир (1807) породил уже у Александра I мечты о Греческой империи на месте Турецкой. И тут уже прусский министр Гарденберг, спасая разгромленную французами родину, выступил с проектом раздела Турции, не менее грандиозным, чем екатерининский: Балканский полуостров делился на три зоны: западная отходила к Франции, центральная — к Австрии и восточная, с Константинополем, — к России; за это Россия должна была отказаться от Польши и Литвы, куда садился саксонский король; Саксония же своей территорией возмещала Пруссии потери на Рейне и Висле.

Наполеон отнесся к этим планам более чем холодно, хотя охотно вел с русским императором разговоры о судьбах Востока. Для России результаты этих разговоров были ничтожны, а Александр I умер во время подготовки к новой войне с Турцией. Его преемник, Николай I, сумел уже в первые годы царст-

вования дойти до Адрианополя. Переход 20-тысячной русской армии через Балканы (1829) впервые ввел в область реального то, что было мечтой Екатерины II и Александра I.

Теперь вступление русских войск в Константинополь было вполне в пределах военно-географической возможности — и император Николай действительно готовил захват Дарданелл, однако пока не имел предлога для немедленных действий. Проект 1829 года дал руководящую линию всей восточной политике его царствования: *что отложено, то не потеряно.* В 1833 году, когда египетские армии вторглись в Малую Азию, Русский черноморский флот явился защищать Константинополь — к ужасу османского правительства; и черноморцы не ушли прежде, чем вынудили султана подписать конвенцию, превращавшую его в «сторожа при проливах» на службе России. Россия получала колоссальный перевес, и стерпеть этого европейские державы не могли. Конвенция то и дело нарушалась; благоприятная для России ситуация настала, казалось, после революции 1848 года. Николай I решил, что момент реализации его великого плана близок, и посвятил в эти планы — через английского посла в Петербурге — лондонский кабинет: за уступку русским Константинополя и проливов Англия должна была получить Крит и Египет.

В ответ Англия объявила, что противится такому предприятию всеми силами, а французский император даже прежде англичан двинул свой флот в турецкие воды, явившись защищать Константинополь. Целью англо-французской коалиции было обезоружить Россию на Черном море и уничтожить Черноморский флот. Россия, как настойчиво твердила европейская, а вслед за ней и русская либеральная историография, потерпела в Крымской войне сокрушительное военное поражение: по Парижскому миру (1856) Россия оказалась отброшена на исходные перед Кючук-Кайнарджийским миром позиции, и это был тяжелейший удар со времен поражения Петра Великого на берегах Прута, когда был потерян незадолго до того завоеванный Азов.

Крымская война, в которой против России выступили едва ли не все крупнейшие европейские государства, была попыткой расчленения России, задуманного и спланированного в Европе. Не выпускать Россию из войны, расширять театр военных действий — стало лозунгом западной коалиции. Вопрос об особом качестве поражения России стал предметом мучительных размышлений самых прозорливых и чутких современников Крымской кампании — ее уроки ссыльный солдат Достоевский усвоил еще в Семипалатинске. Противоречия между Россией и Европой стали лейтмотивом его публицисти-

ки на целых двадцать лет, равно как и мечта о синтезе двух начал — родной почвы и западной культуры.

На протяжении веков Россия оставалась чуждой Европе — этот горький пушкинский вывод стал в начале 1860-х отправной точкой для выработки идей почвенничества. Смысл «Истории Петра» и «Истории Пугачева», острый полемический импульс стихотворения «Клеветникам России» побуждал Достоевского напряженно думать о европейской судьбе России. Пушкин помог найти интеллектуальное противоядие историческому скепсису Чаадаева, но, быть может, именно Чаадаев раздразнил Достоевского, заставив его глубже, драматичнее переживать пути скрещений России и Запада.

«...Ложится тьма густая / На дальнем Западе, стране святых чудес...» — эти строки А. С. Хомякова стали символом, которым Достоевский впервые обозначил свой европейский маршрут 1862 года и который «работал» в этом качестве все последующие годы, почти двадцать лет. Поэт создал точный образ того Запада, который складывался у Достоевского под влиянием спорящих сторон — Карамзина, открывшего России ее историю, Чаадаева с его скепсисом, Пушкина с его государственнической мыслью, Герцена с западническими настроениями, славянофилов с их национальными надеждами.

Достоевский называл Европу страной своих долгих томлений, ожиданий и упорных верований, страной, о которой он мечтал с юности, и в 16 лет хотел даже бежать в «страну святых чудес». Почему Европа оказывает на русских, кто бы они ни были, такое сильное, волшебное, призывное влияние? Вопрос риторический. «Ведь всё, решительно почти всё, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, всё, всё ведь это оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась».

Смог ли кто-нибудь из образованных русских устоять против этого влияния? Если нет, то как же русские окончательно не переродились в европейцев? «Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек!»

Годами ища единомышленников, Достоевский испытал огромную радость, когда узнал о книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». «Светлая голова, развившаяся в странствиях по России и окрепшая в науке», — писал Майков в 1868-м о бывшем петрашевце. «Из фурьериста обратиться к России, стать опять русским и возлюбить свою почву и сущность! Вот

по чему узнается широкий человек!» — восторгался Ф. М., ждавший прочесть книгу «как голодный хлеба». Данилевский, мысль которого оказалась столь созвучна самосознанию Достоевского, стал для автора «Бесов» *угадчиком* (говоря в терминах Пушкина) общего хода русской истории.

Меж тем книга Данилевского содержала множество горьких слов, которые подтверждались — автор «Дневника» видел это — реальной историей. Европа относится к России враждебно, как к колоссальному завоевательному государству, «политическому Ариману», мрачной силе, противной прогрессу и свободе. Европа терпеть не может, когда Россия берется за цивилизаторство других народов и освоение диких территорий. Всякое преуспеяние России, всякое развитие ее внутренних сил, увеличение ее благоденствия и могущества есть бедствие, несчастье для человечества, — полагает общественное мнение Европы, на которое не может повлиять даже факт проведения либеральных реформ в России: Европа будет сочувствовать «крестьянскому делу», ибо надеется, что оно ввергнет Россию в нескончаемые смуты. Кинжальщики и поджигатели становятся героями, коль скоро их злодейства обращены против России. Защитники национальностей умолкают, когда речь заходит о защите русской народности. Европа не признает русских своими и видит в России чуждое и враждебное начало. Здесь, полагал Данилевский, речь идет об историческом инстинкте народов, заставляющем Европу не любить Россию и объясняющем ту двойственность мер и весов, которыми обмеривает и обвешивает Европа, когда дело идет о России и о других странах.

Отвечая на вопрос: «Европа ли Россия?» — Данилевский утверждал: Европа — понятие не географическое, а цивилизационное, поприще германо-романской цивилизации, и в этом смысле Россия к ней не принадлежит. Она не причастна ни европейскому добру, ни европейскому злу. Ни истинная скромность, ни истинная гордость не позволяют России считаться Европой. Она не заслужила этой чести, и только выскочки, не знающие ни скромности, ни благородной гордости, втираются в круг, который считается ими за высший; понимающие свое достоинство люди остаются в своем кругу.

В представлении Европы Россия — труднопреодолимое препятствие к распространению европейской цивилизации. Отсюда сочувствие ко всему, что клонится к ослаблению русского начала по окраинам России; ослаблять Россию — значит приносить жертву на алтарь Европы. Поэтому политический патриотизм возможен в любой европейской стране, но запрещен — с точки зрения европейца — для России. Ибо если Рос-

сия мечтает о европеизации, ей надлежит отказаться от политического патриотизма, от мысли о крепости своего государственного организма.

В известном смысле многие страницы «Дневника писателя» 1876—1877 годов — это диалог с книгой Данилевского и его статьями, ведь на авансцену истории опять вышел «вечно неразрешимый Восточный вопрос». Главным пунктом диалога становится, однако, не только судьба Константинополя как центра восточного мира (Данилевского интересовали условия мирных соглашений после окончания войны), но и соотношение политики и нравственности. По Данилевскому, применение правил морали к межгосударственным отношениям было бы странным смешением понятий. Требование нравственного образа действий, утверждал он, есть не что иное, как требование самопожертвования. Истинным же законом внешней политики, где нет места самопожертвованию и любви, есть *здравое понятие пользы.*

Подходы Достоевского качественно иные. Решению Восточного вопроса не могут служить «начала здраво понятой пользы», почерпнутые, кстати говоря, из анализа истории европейских войн последних столетий. Россия должна поступать честно, настаивает Достоевский; выгода России — пойти даже на явную жертву, лишь бы не нарушить справедливости. Ведь Россия, уверен писатель, никогда не действовала в политике из прямой выгоды; напротив, служила чужим интересам с бескорыстием, ибо в самоотвержении и бескорыстии вся ее сила, вся ее личность и всё ее будущее.

Рациональному, прагматическому пониманию политики Достоевский противопоставляет, как он сам пишет, «утопическое понимание истории» и взгляд на русское предназначение «в идеале». «Во имя чего же, во имя какого *нравственного* права могла бы искать Россия Константинополя? Опираясь на какие высшие цели, могла бы требовать его от Европы?» — вопрошает Ф. М. в «Дневнике писателя» 1876 года. (Стоит заметить, что Александр II страстно желал скорейшего и торжественного вступления русских войск в Константинополь, хотя Англии было обещано честным словом обратное.)

«Это будет настоящее воздвижение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, настоящее новое воздвижение креста Христова и окончательное слово православия, во главе которого давно уже стоит Россия. Это будет именно соблазн для всех сильных мира сего и торжествовавших в мире доселе, всегда смотревших на все подобные “ожидания” с презрением и насмешкою и даже не понимающих, что можно серьезно верить в братство людей, во всепримирение народов, в союз,

основанный на началах всеслужения человечеству, и, наконец, на самое обновление людей на истинных началах Христовых. И если верить в это "новое слово", которое может сказать во главе объединенного православия миру Россия, — есть "утопия", достойная лишь насмешки, то пусть и меня причислят к этим утопистам, а смешное я оставлю при себе. Да уж одно то утопия, — возразят, пожалуй, еще, — что России когда-нибудь *позволят* стать во главе славян и войти в Константинополь».

Мечта о Константинополе не была выдумкой Достоевского, агрессивной имперской манией. «Идея о Константинополе и о будущем Восточного вопроса так, как я ее изложил, — есть идея старая, и вовсе не славянофилами сочиненная. И не старая даже, а *древняя* русская историческая идея, а потому реальная, а не фантастическая, и началась она с Ивана III-го. Кто ж виноват, что у вас теперь везде и во всем Баден-Баден», — писал Достоевский как бы в свое оправдание.

Восточный вопрос (как и вопрос о взятии русскими войсками Константинополя) стал краеугольным камнем геополитики «по Достоевскому». На фоне реальных действий русской армии на Балканах, на фоне программы Данилевского с ее тезисами о здраво понятой пользе и даже на фоне либерально-расплывчатых размышлений русских западников (так, «почтенный идеалист» Т. Н. Грановский, на старую статью которого Достоевский ссылался в летних выпусках «Дневника писателя» за 1876 год, писал, что государство не частное лицо; оно не должно из благодарности жертвовать своими интересами, тем более что в политических делах самое великодушие никогда не бывает бескорыстным) позиция Достоевского действительно казалась крайне наивной и далекой от реальности.

«С этим признанием святости текущей выгоды, непосредственного и торопливого барыша, с этим признанием справедливости плевка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клок, — ведь с этим можно очень далеко зайти», — утверждал Достоевский. Не лучшая ли политика для *великой* нации именно политика правды, чести, великодушия и справедливости? — спрашивал он. Но что же следовало считать за правду в Восточном вопросе? Что считать за честь, великодушие и справедливость?

«Политика текущей практичности и беспрерывного бросания себя туда, где повыгоднее, где понасущнее, изобличает мелочь, внутреннее бессилие государства, горькое положение. Дипломатический ум, ум практической и *насущной* выгоды всегда оказывался ниже правды и чести, а правда и честь кончали тем, что всегда торжествовали».

С точки зрения насущной выгоды (если ее понимать утилитарно, в духе, положим, Грановского) славянские дела были крайне невыгодны для России. «Вот перед нами славянский вопрос: вот бы нам бросить теперь славян совсем!.. Ну, какая с ними практическая выгода, даже в будущем-то, и чем тут усилишься? Средиземное-то море когда-нибудь или Константинополь, “которого нам никогда не дадут”? Так ведь это только журавль в небе, да хоть и поймать его, так еще больше хлопот наживем. На 1000 лет наживем. Это ли благоденствие, это ли взгляд мудреца, это ли настоящий практический интерес? С славянами только возня и хлопоты; особенно теперь, когда они еще не наши».

Не столь уж безумными были политические размышления Достоевского, не столь наивными его виды на «единение славян» и «славянское братство», из-за которого «на нас уже сто лет косится Европа, а теперь и не косится только, а — при малейшем нашем шевелении — тотчас же выхватывает меч и наводит на нас пушку». «Утопическое» наблюдение Достоевского со временем будет нуждаться только в одной поправке — каким именно будет применяемое при «первом шевелении» оружие.

Что же делать? «Просто — бросить их, да и навсегда, чтоб успокоить раз навсегда Европу. Да и не просто бросить их: Европа-то, пожалуй, и не поверит теперь, что мы бросили, стало быть, бросить надо с доказательствами: надо нам же самим наброситься на славян и передавить их по братски, чтоб поддержать Турцию... И сколько выгод, практических, настоящих и уже немедленных выгод, а не мечтательных каких-то в будущем, получила бы тотчас Россия! Тотчас же бы кончился Восточный вопрос, Европа возвратила бы нам хоть на время свою доверенность, а вследствие того военный наш бюджет убавляется, наш кредит восстановляется, наш рубль входит в свою настоящую цену, — да это ли только: ведь журавль-то никогда не улетит, он всё летать будет!»

Такова была бы цена за бесчестье; при «разумном» поведении Россия могла бы использовать эту карту сколь угодно долго — «журавль никогда не улетит».

Отношение Европы к России в зависимости от ее поведения в Восточном вопросе Достоевский считал фактором *постоянным* (притом что взятие Константинополя оказывалось фактором *преходящим*). При малейшем шевелении России Европа *наведет на нее пушку* — такова была политическая интуиция Достоевского, основанная на исторических реалиях. С ней непосредственно было связано и другое предположение. «В *сущности* своей политика наша, даже во весь петербургский

период нашей истории, вряд ли рознилась в славянском, то есть Восточном вопросе, от древнейших заветов и преданий наших и воззрения народного. И правительство наше всегда твердо знало, что чуть народ наш заслышит призыв его в этом деле, то всегда отзовется на него всецело, а потому Восточный вопрос, в высшей сущности своей, всегда был у нас народным вопросом».

Поразительно, однако, что образ «страны святых чудес», при всех разочарованиях и обманутых надеждах, не померк в сознании Достоевского даже в тот момент, когда Европа жестко противостояла русским интересам на Востоке. «У нас — русских, — писал Достоевский, — две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами (пусть они на меня за это не сердятся). Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных Русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, — не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству».

Так же, как и славянофилы, Достоевский считал всечеловечность главнейшей личной чертой и назначением русского народа. Однако он призывал не смешивать служение общечеловеческой идее и легкомысленное шатание по Европе тех русских, кто добровольно и брюзгливо покинул отечество. Русским не стыдно по-настоящему любить Европу — ведь многое из того, что от нее взято и пересажено на родную почву, не копировалось рабски, а прививалось к своему организму, вживалось в плоть и кровь. «Всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира, наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России. Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Диккенс — роднее и понятнее русским, чем, например, немцам... Это русское отношение к всемирной литературе есть явление, почти не повторявшееся в других народах в такой степени, во всю всемирную историю, и если это свойство есть действительно наша национальная русская особенность — то какой обидчивый патриотизм, какой шовинизм был бы вправе сказать что-либо против этого явления и не захотеть, напротив, заметить в нем прежде всего самого широко обещающего и самого пророческого факта в гаданиях о нашем будущем».

Достоевский испытывал огромную горечь, видя, что благородная цель войны, провозглашенная Россией, казалась Европе столь невероятной, что воспринималась как варварство «отставшей, зверской и непросвещенной» нации, способной лишь на низость и глупость. «Взгляните, кто нас любит в Европе теперь особенно? Даже *друзья* наши, отъявленные, формен-

ные, так сказать, друзья, и те откровенно объявляют, что *рады нашим неудачам*. Поражение русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им. В случае же удач наших эти друзья давно уже согласились между собою употребить все силы, чтоб из удач России извлечь себе выгод еще больше, чем извлечет их для себя сама Россия...»

Перспектива военного столкновения с Европой — при самом восторженном отношении к задаче освобождения славян от турецкого владычества — пугает, ужасает Достоевского. «Мы — сталкиваемся с Европой! Европа — но ведь это страшная и святая вещь, Европа! О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы — эта самая Европа, эта “страна святых чудес”! Знаете ли вы, как дороги нам эти “чудеса” и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и всё великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и *родной* нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, всё более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ее!»

Знаменательно, что такую позицию Достоевский считал именно *славянофильской*. В одном из разделов летнего выпуска «Дневника писателя за 1877 год», с символическим названием «Признания славянофила», он вновь и вновь повторял свои опасения, что Европа по-прежнему, по-всегдашнему, встретит Россию высокомерием, презрением и мечом, как диких варваров, недостойных говорить с нею. Но винит он в этом не Европу. К себе, то есть к русской стороне, он обращает необходимый и неизбежный вопрос. Что мы скажем или покажем Европе, чтоб она нас поняла? Что у нас есть такого, что могло бы быть ей *понятно*, за что бы она нас *уважала*? Ведь Европа, которая считается только с фактами, непременно спросит нас: «Где ваша цивилизация? Усматривается ли строй экономических сил ваших в том хаосе, который видим мы все у вас? Где *ваша* наука, *ваше* искусство, *ваша* литература?»

Что сможет ответить Россия Европе и что сможет предъявить ей? (В черновиках к этому выпуску «Дневника» Достоевский высказался еще определеннее: «Я сам европеец. Я благоговел перед великой загадкой “страны святых чудес”. Где факты?»)

Однако после событий Русско-турецкой войны тезис о русских как о европейцах начнет сильно корректироваться. В январском выпуске «Дневника писателя за 1881 год», который

выйдет посмертно, Достоевский сделает новое «признание славянофила»: *русский не только европеец, но и азиат*; русскому европейцу пора сознать и выполнить свою миссию в азиатской части страны. Ведь «вся наша русская Азия, включая и Сибирь, для России всё еще как будто существуют в виде какого-то привеска, которым как бы вовсе даже и не хочет европейская наша Россия интересоваться». Достоевский выдвинет тезис о центральном значении Азии в грядущей судьбе России. Он будет вынужден признать: весь XIX век русских европейцев преследовали лакейская боязнь и постыдный страх прослыть в Европе азиатскими варварами. Во имя этого страха были допущены колоссальные ошибки, за которые русские поплатились утратой духовной самостоятельности. Неудачная европейская политика России вызвала у Европы еще бóльшую неприязнь к ней. «И чего-чего мы не делали, чтоб Европа признала нас за *своих*, за европейцев, за одних только европейцев, а не за татар. Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, сами напрашивались во все ее дела и делишки. Мы то пугали ее силой, посылали туда наши армии “спасать царей”, то склонялись опять перед нею, как не надо бы было, и уверяли ее, что мы созданы лишь, чтоб служить Европе и сделать ее счастливою».

Но всякая попытка «осчастливить» Европу, освободив ее от деспота или узурпатора, никому не приносила политического счастья. Так случилось и с освобождением Европы от Наполеона: «Все эти освобожденные нами народы, тотчас же, еще и не добив Наполеона, стали смотреть на нас с самым ярким недоброжелательством и с злейшими подозрениями. На конгрессах они тотчас против нас соединились вместе сплошной стеной и захватили себе всё, а нам не только не оставили ничего, но еще с нас же взяли обязательства, правда, добровольные, но весьма нам убыточные, как и оказалось впоследствии. Затем, несмотря на полученный урок, — что делали мы во все остальные годы столетия и даже доныне?»

Спустя полвека после Пушкина Достоевский увидит все те же причины европейской подозрительности. Подводя итоги русско-европейским отношениям, он признает фиаско русской дипломатии в европейской политике. «Кончилось тем, что теперь всякий-то в Европе... держит у себя за пазухой припасенный на нас камень и ждет только первого столкновения. Вот что мы выиграли в Европе, столь ей служа? Одну ее ненависть! Мы сыграли там роль Репетилова, который, гоняясь за фортуной, “Приданого взял шиш, по службе ничего”».

Россия, считает Достоевский, проиграла свою европейскую карту как раз из-за того, что слишком активно, себе во вред, не считаясь с собственными интересами, не понимая да-

же, в чем именно эти интересы состоят, бросалась в европейские распри, как в свое кровное дело. Это русское безрассудство только способствовало усилению тех, кто уже завтра готов был напасть на Россию. Достоевский окажется предсказателем русско-германских отношений, как они сложатся в XX веке. «Не мы ли способствовали укреплению германских держав, не мы ли создали им силу до того, что они, может быть, теперь и сильнее нас стали? Да, сказать, что это мы способствовали их росту и силе, вовсе не преувеличенно выйдет. Не мы ли, по их зову, ходили укрощать их междоусобие, не мы ли оберегали их тыл, когда им могла угрожать беда? И вот — не они ли, напротив, выходили к нам в тыл, когда нам угрожала беда, или грозили выйти нам в тыл, когда нам грозила другая беда?»

Европа, по Достоевскому, так и не поверила, что Россия считает своим назначением служение ее благоденствию. Европа никак не смогла признать Россию *своей*, не признала за ней право участвовать наравне с другими европейскими державами в судьбе их общей цивилизации. Европа считает русских пришельцами, самозванцами. «Они признают нас за воров, укравших у них их просвещение, в их платья перерядившихся... И наконец, мерзим мы ей, мерзим, даже лично, хотя и там бывают иногда с нами вежливы».

Не оставалось никаких иллюзий насчет вожделенного братства: какое там братство, если Европа «своими нас не признает, презирает нас втайне и явно, считает низшими себя как людей, как породу, а иногда так мерзим мы им, мерзим вовсе, особенно когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями».

И тем не менее Россия не должна отворачиваться от Европы, тем более — от окна в Европу. Достоевский снова вспомнит нетленный поэтический образ и не найдет слов лучше, сердечнее. «Нам нельзя оставлять Европу совсем, да и не надо. Это "страна святых чудес", — и изрек это самый рьяный славянофил». Ф. М. произнесет поразительные слова в честь Европы — поразительные и ошеломляющие, если учесть все минувшие войны, в которых Европа была для России или ненадежным союзником, или коварным противником. «Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными».

То есть такая мать (именно мать, а не мачеха!), которая не любит и не уважает свое неразумное, назойливое дитя, порой ненавидит и боится его, не доверяет ему, подозревает в дурных наклонностях и злых намерениях, считает вором, ряженым, желает ему хиреть и слабеть, а при попытках нежностей с отвращением отворачивается. Выходило, что привязанность

России к Европе — страсть роковая, неотступная, безответная и всегда жертвенная. Мы сами, пишет Достоевский в «Дневнике», сделали для себя из Европы *какой-то духовный Египет*. Не пора ли позаботиться об исходе, перестав быть рабами и приживальщиками? Не пора ли собраться с мыслями, сосредоточиться на себе, жить своими собственными интересами?

Немало сердечных, задушевных мыслей Достоевского выскажет в канун поздних «Дневников» герой «Подростка» Версилов, одаренный «всемирным болением за всех». Один лишь русский получил способность становиться наиболее русским именно тогда, когда он наиболее европеец. «Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль... Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия».

Но Достоевский поздних «Дневников», так же как Версилов, чувствовал, что поэтическая мечта о «стране святых чудес» разбивается вдрызг и остаются только *осколки* прежней красоты. Лик европейского старого мира под угрозой; европейцы сожгли Тюильри — и Версилов, как наяву, видит заходящее солнце последнего дня европейского человечества, слышит звон похоронного колокола. В момент войны между Францией и Пруссией Версилов ощущает себя, русского, *единственным европейцем* в гибнущей Европе. «О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями... Одна Россия живет не для себя, а для мысли... вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы!»

«Страна святых чудес» навсегда останется в сердце и в памяти героев Достоевского как драгоценное кладбище — скоро об этом знаменитом погосте будут рассуждать и герои его нового романа. «Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, — в то

же время убежденный всем сердцем моим, что всё это давно уже кладбище и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими».

Однако Иван Карамазов так и не доберется до Европы. Митя, выбирая между свободой в Америке и каторгой в Сибири, выберет мерзлую землю и родные осины. Тема кладбища с «дорогими покойниками» парадоксально возникнет вновь и в связи с четвертым братом — убийцей и самоубийцей Смердяковым, мечтавшим о лакированной загранице. Заграница снилась, мерещилась, но так и не далась в руки погибающим братьям.

«У тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы», — прозвучит в последнем романе обидная мысль взволнованного прокурора будто в завершение темы.

Глава пятая

«ЕСЛИ ТОЛЬКО ВСЕ ЗАХОТЯТ...»

Явление «Кроткой». — Солнце-мертвец. — Еврейский вопрос. — Идея буржуазности. — Похороны святого доктора. — Апелляция к войне. — Неразрешимое противоречие. — Лучшие люди. — Симфония о России. — Видение Света. — Навстречу Истине

...И вдруг между октябрьским и декабрьским выпусками «Дневника» за 1876 год, с неизбежным «фазисом Восточного вопроса» и мудреным делом об осужденной в каторгу петербургской швее Е. П. Корниловой, выбросившей свою шестилетнюю падчерицу из окна четвертого этажа, а та осталась жива-здорова, — в зябкий и туманный ноябрь выпорхнул, почти незаконно, в обход публицистических обязательств автора, поразительный мужской монолог, какого еще не знала русская литература. Писатель извинялся перед читателями и просил их снисхождения за то, что дает, вместо привычной политики, *лишь повесть*, которая заняла весь номер — и будто в голос кричала о неодолимой страсти автора к художественной работе.

«Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, “собрать свои мысли в точку”. Притом это закоренелый ипохондрик, из тех, что говорят сами с собою. Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, *уясняет* себе его... Ряд

вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к *правде*; правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. Истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере для него самого. Вот тема».

С этого предисловия начиналась повесть «Кроткая», которую автор назвал «фантастическим рассказом», имея в виду необычную форму: рассказывание длится несколько часов, сбивчиво и урывками; герой то говорит сам с собой, то будто обращается к строгому судье. «Если б мог подслушать его и всё записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем всё стенографе (после которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим».

Позже литературный мир России и Европы преклонится перед «Кроткой»: ее назовут шедевром, вещью изумительного совершенства; жемчужиной, каких немного есть в мировой литературе; маленькой книжечкой, недосягаемой по своему величию. Однако первые критики, прочитав повесть, умудрились обрадоваться, кажется, только одному обстоятельству: наконец-то вздорные политические мысли автора «Дневника» уступили место «беллетристическому очерку», «не особенно выработанному психическому этюду».

Впрочем, радуясь, что читатели получили месячный отпуск от мрачной публицистики, газетные перья охотно отмечали и редкий талант писателя, и его тонкое мастерство, и самобытную художественную манеру, пусть и несколько «утомительную», с длиннотами и лишними подробностями, и то, что в повести автор легко и свободно становится самим собой. «Биржевые ведомости» (1876, 10 декабря) напечатали заметку «Заурядного читателя» (А. М. Скабического) под рубрикой «Мысли по поводу текущей литературы», где приветствовалось появление в «Дневнике» оригинального сочинения «талантливого художника» вместо «туманных рассуждений» «плохого мыслителя». Будто бы оправдывая свой псевдоним, «Заурядный читатель» находил, что повесть написана наскоро и не относится к «особенно сильным произведениям г. Достоевского», хотя в числе ее достоинств можно назвать психический анализ противоречий в характере героя, весьма эксцентрическом и не лишенном правдоподобия.

Формула о «плохом мыслителе» и «талантливом художнике» оказалась чрезвычайно удобной для критики, которая, в

силу неисправимой заурядности, не справлялась с феноменом «Дневника». Меж тем в повести о девушке, выбросившейся из окна с образом Богородицы в руках, автор оставался верен и себе, и главному замыслу своего журнала — видеть за скупыми строчками газет «злобу дня» и пытаться понять суть живой современности. Автор был глубоко убежден, что даже не слишком яркий на первый взгляд факт действительной жизни может заключать такую глубину, какой нет и у Шекспира, — надо только иметь зоркий глаз и силу воображения. «Но ведь в том-то и весь вопрос: на чей глаз и кто в силах? Ведь не только чтоб создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника».

Это значило, что и для «Дневника» факты примечал, отбирал и описывал прежде всего художник.

Третьего октября 1876 года среди пестрых сообщений городской хроники газеты «Новое время» Достоевский обратил внимание на небольшую заметку: «В двенадцатом часу дня, 30-го сентября, из окна мансарды шестиэтажного дома Овсянникова, № 20, по Галерной улице, выбросилась приехавшая из Москвы швея Марья Борисова... Не имея здесь никаких родственников, занималась поденною работою и последнее время часто жаловалась на то, что труд ее скудно оплачивается, а средства, привезенные из Москвы, выходят, поэтому устрашилась за будущее. 30 сентября она жаловалась на головную боль, потом села пить чай с калачом, в это время хозяйка пошла на рынок и едва успела спуститься с лестницы, как на двор полетели обломки стекол, затем упала и сама Борисова. Жильцы противоположного флигеля видели, как Борисова разбила два стекла в раме и ногами вперед вылезла на крышу, перекрестилась и с образом в руках бросилась вниз. Образ этот был лик Божией Матери — благословение ее родителей. Борисова была поднята в бесчувственном состоянии и отправлена в больницу, где через несколько минут умерла».

В том же октябре «Дневник» замечал: «Этот образ в руках — странная и неслыханная еще в самоубийстве черта! Это уж какое-то кроткое, смиренное самоубийство. Тут даже, видимо, не было никакого ропота или попрека: просто — стало нельзя жить, "Бог не захотел" и — умерла, помолившись. Об иных вещах, как они с виду ни *просты*, долго не перестается думать, как-то мерещится, и даже точно вы в них виноваты. Эта кроткая, истребившая себя душа невольно мучает мысль».

Необходимо было понять и «обжить» диковинное происшествие — и оказалось, что для дикого поступка московской швеи одной публицистики недостает, как достало ее, к примеру, для «жеста» семнадцатилетней дочери А. И. Герцена и

Н. А. Тучковой-Огаревой Лизы, обмотавшей лицо повязкой с хлороформом и оставившей дерзко-злую предсмертную записку. Достоевский писал в «Дневнике»: «Безобразнее всего то, что ведь она, конечно, умерла без всякого отчетливого сомнения... Значит, просто умерла от "холодного мрака и скуки", с страданием, так сказать, животным и безотчетным, просто стало душно жить, вроде того, как бы воздуху недостало. Душа не вынесла прямолинейности безотчетно и безотчетно потребовала чего-нибудь более сложного...»

Но безвестная «девушка с образом», в своем бунтарском порыве шагнувшая в окно, и ее супруг-мучитель, ростовщик-гусар, хищный тип с мрачным подпольем в душе, со знанием дела цитирующий Гёте, потребовали от художника огромного напряжения художественной мысли и воображения. Нужно было сочинить смертельные ловушки для невесты, обрисовать столкновение характеров, надорвавшее оба сердца, привести к роковому финалу, где образ Богородицы с младенцем (тот самый, «домашний, семейный, старинный, риза серебряная золоченая», который Кроткая в заклад принесла и пять рублей за него получила, а ростовщик к себе в киот под лампадку поставил) оказывался невольным свидетелем и вынужденным фигурантом самоубийства.

Гибельную идею господства над смиренно-непокорной Кроткой выражал монолог обезумевшего ростовщика, так близко стоявшего у райских врат и так бездарно проигравшего и свое счастье, и жизнь жены: «Люди на земле одни — вот беда! "Есть ли в поле жив человек?" — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Всё мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля! "Люди, любите друг друга" — кто это сказал? Чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ее стоят у кроватки, точно ждут ее... Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?»

Целы ботиночки; цел после падения с высокого этажа на землю образ Богородицы в серебряной ризе (вернулся в киот ко вдовцу-ростовщику? остался в гробу страдалицы?); «цела» и Кроткая — ничего себе не размозжила, ничего не сломала, только с горстку крови, с десертную ложку, изо рта вышло... Перед лицом смерти всё дико, всё неправдоподобно, всё поздно...

Как решить, как почувствовать, какой факт требует публицистического отклика, а какой — частного ответа на читательское письмо; что́ пропустить мимо внимания, а что́ поставить в центр дневниковых сюжетов; во что не стоит вмешиваться, а

чтó требует личного поступка за пределами журнальной статьи? «Лучше уж ошибиться в милосердии, чем в казни», — полагал Ф. М., и потому не только писал о злополучной мачехе Корниловой, но и посещал ее в Доме предварительного содержания и спас-таки от каторги женщину, совершившую преступление в состоянии тяжелой беременности. «Оправдайте несчастную, и авось не погибнет юная душа, у которой, может быть, столь много еще впереди жизни и столь много добрых для нее зачатков. В каторге же наверно всё погибнет, ибо развратится душа, а теперь, напротив, страшный урок, уже вынесенный ею, убережет ее, может быть, на всю жизнь от худого дела; а главное, может быть, сильно поможет развернуться и созреть тем семенам и зачаткам хорошего, которые видимо и несомненно заключены в этой юной душе».

Когда Ф. М. получил письмо от А. Г. Ковнера, бывшего сотрудника «Голоса», осужденного за хищение в апреле 1875 года огромной суммы денег (168 тысяч рублей) из Московского купеческого банка, с которыми намеревался бежать в Америку, чтобы начать там новую жизнь, но был арестован в Киеве, — автор «Дневника» решил не только ответить грабителю, но и поднять в своем журнале волнующий образованного корреспондента вопрос.

Вор, осужденный за подлог и мошенничество, настойчиво приглашал Достоевского к диалогу и не без вызова рекомендовался: «Я, во-первых, еврей, — а Вы очень недолюбливаете евреев... во-вторых, я был одним из тех публицистов, которых Вы презираете, который Вас много, азартно и зло ругал... в-третьих, наконец, я — преступник и пишу Вам эти строки из тюрьмы»[19]. Красочно описывая свои невзгоды, Ковнер не постеснялся признаться, что не чувствует никакого раскаяния, никаких угрызений совести, ибо не видит в своем преступлении ничего по-настоящему *ужасного* и даже не успел воспользоваться плодами награбленного. При этом восхищался романами Достоевского, спорил с его взглядами на патриотизм, русскую народность, славянство и христианство, упрекал в ненависти к «жиду», «которая проявляется почти в каждом выпуске "Дневника"»[20], просил содействия в напечатании своих сочинений: «Вы бы оказали мне громадную услугу, потому что я страшно бедствую, почти голодаю...»[21]

На тот случай, если Ф. М. не ответит на письмо или откажет в помощи, Ковнер поддевал его цитатой из своего тюремного дневника — о «великих психологах-романистах»: «Какое им дело до постороннего живого существа, которое погрязло в преступлении, хотя бы оно и рвалось на свет Божий, умоляло о спасении, простирало к ним руки?.. Разве могут возиться они

с погибшими членами общества? Им ли *делать* что-нибудь реальное в их пользу?.. Таким образом, в то время, как они любуются всеми тонкостями созданного ими художественного преступника, они наверное с чувством некоторого отвращения станут читать письмо от настоящего преступника, тайно присланное им из тюрьмы...»[22]

Достоевский не отмолчался и вызов принял. «Мне не совсем по сердцу те две строчки Вашего письма, где Вы говорите, что не чувствуете никакого раскаяния от сделанного Вами поступка в банке», — замечал Ф. М., имея в виду «раскольниковские» аргументы Ковнера, «арифметически» убежденного, что грабеж «существенного вреда» никому не причинил. Но главный пункт — обвинения в ненависти к еврейскому народу — потребовал развернутого ответа, который вышел за рамки личного письма* на страницы журнала. Мартовскому выпуску «Дневника писателя за 1877 год», с разделами о еврейском вопросе, суждено будет стать предметом самого пристального, пристрастного, болезненного интереса читателей обеих национальностей и столетие спустя.

«О, не думайте, что я действительно затеваю поднять “еврейский вопрос”! Я написал это заглавие в шутку, — начинал Достоевский. — Поднять такой величины вопрос, как положение еврея в России и о положении России, имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев, — я не в силах. Вопрос этот не в моих размерах».

Разговор, как объяснял писатель, возник из-за писем читателей-евреев. «С некоторого времени я стал получать от них письма, и они серьезно и с горечью упрекают меня за то, что я на них “нападаю”, что я “ненавижу жида”, ненавижу не за пороки его, “не как эксплуататора”, а именно как племя, то есть

---

* В ответном письме умному цинику, как аттестовал Ковнера Достоевский, говорилось: «Теперь же Вам скажу, что я вовсе не враг евреев и никогда им не был. Но уже 40-вековое, как Вы говорите, их существование доказывает, что это племя имеет чрезвычайно сильную жизненную силу, которая не могла, в продолжение всей истории, не формулироваться в разные status in statu. Сильнейший status in statu бесспорен и у наших русских евреев. А если так, то как же они могут не стать, хоть отчасти, в разлад с корнем нации, с племенем русским? Вы указываете на интеллигенцию еврейскую, но ведь Вы тоже интеллигенция, а посмотрите, как Вы ненавидите русских, и именно потому только, что Вы еврей, хотя бы и интеллигентный. В Вашем 2-м письме есть несколько строк о нравственном и религиозном сознании 60 мильонов русского народа. Это слова ужасной ненависти, именно ненависти, потому что Вы, как умный человек, должны сами понимать, что в этом смысле (то есть в вопросе, в какой доле и силе русский простолюдин есть христианин) — Вы в высшей степени некомпетентны судить. Я бы никогда не сказал так о евреях, как Вы о русских».

вроде того, что: "Иуда, дескать, Христа продал". Пишут это "образованные" евреи, то есть из таких, которые (я заметил это, но отнюдь не обобщаю мою заметку, оговариваюсь заранее) — которые всегда как бы постараются дать вам знать, что они, при своем образовании, давно уже не разделяют "предрассудков" своей нации, своих религиозных обрядов не исполняют, как прочие мелкие евреи, считают это ниже своего просвещения, да и в Бога, дескать, не веруем».

Признавая факты неприязни между евреями и русскими, Ф. М. категорически отрицает, ссылаясь и на личный опыт, существование в русском простонародье предвзятой, априорной, тупой, религиозной ненависти к евреям и подчеркивает, что мотивы национальных антипатий скопились не с одной, а с обеих сторон. Русским часто несимпатично самомнение и высокомерие евреев, у русских же народ еще невежествен, необразован, экономически неразвит — что евреи любят подчеркивать. Очевидно: дело не в национально-племенной разнице, а в различных социальных ролях обоих народов. «Уж не потому ли обвиняют меня в "ненависти", что я называю иногда еврея "жидом"? Но, во-первых, я не думал, чтоб это было так обидно, а во-вторых, слово "жид", сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: "жид, жидовщина, жидовское царство" и проч. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаться с нею, но не обижаться словом».

Автор «Дневника» недооценивал «обиды словом» — оно задевало и обижало, кажется, куда больнее, чем все прочие рассуждения. Но в них-то и была суть дела. «Жидовство», «идея жидовская», «охватывающая весь мир, вместо "неудавшегося" христианства», — это, по мнению писателя, прежде всего идея *буржуазности*. «Всяк за себя и только за себя и всякое общение между людьми единственно для себя» — таким видел он нравственный принцип большинства «теперешних» людей. Этот принцип заместил прежний мировой строй и стал *главной* идеей столетия во всем европейском мире. XIX век возвел всегдашние устремления человека к материальному достатку в высший принцип, узаконил представление о свободе как о личном богатстве.

«Наступает вполне торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские, национальные и даже народной гордости европейских народов. Наступает, напротив, матерьялизм, слепая, плотоядная жажда *личного* матерьяльного обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами — вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо

христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей».

В определении своей эпохи как буржуазной, отвечающей «еврейскому духу», Достоевский вряд ли был оригинален; формулы о ростовщическом духе, безжалостной эксплуатации русского крестьянства со стороны капиталиста-еврея, о том, что «еврей любит торговать чужим трудом» и предпочитает посредническую деятельность, о том, что «верхушка евреев воцаряется над человечеством всё сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть», писали задолго до Достоевского. Однако в обвинениях, которые он предъявляет в адрес еврейского народа за все 40 веков его бытия, содержались характеристики социальные, а не национальные или религиозные. Несмотря на горькие слова о ростовщиках и религиозных фанатиках, рассуждая о дурных качествах евреев запальчиво и страстно (как страстно и горячо Ф. М. рассуждал обо всем), он был совершенно искренним, когда доказывал, что никогда не испытывал к евреям ненависти как к народу.

Писатель обращается к своим корреспондентам с чередой вопросов. «Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в ненавистники еврея как народа, как нации? Как эксплуататора и за некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но — но лишь на словах: на деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея. Но опять-таки: когда и чем заявил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я, с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю, раз навсегда, с тем, чтоб уж потом об этом и не упоминать особенно».

Далее читатель «Дневника» должен был решить для себя: верить или не верить признанию писателя, и если все же верить, то попытаться вникнуть в логику аргументов на щекотливую тему.

Еще в начале публицистического поприща Достоевский как издатель «Времени» выступал против национализма крайних славянофильских изданий. «Узкая национальность не в духе русском», — заявлял он, замечая, что русские привыкли выставлять перед всем миром свои недостатки, готовы толковать о своих язвах, бичевать самих себя «во имя негодующей любви к правде...».

«Время» регулярно публиковало материалы о бедственном положении еврейского населения, проживающего в чертах оседлости Российской империи. «Евреи стеснены весьма зна-

чительно, — сообщалось в десятом номере за 1862 год. — Живут они обыкновенно в страшной тесноте и в своих занятиях, ремеслах соперничают друг с другом до последней крайности, чтобы каким-нибудь образом просуществовать. В каком-нибудь крошечном местечке случается встретить двух или даже трех весьма искусных ювелиров, десяток слесарей, двадцать кузнецов и множество других ремесленников... И толпятся они таким образом у самой границы соседней губернии, где не имеют прав гражданства. Если есть хоть тень правды в том, что евреи вредят христианскому населению того края, в котором они живут, разоряя крестьян своим настойчивым добыванием барышей, то на это есть одна только причина: невозможность вселиться туда, где нужна их работа, где они могут быть полезны прямым честным трудом».

В полемике с газетой «День», которая усматривала угрозу для христианства в тех евреях, которые благодаря реформам получили высшее образование, «Время» (1862, № 1—2) писало: «Против кого вы воюете? Не это ли называется слепою враждою, которая ведь очень последовательна, то есть до конца неразумна? Если бы в иудействе было что-нибудь вредное для христианства, охранение от этого вреда, очевидно, может заключаться только в его вере. “День” ищет другой охраны: он желал бы видеть его в законе; ему стоит еще сделать шаг — и он будет искать в огне и мече».

Возвращаясь пятнадцать лет спустя к больной теме, Достоевский имел право утверждать, что никогда не искал среди чужеземцев или инородцев виновных за русские беды — тому доказательством было все им написанное: сотни персонажей русского происхождения «сочиняют» русскую жизнь, творят русскую трагедию, изобретая свои или заимствуя чужие теории и решая, как перевернуть Россию вверх дном.

Русская чиновница-ростовщица Алена Ивановна берет с нищих русских студентов «жидовские» проценты, а русский студент Раскольников убивает «вредную» (но русскую!) старушонку топором. Русский либерал, интеллигент, профессор Степан Трофимович Верховенский проигрывает в карты своего крепостного мужика, естественно, русского, и тот становится убийцей и беглым каторжником. Русский дворянин Версилов на глазах своего русского семейства вдребезги разбивает православную икону, а его незаконнорожденный сын, Аркадий Долгорукий, мечтает стать таким, как еврей Ротшильд, и получить вожделенные миллионы, не думая о их национальной окраске. Русские купцы швыряют в огонь сотни тысяч рублей ради того, чтобы русские дворяне ползли за горящими купюрами на коленях и хватали их голыми руками.

Люди — не «жиды и полячишки», немцы или французы, а русские — обуреваемы жадностью и алчностью. Лужин и Свидригайлов, Рогожин и Тоцкий, Ставрогин и Верховенский, семейства Епанчиных и Карамазовых, семинарист-карьерист Ракитин, монах-фанатик Ферапонт — всё это русский мир, русская стихия с ее пороками, грехами и падениями. (Отношение Достоевского к русским как к нации будут впоследствии трактовать как общее проявление его мизантропии, в которой отношение к евреям или полякам всего лишь частный случай. В том же, как именно он изображал русских, каких персонажей и с какими атрибутами вывел, какими «особенностями» наградил, увидят даже тайную русофобию: писатель, потомок литовского рода, то есть исконный, природный европеец, осознанно или неосознанно потакал западным ожиданиям.)

Достоевский, несомненно, ощущал себя русским и учил, следуя идеалам народной правды, искать *не в селе, а в себе.* «Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, — вот в чем вся тайна первого шага». Согласно высшему христианскому принципу, он ратовал за полное и окончательное уравнение прав евреев с коренным населением в формальном законодательстве и мечтал («бу́ди! бу́ди!») о полном и духовном единении племен. Он умолял своих корреспондентов-евреев быть к русским снисходительнее и справедливее и полагал: «Если высокомерие их, если всегдашняя “скорбная брезгливость” евреев к русскому племени есть только предубеждение, “исторический нарост”, а *не кроется в каких-нибудь гораздо более глубоких тайнах его закона и строя,* — то да рассеется всё это скорее».

Читатели слышали его слова: «Да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему! Да смягчатся взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзальтация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей. А за русский народ поручиться можно: о, он примет еврея в самое полное братство с собою, несмотря на различие в вере, и с совершенным уважением к историческому факту этого различия, но все-таки для братства, для полного братства *нужно братство с обеих сторон*».

Вопрос оставался открытым: насколько способны обе стороны к *настоящему* братскому единению с чуждыми им по вере и по крови людьми?

И все же счастливое подтверждение возможности *братства с обеих сторон* он получил в самом скором времени — из письма еврейской девушки, дочери банкира из Минска Софьи Лурье, которая до этого уже обращалась к нему с просьбой принять ее, «быть ей руководителем», благословить на поезд-

ку в Сербию санитаркой. История 84-летнего доктора Гинденбурга, немца-протестанта, который 58 лет подряд лечил население Минска, отдавая беднякам разных национальностей последний кусок хлеба, потрясла писателя. В строках проникновенного письма корреспондентки Ф. М. нашел воплощение невозможного, казалось бы, идеала. Хоронили доктора как святого. «Все бедняки заперли лавки и бежали за гробом. У евреев есть мальчики, которые при похоронах распевают псалмы, но запрещается провожать иноверца этими псалмами. Тут перед гробом, во время процессии, ходили мальчики и громко распевали эти псалмы. Во всех синагогах молились за его душу, также колокола *всех* церквей звонили всё время процессии... Над его могилой держали речь пастор и еврейский раввин, и оба плакали...»

Итак, человек, который соединил над своим гробом весь город, которого оплакивали вместе русские бабы и бедные еврейки, для кого пелись молитвы на всех языках и звучали колокола всех церквей, — «общий» человек, как говорил о нем Достоевский, явил ответ на еврейский вопрос. Капля камень точит, а «общие человеки», уверял писатель, побеждают мир: на земле лучше и делать нечего, как верить в то, что *это* может сбыться и сбудется*.

«Насколько мне известно, — писала автору после выхода мартовского «Дневника» 1877 года его корреспондентка Т. Б. Брауде, — евреи рады и благодарны Вам за эту статью... Вы увлечены любовью к русскому народу, и если многого не видите, то не столько из-за ненависти к евреям... сколько из-за этой именно любви. Вам является, по крайней мере, охота отвечать...»[23]

Однако сетовать на Достоевского из-за такого «увлечения» было нелепо, ибо это было не просто «увлечением», а основой

---

* Писательница Е. П. Леткова-Султанова, близкая к революционным и народническим кругам, вспоминала о времени конца 1870-х, когда она была курсисткой московских Высших женских курсов Герье: «В студенческих кружках и собраниях постоянно раздавалось имя Достоевского. Каждый номер “Дневника писателя” давал повод к необузданнейшим спорам. Отношение к так называемому “еврейскому вопросу”, отношение, бывшее для нас своего рода лакмусовой бумажкой на порядочность, — в “Дневнике писателя” было совершенно неприемлемо и недопустимо: “Жид, жидовщина, жидовское царство, жидовская идея, охватывающая весь мир...” Все эти слова взрывали молодежь, как искры порох. Достоевскому ставили в вину, что турецкую войну, жестокую и возмутительную, как все войны, он приветствовал с восторгом... Молодежь отчаянно боролась с обаянием имени Достоевского, с негодованием приводила его проповедь “союза царя с народом своим”» (*Леткова-Султанова Е. П.* О Ф. М. Достоевском. Из воспоминаний // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. С. 387).

миропонимания. В системе его ценностей выше любви к народу была только правда об этом народе. Тридцать с лишним лет назад начинающий писатель услышал от *главного* русского критика: «Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим художником». Ф. М. не кривил душой, когда в черновых тетрадях к «Дневнику писателя за 1877 год» записал: «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все те выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее».

Ему больно было видеть, что слепая, плотоядная жажда накопления торжествует повсеместно и перед ней никнут чувства добра и справедливости. «Лик мира сего» исказился до уродства. «Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли; а в кабак приняли! Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц?» — таковы беды народные. «Что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть: “Он умен, он Шекспир, он тщеславится своим талантом; унизить его, истребить его”» — таков моральный климат в среде интеллигенции.

Автор «Дневника» вынужден констатировать: «Человечество так дурно устроено, что не может не *поддерживать* свое дурное зданье мечом». А отсюда безрадостный вывод — «война лучше теперешнего положения», «даже такое благое дело, как долгий мир, вместо пользы обществу, обращается ему же во вред». Он размышляет: не проходило поколения в европейской истории без войны — видимо, она как-то облегчает человечество. «Но все-таки полезною оказывается лишь та война, которая предпринята для идеи, для высшего и великодушного принципа, а не для матерьяльного интереса, не для жадного захвата, не из гордого насилия...»

Апелляция Достоевского к войне — результат тяжелых сомнений и в делах отечества. «У нас, русских, — писал он в «Дневнике» 1877 года, — есть, конечно, две страшные силы, стоящие всех остальных во всем мире, — это всецелость и духовная нераздельность миллионов народа нашего и теснейшее единение его с монархом». Однако в это единение как в вернейшее средство от внутренних распрей все меньше верилось. «Я, как и Пушкин, — запишет он в январе 1881 года, за считаные дни до смерти, — слуга царю, потому что дети его, народ его не погнушаются слугой царевым. Еще больше

буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети».

И поистине роковые слова — после двадцати пяти лет правления Александра II и за полтора месяца до роковых событий 1 марта: «Что-то очень уж долго не верит».

В Русско-турецкой войне, сражении за свободу угнетенных народов, Достоевскому виделось спасение от грядущих бурь. Буржуазный долгий мир, полагал он (история докажет правоту писателя), «зарождает сам потребность войны... из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за новых рынков, нужных эксплуататорам, из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков». Всего шесть лет назад писал он в адрес победившей Пруссии: «Помните текст Евангелия: "Взявший меч и погибнет от меча". Нет, непрочно мечом составленное!.. После такого духа, после такой науки — ввериться идее меча, крови, насилья и даже не подозревать, что есть дух и торжество духа...»

Иное дело война во имя великодушной цели. Как заклинание, страстно, на сотни ладов, уверял Достоевский своих читателей (а более всего себя самого) в бескорыстных намерениях России, призванной обновить и спасти старую Европу, обреченную на бесконечные войны: Россия скажет всему миру, всему европейскому человечеству свое «новое, здоровое и еще неслыханное миром слово». «Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплевание», — твердил он в тот момент, когда появился у русского общества шанс на самоуважение.

Апрель 1877-го: объявлен Высочайший манифест о вступлении российских войск в пределы Турции — купленное в киоске на Невском проспекте объявление Достоевский будет хранить среди самых важных своих бумаг. Известие о начале войны увлекло Достоевского и его жену в Казанский собор. «Когда раздалось царское слово, народ хлынул в церкви, и это по всей земле русской. Когда читали царский манифест, народ крестился, и все *поздравляли* друг друга с войной. Мы это сами видели своими глазами, слышали, и всё это даже здесь в Петербурге. И опять начались те же дела, те же факты, как и в прошлом году: крестьяне в волостях жертвуют по силе своей деньги, подводы, и вдруг эти тысячи людей, как один человек, восклицают: "Да что жертвы, что подводы, мы все пойдем воевать!" Здесь в Петербурге являются жертвователи на раненых и больных воинов, дают суммы по нескольку тысяч, а записываются *неизвестными*. Таких фактов множество, будут десятки тысяч подобных фактов, и никого ими не удивишь. Они означают лишь, что весь народ поднялся за истину, за святое дело...»

От этих фактов Достоевский пережил подлинное потрясение.

Благая цель войны за освобождение славян от турецкой деспотии волнует автора «Дневника» красотой и благородством, сулит невиданные перемены внутри России, вселяет надежды на объединение всех слоев русских людей под знаменем великой идеи. Писатель видит в России Дон Кихота, простодушного и неподкупного рыцаря. «Одну Россию ничем не прельстить на неправый союз, никакой ценой». «Правда как солнце, ее не спрячешь: назначение России станет наконец ясно самым кривым умам, и у нас, и в Европе», — верит он.

Мысли о *честной* и *святой* войне владеют им, когда в мае 1877-го вместе с семьей он едет из Петербурга в Курскую губернию, в гости к шурину Ивану Сниткину: поезд часто останавливается, пропуская воинские эшелоны, идущие на фронт, и на всех остановках Достоевский закупает булки, пряники, спички, папиросы, разносит по вагонам, отдает солдатам и подолгу беседует с ними. В июле, по пути из Петербурга в Даровое, где Ф. М. не был 40 лет и куда теперь ехал навестить сестру Веру, он вступает в разговоры с простолюдинами, рассеивает вздорные слухи о страшных потерях, вглядывается в лица мужиков, читающих газеты с военными сводками, радуется проблескам их патриотического чувства, столь отличного от позиции левой интеллигенции, которая надеялась, что Русско-турецкая война выльется в протест против правительства и ускорит взрыв революции.

Достоевский не знал и не мог знать всех закулисных обстоятельств войны на Балканах, однако все ее перипетии — будь то мученическая смерть русского солдата в турецком плену или вопрос о взятии Константинополя — обсуждает с нравственной точки зрения. Способы ведения войны, выбор оружия — это, настаивает он, сфера не тактики и стратегии, а совести. «У турок разрывные пули. Непременно будут. Употреблять ли и нам? Нет, стыдно, бесчестно, лучше поплатимся временным страданием, но уж зато *обязанность* наша тогда человеческая взять гарантии и меры, чтоб уж впредь *не воевала такая страна как* Турция *ни с кем и никогда*, потому что эта страна не понимает: почему воспрещаются разрывные пули».

Поведение России в войне должно было явить пример нравственного отношения к политике. Прекрасно сознавая, сколь далек его идеал от дипломатии с позиции силы, Ф. М. именовал себя утопистом, мечтателем и так же называл свои статьи: «Примирительная мечта вне науки», «Мечты и грезы». Совсем не всё происходящее вписывалось в идеальную модель, и однажды он записал: «Нет, эта война мне не дается».

О неразрешимом противоречии между «Не убий» и «Убий» Достоевский говорит с горечью, видя непроходимую пропасть между идеалом и действительностью. Персонаж «Дневника», Парадоксалист, поражен, что христианство само признает факт войны и пророчествует, что меч «не прейдет до кончины мира». «Не думайте, — говорит Христос, — что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10: 34). Так когда же люди перекуют свои мечи на орала и копья свои на серпы, когда народы не будут более учиться воевать?

Ответа не было, и, кроме веры, что «мир переродится *вдруг* чудом», оставалась надежда на «будущую Россию честных людей, которым нужна лишь одна правда». *Лучшие люди* — один из важнейших пунктов публицистики Достоевского, лейтмотив «Дневника». Это им, будущим лучшим людям, писатель внушал: «Самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, — вот в чем вся тайна первого шага».

Но кто же они и где же они, эти лучшие люди? «Дневник» настойчиво искал ответ.

«Без лучших людей земля не стоит. Чины — пали. Дворянство пало. Все форменные установки лучшего человека — пали. Остались народные идеалы (юродивый, простенький, но прямой, простой. Богатырь Илья Муромец, тоже из обиженных, но честный, правдивый, истинный). В обществе хоть и профессор, хоть и ученый, талант, но чтоб честный и истинный. Понятно, что надо бы такому мировоззрению удержаться в народе — единственное наше спасение. Но если будут почитать купцов, мамону. Эти борются, эти хотят осилить народное мировоззрение».

Лучшим русским людям, по глубокому убеждению писателя, предстояло сказать свое слово в «решительных общемировых вопросах». Поиски правды исторической, межгосударственной приводили к исходному пункту — к правде нравственной. «Отрезвляющие речи» — так называли читатели «Дневника» страстную публицистику Достоевского. Его слово пробуждало от нравственной спячки, равнодушия и косности: все, что происходит в мире — на соседней улице или на другом конце планеты, — касается лично каждого.

В «Дневнике писателя», этой симфонии о России, всё и звучало вместе, оказывалось достойным и равным друг другу — судьба семилетней девочки, дочери изверга-отца, и судьба Европы; замученный турками русский герой Фома Данилов и доведенная до самоубийства Кроткая; российская уголовная хроника и события в мире; штурм Плевны и статьи Данилев-

ского; смерть Анны Карениной и смерть Некрасова в конце декабря 1877 года — потрясенный известием, Ф. М. ночь напролет читал вслух стихи ушедшего поэта («все эти тридцать лет как будто снова прожил...»).

Раздел «Дневника писателя» «Не всегда война бич, иногда и спасение» в апрельском выпуске 1877 года неожиданно получил в соседство «Сон смешного человека. Фантастический рассказ». Но теперь уже не было предисловия с извинениями перед читателями: художественное повествование помещалось в «Дневнике», так как прецедент уже случился. Не было и внешнего повода для фантазии — чего-либо вроде газетной заметки, как в случае с «Кроткой». Была лишь загадка: почему в тот момент, когда соотечественники поздравляют друг друга с войной, Достоевский, ревнитель и поборник этой войны, вдруг сочиняет фантазию о полете на планету, где в полной гармонии с природой и любящими их животными обитают «дети солнца»?

Столетие спустя шедевр, не замеченный и не понятый современниками, назовут «Евангелием от Достоевского», благой вестью, сном-пророчеством об Истине, запечатленным мгновением истории человечества, видением Света, преодолевшим пространство и время. Будет сказано и услышано: для свершения чуда («мир переродится *вдруг* чудом») и торжества золотого века на земле нужно *только* одно, но *всеобщее* условие: «Главное люби других как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться... в один бы день, *в один бы час* — всё бы сразу устроилось!»

Но каким бесконечно огромным в реальном человеческом бытии оказывается это «только»; какой несбыточной выглядит мечта о «всеобщем условии» любить друг друга, когда всем на свете всё — всё равно, когда воюющие страны не могут соблюсти даже договор о неиспользовании разрывных пуль. Каким невозможным видится золотой век, когда первое побуждение всякого человека — пнуть ногой ближнего и предаться своему эгоизму и раздражению, своей злобе, как предался им герой рассказа, Смешной человек, «современный русский прогрессист и гнусный петербуржец», почти самоубийца, залетевший в случайном сне на счастливую звезду, к безгрешным существам, чтобы, в ответ на любовь и ласку «детей солнца», разрушить их покой и мир. Это и была ужасная правда о падшем человеке, чье первое и всякое следующее побуждение — научить ближнего лгать, любить только себя и сеять ненависть. «Скоро, очень скоро брызнула первая кровь...»

Смешному человеку, пробудившемуся от сна, дарована надежда: «Я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть

прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей... Я видел истину, — не то что изобрел умом, а видел, видел, и *живой образ* ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей».

Истина была древней как мир. Ее повторяли биллионы раз, ее веками проповедовали со всех амвонов. Было только одно «но»: она так нигде и не прижилась. «Если только все захотят, то сейчас всё устроится», — твердил Смешной после испытанного потрясения.

Как никто, он трагически понимал, какого размера это «если», но готов был бороться и идти — навстречу Истине и Раю, каким никогда уже не станет старая грешная земля.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
БРАТЬЯ И БРАТСТВО

Глава первая

«MEMENTO...» ПОМНИТЬ О РОМАНЕ

Прекращение «Дневника». — Ухудшение здоровья. — Над могилой Некрасова. — Публичные чтения. — Предсказания гадалки. — Приобщение к «бессмертным». — Знаки признания. — Смерть Алеши. — На лекциях Вл. Соловьева. — У Каткова

В начале осени 1877 года, когда Достоевский с женой и детьми вернулся в Петербург после летних каникул, проведенных в имении И. Г. Сниткина (усадьба Малый Прикол в десяти верстах от заштатного городка Мирополье Суджинского уезда Курской губернии), он решил прекратить с будущего года издание «Дневника писателя», несмотря на его читательский и финансовый успех. Причин было несколько: тяготила срочная работа, многое из написанного цензура не пропускала в печать, заметно пошатнулось здоровье и, самое главное, звал большой художественный замысел.

Октябрьский выпуск «Дневника» вышел с авторским уведомлением: «По недостатку здоровья, особенно мешающему мне издавать “Дневник” в точные определенные сроки, я решаюсь, на год или на два, прекратить мое издание. Делаю это с чрезвычайным сожалением, потому что и не ожидал, начиная прошлого года “Дневник”, что буду встречен читателями с таким сочувствием. Сочувствие это продолжалось всё время, до последнего дня. Благодарю за него искренно. Благодарю особенно всех обращавшихся ко мне письмами: из писем этих я узнал много нового. И вообще издание “Дневника”, в продолжение этих двух лет, многому меня самого научило и во многом еще тверже укрепило. Но, к сожалению, я решительно принужден остановиться. С декабрьским выпуском издание

окончится. Авось ни я, ни читатели не забудем друг друга до времени».

В декабрьском прощальном выпуске Ф. М. благодарил читателей, называл своих корреспондентов сотрудниками. «Мне много помогли их сообщения, замечания, советы и та искренность, с которою все обращались ко мне...» Он твердо намеревался возобновить «Дневник» спустя год, понимая, сколь важно для писателя в тяжелое время быть *вместе* с читателем. «Как много висит на волоске именно в настоящую минуту, и как-то заговорим обо всем этом через год!»

Он исполнит свое намерение только через три года. Новая встреча, обещанная читателям, окажется непредвиденно и трагически короткой.

24 декабря 1877 года Достоевский набросал в рабочей тетради план на ближайшее десятилетие:

«Memento. На всю жизнь.

1) Написать русского Кандида.

2) Написать книгу о Иисусе Христе.

3) Написать свои воспоминания.

4) Написать поэму "Сороковины".

NB. (Всё это, кроме последнего романа и предполагаемого издания "Дневника", т. е. minimum на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет.)».

Здесь же были помещены перечни тем: «Мечтатель. Великий Инквизитор и Павел. Великий Инквизитор со Христом. В Барселоне поймали черта. Тайный совет, князь Д. Оболенский, три звезды на фраке, встреча с учительницами, дело в части, бежавший сумасшедший».

Планов было много, а жизни оставалось мало. Мысль и воображение настраивались на новый роман, «неприметно и невольно» сложившийся за два «дневниковых» года и рвавшийся *выразиться*, — туда войдут многие темы из перечня; но ни фантастического рассказа о сбежавшем сумасшедшем, ни издания ежемесячного журнала с отделами прозы, поэзии, хроники событий, новыми выпусками «Дневника», статьями и рецензиями (о замысле, который расширит «форму действия», Ф. М. писал Яновскому), ни тем более своих воспоминаний осуществить он уже не успеет.

Здоровье Достоевского зримо ухудшалось. Число припадков за время работы над «Дневником» увеличилось чуть ли не вдвое. «Небывалое еще учащение припадков», — записывал Ф. М. в июне 1876-го в памятной книжке, фиксируя сильнейшие приливы к голове, крайнюю раздражительность, грусть и ипохондрию, болезненные ощущения в пояснице и ногах. «Очень долго не приходил в сознание... Не столько поражена

голова, сколько спина и ноги... Очень усталое состояние... Очень туго соображение... Фантастичность, неясность, неправильные впечатления, разбиты ноги и руки... Более всего пострадала голова. Кровь выступила на лбу чрезвычайно и в темя отзывается болью... Смутно, грустно, угрызения... Перед тем расстроил нервы длинной работой и многим другим...»

Припадки ослабляли память писателя до такой степени, что часто он не узнавал людей, не помнил самых простых вещей и надеялся только на записную книжку. А. Г. Достоевская полагала, что самый большой промежуток между припадками насчитывал четыре месяца (сам он упоминал о перерыве в пять с половиной месяцев); при этом случались такие полосы, когда на неделе было по два припадка или через час после первого наступал второй. «Начиналось это обычно страшным нечеловеческим криком, какого нарочно никогда не произнести. Очень часто я еще успевала перебежать из своей комнаты через промежуточную, заваленную книгами, к нему и застать его, стоявшего с искаженным лицом и шатающегося. Я успевала обнять его сзади и потом опуститься на пол»[1].

Чаще всего падучая приходила ночью. «Он и спал не на постели, а на низеньком широком диване на случай падения. Он ничего не помнил, приходя в себя. Потом жалко и вопросительно произносил: "Припадок?" — "Да, — отвечаю я, — маленький!" — "Как часто! Кажется, был недавно". — "Нет, уж давно не было", — успокаивала я. После припадка он впадал в сон, но от этого сна его мог пробудить листок бумаги, упавший со стола. Тогда он вскакивал и начинал говорить слова, которых постигнуть невозможно. Ни предотвратить, ни вылечить этой болезни нельзя. Все, что я могла сделать, это — расстегнуть ему ворот, взять его голову в руки. Но видеть любимое лицо, синеющее, искаженное, с налившимися жилами, сознавать, что он мучается, и ты ничем не можешь ему помочь, — это было таким страданием, каким, очевидно, я должна была искупать свое счастье близости к нему. Дня четыре после каждого приступа он был разбит физически и духовно — в особенности ужасно было его нравственное страдание... Каждый раз ему казалось, что он умирает...»[2]

Хуже всего было, когда приступ настигал средь бела дня, в отсутствие жены. *Записная книжка, 8 апреля 1875 года*: «Предчувствовал сильно с вечера да и вчера. Только что сделал папиросы и хотел сесть, чтобы хоть 2 страницы написать романа, как *помню*, полетел, ходя среди комнаты. Пролежал 40 минут. Очнулся, сидя за папиросами, но не сделал их. Не помню, как очутилось у меня в руках перо, а пером я разодрал портсигар. Мог заколоться... Теперь почти час после припадка. Пишу это

и сбиваюсь еще в словах. Страх смерти начинает проходить, но есть всё еще чрезвычайный. Так не смею лечь. Бока болят и ноги. Уже 40 минут спустя пошел будить Аню и удивился, услышав от Лукерьи, что барыня уехала. Подробно расспрашивал Лукерью, когда и зачем она уехала. За полчаса до припадка принял opii benzoidi 40 капель в воде. Всё время полного беспамятства, то есть уже встав с полу, сидел и набивал папиросы, и по счету набил их 4, но неаккуратно, а в последние две папиросы почувствовал сильную головную боль, но не мог понять, что со мною...»

Падучая не оставит больного до конца дней — в сентябре 1880-го, после очередного припадка, Ф. М. запишет: «Порванность мыслей, переселение в другие годы, мечтательность, задумчивость, виновность, вывихнул в спине косточку или повредил мускул». Заметка от 6 ноября 1880-го, после припадка «из средних, утром в 7 часов, в первом сне», будет еще драматичнее: «Болезненное состояние очень трудно переносилось и продолжалось почти неделю. Чем дальше — тем слабее становится организм к перенесению припадков, и тем сильнее их действие».

Этого «дальше» оставалось совсем немного; эмфизема легких, катар дыхательных путей и сосудов, от чего его лечили в Эмсе, тоже не поддавались исцелению; сосуды истончались и становились опасно хрупкими. Он тяжело дышал — будто через материю, сложенную вчетверо, и с трудом ходил по лестницам. «Вот, к примеру, поднимаемся мы к Полонскому на 5 этаж, — вспоминала жена. — Садится он и отдыхает на каждой площадке. Десяток знакомых проходит мимо, видит нас и раскланивается и, конечно, несет хозяевам весть: "Идет Достоевский". Немудрено, что когда он входит, уже и хозяин и хозяйка в прихожей, и все наперебой начинают его раздевать, а он задыхается и не может сказать слова. Но чтобы не затруднять, и сам начинает помогать раздеванию, а всякое движение ему вредно. Дома был целый обряд его раздевания — минут десять»[3].

Лечение водами давало лишь временное улучшение — при условии сна по ночам, отказа от физических и нервных нагрузок, изнурительных творческих напряжений. Но вне Эмса врачебные рекомендации теряли обязательность. Он по-прежнему писал ночами при двух свечах, ложился на рассвете или поздним утром и спал до двух часов дня, курил толстые папиросы, зажигая их одна об другую, пил крепкий черный чай и такой же кофе, не щадил себя ни в художественной работе, ни в эпистолярном общении, ни в публичных выступлениях. Провожая в последний путь друга юности Некрасова, в тиши

кладбища Новодевичьего монастыря думал и о своем уходе. «Когда я умру, Аня, похорони меня здесь или где хочешь, но запомни, не хорони меня на Волковом кладбище, на Литераторских мостках. Не хочу я лежать между моими врагами, довольно я натерпелся от них при жизни!»

На Волковом уже много лет лежали Белинский, Добролюбов, Писарев...

Но к Некрасову понятие «враг» не относилось — Достоевский не держал зла на него. С ним была связана память о начале писательского поприща; поэт был первым, кто признал талант автора «Бедных людей». И дальше тоже что-то продолжалось в их жизни, соединявшее, важное, что не хотело и не могло прерваться, даже если они годами не встречались и глубоко расходились во взглядах. В ту ночь, когда не стало Некрасова и Ф. М. всю ночь просидел над его стихами, он попытался дать себе отчет о затаенной стороне духа этого загадочного человека, крупнейшего русского поэта, стоящего в ряду поэтов вслед за Пушкиным и Лермонтовым. «Это было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то никогда не заживавшая рана его и была источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь».

О том же говорил Достоевский и у могилы Некрасова. «Федор Михайлович, глубоко взволнованный, прерывающимся голосом произнес небольшую речь, в которой высоко поставил талант почившего поэта и выяснил ту большую потерю, которую с его кончиною понесла русская литература. Это было, по мнению многих, самое задушевное слово, сказанное над раскрытой могилой Некрасова», — вспоминала А. Г. Достоевская. «Находясь под глубоким впечатлением, — писал Ф. М. в «Дневнике», — я протеснился к его раскрытой еще могиле, забросанной цветами и венками, и слабым моим голосом произнес вслед за прочими несколько слов. Я именно начал с того, что это было раненое сердце...»

Слабый, глухой, взволнованный до изнеможения, прерывающийся голос Достоевского запомнился многим, кто слышал его публичные выступления в конце 1870-х. «Больной, с больным горлом и эмфиземой, опять был слышен лучше всех, — вспоминала Е. А. Штакеншнейдер. — Что за чудеса! Еле душа в теле, худенький, со впалой грудью и шепотным голосом, он едва начнет читать, точно вырастает и здоровеет. Откуда-то появляется сила, сила какая-то властная. Он кашляет постоянно и не раз говорил мне, что это эмфизема его мучает и сведет когда-нибудь, неожиданно и быстро, в могилу... Но во время чтения и кашель к нему не подступает; точно не смеет»[4].

О проникновенном чтении Достоевским пушкинского «Пророка» писала и М. Н. Стоюнина, гимназическая подруга Анны Григорьевны: «Читал он удивительно. Никто так, как он, не читал! Незабвенное осталось впечатление!.. Маленький человечек, худенький, серенький, светлые волосы, цвет лица и всего — серый. Ну, какая же фигура для "Пророка". И вот вырастал и вырастал! Читал он, и все слушали, затаив дыхание. Тихо начал, просто, и кончил — как пророк. У него и голос гремел, и он все вырастал. Пророк...»[5]

«Когда он читал "Пророка", казалось, что Пушкин именно его и видел перед собой, когда писал: "Глаголом жги сердца людей"»[6].

Худые, нервно сжатые руки. Изжелта-серое, усталое, почти восковое лицо. Бескровные, страдальчески изогнутые, будто в чем-то виноватые губы. Сдержанная, добродушная улыбка. Сероватая жидкая борода. Тихая походка, сосредоточенный взгляд себе под ноги, когда, сгорбившись, он шел по улице, не узнавая знакомых. Съежившиеся, словно им зябко, плечи. Незабываемые, глубоко запавшие глаза, которые сверкали как угли, когда он воодушевлялся в разговоре. «В лице Федора Михайловича всего более поражали его глаза. Они были темно-карие, глубокие, голова была покрыта темно-каштановыми, с небольшой проседью, мягкими волосами... Иногда [глаза] лихорадочно блестели, иногда казались потухшими, но в том и другом случае производили равно сильное впечатление. Это происходило еще и потому, что Ф. М., говоря, всегда смотрел пристально в упор»[7], — писала мемуаристка.

Таким в конце 1870-х Достоевского видели в домах, где он чаще всего бывал, — у Штакеншнейдер, у Я. П. Полонского, у А. П. Философовой. Анна Павловна, одна из учредительниц Высших женских курсов, супруга главного военного прокурора, называла писателя своим *нравственным духовником*. «Я ему все говорила, все тайны сердечные ему поверяла, и в самые трудные жизненные минуты он меня успокаивал и направлял на путь истинный. Я часто неприлично себя с ним вела! Кричала на него и спорила с неприличным жаром, а он, голубчик, терпеливо сносил мои выходки! Я тогда не переваривала романа "Бесы". Я говорила, что это прямо донос»[8]. Достоевский и в самом деле был снисходителен к обворожительной красавице (в 1877-м ей исполнилось сорок), ценя в ней «умное сердце», беззаветную доброту и талант каким-то восьмым чувством притягивать доверие людей. Именно в ее доме, где помощь оказывалась всем без исключения, расскажет Ф. М. о том черном эпизоде своего детства, когда какой-то пьяный мерзавец изнасиловал девятилетнюю девочку, и та умерла, истекая кровью.

«Знаете ли вы гадалку-француженку Фильд? Мне говорил про нее ваш брат; рассказал много интересного. Вы как ее знаете?» — спрашивал Достоевский Вс. С. Соловьева, когда в ноябре 1877 года тот навестил писателя, застав его в добром настроении и веселом расположении духа: в такие часы Ф. М. «всех любил» и «проповедовал снисходительность». О знаменитой гадалке Соловьев знал многое, так как успел побывать у нее дважды и убедиться, что пророчества француженки, сделанные в минуту вдохновения, сбываются точно и без промедления. Маленькая живая старушка с какими-то особенными черными глазами и необыкновенным даром слова сообщала ему такие вещи, которые, казалось, не могут случиться ни при каких обстоятельствах и которые тем не менее случались во всех подробностях, ею предсказанных.

Достоевский склонен был верить в возможность предсказаний. «Все верят, и если не признаются, то единственно из малодушия, которого в нас так много. Сам верит, верит, может быть, даже больше, чем бы следовало, — и в то же время смеется, глумится над искренним человеком, который так прямо и скажет, что верит...»

К мадам Фильд, проживавшей неподалеку, они отправились вместе, однако разговаривала гадалка с Ф. М. наедине. «Она интересная женщина, — возбужденно говорил Достоевский своему спутнику по дороге домой, — и я рад, что мы к ней отправились. Может, она и наврала, но я давно не испытывал такого сильного впечатления. О, как она умеет обрисовывать людей! Если б вы знали, как она рассказала мне мою обстановку!.. Она сказала, что меня ожидает такая известность, такой почет, о которых я никогда не мог и мечтать. Поверить ей, так меня на руках будут носить, засыпать цветами — и все это будет возрастать с каждым годом, и я умру на верху этой славы... Но вот, голубчик, может быть, она врунья, только интересная... интересная врунья! А ведь я все-таки же теперь и буду ждать этой славы, и уж это утешительно!.. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Ведь другие говорят общими местами, более или менее ловко; но сейчас же и замечаешь шарлатанство, каждое предсказание можно повернуть так или иначе — ну, а у нее все ясно...»

Увы, мадам Фильд предсказала также, что будущей весной у ее незнакомого гостя (гадалка понятия не имела, кто к ней пришел) случится семейное горе — смерть в доме. Достоевский сразу и как-то обреченно поверил: «Я теперь так и думаю, что оно наверное будет».

Дожидаться, пока сбудутся оба предсказания, долго не пришлось. Меньше чем через месяц, 2 декабря 1877 года, Достоев-

ский был избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности. 29 декабря избрание было оглашено в торжественном годовом собрании Академии наук и подтверждало право Достоевского приобщиться к почетному званию, какое до него из художников слова уже 25 лет носил А. Н. Майков, 20 лет — Ф. И. Тютчев, 17 лет — И. С. Тургенев и И. А. Гончаров, 14 лет — А. Н. Островский, 4 года — Л. Н. Толстой и А. К. Толстой. «Федор Михайлович был очень доволен этим избранием, хотя и несколько запоздалым (на 33-й год его деятельности) сравнительно с его сверстниками по литературе», — писала А. Г. Достоевская. Но «опоздание» академии могло иметь и внелитературную причину: только в июле 1875 года распоряжением Министерства внутренних дел писатель был освобожден от полицейского надзора.

Шестого февраля 1878 года Достоевский получил официальное письмо, подписанное академиком-экономистом К. С. Веселовским, непременным секретарем Академии наук: «Императорская Академия наук, желая выразить свое уважение к литературным трудам вашим, избрала вас, милостивый государь, в свои члены-корреспонденты по отделению русского языка и словесности». Вместе с письмом был получен и традиционный диплом на латыни на имя «славнейшего мужа»: «...virum clarissimum Theodorum Michaelis filium Dostoiefski...»

«Убедительнейше прошу Вас, высокоуважаемый Константин Степанович, — отвечал академику Веселовскому новоизбранный член-корреспондент на листе почтовой бумаги большого формата крупным и нарядным почерком, — передать высокому ученому учреждению, удостоившему меня избрания, что я принимаю избрание это с живейшею признательностью, вполне сознавая и ценя всю великость оказанной мне чести за столь малые и слабые, покамест, заслуги мои...» 3 марта 1878 года письмо Достоевского было прочитано на заседании общего собрания академии.

Знаки общественного признания выражались той зимой в самых разных формах и от самых разных лиц. В декабре 1877-го вышла в свет книга «Русские современные деятели. Сборник портретов замечательных лиц настоящего времени с биографическими очерками», где был помещен и очерк о Достоевском с его гравированным портретом. Автор очерка, А. Михайлов, в частности, писал: «Бесспорно, что Ф. М. Достоевский принадлежит к числу самых талантливых и наиболее любимых русских романистов. Ф. М. особенно силен в изображении болезненных явлений нравственного мира...» И будто в рифму к словам очеркиста звучали строки из письма

Ковнера, «старого знакомого», сосланного после двух лет тюрьмы в Томск: корреспондент Достоевского сожалел, что с прекращением «Дневника писателя» одним честным органом стало меньше, так как, при всей странности взглядов писателя, они вызывали сочувствие, и каждый читатель был убежден, что автор «Дневника» действительно любит русский народ[9].

В начале года Достоевского посетил Д. С. Арсеньев, воспитатель великих князей, двадцатилетнего Сергея (в 1905-м он будет взорван «адской машиной» эсера-террориста Каляева) и семнадцатилетнего Павла (его расстреляют большевики в 1919-м). От имени их отца, государя Александра II, Арсеньев передал желание императора познакомить царских сыновей с писателем, который их интересует. «Федору Михайловичу приятно было сознавать, что он имеет возможность исполнить хотя бы небольшое желание лица, пред которым всегда благоговел за великое дело освобождения крестьян, — за осуществление мечты, которая была дорога ему еще в юности и за которую отчасти он так жестоко пострадал в свое время», — писала А. Г. Достоевская; она гордилась, что общение их высочеств с ее мужем произвело на них хорошее впечатление и продолжилось до самой смерти Ф. М. Знакомство с великими князьями доставило писателю, сообщала Анна Григорьевна, «самое благоприятное впечатление: он нашел, что они обладают добрым сердцем и недюжинным умом и умеют в споре отстаивать свои, иногда еще незрелые убеждения, но умеют с уважением относиться и к противоположным мнениям своих собеседников».

Предсказать, что у этих прекрасно образованных, талантливых юношей впереди мученическая смерть, а у страны — две революции, мировая война, отречение от российского престола их племянника Николая (в 1878-м будущему государю было всего десять лет) и распад империи, не могли тогда ни А. Г. Достоевская, ни гадалка Фильд. Для Достоевского, несмотря на тревожные предчувствия («мы живем в мучительное время... вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной», — писал он как раз весной 1878-го), это было время большой славы, частых выступлений на литературных вечерах, в придворных салонах — ему случалось читать свои вещи у великого князя Константина Константиновича, будущего известного поэта К. Р., в то время двадцатилетнего юноши, в котором Ф. М. разглядел истинный поэтический дар; чтения проходили порой в присутствии супруги наследника престола великой княгини Марии Федоровны и других особ царской семьи.

«В начале 1878 года, — вспоминала А. Г. Достоевская, — Федор Михайлович бывал на обедах, которые устраивались каждый месяц Обществом литераторов в разных ресторанах:

у Бореля, в "Малоярославце" и др. Приглашения рассылались за подписью знаменитого химика Д. И. Менделеева. На этих обедах собирались исключительно литераторы самых различных партий, и здесь Федор Михайлович встречался со своими самыми заклятыми литературными врагами. За зиму (1878 года) Федор Михайлович побывал на этих обедах раза четыре и всегда возвращался с них очень возбужденный и с интересом рассказывал мне о своих неожиданных встречах и знакомствах».

Весной 1878-го признание пришло и с Запада. Комитет общества литераторов Франции прислал Достоевскому приглашение принять участие в Международном литературном конгрессе в Париже под председательством Виктора Гюго. Список почетных членов Международной литературной ассоциации, представляющих Россию, выглядел заманчиво: «Fédor Dostojewsky, le Conte Léon Tolstoj, Ivan Tourgeneff». «Меня особенно влечет к этому литературному торжеству то, что оно должно открываться под председательством Виктора Гюго, поэта, чей гений оказывал на меня с детства такое мощное влияние», — отвечал Достоевский устроителям, принимая приглашение. Однако поехать на конгресс в конце мая не смог: наступил срок предсказания старухи Фильд о смерти в семье.

Только задним числом узнает Анна Григорьевна о зловещем пророчестве гадалки: 16 мая 1878 года не стало маленького (ему не было и трех лет) Алеши Достоевского. «Алексей, — вспоминала его старшая сестра, — казался крепким и здоровым ребенком, но у него был странный овальный, почти угловатый лоб; маленькая головка была яйцевидной формы. Это не уродовало ребенка, но придавало ему забавное, удивленное выражение. Когда Алексей подрос, он стал любимцем Достоевского. Брату и мне было запрещено входить в кабинет отца без разрешения, но на маленького Алешу этот запрет не распространялся... Алеша был очень умным и приятным ребенком...»

О том, что Ф. М. любил своего младшего сына болезненной любовью, будто предчувствуя, что скоро потеряет его, вспоминала и мать ребенка. Вскоре после смерти Алеши она записала, по свежим следам, как развивалась болезнь. Мальчик захворал 28 апреля, с жаром и рвотой, плохо спал и ел; однако через четыре дня поправился. 30 апреля у него случился припадок с судорогами и потерей сознания (родимчик?), продолжавшийся четыре минуты; жар появлялся также 12 и 14 мая. 16 мая приключился судорожный припадок, который длился более трех часов. «Агония продолжалась 1 час 40 мин, сначала очень стонал и охал, а потом тихо...» Приглашенный доктор принял припадок за родимчик и успокоил родителей. Судоро-

ги заметно уменьшились; А. Г. была рада, что они переходят как будто в спокойный сон. «И каково же было мое отчаяние, когда вдруг дыхание младенца прекратилось и наступила смерть. Ф. М. поцеловал младенца, три раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдала; горько плакали и наши детки, так любившие нашего милого Лешу».

Доктора объясняли безутешным родителям, что всему виной неправильная форма черепа ребенка — мозг не находил места для роста. Потрясенный отец был особенно угнетен, что мальчик умер от приступа эпилепсии. Всю ночь простоял Ф. М. на коленях перед тельцем сына, сокрушаясь, что передал ему эту жестокую болезнь. «Я была поражена их одиночеством, — рассказывала А. П. Философова, извещенная о смерти Алеши, — принесла им гробик, и меня просили положить ребенка. Я его положила, много с ними плакала»[10].

«Сегодня скончался у нас Алеша, — писал Ф. М. брату Николаю, — от внезапного припадка падучей болезни, которой прежде и не бывало у него. Вчера еще веселился, бегал, пел, а сегодня на столе. Начался припадок в 1/2 10-го утра, а в 1/2 третьего Лешечка помер. Хороним в четверг 18-го на Большом Охтенском кладбище. До свидания, Коля, пожалей о Леше, ты его часто ласкал (помнишь представлял пьяного: Ванька дуляк?) Грустно, как никогда».

Алеша Достоевский был похоронен рядом со своим дедом Г. И. Сниткиным, которого уже 12 лет не было на свете. «Мы все четверо сели в коляску — папа, мама, мой брат Федя и я, — вспоминала Л. Ф., — и маленький гробик был поставлен между нами. Дорогой много плакали, гладили маленький белый гробик, усыпанный цветами, и вспоминали все любимые выражения дорогого малютки. После короткой службы в церкви понесли гроб на кладбище. Как хорошо помню я этот день! Это был сияющий день мая; все цвело, в ветвях старых деревьев пели птицы, чередующееся пение священника и хора мелодично разносилось по исполненному поэзии кладбищу. Слезы катились по щекам отца, он поддерживал рыдающую жену. Она не могла оторвать взор от маленького гробика, медленно исчезавшего под землей...»

Грустной весной 1878 года Анну Григорьевну охватила апатия — исчезла жизнерадостность, пропала энергия. Она признавалась позже, что охладела в тот момент и к хозяйству, и к делам, и даже к собственным детям. Ф. М. умолял жену пожалеть их семью и со смирением принять ниспосланное несчастье. Она же, видя, как мужественно муж переносит горе, стала опасаться, что загнанная вглубь сердца печаль может фатально отразиться на его хрупком здоровье. «Чтобы хоть несколько ус-

покоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила Вл. С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину Пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом».

Знакомство с Вл. Соловьевым насчитывало уже пять лет — в январе 1873-го двадцатилетний кандидат Московского университета написал письмо в редакцию «Гражданина», предлагая «доставить краткий анализ отрицательных начал западного развития: внешней свободы, исключительной личности и рассудочного знания — либерализма, индивидуализма и рационализма»[11]. «Впечатление он производил тогда очаровывающее, — вспоминала А. Г., — и чем чаще виделся и беседовал с ним Федор Михайлович, тем более любил и ценил его ум и солидную образованность... Про лицо Вл. Соловьева Федор Михайлович говорил, что оно ему напоминает одну из любимых им картин Аннибала Карраччи "Голова молодого Христа"».

Двадцать восьмого января 1878 года в заседании петербургского отделения Общества любителей духовного просвещения (членом Общества был и Достоевский) прошла первая из двенадцати лекций Вл. Соловьева «О Богочеловечестве» — которые тот с огромным успехом читал в зале Соляного городка в Петербурге и которые Ф. М. регулярно посещал (о «чуть не тысячной толпе», слушающей лекции молодого философа, писатель сообщил, кстати, ученику Н. Ф. Федорова Н. П. Петерсону). А. Г. Достоевская, бывая на лекциях Соловьева вместе с мужем и встречая среди слушателей общих знакомых, запомнила, возвращаясь однажды с чтений, как странно сдержан при встрече был Страхов, явно избегавший общения. Когда обычный воскресный гость Достоевских («беседами со Страховым муж очень дорожил и часто напоминал мне пред предстоящим обедом, чтоб я запаслась хорошим вином или приготовила любимую гостем рыбу») пришел в «свой день» к ним обедать, все разъяснилось: «Ах, это был особенный случай... Я не только вас, но и всех знакомых избегал. Со мной на лекцию приехал граф Лев Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему я ото всех и сторонился».

Вспоминая эпизод, Анна Григорьевна невольно сравнивала смех Страхова и острую досаду Достоевского:

«Как! С вами был Толстой? — с горестным изумлением воскликнул Федор Михайлович. — Как я жалею, что я его не видал! Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него!

— Да ведь вы по портретам его знаете, — смеялся Николай Николаевич.

— Что портреты, разве они передают человека? То ли дело увидеть лично. Иногда одного взгляда довольно, чтобы запечатлеть человека в сердце на всю свою жизнь. Никогда не прощу вам, Николай Николаевич, что вы его мне не указали!»*

А Толстой оставил живописный рассказ о той лекции: «Можете себе представить битком набитый зал, духота невероятная, просто теснят друг друга, сидеть негде — не только стулья, но окна все заняты. Дамы чуть ли не в бальных туалетах. И вдруг с большим запозданием, как и следует maestro, появляется на эстраде Соловьев — худой, длинный как жердь, с огромными волосами, с глазами этакого византийского письма, в сюртуке, который висит на нем, как на вешалке, и с огромным белым галстуком, просто шелковым платком вместо галстука, повязанным бантом, как знаете, у какого-нибудь художника с Монмартра, обвел глазами аудиторию, устремил взгляд куда-то горе и пошел читать, как пошел... через каждые два-три слова по двух и трехэтажному немецкому термину, которые почему-то считаются необходимыми для настоящей философии, просто ничего не понять... читал он это, читал, а потом вдруг дошел до каких-то ангельских чинов и стал их всех перечислять — по-поповски — херувимы, серафимы, всякие престолы и разные прочие чины, положительно не знаю, откуда он их набрал и точно всех их видел сам. Глупо как-то. Я так и не мог дослушать лекции, оставив Страхова одного»[12].

...В конце мая 1878 года осиротевшие Достоевские выехали из Петербурга в Старую Руссу. Было договорено, что в середине июня Ф. М. приедет в Москву, откуда вместе с Соловьевым отправится в Оптину пустынь. «Одного Федора Михайловича я не решилась бы отпустить в такой отдаленный, а главное, в те времена столь утомительный путь. Соловьев хоть и был, по моему мнению, “не от мира сего”, но сумел бы уберечь Федора

---

* «Я всегда жалею, что никогда не встречался с вашим мужем», — говорил вдове Достоевского Л. Н. Толстой при их единственной личной встрече «однажды зимой», в большой низенькой комнате его московского дома. «А как *он* об этом жалел! А ведь была возможность встретиться — это когда вы были на лекции Владимира Соловьева в Соляном городке. Помню, Федор Михайлович даже упрекал Страхова, зачем тот не сказал ему, что вы на лекции. “Хоть бы я посмотрел на него, — говорил тогда мой муж, — если уж не пришлось бы побеседовать”. — “Неужели? И ваш муж был на той лекции? Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить”!» Двойная игра Страхова, «фальшивого друга» и «злого гения», как аттестовала его А. Г., открылась, к сожалению, весьма поздно, когда ни его самого, ни Достоевского, ни Толстого уже не было в живых...

Михайловича, если б с ним случился приступ эпилепсии» (А. Г. Достоевская). Но в Москве — до поездки в Оптину — должна была решиться судьба нового романа.

Ранней весной (в доме еще звенел голосок маленького Алеши) Достоевский обратился к преподавателю Елизаветградского реального училища, известному педагогу В. В. Михайлову с «творческой» просьбой. «В Вашем письме меня очень заинтересовало, между прочим, то, что Вы любите детей, много жили с детьми, да и теперь с ними бываете. Ну вот и просьба к Вам, дорогой Владимир Васильевич: я замыслил и скоро начну большой роман, в котором, между другими, будут много участвовать дети и именно малолетние, с 7 до 15 лет примерно. Детей будет выведено много. Я их изучаю и всю жизнь изучал, и очень люблю, и сам их имею. Но наблюдения такого человека, как Вы, для меня (я понимаю это) будут драгоценны. Итак, напишите мне *об детях* то, что сами знаете. И о петербургских детях, звавших Вас дяденькой, и о елизаветградских детях, и *о чем знаете*. (Случаи, привычки, ответы, слова и словечки, черты, семейственность, вера, злодейство и невинность; природа и учитель, латинский язык и проч. и проч. — одним словом, что сами знаете.) Очень мне поможете, очень буду благодарен и буду жадно ждать».

Месяц спустя, в середине апреля, имелись уже черновые наброски, которым, должно быть, предшествовали планы и заметки. «Memento (о романе)», — записывал Достоевский, перечисляя обязательные задания: «Узнать, можно ли пролежать между рельсами под вагоном, когда он пройдет во весь карьер? Справиться: жена *осужденного* в каторгу тотчас ли может выйти замуж за другого? Имеет ли право Идиот держать такую ораву приемных детей, иметь школу и проч.? Справиться о детской работе на фабриках. О гимназиях, быть в гимназии. Справиться о том: может ли юноша, дворянин и помещик, на много лет заключиться в монастыре (хоть у дяди) послушником? (NB. По поводу провонявшего Филарета.)».

Это были уже совсем близкие подступы к «Братьям Карамазовым».

Вскоре Достоевский будет заслоняться новой работой от назойливых посетителей, видя в ней «свою родную, заветную мечту». «Я, например, теперь затеял свой труд и, летом же, несмотря на лечение (потому что у меня нет отдыха), намерен и должен приступить к труду моему. И вот я всё это бросай...»

Двадцатого июня Достоевский был в редакции «Русского вестника», у Каткова. Накануне сильно простудился — добирался в Москву из Старой Руссы, в вагоне поезда ужасно сквозило; всю ночь промучился без сна, страдая от удушливого,

разрывного кашля. Мучила и боязнь, что Катков откажет. Михаил Никифорович принял автора «задушевно, хотя и довольно *осторожно*». Осторожность Каткова была Достоевскому *почти* понятна. «Стали говорить об общих делах, и вдруг поднялась страшная гроза. Думаю: заговорить о моем деле, он откажет, а гроза не пройдет, придется сидеть отказанному и оплеванному, пока не пройдет ливень. Однако принужден был заговорить. Выразил всё *прямо и просто*. При первых словах о желании участвовать лицо его прояснилось, но только что я сказал о 300 рублях за лист и о сумме вперед, то его как будто передернуло».

Вечером Достоевский сидел в номере «Европы» и тревожно обдумывал, как может обернуться дело. Даже если Катков не откажет (а он *откажет несомненно*), то будет настаивать на *сильной сбавке с 300 рублей*. Ближе к ночи Ф. М. принял твердое решение: в случае, если Катков откажет и нужно будет предлагаться другим журналам, а до того жить бог знает чем, все равно — по возвращении в Старую Руссу немедленно приняться за роман.

Катков не давал ответа два дня, присылал рассыльного с извинениями, что встреча откладывается на сутки; и Ф. М. не видел в этом для себя ничего хорошего. Несмотря на признание читателей, литературные обеды и музыкальные вечера с великими князьями, он снова, как и во всю свою жизнь, был в полной зависимости от издателей, которым вынужден был сам предлагать свою работу; снова просил аванс, снова должен был отдавать сочинение в печать *до* (а не после!) его полного завершения, снова был скован ежемесячным журнальным ритмом.

Вскоре одна из поклонниц писателя запишет в дневнике: «Достоевский сказал: “Никогда не продавайте своего духа... Никогда не работайте из-под палки... Из-под аванса. Верьте мне... Я всю жизнь страдал от этого, всю жизнь писал торопясь... И сколько муки претерпел... Главное, не начинайте печатать вещь, не дописав ее до конца... До самого конца. Это хуже всего. Это не только самоубийство, но и убийство... Я пережил эти страдания много, много раз... Боишься не представить в срок... Боишься испортить... И наверное испортишь... Я просто доходил до отчаяния... И так почти каждый раз”»[13].

Он страдал, что *именно так* все складывается и на этот раз. Правда, неясность с Катковым быстро прошла — страхи оказались напрасными. 22 июня Достоевский был в «Русском вестнике» и описал встречу с издателем лаконично и взволнованно. Заминка Каткова (быть может, связанная еще и с тем, что «Подросток» был напечатан не у него, а у Некрасова) вы-

глядела странно: издатель «Русского вестника» сомневался, будет ли вообще журнал выходить в следующем году. На удивление легко решились проблемы аванса и гонорара. «Короче, он [Катков] рад, деньги вперед, 300 р. и проч. — за это ничуть не стоят, а меж тем всё еще не решено, будет ли мой роман в "Русском вестнике", и даже будет ли еще и сам "Русский вестник". В *октябре* решится, и я обещал приехать в Москву. Деньги же Катков не только даст, но и особенно просил меня взять вперед: то есть 2000 теперь, 2000 в октябре (или в конце сентября и проч.)... От денег же я *не отказался*, и тебе в Петербург *незачем* будет ехать... Итог: с Катковым я *в наилучших отношениях*, в каких когда-либо находился».

Итак, спокойное начало работы и ее обозримое продолжение были обеспечены — система всегдашнего долга, при всех ее тягостных последствиях, выручила Достоевского и на этот раз. Даже если Катков собирался закрыть журнал, тяготясь затратами и имея на руках «Московские ведомости» («Русский вестник» под редакцией Каткова будет издаваться вплоть до его кончины в 1887 году), обещанный роман, как мог догадаться Михаил Никифорович, должен был окупить все расходы.

Теперь наступал черед Оптиной пустыни. Утром 23 июня 1878 года Достоевский и Вл. Соловьев выехали из Москвы.

Глава вторая

МЕЧТА ОБ ИДЕАЛЬНОМ ХРИСТИАНИНЕ

Разговоры о вере. — Воспитание детей. — Святоотеческая традиция. — В обители. — Светлые прозорливцы. — «Неудобный собеседник». — Оптинские легенды. — Старец Зосима. — В Благородном собрании. — Свидетели триумфа. — Мистический огонь

Старший брат Владимира Соловьева Всеволод, сблизившись с Достоевским в начале 1873 года и встречаясь с ним регулярно в течение нескольких лет, писал, как мы помним, о его крайне неустойчивом поведении при незнакомых, посторонних людях, «будто все это были его враги или по меньшей мере очень неприятные ему люди». «Он не был создан для общества, для гостиной», — полагал Вс. Соловьев — и знал только одно средство успокоить писателя, когда тот был «олицетворением мрака»: навести на какую-нибудь из любимых тем, и Ф. М. начинал говорить, оживлялся, обретал хорошее расположение духа.

Несколько другую картину рисовала А. Г. Достоевская. С большой нежностью говорила она о развитии у мужа христианских чувств и мыслей. Покой и мир, воцарившиеся в душе Ф. М. в семидесятые годы, она связывала с окончанием «Бесов». «Все друзья и знакомые, встречаясь с нами по возвращении из-за границы, говорили мне, что не узнают Федора Михайловича, до такой степени его характер изменился к лучшему, до того он стал мягче, добрее и снисходительнее к людям. Привычная ему строптивость и нетерпеливость почти совершенно исчезли».

Все дело, очевидно, было в размерах этого коварного «почти».

Впрочем, даже Страхов, составляя воспоминания и, может быть, не предполагая, что, едва они появятся, решит рассказать Толстому об авторе «Бесов» «всю правду», почему-то именно с этим романом связывал «особенное раскрытие того христианского духа, который всегда жил в нем»[14]. Страхов писал об удивительной перемене, которая обнаружилась в Достоевском после «Бесов»: «Он стал беспрестанно сводить разговор на религиозные темы. Мало того: он переменился в обращении, получившем большую мягкость и впадавшем иногда в полную кротость. Даже черты лица его носили след этого настроения, и на губах появлялась нежная улыбка...»[15] Страхов не мог забыть, как однажды в общественном месте, в людской толпе, Достоевский сказал ему («искренность и теплота так и светились в нем при этих словах»): «“Да все люди — существа прекрасные!” Лучшие христианские чувства, очевидно, жили в нем, те чувства, которые все чаще и яснее выражались в его сочинениях»[16].

За семь следующих лет «беспрестанность разговора» о вере и неверии, о Христе и истине, о грехе и святости становилась все настойчивее. Искренность такого разговора, быть может, ярче всего виделась близким в том чувстве, которое он хотел привить своим детям.

«Он любил молиться со всей семьей, — вспоминала дочь писателя. — В России принято раз в год причащаться, и к этому торжественному событию готовятся неделю, проводя ее в молитвах. Отец добросовестно исполнял религиозные обязанности, постился, дважды в день ходил в церковь и откладывал все литературные дела. Он любил наши чудные богослужения Страстной недели, особенно пасхальную службу, с ее излучающими радость песнопениями. Дети не присутствовали на этой службе, начинавшейся в полночь и заканчивавшейся в два-три часа утра. Но отец захотел показать мне эту великолепную службу, когда мне едва исполнилось девять лет. Он поставил меня на стул, чтобы я могла следить за ходом службы, и, при-

поднимая меня повыше, объяснял мне смысл этих прекрасных обрядов». На сон грядущий Ф. М. читал детям любимую, с детства сохраненную молитву «Все упование мое на Тя возлагаю, Матерь Божия...».

Быть может, еще сильнее действовало на детей то, с каким молитвенным волнением отец читал им стихи своих любимых поэтов — пушкинского «Бедного рыцаря», например. «В "Идиоте" Достоевский рассказывает, как одна из его героинь читает это стихотворение. "Судорога вдохновения и восторга раза два прошла по ее прекрасному лицу", — говорит он, описывая эту сцену. То же происходило и с Достоевским, когда он читал его; черты его прояснялись, голос дрожал, и глаза затуманивались слезами. Милый отец! Он пересказывал нам здесь историю собственной жизни! Он тоже был бедным рыцарем без страха и упрека, боровшимся всю жизнь за великие идеи. И ему являлось небесное видение: но не средневековая дева являлась ему — это был Христос, пришедший к нему на каторге и давший ему знак следовать за ним...»

Своей надежде на будущую победу добра в мире, своей вере в братское, окончательное согласие всех племен по Христовым заветам (Леонтьев недоверчиво назовет эту веру «какой-то общегуманитарной», ибо не найдет в Евангелии слов о гармонии и благополучии земной истории) Достоевский искал подтверждение в святоотеческой традиции. Обдумывая «Житие великого грешника», Достоевский мечтал главной фигурой романа выставить святителя Тихона Задонского (в миру Т. С. Соколовского), крупнейшего религиозного просветителя XVIII века: «Авось выведу величавую, *положительную*, святую фигуру. Это уж не Костанжогло-с и не немец (забыл фамилию) в "Обломове", и не Лопухины, не Рахметовы. Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом».

Тихона Задонского Достоевский хотел противопоставить русскому нигилизму. Воронежский архиерей, великий обличитель русского общества в его ложной церковности, стал духовной опорой творчества позднего Достоевского. Учение Тихона о вере и любви было необходимо автору «Бесов». Фигура святого старца стала для Достоевского антитезой бесовским силам — ведь если возможен Тихон, какой он был явлен в реальности, значит, не ложны обетования Нового Завета, значит, исторически осмыслена борьба с силами зла и ненависти, пожирающими Россию.

С неменьшим восторгом принял в свое сердце Достоевский учение Иоанна Златоуста, Исаака Сирина, инока Пар-

фения, Нила Сорского и тех святых Древней Руси, кого привлекал человеческий подвиг Христа, кто молился о нестяжательстве Церкви, кто не искал истину в обрядоверии. Когда Достоевский говорил о себе, что *не как мальчик* верует он во Христа и его исповедует, он многое имел в виду — и споры у петрашевцев, и общее оскудение духовной жизни в России, и то, что «церковь в параличе с Петра Великого», и свой Символ веры.

В письме Ковнера, требовавшего от Достоевского отчета по «еврейскому вопросу», был изложен «символ неверия»: «Неужели творящая сила вселенной, или Бог, так-таки интересуется ничтожными людскими помыслами, народами, даже целыми планетами? Вы скажете, что человек имеет искру Божию, поэтому он стоит выше всех? Но сколько этих людей?.. Положительно 60 миллионов... облюбованного Вами русского народа... живут буквально животною жизнью, не имея никакого разумного понятия ни о Боге, ни о Христе, ни о душе, ни о бессмертии ее...» Ф. М. отвечал корреспонденту как исповедник веры, убежденный и закаленный. «Об идеях Ваших о Боге и о бессмертии — и говорить не буду с Вами. Эти возражения (то есть все Ваши) я, клянусь Вам, знал уже 20 лет от роду! Не рассердитесь; они удивили меня своею первоначальностью. Вероятно, Вы об этих темах в первый раз думаете».

Не *как мальчик*, охочий до путешествий, отправлялся он вместе с Вл. Соловьевым в святую обитель. Ступить на землю древнего монастыря, где обитают мудрые старцы, наделенные даром рассудительности и прозорливости, — позвало горе, смерть сына. Но была еще и мечта — увидеть подвижников веры, принимающих христианство всерьез, по-евангельски, а не как бастион показной праведности.

Автору «Братьев Карамазовых», романа, который был едва начат, отменно повезло: Оптина пустынь переживала эпоху расцвета, став неформальным центром церковной культуры. Канули в Лету времена жестокого душегубца Опты, наводившего ужас на всю округу, а потом покаявшегося и принявшего постриг, превратившись, как гласило предание, из предводителя шайки разбойников в отца иноков. Остались в прошлом разорения от литовцев и поляков, всяческие упразднения и нестроения. Обитель, посвященная Введению Пресвятой Богородицы во Храм, располагавшаяся вблизи уездного городка Козельска Калужской губернии, на берегу реки Жиздры, у опушки векового бора, славилась старческим служением: здешних старцев называли хранителями образа Христова, прозорливцами, великими духовниками, спасавшими своими советами тысячи страдающих душ.

Младший современник Достоевского протоиерей С. Четвериков, тесно связанный с Оптиной, так описывал обитель: «Чем ближе подъезжаешь к монастырю, тем сильнее охватывает душу особое чувство: словно открывается дверь в XIV и XV век, и оттуда веет старинной, благочестивою Русью, словно души древних подвижников и молитвенников и их тихие кельи раскрывают перед вами свой внутренний мир»[17].

О своей поездке в Оптину писал — за 28 лет до Достоевского — Н. В. Гоголь: «Я заезжал на дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует всё небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами всё. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхожденья; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: всё становится приветливей, поклоны ниже и участья к человеку больше»[18]. Спустя неделю после поездки Гоголь просил оптинского послушника отца Петра Григорова показать обитель племяннику: «Мне бы хотелось, чтобы он помнил, что есть берег, куда можно пристать и быть безопасну от самых сильных кораблекрушений»[19].

Поездка Достоевского в Оптину длилась неделю — и бóльшую часть времени взяла дорога. «Дело было так, — писал он жене в Старую Руссу, где она проводила лето с детьми, — мы выехали с В. Соловьевым в пятницу, 23 июня. Знали только, что надо ехать по Московско-Курской железной дороге до станции Сергиево, то есть станций пять за Тулой, верст 300 от Москвы. А там, сказали нам, надо ехать 35 верст до Оптиной пустыни. Пока ехали до Сергиева, узнали, что ехать не 35, а 60 верст. (Главное в том, что никто не знает, так что никак нельзя было узнать заране.) Наконец, приехав в Сергиево, узнали, что не 60 верст, а 120 надо ехать, и не по почтовой дороге, а наполовину проселком, стало быть, на *долгих*, то есть одна тройка и ту останавливаться кормить. Мы решили ехать и ехали до Козельска, то есть до Оптиной пустыни, ровно два дня, ночевали в деревнях, тряслись в ужасном экипаже. В Оптиной пустыни были двое суток. Затем поехали обратно на тех же лошадях и ехали опять два дня, итого, считая со днем выезда, ровно *семь дней*. Вот почему и не писал тебе долго, а из Оптиной пустыни писать было слишком неудобно, потому что надо было посы-

лать нарочного в Козельск и т. д. Обо всем расскажу, когда приеду».

Надо думать, Достоевского и его спутника обитель волновала не столько познавательно (оба паломника хорошо знали историю Оптиной, представляли себе ее строгий общежительный и богослужебный устав, много слышали о внутреннем духе пустыни), сколько предстоящей встречей — с выдающимся старцем иеросхимонахом Амвросием (в миру А. И. Гренковым).

Ему было уже 66 лет; он болел, был «со слабыми ногами», жил в скиту, в безмолвном лесном уединении, среди густого запаха цветов. Смиренные богомольцы, приходившие сюда, знали, что старцы благодаря созерцательной жизни и непрестанной внутренней молитве достигают высокого духовного совершенства, обладают даром любви к каждому человеку, могут согреть и успокоить всех, кто ищет совета, вразумления, утешения. Какие только люди не посещали Амвросия, какие только сердца не искали у него поддержки, хотя были и ненавистники, и холодно-равнодушные «шнырялы», как называли таких посетителей оптинские насельники. А старец любил побеседовать и с образованными мирянами, и со светскими писателями, и с читающей интеллигентной публикой.

Ласковая веселость, благодушие и светлое настроение всегда и во всех случаях отличали Амвросия и задавали тон: отвечая на вопрос о здоровье старца, его ближние говорили: «он веселенький». «Любимейшей поговоркой его были слова “От ласки у людей совсем иные глазки”. К согрешившим, но кающимся “был снисходителен и милостив паче меры”... “Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, — чуть только одной точкой касается земли, а остальным непременно стремится вверх; а мы как заляжем на землю, так и встать не можем”... Амвросий поражал всех глубочайшим знанием природы человека и прозорливостью необычайной»[20].

Несомненно, Достоевский выполнил свое обещание — по приезде домой рассказать жене обо всем виденном в Оптиной, но ни тогда, ни позже ничего об этом *не написал*. Вспоминая о поездке мужа спустя много лет, Анна Григорьевна ограничилась одним абзацем: «Вернулся Ф. М. из Оптиной пустыни как бы умиротворенный и значительно успокоившийся и много рассказывал мне про обычаи пустыни, где ему привелось пробыть двое суток. С тогдашним знаменитым “старцем”, о. Амвросием, Ф. М. виделся три раза: раз в толпе при народе и два раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление. Когда Ф. М. рассказал “старцу” о постигшем нас несчастии и о моем слишком бурно проявившемся

горе, то старец спросил его, верующая ли я, и когда Ф. М. отвечал утвердительно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе старец Зосима сказал опечаленной матери... Из рассказов Ф. М. видно было, каким глубоким сердцеведом и провидцем был этот всеми уважаемый “старец”».

Позже станет известно мнение отца Амвросия о Достоевском, сложившееся после их бесед, в скиту с глазу на глаз, о насущных вопросах духовной жизни — и ставшее достоянием оптинской братии. «О. Амвросий постиг сущность смирившейся души писателя и отозвался о нем: “Это кающийся”»[21]. На языке святого старца это звучало высокой похвалой. О Вл. Соловьеве, по косвенным сведениям, отзыв был «неодобрительным»: «Этот человек не верит в загробную жизнь». «Он крайне горд» — так будто бы отзовется о. Амвросий о Льве Толстом после тяжелого разговора с ним в 1890 году[22].

В непрямом пересказе слов Вл. Соловьева (который тоже не оставил воспоминаний о поездке в Оптину) писатель Д. И. Стахеев, друг Страхова, изобразил сцену «Достоевский в келье старца» с изрядной долей издевки. «Каждый из писателей, разумеется, по-своему относился к старцу, слушал и понимал его поучительные речи, по-своему обсуждал их и обсуждал их не только по уходе из его кельи, оставаясь наедине с самим собой, но даже в присутствии старца, возражая на его речи и оспаривая их, развивая и поясняя. Ф. М. Достоевский, например, вместо того, чтобы послушно и с должным смирением внимать поучительным речам старца-схимника, сам говорил больше, чем он, волновался, горячо возражал ему, развивал и разъяснял значение произносимых слов и, незаметно для самого себя, из человека, желающего внимать поучительным речам, обращался в учителя. По рассказам Владимира Соловьева... таковым был Федор Михайлович в сношениях не только с монахом схимником, но и со многими другими обитателями пустыни, старыми и молодыми, будучи, как передавал Соловьев, в то время, т. е. во время пребывания в Оптиной пустыни, в весьма возбужденном состоянии, что обыкновенно проявлялось в нем каждый раз при приближении припадка падучей болезни, которой он страдал»[23].

Добавляя к портрету Достоевского детали, не связанные с Оптиной, Стахеев, живший со Страховым в одной квартире в течение восемнадцати лет, писал о Ф. М., уже не скрывая враждебности: «Надо сказать откровенно, собеседник он был неудобный, не любил, чтобы ему возражали, и не только не терпел возражений, но даже и вообще прерывать его речь и подсказывать что-либо не позволял. Оборвет, бывало, каждого ре-

шившегося вставить в его речь свое слово. "Молчите! Не умничайте!" — резко бросит ему в ответ и гневно сверкнет глазами»[24]. Мемуарист-обличитель с азартом придумывает сцену, когда Достоевский, при первой попытке Вл. Соловьева вставить в его речь свое замечание, грубо и бесцеремонно обрывает философа и с «нервным шипением» произносит: «Молчите, не возражайте... Не умничайте!..»

Кажется, мемуарный отрывок и был написан ради этого «нервного шипения»...

Меж тем именно Вл. Соловьеву во время поездки в Оптину Достоевский изложил в общих чертах главную мысль и план «Братьев Карамазовых». Для философа не было тайной, что писатель смотрит на обитель не только глазами скорбящего родителя, но и зоркими глазами художника. «Вот Достоевский так нарочно ездил в Оптину Пустынь прошлым летом для первых глав своего романа»[25], — сообщал Вл. Соловьев К. Н. Леонтьеву в январе 1879-го. И правда: в Оптиной будет собран основной материал для начальных разделов романа (пятая глава первой книги даже получит название «Старцы»). Позднее Вл. Соловьев скажет, что центральной идеей нового романа или нового ряда романов, из которых написан только первый, «Братья Карамазовы», должна была явиться *идея Церкви*. «Церковь как положительный общественный идеал, как основа и цель всех наших мыслей и дел, и всенародный подвиг, как прямой путь для осуществления этого идеала, — вот последнее слово, до которого дошел Достоевский, и которое озарило всю его деятельность пророческим светом»[26].

Разумеется, уточнял Соловьев, под Церковью Достоевский понимал не фактически существующее учреждение со всеми его недостатками, то есть не *внешнюю* храмовую церковь, и не личное, *домашнее* христианство. «Истинное христианство не может быть только домашним, как и только храмовым — оно должно быть *вселенским*, оно должно распространяться на все человечество и на все дела человеческие... Достоевский верил и проповедовал христианство живое и деятельное... Он говорил не только о том, что есть, а о том, что должно быть»[27].

И все же как взволнованно и с какой болью говорил Достоевский прежде всего о том, что есть... Но почему-то через несколько лет в частном письме Леонтьеву Вл. Соловьев (в пересказе Леонтьева Розанову) утверждал, что Достоевский рассматривал религию лишь «в подзорную трубу как отдаленный предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел»[28]. В свете того, что Достоевского уже не было в живых, слово «никогда», выпорхнувшее из-под пера Соловьева (или Леонтьева), обретало особый смысл...

Очень скоро впечатления, вынесенные из Оптиной пустыни, начали преображаться в сцены из романа, которые происходили в монашеской обители. «Монастырь наш ничем особенно не был до тех пор знаменит: в нем не было ни мощей святых угодников, ни явленных чудотворных икон, не было даже славных преданий, связанных с нашею историей, не числилось за ним исторических подвигов и заслуг отечеству. Процвел он и прославился на всю Россию именно из-за старцев, чтобы видеть и послушать которых стекались к нам богомольцы толпами со всей России из-за тысяч верст. Итак, что же такое старец? Старец это — берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением».

С Достоевским, потратившим несколько дней на дорогу в обитель, испытавшим все неудобства езды на *долгих* ради встречи с чу́дным старцем, полного отрешения от своей воли и полного послушания не произошло. Вместо этого случилось нечто совершенно иное: творческой властью художника ласковый схимник отец Амвросий дал жизнь великой мечте об идеальном христианине — старцу Зосиме. Все самое светлое, что видел Ф. М. в Оптиной, о чем читал в «Сказаниях о странствии инока Парфения» и в других книгах своей библиотеки, вложил он в Зосиму. «Если удастся, то сделаю дело хорошее: *заставляю сознаться*, что чистый, идеальный христианин — дело не отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее».

Зосима будет чужд лукавству и политиканству, остро чуток к лживой почтительности и фальшивой елейности, холоден к показному смирению и притворному благочестию. Доверить свою душу такому старцу было как будто безопасно. И все равно — отрешение от своей души и воли в надежде победить себя Достоевский с предельной честностью назовет «искусом», «страшной школой жизни»: испытанное орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе может стать орудием обоюдоострым, «так что иного, пожалуй, приведет вместо смирения и окончательного самообладания, напротив, к самой сатанинской гордости, то есть к цепям, а не к свободе».

Действие обоюдоострого орудия будет показано в романе во всей полноте. А Зосима, который «болел любовью к ближнему» и был весел «детской евангельской радостью», имел душу светлую и прозрачную, был ежечасным слушателем несчастий человеческих и подвижником в труде христианского участия к человеку, — такой Зосима оптинскими монахами

(в передаче Леонтьева) будет признан «неправильным», «сочиненным», «придуманным», а учение его — «ложным». «В Оптиной “Братьев Карамазовых” *правильным православным сочинением не признают, и старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож*. Достоевский описал только его наружность, но *говорить* заставил совершенно не то, что он говорит, и не в *том стиле*, в каком Амвросий выражается. У отца Амвросия *прежде всего* строго *церковная мистика* и уже потом — прикладная мораль. У отца Зосимы (устами которого говорит сам Федор Михайлович!) — прежде всего мораль, “любовь”, “любовь” и т. д. ... ну а *мистика* очень слаба. Не верьте ему, когда он хвалится, что знает монашество; он знает хорошо только *свою проповедь любви* — и больше ничего»[29].

На взгляд отца Зосимы, неустанная проповедь любви заслуживала бы не порицания, а сердечного сочувствия. Но, по мнению Леонтьева (советовавшего В. В. Розанову «перерасти» Достоевского с его «гармониями», которых «никогда не будет, да и не нужно»), писатель страдал «недостаточным христианством», «поверхностным и сентиментальным» сочинительством. «А когда Достоевский напечатал свои надежды на земное торжество христианства в “Братьях Карамазовых”, то оптинские иеромонахи, смеясь, спрашивали друг у друга: “Уж не вы ли, отец такой-то, так думаете?”»[30].

Смех оптинских монахов, который слышал Леонтьев и, кажется, не без удовольствия описывал, был тоже «реализмом действительной жизни» — ведь даже и допустить невозможно, чтобы наблюдения прожившего в пустыни несколько лет отшельника, принявшего в конце жизни тайный постриг с именем Климент, не имели отношения к реальности.

...Анна Григорьевна не приукрашивала впечатление Ф. М. от поездки, когда писала о его настроении, — после бесед с отцом Амвросием ему и в самом деле стало легче. Достоевский рассказал старцу, как они с женой горюют и плачут по своему мальчику, и старец обещал «помянуть на молитве Алешу», помянуть печаль родительскую, помолиться за здравие старших детей. Вскоре, читая главу «Верующие бабы» из второй книги романа, Анна Григорьевна опознает слова утешения: старец Зосима разговаривает с нестарой еще женщиной, причитаниями надрывавшей себе сердце. «Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку. Последний сыночек оставался, четверо было у нас с Никитушкой, да не стоят у нас детушки, не стоят, желанный, не стоят. Трех первых схоронила я, не жалела я их очень-то, а этого последнего схоронила и забыть

его не могу. Вот точно он тут предо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку аль на сапожки и взвою. Разложу что после него осталось, всякую вещь его, смотрю и вою».

В несчастной матери Анна Григорьевна видела себя, в ее горе — свои жестокие утраты. «Вот уж третий месяц из дому. Забыла я, обо всем забыла и помнить не хочу; а и что я с ним теперь буду? Кончила я с ним, кончила, со всеми покончила. И не глядела бы я теперь на свой дом и на свое добро, и не видала б я ничего вовсе!» — с надрывом причитала крестьянка, но в ее рыданиях А. Г. опознавала свои слезы, свою потерянность и тоску. Она была благодарна мужу за слова утешения «от Зосимы»: «И надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость, и будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердечного очищения, от грехов спасающего. А младенчика твоего помяну за упокой, как звали-то?

— Алексеем, батюшка.

— Имя-то милое. На Алексея человека Божия?

— Божия, батюшка, Божия, Алексея человека Божия!

— Святой-то какой! Помяну, мать, помяну и печаль твою на молитве вспомяну и супруга твоего за здравие помяну. Только его тебе грех оставлять. Ступай к мужу и береги его. Увидит оттуда твой мальчик, что бросила ты его отца, и заплачет по вас: зачем же ты блаженство-то его нарушаешь?»

Семейная цель паломничества в Оптину пустынь была достигнута. Но могло ли краткое общение с отцом Амвросием заслонить все проблемы «мучительного времени»? Смягчить боль за страну, которая «колеблется над бездной»? Отвернуться от мировых противоречий, которые вновь разыгрывались в Европе?

За четыре месяца до поездки в Оптину Достоевский писал одной из своих провинциальных корреспонденток, жаждавшей общения: «Вы думаете, я из таких людей, которые спасают сердца, разрешают души, отгоняют скорбь? Многие мне это пишут — но я знаю *наверно*, что способен скорее вселить разочарование и отвращение. Я убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это. А ведь многим существам только и надо, чтоб их убаюкали». После Оптиной это ощущение не только не изменилось, но даже усилилось: роман, который Ф. М. принялся писать сразу по приезде из Москвы в Старую Руссу, получался вовсе не таким, какие успокаивают сердца.

В то старорусское лето Достоевский успел написать первую книгу романа (пять глав) и приступить ко второй. Когда в на-

чале октября семья вернулась в город*, Анна Григорьевна взялась за подготовку наборной рукописи двух книг «Братьев Карамазовых» (Катков уважительно замечал, что ее почерк — самый лучший и превосходно разборчивый), которую Ф. М. и отвез в Москву, в «Русский вестник».

Снова его измучила дорога — закупоренный, с гадчайшей вентиляцией вагон, прокуренный, удушливый воздух, промозглый холод и ноябрьский мрак за окном, непрестанный ночной кашель до надрыва, нетопленый номер «Европы». Снова Ф. М. мнительно ожидал худшего: Катков не примет, откажет — и пребывал в самом скверном расположении духа. И снова ошибся: Катков любезно принял автора у себя дома, оставил рукопись, обещая не торопясь прочесть, распорядился о выплате гонорара за написанный объем. И на следующий день, когда Ф. М., не будучи зван, приехал поздравить Михаила Никифоровича с днем ангела (накануне давал себе слово не ездить, не заискивать), то снова был радушно принят хозяйкой и представлен гостям, каким-то светским московским старичкам. «И вдруг вошел *сам* генерал-губернатор кн. Долгорукий, в четырех звездах и с алмазным Андреем Первозванным. — Раскланявшись сановито и с соблюдением всего своего сана (немного комическим) с Катковым, начал подавать руки гостям и первому мне. Тут Катков поспешил сейчас же сказать ему мое имя, и Долгорукий изволил вымолвить: “Как же, та-ка-я зна-ме-ни-тость, гм, гм, гм” — решительно точно 40 лет назад, в доброе старое время. Затем происходил общий разговор, в котором Катков показал себя в высшей степени порядочным человеком, ибо, начав рассказ о приобретении им подмосковного имения, поминутно обращался от Долгорукова ко мне, несмотря на то, что я сидел несколько сзади Каткова, у окна. Посидев немного, я встал и простился».

---

* А. Г. Достоевская вспоминала: «Вернувшись осенью в Петербург, мы не решились остаться на квартире, где все было полно воспоминаниями о нашем умершем мальчике, и поселились в Кузнечном переулке, в доме № 5, где через два с половиной года было суждено судьбою умереть моему мужу. Квартира наша состояла из шести комнат, громадной кладовой для книг, передней и кухни и находилась во втором этаже. Семь окон выходили на Кузнечный переулок, и кабинет мужа находился там, где прибита в настоящее время мраморная доска. Парадный вход (ныне заделанный) расположен под нашей гостиной (рядом с кабинетом). Как ни старались мы с мужем покориться воле Божьей и не тосковать, забыть нашего милого Лешу мы не могли, и вся осень и наступившая зима были омрачены печальными воспоминаниями. Потеря наша повлияла на мужа в том отношении, что он, и всегда страстно относившийся к своим деткам, стал их еще сильнее любить и сильнее за них тревожиться».

Достоевский рад был, надо думать, убедиться, что его зависимость от Каткова мнимая, эфемерная. Но в ожидании денег, хотя он стыдился «приставать», приходилось напоминать о себе не раз и не два; возвращаться домой с пустыми руками было обидно, а кассир Шульман, который «всем командует», важничал, показывал свою силу и не являлся в назначенное время; касса была все время заперта, а чиновники «Русского вестника» со всеми обращались «ужасно свысока и небрежно». И к *знаменитости*, которой только что жал руку *сам* генерал-губернатор, возвращалось прескверное расположение духа...

Все же Ф. М. удалось добиться заработанной тысячи и уехать домой с уклончивым редакционным отзывом, что предоставленный материал «очень оригинален». Но в декабре он уже просматривал корректуры, в конце января выслал в «Русский вестник» третью книгу («эту третью книгу... *далеко не считаю дурною*, напротив, *удавшеюся*...» — писал Достоевский редактору-исполнителю журнала Н. А. Любимову). 1 февраля 1879 года январский номер журнала с тринадцатью главами «Братьев Карамазовых» вышел в свет.

Спустя полтора месяца писатель с воодушевлением писал Пуцыковичу: «“Братья Карамазовы” производят здесь фурор — и во дворце, и в публике, и в публичных чтениях, что, впрочем, увидите из газет (“Голос”, “Молва” и проч.)». «Во дворце» Ф. М. был по-прежнему дорогой гость — великий князь Сергей Александрович передавал, что, прочитав «Историю одной семейки», «еще сознательнее и пламеннее» хочет пользоваться беседой с автором и надеется, что тот исполнит его желание[31]. Великий князь Константин Константинович после встречи с Достоевским и Победоносцевым в марте 1879-го на обеде «у Сергея» (С. А. Романова) записал в дневнике, что Ф. М. ему «очень нравится, не только по своим сочинениям, но и сам по себе»[32]. Еще через год поэт К. Р. запишет: «Я люблю Достоевского за его чистое детское сердце, за глубокую веру и наблюдательный ум. Кроме того, есть в нем что-то таинственное, он постиг что-то, что мы все не знаем...»[33]

К середине марта успел выйти февральский выпуск «Русского вестника» с третьей книгой романа, и читатели могли составить более полное впечатление и о сюжете, и о героях. «История одной семейки» представала во всем своем нравственном безобразии, со скандальными подробностями, а вытащенная на суд монахов непристойная распря между растленным отцом и буйного нрава старшим сыном («отец ревнует сына к скверного поведения женщине и сам с этою же тварью сговаривается засадить сына в тюрьму») была чревата прямой уголовщиной. Третья книга романа «Сладострастники» усу-

губляла ощущение неизбежной трагедии, тем более что сладострастниками, явными или тайными, были все члены «семейки» Карамазовых: и распутный отец Федор Павлович, и три его законных сына от двух браков, и четвертый отпрыск, по пьяному случаю прижитый от городской юродивой.

Ф. М. не преувеличивал успеха: о романе действительно немедленно заговорили газеты, отмечая огромный оригинальный талант автора, его пытливый ум, стремление ответить на коренные вопросы эпохи. Критики отмечали теснейшую связь романа с животрепещущими проблемами русской современности. «Несмотря на исключительность характеров, несмотря на психиатрический их склад, в них отражаются самые основные стороны русской жизни с ее своеобразными общественными и умственными искажениями, порожденными глубокой внутренней ломкой ее общего строя и тревожными порывами к самопознанию, — писал критик «Нового времени» (9 марта 1879 года) В. П. Буренин. — Психологический анализ и талантливо-нервное изложение вырастают в интересе с каждою главой».

Роман читали с величайшим сочувствием и в провинции, и в обеих столицах. Пуцыкович, отвечая на письмо Достоевского, сообщал, что в Москве роман производит такой же фурор, как и в Петербурге, и, кстати, рассказал интересную подробность: Катков не слишком доволен «крайним реализмом» двух-трех глав второй книги, так что вынужден прятать их от своих дочерей (Достоевский, в свою очередь, опасался редакционной цензуры: «ко мне придираются; Любимов присылает корректуры и на полях делает какие-то отметки, ставит вопросительные знаки»).

Отрадным событием для столичной публики стали выступления Ф. М. весной 1879 года. «Никогда в жизни не забуду одного вечера, — вспоминала А. П. Философова о литературных чтениях в зале Благородного собрания 9 марта. — Накануне я виделась с Достоевским и умоляла его прочитать исповедь Мармеладова из “Преступления и наказания”. Он сделал хитрые, хитрые глаза и сказал мне: “А я вам прочту лучше этого”. — “Что? что?” — приставала я. “Не скажу”.

С невыразимым нетерпением я ждала появления Федора Михайловича... Достоевский читал... то место, где Екатерина Ивановна является за деньгами к Мите Карамазову, к зверю, который хочет над нею покуражиться и обесчестить за ее гордыню. Затем постепенно зверь укрощается, и человек торжествует: “Екатерина Ивановна, вы свободны!” Боже, как у меня билось сердце... Есть ли возможность передать то впечатление, которое оставило чтение Федора Михайловича. Мы все рыда-

ли, все были преисполнены каким-то нравственным восторгом. Всю ночь я не могла заснуть, и когда на другой день пришел Федор Михайлович, так и бросилась к нему на шею и горько заплакала.

— Хорошо было? — спрашивает он растроганным голосом. — И мне было хорошо, — добавил он»[34].

«Несколько секунд рукоплескания не давали Достоевскому начать чтение, — сообщал «Голос» (1879, 11 марта). — Чрезвычайно удачный выбор отрывка из романа "Братья Карамазовы" — "Рассказ по секрету" — признанья Дмитрия Карамазова младшему брату своему Алексею, — в котором отразились все особенности дарования и манеры автора, и прочувствованное чтение произвели сильное впечатление. В одном месте даже наша публика, холодная и щепетильная, не выдержала и прервала чтение взрывом рукоплесканий...»

Воспоминания А. Г. Достоевской о вечере 9 марта дополняют картину: «Федор Михайлович... прочел превосходно и своим чтением вызвал шумные овации. Успех литературного вечера был так велик, что решили повторить...» О вечере, где наряду с Достоевским Тургенев прочел «Бирюка» и разыграл вместе с М. Г. Савиной сцену из «Провинциалки», писал восторженный современник: «Публика... представила из себя редкое единство чисто русского теплого чувства, доходящего до энтузиазма высокого уважения к своим беллетристическим талантам... Зал покрылся дружными неумолкаемыми аплодисментами, какими и встречен был при выходе на помост Ф. М. Раз двенадцать вызывали его, и одна из студенток поднесла ему громадный букет, уверченный полотенцем с вышивками в русском вкусе. Ф. М. взял букет как-то нервно, не глядя, разом, и сунул куда-то за занавес, как будто бы прогнал мешающий ему предмет... Читал он лучше всех, читал прекрасно, сердечно, читал от души... В заключение вызвали вместе И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского, и они на эстраде крепко пожали друг другу руки...»[35]

Огромный зал Благородного собрания, вмещающий 600 человек, был переполнен; избранная публика, затаив дыхание, завороженно слушала чтеца. «Сказать про Достоевского: "он читал", все равно, что ничего не сказать. Понятие о чтении в обычном смысле слова неприменимо, когда дело идет о Достоевском... Это было прямо что-то сверхчеловеческое, так сказать, новое творчество во время самого процесса чтения, сопровождаемое таким огромным нервным подъемом, который слушателя заражал и ошеломлял и как бы насыщал атмосферу вокруг электричеством... Достаточно было на минуту полузакрыть глаза — и чтец, и автор вдруг исчезали — и только слы-

шалось в затаенной тишине, как лилась и переливалась пламенная покаянная речь Мити Карамазова — "воистину исповедь горячего сердца"... Буквально волосы шевелились на голове от этого огненного проникновенного чтения... В его передаче каждое слово жгло и хватало за сердце, унося куда-то в неведомые и недосягаемые дали... Гипноз окончился только тогда, когда он захлопнул книгу. И тогда началось настоящее столпотворение: хлопали, стонали, махали платками... кому-то сделалось дурно...»[36]

Проходили десятилетия, многое меркло и стиралось из памяти, но *те* чтения, с «Исповедью горячего сердца» в исполнении автора, запомнили все, кто оказался тогда среди свидетелей чуда. Известный критик и библиограф С. А. Венгеров вспоминал на склоне лет, как в молодые годы присутствовал на легендарном выступлении: «Никогда еще с тех пор не наблюдал я такой мертвой тишины в зале, такого полного поглощения душевной жизни тысячной толпы настроениями одного человека... Когда читал Достоевский, слушатель, как и читатель кошмарно-гениальных романов его, совершенно терял свое "я" и весь был в гипнотизирующей власти этого изможденного, невзрачного старичка, с пронзительным взглядом беспредметно уходивших куда-то глаз, горевших мистическим огнем, вероятно, того же блеска, который некогда горел в глазах у протопопа Аввакума»[37].

Женская учащаяся молодежь, задушевно относившаяся к литераторам и артистам, на встречах с Достоевским не замечала, что перед ней «изможденный и невзрачный старик». В начале апреля 1879 года на вечере в пользу недостаточных слушательниц Бестужевских курсов Ф. М. читал отрывок о мальчике, страдающем за своего отца, отставного штабс-капитана, которого тяжко оскорбил Митя Карамазов. 7 апреля «Новое время» сообщало: «Публика точно замерла, слушая любимого писателя; напряженное внимание, боязнь проронить малейшее словечко — вот что можно было прочесть на любом из множества молодых лиц, а когда кончилось чтение, стены залы просто задрожали от оглушительных проявлений восторга... Большой венок, украшенный живыми цветами... казался лишь отдаленною, мерцающей тенью того живого венка... сплетенного искренними симпатиями и неподдельными восторгами».

Вскоре после вечера у курсисток Ф. М. получил анонимное письмо от некоего экзальтированного корреспондента: «Батюшка любимый мой, голубчик, Вам нельзя читать! Вот если б Вас слушать можно было, стоя на коленях, да за каждое Ваше гениальное слово можно было бы отдавать свою душу, тогда

еще Вам простительно читать, а то подумайте, какое мучение человеку слушать Вас, чувствовать просто какую-то боль от восторга и знать, что нет никаких сил, никакой возможности выразить всего, что чувствуешь, — это ужас как больно! Кроме того, Вам самому нельзя слышать и видеть благоговения перед собой: Вам ужасно вредно волноваться (а Вы ведь волновались, когда читали тот отрывок из "Братьев Карамазовых" про Илюшечку!). Если можно, примите мой совет от одного восторга и любви к Вам — не читайте больше, не то помогите найти возможность отдавать Вам всю душу»[38].

Что и говорить — совет был заведомо невыполним. Главное выступление Достоевского было еще впереди.

Глава третья

ОТВЕТ ВЕЛИКОМУ ИНКВИЗИТОРУ

«Pro и Contra». — Доза богохульства. — Фактор Победоносцева. — «Свой» социалист. — Поэма и слушатель. — Снова Эмс. — «Pater Seraphicus». — Под маской иронии. — Вера и образование. — Опыт ненависти. — Опасное соперничество. — Формула будущего

Дачный сезон 1879 года начался рано — Достоевские выехали в Старую Руссу в середине апреля. Ф. М. очень надеялся на рабочую тишину своего летнего дома и вечерние прогулки на тамошнем целительном воздухе. Отдыха не предвиделось; нужно было ежемесячно отсылать новые главы романа в «Русский вестник» и до сентября пройти курс лечения в Эмсе.

Однако после прохладной весны наступило ужасное ненастье. «Здоровье мое ухудшилось, — писал Достоевский А. П. Философовой, — дети все больны — сначала сын тифом, а потом оба теперь коклюшем, погода ужасная, невозможная, дождь льет как из ведра с утра до ночи и ночью, холодно, сыро, простудно, на целый месяц не более трех дней было без дождя, а солнечный день выдался разве один. В этом состоянии духа и при таких обстоятельствах всё время писал, работал по ночам, слушая, как воет вихрь и ломает столетние деревья (sic!). Написал весьма мало, да и давно уже заметил, что чем дальше идут годы, тем тяжелее мне становится работа. Все мысли, стало быть, неутешительные и мрачные».

Он действительно недомогал: мучили злостные насморки; не оставляла в покое падучая, голова постоянно была как в тумане. К большому беспокойству Анны Григорьевны, в Старой Руссе Ф. М. очень похудел, сильно расстроилась грудь, на-

катывали приступы страшной слабости и усталости, и уже к середине лета стало понятно, что ехать в Эмс надо безотлагательно.

Меж тем в писании «Братьев Карамазовых» наступал решительный момент. Достоевский работал над пятой книгой романа «Pro и Contra» (четвертая вышла в апрельском номере «Русского вестника»), которая виделась кульминационной точкой произведения. «Мысль ее, — разъяснял он Любимову, — есть изображение крайнего богохульства... в среде оторвавшейся от действительности молодежи... В тексте, который я теперь выслал, я изображаю лишь характер одного из главнейших лиц романа, выражающего свои основные убеждения».

Речь шла о среднем брате, 23-летнем Иване Карамазове, убеждения которого автор признавал «синтезом современного русского анархизма», отрицающего не Бога, а смысл его создания. «Мой герой берет тему, по-моему, неотразимую: бессмыслицу страдания детей и выводит из нее абсурд всей исторической действительности. Не знаю, хорошо ли я выполнил, но знаю, что лицо моего героя в высочайшей степени реальное».

Достоевскому важно было убедить редакцию «Русского вестника», что все происходящее с его героями — достоверно и основано на фактах жизни. «Все анекдоты о детях случились, были, напечатаны в газетах, и я могу указать, где, ничего не выдумано мною. Генерал, затравивший собаками ребенка, и весь факт — действительное происшествие, было опубликовано нынешней зимой, кажется, в "Архиве" и перепечатано во многих газетах». Даже лакейская песня, которую поет Смердяков, аккомпанируя себе на гитаре, была не сочинена, а давным-давно услышана в Москве у купеческих приказчиков — Достоевский просил сохранить в целости куплет («Царская корона — была бы моя милая здорова») и не заменять слово «царская». Он буквально умолял редактора ничего не выкидывать из главы, где нет ни одного *неприличного* слова, и бился за каждую деталь, которая могла оскорбить пуританские вкусы «Русского вестника». «Нельзя смягчать... это было бы слишком, слишком грустно! Не для 10-летних же детей мы пишем».

Ф. М. обещал Любимову, что богохульство Ивана Карамазова в поэме «Великий инквизитор» будет «торжественно опровергнуто» в следующей книге, для которой работает «со страхом, трепетом и благоговением», считая задачу «разбития анархизма» гражданским подвигом. Он явно опасался, что редакция, которая уже не раз «улучшала» его романы, отсекала целые главы, не выдержит той дозы богохульства, какая содержится в «Великом инквизиторе». «Послал-то я, послал, а меж-

ду тем мерещится мне, вдруг возьмут да и не напечатают в "Русском вестнике" *почему-либо*», — сообщал он и Победоносцеву. Подчеркнутое «почему-либо» вряд ли могло озадачить Константина Петровича — при небходимости только он мог повлиять на Каткова в пользу романа.

Знакомство Достоевского с Победоносцевым, случившееся еще в декабре 1871 года в доме князя Мещерского, почти сразу переросло в теплую дружбу. Ф. М. часто приезжал к Победоносцеву по субботам, на отведенный для него «тихий час», длившийся порой до полуночи и позже, делился планами и замыслами. Писатель не лукавил, когда просил нового знакомого время от времени: «Если напишете мне хоть полсловечка, то сильно поддержите дух мой. Я и зимой к Вам приезжал дух лечить». Письма Победоносцева Достоевский называл добрыми, ободряющими; а его самого — человеком, которому он верит, ум и убеждения которого глубоко уважает*. Ближайшее окружение Победоносцева ценило в нем крупного публициста, выдающегося стилиста и большого знатока европейской поэзии.

Наставник великих князей (в начале 1860-х Победоносцев преподавал законоведение цесаревичу Николаю Александровичу, а после его кончины — новому наследнику престола, будущему Александру III), принципиальный консерватор, каким он стал после выстрела Каракозова, сенатор и член Государственного совета, поборник незыблемости самодержавия, внук священника, он считал Церковь одной из главных движущих сил российской истории, а веру — краеугольным камнем в фундаменте Российской державы. С бывшим каторжником Достоевским его сближало, кроме веры, острое неприятие политического либерализма, который сочувствовал и потакал террору.

Достоевский не боялся спорить с влиятельнейшим при дворе чиновником (Победоносцев вот-вот должен был стать обер-прокурором Святейшего синода — русским «папой» и «великим инквизитором», как его заочно станут называть, быть может, не без влияния «Братьев Карамазовых») — о смысле ре-

---

* Л. П. Гроссман, опубликовавший в 1934 году 40 писем К. П. Победоносцева Ф. М. Достоевскому, проводил смелую параллель между тонким стилистом старцем Тихоном, читающим исповедь Ставрогина, и Победоносцевым, читающим рукописи Достоевского. «В беседах Победоносцева с Достоевским было нечто, напоминающее философские диалоги, диспуты или исповеди его последних романов» (Литературное наследство. Т. 15. С. 90). «Чрезвычайно любил Федор Михайлович, — вспоминала А. Г. Достоевская, — посещать К. П. Победоносцева; беседы с ним доставляли Ф. М. высокое умственное наслаждение, как общение с необыкновенно тонким, глубоко понимающим, хотя и скептически настроенным умом».

форм и итогах преобразований, о мерах, применяемых к нигилистам, о язвах государственной системы. «Культуры нет у нас (что есть везде), дорогой Константин Петрович, — писал ему Достоевский в июне 1879 года, — а нет — через нигилиста Петра Великого. Вырвана она с корнем. А так как не единым хлебом живет человек, то и выдумывает бедный наш бескультурный поневоле что-нибудь пофантастичнее, да понелепее, да чтоб ни на что не похоже (потому что, хоть всё целиком у европейского социализма взял, а ведь и тут переделал так, что ни на что не похоже)».

Победоносцев способствовал вхождению писателя в высшие круги общества, познакомил с наследником престола (не слишком большим любителем литературы) и рекомендовал тому читать романы Достоевского. Ф. М. виделся с Константином Петровичем в петербургских салонах, на «средах» у князя Мещерского, на «пятницах» у Полонского, на вечерах у великих князей С. А. и К. К. Романовых.

Отослав «Великого инквизитора» в «Русский вестник», автор почувствовал необходимость объяснить Победоносцеву, каким именно «сортом» богохульства одержим герой романа. «Научное и философское опровержение бытия Божия уже заброшено, им не занимаются вовсе теперешние *деловые социалисты* (как занимались во всё прошлое столетие и в первую половину нынешнего). Зато *отрицается* изо всех сил создание Божие, мир Божий и *смысл его*».

Достоевский внушал и редакции: отрицатели и атеисты «из самых ярых» устами гордыми и богохульными, вслед за искушавшим Христа дьяволом, со всей страстью объявляют, что реальные хлебы и Вавилонская башня (будущее царство социализма) дороже, чем свобода совести, и вернее для счастья людей, чем Христос. Писатель просил видеть разницу между «нынешними» (тогдашними) реальными социалистами (лицемерами и лгунами), которые скрывают свое подлинное стремление низвести человечество до уровня стадного скота, и «своим» социалистом: Иван Карамазов, как человек искренний, «прямо признается, что согласен с взглядом “Великого Инквизитора” на человечество и что Христова вера (будто бы) вознесла человека гораздо выше, чем стоит он на самом деле».

«Своему» социалисту автор задавал вопрос в упор: «Презираете вы человечество или уважаете, вы, будущие его спасители?» Ведь пропаганду идей нынешние «спасители человечества» ведут якобы во имя любви к нему: «“Тяжел, дескать, закон Христов и отвлеченен, для слабых людей невыносим” — и вместо закона Свободы и Просвещения несут им закон цепей и порабощения хлебом».

Достоевский стремился убедить и Каткова, и Победоносцева в том, что идейный выбор Ивана Карамазова — это умонастроение не «одной только подпольной нигилятины», а большинства мыслящих молодых людей, поклоняющихся социализму, и поэтому поставленный в романе вопрос «како веруеши али вовсе не веруеши» никак не изменяет реализму.

Вскоре писатель публично разъяснит богохульство Ивана: «Один страдающий неверием атеист в одну из мучительных минут своих сочиняет дикую, фантастическую поэму, в которой выводит Христа в разговоре с одним из католических первосвященников — Великим инквизитором. Страдание сочинителя поэмы происходит именно оттого, что он в изображении своего первосвященника с мировоззрением католическим, столь удалившимся от древнего апостольского православия, видит воистину настоящего служителя Христова. Между тем его Великий инквизитор есть, в сущности, сам атеист. Смысл тот, что если исказишь Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть в безверие, вместо великого Христова идеала созиждется лишь новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христианства на человечество понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом *социальной* любви к человечеству является уже не замаскированное презрение к нему».

Наблюдательный репортер, талантливый критик, составивший себе имя яркими аналитическими статьями, автор теологических импровизаций, виртуозный полемист, способный вести дискуссию о Церкви и государстве, Иван *рассказывает* содержание поэмы Алеше, импровизируя, а не читая по рукописи, ибо текста не существует. Искушая брата «бунтом» (не должна мать растерзанного ребенка прощать мучителя, даже если ребенок сам его простил, — слишком дорого стоит такая гармония), Иван хочет видеть в Алеше друга и союзника: «Ты мне дорог, я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему Зосиме».

Алеша вставляет свою реплику в самый острый момент импровизации — когда Инквизитор во мраке ночи, в тесной и мрачной тюрьме говорит Пленнику: «Зачем ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь». Так «Поэма» обретает форму диалога. Поединок Инквизитора и Христа уже не подчинен воле импровизатора, а протекает с участием Алеши — становясь соавтором «Поэмы», он переводит разговор о втором пришествии Христа в плоскость гражданскую и политическую. Эффект «Поэмы» и заключается в том, что Пленник, лишенный права добавить что-либо к ска-

занному, *молчит*, а Алеша — *говорит*, своим немолчанием опровергая логику Инквизитора, *исправившего* подвиг Христа ради власти и земных благ.

«Ваш “Великий инквизитор” произвел на меня сильное впечатление. Мало что я читал столь сильное. Только я ждал — откуда будет отпор, возражение и разъяснение — но еще не дождался»[39], — писал Победоносцев Достоевскому.

Ф. М. находился уже в Эмсе. За три года, что он здесь не был, эмфизема произвела опасные разрушения — часть легкого сошла со своего места, сердце тоже переменило прежнее положение. Чтó это значит и чем грозит, Достоевский не очень понимал, к тому же доктор Орт, радушно принявший и внимательно осмотревший знакомого пациента, уверял, что страшного ничего нет и кренхен с кессельбруненом непременно его воскресят — при условии соблюдения режима дня, обильной мясной диеты с красным вином (с запретом на овощи и фрукты) и хорошей, сухой погоды. Но погода, как назло, была сырая, утра туманные и холодные, по вечерам, а иногда и целыми днями курорт заливало дождем. Ночью Достоевского мучили кошмары — как-то приснился брат Миша, лежащий на постели с перерезанной шейной артерией, истекающий кровью, и помочь ему уже не успевали (Орт объяснял кошмары раздражающим действием кренхена, а Ф. М. узнал вскоре, что сон случился накануне смерти Эмилии Федоровны, Мишиной вдовы). Больной просыпался от судорожного кашля и кашлял так, что казалось, разорвется грудь. Однако Орт и это трактовал в положительном смысле — дескать, кренхен очищает легкие, которые вновь становятся способными вбирать в себя гораздо больше воздуха. Достоевский и верил, и не верил, но деваться было некуда: и питерские, и здешние светила твердили, что воды при его болезни — единственное спасение.

В курортном одиночестве, занятого только лечением и писанием (для работы оставалось всего два часа днем, а по ночам строжайше предписывалось спать), его одолевали тягостные мысли. «Здесь я уже 3-ю неделю лечусь, — писал он Победоносцеву, — и не знаю, что будет, между тем при нашем курсе поездка обошлась мне в 700 руб., которые очень и очень могли бы быть сохранены для семейства. Я здесь сижу и беспрерывно думаю о том, что уже, разумеется, я скоро умру, ну через год или через два, и что же станется с тремя золотыми для меня головками после меня?»

За 33 года тяжелой литературной работы ему, автору великих романов, которые читала и обсуждала вся Россия, не удалось скопить даже малого капитала, и, кроме летней старорус-

ской дачи, которую нужно было еще выкупить у шурина, семья не имела никакой собственности. «Я всё, голубчик мой, — докладывал он жене, — думаю о моей смерти сам (серьезно здесь думаю) и о том, с чем оставлю тебя и детей. Все считают, что у нас есть деньги, а у нас ничего. Теперь у меня на шее "Карамазовы", надо кончить хорошо, ювелирски отделать, а вещь эта трудная и рискованная, много сил унесет. Но вещь тоже и роковая: она должна установить имя мое, иначе не будет никаких надежд».

Из Эмса был отправлен в «Русский вестник» «Pater Seraphicus» — книга шестая, названная «Русский инок». «Что отправил, тем, кажется, доволен (то есть работой), выйдет очень хорошая вещь. К тому же не только 3 листа, но даже чуть ли не больше, рублей этак на 1000. Но более всего доволен тем, что наконец отправил! Долго сидел у меня на шее этот старец, с самого начала лета мучился им», — писал Ф. М. жене.

Свои мучения в письмах Любимову Достоевский описывал, однако, несколько иначе, чем в откровенных признаниях жене. Редакции Ф. М. разъяснял, что поучения старца Зосимы выражены тем языком, которым он, Зосима, только и мог изъясняться — иначе не получилось бы художественного лица; что взял он и лицо и фигуру из древних святителей и что против действительности не погрешил: «Не только как идеал справедливо, но и как действительность справедливо». «Я писал эту книгу для *немногих*, — признавался писатель Победоносцеву, — и считаю кульминационною точкой моей работы».

Однако проницательный Константин Петрович, ощутив колоссальный отрицательный заряд «Великого инквизитора», но не зная, чтó автор ему противопоставит, задавал *необходимейший* вопрос: появится ли в романе *достаточный* ответ — пусть не большей, но хотя бы равной мощи. «То-то и есть и в этом-то теперь моя забота и всё мое беспокойство...» — признавался Достоевский: не в том было дело, что поучения Зосимы слабы и нежизненны, а в том, что ответы «русского инока» вышли не прямые, не буквально на идеи Великого инквизитора, а косвенные, «не по пунктам, а, так сказать, в художественной картине». «Потребовалось представить фигуру скромную и величественную, между тем жизнь полна комизма и только величественна лишь в внутреннем смысле ее, так что поневоле из-за художественных требований принужден был в биографии моего инока коснуться и самых пошловатых сторон, чтоб не повредить художественному реализму».

Но даже необходимые уступки требованиям художественности вряд ли могли защитить писателя от ядовитых стрел, и он ждал большой ругани. «"Русский инок" — название дерз-

кое и вызывающее, ибо закричат все не любящие нас критики: "Таков ли русский инок, как сметь ставить его на такой пьедестал?" Но тем лучше, если закричат...»

«Меня многие критики укоряли, что я вообще в романах моих беру будто бы не те темы, не реальные и проч. Я, напротив, не знаю ничего реальнее именно этих вот тем...» — писал он Победоносцеву.

Многие критики вовсе не были фигурой речи: рецензенты, щедро писавшие о «Братьях Карамазовых», не скрывали упреков. Да, конечно: есть блестящее проникновение в самые сокровенные (и самые отвратительные) изгибы человеческого сердца. Но что это за *аномальные* разговоры? Что за дикие ситуации? Критик «Молвы» Скабичевский раскрывал карты: «Кроме неизбежного во всех романах г. Достоевского психиатрического элемента, немалое мы видим в новом романе возлияние и деревянного маслица».

Писателя упрекали в тенденциозности — в апологии келий, лампад и «деревянного маслица». Увлечение романиста монастырской стихией крайне раздражало прессу: автор не желает наблюдать действительность; изучать людей; единственная реальность его новой вещи — писательское воображение, мощное, но искаженное; тон в романе задает субъективный взгляд, «с мрачным характером изуверства, с припадком почти сумасшествия» (Новости, 1879, 18 мая). В Достоевском видели русского Жозефа де Местра, возмущенного безбожием современного мира, требующего радикального поворота к суровому Средневековью. «Г-н Достоевский чистосердечно убежден, — иронизировал «Голос» (30 мая), — что как только будут приложены к делу его благочестивые мысли, так на земле воцарится братская любовь, полная кротости и всепрощения».

Ирония вообще использовалась против «Братьев Карамазовых» как боевой снаряд. «Все проповеди аскетизма, умерщвления плоти и т. д. были голосом вопиющего в пустыне, не увлекали и не волновали массы, тогда как каждое слово, призывающее к жизни, к борьбе за счастье, к надежде, жадно подхватывалось на лету», — писала «Русская правда» (22 июня), подсмеиваясь над идеей самоотречения, в которой видела основной мотив романа. И снова «Голос» (7 июня) пытался выкрутить хулу сквозь похвалу: «Несмотря на всю чудовищность и дикость положений, в которые ставятся действующие лица романа, несмотря на несообразность их действий и мыслей, они являются живыми людьми. Хотя читателю иногда приходится чувствовать себя в обстановке дома сумасшедших, но никогда в обстановке кабинета восковых фигур».

Впрочем, критики «Голоса» (как правило, анонимные), пристально следившие за «странным» романом Достоевского и его «патологическими» героями, под маской всесокрушающей иронии прятали немалое беспокойство, видя, как автор сталкивает науку и религию, образованность и религиозность: «В "Братьях Карамазовых"... что ни образованный человек, то или негодяй, или психически больной, или готовый своротить с пути чести и правды... Положительными героями являются только те люди, которые говорят текстами из священных книг, читают "Четьи-Минеи" или, по крайней мере, носят подрясник и входят в общение с монастырскими подвижниками» (1879, 8 марта).

С тяжбой образованности и религиозности в новом романе Достоевского и в самом деле все обстояло очень сложно. Антитеза веры, сопряженной с необразованностью, и образования, сопряженного с неверием, представала в «Братьях Карамазовых» как проблема будущего России. От того, удастся ли сблизить и помирить светское образование и религиозную веру, соединить в общем духовном пространстве «смиренных и кротких» с «умными и образованными», зависело само существование страны. Парадокс о вере и образовании, поставленный еще в «Бесах», звучал так: наш народ велик, силен и прекрасен, потому что верует. Если бы пошатнулась в народе вера, то он тотчас бы начал разлагаться (как уже это происходит на Западе). Но можно ли веровать безусловно в божественность сына Божия Иисуса Христа, будучи «цивилизованным»? Последний пункт Достоевский считал главным вопросом существования России: «В этом *всё*, весь узел жизни народа и всё его назначение и бытие впереди».

Поиск «твердого камня», на котором можно было бы устоять, — лейтмотив всего, что написал Достоевский между «Бесами» и «Братьями Карамазовыми». При этом ни разу, ни приватно, ни публично, он не пожертвовал образованием ради веры — речь могла идти только о синтезе: «Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы. Я знаю и верую твердо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может...»

Быть образованным для Достоевского значило быть лучшим из людей. В 1876 году он писал брату Андрею: «Тебе одному, кажется, досталось с честью вести род наш: твое семейство примерное и образованное... Семья брата Миши очень упала, очень низменна, необразованна». «Необразование ужасно гибельная вещь для Феди. Конечно, ему скучно жить; при обра-

зовании и взгляд его был бы другой и самая тоска его была бы другая», — сокрушался он о старшем племяннике, сыне брата Михаила.

Однако светское образование почему-то никому не давалось даром: почти всегда цена ему была — утрата веры. Так было с самим Достоевским, который узнал Христа еще ребенком и утратил было, когда «преобразился в свою очередь в “европейского либерала”». Так должно было случиться и с героем романа «Атеизм» — русским человеком из общества, немолодым, чиновным и даже отчасти образованным, который *вдруг* теряет веру в Бога.

Но почему угроза шла от образования? Почему люди положительные, из колеи не выходящие, теряли веру даже не по молодости и ветрености, а уже в зрелых летах? Достоевский обещал писать об этом, пока держит перо в руках — ведь в скором времени, чувствовал он, появится «куча вопросов до сих пор в народе неслыханных». Кто ответит на них народу? «Духовенство? Но духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже», — писал он за два года до «Братьев Карамазовых», видя в среде духовенства, за малым исключением «еще горящих огнем ревности о Христе священников», корыстолюбцев, думающих не о слове Божьем, а о поборах.

Мир на глазах Достоевского делался неспособным к христианству и хвастливо заявлял об этом, не чувствуя ни страха, ни раскаяния. «Мир на другую дорогу вышел», — много раз повторялось в черновых записях к «Братьям Карамазовым». «*ВАЖНЕЙШЕЕ.* Помещик цитирует из Евангелия и грубо ошибается. *Миусов* поправляет его и ошибается еще грубее. Даже Ученый ошибается. Никто Евангелия не знает».

Вопрос, может ли образованный человек верить в истины православия, получал в романе об «одной семейке» ответ отрицательный. Петр Миусов, двоюродный дядя Мити Карамазова, являл в этом смысле случай типичнейший: поездивший по миру просвещенный столичный либерал, лично знавший Прудона и Бакунина, был вольнодумцем, атеистом и никогда не видел ни одного монастыря. Ивана Карамазова, с детства имевшего блестящие, прямо-таки гениальные способности к учению, естественно-научное образование прямо привело к ученому атеизму.

Среди *необразованных верующих* — и старец Зосима, и малограмотный монах Ферапонт, и малограмотный брат Анфим, и слуга Григорий, мрачный, глупый и упрямый резонер, любивший читать Исаака Сирина, ровно ничего в нем не понимая, и Алеша Карамазов, не кончивший гимназического курса (бросил учебу за год до завершения, так как понял, что знание и ве-

ра — вещи разные и противоположные), и Митя, в гимназии не доучившийся и в сравнении с Иваном «почти вовсе необразованный».

История Павла Смердякова, убогого сироты, которому всё детство воспитатели внушали, что он не человек, а изверг и завелся из банной мокроты, была особенно поучительна. Он рос дикарем, без благодати и благодарности, вешал кошек и хоронил с почестями, был бит за это розгами, и в двенадцать лет получил пощечину на первом же уроке Священной истории. «Мальчик вынес пощечину, не возразив ни слова, но забился опять в угол на несколько дней. Как раз случилось так, что через неделю у него объявилась падучая болезнь в первый раз в жизни, не покидавшая его потом во всю жизнь».

Меж тем вопрос малолетнего сироты («Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?») имел самое законное основание, и только косная педагогика на такие вопросы привыкла отвечать побоями. Не потому ли *верующих образованных* людей в романе, кроме автора, не оказалось?

Православная вера и светское образование трагически расходились и в мире романа, и в реальной действительности. Монастырь и миряне разделены непониманием и неуважением — об этом с горечью говорит Зосима. Светские люди не доверяют монастырю и его обитателям, считая слово «инок» едва ли не бранным, монастырь же смотрит на мирян с еще бóльшим осуждением: «Живут лишь для зависти друг другу, для плотоугодия и чванства... У тех, которые небогаты, то же самое видим, а у бедных неутоление потребностей и зависть пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут».

Состояние мира в «Братьях Карамазовых» катастрофически тревожно, и пламя растления идет сверху. «Верхние» хотят устроиться справедливо и по науке, но, отвергнув Христа, кончат тем, что «зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь». Поучения Зосимы полны мрачных предчувствий: «кротким и смиренным» противостоят «умные и образованные»; мирного выхода из этого столкновения не видно. Светское образование, как будто и цивилизуя простолюдина, подрывает его нравственные основы. Религиозное же просвещение крайне поверхностно, вызывает насмешливое отрицание и лишь «ускоряет человека в неверии».

Достоевский мечтал о синтезе европейского образования и истинного духовного просвещения, надеялся, что русская интеллигенция облечет народную истину в научное слово. Он мечтал о слиянии сословий, когда «свои в первый раз узнают

своих», но сознавал, насколько это трудно. «Попробуйте заговорить [о вере и народности]: или съедят, или сочтут за изменника». Идеальный христианин старец Зосима надеялся, что «народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь», но роман обнажал не гармонию единства, а трагедию противоборства.

В узком пространстве «Братьев Карамазовых» (место действия романа — русский уездный городок, вроде Старой Руссы или Козельска), как показывал Достоевский, накоплен опыт огромной разрушительной силы: *опыт недоверия вере другого как знак вражды и ненависти.* Недоверие проникает во все сферы жизни и прежде всего в семью Карамазовых, из которой удалена стихия материнства; отец и сыновья ненавидят и боятся друг друга, подозревая друг у друга камень за пазухой или нож за голенищем. Карамазов-отец жалуется Алеше, что Ивана боится больше, чем Митю; Митя же действительно может схватить старика за космы, дернуть и с грохотом ударить об пол, два или три раза стукнуть лежачего каблуком по лицу, со словами: «Так ему и надо!.. А не убил, так еще приду убить. Не устережете!.. Не раскаиваюсь за твою кровь! Берегись, старик... Проклинаю тебя сам и отрекаюсь от тебя совсем...»

Но старик Карамазов трясется от страха не только из-за блудного Мити. Он чувствует, что Иван желает смерти и ему, родному отцу, и брату. Митя, по одной женщине соперничая с отцом, а по другой женщине — с братом, не доверяет ни тому, ни другому, так как знает, что у отца нет к нему чувств отцовских, а у брата — братских. Ивана крайне раздражает Алеша — якобы он «пронзил сердце» отца, ибо «жил, всё видел и ничего не осудил». Репутация младшего брата усилиями Ивана сильно колеблется — «монашек» готов не то что осудить, а даже расстрелять негодяя генерала, затравившего собаками дворового мальчика. Алеша не верит Великому инквизитору, подозревая иезуита в низменном желании власти, осуждает Ракитина за бесчестье, замечает, что у Смердякова не русская вера, и, в свою очередь, возбуждает у двух последних брезгливое презрение. Тезис о «раннем человеколюбце», имеющем «дар возбуждать к себе особенную любовь», живущем, «совершенно веря в людей», как об этом говорится на первых страницах романа, в дальнейшем убедительно опровергнут.

И все вместе Карамазовы люто ненавидят Смердякова. «Иезуит смердящий, казуист, ослица», — говорит ему в лицо старый барин, отец; с отвращением глядит на единокровного брата Иван, называя в глаза идиотом, подлецом, страшным мерзавцем, смердящей шельмой, банной мокротой, вонючим лакеем и хамом, «передовым мясом». «Смердяков — человек

нижайшей натуры и трус... совокупление всех трусостей в мире вместе взятых, ходящее на двух ногах. Он родился от курицы, — аттестует слугу Митя. — Это болезненная курица в падучей болезни, со слабым умом и которую прибьет восьмилетний мальчишка». Ни разу не вступается за убогого эпилептика Алеша, не урезонивает родных, чтобы удержались от непереносимых оскорблений, полагая, что «лакей и хам» не чувствителен к ним. Но они все жестоко ошибаются. «Я бы на дуэли из пистолета того убил, который бы мне произнес, что я подлец, потому что без отца от Смердящей произошел, а они и в Москве это мне в глаза тыкали... Я бы дозволил убить себя еще во чреве с тем, чтобы лишь на свет не происходить вовсе-с» — вот что на самом деле чувствует Смердяков, таящий дуэльную ненависть ко всем Карамазовым, включая и слуг отцова дома.

Семья Карамазовых погрязла в ненависти, и все будто только и ждут не *удобного*, а *любого* случая заявить о ней. Митя — как свежую новость — сообщает Алеше, что семинарист Ракитин ненавидит Ивана, не жалует Алешу и сильно не любит Бога; потому в монахи не пойдет, а сделается в Петербурге журналистом. Не остается в долгу и Ракитин, объясняя Алеше, что все Карамазовы — сладострастники, стяжатели и юродивые, а теория Ивана — подлость; и лютая злоба полыхает в душе завистника при виде доброго порыва Грушеньки и Алеши. Состояние всеобщей нравственной энтропии ярче всего описывает юная Лиза Хохлакова: все потихоньку любят дурное, всем нравится, что Митя отца убил, а ей нравится, что Иван никому не верит и всех презирает. И загорается в девице острое, жгучее желание беспорядка, выраженное с недетской дерзостью: «Хочу, чтобы нигде ничего не осталось».

Однако не только в миру, но и в святой обители творится неладное. Уже год наблюдает Алеша «ненавистников и завистников» Зосимы. Одни восстают против совместных исповедей, считая их профанацией таинства, почти кощунством, которое вводит братство в грех и соблазн. Другие тяготятся ходить к старцу, неволят себя — идут, чтобы отделаться. Алеша знает, что монахи давно возмущены обычаем относить адресованные им письма к старцу, чтоб он читал первым. Считалось, что это делается свободно, от всей души, во имя вольного смирения и спасительного назидания, но на деле «происходило иногда и весьма неискренно, а, напротив, выделанно и фальшиво». Главный противник Зосимы, 75-летний монах Ферапонт, постник и молчальник, живет семь лет в уединенной келье, ест два фунта хлеба в три дня, странен и груб; ведет беседу с небесными духами, а с людьми молчит, считает старчество

вредным и легкомысленным новшеством и к Зосиме не ходит. Большинство же братии сочувствует Ферапонту как великому подвижнику.

На глазах горожан и насельников монастыря разыгрывается опасное соперничество за звание праведника. В противоборстве двух монахов есть много смешного и недостойного, но есть и суть, от которой невозможно отмахнуться. Проповеди Зосимы о важности покаяния, о любви к ближнему, о потребности в правде, о молитве даже за самоубийц прекрасны своим предельным милосердием. Однако в мире «Братьев Карамазовых» эти проповеди становятся взрывоопасным раздражителем. Весь город наблюдает за двумя соперничествами, которые зреют параллельно, и все нетерпеливо ждут, на чьей стороне будет победа. Никто не может, а главное, и не хочет помешать назревающим скандалам.

Всё решает смерть — в каждой из соперничающих пар умирает один из противоборцев: старик Карамазов из семейной пары и старец Зосима из монашеской, при этом Зосима, покинув сей мир чуть раньше, невольно уступает поле битвы силам злого соблазна. Соперничество монахов скандально выходит наружу тотчас по успении старца: его кончина будто освобождает клир и мирян от обязанностей любви и доверия. Оглушительное известие о запахе тления от тела усопшего старца порождает всеобщее злорадство — ибо *любят люди падение праведного и позор его*.

В стенах монастыря и за его пределами разыгрывается недостойный фарс, в котором правят соблазн и провокация. Сказывается закоренелая вражда к старчеству, затаившаяся в монастыре, и зависть к святости усопшего. Очевидна печальная истина: Зосима, воздвигший вокруг себя мир любви, породил ожесточенных врагов в монастыре и в миру, вызвал из бездны неутолимую злобу. Многие из врагов его, ощутив запах тления, безмерно торжествовали, люди преданные — оскорбились и обиделись. Иноки не хотели скрывать радости, сквозившей в озлобленных взорах, полагая, что сам Господь допустил, чтобы злоба временно одержала верх. Люди говорили друг другу безнадежные слова, дескать, *провонял старец*, и возрастало при этих словах зловещее торжество...

Завещание Зосимы, который «почему-то» не заслужил посмертного благоухания, лишился славы и потерпел срам, в сознании монашеской братии и мирян поставлено под сомнение: неправильно учил, по-модному веровал, огня материального во аде не признавал, постов не соблюдал по чину схимы своей, вишневое варенье ел, чаи распивал, конфетой от барынь-прихожанок прельщался, чреву жертвовал, инокам от

снов про нечистую силу слабительное (пурганец) давал, себя же за святого почитал. Апофеозом позора становится явление Ферапонта с березовым веником — вымести из кельи усопшего старца полчища чертей.

Жизнь, как оправдывался Достоевский за дорогого «Pater'a Seraphicus'a» в письме Победоносцеву, и в самом деле была полна комизма и оставалась величественна лишь во внутреннем смысле ее. А ферапонтовщина — темный и пошлый двойник церкви — разъедала души, разрывала человеческие связи, как червь, точила общественную ткань, отчего та разрушалась и распадалась. Над миром вставало зарево ненависти и разъединения, из зияющего пролома в стене церкви тянуло призраком смерти, и силы, которые могли бы еще на краткий исторический миг задержать любовь и веру в холодеющем мире, были крайне истощены и разобщены.

Читатель видел: не один только Иван проповедует сакраментальное «Бога нет — все дозволено» или «Христова любовь к людям есть невозможное на земле чудо». Не одного только Ивана черт водит между верой и безверием. Миусов уверен, что Зосима — «злобная и мелко-надменная душонка». В поклоне старца Мите Ракитин видит «всегдашние благоглупости», а Карамазов-отец — старую ложь, ханжество и казенщину. Он, подозревая, что Зосима — русский иезуит, злобно вышучивает монахов: на капусте спасаются, пескариков кушают и думают «пескариками Бога купить!». «Коли Бог есть, существует, — ну, конечно, я тогда виноват и отвечу, а коли нет Его вовсе... так с них мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают». *До* «истории в монастыре» мадам Хохлакова еще сколько-то волновалась о бессмертии души, но *после* «поступка Зосимы» (так в городе называют посмертное тление старца) излечилась и стала «реалисткой».

Духовный кризис принимает в мире Карамазовых глобальные формы, затрагивая всех членов общества, независимо от возраста и статуса. «Я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль...» — таков узнаваемый, из мятежной молодости Достоевского, тезис Коли Красоткина, и ни один тринадцатилетний школьник, как злорадно заявляет Ракитин, во все эти сказки про Бога уже не верит. Даже Алеше мысль о тлетворном духе, «поспешном и предупредившем естество», кажется столь ужасной, что он бежит из монастыря с озлобленным сердцем, бунтуя против Того, Кто попустил позор и бесславие.

Если ни в семье, ни в обществе, ни в церкви нет твердынь, всё шатается и падает, может ли быть крепко, надежно и спра-

ведливо в суде присяжных? Суд над Митей станет ярчайшим примером тотального недоверия всех всем: связи порваны и правда попрана. *Все* свидетели выступят *против* Мити. Суд не поверит ни одному его слову. Иван, как и все очевидцы событий в Мокром, будет уверен, что виновен Митя. «И все-то на него, что он убил, весь город».

Смердяков утвердится во мнении, что Иван всё знает и только кривляется. Перед тем как повиснуть в петле, он расскажет Ивану правду об убийстве, отдаст ему похищенные у старика Карамазова деньги, злорадно предвидя, что суд Ивану все равно не поверит. «Убили отца, а притворяются, что испугались... Друг пред другом кривляются. Лгуны! Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину... Не будь отцеубийства — все бы они рассердились и разошлись злые... Зрелищ! “Хлеба и зрелищ!”» — это будет сказано Иваном не про отца и не про брата, но про все «рожи» в этом городе, в этом мире.

Драма в семье Карамазовых произойдет точно по рецепту Ивана. Никто не выразит христианского сожаления о смерти старика Карамазова и слуги Смердякова, и некому будет молиться за них. Поучения Зосимы («Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них...»), а также его молитвы за самоубийц не будут услышаны; кажется, формула Ивана про двух гадов общество устраивает больше. Митина попытка защититься («слезы ли чьи, мать ли моя умолила Бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение») не будет иметь ни одного шанса на внимание — суд не сможет признать «светлый дух» свидетелем защиты. Адвокат Фетюкович отмахнется от мысли, будто Митю Бог спас от убийства отца, зато выдвинет версию, более понятную суду: Митя убил, но это как бы не в счет — убийство «такого», то есть плохого, отца не может быть названо отцеубийством. Парадоксально повторялась история Раскольникова, убившего жалкую, никчемную старуху, которую никому не жалко. Скользкие доводы адвоката не спасут, однако, Митю, двадцать лет каторги его не минуют.

В поминальном перечне Алеши, когда он у камня призовет мальчиков всегда помнить Илюшу Снегирева и его грешного отца, как-то странно не окажется отца самого Алеши и его единокровного брата Смердякова. Читателя должны были болезненно поразить бесчувствие младшего Карамазова, его готовность — на фоне семейной трагедии, где убийство соединилось с самоубийством, каторгой и белой горячкой, — легко и радостно отдаться занятию «помнить всех». Ошеломит и не-

уместность веселья Алеши, «башмаков не износившего» с похорон отца*.

Сюжет с Алешей исполнен особого драматизма. Иван по мысли, а Алеша по факту поступят согласно «каинову» тезису: «Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию?» «Восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю: разве я сторож брату моему? И сказал: что́ ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей» (Быт. 4: 8—11). В этом мире уже настолько никто никому не сторож, будто и сторожить совсем нечего и незачем; поэтому и гибнет семья Карамазовых, как полвека спустя погибнет Российская империя. Отпущенный Алеше ресурс деятельной любви окажется не востребован, ибо завет старца Зосимы — быть в миру, около обоих братьев — не будет исполнен. Алеша на сутки опоздает сделать главный поступок своей жизни — ведь исполнить долг перед семьей нужно было не когда-нибудь, а немедленно, не теряя ни минуты после того, как Иван покинул отцовский дом («Если б остались, — скажет Ивану Смердяков, — то тогда бы ничего и не произошло, я бы так и знал-с, что вы дела этого не хотите, и ничего бы не предпринимал».). Мгновение, когда Алеша взбунтуется против тленного духа, выбьет из его сознания «обязанность страшную» — непременно, во что бы то ни стало *стать сторожем* около отца и фактом своего *неотлучного физического присутствия* в его доме разрушить преступные замыслы.

Роман содержит неотразимые улики моральной виновности Алеши, и внимательный читатель не мог их не заметить.

---

* Абсолютно прав был Н. Ф. Федоров, не признавая Достоевского, вопреки мнению некоторых критиков, адептом своего учения. Исходная предпосылка Федорова в его проекте «всеобщего воскрешения» — это осознание братства и родственности всеми людьми; стремление пробудить у них любовь к отцам, осознание нравственного долга сынов перед отцами, непреодолимое сердечное требование вернуть отцам, давшим жизнь детям, их собственную жизнь. В «Братьях Карамазовых» вместо осознания долга воскрешения происходит убийство живого отца одним его кровным сыном при попустительстве трех других. Черновые записи: «Вера, что оживим и найдем друг друга все в общей гармонии... *Воскресение предков* зависит от нас...», в которых можно усмотреть идеи Федорова, обернулись в конце концов фундаментальной полемикой с автором радикальнейшей из утопий. «Зачем живет такой человек!.. можно ли еще позволить ему бесчестить собою землю» — это риторическое восклицание Мити Карамазова стало жестоким ответом на возможный вопрос, захочет ли он воскрешать убитого отца. Но Алеша и Иван тоже не проявляют такого желания. «Все желают смерти отца... Не будь отцеубийства — все бы они рассердились и разошлись злые», — скажет Иван о горожанах-обывателях, пришедших «развлечься» на заседание суда.

Алеша пойдет к Груше «*именно в вечер того дня,* который закончился трагическою катастрофой, послужившею основой настоящему делу». Митя поедет в Мокрое — и «это была *та самая ночь, а может, и тот самый час*, когда Алеша, упав на землю, "исступленно клялся любить ее во веки веков"» (курсив мой. — *Л. С.*). Но в тот самый час, когда он целовал землю во дворе скита, близ клумбы со спящими осенними цветами, трава в саду и пол в комнате отцова дома обагрились кровью двух стариков, и уже никакие подвиги в будущем не смогут ее смыть. Он целовал землю, обливаясь слезами, хотел всех простить и за всё просить прощения, он пал слабым юношей, а стал «твердым на всю жизнь бойцом», но времени и поприща для борьбы у него не осталось. Как скажет на суде прокурор, Алеша, убоясь общественного цинизма и разврата, бросается в материнские объятия родной земли, чтобы «заснуть и даже всю жизнь проспать, лишь бы не видеть пугающих его ужасов». Алеша буквально проспал трагедию в своей семье, и этим прискорбным фактом исчерпалось его романное бытие в качестве сына и брата. Восклицание Коли Красоткина «Ура Карамазову!» в финале романа (Алеша выглядит «совсем красавчиком» — сбросил подрясник, носит «прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы») не может отменить падение и гибель семьи.

«Западный человек, — размышлял Достоевский в начале шестидесятых, — толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы то ни стало. Но оказывается, что сделать братства нельзя, потому что оно само делается, дается, в природе находится». Ф. М. имел немало случаев убедиться, что и русский человек, со страстью толкующий о христианском братстве, сам бывает далеко не образцовым братом. Даже в культурнейшей семье знаменитого историка С. М. Соловьева не было мира; сыновья Сергея Михайловича, братья Всеволод и Владимир (оба тесно, но порознь дружившие с Ф. М.), открыто спорили, а потом и враждовали из-за наследства отца, скончавшегося в 1879-м, и автор «Братьев Карамазовых» внимательно наблюдал за братьями Соловьевыми...

«*Раньше чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства*». Эти роковые в своей безысходности слова произносит в романе таинственный гость Зосимы, раскаявшийся убийца; он, несомненно, знает, о чем говорит...

Дотянуться до высокого идеала братства не представлялось возможным. Остаться на высоте той миссии, которую, умирая, поручил Алеше старец Зосима: уйти из монастыря и находить-

ся около обоих братьев — не удалось; заботы своего «я» не отпустили. Простого сочувствия, монашеской аскезы и моральной чистоты было недостаточно — спасти отца и братьев он, отпрыск греховной зараженной крови, мог только ответственным выполнением долга, активным деланием. Шанс предотвратить катастрофу, которую провидел мудрый старец, был безнадежно упущен.

Достоевскому было из-за чего беспокоиться. Поучения Зосимы отвечали Великому инквизитору не *по пунктам*, а в *художественной картине*, являвшей высокий идеал. Но *образ мира* был исполнен мрачного трагизма. События романа свидетельствовали о подорванных и извращенных нравственных началах, о безвременном одряхлении общественного организма, когда только уголовные дела тревожно напоминают о какой-то беде, с которой, как с опасным злом, уже трудно бороться. Люди потеряли чувствительность к трагической безалаберщине настоящей минуты и способны лишь смаковать сильные ощущения. Достоевский писал Е. А. Штакеншнейдер: «Болезнь и болезненное настроение лежат в корне самого нашего общества, и на того, кто сумеет это заметить и указать, — общее негодование».

...Ф. М. уезжал из Эмса после пяти недель лечения с надеждой, что не зря потерял время и ему хватит сил довести «Карамазовых» до конца. Будущее пугало неопределенностью и необеспеченностью. «Кончу роман, — писал он жене в августе 1879-го, — и в конце будущего года объявлю подписку на “Дневник” и на подписные деньги куплю имение, а жить и издавать “Дневник” до следующей подписки протяну как-нибудь продажей книжонок. Нужна энергическая мера, иначе никогда ничего не будет».

Он полагал, что покупка имения даст капитал, который умножится, когда дети подрастут. Мысль об имении, однако, была дорога́ даже не финансово, а идейно: «Тот, кто владеет землею, участвует и в политической власти над государством. Это будущее детей и определение того, чем они будут: твердыми ли и самостоятельными гражданами (никого не хуже) или стрюцкими» — то есть людьми пустыми, дрянными, потерянными. Тремя годами раньше, в «Дневнике писателя», формула будущего определялась именно через Землю и Сад: «Человечество обновится в Саду и Садом выправится... Дети людей должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно жить потом на мостовой, но родиться и всходить *нация*, в огромном большинстве своем, должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут».

Писатель успеет выполнить только первую строчку программы: закончить роман и объявить подписку на «Дневник»...

Глава четвертая

МОЛНИЯ, ПРОРЕЗАВШАЯ НЕБО

Подарок из Дрездена. — Салон С. А. Толстой. — Победа «Карамазовых». — Смятение критики. — Упреки и инвективы. — Живое чувство. — Литературные вечера. — Воздух торжества. — Воин или миротворец? — Грязь и брань. — Великая миссия

В день своего 58-летия Достоевский получил неожиданный и очень дорогой его сердцу подарок. Утром 30 октября 1879 года, когда он пришел в столовую пить чай, над диваном в его кабинете была — заботами Анны Григорьевны — повешена фотография в прекрасной, темного дуба резной раме. «Где ты могла ее найти, Аня?» — радостно допрашивал жену изумленный супруг, когда вернулся в комнату. Но *ее*, фотографию Рафаэлевой «Мадонны» в натуральную величину, «нашла» не Аня, а вдова поэта А. К. Толстого графиня Софья Андреевна: через своих дрезденских знакомых она выписала копию, зная, как высоко ценит писатель эту картину (по понятному совпадению, репродукция «Сикстинской мадонны» с 1862 года висела сначала в спальне, а потом в кабинете яснополянского дома Л. Н. Толстого).

А дальше все было просто: громадный картон с фотографией принес на Кузнечный друг графини Вл. Соловьев, передав снимок «на добрую память», и уже жена писателя заказала для фотографии раму, распорядилась вбить гвоздь и приурочила подарок к знаменательному дню — отныне домочадцы часто будут заставать Достоевского стоящим перед великим образом в глубоком сердечном умилении. Тем же днем Ф. М. поехал благодарить графиню.

Софье Андреевне Толстой, урожденной Бахметевой, было уже за пятьдесят, и слыла она «женщиной с прошлым». Но любовный роман с трагическим финалом (соблазнитель Софи Бахметевой, князь Г. Н. Вяземский, убил на дуэли ее брата, П. А. Бахметева), неудачный брак с кавалергардом Л. Ф. Миллером и тяжелый развод, длительная связь и, наконец, счастливый союз с поэтом и драматургом А. К. Толстым — все это к моменту знакомства с Достоевским было уже позади. Софья Андреевна (это под впечатлением первой встречи с ней зимой 1850-го А. К. Толстой написал знаменитые стихи «Средь шумного бала...») вдовствовала, держала в своем петербургском доме на Шпалерной литературный салон, пользовалась репутацией светской дамы громадного ума и образования — читала на многих европейских языках, отменно музицировала,

считалась знатоком мировой литературы и тонким ценителем искусств.

«Встретив моего отца, — писала дочь Достоевского, знавшая от матери историю отношений графини с Ф. М., — она поспешила пригласить его к себе и была с ним очень любезна. Отец обедал у нее, бывал на ее вечерах, согласился прочесть в ее салоне несколько глав из "Братьев Карамазовых" до их публикации. Вскоре у него вошло в привычку заходить к графине Толстой во время своих прогулок, чтоб обменяться новостями дня. Хотя моя мать и была несколько ревнива, она не возражала против частых посещений Достоевским графини, в то время уже вышедшей из возраста соблазнительницы. Всегда одетая в черное, с вдовьей вуалью на седых волосах, совсем просто причесанная, графиня пыталась пленять лишь своим умом и любезным обхождением».

Непринужденный, благородный тон, царивший в салоне графини, ее нежное и чуткое сердце привлекали многих выдающихся людей. «Беседы с ней были чрезвычайно приятны для Федора Михайловича, — вспоминала А. Г., — который всегда удивлялся способности графини проникать и отзываться на многие тонкости философской мысли, так редко доступной кому-либо из женщин». В салоне Толстой часто можно было встретить Вл. Соловьева, питавшего нежные чувства к любимой племяннице графини, жившей при тетушке отдельно от мужа, дипломата М. А. Хитрово. «Ф. М. любил посещать графиню С. А. Толстую, — писала А. Г., — еще и потому, что ее окружала очень милая семья: ее племянница, Софья Петровна Хитрово, необыкновенно приветливая молодая женщина и трое ее детей: два мальчика и прелестная девочка. Детки этой семьи были ровесниками наших детей, мы их познакомили, и дети подружились, что очень радовало Федора Михайловича». (Ходили слухи, что С. П. Хитрово была не племянницей графини, дочерью ее убитого на дуэли брата, а ее собственной дочерью — плодом любовной связи Софи Бахметевой с князем Г. Н. Вяземским, не пожелавшим жениться на соблазненной девушке.)

Атмосфера радостного детства, ласковое дружелюбие, романтический настрой, сами гости графини, среди которых были и дамы высшего общества, успокаивали и умиротворяли писателя. «Федор Михайлович, так часто раздражаемый в мужском обществе литературными и политическими спорами, очень ценил всегда сдержанную и деликатную женскую беседу». Анна Григорьевна с видимым удовольствием называла лиц, посещавших дом на Шпалерной: фрейлину при дворе великой княгини Александры Иосифовны (вдовы великого кня-

зя Константина Николаевича и матери поэта К. Р.) графиню А. Е. Комаровскую; супругу министра финансов А. А. Абазы певицу и музыкантшу Ю. Ф. Абаза; певицу Е. А. Лавровскую; двоюродную тетку Л. Н. Толстого графиню А. А. Толстую; известную благотворительницу графиню Е. Н. Гейден; дочь поэта Д. В. Давыдова переводчицу Ю. Д. Засецкую. Анна Григорьевна считала этих дам искренними друзьями писателя — они охотно поверяли ему свои тайны, видели в нем опытного советчика. «Ф. М. с сердечною добротою входил в интересы женщин и искренно высказывал свои мнения, рискуя иногда огорчить собеседницу. Но доверявшиеся ему чутьем понимали, что редко кто понимал так глубоко женскую душу и ее страдания, как понимал и угадывал их Ф. М.».

Благодаря успеху «Карамазовых» симпатии общества к автору романа чрезвычайно выросли; в нем стали видеть непременного участника балов, концертов, благотворительных вечеров. Ф. М. писал сам или поручал жене составлять отказы, а порой и направлял ее вместо себя на праздник, так что, проскучав положенное время, Анна Григорьевна уходила, извиняясь за мужа, который, по случаю спешной работы, так и не смог быть на вечере.

Свое литературное положение в момент работы над «Карамазовыми» Достоевский считал *почти феноменальным*. «Как человек, пишущий зауряд против европейских начал, компрометировавший себя навеки “Бесами”, то есть ретроградством и обскурантизмом, — как этот человек, помимо всех европействующих, их журналов, газет, критиков — все-таки признан молодежью нашей, вот этою самою расшатанной молодежью, нигилятиной и проч.?» Ф. М. задавал этот вопрос Победоносцеву, с которым в период создания «Карамазовых» много общался и от которого хотел, быть может, получить ответ и на это «как». К. П., слыша жалобы писателя на хандру, советовал: «Только не раздражайте себя мыслию о смерти, в том смысле, как Вы пишете. Посудите Вы сами, когда жизнь исполнена такой нравственной тяготы и когда смерть висит над человеком, стоит ли болезненно вглядываться в эту мысль»[40].

Сто́ит, полагал Достоевский. «Я вот занят теперь романом (а окончу его лишь в будущем году!) — а между тем измучен желанием продолжать бы “Дневник”, ибо есть, действительно имею, что сказать — и именно как Вы бы желали — без бесплодной, общеколейной полемики, а твердым небоящимся словом». И Победоносцев будто подзадоривал писателя: «А как много и хорошо можно бы писать теперь; но для этого надо снять с себя истасканный, грязный плащ русской полемики: так все измельчено, так все опошлилось в ее приемах»[41].

Таких одежд, истасканных и грязных, Ф. М. не носил никогда и теперь тоже готов был броситься в самое пекло общественной полемики со своим «твердым небоящимся словом» наперевес — ведь именно этого шага и ждала от него молодежь, обращаясь к писателю «из многих мест, единичными заявлениями и целыми корпорациями». «Они объявили уже, что от меня *одного* ждут искреннего и симпатичного слова и что меня одного считают своим *руководящим писателем*. Эти заявления молодежи известны нашим деятелям литературным, разбойникам пера и мошенникам печати, и они очень этим поражены, не то дали бы они мне писать свободно!»

Кажется, Ф. М. давал понять Победоносцеву, что от «разбойников пера и мошенников печати» его, автора «Бесов», спасает не заступничество великих князей или дам высшего света (в чем, впрочем, не было бы ничего зазорного), а решительное слово читательской молодежи «из многих мест». В таком случае это была декларация независимости и осознание неуязвимости: ведь не будь этой молодежи, разбойники и мошенники «заели бы, как собаки, да боятся и в недоумении наблюдают, что дальше выйдет».

А дальше — в течение двадцати трех месяцев триумфально «выходили» «Братья Карамазовы», заняв собою 16 номеров «Русского вестника». Достоевский не скупился на толкования — объяснял, кто именно убил старика Карамазова, трактовал характер Мити: «Он очищается сердцем и совестью под грозой несчастья и ложного обвинения. Принимает душой наказание не за то, что он сделал, а за то, что он был так безобразен, что мог и хотел сделать преступление, в котором ложно будет обвинен судебной ошибкой. Характер вполне русский: гром не грянет — мужик не перекрестится».

Пресса — даже самая злая — попритихла. Газеты, привыкшие обличать, вежливо сдерживались, а то и переходили на сторону писателя. «Новое время» (1879, 14 сентября) даже защищало Достоевского от двух главных обвинений: в избытке «лампадного масла» и в засилье «психиатрической истерики». Впрочем, по мнению большинства критиков, Достоевский вместе со своими героями все же оставался в плену туманного мистицизма — но теперь это ему почти прощали. То, что читатели называли христианской гуманностью, критики именовали мрачной мистикой: «скитом и склепом пахнут рисуемые им образы, сцены и картины», — писал критик «Молвы» Скабичевский, но тут же обнаруживал в романе глубокое человеколюбие, щедро разлитое в назидательных беседах персонажей. «Мы хотим знать, — вопрошал критик, — где эти старцы, уясняющие себе в своем уединении великие мировые вопросы со-

временности, где эти юноши, способные просветительно влиять на мир с таким скудным запасом идей?.. Чудо чудом, а за правдой жизни остаются ее неотъемлемые права. Этой правды мало в романах Достоевского. Он заменяет ее собственной мистической правдой, собственной фантазией».

«Мистическое», на языке русской критики конца 1870-х, было чем-то вроде алхимии, и ярлык «мистика» приклеивался к уличенному в мистике литератору, как правило, навсегда. Но выходили в свет новые главы «Карамазовых», и «мистицизмофобы» сдавались: им вдруг открывались жгучие «злобы» русской действительности. Становилось ясно — этот странный роман во много раз современнее самых модных сочинений, а его автор — честный и глубокий художник, «ударяющий по сердцам с неведомой силой».

Роман побеждал самых упрямых — и они прощали автору его «мистику» во имя «поэзии сердца». «Русская речь» (1879, 30 декабря) заявляла: «Не иночество, не церковность приветствуем мы как новую струю в романе Достоевского. Мы приветствуем в нем светлый взгляд на душу человеческую, жаркую веру в нравственные силы человека, такую крепкую веру, которая... спокойно проводит среди беснующегося хаоса стихий свой маленький священный ковчег, где бьется чистое сердце и живут высокие помыслы, откуда с надеждою можно глядеть в черные тучи, отыскивая в них ободряющую радугу будущего».

Достоевский имел все основания писать в редакцию: «Роман читают всюду, пишут мне письма, читает молодежь, читают в высшем обществе, в литературе ругают или хвалят, и никогда еще, по произведенному кругом впечатлению, я не имел такого успеха». Письма первых читателей запечатлели невероятный восторг и потрясение. «Все наши беллетристы-психологи — со Львом Толстым во главе — не больше чем детишки в сравнении с этим суровым и глубоким мыслителем... — писал Миллеру музыкальный критик, композитор и беллетрист Ф. М. Толстой, назвавший «Братья Карамазовы» *идеальным произведением,* а многие его сцены — вивисекцией, *мастерски произведенным вскрытием.* — Поэма, которая складывалась в голове Ивана, полна подавляющего величия. Если б можно было воскресить Лермонтова, он сумел бы сделать из этого pendant или, скорее, продолжение своего "Демона". Инквизитор — это воплощение Люцифера, облаченного в пурпур и увенчанного папской тиарой. А в личности Христа, в его взгляде, преисполненном благодушия, которым освещено лицо Инквизитора, я вижу, мнится мне, вижу облик автора романа...»[42]

Дочь поэта Тютчева, фрейлина императрицы Марии Александровны Е. Ф. Тютчева (на Катеньку Тютчеву как на возможную невесту в свое время поглядывал Л. Н. Толстой), прочитав седьмую книгу, в смятении писала Победоносцеву: «Достоевский взялся за слишком трудное дело, желая совместить в своем романе, изобразить *словом* то, что одна жизнь может *совокупить*, и сильный человеческий дух, просвещаемый и наставляемый выше, *примирить*, т. е. соблазн внешней веры, малодушия и малоумия верующего — с беспредельною гармониею Истины. Есть глубокие ключи, которых не может, не должно касаться человеческое слово. Не словопрениями изгоняется сей темный дух соблазна и самовольного сомнения — но токмо молитвою и постом. Разоблачать язву, выставлять ее напоказ — можно, но кто ее исцелит?..»[43]

Вряд ли Достоевский согласился бы с мнением фрейлины — раз дерзал дотрагиваться словом и до глубинных истоков Истины, и до темного духа соблазна: язва, выставленная на свет, имела больше шансов на исцеление, чем та, что гнила и разлагалась под тугими повязками. Впрочем, отнюдь не все читатели придворного круга были столь скептичны. Записывая в дневник впечатления о чтении на вечере у графини Комаровской тех самых глав романа («Тлетворный дух» и «Кана Галилейская»), великий князь К. К. Романов (К. Р.) не мог удержаться от восклицания: «Мучительно, до ужаса хорошо!»[44]

Без тени высокомерия обсуждали великие князья разговор Ивана и Алеши в книге «Pro и Contra» (как обсуждали его, надо полагать, и во многих других гостиных столицы): «Спор поднялся ожесточенный, ум за разум стал заходить, кричали на всю комнату и ничего не разобрали. Что за громадная сила мышления у Достоевского! Она на такие мысли наводит, что жутко становится и волосы дыбом подымаются. Да, ни одна страна не производила такого писателя, перед ним все остальные бледнеют»[45].

«Я в восторге от "Карамазовых", — записал в свой дневник 5 ноября 1879 года член Славянского благотворительного общества и многолетний оппонент Вл. Соловьева в споре о католицизме генерал А. А. Киреев. — Его определение вечных мук ада — глубоко философское: невозможность любить и жертвовать собою и страдать за других. Едва ли когда-либо в русской *беллетристике* появлялось что-либо более глубокое»[46].

Сохранилось письмо от доктора А. Ф. Благонравова из старинного уездного городка Юрьева-Польского Владимирской губернии, который сообщал автору «Карамазовых», что роман («захватывающий в себя, предрешающий глубину вопросов») читается в самых глухих местах и что провинциальная моло-

дежь — чиновники и молодые купцы, воспитанные на пустых романах, — «перестает коснеть в невежестве и мало-помалу умственно развивается, — идет вперед»[47]. Достоевский письму обрадуется — мол, возрождается новая интеллигенция, которая хочет быть с народом и начинает поднимать голову, — и горячо поблагодарит за тонкое прочтение главы «Черт. Кошмар Ивана Федоровича». «Здесь за то, что я проповедую Бога и народность, из всех сил стараются стереть меня с лица земли. За ту главу "Карамазовых" (о галлюцинации), которою Вы, врач, так довольны, меня пробовали уже было обозвать ретроградом и изувером, дописавшимся "до чертиков". Они наивно воображают, что все так и воскликнут: "Как? Достоевский про черта стал писать? Ах, какой он пошляк, ах, как он неразвит!" Но, кажется, им не удалось! Вас, особенно как врача, благодарю за сообщение Ваше о верности изображенной мною психической болезни этого человека. Мнение эксперта меня поддержит, и согласитесь, что этот человек (Ив. Карамазов) при данных обстоятельствах никакой иной галлюцинации не мог видеть, кроме этой».

Искреннее восхищение безвестного доктора сценой из романа («описать форму душевной болезни, известной в науке под именем галлюцинаций, так натурально и вместе с тем так художественно, навряд ли бы сумели наши корифеи психиатрии...») было, кажется, много дороже писателю, чем пылкие восторги великосветских поклонниц — а ведь в их числе была уже и цесаревна Мария Федоровна, будущая русская императрица; узнав о знакомстве Достоевского с этой высокой особой и его встречах с ней у графини Менгден, а потом у великого князя Константина Константиновича, Катков «был приятно поражен, совсем лицо изменилось»; во время очередного визита писателя в «Русский вестник» он впервые вышел провожать его в переднюю редакции, изумив всех сотрудников.

Чувство обиды на несправедливые нападки возникало не на пустом месте. Достоевский знал, что вызывает у критиков, да и у читающей публики не только восхищение — пишущая братия никогда не щадила его, ставя в строку каждое лыко: недужность, забывчивость, раздражительность, «ретроградность». До него доходили высказывания собратьев по перу — о тяжелом впечатлении, которое производит его «нервическая чепуха». Флюиды неприязни проникали в печать, в гостиные, в уши знакомых. Любитель романа «Что делать?» *шестидесятник* Ф. И. Китаев писал своей знакомой Е. С. Некрасовой в ноябре 1879-го: «Это удовольствие находить наслаждения в ковырянии ран, и без того больных и трудно заживающих, — мне не по вкусу. Такое отношение к явлениям обыденной фи-

зической и психической жизни человека напоминает мне тех нищих калек, с голыми обезображенными частями тела, покрытыми язвами, которые с искусственно жалобными воплями разъезжают на клячах по деревенским базарам и всячески стараются привлечь к себе внимание и симпатию публики. Достоевский тот же калека. Я помню, что дети находят большое удовольствие ковырять или бередить свои болячки, не понимая, что этим только замедляют ход заживления. Помню, что за это, если они не слушаются, не отстают от своей привычки, их бьют по рукам. Достоевский — такое же дитя, с тою только разницей, что он старик-дитя. Я не удивляюсь, однако, что Достоевский находит себе поклонников, которые им восторгаются, во-первых, потому, что я признаю, что такого рода ковыряние в своей собственной душе свойственно каждому человеку в известном фазисе его развития, а во-вторых, потому что знаю еще и таких людей, которые до того любят ковыряться в своей душе, что это занятие вошло у них в привычку...»[48] «Братьев Карамазовых» любитель Чернышевского считал «последним словом отживающего писателя»[49].

Желающих дать писателю «по рукам» было немало, и это больно ранило. «Он [И. С. Тургенев] всю мою жизнь дарил меня своей презрительной снисходительностью, а за спиной сплетничал, злословил и клеветал», — говорил Ф. М. навещавшему его литератору Е. Н. Опочинину в декабре 1879-го. В другой раз, будто не доверяя своему собеседнику, холодно добавил: «Это человек, каких немного... Талант блестящий и огромный... Жаль, правда, что талант этот вмещен в таком себялюбце и притворщике; ну, да ведь и солнышко не без пятен...»[50]

Опочинин, записывая впечатления об авторе «Карамазовых», не обошел, кажется, ни одного его изъяна: «Наружность незначительная: немного сутуловат; волосы и борода рыжеваты, лицо худое, с выдававшимися скулами; на правой щеке бородавка. Глаза угрюмые, временами мелькает в них подозрительность и недоверчивость, но большею частью видна какая-то дума и будто печаль. В разговоре временами взор загорается, а иногда и грозит (разговор о Тургеневе)».

Достоевский в изображении Опочинина нервничал, бессмысленно перебирал бумаги на столе, поминутно раздражался, горячился, брюзжал, комкал листки и со злостью бросал их на пол, пренебрежительно улыбался, ругал семинаристов. «Вон семинаристы хоть — возьмите: они богословие-то как изучают! — Всех отцов церкви творения проходят, да еще всякие там патристики, пропедевтики, герменевтики, — а из них выходят самые злые атеисты, а то так и просто кощуны. И никто так сложно и совершенно кощунствовать не умеет, как се-

минаристы. В этом я сам когда-то убедился, да и от Николая Герасимовича слышал (от Помяловского). Тот рассказывал о них такие вещи, что волосы станут дыбом. Он (то есть Николай Герасимович) знал всякие кощунственные молитвы, многие возгласы, гнусные пародии богослужений. И говорил он при этом, что исполнялось это все на обиходные церковные напевы, по гласам».

По свидетельству Опочинина, ярославский священник отец Алексий, собравшийся проповедовать Евангелие в Китае и обращать китайцев в православие (батюшка сам писал иконы, сближая изображения младенца Будды с младенцем Христом и уверяя, что для проповедования истины всякие пути дозволены), говорил о Достоевском: «Вредный это писатель! Тем вредный, что в произведениях своих прельстительность жизни возвеличивает и к ней, к жизни-то, старается всех привлечь. Это учитель от жизни, от плоти, а не от духа. От жизни же людей отвращать надо, надо, чтобы они в ней постигали духовность, а не погрязали по уши в ее прелестях. А у него, заметьте, всякие там Аглаи и Анастасии Филипповны... И когда он говорит о них, у него восторг какой-то чувствуется... Одно могу вам сказать: у писателя этого глубокое познание жизни чувствуется, особенно в темнейших ее сторонах. В "Бесах", например, возьмите хоть бы Ставрогина. Ведь это какой-то походячий блуд (я тут же решил непременно передать это определение Федору Михайловичу). И хуже всего то, что читатель при всем том видит, что автор человек якобы верующий, даже христианин. В действительности же он вовсе не христианин, и все его углубления (sic!) суть одна лишь маска, скрывающая скептицизм и неверие. В "Дневнике" своем он весь высказался».

Опочинин заканчивал рассказ, не смея более цитировать миссионера: «Я пытался возражать, но отец Алексий не принял ни одного из моих доводов и продолжал громить Федора Михайловича и дошел чуть не до анафемы. Я не выдержал и ушел».

Неизвестно, выполнил ли Опочинин намерение пересказать Достоевскому инвективы батюшки, но упреки в жизнелюбии и «каком-то восторге» вряд ли задели бы Ф. М. Не далее как минувшим августом он признавался жене: «Ты пишешь: "люби меня", да я ль тебя не люблю? Мне только высказываться словами претит, а многое ты и сама могла бы видеть, да жаль, что не умеешь видеть. Уж один мой постоянный (мало того: всё более с каждым годом возрастающий) супружеский мой восторг к тебе мог тебе на многое указать, но ты или не хочешь понять этого, или по неопытности своей этого и совсем не понимаешь. Да укажи ты мне на другой, какой хочешь, брак, где бы

это явление было в такой же силе, как и в нашем 12-летнем уже браке. А восторг и восхищение мои неиссякаемы. Ты скажешь, что это только одна сторона и самая грубая. Нет, не грубая, да от нее, в сущности, и всё остальное зависит. Но вот этого-то ты и не хочешь понять. Чтоб окончить эту тираду, свидетельствую, что жажду расцеловать каждый пальчик на ножке вашей, и достигну цели, увидишь. Пишешь: А ну если кто читает наши письма? Конечно, но ведь и пусть; пусть завидуют».

Для Достоевского с его мужским восторгом перед женщиной, женой в «прельстительности жизни» не было ничего противоречащего христианству (отец Алексий верно почувствовал этот восторг писателя, но неверно его истолковал). Завистливый гнев, излитый в романе на старца Зосиму, угощавшегося чаем с конфетами, за пределами романа изливался и на Достоевского, посмевшего, вопреки суеверию темного ферапонтовского православия, любить жизнь для жизни, видеть в ней счастье и рай. Более чем уместно процитировать здесь высказывание из «Дневника писателя» (1876): «Вникните в православие: это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском христианстве, по-настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ, — по крайней мере, это главное».

Живое чувство и было той силой, что создала «Братьев Карамазовых».

...1880 год начинался благополучно. Анна Григорьевна радостно убеждалась, что пять недель лечения в Эмсе укрепили мужа и даже приступы эпилепсии стали намного реже. Дети были здоровы. Денежные дела вошли в нужную колею — основные долги были выплачены, пришла пора думать о запасах на черный день. Стараниями А. Г. открылась «Книжная торговля для иногородних». Первый год принес 811 рублей чистой прибыли; можно было развивать предприятие и даже открыть со временем книжный магазин.

Той зимой Достоевский охотно участвовал в литературных вечерах. Для чтения выбирал «Сон Раскольникова о загнанной лошади» или «Разговор Раскольникова с Мармеладовым»; «Беседу старца Зосимы с бабами», «Великий инквизитор» или «Похороны Илюшечки»; «Мальчик у Христа на елке», сцены из «Скупого рыцаря», отрывки из «Мертвых душ» и несравненного «Пророка». И всегда наблюдалось «что-то неописуемое по выражениям восторга». «Надо сказать правду, — вспоминала А. Г., — Федор Михайлович был чтец первоклассный, и в его чтении своих или чужих произведений все оттенки и

особенности каждого передавались с особенною выпуклостью и мастерством. А между тем Ф. М. читал просто, не прибегая ни к каким ораторским приемам. Своим чтением (особенно, когда он читал рассказ Нелли из "Униженных" или Алеши Карамазова про Илюшечку) Ф. М. производил впечатление потрясающее, и я видела у присутствовавших слезы на глазах; да и сама я плакала, хотя наизусть знала отрывки. Каждому своему чтению Ф. М. считал полезным предпослать небольшое предисловие...»

Весной Достоевский получил от председателя Общества любителей российской словесности С. А. Юрьева приглашение принять участие в торжествах по случаю открытия памятника Пушкину в Москве. «Бога ради, не откажите нам в чести Вас видеть в эти дни в среде нашей и слышать Ваше слово у нас в Москве. Вы будете среди людей, для которых Вы неоценимо дороги»[51], — писал Юрьев, называя И. С. Аксакова, Тургенева, Писемского, Островского. Несмотря на занятость, Достоевский дал согласие приехать в Москву и сказать несколько слов о Пушкине «в виде речи».

Речь готовилась в мае в Старой Руссе, куда Ф. М. приехал «не на отдых и не на покой» и где работал с огромным душевным подъемом, закончив текст за неделю. О своем замысле сообщил Победоносцеву, только что назначенному обер-прокурором Синода, и желал ему «всякого великолепного успеха в его новых трудах»: «Не на удовольствие поеду, а даже, может быть, прямо на неприятности. Ибо дело идет о самых дорогих и основных убеждениях. Я уже и в Петербурге мельком слышал, что там в Москве свирепствует некая клика, старающаяся не допустить иных слов на торжестве открытия, и что опасаются они некоторых *ретроградных* слов, которые могли бы быть *иными* сказаны... Даже в газетах уже напечатано про слухи о некоторых интригах. Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз в самом *крайнем* духе моих (*наших* то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений, а потому и жду, может быть, некоего поношения. Но не хочу смущаться и не боюсь, а своему делу послужить надо и буду говорить небоязненно. Профессора ухаживают там за Тургеневым, который решительно обращается в какого-то личного мне врага».

В течение двух десятилетий мысль Достоевского неизменно возвращалась к теме исторической судьбы России и к русской идее; при этом настойчиво повторялись ключевые слова — примирение, синтез, идеал, всемирное человеческое единение, инстинкт общечеловечности. «Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого

шагу всё изменится. Стать русским значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать», — писал он в «Дневнике» за 1877 год; этот тезис станет определяющим для Пушкинской речи.

«Стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!» — скажет Достоевский в слове о Пушкине, имея в виду всемирность пушкинского гения и душу поэта, которая смогла вместить в себе чужих гениев, как родных. Достоевский выразит неколебимую уверенность в том, что ко всемирному, братскому единению сердце русское более всех предназначено. Речь завершится пронзительной пророческой нотой: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе».

Бог не судил избавить Россию от самоубийственных споров и забрал к себе лучшего из ее сыновей — это было в логике Пушкинской речи. В деле всеобщего примирения у Достоевского только и оставался Пушкин — как единственный аргумент. Горький парадокс заключался, однако, в том, что на открытии памятника Пушкину, которое должно было поставить точку в признании национального значения великого поэта, сам поэт оказывался не столько объектом поклонения и возвеличивания, сколько поводом скрестить шпаги для разных политических групп.

Выступить на торжестве должны были крупнейшие русские писатели, из которых отказались только двое — Салтыков-Щедрин (сатирик посчитал затею с праздником либеральной шумихой) и Лев Толстой: в Ясную Поляну специально ездил Тургенев, но уговорить Толстого не смог: тот считал, что перед лицом голодающей русской деревни торжественные речи и обеды неуместны. Провалив миссию, Тургенев решил, что яснополянский затворник повредился в уме; слух этот передавали из уст в уста и Григорович, и Катков, и Юрьев. Ф. М. писал жене: «Юрьев подбивал меня съездить к нему [Толстому] в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно, менее двух суток. Но я не поеду, хоть очень бы любопытно было...»

Визитов и обедов в канун праздника, как и предвидел Лев Толстой, действительно было много. Один из обедов, в зале ре-

сторана «Эрмитаж», устроенный в честь Достоевского, поразил его роскошью. «Занята целая зала (что стоило немало денег). Балыки осетровые в 1½ аршина, полтороаршинная разварная стерлядь, черепаший суп, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изысканнейшие вина и шампанское рекой... Утонченность обеда до того дошла, что после обеда, за кофеем и ликером, явились две сотни великолепных и дорогих сигар. Не по-петербургски устраивают». Когда Ф. М. узнал, что его проживание в гостинице «Лоскутной» и прочие расходы оплачивает Дума, то испытал сильнейшую неловкость; однако организаторы, удивляясь его щепетильности, просили не оскорблять отказом «всю Москву»...

Дата праздника несколько раз переносилась в связи с кончиной Марии Александровны, супруги Александра II, и «наложением глубокого траура», так что Достоевский, приехав в Москву 23 мая, за два дня до назначенной даты, стал подумывать о возвращении. Но праздник перенесли не на осень, а всего лишь на первую неделю июня. Юрьев, Аксаков, Григорович убеждали Ф. М., что его отъезд «почтется всей Москвой за странность», ибо цель торжества — восстановить значение Пушкина по всей России — сто́ит того, чтобы задержаться. Катков, которого Достоевский посетил в редакции, твердо и повелительно сказал: «Вам нельзя уезжать».

Накануне праздника Достоевский чувствовал себя скорее воином, чем миротворцем. «Остаться здесь *я должен* и решил, что остаюсь, — писал он жене за неделю до события. — Дело главное в том, что во мне нуждаются не одни "Любители российской словесности", а вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, ибо враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность. Оппонентами же им, с нашей стороны, лишь Иван Сергеевич Аксаков (Юрьев и прочие не имеют весу), но Иван Аксаков и устарел, и приелся Москве. Меня же Москва не слыхала и не видала, но мною только и интересуется. Мой голос будет иметь вес, а стало быть, и наша сторона восторжествует. Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бежать с поля битвы».

Ходили слухи (их, как всегда, переносил Григорович), что «враждебная партия» тоже готовится к бою. Тургенев будто бы пытается устранить «всякий *нехороший элемент*» и следит, чтобы никакие «дисгармонии à la Катков» не пришли «мешать» торжеству. И действительно: билет на праздник, уже посланный Каткову, был отозван в самой сухой и грубой форме. «Это уж, разумеется, просто свинство, да и главное, что и права они

не имели так поступать. Мерзость, и если б только я не ввязался так в эти празднества, то, может быть, прервал бы с ними сношения», — сердился Достоевский, расстроенный еще и тем, что о совещании у Тургенева, где 3 июня собрались все выступающие, чтобы обсудить программу, его известили задним числом. «Таким образом, я поставлен в прещекотливое положение: решено без меня, моего согласия на чтение *назначенных* мне сочинений не спрашивали...»

Предпраздничные дни писатель провел в тревоге и лихорадке. «Здесь уже начинается полный раздор. Боюсь, что из-за направлений во все эти дни, пожалуй, передерутся. История исключения Каткова из празднеств возмущает ужасно многих», — писал он жене, резонно полагая, что оппоненты просто сводят счеты с Катковым. Но беспокоилась и либеральная партия, опасаясь, что национальное торжество всей образованной России превратится в «парциозный скандал».

Обе стороны нервно ждали развязки. Наконец 5 июня торжества открылись в зале Московской городской думы — выступали представители делегаций; 6-го утром памятник был открыт, а вечером в зале Благородного собрания Достоевский читал монолог Пимена из «Бориса Годунова». Спустя сутки он писал жене о приеме, оказанном ему публикой: «В антракте прошел по зале, и бездна людей, молодежи, и седых, и дам, бросались ко мне, говоря: “Вы наш пророк, вы нас сделали лучшими, когда мы прочли ‘Карамазовых’ ”. (Одним словом, я убедился, что “Карамазовы” имеют колоссальное значение.)». Несомненно, он радовался знакам внимания — цветам, аплодисментам, речам и тостам в его честь и даже громкому «ура». «У Тургенева лишь клакеры, а у моих истинный энтузиазм», — отмечал Ф. М., увидев, как сотня молодых людей в исступлении закричала, когда на сцену вышел Тургенев.

Решающий день, 8 июня, Достоевский назовет «фундаментом будущего». «Завтра мой главный дебют. Боюсь, что не высплюсь. Боюсь припадка».

К счастью, падучая пощадит писателя. Он «смирнехонько» взойдет на кафедру в зале Благородного собрания, через пять минут подчинит себе все сердца и души и, как скажет Е. А. Штакеншнейдер, воздвигнет памятник, «прекрасней бронзового».

Вечером, когда всё было позади, он, «ужасно измученный нравственно и физически», писал жене о немыслимом, небывалом триумфе своей речи. «Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она! Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскла-

нивался, делал жесты, прося дать мне читать — ничто не помогало: восторг, энтузиазм (всё от "Карамазовых"!). Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем».

На следующий день, 9 июня, «Современные известия» напишут: «Это была молния, прорезавшая небо».

Почему речь Достоевского стала, по общему признанию, кульминацией праздника, историческим событием? Почему автора без конца вызывали, бешено аплодировали, плакали от восторга, падали в обморок, целовали ему руки? Почему два незнакомых старика смогли сказать: «Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, вы наш святой, вы наш пророк»? Почему Тургенев, «спотыкаясь, как медведь», в слезах шел обнимать своего старого недруга?

Достоевский точно знал, почему. «Когда же я провозгласил в конце о *всемирном единении* людей, то зала была как в истерике, когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и *клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить*». Он и сам показал пример любви, «ввернув» доброе слово о тургеневской Лизе Калитиной... «Откуда у этого маленького ростом человека взялись такие могучие, чудные звуки?! Гений своими крылами осенил» — таким было первое общее впечатление.

Но волшебное, равное чуду, счастье всеобщей любви продлилось, как потом говорили, всего одно мгновение — после чего ненависть и злоба запылали с утроенной силой. Очнувшись от гипноза огненной речи, клявшиеся и рыдавшие будто наверстывали упущенное, стремясь больнее укусить автора речи и растерзать в клочья саму речь. Победа русской партии, предвкушаемая Достоевским накануне и испытанная в день праздника, оказалась иллюзорной, — может быть, еще и потому, что Достоевский сам шел на праздник, как на бой. Торжество в честь великого поэта, объявленное территорией любви, катастрофически быстро обернулось зоной раздора и ареной военных действий.

Речь Достоевского как великое мгновение истории раздразнила участников праздника настолько, что уже на другой день горячий энтузиазм и ликование уступили место раздраженному недовольству, а затем язвительным нападкам («смех толпы холодной» был ожидаем и неминуем). Речь была опубликована, и критики чувствовали себя едва ли не обманутыми — они уже не обнаруживали в ней и $^{9}/_{10}$ первоначального

обаяния, а потому бросились ее «*заплевывать* и затирать». «Знаменательный и прекрасный, совсем новый момент в жизни нашего общества, — напишет Достоевский Е. А. Штакеншнейдер через сорок дней после праздника, — был злонамеренно затерт и искажен. В прессе нашей, особенно петербургской, буквально испугались чего-то *совсем нового*, ни на что прежнее не похожего, объявившегося в Москве: значит, не хочет общество одного подхихикивания над Россией и одного оплевания ее, как доселе, значит, настойчиво захотело иного. Надо это затереть, уничтожить, осмеять, исказить и всех разуверить: ничего-де такого нового не было, а было лишь благодушие сердец после московских обедов. Слишком-де уже много кушали».

Теперь критика находила, что речь заносчива, исполнена гордыни под маской смирения, построена на лжи и фальши, приятной для воспаленного самолюбия. ...В ней нет ничего, кроме раздраженного словоизвержения, чревовещательного тумана и литературной каббалистики... Автор похитил у Пушкина его праздник в свою пользу... Оратор болен не Пушкиным, а самим собой... Любовь, к которой он призывает, имеет запах постного масла... В своих литературных экскурсах он чужд исторической грамотности... Желая всем понравиться, пытался соединить несоединимое... Мысль о братстве всех людей не может быть достоянием одного русского народа... Учит русское общество думать о других народах, как думали помещики о своих крестьянах...

И снова негодовал Салтыков-Щедрин, досадовал Тургенев, иронизировал Успенский, напускал холоду Михайловский. «За мое же слово в Москве видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь: точно я совершил воровство-мошенничество или подлог в каком-нибудь банке», — сетовал Достоевский.

Но то была критика из стана неприятеля — к ее едкому, язвительному тону Ф. М. давно привык. Гораздо больнее били «свои» — им Достоевский тоже знал цену. «Во многих случаях, — писал он И. С. Аксакову, — первыми врагами бывают свои же... Решаю иногда совсем не читать ни нападок, ни возражений... Известно, что *свои-то* первыми и нападают на своих же. Разве у нас может быть иначе?» И вот уже А. И. Кошелев, «свой», славянофил, хоть и сочувствовал речи Достоевского, решительно отклонил основные ее пункты и ни за что не хотел отнести отзывчивость, всечеловечность и всемирность к особым чертам русского народа, по природе своей (как полагал Кошелев) весьма практичного и не расположенного предаваться игре воображения.

Константин Леонтьев вообще отказал Достоевскому от места среди «своих»: по его мнению, «своим» глашатая мировой гармонии и «всечеловечности» скорее может признать сообщество европейской гуманитарной мысли, чем церковно-православное сообщество. Идеалы Достоевского с его «расплывчатой любовью» и тайной верностью демократическому гуманизму в глазах Леонтьева имели космополитический и даже еретический характер. В православии Достоевского Леонтьеву снова виделись ярко-розовые тона: уютное и сентиментальное, а не мужественное и суровое, оно не совпадало с азбукой катехизиса — ведь Спаситель никогда не обещал «всемирного братства народов» и «мировой гармонии»...

«Г-н Леонтьев продолжает извергать на меня свои зависти. Но что же я могу ему отвечать?»* — запишет Достоевский в черновиках к «Дневнику писателя» 1881 года. И в самом «Дневнике» 1881-го: «Я про будущее великое значение в Европе народа русского (в которое верую) сказал было одно словцо прошлого года на пушкинских празднествах в Москве, — и меня все потом забросали грязью и бранью, даже и из тех, которые меня обнимали тогда за слова мои, — точно я какое мерзкое, подлейшее дело сделал, сказав тогда мое слово».

Тогда грандиозный успех слова о Пушкине показался Достоевскому залогом будущего («залоги *всего*, если я даже и умру»). Но молния прорезала небо и исчезла, успев прожечь души весьма немногих. «Мне, грешному, его теплые, с души сорвавшиеся, хотя и немного заоблачные мысли очень нравят-

---

* Прочитав, по совету К. П. Победоносцева, статью К. Н. Леонтьева в «Варшавском дневнике» («О всемирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на пушкинском празднике»), Достоевский отозвался лаконично: «Леонтьев в конце концов немного *еретик*». Но Леонтьев со своей стороны обвинял Достоевского в ереси. «Верно, — спорил К. Н., — только *одно*, — точно *одно*, *одно* только *несомненно — это то, что все здешнее должно погибнуть!* И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений? На что эти младенчески болезненные мечты и восторги? День наш — век наш! И потому *терпите* и заботьтесь практически лишь о ближайших делах, а сердечно — лишь о ближних людях: *именно о ближних, а не о всем человечестве... Правды* всеобщей *здесь не будет...* Зачем же алкать и жаждать? Сытый не алчет. Упоенный не жаждет». Собираясь ответить Леонтьеву, Достоевский писал в записной книжке 1880—1881 годов: «*Леонтьеву (не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет)*. В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить, добро делать? Живи в свое пузо... Тут, кроме несогласия в идеях, было сверх-то нечто ко мне завистливое. Да едва ли не единое это и было. Разумеется, нельзя требовать, чтоб г-н Леонтьев сознался в этом печатно. Но пусть этот публицист спросит самого себя наедине с своей совестью и сознается сам себе; и сего довольно».

ся»[52], — сочувствовал Достоевскому К. К. Романов в споре со своими царственными кузенами. Катков, по свидетельству Леонтьева, отнесся к речи прохладно: заплатил автору за публикацию в «Московских ведомостях» 600 рублей, «но за глаза смеялся, говоря: “какое же это событие?”»[53].

«Но, может быть, не забудется это слово мое», — добавлял Ф. М. к своей итоговой дневниковой записи. Однако *изречь окончательное слово великой, общей гармонии* оказалось задачей непосильной даже для него. Отрезвленные соотечественники отказались признать такое слово *окончательным* и согласиться с русской идеей в «примирительной» версии Достоевского.

Русская идея оставалась областью открытых вопросов и неокончательных нравственных решений. Авторитетных мнений не существовало: Леонтьев отверг не только формулу Достоевского — «христианский универсализм» Вл. Соловьева он не принял точно так же, как и пафос «всемирной любви» Достоевского. Книги Соловьева, как и публицистика Достоевского, не одобрялись с двух сторон: либералы ругали их за клерикализм, клерикалы — за либерализм. *После Достоевского* русские полемисты, занятые поиском русской идеи, в еще большей степени, чем *при Достоевском*, забудут о чувстве элементарной вежливости. Отсутствие терпимости к мнению «несогласно мыслящих», оскорбительный тон полемики, несовместимый с тем уважением, которое должно иметь место даже и в случае разногласий с оппонентом, будут сводить на нет даже самые глубокие размышления о русской идее.

Вл. Соловьев, обычно умевший прощать обидчиков и не держать зла на критиков, назовет В. В. Розанова Иудушкой Головлевым и найдет у него только «елейно-бесстыдное пустословие»[54]. Биограф Вл. Соловьева упомянет яростные ругательства, которые допускал Розанов по адресу Вл. Соловьева: «блудница, бесстыдно потрясающая богословием», «тать, прокравшийся в церковь», «тапер на разбитых клавишах», «слепец, ушедший в букву страницы». Соловьев, со своей стороны, видел в розановщине «сатанизм и разлагающийся труп»[55].

Идейные разногласия превращались в брань, которая разъедала самые теплые отношения; тесные дружбы терпели крах и погибали, оборачиваясь жестоким отчуждением. Пристрастие Леонтьева к Соловьеву, влюбленность и почтительное изумление перед «блестящим и сердечно совестливым философом» (так его аттестовал сначала сам Леонтьев) заканчивались прискорбно. За смешение светского прогресса с православием, которое допустил Соловьев в одной из своих статей, Леонтьев, забыв восторженные признания, назовет философа негодяем, его работы — проповедями Сатаны и предложит выслать Со-

ловьева из России («Изгнать, изгнать его из пределов Империи нужно... Употребить все усилия, чтобы Вл. Соловьева выслали навсегда или для публичного покаяния за границу»)[56]. Впрочем, и Соловьев, снисходительный к индивидуальным слабостям и порокам, в вопросах социальной нравственности «считал нетерпимость обязательной»[57].

Вл. Соловьев мечтал о социальной троице — единстве Церкви, государства и общества. «Восстановить на земле этот верный образ Божественной Троицы — вот в чем русская идея»[58], — писал философ. Несомненно, это могло бы стать великой строительной задачей для России конца XIX века, где Церковь была оторвана от общества и не имела отдельного от государства голоса; где общество презирало Церковь и ненавидело государство; где государство не имело почти никакого влияния на общество и в Церкви видело всего лишь один из рычагов влияния.

Однако оставалось неясным, кто сможет взять на себя эту великую миссию — восстановить Божественную Троицу? Ни по одному из составляющих — Церкви, государству, обществу — ни у одного из возможных восстановителей единства не было согласия ни на йоту. В 1892 году Вл. Соловьев скажет Е. Н. Трубецкому: «Ты призывал христиан всех вероисповеданий соединиться в общей борьбе против неверия; а я желал бы, наоборот, соединиться с современными неверующими против современных христиан»[59].

Взмывая в высоты богословия, разработчики русской идеи не щадили друг друга и были беспощадны к любому «неправильному» повороту учения. Как писал Достоевский в 1877-м, «мы и между собою не прощаем друг другу ни малейшего отклонения в убеждениях наших и чуть-чуть несогласных с нами считаем уже прямо за подлецов».

Русская идея, заключенная в Пушкинской речи Достоевского, была идеей всепримирения. Русская трагедия окажется трагедией тотального разъединения. Десятилетия спустя после смерти Достоевского в России останется лишь одна группа претендентов на новое строительство, хорошо знавшая, чего хочет: для нее все несогласные друг с другом богоискатели были на одно лицо и не представляли опасности. Адепты политического беса, Петра Верховенского, будут убеждены, что только их «русский манифест» имеет шанс превратиться в программу эффективных действий:

«И застонет стоном земля: “Новый правый закон идет”, и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить *мы* будем, мы, одни мы!»

Глава пятая

«Я В СТАРОЙ БИБЛИИ ГАДАЛ...»

Рабочий марафон. — Жестокое нездоровье. — Издержки славы. — Сгущение событий. — Взрыв в Зимнем дворце. — Контрмеры. — Покушение на Лорис-Меликова. — Планы на зиму. — Три последних дня. — Горловое кровотечение. — «Не удерживай...» — Время смерти

Ни сразу после пушкинского торжества, ни позже — в июле или в августе 1880 года — в спасительный Эмс Достоевский не поехал. Наверное, это было серьезной, быть может, даже роковой ошибкой. 35 летних дней минувшего сезона на водах, давшие силы продолжать роман, выступать на многих литературных чтениях, написать речь о Пушкине и выдержать праздничную лихорадку, — свой ресурс исчерпали. Свидетели события упоминали о страшной усталости писателя и его полном изнеможении, о том, что «он видимо как-то ослабел» после своего выступления и что Тургенев с Аксаковым под руки увели его со сцены в ротонду. «Я не мог без невольной жалости и умиления видеть его истощенное маленькое тело»[60], — вспоминал Страхов о вечере, на котором 8 июня, уже после своей триумфальной речи, Достоевский читал «Пророка». «Голова не в порядке, руки, ноги дрожат», — признавался Ф. М. жене. «Я был так потрясен и измучен, что сам был готов упасть в обморок, как тот студент, которого привели ко мне в ту минуту студенты-товарищи и который упал передо мной на пол в обморок от восторга», — писал он графине Толстой, приславшей ему поздравительную телеграмму за тремя подписями — своей, Юлии Абаза и Вл. Соловьева.

Через два дня Ф. М. уехал в Старую Руссу и опять не для отдыха: предстояло завершить роман и подготовить специальный выпуск «Дневника» по следам пушкинского праздника. «Приехал и сажусь за “Карамазовых”, буду писать до октября день и ночь»; «Возвратился из Москвы в Руссу ужасно усталый...»; «Измученный воротился в Старую Руссу... Теперь разломан и почти болен» — такие ноты звучали едва ли не в каждом письме его последнего лета. И всякий раз он будто уговаривал себя: «В Эмс я не поеду, некогда... В Эмс я окончательно решил *не* ехать: слишком много работы... Я здесь заработался».

Но он был не *почти* болен, а болен до надрыва. «Вы не поверите, до какой степени я занят, день и ночь, как в каторжной работе!.. Я же и вообще-то работаю нервно, с мукой и заботой. Когда я усиленно работаю — то болен даже физически», — пи-

сал он в конце августа И. С. Аксакову, признаваясь как на духу: «Только вдохновенные места и выходят зараз, залпом, а остальное все претяжелая работа».

В начале сентября «претяжелая работа» («голова как в чаду, а нервы надорваны») дала о себе знать жестоким припадком падучей, который через несколько дней сменился еще одним, «из довольно сильных». Свои ощущения Ф. М. выразит в словах: «Прерванность мыслей, переселение в другие годы, мечтательность, задумчивость, виновность», звучавших приговором писательскому занятию. Но проходило время, один день или неделя, он поднимался, собирал мысли в кулак, возвращался в «настоящую минуту» и продолжал работать. 8 сентября в «Русский вестник» были отосланы пять глав последней, двенадцатой книги «Карамазовых». (В эти самые дни П. В. Анненков в письме, исполненном неприязни к Ф. М., выражал одобрение Тургеневу, поскольку тот отказался от намерения начать дискуссию с «одержимым бесом и Святым Духом Достоевским: это значило бы растравить его болезнь и сделать героем в серьезной литературе. Пусть остается достоянием фельетона, пасквиля, баб, ищущих Бога и России для развлечения студентов с задатками черной немощи. Это его настоящая публика»[61].) Оппоненты не щадили Достоевского даже в его болезни...

В то последнее лето, в Москве, наружность автора Пушкинской речи поразила многих видевших и слышавших его современников: невзрачного вида, тощий, согбенный, изможденный человек, с изжелта-пергаментным, сухим, некрасивым лицом, с глубоко впавшими глазами под выпуклым, морщинистым лбом, со слабым, жидким, надорванным голосом. Внимательные, а может, слишком пристрастные зрители, сидевшие в зале Благородного собрания, не могли не заметить болезненной бледности Достоевского, его худых, костлявых рук; впалых щек, горевших лихорадочным румянцем; сухих, потрескавшихся губ; тусклых глаз, глядевших куда-то вдаль, вглубь своих мыслей и чувств. «Лицо Достоевского было неподвижное, суровое и серьезное — лицо аскета или покойника... В нем чувствовался вдохновенный, воинственно настроенный проповедник и фанатик, беззаветно верующий в себя, в свою миссию и свои откровения»[62], — вспоминал фельетонист, писавший под псевдонимом Буква.

Четыре месяца спустя Ф. М. жаловался писательнице П. Е. Гусевой, знакомой по Эмсу: «Здоровье так худо, как Вы и представить не можете. Из катарра дыхательных путей у меня образовалась анфизема — неизлечимая вещь (задыхание, мало воздуху), и дни мои сочтены. От усиленных занятий падучая

болезнь моя тоже стала ожесточеннее». Это не было ни притворством, ни преувеличением, ни попыткой отбиться от просьб дамы, которая настойчиво требовала, чтобы Ф. М. спешно занялся ее литературными делами. «Надо же иметь жалость... — оправдывался он. — Я всё запустил, всё бросил, о себе не говорю. Теперь ночь, 6-й час пополуночи, город просыпается, а я еще не ложился. А мне говорят доктора, чтоб я не смел мучить себя работой, спал по ночам и не сидел бы по 10 по 12 часов нагнувшись над письменным столом... Я так устал и у меня мучительное нервное расстройство».

Ему оставалось жить три с половиной месяца, и он ясно чувствовал, как сжимается время. «Я... человек весьма нездоровый с двумя неизлечимыми болезнями, которые очень меня удручают и очень мне дорого стоят: падучей и катарром дыхательных путей (анфиземой) — так что дни мои сам знаю, что сочтены. А между тем беспрерывно должен работать без отдыху», — писал он товарищу детских лет В. М. Каченовскому, просившему совета и помощи.

«Вряд ли проживу долго, — откровенничал Ф. М. с братом Андреем, — очень уж тягостно мне с моей анфиземой переживать петербургскую зиму... Дотянуть бы только до весны, и съезжу в Эмс. Тамошнее лечение меня всегда воскрешает... Совсем я замотался, да и здоровье не выносит».

Это было написано ровно за два месяца до смерти: дотянуть до весны ему на этот раз не удастся.

Двоюродный брат Анны Григорьевны, доктор М. Н. Сниткин, осмотрев Ф. М. еще в конце 1879 года, на настойчивые расспросы кузины признался, что болезнь ее мужа сделала зловещие успехи и что в теперешнем состоянии эмфизема может угрожать жизни. «Мелкие сосуды легких до того стали тонки и хрупки, что всегда предвидится возможность разрыва их от какого-нибудь физического напряжения, а потому советовал ему не делать резких движений, не переносить и не поднимать тяжелые вещи, и вообще советовал беречь Ф. М. от всякого рода волнений, приятных или неприятных».

На разные лады говорил писатель родным и знакомым о своей болезни, будто надеялся заключить с ней мировую. «Последние две недели страшно нездоров моей анфиземой: дыхания мало, и начинается расстройство желудка, весьма серьезное, тоже от анфиземы, как говорит доктор, то есть от недостаточного дыхания» (письмо от 29 ноября бывшему воспитателю в Инженерном училище А. И. Савельеву). О жестоком нездоровье Ф. М. писал Ивану Аксакову: «Разгулялась моя анфизема, укороченное дыхание, а за ним и ослабление сил» (3 декабря). При всем том не любил, когда спрашивали о

здоровье, и если все же спрашивали, то негодовал: «Говорят про меня, что я угрюм и сердит, а они не знают того, что мне дышать нечем, что у меня воздуху не хватает, что я задыхаюсь. Я дышу как бы через платок». После поездки в Москву на пушкинское торжество он бросил курить папиросы и курил хорошие сигары, уверяя, что теперь гораздо меньше кашляет.

Поздней осенью 1880-го, когда воздух в Петербурге уже был пропитан туманной сыростью, Достоевского, который шел вместе с Григоровичем по Владимирской улице, встретил живший неподалеку народоволец И. И. Попов. Позже он вспоминал: «Контраст между обоими писателями был большой: Григорович, высокий, белый как лунь, с моложавым цветом лица, был одет изящно, ступал твердо, держался прямо и высоко нес свою красивую голову в мягкой шляпе. Достоевский шел сгорбившись, с приподнятым воротником пальто, в круглой суконной шапке; ноги, обутые в высокие галоши, он волочил, тяжело опираясь на зонтик... Я смотрел им вслед. У меня мелькнула мысль, что Григорович переживет Достоевского»[63]. Григорович был младше Ф. М. всего на пять месяцев, но пережил его почти на 19 лет. Вскоре Достоевский скажет своему старому товарищу, что не вынесет нынешней зимы.

Восьмого ноября вместе с письмом Любимову был отослан в Москву эпилог «Карамазовых». «Ну вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два — знаменательная для меня минута. К Рождеству хочу выпустить отдельное издание... Мне же с Вами позвольте не прощаться. Ведь я намерен еще 20 лет жить и писать». Отдавая за месяц до смерти «кусочек» старого долга А. Н. Плещееву (тысяча рублей друга, выданная взаймы, помогла выехать из Сибири), Ф. М. обещал вскоре выплатить и «хвостик»: «Отдам как-нибудь в ближайшем будущем, когда разбогатею. А теперь еще пока только леплюсь. Всё только еще начинается».

Скорее всего, это была дань несбыточным мечтам: тяжелобольной писатель бодрился и храбрился; остаток долга вернет Плещееву после смерти Достоевского его вдова. Редактору «Русского вестника» Ф. М. пошлет еще только два письма; второе, отправленное за два дня до смерти, станет последним, написанным собственноручно, и оба будут с просьбами об окончательном расчете за «Карамазовых» ввиду «чрезвычайной», «крайней» нужды. В редакции не обратят внимание на зловещее слово, которое будто специально подчеркнул автор: «Могу ли надеяться еще раз на внимание Ваше и содействие к моей теперешней *последней*, может быть, просьбе?»

Спустя четыре дня, в некрологе, Катков напишет: «В нем сказалось предчувствие смерти, еще прежде, чем совершилось

роковое кровоизлияние, которое так быстро погасило дорогую жизнь нашего друга...»[64]

Последние месяцы, недели и дни жизни Достоевского были омрачены, буквально отравлены газетами, где его ругали «самым недостойным образом». «Я ни с одной редакцией не знаюсь. Почти все мне враги — не знаю, за что. Мое же положение такое, что я не могу шляться по редакциям: вчера же меня выбранят, а сегодня я туда прихожу говорить с тем, кто меня выбранил», — в сердцах объяснял он Гусевой; она просила забрать рукопись ее романа из журнала «Огонек» и пристроить в надежное место (в конце концов он выполнит ее просьбу). Вряд ли это была мнительность больного человека — достаточно было открыть «Голос», «Молву» и другие газеты. Он на коленях молился, чтобы Бог дал ему сердце чистое, слово нераздражительное и независтливое. Много раз хотел совсем бросить читать «разбойников печати», но так и не смог, до конца дней растравляя себе сердце. «Здесь в литературе и журналах не только ругают меня как собаки (всё за мою Речь, всё за мое направление), но под рукой пускают на меня разные клеветливые и недостойные сплетни».

«Меня так теперь все травят в журналах, а "Карамазовых", вероятно, до того примутся повсеместно ругать (за Бога), что такие отзывы, как Ваш, и другие, приходящие ко мне по почте (почти беспрерывно), и, наконец, симпатии молодежи, в последнее время особенно высказываемые шумно и коллективно, — решительно воскрешают и ободряют дух», — писал он 4 декабря 1880 года публицисту и богослову Т. И. Филиппову (Тертий Иванович, прочитав «Братьев Карамазовых», благодарил за испытанное наслаждение и полученную душевную пользу).

На краю жизни, после «Карамазовых» и Пушкинской речи, Достоевский вывел точную формулу своего писательского положения: «Буквально вся литература ко мне враждебна, меня любит до увлечения *только* вся читающая Россия».

Это «только» и было воздухом, которым он дышал и не мог надышаться.

«Он находился в полном развитии сил и в самом разгаре своей деятельности»[65], — говорил Страхов о последних днях Достоевского. Но как разительно отличалась творческая мощь Ф. М. от его телесной немощи! «Он был необыкновенно худ и истощен, легко утомлялся... Он жил, очевидно, одними нервами, и все остальное его тело дошло до такой степени хрупкости, при которой его мог разрушить первый, даже небольшой толчок. Всего поразительнее была при этом неутомимость его умственной работы»[66].

И было в его последние месяцы еще одно тяжкое мучение, принявшее масштаб бедствия: огромная переписка и бесчисленные посетители. Писали, приходили и приезжали с просьбами о помощи люди знакомые и незнакомые, требовательные, нетерпеливые, со всех концов Петербурга и России. Являлись и поклонники, с восторгами, вопросами, затруднениями — с ними тоже нужно было разговаривать, объясняться, спорить. Такова была обратная сторона огромной популярности, и Ф. М. старался смиренно выполнять долг общения с читателями. «Для чего я пишу ночью? — писал он одной из корреспонденток. — А вот только что проснусь в час пополудни, как пойдут звонки за звонками: тот входит одно просит, другой другого, третий требует, четвертый настоятельно требует, чтоб я ему разрешил какой-нибудь неразрешимый "проклятый" вопрос — иначе-де я доведен до того, что застрелюсь. (А я его в первый раз вижу.) Наконец, депутация от студентов, от студенток, от гимназий, от благотворительных обществ — читать им на публичном вечере. Да когда же думать, когда работать, когда читать, когда жить».

Еще драматичнее было письмо другой даме, тоже посягавшей на его время, внимание и участие: «Верите ли: звонок за звонком, кофею не дадут напиться... то приходят от студентов и от гимназий с просьбами читать, то с своими рукописями: прочтите, дескать, и пристройте в какой-нибудь журнал, вы-де со всеми редакциями знакомы, а я ни с одной не знаком, да и не хочу знаться. Верите ли, у меня накопилось до 30 писем — все ждут ответа, а я не могу отвечать. Думаю отдохнуть, развлечься, книгу прочесть — ничуть не бывало... Со знакомыми не мог увидеться, ни одного собственного дела не мог исправить... Поймите то, что у меня нет, нет ни одной минуты. А нервы расстроены и угрызения совести: "Что обо мне подумают те, которым я не отвечаю, что скажут". Я Аксакову на самое интересное и *нужное мне* письмо вот уже 2 месяца не могу ответить. Верите ли, что я с детьми даже перестал говорить, гоню их от себя, вечно занятый, вечно расстроенный, и они говорят мне: "Не таков был ты прежде, папа". — И всех-то я обозлил, все-то меня ненавидят...» А. Г. Достоевская, напротив, считала мужа образцовым отцом. «Первым вопросом, когда он приходил пить кофе, был: "Где дети?" Про Федю несколько раз говорил: "Если Федя умрет, я застрелюсь"». Она не поехала с Ф. М. в Москву, на пушкинские торжества, так как после смерти Алеши нельзя было и думать оставлять детей на одну няньку, а на путешествие всей семьей у них не хватило бы средств. Всю оставшуюся жизнь Анна Григорьевна считала свое отсутствие на пушкинском празднике величайшим лишением.

Три московские недели дорого дались не только Ф. М., но и его жене. Самые мрачные предположения приходили ей в голову: с ним случится припадок; еще не придя в себя, он пойдет по гостинице отыскивать ее, там его примут за помешанного и ославят по Москве, как сумасшедшего; некому будет оберегать его после припадка, и он будет доведен до какого-нибудь безумного поступка. Она просила московских знакомых быть начеку и в случае припадка вызвать ее телеграммой.

Но и в Петербурге было не легче. Достоевский отказывался от выступлений, а если бы принимал все предложения, то в одном только ноябре пришлось бы являться перед публикой восемь раз. «Согласитесь, что это невозможно, скажут — это самолюбие уверенное в себе чересчур уже слишком... Прибавлю еще, что я, в настоящую минуту, не завален, а задавлен работой», — писал он П. И. Вейнбергу в начале ноября.

И все же давал себя уговорить, выступал, читал Некрасова, отрывки из «Мертвых душ», из «Карамазовых», любимого своего «Пророка»; как всегда, ему восторженно аплодировали, подносили венки и провожали большой толпой до самого подъезда. «Восторженное отношение публики к его таланту, — радовалась жена писателя, — не могло не радовать Ф. М., и он чувствовал себя нравственно удовлетворенным. Пред чтением Ф. М. всегда боялся, что его слабый голос будет слышен лишь в передних рядах, и эта мысль его огорчала. Но нервное возбуждение Ф. М. в этих случаях было таково, что обычно слабый голос его звучал необыкновенно ясно и каждое слово было слышно во всех уголках большой залы».

Пресловутая раздражительность, обостренная впечатлительность и неодолимая мнительность Достоевского, о которых так много писали мемуаристы, имели, помимо болезненной нервности, одну причину: невозможность избавиться от всего, что мешало думать, читать, писать, то есть совершать главное дело своей жизни. Он жил в постоянном умственном напряжении, внутри кипела непрерывная работа, о которой не имеют понятия люди, чуждые писательству. «Это одно из тех бедствий, — замечал Страхов, — которыми сопровождается литературная карьера, бедствие иногда очень тяжелое и составляющее теневую сторону радостей творчества»[67].

Последний год Достоевского вообще был временем сгущения событий. Он писал десятую книгу романа («Мальчики»), о благородных поступках школьников, об их пылких чувствах, о Коле Красоткине, курносом мальчике четырнадцати лет, который, прочитав всего один номер «Колокола» из отцовского шкафа, счел себя *неисправимым социалистом* («это коли все

равны, у всех одно общее имение, нет браков, а религия и все законы как кому угодно»).

А в это самое время, 5 февраля 1880-го, другой «неисправимый социалист», 24-летний С. Н. Халтурин, русский рабочий из вятских крестьян, организовал взрыв в подвале Зимнего дворца, под столовой второго этажа, где должен был состояться дипломатический обед Александра II с принцем Гессенским. Проломленные перекрытия между этажами, выбитые окна, треснувшие стены, а главное, 11 погибших и 53 раненых караульных солдат Финляндского полка — таков был результат взрыва. Все погибшие нижние чины были героями Русско-турецкой войны. Император и его гость, пришедшие в столовую уже после взрыва, остались невредимы. Террор, как и обещал «Катехизис революционера», проник в самое сердце империи. За два месяца до теракта Достоевский писал Каткову (черновой вариант), защищая идеи и образы своего романа: «Оглянитесь кругом, господа, эти взрывы — да вы после этого ничего не понимаете в современной действительности и не хотите понимать, а это уже хуже всего».

Контрмеры, которые продумывались правительством (среди них было и трудновыполнимое предложение выслать всех «социалистов» на Сахалин, блокировать остров военными кораблями, а высшие учебные заведения перевести в захолустные окраины, изолировав студенчество от народа), все равно ничего бы не дали. Общество было напугано, ожидало беспорядков, пожаров, взрывов; люди со средствами спешно уезжали за границу, зарывая в подвалах домов ценные вещи. Дворники, безотлучно стоявшие на своих местах, говорили, что нечто висит в воздухе и ожидается...

Неделю спустя после взрыва в Зимнем дворце указом Александра II была учреждена Верховная распорядительная комиссия по охране государственного порядка и общественного спокойствия, начальником которой назначался граф М. Т. Лорис-Меликов, наделенный полномочиями «принимать вообще все меры», то есть «ловить и карать революционеров». «Да знает ли он, отчего все это происходит, твердо ли знает он причины?» — волновался Достоевский, читая воззвание графа «К жителям столицы». Еще через неделю 25-летний террорист-одиночка, письмоводитель из города Слуцка Минской губернии, крещеный еврей И. О. Млодецкий, находившийся под надзором полиции, выстрелил в Лорис-Меликова средь бела дня, на углу Большой Морской и Почтамтской улиц, когда тот подъезжал в экипаже к парадному входу своего дома. У подъезда стояли двое часовых, экипаж конвоировали двое верховых казаков, вблизи дежурили городовые; а на глазах у

них грязный оборвыш подскочил с правой стороны к графу и, уперев револьвер в его правый бок, ближе к бедру, выстрелил и тотчас выронил оружие. Граф уцелел (пуля лишь разорвала шинель и мундир), преступника схватили, избили, судили и через день повесили.

Достоевский, свалившийся в падучей в день покушения (еще не зная о нем), едва пришел в себя, когда его посетил издатель «Нового времени» А. С. Суворин. Состоялся, как записал в дневнике Суворин, разговор о взрывах, политических преступлениях и странном отношении к ним общества. Ф. М. нарисовал гостю жуткую картину — они стоят вдвоем у окон художественного магазина Дациаро на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади, разглядывают литографии в витрине и слышат, как к стоящему рядом незнакомцу подходит другой и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Как быть? Идти во дворец предупреждать о взрыве? Обратиться в полицию, позвать городового?

«Вы пошли бы?» — спросил Достоевский Суворина. «Нет, не пошел бы...» — «И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до вашего прихода, набивая папиросы. Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые не позволяли бы мне это сделать. Эти причины — прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком... Напечатают: Достоевский указал преступников... Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит, и никто не знает, как поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых»[68]. Меж тем именно на поддержку общества как на главную силу смотрел Лорис-Меликов, убежденный, что его «диктатура сердца» встретит поддержку всех честных людей, преданных государю и искренно любящих свою родину. «Лорис-Меликов — это последняя карта нашего правительства, если и это не удастся, то дело сойдется клином», — записал 15 февраля в своем дневнике генерал Киреев.

Дело сойдется клином уже очень скоро...

Утром 22 февраля Достоевский присутствовал на казни Млодецкого и уже вечером рассказывал в доме Полонского, что народ (собралось до 50 тысяч человек) глумился и кричал. 23 февраля «Голос» сообщил о сотнях скамеек, табуреток, ящиков, бочек и лестниц, которые образовали каре вокруг войска. За места платили от 50 копеек до десяти рублей; места даже перекупались. Преступник чувствовал себя героем, предста-

вился социалистом, никого не выдал, смело пошел на смерть и крикнул: «Я умираю за вас!»

«Мне было бы отвратительно сделаться свидетелем такого бесчеловечного дела, — записал 26 февраля великий князь Константин Константинович после литературного вечера в Мраморном дворце с участием Ф. М., — но он [Достоевский] объяснил мне, что его занимало всё, что касается человека, все положения его жизни, радости и муки. Наконец, может быть, ему хотелось повидать, как везут на казнь преступника, и мысленно вторично пережить собственные впечатления. Млодецкий озирался по сторонам и казался равнодушным. Ф. М. объясняет это тем, что в такую минуту человек старается отогнать мысль о смерти, ему припоминаются большею частью отрадные картины, его переносит в какой-то жизненный сад, полный весны и солнца. И чем ближе к концу, тем неотвязнее и мучительнее становится представление неминуемой смерти. Предстоящая боль, предсмертные страдания не страшны: ужасен переход в другой неизвестный образ...»[69]

Цель, которую поставил перед собой Лорис-Меликов, — подавить крамолу в самых дерзких ее проявлениях, доказать силу правительственной власти и отторгнуть от революции колеблющихся (на местах это понимали как организацию облавы по всем городам и весям и превращение страны в одну огромную ловушку) — не была достигнута. Мечта Достоевского о новой русской молодежи, честной и чистой сердцем, так и оставалась мечтой: на поверхность жизни всплывали монстры анархии и террора, уверенные, что все общество нетерпеливо ждет революции, только не смеет высказаться. Призыв Пушкинской речи: «Смирись гордый человек и потрудись на родной ниве» — они воспринимали в штыки; труд на родной ниве видели в организации бомбометания. Искоренить нигилизм оказывалось так же трудно, как вычерпать текущую реку, — вода все равно будет прибывать. Задача цареубийства осознавалась террористами как первоочередная. Лорис-Меликов не сумеет предотвратить убийство царя, подвергнется, усилиями Победоносцева, разоблачению как либерал и лишится должности. В заграничных газетах будут писать, что падение правящей династии — вопрос времени.

Совсем немного времени и совсем мало радостей оставалось и у Достоевского. К своему дню рождения он получил поздравление от брата Андрея и его детей и был очень доволен, что хоть кто-то из родственников помнит о нем с приязнью. Примерно в то же время ему стал известен отзыв Л. Н. Толстого из письма Страхову: «На днях мне нездоровилось, и я читал “Мертвый дом”. Я много забыл, перечитал и не знаю лучше

книги изо всей новой литературы, включая Пушкина. Не тон, а точка зрения удивительная — искренняя, естественная и христианская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю»[70]. В начале ноября Страхов сообщил Толстому: «Видел я Достоевского и передал ему Вашу похвалу и любовь. Он был очень обрадован, и я должен был оставить ему листок из Вашего письма, заключающий такие дорогие слова»[71].

Девятого декабря вышло отдельное издание «Братьев Карамазовых» в двух томах тиражом три тысячи экземпляров. «Издание это имело сразу громадный успех, и в несколько дней публика раскупила половину экземпляров. Конечно, Федору Михайловичу важно было убедиться в том интересе, который возбудил его новый роман. Это было, можно сказать, последнее радостное событие в его столь богатой всяческими невзгодами жизни», — вспоминала Анна Григорьевна. В тот же день автор передал книгу Победоносцеву и начал рассылать ее друзьям и знакомым. В середине декабря Ф. М. был приглашен на прием в Аничков дворец, где встречался с цесаревичем (будущим Александром III) и его женой.

Быть может, радость законченного романа немного скрасила новые нападки — и опять со стороны «своих». Славянофил И. П. Павлов утверждал в аксаковской «Руси» (от 29 ноября), что Достоевский лишь наполовину справился с задачей, ибо «высшие идеалы» по сравнению с «безднами зловонного падения» вышли у него тусклыми и бедными; создалось впечатление, будто добро не является потребностью человеческой природы и общим естественным законом, а покупается ценою самобичевания и тяжелой борьбой. О том, что идеал Зосимы крайне односторонен, отдает «буддийской проповедью» и должен быть дополнен пропагандой деятельной любви, писал Миллеру и Юрьев. Стать на точку зрения Достоевского, полагал он, значит перестать думать об улучшении народной жизни, «похерить все эти вопросы и ограничиться молитвой, христианскими беседами, монашеским смирением, сострадательными слезами и личными благодеяниями... Похерить все вопросы о политической свободе, потому что Зосима и в цепях свободен... Цепи в известном отношении даже любезны Зосиме: дух в страданиях возвышается... Как на руку такая речь всем деспотам, всем эксплуататорам!»[72].

Вряд ли Ф. М. размышлял в этих категориях в гостях у графини Комаровской в Мраморном дворце, где был в самом конце декабря и где встретился с графиней А. А. Толстой, с которой беседовал о религиозных исканиях ее двоюродного пле-

мянника; или у графини С. А. Толстой, которую навещал дней за десять до смерти; или на вечере у Суворина, с которым обсуждал перспективы монархического правления в России. «Он желал, — вспоминал Суворин, — чтобы самодержавная власть оставалась неприкосновенною, потому что она только, в своем высоком беспристрастии, может защищать народ и, опираясь на его силу, дать России самую широкую свободу печати, сходок, исповеданий и пр.».

Достоевский высказывал свои убеждения и очень высоким особам. Они во многом соглашались с ним, но понять идеи безграничной свободы печати не могли — а «не понимая этого, ничего понять нельзя». В революционные пути он не верил, не верил и в «пути канцелярские»; как утверждал Суворин, политическим идеалам своей юности Достоевский не изменил и, может быть, именно поэтому хотел написать еще один роман о Карамазовых, где бы Алеша в поисках правды стал бы социалистом или анархистом, совершил бы политическое преступление и был бы казнен...

Планам Достоевского — написать продолжение «Карамазовых» о жизни героев двадцать лет спустя, успевших много сделать и много испытать, — не довелось сбыться. «Намеченный Ф. М. план будущего романа, по его рассказам и заметкам, был необыкновенно интересен...» — сообщала его жена. Но для новых «Карамазовых» писателю не хватило по меньшей мере трех лет. Впрочем, пережив цареубийство 1881 года, вряд ли он оставил бы без изменения свои радикальные намерения в отношении Алеши, если таковые у него действительно имелись. Замысел «вторых» «Карамазовых» был обречен и по другой причине. «Возможно, что муж мой и мог бы оправиться на некоторое время, — писала Анна Григорьевна, — но его выздоровление было бы непродолжительно: известие о злодействе 1 марта, несомненно, сильно потрясло бы Федора Михайловича, боготворившего царя — освободителя крестьян; едва зажившая артерия вновь порвалась бы, и он бы скончался».

Несомненно одно: несмотря на тяжелые предчувствия и болезнь, которая могла оборвать жизнь ежеминутно, в начале 1881 года Достоевский не готовился к смерти. 19 января он дал согласие графине С. А. Толстой сыграть роль схимника в любительской постановке по пьесе А. К. Толстого «Смерть Ивана Грозного» и 24-го уже начал учить роль. 28 января собирался быть на вечере у графини Комаровской. Принял предложение Миллера выступить на Пушкинском вечере 29 января. Готов был позировать молодому скульптору Леопольду Бернштаму (впоследствии знаменитому в России и Европе) — тот хотел

лепить его бюст. Надеялся в февральском номере «Дневника» развить главную мысль январского выпуска: *оказать доверие серым зипунам*, расспросить об их нуждах, о том, что им надо, чтобы они сами сказали настоящую правду. Обсуждал с женой летние планы и поездку в Эмс.

Ничего этого уже не будет. События начнут развиваться не по дням, а по часам. Позднее мемуаристы, включая и А. Г. Достоевскую, греша неточностями и забывчивостью, сильно запутают картину, открывая простор гипотезам, версиям, детективным фантазиям. Остановим наше внимание лишь на фактах.

Двадцать пятого января, в воскресенье, у Достоевских были Майков, Страхов, Миллер, и ничто как будто бы не предвещало катастрофы. Ф. М. успел отвезти в типографию последний листок рукописи «Дневника». Однако в ночь с 25-го на 26-е у него случилось небольшое кровотечение из носа, не вызвавшее особой тревоги (стоило бы помнить предупреждение доктора Сниткина об опасности разрыва легочных сосудов от физического напряжения и *любого* волнения).

Двадцать шестого Ф. М. написал то самое «последнее» письмо Н. А. Любимову в «Русский вестник» с просьбой о деньгах, в которых «нуждался до крайности» («Как ни бейся, как ни трудись, сколько ни получай, — двумя месяцами ранее жаловалась Анна Григорьевна А. М. Достоевскому, — а все при здешней дороговизне уходит на жизнь, и ничего-то себе не отложишь и не сбережешь на старость. Право, иной раз руки опускаются и приходишь в отчаяние...»[73]).

Днем того же дня у Ф. М. была младшая сестра, с которой, как позднее сообщит Страхову вдова Достоевского, за семейным обедом произошел «крупный разговор и почти ссора» в связи с разделом куманинского наследства: Верочка пыталась уговорить брата отказаться от его законной доли в лесном владении Рязанской губернии, а Ф. М. «со страстью» напомнил ей о своих отцовских обязанностях. Верочка упрекнула брата «в жестокости к сестрам» и разразилась слезами. Ф. М. побежал в свою комнату и внезапно почувствовал на руках кровь. Это было его первое горловое кровотечение. («Все-таки не могу равнодушно подумать о сестрах. Какие они несправедливые», — скажет он в день смерти.)

Тотчас же был вызван домашний доктор Яков Богданович фон Бретцель. «Увы, я уже застал Федора Михайловича в безнадежном состоянии; обильная потеря крови ослабила его настолько, что можно было принять только паллиативные меры»[74], — вспоминал врач; во время осмотра больного кровотечение повторилось столь сильно, что он потерял сознание.

Для консилиума были приглашены доктор А. А. Пфейфер и профессор Д. И. Кошлаков, которые подтвердили заключение Бретцеля о невозможности спасти больного* (А. Г., однако, утверждала в мемуарах, что доктора не нашли особой опасности, запретили Ф. М. двигаться и разговаривать и обещали скорое выздоровление).

Очнувшись, больной просил пригласить священника: «Я хочу исповедаться и причаститься!» Из Владимирской церкви прибыл духовник Достоевского протоиерей Н. М. Вирославский[75]. «Когда священник ушел и я с детьми вошла в кабинет, чтобы поздравить Федора Михайловича с принятием Святых тайн, то он благословил меня и детей, просил их жить в мире, любить друг друга, любить и беречь меня. Отослав детей, Федор Михайлович благодарил меня за счастье, которое я ему дала, и просил меня простить, если он в чем-нибудь огорчил меня. Я стояла ни жива ни мертва, не имея силы сказать что-нибудь в ответ».

Ночью Анна Григорьевна писала Миллеру, торопясь предупредить, что на вечере 29 января муж быть не сможет: «Ф. М. опасно заболел: у него лопнула легочная артерия и сильно шла горлом кровь... Я в страшном отчаянии; опасность еще не прошла: еще одно такое кровотечение, и Ф. М. не станет»[76]. Но утро 27-го выдалось спокойное, кровотечение не повторялось; о здоровье писателя справлялись родные и знакомые, сам он шепотом говорил с детьми. Лиля, в ужасном волнении, повторяла: «Папочка, папочка, всегда я буду помнить, что ты мне говоришь, всю жизнь мою ты будешь как бы при мне». Вечером

---

* В 1918 году, буквально в последние свои дни, отвечая на вопрос литератора А. В. Жиркевича, собиравшего материалы для «стариковского альбома» об обстоятельствах смерти Ф. М. Достоевского вследствие разрыва легочной артерии, 76-летний Я. Б. фон Бретцель, сохранивший и в преклонные годы ясность духа, уточнил диагноз заболевания своего знаменитого пациента: «Вы спрашиваете, чем он был болен. В то время еще микроб чахотки не был найден, поэтому строгого определения быть не могло, тем более что болезнь протекала хронически; объективное же исследование не оставляло сомнения, что это был туберкулезный процесс. В обоих легких были значительные разрушения (каверны), и разрыв легочной артерии в одну из каверн дал столь сильное кровотечение, остановить которое было не в наших силах, и вызвало смертельный исход» (Литературное наследство. Т. 86. С. 312). Всего через год после смерти Достоевского, в 1882 году, будет открыт возбудитель туберкулеза; через 16 лет, в 1897-м, — рентгеновские лучи. Современные медики полагают, что легочное кровотечение развилось у Достоевского не по причине активной формы туберкулеза, а в результате хронического воспалительного процесса в легких, которому сопутствовала эмфизема (см.: *Рыбалко Б. Н.* Болезнь и смерть Ф. М. Достоевского // Статьи о Достоевском. 1971—2001. СПб., 2001. С. 181).

был профессор Кошлаков и нашел в состоянии больного значительные улучшения. Постелив себе постель на полу рядом с диваном мужа, А. Г. слышала ночью его ровное дыхание.

Надежда, однако, обманула. В семь часов утра 28 января Анна Григорьевна проснулась (было еще темно) и увидела при свете ночника, что муж смотрит в ее сторону. «Знаешь, Аня, — сказал он полушепотом, — я уже часа три как не сплю и все думаю, и только теперь сознал ясно, что сегодня умру... Я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие!» На попытки утешить его (дескать, кровь больше не идет, и, значит, образовалась спасительная «пробка», как обещал Кошлаков) Достоевский лишь настойчиво просил Книгу, ту самую, подаренную в Тобольске — он был с ней неразлучен уже 30 лет. А. Г. зажгла свечу, взяла Книгу с письменного стола. Ф. М. наудачу открыл ее.

«Я в старой Библии гадал, / И снова жаждал и мечтал, / Чтоб вышли мне по воле рока / И жизнь, и скорбь, и смерть пророка». То, что ему выпало на этот раз, он воспринял как предвестие смерти. Евангелие от Матфея открылось на словах, которые прочла жена: «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».

«Ты слышишь — “не удерживай” — значит, я умру, — сказал муж и закрыл Книгу».

«Я не могла удержаться от слез, — вспоминала спустя много лет Анна Григорьевна. — Федор Михайлович стал меня утешать, говорил мне милые ласковые слова, благодарил за счастливую жизнь, которую он прожил со мной. Поручал мне детей, говорил, что верит мне и надеется, что я буду их всегда любить и беречь. Затем сказал мне слова, которые редкий из мужей мог бы сказать своей жене после четырнадцати лет брачной жизни: “Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял никогда, даже мысленно!”» (зашифрованная заметка о том разговоре в ее записной книжке выглядела чуть иначе: «Уважал, изменял лишь мысленно, а не на деле»).

Около девяти утра Ф. М. уснул, не выпуская из своей руки руку жены. Она сидела неподвижно, боясь нарушить его сон. Но когда в одиннадцать он проснулся и привстал с подушки, кровотечение возобновилось. В тот день «Новое время» напечатало первую заметку о болезни Достоевского: «Он сильно занемог вечером 26 января и лежит в постели. Люди, еще так недавно попрекавшие его, что он слишком часто принимает овации на публичных чтениях, могут теперь успокоиться: публика услышит его не скоро. Лишь бы сохранилась для рус-

ского народа дорогая жизнь глубочайшего из его современных писателей, прямого преемника наших литературных гениев».

«Прочти "Новое время", что сказано об мне» — занесет в записную книжку Анна Григорьевна; заметка в «Новом времени» станет последним, что услышит писатель о себе из печати. Письмо графине Е. Н. Гейден, продиктованное жене в форме бюллетеня, станет последней его корреспонденцией: «26-го числа в легких лопнула артерия и залила наконец легкие. После 1-го припадка последовал другой, уже вечером, с чрезвычайной потерей крови с задушением. С $^{1}/_{4}$ часа Ф. М. был в полном убеждении, что умрет; его исповедовали и причастили. Мало-помалу дыхание поправилось, кровь унялась. Но так как порванная жилка не зажила, то кровоистечение может начаться опять. И тогда, конечно, вероятна смерть. Теперь же он в полной памяти и в силах, но боится, что опять лопнет артерия».

Несомненно, Достоевский чувствовал, что артерия «лопнет опять». Позвали детей; мать прочитала им притчу о блудном сыне, отец благословил их и велел передать драгоценнейшее свое Евангелие девятилетнему Феде. Никакого другого наследства ни сыну, ни одиннадцатилетней «Лильке-Кильке», как шутливо звал свою дочь отец, он завещать не мог; литературные права на свои сочинения Ф. М. подарил жене еще в 1873 году и, кроме четырех-пяти тысяч рублей (остаток гонорара, лежавший в редакции «Русского вестника»), у автора «Карамазовых» ничего не было. Даже в последние часы жизни его жалила всегдашняя мысль о семье, которая, за смертью кормильца, лишится всяких средств. «Бедная... дорогая... с чем я тебя оставляю... бедная, как тебе тяжело будет жить!..» — шепотом говорил он жене, держа ее руку в своей. К больному никого не впускали, но докладывали обо всех пришедших; одному Майкову, как того хотел Достоевский, было позволено войти на минуту — умирающий пожал руку старому другу и шепотом ответил на приветствие.

В гостиной теснились родственники и знакомые. Около половины седьмого вечера, «*вдруг безо всякой видимой причины Ф. М. вздрогнул, приподнялся на диване, и полоска крови вновь окрасила его лицо*».

Слова жены — самое подлинное свидетельство о смерти писателя: ни о каких внешних причинах тут нет и речи. Никакие меры не помогали остановить кровотечение. Больной впал в беспамятство. Агония длилась около двух часов. Жена и дети стояли в изголовье. Анна Григорьевна, держа мужа за руку, ощущала, как угасает его пульс. Доктор Н. П. Черепнин, которого привезла с собой жена Майкова около восьми часов вече-

ра, смог услышать последний удар сердца Достоевского. Священник Николай Вирославский успел прочесть отходную — ее последние слова совпали с последним вздохом Ф. М. Это была, скажет впоследствии дочь писателя, истинно христианская смерть — «смерть без боли и стыда».

Литератор Б. М. Маркевич, посетивший больного по поручению графини С. А. Толстой, видел, как доктор нагнулся над диваном, прислушался, расстегнул сорочку у лежавшего Ф. М., пропустил под нее руку и — качнул головой. «На этот раз все было действительно “кончено”. Я вынул часы, — свидетельствовал Маркевич, — они показывали 8 часов 36 минут».

Время смерти.

Эпилог

ВЛАСТЕЛИН БУДУЩЕГО

На смертном одре. — Царская милость. — Кладбищенские инстанции. — Погребальное шествие. — Последний «Дневник». — Первое марта. — Скорбь и позор. — Щит и защита. — «Всё сбылось...»

Вспоминая о кончине Достоевского спустя много лет, его вдова размышляла, что, умри писатель не до, а вскоре после 1 марта 1881 года, его уход не произвел бы столь колоссального впечатления: «Мысли всего общества были бы слишком поглощены думами о злодействе и о тех осложнениях, которые могут последовать в такой трагический момент жизни государства».

В том, что Ф. М. ненадолго пережил бы Александра II, А. Г. Достоевская не сомневалась.

Между тем январь 1881 года казался спокойным; «неудавшиеся» покушения были не в счет, и Петербург смог отдаться горю в связи с постигшей литературу утратой искренне и горячо. «Похороны Достоевского представляли явление, которое всех поразило, — писал Страхов. — Такого огромного стечения народа, таких многочисленных и усердных заявлений уважения и сожаления не могли ожидать самые горячие поклонники покойного писателя. Можно смело сказать, что до того времени никогда еще не бывало на Руси таких похорон»[1].

...Тело Достоевского уже остывало, когда в кабинет покойного буквально вбежал случайно приехавший из Москвы И. Г. Сниткин: он и взял на себя многочисленные хлопоты по погребению зятя, сильно облегчив сестре «угнетающий душу кошмар». После полуночи все посторонние разошлись; усопший (при его обмывании и обряжении присутствовал Суворин) лежал в середине кабинета на столе, застеленном белой тканью; покров из золотой парчи открывал грудь и лицо. У изголовья стояла этажерка с образом Успения Божьей Матери и горящей лампадой. А. Г. умиленно запомнит, что лицо мужа

было спокойно, и «казалось, что он не умер, а спит и улыбается во сне какой-то узнанной им теперь "великой правде"». Спокойным и просветленным лицо умершего покажется и многим другим очевидцам. «Перед отцом я не испытывала страха, — напишет дочь писателя. — Казалось, он спит на своей подушке, тихо улыбаясь, словно видит что-то очень хорошее». До четырех утра у гроба смогли без помех пробыть вдова писателя, ее мать и брат.

Утром 29-го скульптор Бернштам снял с лица Достоевского гипсовую маску; художник И. Н. Крамской зарисовал, а фотограф К. А. Шапиро сфотографировал усопшего на смертном одре. Победоносцев сообщил о смерти писателя графу Лорис-Меликову, и тот, на докладе царю, просил разрешения материально помочь осиротевшему семейству. Еще до полудня на квартиру в Кузнечный явился чиновник от графа, сообщивший вдове, что имеет передать ей некоторую сумму на похороны. Денег Анна Григорьевна не взяла (хотя в такой помощи не было ничего обидного), решив хоронить мужа на свои средства. Но когда днем 30-го к ней явился другой чин с письмом от министра финансов, где значилось, что волею государя, во внимание заслуг, оказанных покойным писателем русской литературе, его вдове нераздельно с детьми назначается пенсия в размере двух тысяч рублей в год (такой пенсион назначали генеральским вдовам), Анна Григорьевна горячо обрадовалась: растаял, наконец, грозный призрак нищеты. Она бросилась было в кабинет мужа, чтобы сообщить ему добрую весть, но осеклась и горько заплакала у гроба. Еще долго она не сможет привыкнуть, что Ф. М. больше нет; будет торопиться с обедом, привычно покупать его любимые сласти, запоминать для него разные новости.

Позже она напишет: «После кончины великодушного царя-освободителя, возможно, что и семье нашей не было бы оказано царской милости, а ею была исполнена всегдашняя мечта моего мужа о том, чтобы наши дети получили образование и могли впоследствии стать полезными слугами царя и отечества». Впрочем, сын и дочь Достоевского, которым тогда же была дарована возможность учиться на казенный счет, этой возможностью не воспользуются: Анне Григорьевне удастся дать детям образование на средства от изданий книг их отца. «Я глубоко убеждена, что, отказавшись от помощи на погребение и от помощи на воспитание детей, я поступила так, как поступил бы мой незабвенный муж», — признавалась она. Любовь Федоровна вспоминала: «Государство... предоставило две бесплатные вакансии для нас — в Пажеском корпусе и в Смольном институте, в аристократических учебных заведени-

ях России. Мать приняла вакансии, но мы были еще слишком малы, чтобы отправить нас в эти заведения. Позднее, когда мы стали старше, посмертное издание сочинений Достоевского уже стало давать хорошие доходы. Мать отдала нас тогда в другие учебные заведения и сама платила за наше обучение*. Она объяснила нам, что, по мнению отца, родители должны сами платить за воспитание своих детей и оставлять бесплатные вакансии сиротам».

...Первая панихида состоялась в час пополудни 29 января: пять жилых комнат очень скоро заполнились густой толпой. Вечером была вторая панихида: по узкой лестнице, ведущей на второй этаж, люди едва могли протесниться к крайней комнате и долго стояли толпою. Когда часа через два они попадали в кабинет, где лежал покойник, то видели старый, широкий диван и шкаф с книгами; мальчика и девочку, которые хлопотали у гроба и зажигали гаснувшие в духоте свечи; вдову, сидевшую поодаль; близких друзей усопшего, удерживавших толпу. Проживи Достоевский дольше, он в это самое время выступал бы на вечере с чтением стихов Пушкина; когда на сцене в зале Кононова выставили портрет писателя на смертном одре работы Крамского, вся зала встала как один человек. При полной тишине звучал похоронный марш Шопена, сыгранный на рояле известной пианисткой М. К. Бенуа...

Тридцатого января дневная и вечерняя панихиды повторились. За два дня у гроба Достоевского перебывали его литературные друзья и недруги, великие князья и студенты, фрейлины и курсистки, люди разного положения, разных убеждений и верований; присутствие на панихиде Михайловского и Салтыкова-Щедрина вряд ли кого-то могло удивить. Покойного фотографировали и зарисовывали на смертном одре, и не бы-

---

* Л. Ф. Достоевская (1869—1926) росла слабой здоровьем, нервной и впечатлительной девочкой с болезненным и неуживчивым характером. Повзрослев, решила пойти по стопам отца и стать писательницей. Ее перу принадлежат романы «Эмигрантка» (1912); «Адвокатка» (1913) и сборник рассказов «Больные девушки» (1911), не получившие признания. В. В. Розанов считал сочинения Л. Ф. «бледным и бездарным сколком с Достоевского». Известность приобрела только ее биографическая книга об отце. Она была несчастлива в личной жизни, до конца дней оставалась одинокой. С 1913 года жила в Западной Европе, умерла в Италии от белокровия. Ф. Ф. Достоевский (1871—1922) окончил гимназию, юридический и естественный факультеты Дерптского университета. С малых лет страстно любивший лошадей, он стал крупным специалистом по коневодству и коннозаводству, до революции владел немалым состоянием, был дважды женат, имел двух сыновей, отличался крайне нервным характером, полным непримиримых противоречий. В разгар Гражданской войны пробрался в Крым к умирающей матери, но в живых ее уже не застал. Умер в Москве от истощения.

ло, кажется, в России такой газеты, которая в те дни не отозвалась бы на смерть писателя. «Сознает ли общество, как перегорает искренний русский писатель, какую непрестанную внутреннюю и внешнюю борьбу ему приходится выносить? — писал 30 января в «Молве» Г. К. Градовский, постоянный оппонент Ф. М. — Пойдем ко гробу Достоевского, повинимся перед ним».

В университетской церкви и в церкви Санкт-Петербургской духовной академии совершались панихиды, в самом университете читались посвященные писателю лекции; для слушательниц Высших женских курсов произносились речи; взволнованные, удрученные люди записывали в свои дневники горькие сожаления и пылкие признания; являлись депутации от учреждений со своими священниками и певчими, чтобы отслужить панихиду у гроба. Независимо от отношения к Достоевскому, все понимали, что его «никто не заменит». Именно так выразился в письме Победоносцеву цесаревич Александр, сожалея об общенациональной утрате. Еще до похорон из уст Вл. Соловьева прозвучали слова: «Достоевский — духовный вождь русского народа и пророк Божий»[2].

Но то — Соловьев, свободный философ. Иное дело — казенные кладбищенские инстанции. Вопрос, где хоронить Достоевского, возник сразу после его кончины. Желание писателя найти последнее упокоение на кладбище Воскресенского Новодевичьего женского монастыря было известно еще с декабря 1877 года, с похорон Некрасова. Помня это, утром 29 января Анна Григорьевна снарядила брата Ивана и зятя П. Г. Сватковского купить место для мужа по возможности ближе к могиле поэта и вручила все наличные деньги. В вояж взяли с собой детей, и Лиля на всю жизнь запомнит впечатление от поездки.

В этой обители она была впервые. «Нас провели в приемную; вошла настоятельница монастыря, пожилая дама, с холодным и высокомерным видом, одетая в черное, с длинной накидкой, закрывающей голову и одежду. Сватковский изложил ей желание знаменитого писателя Достоевского быть похороненным в Новодевичьем монастыре рядом с поэтом Некрасовым и, зная довольно высокие цены кладбища, попросил разрешения для нас приобрести место по возможности дешевле, ввиду незначительных средств, оставленных нам отцом. Сделав презрительную мину, настоятельница холодно ответила: “Мы, монахини, не принадлежим больше миру, и ваши знаменитости не имеют в наших глазах никакой цены. У нас твердые цены на могилы нашего кладбища, и мы не можем менять их для кого бы то ни было”. И эта смиренная служитель-

ница Иисуса потребовала чрезмерную цену, намного превышавшую сумму, которой располагала моя мать. Напрасно дядя Иван хлопотал за сестру, просил настоятельницу позволить моей матери внести сумму по частям в течение года. Монахиня заявила, что могила не будут выкопана, пока не будет уплачена вся сумма. Не оставалось ничего иного, как встать и распрощаться с этой ростовщицей в монашеском одеянии».

Была и другая обитель, еще более значительная, куда по инициативе хозяйки светского салона генеральши Александры Викторовны Богданович (ее муж, генерал-лейтенант Е. В. Богданович, состоял ктитором Исаакиевского собора, издавал совместно с отцом Иоанном Кронштадтским церковные журналы) был сделан запрос о могиле для Достоевского. «Мною, — записала в дневнике генеральша 29 января 1881 года, — была высказана мысль, не попросить ли митрополита похоронить Достоевского безвозмездно в Александро-Невской лавре. В. В. Комаров [редактор-издатель «Санкт-Петербургских ведомостей»] схватился за эту мысль, и меня Евгений Васильевич и он попросили съездить к владыке и попросить у него разрешения»[3].

Беседа с митрополитом Новгородским и Петербургским Исидором (в миру Иаков Сергеевич Никольский), первенствующим членом Святейшего синода, имевшим знаки патриаршего сана, была нелегкой. «Митрополит встретил очень холодно это ходатайство, — огорчалась генеральша, — устранил себя от этого, сказав, что Достоевский — *простой романист*, что ничего серьезного не написал, что он помнит похороны Некрасова, которые описывались, — было много всякого рода демонстраций, нежелательных в стенах лавры, и проч.»[4].

Итак, «знаменитый Достоевский» принадлежал миру, и, поскольку его известность для монастыря ничего не значила, игуменья отказалась продавать могилу со скидкой. «Простому, несерьезному писателю» не по чину было лежать и на кладбище мужской православной обители Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. В первом случае все легко решилось бы только деньгами. Во втором — деньгами и статусом. Когда о безоговорочном отказе владыки Исидора узнал Победоносцев, он, «нелестно» высказавшись о владыке, принял свои меры: «Мы ассигнуем деньги на похороны Достоевского». Место на лаврском кладбище досталось Достоевскому по прямому нажиму сверху: ходатайство обер-прокурора Святейшего синода равнялось для члена Синода приказанию. «Митрополит прислал наместника нам сказать, — записала генеральша сутки спустя, — что он исполнит нашу просьбу, дает место, и служение будет безвозмездно»[5].

Анна Григорьевна уже подумывала о Большеохтинском кладбище, где рядом с ее отцом лежал маленький Алеша, когда вечером 30-го к ней заехал Комаров, чтобы от имени лавры предложить любое место. Анне Григорьевне оставалось только просить лаврского посланца выбрать участок на Тихвинском кладбище, ближе к Жуковскому и Карамзину. «По счастливой случайности свободное место оказалось рядом с памятником поэта Жуковского...»

Те двое суток, в течение которых тело писателя находилось в квартире на Кузнечном, его вдова вспоминала с неподдельным ужасом: днем и ночью толпились люди, часами читался псалтырь; в кабинете, где стоял гроб, воздух сгущался так, что гасли лампады и свечи. Анна Григорьевна могла уединиться на несколько минут только в комнате гостившей у нее матери, но вдову поминутно требовали бесчисленные депутации, желавшие лично выразить соболезнование, подчеркнуть значение Ф. М. «для России». Слова «кого потеряла Россия» приводили ее в отчаяние: «Боже, как они меня мучают! Что мне о том, "кого потеряла Россия"? Что мне в эти минуты до "России"? Вспомните, кого *я* потеряла? Я лишилась лучшего в мире человека, составлявшего радость, гордость и счастье моей жизни, мое солнце, мое божество! Пожалейте меня, лично меня пожалейте и не говорите мне про потерю России в эту минуту!»

Торопясь, чтобы память не изменила ей, Анна Григорьевна вскоре занесет в записную книжку бесценные сведения о привычках и вкусах, словах и словечках, последних часах и минутах жизни своего дорогого мужа. «Любил лес... Всегда мечтал об имении... Любил икру, швейцарский сыр, семгу, колбасу, а иногда балык; любил иногда ветчину и свежие горячие колбасы... Любил тульские пряники... мед... киевское варенье, шоколад (для детей), синий изюм, виноград, пастилу красную и белую палочками, мармелад, а также желе из фруктов... Пил красное вино, рюмку водки и перед сладким полрюмки коньяку. Любил очень горячий кофе... Когда был маленький, мать называла его Федашей... Если его что-либо очень затрудняло при переправках, то начинал ладонью левой руки сильно ерошить волоса на левом виске, снизу вверх... Сидел облокотясь на кресло, положив правую ногу на левую и слегка потрясая ногой, засунув под колени левую руку... В день смерти беспокоился о печке, хорошо ли ее закрыли... "Ты еще не пообедала?" — спросил это два раза».

Так вспоминать о муже могла только очень любившая его женщина.

...Вынос тела Достоевского из квартиры в церковь Святого Духа Александро-Невской лавры и погребальное шествие

31 января проходили по расписанию, составленному распорядителями под председательством Григоровича накануне вечером. Рассказывать об этом — значит бесконечно поражаться громадности события: колоссальному количеству гирлянд и венков из живых роз, камелий, гиацинтов, тюльпанов, иммортелей, белых маргариток, сирени, ландышей, украшенных лавровыми и пальмовыми листьями; небывалой по размерам процессии, растянувшейся от Владимирского проспекта вдоль всего Невского и достигшей лавры только через три часа после выхода (гроб всю дорогу несли на руках); непрерывному слаженному пению пятнадцати певчих хоров; присутствию депутаций едва ли не от всех учебных заведений, научных и литературных обществ столицы; удивительному для такого скопления народа порядку и спокойствию. «Каким образом, — удивлялся Страхов, — составилась такая громадная манифестация — это составляет не малую загадку. Очевидно, она составилась вдруг, без всякой предварительной агитации, без всяких подготовлений, уговоров и распоряжений...»[6]

В этот день суждено было выйти в свет январскому выпуску «Дневника писателя» за 1881 год — последней работе Достоевского. В этом выпуске много говорилось об укреплении рубля, Восточном вопросе, коварной европейской политике и русских жертвах. Заканчивался «Дневник» пугающе символично: «Да здравствует Скобелев и его солдатики, и вечная память "выбывшим из списков" богатырям! Мы в наши списки их занесем».

Теперь выбывшим из списка богатырем оказывался и сам автор «Дневника»; России надлежало внести его в свой золотой реестр.

«Никогда не забывайте прекрасные похороны, устроенные Россией вашему отцу», — говорили детям Достоевского друзья семьи. Всю ту ночь с 31 января на 1 февраля, когда гроб с телом оставался в церкви Святого Духа, Ф. М. был не одинок: с ним бодрствовали петербургские студенты. «Они молились, стоя на коленях, с плачем и рыданиями. Монахи хотели читать у гроба псалмы, но студенты взяли у них псалтырь и по очереди читали псалмы. Никогда я еще не слышал подобного чтения псалмов, — рассказывал митрополит Исидор вдове писателя, когда та, несколько дней спустя, приехала с детьми благодарить монахов. — Студенты читали их дрожащим от волнения голосом, вкладывая душу в каждое произносимое ими слово. И мне еще говорят, что эти молодые люди атеисты и презирают нашу церковь. Какой же магической силой обладал Достоевский, чтобы так вновь обратить их к Богу?»

Быть может, после этой ночи владыка Исидор (через полтора месяца он возглавит отпевание Александра II в Петропав-

ловском соборе Санкт-Петербурга), несколько часов незаметно наблюдавший за молящимися студентами из маленькой часовни, изменил свое мнение насчет *простого писателя*...

Все, кто шел в погребальном шествии, молился в церкви на всенощной и потом на отпевании, слышали высокие, торжественные слова прощания над открытой могилой (среди выступивших были Вл. С. Соловьев, О. Ф. Миллер, петрашевец А. И. Пальм), уже на следующий день читали подробнейшие отчеты о похоронах в петербургской печати. В течение всего февраля и вплоть до рокового 1 марта вдова Достоевского будет получать письма и телеграммы соболезнования со всех концов России. Газеты будут завалены трогательно искренними, чаще всего неумелыми стихотворениями «На смерть...». Выйдут в свет обширные некрологические публикации, свежие мемуары и свидетельства очевидцев. Потом наступит очередь серьезных критических статей и книг. За столетие с лишним о писателе и человеке Достоевском будет написано немыслимое, сопоставимое разве что с Мировым океаном, количество работ.

А Лиля Достоевская, потрясенная случившимся, решит, что ее отец не умер, что он погребен живым и спит в летаргическом сне, а когда проснется в своей могиле, то позовет кладбищенских сторожей, они помогут ему выбраться из гроба и вернуться домой. «Я воображала нашу радость, наш смех, поцелуи, ласковые слова, которые скажем друг другу. Недаром я была дочерью писателя; потребность придумывать сцены, жесты, слова жила во мне, и это детское творчество давало мне много радости. Но по мере того, как проходили дни, недели, все более пробуждался разум в моем детском мозгу и разрушал мои иллюзии, говоря мне, что люди не могут долго оставаться под землей без воздуха и без пищи; что летаргический сон отца чрезмерно затянулся и что, возможно, он действительно умер. Тогда я стала ужасно страдать...»

Опекуном детей покойного станет Победоносцев. Ровно через месяц после погребения Достоевского грянет воскресенье 1 марта. В день гибели Александра II Победоносцев напишет новому императору: «Бог велел нам пережить нынешний страшный день. Точно кара Божия обрушилась на несчастную Россию. Хотелось бы скрыть свое лицо, уйти под землю, чтобы не видеть, не чувствовать, не испытывать»[7]. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Иоанн Янышев, державший речь во время отпевания Достоевского, скажет слово и перед панихидой в Исаакиевском соборе: «Государь наш не скончался только, но и убит в своей собственной столице... Мученический венец для его священной главы

сплетен на русской земле, в среде его подданных... Вот что делает скорбь нашу невыносимою, болезнь русского и христианского сердца — неизлечимою, наше неизмеримое бедствие — нашим же вечным позором!»[8]

Россия хоронила не только Царя-освободителя, но и саму идею единения Царя-отца с верноподданным ему народом, к которому он питает безграничное доверие. «Я, как и Пушкин, слуга царю...» — писал Достоевский за неделю до своей смерти. *Такого* царя, который 1 марта, уцелев после первого взрыва, сможет выйти из кареты и склониться над телами тяжело раненных казака и мальчика-прохожего, не думая о возможности нового покушения, — больше не было. Еще одна бомба — и он упал с раздробленными ногами, разорванной брюшной полостью, весь в крови; погиб как раз в тот день, когда решился дать ход проекту Лорис-Меликова, сказав своим сыновьям, что собирается идти путем конституции. От двух взрывов пострадало более двадцати человек. Убийц-бомбистов русская печать назовет порождением мрака и крамолы. Вспомнят и «Бесов»...

Жестокий испуг, внушенный Александру III смертью отца и наставлениями обер-прокурора, который называл все конституции «великой ложью своего времени», на четверть века «подморозит» внутреннюю политику государства, однако окажется бессильным остановить процесс разрушения старых устоев. 30 марта 1881 года, за несколько дней до казни цареубийц, Победоносцев напишет Александру III: «Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить Вашему Величеству извращенные мысли и убедить Вас к помилованию преступников... Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячи раз нет — того быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили *убийц отца Вашего*, русского Государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется... В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас строить новые ковы, Ради Бога, Ваше Величество, — да не проникнет в сердце Вам голос лести и мечтательности»[9].

Повешенным террористам немедленно начнут симпатизировать...

Мог ли предположить Достоевский, что его духовный покровитель осуществит свою охранительную деятельность в России таким образом, что еще при жизни будет назван «Вели-

ким инквизитором» и «Торквемадой»? «Атеистический дух инквизитора движет Победоносцевым, он, подобно этому страшному старику, отвергает свободу совести, боится соблазна для малых сих», — напишет Н. А. Бердяев в 1906-м, в год смерти Победоносцева[10].

Как сложилась бы при таком обер-прокуроре судьба вторых «Братьев Карамазовых», где вопросы были бы наверняка столь же неудобны, как и ответы, где, кроме разрешенной «осанны», несомненно явилось бы и «горнило сомнений»? Очевидно одно: если бы Победоносцеву все-таки пришлось запрещать роман, он бы объяснил запрет тем опасением, что сложные, а то и ложные идеи могут овладеть слабыми, некрепкими умами: «Так создается почва для неверия, для легкомысленной критики на церковь и легкомысленного от нее отчуждения»[11].

Впрочем, после 1 марта изменился далеко не только Победоносцев — жажда мщения «бесам» овладела многими умами и сердцами. «Когда был убит император, — писала Стоюнина, — и Вл. Соловьев, говоря о необходимости помиловать, не казнить убийц, чтоб выйти из малого "кровавого круга", пока не образовался "большой кровавый круг", сказал эти слова, то Анна Григорьевна страшно вознегодовала. Помню, она подбежала тоже к кафедре и кричала, требуя казни. На мои слова к ней, что ведь Владимира Соловьева наверное бы одобрил и Достоевский, что ведь он его так любил и изобразил в лице Алеши, Анна Григорьевна с раздражением воскликнула: "И не так уж любил, и не в лице Алеши, а вот скорее в лице Ивана он изображен"»[12].

Прощать врагов царя и отечества официальная Россия была не готова. Странные исключения, вроде Льва Толстого, Владимира Соловьева, Всеволода Гаршина, погоды не делали...

Вдова писателя, которой в год смерти Ф. М. исполнилось всего 35 лет, проживет еще 37 лет и больше никогда не выйдет замуж («Мне это казалось бы кощунством. Да и за кого можно идти после Достоевского, — шутила она, — разве за Толстого!»[13]). Мечта — быть похороненной рядом с обожаемым мужем на Тихвинском кладбище — исполнится только через полвека после ее кончины в Ялте летом 1918 года, стараниями внука, Андрея Федоровича Достоевского (1908—1968), который унаследует от бабушки преданность памяти писателя, своего деда.

До самой своей смерти вдова Достоевского, первая читательница многих его произведений, женщина, которой он посвятил роман «Братья Карамазовы», будет трудиться во славу великого имени и скажет как-то Л. П. Гроссману, биографу писателя: «Мои люди — это друзья Федора Михайловича, мое

общество — это круг ушедших людей, близких Достоевскому. С ними я живу. Каждый, кто работает над изучением жизни или произведений Достоевского, кажется мне родным человеком»[14].

Говорить о муже с теми, кто его ценил как писателя, и с теми, кто его любил как человека, было для нее «слаще меда»...

«Солнце моей жизни — Феодор Достоевский»[15], — запишет она в январе 1917-го в памятном альбоме С. С. Прокофьева, будущего автора оперы «Игрок»: молодой композитор просил, чтобы все записи посвящались только солнцу.

Л. Н. Толстому, при встрече с ним зимой 1902 года, экзальтированная Анна Григорьевна восторженно скажет, что муж ее представлял собой *идеал человека*: «Он был добр, великодушен, милосерд, справедлив, бескорыстен, деликатен, сострадателен — как никто! А его прямодушие, неподкупная искренность, которая доставила ему так много врагов!»

«Я всегда так о нем и думал. Достоевский всегда представлялся мне человеком, в котором было много истинно христианского чувства... Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского», — проникновенно ответил, прощаясь с ней, Толстой.

К тому моменту грязное, «подпольное» письмо Страхова, где критик ненавидяще оболгал покойного Достоевского, уже 19 лет лежало среди бумаг Льва Николаевича. Страшным, внезапным ударом падет оно на голову Анны Григорьевны в 1914-м, почти через год после публикации: уже не было в живых ни автора письма, ни его адресата. «У меня потемнело в глазах от ужаса и возмущения, — рассказывала она. — Какая неслыханная клевета! И от кого же она исходит? От нашего верного друга, от постоянного нашего посетителя, свидетеля на нашей свадьбе...»

Но непробиваемый щит против отравленной стрелы был выставлен уже давно. Сразу после кончины Достоевского Толстой писал Страхову: «Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек. Я был литератор, и литераторы все тщеславны, завистливы, я, по крайней мере, такой литератор. И никогда мне в голову не приходило мериться с ним — никогда. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость. Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг — читаю: умер. Опора какая-то отскочила от

меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу»[16].

Только много лет спустя станет очевидно, что великий Лев Толстой, единственный в своем роде заступник сердечного делания Достоевского, смог понять и выразить чувства многих своих современников, переживших смерть Ф. М. как личную утрату, в горестной растерянности. Притом что, по Толстому, Достоевский был «весь борьба» и умер «в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла». «Из книги вашей, — холодно-вежливо возражал Толстой Страхову, прочитав его воспоминания о Достоевском и отвечая на злую клевету письма, — я первый раз узнал всю меру его ума. Чрезвычайно умен и настоящий. И я все так же жалею, что не знал его»[17].

Настоящий! Эта оценка в устах Льва Толстого весит много и стоит дорого.

Но до самых последних глубин соотечественники автора «Бесов» и «Братьев Карамазовых» смогут осознать, насколько он был *настоящим*, какая это была *опора* и какая в нем бушевала борьба, когда станут свидетелями событий, о которых, содрогаясь, скажут: «*Всё сбылось по Достоевскому...*»

ПРИМЕЧАНИЯ

Предисловие. **Всё сбылось по Достоевскому...**

[1] См.: *Коган Г.* «Охранная грамота» Достоевских // Вопросы литературы. 1965. № 3. С. 252—253; *Тихомиров Б. Н.* Последние годы Федора Федоровича Достоевского (В связи с находкой его заграничного паспорта 1918—1921) // Достоевский и мировая культура. Альманах № 16. СПб., 2001. С. 167—168.

[2] *Ленин В. И.* Письмо И. Ф. Арманд от 5.06.1914 // *Ленин В. И.* Полное собрание сочинений. 5-е изд. В 55 т. М., 1958—1965. Т. 48. 1964. С. 294—295.

[3] *Бонч-Бруевич Н.* Ленин о книгах и писателях // Литературная газета. 1955. 21 апреля.

[4] *Валентинов Н.* Встречи с Лениным. Нью-Йорк, 1953. С. 85.

[5] *Горький М.* Заметки о мещанстве // *Горький М.* Собрание сочинений: В 30 т. М., 1949—1955. Т. 23. 1953. С. 354—355.

[6] Там же. С. 352.

[7] *Горький М.* О «карамазовщине» // Там же. Т. 24. 1953. С. 147.

[8] Доклад А. М. Горького о советской литературе // Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934. С. 11.

[9] Там же. С. 154.

[10] Там же.

[11] *Достоевский Ф. М.* Письма: В 4 т. / Под ред. и с прим. А. С. Долинина. М.; Л., 1928—1959. Т. III. 1872—1877. 1934. С. 2.

[12] Там же. С. 1.

[13] *Луначарский А. В.* Достоевский как мыслитель и художник // *Луначарский А. В.* Собрание сочинений: В 8 т. М., 1963—1967. Т. 1. 1963. С. 195.

[14] Там же. С. 182.

[15] *Луначарский А. В.* Достоевский // БСЭ. М., 1931. Т. 23. Стб. 332—345.

[16] *Луначарский А. В.* Достоевский как мыслитель и художник. Стенограмма речи на торжестве в честь столетия со дня рождения Ф. М. Достоевского // Красная новь. 1921. № 4. Ноябрь—декабрь. С. 211.

[17] *Переверзев В. Ф.* Достоевский и революция (К столетию со дня рождения) // Печать и революция. 1921. № 3. С. 3.

[18] Там же. С. 8.

[19] Там же. С. 10.

[20] *Леонтьев К. Н.* О всемирной любви, по поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике // *Леонтьев К. Н.* Наши новые христиане, Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой. М., 1882. С. 20.

[21] *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972—1990. Т. 1. 1972. С. 6. Все цитаты из сочинений и писем Ф. М. Достоевского, кроме специально оговоренных, даются по этому изданию без ссылок. Курсив в цитатах везде принадлежит Ф. М. Достоевскому.

[22] Там же.

[23] Там же.

[24] *Луначарский А. В.* Достоевский как мыслитель и художник // Ф. М. Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 448—449.

[25] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 3.

[26] *Бердяев Н. А.* Откровение о человеке в творчестве Достоевского // Русская мысль. 1918. Кн. 3—6. С. 39.

[27] *Мережковский Д. С.* Пророк русской революции (К юбилею Достоевского) // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881—1931 годов. М., 1990. С. 86.

[28] Там же.

[29] *Иванов Вяч. И.* Достоевский и роман-трагедия // Русская мысль. 1911. № 5. С. 46.

[30] *Соловьев В. С.* Три речи в память Достоевского. 1881—1883. М., 1884. С. 3.

[31] *Розанов В. В.* Чем нам дорог Достоевский? (К 30-летию со дня его кончины) // Новое время. 1911. 6 августа. С. 4.

[32] Там же.

[33] *Эрн В. Ф.* Сочинения. М., 1991. С. 89.

[34] Там же. С. 90.

[35] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 3. Примечание.

[36] *Бем А.* Тайна личности Достоевского // Православие и культура. Сборник религиозно-философских статей / Под ред. В. В. Зеньковского. Берлин, 1923. С. 185.

[37] Там же. С. 181.

[38] Там же. С. 181—182.

[39] *Мережковский Д. С.* Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 63.

[40] *Бем А.* Тайна личности Достоевского // Православие и культура. С. 182, 184.

[41] *Мережковский Д. С.* Толстой и Достоевский. С. 51.

[42] Там же. С. 66.

[43] *Булгаков С. Н.* Венец терновый. Памяти Ф. М. Достоевского. СПб., 1907. С. 3.

[44] *Розанов В. В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского: Опыт критического комментария. СПб., 1906. С. 49.

[45] *Иванов Вяч. И.* Достоевский и роман-трагедия // Русская мысль. 1911. № 5. С. 47.

Часть первая. РОДОСЛОВНАЯ ДЕТСТВА

[1] См.: Рукописное наследие Ф. М. Достоевского // Описание рукописей Ф. М. Достоевского / Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957. С. 10—11.

[2] *Гроссман Л. П.* Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. М.; Пг., 1922. С. 4.

[3] *Гроссман Л. П.* Достоевский на жизненном пути. Вып. 1. Молодость Достоевского. 1821—1850. М., 1928. С. 5.

[4] Там же. С. 6.

[5] *Гроссман Л. П.* Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. М.; Л., 1935. С. 15—16.

[6] См.: Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни: Акты, изд. Врем. комис. выс. учрежд. при Киев. воен. Подол. и Волын. генерал-губернаторе / [Трудами Н. Д. Иванишева]. Киев, 1849. Т. 1—2. Текст парал. на др.-слав. и рус. яз.

[7] Там же. Т. 1. С. 94—95.

[8] Там же. Т. 2. С. 14—15, 19.

[9] См.: *Любимов С.* Ф. М. Достоевский. (К вопросу о его происхождении) // Литературная мысль. Кн. 1. Пг., 1922. С. 208—210; *Любимов С.* К во-

просу о генеалогии Достоевского // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Л.; М., 1924. С. 303—306.

[10] См.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Л., 1930. С. 409. Далее все цитаты из воспоминаний А. М. Достоевского приводятся по этому изданию без ссылок.

[11] *Волоцкой М. В.* Хроника рода Достоевского. 1506—1933 / Под ред. М. Цявловского; предисл. П. М. Зиновьева. М., 1933.

[12] Общий гербовник дворянских родов Российской империи. СПб., б/г. Ч. 3. Л. 23.

[13] *Достоевская Л. Ф.* Достоевский в изображении его дочери / Пер. с нем. Л. Я. Круковской, под ред. и с предисл. А. Г. Горнфельда. М.; Л., 1922. См. также: *Достоевская Л. Ф.* Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992 / Пер. с нем. Е. С. Кибардиной; вступ. ст., подг. текста и прим. С. В. Белова. Далее все цитаты из книги Л. Ф. Достоевской приводятся по этому изданию без ссылок.

[14] *Горнфельд А. Г.* Предисловие // *Достоевская Л. Ф.* Достоевский в изображении его дочери. С. 5.

[15] *Okolsky S.* Orbis Polonis... Krakow, 1643. Vol. 2. P. 80. Пер. с польск. см.: *Лакиер А. Б.* Русская геральдика. СПб., 1855.

[16] См.: Три века русской литературы: Актуальные аспекты изучения. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 18. 500 лет роду Достоевского / Под ред. Ю. И. Минералова, Н. Н. Богданова, О. Ю. Юрьевой. М.; Иркутск, 2008. С. 6. (От составителей).

[17] См.: *Волгин И. Л.* Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах. М., 1991. С. 11—12.

[18] Там же. С. 27.

[19] *Богданов Н., Роговой А.* Родословие Достоевских. В поисках утерянных звеньев // Три века русской литературы. Вып. 18. 500 лет роду Достоевского. С. 20.

[20] *Достоевская А. Г.* Записная книжка 1881 года // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб., 1993. С. 276. Далее все цитаты из Записной книжки 1881 года приводятся по этому изданию без ссылок.

[21] *Богданов Н. Н., Роговой А. И.* Кто вы — Андрей Достоевский? (К прояснению биографии деда писателя) // Достоевский и мировая культура. Альманах № 20. СПб.; М., 2004. С. 277.

[22] См.: Библиотека Ф. М. Достоевского. Опыт реконструкции. Научное описание. СПб., 2005. С. 135.

[23] Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссиею. Т. 5. 1659—1665. СПб., 1867; Т. 7. 1657—1663, 1668—1669. СПб., 1972.

[24] *Волоцкой М. В.* Хроника рода Достоевского. С. 15.

[25] *Волгин И. Л.* Родиться в России. С. 33.

[26] *Богданов Н. Н., Роговой А. И.* Кто вы — Андрей Достоевский? (К прояснению биографии деда писателя) // Достоевский и мировая культура. Альманах № 20. С. 277.

[27] *Роговой А. И., Богданов Н. Н.* Родословие Достоевских: в поисках утерянных звеньев // Достоевский и мировая культура. Альманах № 21. СПб., 2006. С. 176.

[28] *Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. 1821—1849. М., 1979. С. 16.

[29] *Волоцкой М. В.* Хроника рода Достоевского. С. 16—17.

[30] См.: *Роговой А. И., Богданов Н. Н.* Родословие Достоевских: в поисках утерянных звеньев // Достоевский и мировая культура. Альманах № 21. С. 178.

[31] См.: *Тихомиров Б. Н.* Материалы к родословной Достоевских // Достоевский и мировая культура. Альманах № 11. СПб., 1998. С. 192—193; *Богданов Н. Н., Роговой А. И.* Кто вы — Андрей Достоевский? (К прояснению биографии деда писателя) // Достоевский и мировая культура. Альманах № 20. С. 287—288.

[32] См.: *Волгин И. Л.* Родиться в России. С. 36—40.

[33] *Богданов Н. Н.* Войтовцы — родовое гнездо Достоевских // Достоевский и мировая культура. Альманах № 18. СПб., 2003. С. 156—157.

[34] *Волоцкой М. В.* Хроника рода Достоевского. С. 47. Волоцкой использовал данные формулярного списка, содержавшиеся в публикации С. Любимова (*Любимов С.* Ф. М. Достоевский. (К вопросу о его происхождении) // Литературная мысль. Альманах. Вып. 1. С. 208—209).

[35] *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских (Письма М. А. и М. Ф. Достоевских). М., 1939. С. 124.

[36] *Гроссман Л. П.* Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. С. 21.

[37] *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. С. 9.

[38] *Селезнев Ю. И.* Достоевский. М., 1981. С. 10—11.

[39] См.: *Федоренко Б. В.* О неясном в жизнеописании М. А. Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах № 3. М., 1994. С. 21. Документ введен в научный оборот Б. В. Федоренко в 1990 году. В публикации 1994 года указан его архивный источник: ЦГИА. Ф. 802. Оп. 1. 1809. № 116. Л. 59.

[40] См.: *Прейсман А. Б.* Московская медико-хирургическая академия. М., 1961. С. 19. См. также: История Императорской военно-медицинской (бывшей медико-хирургической) академии за сто лет. 1798—1898 / Под ред. В. Ивановского. СПб., 1898. С. 139—145.

[41] *Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. 1821—1849. С. 17.

[42] См.: *Федоренко Б. В.* О неясном в жизнеописании М. А. Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах № 3. С. 23—24.

[43] См.: *Прейсман А. Б.* Московская медико-хирургическая академия. С. 26.

[44] См.: История тыла и снабжения русской армии: Учебное пособие для слушателей Академии тыла и снабжения им. В. М. Молотова / Под ред. М. П. Миловского. Калинин, 1955. С. 119—120.

[45] Записки о 1812 годе С. Глинки, первого ратника Московского Ополчения. СПб., 1836. С. 52—53.

[46] См. *Тарле Е.* Наполеон. М., 1936. С. 409.

[47] См.: Памятка 68-го Лейб-пехотного Бородинского императора Александра III полка / Составил по материалам, собранным при полку, капитан М. Горский. Замостье, 1910. С. 1—2.

[48] *Скрин А. (А.В. Скрипицын).* 68-й Лейб-пехотный императора Александра III полк. М., 1912. С. 5.

[49] См.: *Федоров Г. А.* Из разысканий о московской родне Достоевского (К генезису рассказа «Маленький герой») // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 2. Л., 1976. С. 66.

[50] Там же. С. 66—73.

[51] См.: *Федоров Г. А.* «Помещик. Отца убили...» // Новый мир. 1988. № 10. С. 223.

[52] Цит. по: *Гроссман Л. П.* Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. С. 23.

[53] См.: *Федоров Г. А.* Семья Козловских // Литературная Россия. 1980. 25 апреля.

[54] См.: *Гроссман Л. П.* Достоевский. М., 1962. С. 9.

[55] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 6.

[56] *Быков П.* Выдержки из автобиографии Ф. М. Достоевского // Красная газета. 1925. 14 февраля.

[57] *Яновский С. Д.* Воспоминания о Достоевском // Русский вестник. 1885. № 4. С. 796. Далее цитаты из воспоминаний С. Д. Яновского приводятся по этому изданию без ссылок.

[58] См.: *Гроссман Л. П.* Достоевский. С. 9.

[59] Там же.

[60] *Федоров Г. А.* Драшусов и «пансионишко Тушара» // Литературная газета. 1974. 12 июля.

[61] См.: *Федоров Г. А.* Пансион Л. И. Чермака в 1834—1837 гг. (по новым материалам) // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 1. СПб., 1974. С. 243.

[62] См.: Русская литература. 1973. № 3. С. 117.

[63] См.: *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. С. 76. Далее письма М. А. и М. Ф. Достоевских цитируются по этому изданию без ссылок.

Часть вторая. ИСПЫТАНИЕ ПЕТЕРБУРГОМ

[1] Черновик прошения М. А. Достоевского об отставке // *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. С. 114.

[2] Там же.

[3] Черновик прошения М. А. Достоевского о помещении М. М. и Ф. М. Достоевских в Главное инженерное училище // Там же. С. 115.

[4] *Григорович Д. В.* Литературные воспоминания. М., 1961. С. 47. Далее цитаты из воспоминаний Д. В. Григоровича приводятся по этому изданию без ссылок.

[5] Черновик прошения М. А. Достоевского о помещении М. М. и Ф. М. Достоевских в Главное инженерное училище // *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. С. 115.

[6] См.: *Владимирцев В. П.* Достоевский и Василий Тимофеевич Плаксин // Достоевский и мировая культура. Альманах № 21. С. 141—149.

[7] *Якубович И. Д.* Достоевский в Главном инженерном училище (Материалы к летописи жизни и творчества писателя) // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 5. СПб., 1983. С. 183.

[8] *Волоцкой М. В.* Хроника рода Достоевского. С. 55.

[9] *Савельев А. И.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Русская старина. 1918. № 1. С. 13.

[10] *Трутовский К. А.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Русское обозрение. 1883. № 1—2. С. 213.

[11] *Савельев А. И.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Русская старина. 1918. № 1. С. 15.

[12] *Решетов Н.* Люди и дела минувших дней // Русский архив. 1886. № 10. С. 226.

[13] *Соловьев Вс. С.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Исторический вестник. 1881. № 3 (4). С. 602. Далее цитаты из воспоминаний Вс. С. Соловьева приводятся по этому изданию без ссылок.

[14] *Волоцкой М. В.* Хроника рода Достоевского. 1506—1933. С. 92.

[15] *Семенов-Тян-Шанский П. П.* Мемуары. Т. 1. Детство и юность (1827—1855). Пг., 1917. С. 203. Далее цитаты из мемуаров П. П. Семенова-Тян-Шанского приводятся по этому изданию без ссылок.

[16] *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. С. 48.

[17] См., напр.: *Freud S.* Dostojewski und die Vatertötung (1928 [1927]) // Die Urgestalt der Brüder Karamasoff, hrsg. von R. Fülöp-Miller und F. Eckstein. München, 1928, S. XI—XXXVI; *Фрейд З.* Достоевский и отцеубийство // Зигмунд Фрейд. Интерес к психоанализу. Авторский сборник. М., 2009. С. 108—131; *Нейфельд И.* Достоевский. Психоаналитический очерк / Под ред. З. Фрейда. Л.; М., 1925.

[18] *Федоров Г. А.* К биографии Ф. М. Достоевского. Домыслы и логика фактов // Литературная газета. 1975. № 25. 18 июня. С. 7; *Он же.* Был ли убит отец Достоевского? // *Федоров Г. А.* Московский мир Достоевского. М., 2004. С. 153.

[19] См.: *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. С. 53.

[20] *Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. С. 87—88. Курсив мой. — *Л. С.*

[21] Там же. С. 88. Курсив мой. — *Л. С.*

[22] *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. С. 52.

[23] Там же. С. 60.

[24] *Федоров Г. А.* К биографии Ф. М. Достоевского. Домыслы и логика фактов // Литературная газета. 1975. 18 июня. С. 7.

[25] *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. С. 51.

[26] *Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. С. 93.

[27] Цит. по: *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. С. 54.

[28] Там же.

[29] Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. 1821—1881: В 3 т. СПб., 1993—1995. Т. 1. 1821—1864. 1993. С. 63.

[30] *Федоров Г. А.* К биографии Ф. М. Достоевского. Домыслы и логика фактов // Литературная газета. 1975. № 25. 18 июня. С. 7.

[31] *Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. С. 90.

[32] Там же. С. 92.

[33] *Федоров Г. А.* К биографии Ф. М. Достоевского. Домыслы и логика фактов // Литературная газета. 1975. № 25. 18 июня. С. 7.

[34] *Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. С. 94.

[35] Там же. С. 90.

[36] Там же. См. также: *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. С. 61.

[37] Литературное наследство. Т. 86. М., 1973. С. 365.

[38] Там же. С. 329.

[39] Там же.

[40] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 49.

[41] Там же. С. 51.

[42] Там же. С. 52.

[43] Там же. С. 53.

[44] Литературное наследство. Т. 86. С. 331.

[45] Там же. С. 365.

[46] Там же. С. 331.

[47] Там же. С. 330.

[48] *Гроссман Л. П.* Бальзак в переводе Достоевского // *Бальзак О.* Евгения Гранде. М., 1935. С. 13.

[49] *Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. С. 115.

[50] *Вейс А.* Поэты в Германии // Русский инвалид. 1845. № 64.

[51] *Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. С. 147.

[52] Литературное наследство. Т. 86. С. 373.

[53] Там же. С. 370.

[54] Там же. С. 373.

[55] *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1960. С. 282.

[56] Там же.
[57] *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1950. С. 309.
[58] *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 283.
[59] *Соллогуб В. А.* Воспоминания // Исторический вестник. 1886. № 6. С. 561—562.
[60] Там же.
[61] *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 284.
[62] Иллюстрация. 1846. 26 января.
[63] Северная пчела. 1846. 30 января. С. 99.
[64] Там же. 1 февраля. С. 107.
[65] *Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1953—1959. Т. 9. 1956. С. 543—566.
[66] *Панаева А. Я.* Воспоминания. М., 1956. С. 142. Далее цитаты из воспоминаний А. Я. Панаевой приводятся по этому изданию без ссылок.
[67] См.: *Захаров В. Н.* По поводу одного мифа о Достоевском // Север. 1985. № 11. С. 113—120.
[68] *Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1953—1959. Т. 9. 1956. С. 565—566.
[69] Там же. Т. 12. С. 335.
[70] Там же. Т. 10. С. 41—42.
[71] Там же. С. 351.
[72] Там же. Т. 12. С. 421.
[73] Там же. С. 467.
[74] Там же.
[75] *Гоголь Н. В.* Собрание сочинений: В 9 т. М., 1994. Т. 9. С. 676.
[76] Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847. С. 36.
[77] Северная пчела. 1846. 28 февраля. С. 187.
[78] Москвитянин. 1846. № 2. С. 174.
[79] См.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. С. 382.
[80] Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. Т. 1—6. М.; Л., 1938—1961. Т. 6. С. 305.

Часть третья. В ТЕНИ БАРРИКАД

[1] *Анненков П. В.* Парижские письма. М., 1983. С. 326.
[2] *Салтыков-Щедрин М. Е.* За рубежом. Гл. IV // *Салтыков-Щедрин М. Е.* Полное собрание сочинений: В 20 т. М., 1972. Т. 14. С. 112.
[3] *Анненков П. В.* Парижские письма. С. 305.
[4] Там же. С. 302—303.
[5] *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. 1826—1857. М., 1955. С. 311.
[6] *Герцен А. И.* Былое и думы. Часть пятая. Глава XXXIX. Деньги и полиция. — Император Джемс Ротшильд и банкир Николай Романов. — Полиция и деньги // *Герцен А. И.* Собрание сочинений: В 9 т. М., 1956. Т. 5. С. 388—389.
[7] *Зотов В. Р.* Петербург в 40-х годах // Первые русские социалисты. Л., 1984. С. 99.
[8] Петрашевцы. Сборник материалов / Под ред. П. Е. Щеголева. Т. 2. Статьи, доклады, показания. М.; Л., 1928. С. 257.
[9] *Энгельсон В. А.* Статьи, прокламации, письма. М., 1934. С. 32.
[10] *Сакулин П. Н.* Русская литература и социализм. М., 1924. С. 313—314.
[11] Дело петрашевцев. Т. I—III. М.; Л., 1937—1951. Т. I. 1937. С. 76.

[12] *Зотов В. Р.* Петербург в 40-х годах // Первые русские социалисты. С. 100.
[13] Там же. С. 359. Примечания.
[14] Там же. С. 102.
[15] *Прокофьев В. А.* Петрашевский. М., 1962. С. 97.
[16] Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб., 1906. С. 158—159.
[17] *Герцен А. И.* Былое и думы. Часть пятая. Русские тени. Энгельсоны. Глава II // *Герцен А. И.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 5. С. 604.
[18] См.: *Анненков П. В.* Письма из-за границы // П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892. С. 604—605.
[19] Там же.
[20] Петрашевцы. Сборник материалов / Под ред. П. Е. Щеголева. Т. 3. Доклад генерал-аудиториата. М.; Л., 1928. С. 69.
[21] Записка И. П. Липранди // Петрашевцы. М., 1907. С. 11.
[22] *Львов Ф. Н., Петрашевский М. В.* [Записка о деле петрашевцев] // Первые русские социалисты. С. 49.
[23] *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 311—312.
[24] *Энгельсон В. А.* Статьи, прокламации, письма. С. 35—36.
[25] *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 312.
[26] *Герцен А. И.* Былое и думы. Часть пятая. <Рассказ о семейной драме>. Глава I. (1848) // *Герцен А. И.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 5. С. 481—484.
[27] *Энгельсон В. А.* Статьи, прокламации, письма. С. 36.
[28] *Герцен А. И.* Былое и думы. Часть пятая. <Рассказ о семейной драме>. Глава I. (1848) // *Герцен А. И.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 5. С. 492.
[29] *Энгельсон В. А.* Статьи, прокламации, письма. С. 36.
[30] *Милюков А. П.* Федор Михайлович Достоевский // Русская старина. 1881. № 3, 5. С. 500. Далее цитаты из воспоминаний А. П. Милюкова приводятся по этому изданию без ссылок.
[31] Там же.
[32] Там же.
[33] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 85—87.
[34] Там же. С. 85.
[35] *Огарева-Тучкова Н. А.* Воспоминания. 1848—1870. М., 1903. С. 65.
[36] Петрашевцы. Сборник материалов. Т. 3. Доклад генерал-аудиториата. С. 125.
[37] Там же. С. 21.
[38] Там же. С. 288—289.
[39] Там же. С. 59.
[40] Дело петрашевцев. Т. I. С. 335.
[41] Там же. Т. III. С. 29.
[42] Петрашевцы. Сборник материалов. Т. 3. Доклад генерал-аудиториата. С. 53.
[43] Там же. С. 59.
[44] Там же.
[45] *Ахшарумов Д. Д.* Записки петрашевца. М.; Л., 1930. С. 30.
[46] Дело петрашевцев. Т. II. С. 407. Здесь и далее — показания из дела «О Тимковском». Курсив мой. — *Л. С.*
[47] Выписка из показания помещика Спешнева // Там же. Т. III. С. 457. Далее — с. 457—464. Курсив мой. — *Л. С.*
[48] Показания Н. А. Момбелли // Дело петрашевцев. Т. 1. С. 351. Далее — с. 339—389.
[49] Там же. Т. 1. С. 426.
[50] Дело петрашевцев. Т. 1. С. 148, 331.

[51] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 90—91.
[52] См.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 1. С. 145.
[53] См.: *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 30. Кн. 2. 1990. С. 27.
[54] См.: *Сараскина Л. И.* Николай Спешнев. Несбывшаяся судьба. М., 2000. С. 417.
[55] См.: *Покровская Е.* Достоевский и петрашевцы // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Пг., 1922. С. 258. Далее — с. 255—272.
[56] Цит. по: *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 18. 1978. С. 194.
[57] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 90.
[58] Цит. по: *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 18. С. 191.
[59] Там же. С. 82.
[60] Петрашевцы. Сборник материалов. Т. 3. Доклад генерал-аудиториата. С. 53—56.
[61] Дело петрашевцев. Т. III. С. 295—297.
[62] *Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 10. С. 212. Далее — с. 212—220.
[63] Дело петрашевцев. Т. III. С. 201 (из показаний С. Ф. Дурова).
[64] *Огарева-Тучкова Н. А.* Воспоминания. С. 65. Далее — с. 66—70.
[65] *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 331.
[66] Дело петрашевцев. Т. III. С. 274.
[67] См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 105.
[68] Дело петрашевцев. Т. 3. С. 377. Далее — с. 378—442.
[69] *Ахшарумов Д. Д.* Из моих воспоминаний // Первые русские социалисты. С. 174. Далее — с. 169—263.
[70] *Кузмин П. А.* Из записок // Там же. С. 287. Далее — с. 264—318.
[71] Цит. по: *Егоров Б. Ф.* Петрашевцы. Л., 1988. С. 60.
[72] Записка И. П. Липранди // Петрашевцы. С. 11.
[73] См.: *Энгельсон В. А.* Статьи, прокламации, письма. С. 38—39.
[74] К истории дела петрашевцев. Переписка Николая Павловича с шефом жандармов А. Ф. Орловым // Былое. 1906. № 2. С. 246.
[75] Там же. С. 247.
[76] Там же. С. 441—442.
[77] *Энгельсон В. А.* Статьи, прокламации, письма. С. 38—39.
[78] ГАРФ. 1 эксп. Ф. 109. Оп. 1. № 214. Ч. 1. Об арестовании обвиняемых. Л. 110.
[79] ГАРФ. 1 эксп. Ф. 109. Оп. 1. № 214. Ч. 2. О суммах на содержание арестованных лиц в крепости. Л. 5.
[80] *Ястржембский И. Л.* Мемуар петрашевца // Первые русские социалисты. С. 154.
[81] См.: *Бельчиков Н. Ф.* Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971. С. 201—202.
[82] Следственное дело М. М. Достоевского-петрашевца // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 1. Л., 1974. С. 255.
[83] См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 106—107.
[84] Там же. С. 99.
[85] Там же. С. 90, 99.

[86] Журнал заседаний в крепости по делу Буташевича-Петрашевского // ГАРФ. 1 эксп. Ф. 109. Оп. 1. № 214. Ч. 3. Л. 115—184.

[87] Голос минувшего. 1916. № 10. С. 47.

[88] Дело петрашевцев. Т. 1. С. 47.

[89] Там же. С. 69.

[90] См.: Петрашевцы. Сборник материалов. Т. 3. Доклад генерал-аудиториата. С. 54. Далее — с. 53—56.

[91] Там же.

[92] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 108.

[93] Там же. С. 113.

[94] Петрашевцы. Сборник материалов. Т. 1. С. 129.

[95] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 116.

[96] Записка о деле петрашевцев. Рукопись Ф. Н. Львова с пометками М. В. Буташевича-Петрашевского // Литературное наследство. Т. 63. С. 188.

[97] Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 1. С. 177.

[98] *Энгельсон В. А.* Статьи, прокламации, письма. С. 41—42.

[99] См.: Дневник В. С. Аксаковой. СПб., 1913. С. 42.

Часть четвертая. НА АРШИНЕ ПРОСТРАНСТВА

[1] Литературное наследство. Т. 86. С. 373.

[2] Там же. С. 374.

[3] См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 83—84.

[4] См.: Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 51.

[5] Там же.

[6] Там же. С. 50.

[7] См.: *Житомирская С. В.* Встречи декабристов с петрашевцами // Литературное наследство. Т. 60. Ч. 2. Кн. 1. М., 1956. С. 618.

[8] Там же. С. 615—628. См. также: *Громыко М. М.* Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского. Новосибирск, 1985. С. 75—80.

[9] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 122—123.

[10] *Францева М. Д.* Воспоминания // Исторический вестник. 1888. № 6. С. 629.

[11] Там же.

[12] *Мартьянов П. К.* В переломе века (Отрывки из старой записной книжки) // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 242. Далее — с. 237—243.

[13] См.: *Белов С. В.* Каторжники Омского острога. 1852—1853 // Достоевский и мировая культура. Альманах № 14. М., 2001. С. 258—263.

[14] См.: *Вайнерман В. С.* «Поручаю себя вашей доброй памяти» (Ф. М. Достоевский и Сибирь). Омск, 2001. С. 120—129.

[15] См.: Литературное наследство. Т. 60. Ч. 2. Кн. 1. С. 624.

[16] См.: *Владимирцев В. П., Орнатская Т. И.* Моя тетрадка каторжная (Сибирская тетрадь). Красноярск, 1985. С. 38—58.

[17] См.: Русская старина. 1882. № 5. С. 475.

[18] См.: *Вайнерман В. С.* «Поручаю себя вашей доброй памяти» (Ф. М. Достоевский и Сибирь). С. 176.

[19] *Врангель А. Е.* Мои воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854—56 гг. СПб., 1912. С. 15. Далее цитаты из воспоминаний А. Е. Врангеля цитируются по этому изданию без ссылок.

[20] См.: Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 97.

[21] Там же. С. 75.

[22] См.: *Мочульский К. Н.* Гоголь, Соловьев, Достоевский. М., 1995. С. 299.

[23] См.: *Тарле Е. В.* Крымская война. Т. 1—2. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 435—485; *Казарин В.* «Битва за Ясли Господни». Чем на самом деле закончилась Крымская война // Литературная газета. 2005. № 4. 2—8 февраля.

[24] См.: *Левченко Н. И.* Круг знакомых Ф. М. Достоевского в семипалатинский период жизни // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 11. С. 235—245.

[25] *Скандин А. В.* Достоевский в Семипалатинске // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 104.

[26] См.: *Вайнерман В. С.* «Поручаю себя вашей доброй памяти» (Ф. М. Достоевский и Сибирь). С. 187.

[27] См.: *Левченко Н. И.* Круг знакомых Ф. М. Достоевского в семипалатинский период жизни // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 11. С. 241—242; *Донов А.* Судьба и род М. Д. Исаевой (Достоевской) // Русская словесность в мировом культурном контексте. II Международный симпозиум. М., 2008. С. 266—269.

[28] См.: *Левченко Н. И.* Круг знакомых Ф. М. Достоевского в семипалатинский период жизни // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 11. С. 241—242.

[29] Письмо от 3 марта (19 февраля) 1855. *Герцен А. И.* Полное собрание сочинений и писем / Под ред. М. К. Лемке. Т. 8. Пг., 1919. С. 159.

[30] *Шелгунов Н. В.* Воспоминания. М., 1923. С. 23.

[31] *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 402—403.

[32] Литературное наследство. Т. 22—24. М., 1935. С. 708.

[33] См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 150.

[34] Там же. С. 150—151.

[35] См.: *Кушникова М., Тогулев В.* «Кузнецкий венец» Федора Достоевского. Кн. 1. Кемерово, 2005. С. 122.

[36] Там же. С. 104.

[37] Там же. С. 100.

[38] Там же. С. 99.

[39] Там же. С. 97.

[40] Там же. С. 44.

[41] Там же. С. 29.

[42] Там же. С. 202.

[43] Там же. С. 193.

[44] *Булгаков В. Ф.* Ф. М. Достоевский в Кузнецке // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 159.

[45] Там же.

[46] Там же. С. 159—160.

[47] См.: *Бекедин П. В.* Малоизвестные материалы о пребывании Достоевского в Кузнецке // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 7. Л., 1987. С. 234—235.

[48] *Булгаков В. Ф.* Ф. М. Достоевский в Кузнецке // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 160.

[49] См.: Исторический вестник. 1885. № 1. С. 124; *Скандин А. В.* Достоевский в Семипалатинске // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 110.

[50] Литературное наследство. Т. 86. С. 375.

[51] *Герасимов Б. Г.* Достоевский в Семипалатинске // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 146.

[52] Там же.

[53] *Скандин А. В.* Достоевский в Семипалатинске // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 97.

[54] Исторический вестник. 1885. № 1. С. 124.

[55] Там же. С. 126—127.

[56] Там же. С. 127.

[57] Письмо А. Н. Плещеева к Ф. М. Достоевскому от 10 апреля 1859 г. // Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1935. С. 444.

[58] *Ковалевский П. М.* Стихи и воспоминания. СПб., 1912. С. 276.

[59] Там же. С. 277.

[60] Там же. С. 276.

[61] *Скандин А. В.* Достоевский в Семипалатинске // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 111.

[62] Литературное наследство. Т. 86. С. 377.

Часть пятая. ТОСКА ПО ТЕКУЩЕМУ

[1] Современник. 1862. № 1. С. 220.

[2] *Венюков М. И.* Из воспоминаний. Кн. 1. 1832—1867. Амстердам, 1895. С. 275—276.

[3] Русская старина. 1902. № 1. С. 154.

[4] Письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина к П. В. Анненкову от 20 ноября/декабря 1875 г. // *Салтыков-Щедрин М. Е.* Полное собрание сочинений: В 20 т. Т. 20. С. 50.

[5] См.: *Сараскина Л. И.* Николай Спешнев. Несбывшаяся судьба. С. 303.

[6] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 181.

[7] Там же.

[8] *Вейнберг П. И.* Литературные спектакли (Из моих воспоминаний) // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1964. С. 331.

[9] Там же. С. 332.

[10] *Пантелеев Л. Ф.* Из воспоминаний прошлого. Л., 1934. С. 164.

[11] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 218—219.

[12] Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. 1821—1881. Т. 1. С. 294.

[13] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 187.

[14] Там же. С. 208.

[15] См.: *Орнатская Т. И.* Редакционный литературный кружок Ф. М. и М. М. Достоевских (1860—1865 гг.) // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 8. Л., 1988. С. 256.

[16] Время. 1861. № 4. С. 633.

[17] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 212—213.

[18] Там же. С. 215.
[19] Там же. С. 211.
[20] См.: *Орнатская Т. И., Туниманов В. А.* Альбом племянницы Ф. М. Достоевского // Ленинградская панорама. Л., 1988. С. 352.
[21] Литературное наследство. Т. 86. С. 387.
[22] *Шуберт А. И.* Моя жизнь. Л., 1929. С. 201.
[23] *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 2. С. 174, 179.
[24] *Суслова А. П.* Годы близости с Достоевским. Дневник — повесть — письма / Вступ. ст. и прим. А. С. Долинина. М., 1928. С. 47—48. Далее цитаты из дневника, повести и писем А. П. Сусловой приводятся по этому изданию без ссылок.
[25] *Штакеншнейдер Е. А.* Дневник и записки (1854—1886). М.; Л., 1934. С. 307—308.
[26] *Герцен А. И.* Собрание сочинений: В 30 т. М., 1954—1964. Т. 18. 1859. С. 219.
[27] Письмо А. И. Герцена к Н. П. Огареву от 5/17 июля 1862 года // Там же. Т. 27. Кн. 1. С. 247.
[28] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 243.
[29] Там же. С. 244.
[30] *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 2. С. 278.
[31] Там же. С. 335.
[32] *Штакеншнейдер Е. А.* Дневник и записки (1854—1886). С. 331—332.
[33] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 247.
[34] Там же. С. 254.
[35] *Долинин А. С.* Достоевский и Суслова // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. С. 177.
[36] См.: *Дурылин С. Н.* В. В. Розанов // Начала. 1992. № 3. С. 45—51.
[37] Письмо А. П. Сусловой к Я. П. Полонскому от 30 марта / 11 апреля 1863 года. Публикация Г. Л. Боград // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 6. Л., 1985. С. 265.
[38] Письмо А. П. Сусловой к Я. П. Полонскому от 7/19 июля 1863 года // Там же. С. 266—267.
[39] *Бем А. Л.* «Игрок Достоевского» (В свете новых биографических данных) // Современные записки. Париж, 1925. Кн. 24. С. 380.
[40] См.: *Сараскина Л.* Возлюбленная Достоевского. Аполлинария Суслова: биография в документах, письмах, материалах. М., 1994. С. 376.
[41] Письмо А. Н. Майкова к А. И. Майковой от 27 января 1864 года // Литературное наследство. Т. 86. С. 393.
[42] Письмо М. М. Достоевского к Ф. М. Достоевскому от 18 апреля 1864 г. // Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. А. С. Долинина. С. 553.
[43] Там же.
[44] Там же. С. 554.
[45] *Тимофеева (Починковская) В. В.* Год работы с знаменитым писателем // Исторический вестник. 1904. № 2. С. 488. Далее цитаты из воспоминаний В. В. Тимофеевой даются по этому изданию без ссылок.
[46] См.: *Розенблюм Л. М.* Творческие дневники Достоевского // Литературное наследство. Т. 83. М., 1971. С. 13.
[47] См.: *Орнатская Т. И.* Сибирская тетрадь // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 5. С. 222—225.
[48] Цит. по: *Сараскина Л.* Возлюбленная Достоевского. С. 184.
[49] Литературное наследство. Т. 86. С. 396—397.

[50] *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 2. С. 450.

[51] См.: *Долинин А. С.* К цензурной истории первых двух журналов Достоевского // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. С. 574—575.

[52] Литературное наследство. Т. 15. М., 1934. С. 291.

[53] *Боборыкин П. Д.* Воспоминания. В 2 т. М., 1965. Т. 1. С. 391.

[54] См.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. С. 274.

[55] См.: Достоевский. Материалы и исследования. Т. 7. Л., 1987. С. 251.

[56] Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 2. 1865—1974. С. 33.

[57] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 283.

[58] *Ковалевская С. В.* Воспоминания и письма. М., 1961. С. 99.

[59] Там же.

[60] Там же. С. 120.

[61] Письмо М. М. Достоевского Ф. М. Достоевскому от 27 июня 1862 г. // Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. А. С. Долинина. С. 536.

[62] Там же. С. 539.

[63] Письмо М. М. Достоевского Ф. М. Достоевскому от 2/14 сентября 1863 г. // Там же. С. 542.

[64] См.: *Брусовани М. И., Гальперина Р. Г.* Заграничные путешествия Ф. М. Достоевского 1862 и 1863 гг. // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 8. С. 291.

[65] Письмо М. М. Достоевского Ф. М. Достоевскому от 22 августа 1863 г. // Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. А. С. Долинина. С. 540.

[66] *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. М.; Л., 1961—1968. Т. 9. С. 169.

[67] Письмо А. Е. Врангеля к Ф. М. Достоевскому от 11/23 сентября 1865 г. из Копенгагена // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 3. С. 277.

[68] Русский вестник. 1861. № 3. С. 25.

[69] Там же. С. 17—18.

[70] Там же.

[71] См.: Русский вестник. 1889. № 2. С. 361.

[72] *Фон-Фохт Н. Н.* К биографии Ф. М. Достоевского // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1964. С. 372.

[73] *Иванова М. А.* Воспоминания // Там же. С. 370.

[74] Там же. С. 363.

[75] *Фон-Фохт Н. Н.* К биографии Ф. М. Достоевского // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 373.

[76] Из воспоминаний М. Н. Стоюниной об А. Г. Достоевской // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. С. 578.

Часть шестая. СОЗВЕЗДИЕ ЕВРОПЫ

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 289.

[2] Русский инвалид. 1867. 4 (16) марта.

[3] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 290.

[4] Там же.

[5] Отечественные записки. 1867. № 3. С. 330—331.

[6] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 290.

[7] Всемирный труд. 1867. № 3. С. 149.

[8] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 290.

[9] Отечественные записки. 1881. № 2. С. 258—259.

[10] *Карякин Ю. Ф.* Самообман Раскольникова. М., 1976. С. 87.

[11] Цит. по: *Котельников В. А.* «Что есть истина?» (Литературные версии критического реализма). СПб., 2009. С. 499.

[12] См.: *Житомирская С. В.* Дневник А. Г. Достоевской как историко-литературный источник // *Достоевская А. Г.* Дневник 1867 года. М., 1993. С. 391—422. Далее все цитаты из дневника А. Г. Достоевской приводятся по этому изданию без ссылок.

[13] Письмо Е. В. Салиас к А. П. Сусловой от 4 января 1866 г. // См.: *Сараскина Л. И.* Возлюбленная Достоевского. Аполлинария Суслова: биография в документах, письмах, материалах. С. 284—285.

[14] Былое. 1906. № 4. С. 299—300.

[15] Письмо А. П. Сусловой к Е. В. Салиас от июня 1866 г. // См.: *Сараскина Л. И.* Возлюбленная Достоевского. Аполлинария Суслова: биография в документах, письмах, материалах. С. 284—285.

[16] Письмо А. П. Сусловой к Е. В. Салиас от 14 декабря 1866 г. // Там же. С. 294.

[17] Там же. С. 296.

[18] Письмо А. П. Сусловой к Е. В. Салиас от 4 января 1867 г. // Там же. С. 297.

[19] Письмо И. С. Тургенева к Я. П. Полонскому от 24 апреля 1871 г. // *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений. Письма. Т. 9. М.; Л., 1965. С. 85.

[20] Письмо А. Н. Майкова к Ф. М. Достоевскому от 27 августа 1867 г. // *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. II. 1867—1871. С. 388.

[21] *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 98.

[22] Письмо А. Н. Майкова к Ф. М. Достоевскому от 7 января 1868 г. // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. С. 344.

[23] Письмо А. Н. Майкова к Ф. М. Достоевскому от 26 февраля 1868 г. // См.: *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. II. 1867—1871. С. 413.

[24] Там же.

[25] Письмо А. Н. Майкова к Ф. М. Достоевскому от 14 марта 1868 г. // Там же. С. 419.

[26] *Ренан Э.* Жизнь Иисуса. М., 1990. С. 208.

[27] Письмо Н. Н. Страхова к Ф. М. Достоевскому от середины марта 1868 г. // Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению. М.; Л., 1940. С. 258—259.

[28] Письмо Н. Н. Страхова к Ф. М. Достоевскому от 12 апреля 1871 г. // Там же. С. 271.

[29] Письмо С. Д. Яновского к Ф. М. Достоевскому от 12 апреля 1868 г. // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. С. 375.

[30] Там же.

[31] Письмо С. И. Фуделя к Н. С. Фуделю от января—февраля 1956 г. // *Фудель С. И.* Собрание сочинений: В 3 т. / Сост., подг. текста, коммент. Н. В. Балашова, Л. И. Сараскиной. М., 2001—2005. Т. 1. 2001. С. 441.

[32] См.: *Преп. Иустин (Попович).* Достоевский о Европе и славянстве. М.; СПб., 2002. С. 21.

[33] *Страхов Н. Н.* «Война и мир». Сочинение графа Л. Н. Толстого. Статья вторая // Заря. 1869. № 2. С. 243.

[34] Достоевский в документах III Отделения // Литературное наследство. Т. 86. С. 598.

[35] Письмо А. Н. Майкова к Ф. М. Достоевскому от 30 сентября 1868 г. // См.: Ф. М. Достоевский. Письма. Т. II. 1867—1871. С. 426.

[36] Письмо А. Н. Майкова к Ф. М. Достоевскому от 17 сентября 1868 г. // Там же. С. 432—433.

[37] Там же. С. 433.

[38] Письмо П. А. Исаева к Ф. М. Достоевскому от 31 мая 1868 г. // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. С. 405.

[39] Письмо А. Н. Майкова к Ф. М. Достоевскому от 7 марта 1868 г. // Там же. С. 348.

[40] Письмо П. А. Исаева к Ф. М. Достоевскому от 3 сентября 1869 г. // Там же. С. 408—409.

[41] *Переверзев В. Ф.* Достоевский и революция. К столетию со дня рождения // Печать и революция. 1921. № 3. С. 7—8.

Часть седьмая. РУССКАЯ ТРАГЕДИЯ

[1] См., напр.: Спор о Бакунине и Достоевском (статьи Л. И. Гроссмана и Вяч. Полонского). Л., 1926.

[2] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 179.

[3] Там же. С. 297.

[4] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым // Современный мир. СПб., 1913. Декабрь. С. 307, 309.

[5] *Мережковский Д. С.* Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 63.

[6] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым // Современный мир. СПб., 1913. Декабрь. С. 308.

[7] Литературное наследство. Т. 86. С. 686.

[8] *Штакеншнейдер Е. А.* Дневник и записки (1854—1886). С. 438.

[9] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 112.

[10] См.: Литературное наследство. Т. 86. С. 598.

[11] Новое время. 1881. 1 февраля.

[12] См.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 2. С. 281.

[13] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым // Современный мир. СПб., 1913. Декабрь. С. 308.

[14] Там же. С. 309.

[15] Письмо А. Н. Майкова к Н. Н. Страхову от 20 января 1873 г. // Литературное наследство. Т. 86. С. 428.

[16] Письмо Н. Н. Страхова к А. Н. Майкову от 6 февраля 1873 г. // Там же. С. 421.

[17] *Князь Мещерский.* Воспоминания. М., 2001. С. 231. Далее все цитаты из воспоминаний А. П. Мещерского приводятся по этому изданию без ссылок.

[18] *Спасович В. Д.* Сочинения. Т. V. СПб., 1893. С. 153.

[19] Революционеры 1870-х годов. Воспоминания участников народнического движения в Петербурге. Л., 1986. С. 14—15.

[20] *Кропоткин П. А.* Записки революционера. М., 1990. С. 272, 274; курсив мой. — *Л. С.*

[21] *Михайловский Н. К.* Литературные и журнальные заметки // Отечественные записки. 1873. № 2. Отд. II. С. 325.

[22] Там же. С. 323.

[23] Там же. С. 331.

[24] Революционеры 1870-х годов. С. 77.

[25] Цит. по: *Пирумова Н. М.* Бакунин. М., 1970. С. 330.

[26] Там же. С. 310.

[27] Там же. С. 332.

[28] Там же.

[29] Революционеры 1870-х годов. С. 77.

[30] *Ткачев П. Н.* Сочинения: В 2 т. М., 1976. Т. 2. С. 12.

[31] Там же. С. 22.

[32] *Фигнер В. Н.* Полное собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 1932. С. 91.

[33] Революционеры 1870-х годов. С. 350.

[34] Там же. С. 352.

[35] Там же; разрядка моя. — *Л. С.*

[36] Там же. С. 355.

[37] Там же. С. 356.

[38] Там же. С. 357.

[39] Там же.

[40] Там же. С. 363.

[41] См.: *Щеголев П. Е.* Алексеевский равелин. М., 1929. С. 270.

[42] *Гамбаров А.* В спорах о Нечаеве. К вопросу об исторической реабилитации Нечаева. М., 1926. С. 31.

[43] Цит. по: *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. III. 1872—1877. Л., 1934. С. 299—300.

[44] Там же. С. 300.

Часть восьмая. ПРАВДА КАК ДАР

[1] *Александров М. А.* Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика в 1872—1881 годах // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. В 2 т. Т. 2. М., 1964. С. 231. Далее цитаты из воспоминаний М. А. Александрова приводятся по этому изданию без ссылок.

[2] Литературное наследство. Т. 86. С. 426.

[3] См.: *Гроссман Л. П.* Жизнь и труды Достоевского. С. 210.

[4] *Михайловский Н. К.* Литературные и журнальные заметки // Отечественные записки. 1873. № 2. Отд. II. С. 343.

[5] См.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 2. С. 487.

[6] *Гиршгорн А.* Эмс и целебные его источники. Действие их на здоровье и больной организм, применение в различных болезнях, правила употребления вод и т. д. СПб., 1874. С. 18.

[7] Там же. С. 41.

[8] *Михайловский Н. К.* Буря в стакане педагогической воды // Отечественные записки. 1875. № 1. С. 157—158.

[9] *Герцен А. И.* Былое и думы. Часть пятая. Глава XXXIX. Деньги и полиция. — Император Джемс Ротшильд и банкир Николай Романов. — Полиция и деньги // *Герцен А. И.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 5. С. 397.

[10] Письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина к Н. А. Некрасову от 3 (15) июня 1875 г. // *Щедрин Н.* (*Салтыков М. Е.*). Полное собрание сочинений: В 20 т. М.; Л., 1933—1941. Т. 18. С. 292.

[11] Письмо И. С. Тургенева к М. Е. Салтыкову-Щедрину от 25 ноября (7 декабря) 1875 г. // *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1961—1968. Т. 11. С. 164.

[12] См.: *Щеглов И.* Три мгновения (Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском) // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 217.

[13] Литературное наследство. Т. 86. С. 448.

[14] *Алчевская Х. Д.* Достоевский // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. В 2 т. Т. 2. С. 281. Далее цитаты из воспоминаний Х. Д. Алчевской приводятся по этому изданию без ссылок.

[15] *Лесков Н. С.* Собрание сочинений: В 11 т. М., 1956—1958. Т. 10. 1958. С. 447.

[16] Литературное наследство. Т. 86. С. 447.

[17] Там же. С. 450.

[18] Новые тексты переписки Вольтера. Письма к Вольтеру. Л., 1970. С. 200—201.

[19] Цит. по: *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. III. 1872—1877. С. 378.

[20] Там же. С. 380.

[21] Там же. С. 381.

[22] Там же. С. 382.

[23] Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 3. 1875—1881. С. 191—192.

Часть девятая. БРАТЬЯ И БРАТСТВО

[1] *Измайлов А. А.* У А. Г. Достоевской // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 193.

[2] Там же. С. 194.

[3] Там же. С. 195.

[4] *Штекеншнейдер Е. А.* Из «Дневника». 1880 // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 306—307.

[5] *Стоюнина М. Н.* Мои воспоминания о Достоевских // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 200.

[6] *Леткова-Султанова Е. П.* О Ф. М. Достоевском. Из воспоминаний // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 387.

[7] *Толиверова А.* Памяти Достоевского // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 228.

[8] *Тыркова А. В.* Анна Павловна Философова и ее время. Пг., 1918. С. 258.

[9] См.: *Гроссман Л.* Исповедь одного еврея. М.; Л., 1924. С. 130—131.

[10] *Тыркова А. В.* Анна Павловна Философова и ее время. С. 264.

[11] Литературное наследство. Т. 83. С. 331.

[12] См.: *Гусев Н. Н.* Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1888 год. М., 1963. С. 477.

[13] *Леткова-Султанова Е. П.* О Ф. М. Достоевском. Из воспоминаний // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 386.

[14] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 294.

[15] Там же. С. 295.

[16] Там же.

[17] *Прот. Сергий Четвериков.* Оптина Пустынь. Париж, 1926. С. 13.

[18] Письмо Н. В. Гоголя графу А. П. Толстому от 10 июля 1850 года // *Гоголь Н. В.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 9. Письма. М., 1994. С. 482.

[19] Там же. С. 483.

[20] *Плетнев Р. В.* «Сердцем мудрые» (О старцах у Достоевского) // О Достоевском. Сб. статей / Под ред. А. Л. Бема. Т. 2. Прага, 1933. С. 73.

[21] *Поселянин Е. Н.* Отец Амвросий: Его советы и предсказания // Душеполезное чтение. 1892. № 1. С. 46.

[22] См. об этом: *Беловодов Г., свящ.* Оптинские предания о Достоевском // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 14. СПб., 1997. С. 306.

[23] *Стахеев Д. И.* Группы и портреты. Листочки воспоминания: О некоторых писателях и старце-схимнике // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 246.

[24] Там же. С. 247.

[25] Литературное наследство. Т. 86. С. 471.

[26] *Соловьев Вл. С.* Три речи в память Достоевского. М., 1884. С. 10.

[27] Там же. С. 12.

[28] *Розанов В. В.* Из переписки К. Н. Леонтьева // Русский вестник. 1903. № 5. С. 162.

[29] Письмо К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову от 8 мая 1891 года // Русский вестник. 1903. № 6. С. 651—652.

[30] Письмо К. Н. Леонтьева к И. И. Фуделю от 19— 31 января 1891 года // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма. 1854—1891. СПб., 1993. С. 554.

[31] Литературное наследство. Т. 15. С. 137.

[32] См.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 3. С. 305.

[33] Литературное наследство. Т. 86. С. 475.

[34] *Философова А. П.* О Достоевском // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 323.

[35] Литературное наследство. Т. 86. С. 476—477.

[36] *Щеглов И.* Три мгновения (Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском) // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 219.

[37] Речь. 1915. 27 апреля. № 114.

[38] Литературное наследство. Т. 86. С. 379.

[39] Там же. Т. 15. С. 139.

[40] Там же.

[41] Там же. С. 141.

[42] Там же. Т. 86. С. 488.

[43] Там же. С. 489.

[44] Цит. по: Октябрь. 1993. № 12. С. 118.

[45] Там же. С. 116.

[46] Литературное наследство. Т. 86. С. 490.

[47] Там же.

[48] Там же. С. 491.

[49] Там же. С. 492.

[50] *Опочинин Е. Н.* Беседы с Достоевским (Мои записки 1879—1881 гг. в С.-Петербурге) // Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли. XIV—XX вв. Т. I—IX. М.; Л., 1932—1951. Т. VI. 1936. С. 470. Далее «Беседы с Достоевским» цитируются по этому изданию без ссылок.

[51] Цит. по: *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 26. С. 443.

[52] Цит. по: Октябрь. 1993. № 12. С. 140.

[53] Русский вестник. 1903. № 5. С. 176.

[54] См.: *Лосев А. Ф.* Владимир Соловьев и его время. М., 1990. С. 515.

[55] Там же. С. 514.

[56] Там же. С. 80.

[57] Там же. С. 72.

[58] *Соловьев Вл. С.* Русская идея // Русская идея. М., 1992. С. 204.

[59] См.: *Лосев А. Ф.* Владимир Соловьев и его время. С. 589—590, 597.

[60] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 312.

[61] *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1960—1968. Т. 12/2. С. 578.

[62] *Буква (Василевский И. Ф.)* Из московских в честь Пушкина празднеств в 1880 году // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 269.

[63] *Попов И. И.* Минувшее и пережитое. Из воспоминаний. М.; Л., 1933. С. 90.

[64] Московские ведомости. 1881. 30 января.

[65] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 315.

[66] Там же. С. 316.

[67] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 317.

[68] Дневник А. С. Суворина. М., 1992. С. 15—16.

[69] Литературное наследство. Т. 86. С. 137.

[70] *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. М.; Л., 1928—1964. Т. 63. М., 1934. С. 24.

[71] Толстовский музей. СПб., 1914. Т. 2. С. 259.

[72] Литературное наследство. Т. 86. С. 520.

[73] Там же. С. 521.

[74] Там же. С. 312.

[75] См.: *Тихомиров Б. Н.* О. Николай Вирославский — духовник писателя (к биографии Достоевского) // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 11. С. 267—271.

[76] Литературное наследство. Т. 86. С. 529.

Эпилог. **Властелин будущего**

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 324.

[2] Речь В. С. Соловьева, сказанная на Высших женских курсах 30 января 1881 года по поводу смерти Ф. М. Достоевского. СПб., 1881.

[3] *Богданович А. В.* Три последние самодержца. М.; Пг., 1924. С. 43.

[4] Там же. С. 44. Курсив мой. — *Л. С.*

[5] Там же.

[6] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 327.

[7] См.: К. П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. Т. 1. М.; Пг., 1923. С. 45.

[8] См.: Кончина великого мученика на земле русской. Речь, сказанная в Исаакиевском соборе, 2-го марта, пред панихидою по в Бозе почившем благочестивейшем государе императоре Александре Николаевиче // Церковный вестник. 1881. 7 марта. № 10. С. 1.

[9] *Победоносцев К. П.* Великая ложь нашего времени. М., 1993. С. 11.

[10] *Бердяев Н. А.* Нигилизм на религиозной почве // К.П. Победоносцев: Pro et contra. Личность, общественно-политическая деятельность и мировоззрение Константина Победоносцева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 1996. С. 291.

[11] *Победоносцев К. П.* Сочинения. СПб., 1996. С. 380.

[12] *Стоюнина М. Н.* Мои воспоминания о Достоевских // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 202.

[13] См.: *Измайлов А. А.* У А. Г. Достоевской // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. С. 190.

[14] *Достоевская А. Г.* Воспоминания / Под ред. Л. П. Гроссмана. М., 1925. С. 14.

[15] Литературное наследство. Т. 86. С. 269.

[16] *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 63. С. 43.

[17] Там же. С. 142.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

1821, 30 октября — в Москве, на улице Новая Божедомка, в семье штаб-лекаря Мариинской больницы для бедных Михаила Андреевича Достоевского и Марии Федоровны Достоевской, урожденной Нечаевой, родился второй сын — Федор Михайлович Достоевский.

1831, лето — М. А. Достоевский покупает имение Даровое в Тульской губернии.

1834, начало сентября — братья Михаил и Федор поступают в пансион Л. И. Чермака.

1837, 27 февраля — скончалась Мария Федоровна Достоевская.

Середина мая — Федор вместе с отцом и братом Михаилом едет в Петербург для поступления в Главное инженерное училище.

Июнь — братья Достоевские отданы в подготовительный пансион капитана К. Ф. Костомарова.

Июль—август — М. А. Достоевский вышел в отставку и переселился с младшими детьми в имение Даровое на постоянное жительство.

1838, январь — Федор зачислен в 3-й кондукторский класс и переселяется в Инженерный замок, где находится училище. Михаил зачислен в Санкт-Петербургскую инженерную команду и вскоре переведен в Ревель.

1839, 6 июня — умер Михаил Андреевич Достоевский.

1841, август — Федор переведен в нижний офицерский класс, произведен в полевые прапорщики, получил право жить вне стен училища.

1842, август — произведен в подпоручики.

1843, июнь — выпущен из Инженерного училища с чином подпоручика, получил 28-дневный отпуск в Ревель.

Август — выпущен на действительную службу в Инженерный корпус.

Конец года — пишет драму «Жид Янкель»; начал переводить роман Бальзака «Евгения Гранде».

1844, январь — закончил перевод романа «Евгения Гранде»; переводит роман Э. Сю «Матильда»; пишет и не заканчивает «сотни мелких рассказов».

Апрель — начинает работать над романом «Бедные люди»; начинает переводить роман Ж. Санд «Последняя Альдини».

Июнь—июль — в журнале «Репертуар и Пантеон» печатается перевод романа «Евгения Гранде» без указания имени переводчика.

Август — подает прошение об отставке.

Октябрь — уволен от службы по Инженерному корпусу «по домашним обстоятельствам».

1845, конец мая — закончил роман «Бедные люди»; рукопись читают Д. В. Григорович и Н. А. Некрасов.

Начало июня — встреча с В. Г. Белинским; критик восторженно отзывается о «Бедных людях».

Лето — в Ревеле у брата пишет повесть «Двойник».

Осень — продолжает работать над «Двойником»; знакомится у Белинского с И. С. Тургеневым, пишет «Роман в 9 письмах» и читает его на вечере у Тургенева; на вечере у И. И. Панаева читает «Бедных людей».

1846, январь — вышел изданный Некрасовым «Петербургский сборник», в котором опубликован роман «Бедные люди».

Февраль — в «Отечественных записках» опубликована повесть «Двойник».

Конец зимы — начало весны — начинает посещать кружок братьев Бекетовых.

Весна — знакомство с М. В. Буташевичем-Петрашевским.

Конец сентября — в «Отечественных записках» опубликован рассказ «Господин Прохарчин».

1847, конец января — начало февраля — начинает посещать пятничные собрания у Петрашевского и пользоваться книгами из его библиотеки; работает над романом «Неточка Незванова» и повестью «Хозяйка».

Апрель—июнь — в «Санкт-Петербургских ведомостях» публикуются фельетоны Достоевского «Петербургская летопись».

Октябрь—декабрь — в «Отечественных записках» опубликована повесть «Хозяйка».

1848, январь — в «Отечественных записках» опубликован рассказ «Чужая жена».

Февраль — в «Отечественных записках» опубликована повесть «Слабое сердце».

20 февраля — начало революции во Франции.

Сентябрь — в «Отечественных записках» опубликован рассказ «Елка и свадьбы».

Сентябрь—октябрь — на собрании у Петрашевского Достоевский читает отрывки из «Бедных людей».

Декабрь — в «Отечественных записках» опубликована повесть «Белые ночи». Секретный агент П. Д. Антонелли начинает наблюдение за петрашевцами; Достоевский сближается с Н. А. Спешневым.

1849, январь — в «Отечественных записках» опубликован роман «Неточка Незванова», часть первая; Достоевский, по поручению Спешнева, предлагает Майкову вступить «в особое тайное общество с тайной типографией, для печатания разных книг и журналов».

Февраль — в «Отечественных записках» опубликовано продолжение романа «Неточка Незванова».

15 апреля — читает на собрании у Петрашевского письмо В. Г. Белинского Н. В. Гоголю.

21 апреля — Николаю I переданы списки петрашевцев, составленные на основании донесений агента Антонелли, и план их ареста.

22 апреля — последнее собрание у Петрашевского.

23 апреля, 4 часа утра — Достоевский арестован, отвезен в Третье отделение; вечером препровожден в Петропавловскую крепость, в камеру № 9 «Секретного дома» Алексеевского равелина.

26 апреля — назначена Следственная комиссия по делу петрашевцев.

Конец апреля — в «Отечественных записках» опубликовано окончание романа «Неточка Незванова» без подписи автора.

6 мая — Достоевский вызван на предварительный допрос, после которого пишет в камере свои показания.

Июнь—июль — пишет рассказ «Маленький герой».

25 августа — составлена «Записка» из произведенного над петрашевцами следствия.

25 сентября — учреждается смешанная Военно-судная комиссия.

18 октября — Военно-судная комиссия приступает к опросу подсудимых, чтобы «заслушать их возможные оправдания».

13 ноября — Военно-судная комиссия выносит Достоевскому приговор — лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть казни расстрелянием.

19 ноября — по заключению генерал-аудиториата смертный приговор Достоевскому заменен восьмилетней каторгой, позже замененной на четырехлетнюю.

22 декабря — Достоевский вместе с другими петрашевцами отправлен к месту казни на Семеновский плац; приостановка казни и чтение рескрипта о помиловании; возвращение в Петропавловскую крепость.

24 декабря — прощается с братом Михаилом и А. И. Милюковым; отправлен в кандалах в Тобольск.

1850, 9 января — Достоевский, Дуров и Ястржембский прибыли в Тобольск.

10—20 января — Н. Д. Фонвизина и П. Е. Анненкова посещают тобольский острог и устраивают встречу Достоевского и Дурова со всеми прибывшими петрашевцами; Фонвизина дарит Достоевскому Евангелие с деньгами в переплете.

20 января — отправлен в Омскую крепость.

1850—1854, январь — создание «Сибирской тетради» во время «передышек» в острожном госпитале.

1854, 22 января — окончание срока каторги.

Январь — зачислен на службу рядовым в войска Отдельного сибирского корпуса.

Конец января — 22 февраля — живет в доме инженера К. И. Иванова; знакомится с Ч. Ч. Валихановым, возобновляет переписку с родными; пишет письмо Фонвизиной, где излагает свой Символ веры.

Конец февраля — отправляется из Омска в Семипалатинск, в 7-й Сибирский линейный батальон.

2 марта — по прибытии в Семипалатинск размещен в деревянной солдатской казарме.

Апрель — по просьбе К. И. Иванова Достоевскому разрешено переехать на частную квартиру; пишет стихотворение «На европейские события в 1854 г.».

Апрель—май — в доме батальонного командира подполковника Белихова знакомится с А. И. Исаевым и его семьей.

20 ноября — в Семипалатинск прибыл А. Е. Врангель с письмами и деньгами для Достоевского; начало дружеских отношений с Врангелем.

Вторая половина года — сближение с М. Д. Исаевой.

1855, зима — с помощью Врангеля знакомится с семипалатинскими офицерами и чиновниками.

12 марта — в Семипалатинске узнают о смерти Николая I, появляется надежда на амнистию.

27 марта — объявлен Манифест в ознаменование нового царствования, дающий «милости и послабления» ряду осужденных.

21 мая — проводы Исаевых в Кузнецк, к новому месту службы А. И. Исаева.

Июнь — усиленная переписка с М. Д. Исаевой, неудачные попытки встретиться с ней.

4 августа — умер А. И. Исаев.

Конец ноября — Достоевский произведен в унтер-офицеры; пишет М. Д. Исаевой и просит выйти за него замуж.

1856, январь — М. Д. Исаева дала согласие на брак.

Весна — работает над «комическим романом».

Октябрь — объявлен приказ о производстве унтер-офицера Достоевского в прапорщики «за оказанную им в службе верность и прилежность».

Конец ноября — приезжает в Кузнецк, получает окончательное согласие М. Д. Исаевой на брак.

1857, 6 февраля — венчание с М. Д. Исаевой в Кузнецке.

20 февраля — возвращается с женой и ее сыном в Семипалатинск.

17 апреля — указ Правительствующего сената о возвращении потомственного дворянства и права печататься.

Июль — в «Отечественных записках» за подписью «М-ий» опубликован рассказ «Маленький герой».

Декабрь — составлено «Свидетельство» о невозможности продолжать службу по состоянию здоровья.

1858 — работает для двух журналов: пишет «Село Степанчиково и его обитатели» для «Русского вестника» и «Дядюшкин сон» для «Русского слова».

1859, март — в «Русском слове» опубликована повесть «Дядюшкин сон».

18 марта — уволен «за болезнью от службы» с награждением следующим чином.

26 марта — учрежден секретный надзор, воспрещен въезд в Санкт-Петербургскую и Московскую губернии.

Апрель — определено местожительство в Тверь.

2 июля — выезжает с женой из Семипалатинска.

18—19 августа — приезжает в Тверь.

23 августа — «Русский вестник» отказывается печатать «Село Степанчиково» и возвращает рукопись.

28 августа — встреча с братом Михаилом в Твери после десятилетней разлуки.

16 сентября — М. М. Достоевский передает рукопись «Села Степанчикова» Н. А. Некрасову для публикации в «Современнике».

Сентябрь—октябрь — знакомство с тверским губернатором П. Д. Барановым, сближение с его семьей; хлопоты о разрешении жить в Петербурге; работа над «Записками из Мертвого дома».

Октябрь — «Село Степанчиково» возвращено М. М. Достоевскому; Некрасов выносит приговор: «Достоевский вышел весь. Ему не написать больше ничего»; М. М. Достоевский начинает переговоры с А. А. Краевским и передает ему «Село Степанчиково»; встреча в Твери с С. Д. Яновским.

4—9 ноября — без разрешения едет в Москву к родственникам.

Ноябрь — в «Отечественных записках» выходит первая часть повести «Село Степанчиково».

Конец ноября — получено разрешение на жительство в Петербурге.

19 декабря — выезжает с женой и пасынком из Твери в Петербург.

28 декабря — празднование новоселья с родными и друзьями.

1860, конец января — вышло двухтомное собрание сочинений.

Весна — становится постоянным посетителем кружка А. П. Милюкова при журнале «Светоч».

14 апреля — участвует в спектакле «Ревизор» в пользу Литературного фонда в роли почтмейстера Шпекина.

Весна—осень — работает над романом «Униженные и оскорбленные».

Сентябрь — журнал «Русский мир» начал публикацию «Записок из Мертвого дома».

Осень — в печати появляется объявление о подписке на журнал М. М. Достоевского «Время» на 1861 год. Братья Достоевские организуют литературный кружок («редакционные вечера»).

1861, январь — выходит первый номер журнала «Время», где начинается печатание романа «Униженные и оскорбленные». Достоевский участвует в литературных чтениях в пользу воскресных школ.

19 февраля — подписан Манифест об освобождении крестьян.

Апрель — «Время» начинает публикацию «Записок из Мертвого дома».

Сентябрь — выходит отдельное издание романа «Униженные и оскорбленные».

1862, март — на вечере «в пользу учащихся» читает фрагменты «Записок из Мертвого дома».

Середина мая — обнаруживает у своих дверей прокламацию «Молодая Россия» и идет с ней к Н. Г. Чернышевскому с просьбой «остановить авторов».

Май — пожары в Петербурге.

7 июня — 24 августа — заграничное путешествие.

Ноябрь — в журнале «Время» напечатан рассказ «Скверный анекдот».

Ноябрь—декабрь — работает над «Зимними заметками о летних впечатлениях».

1863, январь — участвует в благотворительном литературном вечере с чтением «Записок из Мертвого дома».

Февраль — избран в члены комитета Литературного фонда и становится его секретарем.

Апрель — «Время» опубликовало статью Н. Н. Страхова «Роковой вопрос» по «предмету польских дел», которая была воспринята как полонофильская и антипатриотическая.

Конец мая — из-за статьи «Роковой вопрос» журнал «Время» прекращен «по высочайшему повелению»; Достоевский отвозит жену во Владимир.

4 августа — выезжает за границу; в Париже его ждет А. П. Суслова.

22 августа — Достоевский и Суслова уезжают из Парижа в «итальянское путешествие».

21 октября — Достоевский возвращается в Петербург и узнает, что во Владимире опасно заболела жена.

11 ноября — переезжает с женой в Москву; начинает вместе с братом хлопотать о возобновлении журнала.

1864, январь — получено разрешение на издание журнала «Эпоха» под редакцией М. М. Достоевского.

Январь—февраль — работает над «Записками из подполья».

24 марта — выходит сдвоенный номер «Эпохи» с первой частью «Записок из подполья».

15 апреля — скончалась М. Д. Достоевская.

26 апреля — Достоевский возвращается в Петербург.

Июнь — выходит «Эпоха» с окончанием «Записок из подполья».

10 июля — умер М. М. Достоевский.

Июль — Достоевский продолжает издание «Эпохи» и пытается работать над переделкой «Двойника».

1865, январь—февраль — работает над рассказом «Крокодил».

22 марта — выходит «Эпоха» с рассказом «Крокодил». Приостановка издания журнала.

Апрель — сватается к А. В. Корвин-Круковской, получает согласие, но вскоре возвращает данное ему слово.

Июнь — прекращение издания «Эпохи» «вследствие неблагоприятных обстоятельств».

1 июля — заключает кабальный договор с издателем Ф. Т. Стелловским на трехтомное собрание сочинений.

Июль—октябрь — пребывание за границей; играет на рулетке и проигрывает, предлагает «Русскому вестнику» новое сочинение; посещает Врангеля в Копенгагене.

Осень — работает над «Преступлением и наказанием».

Середина декабря — отсылает в «Русский вестник» первые семь листов «Преступления и наказания».

1866, конец января — «Русский вестник» начинает печатание «Преступления и наказания».

4 апреля — покушение Д. В. Каракозова на Александра II.

Лето — снимает дачу в Люблино, рядом с сестрой Верой и ее семьей.

4 октября — знакомство с А. Г. Сниткиной, стенографисткой, приглашенной для работы над романом «Игрок».

31 октября — завершение работы над «Игроком».

3 ноября — посещает А. Г. Сниткину и ее мать в их доме; предлагает стенографировать последнюю часть «Преступления и наказания».

8 ноября — предлагает А. Г. Сниткиной выйти за него замуж и получает ее согласие.

1867, январь — готовится к свадьбе.

14 февраля — «Русский вестник» печатает последние части «Преступления и наказания».

15 февраля — венчание Достоевского и А. Г. Сниткиной.

Март — выходит отдельное издание романа «Преступление и наказание».

Конец марта — 7 апреля — поездка с женой в Москву.

14 апреля — отъезд с женой за границу.

19 апреля — 21 июня — живут в Дрездене; поездки на рулетку в Гомбург.

22 июня — 11 августа — живут в Баден-Бадене. Ежедневная игра на рулетке.

12 августа — приезд в Базель; посещение музея с картинами Г. Гольбейна; «Мертвый Христос».

13 августа — приезд в Женеву, начало работы над романом «Идиот».

Сентябрь—ноябрь — поездки на рулетку в Саксон-ле-Бен.

Конец декабря — отсылает в «Русский вестник» первую порцию романа «Идиот».

1868, конец января — «Русский вестник» начинает печатать роман «Идиот».

22 февраля — родилась дочь Софья.

23—25 марта — поездка на рулетку в Саксон-ле-Бен.

12 мая — смерть дочери Достоевских Софьи от воспаления легких.

Конец мая — переезд из Женевы в Веве.

Конец июня — Достоевский узнает о секретном распоряжении Третьего отделения относительно слежки за ним, вскрытия и чтения всей его корреспонденции.

Середина сентября — переезд в Милан.

Начало декабря — переезд во Флоренцию; возникновение замысла романа «Атеизм».

1869, конец января — отсылает в «Русский вестник» последние главы романа «Идиот».

22 июля — выезжает с женой и тещей А. Н. Сниткиной из Флоренции в Прагу с остановками в Венеции, Триесте, Вене.

3 августа — переезд из Праги в Дрезден.

Конец августа — приступает к работе над повестью «Вечный муж».

14 сентября — родилась дочь Любовь.

21 ноября — члены тайного общества «Народная расправа» во главе с его руководителем С. Г. Нечаевым убивают в парке Петровской земледельческой академии студента академии И. И. Иванова.

5 декабря — Достоевский отсылает в редакцию журнала «Заря» повесть «Вечный муж».

Декабрь — составляет планы романов «Зависть» и «Житие великого грешника», оставшихся неосуществленными.

1870, январь — продолжает работать над планом «Жития великого грешника»; начало подготовительных записей к «Бесам»; «Заря» начала публиковать повесть «Вечный муж».

17—24 апреля — едет на рулетку в Гомбург.

Весна — лето — работает над романом «Бесы».

7 октября — отправляет в «Русский вестник» начало первой части романа «Бесы».

Осень — работает над продолжением романа «Бесы».

1871, 23 января — журнал «Русский вестник» начинает публиковать роман «Бесы».

13—20 апреля — поездка в Гомбург на рулетку: последняя игра.

Весна — продолжает работать над романом «Бесы».

Конец июня — готовится к отъезду из Дрездена в Петербург.

1 июля — в Петербурге начинаются слушания по делу нечаевцев.

3 июля — сжигает рукописи романов «Идиот», «Бесы» и повести «Вечный муж».

5 июля — выезжает с семьей в Петербург.

9 июля — «Правительственный вестник» публикует текст нечаевского «Катехизиса революционера».

16 июля — родился сын Федор.

Лето—осень — продолжает работать над романом «Бесы», используя материалы нечаевского процесса.

Конец декабря — узнает об отказе редакции «Русского вестника» напечатать уже набранную главу «У Тихона»; едет в Москву для переговоров с М. Н. Катковым.

1872, весна — работает над третьей частью «Бесов».

Середина мая — отъезд с семьей в Старую Руссу; продолжает работать над «Бесами».

Начало сентября — возвращение семьи в Петербург из Старой Руссы.

Ноябрь — редакция «Русского вестника» окончательно отказывается печатать главу «У Тихона»; Достоевский вынужден переработать дальнейшие главы.

Середина декабря — в «Русском вестнике» выходит окончание романа «Бесы».

Конец декабря — Достоевский утвержден редактором журнала «Гражданин»; готовит к печати отдельное издание «Бесов»; делает наброски к «Дневнику писателя» за 1873 год.

1873, 1 января — выходит первый номер журнала «Гражданин», подписанный Достоевским как редактором; начинает печататься «Дневник писателя» за 1873 год.

8 января — Московский окружной суд выносит приговор по делу С. Г. Нечаева.

22 января — выходит отдельное издание романа «Бесы».
5 февраля — в шестом номере «Гражданина» опубликован рассказ «Бобок».
Весна — редактирует журнал «Гражданин».
11 июня — приговорен к двум суткам ареста на гауптвахте по иску Цензурного комитета за допущенную оплошность в журнале.
Лето — между Старой Руссой и Петербургом; чтение корректур и статей.
Осень — работа в журнале «Гражданин».
Декабрь — резкое ухудшение здоровья; проходит курс лечения сжатым воздухом.
Конец декабря — вышло в свет отдельное издание романа «Идиот».

1874, январь — продолжает редактировать журнал «Гражданин».
Февраль — начинает работу над романом «Подросток».
21—23 марта — помещен на гауптвахту по приговору от 11 июня 1873 года.
Апрель — слагает с себя обязанности редактора «Гражданина» «по расстроенному здоровью»; в должности редактора утвержден В. Ф. Пуцыкович; Н. А. Некрасов посещает Достоевского и просит дать для «Отечественных записок» новый роман.
Середина мая — отвозит семью в Старую Руссу.
7 июня — выезжает в Бад-Эмс для лечения водами.
11 июня — 27 июля — пребывание на курорте в Эмсе; работает над планом романа «Подросток».
Начало августа — возвращается в Старую Руссу и решает остаться здесь на зиму.
Август—ноябрь — работает над романом «Подросток».
Начало декабря — высылает в «Отечественные записки» первые пять глав романа «Подросток».

1875, 20 января — в «Отечественных записках» начинает печататься роман «Подросток».
4—16 февраля — пребывание в Петербурге; встречи с Некрасовым, чтение корректур «Подростка».
Весна — работает над продолжением романа «Подросток».
27 мая — 3 июля — пребывание в Эмсе для лечения водами.
9 июля — освобожден от полицейского надзора.
Июль—август — работает в Старой Руссе над продолжением «Подростка».
10 августа — рождение сына Алексея.
Середина сентября — возвращение в Петербург.
Осень — работа над заключительными частями романа «Подросток».
21 декабря — «Отечественные записки» завершают публикацию романа «Подросток».

1876, январь — работает над январским выпуском «Дневника писателя»; выходит отдельное издание романа «Подросток».
31 января — выходит январский выпуск «Дневника писателя».
Февраль—май — работает над ежемесячными выпусками «Дневника писателя».
10 июня — уезжает с семьей в Старую Руссу.
Конец июня — возвращается в Петербург.
5 июля — выезжает из Петербурга в Эмс для лечения.
8 июля — 7 августа — пребывание в Эмсе.
12 августа — возвращается в Старую Руссу; продолжает работу над очередными выпусками «Дневника писателя».

Конец августа — возвращается в Петербург по делам, связанным с выпусками «Дневника писателя».
Осень — работает над очередными выпусками «Дневника писателя».
Ноябрь — работает над повестью «Кроткая».
Начало декабря — в ноябрьском выпуске «Дневника писателя» опубликована повесть «Кроткая».

1877, январь — Достоевский посещает больного Некрасова; работает над очередными выпусками «Дневника писателя».
12 апреля — вступление России в войну с Турцией.
Первая половина апреля — Достоевский работает над рассказом «Сон смешного человека».
Начало мая — в апрельском выпуске «Дневника писателя» выходит рассказ «Сон смешного человека».
19 мая — отъезд на лето с семьей в курское имение И. Г. Сниткина близ г. Мирополье.
5 июля — приезжает в Петербург по делам издания «Дневника писателя».
20—21 июля — гостит у сестры Веры в Даровом.
Июль—август — готовит очередные выпуски «Дневника писателя» в имении И. Г. Сниткина.
5 сентября — возвращается с семьей в Петербург.
Осень — работает над очередными выпусками «Дневника писателя».
Конец октября — объявляет читателям о прекращении издания «Дневника писателя» «на год или на два».
2 декабря — избирается членом-корреспондентом Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности.
30 декабря — похороны Н. А. Некрасова; Достоевский произносит речь на могиле поэта.

1878, 24 января — выстрел В. И. Засулич в петербургского градоначальника.
Зима — лекции Вл. С. Соловьева «О Богочеловечестве», на которых бывает Достоевский; получает приглашение от имени Александра II познакомиться с его сыновьями — великими князьями Сергеем и Павлом; присутствует на обедах, устраиваемых Обществом литераторов; обдумывает замысел романа «Братья Карамазовы».
19 февраля — окончание Русско-турецкой войны.
31 марта — присутствует на процессе В. И. Засулич.
Середина апреля — делает первые наброски к роману «Братья Карамазовы».
16 мая — скончался сын Алеша.
После 25 мая — уезжает с семьей в Старую Руссу.
17—18 июня — едет в Москву для переговоров с «Русским вестником» о судьбе нового романа.
23—29 июня — поездка в Оптину пустынь вместе с Вл. С. Соловьевым.
Начало июля — возвращается в Старую Руссу и начинает работу над текстом «Братьев Карамазовых».
2 октября — Достоевские возвращаются в Петербург и поселяются в съемной квартире на углу Кузнечного переулка и Ямской улицы.
7—13 ноября — поездка в Москву для передачи в редакцию «Русского вестника» двух первых книг романа «Братья Карамазовы».
Ноябрь—декабрь — работает над третьей книгой романа.

1879, 31 января — высылает в «Русский вестник» третью книгу романа.

1 февраля — «Русский вестник» начинает печатать роман «Братья Карамазовы».

9 и 16 марта — выступления на вечерах в пользу Литературного фонда в зале Благородного собрания с чтением отрывка из романа «Братья Карамазовы».

3 апреля — выступление на литературном вечере в пользу Фребелевского общества с чтением рассказа «Мальчик у Христа на елке».

5 апреля — выступление на литературном вечере в пользу слушательниц Бестужевских курсов с чтением отрывка из романа «Братья Карамазовы».

17 апреля — уезжает вместе с семьей в Старую Руссу, где продолжает работать над романом «Братья Карамазовы».

Июнь — избирается в Париже членом почетного комитета Международной литературной ассоциации.

24 июля — 29 августа — пребывание в Эмсе.

Осень — работает над новыми главами романа «Братья Карамазовы».

14 декабря — выступление на литературном вечере в зале Благородного собрания в пользу слушательниц Бестужевских курсов с чтением своих произведений.

30 декабря — выступление на «литературном утре» в пользу студентов Санкт-Петербургского университета с чтением главы «Великий инквизитор».

1880, январь — открытие «Книжной торговли Ф. М. Достоевского».

2 февраля — на чтениях для Коломенской женской гимназии читает отрывок из романа «Братья Карамазовы».

5 февраля — взрыв в подвальном помещении Зимнего дворца, организованный С. Халтуриным.

11 февраля — указ Александра II об учреждении Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия во главе с графом М. Т. Лорис-Меликовым.

14 февраля — на заседании Славянского благотворительного общества зачитывает проект адреса по поводу 25-летия царствования Александра II.

20 февраля — народоволец И. О. Млодецкий совершает покушение на графа М. Т. Лорис-Меликова.

22 февраля — присутствует на казни Млодецкого на Семеновском плацу.

20 марта — участвует в литературно-музыкальном вечере в зале городской думы, читает отрывок из романа «Братья Карамазовы».

21 марта — выступает на литературно-музыкальном вечере в зале Благородного собрания в пользу слушательниц Женских педагогических курсов, читает отрывок из романа «Подросток».

22 марта — принимает участие в литературном вечере в Мраморном дворце.

28 марта — выступает на литературном вечере в пользу студентов Петербургского университета, читает отрывок из романа «Преступление и наказание».

5 апреля — получает приглашение от Общества любителей российской словесности на открытие памятника Пушкину в Москве.

27 апреля — выступает на вечере в пользу Славянского благотворительного общества в зале Благородного собрания, читает отрывок из романа «Братья Карамазовы».

8 мая — принимает участие в приватном вечере великого князя К. К. Романова, читает отрывки из романа «Братья Карамазовы».
10 мая — уезжает с семьей в Старую Руссу; приступает к работе над речью о Пушкине.
22 мая — выезжает в Москву для участия в пушкинских торжествах.
6 июня — церемония открытия памятника Пушкину. Литературно-музыкальный вечер Общества любителей российской словесности в зале Благородного собрания; Достоевский читает монолог Пимена.
8 июня — заседание Общества любителей российской словесности; Достоевский выступает с речью о Пушкине; на заключительном вечере в зале Благородного собрания читает отрывок из «Песен западных славян», «Сказку о медведихе», стихотворение «Пророк».
10 июня — уезжает из Москвы в Старую Руссу.
13 июня — газета «Московские ведомости» публикует текст речи Достоевского о Пушкине под заголовком «Пушкин (очерк)».
Июнь—июль — готовит специальный выпуск «Дневника писателя» с речью о Пушкине; работает над завершением романа «Братья Карамазовы».
12 августа — выходит в свет специальный выпуск «Дневника писателя», посвященный пушкинским торжествам в Москве.
Август — сентябрь — работает над последними главами романа «Братья Карамазовы».
Начало октября — высылает последние главы романа в «Русский вестник».
6 октября — уезжает с семьей из Старой Руссы в Петербург.
19 октября — участвует в «литературном утре» Литературного фонда в день лицейской годовщины, читает ряд произведений А. С. Пушкина.
26 октября — выступает на вечере в пользу Литературного фонда с чтением пушкинского «Пророка».
Октябрь—ноябрь — делает наброски к «Дневнику писателя» 1881 года.
8 ноября — высылает в редакцию «Русского вестника» эпилог романа «Братья Карамазовы».
21 ноября — выступает на литературном вечере в пользу Литературного фонда с чтением отрывков из произведений А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, Н. В. Гоголя.
26 ноября — на литературном вечере у Е. А. Штакеншнейдер читает отрывок из эпилога «Братьев Карамазовых».
30 ноября — на вечере в пользу студентов Петербургского университета читает главу из эпилога «Братьев Карамазовых».
Конец ноября — в печати появляется объявление о возобновлении с 1 января 1881 года ежемесячного издания «Дневника писателя».
1 декабря — выходит ноябрьский номер «Русского вестника» с эпилогом романа «Братья Карамазовы».
9 декабря — выходит отдельное издание «Братьев Карамазовых» в двух томах.
14 декабря — выступает на литературном вечере в пользу Бестужевских высших женских курсов с чтением стихотворений Пушкина, Лермонтова, отрывков из произведений Гоголя.
16 декабря — встречается в Аничковом дворце с наследником престола.
22 декабря — принимает участие в литературных чтениях в доме графини А. Ф. Менгден.

1881, середина января — посещает графиню А. А. Толстую, с которой обсуждает новые религиозные взгляды Л. Н. Толстого.

18 января — проводит вечер у А. С. Суворина.

24 января — присутствует на обеде у графини С. А. Толстой.

24—25 января — завершает работу над январским выпуском «Дневника писателя».

25 января — к Достоевскому приходят А. Н. Майков, Н. Н. Страхов, О. Ф. Миллер.

26 января, 16 часов — визит сестры Веры; ссора с ней во время обеда в связи с разделом куманинского наследства; первое горловое кровотечение.

18 часов — повторное горловое кровотечение при врачебном осмотре; консилиум ставит диагноз «разрыв легочной артерии».

27 января — больного Достоевского навещают родные, друзья и знакомые; он шепотом разговаривает с детьми, просит жену читать ему газеты.

28 января, утро — ясное осознание смерти; открывшееся «наудачу» Евангелие подтверждает предчувствие; возобновление сильного горлового кровотечения.

После 18 часов — благословляет детей.

18 часов 30 минут — последнее сильное кровотечение, беспамятство, агония.

20 часов 36 минут — время смерти Достоевского.

31 января, утро — выходит в свет январский выпуск «Дневника писателя» за 1881 год.

11 часов — начало траурной процессии.

14 часов — гроб с телом писателя помещен в церкви Святого Духа Александро-Невской лавры.

20 часов — торжественная всенощная.

1 февраля, 10 часов утра — литургия в церкви Святого Духа Александро-Невской лавры; *по окончании литургии* — отпевание и погребение на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры рядом с могилой В. А. Жуковского.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ*

1. Сочинения и письма Ф. М. Достоевского на русском языке

Полное собрание сочинений. Т. 1—30. Л., 1972—1990.

Собрание сочинений. Т. 1—10. М., 1958.

Письма. Т. 1—4 / Под ред. и с прим. А. С. Долинина. М.; Л., 1928—1959.

Достоевский Ф. М., Достоевская А. Г. Переписка. М., 1976.

2. Биографические и мемуарные источники

Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883.

Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского. 1506—1833. М., 1933.

Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854—1856. СПб., 1912.

Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961.

Гроссман Л. Библиотека Достоевского. Одесса, 1919.

Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в трудах и документах. М.; Л., 1935.

Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. Материалы, биография и комментарии. М.; Пг., 1922.

Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971.

Достоевская А. Г. Дневник 1867 года. М., 1993.

Достоевская А. Г. Записная книжка 1881 года // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб., 1993.

Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992.

Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской / Под ред. и с прим. А. Г. Горфельда. М.; Пг., 1922.

Достоевский. Материалы и исследования. Т. 1—19. Л.; СПб., 1974—2010 (продолжающееся издание).

Достоевский А. М. Воспоминания. Л., 1930.

Достоевский и его время. Л., 1971.

Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1—2. М., 1964.

Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1—2. М., 1990.

Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб., 1993.

---

*Полная библиография работ о Ф. М. Достоевском, вышедших в России и за рубежом, необозрима. Составленный А. Г. Достоевской «Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского, собранных в Музее памяти Ф. М. Достоевского в Московском Историческом музее. 1846—1903» (СПб., 1906) уже содержал пять тысяч номеров. За прошедшее столетие эта цифра возросла в тысячи раз. Здесь названы публикации, которые следует отнести к разряду первоисточников биографии, избранные работы мыслителей Серебряного века, а также исследования российских и зарубежных ученых, в которых отразились современные тенденции в интерпретации жизни и творчества Ф. М. Достоевского.

Ф. М. Достоевский в русской критике. М., 1956.
Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1935.
Ф. М. Достоевский. Моя тетрадка каторжная. Красноярск, 1985.
Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. I. Пг., 1922.
Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. II. Л.; М., 1924.
Из архива Достоевского. Письма русских писателей. М.; Пг., 1923.
Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. 1821—1881. Т. 1—3. СПб., 1993—1995.
Литературное наследство. Т. 77. Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток». Творческие рукописи. М., 1965.
Литературное наследство. Т. 83. Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860—1881 гг. М., 1971.
Литературное наследство. Т. 86. Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. М., 1973.
Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч. 1—4. Л., 1974—1980.
Милюков А. П. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890.
Нечаева В. С. В семье и усадьбе Достоевских (Письма М. А. и М. Ф. Достоевских). М., 1939.
Нечаева В. С. Ранний Достоевский. М., 1976.
Никитенко А. В. Дневник. В 3 т. М., 1955—1956.
Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950.
Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1972.
Первые русские социалисты. Сб. материалов. Л., 1984.
Петрашевцы в воспоминаниях современников. М., 1926.
Петрашевцы об атеизме, религии и церкви. М., 1986.
Письма Михаила Достоевского к отцу // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1980. Л., 1981. С. 69—87.
Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары. Т. 1. Детство и юность (1827—1855). Пг., 1917.
Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. Дневник. Повесть. Письма / Вступ. ст. и прим. А. С. Долинина. М., 1928.
Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению. М.; Л., 1940.
Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки (1854—1886). М.; Л., 1934.

3. Литература о Ф. М. Достоевском

Ашимбаева Н. Т. Достоевский. Контекст творчества и времени. СПб., 2005.
Барсотти Д. Христос — страсть жизни. М., 1999.
Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. М., 1929; Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963; 1974; 1979.
Безносов В. Г. «Смогу ли уверовать?» Ф. М. Достоевский и нравственно-религиозные искания в духовной культуре конца XIX — начала XX века. СПб., 1993.
Белов С. В. Энциклопедический словарь «Ф. М. Достоевский и его окружение». Т. 1—2. СПб., 2001.
Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971.
Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923.
«Бесы»: Антология русской критики. М., 1996.

Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описание. СПб., 2005.
Буданова Н. Ф. Достоевский и Тургенев: Творческий диалог. Л., 1987.
Вайнерман В. С. «Поручаю себя вашей доброй памяти...» (Достоевский и Сибирь). 2-е изд. Омск, 2001.
Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». СПб., 2007.
Властитель дум. Ф. М. Достоевский в русской критике конца XIX — начала XX века. СПб., 1997.
Волгин И. Л. Родиться в России. Достоевский и современники: Жизнь в документах. М., 1991.
Волгин И. Л. Последний год Достоевского. М., 1986.
Григорьев Д., прот. Достоевский и Церковь. У истоков религиозных убеждений писателя. М., 2002.
Громыко М. М. Сибирские друзья и знакомые Ф. М. Достоевского. Новосибирск, 1985.
Гроссман Л. П. Достоевский. М., 1962.
Гроссман Л. П., Полонский Вяч. Спор о Бакунине и Достоевском. Л., 1926.
Джексон Р. Л. Искусство Достоевского. Бреды и ноктюрны. М., 1998.
Долинин А. С. Последние романы Достоевского. М.; Л., 1963.
Достоевский в конце XX века. М., 1996.
Достоевский и XX век. Т. 1—2. М., 2007.
Достоевский и мировая культура. Альманах № 1—27. М.; Л., 1993—2010 (издание продолжается).
Ф. М. Достоевский и православие. Публицистический сборник о творчестве Ф. М. Достоевского. М., 2003.
Достоевский и современность. Материалы Международных старорусских чтений. Новгород, 1988—2010 (издание продолжается).
Егоров Б. Ф. Петрашевцы. Л., 1988.
Иванов В. И. Родное и вселенское. М., 1994.
Карякин Ю. Ф. Достоевский и канун XXI века. М., 1989.
Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. М., 1996.
Киносита Т. Антропология и поэтика творчества Ф. М. Достоевского. СПб., 2005.
Кириллова И. А. Образ Христа в творчестве Достоевского. Размышления. М., 2010.
Клейман Р. Я. Достоевский: константы поэтики. Кишинев, 2001.
Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание. Нью-Йорк, 1953.
Мелетинский Е. М. Заметки о творчестве Достоевского. М., 2001.
Мережковский Д. С. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество. Т. 1—2. СПб., 1901—1902.
Мочульский К. Достоевский. Жизнь и творчество. Париж, 1980.
Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. М., 1972.
Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М., 1975.
Новые аспекты в изучении Достоевского. Сборник научных трудов. Петрозаводск, 1994.
О Великом инквизиторе: Достоевский и последующие. М., 1992.
О Достоевском. Сборник статей / Под ред. А. Л. Бема. М., 2007.
О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881—1931. М., 1990.

Померанц Г. С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М., 1990.
Попович И., преп. Достоевский о Европе и славянстве. М.; СПб., 2002.
Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996.
Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Современное состояние изучения. М., 2007.
Роман Ф. М. Достоевского «Идиот». Современное состояние изучения. М., 2001.
Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994.
Сараскина Л. И. «Бесы» — роман-предупреждение. М., 1990.
Сараскина Л. И. Возлюбленная Достоевского. Биография в документах, письмах, материалах. М., 1994.
Сараскина Л. И. Федор Достоевский. Одоление демонов. М., 1996.
Сараскина Л. И. Николай Спешнев. Несбывшаяся судьба. М., 2000.
Сараскина Л. И. Достоевский в созвучиях и притяжениях: от Пушкина до Солженицына. М., 2006.
Сараскина Л. И. Испытание будущим. Ф. М. Достоевский как участник современной культуры. М., 2010.
Саруханян Е. П. Достоевский в Петербурге. Л., 1970.
Селезнев Ю. И. Достоевский. М., 1981.
Сильвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского. СПб., 2001.
Статьи о Достоевском. 1971—2001. СПб., 2001.
Степанян К. А. Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского. СПб., 2009.
Тихомиров Б. Н. «Лазарь! гряди вон». Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении. Книга-комментарий. СПб., 2005.
Три века русской литературы. Актуальные аспекты изучения. 500 лет роду Достоевского. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 18. М.; Иркутск, 2008.
Туниманов В. А. Творчество Достоевского 1854—1862. Л., 1980.
Федоров Г. А. Московский мир Достоевского. Из истории русской художественной культуры XX века. М., 2004.
Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая литература. СПб., 1979.
Фудель С. И. Наследство Достоевского. М., 1998.
Штейнберг А. З. Система свободы Достоевского. Берлин, 1923.
Шульц О. фон. Светлый, жизнерадостный Достоевский. Петрозаводск, 1999.
Belknap R. L. The Structure of the Brothers Karamazov. Hague — Paris, 1967.
Belknap R. L. The Genesis of the Brothers Karamazov. Evanston, Illinois, 1990.
Frank J. Dostoevsky. Seeds of Revolt, 1821—1849. Princeton, 1976.
Frank J. Dostoevsky. Years of Ordeal, 1850—1859. Princeton, 1983.
Frank J. Dostoevsky. Stir of Liberation, 1860—1865. Princeton, 1986.
Frank J. Dostoevsky. Miraculous Years, 1865—1871. Princeton, 1995.
Frank J. Dostoevsky. Mantle of the Prophet, 1871—1881. Princeton, 2002.
Frank J. Dostoevsky: A Writer in His Time. Princeton, 2009.
Jackon R. L. Twentieth centure interpretation of Crime and Punishment. Englewood Cliffs, N. J., 1974.
Kietsaa G. Fyodor Dostoevsky. A Writer's Life. New York — London, 1987.
Kietsaa G. Dostoevsky and His New Testament. Oslo, 1984.
Miller R. F. The Brothers Karamazov. Worlds of the Novel. New York, 1992.
Peace R. Dostoevsky's. Notes from Underground. London, 1993.

СОДЕРЖАНИЕ

Сараскина Л. И.
С 20 Достоевский / Людмила Сараскина. — 2-е изд. — М.: Молодая гвардия, 2013. — 825[7] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1407).

ISBN 978-5-235-03595-9

«Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он — самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира». Это слова Н. Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба — таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его — как при жизни, так и посмертно — объектом как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и «неудобных», в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной — известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

знак информационной продукции **16+**

Сараскина Людмила Ивановна
ДОСТОЕВСКИЙ

Редактор **В. В. Эрлихман**
Художественный редактор **Е. В. Кошелева**
Технический редактор **В. В. Пилкова**
Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова**

Подписано в печать с готовой электронной версии 24.10.2012. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 43,68+1,68 вкл. Тираж 7000 экз. Заказ № 1212670.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru



ЯПК

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03595-9

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Е. Матонин
«ИОСИП БРОЗ ТИТО»

М. Одинцов
«ПАТРИАРХ СЕРГИЙ»

И. Курукин
«АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА»

В. Есипов
«ШАЛАМОВ»

Г. Чернявский
«РУЗВЕЛЬТ»

Н. Демурова
«ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ»

Л. Анисарова
«НОВИКОВ-ПРИБОЙ»



СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Л. Ивченко
«КУТУЗОВ»

А. Сергеева-Клятис
«БАТЮШКОВ»

М. Кучерская
«КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ»

В. Козляков
«ГЕРОИ СМУТЫ»

А. Ливергант
«СОМЕРСЕТ МОЭМ»

А. Филимон
«ЯКОВ БРЮС»

В. Десятерик
«ПАВЛЕНКОВ»




ISBN 978-5-235-03595-9
9 785235 035959 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ